издательство
олега абышко

исследования

Се бо и́стину возлюби́л еси́,
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси...
Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие,
возра́дуются ко́сти смире́нныя.
Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х
и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
Се́рдце чи́сто созижди́ во мне́, Боже́,
и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́...
и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя...
Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н:
се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Псалом 50, стихи 8, 10-14

Серия основана в 2002 г.

Н. А. СКАБАЛАНОВИЧ

ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В XI в.

От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина

Книга I

Вступительная статья проф. *Г. Е. Лебедевой*

Научное издание

издательство
олега абышко

Санкт-Петербург
2004

УДК 27-9:949.502«10»
ББК 63.3(0)4+86.2
С42

Скабаланович Н. А.

С42 Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина: В 2-х кн. Кн. I / Вступ. ст. Г. Е. Лебедевой. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 448 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).

ISBN 5-89740-107-4

Николай Афанасьевич Скабаланович (1848–1918) — профессор общей и церковной истории Санкт-Петербургской Духовной академии, доктор богословия, один из самых талантливых русских церковных историков. Его основополагающая работа «Византийское государство и Церковь...» — это настоящая энциклопедия по Византии, непревзойденный во многих отношениях даже по настоящее время научный труд, в том числе и по своим литературным достоинствам. В приложении даются статьи «Византийская наука и школы в XI в.», «О нравах византийского общества в Средние века», «Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии» и другие, позволяющие с большей полнотой и вниманием остановиться на конкретных вопросах как внутренней истории Византийской империи в целом, так и истории Византийско-Восточной церкви в частности.

Для всех интересующихся историей Церкви и историческими судьбами Православия.

ISBN 5-89740-107-4

© «Издательство Олега Абышко», подготовка текста к изданию, художественное оформление, 2004
© Г. Е. Лебедева, вступительная статья, 2004

К истории изучения творческой биографии Н. А. Скабалановича

«Русская церковно-историческая литература чрезвычайно богата ценными работами монографического характера по всем отраслям и более или менее важным вопросам»,[1] — имел все основания утверждать Н. Н. Глубоковский (1863–1937) — богослов, филолог, член-корр. Российской Императорской Академии наук и Болгарской Академии наук, блестящий историограф русской богословской науки.

Успехи церковно-исторического направления были обусловлены, с одной стороны, процессом саморазвития русской богословской мысли, с другой — влиянием светской исторической науки, которая, в свою очередь, испытывала нужду в расширении поля исследований. «Церковная и светская наука здесь очень близки, так как переплетены во всей истории Византии, — писал проф. Н. Н. Глубоковский, — поэтому и академические профессора (т. е. профессора Духовных академий. — *Г. Л.*) даже по требованиям своей специальной кафедры вынуждались обсуждать светские темы».[2] В своих статьях, посвященных историкам Византийской церкви, мы неоднократно говорили о том, что лишь условно можно разграничивать светскую — университетскую — и церковно-историческую византинистику конца XIX — начала XX в. и вообще неправомерно противопоставлять одну другой.[3] К сожалению, такое противопоставление

---

[1] *Глубоковский Н. Н.* Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928. С. 53.

[2] *Он же.* Богословие: обзор науки. Русская наука: отдел первый. Пг., 1919. С. 34.

[3] *Заливалова Л. Н., Лебедева Г. Е.* Из истории русской церковно-исторической науки: Ф. А. Курганов (1844–1920) / / Историческая мысль в Византии и на средневековом Западе. Иваново, 1998. С. 181–204; *Лебедева Г. Е., Морозов М. А.* Из истории отечественного византиноведения конца XIX — начала XX в.:

вошло в практику. При этом, если о В. Г. Васильевском и других основоположниках так называемой светской византологии в России никогда не забывали, то труды отечественных историков Византийской церкви в послеоктябрьский период фактически были исключены из историографии Византии.[1]

Подобно многим другим, было предано забвению и научное наследие замечательного русского ученого Николая Афанасьевича Скабалановича (1848–1918).

Биографические сведения о нем скудны. Наши поиски личного архива ученого не увенчались успехом. В архивах Санкт-Петербурга, среди бумаг духовных учреждений, содержится очень мало документов, связанных с его научной и педагогической деятельностью. Все же оттуда узнаем, что Н. А. Скабаланович являлся сыном священника, уроженцем Гродненской губернии, обучался в Санкт-Петербургской Духовной академии по церковно-историческому отделению. Об успеваемости Н. А. Скабалановича, о предметах, прослушанных им на втором курсе, можно судить по некоторым данным, сохранившимся в «Журналах заседаний Совета Санкт-Петербургской Духовной академии за 1872 г.». В это время воспитанникам Санкт-Петербургской Духовной академии читались следующие курсы: история философии, психология, Священное Писание, основное богословие, древние языки, новые языки, метафизика, логика, всеобщая гражданская история, которая являлась специальным предметом церковно-исторического отделения. Трудолюбие и любовь к избранной области знаний проявились у Николая Афанасьевича еще в юном возрасте; строгие педагоги, принципиальность которых хорошо была известна, оценили его успеваемость отличными оценками, и только за основное богословие он получил 4 ½ балла.

И. И. Соколов//Античная древность и Средние века. Екатеринбург, 1998. С. 139–152; *Лебедева Г. Е.* Из истории византиноведения и неоэллинистики в России: И. И. Соколов//Московия. Проблемы византийской и новогреческой филологии. М., 2001; *Она же.* Забытая глава в истории русского византиноведения//Вестник СПбГУ, 2000, серия 2. Вып. 1. С. 3–14; *Она же.* Из истории отечественного византиноведения и неоэллинистики: Ф. А. Курганов в 1870–1880 гг.//Вестник СПбГУ, 2001, серия 2. Вып. 2. С. 21–32.

[1] *Вайнштейн О. Л.* История советской медиевистики (1917–1966). Л., 1968 (в том числе и славистики, и византиноведения. С. 70–81, 183–232, 361–382); *Гутнова Е. В.* Историография истории Средних веков (сер. XIX в. — 1917 г.). М., 1974; *Удальцова З. В.* Советское византиноведение за 50 лет. М., 1969; *Курбатов Г. Л.* История Византии (историография). Л., 1975. С. 116.

В представлении церковно-исторического отделения, от 13 января 1883 г., содержится запись: «Рассмотрев сочинения студентов III курса, написанные ими при переходе в IV курс, церковно-историческое отделение в собрании своем 13 января мнением своим положило: сочинение Н. Скабалановича удостоить полной премии...». Сохранилось и решение заседания Совета Санкт-Петербургской Духовной академии по этому вопросу: «...выдать в награду за кандидатские сочинения студентам IV курса (бывшего III): Скабалановичу — сто рублей...» (Журналы заседаний Совета Санкт-Петербургской Духовной академии. СПб., 1873 С. 21–22). Н. А. Скабаланович окончил курс в 1873 г., со степенью кандидата богословия; после сдачи устного экзамена по всеобщей русской церковной истории, и всеобщей и русской гражданской истории,[1] а также после публичной защиты работы под заглавием «Об апокрисисе Христофора Филалета» он был утвержден в степени магистра богословия (2 сентября 1873).[2] Оппонентами по работе выступили заслуженный ординарный профессор М. О. Коялович и доцент П. Ф. Николаевский. Нами обнаружен текст только отзыва доцента П. Ф. Николаевского, сохранившийся в Журнале общего собрания Совета Санкт-Петербургской Духовной академии от 12 июня 1873 г., который воспроизводим полностью. «Слушали: церковно-историческое отделение, в собрании своем 21 апреля текущего года, выслушав отзыв о сочинении Николая Скабалановича на тему: "Об апокрисисе Христофора Филалета", составленный по поручению отделения доцентом Академии священником Павлом Николаевским и признав его вполне справедливым, мнением своим положило: допустить это сочинение на соискание степени магистра богословия, о чем и представить Совету Академии.

Отзыв о сочинении Николая Скабалановича "Об апокрисисе Христофора Филалета" — доцента, священника П. Ф. Николаевского. Сочинение г. Скабалановича "Об апокрисисе Христофора Филалета" представляет собою труд, достойный полного внимания как по обширному знакомству автора с литературой своего предмета, так и по самостоятельной, строго научной и цельной обработке им своего исследования. Автор

[1] В журналах общего собрания Совета Санкт-Петербургской Духовной академии от 21 сентября 1872 г. приводится список студентов IV курса, которые выразили желание специально изучать всеобщую церковную и русскую историю, и всеобщую гражданскую и русскую историю. На первом месте среди фамилий этого списка стоит Н. Скабаланович (СПб., 1873. С. 135).

[2] Журналы общего собрания Совета Санкт-Петербургской Духовной академии от 12 июля 1873 г. СПб., 1874 С. 82–83, 177.

делит свое исследование на четыре части, которые он разбивает на несколько глав.

В первой части (глава I) он разбирает "Апокрисис" со стороны библиографической — и прежде всего останавливается на обзоре и сравнении трех редакций апокрисиса — польской, западно-русской и киевской, составленной в 1840 г. при Киевской Духовной академии. Подробное буквальное сличение этих редакций апокрисиса дало возможность автору прийти к положительному и основательно им доказанному выводу относительно оригинального текста апокрисиса; что апокрисис писан первоначально на польском языке; автор внимательно следит за разностями переводов апокрисиса на языки западно-русский и русский, состоящими в изменениях как слов и оборотов речи, так и целых мыслей польского оригинала, в его сокращениях и дополнениях; замеченные разности указаны автором в прибавлении к своему сочинению. После рассуждения о времени и месте первоначального издания апокрисиса и его перевода на язык западно-русский, автор перешел к данным для определения личности Христофора Филалета; содержание апокрисиса и свидетельства современных ему писателей дали возможность указать автору в точных чертах только характер, умственный кругозор и немногие стороны из жизни Филалета, но не собственное имя, скрытое под псевдонимом.

Во второй части (глава II) г. Скабаланович рассматривает содержание апокрисиса как сочинения полемического, направленного в защиту западно-русских православных против сочинения иезуита Скарги "Оборона Брестского собора". Так как апокрисис по плану и содержанию находился в непосредственной зависимости от порядка и раскрытия мыслей в указанном сочинении Скарги, то автор счел нужным ознакомить сначала с сочинением Скарги, потом уже раскрыть содержание апокрисиса и показать, насколько сочинение Филалета опровергало сочинение Скарги. Для данной характеристики полемики апокрисиса автор сопоставил его с другими современными ему полемическими сочинениями Западно-Русской церкви, указал источники, какими пользовался Филалет для опровержения учения Скарги, и место, какое было занято апокрисисом в ряду других сочинений, направленных против латинства.

В третьей части своего сочинения (главы III–VI) автор описывает полемику, вызванную апокрисисом, между сторонниками латинства — автором "Антиррисиса" и Мелетием Смотрицким с одной стороны, с другой — между защитниками западно-русского Православия и Филалета: Андреем Мужиловским и Диплицом. Оценка этой полемики дала воз-

можность уяснить особенности богословских воззрений Филалета, насколько они были общи православным его современникам, какие из этих воззрений православные полемисты находили нужным принимать и защищать без изменения, в том виде, как они были изложены в апокрисисе, и какие они принуждены были отвергнуть, или же принять и защищать в перетолкованном, применительно к понятиям своих единоверцев виде.

В четвертой части (глава VII) рассматривается значение апокрисиса в историческом отношении как сборника исторических документов, помещенных в нем грамот, писем, протестов, как памятника исторического, описывающего современные Филалету исторические события в западнорусском крае, представляющего взгляд самого Филалета на эти события. Автор показывает, какие из исторических документов известны только по апокрисису, какие из них изданы в печати отдельно и насколько их издание верно подлиннику. Так как исторические факты изложены в апокрисисе не в последовательном порядке, но применительно к полемическим задачам Филалета, то автор, указывая на эти факты, подводит их под рубрики и, для большего освещения их, сводит их с историческими указаниями "Эктезиса", тем более что сам Филалет отсылает своих читателей к этой книге, считая содержание ее согласным с истиной и обещая только дополнять написанное в "Эктезисе".

Умение автора владеть научным материалом и располагать его в строгом порядке видно во всех частях его обширного исследования».[1]

7 сентября 1873 г. Н. А. Скабалановичбыл утвержден в должности доцента Санкт-Петербургской Духовной академии.[2] Вскоре после защиты магистерской диссертации он опубликовал в 1875 г. статью «Западноевропейские гильдии и западно-русские братства», в которой ученый прослеживает этапы исторического развития и типы гильдий и братств, привлекая разнообразные источники.[3]

В 1878 г. Н. А. Скабалановичем были опубликованы в «Христианском Чтении» три статьи: «Галилей перед судом римской курии» (Январь-

---

[1] ЦГИА СПб. Ф. 277. Оп. 1. Д. 2781. Л. 177–179 об.

[2] «Согласно определению Совета Академии... произведено было баллотирование магистра богословия Н. Скабалановича на должность доцента Академии по предмету новой гражданской истории. По произведенному баллотированию Н. А. Скабаланович получил десять избирательных шаров и ни одного неизбирательного. Вследствие этого признать его избранным на должность доцента по предмету новой гражданской истории» (Там же. С. 182).

[3] *Скабаланович Н. А.* Западно-европейские гильдии и западно-русские братства / / Христианское Чтение. СПб., 1875. Сентябрь-октябрь. С. 271–327.

февраль. С. 74–116), «Религиозный характер борьбы османских турок с греко-славянским миром до взятия Константинополя в 1453 г.» (Март-апрель. С. 445–480), «Политика турецкого правительства по отношению к христианским подданным и их религии» (Сентябрь-октябрь. С. 423–464). Они свидетельствуют о том, что ученый не мог оставаться в стороне от событий Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Всем трем работам, посвященным исключительно, на первый взгляд, историко-церковным проблемам прошлого, присущ кажущийся в исторической перспективе излишне обличительный пафос. Это, несомненно, было свидетельством актуализации страниц истории под воздействием текущих событий. Работы написаны с блеском писательского и научного дарования исследователя. Н. А. Скабаланович возложил вину за процесс над Галилеем на Католическую церковь, которая «вскормила в своих недрах такие противохристианские учреждения, как инквизиция и орден иезуитов». Не наука столкнулась с религией, а личные корпоративные интересы пришли между собою в столкновение, утверждает Н. А. Скабаланович. Галилей подвергся гонениям не потому, что в его лице выступили на борьбу начало точного знания с началами веры, но потому, что он бросил вызов рутине, и иезуиты усмотрели в его стремлении опасность своим интересам и безраздельному влиянию на общество. Религия послужила игрушкой, простым орудием в руках иезуитов». Такого же взгляда придерживался на процесс и сам Галилей, по мнению Н. А. Скабалановича. «Потомство сравнило гонения, которым подвергался Галилей, с преследованиями, которые перенес Сократ. Сочувственное потомством перешло на сторону Галилея и народная фантазия сделала его героем и мучеником» (С. 74).

В отличие от современной ему светской истории науки, Н. А. Скабаланович, рассматривая суд над Галилеем, расставлял иные акценты. В стремлении противопоставить науку религии, историки XIX в. интенсивно разрабатывали сюжеты, которые можно объединить под рубрикой «мученики науки». И дело Галилея давало возможность показать противостояние религиозно-догматического и нарождающегося научного метода познания Нового времени. Н. А. Скабаланович же рассматривал этот процесс именно с историко-церковной точки зрения, находя возможным выдвинуть обвинения в адрес римской курии и ордена иезуитов.

В двух других статьях освещены вопросы религиозной борьбы турок с греко-славянским миром до завоевания Константинополя в 1453 г. и положение христианских общин на территории Османской империи до XIX в. Автор красочно рисует глумление над христианами, обращение

их в рабство, насильственное обращение христиан в мусульманство, останавливается и на случаях обращения мусульман в христианство. Большое внимание Н. А. Скабаланович уделяет юридическому положению христианских общин и их внутренней жизни.

Советом Академии он был удостоен степени доктора богословия за сочинение «Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина» и утвержден в ней указом Св. Синода от 21 мая 1884 г. за № 1852.[1] Совет Санкт-Петербургской Духовной академии «...в собрании своем 17 августа 1884 г. по единогласному решению постановил на имеющуюся вакансию экстраординарного профессора избрать доцента по кафедре новой общей гражданской истории, доктора богословия Н. Скабалановича и об утверждении его в этом звании со дня избрания, а именно с 17 августа 1884 г. Документы предоставить Св. Синоду».[2] В Российском Государственном Историческом архиве имеется и решение Св. Синода: «Доцента СПб. Духовной академии, доктора богословия Н. Скабалановича, избранного Советом названной Академии, в звании экстраординарного профессора утвердить (Исполнено 4 октября 1884 г.)».[3]

С 1886 по 1892 гг. Н. А. Скабаланович состоял редактором «Церковного Вестника», в котором позднее он вел отдел, посвященный изложению и критической оценке отзывов в печати о текущих вопросах церковно-общественной жизни.

Материалы Центрального Государственного Исторического архива сохранили и точную дату ухода Н. А. Скабалановича из сферы активной научно-педагогической деятельности. Приводим выписку из Журнала заседания Совета Академии за 1903/1904 гг. (СПб., 1904. С. 16).

«XII. Слушали: Прошение заслуженного ординар. проф. Академии Н. А. Скабалановича: "В виду исполняющегося в 7-й день месяца сентября текущего 1903 года тридцатилетия моей службы в Академии, покорнейше прошу Совет ходатайствовать об увольнении меня с означенного времени (7 сентября) в отставку — с мундиром, занимаемой мною должности присвоенным".

Определили: Выразив профессору Н. А. Скабалановичу желание Совета, чтобы он продолжал чтение лекций в Академии сверхштатным профессором, представить установленным порядком Святейшему Синоду

---

[1] РГИА. Ф. 796. Оп. 165. Д. 537 (1884). Л. 1–2. Оппонентами докторской диссертации были проф. И. Е. Троицкий и доцент В. В. Болотов.

[2] Там же. Л. 5.

[3] Там же. Л. 6.

об увольнении его с 7 сентября сего 1903 года, согласно прошению, от должности профессора Академии с правом ношения в отставке мундира; ходатайство же о назначении ему пенсии сообщить для зависящих распоряжений Правлению Академии.

На сем журнале последовала резолюция Его Высокопреосвященства: 1903. Сентября 13. Исполнить».

Многолетний труд Н. А. Скабалановича был по достоинству оценен: 25-летие службы в 1898 г. отмечено производством его в действительные статские советники; ученый был награжден орденами Св. Станислава 2 степени (1886), Св. Анны 2 степени (1890), Св. Владимира 3 степени (1903), а также медалями в «Память царствования императора Александра III» и «300-летия царствования Дома Романовых» (Список гражданских чинов четвертого класса. Исправлен по 1 сентября 1916 г. Часть первая. Пг., 1916. С. 139).

Недолгий послереволюционный период его жизни практически вовсе не документирован. Можно лишь предполагать, что свои последние дни Н. А. Скабаланович провел в родных местах, в г. Гродно. Новые документы, найденные в Центральном Государственном Историческом архиве Санкт-Петербурга, могут служить доводом в пользу пребывания Н. А. Скабалановича в 1917 г. в г. Гродно. В приказе ректора Петроградской Духовной академии наставникам и прочим отставным лицам Академии от 5 сентября 1917 г. говорится: «Препровождая при сем для сведения и ознакомления копию ведомости, составленную на предмет эвакуации из Петрограда членов академической корпорации, а равно и служащих Академии, покорнейше прошу на сем же указать число членов своих семейств с подразделением их на взрослых и детей, а также относительно прислуги... и пункт следования, куда предполагает каждый член корпорации эвакуировать свои семейства на случай эвакуации учреждения. Предполагаемый пункт эвакуации Академии — Казань».[1] В списке мы находим фамилию Н. А. Скабалановича, но поскольку соответствующих разъяснений по данному поводу документы не содержат и против фамилии Николая Афанасьевича стоит прочерк, то, по всей вероятности, он уже в это время находился в г. Гродно. Печатный справочник «Весь Петроград на 1917 г. Отдел III» (С. 626) указывает, что Н. А. Скабаланович, заслуженный ординарный профессор, проживает по улице Консисторская, д. 2, но это не удивительно и не противоречит нашему предположению, ибо хорошо известно, что подобного рода издания всегда требуют обстоятельной и долгой подготовки; но о том, что

[1] ЦГИА СПб., Ф. 277. Оп. 1. Д. 3828.

Н. А. Скабаланович в 1916 г. еще жил в Петрограде, можно говорить с уверенностью.[1] Насколько нам известно, после его смерти не появилось ни одного некролога.[2]

Среди книг и статей Н. А. Скабалановича наибольший интерес представляет монография «Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина», изданная в Петербурге в 1884 г.[3] и, как упоминалось выше, принесшая автору степень доктора богословия. Ссылки на это капитальное исследование крайне редко встретишь в советской исторической литературе.[4] Оно — как и все научное творчество Н. А. Скабалановича — так и не стало объектом историографического изучения. Ученый взял предметом своего исследования один из самых темных и запутанных периодов в истории Византии. Это было время династических смут и переворотов, непрерывных войн с соседями. Такого рода периоды обыкновенно характеризуются, как писал И. Е. Троицкий, «крайней подвижностью и спутанностью всех и внешних, и внутренних отношений, естественно создают исследователям большие трудности».[5] Н. А. Скабаланович же решил остановиться на изучении не отдельных событий или сторон византийской жизни XI в., не на внешней, политической истории, которая уже не раз обращала на себя внимание исследователей, а на «всесто-

---

[1] Сведения об отпевании Н. А. Скабалановича в архивах петроградских церквей того времени нами не обнаружены, но гродненские справочные материалы за 1917–1918 гг. содержат упоминание об учителе местной гимназии Н. А. Скабалановиче (?).

[2] *Бенешевич В. Н.* Скорбная летопись//Русский исторический журнал. 1921. № 7. С. 251

[3] *Скабаланович Н. А.* Об апокрисисе Христофора Филалета. СПб., 1873; *Он же.* Византийская наука и школы в XI в.//Христианское Чтение. Март-апрель. СПб., 1884. С. 344–369; май-июнь. С. 730–770; *Он же.* Научная разработка византийской истории XI в.//Христианское Чтение. Июль-август. СПб., 1884. С. 162–180; *Он же.* Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. СПб., 1884; *Он же.* О нравах византийского общества в Средние века//Христианское Чтение. Январь-февраль. СПб., 1886. С. 544–592 и др. Работа Н. А. Скабалановича «Византийская наука и школы в XI в.» может рассматриваться как интереснейшая 11 глава к докторской диссертации автора.

[4] Как одно из исключений см., например: *Каждан А. П.* Деревня и город в Византии IX–X в. М., 1960. С. 337.

[5] Журналы общего собрания Совета Академии от 23 апреля 1884 г. СПб., 1885. С. 213.

роннем воспроизведении внутреннего состояния византийского государства и Церкви в данную эпоху».[1]

О размахе предпринятого исследования свидетельствует сам тематический охват монографии. Из ее 10 глав первые две содержат подробную информацию об императорском дворе, о придворных партиях, интригах, династических переворотах и т. д. Третья глава посвящена центральному управлению, в ней последовательно рассматриваются положение императорской власти, меры, предпринимаемые императорами для обеспечения прав на престол, участие народа в избрании императора, обрисованы придворный этикет и церемониал, культ императоров, анализируются организация и функции государственных учреждений. Следует заметить, что именно в этой главе Н. А. Скабаланович, отделив «чины от должностей»,[2] первым представил нам византийскую табель о рангах. В четвертой главе речь идет о областном управлении, анализируется организация фем, как округов военных, судебно-административных и податных, перечисляются все известные для данной эпохи фемы, суммируется информация источников о каждой из них. В пятой главе рассматриваются такие существенные вопросы социального и экономического строя византийского государства, как формы землевладения, податная система, отмечено большое влияние славянского элемента на социальный быт Византии, выразившееся в развитии свободного крестьянства и общинного землевладения. «Преобладающее значение в этом отношении, — по мнению ученого, — принадлежало славянскому племени, национальный гений которого играл в судьбах учреждений Восточной Римской империи роль аналогичную с той, какая в судьбах учреждений Западной Римской империи принадлежала гению германскому».[3] Далее в главе прослежено не только становление чиновной аристократии и двух категорий крестьянства: париков и общинников, но и происхождение, сущность и значение харистикарной и прониарной систем землевладения. Шестая глава посвящена вопросам организации податной системы, в ней рассматриваются разного рода платежи и повинности, способы сбора податей, а также важнейшие статьи государственных расходов.

---

[1] *Флоринский Т. Д.* Новый русский труд по истории Византии. [Рец. на кн.:] *Н. Скабаланович.* Византийское государство и Церковь в XI в. // Университетские известия. Киев, 1884. 8. С. 186.

[2] *Безобразов П. В.* Византия в XI в. [Рец. на кн.:] *Н. Скабаланович.* Византийское государство и Церковь в XI в. // Ж. М. Н. Пр. Ч. CCXXXVL. Ноябрь. 1884. С. 161

[3] *Скабаланович Н. А.* Византийское государство и Церковь. С. 230.

«Византийская податная система своей организацией ясно доказывает, — по утверждению историка, — что она составляет прямое наследие податной системы императорского Рима. В частностях обнаруживаются однако же черты, отличающие ее от этой последней, — замечается отличие в постановке бюджетного периода, в том значении, какое получили основные подати, и в том развитии, какое сообщено податям второстепенным и дополнительным»;[1] седьмая — описанию военного и морского дела, восьмая суду, в девятой главе обобщены сведения о положении Константинопольской патриархии, о синоде, церковной иерархии, большое место уделено освещению союза Церкви и государства. Н. А. Скабаланович считал, что «...знакомство с византийским государством не будет полно до тех пор, пока параллельно не изучена будет жизнь Церкви. Союз государства и Церкви в Византии простирался, — по его мнению, — даже слишком далеко».[2] В 10-й главе речь идет о политических, экономических и религиозных причинах роста монастырей, содержатся сведения о новооснованных монастырях и монастырских уставах, дается характеристика монашествующих, описывается влияние монашества на византийское общество и государство.

Столь многогранная тема докторской диссертации Н. А. Скабалановича была очень мало разработана в литературе. Ее всестороннему освещению мешала прежде всего нехватка источников. Н. А. Скабаланович проделал огромную работу по разысканию источников, имеющих отношение к XI в. Он впервые ввел в научный оборот многие византийские, западные и восточные письменные памятники.[3]

Свое понимание принципов работы с источниками историк изложил во введении к монографии. Скабаланович считал, что тщательный анализ источников — существенно необходимое условие для научной разработки исторического материала. Критическая оценка самого источника, по мнению исследователя, должна включать следующие элементы: определение места и времени его возникновения, личности автора памятника, выяснение отношения данного памятника к другим, современным

---

[1] Там же. С. 270.

[2] *Скабаланович Н. А.* Научная разработка византийской истории. С. 179.

[3] Следует заметить, что источникам «на греческом языке, которые появились в пределах византийского государства, Н. А. Скабаланович отводит первое место, второе — западно-европейским, особенно нижне-итальянским, написанным на латинском языке, третье — восточным, т. е. армянским, грузинским, сирийским и арабским» (*Безобразов П. В.* Византия в XI в. С. 153–154).

ему или однородным, анализ происхождения сведений, содержащихся в нем, выявление сравнительной ценности этих сведений.[1]

Важно отметить, что эта отнюдь не простая источниковедческая программа не оставалась лишь декларацией. В значительной мере она была реализована.

Как отметил П. В. Безобразов в своей рецензии на монографию, большая заслуга Н. А. Скабалановича в области источниковедения состояла в том, что «он первый у нас воспользовался неоднократными намеками В. Г. Васильевского и провел резкую грань между первоисточниками и компиляторами»,[2] указав на то, что они неравнозначны по своему значению. Первоисточники, утверждал ученый, имеют наибольшую ценность, ибо в них сведения исходят от современников, очевидцев. Источники же вторичного характера (по П. В. Безобразову — компиляторы) подобной ценности по отношению к заимствованной части не имеют, исключая случаи, когда они дополняют ее новыми подробностями или когда за утратой первоисточников им «по необходимости приходится отводить место, принадлежащее последним».[3] Ученый показал, трудами каких писателей пользовались Михаил Глика, Иоанн Зонара и др. Н. А. Скабаланович не принимал на веру то, что было до него сказано историками Византии. Он старался критически пересмотреть все сведения о события и людях с тем, чтобы после тщательной проверки, на основе совокупности всех источников и литературы предпринять собственную реконструкцию происходившего. Его труд содержит массу фактов, добытых ученым из самых разнохарактерных источников и прошедших самую придирчивую экспертизу. Особенно критический талант автора диссертации проявился в вопросах хронологии. Н. А. Скабаланович стремился не оставить необследованной ни одной даты, и, как писал проф. И. Е. Троицкий, «в этой сфере автор заявил себя с наилучшей стороны и оказал науке большие услуги».[4] Его критические замечания относительно письменных памятников, по нашему мнению, и сейчас представляют несомненную научную ценность для исследователей, занимающихся византийской историей XI в.

В монографии творческая манера Н. А. Скабалановича сполна проявила себя. С самого начала своего профессионального пути ученый при-

---

[1] *Скабаланович Н. А.* Научная разработка византийской истории XI в. С. 170–171.

[2] *Безобразов П. В.* Византия в XI в. С. 155.

[3] *Скабаланович Н. А.* Византийское государство и Церковь. С. II.

[4] Журналы общего собрания Совета Академии от 23 апреля 1884 г. С. 216.

держивался принципа, который будет им ярко сформулирован в речи «Научная разработка византийской истории XI в.», произнесенной на публичной защите диссертации на степень доктора богословия: «Историю принято называть учительницею народов, и если от какой науки и требуют практических уроков, то от истории. Может быть, в этом смысле предъявлено будет требование к моему труду. В ответ на это я прежде всего должен заявить, что не допускаю тенденциозности в серьезной исторической науке; история должна отличаться полным объективизмом и стремиться лишь к раскрытию исторической правды. Практические положения сами собой получатся и будут тем убедительнее, чем объективнее исследование».[1] Этот принцип пронизывает все творческое наследие ученого.

Кропотливое собирание и сопоставление фактов, углубленные источниковедческие разыскания не означают, что Н. А. Скабаланович был глух к тем животрепещущим проблемам, которые волновали научные круги и все общество пореформенной России. Показателен в этом смысле и авторский отбор объектов исследования, и подход к ним. Так, общеизвестно, какое место в жизни страны занимал в XIX в. аграрный вопрос, и как это обстоятельство по-своему преломилось в пристальном внимании В. Г. Васильевского, Ф. И. Успенского и ряда других, так сказать, «светских византинистов» к аграрной истории Византии, к положению ее крестьянства, к роли и судьбам общины...[2] Отсюда же, можно думать, проистекал и глубокий интерес Н. А. Скабалановича к вопросам аграрной истории, которым он в своей монографии уделил немалое внимание.

Следует напомнить, что в русской историографии традиционно уделялось значительное внимание и проблемам развития византийской государственности. Здесь прослеживаются тенденции, идущие от государственной школы с ее откровенной идеализацией государственной власти и взгляда на монархию как двигателя исторического развития. Свою лепту внесли и теория официальной народности, идеи теории славянофильства.[3] Особенно остро эти проблемы вставали, когда речь заходила об осмыслении русскими учеными преемственности форм отечественной государственности от государственности византийской, о проблеме «византийского наследства». Отечественные византинисты уделяли этой

[1] *Скабаланович Н. А.* Научная разработка византийской истории XI в. С. 175–176.

[2] *Курбатов Г. Л.* История Византии (историография). С. 106–122.

[3] Там же. С. 106–107.

теме огромное внимание, они изучали функционирование и сущность византийских государственных институтов, их особенности с целью уяснить своеобразие развития самой Византии и в широком смысле — византийского общества.[1] Естественная для нашей науки ориентация на интересы русской истории, на выявление роли и влияния «византийского наследия» с необходимостью повлекла за собой обращение и к истории собственно Византийской церкви в ее неразрывной связи с жизнью византийского общества и государства.[2] В ходе разработки проблематики, связанной с историей отношений Церкви и государства в Византийской империи, сформировалась концепция так называемой «византийской симфонии», «диархии» или «двуединства» светской и духовной власти в Византии. Исключительная ценность для русского богословия и светской византинистики конца XIX — начала XX в. этой концепции заключалась в том, что она противостояла концепции цезаропапизма, преобладавшей в то время на Западе, противостояла не на уровне декларации, а доказательно, представлением материала первоисточников, причем на основе объективного их анализа. Ее основоположником являлся Ф. А. Курганов (1844–1920), проф. Казанской Духовной академии.[3] Сконцентрировав внимание на раннем периоде византийской истории, на IV–VI вв., он заложил основы того нового направления в изучении общей истории Церкви, развитие которого шло в общем русле отечественной научной византинистики.

Весомый вклад в разработку концепции внес и Н. А. Скабаланович. Он подробнейшим образом на материале разнохарактерных источников тщательно проанализировал состояние государственных и церковных институтов XI в.[4]

---

[1] *Курбатов Г. Л.* Указ. соч. С. 116.

[2] *Курганов Ф. А.* Отношения между церковной и гражданской властью в Византийской империи в эпоху образования и окончательного установления характера этих взаимоотношений (323–565 гг.). Казань, 1880.

[3] *Он же.* Визинтийский идеал царя и царства и вытекающие отсюда по сравнению его с идеалом Церкви отношения между церковной и гражданской властью. Казань, 1881; *Заливалова Л. Н., Лебедева Г. Е.* «Византийская симфония»: к истории становления концепции// Византийское государство в IV–XV вв. Тезисы докладов XV Всеросс. научной сессии византинистов. Барнаул. 29 мая – 2 июня 1998 г. Барнаул, 1998. С. 83–91.

[4] К истории изучения «священства и царства»// Толерантность и агрессивность в истории и современности: Материалы круглого стола 25 июня 2002 г. Иваново, 2002. С. 36–43.

Основной вывод исследователя сводился к следующему: теснейший союз Церкви и государства вкупе с такими разнородными факторами, как монархический принцип, свободное крестьянство и Православие определял облик Империи в XI столетии.[1] Развитие церковных учреждений и церковного управления совершалось в Византии параллельно и в соответствии с развитием политических учреждений.[2] Государственная власть принимала деятельное участие в церковных вопросах, активно пользуется своим правом назначать на церковные должности и отстранять от них. В свою очередь духовные лица принимали деятельное участие в делах гражданских (занимали разные мирские должности в церковном и областном управлении, выступали посредниками между враждующими сторонами и т. д.). «Во многих случаях, — пишет Н. А. Скабаланович, — это шло вразрез с каноническими правилами, неканоничность сознавалась и высказывалась современниками».[3] Но все это, по мнению ученого, не затрагивало «положения вещей в их корне и не вносило никаких существенных изменений в фактический строй».[4] Нововведения наличествовали, но они были «частного свойства» и касались «частных обстоятельств» (усиление экономической власти патриарха и митрополитов, возвышение некоторых архиепископий и епископий на степень митрополий и т. д.).[5] Эти нововведения, на взгляд историка, «обнаруживают тенденцию к большей церковной централизации, вполне естественной ввиду развития тогда до крайней степени государственной централизации».[6]

Институциональный подход к изучению государственных структур как таковых, которого придерживался Н. А. Скабаланович, достаточно прочно укрепился в историографии. В силу этого общество в целом и его реальное влияние на власть зачастую оказывалось вне поля зрения исследователей. Такой подход, как правило, в немалой степени затруднял понимание характера византийской государственности, реальной роли ее институтов. Тенденцией же, все более набирающей силу в современной историографии, является глубокое изучение характера государственных институтов в неразрывной связи с эволюцией самого общества, а не сведения дела к персональным реформаторским устремлениям якобы абсолютно всевластных византийских императоров.

---

[1] *Скабаланович Н. А.* Научная разработка византийской истории. С. 179.

[2] *Он же.* Византийское государство и Церковь. С. 361.

[3] Там же. С. 316.

[4] Там же.

[5] Там же. С. 362.

[6] Там же.

Появление работы Н. А. Скабалановича стало настоящим событием в научной жизни. На нее появились рецензии выдающихся русских ученых: И. Е. Троицкого,[1] Т. Д. Флоринского,[2] П. В. Безобразова.[3] Отдавая должное достоинствам исследования, рецензенты сожалели о том, что, во-первых, автор слишком жестко соблюдал установленные им хронологические рамки и поэтому факты XI в. не были поставлены им в связь с подобными фактами других эпох византийской истории, и, во-вторых, в книге отсутствует характеристика внешнего положения Византии, «тогда как внутренняя жизнь государства бывает тесно связана с внешними политическими событиями и часто зависит от них».[4]

Главное же возражение сводились к тому, что Церкви уделено в работе гораздо меньшее место, чем государству. На этом основании при защите диссертации еще на заседании Совета Академии даже раздавались голоса против присвоения Н. А. Скабалановичу ученой степени доктора богословия.[5] Такой упрек показателен для настроений в историко-церковных кругах, нередко склонных толковать «симфонию» как союз двух абсолютно равных партнеров. Но он несостоятелен по существу. Основополагающий для Византии принцип «двуединства» государства и Церкви на деле не означал полного равенства сторон: светские властные структуры были гораздо более разветвлены и многофункциональны, и это было убедительно показано Н. А. Скабалановичем. «Церковь в Византии занимала второстепенное положение подле государства»,[6] поэтому и в работе, посвященной Церкви и государству, естественно, большее внимание было уделено последнему.

Нам представляется справедливой оценка проф. И. Е. Троицким докторской диссертации Н. А. Скабалановича: «Подобного рода работы

---

[1] Журналы общего собрания Совета Академии за 1884 г. С. 217–220.

[2] *Флоринский Т. Д.* Новый русский труд по истории Византии. С. 182–200.

[3] *Безобразов П. В.* Византия в XI в. С. 153–174.

[4] *Флоринский Т.* Указ. соч. С. 191–192.

[5] На заседании Совета Академии выступил проф. Т. В. Барсов, который категорически возражал против присуждения Н. А. Скабалановичу богословской степени. Он считал, что Николай Афанасьевич написал работу светского, а не богословского характера. Мотивация сводилась к следующему: 1. Отсутствует самостоятельная разработка богословских вопросов; 2. Церкви в работе уделено слишком мало внимания по сравнению с государством; 3. Весь церковный материал подан «под углом политической тенденции» (например, участие патриархов в политических событиях, исследуется только внешнее, государственное и общественное, положение монашества и т. д.).

[6] Журналы общего собрания Совета Академии от 23 апреля 1884. С. 217.

обыкновенно не поражают ни широтою взгляда, ни смелостью и оригинальностью выводов (ни для того, ни для другого обыкновенно не бывает в подобных случаях ни оснований, ни поводов). Их главное достоинство заключается в точности исследования и верности добытых результатов. Они обыкновенно расчищают почву для дальнейших исследований и подготавливают надежный материал для взглядов и выводов. Это и дает нам исследование автора и в этом заключается его великая и бесспорная заслуга перед наукой».[1]

Прошедшие десятилетия развития исторической науки дают основания усилить сделанные некогда положительные оценки монографии Н. А. Скабалановича, поставив их в контекст эволюции наших знаний о Византийской империи и византийских источниках. Действительно, по объему собранного материала, по уровню его исследования, по обилию проблем, поднятых в монографии Н. А. Скабалановича, можно с уверенностью сказать, что в русской исторической литературе мало сочинений подобного рода.

В опубликованной в 1884–1885 гг. работе «Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии» Н. А. Скабаланович рассматривает разделение Церквей как последствие «целой совокупности обстоятельств, слагавшихся веками». По мнению ученого, Михаил Керулларий «меньше других повинен в этом факте... обвинительный приговор должен лечь на заправителей политики (папской и византийской)».[2]

Особым знаком признания научных и педагогических заслуг Н. А. Скаблановича со стороны коллег явилось то, что 17 февраля 1886 г. он был удостоин чести произнести речь на годичном акте Санкт-Петербургской Духовной академии. Темой речи Н. А. Скабаланович избрал «Нравы византийского общества в Средние века». Речь наглядно продемонстрировала высокий научный уровень, достигнутый отечественной византинистикой в середине 80-х годов XIX в. Всем своим содержанием она обращена к современному Николаю Афанасьевичу русскому обществу. Это видно и из выбора хронологических рамок темы — с конца X в., «когда Русь стала учиться у Византии вере, благочестию, когда весь строй, господствовавший в византийской жизни, не одной религиозной, но и семейной, общественной, государственной представлялся нашим предкам как материал не только для изучения, но частично для подра-

[1] Там же. С. 216–217.

[2] *Скабаланович Н. А.* Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии//Христианское Чтение СПб., 1884. Ноябрь-декабрь. С. 626–656; 1885. Январь-февраль. С. 95–145.

жания».[1] Н. А. Скабаланович разделял и общую для людей его времени мысль о том, что анализ общественной нравственности должен показывать... и общественные недостатки.[2]

Н. А. Скабаланович в своей докторской диссертации и в других работах из области византийской истории не только обогатил науку новыми материалами источников, но и указал новые пути и методы их изучения. По историко-критическому подходу к источникам, по глубине анализа, методу изложения Н. А. Скабаланович стоит в одном ряду с Ф. А. Кургановым, В. В. Болотовым, И. Е. Троицким, Н. Н. Глубоковским и другими замечательными церковными историками второй половины XIX в. — начала XX в.

* * *

Я благодарю Наталью Михайловну Букштынович, сотрудника Санкт-Петербургского Государственного Исторического архива, и протоиерея Георгия Митрофанова за помощь в поисках документов, связанных с деятельностью профессора Н. А. Скабалановича.

Г. Е. Лебедева,
доктор исторических наук,
профессор Санкт-Петербургского
Государственного университета

[1] *Скабаланович Н. А.* О нравах византийского общества в Средние века. Речь, сказанная экстраординарным профессором Санкт-Петербургской Духовной академии Н. А. Скабалановичем на годичном акте 17 февраля 1886 г. // Христианское Чтение. СПб., 1886. Март-апрель. С. 544–592.

[2] Там же.

Н. А. СКАБАЛАНОВИЧ

ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В XI в.

От смерти Василия II Болгаробойцы
до воцарения Алексея I Комнина

ВИЗАНТІЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

И

ЦЕРКОВЬ

ВЪ XI ВѢКѢ,

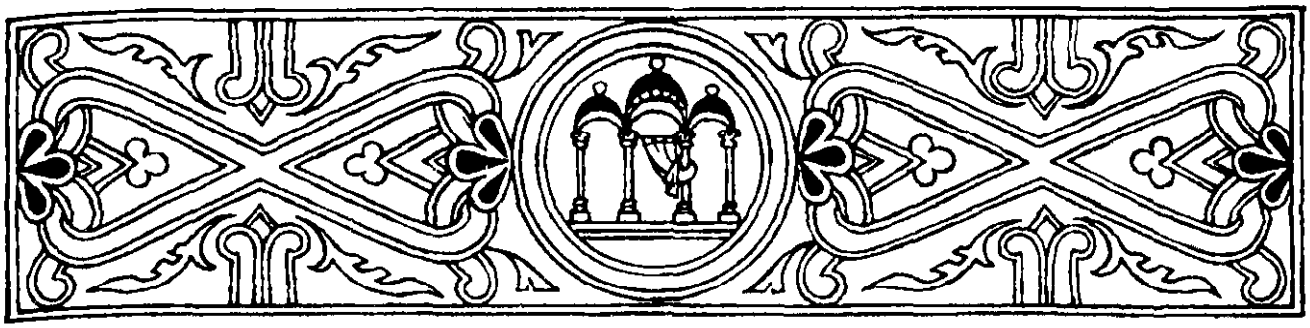
отъ смерти Василія II Болгаробойцы до воцаренія Алексѣя I Комнина.

СОЧИНЕНІЕ

Н. Скабалановича,

ДОЦЕНТА С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ѳ. Елеонскаго и К°. Невскій пр., д. № 134.
1884.



Научная разработка византийской истории XI в.*

(Речь, произнесенная доцентом Н. А. Скабалановичем 18 мая 1884 г. перед публичной защитой диссертации на степень доктора богословия под заглавием «Византийское государство и Церковь в XI в.»)

Преосвященнейшие архипастыри,
милостивые государи и государыни!

Миновало то время, когда византийская история была предметом не столько изучения, сколько пренебрежительного недоумения. В западно-европейской литературе сочинение Андлау,[1] явившееся лет девятнадцать тому назад, было едва ли не последним отголоском того рутинного взгляда на византийскую историю, представители которого, под влиянием антипатий, обусловленных противоположностью религиозных и политических интересов востока и запада Европы, ничего не видели в Византии, кроме династических переворотов и соединенных с ними насилий, и удивлялись, как эта Империя могла так долго существовать, целое тысячелетие спустя после того, как пала Западная Римская империя. Теперь и на Западе византийская история приобретает кредит: ученые чем далее, тем с большей охотой посвящают свои силы ее разработке и по мере разработки открывают новые интересные стороны в этой неведомой дотоле области. Удивляются уже не тому, что Греческая империя прожила тысячелетний период после того, как покончила свое существование Западная Римская империя, но удивляются

---

* Впервые напечатано в журнале «Христианское Чтение». 1884. Ч. II. С. 162–180.

[1] *Andlaw*. Die byzant. Kaiser. Mainz, 1865.

крепости государства, выдержавшего столько бурь и потрясений, целесообразности политических учреждений, сообщивших государственному организму прочность, удивляются богатству культурных начал, выразившемуся в памятниках языка, законодательства, архитектуры.[1] Если такой переворот относительно византийской истории произошел у западно-европейских ученых, которые в силу традиции могли смотреть на нее неприязненно, то для нас, русских и православных, гордящихся и дорожащих сокровищами вселенской истины, переданной через Византию, и имеющих основание самую живучесть и действенность византийских государственных учреждений объяснять воздействием славянского гения, — для нас отказаться от задачи всеми мерами содействовать выяснению минувших судеб Византии было бы преступлением против национальной чести или, по меньшей мере, прискорбным свидетельством нашего преклонения перед старыми западно-европейскими авторитетами, не современными, но бывшими в ходу десятки лет тому назад.

Западно-европейская историческая наука с особенным вниманием останавливается на тех отделах византийской истории, которые или изобилуют эффектными явлениями, или соприкасаются с историей западных государств. Таким образом произошло, что мы имеем специальные исследования и монографии об императорах-иконоборцах, о Константине VII Багрянородном, о Комниных. Но время от Василия II Болгаробойцы до Алексея I Комнина не был избрано ни одним ученым для специальных работ. Нельзя сказать, чтобы этот период лишен был капитальных событий и не имел значения. Тогда совершился прискорбнейший факт формального разделения Церквей, не представлявший, правда, для современников большого интереса, насколько можно судить по месту, отведенному ему у византийских историков, но повлекший за собой громадные результаты в будущем, имевший влияние на установление церковных и политических отношений Восточной и Западной Европы. Тогда предприняли свое наступательное движение против Европы турки, — движение, на первых порах задержанное благодаря тому, что Византия выступила грудью против диких азиатских орд, приняла на себя их первые удары и заслонила от их разрушительных инстинктов остальную Европу, но впоследствии окончившееся порабощением христианских народностей, подчинением игу неверных миллионов христиан, судьба которых до сих пор рисуется в отдаленной проблеме на фоне европейской политики и дипломатии. Тогда же Византия, при всем кажущемся затишьи, переживала минуты научно-литературного оживления, выра-

[1] *Krause*. Die Byzantiner d. Mittelalters. Halle, 1869. S. 3–8.

зившегося восстановлением византийской Академии, деятельностью ее дидаскалов и питомцев, — оживления, имевшего тем большую важность, что оно происходило накануне крестовых походов, сблизивших Запад с Востоком и открывших широкий путь с Востока на Запад греческой образованности, науке и искусству. Но как ни велико значение византийской истории в указанных и в некоторых других отношениях, оно выясняется путем многостороннего знакомства с ней, а не поражает взоров своей непосредственностью, наглядной убедительностью. Оттого этот период в глазах ученого мира и не заслужил предпочтения перед другими периодами, и между тем как для других периодов кое-что сделано, период от 1025 по 1108 г. пользовался ограниченным вниманием, ему лишь отводилось сравнительно небольшое место в общих курсах средневековой, в частности византийской, истории или же посвящалось несколько страниц в историко-географических описаниях отдельных местностей, островов и городов, входивших некогда в состав Византийской империи. Но в каком виде излагалось дело в этих произведениях? Это вопрос небезынтересный, он приводит к поучительному заключению насчет того, насколько правилен был метод, приложенный к изучению византийской истории.

Сначала скажем два-три слова о сочинениях с содержанием местного характера, посвященных истории и географии Эпира, Албании, Фессалии, Пелопоннеса, Ионийских островов и островов Эгейского моря. Их существует немало. Уже Гопф в своем биографическом перечне, напечатанном в 85 томе Энциклопедии Эрша и Грубера, поименовал 198 произведений этого рода, но после Гопфа коллекция значительно восполнилась. Насколько я мог познакомиться с этими сочинениями по тем из них, которые имеются в петербургских книгохранилищах, я пришел к тому выводу, что научное их значение для истории XI в. до того ничтожно, что без ущерба для существа дела возможно их вполне игнорировать. Во многих из них совершенно обойдено молчанием время от Василия Болгаробойцы до Алексея Комнина, а в тех из них, в которых оно затронуто, ничего нового не сообщается, и даже то, что хорошо известно, представлено в извращенном и изуродованном виде. Можно было бы привести для доказательства массу примеров, но мы не будем утомлять просвещенное собрание и ограничимся одним примером для каждого столетия. Вот «История Коринфа», составленная Спангенбергом и изданная в 1569 г.[1] В ней XI в. отведено всего две страницы, однако

[1] Chronicon Corinthiarum Historien und Geschicht vor Ankunft, Zunemmen, Begierung und Abgang der Statt Korinth. Durch *Cyriacum Spangenberg* zusammen bracht. 1569.

же и на этих двух страницах нашли себе место фактические и хронологические курьезы вроде того, что первая жена Константина Мономаха находилась в живых, когда он женился на Зое, что Исаак Комнин потому отказался от престола и ушел в монастырь, что был испуган бесом охоты (Iagteuffel), что Никифор Вотаниат вступил на престол в 1081 г., а Алексей Комнин в 1084 г. Или вот «История Корфу», написанная Андреем Марморой и изданная в 1672 г.[1] На трех страницах, отведенных здесь истории XI в., читаем еще больше несообразностей. Например, Михаил Пафлагон отождествлен с Михаилом Калафатом, и то, что относится к этим двум императорам, приписывается одному — Михаилу Пафлагону, как-то: женитьба его на Зое, отправление жены в ссылку, бунт против него народа и ослепление; сообщаются небылицы о Георгии Маниаке, Михаиле Стратиотике, Алексее Комнине: о первом говорится, что он был эпирским генералом, разбит Мономахом, против которого восстал, бежал в Корфу, здесь был схвачен жителями и отправлен под караулом в Константинополь; о втором, Михаиле Стратиотике, говорится, что он был женат на императрице Феодоре и вместе с ней царствовал по смерти Мономаха; третий, Алексей Комнин, называется братом Михаила Парапинака. Из названных двух сочинений одно — Спангенберга — написано на немецком языке, другое — Марморы — на итальянском. Но вот еще два сочинения на французском языке, имеющие предметом историко-литературное описание Ионийских островов; одно принадлежит перу французского консула Грассе-сен-Совера и издано в 1796 г.;[2] другое — перу начальника французского посольства, полковнику Сен-Винсенту, и издано в 1824 г.;[3] в первом истории XI в. посвящено четыре страницы, во втором — три, и оба буквально повторяют измышления Марморы: точно так же Михаил Пафлагон отправляет Зою в ссылку и сам подвергается ослеплению, точно так же Маниак спасается на остров Корфу и оттуда препровождается в Константинополь, точно так же Михаил Стратиотик оказывается супругом Феодоры, Алексей Комнин — братом Михаила Парапинака.

Затем, минуя сочинения по истории византийского права, а также по истории разделения Церквей и соприкосновенным вопросам бого-

[1] Della historia di Corfu descritta da *Andrea Marmora* nobile Corcirese. Venetia, 1672.

[2] Voyage historique, littéraire et pittoresque. Par Andre Grasset *Saint-Sauveur* jeun. A Paris, An VIII (de la rep. franç.).

[3] Histoire et description des iles Joniennes. Par Mr. le colonel *Bory de Saint-Vincent*. A Paris, 1824.

словской полемики, которые по самому свойству темы не могут дать полного удовлетворения исторической любознательности, бросим беглый взгляд на общие курсы византийской истории. Во главе стоит «История Восточной Римской империи» Лебо.[1] Из всех сочинений этого рода она излагает дело с наибольшей подробностью, и в этом ее главное достоинство. При всем том в ней большие пробелы вследствие незнакомства с некоторыми важными источниками; относительно источников, принятых в расчет, недостаток критики и, как результат, обилие хронологических и фактических промахов; в довершение всего — склонность автора сообщать изложению событий картинность и трагичность, не оправдываемую источниками. Лебо — патриарх новой византийской историографии, последующие писатели прямо или косвенно находятся в зависимости от него, не всегда обладают его достоинствами, но часто повторяют его недостатки, прибавляя и от себя новые. Гиббон в своей «Истории разрушения и упадка Римской империи»[2] привносит к особенностям Лебо еще тот оттенок, что под влиянием философии XVIII в. старается унизить христианскую религию, представив ее в глазах читателя суеверием. Разумеется, для того, кто знаком с основной тенденцией Гиббона, старания его тщетны, и когда он с таким воодушевлением изображает качества турецких султанов — Тогрульбека, Алп-Арслана, в особенности Малек-Шаха, которых противопоставляет христианским государям, то источник его восхвалений понятен. В первой половине текущего столетия создана более или менее прочная хронологическая основа для занятий по византийской истории благодаря работам Круга,[3] в особенности Муральта.[4] Но даже лучший из них, Муральт, не избежал важных ошибок, не везде фактически верен и хронологически точен, нередко без всяких оснований, совершенно произвольно размещает события и снабжает их датами, ничем не оправдываемыми. Немало его ошибок уже указано, например, профессором Васильевским в его исследованиях по истории Византии, а всякий, кто будет иметь дело с первоисточниками, убедится, что далеко еще не все ошибки исчерпаны. Шотландец Георг Финлей,[5] с помощью своего философского отношения к предмету, бесспорно, осветил некоторые темные стороны византийской истории, но и он не избежал справедливых упреков в том,

[1] *Le Beau*. Histoire du Bas-Empire.
[2] *Gibbon*. The history of the decline and fall of the Roman empires.
[3] Kritische Versuch zur Aufklärung byzant. Chronologie. S.-Pétersb., 1810.
[4] Essai de Chronographie byzantine. S.-Petersb., 1855–1871.
[5] History of the byzantine and greek Empires. Edinburgh, 1853–1854.

что не позаботился дополнить данные, найденные у Лебо и Гиббона, новыми источниками и был слишком доверчив к своим предшественникам.[1] Гопф своей «Историей Греции» оказал немаловажную услугу между прочим тем, что тщательно пересмотрел литературу предмета, но времени от Болгаробойцы до Алексея Комнина у него[2] посвящено лишь 12 страниц, и из них половина (трактующая о норманнах) представляет заимствование из сочинения De Blasiis'a.[3] Герцберг в «Истории Греции»[4] находится в полной зависимости от Гопфа, которого называет человеком всеобъемлющей учености и колоссальной начитанности, не свободен также от его влияния и в «Истории византийского государства»,[5] помещенной в роскошном издании Онкена. Известный автор многотомного сочинения о Григории VII, Гфрёрер, в «Византийской истории»[6] безукоризненно излагает итальянские и сицилийские события, знакомство с которыми у него было приобретено раньше, при составлении монографии о Гильдебранде, но когда он говорит о делах византийских и на основании византийских источников, он крайне недостаточен: существование первостепенных источников, которые до того времени были уже изданы (вроде «Истории» Атталиота), он не подозревает, скудость же источников второстепенных старается восполнить собственными догадками и предположениями. Этот же недостаток характеризует и Краузе, его сочинение «О византийцах в Средние века»: ограничившись немногими греческими историками и совершенно упустив из виду источники восточные и западные, а также произведения церковной письменности, он и не мог располагать полнотой сведений, а те скудные и отрывочные данные, какие были в его распоряжении, он лишил ценности своим беспорядочным изложением, беспрестанными повторениями, отсутствием плана и последовательности мыслей.

---

[1] Напр., считает излишним вдаваться в подробности отношений Романа Диогена к туркам на том основании, что вся эта история прекрасно, по его словам, изложена у Гиббона.

[2] *Hopf*. Geschichte d. Griechenlands//Ersch und Gruber. Encyklopädie. T. LXXXV.

[3] *De Blasiis*. La insurexione Pugliese e la conquista Normanna nel secolo XI. Napoli, 1864.

[4] *Hertzberg*. Geschichte d. Griechenlands. Gotha, 1876.

[5] *Hertzberg*. Geschichte der Byzantiner und des osmanischen Reiches, in Oncken's Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. Berl., 1882.

[6] *Gfrörer*. Byzant. Geschichten.

Наконец, что касается Папарригопуло, сочинением которого «История эллинского народа»[1] так хвалятся греки, то похвальбы их можно было бы несколько поуменьшить, внимательно сравнив эту историю с историями Лебо, Гиббона, Финлея и хронографией Муральта. Тогда оказалось бы, что если в чем обнаруживается самостоятельность и оригинальность этого историка, то главным образом в том, что он тщательно списывает «Хронику» Кедрина, не применяя, однако же, к ней критических приемов, как видно из того, что он ставит ее на одну доску с «Хроникой» Глики, и еще разве в том, что интересы эллинизма он ценит выше интересов Православия, как видно из его суждений по поводу истории столкновения Церквей.

Общее впечатление, получаемое от знакомства с сочинениями поименованных авторов, насколько они касаются интересующего нас периода, то, что ни на одном из них невозможно остановиться и сказать, что оно свободно от существенных недостатков. Есть между ними такие, при составлении которых авторы руководствовались работами своих предшественников, не находя нужным справляться с источниками, есть также и составленные по источникам. Но какими источниками они пользовались и как? Ни один автор не имел под руками всех известных в настоящее время источников для византийской истории XI в.; затем о тех источниках, которые были в распоряжении того или другого автора, не было составлено вполне определенного представления, взаимное отношение между ними не установлено, происхождение и сравнительная ценность заключающихся в них данных не выяснены. Вот откуда ведут начало все недостатки. Если бы изучение византийской истории шло по другому пути, не с конца, а с начала, если бы прежде группировки фактов и извлечения из них выводов было установлено значение самих фактов, а для этого определено значение источников, из которых факты черпаются, и притом не некоторых только, а всех, по возможности, то почва, на которой эти недостатки выросли, сама собой была бы устранена. Византийская история до тех пор не получит прочной постановки, пока этого предварительного условия не будет выполнено; ни один византинист в своих разысканьях не может быть уверен до тех пор, пока он не получит возможности опереться на критическом анализе памятников со стороны их содержания и формы. Правда, выполнить это условие нелегко, во-первых, потому что не все источники изданы, во-вторых, потому что из тех, которые изданы, далеко не все могут считаться изданными удовлетворительно, в-третьих, наконец, потому что

[1] *Παπαρρηγοπούλος*. Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Ἐν Ἀθήν., 1871.

труд критического анализа памятников чрезвычайно утомителен, поглощает много времени и усилий, и усилия не всегда искупаются добытыми результатами. Как бы то ни было, это — conditio sine qua non; в среде ученых эта научная потребность теперь осознана, и не только осознана, но и сделан шаг к ее удовлетворению. Первая попытка в этом смысле сделана Фердинандом Гиршем.[1] Занимаясь исследованиями по истории Нижней Италии в IX–X вв., он не мог не коснуться византийской истории и должен был обратиться к византийским источникам. Не найдя ответов на представившиеся ему вопросы ни в изданиях византийских памятников, ни в новейших исторических произведениях, он принялся за самостоятельную работу в пределах своего периода, стал изучать «Продолжение» Феофана, перешел затем и к источникам этого памятника — «Продолжению» Георгия и Генесию, а также к позднейшим хроникам, для которых «Продолжение» Феофана послужило в свою очередь источником. Содержание этих памятников он разложил по их составным частям, не касаясь, однако же, формальной стороны — критики текста.[2]

Таким образом, начало положено, и для занимающихся историей Византии в IX–X вв. сочинение Гирша может быть небесполезно. Но что касается XI в., то ничего подобного в западно-европейской исторической литературе не было сделано. Приступая к своему труду по византийской истории XI в. и выполняя его, я не имел в распоряжении исследований об источниках, которые могли бы выдержать аналогию с сочинением Гирша, и так как тщательный анализ источников — существенно необходимое условие при научной разработке исторического материала, то, за отсутствием готовых работ, я должен был сам произвести для себя эти работы. Результаты их в самом кратком и общем виде изложены во введении к моему сочинению. Хорошо ли, плохо ли работы произведены, верны или нет результаты, во всяком случае они, по-видимому, не сойдутся в некоторых пунктах с результатами одного ученого, сочинение которого в скором времени должно выйти в свет, если уже не вышло. О нем я должен упомянуть. Когда мой труд был доведен до конца и уже отпечатан, я, благодаря любезной предупредительности моего главного оппонента, глубокоуважаемого Ивана Егоровича Троицкого, о котором не я один сохраню благодарные воспомина-

[1] *Hirsch*. Byzant. Studien. 1876.

[2] Гирш руководствовался существующими изданиями и лишь для «Хроники» Генесия принял в расчет манускрипт, хранящийся в Лейпцигской библиотеке.

ния за его всегдашнюю готовность делиться своими научными и книжными сокровищами, получил изданную в 1883 г. в виде приложения к гимназической программе брошюру д-ра Уильяма Фишера, которая самим своим заглавием[1] указывает на родство с сочинением Гирша. Брошюра состоит из трех статей: 1) об Иоанне Ксифилине, патриархе Константинопольском, 2) о патриарших выборах в XI в., 3) о времени происхождения и авторах юридических памятников, приурочиваемых к XI в. Эти статьи составлены, по объяснению автора, в связи с его критическими работами над византийскими источниками для истории XI в. вплоть до Алексея I Комнина, каковы: «Записки» Пселла, «Хроники» Кедрина, Скилицы, Михаила Атталиота и позднейшие зависимые от них «Хронографии». Свои статьи, имеющие, по словам автора, более общий интерес, чем специальные исследования об источниках, он издал раньше этих последних. Когда же эти исследования будут изданы, автор в брошюре не говорит, и до сих пор я еще нигде не встречал объявлений об их издании. Работа Фишера касается тех именно источников, которые в моем введении внесены в первый отдел 1-й группы, а все то, что у меня отнесено ко второму и третьему отделам 1-й группы, а также ко 2, 3, 4 и 5-й группам. не затронуто Фишером. Судить о результатах, добытых этим ученым, разумеется, возможно будет только тогда, когда они будут обнародованы; если же я высказал предположение, что они не сойдутся в некоторых пунктах с моими результатами, то только имея в виду его брошюру и основываясь на словах автора, что брошюра составлена в связи с критическими работами над источниками. В этой брошюре обнаруживаются некоторые неверности и неосновательные суждения, представляющиеся странными в устах человека, специально занимающегося источниками; автор брошюры, кроме того, унижает достоинство данных, сообщаемых Пселлом, в то же время дает полную веру данным, которые внесены в «Хронику» Скилицы из легендарного источника. Все это говорит, по меньшей мере, о некоторой оплошности и недостатке проницательности.

Анализ источников, произведенный мной прежде остальной работы, не только содействовал выяснению взаимного отношения и сравнительной ценности источников, но также дал мне фактический материал для книги. Располагая этим материалом, я находил вполне сообразным с существом дела отвести ученым пособиям второстепенное место и обращал на них внимание более для того, чтобы предостеречь читателя от

[1] *Fischer.* Studien zur byzantinischen Geschichte des elften Jahrhunderts. Planen, 1883.

ошибок — фактических и хронологических. Так как моей целью было изучение византийского государства и Церкви в их домашней жизни и во взаимных отношениях, то, надеюсь, едва ли можно возражать против законности внесения в книгу тех предметов, которые составили содержание последних восьми глав (3–10), посвященных изображению внутреннего быта, системы управления — центрального и провинциального, устройства общественных отношений и главнейших проявлений государственной жизни, положения Церкви, ее представителей и вообще духовного сословия. Для полноты картины, может быть, не излишне было бы прибавить еще главу о состоянии науки и о народных нравах, но я позволил себе питать надежду, что читатели снисходительно отнесутся к моему желанию сократить объем книги и расходы по ее изданию, и предпочел напечатать эту главу в академическом журнале.[1] Относительно первых двух глав книги, посвященных характеристике византийских императоров, придворных партий, волнений и династических переворотов, я точно так же полагаю, что уместность их в моей книге не может быть серьезно оспариваема теми, кто знаком с выдающимися особенностями византийской жизни, наглядно выступающими в произведениях византийских историков.

Что прежде всего поражает при чтении византийских историков? Поражает односторонность в выборе предмета. Рассказ вращается преимущественно около личности императора и его двора; все не имеющее отношения к этому основному сюжету входит в содержание или случайно, или в высшей степени поверхностно, жизнь провинций и отдельных сословий точно не существует, индивидуальная деятельность стушевывается, — все поглощено столицей и особой царствующего государя. Рядом с повествованиями, относящимися к личности государя или двора, византийские историки наполняют страницы своих хроник рассказами о придворных интригах, борьбе партий и тесно связанных с нею заговорах и восстаниях. Этот характер исторических произведений вполне отвечает общему направлению жизни. Жизнь Греческой империи, получив сильный толчок к централизации еще в конце III в., стала неуклонно развиваться по этому направлению и действительно дошла до того, что вся как бы сконцентрировалась в одном столичном городе вокруг личности императора, так что история справедливо называется византийской и история Империи — византийской историей. Вследствие такого значения, достигнутого императорами, как конкретным выражением

[1] Византийская наука и школы в XI в. / / Христ. Чтение. 1884. Март–апрель, май–июнь.

государственной идеи, произошло — с одной стороны, что они сделались всевластными, с другой, — что их личный характер, достоинства и недостатки получили слишком большое влияние на весь ход государственной жизни. Это — один момент. Но был еще и другой, в котором первый момент находил себе ограничение. Таким ограничивающим моментом был византийский консерватизм, благоговение к формам жизни, выработанным стариной и освященным обычаями. Абсолютным деспотом в Византии собственно был не император, но этот формализм, приверженность к обычаям и раз установившимся порядкам. Преклонение перед формой было причиной устойчивости как хороших, так и дурных сторон политического и общественного быта. Отсюда — необыкновенное развитие и широкое применение разных обрядов и церемоний, отсюда же грубый и дикий способ обнаружения общественного мнения путем вооруженного протеста народной массы против высшей государственной власти. Этот примитивный обычай выражать народное настроение выработался еще во времена первых римских императоров в связи с отсутствием определенного порядка престолонаследия; на почве его велись интриги, созревали заговоры; бесконечный ряд претендентов и соискателей престола, опираясь на него, строил свои честолюбивые планы. Таким образом, на всем протяжении византийской истории выступают две ограничивающие друг друга силы: императорская власть — с одной стороны, общественное мнение в его грубой форме — с другой. В государственном строе обе силы имели весьма важное значение, и поэтому историки так внимательно ими занимаются. Кто не ограничивается поверхностным взглядом на исторические явления, но способен проникать в их внутренний смысл, тот согласится, что характеристика императоров важна не потому только, что читать ее занимательно, но и что византийские интриги, заговоры, бунты означают нечто большее, чем простые придворные дрязги. И так как лишь под условием выяснения образа мыслей и личного характера императоров и степени воздействия на императоров общественного мнения возможно правильно объяснить происхождение тех или других фактов, такое, а не иное направление не только государственной и общественной, но также религиозной и интеллектуальной жизни, то я счел себя обязанным отвести этому предмету надлежащее место в книге, и именно в начале ее, чтобы дальнейшее изложение могло быть понятнее.

Еще несколько слов. Историю принято называть учительницей народов, и если от какой науки требуют практических уроков, то именно от истории. Может быть, в этом смысле будет предъявлено требование и к моему труду. В ответ на это я прежде всего должен заявить, что не

допускаю тенденциозности в серьезной исторической науке; история должна отличаться полным объективизмом и стремиться лишь к раскрытию исторической правды. Практические приложения сами собой получатся и будут тем убедительнее, чем объективнее исследование. И я в своем сочинении избегал тенденции, удерживался от заключений утилитарного свойства, но, понятно, такие заключения у меня сложились; должны они сложиться и у читателей, которые отнесутся к изложенным в сочинении фактам без предвзятой мысли. Здесь позволю себе сделать лишь намек на главнейшее. Прежде всего, занятия византийской историей вообще и историей XI в. в частности приводят к непоколебимому убеждению, что государственное здание может прочно и крепко стоять на двух столбах — монархии и свободном крестьянстве, что между этими двумя учреждениями существует неразрывная связь, и если монархический принцип находит себе лучшую опору в крестьянстве, то и крестьянская свобода имеет своего естественного союзника и надежного покровителя в монархизме. Монархия и свободное крестьянство отличали Византию во все продолжение средних веков, в XI же веке они выступают с тем большей рельефностью, что тогдашняя Западная Европа была устроена на совершенно других началах. XI в. был для Западной Европы веком полного расцвета феодализма, сущность которого заключалась в появлении множества мелких деспотий, развившихся за счет законно и правильно организованной правительственной власти, — в каждой феодальной территории стоял наверху деспот, в лице феодала, не признававшего другого закона, кроме собственного произвола, другого авторитета, кроме меча и копья, внизу — бесправная и жалкая народная масса, те несчастные вилланы, которые служили ничтожной игрушкой в руках господ, которых господа могли заключать в тюрьму и вешать по собственному усмотрению, отдавая отчет в своих поступках одному Богу, у которых они без церемонии могли отнимать имущества, разорять хижины, топтать посевы, которых могли, наконец, в силу обычного права подвергать всевозможным нравственным пыткам, оскорбительным для человеческого достоинства. Западно-европейский феодал с презрением смотрел на Византию, считал ее страной рабства, византийцев называл холопами, но это значило лишь, что он видел сучок в глазу брата, в своем же не замечал бревна: на греческом Востоке существовала не коллекция деспотий на западно-европейский манер, но одна Империя; громадная разница заключалась в том, что на Востоке был один монарх, а на Западе было множество деспотов, благодаря этому на Западе меньшинство высасывало жизненные соки из большинства, на Востоке же единая императорская власть нивели-

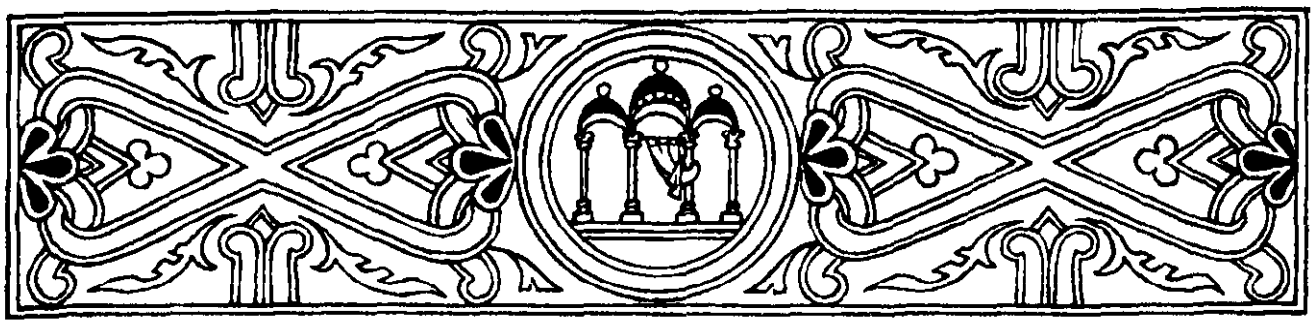
ровала общество и охраняла массу народа от эксплуатации меньшинства; не было в Византийской империи загнанного, нравственно униженного и материально подавленного общественного слоя, который бы напоминал западно-европейских вилланов, все население состояло из подданных одного монарха, и базис общества составляло вольное крестьянство, группировавшееся в общине или жившее на правах присельничества и свободного перехода. Какое устройство — западно-европейское или византийское — отличается большей гуманностью, человечностью? Не нужно пристрастия, чтобы дать правильный ответ на этот вопрос, здравый смысл и нравственное чувство подскажут даже тому, кто и не подозревает, что западно-европейское устройство есть продукт германского гения, а устройство византийское в той части, которая касается крестьянства, — продукт гения славянского. На вопрос же о том, какое устройство более отвечает нормальным потребностям человеческих обществ и государств, ответ дан историей: в Византии оно держалось прочно до последней минуты существования государства, в Западной Европе оно рушилось под напором народной ненависти и вследствие несоответствия со здравыми требованиями, предъявленными жизнью.

Затем, знакомство с византийской историей укрепляет нашу уверенность в жизненной силе Православия и плодотворности теснейшего союза Церкви с государством. В наше время многие, сжившись с известным строем, не могут объяснить себе, каким образом Византия разрешила неразрешимую по нынешним понятиям задачу: как произошло, что она существовала, не будучи связана узами национального единства, совершенно равнодушная к своему племенному и этнографическому составу, предоставляя различным национальностям гражданство и возможность оспаривать права на первенство. По современным представлениям немыслимо, чтобы государство могло существовать без одной какой-нибудь господствующей национальности, которая всюду первенствовала бы и всему задавала тон; между тем византийское государство прожило опаснейшие минуты без этого условия. Этот загадочный для многих факт находит себе полное объяснение в том, что в основе всей жизни в ее разнообразных проявлениях лежала великая нравственная сила, восполнявшая недостаток национального единства, связывавшая узами, не уступавшими по крепости племенным узам. Сила эта — вера православная, благодаря которой государство в состоянии было вынести столько бурь, устоять против стольких потрясений — внутренних и внешних — и которая по самому своему свойству, ей только присущему, способна приносить блага государству и обществу, потому что живет в теснейшем союзе с государством и обществом. И на

западе Европы христианство служило основой цивилизации, и там люди жили и действовали по началам христианским. Но римско-католический мир не дорожит таким общением Церкви и государства, папство стремится не к компромиссу и теснейшему единению, но к торжеству над государством, к подчинению его себе. Оттого история прошлого показывает нам, что на Западе царила вражда, разрушительные противогосударственные элементы примыкали к папству для достижения своих корыстных целей. Православная Византия не знала такого антагонизма. Государство принимало ближайшее участие в делах Церкви и в нужде являлось к ней на помощь, в свою очередь Церковь участвовала в делах государственных и помогала государству. Взаимодействие между ними было полное, дошло до того, что две области сплелись неразрывно, и в настоящее время изучающий минувшие судьбы Греко-Восточной церкви в средние века не поймет их вполне, пока не изучит судеб государства, и наоборот, знакомство с византийским государством не будет полно до тех пор, пока параллельно не изучена будет жизнь Церкви. Союз государства и Церкви в Византии простирался даже слишком далеко. В настоящее время мы, вероятно, были бы удивлены, если бы лицо из монашествующего духовенства получило назначение на пост канцлера Империи или генерал-губернатора. В византийском же государстве такие назначения были делом заурядным и ни для кого неудивительным: все находили совершенно естественным, если иерарх Православной Церкви и даже простой инок, обладавший государственными талантами, был предпочитаем родовитым, но бесталанным советникам-аристократам и назначаем был на должность первого министра или правителя области. Доведенный до крайности, союз Церкви с государством послужил даже источником некоторых злоупотреблений, но эти злоупотребления терпелись, как явления в человеческих отношениях неизбежные, терпелись ради того блага, которое получалось от общения Церкви и государства.

Вот выводы, если угодно, практические, утешительные для сердца русского, православного. Когда речь идет о значении монархического принципа и свободного крестьянского сословия, о силе веры православной и действенности союза государства с Церковью, — она идет о предметах слишком нам близких и родных, а когда история непреодолимой силой факта, способного устоять против всевозможных искусственных теорий, иллюстрирует перед нами с помощью чужого опыта жизненность и глубокую целесообразность наших государственных начал и коренных учреждений и нашего религиозно-общественного строя, — то эта история заслуживает того, чтобы отнестись к ней внимательно и с уважением.

Что касается разного рода частных выводов научного свойства, к которым я пришел в своем труде по тем или иным вопросам, то перечислять их в настоящем случае было бы излишне, тем более, что кто из присутствующих не знаком с содержанием книги, может составить об этом некоторое понятие на основании тезисов. Относительно же правильности этих выводов судить, разумеется, не мне, но прежде всего моим достопочтеннейшим оппонентам, и затем всем вообще просвещенным читателям. Об одном только я просил бы просвещенных читателей: не забывать, что автор писал книгу, имея в виду главным образом специалистов, для которых некоторые отступления и разъяснения были бы излишними и для которых важна не фраза, но дело, что при составлении книги автор, располагая массой неразработанного материала, должен был заботиться не столько об отделке фразы, сколько о том, чтобы сохранить факт и не упустить из внимания его настоящего значения. Словом, прошу судить меня по законам исторической критики, а не по правилам стилистики.



ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В XI ВЕКЕ

от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина

Введение

Смерть Василия II Болгаробойцы и воцарение Алексея I Комнина составляют две крайние грани, отделяющие 56-летний период, который отличается в византийской истории затишьем, сравнительно со временем предшествующим и последующим. Отсутствие особенно выдающихся событий и блестящих предприятий, обыкновенно привлекающих взоры современников и потомства, послужило одной из причин, что этот период менее других разработан исторической наукой. Своим трудом мы желали бы внести посильную лепту в дело его разработки.

Нашей задачей было изучение византийского государства и Церкви в их, так сказать, домашней жизни, помимо отношений к другим государствам и Церквам. Предмет и в этих суженных рамках был настолько обширен, что по многим пунктам пришлось ограничиться простым указанием на результаты, не входя в обстоятельную аргументацию. При выполнении задачи существующие ученые пособия приняты во внимание, насколько они представляли интерес по некоторым вопросам. Немало оказалось вопросов, на которые в исторической литературе не дано ответов или даны ответы неудовлетворительные. Сочинения, посвященные изложению истории Византии или Греции, как-то: Лебо, Гиббона, Финлея, Гопфа, Папарригопуло, Гфрёрера, Герцберга, касаются по преимуществу внешней истории и мало места уделяют истории внутренней; сочинения, имеющие своим содержанием генеалогию, хронологию и ви-

зантийское устройство, как-то: Дюканжа, Муральта, Краузе, Цахариэ, частью устарели, частью ненадежны по обилию ошибок и пробелов, частью недостаточны по самому свойству темы. Наибольшую ценность представляют статьи русского ученого, профессора В. Г. Васильевского.[1] Во всяком случае, потребовался пересмотр источников, чтобы по достоинству оценить то, что до сих пор сделано, и что еще остается сделать.

На нижеследующих страницах читатель найдет перечень тех источников, которыми мы имели возможность пользоваться, равно как оправдание того приема, которого мы держались при пользовании. Большинство средневековых писателей, особенно византийских, тесно примыкают друг к другу, последующие руководятся произведениями своих предшественников, иногда называя своих руководителей, иногда умалчивая о них. Значение их неодинаково. Неоспоримую важность имеют памятники оригинальные, в которых показания исходят от современников, очевидцев и достоверных свидетелей. Памятники производные не имеют важности по отношению к заимствованной части, исключая случаи, когда они дополняют ее какими-нибудь новыми подробностями, или когда, за утратой первоисточника, им по необходимости приходится отвести место, принадлежащее первоисточнику. Нельзя назвать вполне научным прием, нередко практикующийся в исследованиях, когда наряду со ссылкой на сочинение современника, имеющее значение первоисточника, делается ссылка на автора, сообщающего чужое сведение, и обе ссылки считаются равносильными по доказательности. Мы, опираясь на предварительное сличение текстов, приводили первоисточник, а рядом помещали в скобках источники производные, заимствованные из него непосредственно или посредственно. Те места производного источника, которые заключают в себе какие-нибудь изменения, дополнения и объяснения и могут считаться оригинальными вставками, или которые заимствованы из памятников, до нас дошедших, мы оставили без скобок, разумеется, если оригинальность произошла не от ошибочного понимания автором своего источника, не от неисправности рукописей и других подобных причин.

Источники располагаем по группам, принимая главным образом во внимание различие их по внутреннему характеру, зависевшее от причин и задач, вызвавших их появление на свет, не упускаем однако же из виду и норм группировки по внешним признакам, по времени и месту происхождения.

---

[1] Названия сочинений и статей, принадлежащих как поименованным авторам, так и другим, которые приняты нами во внимание, будут приведены в соответствующих местах подстрочных примечаний.

I

Первая группа исторических памятников, слагающаяся из историй, записок, хроник и летописей, по материалу самая обильная и по значению наиболее важная. Памятникам этого рода на греческом языке, явившимся в пределах византийского государства, принадлежит первое место, второе — памятникам западно-европейским, особенно нижнеитальянским, написанным на латинском языке, третье — восточным, т. е. армянским, грузинским, сирийским и арабским.

А) Греческие памятники

1) Записки *Михаила Пселла*,[1] знаменитого ученого и политического деятеля, который почти непрерывно вращался при дворе (приблизительно с 1041 по 1075 г.) и имел возможность близко ознакомиться с событиями и лицами.

Записки Пселла состоят из двух частей, разделенных вступлением на престол Константина Дуки. Обе части написаны в разное время, по разным побуждениям и, вероятно, в первое время представляли собой два отдельные сочинения.[2] Первая часть написана по просьбе какого-то дру-

---

[1] *Sathas*. Bibliotheca graeca medii aevi, IV. Paris, 1874. Обстоятельная рецензия на издание Сафы, с указанием допущенных им неисправностей текста, помещена проф. Пандазидом в Ἀθηναῖον σύγγραμμα, Ἀθήνησιν, τόμ. III, VII, VIII. До издания Сафы были опубликованы лишь некоторые отрывки записок в латинском переводе Комбефиза у *Паджи*, Crit. Historic. ad Baronium, IV, 204–208, и в греческом подлиннике у Дюканжа в его глоссарии под словом πρόεδρος, а также в примеч. к тексту *Зонары*, edit Dindorfii, VI, 170, 173–177, 180, 182, 189, 190.

[2] Вероятность имеет своим основанием: а) то обстоятельство, что Скилица пользовался записками Пселла, начиная со времени Константина Дуки, т. е. одной второй частью; б) то, что заглавие записок в кодексе Парижской национальной библиотеки № 1712, по которому сделано издание Сафы, обнимает одну первую часть: χρονογραφία πονηθεῖσα τῷ πανσόφῳ μοναχῷ Μιχαὴλ τῷ ὑπερτίμῳ, ἱστοροῦσα τὰς πράξεις τῶν βασιλέων, τοῦ τε Βασιλείου καὶ Κωνσταντίνου τῶν πορφυρογεννήτων, τοῦ τε μετ' αὐτοὺς Ρωμανοῦ τοῦ Ἀργυροπόλου, τοῦ μετ' ἐκεῖνον Μιχαὴλ τοῦ Παφλαγόνος, τοῦ ἀπὸ καισάρων ἄρξαντος μετ' αὐτόν ἀνεψιοῦ τούτου Μιχαὴλ, τῶν ἐξῆς δύο αὐταδέλφων καὶ πορφυρογεννήτων τῆς τε κυρᾶς Ζωῆς καὶ τῆς κυρᾶς Θεοδώρας, τοῦ σὺν αὐταῖς Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, τῆς μονοκρατορίσσης θατέρας τῶν δύο ἀδελφῶν κυρᾶς Θεοδώρας, τοῦ μετ' ἐκεῖνον (мужской род местоимения показывает, что после Θεοδώρας пропущено τοῦ μετ' ἐκείνην Μιχαὴλ τοῦ

га, которого автор называет «любезнейшим из всех мужей».[1] Не лишена правдоподобия догадка, что под безымянным другом разумеется патриарх Константин Лихуд; догадка оправдывается отношениями Пселла к Лихуду и преобладающим содержанием первой части записок. Пселл был связан с Лихудом узами дружбы и благодарности, Лихуд помог ему составить карьеру, поддерживал его своим влиянием при дворе. Центром повествования Пселла служит то время, когда он вместе с Лихудом, рука об руку, с наибольшим успехом и славой трудился на политическом поприще, т. е. прежде всего царствование Константина Мономаха, затем царствование Исаака Комнина; оба эти царствования изложены в связном и цельном очерке. У Лихуда, естественно, могло родиться желание сохранить для потомства сведения о лучшей поре своей политической деятельности, и он мог обратиться с просьбой к облагодетельствованному им Пселлу, который лучше всякого другого мог выполнить задачу; предпочтительное же оттенение в записках двух эпох, с которыми у Лихуда и Пселла были соединены самые дорогие воспоминания, легко объясняется сколько пристрастием автора к этим эпохам, столько же тем обстоятельством, что первым читателем записок, по инициативе которого они были предприняты и которому прежде всего должны были доставить внутреннее удовлетворение, был Лихуд. Составление записок производилось не ранее 1059 г., после вступления Лихуда на патриарший престол, как это видно из прямых указаний. Автор говорит, что о Мономахе он писал «по памяти»,[2] а в рассказе о посольстве к Комнину (1057), когда речь заходит о Лихуде, который однако же по имени и здесь не назван,

---

Στρατιωτικοῦ(...правившего после нее Михаила Стратиотика)) Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ, καὶ ἕως τῆς ἀναῤῥήσεως Κωνσταντίνου τοῦ Δούκα. — Хронография мудрейшего монаха ипертима Михаила, повествующая о деяниях порфирородных василевсов Василия и Константина, царствовавшего после них Романа Аргиропула, царствовавшего после него Михаила Пафлагонца, царствовавшего после него его племянника Михаила (того, кто сначала был кесарем), правивших вслед за ним двух порфирородных сестер, госпожи Зои и госпожи Феодоры, делившего с ними престол Константина Мономаха, госпожи Феодоры (одной из сестер, правившей единодержавно)... царствовавшего после него Исаака Комнина — вплоть до провозглашения императором Константина Дуки. — *Пер. Я. Н. Любарского* (Мы оставляли греческие и латинские цитаты без перевода в тех случаях, когда их точный перевод содержится в русском тексте Н. А. Скабалановича. — *Прим. науч. ред. настоящего издания Д. А. Черноглазова*).

[1] *Psell* (ed. Sathas)., IV, 135–136: συγγραφήν, φίλτατε πάντων ἀνδρῶν... ἀπῄτησας.

[2] *Psell.*, IV, 136: κατὰ μνήμην.

вставляет замечание, что потом он занял патриарший престол, и этим показывает, что, когда он писал, вступление Лихуда на престол было уже совершившимся фактом. Что не только окончание первой части записок (время Комнина), но и начало (время Василия II и его преемников) написано не ранее 1059 г., об этом можно заключать из заявления Пселла, что он избегал подробностей, для описания которых потребовалось бы продолжительное время,[1] другими словами, что он выполнил свой труд в короткое время; этого автор не мог бы сказать, если бы между началом труда и его окончанием был значительный промежуток. Получается, таким образом, крайний предел, за который не восходят записки по времени своего появления на свет, именно 1059 год. Другой крайний предел не требует разысканий, если только верна мысль, что под другом, по просьбе которого составлены записки, имеется в виду Лихуд. Константин Лихуд скончался в 1063 г., следовательно, и записки не могли явиться позже этого срока. Но если бы даже признана была неосновательной догадка, что записки составлены по просьбе патриарха Лихуда, то и в таком случае пришлось бы раздвинуть рамки лишь на четыре года — вместо 1063 поставить 1067 (год смерти императора Константина Дуки), так как во второй части записок есть намек, что первая известна Константину Дуке.

Вторая часть записок посвящена истории дома Дук, имеет вид фамильных записей и составлена по желанию Дук. Император Константин Дука, прочитав, вероятно, первую часть записок, пожелал, чтобы он сам и его дом тоже были прославлены, найдя себе место в истории, и взял с Пселла обещание посвятить свой историографический талант этому предмету.[2] В царствование Михаила Парапинака Пселл, не отвлекаемый заботами об управлении, имел достаточно досуга, чтобы исполнить данное обещание. Без всякого побуждения с чьей-нибудь стороны[3] он принялся за работу, описал уже царствование Константина Дуки и приступил к истории его сына Михаила, когда вмешался в дело этот последний и предложил на усмотрение Пселла свою автобиографию.[4] Из выражений, употребляемых автором о Михаиле, вроде того, что он пишет о живом государе, которого часто видит,[5] вытекает заключение, что вторая часть записок

---

[1] *Psell.*, IV, 135.

[2] *Psell.*, IV, 260.

[3] Замечание Сафы, *Psell.*, IV, prol., CXVII, что эту часть записок Пселл написал *по требованию* и под наблюдением Михаила Парапинака, не находит оправдания.

[4] *Psell.*, IV, 292–293.

[5] *Psell.*, IV, 283.

начата и окончена при Парапинаке, до удаления Пселла от двора, т. е. около 1071–1075 гг.

Различие побуждений при написании обеих частей записок отразилось на различии в их характере, при некоторых чертах сходства. Общая их черта та, что автор в той и другой части не задается целью делать подробное описание событий в хронологически последовательном порядке. Задача его — изложить главное, не вдаваясь в подробности, и изложить это не по годам, а в той последовательности, в какой память воспроизводила перед его умственным взором картины минувшего.[1] Напрасно мы стали бы искать у Пселла детального воспроизведения фактов внутренней, а тем более внешней жизни, и извлекать из его показаний хронологические даты; таких деталей, имеющих значение для всестороннего исторического знания, у него не найдем, его хронология не всегда точна. Зато страницы его записок изобилуют удачными эскизами; портреты многих лиц, с их нравственной и физической стороны, набросаны умелой рукой; читатель встречает ряд живых очерков из тогдашней жизни, которые приятно поражают среди сухих, однообразно сходных между собой византийских хронографов и примиряют с недостатком фактических подробностей. Затем черта сходства между обеими частями заключается в однообразии приема, с помощью которого автор примиряет чувство благодарности к благодетельствовавшим его государям с чувством правдивости и исторического беспристрастия. Прием этот — умолчание. Он считал предосудительным говорить дурно о государях, которые делали ему добро, и в то же время считал недостойным себя прибегать к искажению фактов, превращению дурного, заслуживающего порицания, в хорошее и похвальное. Лучший выход из затруднения автор усмотрел в том, чтобы говорить только о хорошем, дурное же обходить молчанием.[2] Но степень применения системы умолчания не одинакова в обеих частях и в этом главным образом состоит различие между ними. Так как в первой части он писал о государях, сошедших со сцены, и предназначал сочинение человеку, не заинтересованному в том, чтобы сказано было о них одно хорошее, то чувство признательности у Пселла должно было выдержать борьбу с чувством справедливости, окончившуюся тем, что тому и другому отведено свое место: много позорного из жизни Мономаха, без сомнения, обойдено молчанием, но и того, о чем упомянуто,[3] вполне достаточно, чтобы судить, каковы были слабые стороны этого государя. Вторую

[1] *Psell.*, IV, 117, 135–136.

[2] *Psell.*, IV, 114.

[3] *Psell.*, IV, 126 sq., 178–179.

часть записок Пселл писал для Дук и должен был заботиться о том, чтобы не оскорбить самолюбия своих августейших читателей; чувство беспристрастия не покидало и здесь автора, оно пробивается в неодобрительных отзывах его о политике Константина Дуки,[1] однако же, в общем преобладает хвалебный тон, и автор становится более сдержанным. Отсюда произошло, что вторая часть записок отличается краткостью, сравнительно с первой, — в особенности же сжато и недостаточно изложено царствование Парапинака, которое не могло похвалиться преобладанием светлых сторон над мрачными.

Особенности записок Пселла, общие обеим частям и свойственные каждой в отдельности, определяют уже ценность заключающегося в них исторического материала. По живости картин и стремлению к беспристрастному изложению труд Пселла занимает видное место в ряду исторических памятников, и это нужно сказать относительно сочинения в полном его составе. В то же время отдельные части его, оцениваемые по их сравнительному достоинству, имеют неодинаковую степень важности; вторая часть записок имеет меньшую важность в смысле исторического памятника, чем первая. В свою очередь, каждая из двух частей распадается на отделы, неодинаковые по степени важности, и подобно тому как во второй части отдел последующий, посвященный изложению царствования Михаила Парапинака, менее важен, чем предшествующий, излагающий правление Константина Дуки, Евдокии и Романа Диогена, точно так же в первой части, наоборот, каждый предшествующий отдел уступает в важности отделу последующему: отделы о Василии II и Константине VIII менее важны, чем отдел о Романе Аргире; о Романе менее важен, чем о Михаиле Пафлагоне; о Михаиле Пафлагоне менее важен, чем о Михаиле Калафате и его преемниках до Константина Дуки. Если во второй части неодинаковая важность отделов обусловливается обстоятельствами, сопровождавшими составление Пселлом записок, то в первой она зависит главным образом от качества тех источников, из которых Пселл почерпал свои сведения.

Первая часть записок Пселла состоит из семи отделов (τόμοι). В первом отделе изложено царствование Василия II Болгаробойцы. Сам автор замечает, что лично он не компетентен, не видел и не слышал Василия II, скончавшегося во время его детства;[2] сведения об этом императоре заимствованы им у других,[3] и в частности в сочинениях, посвященных

[1] *Psell.*, IV, 265–266.

[2] В год смерти Василия II Пселлу было 7 лет.

[3] *Psell.*, IV, 30.

изображению его царствования.[1] Какие здесь имеются в виду сочинения, с достоверностью сказать нельзя, потому что самые сочинения до нас не дошли; мы имеем хронику Льва Диакона, доведенную до смерти Иоанна Цимисхия (976), и затем записки Пселла, примыкающего ко Льву Диакону и начинающего с того момента, на котором остановился Лев.[2] Можно только предполагать, что в числе сочинений, о которых говорит Пселл, была недошедшая до нас хроника Иоанна Евхаитского, современника и учителя Пселла. Личные отношения Пселла к Иоанну могли обратить его внимание на эту хронику, а судя по стихотворению Иоанна Евхаитского,[3] хроника, кроме времени предшествующего, могла обнимать царствование Василия II и даже Константина VIII (но едва ли простиралась далее).[4] Для времени Василия II записки Пселла, собственно говоря, имеют значение второстепенного источника, и если исследователь принужден выдвинуть их на передний план, то лишь потому, что не сохранились первоисточники, которыми пользовался Пселл. В рассказах о событиях этого времени замечаются у Пселла неточности.[5]

Во втором отделе излагается история Константина VIII. Пселл говорит, что и Константина, точно так же как Василия, он не видел и не слышал, сведения о нем, как и о Василии, заимствовал у других,[6] причем не определяет точнее, были ли это устные сообщения живых лиц или исторические сочинения. Записки Пселла для этого времени имеют такое же значение, как для предшествующего, и точно так же не лишены неточностей.[7]

Третий отдел заключает историю Романа III Аргира. Сведения в этом отделе получают бóльшую достоверность, чем в предшествующих. О наружности императора Пселл мог говорить на основании собственного

---

[1] *Psell.*, IV, 5.

[2] Поэтому, без сомнения, в парижской рукописи записки Пселла помещены вслед за хроникой Льва Диакона.

[3] PG. T. CXX. Col. 1194–1195.

[4] Кроме хроники Иоанна Евхаитского, Пселл мог еще пользоваться недошедшей до нас хроникой Феодора Севастийского, о которой упоминает Скилица (*Cedr.*, I, 4) и в которой (как показал Алляций в трактате о Феодорах) описано было время Василия II.

[5] Например, IV, 10, в рассказе о выступлении войска против Склира и Фоки, а не одного Фоки (ср.: *Cedr.*, ed. Bonn. II, 443–444).

[6] *Psell.*, IV, 30.

[7] Напр., IV, 23, ошибочно показан возраст Константина VIII при вступлении на престол.

наблюдения, потому что видел Романа;[1] о внутренних же качествах императора, равно как о событиях его царствования Пселл узнал впоследствии от придворных,[2] так что его изображение, во всяком случае, воспроизводит общественное мнение, взгляд высших сфер на личность Романа и события его времени.

Михаил Пафлагон, история которого составляет предмет четвертого отдела, лично известен был Пселлу столько же, сколько его предшественник, Роман, т. е. Пселл мог видеть императора во время публичных церемоний,[3] более близкого знакомства не было. Тем не менее его показания о Михаиле Пафлагоне получают бóльшую цену, чем показания о Романе III, потому что почерпнуты из более надежного источника. Сведения о Романе добыты были Пселлом, по собственному его признанию,[4] сбивчивые и противоречивые, между тем сведения о Михаиле должны были отличаться верностью и определенностью, потому что были получены от лиц, принимавших деятельное участие в событиях и близко стоявших к кормилу правления. Таковы были Алусиан, сын Аарона, рассказывавший Пселлу о своем участии в болгарском восстании,[5] брат императора и его первый министр Иоанн Орфанотроф, с которым Пселл находился в отношениях настолько близких, что присутствовал при отправлении им официальных обязанностей, был принят в его доме, часто с ним беседовал и узнал много секретного, не известного другим.[6] У Пселла были под руками и письменные источники, излагавшие царствование Михаила Пафлагона, но он считал их недостоверными, не пользовался и предостерегал читателей от пользования ими.[7] Мы не знаем этих источников, знаем только, что современник Михаила Пафлагона Димитрий Кизический написал какое-то историческое произведение,[8] до нас не дошедшее. Может быть, это именно сочинение и имеет в виду Пселл.

Пятый отдел содержит историю царствования Михаила Калафата, шестой — Константина Мономаха, Зои и Феодора, седьмой — Михаила Стратиотика и Исаака Комнина. В этих отделах Пселл пишет уже не с

---

[1] *Psell.*, IV, 30, 49–50. Пселл был тогда школьником и мог видеть императора во время великих выходов и др. церемоний.

[2] *Psell.*, IV, 45–46.

[3] *Psell.*, IV, 74.

[4] *Psell.*, IV, 45–46.

[5] *Psell.*, IV, 72.

[6] *Psell.*, IV, 53, 68, 77–78.

[7] *Psell.*, IV, 68.

[8] *Cedr.*, I, 4.

чужих слов, но как очевидец и участник в тех событиях, которые описывает. Калафата он знал еще в звании кесаря,[1] а в звании императора мог узнать еще ближе, сделавшись его подсекретарем;[2] во время народного бунта против Калафата тщательно наблюдал за ходом событий,[3] входил в сношение и беседовал с главными деятелями движения.[4] Пользуясь при Мономахе (сначала в качестве секретаря, потом протоасикрита и ипата философов) безграничным доверием императора[5] и благосклонностью членов императорской семьи,[6] хорошо знакомый с выдающимися деятелями того времени,[7] он был посвящен решительно во все тайны;[8] не было важного случая, в котором бы обходились без его совета и решения.[9] При важнейших событиях царствования Феодоры и Стратиотика он присутствовал в качестве простого зрителя, а не деятеля.[10] Но с момента возмущения Комнина опять видим его в роли деятеля,[11] а после вступления Комнина на престол он делается приближеннейшим к императору человеком, дает ему советы,[12] по возможности не расстается,[13] а во время разлуки ведет с ним оживленную переписку,[14] входит в близкие сношения и с членами царской семьи.[15] При таких условиях Пселл не нуждался в чужих сообщениях. Только в те небольшие промежутки, когда он не успел еще приобрести сильного влияния при дворе (при Калафате) или когда считал нужным держаться в некотором отдалении от двора (при Феодоре и Стратиотике), сообщения других лиц могли иметь для него важность, каковыми сообщениями он и пользовался для своих записок.[16] Во все же остальное время собственный его опыт был авторитетнее всякого свидетельства; данные, сообщаемые в записках на основании этого опыта тем ценнее, что автор

---

[1] *Psell.*, IV, 61–62.
[2] *Psell.*, IV, 92.
[3] *Psell.*, IV, 91–92.
[4] *Psell.*, IV, 98–99.
[5] *Psell.*, IV, 124.
[6] *Psell.*, IV, 26, 130, 175, 205.
[7] *Psell.*, IV, 138.
[8] *Psell.*, IV, 110.
[9] *Psell.*, IV, 138, 145, 156, 158–159, 178–179, 185, 193.
[10] *Psell.*, IV, 208, 210.
[11] *Psell.*, IV, 214 sq.
[12] *Psell.*, IV, 245, 262–263; V, 416–417.
[13] *Psell.*, IV, 251.
[14] *Psell.*, V, 300, 315–316.
[15] *Psell.*, IV, 249.
[16] *Psell.*, IV, 88.

твердо решился соблюдать беспристрастие и, если признавал возможным сообщить о том или другом факте, то сообщать одну лишь истину.[1]

При Константине Дуке Пселл, вполне пользуясь императорской благосклонностью, имел решающий голос во многих важных вопросах,[2] в царствование Евдокии, Диогена и Парапинака нередко обходились в политических делах без его участия, но иногда прибегали и к его содействию.[3] Главное же, что все совершалось на его глазах, хотя не всегда по его мысли, следовательно, и во второй части записок Пселл мог основываться на личном опыте. И действительно, источником его для второй части служит личный опыт. Из автобиографии Михаила Парапинака (до нас не дошедшей) Пселл едва ли что-нибудь заимствовал, судя по тому, что в автобиографии император говорил о себе со скромностью и самоуничижением,[4] а в записках о нем говорится лишь с похвалой.

2) История *Михаила Атталиота*,[5] который был современником Пселла и стоял в близких отношениях ко двору во второй половине XI в.

История эта написана при императоре Никифоре Вотаниате около 1080 г.[6] Побуждение к ее написанию сам автор указывает в желании представить для потомства в лице Вотаниата пример, достойный подражания;[7] из того, что сочинение посвящено Вотаниату и наполнено похвалами ему, можно заключить, что, независимо от этого желания, у автора имелось еще в виду обратить на себя милостивое внимание императора.

Приступая к истории, Атталиот предупреждает, что поведет рассказ не о том, что слышал или узнал от других, но что видел собственными глазами.[8] После такого предупреждения он начинает речь с царствования

---

[1] *Psell.*, IV, 123–124, 242–244.

[2] *Psell.*, IV, 256, 259, 447.

[3] *Psell.*, IV, 274–276, 280–282.

[4] *Psell.*, IV, 293.

[5] Ἱστορία ἐκτεθεῖσα παρὰ Μιχαὴλ, αἰδεσιμοτάτου κριτοῦ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βήλου τοῦ Ἀτταλειάτου (История, написанная Михаилом Атталиотом, почтеннейшим судьею ипподрома и вила). Издана по кодексу Парижской национальной библиотеки № 136, принадлежавшему некогда Коаленовой библиотеке, в Corpus scriptorum historiae byzantinae... a Wladimiro Bruneto de Presle... recognovit Immanuel Bekkerus. Bonnae, 1853.

[6] Последний факт, занесенный в историю (*Attal.*, 314–315), — это издание Вотаниатом новеллы о смертных приговорах в декабре 1079 г. См.: *Zachariae*. Jus graeco-romanum. Lipsiae, 1857. III, 338. Алексей Комнин известен автору (*Attal.*, 250, 288–289, 299) как доместик схол, новеллисим и севаст, и не известен как император (каковым он сделался в апреле 1081 г.).

[7] *Attal.*, 322.

[8] *Attal.*, 8.

Михаила Пафлагона (1034) и оканчивает вторым годом царствования Никифора Вотаниата (1079), обнимая, таким образом, своим рассказом пространство времени в 45 лет. Хотя физически возможно, что автор мог быть очевидцем описываемых событий в течение этого довольно продолжительного времени, однако же представляется более соответствующим сущности предмета относить его заявление (что будет рассказывать лишь виденное собственными глазами) главным образом ко времени со вступления на престол Романа Диогена. К этому побуждает прежде всего то обстоятельство, что Атталиот является в деятельной роли при дворе и при особе императоров лишь с 1067 г.,[1] о государственной же службе до этого времени неизвестно, была ли она по своему качеству и месту прохождения такого рода, чтобы дать возможность видеть своими глазами главнейших государственных деятелей и наблюдать течение важнейших событий. Еще более побуждает к тому различие двух половин истории, первой — до воцарения Романа Диогена, второй — с его воцарения: первая излагает события кратко и сжато, вторая подробно и обстоятельно; в первой автор забывает о своей личности,[2] во второй ссылается местами на свой опыт; в первой встречаются неточности,[3] во второй их нет; отличительная особенность первой — полнейшее беспристрастие и объективность, во второй эта особенность ослабевает, субъективный колорит ложится на рассказ.

Впрочем и во второй части Атталиот, опираясь преимущественно на личное наблюдение и опыт, не устранял вполне и свидетельства других лиц; по крайней мере, для царствования Михаила Парапинака, когда положение его при дворе несколько пошатнулось, личные свои наблюдения он считал недостаточными и пользовался показаниями какого-то близкого себе приятеля, который клятвенно засвидетельствовал искренность своих показаний.[4] Субъективный колорит, обнаруживающийся во второй части, не исключает истинности повествования. Сведения о фактах автор сообщает верные и лишь оценивает факты под своим углом

---

[1] *Attal.*, 98, 102–103, 120–121, 124, 128–131, 136, 152–153, 158, 167, 245–264, 292.

[2] Очевидно, он черпал свои сведения у других лиц, которых, впрочем, не называет; в одном только месте (*Attal.*, 98) он обмолвился, что слышал кое-что о времени Константина Дуки из уст Романа Диогена.

[3] Хронологические и фактические неточности попадаются в истории Михаила Пафлагона и Михаила Калафата. — *Attal.*, 10, 13, 17.

[4] *Attal.*, 188: ὁ δ' ἄνθρωπος φίλος ἐμοὶ γνησιώτατος ὢν ἐξώμνυτο τὴν τοιαύτην πόθεσιν.

зрения; он не чужд пристрастия, но его пристрастие выражается не в извращении фактической истории, а в тех отступлениях и суждениях, которые нетрудно выделить из общего содержания книги и оценивать как личное настроение автора или, по большей мере, той партии, к которой он принадлежал. Отличенный Диогеном, Атталиот сверх меры превозносит его и даже его мятежнические наклонности считает достоинством и проявлением патриотизма;[1] сыплет укоризны на голову Михаила VII, в котором видит виновника несчастной доли Диогена,[2] в последовавших затем вторжениях турок усматривает гнев Божий за преступление против этого великого человека;[3] порицает все управление Михаила VII, которому не симпатизирует до такой степени, что не желает даже назвать имени его воспитателя (Пселла); наконец, на узурпаторство Вотаниата смотрит как на подвиг, как на самоотверженную жертву во благо православных христиан.[4] Все это — субъективные взгляды, которые легко отбросить, и тогда получится чистое зерно, неповрежденная историческая истина. По направлению взглядов, нашедших себе место в истории, Атталиот составляет диаметральную противоположность Пселлу: один порицает Диогена и восхваляет Михаила Парапинака, другой превозносит Диогена и осуждает Парапинака. Показания их о том и другом государе дают возможность взаимной проверки, исправления и восполнения.

Из заключительных слов истории[5] видно, что Атталиот намерен был продолжать сочинение. Но выполнил ли он свое намерение — мы не знаем, по крайней мере, продолжения не имеем.

3) Хроника *Иоанна Скилицы*,[6] младшего современника Пселла и Атталиота, занимавшего должность при византийском дворе в конце

---

[1] *Attal.*, 97.

[2] *Attal.*, 176.

[3] *Attal.*, 183.

[4] *Attal.*, 213.

[5] *Attal.*, 322: «Я сам это видел и знаю и написал все согласно с истиной... из многого немногое, что совершено до второго (включительно) года его (Вотаниата) царствования, что затем следовало, яснее покажет *дальнейший рассказ*».

[6] Σύνοψις ἱστοριῶν συγγραφεῖσα παρὰ Ἰωάννου κουροπαλάτου καὶ μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βίγλας τοῦ Σκυλίτζη (Обозрение истории, составленное Иоанном Скилицей, куропалатом и великим друнгарием виглы). Целиком хроника издана лишь в латинском переводе: Historiarum compendium, quod incipiens a Nicephori imperatoris a Genicis obitu ad imperium Isaaci Comneni pertinet, a Ioanne curopalata Scilizzae magno drungario viglae conscriptum et nunc recens a Ioanne Baptista Gabio e graeco in latinum conversum. Venetiis, 1570. В греческом подлиннике издано только окончание, обнимающее время от Исаака Комнина до Никифора Вотаниата включительно: Paris, 1647; Venet.,

XI в.[1] Хроника написана с целью дать потомству беспристрастное и вполне достоверное продолжение хроники Феофана Исповедника, законченной царствованием Никифора I (811). Скилица начал хронику с того пункта, на котором остановился Феофан, и довел до последнего времени царствования Никифора Вотаниата. Хроника представляет одно цельное сочинение; когда автор писал предисловие (в котором упоминает о Пселле), в уме его предносилась уже история Константина Дуки (при изложении которой он обращается к Пселлу, как к источнику); последующие писатели (Зонара, Глика, Иоил) знали хронику в цельном составе, а не одну какую-нибудь из предполагаемых редакций.[2]

Скилица приступил к составлению хроники около 1075 г., после того как вышла в свет вторая часть записок Пселла. Ко времени выхода в свет истории Атталиота (1080) он довел хронику до Исаака Комнина, окончил же ее в начале царствования Алексея Комнина.[3]

В последней части хроники, обнимающей время от Исаака Комнина до конца царствования Вотаниата, Скилица руководствовался четырьмя источниками: а) историей Атталиота, б) второй частью записок Пселла,

---

1729; Воппае, 1839. Издание сделано в виде прибавления к Кедрину в том превратном убеждении, разделявшемся не только первым издателем Фабротом (*Cedr.*, I, praef., IX), но и некоторыми из последующих ученых (напр.: *Gibbon*. History of the decline and fall of the roman empire. London, 1836, 1058; *Gfrörer*. Byzantinische Geschichten, 1877, III, 273, 621), что Скилица дословно списал Кедрина.

[1] *Cedr.*, I, 4: ὁ καθ' ἡμᾶς ὕπατος τῶν φιλοσόφων καὶ ὑπερτιμος ὁ Ψελλὸς (наш современник, ипат философов и ипертим Пселл). Должность его была «великий друнгарий виглы», как показывает заглавие хроники, а также поданная им императору Алексею Комнину в марте 1092 г. реляция: ὑπομνησις τοῦ κουροπαλάτου καὶ μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βίγλης Ἰωάννου τοῦ Θρακησίου, μετὰ τὴν περὶ μνηστείας νεαρὰν γενομένη... (Реляция куропалата и великого друнгария виглы Иоанна Фракийца, прилагаемая к новелле о помолвке). *Zachariae*, III, 376.

[2] Взгляд о составлении хроники в два приема, в разное время, и произошедших отсюда двух редакциях — а) до 1057, б) с 1057 до 1081 — разделяют: *Lambecius*. Commentarii de aug. Bibliotheca caes. Vindobonensi, II, 578; *Fabricius*. Bibl. graeca, ed. Harles, VII, 723; *Schöll*. Gesch. d. griech. Litter., III, 255; *Hase*. Iohannes Lydus de magistratibus, ed. Bonn., XXII; *Brunet de Presle*. Attal., ed. Bonn., X; *Nicolai*. Ersch u. Gruber, Encykl., LXXXVII, 339; *Васильевский*. Ж. М. Н. Пр., CLXXVI, 108; *Muralt*. Essai de chronogr. byz., XXV, почему-то пределом первой редакции полагает не 1057, а 1048 г. Несколько замечаний о неосновательности этого взгляда сделал *Hirsch*. Byzantinische Studien. Leipz., 1876, 359.

[3] О Комнине он мимоходом упоминает как об императоре. См.: *Cedr.*, II, 738–739.

в) сочинением неизвестного автора,[1] характер которого — анекдотичность, легендарность, внимание к явлениям церковно-религиозной жизни и враждебное отношение к Константинопольским патриархам, г) личным опытом и сведениями, устно полученными от людей знающих. В истории Исаака Комнина Скилица заимствовал сведения у Атталиота[2] и неизвестного автора.[3] В истории Константина Дуки, Евдокии и Романа Диогена продолжал пользоваться Атталиотом[4] и неизвестным,[5] и сверх того Пселлом.[6] Наконец, в истории Михаила Парапинака и Никифора Вотаниата черпал известия у Атталиота[7] и заносил сведения, добытые путем личных наблюдений и от живых свидетелей.[8]

Способ отношения к источникам не рекомендует критических способностей Скилицы. Он поочередно держится то того, то другого писателя, не пытаясь их примирить и представить нечто цельное. Поэтому допускает повторения, выписывая сначала рассказ о чем-нибудь из одного источника и потом воспроизводя то же по-другому. Механически списывая из источников целые страницы, иногда дословно, иногда в сокращении и

---

[1] Если искать его между писателями, названными Скилицей в предисловии, то можно делать выбор между четырьмя: Сикелиотом Дидаскалом, Никифором Фригийским, Феодором Сидским и Иоанном Лидийским.

[2] Сопоставляем страницы, из которых сделаны заимствования. *Scyl.* (*Cedr.*, II), 641 = *Attal.*, 60; 642 = 60–61; 643 = 61–62; 643 = 61–62; 644 = 63–65; 654 = 66; 646 = 67–68; 647–649 = 68–69.

[3] *Scyl.* (*Cedr.*, II), 642, 643, 645, 646, 647, 648, 649–651.

[4] *Scyl.* (*Cedr.*, II), 651 = *Attal.*, 70–72; 652 = 75–77; 653–654 = 78–82; 654–657 = 83–87; 657–658 = 88, 90–91; 658–659 = 92–93; 660–663 = 92–96; 664–666 = 98–101; 672 = 108–109; 673 = 110–112; 674 = 112–114; 675 = 114; 676 = 116–117; 677 = 118–121, 678 = 121–123; 679 = 123–125; 680 = 125–127; 681 = 127–128, 131–132; 682 = 133–135; 683 = 135–136; 684 = 136–138; 685–687 = 138–140, 97; 688 = 141–142; 689 = 143–144; 690 = 145; 691 = 146–148; 692 = 149–150, 152; 693 = 153–154; 694 = 155–156; 695 = 157–158; 696 = 158–160; 697 = 160–161; 698 = 161–162; 699 = 163–164; 700 = 164–165; 701 = 166–167; 702 = 168–170; 703 = 171–174; 704 = 174–176, 178–179.

[5] *Scyl.* (*Cedr.*, II), 656. 658–659, 665–666, 668, 690, 694–695, 699–700, 704.

[6] *Scyl.* (*Cedr.*, II), 659–660 = *Psell.*, IV, 269–270; 702 = 263; 705 = 287.

[7] *Scyl.* (*Cedr.*, II), 705–706 = *Attal.*, 180–182; 707–708 = 182–184; 709–710 = 184–187. 189; 711 = 190–192; 712–714 = 192–200, 207; 719–720 = 204–206, 208–210; 724–725 = 211–212; 726 = 242; 727–730 = 242–243, 246–255, 261; 731 = 262; 732–734 = 263, 265–266, 269–272; 735 = 274, 277, 283; 735–737 = 285–287, 289–291; 738 = 295–296, 303; 739–741 = 297–302; 742 = 304, 306–310.

[8] *Scyl.* (*Cedr.*, II), 706, 707–708, 714–726, 728–729, 731–744.

с пропусками, он не стесняется воспроизводить сентенции своих руководителей,[1] не заботится о том, чтобы сокращения и пропуски не отнимали смысла у речи[2] и чтобы вольная передача слов подлинника не искажала мыслей и фактов,[3] не задается вопросом о достоинстве известий, басням и легендам (из неизвестного автора) отводит место наряду с истинными повествованиями. Ко всему этому, черпая из своих источников обильной рукой (всего более из Атталиота), он не считает себя обязанным называть их по имени и указывать, откуда делаются заимствования.

В той части, которая представляет извлечение из Атталиота, иногда буквальное, иногда сокращенное и с пропусками, а тем более в тех местах, где Скилица делает заимствования у Пселла, он для нас не имеет значения при существовании оригинального текста истории Атталиота и записок Пселла: полезнее обратиться к подлиннику, чем к компиляции, притом не всегда удачной. Но все то, что внесено в хронику Скилицы помимо Атталиота и Пселла, заслуживает полного внимания. Всего более ценности имеют данные, почерпнутые из личного опыта и свидетельств современников. Присутствие таких данных с трудом может быть оспариваемо в истории Романа Диогена, но с полной очевидностью выступает в истории Парапинака и Вотаниата, где автор прямыми ссылками на свидетелей[4] и особенностью приемов, стремлением передать дело в цельных, связных очерках,[5] с обилием деталей, носящих все признаки достоверности, показывает, что он стал в своем повествовании на твердую почву. Менее ценны те данные, которые, начиная с Комнина и кончая Диогеном,

---

[1] Напр., *Scyl.* (*Cedr.*, II), 642, взгляд Атталиота, 60–61, на монастырские имущества.

[2] Напр., фраза καὶ ὡς τὰ πράγματα ἔδειξαν, οὐ πάνυ μάτην ἠλπίκασιν οἱ πολλοί (как показали <дальнейшие> события, надежды многих оказались совсем не напрасны), помещенная у Атталиота (101), при переходе от рассказа о возведении Диогена на престол к рассказу об его заслугах, имела смысл, а у Скилицы (*Cedr.*, II, 666) та же фраза ὡς δ᾽οὖν ἐφάνη ἐκ τούτου, ὡς οὐ μάτην ἠλπίκασιν ᾽επ᾽ αὐτῷ οἱ πολλοί (как оказалось, не напрасно многие возлагали на него надежды), будучи помещена между известием о провозглашении Диогена и известием о продолжительности царствования Евдокии, не имеет никакого смысла.

[3] Напр., по недосмотру, он вложил в уста султана рассуждение (*Cedr.*, II, 701), сделанное Атталиотом от себя; сказанное Пселлом о Константине Дуке (*Psell.*, IV, 263) отнес к Михаилу VII (*Cedr.*, II, 702); мысли Пселла (IV, 287) сообщил превратное толкование (*Cedr.*, II, 705).

[4] *Cedr.*, II, 716, 742: ὡς εἴρηται, λέγεται δέ (как сказано; говорят).

[5] Об итальянских событиях говорит, начиная с Маниака, о болгарских — начиная с Василия II, о восточных — со ссоры Кутлума с султаном.

извлечены из сочинения неизвестного автора. Но меньшая степень ценности обусловливается достоинством источника, не отличающегося полной достоверностью, а не тем обстоятельством, что здесь Скилица не самостоятелен, компилятивен: пока оригинал, из которого сделана компиляция, не известен, историческая наука по необходимости должна отводить компиляции место, принадлежащее оригиналу.

4) Хроника *Георгия Кедрина*,[1] писавшего не ранее XII в.[2] В хронике изложение событий начинается от сотворения мира. До 811 г. автор руководствуется несколькими трудами своих предшественников,[3] а с 811 г. следует одному Скилице, списывая текст этого последнего дословно (αὐτολοξεί, как замечает Фаброт, произведший сличение) и выпуская лишь некоторые места, казавшиеся ему невероятными и в каком-нибудь отношении неудобными.[4] Если выпущенные места опять поместить в текст Кедрина, то мы получим хронику с 811 по 1057 г., которую по всем правам следует считать произведением Скилицы, а не Кедрина.[5]

---

[1] Σύνοψις ἱστοριῶν ἀρχομένη ἀπὸ κτίσεως κόσμου καὶ μέχρι τῆς βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνοῦ, συλλεγεῖσα παρὰ κυροῦ Γεωργίου τοῦ Κεδρηνοῦ ἐκ διαφόρων βιβλίων (Обозрение истории от сотворения мира до царствования Исаака Комнина, составленное господином Георгием Кедрином по разнообразным книгам). Ed. Xylandri. Basil., 1566. Goar et Fabrotus. Paris, 1647. Venet., 1729. Bonnae, 1838–1839.

[2] Общее мнение о Кедрине как писателе XI в. (ср.: *Xylandri*. Praef. ad Cedr. Ed. Bonn., I, XII; *Voss*. De histor. graecis. P. 351; *Allatii* Diatriba de Georgiis, in Fabricii Bibl. graeca, XII, 32, VII, 464; *Nicolai*. Ersch u. Grub. Encykl., LXXXVII, 339; *Muralt*. Proleg. ad Georg. Amart., IX; *Gfrörer*. Byz. Gesch., III, 238; *Rambaud*. Const. Porphyr., I) не мирится с тем обстоятельством, что он не был современником Пселла, следовательно и Скилицы, как видно из того, что в предисловии выражение Скилицы о Пселле «ὁ καθ' ἡμᾶς» нашел нужным выпустить.

[3] Об источниках Кедрина для этого времени см.: *Hirsch*. Byzant. Stud., 376.

[4] В боннском издании Кедрина эти места напечатаны под строкой по самому полному рукописному кодексу Скилицы, принадлежащему Парижской национальной библиотеке, № 136, бывшему Коаленовой библиотеки. *Cedr*., II, 479, 555–556, 611–612. Замечательно, что по своему содержанию эти места подходят к характеру неизвестного источника, которым пользовался Скилица для истории от Исаака Комнина до Романа Диогена: та же анекдотичность, легендарность и малая достоверность, то же внимание к церковным событиям.

[5] Вопрос о том, нет ли у Кедрина каких-нибудь вставок, сравнительно со Скилицей, оставляем незатронутым впредь до издания (обещанного Сафой) подлинного текста хроники Скилицы. Решать этот вопрос путем сличения Кедрина с переводом Скилицы у Габия находим бесполезным, так как по свидетельству лиц, изучавших перевод Габия (*Cedr*., I, IX). он во многих местах отступает от мысли подлинника.

Действительный автор этой хроники, едва ли бывший непосредственным очевидцем событий от Исаака Комнина (до Михаила Парапинака), не мог, разумеется, быть очевидцем в более раннее время. Его исторический труд вполне основан на трудах его предшественников. Есть основание полагать, что для времени с 1025 по 1057 г. у него было несколько письменных источников, не менее трех, из которых по двум (по крайней мере) он ведет рассказ до Константина Мономаха, а третий привносит начиная с Мономаха. Первые два источника не только обнимали время от Константина VIII до Константина IX Мономаха, но и время Василия II, они сообщали различные, иногда противоречивые сведения об одних и тех же предметах. В одном месте, в истории Василия II, автор (Скилица—Кедрин) заметил и указал противоречие между ними;[1] но в других местах он не обратил на это внимания и, читая в двух источниках различные подробности и противоречивые показания об одних и тех же событиях и лицах, предположив, что в них рассказывается о различных событиях и лицах, счел поэтому своим долгом все занести в хронику. Отсюда происходит, что один раз он говорит об известном факте одно, другой раз, касаясь того же факта, — совершенно иное, один раз он передает факт с одними подробностями, а спустя немного повторяет его с другими подробностями, отличными от прежде сообщенных.[2] Все это свидетельствует о механическом, чуждом критического анализа отношении автора хроники к источникам, о том же качестве, которое, как выше показано, проявил Скилица в пользовании Атталиотом и Пселлом при изложении истории с 1057 г. Какие именно были эти два источника, легшие в основу хроники от Василия II до Константина IX, трудно сказать, — автор не цитирует их в тексте и до нас они не дошли. Может быть, это были упоминаемые в предисловии хроники произведения Феодора Севастийского и Димитрия Кизического, может быть, не упоминаемое в предисловии историческое произведение Иоанна Евхаитского.[3] Привнесение нового источника, начиная со времени Мономаха, обнаруживается изменением характера хроники. Автор сообщает рассказам вид цельных, связных очерков, известиям о столкновениях с турками и печенегами предпосылает сведения об их происхождении, местожительстве, характере и пр. Этот

[1] *Cedr.*, II, 441: ἕτερος δὲ λόγος ἔχει... (по другой же версии...).

[2] Ср. о пострижении Никифора Ксифия: *Cedr.*, III, 477–478 и 487, о Склире: *Cedr.*, II, 483 и 487, о саранче: *Cedr.*, II, 509 и 514, о набеге сарацин: *Cedr.*, II, 513 и 514.

[3] Догадка насчет Иоанна Евхаитского принадлежит проф. *Васильевскому* // ЖМНП, CLXXVI, 141.

источник не отличался большой точностью показаний, особенно о турках, почему в хронике встречаются некоторые хронологические и фактические несообразности.[1]

Хроника Скилицы—Кедрина имеет большую важность, потому что вся она, начиная с истории Василия II,[2] составлена по сочинениям, до нашего времени не дошедшим. Автор усердно эксплуатирует эти сочинения, по-видимому, не изменяя фразеологии, однако же, судя по некоторым признакам, воспроизводит их не вполне, но с пропусками, особенно в отделе до Константина Мономаха.[3] Исторический материал до Константина Мономаха расположен в строгом хронологическом порядке, с Константина Мономаха хронологическая последовательность ослабевает.

5) История *Иоанна Зонары*,[4] византийского сановника XII в.,[5] поступившего потом в монахи, написана по просьбе монахов около сер. XII в.[6] и обнимает события от сотворения мира до Алексея Комнина включительно; простираться далее Зонара считает преждевременным, очевидно, потому что пришлось бы говорить о живом государе.[7]

---

[1] *Cedr.*, II, 590–591, 606.

[2] Об источниках ее с 811 г. до Василия II см: *Hirsch*. Op. cit.

[3] Например, пропуски обнаруживаются в заметках о печенегах (*Cedr.*, II, 483), о землетрясении и появлении звезды (Ibid., 500–503).

[4] Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν συλλεγεῖσα καὶ συγγραφεῖσα παρὰ Ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ Ζοναρᾶ τοῦ γεγονότος μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βίγλης πρωτασηκρῆτις (Краткое изложение истории, составленное и написанное монахом Иоанном Зонарой, в прошлом великим друнгарием виглы и протасикритом). Ed. per Wolfium, Basil., 1557. Du Fresne Ducange, Par., 1686–1687; Venet., 1729; Bonnae, 1841–1842 (лишь первые 12 книг). Cum *Carolii Ducangii* suisque adnotationibus ed. Ludovicus Dindorfius. Vol. I–IV (текст). Lipsiae, 1868–1871; Vol. V–VI (примеч. и ст. Шмидта), 1872–1873.

[5] С большей вероятностью можно полагать, что он жил при дворе Алексея I Комнина, откуда со стесненным сердцем должен был удалиться (ср. отзыв его об Алексее: IV, 260, ed. Dindorf), а не при дворе Иоанна и Мануила Комнинов, как думает Дюканж (I, VIII, XXVII–XXVIII, ed. Bonn.).

[6] Крайние пределы: с одной стороны — смерть Алексея Комнина 1118 г., которую автор описывает, с другой — царствование Мануила Комнина (1143–1180), при котором жил Глика, пользовавшийся для своего сочинения историей Зонары.

[7] *Zon.*, IV, 260: δοῦναι γραφῇ καὶ τὰ λείποντα οὔ μοι λυσιτελὲς οὐδ' εὔκαιρον κέκριται (рассказывать о дальнейших событиях счел я бесполезным и несвоевременным).

В предисловии автор предупреждает, что он с целью не растягивать сочинения обходит разногласия, встречаемые у разных историков, а то, что несомненно, заносит в историю буквально, пользуясь выражениями своих источников, если же делает перифраз или дополнения, то приноравливается к стилю источников. Из собственных указаний Зонары и исследований ученых[1] известны почти все источники его истории до Василия II. Для времени, начиная с Василия II, ученые[2] считают источниками Зонары Михаила Пселла и Иоанна Скилицу, согласно с собственным показанием автора, который в истории Исаака Комнина ссылается на «многоязычного Пселла» и «фракисийца».[3]

Это неоспоримый факт. Действительно, Зонара, излагая историю от Василия II до воцарения Алексея I Комнина, обильно черпал из этих двух источников, прежде всего и более всего из Скилицы,[4] хроника которого в полном ее составе давала автору богатый материал,[5] затем в меньшей

---

[1] Статья *Шмидта* об источниках Зонары перепечатана в издании Диндорфа из журнала Циммермана: Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 1829, № 30–36; *Hirsch*. Byzant. Stud., 380–381, 383, 391.

[2] *Сафа* в предисл. к Пселлу, IV, CXVII; *Васильевский*. ЖМНП., CLXXXIV, 125.

[3] *Zon*., IV, 196.

[4] Что Зонара пользовался прямо Скилицей, а не компиляцией Кедрина, видно из того, что заимствованы места, выпущенные Кедрином, равно как и та часть (с Исаака Комнина), на которую компиляция Кедрина не простирается.

[5] Для времени от Константина VIII и далее: *Zon*., IV, 126–128 = *Cedr*., II, 483–486; 129 = 487, 489, 490; 130 = 491–492; 131 = 493; 132 = 498–500; 133 = 501,503–504; 136–138 = 505–506, 518, 510; 139 = 511–513, 515; 140 = 514, 520; 141 = 521–525; 142 = 517–518, 526, 519; 144 = 525; 145 = 527–528; 146 = 529; 147 = 531; 148 = 533; 149 = 534; 154–155 = 540; 156–157 = 542; 158 = 543–544; 160 = 547–548; 162 = 549–550; 165 = 563; 166 = 564; 167 = 565–566, 551; 168 = 551–553; 169 = 567; 170 = 568–570; 171 = 570–572; 172 = 572, 575–577; 173 = 578–581; 174 = 581–584; 175 = 584–587; 176 = 587–589, 596–605, 608; 177 = 605; 178 = 605, 608; 180 = 610; 181 = 610, 611; 182 = 612; 183 = 615; 184 = 612–614; 185 = 619–621; 186 = 621; 187 = 626–628, 630–631; 188 = 632–633; 190 = 634–636; 191 = 636–637, 641; 192 = 642; 193 = 643–644; 194 = 644–645; 195 = 645–647; 196 = 647–648; 197 = 650–651; 198–199 = 652, 654; 200 = 654–657; 201 = 657–659; 202 = 659–660; 203 = 660–663; 204 = 664–665; 205 = 666–667; 206 = 668; 207 = 669–672; 208 = 673–677; 209 = 680–683; 210 = 683–686; 211 = 686–690; 212 = 691–693; 213 = 694–695; 214 = 696–697; 215 = 697–699; 216 = 700–701; 217 = 702–703; 218 = 703–704; 219 = 705–707; 220 = 706–708; 221 = 708–710; 222 = 711–714; 223 = 714, 719–720; 224 = 724–726; 225 = 727–730; 226 = 731–732; 227 = 733–734; 228 = 734–736; 229 = 736–739; 230 = 739–742; 231 = 743; 232 = 744.

степени из записок Пселла (обеих частей).[1] Но этими двумя источниками он не ограничился. Есть несомненные следы пользования Атталиотом, а именно в истории Исаака Комнина[2] и Константина Дуки.[3] Впрочем, пользование Атталиотом весьма слабое. Наконец, у него обнаруживаются заимствования еще из какого-то для нас не известного источника, по которому он частью восполняет и объясняет сведения, взятые у Скилицы, Пселла и Атталиота, частью вносит совершенно новые данные.[4] По характеру своему, данные такого рода, что происхождение их не может быть объяснено иначе, как только заимствованиями, тем более что сам автор местами[5] прибегает к способу выражений, указывающему на заимствования из письменного источника. Данные эти отличаются от тех вставок, замечаний и дополнений, которые автор делает от себя, частью основываясь на знакомстве с церковными канонами[6] и топографией Византии,[7] частью выводя их из сопоставления свидетельств Скилицы и Пселла.[8] Пользование сочинениями предшественников прекращается у Зонары с Алексея Комнина. С истории вступления на престол Алексея у него начинается самостоятельная часть, не заимствованная из других источников.[9]

---

[1] Для времени от Константина VIII и далее: *Zon.*, IV, 125–126 = *Psell.*, IV, 27, 28, 24, 25; 127 = 28; 131–132 = 36, 38, 40; 133 = 31–32; 134 = 40–43; 135 = 43–46; 136 = 47–48, 31; 136–138 = 48–49, 54–55, 58; 143–144 = 52–53, 55–58, 60–61; 146 = 70–71; 147 = 72–73; 148 = 74–75, 64; 149 = 76–78; 150 = 78, 62–63, 79, 81; 151 = 82–84, 99; 152 = 88, 92, 99; 153 = 93–95; 154 = 97–98; 155 = 104–105, 109–110; 156 = 111–113; 157 = 113, 118,125, 119; 158 = 126; 159 = 127–130; 160 = 131, 134; 161 = 139–141; 162 = 142–143; 163 = 149–150; 164 = 150–153; 165 = 155–156; 166 = 160; 167 = 144; 169 = 146; 177 = 170–172, 174; 178 = 174; 179 = 177, 181, 190, 199; 180 = 188, 189, 199; 181 = 199–200; 182 = 200–201, 208; 183 = 210–211; 186 = 212; 187 = 212; 188 = 223, 226; 189 = 226–228; 191 = 234–235; 192 = 238, 241–242; 193 = 242–243; 196 = 250, 258; 197 = 2364 198 = 260; 198–199 = 265–266; 202 =270–271; 203 = 272, 275–276; 205 = 274; 206 = 275; 209 = 276–277; 216–217 = 280–281.

[2] *Zon.*, IV, 191 = *Attal.*, 60; 192 = 60.

[3] *Zon.*, IV, 197 = *Attal.*, 72–73; 198–199 = 79.

[4] *Zon.*, IV, 128, 131–132, 135, 138, 140–142, 145, 178, 184, 201, 203, 205, 210, 219–220, 226, 231.

[5] *Zon.*, IV, 135, 178: λέγεται (говорят).

[6] *Zon.*, IV, 157.

[7] *Zon.*, IV, 162, 165.

[8] *Zon.*, IV, 162, 175, 177, 181, 210.

[9] Мнение, высказанное у Диндорфа (*Zon.*, VI, praef., V), что Зонара в истории Алексея I дословно пользовался Анной Комниной, не называя ее по имени, мы считаем простым недоразумением. Есть сходство между одним отрывком Зонары

Сочинение Зонары имеет наибольшую важность в той выходящей за пределы нашего периода части, которая посвящена царствованию Алексея Комнина; здесь он является современником и очевидцем и имеет значение первоначального источника. Но и в той части, которая обнимает время с Константина VIII до воцарения Алексея Комнина (кн. XVII, гл. 10–29; кн. XVIII, гл. 1–20, по разделению Дюканжа, сделанному для удобства читателей и принятому в изданиях), оно не лишено значения. Важность обусловливается прежде всего извлечениями из неизвестного источника, место которого, по отсутствию подлинника, должна занимать история Зонары, затем способом отношения к источникам, о котором можем судить из сличения истории Зонары с известными нам ныне сочинениями Пселла, Атталиота и Скилицы и который, между прочим, увеличивает ценность извлечений из неизвестного источника, сделанных Зонарой, а также сообщает некоторый интерес и компиляции из известных источников. Зонара не стоит в механической зависимости от своих источников, он не любит воспроизводить их дословно[1] со слепой верой в их непогрешимость. В нем видим желание критически отнестись к источникам, которые он сближает, взаимно проверяет и передает в сокращении. Он умеет подмечать слабые стороны у своих источников, не доверяет там, где подозревает пристрастие,[2] исправляет там, где замечает

(IV, 238) о хитрости в войне с норманнами, когда Алексей одел в царскую одежду своего брата Адриана, и отрывком в сокращенном тексте Анны Комнины, который впервые издан Гешелием в 1610 г. и из которого варианты напечатаны в боннском издании Анны (I, 248). Буквальное сходство этих отрывков и имеет в виду Диндорф. Уже Шопен, делавший боннское издание Анны, заметил сходство и обосновал на нем мысль, что сокращенный текст, изданные Гешелием, появился во времена Анны Комнины, так как современник ее, Зонара, мог им пользоваться. К сожалению, на одну особенность Шопен не обратил внимания, чем спас бы и Диндорфа от заблуждения, а именно: сокращение является местами пространнее полного текста Анны, заключая такие подробности, каких нет у Анны, и эти-то подробности буква в букву сходны с текстом Зонары. Эпитоматор мог сокращать пространный текст, но каким образом произошло, что пространный текст он еще более распространил? Очевидно, это сделано путем заимствования отрывка у Зонары и внесения его без изменения в текст Анны. Этим опровергается мнение о том, что Зонара пользовался сочинением Комниной, равно как, между прочим, разрушается и теория о раннем происхождении «Сокращения».

[1] В этом отношении прием его в конце сочинения совершенно другой, чем в начале, где он с такой тщательностью и буквальной верностью списал Диона Кассия (ср.: *Reimar.* Ad Dionem praef., I, XXI; *Niebuhr.* Röm. Gesch., IV, 105; *Zander.* Quibus e fontibus Joh. Zonaras hauserit Annales Romanos, 1849, 4).

[2] Напр.: *Zon.*, IV, 136 (по отношению к Скилице), 198 (к Пселлу).

погрешности,[1] проясняет пункты, казавшиеся в изложении источников неясными;[2] если факт почему-нибудь подозрителен, а между тем отвергнуть его невозможно, спешит снять с себя ответственность за его сообщение ссылкой на источник.[3] При таком отношении к делу, Зонара там, где компилирует Пселла, Атталиота и Скилицу, если и отодвигается на задний план, уступая место первоисточникам, то во всяком случае не может быть лишен значения как комментатор темных мест в первоисточниках; при этом и личное знакомство его с топографией Византии оказывает услугу.

6) Исторические записки *Никифора Вриенния*,[4] зятя императора Алексея Комнина. Записки написаны Вриеннием по настоянию тещи, императрицы Ирины, около 1137 г.[5] и, за смертью автора, остались неоконченными. Они посвящены описанию деяний Алексея Комнина, поэтому хотя в сочинении затронуты и те, более отдаленные времена, в которые заявляет о себе на поприще истории фамилия Комнинов, однако же обстоятельное изложение начинается лишь с отрочества Алексея, т. е. со времени Романа Диогена; доведены до последнего времени царствования Вотаниата.

Труд Вриенния стоит невысоко по своему достоинству. Вриенний задался целью доказать, что Алексей Комнин, отнявший престол у своего предшественника, поступил не как узурпатор, но как исполнитель воли Божией, что он присвоил себе лишь то, что принадлежало ему по праву, как племяннику Исаака Комнина и родственнику Дук, сделав это к тому же ко благу и славе государства.[6] К этой основной задаче у автора присоединилось еще стремление по возможности прославить и собственный свой род — Вриенниев. В результате получилось нечто до крайности пристрастное и одностороннее, сообщающее колорит, не везде согласный с исторической истиной, событиями, имеющими отношение к Комниным, Дукам и Вриенниям.[7]

---

[1] Напр.: *Zon.*, IV, 217, исправил ошибочную ссылку Скилицы на Пселла.

[2] Напр., в истории Константина Дуки, особенно *Zon.*, IV, 204.

[3] *Zon.*, IV, 135, 143, 178, 196.

[4] Ὕλη ἱστορίας. Ed. per P. Possinum. Paris, 1661. Venet., 1729. Recognovit A. Meineke cum notis Possini st du Fresne. Bonnae, 1836. В переводе на русский язык изданы при Санкт-Петербурской Духовной академии в 1858 г., под редакцией проф. Карпова.

[5] *Anna Comn.* Ed. Bonn., I, 6–8.

[6] *Bryenn.* Ed. Bonn., 15–16.

[7] Противоположные суждения об этом источнике не оправдываются при ближайшем знакомстве с его произведением, и когда Краузе (Die Byzantiner

Со стороны источников сочинение Никифора Вриенния распадается на две части: в одной (1-я книга о царствовании Исаака Комнина, Константина Дуки, особенно же Романа Диогена) оно представляет рабскую компиляцию из Пселла[1] и Скилицы,[2] с некоторыми более или менее обширными вставками;[3] другой (II–IV-я книги о последующих событиях до конца царствования Вотаниата) — вполне оригинально. В этой последней части рассказ вращается около двух личностей, Исаака и Алексея Комнинов, и изложение походит на журнал деяний этих лиц. Основанием рассказа служили, вероятно, фамильные предания Комнинов и Вриенниев, которые дали также материал для вставок в предшествующей части, заимствованной у Пселла и Скилицы. Записки Вриенния имеют для нас значение под условием тщательного выделения всего, что носит печать пристрастия и партийности, в тех данных, которые почерпнуты автором из фамильных преданий.

7) Алексиада *Анны Комниной*,[4] порфирородной дочери Алексея Комнина, супруги Никифора Вриенния, написана при Мануиле Комнине (1143–1180) с целью восполнить неоконченные записки Никифора Вриенния, к которым она и примыкает, доводя события до смерти Алексея I

---

d. Mittelalter, XVIII) заявляет, что изложение современного Вотаниату историка Никифора Вриенния — лучший источник, чем сочинения позднейших авторов Кедрина и Иоанна Скилицы, то приходится только удивляться умению ученого в немногих словах сказать много несообразного: из историка, писавшего спустя более 50 лет после Вотаниата, сделать современника этому последнему; Скилицу, хроникой которого пользовался Вриенний, отнести к позднейшим авторам и т. д.

[1] *Bryenn.*, 23 = *Psell.*, IV, 265, 271; 43 = 279, 280; 44 = 280–281; 45 = 281; 46 = 283; 47 = 283–284; 48 = 284; 51 = 284–285; 52 = 285–286; 53 = 286; 54 = 286–287; 55 = 287–288.

[2] *Bryenn.*, 26 = *Cedr.*, II, 566–567; 27 = 568; 28 = 568–569; 29 = 569–570; 30 = 570, 31 = 570–572.

[3] *Bryenn.*, 31, 48–51, 53, 54–55.

[4] Σύνταγμα σὺν Θεῷ τῶν κατὰ τὸν ἄνακτα κύρον Ἀλέξιον τὸν Κομνηνὸν πονηθὲν παρὰ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ κυρίας Ἄννης τῆς πορφυρογεννήτου τῆς βασιλίσσης, ὃ καὶ ἐκλήθη Ἀλεξιὰς παρ' αὐτῆς (Сочинение о деяниях владыки господина Алексея Комнина, с Божией помощью написанное его порфирородной дочерью, госпожой Анной, и нареченное ею Алексиадой). Ed. opera *D. Hoeschelii, Aug. Vindel.*, 1610, 1618. *Possini.* Par., 1651; Venet., 1729. *Schopeni.* Bonnae, 1839. Переведено (1-й т.) на русский язык при Санкт-Петербургской Духовной академии, под редакцией проф. Карпова, 1859, на франц. par L. Cousin. Paris, 1655, немецкий в Schiller's Allgem. Sammlung Historischer Memoiren vom 12 Jahrh. bis auf die neuesten Zeiten. Iena, 1780. Abtheil. I. Bd. 1–2.

(1118). Строго преследуя предположенную цель, начать следовало бы с того момента, на котором остановился Вриенний, т. е. с конца царствования Вотаниата, однако же для ясности и последовательности рассказа, как заявляет Анна,[1] она коснулась и более раннего времени — царствования Романа Диогена и Михаила Парапинака. Таким образом в ее произведении оказался отдел, относящийся к периоду до вступления на престол Алексея Комнина.[2]

В этом отделе[3] характер и значение фактического содержания произведения Анны зависит от источников, которыми она руководствовалась. Всего более она находилась под влиянием записок Вриенния, на основании которых излагает вкратце ход событий, отсылая читателя, желающего подробно ознакомиться с делом, к самим запискам.[4] Она находится в непрерывной зависимости от Вриенния в первых девяти главах первой книги,[5] дополняя сведения, у него почерпаемые, лишь в некоторых местах;[6] начиная с 10-й гл. 1-й кн. непрерывная зависимость прекращается и только изредка обнаруживается немногими заимствованиями.[7] Кроме записок своего мужа Анна обращалась еще к сочинениям Пселла[8] и Скилицы.[9] Есть основание думать, что Анна (особенно начиная с 10-й гл. 1-й кн.) пользовалась еще каким-то сочинением на латинском языке, до нашего времени не дошедшим, но в свое время весьма распространенным и уважаемым, как можно судить по степени

---

[1] *Anna*, I, 11.

[2] 1-я часть, кн. I–II, кн. III, гл. 1, 8.

[3] Оценку сочинения в полном составе можно читать, кроме предисловий к изданиям, у *Gibbon*, chap. 48; *Hegewisch*. Histor. u. litter. Aufsätze. Kiel, 1801, 121 sq.; *Wilken*. Rerum ab Alexio I, Iohanne, Manuele et Alexio II Comnenis gestarum libri IV. Heidelb., 1811; *Hase* in C. Müller's Fragmenta hist. graec., IV. 272; *Sybel*. Gesch. d. ersten Kreuzzuges, 1841, 291–293; *Kugler*. Boëmund und Tankred. Tübing., 1862; *Nicolai* in Ersch u. Gruber Encykl., LXXXVII, 316–317; *Oster*. Anna Komnena. Rastatt, 1870.

[4] *Anna*, I, 24.

[5] *Anna*, I, 13 = *Bryenn.*, 34–35; 16 = 86; 17 = 87; 18 = 88; 19 = 89; 20 = 90; 21 = 90–91; 22 = 92; 23 = 93, 126; 24 = 101; 25 = 133; 26 = 135; 27 = 136; 28 = 137; 29 = 137–138; 30 = 138–139; 31 = 139; 32 = 140; 33 = 140–141; 34 = 141–142; 35 = 142–144; 36 = 144; 38 = 147–148; 40 = 148; 41 = 149–150; 42 = 151; 43 = 152; 44 = 152; 45 = 153; 46 = 154; 47 = 155; 48 = 155–156.

[6] *Anna*, I, 36–37, 39, 41, 47.

[7] *Anna*, I, 58–59 = *Bryenn.*, 125–126.

[8] *Anna*, I, 166 = *Psell.*, IV, 247.

[9] *Anna*, I, 166–168 = *Cedr.*, II, 645–647.

влияния его на писателей того времени и последующего.[1] Из этого сочинения заимствованы известия о некоторых внутренних делах Византии, о делах западно-европейских и об отношениях норманнов к Византии.[2] Наконец, помимо всех этих письменных источников, у Анны был изустный источник, из которого она, как сама заявляет, почерпала данные, а именно: рассказы ее отца Алексея,[3] а также показания стариков-современников и очевидцев описываемых Анной событий, из которых некоторые доживали при ней свой век, окруженные сыновьями и внуками.[4] Основываясь на устном источнике, Анна восполняет рассказ, извлеченный из записок Вриенния, из этого же источника добыт весь материал для Алексиады, который остается за выделением заимствований из письменных источников.

Данные, почерпнутые из устного источника, главным образом сообщают значение и важность Алексиаде как историческому памятнику — они самая ценная часть содержания Алексиады. Второе место по ценности может быть отведено данным, извлеченным из латинского историка, так как в числе их есть и такие, которые не вошли в содержание дошедших до нас опиравшихся на этого же историка латинских произведений, или же вошли, но в спутанном и искаженном виде, так что разъяснение и исправление может быть получено только при помощи Алексиады.[5]

---

[1] Этим сочинением пользовались: Вильгельм Апулийский, Готфрид Малатерра, Ромуальд Салернский и автор Амальфийской хроники. Ученый Вильман догадывается, что это сочинение было написано барийским архидиаконом Иоанном, которому принадлежат также описания обретения мощей св. Сабина и перенесения мощей св. Николая. Аргументацию по этому предмету и основания, на которых опирается мысль о зависимости Анны от латинского историка, можно читать в Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde... herausgeg. v. Pertz. 10 Bd., 1851, 98–110, а также в сборнике *Pertz*. MM., XI (SS., IX), 240.

[2] *Anna*, I, 62, 65, 69, 70, 79.

[3] *Anna*, I, 37: ταῦτα ἐγὼ ἐκείνου διηγουμένου πολλάκις ἤκουον (я много раз слышала об этом с его слов).

[4] *Anna*, I, 6: τῶν νῦν ὄντων ἀνθρώπων οἱ μὲν πατέρες, οἱ δὲ πάπποι ἐγένοντο οἱ τούτων συνίστορες (свидетелями тех событий были отцы или деды ныне живущих людей); I, 170: ἐγὼ γοῦν καὶ στρατιωτῶν αὐτῶν καὶ πρεσβυτέρων ἀνδρῶν ἐνίων ἀκήκοα (я слышала <об этом> со слов самих воинов и некоторых стариков).

[5] Таковы сообщения Анны Комнины о соглашении папы с саксонскими герцогами Рудольфом и Гвельфом, а также рассказ о Мономахе и Палеологе, по сравнению с сообщениями и рассказом о том же предмете Вильгельма Апулийского.

8) Хроника *Михаила Глики*,[1] написанная в начале царствования императора Мануила Комнина,[2] предназначалась автором для своего сына в целях его обучения и поэтому не ограничивается историческими сведениями (от создания мира до смерти Алексея I Комнина), но заключает еще сведения по естественным наукам, философии и богословию. Главной своей задачей Глика ставил возможную краткость. Вследствие того и в исторической части его книга до крайности скудна, представляет лишь легкий конспект тех источников, которыми он пользовался.

При изложении событий от Константина VIII до Алексея I источниками[3] для Глики служили Скилица и Зонара. Почти все содержание хроники взято у Скилицы[4] (в том числе много данных, которых нет у Зонары), у Зонары заимствовано лишь несколько показаний.[5] Сравнительно со Скилицей и Зонарой хроника Глики ничего нового не дает, и если вносит несколько с первого взгляда небезынтересных штрихов, то при ближайшем рассмотрении они оказываются внесенными в ущерб фактической

---

[1] Τοῦ κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Γλύκα βίβλος χρονικὴ (Хроника господина Михаила Глики). Ed. a *Leunclavio*. Basil., 1572 (один лат. перевод). *Meursio*. Lugduni Batav., 1618 (одна третья часть, под именем Феодора Метохита). Per *Labbaeum*. Par., 1660. Venet., 1729. Recogn. *Bekker*., Bonn., 1836.

[2] Это доказывается тем, что, с одной стороны, автору хроники известно о смерти Иоанна Комнина (*Glyc*., 459, ed. Bonn.), с другой — живший при Мануиле Комнине Манасси знал хронику и пользовался ей; сверх того, петербургский манускрипт хроники помечен уже 1176 г. (*Muralt*. Essai de chronographie byz., XXVII).

[3] Источники для предшествующего времени указаны самим Гликой (221, 223, 266, 294, 457, 530, 531, 546, 551): Георгий, Феофан, Скилица и Зонара. Гирш (Byzant. Stud., 397–403) заметил пользование еще несколькими источниками. Для времени последующего, с воцарения Алексея I, единственный источник Глики — Зонара, и Глика не простирается дальше того пункта, на котором остановился его источник.

[4] *Glyc*., 579–580 = *Cedr*., II, 480–484. 486; 581 = 486, 488–489; 582 = 489–491; 583 = 493, 497–499; 584 = 499, 501. 504; 585 = 505–506; 586 = 506–508; 587 = 508–509, 511, 513; 588 = 514, 516, 521; 589 = 525–526, 530, 534; 590 = 535–536; 591 = 537–538; 592 = 539–541; 593 = 541–543; 594 = 543–544, 549; 595 = 550–554, 556; 596 = 556, 561–562, 464; 597 = 566, 605, 607–608; 598 = 608–610; 599 = 610–612; 600 = 612, 615, 620, 634, 636, 648; 601 = 641–644; 602 = 644–646; 603 = 647–649; 604 = 649–652; 605 = 653–657; 606 = 658–659; 607 = 659–660, 663, 665; 608 = 666–685; 609 = 685, 688–690; 610 = 690, 697, 699–700; 611 = 700–702; 612 = 702–704; 613 = 705–708; 614 = 708–709, 714; 615 = 714–724, 725, 726–730; 616 = 733–736; 617 = 737–738, 740, 742.

[5] *Glyc*., 579 = *Zon*., IV, 125; 593 = 156, 181; 599 = 182, 191; 618 = 233, 234.

верности и точности, составляя плод недосмотра и малого внимания автора к источникам;[1] стремление автора к краткости иногда влечет к механическим пропускам, искажающим мысль подлинника.[2] Поэтому скудная и неудачная компиляция Глики как исторический памятник не имеет значения.

9) Рифмованная хроника *Константина Манасси*,[3] писателя времени Мануила Комнина, написана и поднесена Ирине, жене севастократора Андроника (брата императора Мануила Комнина); начинается с сотворения мира и заканчивается царствованием Вотаниата. При составлении хроники автор заботился главным образом о внешней форме, фраза стояла у него на первом плане, содержание на втором. Заботясь о цветистости изложения и красоте стиха, он призвал на помощь мифологию, разные сравнения и уподобления и этим поэтическим аппаратом подавил скудное фактическое содержание. Тем не менее как сама фразеология, так и подбор фактов, достаточно обличают те источники, которыми пользовался Манасси. Для времени от Константина VIII до конца[4] источниками для него служили всего более Зонара,[5] в меньшей степени Пселл[6] и Глика,[7] еще менее Атталиот.[8]

---

[1] Напр.: *Glyc.*, 593, 594, о качествах Мономаха и отправлении Маниака в Италию.

[2] Напр.: *Glyc.*, 588, об общественном молении по случаю стихийных бедствий.

[3] Τοῦ κυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μανασσῆ Σύνοψις χρονική, ἀρχομένη ἀπὸ κοσμοποιίας μέχρι τοῦ κυροῦ Νικηφόρου τοῦ Βοτανειάτου (Господина Константина Манасси летописное обозрение от сотворения мира вплоть до правления господина Никифора Вотаниата). Ed. per *Leunclavium*, 1573 (один латинский перевод). Per *Meursium*. Basil., 1616 (греч. и лат.). Per *L. Allatium* et *C. A. Fabrotum*. Par., 1655. Venet., 1729. Recognovit *Bekkerus*. Bonn., 1837.

[4] Об источниках для предшествующего времени (Зонара, Глика и Симеон Магистр) см.: *Hirsch*. Byzant. Stud., 404–412.

[5] *Man.*, 256–257 = *Zon.*, IV, 125–127, 132, 134–136; 259 = 149; 260–261 = 135, 143–144, 148–149; 262 = 151–152; 263 = 152–153; 264 = 154; 265 = 156; 269–271 = 182–183, 188, 191; 274 = 202, 204; 275 = 204; 276 = 206; 277 = 206, 209, 217, 278 = 211, 214; 279 = 214; 280 = 215–216; 281 = 217; 282 = 218, 224; 283 = 227–228; 284 = 229, 231.

[6] *Man.*, 257 = *Psell.*, IV, 37, 39, 46; 259 = 51–52; 261 = 76; 266 = 187; 272 = 249; 273 = 267; 277 = 275.

[7] *Man.*, 257 = *Glyc.*, 579; 264 = 589; 265 = 593; 267 = 594; 268 = 596–597, 593; 269 = 599; 272 = 600; 274 = 604; 284 = 613; 286 = 616.

[8] *Man.*, 257 = *Attal.*, 8; 267 = 18; 269 = 51; 270 = 56; 272 = 69; 277, 280 = 161; 284 = 295–296; 285 = 215, 275, 281, 319.

Манасси находился в счастливом положении — у него под руками было четыре источника, в том числе некоторые первостепенной важности. Но это обстоятельство способствовало только более рельефному обнаружению недостатков его как историка. У Манасси заметно полнейшее отсутствие всякой критики и невнимание к исторической правде, он не имеет никакого представления о сравнительном достоинстве своих источников и жертвует истиной ради красного слова. Не признавая исторический факт нормой для поэта, он нередко допускает ошибки, извращает действительность,[1] и воспаряя фантазией за пределы действительности, привносит неоправдываемые источниками подробности.[2] Все, что внесено им в хронику нового, есть плод легкомысленного отношения к своей задаче как историка или результат неправильного и неточного понимания текста источников. Как исторический памятник хроника не имеет для нас важности.

10) Хронография *Иоила*,[3] писавшего не ранее XIII в., начинается с Адама и доводится до завоевания Константинополя латинянами в 1204 г.; по краткости изложения превосходит даже произведение Глики.

Для времени от Константина VIII до воцарения Алексея Комнина[4] единственным источником Иоила был Скилица,[5] к которому он (из сопоставления показаний того же Скилицы) делает только два дополнения,[6] и оба неудачные. Так как за исключением этих дополнений все содержание хронографии представляет собрание отрывочных известий, заимствованных у историка, у которого они могут быть читаемы в несравненно более подробном и связном изложении, то она в качестве исторического памятника не имеет цены.

---

[1] Напр., о дочерях Константина VIII и времени его царствования, *Man.*, 256–257; об отношении Калафата к Зое и Феодоре, *Man.*, 262; о детях Константина Дуки, *Man.*, 273; о походе Романа Диогена, *Man.*, 277–280.

[2] Напр., о качествах Михаила Пафлагона, *Man.*, 259.

[3] Ἰωήλου χρονογραφία ἐν σύνοψει (Иоила краткая хронография). Ed. per *L. Allatium*. Par., 1651. Venet., 1729. Recognovit *Bekkerus*. Bonn., 1837.

[4] Источники для предшествующего времени: Георгий, первый продолжатель Георгия и Скилица. Мнение *Гирша* (Byzant. Stud., 114–115) о заимствованиях у Симеона Магистра и Зонары можно еще оспаривать.

[5] *Ioel*, 60–61 = *Cedr.*, II, 485, 484–486, 501, 504–505; 62 = 506, 508, 521, 533–534, 536–539; 63 = 540, 542, 550, 610–612, 637, 641; 64 = 642, 644, 647–648, 651, 658–659; 65 = 659–660, 666–667, 704–705, 731, 734; 66 = 735, 738.

[6] О продолжительности царствования Мономаха и Феодоры.

11) Рифмованная хроника *Ефрема*,[1] писавшего не ранее XIV в., начинается с Юлия Цезаря и оканчивается вступлением Михаила Палеолога в Константинополь в 1261 г., присоединенный же к хронике список Константинопольских патриархов доведен до патриарха Исаии, 1313 г. Так называемый Ефрем,[2] подобно Манасси, заботится о поэтических красотах, которые у него сводятся к вычурности фразеологии и накоплению синонимических выражений; тем не менее он не в такой степени изобилует фразами и разного рода отступлениями, как Манасси, и его хроника, сравнительно с хроникой последнего, богаче содержанием. Сравнительно большее богатство фактического материала не возвышает однако же значения хроники Ефрема. Автор находит возможным варьировать исторический материал по прихотям собственной фантазии, черпая его для времени[3] от Константина VIII до воцарения Алексея I у Зонары,[4] который служит едва ли не единственным его источником.[5] Есть у него несколько особенностей, фактических[6] и хронологических,[7] не встречающихся у Зонары; но они оказываются исторически неверными, составляют плод фантазии Ефрема, или смешения им показаний Зонары, или, наконец, порчи текста хроники позднейшими переписчиками.

---

[1] Ed. *Mai*. Script. vet. nova collectio. T. III. Recognovit *Bekkerus*. Bonn., 1840.

[2] Заглавного листа в ватиканском манускрипте, по которому делались издания, нет; принадлежность хроники Ефрему основывается лишь на словах Аллация, который первый привел из нее отрывки в соч. De consensione, в трактате о Георгиях и Пселлах и примеч. к Акрополиту, изданному вместе с Иоилом.

[3] Источники для остального времени (Зонара, Хониат, Акрополит) указаны у *Mai*. Praef., 5; *Hirsch*. Byz. Stud., 392–396.

[4] *Ephr.*, 128 = *Zon.*, IV, 125–128; 129 = 127–128, 130–131, 136; 130 = 131–132; 131 = 133, 149; 132 = 135, 140; 133 = 148–150; 134 = 150–152, 154; 135 = 157, 160–161, 181; 136 = 163, 167–169, 176, 169–170; 137 = 170, 178; 138 = 178, 181; 139 = 182; 140 = 183, 191–192, 197; 141 = 192, 195–196; 142 = 196–198; 143 = 198–200; 144 = 200–202; 145 = 202, 204–205; 146 = 215, 218, 220; 147 = 219–221, 223, 225, 227; 148 = 219, 224, 228–229, 231; 149 = 228–230, 232–234.

[5] Говорим об этом нерешительно, потому что в некоторых местах, напр. в истории Михаила Пафлагона и Феодоры, Ефрем прибегает к сравнениям и выражениям, встречающимся в хронике Манасси, так что можно полагать, и хроника Манасси имела на него влияние.

[6] О характере Константина VIII и пострижении его дочери Феодоры.

[7] О времени царствования Михаила Калафата, Константина Мономаха, Константина Дуки и Романа Диогена.

12) Продолжение хроники *Георгия Монаха* (Амартола),[1] и именно второе, примыкающее к первому (с 842 по 948 г., Логофета).[2]

В этом втором продолжении изложение событий начато с 948 г., с пункта, на котором остановился Логофет, и доведено в венецианской рукописи (XV в., № 608) до 1071 г., в парижской (XVI в., № 1768) до 1081 г., а в московской синодальной (XII в., № 252) до 1143 г. Текст каждой из этих рукописей имеет свои отличия и особенности, так что продолжение представляет собой три различные редакции.

Парижская редакция продолжения самая обширная. По своим источникам и способу пользования ими она наводит на мысль, что над ее составлением трудилось не одно, а два лица. Источниками служили не только Зонара,[3] но также Скилица, Манасси и какой-то неизвестный нам автор. В той части, которая обнимает время от Константина VIII до смерти Константина Мономаха, продолжение представляет компиляцию на новогреческом языке из хроники Манасси,[4] с той особенностью, что хронологические показания Манасси о времени царствования того или другого императора выделяются из текста и ставятся в начале обозрения каждого царствования, иногда[5] после предварительной проверки по Скилице, из которого заимствовано и два фактических сведения.[6] Продолжатель воспроизводит многие ошибки и поэтические сравнения Манасси, не всегда даже сознавая их настоящий смысл.[7] В части продолжения, обнимающей время от вступления на престол Феодоры до смерти Исаака Комнина, обнаруживается буквальное заимствование из истории Зонары,[8]

---

[1] Χρονικὸν σύντομον ἐκ διαφόρων χρονογράφων τε καὶ ἐξηγητῶν συλλεγὲν καὶ συντεθὲν ὑπὸ Γεωργίου Ἀμαρτώλου (Краткая хроника, собранная и составленная Георгием Амартолом по разнообразным летописям и повестям). Вместе с продолжениями издана под редакцией *Мюральта*, в Записках Импер. Академии наук. Кн. VI. СПб., 1861.

[2] О спорных вопросах касательно хроники Георгия и его первого продолжателя с указанием относящейся сюда литературы можно читать у *Гирша* (Byzant. Stud., I sq.).

[3] На одного Зонару указывает издатель *Мюральт* (Proleg., IX).

[4] *Georg.*, 872 = *Man.*, 251, 257; 873 = 257–258; 874 = 258–259; 875 = 261, 266; 876 = 261–262; 877 = 263–264; 878 = 265–266; 879 = 266–268; 880 = 268.

[5] О царствовании Михаила Пафлагона.

[6] О вступлении на престол Михаила Пафлагона и месте ссылки Мономаха.

[7] Напр., в рассказе о Торнике, 879–880.

[8] *Georg.*. 880 = *Zon.*, IV, 182–183; 881 = 183–184; 882 = 191; 883 = 196; 884 = 197.

с признаками механического списывания источника; при этом система выделять хронологические данные и ставить их в начале не выполняется и язык древнее, чем в предшествующей части. Наконец, в части продолжения от Константина Дуки до конца царствования Вотаниата опять восстанавливается прежняя система относительно хронологии, со стороны же содержания эта часть представляет собой сборник извлечений и отрывков из четырех источников: Манасси,[1] Скилицы,[2] Зонары[3] и неизвестного автора.[4] Извлечения и отрывки соединяются в одно целое без всякой критики и независимо от хронологической последовательности; из Манасси и Скилицы делаются сокращенные извлечения, у Зонары берутся отрывки целиком и воспроизводятся буквально, причем продолжатель не заботится о том, чтобы согласовать отрывок с предшествующим содержанием, допускает вследствие того повторения и не имеющие смысла фразы; как он поступает с неизвестным автором — судить, понятно, не можем, по отсутствию подлинника.

Различие приемов в изложении хронологических данных и в пользовании источниками заставляет предполагать, что одно лицо составляло продолжение на основании Манасси, Скилицы и неизвестного автора, другое — на основании Зонары; труд первого носит некоторые следы самостоятельности, труд второго совершенно механичен. Когда внесены в продолжение отрывки из Зонары, сказать трудно; компиляция же из Манасси, Скилицы и неизвестного с вероятностью может быть отнесена к XV в.[5]

Значение продолжения Георгия обусловливается теми извлечениями, которые внесены в него из неизвестного памятника. К сожалению, автор, пользовавшийся памятником, не обладал критическими способностями, так что мы не можем быть даже уверены в исправном с его стороны

---

[1] *Georg.*, 884 = *Man.*, 272–273; 885 = 273–274; 886 = 274–275; 887 = 276–277; 888 = 277–278; 889 = 279; 890 = 280–281: 891 = 281–282; 892 = 282–283; 893 = 284, 289; 895 = 284; 896 = 285.

[2] *Georg.*, 886 = *Cedr.*, II, 659; 888 = 689; 889 = 693, 696–697; 890 = 700–701; 892 = 704–705.

[3] *Georg.*, 896 = *Zonar.*, IV, 228; 897 = 229–230; 898 = 230–231; 899 = 231–232; 900 = 232–233; 901 = 234–235.

[4] *Georg.*, 893–895.

[5] Не позже, потому что к этому веку относится парижский манускрипт; но и не раньше, потому что встречается турецкое название местности (Скутари) (*Georg.*, 888), и автор не имеет ясного представления о значении византийских стратигов (*Georg.*, 891) — византийские же порядки забыты после утверждения турецкого владычества.

пользовании, не говоря уже о том, что самый факт пользования не может служить ручательством за достоинство памятника.[1] Утверждать, что этот памятник был славянского происхождения на том основании, что из него взяты сведения об отношениях греков к болгарам, было бы слишком смело.

Венецианская редакция продолжения — весьма краткая, она заключает биографические сведения о патриархах, частью об императорах, и возбуждает некоторый интерес своими хронологическими и генеалогическими показаниями; что же касается московской редакции, то она, несмотря на свою сравнительную древность (XII в.), никакого значения не имеет, так как представляет простой перечень императоров с обозначением продолжительности царствования каждого и, несмотря на краткость, наполнена грубыми ошибками.

13) Краткий *список болгарских архиепископов*,[2] составление которого относят[3] к середине XII в., заключает перечень иерархов с указанием их прежнего положения и главнейших заслуг, начиная со св. Мефодия и оканчивая Иоанном Комнином. Сначала внесено в список несколько подозрительных подробностей, но для XI и первой пол. XII в. сведения сообщаются вполне достоверные.

14) Список византийских императоров, известный под именем *Кодина*,[4] писателя XV в., если принадлежит Кодину, то лишь в последней своей части (с Феодора Ласкариса), все же остальное составлено другим, более ранним писателем, даже не одним, а несколькими. Автор списка, начиная с Алексея I Комнина, был, по собственному его заявлению, современником Мануила Комнина, список же императоров до Алексея Комнина, отличающийся чрезвычайной краткостью и отрывочностью, был откуда-нибудь им взят, как готовый. Для нас представляют интерес не столько хронологические показания этого списка, местами обнаруживающие близкую связь с датами Зонары, сколько некоторые вставки и замечания в истории Василия II и Михаила Калафата.

---

[1] Характер сведений, извлеченных из этого памятника, не свидетельствует в его пользу: обстоятельства, случившиеся при Парапинаке, отнесены ко времени Вотаниата, о болгарском царе говорится, что он был убит, тогда как был взят в плен (*Georg.*, 893–895).

[2] *Du Fresne Du Cange*. Historia byzantina duplici commentario illustrata. Familiae Byzantinae. Par.; 1682, 174–175.

[3] *Голубинский*. Краткий очерк истории Православных Церквей: Болгарской, Сербской и Румынской. М., 1871. С. 38.

[4] Ed. Par., 1655; Venet., 1729; Bonn., 1843.

Б) Латинские памятники

1) *Барийские анналы*,[1] составленные неизвестным автором в Бари, главном городе Апулии, в сер. XI в.,[2] обнимают время с 605 по 1043 г. и как по способу изложения, так и по достоинству излагаемых сведений распадаются на две части: в первой, до 1035 г., сведения отрывочны, изложены с большими пропусками,[3] хронологические показания возбуждают недоверие,[4] некоторые из них заведомо ложны;[5] во второй (годы 1040, 1041, 1042 и 1043) о событиях говорится без пропусков и совершенно верно, как в хронологическом, так и в фактическом отношении. По всему видно, что первая часть — произведение неоригинальное, заимствованное из какого-нибудь более раннего источника, может быть, из недошедших до нас древнейших барийских анналов,[6] что автор пользовался этим источником отрывочно и неумело, почему и допустил хронологические скачки и ошибки. Вторая часть, напротив, обнаруживает очевидные признаки оригинальности: автор говорит обстоятельно, точно и основывает свои показания на свидетельстве современников, бывших очевидцами и действующими лицами описываемых событий.[7]

---

[1] Annales Barenses. Ed. *Muratori*. Antiquitates italicae medii aevi. T. I. Mediol., 1738 (под заглавием: Anonymi Barensis monachi chronicon de rebus in Barensi provincia gestis, additis notis Nicolai Aloisya); *Pratillus*. Historia principum Langobardorum. T. IV. Neapoli, 1753; *Pertz*. Monumenta Germ. hist., SS., V.

[2] Для определения времени служат: ссылка на свидетельство лиц, участвовавших в сражениях 1041–1042 гг. (Ann. Bar., ed. *Pertz*, 54–55), и выражение о барийском замке, что в нем sedes est nunc graecorum magnatum (...теперь живут греческие властители) (Ibid., 53), неуместное в устах писателя после 1071 г., когда Бари взят был норманнами и греки вытеснены.

[3] Напр., после 902 г. прямо поставлен 925, после 925 — 928, после 949 — 979, после 1011 — 1013, 1021, 1027, 1035.

[4] Напр., под 1003, 1011, 1021 и 1027 гг.

[5] Напр., сражение при Каннах поставлено под 1021 г., тогда как известно, что разбитый в этом сражении Мел умер в Бамберге в 1020 г.

[6] Эту догадку развил *Hirsch*. De Italiae enferioris annalibus saeculi decimi et undecimi. Berolini, 1864. Мысль *Пертца* (SS., V, 51) и *Вильмана* (Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtkunde, X, 117), что первая часть составлена самостоятельно и потом послужила источником для других сочинений, оказывается несостоятельной ввиду того обстоятельства, что позднейшие сочинения, которые здесь подразумеваются, лучше и подробнее излагают дело.

[7] Ann. Bar., 54–55: ut dictum est ab omnibus qui haec noverunt... ut ajunt veraciter qui in ipso bello sunt (как говорят все, кто знает об этом... как правдиво говорят принимавшие участие в самой войне). Во внимание к такому ясному заявлению

Значение второй части анналов, как вполне оригинальной, определяет важность показаний ее для 1040–1043 гг. Показания эти касаются столкновений греков с норманнами, а также деятельности Аргира и Маниака в Италии. Из городов Италии преимущественное внимание обращено на Бари.

2) Хроника так называемого[1] *Лупа Протоспафария*[2] обнимает время с 860 по 1102 г. и в этих пределах времени излагает по порядку годов и с тщательным указанием хронологических дат (месяц и день) события, имеющие не только местный, но и общеисторический интерес, в том числе о преемственности византийских императоров, о столкновениях греков с норманнами, сарацинами и пр. При изложении этих событий в хронике обнаруживается местами сходство с барийскими анналами, что может быть объяснено общностью источника, а по отношению ко времени 1040–1043 гг. — заимствованиями из анналов.[3] Но пользуясь барийскими анналами, автор пользовался еще какими-то источниками, не дошедшими до нас;[4] с помощью их он восполнял барийские анналы новыми сведениями и прояснял те сведения, которые в анналах изложены смутно.[5] На этих дополнительных данных основывается значение хроники как памятника, имеющего (вследствие отсутствия первоисточников) важность при установлении фактических и хронологических подробностей. Впрочем, важность его должна быть допускаема в ограниченных

автора, мы не считаем правильным мнение Гирша, что и вторая часть основана на письменном источнике и не составляет оригинального произведения.

[1] Назвал его так Караччиоли на основании надписи на списке хроники, довольно новом по происхождению.

[2] Ed. *Caraccioli*. Antiqui chronologi quatuor. Neap., 1626; *Muratori*. Script. rer. italic., V; *Burmanni*. Thesaurus Italiae, IX; *Carusii*. Biblioth. histor. regni Siciliae, I; *Pratilli*. Hist. principum Langobard., IV; *Pertz*. SS., V.

[3] Этот взгляд на отношение двух памятников будет занимать середину между взглядами Пертца и Вильмана (см. выше, с. 73, прим. 6), усматривающих зависимость хроники от анналов в обеих частях, и Гирша, в обеих частях отрицающего зависимость.

[4] Так как источники не сохранились, то и ответить на вопрос, каковы они были, нет возможности. *Гирш* (De Italiae infer. annal., 8–9, 21, 24, 39–40, 43) говорит, что это были: а) древние барийские анналы, б) древние циклы, в) древняя беневентская хроника, г) матеррийские анналы и д) еще один памятник, по содержанию отличавшийся широтой кругозора. Перечень этот составляет простую догадку, основанную на классификации данных хроники по городам, к которым они имеют отношение.

[5] Напр., об умерщвлении Падра.

размерах, потому что, с одной стороны, неизвестно, насколько отдален автор от описываемых событий,[1] а с другой, в хронике заметны следы не совсем удачного пользования источниками, несколько погрешностей генеалогических[2] и хронологических.[3] Кроме того, в области хронологических показаний самый вопрос о том, какому летосчислению следовал автор — пизанскому (calculus Pisanus, с 25 марта предшествующего года) или греческому (с 1 сентября предшествующего года), — вопрос недоуменный;[4] только факт распространенности греческого летосчисления в Нижней Италии, официальное его значение в греко-итальянских владениях и наконец очевидное пристрастие автора к грекам[5] склоняют весы на сторону того мнения, что он в своей хронике едва ли мог предпочесть греческому летосчислению какое-нибудь иное.

3) Хроника *Анонима Барийского*,[6] написанная в Бари неизвестным автором (или авторами),[7] начинается с того же времени, с какого хроника Лупа, но простирается далее последней — события доведены до 1115 г. Вообще между обеими хрониками (Анонима и Лупа) замечается большое сходство, особенно в рассказе о событиях до 1024 г. В дальнейшем

---

[1] О личности, времени и месте жизни автора существуют одни только догадки, приурочивающие его то к городу Бари, то к Матерре, то к XI, то к XII в. По мнению *Пертца* (SS., V, 51), существовало даже два автора: один писал около 1090 г. в Бари и довел до этого года хронику, другой продолжал труд первого в Матерре в XII в.

[2] Напр., Вильгельм I Норманнский (Завоеватель) назван Робертом, император Генрих III — Коконом.

[3] Напр., победа Оттона I над уграми отнесена к 945 г., сражение Оттона II с сарацинами к 981 г., смерть Оттона III к 1000 г.

[4] *Пертц* (V, 51) стоит за пизанское летосчисление, *Гирш* (44–45) — за греческое.

[5] Это особенно обнаруживается под 1085 г.

[6] Ed. *Pratilli*. Historia princ. Langob., IV (под заглавием Ignoti civis Barensis sive Lupi Protospatae chronicon (Хроника Анонима Барийского или протоспафария Лупа)).

[7] Что автор был бариец, видно из выражений под 1064, 1087 и 1088 гг. Выражение под 1064 г.: Robertus dux venit in Bari et *fecimus* ei sacramentum, et ille *nobis* (Герцог Роберт пришел в Бари, и мы принесли ему присягу, а он нам) прилично в устах современника, принимавшего участие в деле. Лицо, находившееся в 1064 г. в таком возрасте, что принимало участие в политических делах своего города, едва ли могло после 1115 г. заниматься литературной работой и писать хронику. Отсюда выводим предположение, что хроника принадлежит нескольким авторам.

повествовании до 1046 г. сходство заметно в меньшей степени, а с 1046 г. Аноним значительно отличается от Лупа. Кроме того, Аноним обнаруживает сходство с Барийскими анналами, по сравнению с которыми он говорит то короче,[1] то распространеннее.[2] Едва ли справедливо объяснять это слишком большой зависимостью от Лупа[3] или Барийских анналов,[4] вместе с тем невозможно с решительностью настаивать на полной его независимости не только от первого, но и от второго из этих памятников.[5] Аноним мог иметь в виду анналы и пользоваться ими в той (второй) части, в которой изложение событий отличалось достоверностью; но сведения, почерпнутые из анналов, он дополнял сведениями из других источников, нам неизвестных и, может быть, однородных с источниками Лупа. Пользование однородными источниками могло обусловить и сходство его с Лупом. Что же касается вопроса о том, пользовался ли Аноним непосредственно хроникой Лупа, то более побуждений ответить на этот вопрос отрицательно, чем положительно. Прежде всего, есть основание (хотя слабое) считать Анонима писателем XI в.,[6] между тем о Лупе этого сказать нельзя; затем, сравнение хроники Анонима с хроникой Лупа убеждает, что Аноним скуднее Лупа относительно данных, имеющих общеисторическое значение, в том числе тех, в которых Луп делает промахи, но превосходит Лупа обилием данных относительно дел, касающихся Византии[7] и города Бари,[8] которые излагает и подробнее, и удачнее, чем Луп.[9] Кроме того, у Анонима с большей тщательностью, чем у Лупа, выдержана последовательность годов — некоторые годы, отсутствующие в хронике Лупа,[10] у Анонима стоят на своем месте и при них указаны события, о которых у Лупа нет ни малейшего намека. Всё это особенности, которые не говорят в пользу зависимости Анонима от Лупа.

Хроника Анонима, как основанная на неизвестных источниках, занимает место рядом с хроникой Лупа, но превосходит последнюю настолько, насколько обильнее ее фактами и удачнее передает факты.

---

[1] Напр., под 1040 г.

[2] Напр., под 1035 и 1040 гг.

[3] На такой зависимости настаивают *Перегрин* и *Пратилл*.

[4] Мнение *Вильмана* (Archiv, X, 117).

[5] Так делает *Гирш* (De Ital. inf. ann., 6, 24, 27–28).

[6] См. с. 75, прим. 7.

[7] Под 1044, 1045 и 1078 гг.

[8] Под 1048–1071 и 1079 гг.

[9] Под 1042, 1043, 1068, 1072 и 1079 гг.

[10] 1025–1027, 1052 гг.

4) История норманнов *Амата*,[1] монтекасинского монаха второй половины XI в.,[2] написана около 1079 г.[3] и посвящена автором касинскому аббату Дезидерию (занявшему впоследствии, в 1086 г., папский престол под именем Виктора III); доведена до 1078 г. Это — сочинение тенденциозное. Под влиянием чувства признательности к норманнам Рихарду (князю Капуи) и Роберту Гвискару за благодеяния, оказанные ими Касинскому монастырю, Амат взялся описать их деятельность. Предметом и центром повествования избраны Рихард и Роберт; если в сочинение внесено что лишнее, то или по связи с этими лицами, или вследствие увлечения автора, как сам он сознается. Под его пером деятельность Рихарда и Роберта получает провиденциальное значение и для оправдания такого значения налагаются соответствующие краски на события. Поэтому доверие, оказывавшееся этому писателю в прежнее время,[4] при ближайшем с ним знакомстве поколебалось.[5] Строгая историческая критика подвергла сомнению первые шесть книг истории Амата и только 7-я–8-я книги признаны достоверными со стороны содержания. Вывод тем более прискорбный, что у Амата много данных не только в последних двух, но и в первых шести книгах, что составляет часть оригинальную, ни откуда не заимствованную и не имеющую себе ничего соответствующего в известных нам памятниках. Из письменных источников Амат пользовался только «Книгой диалогов», составленной аббатом Дезидерием, и то в ограниченных размерах.[6]

---

[1] Подлинный (латинский) текст неизвестен. Найден и издан перевод на старофранцузский язык, сделанный в конце XIII или начале XIV в. L'hystoire de li Normant et la chronique de Robert Viscart, par Aimé, moine du Mont-Cassin; publiée pour la premiere fois, d'apres un Manuscrit françois inédit du XIII siècle, appartenant a la bibliothéque royale, pour la société de l'histoire de France, par *M. Champollion-Figeac*. Paris, 1835.

[2] О личности автора можно читать в предисловии Шампольона-Фижака, а также у *Гирша*. Forschungen zur deutschen Geschichte, herausgegeben von der historischen Commission bei der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. VIII. Göttingen, 1868.

[3] Время написания определяется свидетельством Петра Диакона (*Pertz*. SS., VII, 728), отчасти также содержанием самого сочинения.

[4] С полным доверием к нему относится не только *Шамп.-Фижак* (Proleg., LXV), которому извинительно было некоторое увлечение, но и *Гизебрехт* (Geschichte d. deutschen Kaiserzeit. 2 Aufl. Bd. II, 562).

[5] Первый поколебал авторитет Амата *Gius. de Blasiis*. La insurexione Pugliese e la conquista Normanna nel secolo XI. Napoli, 1864, 2 v. Затем сильный удар нанес *Гирш* (Forschungen, VIII, 203–325).

[6] Лишь в трех местах: *Amat.*, 72, 77, 82 = *Migne*. PL. CXLIX, 1005–1007.

Остальные сведения, за исключением взятых из «Диалогов», почерпнуты или из личного опыта, или из рассказов других лиц. Амат, уроженец Салерно, города имевшего важное значение в истории норманнов, мог еще до поступления в монастырь получить здесь сведения о норманнах от своих родных, знакомых и вообще жителей Салерно. Живя в Касинском монастыре в качестве монаха в период времени (по крайнему счету, который однако же может быть распространен) с 1061 по 1080 г., он мог приобрести здесь еще более сведений: сам он, как лицо, близкое к Дезидерию, мог играть ту или другую роль в сношениях с норманнами, о многом мог узнать от аббата Дезидерия, многое могли сообщить ему касинские монахи, которые со всех областей Италии стремились в славный Касинский монастырь и приносили с собой вести о делах родины.

По связи с норманнами в истории Амата в разных местах рассеяны известия о греках, отношениях к ним норманнов и вообще о делах византийских. Те известия, которые читаются в 7-й кн. (сношения Роберта Гвискара с византийским двором по вопросу о брачном союзе), не требуют оправдания, так как самая взыскательная критика не заподозривает достоверности известий, содержащихся в 7-й кн. Относительно же известий о византийских делах, записанных в первых книгах, нужно заметить, что на них в меньшей степени должны были отразиться последствия тенденциозности автора. Византийское правительство не было враждебно к Касинскому монастырю и в этом отношении не похоже было на владетелей Ломбардии, князей Капуи, Салерно, графов Марсийских, Аквинских, маркграфов Киэти, которые не только враждовали с норманнами, но приходили в столкновение с Касинским монастырем и монахами. Византийское правительство, напротив, проявляло относительно монастыря знаки расположения, присылало подарки, оказывало услуги, и Амат не имел побуждений неблагосклонно смотреть на греков. Сведения о Византии, сообщаемые Аматом, вследствие этого выигрывают по сравнению со сведениями об итальянских княжествах и графствах; подозревать в них намеренное искажение было бы несправедливо. Но если в одном отношении они стоят выше, то уступают в другом; почва, на которую они опираются, иногда бывает не столь прочна, как почва для сведений о делах итальянских. Последние совершались на глазах, поблизости к монастырю, у автора были надежные свидетели, поприще же действий из области византийской истории было сравнительно более отдаленно и источники сведений менее определенны. Отсюда в сведениях некоторая сбивчивость и темнота.[1]

[1] Напр.: кн. 2, гл. 10, о причине удаления Маниака из Сицилии и политическом перевороте в Византии; кн. 2, гл. 14, о судьбе Маниака; кн. 2, гл. 27, о роли Аргира.

При пользовании Аматом не нужно упускать из внимания и того обстоятельства, что мы имеем дело не с оригинальным текстом истории, а с переводом, который сделан не везде буквально, но с сокращениями в одних местах, с дополнениями в других, притом же с дополнениями иногда крайне неудачными, особенно о лицах и событиях, касающихся Византии.[1] Все такие изменения следовало бы строго выделить, прежде чем избирать Амата в руководители. К сожалению, опыт доказал, что эта задача не так легка, как может показаться с первого взгляда.[2]

5) Хроника Касинского монастыря *Льва*,[3] касинского библиотекаря, впоследствии (XII в.) епископа Остийского, младшего современника Амата, написана по поручению касинского аббата Одеризия (преемника Дезидерия) и, согласно с главной задачей — изложением истории монастыря, начинается с основания Монтекасино и доводится до 1075 г. (окончить хронику автор не успел). Хроника не ограничивается узкой сферой монастырских дел, но касается многих лиц, стоявших в известном, хотя и отдаленном, отношении к монастырю, в том числе норманнов и греков. В ней автор в хронологическом порядке применительно к январскому летосчислению[4] излагает события, руководствуясь разнообразными источниками:[5] личным опытом, рассказами очевидцев (в том числе аббата Дезидерия и Яквинта), разными документами из монастырского архива (в том числе реляцией послов папы Льва IX о сношениях Рима с Константинополем), «Диалогами» Дезидерия, письмами Петра Дамиани, «Историей» Амата и каким-то неизвестным сочинением, может быть, древними касинскими анналами.

---

[1] Таковы, напр., вставки о двух императорах и двух кесарях (кн. 1, гл. 9), о матери Михаила Парапинака (кн. 1, гл. 10).

[2] Шампольон-Фижак, обещавший обозначать скобками вставки, принадлежащие перу переводчика, не везде мог выполнить обещание, так как переводчик не везде делает соответствующие оговорки и относительно некоторых мест трудно решить — вставка это или нет.

[3] Ed. *Laurentii Vicentini*. Venet., 1513; *Jac. du Breul*. Par., 1603; *Laurenti Hispani*. Neap., 1616; *Angel. de Nuce*. Par., 1668; Romae, 1670; *Muratori*. Mediol., 1723; *Pertz*, SS., VII; PL. T. CLXVIII.

[4] *Meo* (Annali del regno di Napoli, VII, 80, 101, 186, 206) утверждает, что Лев руководствовался пизанским летосчислением (с марта предшествующего года), но сравнение показаний Льва с датами официальных документов (*Boemer*. Regesta, 57, 78) говорит в пользу январского счета. Ср.: *Hirsch*. De Ital. inf. ann., 58–59.

[5] Указаны *Ваттенбахом*, см.: *Pertz*, SS., VII, предисл., 559–560, и примечания к тексту, и *Гиршем*. De Ital. infer. ann., 54–57.

Известия о греках и их отношениях к норманнам Лев почерпнул для своей хроники в ее окончательном виде[1] у Амата.[2] Показаниями Амата о более ранних событиях он пользовался с осторожностью, внося из другого, неизвестного источника, подробности, изменения и поправки,[3] относительно же событий с 1040 г. доверял показаниям Амата вполне, и если делал дополнения (на основании свидетельства очевидцев), то лишь фактами, незатронутыми Аматом, оставляя факты, сообщенные последним, без изменения. Такое отношение к Амату показывает, что Лев Остийский не чужд критики и заботился о достоверности рассказа. Действительно, как о норманнах и греках, так и о других предметах, составляющих содержание его хроники, он пишет согласно с истиной, басен не допускает, и если какие легенды внес в первую редакцию хроники, то во второй их выбросил. Поэтому исследователи справедливо высоко ставили значение этого памятника. Значение его для истории Византии и византийского владычества в Италии не ослабляется даже тем обстоятельством, что в нашем распоряжении есть теперь история Амата — главный его источник; хроника Льва, пользовавшегося оригинальным текстом истории, может служить для проверки имеющегося в наших руках перевода. Дополнения, заимствованные из неизвестного источника и из показаний очевидцев, чрезвычайно ценны.

6) Продолжение хроники Льва,[4] составленное в XII в.[5] преемником его по званию библиотекаря *Петром Диаконом* и доведенное до 1138 г., вообще считается памятником ненадежным;[6] автор слишком легковерен, слишком большое пристрастие питает к легендам, к подложным и подозрительным привилегиям и донациям. Эта особенность ослабляет и тот

---

[1] В Мюнхенской библиотеке хранится автограф хроники Льва, из которого видно, что хроника не сразу вышла из-под пера автора в окончательном своем виде, но постепенно изменялась. В первой редакции она была доведена Львом до 1057 г., потом в новой редакции текст первой был исправлен, дополнен и продолжен до 1075 г. В первой редакции Лев совершенно не пользовался Аматом, хотя его история, написанная лет за десять до того времени, когда Лев приступил к своей хронике, должна была находиться в касинской библиотеке.

[2] Заимствования указаны в издании *Ваттенбаха*. Следует их только восполнить одной подробностью, пропущенной в издании, а именно, что и 78-я гл. 2-й кн. (ed. *Pertz*, 683) обнаруживает влияние Амата (p. 72).

[3] *Pertz*, SS., VII, 652–653, 656.

[4] Издано вместе с хроникой Льва.

[5] Около 1140 г.

[6] См. оценку его у *Wattenbach*. Deutschlands Geschichtsquellen. II Bd. Dritte Aufl. 1874, 164–165.

ограниченный интерес, какой имеют для нас внесенные им в хронику краткие заметки об отношениях византийского императора Михаила Парапинака к Касинскому монастырю и об отношениях Роберта Гвискара к Византии.

7) Касинские анналы, называемые также хроникой Анонима Касинского[1] (правильнее было бы сказать «анонимов»),[2] обнимающие в разных кодексах различное время на протяжении от 1000 до 1212 г., не лишены значения для XII и XIII в., но для XI в., в частности для истории греческих владений в Италии, не имеют почти никакой важности. Не говоря уже о том, что для событий XI в. это источник не самостоятельный,[3] он не дает нам никаких новых сведений, ограничиваясь лишь двумя краткими, имеющими некоторое отношение к делу заметками (под 1053 и 1080 гг.).

8) Деяния Роберта Гвискара *Вильгельма Апулийского*,[4] писателя конца XI и начала XII в., — сочинение, начатое по просьбе папы Урбана II, следовательно, не ранее 1088 и не позже 1089 г., и оконченное при Роджере, сыне Роберта Гвискара, следовательно, не позже 1111 г.[5] Несмотря на заглавие, автор не ограничивается личностью Роберта, но рассказывает вообще историю утверждения норманнов в Италии, частью в Сицилии, передает о столкновениях их с греками и сообщает сведениях о

---

[1] Ed. *Caraccioli*. Antiqui chronologi quattuor. Neap., 1626; *Peregrini*. Hist. princ. Langobard., IV; *Gattula*. Accessiones ad hist. Casin., II; *Muratori*. Scr. rer. ital., V; *Pertz*, XIX.

[2] Мысль Караччиоли об одном авторе, касинском монахе, писавшем ок. 1195 г., оказалась несостоятельной после открытия новых кодексов, обнимающих время более или менее продолжительное (с 1000 до 1152, 1153, 1167, 1195, 1212) и свидетельствующих о постепенных наслоениях. Перегрин допустил уже двух авторов (один до 1152 г., другой с 1153 до 1195 г.), Гаттула и Муратори прибавили к ним еще третьего для времени 1195–1212 гг. Самым древним автором, составившим хронику до 1153 г., был, по мнению Муратори, основанному на приписках к полям одного кодекса, друг Петра Диакона Альберик, монах, потом настоятель монастыря св. Марии Альбанеты. Мнение *Пертца* (XIX, 305) об этом древнейшем авторе колеблется между Альбериком, другом Петра, и самим Петром Диаконом.

[3] Вопрос о том, откуда внесены данные в анналы, рассмотрен в De ital. inf. ann., 18, 49–52; *Pertz*, XIX, praef.; Forschungen z. deutsch. Gesch., VII, 103–112.

[4] *Guilermi Apuliensis* Gesta Roberti Wiscardi. Ed. *Ioh. Tiremaeus*. Rothomogi, 1582; *Leibnicius*. Script. rer. Britann. Heidelb., 1587; *I. Carusius*. Biblioth. histor. regni Siciliae. Panormi, 1720; *I. Muratori*. Script. rer. ital. Mediol., 1730, V; *Pertz*, SS., IX.

[5] Данные в самом сочинении, в прологе и эпилоге.

византийских императорах, отличающиеся краткостью, за исключением вставки о Романе Диогене и положении при нем Империи, которая обширнее всех других вставок этого рода. События доведены до 1085 г. (до смерти Роберта Гвискара).

Сочинение написано гекзаметрами и изобилует поэтическими образами; в уста действующих лиц влагаются целые речи, на которые, разумеется, нужно смотреть как на плод фантазии автора. Сочинение богато и содержанием, в нем есть данные, которых ни в каком другом источнике не встречаем. Некоторые пренебрежительно относятся к этим данным, видя в них отображение народных сказаний и собственных измышлений автора.[1] Есть доля правды в этом взгляде на происхождение показаний Вильгельма; но было бы односторонне во всех его показаниях (а не в некоторых только) видеть продукт фантазии. Не подлежит сомнению,[2] что он пользовался письменными источниками, как-то: Аматом, к которому, впрочем, обращается лишь в пяти местах,[3] недошедшим до нас сочинением барийского происхождения,[4] простиравшимся до 1051 г., и наконец тоже недошедшим латинским сочинением, послужившим, между прочим, источником для Анны Комниной.[5] Связь с последними двумя письменными источниками придает Вильгельму Апулийскому значение, которое

---

[1] Особенно восстает против показаний Вильгельма, фактических и хронологических, *di Meo* (Annali, VII, 136, 354; VIII, 78), считающий их легендарными. По отношению к некоторым фактам, сообщаемым Вильгельмом, замечания этого ученого верны, но он выходит за границы, не признавая достоверности за сочинением Вильгельма в полном его составе. Можно было бы указать немало серьезных исследователей, которые вслед за Вилькеном отдают дань уважения свидетельствам Вильгельма.

[2] В этом сомневается *Гирш*. Forschungen, VIII, 221–223.

[3] *Pertz*, IX, 246, 256, 268, 273, 274 = *Amat.*, II, 17; III, 37, 24; V, 27; VII, 2–3, 25; VIII, 15, 16, 23. Шампольон-Фижак преувеличивает дело (Proleg., LXV), утверждая, что вообще о войнах норманнов Вильгельм писал по Амату.

[4] Вильман, издававший текст Вильгельма в сборнике Пертца, высказал мысль, что он пользовался известными нам барийскими памятниками — анналами Лупа и Анонима (*Pertz*, SS., IX, 240, 247, 242, 246, 248–254), но впоследствии, убедившись, что эта мысль не может быть оправдана, высказал другую о заимствованиях из несохранившихся Барийских анналов, излагавших события до 1051 г. и послуживших общим источником как для Вильгельма, так равно для Лупа и Анонима (Ueber die Quellen der Gesta Roberti Wiscardi des Guilermus Apuliensis. Archiv v. *Pertz*, X, 114–117). *Гирш* (De ital. infer. ann., 29–31, 33–34) усвоил и развил эту мысль.

[5] См. выше, с. 64.

несправедливо было бы у него оспаривать: один из этих источников ставит его сочинение как исторический памятник наряду с Анной Комниной, другой отводит ему место рядом с Лупом и Анонимом Барийским.

9) Сицилийская история *Готфрида Малатерры*,[1] бенедектинского монаха конца XI и нач. XII в., написанная по поручению графа Сицилии Роджера (брата Гвискара) не раньше 1099[2] и не позже 1101 г.[3] Хотя деяния Роджера были главным предметом повествования, по заявлению самого автора,[4] однако же он не ограничивает своего кругозора исключительно личностью этого героя, но подобно Вильгельму Апулийскому, в меньшей впрочем степени, касается других предметов, говорит о судьбе норманнов в Италии, их столкновениях с греками, о деятельности Маниака, о Роберте, его отношениях к лже-императору Михаилу. Подобно Вильгельму Апулийскому, Малатерра питает пристрастие к стихам и местами (в последних двух книгах, 3-й и 4-й) передает рассказ в стихотворной форме; не прочь он также вложить в уста своего героя витийственную речь, наполненную богословскими тонкостями и более свойственную монаху, чем неграмотному средневековому рыцарю.[5] Наконец, он выдерживает аналогию с Вильгельмом и со стороны источников.

На свой главный источник указывает Малатерра,[6] говоря, что если в его сочинении события расположены не по порядку и некоторые пропущены, то вину в этом читатель должен отнести на счет лиц, сообщавших автору о событиях. особенно касательно времени, пока он, автор, еще не пришел из-за гор[7] и, следовательно, лично не присутствовал. Устные показания могли быть получаемы автором и от Роджера, и от его окружающих, и вообще от лиц, принимавших участие в делах или слышавших о них. Характер источника не мог не отразиться на характере сочинения: в нем иногда[8] встречаются эпизодические и легендарные подробности,

---

[1] Historia Sicula. Ed. *Hieron. Surita*. Caesaraug., 1578; *A. Schott*. Hispania illustrata. T. III. 1606; *Carusii*. Bibl. hist. regni Siciliae, II, 1723; *Muratori*. Scr. rer. ital., V.

[2] Так как к этому году относится последний сообщаемый в истории факт — посольство папы Урбана II к Роджеру Сицилийскому.

[3] Так как в этом году умер Роджер.

[4] *Malat.*, ed. *Muratori*, 547.

[5] *Malat.*, 569, 572.

[6] В приложенном к сочинению письме к Ансгерию, епископу Катанскому. *Malat.*, 547.

[7] Между прочим, эти слова показывают, что автор не был ни итальянец, ни сицилиец; всего вероятнее, он был норманн, почему и называет норманнов nostros.

[8] Кн. I, гл. 9, 16–17; кн. II, гл. 33, 46.

свойственные народному преданию и устному способу передачи. Сообщая эти подробности, автор, по-видимому, и сам не всегда им доверял;[1] тем большей осторожности они требуют от нас. Всего более нужна осторожность относительно той части сочинения, в которой излагаются события до прибытия в Италию Роберта и Роджера, так как лица, передававшие о них автору, сами говорили по слухам. Устные рассказы были главным, но не единственным[2] источником сведений Малатерры. Согласие Малатерры с Вильгельмом Апулийским в некоторых пунктах,[3] по которым этот последний находился в зависимости от латинского сочинения, послужившего источником Анне Комниной, заставляет предполагать, что и Малатерра, подобно Вильгельму, воспользовался этим же источником. Происхождение известий Малатерры определяет уже важность его как исторического памятника. По известиям из недошедшего сочинения он занимает место не ниже других авторов, пользовавшихся им, а по известиям, добытым путем устных рассказов, его произведение принадлежит к разряду первоисточников и заключает массу данных, ниоткуда более не известных (не считая позднейших компиляций из Малатерры): легендарный элемент из этих данных легко может быть выделен и устранен. Ко всему этому сочинение Малатерры отличается стройностью изложения и выдержанностью хронологии.

10) *Сицилийская история*[4] неизвестного автора (правильнее: авторов),[5] обнимающая события от прибытия норманнов в Апулию до 1282 г.,

---

[1] *Malat.*, 569, 575.

[2] Мнение, что были единственным источником, заявлено в Forschungen z. deutsch. Gesch., VIII, 220.

[3] *Malat.*, 576 (об осаде Салерно), 583 (о лже-Михаиле и походе Гвискара в Грецию).

[4] Anonymi Vaticani historia Sicula. Ed. *Carusii*. Bibl. hist. regni Sic., II; *Muratori*. Script. rer. ital., VIII. В старофранцузском переводе издана Шампольоном-Фижаком вместе с историей Амата под заглавием La chronique de Robert Viscart. Мнение Шампольона-Фижака (в предисловии к Амату) о принадлежности этого сочинения Амату рассмотрено и опровергнуто Вильманом в статье Ist Amatus von Monte Casino der Verfasser der Chronica Roberti Viscardi. Archiv v. Pertz, X, 122–129.

[5] Основываясь на замеченной уже *Муратори* (VIII, 743) разности изложения до 1085 г. (подробного) и с 1085 до конца (чрезвычайно краткого), можно допустить, что над историей трудилось два автора, один в XII в. (не ранее 1130 г., как показывает упоминание о сицилийских королях: regibus exceptis etc., получивших в этому году королевский титул) написал первую часть до 1085 г., другой в конце XIII в. продолжил ее до 1282 г.

по общепринятому взгляду,[1] составляет в отделе, относящемся к XI в., компиляцию из Малатерры, лишенную всякого значения. Этот взгляд верен до известной степени, но не вполне. Не подлежит сомнению, что автор находился в тесной зависимости от Малатерры, и каждая страница его истории может быть приурочена к соответствующему месту своего источника.[2] Способ пользования источником состоял в том, что некоторые рассказы Малатерры автор совершенно выпускал, равно как и некоторые подробности относительно местностей, числа войск и т. д., другие рассказы он старался передать в сокращении, причем сокращение не всегда ему удавалось[3] и самое понимание источника не всегда правильно.[4] С этой стороны компиляция не представляет никакой цены. Но вместе с тем есть в ней особенности, заслуживающие внимания; это именно, не говоря уже о различии в чтении собственных имен, некоторые вставки и изменения, сравнительно с текстом Малатерры. Есть вставки и изменения, принадлежащие лично автору и вызванные приверженностью его к норманнам,[5] в частности уважением к Роджеру,[6] или преданностью римско-католической Церкви.[7] Но две вставки (из них одна относящаяся к истории падения византийской власти в Италии) по характеру своему таковы, что не могли быть выдуманы автором и предполагают заимствование из письменного источника.[8] Так как источник нам неизвестен, то эти две вставки придают сочинению некоторую важность.

---

[1] Один Шампольон-Фижак не согласен с этим взглядом, утвердившимся после ученого Вилькена. Он считает историю, как произведение Амата, оригинальной, легшей в основу Малатерры.

[2] *Anon. Vat.*, ed. *Murat.*, 745 = *Malat.*, lib. I, cap. 4; 746 = lib. I, c. 5, 6; 747–749 = lib. I, c. 7; 749–750 = lib. I, c. 8 = 10; 751 = lib. I, c. 11; 752–753 = lib. I, c. 12–15; 754 = lib. I, c. 17–19, 28–29, 32; 755 = lib. I, c. 36, lib. II, c. 1, 2, 3, 4, 6; 756 = lib. II, c. 10, 13, 16–20; 757 = lib. II, c. 21, 23; 758–759 = lib. II, c. 22, 24–27; 760 = lib. II, c. 29–30, 32; 761–762 = lib. II, c. 33–35, 41; 763–764 = lib. II, c. 40, 43; 765 = lib. II, c. 45; 767 = lib. II, c. 46, lib. III, c. 3–6; 767–769 = lib. III, c. 8–11, 13, 24–26.

[3] Отсюда хронологические несообразности, *An. Vat.*, 755, 762.

[4] *An. Vat.*, 755, 760.

[5] *An. Vat.*, 747 (объяснение мотивов несправедливости греков к норманнам).

[6] Вследствие этого выдвигает его на сцену с самого начала осады Бари, *An. Vat.*, 763–764.

[7] *An. Vat.*, 747–749 (о помощи, оказанной норманнами Маниаку), 768–769 (о причинах похода Роберта Гвискара в Грецию).

[8] *An. Vat.*, 764 (письмо Гозелина к жителям города Бари и эпизод из истории осады Палермо).

11) *Краткая норманнская хроника*,[1] написанная неизвестным автором при Вильгельме III, герцоге Апулии (1111–1127),[2] названная так издателем, потому что заключает краткое описание деяний норманнов в Италии, от 1041 до 1085 г., расположенное по флорентийской системе мартовских годов (calculus Florentius, с 25 марта текущего года). Хроника обнаруживает сходство с сочинениями Лупа, Вильгельма Апулийского и Ромуальда Салернского; но сходство невозможно объяснить заимствованиями у этих писателей,[3] потому что при сходстве между ними в общем есть различие в частностях, причем как Луп сообщает некоторые подробности, которых нет в краткой хронике,[4] точно так же и хроника заключает факты, которых не находим у Лупа;[5] иногда различие доходит до значительного разногласия в показаниях.[6] Правильнее объяснять дело общностью источников, тем, что у автора хроники было под руками два памятника: одним из этих памятников, может быть, не дошедшими до нас Тарентинскими анналами,[7] описывавшими преимущественно местные события,[8] пользовался также, кроме автора хроники, Луп, а другим — Вильгельм Апулийский и Ромуальд Салернский.

Ввиду зависимости хроники от несохранившихся памятников она не лишена значения. Пренебрежение к ней ученых обусловливалось неосновательным взглядом на отношение ее к хронике Лупа. Оценивая ее значение по сравнению с хроникой Лупа, нужно сказать, что краткая хроника дает более верные хронологические показания и во многих местах превосходит хронику Лупа фактическими данными. Это составляет особенность не только сведений, имеющих местный интерес, но и заметок о византийских императорах.[9]

---

[1] Chronicon breve Nortmannicum ab anno 1041 usque ad annum 1085 auctore Anonymo. *Muratori*. Scr. rer. ital., V.

[2] Chr. br., 278.

[3] *Пертц* (SS., V, 17) и *Вильман* (Archiv v. *Pertz*, X, 117) утверждают, что автор хроники заимствовал у Лупа.

[4] Напр., под 1080 г.

[5] Под 1052, 1053, 1055, 1056, 1060–1068, 1072, 1080 гг.

[6] Ср. показания хроники о Маниаке и лже-Михаиле под 1043 и 1081 гг. с показаниями о том же предмете Лупа под 1042 и 1080 гг.

[7] Так полагает *Гириш*. De ital. inf. ann., 47–49.

[8] Chr. br., sub a. 1045, 1052, 1055, 1056, 1058, 1060, 1063, 1064, 1067, 1068, 1072, 1080.

[9] Заметки эти читаются под 1054, 1056, 1057, 1059, 1067, 1071, 1078, 1080, 1081 гг.

12) Хроника *Ромуальда Салернского*[1] начинается от сотворения мира и доведена до 1178 г. Для XII в. она имеет важность как памятник первоначальный, принадлежащий достоверному свидетелю и политическому деятелю,[2] но для XI в. это памятник производный, основывающийся на более ранних источниках. За исключением интерполяций из хроники Лупа, обязанных своим происхождением позднейшим переписчикам и чуждых тексту Ромуальда,[3] в хронике последнего обнаруживается сходство с хрониками Льва Остийского,[4] Анонима Касинского[5] и Амальфийской.[6] Доказано,[7] что это сходство зависит от того, что Ромуальд пользовался потерянными для нас Касинскими анналами (отсюда сходство со Львом и Анонимом) и тоже не дошедшим до нас, но известным Анне Комниной, Вильгельму Апулийскому и Малатерре, латинским сочинением (отсюда сходство с Амальфийской хроникой). Кроме этих источников, у Ромуальда находят еще признаки пользования краткой историей пап

---

[1] Издана в отрывках: *Baronii* Annales, XII sub 1177a; *Contelorii* Concordiae inter Alexandrum III summum puntificem et Friedericum I imperatorem Venetiis confirmatae narratio. Paris, 1632; *Carusii* Bibl. hist. regni Sic., II, 1723. В полном составе: *Muratori*. Scr. rer. ital., VII; *Del Re*. Cronisti e scrittori sincroni Napoletani, I; *Pertz*, SS., XIX. О жизни и сочинениях автора хроники, Ромуальда II, архиеп. Салернского (1153–1181), у Арндта в предисловии к изданию *Пертца*, 387–392. В издании Пертца опровергнут взгляд Мартене, Дюранда и Фабриция на принадлежность первой части хроники (до 1125 г.) Ромуальду I, архиеп. Салернскому (1121–1138), и хроника в полном составе считается теперь произведением Ромуальда II.

[2] Ромуальд II от имени Вильгельма II, сицилийского короля, был легатом в Венеции и содействовал заключению мирного договора между папой Александром III и императором Фридрихом I.

[3] Такое происхождение сходства с Лупом, впервые замеченного *Мео* (Annali, VIII, 11), наглядно доказано изданием *Пертца*. В пределах нашего периода вставки из Лупа встречаются под следующими годами: 1044, 1047, 1062 (у Лупа 1066), 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069 (у Лупа 1070), 1070 (у Лупа 1073), 1071, 1075, 1076, 1077, 1081. Иногда одно и то же внесено дважды, напр., о взятии Бари под 1070 и 1071 гг., о взятии Салерно под 1075 и 1076 гг.

[4] Под 1022 и 1045 гг.

[5] Под 1025, 1034, 1037, 1039, 1042, 1047, 1062 гг.

[6] Под 1050, 1052, 1053, 1057, 1058, 1060, 1062, 1066, 1070, 1076, 1079, 1080 гг.

[7] *Вейнрейхом* (De condit. Ital. inf. Gregorio VII pontifice, 1864, 78), *Гиршем* (De Ital. inf. ann., 63–71; Forschungen z. deutsch. Gesch., VII, 103–112), *Вильманом* (Archiv v. *Pertz*, X, 110), *Бюдингером* (Die Entstehung des Königreiches der Sicilien... Sybel's Hist. Zeitschrift, VIII) и *Арндтом* (*Pertz*, XIX, 793–794).

(послужившей также источником для Бонизо, Сутрийского епископа) и списками византийских императоров и римских пап. Сведения, относящиеся к византийской истории, заимствованы Ромуальдом из латинского сочинения и списка византийских императоров; они заключаются в показаниях о преемственности византийских императоров, о столкновениях греков с норманнами и о вступлении на престол Алексея Комнина.

Интерес хроники Ромуальда сосредоточен для нас на этих показаниях, особенно на подробном сообщении об Алексее Комнине. Есть, впрочем, особенности, умаляющие авторитет Ромуальда. Время царствования византийских императоров показано у него не везде верно, из чего можно заключить об испорченности его списка. Сообщения о событиях достоверны, начиная с 1073 г.,[1] до того же времени многие оказываются фактически неверными, — обстоятельство, которое может быть объясняемо тем, что неизвестный автор латинского сочинения сообщил недостоверные данные о событиях, относительно которых он не был современником и очевидцем, а Ромуальд с одинаковой доверчивостью отнесся к сочинению в полном его составе.

13) *Амальфийская хроника*,[2] составленная неизвестным автором в конце XIII в., находится в ближайшем соотношении с хроникой Ромуальда Салернского. За исключением известий, имеющих местный интерес и заимствованных из какого-нибудь местного источника, она в остальном представляет для XI в. извлечение из того же латинского сочинения, которым пользовался Ромуальд. В способе пользования автор не отличается от Ромуальда, принимает на веру показания как до, так и после 1073 г., поэтому повторяет те же ошибки, которые допустил Ромуальд. Рассказ о вступлении Алексея Комнина на престол читается и в Амальфийской хронике.

14) Хроника *Андрея Дандоло*,[3] венецианского дожа (1343–1354), важная для позднейшего времени, особенно по внесенным в нее документам, не лишена значения и для XI в. по тем источникам, из которых заимствует сведения. В показаниях, имеющих отношение к византийской истории,[4]

---

[1] За немногими исключениями, к числу которых относится, напр., сообщение под 1083 г.

[2] *Muratori*. Antiquitates italicae, I; *Preger*. Raccolta di varie croniche, I.

[3] *Andreae Danduli* Venetorum Ducis Chronicon venetum a pontificatu sancti Marci ad annum usque 1339. Succedit Raphaini Caresini continuatio usque ad annum 1388. *Muratori*. Scr. rer. ital., XII.

[4] Анализ (неполный) источников Дандоло сделан *Тартароттом*. Elenchus auctorum et monumentorum, quae in Chronica Andreae Danduli venetorum Ducis laudantur. *Muratori*. Scr. rer. ital., XXV. P. I–XXVIII. Новейшее сочинение: *Simonsfeld*. Andreas Dandolo und seine Geschichtswerke, 1876.

Дандоло руководствуется сочинениями не только сохранившимися до нас, напр. Петра Дамиани, но также до нас недошедшими. Он находится в зависимости от латинского сочинения, подобно Ромуальду Салернскому и Амальфийской хронике, с которыми сходится в рассказе о сражениях греков с норманнами (причем повторяет ошибку своих предшественников, пользовавшихся тем же источником) и в рассказе о средствах, употребленных Алексеем Комнином для вступления на престол.[1] У Андрея Дандоло встречаются также показания о преемственности византийских императоров на престоле, заимствованные из какого-то списка, далеко не удовлетворительного, судя по тому, что показания спутаны и об одном и том же повторяется несколько раз.[2] Но главнейшее достоинство хроники Дандоло основывается на заимствованиях из древних венецианских источников. В хронике читаем несколько заметок об отношениях византийского правительства к дожам, о том, какое значение имела Византия для враждующих политических партий Венеции, а также об успехах турок в Азии при Михаиле Парапинаке.[3] Заметки не возбуждают сомнения, и венецианское их происхождение не может быть заподозриваемо на том только основании, что они касаются, между прочим, событий отдаленных стран (о турках). Венециане, плававшие по торговым делам вдоль побережья, где распространяли свою власть турки, могли получать и привозить на родину весьма верные на этот счет сведения, и ими, через посредство неизвестных нам памятников, воспользовался Дандоло, а еще раньше Вильгельм Тирский.[4]

15) *Беневентские анналы*, существующие в двух редакциях,[5] краткой (788–1130) и пространной (759–1128), при сходстве между собой

---

[1] *Dandolo*, lib. IX, cap. 6, 8.

[2] Напр., о Константине VIII и замужестве его дочери с Романом в гл. 2 и 3 книги 9-й. Впрочем, это могло зависеть от повреждения текста и позднейших интерполяций.

[3] Кн. 9, гл. 8.

[4] Может явиться предположение, что Дандоло заимствовал у Вильгельма Тирского, но оно устраняется ввиду того, что у Дандоло, сравнительно с Вильгельмом, читаются некоторые лишние подробности (о разделении завоеванных земель между наместниками султана).

[5] Первая изд. *Muratori*. Antiqu. ital., I. Вторая: *Steph. Borgia*. Storia del dominio temporale nelle due Sicilie, Append. Обе: *Pertz*, SS., III. Текст *Пратилла*. Hist. princ. Lang., IV, приближающийся к первой редакции, поврежден (см.: *Köpke*. Pratill's Codex der Annales Beneventani, im Archiv v. Pertz, IX), однако же принят во внимание в издании Пертца.

обнаруживают и различие, зависящее, как полагают,[1] от того, что анналисты, пользуясь одним общим источником — древними, не дошедшими до нас Беневентскими анналами, — заимствовали дополнительные сведения из различных источников — один, автор краткой редакции, из древних, не сохранившихся Барийских анналов, другой, автор пространной редакции — из древнего, тоже не сохранившегося списка Беневентских епископов. Для нас интерес представляет вторая редакция своими заметками об отношениях князей Капуи к византийскому правительству, о норманнах и переговорах папы Льва IX с Аргиром,[2] интерес первой сосредоточен на известии о взятии Бари.[3] Для установления хронологии ни та, ни другая редакция не имеет значения.[4]

16) Хроника *Германа Расслабленного* (Contractus),[5] рейхенауского монаха († 1054), обнимающая события от сотворения мира до 1054 г., в своей самостоятельной части (1039–1054) не заключает важных для нас сведений. Сведение же о посольстве германского императора к византийскому под 1027 г., небезынтересное для генеалогии византийских императоров, составляет заимствование из сочинения Випона.[6] Более важности имеет продолжение[7] хроники Германа, составленное его учеником *Бертольдом* († 1088) и доведенное до 1066 или даже 1080 г.[8] Здесь читаем под 1055 г. самостоятельную заметку продолжа-

---

[1] De Ital. inf. ann., 10–11, 24.

[2] Под 1041, 1042 и 1053 гг.

[3] Под 1072 г.

[4] *Meo* (Annali del regno di Napoli под 854, 1017, 1025, 1028, 1038, 1073, 1075, 1078, 1100, 1106, 1110 гг.) доказал, что анналисты не держатся определенной системы; иногда у них выставлен год по флорентийскому летосчислению (с марта текущего года), иногда по пизанскому (с марта предшествующего), иногда по греческому (с сентября предшествующего), есть также места, в которых хронология не может быть объяснена ни одним из этих счислений и должна быть считаема результатом произвола или ошибки.

[5] Ed. *Sichard*. Basil., 1529, 1549; *Canisius*. Ingolst., 1600; *Pistorius*. Francof., 1607; Hanov., 1613; *Urstisius*. Francof., 1586, 1670; Biblioth. patrum, Colon. Lugdun., 1677; *Struve*. Ratisb., 1726; *Ussermann*. Sangall., 1790; *Pertz*, SS., V; *Bouquet*. III, V, VI, VII, VIII, XI.

[6] В свою очередь у Германа оно заимствовано неизвестным аугсбургским анналистом (Annales Augustani. *Pertz*, SS., III), у которого стоит под 1028 г.

[7] Ed. *Urstisius*, *Ussermann*, *Pertz*, *Bouquet*.

[8] Принадлежность Бертольду продолжения до 1066 г. никем не оспаривается, а продолжение 1073–1080 гг. оспаривает Шульцен, расходясь в этом с Пертцем и Гизебрехтом.

теля о посольствах, которыми обменялись германский и византийский дворы.[1]

17) Деяния гамбургских архиепископов *Адама Бременского* († 1072).[2] Из четырех книг особенно ценна третья, посвященная деятельности архиепископа Адальберта, к которому автор находился в близких отношениях, и основанная на устных рассказах и личном опыте. Здесь читаются имеющие для нас значение сведения: о пребывании Гаральда Гардрада на службе византийского правительства, о посольстве Константина Мономаха к германскому императору и ответе последнего.

18) Анналы *Ламберта Герсфельдского*,[3] писателя второй пол. XI в., обнимающие время от сотворения мира до 1077 г., получают важность только с 1040 г., и в этой последней части, письменные источники которой не могут быть указаны, так что оригинальность едва ли можно оспаривать,[4] читаются интересные для нас сведения о сношениях папского двора с Константинополем. Впрочем, сведения не во всех своих подробностях отличаются фактической верностью.

19) Хроника *Сигеберта Гемблурского* († 1112),[5] обнимающая время с 381 по 1111 г., направленная не столько к изложению событий с возможной подробностью, сколько к распределению их в хронологическом порядке, потеряла свой прежний авторитет после того, как разоблачена неверность многих хронологических данных и фактическая часть разложена по источникам, из которых заимствована.[6] Из нашего периода в ней читаются сведения, относящиеся к истории падения византийского владычества в Италии, царствования Мономаха, сношений Римской церкви

---

[1] И эта заметка повторена аугсбургским анналистом под 1056 г.

[2] Gesta Hammenburgensis ecclesiae pontificum. Ed. *Velleus*. Hafniae, 1579; *Lindenbrod*. Lugd., 1595; Francof., 1609, 1630; *Mader*. Helmstad., 1670; Hamb., 1706; *Lappenberg*. Hannov., 1446; *Pertz*, VII.

[3] *Churrer*. Tubing., 1525, 1533; *Schradinus*. Tubing., 1533; *Schard*. Francof., 1566; *Grynaeus*. Basil., 1569; *Schard*. Basil., 1574; *Pistorius*. Franc., 1607; Argentor., 1609; *Augustani*. Giessae, 1673; *Struve*. Rat., 1726; *Krause*. Halae, 1797; *Pertz*, V; PL. T. CXLVI; *Buquet*. III, V, VI, VII, XI.

[4] Лучшая оценка Ламберта, о значении которого существуют диаметрально противоположные мнения, сделана *Ранке* (Zur Kritik fränkisch-deutscher Reichsannalisten. Berlin, 1854) и *Ваттенбахом* (Deutsche Geschichtsquellen, II).

[5] Ed. *Rufus*. Par., 1513; *Schard*. Francof., 1566; *Margarinus de la Bigne*. Par., 1575, 1589; *Pistorius*. 1583, 1613; *Laurentius de la Barre*. Par., 1583; *Miraeus*. Antverp., 1608; *Struve*. 1726; *D'Achery*. Par., 1651; *Pertz*, SS., VI; *Bouquet*. III, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII, XVIII.

[6] Это сделано Бетманном в издании Пертца.

с Константинопольской и нападений турок на Армению и Сирию.[1] Неточность хронологических данных заметна и в этих сведениях, вообще же они отличаются поверхностностью, никаких новых подробностей не привносят. Исключение составляет только рассказ о столкновении Церквей, но и он не представляет большой важности, так как целиком взят из докладной записки папских легатов.[2]

20) Церковная история *Ордерика Виталиса*,[3] сент-эврульского монаха, писателя первой пол. XII в., имеющая важность для истории норманнов и крестовых походов (до 1142 г., до которого доведена), заключает некоторые интересные для нас отрывки в 3–7-й книгах, где автор рассказывает о судьбе норманнов в Италии, о Роберте Гвискаре и обстоятельствах вступления на престол Вотаниата и Алексея Комнина. Показания Ордерика об утверждении норманнов в Италии дополняют сведения, заимствованные автором у Готфрида Малатерры,[4] подробностями о том, как одновременно с наплывом норманнских рыцарей происходил наплыв в Италию норманнских монахов. Сведения о византийских делах почерпнуты автором, по-видимому, из устных рассказов и страдают отчасти неверностью и легендарностью.

21) История крестовых походов и иерусалимского королевства *Вильгельма Тирского*,[5] писателя второй пол. XII в., доведена до 1184 г. Следуя своей методе[6] возвращаться к прошлому для того, чтобы яснее изложить предмет в настоящем, и освещать дело по совокупности обстоятельств, имеющих к нему отношение, Вильгельм рассказывает историю разрушения и возобновления храма Воскресения в Иерусалиме, а также историю турок-сельджуков и их приобретений за счет Византии,[7] причем говорит

---

[1] Под 1032, 1038, 1043, 1050, 1053–1054 и 1079 гг.

[2] Рассказ Сигеберта о столкновении Церквей списал, дополнив лишь двумя фразами, неизвестный автор второй пол. XII в., называемый обыкновенно Саксонским анналистом (Annalista Saxo. *Pertz*, SS., VI).

[3] Ed. *Duschesne*. Par., 1619; *Bouquet*. IX, X, XI, XII; *Prevost*. Par., 1838–1855; PG. T. CLXXXVIII.

[4] Об этом источнике он лестно отзывается, говоря, что Готфрид elegantem libellum *nuper* edidit (недавно издал изящное сочинение). PL. T. CLXXXVIII, 209.

[5] Ed. *Ph. Poyssenot*. Basil., 1549; *Pantaleon*. Basil., 1564; *Bongars*. Hanov., 1611; Recueil des historiens des croisades. Par., 1841–1844.

[6] Оценку труда Вильгельма Тирского сделал и источники его указал *Sybel*. Geschichte des ersten Kreuzzugs, 108–147. Недостатки хронологии выяснены через сравнение с арабскими историками *Вилькеном* в сочинениях: Rerum ab Alexo etc. destarum и Geschichte der Kreuzzüge.

[7] Кн. 1, гл. 4–9.

о сношениях византийских императоров с египетскими халифами и иерусалимскими христианами, о борьбе Романа Диогена с турками и успехах турок. Хотя автор не указывает своих источников, однако же можно догадываться, что сведения об отношениях византийского правительства к халифату и к иерусалимским христианам он заимствовал из греческого сочинения, сходного с тем, которым пользовался Скилица, дополнив заимствования показаниями местного происхождения (иерусалимского); сведения же о турках, их столкновениях с Византией при Романе Диогене и его преемниках почерпнуты из венецианского источника, который известен был Андрею Дандоло.[1]

22) История славян *Пресвитера Диоклейского* (XII в.),[2] названная так потому, что она переведена со (славянского) подлинника на латинский язык неизвестным по имени священником Диоклейской церкви, заключает много ошибочных, спутанных и легендарных показаний о славянских князьях и королях, не может поэтому сама по себе пользоваться большим авторитетом. Но при сопоставлении с другими достоверными показаниями и документальными данными не лишена значения и способствует, между прочим, выяснению вопроса о степени византийского влияния в славянских землях и о судьбе сербской, болгарской и белградской фем в XI в.

B) Восточные памятники

1) История *Аристакеса Ластивертского*,[3] армянского писателя второй пол. XI в., составляет как бы продолжение истории Стефана Асохика, рассказ начат с похода в Армению Василия II Болгаробойцы и доведен до смерти Романа Диогена в 1071 г. Интерес рассказа сосредоточен

[1] Сходство Вильгельма Тирского с хроникой Дандоло, местами буквальное, простирается даже на ошибочное наименование султана Алп-Арслана Бельзетом.

[2] *Presbyteri Diocleatis* Regnum Slavorum. Ed. *Lucius*. Amstelod., 1666; *Schwandtner*. Scr. rer. Hung. T. III. Vindob., 1748.

[3] В переводе на французский язык: *Brosset*. Histoire de la Géorgie. St. Pétersb., 1851 (лишь первые четыре главы); *Dulaurier*. Chronologie (три отрывка). Вполне: Histoire d'Arménie comprenant la fin du royume d'Ani et le commencement de l'invasion des Seldjoukides, par Arisdaguès le Lasdiverd, traduite pour la première fois de l'arménien sur l'édition de RR. PP. Mekhitaristes de Saint-Lazare et accompagnée de notes, par *W. Évariste Prud' homme*. Paris, 1864.

около двух пунктов: подчинения армян византийскому влиянию и разорения Армении турками. Тон сочинения элегический, автор оплакивает падение своей родины.

Источниками для автора, по собственному его заявлению,[1] служили: собственный опыт и наблюдение, сообщения других лиц и сочинения писателей. Как очевидец, автор говорит о событиях, происходивших в Армении; это самая важная часть истории. Сообщения о византийских императорах, времени их царствования, личных особенностях и обстоятельствах их домашней жизни автор, надо полагать, делает на основании свидетельства других лиц и сочинений писателей; эта часть уступает по важности первой, однако же отличается достоверностью; показания Аристакеса совпадают с показаниями современных ему греческих историков, может быть, даже у него были те же письменные источники, которыми пользовались греческие историки.

История Аристакеса заключает ценный материал. Кроме данных, о которых мы знаем из современных Аристакесу греческих историков, у него есть данные, не встречающиеся у этих последних, например, о Константине VIII, Константине Мономахе, Михаиле Стратиотике, не говоря уже об интересных, не известных из других источников подробностях касательно Армении, Грузии и турок. Достоинство данных Аристакеса относительно Византии умаляется отчасти лишь тем, во-первых, что автор не везде относился внимательно к своим источникам, не позаботился сравнить разнородные показания, вследствие чего впадает в противоречие с самим собой[2] и допускает хронологические неточности,[3] во-вторых, тем, что в выборе и освещении материала он несколько тенденциозен. Рассчитывая тронуть читателя описанием бедствий, обрушившихся на Армению от коварных и бесчеловечных врагов, он вносит в свое повествование подробности, которые пригодны для его цели, ярче рисуют бедствия армян, коварство греков, жестокость турок; в передаче подробностей, не идущих прямо к цели, он чрезвычайно краток. Изображая качества греческих императоров, Аристакес находится под влиянием симпатий или антипатий, обусловленных отношением того или другого императора к армянам: если император был благосклонен к армянам (Константин VIII), то и дурные стороны его характера под пером автора сглаживаются, если же император был немилостив к армянам (Роман III, Роман IV), то и на светлые черты его характера налагается мрачный колорит.

---

[1] *Arisd.*, par Évar. Prud' homme, 52, 53, 101, 141–142.

[2] Напр., о детях Константина VIII. *Arisd.*, 41 и 102.

[3] *Arisd.*, 47, 53.

2) Хроника *Матвея Эдесского*,[1] армянского писателя конца XI и начала XII в.,[2] обнимает время 952–1136 гг. Из 253 глав, на которые она разделена, к периоду от 1025 до 1081 г. относятся гл. 38–119. Здесь Матвей, следуя хронологическому порядку, применительно к армянской эре, излагает главным образом историю Армении, ее царей и католикосов; говорит также о столкновениях турок с армянами и греками, об отношениях к армянам византийского правительства. Видное место отведено в хронике известиям о Византии, помимо ее отношений к армянам, говорится о преемственности византийских императоров, их судьбе, делаются краткие характеристики некоторых императоров, сообщаются сведения о некоторых византийских бунтах и об успехах византийского оружия не только на Востоке, но и на Западе, в борьбе с болгарами, печенегами и узами. Все сведения заимствованы Матвеем, по мнению его переводчика, исключительно из армянских источников, из историй и мемуаров, написанных в XI в. современниками и до нас недошедших, или из подлинных документов; два документа он списал в хронику буквально.[3]

Достоинство данных, сообщаемых в хронике, неодинаково — есть данные вполне достоверные, и есть такие, которые не находят себе оправдания. Наиболее достоверные сведения сообщаются о событиях, совершившихся в Малой Азии и имевших отношение к Армении. Но что касается сведений о внутренних делах Византии и о делах в европейских областях византийского государства, то между ними есть некоторые заведомо

---

[1] Изд. в перев. на франц. яз. *Dulaurier*. Récit de la première Croisade, 1850 (лишь 150–153 гл.). Bibliothèque historique arménienne, par *Dulaurier*: Chronique de Matthieu d'Edesse avec la continuation de Grégoire le prêtre. Paris, 1858. Recueil des historiens des croisades. T. I (отрывки, относящиеся ко времени 963–964, 1096–1136 гг.). Из хроники Матвея Эдесского сделано было извлечение *Семпадом*, арм. писателем XIII в., изд. Extrait de la chronique de Sempad, seigneur de Babaron, connétable d'Arménie, suivi de celle de son continuateur, traduite pour la première fois de l'arménien par *V. Langlois*. St. Pétersb., 1862. При существовании оригинала эта компиляция для нас оказывается лишней.

[2] Он называет себя (гл. CXVIII) очевидцем разорения, произведенного в Малой Азии голодом, и турецких опустошений 1079–1080 гг. Ср. также гл. XCVI, под 1066–1067 гг. Умер не ранее 1136 г., потому что до этого времени доведено сочинение.

[3] Один относится к нашему периоду — это трактат о разностях между Греческой и Армянской церквами, составленный армянским царем Какигом II и прочитанный им в Константинополе в церкви Св. Софии в присутствии императора Константина Дуки и греческого духовенства; другой относится к более раннему времени — письмо Цимисхия к Ашоду III, царю Великой Армении.

неверные или возбуждающие сомнение.[1] Очевидно, источники Матвея для известий, выходивших из сферы местно-армянской истории, не всегда были надежны. Кроме того, показания источников могли получать у Матвея своеобразную окраску. Он, как замечает знаток армянской литературы Дюлорье,[2] был вполне человеком своего времени, того времени, когда и литература, и национальность армянская находились в упадке; и в стиле, и в убеждениях, и в симпатиях это армянин XI–XII в. Он пишет языком безыскусственным, вульгарным, он прост и легковерен, разделяет все предубеждения своей нации. Как противник Халкидонского собора, он ненавидит греков, как христианин и патриот — не может равнодушно вспоминать о турках, не щадит и франков, занявших часть армянской территории. Отсутствие образования, легковерность и религиозно-патриотическое настроение не могли не отразиться на содержании хроники. И вот видим, что автор неумело отдает предпочтение тем или другим фактам, распространяется в описании событий неважных, но затрагивающих национально-религиозные интересы, и с крайней сжатостью передает о событиях важных, обнаруживает пристрастие к легендарным подробностям[3] и любит приводить их в доказательство того, что божественный Промысл покровительствует армянам, как народу православному, в его столкновениях с неправомыслящими греками и безбожными мусульманами. Естественно, что под влиянием пристрастного отношения к грекам и туркам повествование о них должно было получить несколько утрированный, может быть, и несогласный с действительностью оттенок.

3) Хроника *Самуила Анийского*,[4] армянского писателя второй пол. XII в., начинается с сотворения мира и доводится до 1179 г. По примеру сочинения Евсевия, послужившего образцом, она распадается на две части, из которых одна содержит изложение исторических фактов, а другая хронологическо-синхронистическую таблицу, причем параллельно указаны олимпиады, годы от Рождества Христова, годы царствования императоров римских, византийских, царей армянских, патриаршествова-

[1] Напр., в гл. XXXVIII, о переходе власти от Василия II к Константину; в гл. XLIII, о Романополисе; в гл. LII, о поражении Михаила Пафлагона болгарами.

[2] Biblioth. hist. arm., XVIII.

[3] Гл. 54, 77, 79, 86, 88–89.

[4] В латин. перев.: *Eusebii Caesariensis* et *Samuelis Aniensis* chronica. Johannes Zohrabus et Angelus Majus nunc primum conjunctis curis latinitate ediderunt. Mediol., 1818. На франц. яз. в Recueil des hist. des crois., I (отрывок с 1096 г.); Collection d'historiens arméniens, *Samuel d'Ani*. Tables chronologiques, II, 1876.

ния католикосов и годы армянской эры.[1] Первая часть, как основанная на Евсевии, не имеет значения; вторая же, будучи основана частью на известных сочинениях, частью на сочинениях, до нас не сохранившихся, напр., ученого филолога Саркавага (т. е. диакона), не лишена интереса. Впрочем, интерес ограничен вследствие скудости заметок. Только под 1045 и 1074 гг. Самуил говорит несколько подробнее о распространении греческого влияния в Армении, о борьбе Романа Диогена с турками и его судьбе, — в других местах он чрезвычайно краток, отрывочен и делает пропуски.[2]

4) История *Киракоса Гандзакского*,[3] армянского писателя († 1272), обнимающая время с 286 по 1265 гг. и важные для современной автору истории Армении под владычеством монголов, для истории предшествующей не имеет самостоятельного значения. Автор пользуется для древнего времени, в том числе и для XI в., трудами прежних историков, которых у него насчитывается 17, между ними Аристакес Ластивертский, Матвей Эдесский и Самуил Анийский. По отношению к заимствованиям из сохранившихся армянских историков Киракос интереса не представляет, тем более что группировка фактов у него неудачная,[4] сообщения не всегда точны и верны; интерес сводится лишь к некоторым известиям, почерпнутым из несохранившихся памятников.[5]

5) Всеобщая история *Вардана Великого* († 1271),[6] обнимающая время от сотворения мира до 1267 г., имеет такое же значение, или немного большее, как история его соотечественника и сотоварища Киракоса. Вардан, вращавшийся в круговороте политических и церковных событий, принимавший в них участие и имевший возможность изучить нравы татар,

---

[1] Способ приводить показания автора к нашему летосчислению указан у *Dulaurier*. Recherches sur la chronologie arménienne, I, 42. Эра от Рождества Христова начинается у Самуила с 1 октября второго года.

[2] Напр., с 1046 по 1052 г. нет никаких заметок.

[3] Перевед. на франц. яз. Deux historiens arméniens, *Kirakos de Kantzak* XIII s., histoire d'Arménie; Oukhtanes d'Ourha X s., histoire en trois partie; traduits par *M. Brosset*. St. Pétersb., 1870, 1871. Отрывки в Recueil d. hist. des Crois. и в «Сибирском вестнике» за 1822 г.

[4] Напр., историю турок-сельджуков ставит на целое столетие впереди настоящего ее места.

[5] Таково, напр., дополнение к рассказу Матвея Эдесского об освящении воды в праздник Богоявления католикосом Петром.

[6] Всеобщая история Вардана Великого. Пер. Н. Эмина. М., 1861. Отрывки во франц. перев.: Histoire de Géorgie. Additions et eclaircissements. Journal asiat., 1860. Recueil des hist. d. crois., I.

для своего времени сообщает важные сведения, основанные на личном опыте. Но для прежнего времени он компилирует Матвея Эдесского, Самуила Анийского, Киракоса Гандзакского и других известных и неизвестных (последних не менее шести) армянских писателей, дополняя их показания народными легендами. Для XI в. интересны заимствования из неизвестных источников об отношениях армян к Византии; некоторые из них имеют легендарный характер,[1] но есть и вполне достоверные.[2]

6) Хронографическая история *Мехитара Айриванкского*,[3] армянского писателя конца XIII в., обнимающая время от сотворения мира до 1289 г., представляет простой сборник исторических заметок, случайно связанных и расположенных без всякого порядка. Хотя и Мехитар, рядом с заимствованиями у известных историков, берет сведения из неизвестных источников, однако же значение его ничтожно ввиду допускаемых им ошибок и анахронизмов и вообще полного отсутствия критики. Сверх того, в пределах нашего периода у него нет никаких новых данных.

7) История Сюника *Стефана Орбелиани*,[4] Сюнийского архиепископа († 1304), оканчивающаяся 1297 г., представляет для нас интерес только в 66-й гл., где автор на основании Мехитара Анийского,[5] армянского историка конца XII в., говорит о происхождении Орбелианов, их владениях и в особенности останавливается на подвигах Липарита, союзника Византии, сражавшегося при Мономахе вместе с византийскими войсками против турок. Впрочем, данные здесь имеют более эпический, чем исторический характер и, в частности, рассказ о смерти Липарита не согласен с действительностью.

---

[1] Напр., о сватовстве Зои к Какигу.

[2] Перечень местностей, вымененных греками у армянских владетелей.

[3] Хронографическая история, составленная отцом Мехитаром, вартапедом Айриванкским. Перев. с армянского К. Патканова. СПб., 1869// Mémoires de l'Académie imperiale des sciences de St. Pétersbourg. VII serie. T. XIII. № 5; Histoire chronologique par *Mkhitar d'Aïrivank*. XIII s., traduite de l'arménien par *M. Brosset*. St. Pétersb., 1869.

[4] Отрывки 66-й гл. в латинском переводе перепечатаны из лейпцигского изд. 1680 г. Клапротом в СПб., в Archiv für asiat. Litt., Geschichte und Sprachkunde. Вся 66-я гл., принимавшаяся за отдельное сочинение, в Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, par *M. J. Saint-Martin*. T. II. Paris, 1819. Сочинение в полном составе: Histoire de la Siounie par *Stéphanos Orbelian*, traduite de l'Arménien par *M. Brosset*. St. Pétersb., 1864, 1866.

[5] История Армении в 3-х книгах Мехитара Анийского, доведенная до 1193 г., утрачена; Патканов случайно нашел в Тифлисе только 28 глав первой книги и напечатал их в конце издания Себеоса.

8) *Грузинская летопись*, сохранившаяся в армянском переводе и известная под именем Армянской хроники.[1] Летопись эта, по происхождению относящаяся ко времени не позже XII в.,[2] имеет для нас значение в отделе, посвященном царствованию Баграта IV и его сына Георгия II. Кроме сведений о внутренних раздорах между грузинами и о завоеваниях турок здесь сообщаются данные об отношениях к византийскому государству Баграта IV, его брата Димитрия и сына Георгия.

9) Хроника *Михаила Сирийского*,[3] якобитского Антиохийского патриарха († 1199), доведенная от сотворения мира до 1196 г., не сохранилась в сирийском подлиннике, но лишь в древнем (XIII в.) армянском переводе. Будучи знаком с языками, Михаил имел возможность пользоваться и действительно пользовался для своей хроники массой источников — греческих, армянских, сирийских и арабских. Бóльшая часть его источников потеряна и хроника делается поэтому вдвойне ценной. Из источников Михаил, по-видимому, менее всего отводил места греческим. Отсюда произошло, что в показаниях о домашних делах Византии он краток и не всегда точен — отдел хроники, посвященной событиям от Константина VIII до Алексея Комнина, не составляет исключения. В этом отделе внимание его сосредоточено на истории турок и отношениях греков к якобитам при Романе Аргире, Константине Мономахе и Константине Дуке. Сверх того, в хронику внесены заметки о смене на престоле византийских императоров и о продолжительности их царствования, причем

---

[1] Histoire de la Géorgie. Additions et eclaircissements, par *M. Brosset*. St. Pétersb., 1851. Chronique arménienne. P. 1–62.

[2] Она доведена до 1125 г., т. е. до смерти Давида Возобновителя, и представляет в своем роде единственный грузинский памятник, поскольку оригинальный текст трех грузинских летописей, известных до начала прошлого столетия, исчез и доступен лишь в извлечениях царя Вахтанга V, который составил историю своего отечества. Начало истории Вахтанга (до IV ст.) переведено с грузинского языка Клапротом и издано в сочинении: Reise in den Kaukasus und nach Georgien... II Bd. Halle und Berlin, 1814, 37 Kapit. S. 62–238. В полном составе редакцию царя Вахтанга издал *Brosset*. Histoire de le Géorgie depuis l'antiquité jusqa'au XIX siècle. St. Pétersb., 1849–1857. T. I–III. Преимущества так называемой Армянской хроники перед редакцией Вахтанга показаны *К. Паткановым*. Ванские надписи и значение их для истории Передней Азии//ЖМНП, 1883, декабрь.

[3] Chronique de Michel le Grand patriarche des Syriens jacobites, traduite pour la première fois sur la version arménienne du prêtre Ichok par *Victor Langlois*. Venise, 1868. Отрывки: Journal asiatique. T. XII, 1849 (от Юстина II до Льва III Исавра), Recueil des hist. des crois., I.

о некоторых императорах обнаруживаются спутанные и неверные представления; самые подробные заметки — о восстаниях Исаака Комнина и Никифора Вотаниата.

10) Летопись *Яхъи Антиохийского*[1] (XI в.), составляющая продолжение летописи Евтихия (Саид-ибн-Батрик), патриарха Александрийского, в ряду арабских источников для нашего периода занимает первое место. К сожалению, не найден полный ее текст, так что мы можем принимать в расчет только краткий рассказ о царствовании Константина VIII и воцарении Романа Аргира, а также (заимствованный из позднейших цитат) отрывок о взятии Эдессы в 1031 г. Яхъя, пользовавшийся вообще для своего сочинения источниками арабского и греческого происхождения, а также документами из церковного архива,[2] теми же источниками, вероятно, руководился при сообщении сведений о Константине VIII и Романе III; в одних пунктах показания его совпадают с восточными памятниками, в других — с греческими историками. По отношению к некоторым частностям (о податной системе Константина VIII, судьбе Аргира до воцарения) он может способствовать к разъяснению и восполнению свидетельств других источников.

11) Всеобщая история[3] *ал-Макина* († 1275), доведенная до 1260 г., представляет компиляцию из Евтихия Александрийского, продолжателя его Яхъи и некоторых других историков.[4] Кроме данных, относящихся к халифам и их царствованию, в ней посвящены еще особые отделы александрийскому патриархату и делам византийского государства. В пределах нашего периода интерес этого памятника сосредоточен для нас на столкновениях греков с турками, особенно при Романе Диогене.

12) Всеобщая история *Ибн-ал-Атира*, арабского писателя († 1233), доступная нам лишь в отрывках,[5] отличается в большинстве случаев

---

[1] Император Василий Болгаробойца. Извлечения из летописи Яхъи Антиохийского. Издал, перевел и объяснил *барон В. Р. Розен*. СПб., 1883.

[2] *Бар. Розен*. Введ., 75–91.

[3] Historia Saracenica... arabice olim exarata a Georgio Elmacino... et latina reddita opera et studio *Thomae Erpenii*. Lugdun. Batav., 1625; L'histoire Mahometane du Macine, trad. par *Pierre Vattier*. Par., 1657. Отрывки у Куника (О записке готского топарха), проф. Васильевского (ЖМНП) и бар. Розена (Император Василий Болгаробойца).

[4] По догадке проф. Васильевского, он пользовался хрониками Ильи Нисибийского и Игнатия Мелитинского. Ж. М. Н. Пр., CLXXXIV, 129–131.

[5] *Saint-Martin*. Mémoires sur l'Arménie, II, 214–216, 226–228. Bibliotheca arabo-sicula raccolta da Michele Amari versione italiana. Torino e Roma, 1880. 112–114. У Куника, Васильевского и Розена.

точностью и верностью, равно и богатством данных. Из этого можно заключать, что источников у автора было немало и они, по характеру сведений, служили надежной опорой. Данные Ибн-ал-Атира касаются и внутренних дел Византии, но главным образом отношения ее к сарацинам и туркам. Вследствие недоступности полного текста истории Ибн-ал-Атира усиливается значение пользовавшихся ею двух позднейших писателей, а именно:

13) *Абу-л-Феды*, автора мусульманской летописи, и

14) *Абу-л-Фараджа*, автора сокращенной истории династий и сирийской хроники.[1]

II

Ко второй группе исторических памятников принадлежат слова, речи, биографии, жития и т. п. произведения с историческим содержанием, имеющим своеобразную окраску, применительно к известной принятой автором цели. Одни из них по месту происхождения и языку греческие, другие — латинские.

А) Греческие памятники

1) Слова *Симеона Нового Богослова*,[2] игумена монастыря св. Маманта, первой пол. XI в.[3] Из этих слов, или, правильнее, трактатов догматического и нравственного содержания, обращенных к монахам, мы

[1] *Abulfeda*. Annales Moslem., ed. Reiske-Adler, 1789–1794; Historia compend. dynastiarum authore *Gregorio Abul-Pharagio*, ed. Pococke. Oxoniae, 1663; *Gregorii Abulpharagii* sive Bar-Hebraei Chron. Syr., ed. Bruns et Kirsch. Lips., 1789.

[2] Ed. *Pontanus*. Ingolst., 1603. PG. T. CXX. «Душеполезное чтение» за 1877: Слова (23) преподобного и богоносного отца нашего Симеона Нового Богослова. В переводе епископа Феофана с новогреческого, на который они были переведены высокопреподобным Дионисием Зогреем, подвизавшимся на пустынном острове Пипери, лежащем против Афонской горы, и напечатаны в Венеции в 1790 г.

[3] Время жизни определяется данными жития и тем, что Никита Стифат (ок. 1054) был учеником Симеона. Ср.: *Allatii* De Symeonum scriptis, ap. PG. T. CXX, 289. «Душепол. чтение», 1877, февр., 173–188.

имеем в виду главным образом те, которые заключают данные для характеристики современного автору общества,[1] в частности монашества.[2]

2) Слова патриарха *Иоанна Ксифилина*[3] († 1075). Из них исторический интерес представляют те,[4] в которых проповедник вооружается против господствующих пороков современного ему общества.

3) *Михаила Пселла* Похвальное слово Константину Мономаху[5] — краткое. Среди трескучих фраз, высокопарных эпитетов и уподоблений в нем попадаются интересные строки об отношениях Мономаха к монахам и иностранным государям.

4) *Его же* Похвальное слово Константину Мономаху[6] — пространное, написано в надежде на денежную награду[7] и проникнуто лестью и угодливостью к Мономаху. Заключая в себе некоторые сомнительные данные,[8] которые опровергаются позднее написанными записками Пселла, это слово вносит тем не менее несколько новых, не возбуждающих сомнения черт в историю царствования Михаила Пафлагона, Михаила Калафата и Константина Мономаха.

5) *Его же* Похвальное слово Иоанну Евхаитскому,[9] написанное после 1063 г.,[10] по чувству благодарности ученика к учителю, важно для оценки деятельности Иоанна как дидаскала и митрополита Евхаитского.

6) *Его же* Надгробное слово патриарху Михаилу Керулларию,[11] написанное в начале царствования Константина Дуки,[12] заключает данные для биографии Керуллария и несколько сведений о современных Керулларию императорах.

---

[1] Слов. 4, 12, 17.

[2] Слов. 24, 28, 32.

[3] Ed. *Mattaeus*. Mosqu., 1775. PG. T. CXX.

[4] В неделю Крестопоклонную, 3, 5 и 12 по Вознесении.

[5] Πρὸς τὸν βασιλέα τὸν Μονομάχον. *Sathas*. Bibl. graeca medii aevi. Par., 1876. V, 106–117.

[6] Τοῦ αὐτοῦ, πρὸς τὸν βασιλέα Μονομάχον. *Sathas*, V, 117–141.

[7] *Psell.*, V, 141.

[8] О Константине VIII, Романе III и Константине Мономахе.

[9] Ἐγκώμιον εἰς Ἰωάννην τὸν θεοσεβέστατον μητροπολίτην Εὐχαΐτων καὶ πρωτοσύγκελλον (Энкомий Иоанну, благочестивейшему митрополиту Евхаит и протосинкеллу). *Sathas*, V, 142–167.

[10] *Psell.*, IV, 394.

[11] Ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Μιχαὴλ τὸν Κηρουλλάριον (Энкомий блаженнейшему патриарху господину Михаилу Керулларию). *Sathas*, IV, 304–387.

[12] *Psell.*, IV, 323, 381.

7) *Его же* Надгробное слово патриарху Константину Лихуду,[1] написанное по чувству благодарности к покровителю, товарищу и другу,[2] важно по заключающимся в нем сведениям о личности Лихуда и его заслугах, главным образом как политического деятеля и отчасти как патриарха Константинопольского.

8) *Его же* Надгробное слово патриарху Иоанну Ксифилину[3] рисует личность и деятельность Ксифилина до и после вступления на патриарший престол; при этом, по связи с судьбой Ксифилина, Пселл сообщает некоторые подробности и о своей собственной судьбе.

9) *Его же* Надгробное слово своей матери (Феодоте)[4] имеет значение для характеристики семейной и общественной жизни в XI в., домашнего и школьного воспитания; в частности, знакомит с членами семьи, к которой принадлежал автор, и в известной степени заменяет его автобиографию.

10) *Его же* Надгробное слово дочери Стилиане,[5] написанное раньше[6] Слова матери, заключает в себе данные той же категории, к которой принадлежат данные этого последнего Слова; впрочем, оно менее богато содержанием.

11) Его же Надгробное слово маистру Никите[7] представляет интерес указаниями на положение школьного дела, и в частности, на метод преподавания грамматики.

12) *Его же* Монодия Никифору, митрополиту Ефесскому,[8] заключает интересные строки о постепенности в занятиях науками и о месте, принадлежавшем в градации наук богословию.

---

[1] Ἐγκώμιον εἰς τὸν ὁσιώτατον κῦρ Κωνσταντῖνον πατριάρχην Κονσταντινουπόλεως τὸν Λειχούδην (Энкомий преподобнейшему господину Константину Лихуду, патриарху Константинопольскому). *Sathas*, IV, 388–421.

[2] *Psell.*, IV, 421.

[3] Ἐπιτάφιος εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Ἰωάννην τὸν Ξυφιλίνον (Энкомий блаженнейшему патриарху господину Иоанну Ксифилину). *Sathas*, IV, 421–562. Изданный текст не имеет окончания, где, согласно принятому плану (IV, 453), Пселл должен был говорить о смерти Ксифилина.

[4] Ἐγκώμιον εἰς τὴν μητέρα αὐτοῦ. *Sathas*, V. 4–61.

[5] Τοῦ αὐτοῦ, εἰς τὴν θυγατέρα Στυλιάνην πρὸ ὥρας γάμου τελευτήσαντος (Его же <слово> дочери Стилиане, скончавшейся до достижения брачного возраста. — *Пер. Я. Н. Любарского*). *Sathas*, V, 62–87.

[6] *Psell.*, V, 77, 79, 80; 48, 52, 61.

[7] Τοῦ αὐτοῦ ἐπιτάφιος εἰς Νικήταν μαΐστορα τῆς σχολῆς τοῦ ἁγίου Πέτρου (Его же, эпитафий Никите, маистру школы св. Петра). *Sathas*, V, 87–96.

[8] Μονῳδία εἰς τὸν πρωτοσυγκέλλον καὶ μητροπολίτην Ἐφέσου κῦρ Νικηφόρον (Монодия протосинкеллу и митрополиту Эфесскому господину Никифору). *Sathas*. V, 102–105. Сохранилась и издана в неисправном виде.

13) *Его же* Монодия по случаю обрушения храма Св. Софии[1] констатирует факт, неизвестный из других источников.

14) *Его же* две Апологии в собственную защиту, одна по поводу возведения в чин ипертима,[2] другая по поводу назначения на должность протоасикрита.[3] Обе имеют отношение главным образом к биографии Пселла и отчасти к характеристике чиновничества.

15) *Его же* Апология в защиту номофилакса (Ксифилина) против Офриды[4] знакомит с одним небезынтересным эпизодом школьной конкуренции и содержит данные для суждения об учености Ксифилина.

16) *Его же* Канон Иакову,[5] полузащитительное, полуобличительное произведение, неприличное по замыслу, шутливое по исполнению, не лишено интереса для изучающего положение монашества в XI в.

17) *Иоанна Мавропода*, митрополита Евхаитского, процветавшего в XI в., эпиграммы.[6] Они написаны ямбическими стихами и некоторые имеют историческую важность, потому что предметом их служат те или другие лица, игравшие политическую роль, и события, касавшиеся частью этих лиц, частью самого автора. Из 113 эпиграмм представляют интерес 15 — из них шесть[7] посвящено восхвалению Мономаха, Зои, Феодоры и двух хрисовулов, изданных Мономахом, девять[8] имеют ближайшее отношение к жизни самого Иоанна и его деятельности как преподавателя, историка и митрополита, одна восхваляет качества Лихуда[9] и одна — качества Ксифилина.[10]

---

[1] Εἰς τὴν τῆς ἁγίας Σοφίας σύμπτωσιν. *Georg. Acropol.* Bonn., 1836, 276–278. PG. T. CXXII.

[2] Τοῦ αὐτοῦ, πρὸς τοὺς βασκήσαντας αὐτῷ τῆς τοῦ ὑπερτίμου τιμῆς (Его же, <слово> позавидовавшим мне из-за должности ипертима). *Sathas*, V, 168–170.

[3] Τοῦ αὐτοῦ, ὅτε παρητήσατο τὴν τοῦ πρωτοασηκρῆτις ἀξίαν (Его же, <слово> по поводу отказа от должности протоасикрита). *Sathas*, V, 171–176.

[4] Ἀπολογία ὑπὲρ τοῦ Νομοφύλακος κατὰ τοῦ Ὀφρυδᾶ. *Sathas*, V, 181–196.

[5] *Sathas*, V, 177–181. Составлен по правилам церковных песнопений, с песнями, стихирами. Стихиры образуют акростих: Μέθυσον Ἰάκωβον εὐρύθμως ἄδῳ Κώνστας (Пьяницу Иакова стройно пою. Констант).

[6] Εἰς πίνακας μεγάλους τῶν ἑορτῶν (На великие праздники). Ed. *Mattaeus Bustus*, 1610. PG. T. CXX. *Paulus de-Lagarde*. Gottingae, 1882. В издании *де-Лагарда* недостает последних эпиграмм, начиная с 99-й, и есть одна лишняя против прежних изданий (№ 69 εἰς τὸ λοῦμα τῶν Βλαχερνῶν (О влахернском источнике)).

[7] № 30, 43, 44, 45, 54, 57, ed. *Migne*.

[8] № 46, 47, 53, 91, 92, 95, 96, 97, 98.

[9] № 35.

[10] № 36.

18) *Его же* Слова. Наибольшую важность имеет благодарственное Слово,[1] сказанное в пятый день Рождества Христова 1047 г. по случаю разрушения тирании Льва Торника; оно заключает интересные подробности о Торнике и об осаде им Византии. Следующее по важности место принадлежит Слову, сказанному в день великого Победоносца (Георгия) по случаю бывшего с варварами (печенегами) чуда;[2] здесь сделано описание печенегов, упомянуто об их обращении в христианство и о положении придунайской фемы. Из остальных Слов не лишены значения: Слово, обращенное к народу при вступлении на Евхаитскую кафедру,[3] и Слово по поводу поразительных знамений;[4] в первом есть указания на состояние Евхаитской церкви, во втором — указания на административные злоупотребления.

19) *Ему же* приписываемое житие св. Дорофея Нового, что в Хилиокоме;[5] кроме сведений об основателе и первом игумене Хилиокомского монастыря, интересно еще некоторыми подробностями относительно

---

[1] Ἰωάννου τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Εὐχαΐτων χαριστήριος λόγος ἐπὶ τῇ καθαιρέσει τῆς τυραννίδος. ἐλέχθη δὲ μετὰ πέμπτην τῶν χριστοῦ γεννῶν ἡμέραν (Иоанна, святейшего митрополита Евхаитского, благодарственное слово по случаю победы над тиранией. Произнесено в пятый день Рождества Христова). Iohannis Euchaitiorum Metropolitae... Ed. *Paulus de-Lagarde*. Gott., 1882, 178–193.

[2] Ἰωάννου τοῦ ἁγιωτάτου μητροπολίτου Εὐχαΐτων λόγος εἰς τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου προπαιοφόρου καὶ τὴν νῦν γενομένην ἐπὶ τοῖς βαρβάροις θαυματουργίαν (Иоанна, святейшего митрополита Евхаитского, речь, посвященная дню памяти великого Победоносца и свершившемуся ныне чуду с варварами). *De-Lagarde*, 142–147.

[3] Ἰωάννου... προσφώνησις πρὸς τὸν ἐν Εὐχαΐτοις λαόν, ὅτε πρῶτον ἐπέστη τῇ ἐκκλησίᾳ. *De-Lagarde*, 160–165.

[4] Ἰωάννου... λόγος εἰς τοὺς ἐκταράσσοντας φόβους καὶ τὰς γινομένας θεοσημείας (Иоанна... речь о приводящем в смятение страхе и божественных знамениях). *De-Lagarde*, 165–178.

[5] Vita S. Dorothei junioris sive in Chiliocomo auctore monacho coaevo discipulo ejus, facto deinde metropolita Euchaitorum (Житие св. Дорофея Нового, что в Хилиокоме, составленное монахом, его современником и учеником, впоследствии митрополитом Евхаитским). AA. SS. Bolland., jun., I; PG. T. CXX, 1040–1074. О принадлежности Иоанну Евхаитскому см.: *Алляций*. Diatriba de Sumeonibus. Эпитет coaevo, приложенный к списателю издателями, оправдывается житием (λέγω δὲ τὸν νέον καὶ καθ' ἡμᾶς (Я имею в виду <Дорофея> Нового, нашего современника). PG. T. CXX, 1053), но другой — discipulo — не имеет оправдания в житии. Учителями Иоанна Евхаитского были: Клавдиопольский епископ и миссионер среди печенегов и болгар (*Psell.*, V, 143–145), — ни тот, ни другой не имеют ничего общего с Дорофеем.

семейной жизни того времени и связей, существовавших между сельским населением и соседними монастырями. Вообще же исторический материал в житии небогат.

20) Житие преподобного Симеона Нового Богослова,[1] составленное учеником его *Никитой Стифатом*, кроме данных для биографии подвижника заключает еще некоторые указания на круг школьного учения, личность митрополита Никомидийского и на состояние монашества. Материал в нем богаче, чем в житии св. Дорофея.

21) *Иоанна*, патриарха Антиохийского (XI–XII в.),[2] Слово о получающих монастыри в дар и извлекающих из них прибыль,[3] заключает любопытные указания на харистикарный способ владения монастырями и на допускавшиеся в нем злоупотребления.

22) Отрывок из книги *Никона*, монаха второй пол. XI в.,[4] о Петре Антиохийском, носит характер памфлета и во всех подробностях не может быть принимаем. Но он драгоценен по указанию на митрополита Аназарбского.

---

[1] Отрывки изданы в примечаниях Комбефиза к Мануилу Калеке. На русском языке в извлечении: «Душепол. чтение», 1877, февраль, 173–186.

[2] Имеется в виду Иоанн, занимавший патриарший престол с 1092 по 1103 гг. (ср.: *Преосв. Порфирий*. Восток христианский. Киев, 1876, 81). Слово приписывается ему вслед за *Dufresnois* (Tablettes chronologiques, 1744). Некоторые (*Le Quien*. Oriens Christ., II, 754) считали автором слова Иоанна, занимавшего Антиохийский престол с 987 по 1010 гг., на основании выражения о патриархе Сисиннии: ὁ δὲ ἐν ἁγίοις Σισίννιος οὐ πρὸ πολλῶν τούτων χρόνων πατριάρχης (во святых Сисинний, который недавно был патриархом), но это основание оказывается шатким при сопоставлении с тем местом, где автор, рассуждая о бедствиях, ниспосланных Богом за человеческие беззакония, упоминает о турках, печенегах, куманах и франках (*Cotelerii*, I, 189).

[3] Τοῦ ἁγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου πατριάρχου Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰωάννου τοῦ ἐν τῇ Ὀξείᾳ νήσῳ ἀσκήσαντος λόγος περὶ τὸ ὅτι οἱ τὰ μοναστήρια διὰ δωρεῶν λαμβάνοντες εἴτε ἀρχιερατικῶν εἴτε βασιλικῶν καὶ ἐκ τῶν μοναστηρίων κέρδη ἔχοντες ἀσεβοῦσιν (святейшего и блаженнейшего патриарха Антиохийского господина Иоанна, подвизавшегося на острове Оксии, Слово о том, что получающие монастыри в дар архиерейский либо императорский и извлекающие из них выгоду, поступают нечестиво). *Cotelerii*. Ecclesiae graecae Monumenta. T. I. 1678.

[4] Отрывок извлечен преосв. Порфирием из 38-й кн. сочинения, виденного им на Синае и состоящего из рассказов и рассуждений Никона, монаха, жившего в монастыре св. Симеона Дивногорца (в Сирии), который был современником не только Петра, но и Иоанна Антиохийского, и даже пережил занятие св. мест франками в 1099 г. *Порфирий*. Восток христианский. Сирия. Список Антиохийских патриархов. Киев, 1876. Труды Киевск. Духовн. академии, 1873, сентябрь.

23) *Феофилакта*, архиепископа Болгарского (ок. 1091 г.), трактат о царском воспитании,[1] написан учителем для своего царственного ученика, Константина, сына Михаила Парапинака, около 1088–1089 г.[2] и в первой части — панегирической — заключает сведения о качествах Константина, его матери Марии, его отца Михаила и деда Константина. Ничего нового мы не находим в трактате Феофилакта ни о Константине Дуке, ни о Михаиле Парапинаке, ни о сыне Парапинака, Константине, только о Марии можно встретить несколько строк, которые привносят кое-что к нашим сведениям о ней.

24) Советы и рассказы *византийского боярина* XI в.,[3] принадлежащие двум авторам: Кекавмену (первая часть) и Николице (вторая), представляют собой, как справедливо заметил проф. Васильевский, не только стратегику, но и византийский домострой. Во второй части это произведение выдерживает аналогию с «Царским воспитанием» блаж. Феофилакта: оно обращено к царствующему императору (вероятно, Михаилу VII) и заключает наставления как царствовать. Но аналогия не простирается на историческую ценность материала. В обеих частях наставления (касательно управления, военного дела и разного рода житейских обстоятельств) иллюстрируются примерами. частью почерпнутыми из личного опыта авторов и их сведений о современных событиях, частью дошедшими к ним от дедов. Примеры касаются событий, начиная с Василия II и оканчивая Михаилом Парапинаком, о первом министре которого Никифорице сделано несколько замечаний. Некоторые примеры обогащают совершенно новыми данными.

Б) Латинские памятники

1) Жизнеописание Конрада II, императора, составленное его капелланом *Випоном*,[4] предназначалось и поднесено в 1048 г. сыну Конрада,

---

[1] Παιδεία βασιλικὴ πρὸς τὸν πορφυρογέννητον Κωνσταντίνον. С венецианского издания трудов Феофилакта перепечатал *Migne*. PG. T. CXXVI, 253–285.

[2] Доказательства у *проф. Васильевского*. Византия и печенеги//Ж. М. Н. Пр., CLXIV, 309–312.

[3] По сборнику Московской Синодальной библ. № 285 (298) издал *проф. Васильевский* в Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь–авг., в русском переводе, а важнейшие места, сверх того, в подлиннике. Им же сообщены сведения об авторах и отмечены оригинальные данные.

[4] Vita Conradi II imperatoris. Ed. *Pistorius*. Francof., 1607, 1653, 1654; *Struve*. Ratisb., 1726; *Pertz*, SS., XI; *Pertz*. Hannov., 1853; *Bouquet*, XI.

Генриху III, вследствие чего не чуждо панегирического характера. Если автор и касается слабостей описываемого государя, то делает это осторожно, большей частью намеками. Тем не менее показания Випона носят печать достоверности: будучи современником, для многого очевидцем, он сообщает сведения, почерпнутые из надежных источников, личного наблюдения, свидетельств других и анналистических записей, до нас не сохранившихся.[1] Для нас имеют интерес сведения об отношении Конрада к успехам норманнов в Италии за счет греков и об отправлении в Константинополь епископа Страсбургского Вернгера для переговоров о брачном союзе.

2) Житие папы Льва IX, составленное *Вибертом*,[2] архидиаконом Тульской церкви, современником Льва IX, написано в хвалебном тоне и представляет смесь элемента исторического с легендарным. Историческое содержание заимствовано из показаний лиц, близко стоявших к папе,[3] а также из сочинений и официальных бумаг. Представляющие для нас интерес сведения[4] о столкновении церквей — Греческой и Римской — и об отношениях папы Льва IX к норманнам, обнаруживают близкое знакомство автора с докладной запиской папских легатов, полемическими сочинениями и письмом папы Льва IX к императору Константину Мономаху, из которого сделана обширная выдержка. Важность сообщений Виберта ослабляется тем, что эти документы и сочинения известны нам в подлиннике, интерес сводится к показаниям его об авторах полемических сочинений.

3) Панегирик Генриху IV, императору, составленный *Бензоном*, епископом Альбийским,[5] основой своей имеет послания, памфлеты и другие произведения, в изобилии выходившие из-под пера Бензона, деятельного приверженца Генриха IV. Этот материал, рассчитанный на то, чтобы поощрить партию Генриха IV и уронить противников, был собран Бензоном, обработан, дополнен, и таким образом около 1087 г. явился панегирик. Он наполнен восхвалениями и лестью перед Генрихом, а также проникнут тщеславным желанием автора всюду выставить собственные

---

[1] Последний пункт разъяснил *Steindorf*. Forschungen, VII, 559 sq.

[2] Vita s. Leonis IX papae. Ed. *Surius*. Colon., 1618; AA. SS., Bolland., april., II. Mabillon, AA. SS., VI; *Eccard*. Winceb., 1729; *Muratori*. Scr. rer. ital., III; *Bouquet*. X; PL. T. CXLIII.

[3] Напр., Гуго, архиепископа Хрисопольского.

[4] В 9-й и 10-й гл.

[5] *Benzonis episcopi Albensis* as Heinricum IV imperatorem libri VII. Ed. *Mencken*. Lips., 1728; *Ludewig*. Reliquiae manuscr., X; *Pertz*, SS., XI.

свои заслуги. Из ненависти к противникам Бензон не останавливается перед выдумками и баснями и, наряду с достоверными фактами, у него находят себе место продукты фантазии и подложные документы. Между прочим, он сообщает сведения о сношениях византийского императора Константина Дуки с Генрихом IV и приводит копии писем, писанных будто бы по этому поводу Константином Дукой к нему, Бензону, и к антипапе Кадалу, и патрицием Панталеем к нему одному. Эти сведения и документы были бы весьма ценным вкладом в историю сношений между дворами, если бы не общее свойство сочинения Бензона, заставляющее ученых[1] недоверчиво смотреть на достоверность его сообщений и заподозривать подлинность документов.

4) *Петра Дамиани* оправдательный трактат[2] по поводу отказа от епископства, адресованный папе Николаю II (1058–1061), в числе примеров, которыми автор подтверждает свое право отказаться от сана, заключает интересную для нас ссылку на Дамасского митрополита.

5) *Житие Макария* Антиохийского,[3] составленное около 1067 г. по приказанию Сент-Бавонского (монастырь во Фландрии) аббата Зигера, важно по указаниям на одну из кафедр Константинопольского патриархата.

6) Сказание о том, как частица Животворящего Креста Господня доставлена в Верд, написанное аббатом *Бертольдом*[4] не позже 1155 г.,[5] имеет предметом поездку в Константинополь Вернгера Страсбургского, в сопровождении Мангольда, основателя Вердского монастыря. Сказание наполнено легендарными подробностями, но за устранением их может служить дополнением к рассказу Випона и прояснить вопрос о цели и времени посольства.

---

[1] См., напр., *Гизебрехта* (Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit, II, 565–566; III, 1029) и *Линднера* (Forschungen zur deutsch. Gesch., VI, 495–526). Противоположного взгляда держатся: *Стенцель* (Gesch. d. fränkischen Kaiser, II, 80–90), *Вилль* (Benzos Panegyricus auf Heinrich IV. Marburg, 1856).

[2] De abdicatione episcopatus, ad Nicolaum II, Rom. Pont., *Migne*. PL. T. CXLV, 425 sq.

[3] Vita altera jussu Sigeri abbatis post elevationem corporis a monacho gandensi scripta. Acta Sanctorum Bolland., 10 april. (I, 878 sq.). Более древнее житие, записанное по приказанию аббата Еремболъда (около 1014 г.) (Ibid., I, 875), не заключает в себе тех данных, которые внесены во второе житие. Об этом памятнике см.: Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich II, *von Hirsch*, Bd. I, 527.

[4] Bertholdi abbatis s. crucis Werdani ord. s. Bened. Quomodo portio vivificae Crucis Werdeam pervenerit historia. Oefelius, Rerum boicarum Scriptores. T. I, 1763, 332–336.

[5] Посвящено Теодориху, управлявшему монастырем до 1155 г.

7) Сказание о перенесении мощей св. Агафии из Константинополя в Катану, составленное *Маврикием*,[1] с 1124 года епископом Катанским, интересно для нас не столько подробностями, касающимися факта перенесения мощей из Константинополя в Катану в 1126 г., сколько заметкой о том, как мощи очутились в Константинополе; действующим лицом является здесь Маниак и автор касается деятельности его в Сицилии.

8) *Сказание*[2] о том, как доска св. Василия, содержащая в себе часть древа Господня, принесена в Клюньи, заключает сведения об успехах турок при Михаиле Парапинаке и указание на Кесарийского митрополита.

9) Исландские и скандинавские баснословные сказания, записанные *Снорре Стурлусоном*[3] († 1241), заключают немало данных о пребывании скандинавов на византийской службе, но весьма немногие из данных носят печать достоверности; внимания заслуживает лишь то, что внесено в саги из песен скальдов и может быть с несомненностью выделено.[4]

III

К третьей группе исторических памятников относятся послания и письма.

1) Самый богатый материал представляют *письма Михаила Пселла*, число которых простирается до 247.[5]

Письма Пселла писаны к разным лицам: к византийским императорам или членам их семейств (44), к иностранному государю (2 от имени

---

[1] Historia translationis corporis sanctae Agatae V. M. Constantinopoli Catanam, auctore Mauritio, ep. Catan. Acta Sanct. Bolland., febr. I.

[2] Qualiter tabula s. Basilii continens in se magnam Dominici ligni portionem Cluniacum delata fuit tempore Pontii abbatis. Отрывок у *Le Quien*. Oriens Christianus. Par., 1740, I, 385.

[3] Heimskringla. Ed. vers. lat. *Peringskiöld*. Stockholm, 1697; *Schoening*. Thorlacius et Werlauff, Hafniae, 1777, 1778, 1783, 1813, 1817, 1826 (6 vol.). Upsala, 1816–1829. Есть переводы на языки: немецкий, английский, датский, норвежский и шведский.

[4] Этот вопрос рассмотрен *проф. Васильевским* в ст. «Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе» / / Ж. М. Н. Пр., CLXXVII.

[5] 208 изданы *Сафой* (Bibl. graec., IV, 296–299, V, XLV–VI, 219–523); 12 — *Боассонадом* (Ψελλός, 170–188) и по нему *Migne* (PG, CXXII, 1169–1185); 27 — *Тафелем* (*Eustathii* opuscula. Lipsiae, 1838) и по нему *Migne* (PG, CXXXVI, 1317–1334).

Парапинака), к узурпатору (1 от имени Парапинака), к чиновникам придворного ведомства и центрального управления (31), к чиновникам областного управления (34), к патриархам, митрополитам и епископам (36), к чинам патриаршего управления (2), к лицам монашествующим (6) и к разным другим лицам, названным в письмах по имени или чину или совершенно не названным (91). Пселл по своему положению как министр, приближенный царский советник и дидаскал, имел массу знакомых, друзей, почитателей и учеников на всех ступенях общества. Помимо официальных обязанностей его заставляли браться за перо города, монастыри и частные лица, искавшие заступничества по разным делам, просившие рекомендации или обращавшиеся за разрешением недоуменных вопросов научного свойства. Достоинство писем заключается в том, что они бросают свет на строй жизни, господствовавший в XI в.; для хронологически точного выяснения фактов они не могут иметь значения, так как не снабжены датами и многие даже не имеют адресата.

Есть письма, не имеющие важности для исторического знания (более сотни); но бóльшая их часть представляет драгоценный материал. Самую большую важность имеют те, которые обрисовывают состояние правительственного механизма, знакомят с канцеляриями, должностями, условиями поступления на службу, отношениями чиновников между собой и к народу, особенностями управления и суда.[1] Немногим уступает в важности серия писем, характеризующих положение церковных дел, заключающих сведения о церковной иерархии, монастырях, отношениях духовных лиц и учреждений к государству.[2] Следующее затем место по праву принадлежит письмам, содержащим данные о состоянии просвещения, о школах, способе преподавания, о философских направлениях,[3] а также письмам, характеризующим домашнюю жизнь, свадебные и другие обычаи.[4] Есть письма, не бесполезные при изучении явлений политической жизни, как-то: войн, дипломатических сношений,

---

[1] *Psell.*, V, №№ 13, 21–24, 33–35, 38–39, 47, 49, 70, 93, 100, 122, 129, 136, 138, 146, 151, 165, 169, 190–192; *Migne*. PG, CXXXVI, №№ 61, 70, 72–73.

[2] *Psell.*, V, №№ 9–10, 12, 18, 28–31, 36, 45, 54, 63, 68, 77, 79, 99, 103, 130, 134, 148, 150, 153–154, 178, 204, 207; *Migne*. PG, CXXXVI, №№ 68–69; CXXII, № 3.

[3] *Psell.*, V, prol., XLV–XLVI, №№ 16, 86, 168, 175, 205–206; *Migne*, PG, CXXII, № 1.

[4] *Psell.*, V, №№ 83, 84, 157.

придворных партий.[1] Есть, наконец, письма, имеющие значение для биографии Пселла.[2]

2) *Письма Иоанна Мавропода*, митрополита Евхаитского, в числе 79,[3] не имеют ни дат, ни надписания, так что лишь по содержанию некоторых писем узнаем, кому они были писаны. В числе их есть письма к императору Константину Мономаху (1),[4] к Михаилу Пселлу (2)[5] и к патриарху Михаилу Керулларию (7).[6] Бóльшая часть писем не представляет особенного интереса, но некоторые могут быть полезны для биографии Иоанна Евхаитского, потому что заключают указания, с каким настроением он оставил двор и занял митрополичью кафедру, каково было положение его на кафедре и в какой мере поддерживались сношения его с двором;[7] некоторые письма могут восполнять сведения о состоянии просвещения и школ,[8] некоторые, наконец, могут содействовать к выяснению административных терминов.[9]

3) Два послания патриарха *Михаила Керуллария* к Петру Антиохийскому.[10] В одном Керулларий излагает со своей точки зрения историю церковного столкновения, говорит о миролюбивых сношениях с папой, участии Аргира и о том, как вели себя папские легаты. Конец послания полемический. В другом Керулларий, не вдаваясь в полемику, знакомит с историей папских легатов в Константинополе и с мотивами, по которым он отказался иметь с ними общение.

---

[1] *Psell.*, IV, 296–299; V, №№ 3–4, 69, 73, 81–82, 97, 120, 143–145, 156, 161, 170; *Migne*, PG, CXXII, №№ 4–12.

[2] *Psell.*, V, №№ 19, 27, 61–62, 66, 80, 96, 108, 115, 118, 135, 159–160, 166–167, 174, 180, 185–186, 198–199, 208; *Migne*, PG, CXXXVI, №№ 48–51, 63, 74; CXXII, №№ 5–11.

[3] 77 писем издал *de-Lagarde* (Gotting., 1882). Одно письмо под именем митрополита Евхаитского издал *Сафа* в коллекции писем Пселла (V, 495–496, № 202). Сверх того, он издал (V, 420–421, № 162) под видом письма Пселла к патриарху письмо, которое по внутренним признакам может быть приписано Иоанну Мавроподу до возведения его на Евхаитскую кафедру.

[4] *De-Lagarde*, № 26.

[5] *De-Lagarde*, № 49; *Psell.*, V, № 202.

[6] *De-Lagarde*, №№ 64–69; *Psell.*, V, № 162.

[7] *De-Lagarde*, №№ 19, 34, 48, 50, 52, 54, 60, 64; 3, 5; 26.

[8] *De-Lagarde*, №№ 28–29, 49, 61–62; *Psell.*, V, № 162.

[9] *De-Lagarde*, №№ 9, 10, 31, 35, 39.

[10] *Cotelerii*. Eccl. gr. Monum., II; *Migne*. PG, CXX; *Will*. Acta et scripta quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saeculo XI composita extant. Lipsiae et Marburgi, 1861.

4) Послание *Петра Антиохийского*[1] к Михаилу Керулларию, в ответ на его историко-полемическое послание, служа памятником примирительного направления в церковной политике, содержит вместе с тем несколько заметок о политическом состоянии византийского государства и об общении Востока с Западом в сфере церковного искусства.

5) Четыре послания *папы Льва IX*: одно к императору Константину Мономаху, два к патриарху Михаилу Керулларию и одно к патриарху Антиохийскому Петру.[2] В послании к первому есть указания на поведение Керуллария и Мономаха перед временем церковного столкновения, на борьбу папы с норманнами и проект союза между императорами византийским и германским. В посланиях к Керулларию (из которых одно — обширный полемический трактат) есть сведения о греческом обряде на Западе и латинском на Востоке, о преследовании латинян Керулларием и его централизационных стремлениях. Этот последний пункт затронут и в послании к Петру Антиохийскому.

6) Из множества писем и посланий *папы Григория VII*[3] ближайшее отношение к истории византийского государства имеют 8:[4] к императору Михаилу Парапинаку от 9 июля 1073 г., к Вильгельму, графу Бургундскому, от 2 февраля 1074 г, ко всем западным христианам от 1 марта 1074 г., к императору Генриху от 7 декабря 1074 г., к заальпийским христианам от 16 декабря 1074 г., к аббату Клюнийскому Гуго от 22 января 1075 г., к архиепископу Синаденскому (в Армении) Григорию от 6 июня 1080 г. и к епископам Апулии и Калабрии от 25 июля 1080 г. Первые шесть вызваны проектом похода папы на Восток на помощь грекам против турок, седьмое имеет связь с церковными спорами армян и греков, восьмое — результат разрыва[5] папы с византийским двором.

[1] *Cotelerii*, II; *Migne*. PG, CXX; *Will*.

[2] *Mansi*. Sacrorum concil. collect., XIX; *Migne*, PG, CXLIII; *Will*.

[3] Критическое издание сделал *Jaffé*. Biblioth. rerum germanicarum, II, 1865.

[4] *Jaffé*, II, 31–32, 64–65, 69–70, 144–146, 150–151, 163–165, 423–426, 435–436.

[5] Для выяснения перемены в политике папы по отношению к византийскому двору имеют значение письма папы к разным лицам. *Jaffé*, II, 42, 122–123, 225–226, 229–230, 251...

IV

Четвертая группа исторических памятников состоит из законодательных актов и официальных бумаг, как-то: новелл, синодальных определений, грамот, судебных решений.

1) Новелла *Константина VIII* о бунтовщиках,[1] изданная в июне 1026 г., дополняет сведения о заговорах в царствование этого императора.

2) Новелла *Константина Мономаха* об учреждении публичной школы законов и назначении для нее дидаскала, составленная Иоанном Мавроподом,[2] драгоценна для истории образования.

3) Новелла *Исаака Комнина* о размерах взноса со ставленников в пользу епископа и о размерах канонического подымного сбора с поселян[3] уясняет вопрос о епископских доходах.

4) Новелла *Константина Дуки* (от мая 1065 г.) о том, что император не может изменять порядок кафедр,[4] определяет назначение синкеллов и протосинкеллов.

---

[1] De seditiosis// *Zachariae a Lingenthal*. Jus graeco-romanum. Par. III. Lipsiae, 1857, 320–321.

[2] Τοῦ αὐτοῦ (Ἰωάννου) νεαρὰ ἐκφωνηθεῖσα παρὰ τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, κυροῦ Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου, ἐπὶ τῇ ἀναδείξει καὶ προβολῇ τοῦ διδασκάλου τῶν νόμων (Его же (Иоанна) новелла, оглашенная христолюбивым владыкою, господином Константином Мономахом, о назначении и выдвижении учителя законов). *De-Lagarde*. Cott., 1882, 195–202. Раньше этой новеллы (ср.: *de-Lagarde*, 198) была издана не дошедшая до нас, известная по упоминанию у Феодора Вальсамона (*Rhalli et Potli*. Syntagma, IV, 524), новелла об установлении должности τοῦ ἐπὶ τῶν κρίσεων. Не дошли также: новелла, известная по упоминанию в законе Алексея Комнина (*Zachariae*, III, 366), о размерах обычной платы епископам со стороны жениха и невесты при вступлении в брак, и хрисовулы о митрополии Евхаитской, упоминаемые в стихотворениях Иоанна Евхаитского. Заслуживают еще внимания хрисовулы Мономаха об утверждении Афонского устава (хрисовул и устав в русск. перев. у *преосв. Порфирия*. История Афона// Труды Киев. Духовн. академии, 1873, янв., 18–33) и о назначении πραιπόσιτον ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος καὶ ἐπὶ τοῦ κανικλείου (верховного спальничего и хранителя царской чернильницы) куратором лавры (*Müller*. Historische Denkmäler in den Klöstern des Athos. ap. *Miklosich*. Slavische Bibliothek, I. Wien, 1851, 150).

[3] De sportulis pro ordinatione praestandis et de canonico// *Zachariae*, III, 322–323.

[4] Quod imperator thronorum praesidentiam mutare non possit// *Zachariae*, III. 323–325. Не сохранился и известен только по упоминанию в синодальном послании патриарха Николая (*Rhalli et Potli*, V, 71) хрисовул Дуки о Василийской епископии. Заслуживает еще внимания хрисовул его от июля 1060 г. об освобождении Афонской лавры от податей и налогов (*Müller*. Hist. Denkm., ap. *Miklosich*, 151).

5) Новелла *Михаила Дуки* (Парапинака) о пожалованиях замков на одно лицо[1] имеет отношение к вопросу о прониях.

6) Хрисовул *Михаила Дуки* (Парапинака) от марта 1075 г.,[2] данный Михаилу Атталиоту и освобождающий его владения от податей и повинностей, знакомит с характером последних и важен для уяснения административной терминологии.

7) Хрисовул *Никифора Вотаниата* от апреля 1079 г.,[3] данный Михаилу Атталиоту, повторяет текст предшествующего хрисовула и, сверх того, санкционирует Типик,[4] составленный Атталиотом в 1077 г. для основанного им монастыря и весьма интересный по указаниям на положение и устройство монастырей.

8) Новелла *Никифора Вотаниата* от декабря 1079 г. о том, чтобы смертная казнь не приводилась в исполнение ранее 30 дней после объявления смертного приговора, и о других предметах,[5] важна, между прочим, для характеристики династических переворотов и роли патриарха как печальника.

9) Синодальное определение патриарха *Алексия*[6] от ноября 1027 г. знакомит с условиями харистикарного способа владения монастырями.

---

[1] De his quibus castra concessa sunt. Известно только заглавие. *Zachariae*, III, 330. Не сохранились и известны по упоминанию в послании патриарха Николая (*Rhalli et Potli*, V, 71–72) хрисовулы его о митрополиях Василийской и Неокесарийской.

[2] Τὸ ἴσον τοῦ χρυσοβούλλου τοῦ βασιλέως κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Δούκα// *Sathas*. Bibliotheca graeca medii aevi, I. Paris, 1872, 53–57.

[3] Τὸ ἴσον τοῦ χρυσοβούλλου τοῦ βασιλέως κυροῦ Νικηφόρου τοῦ Βοτανιάτου// *Sathas*. Bibl. gr., I, 57–66.

[4] Λιάταξις σὺν θεῷ γενομένη παρὰ Μιχαὴλ πατρικίου ἀνθυπάτου, κριτοῦ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου καὶ τοῦ βήλου τοῦ Ἀτταλειάτου, ἐπὶ τῷ παρ' αὐτοῦ συστάντι πτωχοτροφείῳ καὶ τῷ μοναστηρίῳ, καθὼς ὀφείλει τελεῖσθαι τὰ ἐπ' αὐτοῖς ἄχρις αἰῶνος (Предписание, с Божией помощью составленное патрикием и антипатом Михаилом Атталиатом, судьею ипподрома и вила, об основанных им приюте и монастыре, что дóлжно совершаться по отношению к ним до скончания века)// *Sathas*. Bibliotheca graeca, I, 1–44.

[5] Ne poena gladii intra XXX dies a sententia infligatur. et de aliis capitulis// *Zachariae*, III, 331–338. Упоминаемые в послании патриарха Николая (*Rhalli et Potli*, V, 72) хрисовулы Вотаниата о Мадитской и Патрской митрополиях не сохранились.

[6] Περὶ τῶν διὰ δωρεᾶς λαμβανόντων μοναστήρια, περί τινων ἄλλων ἀναγκαίων ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων (О получающих в дар монастыри и о некоторых важных церковных делах)// *Rhalli et Potli*, V, 20–24; *Migne*, PG, CXIX, 838–844.

10) *Его же* Синодальное определение[1] от января 1028 г. заключает в себе ценный материал для знакомства с состоянием церковной дисциплины, отношениями Церкви к государству и положением монастырей.

11) Синодальное определение патриарха *Михаила Керуллария*[2] от июля 1054 г. излагает историю церковного разделения и заключает текст письма Константина Мономаха к Керулларию, равно как экскоммуникацию папских легатов.

12) Синодальное определение патриарха *Иоанна Ксифилина*[3] от 3 февраля 1070 г. заключает сведения об участии клириков и монахов в мирских делах.

13) *Его же* Синодальное определение[4] от 6 ноября 1073 г. имеет отношение к вопросу о харистикиях.

14) Из обнародованных до сих пор *монастырских актов* немногие (акты Пантелеимоновского монастыря на Афоне[5] и монастыря св. Павла[6] на горе Латре) относятся к нашему периоду, и интерес этих немногих крайне ограничен; кроме данных для истории соответствующих монастырей, не лишены значения некоторые указания на судебные обычаи и административную терминологию.

---

[1] Περὶ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων (О различных церковных делах)// *Rhalli et Potli*, V, 25–32; *Migne*, PG, CXIX, 828–837.

[2] Σημείωμα περὶ τοῦ ῥιφέντος πιττακίου ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ παρὰ ἀπὸ Ῥώμης πρέσβεων κατὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου κυροῦ Μιχαὴλ, μηνὶ Ἰουνίῳ (читай: Ἰουλίῳ), ἰνδικτ. ζ. (Записка о питтакии, составленном римскими легатами против святейшего патриарха господина Михаила и брошенном на святую трапезу в июне (июле) седьмого индикта)// *Mansi*, XIX; *Migne*, PG, CXX, 736–748; *Will*, 155–168.

[3] Περὶ κληρικῶν συνηγορούντων (О клириках, участвующих в судебной защите)// *Migne*, PG, CXIX, 760–761.

[4] Συνοδικὴ διάγνωσις τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Ἰωάννου περὶ μοναστηριακῶν κεφαλαίων, καὶ ἐκδόσεων, καὶ ποιήσεων (Синодальное определение святейшего патриарха Константинопольского господина Иоанна о монастырских главах, дарениях и приобретениях)// *Bandini*. Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Lavrentianae varia continens opera graecorum patrum. Florentiae, 1764. Дата (1073 г.), ограничивающаяся в определении словами: μηνὶ Νοεμβρίῳ ἡμέρᾳ ἕκτῃ (6 ноября), определяется показанием русской летописи, что в 1073 г. митрополит Георгий находился в *Грѣцѣхъ*. В синодальном акте в числе архиереев, участвовавших в заседании, упомянут τοῦ Ῥωσίας. Ср.: Ж. М. Н. Пр., CCII, 405.

[5] Акты русского на святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона. Киев, 1873. №№ 1–5.

[6] *Miklosich et Müller*. Acta et diplomata gr., IV, № 10.

15) Из судебных решений постановление по делу Пселла[1] от августа 1056 г. знакомит с некоторыми степенями чиновной иерархии и присвоенными им окладами.

16) *Опыт* (Πεῖρα), или Учение по деяниям Евстафия Римлянина,[2] составленное после 1034 г.[3] неизвестным автором, по-видимому, служившим под начальством Евстафия (юриста конца X и нач. XI в.), представляет богатый материал для знакомства с классами общества, административным устройством, податной системой, а всего более тогдашним византийским судопроизводством. К сожалению, невозможно приурочить рассказанные в этом сборнике юридические случаи к определенному времени и трудно доказать, что тот или другой факт относится к царствованию Константина VII или Романа III, а не Василия II.

17) *Докладная записка* о том, что сделано в Константинополе легатами папского престола и как предан анафеме Михаил с его последователями.[4] Записка эта, обыкновенно приписываемая кардиналу Гумберту как главе папского посольства, по внешним и внутренним признакам походит на официальный отчет и в последней части посвящена буквальному воспроизведению акта отлучения, положенного папскими легатами на престол Св. Софии. В первой же части в виде предисловия к акту помещен краткий обзор того, что случилось с легатами в Константинополе в 1054 г.

18) *Булла*[5] папы Льва IX Вердскому женскому монастырю от 1049 г. важна по упоминанию о посольстве императора Конрада II в Константинополь.

19) *Акт Римского собора*[6] от 19 ноября 1078 г. интересен по указанию на экскоммуникацию, произнесенную против Никифора Вотаниата.

20) Грамоты, привилегии и другие официальные бумаги городов: *Трани*,[7]

---

[1] Δικαστικὴ ἀπόφασις κατὰ Ψελλοῦ// *Sathas*. Bibl. gr., V, 203–212.

[2] Πεῖρα ἤγουν διδασκαλία ἐκ τῶν πράξεων τοῦ μεγάλου κυροῦ Εὐσταθίου τοῦ Ῥωμαίου// *Zachariae*, par. I. Lips., 1856.

[3] *Zachariae*, I, 223, 262.

[4] Brevis et succincta commemoratio eorum, quae gesserunt apocrisiarii sanctae romanae et apostolicae sedis in regia urbe, et qualiter anathematizati sunt Michael cum sequacibus suis// *Migne*, PG, CXLIII, 1001–1004; *Will*, 150–152.

[5] *Khamius*. Hierarchia Augustana, III; *Oefelius*. Rer. Boic. Scr., I, 332.

[6] *Jaffé*, II, 330–335.

[7] *Prologo*. Le carte che si conservano nello archivio del capitolo metropolitano della città di Trani. Barletta, 1877.

Амальфи,[1] *Неаполя*,[2] лежавших в пределах греческих владений в Италии или находившихся по соседству и вступавших в сношения с Византией, имеют значение лишь для уяснения хронологии царствования императоров, отчасти еще представляют интерес по встречающимся в них названиям византийских должностей и чинов.

21) Грамоты и привилегии, относящиеся к *Далматии* и *Хорватии*,[3] имеют для нас несколько большее значение, потому что в некоторых случаях составляют единственную опору для суждения о положении византийской власти в далматинской и сербской фемах в XI в.

V

К источникам пятой группы принадлежат *надписи* на вещественных памятниках. Из нашего периода известно немного надписей и из известных лишь некоторые представляют исторический интерес, а именно:

1) Руническая надпись на спине венецианского льва,[4] который некогда стоял на пьедестале при входе в Пирей (названный поэтому Порто Леоне), оттуда вывезен Морозини и поставлен при входе в венецианский арсенал. Надпись относится ко времени Михаила Пафлагона и заключает указание на бунт афинского народа.

2) Надпись на камне[5] у моста через реку Ири, близ древней Спарты, с копией привилегии, данной строителю моста, монаху Никодиму, бросает свет на положение царских монастырей.

3) Надпись на базисе константинопольского обелиска,[6] помещавшегося в ипподроме, в память возобновления его Константином VIII.

---

[1] *Camera*. Memorie storico-diplomatiche dell antica città e ducato di Amalfi. I, Salerno, 1876.

[2] Regii Neapolitani archivi monumenta edita ac illustrata. Neapoli, vol. IV, 1854, vol. V, 1857.

[3] Ioh. Lucii de Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. *Schwandtner*. Script. rer. Hungar., III; *Farlati*. Illiricum sacrum, III, V, VI; *Ivan Kukuljević-Sakcinski*. Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 1874, u Zagrebu; *Rački*. Documenta historica Chroat. antiqu. U Zagrebu, 1875.

[4] Прочитал и разъяснил *Rafn*. Runenskrift i Piraeus. Kjobenhavn, 1856. Но правильность его чтения и разъяснения заподозривается (*Worsaae*. La colonisation de la Russie et du Nord Scandinave. Copenhague, 1875).

[5] Corpus inscriptionum graecarum. Auctoritate et impensis Academiae Litterarum Regiae Borussicae edidit *Aug. Boeckhius*, academiae socius, IV. Berol., 1856. № 8704.

[6] Ibid. № 8703.

4) Надпись на боковой доске иконы Богоматери,[1] вывезенной некогда из Константинополя и вделанной в стену храма св. Марка, в Венеции, заключает указание на жену Михаила Калафата.

5) Надпись на развалинах так называемого Сарацинского замка (Castel Saracino) в Таренте,[2] относимая ко времени Романа Диогена; в надписи есть указание, по чьему повелению замок сооружен.

6) Надпись на стене в Адрианополе[3] с указанием на сооружения, предпринятые Михаилом Парапинаком с целью защиты от варваров.

7) Надпись от времени Никифора Вотаниата над дверями храма св. апостолов Петра и Павла,[4] в Палермо, объясняющая, когда, кем и на какие средства сооружен храм; не лишена значения по упоминанию о должности парафалассита.

8) Надписи на свинцовых печатях (μολυβδόβουλλα) правителей византийских фем и других лиц представляют интерес для областной истории по именам стратигов; к сожалению, из нашего периода известно немного таких печатей.[5]

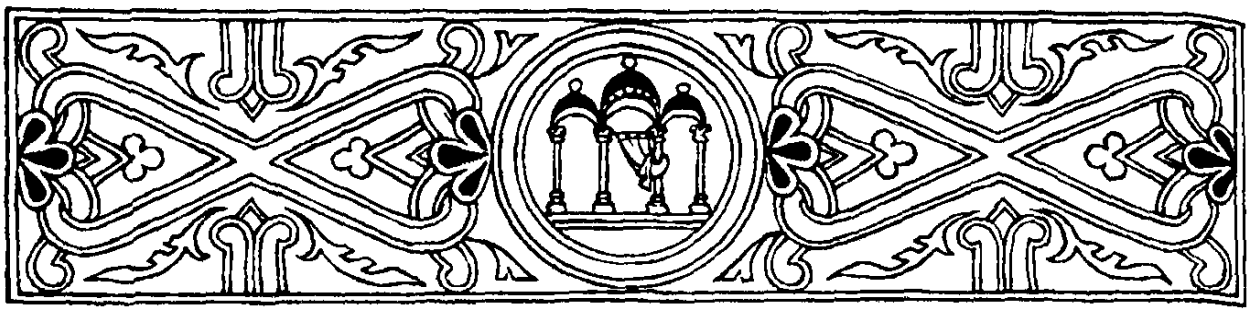
[1] Ibid. № 8706.

[2] Ibid. № 8709.

[3] Ibid. № 8713.

[4] Ibid. № 8716.

[5] Всего пять. См.: *Mordtmann*. Plombs byzantins de la Grèce et du Péloponnèse. Revue archéologique, 1877, vol. XXXIV, 47–48, 51–52; *Schlumberger*. Monuments numismatiques et sphragistiques de moyen âge Byzantine. Revue archéologique, 1880, vol. XL, 195, 207–208. Из этих пяти две печати (Никиты Халкидонского и Иоанна Орфанотрофа) не заключают новых сведений и не имеют поэтому большого значения. Не представляют также исторического интереса, а лишь археологический, восемь надписей, помещенных в сборнике *Бёка* (№№ 8705, 8707, 8708, 8710–8712, 8714, 8715).



Глава первая

15 декабря 1025 года сошел в могилу знаменитый Болгаробойца, император Василий II, на 70-м году жизни и на 50-м самодержавного правления.[1] Василий II не был женат и детей после себя не оставил,[2] престол перешел к его младшему брату Константину VIII, который, впрочем, был моложе всего на три года, имея 67 лет от роду.[3] De jure Константин VIII и

---

[1] В момент смерти Иоанна Цимисхия в декабре 975 г. Василию II был 20-й год. См.: *Cedr.*, ed. Bonn., II, 415–416 (*Zon.*, ed. Dind., IV, 103–104). Скилица—Кедрин, согласно с собственным показанием о начале самодержавного правления Василия, говорит, что он скончался в 1025 году 15 декабря, на 50-м году царствования и 70-м жизни. *Cedr.*, II, 479–480. *Codini*, ed. Bonn., 156. Зонара же, в одном случае следующий верному показанию Скилицы, в рассказе о смерти Василия явно ошибается, говоря (*Zon.*, IV, 125), что он жил 72 года, а царствовал 50 лет с небольшим. Здесь он впадает в заблуждение, общее с Пселлом (*Psell.*, ed. Sathas, IV, 23), который говорит, что Василий жил 72 года и самодержавно управлял 52 года. Заметки армянских историков на счет этого предмета ни с чем не сообразны: Матвей Эдесский говорит, что Василий II умер в 1019 г., процарствовав 58 лет (Chronique, ed. Dulaurier, 43); итальянские историки, следуя различной системе летосчисления, относят его смерть то к 1027 (Annal. Bar., ed. *Pertz*, SS., VI, 53), то к 1026 (Anon. Bar., ed. *Pratilli*, IV, 21), то к 1024 (*Romuald. Salern.*, ed. Muratori, VIII, 167). Ближе к истине стоит Яхъя (*бар. Розен.* Император Василий Болгаробойца. СПб., 1883, 69), относящий смерть Василия к 12 декабря 1025 г., но и он допускает ошибку, говоря, что в год смерти Василию было 68 лет.

[2] О жене и детях Василия нигде не упоминается, а Матвей Эдесский (Chronique, 43) прямо говорит, что он провел жизнь в безбрачии.

[3] В год смерти Цимисхия ему был 17-й год. См.: *Cedr.*, II, 416 (*Zon.*, IV, 104). *Пселл* (IV, 23), утверждая, что Константин стал управлять, имея 70 лет, расходится даже с собственным показанием о Василии II; он, говоря, хотя и ложно, что Василий умер на 72-м году, должен был бы сказать, что Константин начал царствовать на 69-м. После этого мы отказываемся понять, на каком основании *Лебо* (Histoire du bas empire. Paris, 1833, XIV, 231) говорит, что Константин VIII имел 65 лет, когда сделался единодержавным правителем.

до тех пор считался императором: по закону он соцарствовал своему брату и в официальных бумагах имя его писалось вслед за именем Василия II. Но это было только на бумаге. Вся власть находилась в руках Василия; Константин носил императорский титул и потому ему предоставлена была широкая возможность наслаждаться всевозможными деревенскими и городскими удовольствиями, банями, охотой, изысканным столом и пр.[1] Во время междоусобных волнений, возбужденных восстанием Склира и Фоки, Василий II, отправляясь в поход против восставших, брал с собой и Константина,[2] как лично заинтересованного в деле; но какова была при этом его роль, видно уже из того обстоятельства, что Склир, решившись возвратиться к повиновению, обратился к Константину не как к окончательной инстанции, а лишь как к посреднику, с просьбой помирить его с императором Василием, каковая просьба и была исполнена, — примирение состоялось.[3] Не напрасно Василий II в делах государственного управления отодвигал брата на задний план, оставляя на его долю одну видимость, императорское имя, почетный караул и, в придачу, полную свободу жить в свое удовольствие. Константин был совершенно доволен таким положением вещей, к немалому удивлению людей, более его честолюбивых.[4] По своему характеру и душевным склонностям он чувствовал себя созданным именно для такого положения.

Отец Константина VIII, Роман II, был женат на Анастасии или Анастазо, дочери трактирщика, и от этого брака родились оба сына. Красота трактирщицы прельстила Романа, он возвел ее на трон, а чтобы изгладить из памяти ее прошлое, счел достаточным переменить ее имя и вместо Анастазо назвал ее Феофано. Небезосновательно приравнивают эту Феофано к кровожадной Фредегонде:[5] как Фредегонда была злым гением Меровингского дома, запятнала свое имя рядом преступлений, так и имя Феофано нелегко очистить от тяжелых подозрений, как-то: в отравлении тестя Константина VII, мужа Романа II, Стефана, сына Романа I Лакапина, и в том, что она велела умертвить второго своего мужа, Никифора Фоку, чтобы иметь возможность выйти замуж за третьего. Константин VIII был достойным сыном ленивого и развратного Романа II и возвышенной

---

[1] *Psell.*, IV, 4, 14; *Zonar.*, IV, 116.

[2] *Psell.*, IV, 10, 12; *Cedr.*, II, 444.

[3] *Яхъя*, у бар. Розена, 25, а за ним *Ал-Макин*, там же, 211. Мы предпочитаем ту версию, по которой инициатива примирения исходит от Склира, а не от Константина.

[4] *Psell.*, IV, 4.

[5] *Rambaud*. L'empire grec au X siècle, 47.

до императорского венца трактирщицы-куртизанки: внешний блеск и внутренняя пустота, легкомыслие, любовь к наслаждениям, а вместе с тем черствость сердца и жесткость нрава составляют характеристические его особенности.

Константин VIII обладал внушительными физическими качествами: был высок ростом и силен, с округленными членами тела; взгляд его был ясный и высокомерный, смех открытый; говорил он языком блестящим и так быстро, что ни один скорописец не успевал за ним записывать, хотя для этого собраны были мастера своего дела; в довершение всего любил изящно одеваться. Хороший стол, игры и женщины были слабостью Константина. Он непрочь был плотно и вкусно поесть, но еще ближе к сердцу принимал театр и ипподром, конские ристалища, мимы, игру в кости и в мяч (цукан). Ради этих удовольствий готов был забыть голод и жажду — спешил принять участие в состязании, в кости играл ночи напролет. Был он также и хорошим охотником, стрелял метко, прекрасно владел копьем и мечом и ездил верхом неподражаемо, сидел на лошади как статуя. С течением времени от гастрономических, эротических и других излишеств он стал слаб ногами и не мог ходить, но все-таки на лошади сидел твердо и красиво и не отказывал себе в удовольствии вступить в борьбу. Ловкий наездник и искусный боец, он однако же боялся настоящей войны и вместо оружия предпочитал другие средства, чтобы ведаться с внешними врагами.[1]

Относительно нравственных свойств Константина VIII встречаем разноречивые свидетельства у греческих и восточных (армянских и арабских) писателей. Греческие писатели говорят, что он был нрава легкомысленного, вспыльчивого, упрямого и жестокого. Он доверчиво выслушивал клеветников, быстро воспламенялся гневом, причем недоступен был уже никаким убеждениям, но недолго оставался при этом настроении, а с такой же быстротой переходил к другому, часто противоположному. Человеческой личности и жизни не щадил, по первому подозрению подвергал человека пыткам и, не разбирая вины, ослеплял. Ослепление было его любимым наказанием, которое он ко всем применял, не разбирая звания и состояния, не принимая в расчет степени вины и даже самого факта вины.[2] Человеческое страдание ставилось у него ни во что; лишая человека зрения, он помнил только одно — что ослепленный становится ни на что не годным и для императорской власти не опасным.[3] В доказательство

[1] *Psell.*, IV, 23–25, 27–28 (*Zonar.*, IV, 125; *Manass.*, ed. Bonn., 257; *Ephr.*, ed. Bonn., 128; *Georg.*, ed. Muralti, 872); *Cedr.*, II. 480 (*Glyc.*, ed. Bonn., 579).

[2] *Psell.*, IV, 23–25 (*Zonar.*, IV, 125–126).

[3] *Zonar.*, IV, 126.

такого отзыва о Константине греческие писатели приводят несколько примеров ослепления уважаемых и заслуженных лиц, пострадавших будто бы без всякой вины.[1] Восточные писатели, напротив, изображают Константина человеком благочестивым, добрым, кротким, сострадательным ко вдовам и пленникам, склонным прощать обиды злодеям. В доказательство его мягкосердечия указывают на то, что он не одобрял жестоких мероприятий своего брата относительно властелей, по смерти Василия II велел разрушить построенную им тюрьму и освободить из нее всех заключенных. Они не скрывают мер строгости, принятых Константином VIII против некоторых властелей, которые лишены были зрения, но считают эти меры справедливыми, должным возмездием за враждебные замыслы против престола.[2]

В этих противоречивых суждениях есть доля истины, но есть преувеличения и неверность. Из восточных писателей в особенности страдает неверностью Матвей Эдесский, который слишком идеализирует нравственную личность Константина. Основой идеализации послужило, без сомнения, благосклонное отношение Константина к армянскому народу, которое, по словам Матвея,[3] завещано было ему Василием II. Под влиянием симпатий к Константину, вызванных этой благосклонностью, армянский писатель возвел на пьедестал его нравственные качества, его доброту к армянам распространил вообще на подданных и в частности на гонимую предшественником его аристократию; при этом он употребил прием, может быть, умышленный, а может быть, ненамеренный, а именно перенес на Константина некоторые черты, принадлежащие его преемнику, Роману III, который в своих отношениях к армянам шел по направлению, совершенно противоположному, сравнительно с Константином, был поэтому несимпатичен армянским писателям.[4] О Романе III, между прочим, известно, что он, по вступлении на престол, обнаружил снисходительность к аристократам и освободил заключенных из темниц.[5] Недостаток, замечаемый у Матвея Эдесского в его оценке личности Константина, замечается, только в меньшей степени, и у других восточных писателей. Но если в показаниях восточных писателей есть неверность, то и свидетельство греческих историков обнаруживает преувеличение

[1] *Cedr.*, II, 482–483.

[2] *Matt. d'Ed.*, 44–45; *Arisdaguès*, ed. Prud'homme, 38–39; *Яхъя*, у бар. Розена, 70.

[3] *Matth. d'Ed.*, 43.

[4] *Matth. d'Ed.*, 45; *Arisdaguès*, 42–43.

[5] *Cedr.*, II, 486.

и натяжку, когда эти историки утверждают, что Константин ослеплял людей без всякой с их стороны вины, единственно по побуждениям своего жестокого сердца. Бесспорно, Константин VIII был жесток и бессердечен, но чтобы он казнил людей, ни в чем неповинных, с этим едва ли можно согласиться; факт казней не подлежит сомнению, но нет нужды считать его явлением беспричинным.[1] Дело достаточно разъясняется из сопоставления фактических данных, сообщаемых греческими историками, с данными историков армянских, особенно Аристакеса Ластивертского, по времени ближе других стоящего к описываемому предмету. Это сопоставление дает нам возможность приподнять несколько завесу, прикрывающую смутный вопрос об агитации, которая велась против Македонской династии при Константине VIII.

При Македонской династии суждено было обнаружиться новому в византийской истории явлению — возвышению властельских родов, из которых особенно выдвинулись три: Фокиды, Куркуасы и Склиры; из них первые два имели даже представителей на императорском престоле в лице Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия. Македонская династия выступила на борьбу с этим новым и с точки зрения интересов как византийского самодержавия, так и крестьянского благосостояния, опасным явлением. Василий II более, чем его предшественники, известен во внутренней политике заботами о подавлении аристократических стремлений, которые в его время заявляли свою жизненность не только на почве социально-экономической, но и политической, сказываясь в вооруженном противодействии верховной власти. В восстаниях против Василия II фигурируют главным образом те же, более других успевшие окрепнуть, роды Фокидов и Склиров. Благодаря энергии грозного Болгаробойцы, враждебные движения в среде аристократов были подавлены, но лишь на время. Лица, заинтересованные в этом деле, отчаявшись в надежде достигнуть выгодных для аристократии результатов при Василии II, отложили осуществление своих надежд до более благоприятного времени, когда сойдет со сцены Василий II. Вопрос, насколько можно догадываться, сводился к тому, чтобы произвести династический переворот, и вместо Македонской династии, которая была враждебна аристократам, возвести на престол такое лицо, интересы которого были бы нераздельно связаны с интересами властелей.

---

[1] Новейшие историки, напр., *Финлей* (History of the byzantine and greeck empires, I, 462), не решаются произнести окончательного суждения по поводу этих казней, допуская лишь альтернативу, что это были или меры предосторожности, или же наказание за политическое неблагомыслие и заговоры. Мы предпочитаем последнюю половину альтернативы.

Первый шаг в этом направлении, в смысле подготовительных действий, сделан был аристократической, властельской партией в момент перехода правления от Василия II к его брату Константину VIII. Аристакес Ластивертский рассказывает, что Василий II незадолго до своей смерти, находясь в Византии, велел отправить гонцов к брату Константину, находившемуся тогда в Никейском округе, с письменным приказанием ему немедленно прибыть в столицу. Министры обещали исполнить его волю, но между тем задержали письмо, потому что не хотели, чтобы Константин царствовал над ними. Василий несколько раз повторил приказ, наконец, заметив коварство, велел оседлать себе лошадь, поднялся с постели и выехал в город. Многие, увидев его, постарались спрятаться в темных углах своих домов; гонцы отправились в путь и привели Константина. Тотчас после того как он прибыл, Василий возложил на его голову венец, объявил императором и, как прибавляет Матвей Эдесский,[1] посадив на трон, пал ниц перед ним. Василий после этого слег и два дня спустя умер, внушив перед смертью Константину не оставлять в живых крамольников и тех, которые не хотели признать его императором.[2] В этом рассказе Аристакеса есть особенности, которые не допускают принятия его во всей полноте и подробностях. Армянский писатель говорит о возведении Константина на престол как об обстоятельстве, для него совершенно новом. Между тем для Константина, который формально считался императором и царствовал вместе с Василием, не было никакой нужды в этой формальности; царствование его, единоличное, было только продолжением совместного царствования. Но если рассказ в своих подробностях возбуждает сомнение, то главная мысль, лежащая в его основе, неоспорима, а именно: к концу своего царствования Василий стал замечать признаки агитации в среде враждебной для его династии партии, которая с решительностью еще не выступила, и принял предупредительные меры для упрочения престола за своим домом в лице брата Константина. Кто составлял эту враждебную партию — не сказано, упомянуто только глухо о министрах Василия. Вопрос этот выясняется, если посмотрим, как выполнил Константин завещание брата — казнить замышлявших против него и не желавших признать его власть; кто именно были те лица, которых потом постигла императорская кара.

Греческие писатели ясно указывают класс людей, против которого направлена была царская немилость. Они говорят, что Константин VIII жаловал и приближал к себе людей худородных, незначительного состояния,

[1] *Matth. d'Ed.*, 43.

[2] *Arisdag.*, 38.

даже людей несвободных, прислужников своего покойного брата, людям же почтенным, отличавшимся по роду и доблестям, не оказывал внимания; любимцы его из простонародья пользовались милостями, а люди высокородные были ослепляемы.[1] Очевидно таким образом, что Константин VIII, при всей своей внутренней пустоте и неспособности, при явном предпочтении забав и удобств жизни заботам государственным, которые он охотно предоставлял другим,[2] твердо однако же держал в руках знамя своего рода и весь проникнут был традицией Македонской династии, которую рельефнее всего выразил Василий и правилом которой было: давить аристократов и покровительствовать простому народу. Очевидно также и то, что если преследовались люди высокородные, властели, а поощрялось простонародье, согласно принципам внутренней политики Македонского дома, или, выражаясь конкретным языком Аристакеса, согласно завещанию Василия II казнить крамольников, то крамольники эти, действовавшие в ущерб интересам Македонской династии, обнаружившие свою враждебность в конце царствования Василия II, при переходе правления к Константину VIII, были не кто иные, как властели, приверженцы аристократической партии. В момент вступления Константина на престол, в 1025 году, действия этой партии были нерешительны, дело только подготовлялось, не укрывшееся однако же от опытных и зорких глаз Василия Болгаробойцы, к осуществлению его еще не было приступлено, — иначе у историков сохранились бы какие-нибудь следы. Обнаружилось это дело вскоре по вступлении на престол Константина VIII, в первый же год его единоличного царствования.

Местом движения избрана была одна из восточных областей, Васпуракан, во главе движения стал правитель этой области, назначенный еще Василием II, храбрый и воинственный Никифор Комнин, которому греки обязаны приобретением города Арджиша[3] с его территорией. Греческий историк (Скилица), пытающийся доказать невинность Комнина, представляет странное объяснение причины, по которой он был казнен. По его словам, Комнин во время столкновения с арабами с целью поддержать храбрость своего войска брал с него клятвенное обещание и письменное обязательство стоять твердо, биться на жизнь и на смерть, умереть вместе со своим стратигом. Когда это дошло до сведения императора, Комнин был вызван в столицу, наряжено следствие; он был обвинен в заговоре против царя и лишен глаз.[4] Натяжка в словах Скилицы слишком видна:

---

[1] *Psell.*, IV, 25; *Cedr.*, II, 480; *Zon.*, IV, 125.

[2] *Psell.*, IV, 28.

[3] На сев.-запад от озера Ван.

[4] *Cedr.*, II, 481–482.

едва ли для поддержания бодрости в войсках требовалось приводить к присяге и брать подписку на верность стратигу Комнину. Бралась присяга и подписка на верность Комнину, но не как стратигу, а как императору. В этом случае армянский историк (Аристакес) с большей прямотой и правдивостью сообщает нам, что у Комнина была преступная мысль сделаться царем Востока, и для этого он заключил даже договор с Георгием, царем абхазским. Когда затея его сделалась известной, собрались войска из Каппадокии, одолели Комнина, схватили его и его сообщников и, заключив в крепость, дали знать императору. Это было в 1026 году. Целый год после того прошел в расследовании дела. По прошествии года, следовательно, в 1027 году, когда предмет достаточно был выяснен, отправлен был палач, который ослепил Комнина и семь его соучастников.[1] Разногласие в этом рассказе с показаниями греческого писателя относительно места, где ослеплен Комнин (по греческому источнику Комнин вызван в Константинополь, где и ослеплен, по армянскому он оставался на Востоке и там был лишен зрения), не имеет существенного значения. В остальном фактическое содержание (помимо субъективного освещения) одного источника не стоит в противоречии с содержанием другого, армянский писатель лишь объясняет и дополняет то, что сказано греческим. Замечательно при этом показание Аристакеса, что следствие по делу о заговоре продолжалось целый год и результатом его было ослепление Комнина и еще семи виновных. Эта частность бросает свет на целый ряд отрывочных фактов, приведенных у Скилицы, и ничем, в его изложении, не связанных с делом Комнина. Скилица дает перечень лиц, безвинно пострадавших при Константине: 1) патриций Константин, сын магистра Михаила Вурцы, который еще царю Василию докладывал о непотребствах Константина VIII, ослеплен; 2) патриций Варда, сын магистра Варды Фоки, обвинен вместе с другими в заговоре и ослеплен со своими соучастниками;[2] 3) патриций Василий,[3] сын Романа Склира, враждовавший с магистром Прусианом Болгарином, стратигом Букеллария, сначала сослан, потом за попытку бежать из ссылки ослеплен; 4) Роман Куркуас, шурин

[1] *Arisdag*., 39–40. В том же 1027 г. Георгий, царь абхазский, умер (*Dulaurier*. Recherches sur la chronol. armén., 370; *Brosset*. Histoire de la Géorgie, I, 306), а против его сына Баграта, или правильнее — вдовы, управлявшей за малолетством сына, был отправлен с войском Николай, паракимомен и доместик схол. См.: *Яхъя*, у бар. Розена, 70–71.

[2] У *Яхъи* (Розен, 70) Фока выставлен главой заговора, но нужно иметь в виду, что в этом месте текст Яхъи испорчен и подлинный смысл может быть иной.

[3] Ниже (*Cedr*., II, 487) он назван Романом.

Прусиана, ослеплен; 5) Богдан ослеплен; 6) Глаба ослеплен; 7) Гудел ослеплен. Историк вводит еще в счет родственника веста Феодата, монаха Захарию, которому по обвинению в участии в заговоре отрезан язык, и Навпактского епископа, не названного по имени, который, будучи замешан в народном бунте, ослеплен.[1] Таким образом, за исключением ослепленного Навпактского епископа, дело которого не имело ничего общего с делом Комнина, получается семь человек, казненных Константином через ослепление, то же число, которое показано без поименного перечисления у Аристакеса. Как ни замечательно это совпадение, мы не придаем ему значения, считаем простой случайностью. Тем не менее полагаем, что названные лица подверглись преследованию вследствие сопричастности их с заговором Комнина. Исключение, может быть, составляет только Михаил Вурца, который, судя по способу изложения[2] Скилицы, был привлечен к суду и наказан раньше обнаружения заговора Комнина и независимо от него. Относительно же остальных можно думать, что привлечение их к суду и присуждение к ослеплению последовало в 1026–1027 годах и было результатом судебного расследования, возбужденного заговором Никифора Комнина и продолжавшегося в течении года. Расследование это должно было обнаружить обширную интригу при участии членов значительнейших аристократических фамилий: Фокидов, Склиров, Куркуасов и некоторых других, тех самых фамилий, которые и при Василии II делали попытки вооруженной оппозиции Македонской династии. Но как тогда попытки не удались, так и теперь интрига ни к чему не привела, несмотря на то, что партия выдвинула Константину VIII соискателя престола в лице военачальника испытанной храбрости и неоспоримых военных заслуг. Интрига повела лишь к тому, что каждый из названных родовитых домов поплатился кем-нибудь из своих членов, к виновным применено было жестокое, но в византийской криминальной практике обычное наказание — лишение глаз. Но не одним гражданским оружием вооружился император Константин VIII против злоумышлявших на его верховную власть, он прибегнул также к помощи оружия церковного. Вскоре после обнаружения заговора Никифора Комнина, в июне 1026 года, издано было, при содействии патриарха Алексия и патриаршего синода, постановление, подписанное царем и синодом и повелевающее

[1] *Cedr.*, II, 482–483.

[2] Между рассказом о нем и о Комнине читаются слова: τὰ μὲν προοίμια τῆς αὐτοκρατορίας αὐτοῦ ταῦτα καὶ τοιαῦτα· τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ποία ἂν καὶ κατ' ἀξίαν παραστήσειεν ἱστορία (таковым было начало его правления, а о том, что случилось дальше, пусть надлежащим образом поведает история). См.: *Cedr.*, II, 481.

анафематствовать всех восстающих против царской власти и возбуждающих подданных к бунту против их государей, всех вообще заговорщиков и бунтовщиков.[1]

Между тем как Константин VIII применял репрессивные меры к членам аристократических родов, сила обстоятельств заставила его собственными руками создать величие одного рода.

Константин VIII в молодости своей, в правление брата Василия II, женился на дочери тогдашнего первого министра, Алипия, Елене. От нее он не имел сыновей, но имел три дочери: Евдокию (старшая), Зою (средняя) и Феодору (младшая). Старшая, и без того не отличавшаяся красотой, на шестом году жизни была еще обезображена проказой и посвятила себя Богу, поступив в монашество. Остались две, которым впоследствии суждено было сыграть немаловажную роль. Обе они воспитывались при дворе, были любимицами Василия II, особенно Зоя, походившая на него лицом, но ни дядя их, Василий II, ни отец, Константин VIII, не позаботились своевременно их пристроить.[2] Зоя и Феодора представляли собой две противоположности как по физическим, так и по нравственным качествам. Зоя была невысока ростом, но плотно сложена, глаза имела большие, под густыми ресницами, нос выгнутый, волосы золотистые и цвет кожи белый; она отличалась приятной соразмерностью членов и моложавостью, на ней не заметно было ни одной морщины даже тогда, когда она перешла 70-летний возраст; в общем, это была женщина красивая. Феодора, напротив, не блистала красотой, рост ее был высокий, голова несоразмерно мала, сравнительно с остальным телом, ходила она прямо, нисколько не нагибаясь. Зоя в разговоре не отличалась бойкостью языка, но нрава была подвижного, быстро решалась на самые противоположные крайности, не знала сострадания, не задумывалась, подобно отцу, ослеплять людей, была невоздержна в любовных наслаждениях и при этом не стеснялась чувством долга или стыда, не задумывалась также, подобно своей бабушке, перед тяжкими преступлениями для достижения низких целей. У Феодоры, напротив, маленькая головка на длинном туловище

[1] *Zachariae*. Jus graeco-roman., III, 320–321.

[2] *Яхъя*, у бар. Розена, 71; *Psell*., IV, 25–26, 89 (*Zonar*., IV, 126. Ошибочно о двух только дочерях говорят: *Manass*., 257; *Georg*., 872, 873). У Аристакеса (41) речь идет о «сестрах» Константина, а не о дочерях, и притом лишь о двух. Здесь — ошибка переписчика, а может быть даже автора. Иностранные писатели не всегда были сильны в византийской генеалогии и хронологии. Примером может служить *Михаил Сириец* (ed. Langlois, 290), который называет Феодору (дочь Константина VIII) дочерью Константина Мономаха.

не знала ни минуты покоя, язык действовал без умолку, речь лилась свободно и плавно, веселый смех раздавался непрестанно; но в то же время процессы внутренней ее жизни были чужды легкости и порывистости, ум работал медленно, мысль зрела постепенно, нелегко она переходила от одного решения к другому и к мужчинам не чувствовала никакого влечения. Зоя была щедра до расточительности, золото, как вода, уплывало из ее рук, Феодора же с трудом раскошеливалась на мелкое серебро.[1] Ни та, ни другая особыми правительственными талантами не обладали, но если уж необходимо было выбирать между ними, то качества младшей сестры, Феодоры, обещали более пользы для государства, чем старшей, Зои.

9 ноября 1028 года Константин VIII неожиданно заболел. Возник вопрос о престолонаследии. Обе дочери оставались еще в девицах, несмотря на то, что Зое было уже 50 лет от роду, да и Феодора лишь несколькими годами была моложе ее.[2] Решено было отыскать для которой-нибудь из них мужа и провозгласить его императором, а так как император был крайне плох, то главный вопрос заключался в том, чтобы покончить с этим делом как можно скорее. Действительно, оно окончено было в три дня. Сначала намечен был кандидатом в зятья Константину VIII Константин Далассин (из Фалассы), принадлежавший к знаменитой фамилии, которая с течением времени породнилась с Комниными и другими знатными родами.[3] Далассин находился тогда в феме Армениаке и за ним послан был уже один евнух; но приближенный к императору царедворец Симеон, выдвинутый из простых прислужников в друнгарии виглы,[4] подвел интригу с целью доставить торжество покровительствуемому им властелю, Роману Аргиру (или Аргиропулу). Интрига, кажется, основана была

---

[1] *Psell.*, IV, 106–107, 201 (*Zon.*, IV, 182).

[2] *Psell.*, IV, 31. Общее мнение (*Lebeau*, XIV, 236; *Gibbon*. The history of the decline and fall of the Roman empire. Lond., 1836, 863; *Finley*, I, 465; *Παπαρρηγοπούλος*. Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐν Ἀθήν., 1871, IV, 277–278; *Gfrörer*. Byzantinische Geschichten, III, 122 и др.), что Зоя в 1028 г., когда выходила за Романа Аргира, имела 48 лет, основано на сближении западных источников (*Lupus*, ed. Pertz, SS., V, 59; *Anon. Bar.*, 329), свидетельствующих, что Зоя умерла в 1050 г. (Ромуальд Салернский (168) ошибочно относит ее смерть к 1048 г.), с показанием Зонары (IV, 179), что она умерла, имея свыше 70-и лет от роду. Но выражение Зонары (ὑπὲρ τὰ ἑβδομήκοντα ἔτη) извлечено из показания Пселла, который прямо говорит, что Зоя умерла 72-х лет (IV, 181), что вполне согласно и с показаниями западных источников о времени ее смерти, так как, по словам Пселла, Зоя имела в 1028 г. 50 лет, следовательно, в 1050 г. ей было 72.

[3] *Anna Comn.*, ed. Bonn., I, 163; *Ducange*. Familiae Byzantinae, 171.

[4] Роман Аргир сделал его потом доместиком схол. См.: *Cedr.*, II, 495.

на том обстоятельстве, что дело не терпело замедления. Евнух, отправленный за Далассином, был на пути задержан, а между тем находившийся налицо в Константинополе Роман Аргир введен во дворец, и так как в данный момент другого выбора не было, а медлить было невозможно, то интрига удалась вполне.[1]

Род Аргиров,[2] как и другие знаменитые византийские роды — Фокидов, Склиров, Куркуасов — не восходит по своей древности далее IX в. По крайней мере первый, известный в истории Аргир, на которого можно смотреть как на родоначальника, по имени Лев, жил в IX в., во время Михаила III; он имел обширные земельные владения в феме Армениаке и настолько был богат, что мог собственными средствами отразить нападение павликиан из Тефрики и сарацин из Мелитины; он основал также за свой счет монастырь св. Елисаветы, сделавшийся усыпальницей для его потомков. Известен затем внук этого Льва, Евстафий Аргир, достигший при Льве VI Мудром высших почестей, с успехом сражавшийся против сарацин, но потом впавший при дворе в немилость и умерший от яда. Сын Евстафия, Лев Аргир, опять достиг высокого положения: Роман Лакапин, соправитель Константина Багрянородного, выдал за него в 920 г. одну из своих дочерей, по имени Агафию, между тем как другая, Елена, выдана была за Константина Багрянородного.[3] У этого Льва Аргира был сын, не известный по имени, который, если верить венецианским историкам,[4] был женат на дочери Романа II, сестре Василия Болгаробойцы и Константина VIII. От него родились два сына и три дочери: Роман, Василий, Мария, Пульхерия и еще одна, имени которой не знаем. Василий известен тем, что одна его дочь, Елена, была выдана за грузинского царя

---

[1] *Psell.*, IV, 28; *Cedr.*, II, 484–485 (*Zon.*, IV, 127). Арабский историк *Яхъя* (у бар. Розена, 71) мотив, по которому предпочтен Аргир, усматривает в его родстве с царем.

[2] Эти Аргиры не имеют ничего общего с Аргирами, которые играли видную роль в городах Италии, особенно в Бари, в XI–XII вв.

[3] *Theoph. Contin.*, ed. Bonn., 399; *Cedr.*, II, 297; *Яхъя*, у бар. Розена, 71. *Дюканж* (Famil. Byzant.) делает непостижимую с хронологической точки зрения ошибку, считая Льва, мужа Агафии, и императора Романа III Аргира братьями, тогда как их разделяет промежуток в 108 лет.

[4] Иоанну Диакону (ed. Pertz., VII, 36) и Андрею Дандоло (ed. Muralt., XII, 233). Возможно, впрочем, что венецианские историки смешивают этого Аргира с его отцом и Романа II с Романом I, так что было бы поспешно заключать отсюда о существовании у Романа и Анастазо-Феофано третьей дочери, кроме двух известных — Феофано, выданной за Оттона II Германского, и Анны, выданной за русского великого князя Владимира.

Баграта в 1029–1030 гг.,[1] другая за Константина Диогена.[2] Мария была выдана в 1004 г. замуж за Иоанна, сына дожа Венеции, Петра II Орсеоло,[3] Пульхерия вышла замуж за Василия Склира, который был ослеплен Константином VIII, и от этого брака родилась единственная дочь, выданная замуж за Константина Мономаха, впоследствии византийского императора.[4] Неизвестная по имени была замужем за Константином Карантином[5] и, может быть, родившаяся от этого брака дочь разумеется под племянницей Романа III, выданной за царя армянского[6] в 1031–1032 гг. Наконец, что касается Романа Аргира, то он еще шестилетним ребенком был обручен,[7] а по достижении совершеннолетия женился на некоей Елене, окончившей свои дни в монастыре в 1032 г.,[8] и от нее имел дочь, которую император Конрад II сватал для своего сына Генриха III.[9] Этот Роман при Василии II был одним из судей ипподрома,[10] при Константине VIII был сенатором, эпархом[11] и экономом Великой церкви.[12] В 1028 году ему было 60 лет.[13] Этого-то Романа Аргира друнгарий виглы Симеон выставил кандидатом на престол.

Роман Аргир должен был жениться на одной из дочерей Константина VIII. Но к этому было два препятствия: во-первых, жена Романа была жива, во-вторых, он приходился родственником Константину VIII и его дочерям. Препятствия, впрочем, не оказались непреодолимыми: жену Романа

---

[1] *Cedr.*, II, 489.

[2] *Cedr.*, II, 487: Κωνσταντίνος ὁ Διογένης, γαμβρὸς ὢν τοῦ βασιλέως ἐπὶ θυγατρὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ (Константин Диоген, зять царя, муж сестры его брата). Следовательно, *Лебо* (XIV, 239), а за ним и *Мюральт* (Essai de chronogr. byzant., I, 606) ошибаются, когда говорят, что Константин Диоген был женат на дочери Пульхерии.

[3] *Cedr.*, II, 452; *Pertz.*, VII, 36; *Murat.*, XII, 233.

[4] *Cedr.*, II, 501; *Psell.*, IV, 111.

[5] *Cedr.*, II, 488.

[6] *Cedr.*, II, 498. По догадке *Лебо* (XIV, 249), это — дочь Василия Аргира.

[7] *Psell.*, IV, 28.

[8] *Cedr.*, II, 500. *Лебо* (XIV, 237), опираясь на Дюканжа, очевидно, смешивает эту Елену с Еленой, женой Константина VIII.

[9] *Oefele.* Rer. Boic. scr., 334–336.

[10] *Zachariae*, I, 223 (Πεῖρα).

[11] *Psell.*, IV, 28. Ср.: 123 (*Zon.*, IV, 127).

[12] *Cedr.*, II, 486. По *Яхъе* (у бар. Розена, 71), он сделался экономом, после того как был эпархом. Этот писатель и назначение Аргира в верховные судьи относит ко времени Константина VIII.

[13] *Psell.*, IV, 32 (*Zon.*, IV, 133).

постригли в монашество, развязав тем руки ее мужа, а недоумение по поводу близкой степени родства Церковь, в лице патриарха Алексия, разрешила в благоприятном для Романа смысле. Оставался только вопрос, которую из двух сестер выдать за 60-летнего жениха. Вероятно, при дворе сознавали, что Феодора более своей сестры годится быть императрицей, потому что ей первой сделали предложение. Но Феодора отказалась от этой чести, побуждаемая к тому, как догадывается историк, сообщающий все эти сведения (Скилица), или близким родством с Романом, или существованием у него живой жены, а может быть и тем, что она не чувствовала склонности к брачной жизни. Обратились тогда к Зое, и та охотно дала согласие на брак. 12 ноября она была обвенчана с Романом Аргиром, который после того провозглашен императором, а три дня спустя (15 ноября 1028 г.) умер император Константин VIII, на 70-м году жизни, после двух лет и одиннадцати месяцев самодержавного царствования.[1]

В лице Романа III Аргира вступил на престол государь, исполненный чрезвычайного самообольщения. Он вообразил, что может воспроизвести царствование великих государей Августа, Траяна, Адриана, Антонина, Марка Аврелия, Юстиниана I и стал их беспощадно копировать. Не лишенный образования, сведущий в языках латинском и греческом, он далеко не был философом, философские познания его ограничивались уменьем составить силлогизм. Тем не менее он был убежден, что нет мыслителя утонченнее и глубже его, и хотя тщеславие склоняло его на сторону пышных царских одеяний, в которые он и наряжался как можно чаще, однако же не мог он удержаться также от искушения, по примеру Марка Аврелия, снять императорскую порфиру и облечься в философскую мантию. Ревнуя к славе Августа и Антонинов, он задался целью тоже создать век возрождения литературы и науки, окружил себя людьми, которые тем только и занимались, что рассуждали о разных неразрешимых

[1] *Яхъя*, у бар. Розена, 71, 72; *Psell.*, IV, 29; *Cedr.*, II, 485 (*Zon.*, IV, 128; *Glyc.*, 580; *Ioel*, ed. Bonn., 60, 61; *Codin.*, 156; *Manass.*, 257: ошибка — два года, месяцы отброшены для рифмы; *Georg.*, 872–873); *Lup. Protosp.*, 57; *Anon. Bar.*, 322; *Rom. Salern.*, 167. Мюральт ошибочно полагает смерть Константина 11 ноября (а не 15), основываясь на словах *Лупа* (57), что он скончался in vigilia sancti Martini. Нельзя доверять ни *Аристакесу* (39), утверждающему, что Константин занимал престол 4 года, ни *Михаилу Сирийскому* (281), по словам которого он царствовал 2½ года. Без достаточного также основания относят (*Hertzberg*. Geschichte der Byzantiner und des osmanischen Reiches, in Oncken's Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. Berl., 1882, 212) бракосочетание Романа с Зоей к 19 ноября, а смерть Константина — к 21 ноября.

богословских и философских вопросах и думали, что этим двигают знание вперед. Не давала тщеславному старику покоя и слава Траяна, а тем более Александра Македонского; он проштудировал тактику своего времени, почерпнул из нее кое-какие сведения о том, как делать построения войск, устраивать засаду, производить разведку, фуражировку, отводить реки, и полагал, что сделался уже военным гением и легко возвратит Империи все, что она прежде потеряла. По природе кроткий и мягкий, он напускал на себя воинственный пыл, менял науку на щит, диалог на броню и был уверен, что смирит варваров, восточных и западных. Роман мечтал также о себе как о великом богослове и церковном деятеле, напускал на себя благочестие и ревность в вере, вдавался в исследования о богословских тонкостях, хвастался, что воссоединит армян с Православной Церковью, и не желал уступить ни Соломону, ни Юстиниану: подобно тому и другому, затеял строить великолепный храм, а при нем монастырь, и достиг лишь того, что истощил на свое предприятие государственную казну. Чувствительный удар этому непризнанному гению нанесен был в 1030 г. во время похода против Халеба (Алеппо); разбитый сарацинами (арабами), он должен был убедиться, что в военном деле не совсем гений, и значительно понизил тон. Впрочем, скоро он утешился: его осенила мысль, что призвание его — не военные подвиги, но мирная государственная деятельность. Тогда он, не оставляя ученых и богословских занятий, вдался в новую крайность, весь погрузился в финансовые и судебные дела; думая восполнить истощенную казну, превратился из императора в практора, а на суде изображал собой не столько представителя высшей правды, отдающего каждому должное, сколько прокурора, обличающего обе стороны.[1]

Честолюбие заставило Романа пожертвовать семьей для трона, честолюбие руководило всеми его действиями на престоле, оно повело к натянутым отношениям к Феодоре и Зое и, в конце концов, оно же его погубило. Феодора нанесла смертельный удар гордости Романа, отвергнув его руку, и Роман не мог ей этого забыть и простить. И вот Феодора была поставлена в положение приниженное, сравнительно с сестрой, пользовалась царской честью в умеренных размерах, имя ее произносилось в славословиях отдельно от имени Зои, на торжественных выходах она отодвигалась на задний план.[2] Все это не могло не поселить недовольства в сердце Феодоры, сознававшей свое умственное и нравственное превосходство перед старшей сестрой. Беспокойные элементы, существовавшие

[1] *Psell.*, IV, 30–40; *Arisdag.*, 42–43.

[2] *Psell.*, IV, 95.

при дворе и в высших слоях общества, немедленно получили таким образом для себя центр тяготения — они стали группироваться вокруг Феодоры, и отсюда проистекали внутренние волнения в царствование Романа III. Роман был высокого мнения не только о своих нравственных, но и о физических качествах. Несмотря на то, что годы его были весьма почтенны (при вступлении на престол в 60 лет) и что он на 10 лет был старше своей жены — императрицы, он в глубине души был уверен, что долго еще поживет на свете и будет иметь потомство, которому оставит престол. Нашлись льстецы, угадавшие настроение императора; они постарались еще поддержать его уверенность с помощью разного рода гаданий и предзнаменований. Между тем все старания Романа оказывались тщетными, все способы, которыми он хотел поддержать свою физическую способность — микстуры, втирания и пр., — не производили никакого действия, никаких признаков не обнаруживалось, которые давали бы право заключить, что от Зои может родиться ребенок. Самообольщенный император не мог допустить здесь и тени вины со своей стороны, всю вину он сложил на жену и стал вследствие того относиться к ней крайне холодно и неблагосклонно, прекратил с ней супружеские сношения и ограничил ее денежные траты.[1] Зоя была оскорблена в двух существенных сторонах своей натуры — похотливости и необузданной расточительности. Она возненавидела мужа, в душе затаила месть против него и обращала взоры на окружающих, ища между ними того, кто бы мог заменить ей мужа. Нашлись приспешники, которые явились на помощь ее тайным помыслам и ее поискам.

Для новейших исследователей придворные партии и внутренние волнения при Романе III, степень участия в них Феодоры и другие обстоятельства, с ними связанные, составляют предмет большого недоумения. Одни совершенно не проникают в суть интриг, считают казни, бывшие при Романе Аргире, выражением его слабости, предполагают, что он послушался клеветников и карал людей невинных,[2] Феодора, по их представлению, была ни в чем неповинна. Другие, считая Феодору невинной, объясняют все дело недоброжелательным отношением к ней Зои, которая, пользуясь слабостью своего супруга, захватила власть, завидовала добродетели и прелестям своей сестры и находила клеветников, впутывавших эту последнюю в интриги.[3] Третьи не отрицают добровольного и деятельного участия Феодоры в интригах, но объясняют ее участие или

[1] *Psell.*, IV, 31–32, 40 (*Zonar.*, IV, 133, 134).
[2] *Paparrigop.*, IV, 278.
[3] *Lebeau*. XIV, 240, 250.

тем, что она находилась в любовной связи с Прусианом и стремилась разделить с ним власть, или же ее сочувствием (проистекавшим, может быть, из властолюбия, может быть, из недоброжелательства к старшей сестре, а может быть, из внимания к общественному благу) к партии, которая и в X, и в XI в. преследовала неотступно свою цель — разделить верховную власть между многими лицами; теперь эта партия, недовольная самовластием Василия II и Константина VIII, думала воспользоваться слабостью нового правительства и заставить Романа и Зою разделить власть с Феодорой.[1] Первые два мнения не соответствуют фактическому положению вещей, устраняя участие Феодоры в волнениях партий и усвояя слишком большую власть Зое, сравнительно с Романом. В третьем мнении тоже есть несообразности. Догадка о любовной связи Феодоры с Прусианом стоит в противоречии с характером Феодоры, а приурочение дела к партии, защищавшей многовластие, есть результат своеобразного и слишком смелого понимания внутренних явлений византийской жизни, не оправдываемого фактом 1055 года, когда, несмотря на единовластное царствование Феодоры, никаких признаков оппозиции не проявлялось.

Не подлежит сомнению, что объектом стремлений недовольной партии была Феодора. Еще при Константине VIII около Феодоры сгруппировался кружок приверженцев, соединявших собственные интересы с надеждой на ее возвышение. и может быть, предложение, ей первой сделанное, выйти замуж за Романа, было отголоском настроения, господствовавшего в этом кружке. Феодора, хотя отказалась от замужества с Романом, не отказалась однако же от стремления к власти и политическому значению, и второстепенная роль, отведенная ей Романом, крайне ей не нравилась. Партия, ей благоприятствовавшая, по вступлении на престол Романа не потеряла надежд, и Феодора не только устранялась от общения с этой партией, но, напротив, действовала с ней заодно. С первых же дней царствования Романа партия проявила свою жизненность, не укрывшуюся от внимания императора. Она возбуждала опасения в Романе, как видно уже из того, что он счел необходимым организовать надзор за ней и за Феодорой, около которой партия сосредоточивалась. Надзор поручен был Иоанну, который при Василии II был деятельным сотрудником по управлению государственными делами, при Константине VIII сошел со сцены, а при Романе III опять выступил, уже как монах, получил звание синкелла и сделан надсмотрщиком за Феодорой.[2] Действия партии этой мерой не были парализованы; она втянула в свои интересы самого

[1] *Finley*, I, 469; *Gfrörer*, III, 134–135.

[2] *Cedr.*, II, 480, 486.

надсмотрщика и начала агитацию. Агитация то усиливалась, то ослабевала, то на время совершенно затихала, но вполне она не прекращалась до самого того момента, когда Феодора осталась единственной представительницей Македонского дома и после Мономаха воссела на престол.

К движению в среде партии, приверженной к Феодоре, примкнуло брожение некоторых других элементов, обусловливавшееся строем и направлением византийской жизни. Прежде всего, здесь нашел исход тот беспокойный элемент, который представляла собой знать. В лице Романа Аргира вступил на престол властель, выросший на идеалах аристократической партии, состоявший в родственных связях с первыми аристократическими домами и не могший до известной степени не благоприятствовать аристократам. Действительно, мы видим, что тотчас по вступлении на престол он отменяет некоторые экономические мероприятия Василия II, неприятные аристократам, возвращает из ссылки и осыпает милостями членов некоторых родов, гонимых в прежние царствования, как-то: Никифора Ксифия, сосланного Василием II, Василия Склира, ослепленного Константином VIII, открывает тюрьмы и освобождает из них многих заключенных.[1] Но принципы византийской государственности до того были сильны, что они невольно всасывались даже теми, кто прежде не чужд был протеста против них, и Роман III с течением времени стал ими руководствоваться, действовать в духе своих предшественников, в направлении несогласном с интересами аристократии. Это повело к тому, что представители знати, в том числе даже родственники императора, чем дальше, тем больше имели поводов к неудовольствию и разогревали в себе тот дух противодействия верховной власти, который сделался как бы фамильной их традицией. Мы встречаем в рядах партии Феодоры членов фамилий, замешанных в заговорах прежних царствований; некоторые фамилии, как бы повинуясь злому року, непрерывно дают контингент заговорщиков и злоумышленников, несчастие родителей не исправляет детей, сын забывает об участи отца, сосланного или ослепленного, и сам домогается той же доли, — явление, которое, помимо других, политических и социально-общественных причин, может быть объяснено лишь тем, что оппозиция власти сделалась фамильной традицией рода. Прежние стремления аристократии к ниспровержению Македонской династии при Романе III объединяются со стремлениями партии Феодоры, задачи отождествляются.

Аристократический элемент был не единственным элементом, внесенным в дело Феодоры и ее партии; по мере того, как дело подвигалось

[1] *Cedr.*. II, 486–487.

вперед, к нему примыкал еще один элемент, обусловленный отсутствием племенного и этнографического единства в составе населения Византийской империи. Византийская империя не имела определенной преобладающей национальности, и нисколько этим не тревожилась; все силы были устремлены на поддержание государственных начал, а национальное начало ставилось ни во что. Начиная с императорского престола, на котором в течении столетий сменились династии, принадлежавшие к разным национальностям, и люди латинской крови, и малоазиатские греки, раз даже афинянка, и армяне, и славяне, продолжая затем администрацией и войском, в которых и греки, и армяне, и славяне, и сарацины, и германцы находили себе радушный прием и пробирались к высшим должностям, кончая, наконец, массой населения, — нигде не было однообразия и единства в этнографическом смысле. Мы называем Империю и византийской, и греческой, но если первое название оправдывается концентрированием общегосударственных интересов в стенах Византии, то из второго не следует, чтобы государство было проникнуто греческим характером и чтобы греческий народ всюду первенствовал и всему давал тон. Правда, греческий язык, до конца VI в. споривший с латинским за права гражданства в официальной сфере, с конца VI в. сделался господствующим; но господство греческого языка не распространилось на греческий народ. Собственно греки занимали часть территории, обитали на староэллинской почве и в старинных эллинских колониях. В основе населения остальных областей лежали чуждые эллинскому народу племена, лишь в малой степени ассимилированные и подчиненные греческому влиянию. В этом различии племен скрывались зародыши антагонизма между жителями разных частей государства, каждая часть желала пользоваться преобладанием и, для достижения этого, стремилась посадить свою креатуру на престол, или иным образом получить значение при дворе. Антагонизм существовал между отдельными областями, существовал он и между обеими частями (τμήματα), Востоком и Западом, фемами азиатскими и европейскими, из которых слагалось государство. Население азиатских фем было в большей степени проникнуто греческим духом, чем население фем европейских, первое примыкало к народности армянской, последнее к народности славянской, к первому писатели по преимуществу применяют пышное название ромеев, с которым греки никогда не хотели расстаться, последнее обозначают именем македонян. Восток спорил с Западом, Азия и Европа стремились к первенству. Со вступлением на престол Македонской династии Запад восторжествовал над Востоком, и вот мы видим, что на Востоке по преимуществу зреют заговоры и мятежи. Со вступлением на престол Романа III, выходца одной из восточных

фем, кредит македонской партии должен был пасть, преимущество перешло на сторону Востока, Запад оказался в числе обиженных и недовольных. Это недовольство Запада послужило готовым материалом для целей партии Феодоры. Запад мог рассчитывать в лице Феодоры иметь свою представительницу на престоле или, по крайней мере, защитницу своих интересов. Задачи партии обобщились с задачами европейских областей государства, узел интриги крепче, чем где-нибудь, завязан был в этих именно областях, и Роман III ясно это сознавал: он очень осторожен на Западе, и прежде чем принять относительно агитаторов решительные меры, считает необходимым переправить их с Запада на Восток, туда, где он чувствовал под своими ногами более прочную почву.

Заговор приверженцев Феодоры обнаружился во всяком случае ранее 1030 г.,[1] в 1029 г., а может быть даже в конце 1028 г. Оказались замешанными в него, кроме Феодоры, главным образом магистр Прусиан Болгарин с матерью, лица славянского происхождения и, естественно, тяготевшие к Западу, и Константин Диоген, зять царя Романа, стоявший во главе управления одной из западных фем, а именно бывший дукой Фессалоники, куда был переведен из Сирмия. Пособниками заговора были синкелл Иоанн, надсмотрщик Феодоры, стратиг, патриций Евстафий Дафномила и пять человек близких родственников, лиц, принимавших участие в волнениях при Константине VIII, а именно: три сына[2] магистра Михаила Вурцы (братья ослепленного патриция Константина), Михаил, Феогност и Самуил, и два племянника Феодота, Георгий и Варасватце (очевидно, родственники монаха Захарии, которому Константин VIII отрезал язык и который приходился родней Феодоту). Никаких подробностей заговора не сообщается, кроме наказаний, которым подвергнуты были виновные. Феодора была удалена из дворца и поселена в монастыре (Петрии); Прусиан заключен под стражу в монастыре Мануила и, по производстве над ним следствия, ослеплен; мать его выслана из столицы; Константин Диоген из Фессалоники послан стратигом в одну из восточных фем, Фракисий, а оттуда в оковах приведен в столицу и посажен в тюрьму; остальные семь человек как соучастники заговора подвергнуты были

[1] Ранее похода Романа в Сирию в 1030 г. *Мюральт* (I, 606) ставит под 1031 г. без всякого основания. Он, очевидно, представляет себе дело начавшимся и кончившимся в короткий срок, не подозревает, что оно тянулось в течение долгого времени. В 1031 г. лишь продолжалось то, что началось раньше.

[2] *Lebeau* (XIV, 240) говорит «два внука» Вурцы, делая таким образом двойную ошибку, так как это были не внуки, а сыновья (ἔγγονοι), и их было три, а не два.

публичному бичеванию, с позором возимы по улицам столицы и отправлены в ссылку.[1] Если из характера данных, сообщаемых историком, делать выводы, то кроме того, что они подтверждают вышеизложенные мысли об участии в заговоре, во-первых, самой Феодоры, во-вторых, знатных фамилий, замешанных в заговорах прежнего времени, и в-третьих, приверженцев македонской партии, нельзя не обратить внимания еще на ту особенность, что Прусиан, который по самому своему происхождению должен был принадлежать к македонской партии, понес самое строгое наказание, и затем, что Феодора, судя по изложению дела у Пселла,[2] удалена из дворца по настоянию Зои. Сближение последних двух частностей наводит на мысль, что заговор затрагивал интересы Зои не менее, чем Романа, и что Прусиан был самым главным лицом в интриге, за исключением, может быть, Феодоры. Дело близко могло касаться Зои, если вопрос шел об устранении с престола Романа, а следовательно, и ее, как супруги, и о возведении на престол Прусиана в качестве мужа Феодоры.

Интрига на этом фазисе не остановилась. В 1030 г. императором предпринят был поход в Сирию, против Халеба. Удаление его развязало руки приверженцам Феодоры. Самый поход давал удобное средство отделаться от императора. В войске Романа составился заговор, чтобы в разгар битвы покинуть его и отдать на жертву неприятельскому оружию. Только благодаря одному офицеру, по имени Абукабу, который, как показывает самое имя, был армянин и начальствовал над отрядом восточных войск, заговор своевременно был открыт.[3] Мы не имеем прямых указаний на то, между какими войсками составлен был заговор, но позволительно думать, что это были отряды западных войск, и что заговорщики находились в сношениях с партией Феодоры. По крайней мере, у греческого писателя, совершенно умалчивающего о заговоре между войсками, стоит без всякой связи отрывочная заметка, место которой непосредственно за рассказом о сирийском походе: «Лета 6539, индиктиона 14, Прусиан добровольно постригается в монахи, мать его из монастыря Мантиния, в Букелларии, переводится во Фракисий, патриций Константин Диоген, выведенный из тюрьмы, постригается в монахи в Студийском

[1] *Cedr.*, II, 487–488 (*Zon.*, IV, 129).

[2] *Psell.*, IV, 95: ἡ βασιλεύουσα... πείθει τὸν αὐτοκράτορα (императрица... убеждает самодержца).

[3] *Matth. d'Ed.*, 45; *Ибн-ал-Атир* (у бар. Розена, 314–315) главным заговорщиком называет какого-то «сына дуки» (бар. Розен имеет в виду здесь Константина Далассина), число заговорщиков определяет в 40 человек и говорит, что намерением их было напасть на царя и убить его.

монастыре».[1] 14-й индиктион начался с сентября 1030 г., а сирийский поход окончился в августе того же года. Мера относительно старых заговорщиков, очевидно, принята была скоро после возвращения из похода и была результатом их участия, доказанного или предполагаемого, в заговоре войска или, может быть, если придавать значение слову «добровольно» (ἑκουσίως), предупредительной мерой самих заговорщиков, по крайней мере одного из них, принятой из опасения, чтобы их не привлекли к ответственности по делу о заговоре.

И на этом пункте интрига не успокоилась. По-прежнему она направлялась в пользу Феодоры, но поприщем ее развития решительно был избран Запад. В сентябре 1031 года,[2] когда Роман, озабоченный новым походом в Сирию, отправился в Месанакты, получен был Зоей донос от Феофана Фессалоникийского, что Константин Диоген, по соглашению с Феодорой, подготовляет бегство ее в Иллирик, и что об этом замысле знают митрополит Диррахия и епископ Перифеория. Зоя немедленно отправилась в Петрий и постригла сестру в монашество, говоря, что иначе невозможно прекратить интриги. Диоген и оговоренные епископы были арестованы. Диоген подвергнут был допросу во Влахернском дворце препозитом Иоанном и, бросившись со стены (может быть, под влиянием пытки, а может быть, нарочно сброшенный), расшибся до смерти; митрополит же с епископом были отосланы к царю в Месанакты, но им отпущены.[3] То обстоятельство, что Роман так снисходительно отнесся к иерархам, а еще более, что он предоставил постриженной Феодоре некоторые царские отличия,[4] дает основание заключать, что дальнейшее развитие интриги он считал невозможным или, по крайней мере, не опасным. И действительно, в царствование Романа интрига, в которой бы участвовала Феодора, более не обнаруживается. Под 1033 г. историк замечает, что зять царя, магистр Василий Склир, несмотря на то, что получил от своего шурина титул магистра и другие милости, устроил против него заговор, однако же, уличенный, был выслан из столицы вместе с женой.[5] Но это известие о заговоре слепого Склира, в том виде как оно сообщается, слишком странно. Во всяком случае оно не имеет никакого отношения к делу Феодоры, а скорее может быть поставлено в связь с замыслами против Романа Аргира и его жены, Зои.

---

[1] *Cedr.*, III, 497 (*Zonar.*, IV, 132).

[2] У *Мюральта* (I, 608) неправильно **поставлено** под 1032 г.

[3] *Cedr.*, II, 498.

[4] *Psell.*, IV, 96.

[5] *Cedr.*, II, 502.

Недовольство Зои Романом, вызванное пренебрежением его к ней как к жене и стеснением ее в денежном отношении, было замечено одним из приближенных к Роману евнухов, Иоанном, который построил на этом план возвышения своего рода.

Евнух Иоанн находился в услужении у Романа Аргира еще до вступления его на престол и тогда уже успел вкрасться в его доверие.[1] Этот евнух был монах.[2] По вступлении на престол Роман пользовался его советами и много ему доверял.[3] В 1031 г. он исправляет должность препозита,[4] а с 1034 г. обыкновенно называется Орфанотрофом;[5] Орфанотрофом он был назначен, вероятно, после построения Романом III орфанотрофии в конце 1033 или начале 1034 г.[6] Это был человек умный, вместе с тем необыкновенно хитрый и ловкий. Происхождения он был незначительного, родом пафлагонянин.[7] Из родственников его известны: сестра Мария и братья: Константин, Георгий, Никита и Михаил. Сестра Мария была выдана замуж за одного судовщика по имени Стефан, который по свойству своей профессии, состоявшей в том, что он прилаживал корабли, смолил[8] их, чернил сажей и пр., получил прозвание Калафата,[9] и впоследствии предводительствовал греческим флотом. От этого брака родился сын Михаил Калафат, будущий император. Из братьев[10] Иоанна Константин и Георгий были евнухи, Никита был женат[11] и имел детей, старший его сын Константин в чине патриция в 1040 г. управлял Фессалоникой,[12] Михаил, брат Иоанна, был самый младший и отличался красотой; красота его дала Иоанну возможность устроить интригу и из человека, нена-

---

[1] *Cedr.*, II, 504.

[2] *Attal.*, 11; *Zon.*, IV, 138.

[3] *Psell.*, IV, 41; V, 124.

[4] *Cedr.*, II, 498.

[5] *Cedr.*, II, 512.

[6] *Cedr.*, II, 504.

[7] *Psell.*, IV, 41; *Manass.*, 258 (*Georg.*, 873).

[8] Новогреч. Καλαφά της значит осмаливатель.

[9] *Psell.*, V, 128; IV, 62 (*Zon.*, IV, 150). Ввиду ясного свидетельства источников совершенно излишня догадка *Παπαρρηγοπυλο* (IV, 298), что Стефан получил прозвище после того, как оказался неспособным адмиралом, что народ этим прозвищем хотел показать, что лучше бы ему приготовлять корабли, чем предводительствовать флотом.

[10] *Cedr.*, II, 504.

[11] *Gfrörer* (III. 171), очевидно по недосмотру, говорит, что кроме Михаила остальные братья (следовательно, и Никита) были евнухи и не имели детей.

[12] *Cedr.*, II, 532.

вистного[1] Зое, сделаться приятным и необходимым. Братья-пафлагоняне сначала промышляли делом, которое всего более нравится евнухам: они были менялами, торговали деньгами и вообще серебряными изделиями. При императоре Романе бывший в силе Иоанн открыл им доступ ко двору и дал должности. Дана была должность и красавцу Михаилу, — Иоанн позаботился пристроить его при царской опочивальне (ἄρχων τοῦ παν-θέου).[2] Зоя с первого же взгляда прельстилась светлооким, краснощеким Михаилом и, при ближайшем посредстве Иоанна, началась связь. Похотливая старуха искренно увлекалась, а молодой Михаил притворялся увлеченным, исполняя лишь инструкции своего брата.[3]

Тайный расчет лукавого Иоанна состоял в том, чтобы, овладев Зоей, при помощи ее устранить с престола Романа, возвести вместо него Михаила и затем от его имени неограниченно управлять государством. Вел он свое дело с чрезвычайной ловкостью, так что его участие мало кому было заметно. Сначала Зоя старалась держать свою связь с Михаилом в тайне.[4] Но что может скрыться от взоров придворных? И вот о любовной связи стали рассказывать при дворе сначала по секрету, потом открыто, с разными пикантными подробностями,[5] а наконец заговорили по всему городу, на всех перепутьях.[6] Общий говор не мог не дойти и до ушей Романа, но он, находясь в таком настроении относительно жены, при котором не было места чувству ревности, был только скандализован самим фактом и позаботился соблюсти приличие, показывая вид, что ему ничего не известно. Лица, расположенные к Роману, особенно его сестра Пульхерия, женщина энергичная и сметливая, были встревожены. Как ни хитро и осторожно вел свое дело Иоанн, те, кому знакомы были приемы византийской придворной интриги, легко догадывались о последствиях, к каким может повести любовная связь. Роману сделано было в этом смысле представление, на которое он, хотя с чувством недовольства, должен был обратить внимание. Об Иоанне речи никакой не было, была только речь о замыслах на жизнь Романа со стороны любовной пары, в частности

---

[1] *Zonar.*, IV, 134.

[2] *Cedr.*, II, 504; *Zonar.*, IV, 134. *Ибн-ал-Атир* (у бар. Розена, 329) из Иоанна и Михаила делает одно лицо, представляя дело так, что Михаил был управляющим дворцом и Зоя почувствовала к нему страсть.

[3] *Psell.*, IV, 41–42 (*Zon.*, IV, 134; *Manass.*, 258; *Georg.*, 873).

[4] *Cedr.*, II, 504.

[5] Эти подробности записаны Пселлом и у него отчасти заимствованы Зонарой.

[6] *Zonar.*, IV, 134.

Михаила Пафлагона. Во избежание огласки Роман не допустил формального расследования. Он призвал к себе Михаила и лично подвергнул его допросу. Михаил заявил, что ни о каких замыслах против императора он не знает, сам замыслов не питает, остается его преданнейшим холопом, в доказательство же истинности своих слов поклялся на святыне (καθ'ἱερῶν). Может показаться, что Михаил действительно не был посвящен Иоанном в подробности его плана и считал себя вправе дать такую клятву, однако же представляется невероятным, чтобы цель, которой хотели достигнуть посредством любовной связи, совершенно не была ему известна. Как бы то ни было, мягкосердный Роман поверил ему и даже почувствовал жалость, когда с ним скоро после того приключилась падучая болезнь. Об этой болезни составилась целая легенда. Сначала думали, что Михаил нарочно ее на себя напускает, чтобы возбудить сострадание царя, когда же болезнь не прошла и по вступлении Михаила на престол, когда убедились, что это не притворство, тогда стали говорить, что она постигла Михаила в наказание за ложную клятву.[1] Стали называть эту болезнь не иначе, как демонической, дьявольской болезнью, в том смысле, что дьявол вселился в Михаила и истязал его;[2] легенда сообщала, что Михаил отдался дьяволу под условием получения от него короны, после чего демон распутства вошел в Зою, побудил ее взять Михаила в мужья и сделать императором.[3]

Император, успокоенный клятвенным заверением Михаила, был недоволен только Пульхерией и теми, кто принудил его сделать такой компрометирующий шаг. Недовольство его, как нельзя более, оказалось на руку Иоанну, Зое и ее фавориту, которые в лице Пульхерии и ее доброжелателей, зорко следивших за их действиями, встречали постоянную себе помеху. Началась борьба между соперниками, и победу одержала партия Иоанна. Многие из противной партии пострадали, Пульхерия, высланная вместе с мужем, Василием Склиром, из столицы, вскоре умерла.[4] Иоанну открылся широкий простор для осуществления его планов и он немедленно воспользовался выгодами своего положения.

---

[1] *Psell.*, IV, 43–45 (*Zonar.*, IV, 135; *Manass.*, 260; *Georg.*, 875; *Ephr.*, 132). По словам Скилицы (*Cedr.*, II, 508), повторяемым *Зонарой* (IV, 137), болезнь приключилась с Михаилом, когда он был уже царем. Но это несообразно с ходом всего рассказа и противоречит показанию Пселла.

[2] *Cedr.*, II, 508 (*Glyc.*, 586); *Zonar.*, IV, 137.

[3] *Arisdag.*, 49. Легенда о том, что Михаил продал душу дьяволу за царский престол, существовала не только у армян, но и у греков. См.: *Psell.*, IV, 65.

[4] *Psell.*, IV, 44–45.

В 1033 г. были высланы из столицы Пульхерия с мужем, и в том же году[1] Роман заболел подозрительной болезнью, которая носит явные признаки отравления медленным ядом. Аппетит и сон пропали, лицо опухло и получило мертвенный цвет, волосы на голове и бороде повылезали, император сделался угрюм, подозрителен и недоступен состраданию. Состояние его с каждым днем ухудшалось и так продолжалось до 11 апреля 1034 г., когда настал роковой момент. Это был четверг Страстной недели, день, в который принято было при византийском дворе раздавать сенаторам и сановникам ругу. Роман, несмотря на то что с трудом вставал с постели, ревниво соблюдал разного рода церемонии, на которых ему возможно было блеснуть златотканными одеждами и царской пышностью. И раздачу руги он решился произвести лично. Чтобы иметь бодрый и свежий вид на великом выходе, он отправился утром[2] в баню и там, по обыкновению, вздумал поплавать в бассейне. Когда он нырнул в воду, кто-то из прислужников позаботился подержать его за затылок несколько долее, чем следовало, и императора вынули из воды умирающим; он вздохнул несколько раз, изо рта показалась какая-то черная жидкость, очевидно, результат процесса, вызванного ядом, и он скончался,[3] процарствовав 5 лет и 5 месяцев,[4] на 66 году жизни.

---

[1] В первый раз о болезни царя упомянуто, вслед за известием о высылке Склиров, по поводу переговоров с трипольским эмиром, происходивших в Византии в 1033 г. (*Cedr.*, II, 502; *Gfrörer*, III, 152), неправильно поэтому говорить, что царь заболел весной 1034 г.

[2] Так передает Пселл, и его рассказ более правдоподобен, чем Скилицы, который говорит, будто Роман отправился в баню, раздав предварительно ругу. Новейшие историки, например *Gfrörer* (III, 152), обыкновенно повторяют слова Скилицы.

[3] *Psell.*, IV, 45–47 (*Zonar.*, IV, 135–136; *Manass.*, 258; *Georg.*, 873–874); *Cedr.*, II, 504–505 (*Glyc.*, 584; *Ioel*, 61).

[4] Греческие историки (*Psell.*, IV, 48 (*Zon.*, IV, 136; *Manass.*, 259); *Cedr.*, II, 505 (*Ioel*, 61); *Codin.*, 156) обыкновенно называют (неточно) круглую цифру царствования: 5½ лет, или даже (*Glyc.*, 580; *Georg.*, 873, 919), отбрасывая месяцы, ровно 5 лет. Итальянские и армянские писатели показывают время неверно — так, *Ромуальд Сал.* (167) и *Дандоло* (243) говорят, что он умер в 1031 г., *Матвей Эдесский* (52) — в 484 г. армянской эры, т. е. не раньше 13 марта 1035 г. и не позже 11 марта 1036 г. По *Лупу* (58), Роман скончался 11 апреля 1034 г., и его показание, совпадающее с показаниями греческих историков о четверге, повторяется почти всеми исследователями — *Lebeau*, XIV, 257; *Gibbon*, 863; *Finlay*, I, 477; *Muralt*, I, 610; *Hertzberg*. Geschichte d. Griechenlands, I, 303; Geschichte d. Byzantiner und d. osmanisch. Reiches, 214.

Что Роман умер насильственной смертью, не подлежит сомнению, вопрос только, кто повинен в его смерти. Писатель, современный Иоанну Орфанотрофу (Пселл), не упоминает даже его имени и говорит, что, несмотря на все старания, он не мог узнать, принимало ли участие в деле эротическое сообщество (т. е. Зоя с Михаилом) и их союзники.[1] Заявление это свидетельствует лишь о той ловкости, с какой выполнил дело Иоанн, бывший главной пружиной механизма и сумевший скрыться за плечами других; на другой день, в Великую пятницу, он, как ни в чем не бывало, фигурировал на торжественном выносе и погребении умершего.[2] Последующие историки об участии Иоанна передают лишь как о слухе,[3] с большей положительностью говорят о том, что Роман был задушен в бассейне окружающими Михаила,[4] с согласия императрицы Зои.[5] Мы вправе вывести заключение, что план действий составлен был Иоанном и приводился в исполнение с ведома и согласия Зои и Михаила. Последующий ход событий и поведение всех этих лиц как нельзя более оправдывают такое заключение. Оказывается, что едва ли не больше всех выиграл Иоанн, а Зое пришлось разочароваться в надежде на результаты, которых она ожидала от своего преступления.

Когда доложено было Зое о смерти ее мужа, она, сначала лично удостоверившись в верности известия,[6] приказала не разглашать о факте,[7] а между тем стала делать приготовления к провозглашению нового царя. Придворные, служившие еще ее отцу и приверженные к Македонской династии, а также люди, близкие к ее покойному мужу, догадываясь, какой выбор подсказывает императрице ее чувство, предостерегали ее от опрометчивого решения, советовали избрать на царство человека достойного. Но Орфанотроф разрешил все колебания Зои, сказав, что ей необходимо спешить с избранием Михаила, иначе всем им грозит неминуемая погибель, намекая тем, очевидно, на возмездие, которое их может постигнуть за смерть Романа. Зоя решилась, и все возражавшие благоразумно замолчали.[8] Вечером того же дня, после того как пропеты были Страсти Господни, во дворец от имени императора Романа был позван

---

[1] *Psell.*, IV, 46.
[2] *Psell.*, IV, 49.
[3] ὡς φασιν (как говорят). *Cedr.*, II, 504 (*Glyc.*, 584; *Ioel*, 61).
[4] *Cedr.*, II, 505.
[5] *Arisdag.*, 47; *Matth. d'Ed.*, 52.
[6] *Psell.*, IV, 47.
[7] *Psell.*, V, 125.
[8] *Psell.*, IV, 48–49 (*Zon.*, IV, 136).

патриарх Алексий. Патриарх, к удивлению, нашел Романа мертвым, а Зою ожидавшей его лишь для того, чтобы обвенчать ее с Михаилом. Патриарх сначала недоумевал, но его недоумения, по словам историка, рассеяны были значительным денежным пожертвованием: бракосочетание совершилось,[1] и ночью же Михаил провозглашен императором кружком придворных. На следующий день, в Великую пятницу, 12 апреля, состоялось формальное публичное провозглашение.[2]

Михаил Пафлагон был не лишен хороших качеств, украшающих частного человека, — был рассудителен, доброжелателен, бережлив и не чужд свойственных молодости благородных порывов. Вступление на престол не вскружило ему головы; позабавившись и насладившись некоторое время блеском и роскошью нового своего положения, он затем возвратился к прежним простым привычкам, не забыл в счастии старых своих приятелей и умел обуздывать умом страсти и искушения. Но эти качества хороши были в частном человеке, но далеко не достаточны для государя. Того престижа, который дается благородством крови и происхождения, у Михаила не было. Его стройная фигура и красивое лицо не представляли ничего величественного и царского, в душе не было гордости и честолюбия, а главное, он не был подготовлен для своего места, был совершенно необразован. Если нужно было привести какое-нибудь соображение от разума, то здравый смысл помогал ему, он мог сказать складно и дельно; но если требовалась ссылка на закон, он оказывался беспомощным. Сложный государственный механизм был малодоступен его пониманию, он чувствовал себя в нем как в потемках и не мог самостоятельно сделать шага. Для того чтобы усердно вникать в дела, постепенно привыкать и приучаться к ним, он встречал сильное препятствие в своей несчастной болезни. Эпилептические припадки чем дальше, тем стали посещать его чаще. Михаил был принужден принимать тщательные предосторожности. Когда он являлся публично, нарочито приставленные лица держали красные занавески и, как скоро замечали признаки приближения болезни, давали знак присутствующим удалиться и закрывали его занавесками; если он выходил пешком или выезжал верхом на лошади, то его окружала толпа телохранителей, которая в случае припадка должна была тесно сомкнуться, укрыть от посторонних глаз и ухаживать за больным. Император стыдился своей болезни и, не возвышаясь над уровнем ходячих понятий своего времени, едва ли сам не считал ее нечистым наваждением. Кроме того, его тревожили укоры совести, еще

[1] *Cedr.*, 505 (*Glyc.*, 585; *Ioel*, 61).

[2] *Psell.*, IV, 49 (*Zon.*, IV, 136).

усиливаемые и поддерживаемые болезненностью, при воспоминании о своем грехе относительно Романа. И вот его окружили монахи, которые стали врачевать его душевные немощи и помогать обыкновенным врачам в пользовании его от болезни телесной; начались подвиги благотворения, обеты, путешествия к мощам угодников Божиих, а кончилось дело пострижением императора в монашество.[1]

Такой император как нельзя более отвечал намерениям Иоанна Орфанотрофа. Все управление перешло в его руки, по своему духовному званию он был почтен титулом синкелла и стал безапелляционно решать дела, причем его ни на минуту не покидали лукавство и подозрительность. Высшее благо он полагал в достижении возможно больших выгод членами его рода; братья, племянники и другие родственники Иоанна пошли в ход, все средства — законные и незаконные — применены к делу, начался самый беззастенчивый грабеж государственного достояния и достояния граждан. Чувство императора, который желал добра государству и понимал, что его родня поступает дурно, оскорблялось, он сердился, делал выговоры, но далее этого не шел и идти не умел и не мог. Иоанн успевал убедить его, что все в порядке, ответственность за все брал на себя; Михаил успокаивался, и дела продолжали идти по-прежнему.[2]

Зоя надеялась, основываясь, без сомнения, на уверениях со стороны евнуха Иоанна и Михаила, что по смерти Романа и по вступлении на престол Михаила, всем ей обязанного, для нее настанет вечная весна любви, государственная сокровищница раскроется к ее услугам, власть перейдет к ней в руки и император будет ее покорным слугой. Надежды жестоко ее обманули. Михаил Пафлагон, сделавшись императором, не счел более нужным притворяться влюбленным, переменил обращение и, под влиянием действительных чувств и болезненности, а также по убеждению монахов, внушавших ему, что следует удерживаться не только от непотребства, но и от законного сожития, перестал совсем видеться с Зоей. Между тем Иоанн Орфанотроф принял энергичные меры[3] предусмотрительности, с целью пресечь возможность какого-нибудь замысла с ее стороны против мужа и его родни. Зоя, по вступлении на престол Михаила Пафлагона, ввела во дворец отцовских евнухов и предполагала

---

[1] *Psell.*, IV, 50–52, 56–57; V, 125; *Cedr.*, II, 534 (*Zon.*, IV, 149; *Ioel*, 62); *Cedr.*, II, 518, 525 (*Zon.*, IV, 144; *Glyc.*, 588).

[2] *Psell.*, IV, 52–53; *Cedr.*, II, 510 (*Zon.*, IV, 138); *Arisdag.*, 48–49.

[3] По словам Пселла, меры были приняты самим царем, но эти слова нужно понимать так, что делалось с *согласия царя*; действующим же лицом был Иоанн, роль которого хорошо раскрыта Скилицей.

приняться с ними за дела управления. Но оказалось, что она поспешила. Иоанн удалил из дворца евнухов царицы и ее верных прислужниц, окружил ее своими родственницами и приставил стражу. Без его ведома Зоя ничего не могла предпринять, прогулки были затруднены, ванна готовилась по его приказу, всякие развлечения были отняты, кто хотел с ней видеться, мог сделать это не иначе, как предварительно явившись к начальнику стражи и объяснив, кто он, откуда и зачем пришел. Зоя была огорчена такой неблагодарностью, тем более что чувствовала свою беспомощность: она покорилась, старалась приноровиться к лицам и обстоятельствам и терпеливо ждала времени, когда колесо Фортуны повернется в ее сторону.[1] Раз только Зоя сделала попытку отомстить своему коварному врагу. Это было в конце 1037 или в начале 1038 г. Узнав, что заболевший Иоанн намерен принять лекарство, она через посредство приближенного евнуха заманчивыми обещаниями склонила врача подмешать к лекарству яд. Но нелегко было обмануть опытного интригана, у него всюду были глаза и уши. Заговор был открыт, врач выслан на родину, в Антиохию, соучастники его наказаны, царица попала еще в большее подозрение и жизнь ее еще более была стеснена.[2] Нет надобности искать в этом заговоре проявления мести Зои за угнетенный Иоанном народ[3] и за посягательство Иоанна на патриарший престол и церковную юрисдикцию;[4] такие стремления были слишком высоки для Зои, чужие невзгоды были малопонятны ее своекорыстной, с низкими инстинктами душе. Собственных ее злоключений было достаточно, чтобы подвигнуть на этот шаг, тем более что он в существе дела не представлял большой опасности. На худой конец ее ожидало то, что действительно постигло, т. е. усиление надзора и увеличение стеснений. Она знала, что дальновидный евнух не захочет применить к ней более сильную меру, вроде ссылки, ослепления, отравления и пр., потому что это было бы равносильно низвержению Михаила и положило бы конец благоденствию Пафлагонского рода. Много было накоплено горючего материала, который легко мог вспыхнуть от

[1] *Psell.*, IV, 50, 56–57 (*Zon.*, IV, 137, 143); *Cedr.*, II, 506 (*Zon.*, IV, 337; *Glyc.*, 586; *Ioel*, 62).

[2] *Cedr.*, II, 519.

[3] Толкование *Лебо* (XIV, 283).

[4] Догадка *Гфрёрера* (III, 206–207), который на том основании, что заговор обнаружился после попытки Иоанна свергнуть патриарха Алексия и завладеть патриаршим престолом и после низложения Фессалоникийского митрополита Феофана, предполагает, что Зоя хотела отомстить Иоанну не только за себя, но и за церковную иерархию, в частности за патриарха.

первой брошеной искры. Отдельные незначительные вспышки и бывали, но не разрастались до такой степени, чтобы поколебать трон и политическую силу Пафлагонов.

Один новейший историк[1] говорит, что система Орфанотрофа (притеснение народа, поблажка чиновникам) создала армию лиц, заинтересованных в династии Михаила IV, сенат наполнен был его креатурами: отсюда отсутствие возмущений против Михаила Пафлагона. Слова эти основаны на недоразумении. Возмущения были — были возмущения местные, в отдельных городах и фемах, вызванные податными тягостями и административными неправдами, были и возмущения более общего характера, направлявшиеся против императорского престола. О первых здесь не место говорить, скажем только о последних.

Вступление на престол Михаила Пафлагона было большим скандалом даже для византийцев. Скандализированы были уже тем, что какой-то худородный проходимец сделался царем, ничтожный человек предпочтен именитым мужьям. Еще более были скандализированы самим способом вступления на престол, тем, что этому акту предшествовало и сопутствовало преступление и обман следовал по его пятам. Всюду разосланы были манифесты, объявлявшие, что Роман умер естественной смертью, что он еще при жизни, по собственному желанию, провозгласил царем Михаила, который после смерти Романа женился на его вдове. Многие из простаков сначала этому поверили.[2] Но истина недолго скрывалась под спудом. Подробности прелюбодеяния и цареубийства скоро стали всем известны и народное воображение создало разные знамения и аллегорические видения, мораль которых сводилась к тому, что много бедствий и несчастий постигло и еще постигнет греческий народ «за нарушение божественных заповедей и беззаконие, содеянное с царем Романом и его ложем».[3] Подкладкой этих видений и этой морали было недовольство народа совершившимся фактом и протест против существующего порядка вещей, против отдачи народного блага в жертву пафлагонским выходцам и их приспешникам. Недовольство аристократии по поводу предпочтения ей человека незначительного слилось с недовольством массы народа. На почве этого недовольства легко могло вырасти внутреннее волнение и заговор; движение могло ограничиться верхним слоем, но могло захватить и низший, потому что для него более, чем когда-нибудь, представлялось шансов сделаться движением народным.

---

[1] *Finley*, I, 482.

[2] *Cedr.*, II, 506.

[3] *Cedr.*, II, 509.

Признаки аристократического движения носит на себе дело Константина Далассина, того самого, которого некогда прочили в мужья Зое и которому, по интригам Симеона, предпочтен Роман Аргир. Предпочтение, оказанное Роману Аргиру, человеку родовитому, Далассин не считал для себя большой обидой. Он ничем не заявил неудовольствия и охотно помогал царю в сирийском походе, хотя помощь его была не из блистательных.[1] Но когда на престол был возведен Михаил Пафлагон, взятый из ничтожества, Далассин счел это прямым оскорблением для людей знатных фамилий, в том числе для себя, и свое недоумение открыто стал высказывать. Иоанн Орфанотроф встревожился и послал к Далассину, находившемуся тогда в своем имении, того же евнуха, на которого и при Константине VIII возложено было поручение призвать Далассина, приостановленное по хлопотам Симеона; евнух принес Далассину приглашение прибыть ко двору. Далассин с недоверием отнесся к приглашению и потребовал ручательства, что с ним не будет поступлено дурно. Прислан был другой евнух, родом из пафлагонян, и принес с собой Честно́е Древо, святой плат, письмо Спасителя к Абгару и икону Пресвятой Богородицы; на этих святынях он дал клятву, обеспечивавшую безопасность личности Далассина. После того Далассин отправился в столицу, милостиво был принят при дворе, возведен из патрициев в антипаты и получил позволение жить в столице в своем городском доме.[2] Если Орфанотроф прибегал к таким усилиям, чтобы сманить Далассина в Константинополь, под ближайший присмотр, и так заискивал перед ним, то это доказывает небезопасную для Пафлагонского рода популярность Далассина в рядах представителей аристократии. Популярность его скоро обнаружилась еще сильнее, и выяснилось, что приверженцы его находятся как в Малой Азии, так и в столице, при царском дворе. Брат царя, Никита, отправленный дукой в Антиохию, арестовал там 11 человек из богатых и знатных родов и препроводил в Византию, при письме к Иоанну, в котором объяснял, что все они — приверженцы Далассина. Первое место между ними занимал патриций Елпидий. Это обстоятельство усилило опасения Орфанотрофа. Далассин был потребован во дворец, а оттуда, вопреки данной ему клятве, отправлен в ссылку на остров Плату, 3 августа 1034 года, с острова же он был переведен в тюрьму под крепкий караул. Этот поступок вызвал ропот между приверженцами Далассина, в числе которых оказались: Константин Дука, женатый на его дочери, три властеля из Малой Азии: Гудел, Ваиан и Провата, и протовестиарий

[1] *Cedr.*, II, 492.

[2] *Cedr.*, II, 507–508 (*Zon.*, IV, 138).

Симеон, служивший еще царю Константину VIII. Поступок с Далассином они называли несправедливостью, нарушением клятвы, и за то сами были наказаны: Дука заключен был в тюрьму, у Гудела, Ваиана и Провaты конфисковано имущество, Симеон выслан из столицы и постригся в монахи на Олимпе, в основанном им монастыре.[1] Агитация в пользу Далассина и после того не затихла. В чем она обнаружилась, мы не знаем, но известно, что она заявила о себе в конце 1038 или в начале 1039 г., так как в это время гнев Орфанотрофа обрушился на весь род Далассина и были отправлены в ссылку два его брата, патриции Феофан и Роман, племянник Адриан и другие родственники.[2]

Дело Далассина носит аристократический оттенок. Оно выходило из принципа, что высшая государственная почесть составляет достояние знатных родов и для человека низкого происхождения не должна быть доступна. Народ не был заинтересован в поддержании этого принципа. Стоявший у кормила правления Иоанн Орфанотроф опасался, чтобы сам Далассин не выступил конкурентом Михаилу Пафлагону, и принимал предупредительные меры с целью парализовать возможность решительного шага. Но что такой шаг не был сделан ни со стороны Далассина, ни со стороны его партии, показывает уже то, что далее предупредительных мер — заключения в тюрьму, ссылки — дело не шло, более сильные наказания не прилагались.

Другое движение, обнаружившееся после того, как подавлена была агитация в пользу Далассина ссылкой его родственников, по своей постановке, побуждениям и целям было более понятно и близко народу. Движение это — заговор Керулларий, знаменитого впоследствии патриарха Константинопольского. По личному составу заговорщиков и это движение было аристократическое, участвовали в нем, кроме братьев Керулляриев, родственник[3] их, Иоанн Макремволит, и члены многих знатных родов, находившиеся в Византии. Действие происходило в столице, летом 1040 г. Началось оно вследствие недовольства не императором, но его родней, эксплуатировавшей народное благосостояние. Время его обнаружения совпало со временем введения тяжелых для народа экономических мероприятий Орфанотрофа и проявления, по поводу этих мероприятий, массовых народных движений в разных частях государства. Окончательной целью было устранение со сцены пафлагонской клики,

[1] *Cedr.*, II, 511–512 (*Zon.*, IV, 138–139).

[2] *Cedr.*, II, 521.

[3] Вероятно, зять: Евдокия Макремволитисса, **вторая жена импера**тора Константина Дуки, была племянницей Керулларий.

угнетавшей государство, но так как достигнуть этого результата можно было только устранением с престола Михаила Пафлагона, которым клика держалась, то заговор направлялся на царский трон, предварительной целью его было произвести династический переворот. Свержение Михаила Пафлагона было лишь средством для осуществления более важной задачи — устранения от управления его родни, поэтому намерения заговорщиков не грозили опасностью для жизни Михаила, в их планах было только захватить императора, лишить его власти и на место его поставить другого. Кандидатом на престол был Михаил Керулларий, младший сын одного государственного сановника, занимавшего при дворе важную финансовую должность.[1] Михаил Керулларий был человек молодой, холостой и в среде молодежи выдавался серьезностью, самоуглубленностью, тогда как старший его брат, уже женатый и имевший детей, блистал изяществом манер и приятностью обращения. Михаил Керулларий признан был достойным кандидатом, и заговорщики уже собирались приступить к действиям, когда в их среде обнаружилась измена. Некоторые из участников струсили и, в надежде выгородить себя, донесли на остальных. Немедленно приняты были меры, виновные, как лично участвовавшие в деле, так и знавшие о нем, хотя личного участия не принимавшие, были по одиночке арестованы и подвергнуты суду. Из расследования выяснилось, какую роль заговорщики готовили Михаилу Керулларию и насколько преуспели в своем заговоре. Некоторые из арестованных были отпущены на свободу, другие подвергнуты наказаниям. Имущество братьев Керулляриев было конфисковано, сами они были разлучены, сосланы в разные места и содержались под стражей: старший брат скоро умер, а младший Михаил был пострижен в монахи. Был также лишен имущества и сослан в заточение Иоанн Макремволит и некоторые другие.[2] Сравнительно мягкое наказание положено заговорщикам, вероятно, потому что их заговор не вышел еще из сферы проекта; происходили сходки, совещания, договор скреплен клятвой, намечен план действий, но к осуществлению плана еще не было приступлено, и серьезных последствий заговор не имел.

---

[1] Финансовое ведомство было излюбленным поприщем службы Керулляриев. Впоследствии и племянник Михаила Керуллария служил в этом ведомстве.

[2] *Psell.*, IV, 306, 308, 310–311, 313–316; *Cedr.*, II, 530. *Гфрёрер* (III, 207–209) в заговоре Керуллария видит протест против нападений Иоанна Орфанотрофа и Михаила Пафлагона на существовавшую тогда церковную систему и предполагает, что заговору покровительствовала Зоя и высшая церковная иерархия. Ни малейшего указания, которое служило бы хоть отдаленным оправданием этой догадки, нет нигде в источниках; переводить заговор с политической на церковную почву — чистый произвол.

У историка вслед за известием о заговоре Керуллария читается известие еще об одном заговоре, участники которого понесли более строгое наказание. «Было, — говорит он, — и другое восстание против Константина, великого доместика, в Месанактах. Когда оно стало известно, Михаил Гавра, Феодосий Месаникт и многие другие начальники отрядов лишены глаз, а главный начальник, патриций Григорий Таронит, который, как говорили, был зачинщиком восстания, целиком зашит в невыделанную бычачью шкуру, в которой сделаны были отверстия для носа и глаз, и отослан к Орфанотрофу».[1] Хотя видимой связи между этим бунтом и заговором Керулларий нет, однако же между ними есть и общие черты. Бунт направлен был против Константина, одного из членов пафлагонской фамилии, удаление которой от дел в полном ее составе было целью заговора Керулларий. Бунт, судя по месту, отведенному ему историком, произошел одновременно с заговором, или непосредственно вслед за ним, тоже летом 1040 г. Участвуют в бунте, подобно тому как и в заговоре, члены аристократических родов, как-то: Таронит, происходивший из Таронского рода армянских Багратидов, Гавра. Разница та, что здесь фигурируют члены военной аристократии, а еще более та, что наказание, постигшее месанактских бунтовщиков, строже, чем византийских заговорщиков. Строгость наказания может быть объясняема не только требованиями военной дисциплины, но также и тем обстоятельством, что бунт войска имел более серьезное значение, чем заговор Керулларий. Жаль, что кроме краткой и неопределенной заметки Скилицы других свидетельств об этом бунте не сохранилось. Из них, может быть, открылось бы, что месанактское движение было одним из проявлений обширного замысла, разветвившегося между столичной знатью и войсками, что предположено было действовать одновременно и сообща, причем войска должны были поддержать византийских заговорщиков, предоставив им одним выбор преемника Пафлагону.

Предусмотрительный Орфанотроф с первых же дней царствования своего брата озабочен был вопросом о том, чтобы надолго обеспечить византийский престол за Пафлагонским домом. У Михаила от Зои детей не было, женить кого-нибудь из родственников на Зое, по смерти Михаила, — задача была слишком мечтательная. Единственный прямой путь состоял в усыновлении кого-нибудь из пафлагонян Зоей с тем, чтобы усыновленный оставался кесарем до смерти Михаила, а потом занял бы его место. К этому последнему способу и решено было прибегнуть. Сначала предполагалось возвести в кесари императорского брата, Никиту,

[1] *Cedr.*, II, 530–531.

антиохийского дуку.[1] Но в 1034 году он скончался.[2] Тогда был избран на это место племянник царя по сестре, Михаил Калафат, занимавший должность этериарха. Иоанн легко склонил своего брата, Михаила Пафлагона, к мысли о необходимости, ввиду его болезни, подобной меры; императрица Зоя, воля которой всего менее значила и которая понимала лишь то, что ей необходимо покоряться обстоятельствам, не сделала никаких возражений, и церемония усыновления и наречения Михаила Калафата кесарем совершилась во Влахернском храме в официально назначенный для того день в конце 1034 или в начале 1035 г.[3]

С точки зрения своих интересов и интересов рода Иоанн, избрав Калафата в кесари, а впоследствии содействуя избранию его в императоры, сделал шаг в высшей степени ошибочный. Михаил Калафат во многом был похож на своего дядю, Иоанна Орфанотрофа, но не имел его хороших качеств. Иоанн был лукавый лицемер, но для родни — доброжелательный и родственные чувства уважавший. Калафат, несмотря на молодые свои годы, не уступал Иоанну в лукавстве и лицемерии: на языке у него было одно, в сердце другое, одного желал, другое говорил, относительно кого в душе был непримиримый враг, с тем на словах казался другом, кому на завтра готовил смерть, с тем сегодня сидел за одним столом и по-приятельски пил из одного кубка. В стесненных обстоятельствах он уничижался, раболепствовал, а коль скоро счастье улыбалось, становился надменным и мстил за собственное свое раболепство тому, перед кем пресмыкался. Был человек переменчивый и раздражительный до бешенства, и бешенство его было тем страшнее, что еще за минуту он скрывал его под улыбкой благосклонности. В сердце его не было места для добрых чувств — благодарности, любви, дружбы; к своим благодетелям он не чувствовал никакой признательности, родственной привязанности не допускал, к родственникам был даже неумолимее и злее, чем к посторонним. При всем том, как показывают факты, у него было достаточно ума и политического такта, чтобы ясно представлять свои интересы и для достижения их применять к делу сообразные средства.[4]

---

[1] *Psell.*, IV, 60.

[2] *Cedr.*, II, 512.

[3] *Psell.*, IV, 59–61 (*Zon.*, IV, 144; *Manass.*, 261; *Georg.*, 875); *Cedr.*, II, 513. *Лебо* (XIV, 304) помещает факт провозглашения Калафата кесарем под 1041 г., но это неправильно. Мы указываем время согласно со Скилицей, тем более что и *Аттaлиот* (11) по поводу избрания Калафата в императоры замечает, что он много лет (ἐκ πολλῶν χρόνων) носил звание кесаря.

[4] *Psell.*, IV, 63, 81 (*Zonar.*, IV, 150; *Ephr.*, 134).

Михаил Пафлагон, по своему характеру добрый и простой, не мог симпатизировать такому человеку, и хотя он согласился на возведение его в кесари, однако же в душе недолюбливал его и старался держать от себя подальше. Разгадал его потом и Иоанн, и втайне помышлял о том, как бы заменить его другим своим племянником, сыном Никиты, Константином. Ошибка его состояла лишь в том, что он колебался, откладывал осуществление своей мысли и дотянул до того, что осуществлять ее оказалось поздно. Только Константин, брат царя и Орфанотрофа, занявший по смерти Никиты его место в Антиохии, благоволил к Калафату, в нужде ссужал его деньгами и держал его сторону. Калафат понял настроение к себе дядей — царя и Орфанотрофа, догадался и о том, что дядя готовит другого на его место; но не показывал виду, что все это ему известно. Обстоятельство это не могло не содействовать еще большему развитию в нем природной скрытности, коварства и вражды к родственникам, исключая разве Константина.[1]

Между тем болезнь царя все более усиливалась, не принесли облегчения ни постройка храмов и благотворительных заведений, ни паломничества к мощам св. Димитрия Солунского (в 1037 и 1040 гг.).[2] К прежней падучей болезни присоединилась еще водяная.[3] Михаил Пафлагон страшно распух. Пселл, видевший его в 1040 г., был поражен: пальцы, которыми Пафлагон держал поводья лошади, имели гигантские размеры, каждый по величине и толщине был в добрую руку. Прошел еще год, император обессилел окончательно и, руководимый монахами, решился на поступок, крайне неприятный для своих братьев, особенно старшего, Иоанна, и для жены Зои. Он велел снести себя на носилках в основанный им монастырь св. Бессребренников и там постригся. В день своего пострижения[4] он отдал душу Богу, 10 декабря 1041 года, процарствовав 7 лет и 8 месяцев.[5]

Царствование преемника Михаила Пафлагона, Михаила Калафата, представляет немалую путаницу в изложении историков. Михаил Калафат,

---

[1] *Psell.*, IV, 61–62, 64, 80, 82; V, 127.

[2] *Psell.*, IV, 66–67; *Cedr.*, II, 518, 525 (*Zon.*, IV, 144; *Glyc.*, 588).

[3] В 1039 или в январе 1040 г. См.: *Cedr.*, II, 521 (*Glyc.*, 588; *Ioel*, 62).

[4] В этом смысле ясно говорит Пселл. *Муральт* (I, 620), произвольно понимая слова Атталиота, что тот царствовал 7 лет и 7 месяцев (показание неверное) в смысле времени, протекшего от его воцарения 12 апреля до пострижения, и вместе с тем допуская свидетельство Скилицы—Кедрина о дне его кончины, выводит заключение, что постригся Михаил Пафлагон 12 ноября, а умер 10 декабря. Таким образом оказывается, что жил он монахом 28 дней. Полнейшая несообразность.

[5] *Psell.*, IV, 74–76 (*Zonar.*, IV, 148; *Manass.*, 261; *Georg.*, 875); *Cedr.*, II, 533–534 (*Ioel*, 627; *Codin.*, 156). Кроме Скилицы, в точности обозначает продолжитель-

не царствовавший и пяти месяцев, был жалким игралищем судьбы, несшим ответственность не только за себя, но и за других; деятельность его не уяснилась в умах современников, может быть, отчасти по причине самого характера личности, лишенной правдивости, являвшейся разным людям в разных оттенках; представления, составившиеся о Калафате, насколько можем судить по отражению их у позднейших писателей, выдерживают параллель с той двуличностью, неопределенностью и изменчивостью, которыми отличался Калафат. Начать с того, что для иностранных писателей самый факт его кратковременного[1] царствования представлялся делом темным: у Михаила Сирийского не существует царствования Калафата, есть только заговор, тирания, продолжавшаяся 7 месяцев, устроенная против Михаила Пафлагона одним из его родственников, который был схвачен и ослеплен.[2] Представление о царствовании Калафата как продолжающемся царствовании Пафлагона послужило также основанием ошибочного показания Ромуальда Салернского или его источника, по которому Михаил Пафлагон царствовал и до, и после Калафата.[3] Другой западный историк (Вильгельм Апулийский) отождествляет Калафата с каким-то Константином[4] и говорит, что он назывался и Михаил, и Константин. Что касается византийских историков, то и у них судьба Калафата покрыта каким-то

ность царствования *Аристакес* (53), совершенно согласно со Скилицей. Все остальные называют круглую цифру, а именно, что царствовал Михаил Пафлагон 7 лет (*Psell.*, IV, 76 (*Manass.*, 261; *Georg.*, 874; *Zonar.*, IV, 149; *Glyc.*, 585); *Romual. Salern.*, 168 (который вместе с тем ставит событие под 1039 г.)) или 8 лет (*Михаил Сирийск.*, 283) (цифра получилась от своеобразного взгляда на царствование Калафата). Исключение составляет *Атталиот* (10), по которому Михаил Пафлагон царствовал 7 лет и 7 месяцев.

[1] Кратковременность — одна из причин неясности. Не успела еще весть о воцарении Калафата дойти до западно-европейских стран, как он был уже низвергнут. Даже в мае 1042 г. в Неаполе полагали, что в Византии продолжает царствовать Михаил Пафлагон, и в грамоте писалось: imperante domino nostro Migaelio magno imperatore anno octavo, die quarta mensis magii, indict. decima (На восьмом году правления великого императора господина нашего Михаила , 4 мая десятого индикта)/ /Regii Neap. archivi Monum. Vol. IV, 296.

[2] *Michel le Gr.*, 283.

[3] *Rom. Sal.*, 168. Михаил Каталакт, Михаил Этерарх, Михаил Арконто-Пантиу (т. е. ἄρχων τοῦ πανθέου).

[4] *Guil. Apul.*, Pertz. SS., IV, 250. Отождествляется, может быть, с дядей Константином, советами которого он руководствовался и который разделил его плачевную участь, или с Константином, двоюродным братом, которым Иоанн хотел заменить Калафата, или, наконец, с царствовавшим после него Константином Мономахом.

туманом. Самый способ вступления его на престол, рассказ о котором повторяют неизменно или с некоторыми произвольными вариациями все новейшие исследователи,[1] передан у Скилицы—Кедрина следующим образом. По смерти Михаила Пафлагона Зоя, к которой по наследству перешла власть, занялась делами при содействии отцовских евнухов. В течении трех дней она думала о тяжестях управления и о том, что сама, без царя, не в состоянии будет хорошо править. Наконец, усыновила и провозгласила ромейским (греческим) царем племянника покойного царя, кесаря Михаила, как человека энергичного и искусного в делах, взяв с него страшную клятву и устранив наперед Орфанотрофа, который был сослан в монастырь Моноватон, Константина, доместика схол, сосланного в опсикийские его имения, и Георгия, протовестиария, сосланного в его имения в Пафлагонии. Впрочем, новый царь выпросил у царицы возвращения из ссылки Константина, которого почтил титулом новеллисима.[2]

Этот рассказ, помимо даже того, что в нем речь идет об усыновлении,[3] факте, совершившемся гораздо раньше, представляет ту непонятную для здравого смысла особенность, что Зоя, столько перенесшая от пафлагонян, по собственному побуждению и по совету тех приближенных лиц, которые прежде были устранены от нее и, разумеется, не могли быть расположены к Пафлагонскому роду, теперь опять возводит на престол одного из членов этого рода. Особенность эта заставляет недоверчиво отнестись к рассказу. И действительно, он оказывается несостоятельным при сопоставлении с рассказом современника и очевидца событий, Михаила Пселла.

10 декабря, после того как Пафлагон постригся, но прежде чем он умер, приняты были меры, чтобы императорский престол не сделался достоянием другой фамилии: именем императора издан был указ, в силу которого место удалившегося в монастырь императора занял Кала-

---

[1] Например, *Финлей*, I, 595–596; *Папарригопуло*, IV, 297; *Гфрёрер*, III, 221–222; последний варьирует рассказ собственным вымыслом, что в числе условий при вступлении на престол от Калафата потребовали *пострижения* Иоанна (выдумка весьма неудачная ввиду того, что Иоанн давно уже был монахом) и удаления как Иоанна, так и его братьев от дел (хотя по словам Скилицы—Кедрина, которым Гфрёрер руководствуется, они удалены были еще раньше, по распоряжению Зои).

[2] *Cedr.*, II, 534–535 (*Glyc.*, 589–590; *Ioel*, 62).

[3] Эта ошибка, которую, по-видимому, разделяет и *Аттaлиот* (11), могла быть результатом неправильного вывода из содержания клятвы: Калафат при воцарении клялся Зое во всю жизнь считать ее ὡς κυρίαν καὶ δέσποιναν καὶ *μητέρα* (госпожою, владычицей и матерью).

фат.[1] При племяннике находились во дворце его дяди, Константин и Георгий, в качестве его ближайших помощников и советников, а Иоанн Орфанотроф в течении трех дней оставался в монастыре св. Бессребренников, пока тело его почившего брата не было погребено. Эти три дня были для Иоанна не только днями глубокой скорби о потере любимого родственника, но и днями тяжелого раздумья и душевного колебания. Во дворце в ожидании решения, какое примет Орфанотроф, ни к чему не приступали, а Иоанн в это время находился в недоумении под гнетом зародившихся в нем подозрений к Калафату.[2] На выручку последнему в этот критический для его будущности момент пришел его дядя, Константин, постаравшийся успокоить Иоанна. К тому времени, как кончились похороны умершего императора, т. е. 13 декабря,[3] колебания у Иоанна закончились. По прибытии Иоанна во дворец была разыграна перед Зоей сцена, которая после пренебрежения, стеснений и ограничений, каким она доныне подвергалась, невольно подкупала ее в пользу Калафата. Пафлагоняне под предводительством Иоанна Орфанотрофа подвели к Зое Михаила Калафата, как усыновленного сына к матери, пали перед ней ниц, и объявили, что она может поступить, как желает: если желает, может взять в свои руки скипетр и править самолично, а если желает, может возвести на престол своего сына, Калафата, который в таком случае будет лишь носить имя императора, она же в действительности будет властвовать и над государством, и над императором, как над своим рабом. Чтобы окончательно устранить всякую тень сомнения и подозрительности во вдовствующей императрице, дана была ей на священных предметах присяга: Калафат клялся, что всю свою жизнь будет относиться к ней как к государыне, госпоже и матери, исполнять то, что она повелит.[4] Зоя сдалась, Михаил Калафат был провозглашен

[1] *Psell.*, IV, 77. По всей вероятности, здесь скрывается основание для свидетельства армянского историка *Вардана* (123), что Михаил перед кончиной *отдал престол* сыну сестры, Калафату. О значении указа будет речь ниже.

[2] Следовательно, верны только слова Скилицы—Кедрина, что вступлению на престол Калафата предшествовало трехдневное размышление, но размышлял Иоанн, а не Зоя с отцовскими евнухами, относительно которых наблюдавшие во дворце пафлагоняне были, без сомнения, настороже и едва ли допустили у них какие-нибудь совещания.

[3] *Мюральт* (I, 521), совершенно упуская из внимания 3 дня, протекшие между смертью Пафлагона и вступлением на престол Калафата, помечает это последнее событие 11-м декабря.

[4] Таким образом, факт клятвы, переданный у Скилицы—Кедрина, верен, но сопровождавшие клятву обстоятельства были другие: не Зоя ее потребовала,

императором, коронован и в первые дни казалось, что не обманет надежд ни Зои, ни Иоанна; свою нареченную мать величал не иначе, как «моя царица», «моя госпожа», делал то, что ей было угодно, своего дядю тоже называл «господином», сажал близ себя на троне и насчет государственных дел был послушным орудием в его руках.[1]

Но двуличный и вероломный Калафат недолго медлил с обнаружением действительного своего настроения как к одной, так и к другому; скоро он заплатил им обоим черной неблагодарностью.

Михаил Калафат, вступив на престол, задался мыслью прочно на нем утвердиться. Ничего нет невероятного в том, что у него была жена (Ирина),[2] может быть, даже дети, и что намерением его было упрочить престол за своим потомством, совершенно устранив Македонскую династию. План действий, насколько можно судить по скудным данным, составлен был умно. Он знал, что в народе посеяно недовольство системой управления предшествующего царствования, что предмет, на который это недовольство направлено, — его родственники, стоявшие во главе управления. Известно было ему также, что аристократия враждебно смотрела на воцарение незначительного по происхождению, не из ее среды вышедшего Михаила Пафлагона и не иначе посмотрит на собственное его воцарение. И вот он решился прежде всего примирить с собой народ, доказав, что он не солидарен с господствовавшей до него системой, а потом найти точку опоры для своей власти; поскольку же аристократия не могла ему сочувствовать, то — искать приверженцев помимо нее, в других классах общества. Достигнув всего этого и таким образом подготовив почву, он предполагал сделать последний шаг — de facto и de jure закрепить за собой императорское достоинство и заставить забыть о доживавшем свой век отпрыске Македонского дома.

Желая показать, что он не разделяет принципов, до того времени господствовавших в управлении, Михаил Калафат стал действовать в направлении, противоположном политике, которой держался Иоанн Орфанотроф с братьями и разными пособниками, а также исправлять и переделывать все то, что еще могло поддерживать ропот в известных кругах. Клика Иоанна

сама решившись возвести Калафата на престол, но ее предложили дать те, кто склонял Зою к этому решению. Никаких условий насчет дядей Калафата, которые при этом играли деятельную роль, не было, и никаких предварительных мер относительно их со стороны Зои не принималось и не могло быть принято. Все они в первое время царствования Калафата остались на своих местах.

[1] *Psell.*, IV, 77–78; V, 128 (*Zon.*, IV, 149–151).

[2] *Böck*, № 8706.

Орфанотрофа, преследуя свои эгоистические цели, не останавливалась перед административными и другими неправдами; Михаил Калафат выступил на борьбу с несправедливостью и заявил себя неумолимым поборником правды.[1] Иоанн Орфанотроф, настойчиво преследуя малейшие проявления оппозиции против своей власти и подавляя замыслы против Пафлагона, ссылал и заключал в тюрьмы злоумышленников и их приверженцев; Калафат распорядился освободить их из заточения и возвратить из ссылки; были, между прочим, возвращены Константин Далассин и Михаил Керулларий. Что при этом не чувство справедливости и сострадания, а тонкий расчет руководил Калафатом, видно из того, что он на всякий случай не забыл принять предосторожности и не счел нужным жертвовать выгодами казны. Далассин все-таки мог представлять некоторую опасность своими притязаниями на руку Зои, и чтобы сделать опасность менее чувствительной, Калафат, произведя демонстрацию возвращением его из ссылки, под рукой отдал между тем приказ о пострижении его в монашество. По возвращении Керулларий, конфискованное у него некогда имущество осталось в казне и лишь впоследствии, при Мономахе, он получил обратно свое добро.[2] Чтобы окончательно убедить подданных, что он ничего общего с ненавистными народу своими родственниками не имеет, Калафат решился пожертвовать ими, тем более что эта жертва для него ничего не стоила, и даже по некоторым причинам была желательна как средство мести и способ устранения с дороги ближайших конкурентов. Иоанна Орфанотрофа он давно уже ненавидел за его пристрастие к Константину, сыну Никиты, и желание заместить им его, Калафата; если он и показывал к Иоанну видимые знаки уважения и покорности, то в душе был далек от подобных чувств. Враждебное настроение к Иоанну было еще усилено в Калафате его дядей, Константином, который, как доказавший свою преданность, был приближен новым императором, возведен в достоинство новеллисима, и который, питая зависть к Иоанну, стал разжигать в своем племяннике враждебное настроение. Задавшись целью разделаться с Иоанном, Калафат отдал должную, внушенную, впрочем, осторожностью, честь этому главе Пафлагонского рода и основателю фамильной карьеры в том отношении, что соблюл некоторую постепенность, сначала стал возражать Иоанну,

[1] *Attal.*, 11: τῶν ἀδικουμένων ἐκδικητὴς ἀναφαινόμενος ἀπαραίτητος, καὶ δικαιοσύνην τῶν ἄλλων ἁπάντων περαίρων καὶ προτιμώμενος (он являл себя ревностным заступником обиженных и ставил справедливость превыше всего).

[2] *Attal.*, 11; *Psell.*, IV, 109 (ср.: *Zonar.*, IV, 155); *Psell.*, IV, 324. *Гфрёрер* (III, 230) ошибочно, по незнакомству с Атталиотом, говорит, что Далассин возвращен Зоей и Феодорой.

говорить и поступать вопреки его воле, потом положительно стал пренебрегать им, а кончил тем, что отправил его в вечную ссылку в уединенную и малообитаемую местность.[1] Освободившись от Иоанна, Калафат затем не поцеремонился с остальными родственниками: одних отправил в ссылку, других оскопил. Не подлежит сомнению, что при этом был сослан[2] протовестиарий, евнух Георгий, и был оскоплен конкурент Калафата (по плану Иоанна), его двоюродный брат Константин. Калафат не тронул только своего дяди, новеллисима Константина.[3]

Преследуя другую задачу — приобретение для своей власти опоры, Калафат отказался от всякой попытки склонить на свою сторону родовую аристократию. Все свое внимание он обратил на столичное население, а именно на торговцев и ремесленников, старался заручиться их преданностью, явно оказывал им свое благоволение и предпочтение перед аристократией; охрану своей особы он вверил наемному иностранному отряду, которому предоставил разные преимущества и почести. Такая политика не замедлила оказать свое действие: горожане были от него без ума, восторженно встречали и провожали, во время выходов Калафата из дворца в церковь ему по пути расстилали шелковые ткани, на домах и в окнах вывешивали и выставляли разные украшения.[4] Калафат счел этот внешний почет достаточным ручательством своей популярности; забывая непостоянство византийцев, их способность переходить от одной крайности в другую и их пристрастие ко всему новому, ко всякой перемене, рассчитывая, что в случае опасности византийцы станут за него как один человек, выпуская, наконец, из виду то обстоятельство, что народ свыкся с Македонской династией, Калафат решился на последний, роковой для себя шаг — на удаление Зои. О Феодоре он совер-

---

[1] Политическая роль Иоанна Орфанотрофа была после того сыграна. Пселл прибавляет, что он был потом ослеплен, и сообщает своей речи такую форму, которая легко может ввести читателя в заблуждение, заставив думать, что ослепление совершено по приказанию Калафата. Очевидно, Пселл щадил Мономаха, которого общий голос считал виновником ослепления. Скилица—Кедрин сообщает, что при вступлении Мономаха на престол Иоанн был переведен из монастыря Моноватон на остров Лесбос; 2 мая 1043 года, в Марикате, он был ослеплен, одни говорят, что по распоряжению Феодоры, а большинство уверяет, что по приказанию Мономаха, которого некогда Иоанн сослал и который теперь за это отомстил; 13 мая того же 1043 г. ослепленный Иоанн скончался. См.: *Cedr.*, II, 543, 550 (*Zonar.*, IV, 162–163).

[2] Может быть, в пафлагонские имения. *Cedr.*, II, 535.

[3] *Psell.*, IV, 79–80, 82–85, 99 (*Zonar.*, IV, 151; *Manass.*, 262; *Ephr.*, 134; *Georg.*, 76); *Psell.*, IV, 128–129; *Attal.*, 11–12.

[4] *Attal.*, 12–13; *Cedr.*, II, 536.

шенно не думал — столько уже времени она спокойно проживала в монастыре, в монашеской одежде, что можно было о ней забыть.[1]

Зоя прикрывала своим правом власть Калафата как императора; она была источником его власти. Имя ее вследствие того в возглашениях и многолетиях произносилось прежде имени Калафата и формально ей принадлежало первенство. Ревнивый к власти Калафат после кратковременного притворства совершенно отстранил ее от участия в управлении, ограничил ее свободу и, взамен прежнего раболепства, стал ее унижать и издеваться. Не довольствуясь фактическим отстранением Зои от власти, он задумал достигнуть того же формально, с тем, чтобы сделаться в полном смысле слова самодержцем, ни от кого не зависимым, и потом передать свою власть потомкам. Лучшим способом было выжидать смерти Зои. Но для этого Калафат был недостаточно терпелив, да и считал медлительность, ввиду подготовленной, по его мнению, почвы, излишней осторожностью. Обращать внимание на клятвенное обещание, данное Зое при вступлении на престол, тоже было, по его взгляду, делом бесполезной щепетильности. Но для удаления Зои все-таки необходим был какой-нибудь законный предлог. И вот Калафат принялся за поиски: он приставил шпионов к Зое, перетянул на свою сторону ее служанок и стал выслеживать, что делается на женской половине. Зоя под влиянием несчастий и беспрестанно обрушивавшихся на нее ударов судьбы впала в религиозный мистицизм; во время молитвы приходила в экстаз, причем краски на иконе казались ей то более, то менее яркими, и это служило ей средством предугадывать будущее; она воскуряла перед иконой фимиам и вообще приносила в жертву то, что считала самым ценным и приятным для самой себя, — разные ароматы и благовония, привозившиеся в Византию из Индии и Египта. Вероятно, все это и дало основание обвинить Зою в том, что она занимается волшебством и составлением ядов, которыми замышляет отравить императора. Выставлены были свидетели, Зоя была допрошена и обвинена. В первое воскресенье после Пасхи, а именно 18 апреля 1042 года, вечером, Зоя была посажена на корабль и отвезена на лежащий недалеко от столицы остров Принца, а ночью[2] с воскресенья на понедельник ее постригли и одели в монашеское платье.[3]

---

[1] *Psell.*, IV, 85–86, 96, 322.

[2] По *Атталиоту* (13), Зоя была отправлена на остров уже в черной одежде и с постриженными волосами, т. е. пострижение предшествовало ссылке. Это — неточность, извиняемая сжатостью рассказа Атталиота.

[3] *Psell.*, IV, 86–89, 133, 180; V, 129 (*Zon.*, IV, 152; *Ephr.*, 134); *Cedr.*, II, 536. *Манасси* (262, 263) говорит о двух царицах, Зое и Феодоре, что обе они были

Дальнейшая история народного бунта и ослепления Калафата в изложении разных историков принимает различный вид. У одних (Пселл) руководящая роль в этом деле усвояется лицам, окружавшим Феодору, у других заметно желание перенести центр тяжести на саму Феодору (Атталиот), третьи положительно уверяют, что ослепление Калафата и другие меры приняты по приказанию Феодоры (Скилица, Аристакес Ластивертский, Дандоло), четвертые (Мехитар Айриванкский, Вардан Великий) действующую роль усвояют императрице Зое, пятые (Луп Протоспафарь) — Зое и Феодоре вместе, наконец шестые (Матвей Эдесский и Ибн-ал-Атир) на передний план выдвигают Константинопольского патриарха и дело получает под их пером характер борьбы между императором и патриархом.

Такое разнообразие оттенков не есть плод неверных представлений о предмете, но указывает на сложность элементов, так или иначе заявивших о себе в истории свержения Калафата. Приводя в порядок рассеянные у историков показания, мы не можем не заметить следующих особенностей.

1) В восстании против Калафата принимала участие знать, раздраженная противоаристократическим направлением внутренней политики. Пренебрежение Калафата к аристократии, предпочтение, оказанное им купцам и ремесленникам, усилило ненависть родовитых людей к незначительным по рождению представителям Пафлагонской династии. Количество недовольных возросло еще вследствие гонения, предпринятого Калафатом на родственников, бывших в силе в предшествовавшее царствование. Гонение, естественно, должно было повести к смещению многих должностных лиц, обязанных Иоанну Орфанотрофу и получивших от него места. Смещенные чиновники поступили в ряды оппозиции, и недаром дальновидные современники Калафата находили его ревность в преследовании родственников ревностью не по разуму; действительно, в известном отношении этим ослаблена была партия Калафата и увеличены силы его врагов.[1] Первой крупной ошибкой Калафата знать воспользовалась, чтобы отомстить за свое унижение и устранить с престола ненавистного плебея; за все, что сделал ей неприятного Калафат, знать отплатила той же монетой, и даже с излишком.[2]

2) Аристократия нашла энергичную поддержку в народной массе, раздраженной злоупотреблениями власти и традиционными приемами

сосланы, обе потом возвращены, но это — грубая ошибка, доказывающая только невнимание автора к источнику.

[1] *Attal.*, 12.

[2] *Psell.*, IV, 322–323.

византийской фискальной системы. Несмотря на то, что Калафат старался исправить грехи прежнего царствования и принес народу жертву в лице близких своих родственников, времени было слишком мало, чтобы уврачевать все язвы, заставить народ забыть о старом и проникнуться благодарностью к Калафату. Кроме того, гуманные мероприятия Калафата скользили, надо полагать, более по поверхности, не затрагивая существа государственной системы, рассчитаны были на то, чтобы задобрить народ, а не на то, чтобы создать действительное и прочное народное благополучие. Оттого людям, лучше Калафата понимавшим народный дух, легко было заставить непостоянных византийцев пренебречь благодеяниями и живо припомнить обиды. Это было тем легче, что Калафат не довел даже своего дела до конца, не все родственники были удалены — Константин-новеллисим оставался при царе, напоминая своим присутствием народу о всем, что он вынес от пафлагонян. Что в восстании против Калафата нашел себе исход народный протест против господствовавшей системы управления и лиц, ее поддерживавших, видно из того остервенения, с каким народ набросился на уничтожение всего, напоминавшего о податном гнете: народ, ворвавшись в казнохранилище, разграбил казенные деньги, разорвал писцовые книги, разрушил дома царских родственников, расхитил скопленное в них несправедливостями и слезами народными богатство, не пощадил даже основанных и роскошно украшенных пафлагонянами храмов.[1]

3) В восстании замечается также сильное влияние партии, приверженной к Зое. Существование этой партии Калафат имел случай заметить, прежде еще чем принять решительные меры относительно императрицы. Несмотря на то, что вопрос об удалении Зои был им предрешен, он, желая выведать настроение умов, спросил мнения у приближенных своих советников. Те разделились: одни были согласны с Калафатом, другие не одобряли его намерения. В числе первых был новеллисим Константин, хотя сам он впоследствии не хотел в этом сознаться. В числе последних были ученые астрологи, которым поручено было определить по положению звезд, следует ли удалить Зою, всего же более Константинопольский патриарх Алексий. Патриарх обнаруживал явную приверженность к Зое, и раздраженный Калафат вознамерился низвергнуть его с престола, о чем прямо объявил в манифесте к народу. В день ссылки Зои патриарху дан был приказ удалиться в монастырь, в Стеносе, и там ожидать дальнейших распоряжений — мера предосторожности, оказавшаяся

[1] *Psell.*, IV, 93; *Attal.*, 15; *Cedr.*, II, 539; *Matth. d'Ed.*, 73; *Arisdag.*, 54; Советы и рассказы византийского боярина XI в. // Ж. М. Н. Пр., 1881, август. С. 345.

бесполезной, так как патриарх успел своевременно возвратиться из монастыря и с самого начала бунта выступил защитником дела Зои.[1]

4) В такой же степени, как партия Зои, если еще не в большей, приняла участие в восстании и партия Феодоры, заявившая о себе еще при Константине VIII, агитировавшая в пользу Феодоры, к великому неудовольствию Зои, при Романе III, при Михаиле Пафлагоне не считавшая удобным возвышать голос, но теперь, при Калафате, после того как Зоя была сослана и пострижена и шансы сестер сравнялись, опять проявившая свою деятельность. Приверженцы этой партии действуют во время восстания весьма энергично, добиваясь возведения на престол Феодоры если не как самостоятельной императрицы, то как соправительницы Зои. В числе их можно считать патриция Константина Кавасилу[2] и вновь назначенных Феодорой должностных лиц, например, городского эпарха Никифора Кампанара.[3] На приверженцах двух партий — Зои и Феодоры, особенно последней, — лежит ответственность за то, что́ совершено во время бунта. Императрицы были только орудием в их руках.

Брожение началось немедленно после того, как совершилась ссылка Зои; оно быстро охватило весь город, проникло в мастерские, в семьи. По всему видно, что руководили делом и разжигали страсти искусные люди, старавшиеся всеми мерами, даже посредством женщин, подействовать на народное чувство и налегавшие главным образом на то, что худородный осмаливатель судов, Калафат, попрал клятву и устранил высокородную царицу, получившую престол по наследству от отца и деда. К утру понедельника 19 апреля народное настроение было достаточно наэлектризовано, чтобы прорваться при первом толчке. Утром эпарх города, патриций Анастасий, явился на площадь с царским воззванием — манифестом,

---

[1] *Psell.*, IV, 86–88; *Zon.*, IV, 152; *Cedr.*, II, 535–537 (*Glyc.*, 590). Скилица в числе лиц, требовавших удаления Зои, называет и Иоанна Орфанотрофа, писавшего будто бы в этом смысле письма к императору. Но это показание, стоящее в связи с неверным показанием Скилицы о способе вступления на престол Калафата, должно быть отвергнуто как неправдоподобное, хотя оно и повторяется исследователями, например, *Gfrörer*, 223. Степень участия патриарха в деле *Матвей Эдесский* (72–73) и *Ибн-ал-Атир* (у бар. Розена, 330) преувеличивают.

[2] При его участии Феодора вместе с Зоей провозглашена императрицей. Во время совместного царствования сестер он в награду получил важное назначение. См.: *Cedr.*, 537, 541.

[3] *Cedr.*, II, 537, 540. Что Кампанар носил имя Никифора, мы заключаем из списка императоров, помещенного у *Кодина* (ed. Bonn., 156). Нужно заметить, что в другом списке, составляющем продолжение *Георгия Монаха* (919), он называется Николаем.

в котором объяснялись причины, заставившие удалить Зою, народ призывался к верности престолу и обещались разные милости. Не успел эпарх кончить свое чтение, как в народной толпе кто-то закричал: «Не хотим ставропата Калафата иметь царем, желаем урожденную законную нашу матушку Зою» — и бросил камень. На этот крик народ ответил воплем: «Разнесем кости Калафата!» и бросился подбирать камни, ломать скамьи мелких торговцев, дабы с этим оружием идти на бой. Эпарх со своими спутниками едва успел спастись. Народ двинулся ко дворцу густой толпой, которая по пути с каждым шагом все более возрастала, увеличившись еще освобожденными народом из тюрем преступниками. В то время как небольшие отряды бросились разорять и грабить дома царских родственников, сплошная масса приблизилась ко дворцу и шумно стала заявлять свои враждебные действия. Калафат струсил, тем более что отряд его телохранителей оказался ненадежным и часть его перешла на сторону бунтовщиков. Упавший дух его был поддержан новеллисимом Константином, который при первых проявлениях народного брожения послешил к себе домой, собрал и вооружил свою челядь и с этим импровизированным войском явился на подмогу племяннику. Были также вооружены дворцовые прислужники, оказались случайно во дворце и некоторые настоящие воины, например, стратиг Катакалон Кекавмен, прибывший из Сицилии с вестями. Общими силами решились дать отпор взбунтовавшемуся народу и стали пускать камни из пращей, стрелы из луков и метательные дротики на всех пунктах, с каких напирал народ. Между тем обратились и к другому средству, чтобы утишить народную ярость, к устранению причины бунта. В то время, когда приверженцы Калафата отстреливались от толпы, быстроходное судно отчалило от дворцовой пристани на остров Принца и доставило во дворец Зою, облаченную в монашеское платье. Платье это с нее сняли, одели в порфиру,[1] вывели в царскую ложу большого театра и заставили говорить к народу успокоительные речи. Если бы удаление Зои было действительной и единственной причиной народного бунта, если бы в основе его не лежали другие, более глубокие побуждения, вызывавшие недовольство правительством в высших и низших слоях, если бы наконец, кроме партии Зои, не существовало еще партии Феодоры — то очень вероятно, что средство, *к которому обратился Калафат, восстановление Зои в прежнем положении*, успокоило бы народ. Но удаление Зои было скорее поводом, чем

[1] *Зонара* (IV, 153) говорит, что народу показали Зою μετημφίεσμένην (переоблаченной), и это еще более раздражило народ. Здесь, очевидно, недосмотр автора, пользовавшегося Пселлом.

причиной бунта, с ее возвращением настоящие причины не были устранены, и потому бунтовщики не успокоились, — потеряв в лице Зои свой лозунг, они обратились за лозунгом в другую сторону. В то самое время, когда народные страсти разгорались и прорывались наружу в насильственных действиях, храм Св. Софии сделался центром более спокойной и обдуманной агитации. Сюда явился патриарх Алексий, около него сгруппировался кружок приверженцев Зои и стал воздействовать на толпу, требуя возвращения ее из ссылки. Когда же Зоя была возвращена, над этим кружком ее приверженцев, в том же храме Св. Софии, взяла перевес партия Феодоры, требовавшая, чтобы Феодора была вызвана из монастыря и возведена на престол. Так как это требование давало возможность продолжить и довести до конца оппозицию против Калафата, то к нему склонились даже приверженцы Зои, войдя с приверженцами Феодоры в компромисс: между ними условлено было провозгласить царицами обеих сестер. Снаряжена была депутация в Петрий, к Феодоре, во главе депутации стоял какой-то иностранец, человек не греческой крови, служивший некогда Константину VIII и достигший своей храбростью, удачами и прекрасным характером уважения греков. После некоторых колебаний, возбужденных в Феодоре предстоявшей перспективой вновь окунуться в круговорот политической жизни, она отдалась в руки депутации, усажена была на лошадь и с торжеством доставлена в храм Софии. Это было в понедельник, поздно вечером, и Феодора, ничего в тот день не предпринимая, отправилась почивать в патриаршие покои.

На следующий день, утром, Феодора, объявив Калафата низложенным с престола, назначила, как императрица, новых должностных лиц, в том числе эпархом столицы Никифора Кампанара. Между тем вооруженное восстание народа продолжалось и с утра вторника война против Калафата и придворных началась с новой силой, с тем лишь различием, что она велась уже под прикрытием имени Феодоры и в нее внесена бóльшая правильность: осаждавшие дворец подошли с шумом и криком, но вместе с тем при звуках труб и рожков. Против этого напора ворота дворца не устояли, толпа проникла во дворец и стала производить опустошения. Калафат со своим дядей Константином и некоторыми приверженцами поспешил сесть на судно и отплыть в Студийский монастырь, ища в нем убежища. Зоя была покинута во дворце. Междоусобная война кончилась, унеся с собой немало жертв.[1] Узнав об ее исходе и о том, куда бежал

[1] По словам Скилицы (*Cedr.*, II, 539), погибло около 3000 человек. Это показание дóлжно понимать в самом общем смысле. Число 3000 слишком часто фигурирует в византийских бунтах. *Финлей* (I, 497) не без остроумия заметил, что

экс-император, лица, окружавшие Феодору, немедленно отрядили караул для наблюдения за бежавшими. Начальствовал над отрядом какой-то аристократ, друг Пселла. Это обстоятельство дало возможность Пселлу сопровождать посланных, видеть в церкви Студийского монастыря беглецов, беседовать с ними. Пселл передает, что Константин-новеллисим держал себя спокойно и объявил, что он не принимал участия в том зле, за которое постигла теперь кара; Михаил Калафат, напротив, плакал, отчаянно вопиял, хватался за св. престол и требовал от монахов, чтобы его поскорее облачили в схиму. Оба, и он, и его дядя, были пострижены. К вечеру явился в Студийский монастырь новый эпарх, Никифор Кампанар, с поручением от Феодоры взять Михаила и Константина и перевести их в другое, более надежное место. Те добровольно не хотели сдаться, несмотря на заверения, что им не сделают ничего дурного, пришлось силой оторвать их от св. икон. Монахи, не имея возможности сопротивляться такому нарушению права убежища, обязали только эпарха клятвенным обещанием, что со взятыми из храма не будет поступлено дурно. Эпарх повел взятых им в сопровождении студийских монахов и громадной толпы народа, которая громко выражала свою ненависть и издевалась. Едва они успели пройти небольшое пространство и дойти до места, называемого Сигма, как навстречу попались палачи с орудиями для ослепления. Новеллисим Константин и тут не потерял присутствия духа, сам первый лег на землю без малейшего звука, без жалобы, и когда палач один за другим пронзил ему оба глаза, он встал, оперся на руку одного приближенного к себе человека и стал беседовать с окружающими. Калафат же потерял всякое самообладание, ломал руки, хватался за голову, стонал, умолял о пощаде, — палач должен был связать его, чтобы он не барахтался при совершении казни, и потом уже ослепил. На следующее утро, в среду 21 апреля,[1] ослепленные провезены были на мулах[2] по улицам

это число у византийцев, для которых перевод 70-ти и Илиада были главными источниками литературного вдохновения, намекает на 3000 израильтян, убитых левитами (*Исх.* XXXII, 28) за поклонение золотому тельцу.

[1] Так мы примиряем с другими источниками Скилицу, который растягивает бунт на полных два дня, а удаление Калафата в Студийский монастырь относит к утру среды, относя к этому же дню, 21 апреля, его ослепление и ссылку. В «Советах и рассказах византийского боярина» / / Ж. М. Н. Пр., 1881, август. С. 347, указан и час ослепления — 3-й дня, т. е. 9 часов утра.

[2] *Атталиот* (17) говорит, что посажены были на мулов тотчас по выходе из монастыря, потом стащены с мулов и ослеплены. Но это — неточность, исправляемая Пселлом и Скилицей.

столицы и отправлены в ссылку. Михаил Калафат сослан в монастырь Элегмон. Всего он царствовал 4 месяца и 5 дней (считая до дня народного бунта) или 7 дней (считая до момента его ослепления и ссылки).[1]

После свержения Калафата оказалось две императрицы: одна во дворце, другая в Софийском храме. Предшествующие обстоятельства были не таковы, чтобы поселить в сестрах, Зое и Феодоре, дружелюбное расположение — отношения между ними при Романе III не могли не оставить после себя мрачного воспоминания. Неприязнь сестер была хорошо известна окружающим, и ослепление Калафата отчасти этим обусловливалось. Приверженцы Феодоры понимали, что Зоя из ненависти к сестре готова кого угодно возвести в императоры, только бы не допустить Феодоры. Опасаясь, чтобы Зоя не восстановила с этой целью Калафата в императорском достоинстве, они распорядились ослепить его.[2] Мысль о разделении власти между обеими сестрами должна была обнаружить эгоистические намерения каждой стороны: сестры колебались, от них колебание сообщилось их приверженцам. Была минута, когда соглашение, состоявшееся между партиями в храме Св. Софии, готово было разрушиться. Однако же оно было сохранено, Зоя должна была уступить и согласиться на разделение власти с сестрой.[3] С 21 апреля Зоя и Феодора,

---

[1] *Psell.*, IV, 91–95, 97, 100–103 (*Zonar.*, IV, 152–154; *Manass.*, 264; *Georg.*, 877, 919; *Ephr.*, 134); *Psell.*, V, 130; *Attal.*, 13–17; *Cedr.*, II, 537–540 (*Glyc.*, 589–592; *Ioel*, 62–63); *Codin.*, 156; *Arisdag.*, 53–54; *Matth. d'Ed.*, 72–73; *Вардан*, 123; *Mkhithar d'Airiv.*, 91; *Lup. Prot.*, 58; *Anon. Bar.*, 325–326; *Guil. Apul.*, 251; *Rom. Sal.*, 168; *Dandolo*, 245. Время царствования у некоторых греческих писателей обозначается круглым счетом: 4 месяца (Глика, Манасси, Продолжатель Георгия), 5 месяцев (Атталиот). У иностранных писателей неверно: 5 месяцев (Анон. Барийский), 6 месяцев (Аристакес), даже более года (Ромуальд Салернский). Вардан Великий и Мехитар Айриванкский дополняют рассказ об ослеплении легендарной подробностью, что на месте ослепления Калафата найден камень с надписью «Здесь помрачится царь». Константин Мономах, по вступлении на престол, перевел Калафата из монастыря Элегмона на остров Хиос, а Константина-новеллисима на Самос. См.: *Cedr.*, II, 543.

[2] Так вполне правдоподобно излагает дело *Пселл* (IV, 101–102). У *Скилицы* (*Cedr.*, II, 539–540) оно представлено в лицах. Роль партии Феодоры перенесена на саму Феодору и говорится, что когда она прибыла во дворец и поставлен был вопрос, как поступить с Калафатом, Зоя отказалась его казнить, но Феодора приказала эпарху Кампанару ослепить. Неверность такого представления видна уже из того, что а) ослепление Калафата совершилось до прибытия Феодоры во дворец, а не после, б) эпарху Кампанару поручение ослепить Калафата не было даваемо, оно возложено на каких-то *палачей*.

[3] *Psell.*, IV, 103–104; *Zon.*, IV, 134; *Cedr.*, II, 540.

сойдясь во дворце, стали управлять государством вместе и управляли месяц и 22 дня.[1] Все делалось от имени цариц, которые в свою очередь все делали и говорили с подсказок приближенных. Зоя имела, как старшая сестра и много уже времени занимавшая императорский престол, преимущество чести и власти перед Феодорой: на троне сидела выше ее, имя ее ставили впереди.[2] Пользуясь таким положением, Зоя могла вполне удовлетворять своей страсти к расточительности.[3]

Недолго однако же это продолжалось. В среде лучших людей выработалось убеждение, что мало будет пользы для государства, если политику заменят забавами гинекея, если казна вместо нужд государственных будет расходоваться на женские прихоти, и если сильная мужская рука не поддержит честь государства извне и внутри. Убеждение это мало-помалу сделалось общим: все, за исключением тех, чьи интересы выигрывали от женского управления, стали говорить, что необходимо которой-нибудь из императриц избрать мужа и возвести его на трон. В вопросе, кому эта честь должна принадлежать, опять две партии разошлись: партия Зои доказывала, что выбор мужа должен быть предоставлен ей, как имеющей первенство чести и власти; партия Феодоры защищала свою патронессу, указывая на то, что она была орудием спасения государства от тирана, Калафата, и что, кроме того, она не была еще замужем. Отвращение Феодоры от супружеской жизни и ревнивый эгоизм Зои, боявшейся выпустить из рук влияние, решили дело. Признано необходимым, чтобы сочеталась третьим браком 64-летняя Зоя и оставалось только приискать ей жениха.[4]

---

[1] Считая до дня коронации Мономаха, 12 июня 1042 г. См.: *Cedr.*, II, 542. *Глика* (592), делая неверный расчет, говорит, что Зоя и Феодора царствовали 1 месяц (дни забыты). *Пселл* (IV, 113 (*Zon.*, IV, 157; *Codin.*, 156)) замечает, что царствование цариц окончилось на третьем месяце, очевидно, имея в виду не продолжительность времени, а названия месяцев: царствовали в апреле, мае, июне, и на последнем (третьем) месяце царствование прекратилось.

[2] *Psell.*, IV, 105, 109.

[3] *Psell.*, IV, 108.

[4] *Psell.*, IV, 108–109. *Зонара* (IV, 155), пользующийся Пселлом, передает его мысль таким образом, что Зоя решилась выйти замуж или из пожелания мужа, или из опасения, чтобы власть не перешла к одной ее сестре, поскольку некоторые нашептывали Феодоре, что ей одной подобает царствовать, как виновнице низложения тирана. Этот малоосмысленный перифраз текста Пселла Зонарой ввел в заблуждение *Лебо* (XIV, 316) и *Гфрёрера* (III, 230–231), по словам которых: а) сама Зоя *первая* пришла к мысли, внушенной затем приближенным, о необходимости выйти ей замуж, чтобы иметь императора, б) это было для нее

Взоры прежде всего обратились на старого знакомого, Константина Далассина, которого еще Константин VIII прочил себе в зятья, который страдал за свою кандидатуру при Пафлагоне и был пострижен при Калафате. С Далассина сняли монашеское платье и привели к Зое. Началась беседа. Далассин распространился на тему об идеалах царя, о планах и намерениях, каких он держался бы; речи его показались слишком возвышенными, суждения слишком резкими и суровыми — не такой требовался царь для легкомысленной Зои и ее евнухов! Далассин был отослан.[1] Тогда Зое указан был другой кандидат, не чуждый ей по воспоминаниям. Был некто катепан Константин, по роду службы прозванный Артоклином. Невысокого он был происхождения, но красивой наружности. При Романе III он служил в императорской канцелярии, понравился Зое, был ею приближен, и злые языки утверждали, что пользовался ее благосклонностью. Роман был глух к сплетням, но преемник его, Михаил Пафлагон, счел нужным удалить Артоклина под предлогом какого-то почетного назначения. Этот-то Артоклин был приглашен для беседы с Зоей и произвел приятное впечатление как на нее, так и на ее приближенных. Решено уже было, что Зоя сочетается браком с Артоклином. Но у Артоклина была живая жена и, на беду, она была не так кротка и самоотверженна, как первая жена Романа III. Не желая, чтобы муж ее принадлежал другой женщине, она предпочла его отравить.[2] После такой неудачи Зоя обратилась к третьему кандидату, Константину по прозванию Мономаху, о котором она тоже хранила в душе сладостные воспоминания.[3]

Род Мономахов,[4] несмотря на то, что историки называют его и древним, и знаменитым, не восходит, по нашим сведениям, выше конца

средством предотвратить единодержавное правление сестры. Что касается возраста Зои при выходе в третий раз замуж, то оба писателя ошибаются: Лебо говорит, что ей было 62 года (это повторяют *Герцберг*. Gesch. d. Byzant., 217, и *Финлей*, I, 499), Гфрёрер — 65 лет.

[1] *Psell.*, IV, 108–110 (*Zon.*, IV, 155).

[2] *Psell.*, IV, 110 (*Zon.*, IV, 155); *Cedr.*, II, 541–542 (*Zon.*, IV, 156; *Glyc.*, 593).

[3] Армянский историк *Вардан Великий* (131) говорит еще об одном кандидате. По его словам, когда Какиг, владетель города Ания, отправился в Константинополь, Зоя стала сильно упрашивать его принять греческую веру, жениться на ней и царствовать в Греции; но он не согласился. Это показание мы относим к разряду легендарных.

[4] В похвальном слове Лихуду *Пселл* (IV, 398–399) делает риторическое применение этого прозвища к Константину Мономаху: μόνος τοῦ κράτους προκινδυνεύσας, καὶ ὑπὲρ πάντας ἀξιόμαχος γεγονὼς καὶ ὑπὲρ τῆς κοινῆς τοῦ γένους *μονομαχήσας* εὐκλείας, κἀντεῦθεν τὴν ἐπωνυμίαν ὥσπερ ἀριστεῖον ἀνειληφὼς (он один впереди всех

X в.[1] Из предков Константина Мономаха мы знаем только его отца, Феодосия, который занимал важную должность в центральном управлении (был чем-то вроде министра юстиции) и замешан был в каком-то заговоре. Участие отца в заговоре было причиной того, что Василий II и Константин VIII не давали его сыну, Константину Мономаху, большого движения по службе. Впрочем, в момент смерти отца он был уже сенатором. Кроме Константина Феодосий оставил и других детей.[2] Возвышению Константина Мономаха способствовало то, что он по смерти первой своей жены, неизвестной по имени и происхождению, женился на второй, племяннице Романа Аргира, дочери Василия Склира и Пульхерии. Роман Аргир, вступив на престол, принял зятя ко двору, приблизил к себе, и Мономах вошел в силу если не по официальному своему положению, то по близости к царю. Как мужчина красивый и краснобай большой руки, он пользовался также милостями Зои, и придворная сплетня не без основания считала их отношения слишком интимными. На этих отношениях у Мономаха были построены честолюбивые планы на царский престол. Преемник Романа, Михаил Пафлагон, или, лучше сказать, его брат, Иоанн Орфанотроф, проник в эти планы и нашел основание отправить его в ссылку в город Митилину на острове Лесбосе. Жизнь его на острове была тяжелая: в материальных средствах он был стеснен, в судьбе своей не был уверен, ждал, что его ослепят, и подумывал даже о пострижении в монашество. Одно только было у него утешение и поддержка: нежная преданность Склирены, племянницы его второй жены. По смерти второй жены, случившейся, по-видимому, еще до ссылки, Мономах вступил в связь с этой Склиреной, женщиной, обладавшей не столько красивой наружностью, сколько очаровательными нравственными качествами, утонченным умом и умением вести изящный, пересыпанный остротами разговор. Она до такой степени привязалась к Мономаху, что последовала за ним в ссылку, ухаживала за ним,

---

сражался за Империю, стал достойнейшим борцом, вступил в единоборство за славу всего отечества и за это в награду стяжал свое прозвание). Отсюда однако же нельзя заключать, что прозвище «Мономах» означало индивидуальное качество Константина IX, как полагает Гиббон, основываясь на значении слова. Это было прозвище родовое, первоначально, может быть, заимствованное и от личного качества — только не Константина IX.

[1] *Attal.*, 47; *Psell.*, IV, 110; V, 107.

[2] У Константина Мономаха было две сестры: Елена и Евпрепия. См.: *Psell.*, IV, 149, 190–191. Были у него также братья. См.: *Cedr.*, II, 556. Был еще племянник по матери (ἐξανεψιός ἐκ μητρικῆς ῥίζης, *Psell.*, IV, 149) — Лев Торник.

утешала, поддерживала бодрость и разогревала его мечты о царском престоле, соединяя с ними и собственные свои надежды на возвышение. Так прожил Мономах время царствования Пафлагона и Калафата. Зоя, получив самостоятельность после свержения Калафата, не забыла о бывшем своем фаворите, и в то время как предполагалось ее бракосочетание с Артоклином, назначила Мономаха судьей в Элладу.[1] Но не успело еще это назначение дойти до Мономаха или, по крайней мере, не успел Мономах им воспользоваться, как Артоклин умер. Тогда Мономах был вызван из Митилины в Византию как кандидат на руку Зои и на царский престол. Ему приготовлена была торжественная встреча, и он въехал в столицу при царской обстановке. 11 июня совершено было одним протопресвитером, по имени Стипа, бракосочетание Зои с Мономахом (потому что патриарх уклонился от венчания троебрачных), а на другой день, 12 июня, Мономах был коронован патриархом.[2] Для того чтобы сгладить в народе впечатление, какое мог произвести этот предосудительный брак, Зоя сама объявила его в манифесте делом, не достойным своей особы, таким, на которое она пожертвовала собой в видах поддержания мира в Империи.[3]

После вступления Мономаха на престол, с сестрами — Зоей и Феодорой — не повторилось ничего похожего на историю прежнего времени: они не были ни удалены, ни стеснены. До 1050 г. Константин Мономах царствовал в сообществе с ними обеими: Феодора в глазах современников разделяла бразды правления со старшей сестрой Зоей и ее мужем,[4] она являлась народу рядом со своей сестрой[5] и могла самостоятельно делать важные распоряжения.[6] Когда в 1050 г. 72-летняя Зоя сошла в могилу, Мономах стал управлять совместно со своей свояченицей,

---

[1] δικαστὴν Ἑλλήνων.

[2] *Psell.*, IV, 110–113, 126, 129–130 (*Zon.*, IV, 156, 158; *Glyc.*, 593; *Manass.*, 265); *Psell.*, V, 133–136; *Attal.*, 18; *Cedr.*, II, 542 (*Zon.*, IV, 156–157; *Glyc.*, 593; *Ioel*, 63; *Codin.*, 167); *Arisdag.*, 55–56; *Вардан*, 123. Из западных писателей год воцарения Мономаха правильно (1042) указан *Лупом* (58); другие же или опаздывают, например, 1040 г. по *Rom. Sal.* (168), или поспешают, например, 1043 г. по *Sigeb.* (358). *Ибн-ал-Атир* (у бар. Розена, 331) говорит о замужестве Зои и о денежном вознаграждении, обещанном Феодоре.

[3] *Arisdag.*, 56.

[4] PG. CXX, 1168, 1170.

[5] Например, во время бунта по поводу Склирены (*Cedr.*, II, 556) и во время триумфа по поводу победы над Маниаком (*Psell.*, IV, 143 (*Zon.*, 162)).

[6] Это видно из неуверенности, с какой историк говорит об ослеплении Иоанна Орфанотрофа. См. выше, с. 162, прим. 1.

Феодорой,[1] и в официальных бумагах говорилось во множественном числе не об императоре, а об императорах.[2] Мономах в своих поступках применялся к ее желаниям и не решался идти вразрез с ее настроением.[3] Такое положение вещей обусловливалось тем обстоятельством, что Константин Мономах не был ревнив к власти и охотно предоставлял государственные заботы другим, для себя избирая занятие, которое было сродно ему по характеру.

Константин Мономах между коронованными особами может служить типичным выражением беззаботного и легкого отношения к жизни и к обязанностям. Целью человеческого существования он считал жизнь веселую, исполненную наслаждений и удовольствий, огражденную от всего, что может навести серьезную думу и омрачить облаком заботы светлое душевное настроение. На императорский престол он смотрел только как на средство достигнуть этой цели. Вступив на престол, он рассудил, что после житейских треволнений, обуревавших его до сих пор, достиг царственной пристани, что пора отдохнуть и пожить. Всякий намек на труд и требующую умственного напряжения мысль стал ему противен. Для него приятен был лишь тот человек, который являлся с веселым взором, готов был говорить о вещах забавных и на будущее смотреть в розовом свете. Если кому необходимо было беседовать с ним о серьезном деле, то для успеха он непременно должен был начать речь с пустяков и потом как-нибудь перейти к серьезному. Царский почет, всевозможные церемонии, требующие некоторой сосредоточенности и работы, невысоко им ценились; для него гораздо было приятнее вместо того весело поболтать, посмеяться, позабавиться с шутами. И чем более разнообразия, тем лучше: сосредоточиться на чем-нибудь одном для него было величайшей пыткой. Нрав его был крайне переменчивый, увлекающийся и не знавший середины: если кого любил, то любил без меры, открывал в любимом человеке необыкновенные достоинства и заслуги; если ненавидел, то безгранично, дурные качества преувеличивал, выдумывал небывалые недостатки и не ценил никаких доблестей; он не был верен самому себе, во взглядах не был постоянен, в разное время думал различно, смотря по впечатлению и настроению минуты. В удовлетворении плотских удовольствий и прихотей не знал предела, не щадил на это никаких средств, государственная

---

[1] *Lup. Prot.*, 59.

[2] Например, 1054 г. в акте отлучения, произнесенном папскими легатами. См.: PG, CXX, 744.

[3] Например, в своих отношениях к любовнице-аланке. См.: *Psell.*, IV, 177 (*Zon.*, IV, 179).

казна таяла под его рукой как снег. Всласть попить и поесть было для него делом далеко не второстепенным; но еще выше стояли любовные утехи.[1]

Сначала любовью его пользовалась Склирена. Тотчас по въезде в столицу, с первого свидания с Зоей, Мономах стал говорить о своей фаворитке как о женщине несравненной души, разделявшей его несчастья и горе. Сестра его, Евпрепия, советовала быть на этот счет осторожнее с императрицей, но осторожность была не в характере Мономаха. Зоя, по летам не могшая быть особенно ревнивой и, как сама испытавшая горе, понимавшая чувства других, согласилась с тем, что женщина, проявившая такую доброту сердца в отношении к ближнему, постигнутому несчастьем, заслуживает награды. Склирена в первые же месяцы[2] царствования Мономаха была вызвана в Византию. Сначала Мономах старался соблюсти приличие, поместил ее отдельно и посещал под благовидным предлогом. Потом приличия были забыты. Император убедил свою жену допустить Склирену на житье во дворец. Зоя сделала больше: она заключила со Склиреной формальный союз дружбы, добродушно подшучивала над ее отношениями к Мономаху и без тени дурного чувства, встречаясь с ней в присутствии Мономаха, разговаривала о предметах, интересных для женщин. Склирена после переселения во дворец окружена была почетом, ей присвоен титул севасты, в торжественных случаях она занимала третье место вслед за Зоей и Феодорой. В будущем перед ее мысленным взором предносился даже царский престол, и Мономах был уверен, что он доставит своей подруге это высшее в мире отличие; но бессердечная природа не дала осуществиться его уверенности — у Склирены обнаружилась чахотка и она умерла еще раньше, чем умерла императрица Зоя.[3]

Смерть Склирены поразила Мономаха в самое сердце, но не изменила его наклонностей. Он стал искать утешения и увлекся молодой дочерью одного аланского (грузинского) князя, которая проживала в Византии в качестве заложницы и пленила императора блеском своей кожи и красивыми глазами. Прельщенный ею еще при жизни Зои,[4] Мономах сначала

---

[1] *Psell.*, IV, 118–119, 125–126, 183–187, 190, 193, 199–200 (*Zon.*, IV, 157; *Ephr.*, 135); *Attal.*, 47; *Arisdag.*, 101–102.

[2] Не позже августа 1042 г., потому что в августе состоялось решение об отозвании Маниака, под влиянием Романа Склира, а влияние последнего опиралось на сестру Склирену.

[3] *Psell.*, IV, 127–130, 134 (*Zon.*, IV, 159–160). Умерла она не раньше марта 1044 г., потому что в это время было еще возмущение по ее поводу.

[4] У *Муральта* (640) неправильно поставлено под 1054 г.

таился, но когда Зоя умерла, открыто стал обращаться с ней как со своей невестой, создал ей почетную обстановку и дал титул севасты.[1] Мономах тогда представлял собой лишь слабое подобие того, чем он был в годы цветущей молодости, когда никто не мог сравниться с ним ни красотой, ни крепостью мышц, ни ловкостью в состязаниях. Уже через год по вступлении на престол, под влиянием прелестей царской жизни, как их понимал и как ими пользовался Мономах, телесная сила его оставила, жестокая подагра стала хронически посещать его через короткие промежутки времени. Болезнь искривила императору ноги, руки и плечи, он не мог стоять прямо, а тем более ходить, всякое передвижение соединено было со страданием, говорить было трудно, повернуть глаза больно.[2] Тем не менее император приказывал усадить себя в носилки, и носильщики, в сопровождении свиты, несли его к его очаровательнице-аланке. Эта аланка благополучно процветала и разоряла государственное казначейство до самой смерти Мономаха, после чего она из севаст опять превратилась в простую заложницу.[3]

Эротические забавы Константина Мономаха представляют интерес не только в смысле характеристики его личности, но также потому, что они имели политическое значение, отразились на экономическом состоянии государства и стояли в связи с некоторыми из народных возмущений против Мономаха.

Возвышение Склирены дало возможность усилиться при дворе ее родственникам, во главе их брату Склирены, Роману Склиру. Родственникам Мономаха, рассчитывающим нераздельно управлять им, и прежде всего его сестре, Евпрепии, это не могло быть приятно и их неудовольствие нашло исход в протесте, который заявляла Евпрепия, начиная с той минуты, как Мономах решился вызвать Склирену ко двору. Протест не ограничился придворной сферой. Связь Мономаха со Склиреной, оскорбительная для нравственного чувства подданных, вызвала возражения со стороны представителей нравственности — подвижников, и о монахе Студийского монастыря Стифате известно, что он был противником этой связи, хотя его укоризны не имели успеха. Но и этим не ограничилось. Недовольство проникло в народную массу, причем, можно думать, не без влияния оставались слухи, распространенные кем-нибудь из лиц близких ко двору и знакомых с действительным положением вещей, всего вероятнее приверженцами Евпрепии, рассчитывавшими произвести

[1] *Psell.*, IV, 173, 177–178 (*Zon.*, IV, 179).
[2] *Psell.*, V, 107, 116; IV, 163–166 (*Zon.*, IV, 179); *Attal.*, 35.
[3] *Psell.*, IV, 178–179.

давление на Мономаха с помощью народа и побудить его удалить Склирену. Не подлежит сомнению, что у Мономаха была мысль возвести с течением времени свою фаворитку на императорский престол. Мысль эта не укрылась от Евпрепии и ее партии. Кто-нибудь из этой партии, зная упроченную временем привычку византийцев к Македонской династии, мог воспользоваться добытым сведением и распространить слух об опасности, грозящей царицам от Склирены. 9 марта 1044 г. Мономах отправился в сопровождении свиты из своего дворца в храм Спасителя в Халке с намерением проехать оттуда в храм св. 40 мучеников, память которых в тот день праздновалась. По пути в Халку вдруг в толпе раздался голос: «Мы не хотим иметь царицей Склирену и не допустим, чтобы через нее умерли наши матушки (μᾶνναι), порфирородные Зоя и Феодора». Толпа заволновалась и хотела схватить царя. Смятение было укрощено лишь тем, что Зоя и Феодора, выйдя на балкон, стали успокаивать народ. Мономах возвратился во дворец, отложив до другого времени посещение храма св. мучеников.[1]

Усиление при дворе партии Склирены было также одним из побуждений к возмущению Маниака. Георгий Маниак был личный враг Склиров. Имения его лежали в феме Анатолике, по соседству с имениями Склиров, и между соседями часто происходили столкновения. Роман Склир довел свою вражду до того, что, желая нравственно унизить противника, опозорил его жену. Так как вторая жена Константина Мономаха была дочерью Склира, то нет ничего невероятного, что и он принял участие в этой вражде двух домов.[2] Вступление на престол Мономаха застало Маниака в Италии, куда он был отправлен Михаилом Калафатом. Роман Склир, опираясь на свое влияние при дворе, достиг того, что Маниаку была послана отставка и на его место назначен в Италию византиец, протоспафарий Пард. Решение состоялось в августе 1042 г., а в сентябре Пард прибыл уже в Италию. Положение Маниака было крайне щекотливое: он знал, что это — только первый шаг со стороны врагов, захвативших в свои руки силу, впереди можно ожидать еще худшего. В этой крайности он не нашел ничего лучше, как выступить конкурентом Мономаху и искать престола. Личная храбрость Маниака, который своим гигантским ростом, львиной силой и громоподобным голосом внушал ужас неприятелю

[1] *Cedr.*, II, 556 (*Glyc.*, 595).

[2] *Attaлиот* (18) замечает, что у Маниака были неприятности с Мономахом еще до его воцарения. Но в свидетельстве *Вильгельма Апулийского* (251), что Мономах и Маниак были враги, потому что один изнасиловал подругу другого, на Мономаха, очевидно, перенесено то, что относится к Роману Склиру.

и не иначе сек мечом, как разрубая до половины туловище неприятеля, популярность, приобретенная храбростью в среде войска, наконец, сознание превосходства перед Мономахом, все это заставляло его смело идти навстречу судьбе. Маниак захватил Парда вместе с деньгами, которые тот с собой привез, умертвил его и провозгласил себя императором. До февраля 1043 г. он оставался в Италии, а в феврале, посадив войска на корабли, переплыл к Диррахию и оттуда переправился к Фессалонике, под стенами которой пробыл два дня.[1] Испуганный Мономах сначала сделал попытку склонить Маниака добровольно сложить оружие и грамотой обещал ему всевозможные милости. Но Маниак обещаниям не поверил. Тогда отправлено было войско под предводительством евнуха Стефана Севастофора, в звании стратига-автократора. Маниак встретил это войско и сразился. Хотя царская армия была многочисленна, однако же она не могла устоять против отрядов Маниака, впереди которых постоянно был сам Маниак, одним своим видом парализовавший в противниках желание сражаться. Ряды царских войск расстроились и повернули тыл, Маниак стал их окружать и отрезать отступление. В эту минуту неизвестно кем[2] пущенная стрела поразила Маниака в правый бок, он упал с лошади, враги сейчас же его окружили и отрубили голову, с которой потом евнух Стефан совершил свой триумфальный въезд в столицу.[3]

Стефан Севастофор, пожавший малозаслуженные лавры в войне с Маниаком, спустя пять месяцев после отпразднованного триумфа сам пострадал за участие в заговоре. Он был обвинен в том, что желал возвести на императорский престол стратига Мелитины, патриция Льва Лампроса.

---

[1] *Аристакес* (57), говоря, что Маниак проник до ворот столицы, многих заставил признать свою власть и трижды с позором прогонял выходившее против него войско, смешивает, вероятно, возмущение Маниака с возмущением Торника.

[2] Неожиданность, с какой Маниак, благодаря необъяснимому случаю, был поражен, послужила поводом к появлению легенды об участии в этом деле сверхъестественной силы. Легенда была в ходу и у греков, и у армян. Сверхъестественная сила представлялась в виде звезды, упавшей будто бы на голову Маниака, в виде всадника на белом коне, или ангела, сошедшего с неба.

[3] *Psell.*, IV, 137–143 (*Zon.*, IV, 161–162; *Ephr.*, 135); *Psell.*, V, 139; *Attal.*, 18–19; *Cedr.*, II, 547–549 (*Glyc.*, 594; *Manass.*, 267; *Georg.*, 879); *Arisdag.*, 56–57; *Matth. d'Ed.*, 75–76; *Ибн-ал-Атир*, у бар Розена, 331; *Lup. Prot.*, 58; *Guil. Ap.*, 251–253. У *Амата* (39, 41) о Маниаке сообщается извращенное сведение, будто константинопольская императрица разошлась с мужем и вызвала в мужья Маниака; Маниак поспешил в Византию, а когда прибыл, то был жестоко убит, потому что к тому времени император и императрица помирились.

В июле 1043 г. евнух был пострижен в монахи, имущество его конфисковано и он отправлен в ссылку. Несчастный же Лев Лампрос[1] подвергнут был жестокой пытке, ослеплен и с позором был возим по улицам столицы; спустя некоторое время он умер, не вынеся страданий.[2] Этот заговор — дело темное, чем он был вызван — трудно сказать. Можно, впрочем, догадываться, что зависть и клевета играли не последнюю роль в участии евнуха Стефана: его лавры не давали покоя завистливым царедворцам,[3] и те не прочь были поуменьшить его торжество.

Самое сильное и опасное восстание против Константина Мономаха было произведено Львом Торником в 1047 году. Сила и опасность его обусловливались тем, что оно примыкало к тем элементам разделения, которые издавна существовали в византийском государстве и были так грозны. В этом восстании нашла для себя выражение противоположность между западной и восточной, европейской и азиатской половинами государства — противоположность, заявлявшая о себе еще при Романе III. Македонская партия не переставала питать недовольство по поводу того, что влияние не попадало в ее руки. При Мономахе, выходце с Востока, значение ее не могло усилиться сравнительно с прежним временем. Оттого на Западе постоянно был готовый материал для образования противоправительственного движения; ожидалось только удобное время и повод. При Мономахе македонская партия сгруппировалась вокруг Льва Торника. Род Торников, если даже допустить, что он вышел из Великой Армении,[4] совершенно акклиматизировался в Македонии и имел недвижимую собственность в Адрианополе. На Льва Торника с юных лет возлагались надежды, что он явится представителем македонской партии и, взойдя на престол, даст ей перевес. Двигателями заговора Торника являются македоняне, силы заговорщиков набираются в Македонии, базисом военных предприятий служит Адрианополь. Войска заговорщиков опасаются только восточного войска, движение и было подавлено восточным войском. К македонянам примкнуло отчасти славянское население.

---

[1] *Лебо* (XIV, 330) и *Гфрёрер* (III, 277), введенные в заблуждение неясностью слов Скилицы—Кедрина, делают из одного лица два различных и говорят, что Лампрос ослеплен, а Лев бежал.

[2] *Attal.*, 20; *Cedr.*, II, 550.

[3] *Attal.*, 20: ζηλωτὸς πᾶσι καὶ περισπούδαστος ἐγνωρίζετο (...был окружен завистью и интригами).

[4] Торники появляются в сер. X в. Родоначальником их некоторые (*Гфрёрер*, III, 385–389, 453) считают армянина Абуганема, который при Льве VI сватался к дочери протоспафария Константина.

В войске Торника были, кроме греков, «варвары»,[1] под которыми разумеются болгары;[2] они, согласно своему обычаю, сопровождают провозглашение Торника императором поднятием на щит.[3] Впрочем, болгары не с полным единодушием стояли за Торника. Тогда как одни помогали его предприятию, другие были на стороне Мономаха. Когда послано было против бунтовщиков восточное войско, оно поддержано было болгарским отрядом, ударившим мятежникам в тыл.[4] Кроме разделения между Западом и Востоком, во время восстания Торника заявил о себе еще один весьма важный элемент разъединения, которому суждено было со всей силой обнаружиться несколько позже (по смерти Феодоры), но который и теперь имел уже большое значение — это именно разъединение между сословиями мирных граждан и воинов. Мономах, любивший и ценивший удобства мирной жизни, невысоко ставил военное дело. Он сам был неискусен в войне и не уважал искусства других. Его окружали люди, лишь теоретически знакомые с военной тактикой, не бывшие военачальниками и не искусившиеся на военном поприще. Деньги, которые должны были идти на содержание войска, Мономах расходовал на свои удовольствия. При нем войско было в пренебрежении, неисправно получало содержание, множество воинов, почерпавших в военной службе средства к жизни, оказалось не у дел. Все это должно было возбудить неудовольствие в военном сословии против Мономаха, а вместе с тем зависть и недоброжелательство против мирных граждан, из среды которых выходили советники Мономаха, пользовавшиеся его милостями, извлекавшие выгоды из расточительности императора и его приверженности к разного рода удобствам и прелестям жизни. Первые признаки такого настроения в войске дают себя чувствовать уже во время возмущения Маниака. Войско, высланное Мономахом против Маниака, не только трепетало перед грозным узурпатором, но и симпатизировало ему, одобряло его[5] как доблестного

[1] *Psell.*, IV, 161.

[2] *Matth. d'Ed.* (82) называет их готами, но в терминологии Матвея готы — то же, что болгары.

[3] *Psell.*, IV, 152.

[4] *Attal.*, 29.

[5] *Psell.*, IV, 140: солдаты, выступившие против Маниака, θεαταὶ μᾶλλον τοῦ ἀνδρὸς ἢ ἀγωνισταὶ ἐγεγόνεισαν (стали скорее созерцателями этого мужа, чем воителями). Во внимание к такому настроению Мономах поостерегся назначить главнокомандующим какого-нибудь популярного генерала, который, по замечанию историка (*Psell.*, IV, 140), победив тирана, мог бы сам выступить тираном; но назначил преданного себе евнуха, никем не уважаемого.

генерала, известного своими военными заслугами. По мере того как направление Мономаха выяснялось, усиливалось недовольство военного сословия. Раньше еще чем выступил Торник, недовольство прорвалось наружу: среди европейских стратиотов, сидевших дома без дела, в то время как восточные, малоазиатские стратиоты воевали с заевфратскими варварами, вспыхнул бунт, усмиренный, по словам современника,[1] лишь царской кротостью и обещаниями. Когда Торник открыто объявил себя соперником Мономаха, на его сторону прежде всего перешли стратиги, бывшие не у дел и в пренебрежении, а также праздные стратиоты, затем приняли в нем участие военные отряды со своими начальниками.[2] Торник приближался к стенам столицы с уверенностью, что и среди константинопольских жителей найдет недовольных Мономахом и его управлением, желавших иметь боевого императора, который бы при нападении варваров шел впереди других против всех опасностей; приверженцы Торника, подойдя к стенам столицы, стали убеждать жителей оставить невоинственного Мономаха и перейти к его противнику, который украсит трон победоносными войнами. Действительно, в столице были люди, которые при приближении Торника подумывали о том, чтобы принять его сторону, а когда перевес склонился в пользу Торника, стали уже готовиться с почетом встретить его.[3] Кроме македонской и военной партий, враждебных Мономаху и его системе, стоявших на стороне Торника, была еще при дворе Мономаха партия, которая протянула руку помощи Торнику, — это партия Евпрепии, сестры Мономаха. Евпрепия, постоянно стоявшая в оппозиции к брату, взяла Торника под свою защиту, принимала его у себя и беседовала. Первой мерой предосторожности, примененной Мономахом к Торнику, было разлучение его с его теткой,[4] Евпрепией. Но и после того Евпрепия не перестала явно сочувствовать Торнику, за что была подвергнута наказанию — отправлена в ссылку.[5]

---

[1] *Iohann. Euchait.*, ed. de-Lagarde, 179–180. Этот бунт имел какую-то связь с делом Торника. См.: *Attal.*, 22.

[2] *Cedr.*, II, 561–562.

[3] *Psell.*, IV, 153, 155, 158. Присутствие в стенах Византии приверженцев Торника было, без сомнения, самым большим для него побуждением как можно долее щадить город.

[4] *Гфрёрер* (III, 451) ошибочно считает Евпрепию женой Торника. Кстати здесь заметить, что он (III, 462–463) на возмущение Торника смотрит как на протест против уничтожения самостоятельности Великой Армении при Мономахе. Догадка совершенно произвольная, единственным своим основанием имеющая предположение об армянском происхождении Торника.

[5] *Psell.*, IV, 150, 158.

Лев Торник, как царский родственник, достиг довольно высокого чина — был патриций и вест. Близкие отношения к Евпрепии и расположенность македонян, которые с ранних пор тяготели к своему избраннику, возбудили опасения в правительстве Мономаха и оно, желая разлучить Торника с приверженцами и доброжелателями, обратилось к способу, который ранее, при аналогичном случае, был употреблен относительно Константина Диогена; Торник был послан стратигом в одну из восточных фем.[1] Когда он там находился, враги его, пользуясь тем, что Евпрепия продолжала обнаруживать относительно его покровительственные чувства, а также бунтом западных стратиотов, в котором они предполагали участие Торника, внушили мысль о необходимости принять против него решительные меры, чтобы пресечь возможность узурпации. Торник был отозван, пострижен в монашество и оставлен на жительство в Византии.[2] В ночь на 14 сентября 1047 г. приверженцы Торника из македонян, подготовив все обстоятельства, устроили его побег из Византии в Адрианополь. Тотчас началась агитация в пользу Торника, сторону его приняли македонские властели, в том числе родственники: Иоанн Ватаца, Феодор Стравомита, Полис и Мариан Врана, а также члены рода Глабы; составилось довольно сильное войско, Торник провозглашен императором и македонские города один за другим стали переходить на его сторону, только город Редесто оказал упорное сопротивление. В конце сентября, в субботу, Торник подошел к стенам Византии и осадил ее. Мономах поставлен был в крайне затруднительное положение: войска не было, за исключением наемной стражи из иностранцев (агарян), и всю надежду приходилось возлагать на крепость городских стен; не было также людей, способных организовать оборону; Лихуд, стоявший во главе управления, был, может быть, хороший государственный деятель, но никак не военачальник, а Аргир, прибывший из Италии и живший тогда в Византии, не пользовался, как видно, большим авторитетом. Торник попытался склонить жителей сдаться добровольно; однако же это ему не удалось, хотя в городе и были люди, ему доброжелательные. Тогда началась перестрелка, нанесшая урон лишь осажденным и до смерти напугавшая Мономаха, так как одна стрела едва не попала в него. Мономах, сидевший на балконе влахернской башни, видя, что перила — плохая защита от стрел, счел благоразумным сойти вниз. Вечером и ночью с субботы на

[1] По *Пселлу* (IV, 150) и *Скилице* (*Cedr.*, II, 561) — в Иверию, по *Аттališту* (22) — в Мелитину.

[2] *Скилица* (*Cedr.*, II, 561), пропуская промежуточные факты, неверно говорит, что он после пострижения получил приказ жить в своем доме в Адрианополе.

воскресенье он, вместе со своим первым министром Лихудом, готовился, как умел, к обороне: поискали, нет ли воинов в тюрьмах, и найдя кое-кого, вооружили луками и дротиками, предложили горожанам принять участие в защите, и те охотно согласились, считая дело очень интересной для себя забавой, некоторые сановники и сенаторы вооружили свою челядь; собрано таким образом до тысячи человек. Решено было накопать в течение ночи окопы между влахернскими воротами и неприятельским лагерем, поставить за окопами импровизированных воинов, а также агарянскую стражу, и с помощью этих сил не допускать неприятеля подходить на близкое расстояние к городским стенам. Аргир возражал, что осуществлять этот план значит вести людей на верную гибель, так как что могут сделать неискусные в войне и малочисленные горожане против опытных и многочисленных стратиотов? Но его не послушали, план приведен в исполнение. В воскресенье утром подошедший неприятель, увидев окопы и за ними вооруженных людей сначала смутился, думая, что пришли войска с Востока. Когда же истина открылась, неприятель шутя уничтожил выставленное против него препятствие. Некоторого внимания заслужили только агаряне. Македоняне, обратившись в притворное бегство, увлекли их за собой, а потом, вдруг поворотив поводья, истребили. Затем македонским всадникам ничего не стоило перепрыгнуть через окопы, перебить, смять под копытами лошадей и захватить в плен скрывавшихся за ними воинов. Началось самое беспорядочное бегство: не только бывшие за городскими воротами устремились в город, но караульные, охранявшие ворота, покинули свой пост, стоявшие на стенах бросились бежать в центральные части, прятаться в церквах и домах. Торнику открыт был беспрепятственный вход в город, ворота были настежь. Но по мотивам, которых современники понять не могли, относили на счет его великодушия или честолюбия, нежелания без пользы проливать кровь граждан или желания вступить в столицу с царским великолепием, Торник не воспользовался своим положением, и когда его воины доскакали уже на лошадях до рва, окружавшего городские стены, он отдал приказ поворотить назад и отступить в лагерь. Это была непоправимая ошибка со стороны Торника, ошибка, которой как нельзя лучше воспользовались сторонники царя. Убедившись в своем бессилии в открытом бою, они начали более им привычную войну, в которой оружием были интрига и подкуп. В воскресенье уже Мономах хвастал, что это — последний удачный день для Торника, что с этой минуты колесо его Фортуны покатится под гору. И он хвалился не без основания. В воскресенье Торник напрасно ожидал от граждан депутации с предложением войти в город — никто не явился. В понедельник он подошел к стенам и потребовал,

чтобы немедленно открыли ворота. На это ему отвечали насмешками и камнями из метательных машин. Торник обратился еще к одному средству — выставил вперед взятых им накануне пленников и заставил их быть своими парламентерами, но и это не помогло: ни слезы пленников, ни их мольба спасти от смерти, грозящей им в случае, если город не сдастся, не тронули жителей столицы. Между тем солдаты Торника один за другим стали дезертировать и переходить на сторону царя. Несколько еще дней простоял Торник под стенами Византии, в это время бегство его приверженцев принимало все большие размеры. Торник, опасаясь, что таким образом вся армия его разбежится, снялся ночью с лагеря[1] и двинулся в обратный путь. К вечеру подошел к Редесто, не хотевшему признавать его власти, и сделал попытку взять город. Но испытав и тут неудачу, отошел вглубь Македонии. Дело его быстро стало клониться к упадку. С Востока прибыло войско под предводительством магистра Михаила Ясита, и началось двойственное давление на мятежников, с мечом в одной, с амнистией в другой руке. Частью уступая силе оружия, частью сдаваясь на милостивые обещания царя, приверженцы Торника стали ему изменять: Стравомита, Полис, Врана, Глабы оказались на стороне Мономаха. Из ближайших сподвижников один Иоанн Ватаца до последней минуты сохранил верность Торнику, которую как он, так и все другие скрепляли некогда присягой. Потеряв всякую надежду на сопротивление, Ватаца и Торник искали спасения в одном храме, в Болгарофиге. Это было в декабре, перед самым Рождеством Христовым. Их выманили из храма хитростью, дав клятвенное обещание не посягать на их личность.[2] Очень возможно, что Мономах сначала и имел подобное благое намерение. Но когда заговорщики приведены были в Византию и Мономах взглянул на них, в нем забушевала ненависть и он велел их ослепить, что и было исполнено, к стыду для христиан, в навечерие праздника Рождества Христова.

---

[1] По-видимому, Торник стоял под стенами Византии ровно неделю, μέχρις ἑβδόμης. См.: *Iohann. Euchait*, ed. de-Lagarde, 191.

[2] Эта частность, в связи, вероятно, с тем обстоятельством, что патриарх Керулларий ободрял Мономаха и устраивал общественные моления, а после поражения бунтовщиков ходатайствовал за побежденных (*Psell.*, IV, 346–347; *de-Lagarde*, 185, 193), в изложении *Матвея Эдесского* (82–83) извращена до крайности: Матвей представляет дело так, что, когда Торник осадил столицу, чувствовавший свое бессилие Мономах в союзе с патриархом написал грамоту к Торнику, клятвенно обещая ему титул кесаря, а после своей смерти корону. Патриарх со многими другими доставил грамоту лично и при этом возобновил еще клятву. Когда же мир был заключен и Торник явился в Константинополь, он был вероломно ослеплен.

Торник в момент казни потерял присутствие духа, а гордый и благородный Ватаца обнаружил полное самообладание и неустрашимость: он заметил только, что напрасно Ромейская держава губит подобным образом храбрых воинов, — и мужественно лег под нож палача. Относительно всех других заговорщиков (кроме Ватацы и Торника), которые не успели еще перейти на сторону царя, Мономах не был так строг: имущество их было конфисковано, они с позором провезены по городу и отправлены в ссылку. Великолепный триумф увенчал победу императора над крамольниками.[1]

У историков сообщается еще о двух замыслах против Мономаха; но оба они не выходили из стен дворца и самая их возможность обусловливалась тем, что, беззаботный во всем другом, Мономах беззаботно относился и к вопросу о своей безопасности. Когда он спал, двери спальни не запирались, стража у дверей не бодрствовала, постельничии могли войти и уйти без всякой помехи. Если обращали его внимание на эту небрежность, Мономах обыкновенно отвечал, что Бог, давший царство, охраняет его Своей невидимой силой.[2] И действительно, только рука Промысла спасла в обоих случаях его жизнь.

Какой-то неизвестный нам по имени честолюбец, иностранец по происхождению, сначала был слугой Мономаха, потом возвышен до звания сенатора. Зная, что доступ к Мономаху легок, он составил в конце 1050 г.[3] незамысловатый план самому овладеть престолом. Во время шествия императора из театра во дворец он вмешался в задние ряды свиты и вошел в комнаты для прислуги, где выждал ночи. Когда Мономах почивал, он отправился в его спальню с ножом за пазухой. Но по дороге, вероятно, чем-нибудь напуганный, потерял присутствие духа и обратился в бегство. Тогда его, понятно, схватили, заключили под стражу, а на другое утро поставили к допросу. Подвергнутый жестокой пытке, он оговорил некоторых сановников, в том числе Никифора и Михаила, сыновей Евфимия. Заговорщик был наказан (как — неизвестно), Никифор отправлен в ссылку с конфискацией имущества, остальные оговоренные лица оправданы.[4]

---

[1] *Psell.*, IV, 149–164 (*Zon.*, 163–166; *Ephr.*, 136); *Psell.*, IV, 346; *Attal.*, 22–30; *Iohann. Euchait.*, ed. de-Lagarde, 181–194; *Cedr.*, 561–566 (*Zon.*, 165–167; *Glyc.*, 596–597; *Manass.*, 268); *Matth. d'Ed.*, 82–83; *Anon. Bar.*, 328.

[2] *Psell.*, IV, 167.

[3] О времени можно заключать по связи рассказа у Скилицы—Кедрина. *Мюральт* (637) и *Лебо* (374), ссылаясь на Кедрина, неосновательно ставят под 1051 г.

[4] *Psell.*, IV, 168–170; *Cedr.*, II, 602. *Финлей* (I, 510), не знавший Пселла и руководившийся лишь заметкой Скилицы—Кедрина о Никифоре, Михаиле и его сородичах, видит в их деле простую придворную интригу, или фискальную меру, при которой расчет был на конфискацию имущества.

Был при дворе Мономаха некто Роман Боила, из рода невысокого, хотя встречающегося в истории прежнего времени.[1] Роман Боила был этериархом, начальником царских телохранителей, и пользовался чрезвычайным благоволением государя, так как постоянно забавлял его своими рассказами и шутками. Он страдал физическим недостатком — косноязычием, но это придавало еще более забавности его болтовне. Этот шут влюбился в наперсницу Мономаха, аланку, и затеял дело, возможное только при византийском дворе: умертвить императора, занять его место и вместе с собой возвести на престол аланку. Это было после смерти Зои, всего вероятнее в 1051 г.[2] Он ловко сумел заручиться сочувствием некоторых придворных и, во всякое время дня и ночи имея беспрепятственный доступ к Мономаху, готов был уже однажды ночью нанести ему роковой удар; но тут один из знавших о его замысле бросился к царской постели, разбудил Мономаха и открыл ему опасность. Боила бежал в храм и сознался в преступлении. Мономах не хотел верить, чтобы преступление было серьезно, а главное ему жаль было лишиться любимого шута. Соумышленники Боилы, каких следствие успело открыть, были лишены имущества и сосланы, сам же он отделался шуточкой. Когда составился суд под председательством царя и связанный Боила был введен в заседание, Мономах прежде всего заявил, что он не может видеть своего любимца в таком положении, и приказал его развязать; затем предложил вопрос: какой злодей похитил его душевную простоту и чем он так прельщен, что потерял рассудок? В ответ на это Боила, расцеловав императорские руки и склонив голову на его колени, сказал: «Посади меня на царский трон и укрась жемчужной повязкой, потешь меня вот и этой цепью (показывая на украшение вокруг шеи) и приобщи к твоим многолетиям; это меня и прежде прельщало, а теперь еще более прельщает». Император, слыша это, рассмеялся, судьи тоже рассмеялись, заседание закрылось и Мономах отпраздновал роскошным пиром спасение своего шута. Только когда свояченица Феодора и сестра Евпрепия (которая к этому времени опять появляется при дворе, вызванная из ссылки) стала стыдить его за излишнюю простоту, он отправил Боилу дней на десять на

[1] В царствование Романа I патриций Боила сделал попытку взойти на престол и восстал на границах Армении, но был разбит знаменитым военачальником Иоанном Куркуасом.

[2] У Пселла этот заговор поставлен непосредственно за заговором 1050 г., и по тону рассказа можно заключить, что он был вскоре после этого последнего, однако же после смерти Зои. Скилица—Кедрин употребляет выражение неопределенное, дающее одинаковое право отнести событие и к 1050, и к 1051, и к 1052 г.

один из близлежащих островов поуспокоиться на свободе и покупаться в море, а затем возвратил его из этой увеселительной ссылки и опять приблизил к своей особе.[1]

Последнее время жизни Мономах, несмотря на телесные немощи, неудержимо предавался разного рода удовольствиям и предпринимал для развлечения всевозможные затеи. В выстроенном им монастыре св. Георгия, в Манганах, он соорудил для себя палаты, раскинул роскошный сад, а в саду пруд для купания, который так был замаскирован зеленью, что гуляющий, засмотревшись на сочное яблоко или грушу и отправившись ее сорвать, неожиданно попадал в пруд и против воли принимал холодную ванну. Это забавляло императора, и он чрезвычайно был доволен своей выдумкой. В этом пруду он и сам любил покупаться на вольном воздухе. После одного из таких купаний он получил жестокую простуду и слег в постель тут же в Манганах, чтобы не вставать более. 11 января 1055[2] г. он умер, процарствовав 12 лет и 7 мес.[3]

Перед смертью Мономаха приверженцам Феодоры пришлось выдержать последний решительный бой за свою патронессу. Когда царь лежал в Манганах на смертном одре, приближенные его советники и важнейшие государственные сановники: первый министр, логофет Иоанн, протоно-

---

[1] *Psell.*, IV, 170–176 (*Zon.*, IV, 167–168); *Psell.*, IV, 434; *Cedr.*, II, 605 (*Zon.*, IV, 166–167; *Glyc.*, 597). *Гфрёрер* (III, 518–519) смотрит на Боилу как на императорского шпиона, который под видом шута имел всюду, даже на женскую половину, доступ и должен был выведывать настроение против Мономаха, особенно следить за соимператрицей Феодорой. Поэтому он не пострадал за свой замысел. Но излишне строить такие догадки для объяснения пристрастия Мономаха к Боиле; оно совершенно в характере Мономаха, отличавшегося беззаботностью, приверженностью к забавам и крайностями симпатий и антипатий.

[2] *Psell.*, IV, 198–199 (*Zon.*, IV, 180); *Attal.*, 47; *Cedr.*, II, 610 (*Zon.*, IV, 181; *Glyc.*, 599; *Ioel*, 63); *Matth. d'Ed.*, 102; *Lup. Prot.*, 59; *Anon. Bar.*, 330; *Rom. Sal.*, 169 (ошибочно 1053 г.); *Chron. Brev.*, 278 (по флорент. летосчисл. 1054 г.). *Лебо* (XIV, 395), *Гиббон* (864), *Финлей* (I, 526), *Гфрёрер* (III, 561, 633) относят смерть Мономаха к 30 ноября 1054 г. или к декабрю 1054 г.; по их словам, ни Кедрин, ни Зонара не указывают года и дня смерти. Зонара действительно не указывает, но у Кедрина год, индикт, месяц и день показаны, и его показанием, совпадающим со счетом Атталиота, мы руководствуемся.

[3] Такое точное вычисление (12 лет и 7 месяцев) сделано одним *Атталиотом* (51). Другие производят ошибочный рассчет: 12 лет и 8 месяцев — *Zonar.*, IV, 181; 12 лет и 6 месяцев — *Georg.*, 919–920; 12 лет — *Psell.*, IV, 199; *Glyc.*, 593 (*Man.*, 268); *Ephr.*, 135; *Michel le Grand*, 289; *Rom. Sal.*, 168; 13 лет — *Ioel*, 63; *Arisdag.*, 102; 13 лет и 7 месяцев — *Codin.*, 157; 14 лет — *Matth. d' Ed.*, 102.

тарий дрома Константин, заведовавший каниклием (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου) Василий и другие держали совет, кому наследовать престол, и решили этот вопрос в пользу Никифора Протевона, управлявшего тогда Болгарией.[1] Мономах с этим решением согласился и послан уже был курьер с царской грамотой, вызывавшей Протевона в столицу. Хотя это делалось секретно от Феодоры, однако же приверженцы ее были настороже. Евнухи Феодоры: Никита Ксилинит, Феодор и Мануил обо всем проведали, немедленно посадили Феодору на быстроходное судно, увезли во дворец и там провозгласили самодержавной императрицей, склонив на ее сторону дворцовую стражу. Мономах был оскорблен этим поступком, но смерть лишила его возможности наказать за оскорбление. Вызванный им Протевон был захвачен в Фессалонике и оттуда прямо отправлен в ссылку в монастырь Кузина, в феме Фракисии. Были также подвергнуты конфискации и сосланы все поддерживавшие кандидатуру Протевона. Три евнуха, содействовавшие возведению Феодоры на престол, получили от императрицы высшие государственные должности.[2]

Относительно самостоятельного царствования Феодоры историки считают нужным отметить выдающуюся особенность, которая действительно представляет явление замечательное в византийской истории, а именно, что во все продолжение ее самодержавствования не было заговоров и бунтов, никто не злоумышлял против верховной власти.[3] Но это не значит, чтобы все политические партии слились при ней в один согласный концерт. При Феодоре все более обострялись разъединение и вражда между военной и гражданской партиями. Политика Феодоры, не щадившей представителей военного сословия[4] и выдвигавшей мирных

[1] *Финлей* (III, 527) и *Герцберг* (Gesch. d. Byzant., 219) отождествляют его с Никифором Вриеннием, который около того времени командовал войсками в Македонии против печенегов (*Cedr.*, II, 604). Но если это было одно и то же лицо, то странно, что его потомок, муж Анны Комнины, Вриенний, автор исторических записок, упустил из виду это обстоятельство, в смысле прецедента, весьма важного для рода Вриенниев. О Вриеннии известно, что в момент смерти Мономаха он с македонскими войсками был на Востоке (*Cedr.*, II, 611), а потом отправлен был за что-то Феодорой в ссылку с конфискацией имущества (*Cedr.*, II, 616). *Папарригопуло* (IV, 408–411) перепутывает имена и лица: у него Никифор Протевон является во главе партии, возведшей на престол Феодору, а после нее Стратиотика.

[2] *Psell.*, IV, 199 (*Zon.*, IV, 181); *Attal.*, 51; *Cedr.*, II, 610–611 (*Zon.*, IV, 180; *Glyc.*, 598–599).

[3] *Psell.*, IV, 201 (*Zon.*, IV, 182; *Ephr.*, 139); *Attal.*, 52.

[4] Напр., Исаак Комнин был лишен стратопедархии и заменен евнухом Феодором. См.: *Cedr.*, II, 611.

граждан, своих евнухов и духовных лиц, из которых синкелл Лев Стравоспондил (или Параспондил) сделан был даже первым министром,[1] давала пищу разъединению и вражде, обрушившимся впоследствии на преемника Феодоры. Не обходилось при Феодоре и без партий в среде придворных. Придворные разделились на два лагеря. Яблоком раздора был вопрос: следует ли Феодоре выходить замуж, или оставаться девственницей до смерти. Спальные евнухи, приближенные слуги и вообще лица, основывавшие собственные свои расчеты и свою карьеру на том, чтобы Феодора одна заведовала управлением и ни с кем не разделяла престола, внушали ей мысль устраняться от брака; другие, напротив, держались того убеждения, что рука женщины недостаточно сильна, чтобы крепко держать кормило правления, особенно в трудное время, когда нужно выдерживать постоянную борьбу с врагами на границах Империи. Стремление этой последней партии, требовавшей, чтобы императрица избрала себе доблестного мужа и возвела его на престол, были проникнуты патриотизмом; группировалась партия вокруг Константинопольского патриарха Михаила Керуллария. Первая партия взяла перевес, потому что вторила настроению Феодоры. Феодора, не чувствовавшая склонности к замужеству и видевшая на своей родной сестре несколько опытов, что лица, осчастливленные рукой императрицы, оказывались в высшей степени неблагодарными к благодетельнице, не решилась явить нового опыта благодеяния и предпочла править самостоятельно, не разделяя ни с кем престола.[2] Взявшая верх партия во все время непродолжительного царствования Феодоры пользовалась влиянием, имея во главе своей первого министра, синкелла Льва; противная партия, с Керулларием во главе, значением не пользовалась и, понятно, не могла за это питать благодарных чувств к своим соперникам.

Когда в конце августа 1056 года престарелая Феодора опасно захворала, партия Льва позаботилась о том, чтобы удержать за собой влияние и после ее смерти. Приверженцы партии собрались на совещание о престолонаследии — нужно было найти такого кандидата, который бы по вступлении на престол остался им верен и не нарушил их выгод. Выбор пал на преклонных лет старика, патриция Михаила Стратиотика, который как по своей дряхлости, так и по малоспособности к государственным делам не мог представить никакой опасности. На всякий случай с него была однако же взята клятва, что он ничего не будет делать

[1] *Attal.*, 52; *Cedr.*, II, 611; *Zonar.*, IV, 181.

[2] *Psell.*, IV, 200, 357–358; *Attal.*, 51.

без ведома и согласия лиц его избравших.[1] Тогда приступили к больной Феодоре и стали ее склонять, во избежание могущих произойти волнений, избрать себе при жизни преемника, со своей стороны рекомендуя Стратиотика. Та согласилась, собственноручно повязала голову Стратиотика диадемой и назначила императором. Вызвали во дворец патриарха, а между тем Феодора лишилась употребления языка. От прибывшего Керулларию потребовали короновать Стратиотика. Керулларий, глава противной партии, настроенной враждебно к людям, выдвинувшим Стратиотика, хотя находился в невозможности противиться требованию, исполнил однако же его крайне неохотно. Он сначала обратился к Феодоре и попросил удостоверения, что она действительно избрала Стратиотика; только когда умирающая императрица, не владевшая языком, знаками показала, что все сделано согласно ее воле, Керулларий короновал новоизбранного императора. Провозглашение Михаила Стратиотика императором и его коронация совершились 31 августа 1056 года.[2] Недолгое время спустя[3] после этого акта Феодора отошла в вечность, пробыв на престоле в качестве самодержавной императрицы 1 год, 7 мес. и 20 дней.[4]

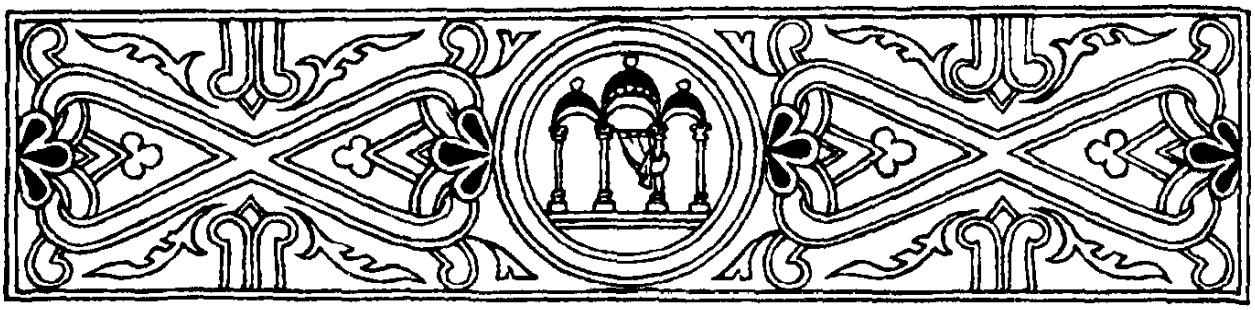
---

[1] *Лебо* (XIV, 401) и *Финлей* (I, 529) без всякого основания усвояют инициативу клятвы Феодоре: первый говорит, что Феодора взяла со Стратиотика клятву ничего не делать без совета министров, второй, что она, надеясь выздороветь, взяла клятву повиноваться ее приказаниям. Ошибка произошла от неточного понимания текста источника (*Кедрина*).

[2] *Psell.*, IV, 208–209 (*Zon.*, IV, 182); *Psell.*, IV, 358–359; *Attal.*, 52; *Cedr.*, II, 612 (*Zonar.*, IV, 182; *Glyc.*, 600; *Manass.*, 269; *Georg.*, 880); *Codin.*, 157; *Arisdag.*, 108–109; *Anon. Bar.*, 330; *Lup. Prot.*, 59 (под 1057 г.).

[3] Можно полагать, в тот же день, хотя армянский историк (*Arisdag.*, 109) утверждает, что она прожила после того три дня, а *Кодин* (157) насчитывает даже пять дней. У *Финлея* (I, 530), *Мюральта* (643) и *Герцберга* (I, 303), Gesch. d. Byz. (219) смерть ее неправильно отнесена к 30 августа; у *Лебо* (XIV, 400) и *Гиббона* (864) — к 22 августа (согласно *Кодину*).

[4] Ни один историк точного вычисления времени ее царствования не дает, указываются следующие сроки: 1 год без одного дня — *Psell.*, IV, 209; ровно 1 год — *Glyc.*, 599; *Man.*, 268; *Michel le Gr.*, 290; 1 год и 8 мес. — *Attal.*, 52; 1 год 8 мес. и 20 дней — *Codin.*, 157; 1 год и 9 мес. — *Zon.*, IV, 182 (*Georg.*, 880); 2 года — *Arisdag.*, 108; *Georg.*, 920; *Rom. Sal.*, 169; 2 года и 3 мес. — *Matth. d'Ed.*, 103; 2 года и 7 мес. — *Ioel*, 63.



Глава вторая

Михаил VI у двух западно-европейских историков[1] называется Михаилом Брингой. Если предположить, что это название применено к нему правильно, то отсюда можно заключать о происхождении его из рода Брингов, к которому принадлежал знаменитый приспешник Анастазо-Феофано, евнух Иосиф Бринга, пользовавшийся большим влиянием при византийском дворе в середине X в. и отправленный в ссылку вторым мужем Феофано, Никифором Фокой. Но основание для заключения слишком шатко. Западно-европейские историки по генеалогическим и хронологическим вопросам не могут своими показаниями иметь решающего значения при отсутствии подкрепляющих данных у греческих историков. Греческие же писатели прилагают к Михаилу названия: Старик,[2] Стратиотик,[3] Патриций.[4] Первое название указывает на лета Михаила, у которого при вступлении на престол не было ни одного не седого волоса на голове.[5] Последние два указывают на его профессию и общественное положение до вступления на престол. Сирийский историк,[6] характеризуя Михаила Старика, замечает, что это был человек мудрый, воздержный, который вместо того, чтобы пожинать плоды чужих трудов, жил трудами собственных рук, выделывая и продавая ложки. Это свидетельство о невысоком общественном положении Михаила мы не можем принять за чистую монету, так как оно идет вразрез со свидетельствами других источников. Аристакес Ластивертский замечает,[7] что Михаил исправлял

---

[1] *Lup. Protosp.*, 59; *Dandol.*, 245.

[2] Это название приложено к нему также у *Матвея Эдесского* (103) и *Михаила Сирийского* (290).

[3] Оно приложено и в Chron. Breve (178) в форме «Стратоник».

[4] Сообразно с этим у *Анонима Барийского* (330) он называется «nobilio» — название, переделанное у *Ромуальда Салернского* (169) в «novicius».

[5] *Psell.*, IV, 209.

[6] *Michel le Grand*, 190–191.

[7] *Arisd.*, 109.

наследственно какую-то придворную должность; но это замечание, при его неопределенности, может быть принято разве в том смысле, что общественное положение Михаила было не столь низко, как изображает Михаил Сирийский. Из греческих писателей[1] мы знаем только, что Михаил Старик с малолетства вращался в военной сфере, отличился как солдат и прозван поэтому Стратиотиком;[2] он был прост, кроме военного дела ничего не знал, но чин имел высокий — был патрицием; по происхождению был из Византии, где имел оседлость и недвижимую собственность.

Партия Льва Параспондила не ошиблась в расчете: дряхлый и малообразованный царь, ею избранный, не столько способен был управлять, сколько сам нуждался в руководстве.[3] Лев, в звании протосинкелла, остался первым министром; его товарищи тоже удержали свои места; дела шли в прежнем направлении; враждебная партия, имевшая представителем Михаила Керуллария, продолжала существовать, но все делалось вопреки ее желанию.[4]

Зная о существовании недовольных избранием Стратиотика и надеясь встретить у них поддержку, предпринял забавную демонстрацию племянник (сын брата) императора Мономаха, Феодосий. Он, тотчас после провозглашения Стратиотика, собрал родственников, слуг, соседей и знакомых и направился из своего дома через площадь ко дворцу, громко объявляя, что несправедливо поступлено с ним, ближайшим родственником и наследником царским. Придворные евнухи, узнав о возмущении, приготовились выслать против Феодосия дворцовую стражу из греков и варягов. Но тот, получив сведение об их намерении, отправился в Великую церковь в полной уверенности, что недовольный правительством патриарх примет его сторону, соберется, по обыкновению, толпа народа и провозгласит его императором. Патриарх, хотя питал в душе недовольство, не считал однако же возможным действовать против правительства; подобно тому как он покорился совершившемуся на почве законности факту, когда был вызван для коронования Стратиотика, так точно и теперь не находил нужным помогать безумной и противозаконной затее. Никакого предварительного совещания и договора с Феодосием у него, очевидно, не было,[5] и когда

[1] *Attal.*, 52; *Cedr.*, II, 612, 637.

[2] Это было прозвище личное, а не фамильное, но дети, если бы Михаил имел потомство, могли бы обратить его в родовое.

[3] *Psell.*, IV, 209; *Attal.*, 52–53; *Zon.*, IV, 182 (*Ephr.*, 139; *Georg.*, 880).

[4] *Cedr.*, II, 619; *Psell.*, IV, 359–360.

[5] Существование соглашения подозревает *Гфрёрер* (III, 593–594), вообще склонный преувеличивать возмущение Феодосия, смотреть на него как на предприятие в обширных размерах, предварительно подготовленное.

последний вместе со своим сыном и с некоторыми из приверженцев, которые не успели еще разбежаться при вести о движении на них войска, подошел к храму Св. Софии, церковные двери оказали запертыми по приказанию патриарха. Феодосий был арестован и отправлен в ссылку в Пергам; то же сделано с главнейшими из его приверженцев. На византийцев этот эпизод произвел впечатление потешной затеи, и они сложили про Мономаха-«глупца» насмешливый стих.[1]

Предприятие Феодосия Мономаха было личным его делом; в основе его не скрывалось никаких более глубоких интересов, ни общегосударственных, ни сословных, ни партийных. Оттого оно потерпело такое фиаско. Совсем другой исход имело предприятие стратигов, людей военного сословия, выступивших при Стратиотике с намерением отвоевать первенствующее политическое место, с которого они были удалены людьми мирных занятий, евнухами и царскими прислужниками, учеными, лицами духовными. Преобладание гражданских лиц при дворе и в управлении, предпочтение, оказываемое им императорами, преемниками Василия II, выгоды, извлекаемые ими из императорского предпочтения, все это раздражало воинов, несших, особенно начиная с Мономаха, усиленные труды по защите государства от многочисленных врагов, преимущественно турок, и не пожинавших плодов от своих трудов. С каждым годом усиливался антагонизм между двумя сословиями подданных — воинами и гражданами. Антагонизм, зародыш которого коренился, быть может, еще в особенностях военной реформы Диоклетиана и Константина Великого, заявил о себе при Мономахе в бунте Торника, но тогда он был второстепенным мотивом, уступая первенство антагонизму между двумя главнейшими частями государства — Западом и Востоком. При Стратиотике он выдвинулся на передний план и оттеснил интересы племенные и этнографические.

В этой борьбе за политическое преобладание военного сословия первый шаг был сделан 27 марта 1057 г., или около того времени. 27 марта приходилось на Великий четверг — день, когда раздавалась царская руга. Несколько заслуженных, но неоцененных по заслугам воинов, в том числе магистр Исаак Комнин, магистр Катакалон Кекавмен, вестарх Михаил Вурца, Константин и Иоанн Дуки, прибыли к этому времени в Византию просить царя не оставить их своим вниманием и щедротами, произвести в следующий чин и т. д. Император дал аудиенцию, но отнесся немилостиво,[2] стал упрекать за сделанные ими, в качестве военачальников, ошибки

[1] *Cedr.*, II, 612–614 (*Zon.*, IV, 184).

[2] Немилость эту *Аристакес* (109) преувеличивает, говоря, что некоторых император заключил в тюрьму.

и не удовлетворил их просьб. Они сделали попытку подействовать на царя через его первого министра, Льва Параспондила, но тот принял их еще с большей суровостью, чем сам император. Оскорбленные стратиги, не выезжая из Византии, сговорились свергнуть Стратиотика и возвести на его место Исаака Комнина; они скрепили свой договор клятвой и разъехались по домам, в Малую Азию. К заговору пристали и другие военачальники, члены знатных фамилий: Никифор Вриенний, оскорбленный тем, что Стратиотик, возвратив его из ссылки, отказал в просьбе возвратить конфискованное имущество, проедр Роман Склир, сыновья Василия Аргира, Никифор Вотаниат. Заговорщики стали подготовляться к восстанию, делая это осторожно и не брезгуя, как например Катакалон Кекавмен, даже поддельными документами. Случайное обстоятельство заставило их поторопиться. Никифор Вриенний нанес личное оскорбление приставленному к нему царем в качестве войскового казначея патрицию Иоанну Опсаре. Один из соседних военачальников (патриций Ликанф), ничего не знавший о заговоре стратигов, усмотрел в этом поступке начало возмущения Вриенния против царя, захватил его и отдал в распоряжение Опсары, который ослепил Вриенния и отправил в Византию. Заговорщики, опасаясь, чтобы Вриенний на дознании не обнаружил их заговора, поспешили в Костамону (в Пафлагонии), где жил Исаак Комнин, и 8 июня 1057 г. торжественно провозгласили его императором. К Комнину стали стекаться стратиоты. Он, приняв предварительно все меры, чтобы обеспечить правильное устройство и движение войск, а также чтобы не иметь недостатка в материальных средствах содержания армии, двинулся по направлению к Никее и занял этот город, предоставив свободный пропуск бывшему здесь военному отряду, пожелавшему остаться верным Стратиотику.

Весть о возмущении произвела на Стратиотика и его советников потрясающее впечатление и сначала как бы парализовала всякую энергию. Потом собрался государственный совет для обсуждения вопроса, что следует предпринять при данных обстоятельствах. Решено было озаботиться примирением с правительством враждебной партии, представителем которой был Керулларий, и затем уже, когда водворено будет таким образом единодушие в стенах столицы, собрать западное войско, присоединить к нему ту часть восточного, которая осталась еще верной, и выступить против узурпатора. Примирение с патриархом — искреннее или притворное — состоялось, собралось также и войско, и под предводительством доместика, евнуха Феодора, имевшего ближайшими помощниками магистра Аарона (шурина Исаака Комнина) и стратига Василия Тарханиота, переплыло пролив у Хризополя и через Никомидию придвинулось

к Никее.[1] Прежде чем армии — с одной стороны восточная, с другой западная с незначительным контингентом восточного войска — сразились, они провели некоторое время на виду друг у друга, причем войско Стратиотика оказалось хотя и многочисленнее, однако же менее стойко, чем войско Комнина, царские солдаты беспрерывно дезертировали к Комнину и шатание началось даже среди офицеров. Можно догадываться, что дезертировали главным образом из двух восточных отрядов армии Стратиотика, чувствовавших племенное и этнографическое тяготение к отрядам, состоявшим под командой Комнина, македоняне же оставались верны, по крайней мере известно, что они настаивали на необходимости скорее сразиться. Неподалеку от Никеи произошла битва.[2] Исаак Комнин командовал центром своей армии, Кекавмен левым крылом, Роман Склир правым. В царской армии евнух Феодор стоял в центре, Аарон на левом крыле, Василий Тарханиот на правом. Сначала успех склонился на сторону царского войска. Аарон мужественно ударил на правое неприятельское крыло, обратил в бегство и пленил Романа Склира; солдаты его напали на неприятельский центр и серьезная опасность грозила даже лично Исааку Комнину. Момент был решительный, но храбрый Катакалон Кекавмен переменил роли. Он врезался в правое крыло царской армии, предводимое Тарханиотом, погнал его перед собой и произвел страшное смятение в рядах своих противников, смятение распространилось даже на отряды Аарона, ободрив смущенное первой неудачей войско Комнина. Началась жестокая резня, кончившаяся всеобщим бегством и совершенным поражением императорских войск. Комнин остался победителем, и евнух Феодор, отказавшись от всякой мысли возобновить сражение, стал тайно сноситься с победителем.[3] На третий день после победы Комнин прибыл в Никомидию.

---

[1] *Аристакес* (118) утверждает, что военному столкновению предшествовало посольство от царя к Комнину, с предложением титула куропалата; но это известие категорически опровергается показанием *Пселла* (IV, 215).

[2] По вероятным вычислениям, битва происходила 26 августа 1057 г., или если ранее 26 августа, то днем-двумя, не более. У *Муральта* (645) поставлена не на месте между июнем и 28 июля.

[3] Это была, без сомнения, кровопролитная битва, но *Матвей Эдесский* (103), очевидно преувеличивает, утверждая, что греки потеряли 150000 человек. Вообще Матвей неверно излагает ход событий, говорит, что а) патриарх лично с магнатами после сражения отправился к Комнину, присягнул ему, взял с него клятву, после чего Комнин введен в город и посажен на престол, б) после того оказалось два императора, которые начали междоусобную войну, один опустошал области, признававшие императором другого, и так продолжалось до тех пор, пока Комнин не восторжествовал и не сделался единодержавным.

Положение Стратиотика было отчаянное: ему оставалось или очистить место победителю, или войти с ним в компромисс. Он готов был уже прибегнуть к первому средству — отречься от престола, — но приближенные склонили его попытать последнее — начать с Комниным переговоры. Прежде чем к ним приступить, Стратиотик, не доверяя верноподданническим чувствам византийцев, заставил всех сенаторов присягнуть и дать подписку в том, что они никогда не признают царем Комнина и не воздадут ему чести, подобающей царю. Затем к Комнину было отправлено посольство, состоявшее из проедра Константина Лихуда, проедра Феодора Алопоса и ипата философов Михаила Пселла. Хотя Пселл занимал в посольстве последнее место, но как более других красноречивый, он говорил от имени остальных. В грамоте, которая вручена была послам, Комнину предлагалось усыновление, достоинство кесаря и второе после императора место, под условием, чтобы он сложил оружие. Послы, получив сначала от Комнина удостоверение в личной своей безопасности, переплыли 28 августа пролив и явились в неприятельский лагерь; допущенные к Комнину, они удостоились беседы с ним о разных посторонних предметах, угощены и отведены в приготовленные для них палатки. На следующий день, 29 августа, дана была послам торжественная аудиенция в присутствии войска. Комнин, приняв грамоту и выслушав из уст Пселла тождественные с содержанием грамоты предложения от Стратиотика, которые встречены были окружающими и войском громким выражением неодобрения, распустил собрание и остался наедине с послами. Тут он объяснил послам, что лично он готов удовольствоваться званием кесаря, если с этим званием соединено будет право назначать на низшие государственные должности и на места военачальников, если царь пришлет грамоту, удостоверяющую, что после смерти не передаст власти никому другому, если не отнимет от его сподвижников достоинств, которыми те у него почтены, и наконец если удалит от управления своего первого министра, нанесшего кровную обиду стратигам. Комнин обещал, как скоро эти условия будут исполнены, сложить оружие и распустить войско. На следующий день, 30 августа, послы были отпущены. Когда они вручили Стратиотику ответную грамоту Комнина и передали устно все, что им поручено было передать, Стратиотик был чрезвычайно обрадован. Он немедленно согласился на все условия, предложенные Комниным, изложил их в грамоте и на другой день, 31 августа, опять отправил тех же послов к Комнину с грамотой и с наказом, сверх того, передать ему по секрету пункт, который из боязни перед народом и сенатом не внесен в грамоту, а именно: Стратиотик приказал клятвенно заверить Комнина, что через несколько дней, как только окончены будут все нужные к тому приготовления, он приобщит его, Комнина, к царской

власти. Послы явились в лагерь, грамота прочитана вслух и всем понравилась. Когда же, оставшись наедине, послы сообщили еще дополнительный секретный пункт, обрадованный Комнин тотчас отдал войску приказ расходиться по домам. Положено было, что завтра послы уедут в столицу и известят царя, что Комнин через три дня прибудет на берег пролива, как раз напротив императорского дворца, и оттуда переправится к своему нареченному отцу, как его усыновленный сын и кесарь.[1] Но в тот самый день, как это было решено и все таким образом окончательно улажено, в Византии случились обстоятельства, сообщившие делу совершенно другой оборот.

После победы Комнина движение в Константинополе в пользу победителя с каждой минутой все более возрастало. Некоторым сдерживанием, по крайней мере формальным, служила подписка, взятая Стратиотиком с сенаторов. Но когда Стратиотик заключил с Комниным договор, причем и содержание секретного пункта, скрываемого Стратиотиком от византийцев, так или иначе стало известно, тогда последние нити были порваны. 31 августа некоторые из сенаторов, людей знатных и властных (магистр Михаил, сын Анастасия, патриций Феодор Хрисилий, патриций Христофор Пиррос, начальники этерий) в сопровождении народной толпы явились в храм Св. Софии и потребовали, чтобы патриарх[2] вышел к ним из своих покоев. Патриарх

[1] Действия послов и ход переговоров изложены нами применительно к обстоятельному и правдивому рассказу одного из послов, Пселла. Нужно заметить, что на послов, вероятно, вследствие того, что они потом пользовались благосклонностью Комнина и играли видную политическую роль, пало подозрение, занесенное в хронику *Скилицы* (*Cedr.*, II, 633–634), будто они изменили Стратиотику, защищая, по-видимому, его дело, но сами один за другим тайком являлись к Кекавмену, который между приближенными Комнина был самым сильным противником какого бы то ни было соглашения со Стратиотиком, и советовали ему не делать уступок. Это подозрение новейшие историки (*Гиббон*, 864; *Финлей*, I, 536–537) возводят в положительный факт. Кажется, подозрение не имеет под собой фактической почвы; хотя послы в глубине души сознавали превосходство Комнина перед Стратиотиком и нисколько не были опечалены, когда совершился переворот в пользу Комнина, однако же долг свой исполнили честно.

[2] На патриарха многие из его современников смотрели как на главного виновника переворота, отнявшего престол у Стратиотика и передавшего Комнину; по этому представлению, патриарх стоял во главе агитации против Стратиотика и был союзником Комнина, содействовал вступлению его на престол. От такого взгляда не могли отрешиться и историки. *Аттaлиот* (56–57), высказав этот взгляд, не берет на себя ответственности за его верность, но считает его правдоподобным и указывает тому основания: а) что муж патриаршей племянницы, Константин Дука, пользовался милостями Комнина, б) что местом агитации был храм Св. Софии и в) что принимали участие в деле патриаршие племянники, которые потом

велел запереть входы на верхние галереи храма, сам явился на них и стал призывать бушующую толпу к спокойствию, а вместе с тем, чтобы узнать

удостоены Комниным высших почестей. *Скилица* (*Cedr.*, 635–637), повторяя тот же взгляд, сначала говорит о нем нерешительно, как о мнении большинства, но под конец с положительностью утверждает, что патриарх был не только участник, но и первопричина восстания, ибо он первый подал διὰ τοῦ τῆς ἐκκλησίας δευτερεύοντος Στεφάνου (через Стефана, второсвященника церкви) — мнение в пользу Комнина, он отправил вестника к Комнину, а Стратиотику велел удалиться из дворца. Наконец, в обвинительном акте против Керуллария, при его низвержении Комниным с престола, главным пунктом обвинения служит то, что он произвел в Византии возмущение против Стратиотика (*Psell.*, V, prol., XXIX). То, что древнейшие историки считают нужным еще доказывать, новейшие исследователи признают чем-то неопровержимым; по их мнению, Керулларий, бесспорно, был виновником переворота.

Недоразумение по этому вопросу зависит, кажется, от того, что современники, а тем более позднейшие исследователи, не отделяли и не отделяют личности Керуллария от остальных приверженцев единомышленной с ним и враждебной Стратиотику, а главным образом его приближенным, партии. Керулларий был глава партии, но не единственный ее член. С главой партии царь примирился и тем оградил себя от враждебных начинаний со стороны патриарха. Но примирение могло не простираться на остальных приверженцев партии, каковыми были сенаторы, явившиеся в храм Св. Софии — Антиохийский патриарх, второсвященник Великой церкви Стефан и другие. Начало и вся подготовка переворота принадлежит членам этой партии, поспешившим к Керулларию как к своему главе. Примирившийся с царем Керулларий не сразу встал на их стороне, но и не пошел решительно против их желаний, потому что примирение могло быть внешним актом, не изменившим внутреннего настроения в патриархе. Следовательно, если можно обвинять Керуллария, то в том, что он попустил разыграться восстанию, а не в том, что он начал его и возбудил, можно считать его участником, но не зачинщиком восстания. Те факты, которые в глазах современников оправдывали взгляд на Керуллария как на виновника восстания, получают надлежащее свое освещение в нашем изложении, в тексте. Относительно же тех, о которых в тексте не упомянуто или упомянуто вскользь, заметим здесь: а) что хорошие отношения Комнина к Дуке завязались до вступление на престол, продолжались после воцарения Комнина и даже после свержения с престола Керуллария, что с точки зрения аргументации Атталиота непонятно; б) что обвинительный акт против Керуллария страдает непоследовательностью: низвержение Стратиотика было неразрывно связано с возведением на престол Комнина, между тем в акте Керулларий обвиняется лишь в том, что он произвел восстание, но ничего не говорится об отношениях к Комнину. Очевидно, Керулларий не входил в сношения с Комнином до момента низвержения Стратиотика. Но если бы он затеял восстание, был его зачинщиком, то едва ли бы он, для гарантии успеха, не вошел в предварительное соглашение с Комнином. Отсутствие такого соглашения делает невероятным выставленное против Керуллария обвинение.

в точности, в чем дело и чего от него хотят, выслал своих племянников, Никифора и Константина, которых он любил как своих родных детей. Толпа захватила племянников в качестве заложников и объявила, что им не поздоровится, если патриарх не сойдет к ним сейчас же в церковь. Керулларий, не видя другого исхода и опасаясь за участь своих племянников, облачился в фелонь и другие присвоенные его сану знаки и сошел вниз. Его сейчас же усадили на трон, поставленный на амвоне и сначала предложили ему отправиться послом к царю и просить его возвратить документ с собственноручными подписями сенаторов, так как теперь, говорили они, после того как царь заключил с Комнином договор и сам признал его царем, подписавшиеся поставлены в ложное положение, не зная что делать, признавать его царем или не признавать; если признают, то при действии означенного документа они явятся клятвопреступниками, если же не признают, то подвергнутся за это наказанию. Патриарх обещал взять на себя эту миссию. Все это предполагало уже предрешенным вопрос о том, что Комнин должен быть признан императором; речь шла только об устранении формального препятствия. Но препятствие, во-первых, касалось не всех присутствовавших в храме, во-вторых, для совести многих было слишком тонкой материей. Когда согласием патриарха отправиться послом вопрос о Комнине был решен, то присутствовавший в храме Феодор, патриарх Антиохийский, провозгласил многолетие царю Исааку Комнину. Толпа подхватила возглашение, грозя местью и разорением всем противящимся царю Комнину. Дело было покончено: тут уже не о документах каких-нибудь следовало хлопотать, а о том, чтобы предотвратить кровопролитие и спасти Стратиотика от насильственных действий со стороны народной массы. Керулларий отправил к Стратиотику митрополитов с предложением оставить дворец и поспешить к нему, под прикрытие св. Великой церкви; к этому присоединено было затем решение, принятое под влиянием большинства собравшихся вокруг Керуллария, — постричь Стратиотика. Стратиотик, несмотря на то, что имел в своем распоряжении дворцовую стражу, не оказал никакого сопротивления. Он спросил только: «Что мне патриарх готовит взамен оставляемого царства?» — и когда митрополиты ответили: «Царство Небесное», он, взглянув на свои красные туфли, принадлежность императорского достоинства, сказал: «За них Михаил не продает благочестия», отшвырнул их прочь с ног и склонил голову для пострижения. Стратиотик прибыл в Великую церковь в монашеском облачении, был приветливо встречен Керулларием, поселился в патриарших покоях, а оттуда, когда волнение утихло, перешел в свой собственный дом.[1]

[1] В качестве частного человека он прожил недолго, скоро умер. По *Аристакесу* (119), он провел остаток дней не в своем константинопольском доме, но на

С того момента, как началось в Византии враждебное Стратиотику движение, в лагерь Комнина один за другим стали прибывать вестники, спешившие, наперегонки друг перед другом, порадовать его приятными новостями. Когда состоялось окончательное решение в храме Св. Софии, патриархом был отправлен вестник, который и сообщил Комнину более толковые сведения, передал об его избрании в императоры и о том, что уже делаются приготовления к его встрече. Въезд в столицу назначен был на следующий день, 1 сентября, ночь положено было пробыть в лагере и послы Стратиотика получили приказание удалиться в свои палатки. Они провели тревожную ночь в неведении насчет собственной своей судьбы, особенно Пселл, который вел переговоры и теперь припоминал смелые суждения, какие позволял себе высказывать. На следующее утро Катакалон Кекавмен, назначенный куропалатом, был отправлен вперед для занятия дворца, за ним двинулся в торжественном шествии Комнин в сопровождении послов, с которыми он вел беседу о предстоящих заботах по управлению, и в ответ на просьбу Пселла забыть его дерзкие речи, явить себя истинным философом и добродетельным государем, заметил, что ему более нравилась прежняя его смелость, чем теперешнее искательство, обещал однако же сделать его проедром. К полудню Комнин прибыл на берег пролива. Сюда причалил царский дромон, на нем Комнин переплыл на другой берег и вечером совершил триумфальный въезд в Византию.

каком-то острове. По словам *Михаила Сирийского* (291), Стратиотик после пострижения отправился в какой-то монастырь. Царствование Стратиотика продолжалось ровно год, с 31 августа по 31 августа: *Psell.*, IV, 209, 234 (*Zonar.*, IV, 191; *Manass.*, 272; *Georg.*, 620, 882); *Attal.*, 59; *Glyc.*, 600; *Ioel*, 63; *Codin.*, 157 (год и 11 дней); *Michel le Grand*, 290. У *Скилицы—Кедрина* (637–638) правильно показано время свержения и пострижения Стратиотика (31 августа) и вступления Кекавмена и Комнина (на следующий день), но по ошибке переписчиков или издателей коронация Комнина поставлена под 1 сентября (вместо 2-го). Это произвело путаницу у *Муральта* (646–648), который низложение Стратиотика ставит под 30 августа, прибытие Кекавмена и Комнина под 31 августа, коронацию под 1 сентября, и *Гфрёрера* (919–920), который к 31 августа относит и низложение Стратиотика, и прибытие Кекавмена и Комнина, а коронацию к 1 сентября. *Лебо* (XIV, 419) ошибочно говорит, что Стратиотик царствовал 13 месяцев и 9 дней и после низложения жил еще два года; в заблуждение он мог быть введен показанием *Лупа* (59), что Стратиотик умер в 1059 г. (впрочем, к этому же году Луп относит и воцарение Комнина). *Герцберг* (Gesch. d. Byz., 241) тоже повторяет, что Стратиотик два года прожил в качестве частного человека. Допускает также недосмотр *Папарригопуло* (IV, 324), говоря, что Стратиотик после низложения ушел в свой «дом, где, кажется, спустя немного времени был пострижен в монахи».

На следующий день, 2 сентября 1057 г., был торжественный выход в Великую церковь, Комнин был коронован и провозглашен императором.[1]

Род Исаака Комнина не был из древних, мы знаем его отца, но наши сведения далее не идут. Его отца звали Мануил,[2] при Василии II он охранял Никею от Варды Склира. Никифор Комнин, назначенный Василием II правителем Васпуракана, в 1026 г. поднявший знамя восстания против Константина VIII и за то ослепленный в 1027 г., был, по всей вероятности, брат этого Мануила. Никифор Комнин потомства не оставил, но у Мануила было два сына, Исаак и Иоанн, и дочь.[3] Сыновья Мануила были поручены отцом императору Василию II и им отданы на воспитание в Студийский монастырь, потом взяты ко двору и получили назначения. Старший, Исаак, женился на Екатерине, принадлежавшей к болгарскому царскому роду,[4] дочери болгарского царя Самуила,[5] сестре Аарона.[6] От этого брака у Исаака родились: сын Мануил и дочь Мария. Мануил упоминается тогда, когда Исаак был еще стратопедархом (с каковой должности был смещен Феодорой), ко времени вступления Исаака на престол его уже не было в живых, оставалась только Мария, которая пережила отречение отца от престола и в момент его отречения не была еще замужем.[7] Младший брат, Иоанн Комнин, женился на Анне, дочери Алексея Харона, управлявшего Италией,[8] и Далассины (жены Харона). От этого Иоанна Комнина и жены его Анны родились 3 дочери

---

[1] *Psell.*, IV, 210–234 (*Zon.*, IV, 183, 186, 188–189; *Ephr.*, 139–140); *Psell.*, IV, 361–366, 408; *Attal.*, 53–59 (*Manass.*, 270–271); *Cedr.*, II, 619–637 (*Zonar.*, IV, 185–188, 190–191; *Glyc.*, 600); *Arisdag.*, 109, 118–119; *Matth. d'Ed.*, 103–104; *Michel le Grand*, 291.

[2] *Cedr.* (II, 427–428) называет его Мануилом Эротиком, но фамильное название его (Комнин) восстанавливают Никифор Вриенний и Анна Комнина.

[3] У Исаака был племянник, Феодор Докиан, очевидно, по сестре, вышедшей за Докиана. См.: *Psell.*, V, 433; *Scyl.*, 648. *Вриенний* (92) называет Феодора Докиана «сыном сестры отца» Алексея Комнина.

[4] *Psell.*, V, 356–357.

[5] *Bryenn.*, 19.

[6] *Cedr.*, II, 628.

[7] *Scyl.*, 648–649; *Psell.*, IV. 253; V, 419; *Attal.*, 69.

[8] В числе катепанов Нижней Италии не упомянут в латинских памятниках Алексей Харон, но он есть у *Анонима Барийского* (332–333) под 1064 и 1068 гг. *Apochara*, т. е. Абухарес, имя, указывающее на сарацина по происхождению или по вере; грек мог сделать из этого имени, как полагает *Гфрёрер* (III, 837–839), Алексея (из Абу) Харона (из Хареса).

и 5 сыновей, из которых один, Алексей Комнин, в 1081 г. вступил на престол.[1]

Исаак Комнин, сменивший Стратиотика в 1057 г., был по своему характеру истый солдат, проникнутый однако же чувством глубочайшего самолюбия. Изнеженности он не знал, был умерен в пище и питье, отдыхе, сне и во всем другом. Мягкий и приятный в домашней жизни, он, как скоро дело касалось службы, становился серьезен, суров и резок. Таким он проявлял себя всякий раз, когда приходилось заниматься делами и действовать публично, в кругу сенаторов, так что сенаторы замирали в неподвижной позе, объятые страхом. Дела военные он знал прекрасно, обладал искусством военачальника и был страшен для врагов, умел также найтись там, где требовалась своего рода дисциплина, точность, порядок, как-то: в вопросах финансовых; но в науках не был силен, знанием законов не обладал, предоставлял другим разбирать дела и постановлять решения. Он не доходил, впрочем, до крайности, обнаруженной некоторыми другими солдатами на царском престоле, которые презирали науку и ученых; учеными он не пренебрегал и сознавал пробел в своем образовании, стыдился его, всячески скрывал. Являясь в заседания сената, он становился молчалив, несмотря на то, что при других случаях бывал речист; если начинал говорить, то говорил медленно, долго собираясь с мыслями, обдумывая каждое слово; многословить он предоставлял другим, со своей стороны считал достаточным для обнаружения воли жест, движение руки, наклонение головы, а если подавал звук, то каждое слово было под счетом. Такой системы он держался с той целью, чтобы как-нибудь не обнаружить суждения опрометчивого, в форме несообразной с царским достоинством. С этой же целью он предоставлял другим писать судебные решения и излагать законы — опасался, чтобы не погрешить против правильности языка, не допустить орфографической ошибки. Он сожалел, что многого не знал, хотел узнать от других, более его сведущих, но самолюбие и гордость останавливали его желания. Пселл рассказывает о себе, что часто Комнин, желая выведать что-нибудь от него, делал это с околичностями, искусно опутывал словами и нередко достигал цели; но когда Пселл, догадавшись, к чему клонится речь царя, сразу давал ответ и разоблачал таким образом хитрость, он опускал глаза и

[1] *Bryenn.*, 19. Дочери вышли замуж: Мария за Михаила Таронита, Евдокия за Никифора Мелиссина, Феодора за Константина, сына императора Романа Диогена от его первой жены. Между сыновьями Алексей по старшинству занимал третье место; старше его были Мануил и Исаак, моложе Адриан и Никифор. См.: *Zonar.*, IV, 235–236 (*Glyc.*, 619).

краснел, точно в чем уличенный. В высшей степени гордый, Комнин не мог вынести противоречия и обличений, ни прямых, ни косвенных.[1] Высокомерное обращение он простирал не только на посторонних, но и на близких родственников: его брат Иоанн, приезжая во дворец, должен был издали сойти с лошади, подойти пешком и не иначе был допускаем перед царские очи, как по предварительному докладу и разрешению, наравне с остальными подданными. Комнин не только в обращении с подданными обнаруживал приемы сурового солдата, но поступал как солдат и в делах государственных, не оценивая и не взвешивая своих действий по примеру того, как он оценивал и взвешивал слова в заседаниях сената: правило его было — брать натиском, штурмом, и все рубить с плеча. Замечая прорехи и слабости в государственном организме, допущенные в предшествовавшие царствования и требовавшие осторожного и постепенного исправления, он без дальних рассуждений стал все ломать и переделывать по-своему, забывая, по словам историка, что и Бог создал мир в шесть дней, и считая немыслимым делать что-нибудь не в один день, а в более продолжительный срок.[2] Лучшим символом принятой Комнином правительственной системы может служить отчеканенная по его приказанию монета, на которой он изображен с обнаженным мечом в руке.[3]

Так как движение, кончившееся низвержением Стратиотика и возведением на престол Комнина, имело чисто военный характер, то в столице опасались, что наступит военный режим и мирные граждане будут отданы на жертву солдатам. Это, может быть, и случилось бы, если бы не Комнин был избран военной партией в императоры, а человек более одностороннего направления. Но Исаак Комнин, хотя солдат по натуре, понимал значение гражданского элемента в государстве и сознавал необходимость поддерживать равновесие между этим элементом и военным. Он, завладев столицей, немедленно же, во избежание возможных беспорядков и насилий, распустил войско по домам, наградив его по заслугам и обещая опять созвать, как скоро встретится надобность для борьбы с внешними врагами.[4] Политический горизонт после того прояснился, настроение

---

[1] Между прочим, патриарх Керулларий пострадал за то, что не сообразовал своих действий с этой чертой характера.

[2] *Psell.*, IV, 235–237, 243–245, 249 (*Manass.*, 272); *Psell.*, V, 433–434; *Scyl.*, 650 (*Zonar.*, IV, 197).

[3] *Attal.*, 60 (*Scyl.*, 641; *Zonar.*, IV, 191–192; *Glyc.*, 601; *Ioel*, 63; *Ephr.*, 140; *Georg.*, 882); *Matth. d'Ed.*, 104–105. Снимок монеты у *Saulcy*. Essai de classification de suites monétaires byzantines. Pl. XXIV, № 5.

[4] *Psell.*, IV, 234–235 (*Zonar.*, IV, 191).

граждан просветлело. Деятельность Комнина по внутреннему управлению, согласно с самым существом переворота, должна была получить направление, противоположное тому, какого держались его предшественники, покровительствовавшие гражданской партии и расточавшие сокровища в пользу ее выходцев. Она, действительно, и направилась в эту сторону, но опять-таки не односторонне, а с рассуждением. Между политическими деятелями прежнего времени, принадлежавшими к гражданской партии, были люди способные и достойные, приобретшие известную опытность, и так как Комнин понимал, что гражданская часть в механизме государственного управления должна занимать свое место, то он не нашел ничего лучше, как вверить заведование им именно этим людям, стоявшим выше его по политическому образованию. В своем заведовании он оставил главным образом войско, ту сферу, в которой авторитетность его была неоспорима. Исаак Комнин сделал своим первым министром Константина Лихуда,[1] занимавшего эту должность в начале царствования Мономаха. Он приблизил к себе многостороннего ученого Михаила Пселла, тоже пользовавшегося значением при Мономахе, часто с ним беседовал, спрашивал у него мнений о делах,[2] отправляясь в поход, поручал ему, вместе с другими, иметь наблюдение за государственным управлением, доносить ему о ходе событий, и сам на имя Пселла адресовал письма с известиями о своих военных успехах.[3] И к другим достойным людям, даже из приверженцев Михаила Стратиотика, до последней минуты остававшимся верными низвергнутому императору, он относился с уважением, отдавал должную дань их достоинствам, самую их стойкость и верность прежнему императору относил к числу заслуг.[4] Но вместе с тем Комнин стал безжалостно гнать все, по его мнению, недостойное, не колеблясь принялся отсекать все болезненные, на его взгляд, наросты, которые назрели на государственном организме в прежнее время. Центральной артерией византийского государственного организма была фискальная система, и на нее направил взоры император — он задался целью возвратить казне все, что она потеряла. Приближенные Стратиотика, позднее других попользовавшиеся за счет казны, впечатление от деяний которых было самое свежее, прежде всего пострадали: имущество их было отнято в казну и они лишены почестей. Не ограничиваясь царствованием Стратиотика, Комнин перешел к более древнему

[1] *Psell.*, IV, 409.
[2] *Psell.*, IV, 245; 416; V, 433.
[3] *Psell.*, V, 419, 304.
[4] *Matth. d'Ed.*, 104.

времени, и кто еще процветал из деятелей того времени, доедая лакомые куски, полученные от государства, теперь лишился благосостояния. Не остались даже незатронутыми интересы многих представителей военного сословия, которым удалось в былое время захватить на свою долю кусок при дележе. Комнин не постеснялся наконец простереть руку на церкви и монастыри, разбогатевшие за счет государственной благостыни: все направилось к своему первоисточнику. Государственные субсидии были прекращены, содержание должностных лиц уменьшено.[1]

Понятно, что такой политикой Комнин нажил себе массу врагов: территориальная аристократия, лишенная земель; чиновная аристократия, ограниченная в жаловании; духовенство, потерявшее имущество, — все должны были перейти и действительно перешли в лагерь недовольных. Недовольство легко могло пробиться наружу и, по обычаям византийского государства, выразиться во враждебных правительству действиях. Первые признаки такого настроения обнаружились в протесте Константинопольского патриарха Михаила Керуллария, выступившего на защиту церковных интересов. Но Комнин сломил оппозицию, принеся патриарха в жертву своему гневу. Поступок с патриархом не укротил однако же недовольных. Между ними началось какое-то подозрительное брожение. Когда Комнин находился в походе против печенегов, в сентябре 1059 г., до него дошел слух, что в Малой Азии поднялось восстание, и это заставило его поспешить в столицу. Слух оказался ложным.[2] Тем не менее сама возможность его появления указывала на то, что в воздухе носилось что-то недоброе, что если восстание не сформировалось, то все-таки готов был материал, из которого оно могло сформироваться и, может быть, делались какие-нибудь попытки в этом смысле. Недолго, вероятно, пришлось бы ожидать времени, когда горючие вещества, накопившиеся у подножия трона, вспыхнули бы ярким пламенем, если бы случай не подоспел на помощь и не помог поколебать трон прежде, чем начался пожар.

Спустя некоторое время по возвращении из похода, когда Комнин успел успокоиться от взволновавшего его неверного слуха, он с целью развлечься и забыться от государственных забот отправился на охоту[3] за

---

[1] *Psell.*, IV, 242–243 (*Zon.*, IV, 192–193); *Attal.*, 60–61, 71 (*Scyl.*, 642).

[2] *Attal.*, 68 (*Scyl.*, 646–647).

[3] Охота Комнина и случившаяся во время ее болезнь облеклись в представлении народа в форму легенды. Легенда носит следы церковного влияния, смысл ее тот, что гнев Божий постиг царя за его беззаконный поступок относительно Церкви. Основанием легенды послужил действительный факт: охота на кабана. В легенде замечаются постепенные наслоения, указывающие на постепенность ее

кабанами в окрестности Эфеса. Здесь он простудился, с ним сделался сильный лихорадочный припадок, через три дня припадок повторился, император переправился в столицу, во Влахернский дворец, переночевал в нем и на следующее утро, когда он, страдая от обнаружившегося плеврита, собирался переехать из Влахернского в Большой дворец, его окружили приближенные и, вместе с патриархом, стали убеждать отречься от престола и постричься в монахи. Увещания увенчались успехом: Исаак Комнин отрекся от престола в пользу Константина Дуки, постригся в монахи и отправился в Студийский монастырь, где провел остаток своей жизни (по свидетельству писателя XII в.,[1] один год) в монашеских подвигах.[2] Принимая во внимание наиболее надежное свидетельство, что Комнин царствовал два года и три месяца,[3] можно заключить, что отречение его от престола совершилось в начале декабря 1059 г.

Факт отречения Комнина от престола и пострижения в монашество чрезвычайно загадочен. Историки, сочинениями которых мы пользуемся как источниками, представляют это дело добровольным актом со стороны императора. Но для беспристрастного читателя кажется странным,

---

образования. В первоначальной редакции она читается у *Аттaлиота* (69), который говорит, что Комнин был испуган ударом молнии. В дальнейшей редакции она записана у неизвестного источника *Скилицы* (647) (*Zonar.*, IV, 196; *Glyc.*, 602–603; *Ephr.*, 141–142; *Ioel*, 64; *Georg.*, 883), по словам которого показался молниеносный свет в Неаполе (ныне Scalanuova, к югу от Эфеса, см.: *Forbiger*. Die alte Georg., II, 191) и появился кабан, которого царь преследовал до моря; кабан исчез в море, а царь вдруг был поражен молниеносным светом, упал с лошади и стал источать пену; оглушенный, он в бессознательном состоянии положен был в лодку и отправлен во дворец. *Гфрёрер* (III, 636–640), во всем стремящийся открыть таинственный смысл, видит в легенде аллегорическое изображение событий, а именно: во время охоты в Лидии сила, превзошедшая силу царя, со свирепостью дикого вепря поразила Комнина и свергнула его с престола в монастырь.

[1] *Bryenn.*, 23. *Гиббон* (865) и *Герцберг* (Gesch. d. Byzant., 243) по ошибке: два года.

[2] *Psell.*, IV, 250, 252–253 (*Zon.*, IV, 196); *Attal.*, 68–69 (*Scyl.*, 647–648; *Zon.*, IV, 196; *Glyc.*, 603; *Ephr.*, 142; *Ioel*, 64; *Georg.*, 883–884); *Bryenn.*, 20.

[3] *Attal.*, 69 (*Scyl.*, 648; *Zon.*, IV, 197; *Ioel*, 64; *Georg.*, 884; *Glyc.*, 600 — круглая цифра: 2 года). *Луп* (59) и *Аноним Барийский* (331) относят отречение к 1060 г. по греческому или пизанскому летосчислению. У *Ромуальда Салернского* (169) неправильно определяется продолжительность царствования Комнина в 4 года. Новейшие исследователи: *Гиббон* (865), *Лебо* (XIV, 434), *Папаригопуло* (IV, 415) и *Гфрёрер* (III, 638), следуя свидетельству *Кодина* (157), что Комнин царствовал 2 года, 3 месяца и 24 дня, относят его отречение к концу декабря, а именно к 25-му числу.

каким образом храбрый и мужественный государь, только что возвратившийся с театра военных действий, в разгар совершенно не монашеской забавы, решается под влиянием какой-то лихорадки или плеврита, которые для его выносливой натуры не должны были казаться чем-нибудь безнадежным, на шаг бесповоротный, противоречивший его личным и фамильным интересам. Трудно найти этому факту полное объяснение, однако же по немногим имеющимся в нашем распоряжении данным можно догадываться, что в деле отречения и пострижения Комнина нашла себе приложение злостная интрига, хорошо подготовленная и удачно разыгранная, главным руководителем которой был Михаил Пселл, жертвой — Комнин и его семья, человеком, пожавшим плоды, — Константин Дука.

Генеалогию Константина Дуки нет возможности установить. Минуя легендарные рассказы, возводящие его род ко временам Константина Великого,[1] невозможно даже провести филиацию между именами Дук, попадающимися в истории с первой половины IX в., а именно: Андроником, подвизавшимся вместе со Львом Аргиром при Михаиле III,[2] другим Андроником, процветавшим при Льве VI и умершим в изгнании,[3] Константином Дукой, выступившим претендентом на престол при Константине Багрянородном и погибшим вместе со своим родом, за исключением сына Николая, который был убит позже в сражении с болгарами,[4] третьим Андроником Дукой, по прозванию Лид, который вместе с сыновьями. Вардой и Христофором, стоял на стороне Склира, возмутившегося против Василия II.[5] Относительно их нельзя доказать, что Андроник Лид был сын Константина Дуки, или даже его внук через сына Николая, точно так же нельзя доказать, что второй Андроник был сын первого Андроника. Неизвестно, наконец, какое отношение существует между Константином Дукой, вступившим на престол в 1059 г., и сыновьями третьего Андроника. Словом, в этой области возможны только догадки.

С достоверностью можно сказать, что Константин Дука был родом из Пафлагонии,[6] в первый раз женился на дочери[7] Константина Далассина,

---

[1] *Bryenn.*, 13.

[2] *Cedr.*, II, 154.

[3] *Cedr.*, II, 263.

[4] *Cedr.*, II, 268, 280, 288.

[5] *Cedr.*, II, 424, 434, 464. Ср.: *Ducange*. Fam. Byzant., 160.

[6] *Michel le Grand*, 291.

[7] *Дюканж* (Fam. Byzant.), а за ним *Гфрёрер* (III, 160) и другие ошибочно называют ее Евдокией, смешивая со второй женой. Впрочем, Дюканж в издании *Зонары* (ed. Dind., VI, 183–184) исправляет свою ошибку.

знаменитого претендента на руку императрицы Зои, за сочувствие которому был заключен в тюрьму Иоанном Орфанотрофом. По смерти этой первой жены он женился на другой, Евдокии[1] Макремволитиссе, племяннице патриарха Михаила Керуллария, и от нее имел детей мужского и женского пола, рожденных до и после вступления на престол.[2] В восстании Комнина против Стратиотика Константин Дука вместе с братом Иоанном принимал деятельное участие, и при начале заговора ему, как и другим, предлагали стать во главе восстания, назвавшись императором, но он благоразумно отклонил от себя эту опасную честь.[3] Когда заговорщики провозгласили императором Исаака Комнина, Константин Дука был возведен этим последним в звание кесаря, но по вступлении Комнина на престол Дука сложил с себя звание — добровольно или против воли, неизвестно — и удалился от двора.[4] Судя по тому, что приверженный Дуке писатель[5] говорит о каких-то обещаниях, данных Комнином Дуке, которые не были исполнены, можно полагать, что сложение достоинства кесаря было результатом натянутых отношений между Комнином и Дукой. Принимая во внимание эту натянутость отношений, можно не без основания заключать, что Дука отправлен был из столицы на службу в провинцию, — таким образом получает значение свидетельство Матвея Эдесского,[6] что для занятия престола он был вызван из Эдессы, города, которым он управлял. Противоречивое, по-видимому, этому свидетельству показание греческого историка,[7] что Дука состоял в числе первых советников Комнина, который удостаивал его дружбы и чести (что, следовательно, он постоянно находился при особе Комнина), можно относить к тому времени, когда Комнин был еще претендентом, не вступил на престол;

---

[1] *Psell.*, IV, 261, 269.

[2] Сыновья: Михаил, Андроник и Константин, из них последний порфирородный; дочери: Анна, Феодора и Зоя. См.: *Scyl.*, 659 (*Glyc.*, 606–607; *Ioel*, 64–65). Младшая дочь, как и младший сын, рождена на престоле. Анна (по Пселлу — Арета) поступила в монашество, Феодора вышла за Доминика Сильвио, дожа Венеции: *Psell.*, IV, 267; *Dandolo*, 247; *Ducange*. Fam. Byz., 163. Зою сватали будто бы императору Вотаниату после смерти первой его жены Бердины (*Scyl.*, 733) или, если верить *Врienнию* (107) (*Anna*, I, 141), Алексею Комнину. По *Пселлу* (IV, 267), был еще один сын, моложе Михаила, старше Андроника, но он умер после вступления на престол Константина Дуки.

[3] *Psell.*, IV, 262; *Cedr.*, II, 620.

[4] *Psell.*, IV, 257.

[5] *Psell.*, IV, 262.

[6] *Matth. d'Ed.*, 106.

[7] *Attal.*, 56.

нитями, связывавшими тогда их дружбу, служили финансовые расчеты — Дука был богат, снабжал Комнина необходимыми для его предприятия деньгами, вообще был изобретателен насчет денег и тем оказывал большие услуги претенденту.[1]

Когда Исаак Комнин своими резкими мерами вызвал недовольство в среде подданных и стала подготовляться оппозиция, в планах лиц, принадлежавших к оппозиции, не последнюю роль играли, надо полагать, расчеты на Дуку. Патриарх Керулларий был слишком решительный и искусившийся в делах этого рода человек, чтобы свой протест против церковной политики Комнина ограничивать словесными обличениями и не заглядывать в будущее, в область возможной агитации против Комнина с помощью какого-нибудь претендента на престол. Если же у Керуллария были подобные мысли, то кому естественнее было порадеть, как не мужу своей племянницы? И действительно, у панегириста Керуллария встречаем смутную фразу, что он давно предугадывал, что Дука получит державную власть.[2] Низвержение Керуллария воспрепятствовало ему осуществить свои намерения относительно Дуки, если даже они были. В сентябре 1059 г. до Комнина доходит слух, оказавшийся неосновательным, что против него поднялось восстание. Историк, посвящая этому слуху краткую заметку в трех строчках, не называет по имени того, на кого молва указывала как на главного деятеля восстания, говорит только, что это был сановник, посланный на Восток для улаживания вопроса о государственных имуществах.[3] Если с этим сопоставить, что Дука действует на Востоке, в Эдессе, и что Комнину он известен был со стороны своих финансовых способностей, то не будет вполне безосновательным предположение, что такое важное дело, касавшееся экономических интересов государства, поручено было Комнином именно ему и что молва указывала на него как на зачинщика восстания. Это предположение находит себе косвенное подтверждение и у Пселла: Пселл ни одним словом не обмолвился о тревогах, волновавших Комнина вследствие слуха о восстании на Востоке, — факт сам по себе подозрительный; в то же время, превознося высокие качества Дуки, он замечает, что многие наперед указывали ему царство, его пугали не враги, но приверженцы, он должен был

[1] *Scyl.*, 648 (*Manass.*, 272).

[2] *Psell.*, IV, 380–381: ᾧ καὶ πόρρωθεν προεγνώκεις τὸ κράτος καὶ ἐν ἀπορρήτοις συμβόλοις ἐγνώρισας... (Ты давно уже предвидел, что он взойдет на престол и сообщил ему об этом с помощью тайных знаков)

[3] *Attal.*, 68: τὸν πρός ἑῴων ἀποσταλέντα παρ' αὐτοῦ πολιτικὸν ἄνδρα διὰ τὴν τῶν δημοσίων κτημάτων ἐξίσωσιν (*Scyl.*, 647).

скрываться от них и преграждать к себе доступ, хотя более смелые пренебрегали этим препятствием.[1] Пселл в своих записках не стеснялся хронологией и не заботился о том, чтобы его сообщения стояли на своем месте. Хотя вслед за приведенной заметкой он говорит о времени, предшествовавшем вступлению Комнина на престол, однако же это не мешает относить его слова ко времени царствования Комнина. Сообщение Пселла достаточно выясняет как происхождение тревожного слуха, так и то, почему и в каком смысле он оказался ложным. Поводом к слуху послужило тяготение к Дуке его приверженцев, а именно людей, недовольных царствованием Комнина, слух оказался ложным в том смысле, что Дука не только не старался привлекать к себе этих людей, а, напротив, всячески от них устранялся. Комнин, как скоро выяснилась эта сторона дела — отношение Дуки, — успокоился; он был слишком правдив для того, чтобы принимать несогласные с чувством справедливости меры предосторожности и подвергать человека преследованию только за то, что другие его уважают.

Пселл был в числе приверженцев Константина Дуки. Начало дружбы между ними положено было еще при Константине Мономахе и поводом к ней послужила покупка царем для Пселла дома, принадлежавшего Константину Дуке. Они по этому случаю познакомились, сблизились, и Пселл, приобревший силу у Мономаха, своим влиянием был кое-чем полезен Дуке.[2] Дружба между ними продолжалась и после Мономаха, Пселл всегда готов был оказать услугу приятелю. Несмотря на то, что он был приближенным советником Комнина, пользовался его доверием и расположением, он не питал к Комнину таких чувств, как к Дуке. Независимо от того, у Пселла были какие-то основания неодобрительно смотреть на внутреннюю политику Комнина. Может быть, политика Комнина затронула интересы Пселла, у которого тоже был свой кусок государственного пирога, в виде поместья, одаренного некоторыми привилегиями, может быть, это поместье было отнято в казну, тем более что Пселл был монах, а по взгляду Комнина монахи должны были не только на словах, но и в жизни проводить принцип нестяжательности. Как бы то ни было, Пселл в своем сочинении положительно не сочувствует внутренней политике Комнина и явно ее порицает. Когда Комнин во время охоты заболел, Пселл находился при нем и, не чуждый некоторых медицинских сведений, подавал мнение о болезни, несогласное с мнением дворцового медика. Капризный случай устроил так, что мнение Пселла оказалось

[1] *Psell.*, IV, 256.
[2] *Psell.*, IV, 262.

правильным, и император должен был почувствовать уважение к глубоким медицинским познаниям своего советника. На этом обстоятельстве Пселл, очевидно, и построил интригу. И вот с первых же шагов мы наталкиваемся на странное явление. В тот день, когда обнаружился лихорадочный припадок, и в три следующие дня совершенно не поднималась речь о пострижении Комнина и о преемнике престола. Только на другой день, после прибытия царя во Влахернский дворец речь об этом была начата и все дело покончено. В этот, весьма важный для судьбы Дуки день, он, управлявший Эдессой, оказывается в столице, по первому требованию выступает на сцену и начинает играть свою роль. В один день невозможно было вызвать Дуку из Эдессы в Византию, и очевидно, что он был вытребован раньше, но во всяком случае не Комнином, который не предполагал рокового поворота обстоятельств, а кем-нибудь из доброжелателей, в уме которого все было предрешено и план обдуман. Принимая во внимание предшествующие отношения Пселла к Дуке, а еще более взаимные между ними отношения в тот день, когда решался вопрос об отречении и пострижении Комнина, мы можем без колебания сказать, что тут услужил своему приятелю Пселл, немедленно, при первых симптомах болезни царя, отправивший к Дуке гонца с инструкциями. Когда Пселл прибыл к больному Комнину во Влахернский дворец, тот, испытавший уже медицинские познания Пселла, несмотря на то, что при его особе находился первый врач, с доверчивостью протянул своему советнику руку, чтобы он пощупал пульс, — и с этого момента при дворе разносится тревожная весть, что император безнадежен. Немедленно является патриарх, начинается речь о пострижении Комнина.[1] Это был Константин Лихуд, из первых министров произведенный в патриархи, товарищ Пселла по политической деятельности, который теперь, встав во главе Церкви, сделался естественным представителем ее интересов, нарушенных Комнином, и в силу этого должен был сочувствовать Пселлу и помогать ему в его планах, рассчитанных на то, чтобы устранить Комнина и заменить его таким императором, который бы исправил все, что сделано неприятного для Церкви и отдельных лиц. Очень вероятно, что Пселл задачу расположить Комнина к монашеству всецело предоставил патриарху, а себе оставил другую, более щекотливую, хотя сам же Пселл передает, что когда приговоренный им к смерти Комнин вышел без посторонней помощи из дворца, сел на лошадь, доехал до берега пролива и, взойдя здесь на императорский дромон, отплыл в Большой дворец, и когда, не доезжая дворца, Пселл, считавший почему-то нужным отправиться по

[1] *Psell.*, IV, 253.

другой дороге, его встретил, тогда императрица Екатерина, сопровождавшая вместе с дочерью императора, заливаясь горькими слезами, сказала: «Много обязаны тебе, философ, за совет; хорошо ты нам отплатил, убедив императора перейти к монашеской жизни», на что Пселл ответил, что не его тут вина, император же заметил, указывая на жену: «Она по своей женской манере удерживает нас от лучшей жизни и готова обвинять всех прежде, чем меня».[1] По прибытии в Большой дворец заведена была речь о преемнике престола. Пселл сам сознается, что император взял его советником по этому делу, и результатом совещания было то, что пренебрежены были ближайшие родственники, около полудня введен Константин Дука, царь рекомендовал его попечениям жену, дочь, брата и других родственников и нарек его императором на словах, не вручив однако же пока императорских инсигний.[2] Очевидно, Комнин, человек честный, высоко ставивший государственное благо и ценивший авторитет Пселла не только как врача, но и как политического мудреца, поверивший прежде, что ему не миновать смерти, теперь поверил, что для высших государственных целей нужно забыть кровные узы родства и отдать предпочтение Дуке, который способен возвести государство на высоту благоденствия. Позднее муж Анны Комнины, Вриенний, сочинил целую историю[3] о том, как Исаак Комнин перед смертью призвал брата, Иоанна, и держал перед ним речь, убеждая наследовать престол, как тот отказался, как этим огорчилась жена Иоанна и пр. Но в его сообщении[4] если есть доля правды, то лишь тот факт, что отречение и пострижение Комнина были величайшим ударом для императорской семьи, для Екатерины, остававшейся вдовой при живом муже, для дочери, не пристроенной еще замуж, и для остальных Комнинов; сетования жены Иоанна у Вриения сходны с сетованиями, которые Пселл влагает в уста Екатерины, жены Исаака.[5]

Спустя некоторое время после того как сыгран был этот акт драмы — Дука назначен императором, неформальным, однако же, образом, — император вдруг почувствовал себя лучше. Сомнение закралось в его душу насчет всего, что доныне ему внушали: и насчет болезни, которую

[1] *Psell.*, IV, 254.

[2] *Psell.*, IV, 257–258, 262–263.

[3] *Bryenn.*, 21–22.

[4] Эту историю многие принимают за чистую монету, например *Лебо* (XIV, 427–428). *Гиббон* (865) порицает даже по этому поводу Иоанна, называя его (фиктивный) поступок «преступным забвением долга».

[5] *Psell.*, IV, 254.

выдавали за смертельную, и насчет назначения преемника, и насчет пострижения в монашество, к которому он склонялся, но еще не выполнил. Луч истины, вероятно, проник в его голову, и он стал догадываться об интриге и колебаться в принятых решениях. Момент был критический. Константин Дука пришел в ужас от мысли, что интрига может разоблачиться, и ему не миновать возмездия. Он обращается к Пселлу, творцу и главному двигателю всей махинации, и просит так или иначе спасти его. Просьбы была лишняя: минута была для самого Пселла, для всей его будущности столь же опасная и роковая, как и для Дуки. Если бы не удалось довести дело до конца и интрига бы обнаружилась, пришлось бы рассчитываться весьма дорого. Пселл решается на отчаянный шаг; он обнадеживает, ободряет Дуку, призывает к царской постели патриарха, с тем чтобы он поддерживал Комнина в прежнем монашеском настроении и был наготове во дворце на случай надобности, в то же время сажает Константина Дуку на царский трон, надевает ему красные туфли на ноги и делает распоряжение, чтобы собирались сановники для принесения поздравлений новому императору. Когда чины собрались, Пселл подал им пример — первый начал славословие и поклонение. Рубикон был перейден, формальность исполнена и удалась благополучно. Это было к вечеру. Обойденному на всех путях Комнину, для которого навсегда был отрезан доступ к ступеням трона, который был изменнически покинут своими приближенными и, видя вокруг себя одних недоброжелателей, раздраженных его внутренней политикой, не мог и думать об успешной борьбе за свои права, ничего не оставалось делать, как сыграть эпилог драмы: он облачился в монашеское платье, оставил дворец, сел на корабль и отправился в Студийский монастырь доживать свой век или, как тонко выражается Пселл, для которого было бы интересно в видах прикрытия интриги, чтобы болезнь действительно оказалась смертельной, умирать медленной смертью.[1]

Константин Дука не забыл услуги, оказанной ему Пселлом. После своего провозглашения он выразил ему глубокую признательность и во все время царствования удостаивал близости к себе, был расположен более, чем к другим, проявлял всевозможные знаки благосклонности и поручил ему воспитание своего старшего сына, Михаила.[2] Но Дука хорошо знал, что не один Пселл, хотя бы даже в союзе с патриархом, произвел переворот, что тут действовала целая партия, масса людей, считавших себя обиженными Комнином, недовольных его правлением, — Пселл потому и

[1] ἐκεῖσε δυσθανατῶν ἦν. *Psell.*, IV, 263–264.

[2] *Psell.*, IV, 256, 259.

действовал так смело, что чувствовал под своими ногами твердую почву, опирался на сочувствие многих, от которых ожидал поддержки в случае нужды. Константин Дука должен был принять в соображение интересы этих людей и оправдать ожидания, на него возлагавшиеся. И действительно, он принимается за исправление того, что сделано было Комнином неприятного: лица, удаленные им и лишенные почестей, возвращаются и восстанавливаются в достоинствах.[1] Деятельность Дуки по управлению государством тоже пошла по направлению, противоположному направлению Комнина. Пселл замечает, что он объединил два доныне враждебных элемента, сословие гражданское и военное,[2] но эти слова верны лишь в том отношении, что представителям военного сословия он не преграждал дороги, точно так же как и представителям сословия гражданского. Совсем другой вопрос, какого рода была та деятельность, на которую преимущественно обращал внимание Дука. Военными делами он совершенно пренебрегал, забывал о них; будучи по природе человеком характера мирного, хотя по рождению и социальному положению принадлежа к военному сословию, он направлял свои заботы на ту сферу государственной жизни, которая отвечала его внутренним наклонностям. Наклонности его известны были Комнину, известны они были и той партии, которая благоприятствовала его возведению на престол, за них партия, может быть, и предпочла Дуку кому-нибудь другому, и еще вопрос — имел ли бы он успех, если бы по своей натуре представлял задатки иной деятельности. Дука обратил все свое внимание на мирные государственные отправления, на правосудие и еще более на фискальную систему, относительно которой он обнаружил большие способности, еще не будучи императором.[3] Пристрастие в этом отношении он довел до крайности, развилось сутяжничество и в судебной практике возобладала система конфискаций. Для людей военного сословия, искавших выгодной работы, предоставлялся единственный исход: окунуться в сферу, столь любезную императору; поэтому сутяжничество входит в нравы военного сословия и стратиоты превращаются в сборщиков податей.

Такой порядок вещей не мог быть приятен истинным патриотам, которые видели, что военное дело приходит в упадок, внешние враги государства становятся смелее и безнаказанно разоряют пограничные области. Патриоты были как в гражданском, так и в военном сословии, и если односторонняя политика Дуки объединила более своекорыстных и недальновидных представителей того и другого сословия, живших лишь настоящим

[1] *Attal.*, 71.
[2] *Psell.*, IV. 265.
[3] *Attall.* 76.

и не заглядывавших в будущее, то неодобрительный взгляд на эту политику, вредную для будущих судеб государства, соединил в одно целое тех людей из среды мирных граждан и стратиотов, для которых польза отечества стояла выше личных интересов. Эти люди с сожалением вспоминали о честном и храбром Исааке Комнине, с грустью видели, что новый царь далеко не похож на него, что при обстоятельствах, в каких государство тогда находилось, он совершенно не на месте, что для защиты от врагов нужен опять или Комнин, или другой, на него похожий.

Насчет людей, принадлежавших к этому лагерю с патриотическим направлением, мы относим заговор, обнаружившийся 23 апреля 1060 года,[1] когда, без сомнения, был еще жив Исаак Комнин. В праздник св. великомученика Георгия Константин Дука, согласно постановлению царя Мономаха, завещанному преемникам, отправился в Манганы, в основанный Мономахом монастырь св. Георгия, с тем, чтобы внести положенный вклад и провести день в монастыре. Заговорщики, в числе которых были не только простые граждане, но и люди знатные, а также воины как сухопутной армии, так и флота, с ведома городского эпарха, составили план государственного переворота. Решено было устроить так, чтобы на берегу, близ монастыря, не находилось царской триеры, в городе же, пользуясь отсутствием царя, произвести народное смятение и овладеть стражей. Предполагалось, что когда весть о возмущении достигнет царя, он поспешит на берег, чтобы сесть на корабль и плыть во дворец, но корабля не найдет. Между тем к этому времени подоспеет судно, управляемое заговорщиками, царь по необходимости сядет на него и поплывет, по дороге же заговорщики его утопят. Сделано так, как было условлено, но не все удалось. Народ стал скапливаться на городской площади и шуметь, вестники один за другим поспешили в Манганы с докладом о возмущении. Царь с женой и детьми отправился из монастыря на берег, здесь царской триеры не нашлось, но и корабля с заговорщиками пока еще не было. Тут случай пришел ему на помощь; он встретил чью-то лодку и, не долго думая, сел в нее и отправился во дворец. Когда он несколько отплыл, появился корабль с заговорщиками, которые стали убеждать царя перейти на их судно как более удобное и годное для плавания. Дука не сдался на убеждения и благополучно прибыл во дворец. Между тем брат его, Иоанн, с войском прошел через городскую площадь и принудил толпу разойтись по домам, городской эпарх тоже оказался ревностен задним числом —

[1] Историки, не указывая года, говорят только, что он произошел в праздник великомученика Георгия. Но поскольку они помещают рассказ о заговоре в самом начале царствования Дуки, то основательнее относить его к 1060, а не к 1061 г., как это делает *Мюральт* (II, 6).

явился на площадь и присоединился к Иоанну. Зачинщики бунта разбежались — кто в Великую церковь, кто в дома и разные укромные места, но суд их разыскал. Следствие открыло виновных, которые были подвергнуты наказаниям, бичеванию; заключению в тюрьму, пострижению, но главным образом конфискации имущества и ссылке; смертью никто казнен не был. Знавший о заговоре эпарх города был наказан в числе первых: имущество его конфисковано и он сослан.[1] Мотивы этого заговора, равно как вопрос о том, в чью пользу он направлялся, у историков не выяснены. Заметка Аттaлиота[2] о заговорщиках, недовольных будто бы тем, что император не обнаруживал благородных качеств, не держался твердо своего слова и забывал о царских милостях, ничего не объясняет. Несколько прояснить дело может лишь то обстоятельство, что в заговоре принимают участие войска; отсюда позволительно заключить, что поводом к неудовольствию было пренебрежение военным делом. Каково было окончательное намерение заговорщиков, кем предполагали они заменить Дуку, трудно сказать: могли стремиться к реставрации Исаака Комнина, могли иметь в виду и другого кандидата на престол.

Кроме этого заговора, других проявлений оппозиции, направленных против трона, не было, — остальное время царствования Дука провел не тревожимый претендентами.[3] Но это не значит, что партия патриотов совершенно прекратила свое существование. Ей нанесен был лишь удар, и чтобы оправиться от него, требовалось время. По смерти Константина Дуки она опять выступила на сцену и добилась своей цели.

На шестом году царствования, в октябре 1066 г., Константин Дука заболел, болезнь продолжалась семь месяцев и в мае 1067 года окончилась смертью. Всего он занимал престол семь с половиной лет[4] и сошел в могилу, имея от роду шестьдесят лет с небольшим.[5]

---

[1] *Attal.*, 71–75 (*Scyl.*, 651–652; *Zonar.*, IV, 197–198; *Glyc.*, 604); *Psell.*, IV, 267–268.

[2] *Attal.*, 72.

[3] *Psell.*, IV, 270.

[4] *Attal.*, 92 (*Scyl.*, 659; *Ioel*, 64–65; *Zonar.*, IV, 202; *Glyc.*, 604, 606; *Manass.*, 274 и *Georg.*, 885 — 7 лет, круглая цифра; *Ephr.*, 142 — 12 лет, без сомнения, по ошибке переписчика); *Psell.*, IV, 260 — 7 лет, круглая цифра. В каталоге *Продолжателя Георгия* (920) ошибочно 8 лет и 3 месяца, в каталоге *Кодина* (157) — 7 лет и 6 месяцев. Из западных писателей верно определяют время его смерти (в мае 1067) *Lup.*, 59; *Chron. Brev.*, 278; *Dandolo*, 246; *Anon. Bar.*, 333 (в 1068 г. по пизанскому летосчислению). Неправильно: *Rom. Sal.*, 171 (в 1066 г. на 6-м году правления), *Michel le Grand*, 291 (9 лет царствования).

[5] *Psell.*, IV, 269 (*Scyl.*, 660; *Zonar.*, 202; *Ioel*, 65).

Когда Константин Дука заболел, он поручил своих детей попечениям брата своего, кесаря Иоанна, и патриарха Иоанна Ксифилина. Перед смертью же он отдал детей на попечение своей жене Евдокии, которая по смерти мужа и наследовала престол в качестве регентши с сыновьями Михаилом, Андроником и Константином.[1] Скилица заимствовал из неизвестного источника и внес в свою хронику известие, повторяемое последующими историками, как не подлежащее сомнению, что Константин Дука перед смертью взял от всех сенаторов подписку в том, что никого, кроме его детей, не изберут в цари; расписалась и Евдокия, давшая обещание по смерти своего мужа ни за кого не выходить замуж; документ был отдан патриарху на хранение.[2] Это известие находится в связи с сообщаемым затем у Скилицы известием о том, как Евдокия при посредстве одного евнуха сумела склонить патриарха уничтожить подписанный ею документ, убедив его, что желает выйти замуж за его брата,[3] Варду.[4] Это известие имеет вид памфлета на патриарха Ксифилина; обязано оно своим происхождением какому-то антицерковному писателю и не заслуживает доверия по многим причинам. Во-первых, оно противоречит характеру Ксифилина, который в своем аскетическом подвижничестве не мог до такой степени быть привержен к развратному родственнику; во-вторых, представляется несообразным по грубости обмана, едва ли даже мыслимого, потому что невозможно было скрыть от патриарха план избрания на царство Диогена (а не Варды), после того как о нем подавалось мнение в заседании сената;[5] в-третьих, наконец, это известие не подтверждается Пселлом, который, будучи противником вторичного замужества Евдокии, не преминул бы упомянуть о подписке, если бы она существовала. Взятие от Евдокии подписки не выходить замуж представляется, кроме того, непонятной мерой: по смыслу Скилицы, это было средством сохранить престол для детей Константина; но из дальнейшей истории оказывается, напротив, что важнейшим мотивом для Евдокии ко вторичному выходу

---

[1] *Psell.*, IV, 269: *Scyl.*. 659 (*Zon.*, IV, 201). Старший сын, Михаил, предназначен был царствовать единодержавно (*Psell.*, IV, 273), поэтому *Пселл* (270–271) говорит только о нем и еще о Константине, во внимание, вероятно, к его порфирородности: Андроник совсем не упомянут. То же делают *Вриенний* (123) и *Вильгельм Апулийский* (265). У *Лупа* (59) и *Матвея Эдесского* (159) сделано еще последовательнее — назван преемником Дуки один его сын Михаил.

[2] *Scyl.*. 659 (*Zon.*, IV, 202; *Manass.*, 273–274; *Ioel*, 65; *Glyc.*, 607; *Ephr.*, 145).

[3] По варианту *Зонары* (IV, 205), за Варду, племянника Ксифилина.

[4] *Scyl.*, 665–666 (*Zon.*, IV, 204–205; *Ephr.*, 145; *Glyc.*, 607–608 — представление спутанное).

[5] *Attal.*, 101.

замуж была опасность для ее сыновей лишиться престола, с целью между прочим предотвратить опасность она решилась на замужество.[1] Историки, писавшие после Скилицы, сознавали, что эта мера в том виде, какой сообщен ей Скилицей, не оправдывается с точки зрения здравого смысла, и пытались поэтому представить более рациональное объяснение, которое, понятно, для нас не имеет обязательной силы.[2] Показание Скилицы следует отнести к разряду легенд, не лишенных однако же некоторого внутреннего значения в том отношении, что основой легенды послужили факты действительные, а именно: а) по первоначальному плану Константина Дуки патриарх, вместе с кесарем Иоанном, предназначался в опекуны к его детям, причем могло иметь место какое-нибудь письменное обязательство, — поэтому, может быть, сообщение о подписке поставлено Скилицей непосредственно за туманным сообщением его же о приобщении кесаря Иоанна к секретным намерениям;[3] б) первоначальным намерением Евдокии было не вступать во вторичный брак; это вполне соответствовало интересам той антипатриотической партии, которая была в силе при Константине Дуке и рассчитывала удержать свое значение под управлением женщины в малолетство детей Константина Дуки; к этой партии принадлежал Пселл, кесарь Иоанн, многие сенаторы и первоначально к ней же принадлежал патриарх Ксифилин; партия в общем собрании патриарха и членов сената укрепила Евдокию в мысли не вступать во второй брак;[4] в) патриарх Ксифилин, принадлежавший сначала к антипатриотической партии, понял потом несостоятельность ее стремлений с точки зрения истинных интересов государства, перешел в лагерь патриотов и своим влиянием много содействовал их успеху.

---

[1] *Psell.*, IV, 272.

[2] Так, *Manass.*, 273 (*Georg.*, 885) говорит, что Дука боялся за молодость жены, чтобы она, выйдя замуж за другого, не имела детей, которые устранили бы собственных его детей.

[3] *Scyl.*, 659: καίσαρα δὲ τὸν αὐτοῦ ἀδελφὸν Ἰωάννην προχειρισάμενος κοινωνὸν βουλευμάτων μυστηριωδῶν καὶ σκεμμάτων ἐτίθετο (Пожаловав его брату Иоанну титул кесаря, он посвящал его в свои тайные решения и помыслы). *Гфрёрер* (III, 675–679) по поводу этой фразы, неясной, может быть, и для самого автора, пишет целый трактат, сущность которого та, что в византийском государстве немногие только знали формы устройства, что это устройство определялось пунктами секретного договора, заключенного во время переворота 1059 г.; пункты, по мнению Гфрёрера, были следующие: а) право сената избирать императора, б) разделение императорской власти между многими лицами и в) положение патриарха как судьи между аристократией и императором.

[4] *Attal.*, 92.

Евдокия, получив в свои руки власть, не входила в мелочи государственного управления, предоставив их приближенным; сама главным образом занялась воспитанием детей при помощи Пселла, воспитателя старшего сына, Михаила.[1] Партия, пользовавшаяся влиянием при Константине Дуке, продолжала руководить государственными делами, давая им такое же направление, какое они имели при Константине; по-прежнему Империя находилась в крайне стесненном положении со стороны внешних врагов. Кружок патриотов, смолкнувший после неудачной попытки в начале царствования Константина Дуки, теперь стал громко провозглашать свои требования, говоря, что для государства нужен такой царь, который бы устроил дела и победил врагов. Кружок заручился сочувствием патриарха Ксифилина и стал пропагандировать свои мысли во влиятельных сферах. Он сделал попытку перетянуть на свою сторону и Пселла, но попытка не удалась. Зато, что важнее, он сделал капитальное приобретение в лице Евдокии. Как женщина умная, заботливая мать, и сама пропитанная патриотизмом, она, по необходимости подчиняясь влиянию советников, унаследованных после мужа, сознавала в то же время справедливость требований патриотов и готова была пожертвовать собой для отечества и для детей, т. е. выйти замуж. Необходимость жертвы мотивировалась в ее уме тем, что в случае если бы она отказалась от нового замужества, могло произойти одно из двух: или все оставалось бы statu quo, к явному вреду для государства, или сам народ поставил бы над собой воинственного царя, ко вреду для ее детей, которые при этом легко могли бы лишиться царства.[2]

Патриоты нашли и достойного кандидата на престол в лице Романа Диогена. Род Романа Диогена считался древним и славным. Однако же из его предков мы можем назвать только его отца, Константина Диогена, который был женат на племяннице Романа Аргира (дочери его брата Василия Аргира), был одним из энергичных приверженцев Феодоры и загадочно погиб под тягостью допроса, произведенного Иоанном Орфанотрофом.[3] Роман Диоген был родом из Каппадокии,[4] владел имениями в Харсианской феме.[5] Он управлял сначала придунайскими городами, потом Константин Дука назначил его правителем Сардики и возвел в чин

[1] *Psell.*, IV, 271 (*Zon.*, IV, 202).

[2] *Attal.*, 96 (*Scyl.*, 663; *Glyc.*, 607; *Zon.*, IV, 203); *Zonar.*, IV, 203; *Psell.*, IV, 269 (*Scyl.*, 659); *Psell.*, IV, 272–273 (*Zon.*, IV, 203).

[3] *Psell.*, IV, 275–276 (*Zon.*, IV, 203).

[4] *Attal.*, 99.

[5] *Attal.*, 146.

вестарха за победу над печенегами. Роман Диоген видел беспомощность правительства, не способного защитить государство от внешних врагов, и задался мыслью прийти на помощь, а для этого захватить в свои руки верховную власть. Свой замысел он скрывал до смерти Константина Дуки, но потом явно обнаружил и стал делать приготовления, рассчитывая добиться престола при помощи угров. Один из его советников, какой-то армянин, изменил ему и предательски захватил; он убедил Диогена разослать людей для агитации среди местного населения и стратигов, и когда тот, послушавшись, ослабил свои силы, армянин стал доказывать туземцам, что Диоген затевает предать их уграм, с которыми сносится. Овладев при помощи туземцев Диогеном, армянин, в надежде на щедрую награду, представил его в столицу и отдал в руки правительства Евдокии. Роман Диоген был подвергнут суду, во всем сознался и присужден к смертной казни. Он был приведен для выслушивания приговора в окончательной форме, и императрица присутствовала при этой формальности. Наружный вид Романа Диогена произвел впечатление на Евдокию. Диоген был приятен на взгляд, широкогрудый и широкоплечий, с благородной осанкой, с красивыми, не то светлыми, не то черными глазами. Жалость наполнила сердце императрицы при мысли, что такой видный, симпатичный и дышащий здоровьем мужчина должен умереть, на глазах ее показались слезы,[1] сенаторы же, заметив чувство сострадания в императрице, тоже оказались снисходительными — и вместо смертной казни Диогену назначена была высылка на родину в Каппадокию. Но недолго он там оставался: к празднику Рождества Христова 1067 г. он был вызван в столицу и в самый день праздника, во время великого выхода императрицы и ее детей в храм Св. Софии, возведен в магистры и назначен стратилатом.[2]

Вызов Диогена показывает, что в пользу его происходила какая-то агитация и что были при дворе влиятельные лица, по расчетам которых

[1] *Зонара* (IV, 204) делает при этом случае предположение, что Евдокия, может быть, полюбила Диогена. *Манасси* (275) превращает догадку в факт — говорит, что царица, увидя красоту Диогена, воспламенилась к нему любовью. У *Матвея Эдесского* (159) дело идет далее: по его словам, Евдокия в начале 518 г. армянской эры (4 марта 1069 — 3 марта 1070, что неверно), призвав тайно одного из магнатов государства, по имени Роман Диоген, допустила его в свое помещение и имела с ним преступную связь. Здесь не лишено значения замечание *Пселла* (IV, 272), что Евдокия вышла замуж не по склонности к удовольствиям и не по сластолюбию.

[2] *Psell.*, IV, 275; *Attal.*, 97–100 (*Scyl.*, 663–665; *Zon.*, IV, 203–204; *Glyc.*, 607–608; *Man.*, 274–275).

необходимо было, чтобы Диоген находился налицо. Евдокия к тому времени уже решилась вступить во второй брак; предстояло только выбрать мужа. Некоторые предлагали магистра Никифора Вотаниата, управлявшего тогда Антиохией, но были голоса и за Романа Диогена, а именно его сторону держал кто-то из влиятельных сенаторов. Диоген был предпочтен по двум причинам: во-первых, он был налицо, в столице, во-вторых, у него не было жены, так как первая жена его к тому времени умерла.[1] Но партия, не допускавшая самой мысли о выходе Евдокии за кого бы то ни было замуж, во главе ее Пселл и кесарь Иоанн, не хотела уступить до последней минуты. Оставалось одно средство: сломить упорство представителей этой партии неожиданностью и фактом. Вечером 31 декабря Роман Диоген был тайно введен во дворец с ведома царицы; между тем приглашен Пселл, и Евдокия начала с ним речь о том, что государство страдает от частых войн и варварских разорений, что необходимо подумать о царе, который бы помог в беде. Пселл заметил, что это дело серьезное, требующее обсуждения. Евдокия улыбнулась в ответ и просила не обременять себя лишними заботами, так как другие позаботились уже и ею избран Роман Диоген. Когда смущенный Пселл обещал завтра присоединиться к этому решению, Евдокия потребовала у него этого не завтра, а сегодня, а именно обратилась за его содействием для убеждения старшего сына, Михаила. Но для убеждения Михаила труда не потребовалось. Когда мать объяснила ему, для чего и на каких условиях возводится на престол его отчим, Михаил подошел к Роману Диогену и радушно его приветствовал. Позван был также кесарь Иоанн, который, ввиду совершившегося факта, оказал большое благоразумие, признал Диогена царем и «едва не пел брачной песни и не подносил брачных чаш».[2] Оказала

---

[1] Первой женой его была сестра вестарха Самуила Алусиана Болгарина (*Scyl.*, 678). От нее он имел сына Константина, которого женил на Феодоре Комниной, дочери Иоанна, младшего брата царя Исаака. В царствование отца Константин принимал участие и погиб в походе своего шурина Исаака Комнина (*Bryenn.*, 24, 99). Кроме того, у Диогена был сын от Евдокии, Никифор, к которому прилагается эпитет ὁ τῆς πορφύρας βλασιός (дитя порфиры) (*Zon.*, IV, 242); о нем во время похода Романа Диогена на Восток писал *Пселл* (V, 226), что он, Пселл, о доблестях отца шепнул на ушко τῷ νέῳ βασιλεῖ καὶ δεσπότῃ μου τῷ καλῷ Διογένει (юному государю и владыке моему прекрасному Диогену) (фамилия вместо имени), на что тот взыграл и улыбнулся. В венецианской рукописи *Георгия Амартола* (888, 891) говорится еще, кроме Никифора, о другом сыне от Евдокии, Льве, который вместе с Никифором был лишен Парапинаком царских отличий и обращен в положение частного человека.

[2] μονονοὺ τὸν ὑμέναιον ᾄδει καὶ τῶν ἐπιγαμίων ἐμφωρεῖται κρατήρων. *Psell.*, IV, 274.

было некоторую строптивость императорская охранная стража — варяги, да и то по недоразумению, в предположении, что возведение Диогена совершилось вопреки желанию несовершеннолетних царей и в ущерб их интересам. Когда же вышел к варягам Михаил с братьями и объявил, что все произошло по их желанию, варяги провозгласили Диогена громким и протяжным криком. На следующий день, 1 января 1068 г., утром, Роман Диоген официально был провозглашен императором;[1] управление Евдокии с сыновьями продолжалось 7 месяцев и несколько дней.[2]

Евдокия, выходя замуж за Романа Диогена и возводя его на престол, позаботилась о том, чтобы гарантировать интересы детей. С Диогеном заключено было условие, изложенное письменно в формальном договоре и обязывавшее его «не столько повелевать, сколько покоряться»,[3] т. е. управлять не самодержавно, а при участии и в соправлении трех сыновей Константина Дуки. В силу этого договора Михаил, Андроник и Константин носили титул царей вместе с Диогеном[4] и в официальных бумагах их имена писались рядом с именем Диогена.[5]

Недешево обошелся Диогену царский престол, на который он вступил вопреки желаниям сильной придворной партии. Вожди этой партии с первой минуты царствования Диогена сделались заклятыми его врагами и кончили тем, что погубили его. Во главе партии стоял кесарь Иоанн, который прямо называется «наветником», строившим козни;[6] Диоген ясно

---

[1] *Psell.*, IV, 273–374 (*Zon.*, IV, 205); *Attal.*, 96, 100–101 (*Scyl.*, 666); *Scyl.*, 666; *Matth. d'Ed.*, 160.

[2] *Scyl.*, 667 (*Zonar.*, IV, 205; *Glyc.*, 607 — круглая цифра: 7 месяцев). У *Кодина* (157): 7 месяцев и 10 дней, провозглашение Диогена отнесено к месяцу марту.

[3] οὐκ ἄρχοντος ἀλλ' ὑπείκοντος. *Psell.*, IV, 274, 276.

[4] *Scyl.*, 670, 698.

[5] Например, в одной грамоте города Трани от августа 1072 г. читаем: regnante domino Romano qui et Diogheni, et cum eo regnantibus domino Michaele et domino Constante porhirogenito quam et domino Andronico gloriosissimis imperatoribus nostris (во время правления господина Романа Диогена, а вместе с ним господина Михаила, багрянородного господина Константа и господина Андроника, славнейших императоров наших). Prologo, 58. Между грамотами неаполитанского архива насчитывается семь, от 1071–1073 гг. (Reg. Neapol. Arch. Monum., vol. V, 47–60), в которых читается: imperante domino nostro Romano et Michaelio seu Andronico et Constantino porfirogenito magnis imperatoribus (во время правления господина нашего Романа, Михаила, Андроника и Константина, великих императоров) (в некоторых на последнем месте ставится Андроник).

[6] *Attal.*, 101 (*Scyl.*, 667; *Glyc.*, 608).

видел нерасположение его к себе, относился к нему с подозрительностью[1] и под конец царствования достиг того, что Иоанн, по тому или другому побуждению, удалился из столицы в Вифинию.[2] Вслед за отцом на стороне противников Диогена стояли два его сына, Андроник[3] и Константин, особенно первый, сыгравший свою роль в два роковые момента жизни Диогена: в первый раз содействовавший его пленению турками, во второй — его ослеплению.[4] Кесарю Иоанну не уступал во вражде к Диогену Пселл, притворно показывавший преданность, подававший, по-видимому, прекрасные советы,[5] а в действительности ненавидевший его;[6] Диоген со своей стороны отвечал ему наружными знаками внимания и благосклонности,[7] но в то же время не переставал зорко за ним наблюдать, и для этого, отправляясь во второй и третий походы против турок, брал его с собой;[8] Пселл имел решающий голос при рассмотрении вопроса о низложении Диогена.[9] К этой же враждебной Диогену партии принадлежал Никифор Палеолог,[10] один из советников, находившихся при дворе, а также некоторые офицеры, сопровождавшие Диогена в походах, между ними соперник Диогена по кандидатуре в мужья Евдокии, Никифор Вотаниат, который, как ненадежный, во время третьего похода был удален Диогеном из армии вместе с другими подозрительными личностями.[11] Партия, враждебная Диогену, ненавидела его как представителя

---

[1] *Psell.*, IV, 278.

[2] *Bryenn.*, 43.

[3] Впоследствии тесть Алексея Комнина, будущего императора, выдавший за него дочь Ирину (*Bryenn.*, 106–107). *Дюканж* (Fam. Byz., 164–165, 230) ошибочно считает Марию (жену Андроника) женой кесаря Иоанна, который таким образом оказывается тестем Алексея Комнина, а Ирину, жену Алексея Комнина, называет женой Георгия Палеолога, между тем как женой последнего была Мария, сестра Ирины.

[4] *Attal.*, 161 (*Scyl.*, 698; *Zon.*, IV, 215); *Attal.*, 168, 169 (*Scyl.*, 702; *Glyc.*, 612).

[5] *Psell.*, IV, 275, 276.

[6] *Scyl.*, 688.

[7] *Psell.*, IV, 275; V, 226.

[8] *Psell.*, IV, 277; V, 225. Что Пселл участвовал в третьем походе, есть намек в IV, 278: ὃ δέ με διέλαθεν... (что же от меня укрылось...), но в решительной битве, закончившейся пленом Диогена, Пселл не присутствовал, слышал о ней только от других (IV, 279), возвратясь с пути от Кесарии (V, 455).

[9] *Psell.*, IV, 281.

[10] *Scyl.*, 688.

[11] *Scyl.*, 690.

военного направления, на этот раз отождествившегося с направлением патриотическим, но прямо своей ненависти не высказывала: благовидным предлогом, лозунгом своим она поставила интересы династии Дук. Партия приписывала Диогену тайные планы нарушить договор и достигнуть самодержавия, с устранением сыновей Константина Дуки и матери их, Евдокии; она видела уже начало осуществления планов в той природной самонадеянности и резкости,[1] с какими Диоген относился к жене и советникам-вельможам. Походы на Восток, неприятные представителям этой партии из принципа, от которых поэтому они всеми силами удерживали Диогена,[2] объясняемы были желанием императора совершить что-нибудь доблестное, с тем чтобы достигнуть популярности и, опираясь на заслуги, идти прямо к цели, самодержавному правлению, — оттого будто бы каждый поход прибавлял Диогену спеси и делал его смелее. В таком тоне изложено царствование Диогена в записках одного из самых видных представителей противной партии, Пселла.[3] Девиз выставлен был весьма удачно, и освещение деятельности Диогена в устах его противников получало правдоподобный вид. Партия поэтому сильно импонировала при дворе. Даже Евдокия усомнилась в правдивости Диогена и в искренности данных им обещаний; в своих колебаниях она искала утешения у Пселла,[4] который, как легко догадаться, едва ли излил вполне целительный бальзам на ее душу. Нечего и говорить об ее сыновьях, на которых влияние вождей партии должно было сказаться сильнее, чем на Евдокии — они, а особенно воспитанник Пселла, Михаил, были недоброжелателями Диогена, такими же как Иоанн-кесарь «наветниками»;[5] поэтому Диоген, отправляясь в первый поход, взял с собой своего пасынка Андроника, по объяснению писателя, для того, чтобы в случае если будет убит, Андроник заступил его место, а также чтобы иметь в нем заложника.[6] Для борьбы с внутренними врагами Роман Диоген имел на своей стороне патриотов, сочувственно встретивших его кандидатуру на

[1] О его самонадеянности свидетельствует вся история военных предприятий. О его природной, прямой и открытой, суровости можно судить по нескольким фактам, рассказанным современным ему историком, каковы: умерщвление пленных, наказание солдата за кражу осла, разговор с султаном. См.: *Attal.*, 106, 153, 165.

[2] *Scyl.*, 688. В числе удерживавших Диогена от похода поименованы: Палеолог, Пселл и Иоанн-кесарь.

[3] *Psell.*, IV, 275–278 (*Zon.*, IV, 206, 209).

[4] *Psell.*, IV, 276–277.

[5] *Attal.*, 101 (*Scyl.*, 667; *Glyc.*, 608).

[6] *Attal.*, 106 (*Scyl.*, 670): ὡς ἐνέχυρον εἶχεν (...держал в качестве залога).

престол и много содействовавших его успеху. К сожалению, влияние их при дворе по силе не могло сравниться с влиянием их противников, основывавшемся на родственных и других прочных связях с лицами царствующего дома. Кроме патриотов, Диоген мог еще рассчитывать на поддержку родов, соединенных с ним фамильными узами, каков, например, был дом Комнинов, с которым он породнился, женив сына Константина на Феодоре Комниной.[1] Мать Феодоры, Анна Комнина, действовала в пользу Диогена; по этому поводу над ней потом был снаряжен суд Михаилом Парапинаком, она признана виновной и, вместе с сыновьями, сослана на остров Принца.[2] Наконец, Диоген вправе был ожидать поддержки от той части войска, которая еще не подверглась деморализующему влиянию порядков, утвердившихся при Константине Дуке. Между представителями военного сословия, помогавшими Диогену, мы почему-то видим много армян, каковы: Филарет, Качатур, Абукаб, Алиат.[3] Диоген недаром благоволил к ним и возвышал их; в трудных обстоятельствах они вспомнили о своем благодетеле и доказали признательность не только словом, но и делом, особенно Филарет и Качатур.

Роман Диоген бóльшую часть своего царствования провел в походах против турок: в марте 1068 г. он предпринял первый поход, с которого возвратился в январе 1069 г.; в апреле 1069 г. отправился во второй поход, с которого возвратился осенью того же года; весной 1071 г. двинулся в третий поход, с которого ему уже не суждено было возвратиться царем. Каждый из этих походов вызывал неудовольствие среди партии противников, с особенной силой возражавших против третьего похода. Когда Диоген не принял во внимание их возражений, они решились его погубить — с этой целью посеяли в его армии измену, которая, впрочем, и в прежних походах давала себя чувствовать. Как только с наступлением весны, в неделю Православия 1071 г., Диоген отплыл из столицы, он стал замечать какие-то подозрительные симптомы: то палатка, в которой он находился, обрушивалась, то дома, в которых он, не доверяя более палатке, располагался, воспламенялись и сгорали, то возмутился против него отряд немцев, то отряд варваров переходил на сторону неприятелей, то военачальник (Иосиф Тарханиот) покидал его на произвол судьбы и не давал подкреплений. Этот ряд предательских «подвигов» завершен был под Манцикертом Андроником Дукой, который в пылу битвы, когда Диоген, оттеснив неприятеля, повернул знамена, чтобы ввиду позднего времени

[1] *Bryenn.*, 24.
[2] *Bryenn.*, 49–50.
[3] *Attal.*, 132; 137, 172, 174; 116; 170; *Anna*, I, 299.

отступить в лагерь, распространил слух, что царь побежден и бежал, тем навел панику на армию и обратил ее в беспорядочное бегство. Сам Андроник благополучно ускользнул и прибыл в Византию, а Диоген, желавший остановить бежавших, был ранен неприятелем и захвачен в плен.

Когда в столице узнали о несчастии, приключившемся с царем, всех взволновал вопрос: кто должен взять в руки кормило правления? Одни стояли за Евдокию, другие за Михаила. Наконец совокупным влиянием Пселла и кесаря Иоанна вопрос решен был в том смысле, чтобы управляла мать вместе с сыном.[1] Между тем Диоген заключил договор с турецким султаном, получил свободу и прислал в столицу собственноручную грамоту, извещавшую о происшедшем. Последовало новое смятение при дворе. Пселл, а также кесарь Иоанн с сыновьями подали мнение, что необходимо разослать указы о низложении Диогена и о том, чтобы ему не воздавалось более царских почестей. Так как, в силу прежнего решения, власть находилась в руках Евдокии с сыном и Евдокия, по праву матери, имела предпочтение, то от ее имени и были разосланы указы. Затем при дворе произошел переворот, доказавший, что партия, враждебная Диогену, выдвигая постоянно на первый план интересы дома Дук, в том числе и Евдокии, делала это только для виду. Кесарь Иоанн, его сыновья, Пселл и др. сомкнулись вокруг воспитанника Пселла, Михаила, перетянули на свою сторону дворцовую стражу и провозгласили его императором; Евдокия же была пострижена в монашество и отправлена в основанный ею монастырь Пиперуди (в Пропонтиде).[2] Принимая во внимание самое авторитетное свидетельство, что от возведения Диогена на престол до его плена прошло 3 года и 8 месяцев,[3] следует заключить, что плен Диогена, провозглашение императором Михаила VII и пострижение Евдокии произошли в сентябре 1071 г.

Первой задачей, предстоявшей Михаилу, было разделаться с Романом Диогеном, который не терял надежды на возвращение себе прежнего положения. Диоген с войском, собравшимся к нему после освобождения его из плена, с греками, вместе с ним освобожденными, в сопровождении султанских послов, двинулся от Манцикерта на запад, по направлению к Византии. Проходя через фему Колонию, он должен был перенести грустный,

---

[1] *Psell.*, IV, 279–280 (*Zon.*, IV, 216; *Bryenn.*, 43–44).

[2] *Psell.*, IV, 281–283 (*Zon.*, IV, 217; *Bryenn.*, 44); *Attal.*, 168–169 (*Scyl.*, 702; *Zon.*, IV, 217; *Glyc.*, 612; *Manass.*, 281; *Georg.*, 891, 920).

[3] *Scyl.*, 705 (*Zon.*, IV, 219; *Glyc.*, 607; *Ioel*, 65; *Codin.*, 158). *Psell.*, IV, 288: менее двух лет; *Manass.*, 281: три года; *Georg.*, 887: три года и три месяца, 920: три года.

особенно при тогдашних обстоятельствах, факт измены одного из приближенных военачальников, проедра Павла, который, узнав об указах, разосланных Евдокией, оставил Диогена и бежал в столицу. Пройдя Колонию, Диоген вступил в фему Армениак. Когда он находился в городе Амасии,[1] получено было известие, что Михаил, избранный императором, выслал против него войско под начальством своего двоюродного брата, Константина Дуки, младшего сына кесаря Иоанна. Диоген продвинулся еще несколько по дороге из Амасии к Константинополю, дошел до крепости Докии[2] и расположился в ней лагерем. Здесь его нашел протопроедр Константин Дука, который и раскинул свой лагерь около Докии. Скоро силы обоих противников получили подкрепление: к Диогену прибыло много норманнов, а также из его родины, Каппадокии, много стратиотов под предводительством проедра Феодора Алиата; в свою очередь, на помощь Константину прибыл отправленный Диогеном в ссылку за возмущение и теперь возвращенный и обласканный Михаилом норманн Криспин со значительным отрядом норманнов. После нескольких нерешительных стычек Диоген постановил перейти с войском в Каппадокию, но при выходе из Докии произошла более решительная битва, главным образом между Криспином с одной и Алиатом с другой стороны. Войско Алиата было обращено в бегство, сам он взят в плен и ослеплен. Огорченный Диоген отправился с остатками армии в Каппадокию, засел в крепости Тиропии и стал принимать меры к увеличению своих военных сил. Скоро явилась к нему подмога. Армянин Качатур, которого Диоген сделал катепаном Антиохии, явился к нему с войском и деньгами. Так как наступала зима, то Качатур рекомендовал Диогену отправиться на квартиры в более безопасное место, а именно в Киликию, со всех сторон огражденную горами Тавра. Диоген так и сделал, вошел в Киликию, расположил здесь войско на зиму, а главную свою квартиру устроил в крепости Адане. Шаг этот был большой ошибкой со стороны Диогена: Константин Дука после удачи под Докией возвратился в столицу, войско было распущено, и Диоген мог бы воспользоваться отсутствием противника, чтобы завладеть малоазиатскими областями и городами. Вместо того он спокойно проживал в Киликии и дал возможность своим врагам собраться с силами. Когда в Византии узнали о подкреплении, уже полученном Диогеном от Качатура и еще ожидаемом от турецкого султана, сделана была попытка уладить с ним мирным способом. Последовал обмен сношений,

[1] По *Матвею Эдесскому* (170), известие получено им в Севастии. Но этот город остался по маршруту Диогена на юге, хотя и не на далеком расстоянии.

[2] Ныне Тукиж, на реке Девреке.

кончившийся однако же ничем, так как правительство Михаила воспринимало Диогена как преступника, предлагало ему снисхождение и лишь незначительную долю власти: таких предложений Диоген не принял. Зима прошла. В 1072 г.[1] император отправил против Диогена войско под командой искусного в кознях, умевшего хорошо владеть не только мечом, но и интригой двоюродного брата, протопроедра и доместика Востока Андроника Дуки (старшего сына кесаря Иоанна). Вход в Киликию был труден, необходимо было пройти через клисуру Подант. Но Андроник с деньгами в руках не затруднился: он взял путь несколько южнее Подanta, через Исаврию, прошел в Киликию и появился вместе с Криспином на равнинах неподалеку от города Тарса. Против Андроника был выслан Диогеном Качатур с войском; произошла битва, исход которой и на этот раз храбрый Криспин со своими франками решил в пользу Михаила. Качатур разбит, взят в плен и спас свою жизнь, только преподнеся Андронику крупный драгоценный камень.[2] Остатки разбитого войска бежали к Диогену в Адан. Андроник с Криспином подошли и осадили крепость. Долго ли продолжалась осада, сведений не имеем, знаем только, что осажденные доведены были до крайности и терпели недостаток в жизненных припасах, что мужество их Диоген поддерживал обещанием скорой помощи от турок, что он сделал безуспешную попытку склонить на свою сторону Криспина, а Андроник в свою очередь вошел в тайные переговоры с приверженцами Диогена, охранявшими Адан. Переговоры Андроника увенчались успехом, и Диоген, не надеясь на своих сподвижников, сдался под условием, что отказывается от престола, постригается в монашество и за это получает гарантию личной безопасности; гарантию дали от имени императора заключавшие договор три[3] митрополита (Халкидонский, Ираклий-

[1] Поход Андроника *Лебо* (XIV, 506) относит к 1071 г., что неправильно: зима отделяла его от похода Константина, бывшего в 1071 г. *Мюральт* (II, 21, 23) без всякого основания ставнт поход Константина под 1072 г. (вместо 1071), а Андроника под 1073 (вместо 1072), и вообще произвольно распоряжается датами, обозначая действия Евдокии 24 сентября, провозглашение Михаила VII — 24 октября. Впрочем, последняя дата может быть оправдана *Кодином* (158), по словам которого, Михаил правил вместе со своей матерью один месяц, а потом постриг ее и стал самодержавным. У *Самуила Анийского* (74) дело излагается неверно, а именно что поход, окончившийся поражением Диогена, предпринят был под личным руководством Михаила VII.

[2] Этот камень был потом поднесен Андроником Марии, жене императора Михаила. См.: *Bryenn.*, 53.

[3] По *Вильгельму Апулийскому* (267), посредниками были 12 епископов (число преувеличено) и с ними некто Иосцеллин.

ский и Колонийский), которые поклялись, что никакое зло не постигнет Диогена. Диоген тут же был пострижен, посажен в скромную повозку и отправлен в Византию, куда наперед послано извещение о всем случившемся. Печальный поезд с Диогеном, одетым в монашеское платье и страдавшим сильным расстройством желудка, которое, как говорили потом, произошло от какого-то снадобья, данного врагами, прибыл в Опсикийскую фему и остановился в крепости Котиаии в ожидании инструкций из Византии. Через несколько дней из Византии получен приказ ослепить Диогена. Напрасно Диоген просил заступничества у архиереев, клятвенно ручавшихся за его безопасность: те, если бы и желали, ничего не могли сделать. Его отвели в какой-то чулан,[1] и обязанность палача взял на себя неопытный в этом деле еврей. Диогена привязали за руки и ноги, на грудь и живот его надавили щит, и еврей раза четыре запускал ему железо в глаза, пока несчастный не поклялся, что глаза его совсем уже вытекли. Страдалец опять был посажен в повозку и с изрытыми глазами, со вспухшими головой и лицом, похожий более на разлагающийся труп, чем на живого человека, привезен к Пропонтиде. Спустя несколько дней он умер, и царица Евдокия, вторая жена, похоронила его на острове Проте в основанном им монастыре.[2]

Вопрос о том, на чей счет должно быть отнесено бесчеловечное распоряжение об ослеплении Диогена, представляется темным. Современный событию и сочувствовавший Диогену греческий писатель Атталиот прямо обвиняет императора Михаила.[3] То же делают некоторые латинские[4] и армянские[5] историки. Приверженный к Михаилу Пселл со всей энергией восстает против подозрения относительно виновности Михаила. В письме к ослепленному Диогену он призывает Бога в свидетели, что царь ни в чем не повинен, что он ничего и не подозревал в то время, когда случилось несчастье с Диогеном, а после того, как оно совершилось, узнав о нем, рыдал и проливал потоки слез.[6] То же повторяет Пселл в своих записках, присовокупляя еще, что все произошло по

---

[1] По *Вильгельму Апулийскому* (267), ослепление Диогена совершено в Гераклее — ошибка, произошедшая, вероятно, вследствие созвучия с Котиаием.

[2] *Psell.*, IV, 283–288 (*Bryenn.*, 41–48, 51–55); *Psell.*, V, 392–394; *Bryenn.*, 50–51; *Attal.*, 166–179 (*Scyl.*, 702–705; *Zon.*, IV, 217–219; *Glyc.*, 612; *Ephr.*, 146; *Ioel*, 65); *Matth. d'Ed.*, 170; *Dandolo*, 247; *Guil. Tyr.*, 635–636.

[3] *Attal.*, 176–177.

[4] *Lupus*, 60.

[5] *Kirakos de Kantz.*, 55; *Вардан*, 127.

[6] *Psell.*, V, 318.

воле окружавших царя советников, которые, скрыв свое намерение от царя, послали командовавшему войском (Андронику) приказ ослепить Диогена.[1] Вриенний говорит то же, что Пселл, дополняя его лишь той подробностью, что Андроник, получив приказ, жалел Диогена, хотел его спасти, с этой целью писал к своему отцу, но безуспешно.[2] На основании Атталиота и Пселла позднейшие греческие историки делали уже свои собственные толкования: Скилица,[3] коснувшись противоположных взглядов на предмет, обнаруживает склонность обвинить во всем кесаря Иоанна; Зонара решительно выступает с этим обвинением, говорит, что все совершилось по повелению кесаря, без ведома царя Михаила, что кесарь, пользуясь неспособностью и недальновидностью царя, произвольно поступил с Диогеном.[4] Примиряя противоречивые показания и принимая во внимание совокупность предшествующих обстоятельств, а также характер Михаила, мы не ошибемся, если вину за это преступление возложим на враждебную Диогену партию. Кесарю Иоанну могла принадлежать руководящая роль, и сам Пселл если не настаивал на ослеплении, то во всяком случае знал о намерении ослепить.[5] Знал об этом, без сомнения, и император Михаил, хотя Пселл старается убедить в противном. Сам же Пселл несколько ранее, говоря об отправлении Андроника против Диогена, замечает, что царь тревожился, как бы Диоген не погиб в битве или, взятый в плен, не был подвергнут членовредительству, что он часто по этому поводу плакал.[6] Слова Пселла показывают, что Михаил знал, на какую жестокость способны враги Диогена, но по своей молодости и слабохарактерности умел только плакать и не мог даже защитить от них свою мать, не говоря уже о Диогене. Что касается Андроника, то в нем едва ли могла проявиться такая чувствительность и нежность к Диогену, о какой говорит Вриенний; скорее позволительно думать, что он сделал остановку в Котиаии в ожидании

---

[1] *Psell.*, IV, 287.

[2] *Bryenn.*, 54–55.

[3] *Scyl.*, 705.

[4] *Zon.*, IV, 219. *Манасси* (281–282) вследствие вольного отношения к своему источнику, *Зонаре*, дает его словам такой смысл, что ослепление Диогена совершено по приказанию Михаила, которым руководили кесарь и другие лица.

[5] Это видно из заключительных слов его письма к Диогену: οὐκ ἠδυνήθην ὑπεξελεῖν τῆς ἐπενεχθείσης σοι συμφορᾶς (я не смог выручить <тебя> из постигших тебя несчастий). *Psell.*, V, 318.

[6] *Psell.*, IV, 285.

именно того приказа относительно Диогена, который действительно последовал.[1]

Равным образом и вопрос о том, в какое время ослеплен и скончался Роман Диоген, не выяснен в источниках с точностью. Несомненно, что это произошло весной или летом 1072 г. Самым правдоподобным представляется показание неизвестного барийского писателя, что Диоген ослеплен и умер в июле 1072 г.;[2] с этим показанием совпадает не совсем точное выражение позднейшего греческого историка Ефрема,[3] слова транийской грамоты,[4] а также заметка Самуила Анийского,[5] что Диоген умер в 521 году армянской эры (каковой год начался со 2 марта 1072 г.). Следовательно, от пленения Диогена турками до его ослепления и смерти прошло 11 месяцев.

Михаил VII Дука, прозванный Парапинаком за то, что в его время по случаю неурожая номисму требовали не за целый медимн, а за пинакий (четверть медимна),[6] вступил на престол, имея от роду около 20 лет.[7] Не смотря на молодые годы, у него был старческий вид, солидность в движениях, вдумчивость в глазах,[8] словом, наружность, приличная, по словам Пселла, мыслителю или педагогу. И действительно, Пселл воспитал

---

[1] *Ал-Макин* (344) сообщает спутанное известие, что Диоген, приняв монашество, отправился к греческому императору и некоторое время оставался при нем, но армянский царь взял его и лишил зрения. Это оригинальное, и вместе ложное, известие о виновнике ослепления Диогена *Гфрёрер* (III, 244–245) пытается эксплуатировать и под царем армянским имеет в виду Андроника, предполагая, что он выговорил себе у Михаила титул царя армянского в награду за поход против Диогена. Догадка излишняя: звание, которым облечен был Андроник перед отправлением в поход, известно — доместик Востока.

[2] *Anon. Bar.*, 334.

[3] *Ephr.*, 145: Диоген царствовал четыре с половиной года. Свидетельство верно, если относить его не к окончанию царствования, а к окончанию жизни Диогена, так как с января 1068 по июль 1072 г. прошло четыре с половиной года.

[4] См. выше, с. 223, прим. 5. Так как в грамоте, написанной в августе 1072 г., Диоген представляется царствующим, из чего видно, что весть о его смерти не успела еще дойти до Трани, то, следовательно, смерть Диогена нужно относить к концу июля.

[5] *Sam. An.*, 74. Другие показания не заслуживают внимания, например, *Lup.*, 60 (в 1069 г.); *Rom. Sal.*, 171; *Dandolo*, 247 (в 1070); *Chron. Brev.*, 278 (в 1071).

[6] *Scyl.*, 714 (*Zon.*, IV, 222–223). См.: *Ducange*. Gloss. med. et inf. graecit., s. v. Πινάκιον. Пинакий равняется ½ кг.

[7] *Georg.*, 891.

[8] *Psell.*, IV, 290; *Attal.*, 180 (*Scyl.*, 705).

Михаила так, что он годился только для научной профессии: любил заниматься науками, беседовать с учеными, писать историю или стихи. Для государственной деятельности у него недоставало подготовки: законами мало занимался, военная наука была ему не по нраву. В особенности не сродна была его натуре война; качествами воина он не обладал, был мягкосердечен, стыдлив и деликатен; даже если слуга обкрадывал его, он стеснялся подвергнуть виновного взысканию. Резкостей от него никто не слыхал, двусмысленное замечание бросало его в краску. Находя себе отраду в невинных кабинетных занятиях, он не питал никакого пристрастия к хорошему столу, вину, женщинам, к которым так неравнодушны были многие другие императоры. Если задумывал когда поохотиться, то и охота его отличалась скромным, мирным характером.[1]

При таком государе советникам открылось широкое поприще, все дела попали к ним в руки. Из советников Пселл оказался едва ли не более других в убытке. Правда, Михаил его любил, глубоко уважал его ученость и желал иметь его постоянно при себе.[2] Но так как император тяготел лишь к наукам, от управления отстранялся, то и Пселлу пришлось значительно сократиться, ограничить себя областью науки и проститься с политическим влиянием, которое доныне он в такой сильной степени обнаруживал. Не обладавший ученостью Пселла дядя императора, кесарь Иоанн, выиграл гораздо более. Он пользовался большим значением, пока не был вытеснен человеком, возвышению которого сам же содействовал, евнухом Никифорицей.[3]

Евнух Никифор, называемый уменьшительным именем Никифорица,[4] служил в канцелярии императора Константина Дуки и был тогда уже известен как интриган. В Антиохии, которой он затем управлял при Константине Дуке, а также в Элладе и Пелопоннесе, управление которыми он получил с помощью подкупа при Диогене, хорошо знали его жестокость, несправедливость и взяточничество. Этот интриган при посредстве кесаря Иоанна был вызван ко двору вскоре[5] после вступления на престол

---

[1] *Psell.*, IV, 287, 290; *Scyl.*, 706–707 (*Zon.*, IV, 220).

[2] *Psell.*, IV, 291–292.

[3] *Bryenn.*, 56.

[4] По словам *Зонары* (IV, 219), он назван так в юных летах при дворе Мономаха за свою молодость.

[5] *Attal.*, 182: μετὰ μικρόν — выражение неопределенное, но ввиду того, что провозглашение Михаила произошло еще в сентябре 1071 г., оно дает некоторое право относить вызов Никифорицы ко времени не позже осени 1072 г., а не к 1073 г., как делает *Мюральт* (II, 24).

Михаила Парапинака и сделан логофетом дрома. Скрытный и своекорыстный, он обладал замечательно ясным умом и твердым характером, поэтому совершенно подчинил себе слабохарактерного и не обладавшего государственным размахом Михаила и захватил в свои руки управление. Прежде всего, он с помощью интриг, через преданных себе людей, возбудил в императоре подозрение против своих соперников по влиянию на государственные дела. Был таким образом оклеветан евнух Иоанн, митрополит Сидский, человек достойный, которого на первых порах Михаил сделал своим первым министром и который теперь был удален; был очернен перед императором кесарь Иоанн, который вследствие того, под благовидным предлогом, отправлен в Азию во главе войска; были также оговорены братья царя, Андроник и Константин, пользовавшиеся при Михаиле царской обстановкой, — на них Никифорица донес, что они недоброжелательны к брату-царю и стремятся сами царствовать. Убедив Михаила, что он один вполне ему предан, Никифорица получил громадную силу, сделался первым министром, вместо Иоанна Сидского, и стал распоряжаться делами,[1] все внимание устремляя на то, чтобы отовсюду извлекать выгоды для фиска и для собственного своего кармана; последовал ряд финансовых мероприятий, тяжелым бременем легших на благосостоянии народа и Церкви, возбудивших недовольство против правительства во всех слоях общества — и в духовенстве, огорченном отнятием у церквей в пользу казны драгоценных сосудов и других предметов, и в аристократах, имущество которых конфисковалось, и в простом народе, земледелие и торговля которого были подорваны казенной монополией.[2] На почве народного недовольства выросли восстания против Парапинака, кончившиеся его низложением.

Раньше других выступил претендентом на престол дядя императора, кесарь Иоанн Дука, но выступление его было полуневольное. В царствование Парапинака усилили враждебные действия турки, раздраженные нарушением договора, заключенного с Диогеном. Парапинак, который, освободившись от Диогена, примирился с родом Комнинов,[3] дотоле благоприятствовавших Диогену, и мог рассчитывать на их услуги, отправил против турок войско под начальством Исаака Комнина и с ним отряд

[1] *Attal.*, 180–182 (*Scyl.*, 705–706; *Zonar.*, IV, 219; *Glyc.*, 613; *Ephr.*, 147); *Attal.*, 200; *Psell.*, IV, 292; *Bryenn.*, 56–57, 73.

[2] О финансовых мероприятиях этого царствования речь будет ниже.

[3] Для скрепления союза Парапинак, вызвав из ссылки Анну Комнину с сыновьями, выдал за Исаака Комнина Ирину, племянницу своей жены. См.: *Bryenn.*, 56.

норманнов под предводительством Урселя, который прежде находился под командой Криспина, а после его смерти сам командовал отрядом. Между Комнином и Урселем произошел спор по вопросу о подсудности рыцарей Урселя главнокомандующему греческого войска. Раздраженный Урсель снялся со своим отрядом и ушел, а Исаак Комнин в произошедшем затем сражении с турками был разбит и взят в плен, из которого скоро был выкуплен. Это и дало предлог удалить кесаря Иоанна от двора. Весной 1073 г.[1] он был отправлен против взбунтовавшегося Урселя. Попытка Иоанна войти в соглашение с Урселем не удалась, не удалась также и битва: на границе двух фем — Анатолика и Каппадокии — они сразились, греки были разбиты и Иоанн взят в плен Урселем; попали также в плен Андроник, старший сын[2] Иоанна, вест Василий Малесис, имущество которого было конфисковано царем, и др. Урсель решил воспользоваться Иоанном как орудием для покорения своей власти земель Империи. Он облек его в царские одежды и провозгласил императором. Иоанн стал тайно сноситься с жителями столицы, недовольными мерами Никифорицы, и нашел в них сочувствие. Михаил Парапинак знал, что в столице есть сочувствующие претенденту, и старался примирить их с собой. Атталиот[3] передает покаянную речь, которую он держал перед собранием сената и граждан, уподоблял себя Ионе и предлагал бросить себя, для спасения государственного корабля, в море, но, прибавляет историк, раскаяние было на словах, а не на деле, потому что он не вышел из порабощения злым, т. е. Никифорице и его клевретам. Император предложил Урселю мир, богатые подарки и достоинство куропалата, но Урсель отверг предложения, главным образом по советам, как говорили, Василия Малесиса. Тогда императорское правительство отправило послов к туркам и склонило их выступить против Урселя. Урсель, в своем движении на Византию, пришел уже в Никомидию, когда узнал, что против него идут турки. Он перешел гору Софон и, недалеко от крепости Метаволы, столкнулся с турецким авангардом. Авангард обратил тыл, а Урсель вместе с Иоанном, увлекшись преследованием, наскочил на главную турецкую армию и оба, Урсель и Иоанн, были взяты в плен турками. Когда весть об этом дошла до царя, он поспешил отправить послов с деньгами для выкупа своих пленных врагов. Но прежде чем послы прибыли, жена Урселя, сидевшая в крепости Метаволы, успела выкупить мужа. Послы

[1] Дата извлечена из изложения событий у *Вриенния* (73).

[2] Младший, Константин, не бывший в походе, в это самое время скоропостижно умер, может быть, отравленный Никифорицей.

[3] *Attal.*, 186–187.

выкупили только Иоанна и повели в столицу. Когда они дошли до Пропонтиды, Иоанн из предосторожности постригся в монашество и явился перед лицом своего племянника-царя уже в монашеском платье. Тем его узурпаторство и кончилось. Что же касается Урселя, то он, отправившись с норманнами в фему Арменияк, имел удачные дела с турками, потом заключил с ними мир, между тем высланный против него Алексей Комнин подкупил турок, с помощью их овладел Урселем и привез в цепях в Византию, где он был нещадно бит плетьми и в оковах посажен в одну мрачную башню.[1]

Одновременно с тем, как Алексей Комнин добывал Урселя с помощью турок, стали проявляться вспышки неудовольствия против политики Никифорицы в западных областях Империи. Ненависть ко всемогущему министру с каждым днем возрастала[2] и наконец, в 1077 г., нашла себе исход в восстании проедра Никифора Вриенния. Вриенний состоял дукой Диррахия, но был смещен, на место его послан Василакий. Недовольный отставкой и подстрекаемый своим братом, Иоанном Вриеннием, который жил в Адрианополе и видел раздражение против правительства в тамошнем войске, он решился выступить претендентом и двинулся к Адрианополю, где брат его усердно подготовлял ему приверженцев. Одновременно с агитацией в пользу Вриенния в Адрианополе, шла агитация и в других городах. В Редесто агитировала смелая женщина, Ватацина, по мужу родственница Вриенниев. Что агитация велась на почве народного раздражения по поводу экономических мероприятий Никифорицы, видно из того, что первым делом мятежников в Редесто было разрушение до основания казенного магазина, в котором сосредоточивались операции государственной монополии. Никифор Вриенний по пути из Диррахия в Адрианополь встретился в Фессалонике со своим преемником по званию дуки Диррахия, Василакием, и поспорил с ним. Спор, однако же, не кончился серьезными результатами. Вриенний пошел дальше и у города Траянополя был встречен братом Иоанном, приведшим войско из норманнов и македонян. Здесь Никифор провозглашен был императором, оделся в императорские одежды, с императорской пышностью проехал через города и селения, лежавшие по пути, и в начале ноября 1077 года торжественно въехал в Адрианополь. Никифор Вриенний остался в Адрианополе, а брата своего Иоанна, которого возвел в чин куропалата и сделал доместиком схол, отправил с войском на Византию. Иоанн двинулся, по

[1] *Attal.*, 183–199, 206–207 (*Scyl.*, 708–714; *Zon.*, IV, 221–222; *Ephr.*, 147); *Bryenn.*, 73–95.

[2] *Attal.*, 205–210.

пути встречая добровольную покорность городов, а непокорных (город Ираклия, древний Перинф) принуждая к повиновению силой; он подошел к Константинополю со стороны влахернского укрепления и приготовился к осаде. Город защищаем был немногими воинами и вооруженными гражданами, под начальством Алексея Комнина и царского брата Константина. Может быть, Иоанн имел бы успех, если бы граждане не были раздражены против него за поджоги домов в городском предместье (Стеносе), произведенные, по одним (Атталиот), с ведома и по приказанию Иоанна, по другим (Вриенний), помимо его воли, некоторыми из слуг или воинов. Не видя доброго расположения к себе византийцев и находя неудобным в зимнее время продолжать осаду, он отступил с войском к юго-западу и сам с двумя отрядами расположился в городке Афире. Со стороны царя стали приниматься меры для усмирения восставших. Вспомнили о сидевшем в башне Урселе: его оттуда вывели, взяли присягу на верность Михаилу VII и, вместе с Алексеем Комнином, отправили против Иоанна, к Афиру. Иоанн, потерпев некоторый урон, переправился в Редесто. Комнин возвратился в столицу, а Урсель, идя по следам Иоанна, дошел без боя до Ираклии и занял город своим войском; отсюда он удачно действовал против Иоанна. Вместе с тем из Византии был отправлен флот[1] против Кизического полуострова, куда успело прибыть войско Иоанна Вриенния и подчинить жителей; флот имел успех, и посадив на корабли виновных, повез в столицу. Не оставлен был также без внимания претендент, сидевший в Адрианополе. Город осажден был печенегами, которые, надо полагать, двинулись по интригам из Византии, и Никифор Вриенний отделался от них, внеся лишь значительный выкуп деньгами, тканями и серебряными сосудами.[2] Но в то самое время, когда правительство Парапинака боролось с восстанием на Западе и могло утешить себя надеждой на счастливый исход, поднялось восстание на Востоке, справиться с которым ему не удалось.

Во главе восстания на Востоке встал Никифор Вотаниат, известный уже нам соперник Романа Диогена по соисканию руки Евдокии, принадлежавший к партии, враждебной Диогену. Он производил свой род от Фокидов, но производство основано было на смутном фамильном предании.[3] История знает только его деда, Никифора Вотаниата, погибшего во

[1] По словам *Скилицы* (731), против приверженцев Вриенния в кизическом Херсонисе действовал тот же Урсель, одолевший их в начале марта 1078 г.

[2] *Attal.*, 242–255, 268–270 (*Scyl.*, 727–731; *Zonar.*, IV, 225–226; *Glyc.*, 615; *Ephr.*, 147); *Bryenn.*, 101–105, 109–116.

[3] *Attal.*, 217 (*Scyl.*, 726).

время похода Василия II в Болгарию, и отца, Михаила Вотаниата, участвовавшего в защите Фессалоники от болгар и в походе Василия II против абасгов.[1] Родиной Вотаниатов была фема Анатолик. Имя выступившего при Парапинаке претендента на престол, Никифора, несколько раз попадается в военной истории Византии: при Мономахе он действовал против печенегов, помогал Исааку Комнину в его восстании против Стратиотика, сопутствовал Диогену в походе на Восток, участвовал в неудачном походе кесаря Иоанна против Урселя, причем спасся бегством от участи, постигшей Иоанна, и др.[2] При вступлении на престол Диогена он управлял Антиохией; когда обнаружилась его враждебность к Диогену, он был отправлен в ссылку, но после того как враждебная Диогену партия восторжествовала и Михаил Парапинак вступил на престол, был возвращен[3] и назначен стратигом на родину, в фему Анатолик.[4]

Управляя в чине куропалата фемой Анатоликом и замыслив восстание, Никифор Вотаниат наперед рассчитал все благоприятствовавшие ему шансы и сумел ими воспользоваться лучше, чем воспользовался Никифор Вриенний. Азиатские владения Империи, кроме поводов к недовольству правительством, обусловливавшихся мерами Никифорицы, общих с владениями европейскими, имели еще особый повод в том, что правительство оказалось бессильным защитить население от турецкого разорения. Вотаниат сделался выразителем народных нужд в этом отношении и подал надежду на их удовлетворение, чем привлек к себе симпатии местных жителей.[5] Вместе с тем Вотаниат обратил серьезное внимание на столичное население и постарался заручиться сочувствием всех недовольных, тайно сносился с ними, отправлял к ним хрисовулы, наполненные обещаниями,[6] и таким образом составил себе сильную партию приверженцев. В состав этой партии вошло духовенство, недовольное насильственным отнятием церковных сокровищ, много сенаторов и высоко-

---

[1] *Attal.*, 230–236.

[2] *Cedr.*, II, 631–632; *Attal.*, 40–43, 56, 185 (*Scyl.*, 709); *Scyl.*, 690.

[3] *Psell.*, IV, 297.

[4] *Attal.*, 213; *Bryenn.*, 5.

[5] *Аттаниот* (214) утверждает, что Вотаниат часто писал к Парапинаку, убеждая его выступить против турок; когда же его убеждения оказались безуспешными, сам выступил на защиту христиан и усвоил себе верховную власть. Та же мысль проведена у *Михаила Сирийского* (295), который говорит, что император Михаил VII боялся турок и не осмеливался воевать с ними, — возмущенный такой трусостью Никифор восстал против него.

[6] *Bryenn.*, 120.

поставленных лиц, а также более почетные горожане, игравшие потом в решительную минуту важную роль. Словом, объединились самые разнородные элементы — и аристократический, и народно-городской — в одном общем чувстве недовольства существующим правительством и в желании найти лучшее. Даже царская родня, относительно которой Никифорица позаботился поселить недоверие в Парапинаке и которая поэтому имела поводы быть недовольной, не оставлена была Вотаниатом без внимания: он внушил к себе сочувствие и в ближайших родственниках царя, в его матери Евдокии, брате Константине, даже, может быть, в жене Марии.[1] Вотаниат гарантировал себя и со стороны турок: он основательно предполагал, что правительство Парапинака, пользовавшегося уже услугами турок для борьбы с Урселем и кесарем Иоанном, повторит свой опыт по отношению к нему. Он постарался предупредить своих противников и заключил с турками договор,[2] при посредничестве турка Хризоскула,[3] который еще при Диогене перешел на сторону греков, предварительно разбив их войско и взяв их предводителя, Мануила Комнина, в плен. Турки с начала восстания Вотаниата стали стекаться к нему,[4] благоприятствовали всем желавшим войти в сношения с Вотаниатом, и когда правительство Парапинака попыталось подкупить их, оказалось поздно: турки, бывшие на стороне Вотаниата, помогли ему так или иначе восторжествовать над теми из своих соплеменников, которые были податливы на подарки и обещания из Византии.[5]

2 октября 1077 г. Вотаниат был провозглашен своими приверженцами императором.[6] В числе первых его приверженцев было несколько власте-

[1] *Attal.*, 239; *Bryenn.*, 124–125; *Codin.*, 158. У *Матвея Эдесского* (178) эта черта представлена в искаженно-преувеличенном виде. Он говорит, что жена Михаила VII, недовольная аскетизмом мужа, удалявшегося от плотских сношений с ней, воспылала любовью к Вотаниату и побудила его восстать против Михаила — низложенный Вотаниатом Михаил проклял за это свою изменницу-жену. В основе басни лежит, без сомнения, факт расположения родственников Михаила к восставшему Вотаниату, с одной стороны, и факт выхода Марии, жены Михаила, замуж за Вотаниата, с другой.

[2] *Scyl.*, 733.

[3] *Bryenn.*, 117.

[4] *Attal.*, 215.

[5] *Attal.*, 239–241.

[6] У *Атталиота* (215) сказано: июля 1-го индиктиона — очевидно, ошибка, потому что к июлю 1078 г. Вотаниат несколько месяцев сидел уже на престоле. *Муральт* (II, 31) предполагает ошибку в индиктионе, вместо 1 ставит 15, провозглашение относит поэтому к 2 июля 1077 г. Но при таком предположении нечем

лей фемы Анатолика, родственников Вотаниата, а именно: Александр и Кавасила Синадины, Гудел, Страворoман и некоторые другие.[1] На следующий день, 3 октября, Вотаниат предполагал двинуться к столице, но был чем-то задержан, так что даже 7 января 1078 г. оставался в феме Анатолике.[2] Задержать его могло известие о затеваемом восстании на Западе, которое стало организовываться тоже в октябре; в Вотаниате, естественно, могло зародиться желание выждать, какое направление примет это восстание, чтобы сообразовать с тем свои действия. Но еще более должно было задержать Вотаниата обнаруженное со стороны некоторых властелей Востока противодействие ему. Против него выступили Никифор Мелиссин и Георгий Палеолог,[3] желавшие остаться верными Парапинаку и, может быть, завидовавшие Вотаниату, считавшие и себя достойными того места, которое предвосхищал Вотаниат, — относительно Мелиссина позднейшие события оправдывают эту догадку. Таким образом, прежде чем идти на Византию, Вотаниату предстояло завладеть некоторыми крепостями и подчинить своей власти тех, кто оказывал сопротивление. Это и было им сделано.[4] Вотаниат обходил и покорял себе города, в сопровождении Хризоскула, который служил ему посредником для переговоров с турками, помогавшими Вотаниату. Начаты были также тайные переговоры с жителями Византии. В то самое время как Иоанн Вриенний осаждал столицу, всего вероятнее в декабре 1077 г., здесь происходила усиленная агитация в пользу Вотаниата. Коснулась она и Урселя; Урсель сделал попытку бежать к Вотаниату, в город Лампу (в Анатолике), но правительство Парапинака вовремя успело заручиться им и отправить против Вриенния. Когда осада Вриеннием была снята, агитация не переставала действовать — она находила адептов главным образом в церковной сфере, среди высокопоставленных духовных лиц. На другой день после Богоявления, 7 января 1078 г., вокруг патриарха Косьмы

наполнить промежуток между июлем и октябрем (с октября Вотаниат начинает действовать); по нашему мнению, здесь ошибка (может быть переписчика) не в индиктионе, а в месяце, вместо июля надо поставить октябрь. Доказательством правильности такого понимания служат слова *Атталиота* (241), что Вотаниат 3 октября хотел сняться и идти на столицу, т. е. на другой день после провозглашения, и *Скилицы* (726), имевшего под руками более исправный текст Атталиота, что провозглашение последовало в октябре 1 индиктиона, т. е. 1077 г.

[1] *Scyl.*, 726 (*Glyc.*, 615).

[2] *Attal.*, 241, 256.

[3] *Bryenn.*, 117–118.

[4] *Attal.*, 241.

собралась в храме Св. Софии партия недовольных правлением Парапинака и Никифорицы, смело высказывая свое недовольство и приверженность к Вотаниату; многие из членов сената приняли участие в этом собрании. Громче и смелее других говорил Иконийский митрополит. Митрополит Иконийский был за это арестован в самом храме, но никаких дальнейших мер относительно его не было принято, что доказывает силу партии, с которой правительство принуждено было считаться и поступать крайне осторожно.[1] Правительство Парапинака, вместо того чтобы принять меры к упрочению своего положения в столице, решилось тем или другим способом освободиться от Вотаниата. К нему была послана льстивая грамота, в которой намекалось на высокое происхождение Вотаниата из рода Фокидов, указывалось на благодеяния, полученные им от царствующего государя, и предлагалось прекратить восстание.[2] Ожидать большой пользы от этой грамоты было нельзя; но она давала благовидный предлог уполномоченным византийского правительства войти в сношения с приверженцами Вотаниата и попытаться перетянуть их на сторону законного государя. Маневр не остался бесплодным: в то время как Вотаниат поднимался из Лампы, чтобы идти к столице, два подстратига изменили ему и тайно его покинули. Правительство Парапинака отправило также посольство к туркам, к их султану Солиману, предлагая большие дары с тем, чтобы турки по дороге подстерегли Вотаниата и захватили его. Турки, действительно, стали делать по дороге засады, но Вотаниат искусным движением спутал их расчеты, оставил их позади себя и направился к Никее, к которой и подступил в первых числах марта. Когда он был уже вблизи этого города, турки стали его настигать и начались стычки. Но тогда Вотаниат отправил к ним с богатыми дарами Хризоскула и тот без труда уладил дело — турки повернули назад. Наемное войско, поставленное охранять Никею, еще за три дня покинуло город, встретило Вотаниата у Котиаея и присоединилось к нему. Мирным гражданам Никеи оставалось лишь радушно, с царскими почестями принять претендента.[3]

В Никее Вотаниат на некоторое время остановился в ожидании, пока не приведено будет к концу соглашение с турками, занимавшими пространство от Никеи до Пропонтиды, и пока его приверженцы в столице не приготовят ему беспрепятственного въезда. В Никею явились турки,

[1] *Attal.*, 253, 256, 258–259; *Bryenn.*, 117–118.

[2] *Psell.*, IV, 296–298.

[3] *Scyl.*, 726 (*Zon.*, IV, 224); *Attal.*, 263–265 (***Scyl.*, 732**); ***Bryenn.*, 118–120.**

во главе их сыновья Кутулмиша,[1] и заключили дружественный союз с Вотаниатом. После этого отряды претендента отправились к Халкидону и Хрисополю и заняли несколько укрепленных мест у пролива, где еще держались греки, как-то: Пилы, Пренет, Никомидию и Руфинианы. С жителями столицы начались усиленные сношения, благодаря тому, что турки не препятствовали византийцам свободно являться в лагерь Вотаниата. По прошествии некоторого времени, проведенного в таком занятии, с наступлением праздника Благовещения, 25 марта, в храме Св. Софии собрались многие из духовенства, сенаторов и простых граждан и провозгласили Вотаниата императором; заправителем дела был патриарх Антиохийский Эмилиан.[2] Парапинак находился в нерешительности, как ему поступать среди таких обстоятельств. Алексей Комнин предлагал ударить с помощью вооруженных царских телохранителей на взбунтовавшихся горожан, но мягкосердечный Парапинак не согласился. Между тем значительнейшие горожане, разделившись на товарищества, образовали своего рода дружины, подкреплены были отрядом, присланным Вотаниатом, под начальством Борилла, одолели наемную стражу и заняли дворец, после чего поставили собственных людей стеречь дворец и назначили лиц для наблюдения за порядком в городе. Это совершилось в Лазареву субботу, 31 марта. Парапинак бежал во Влахернский храм, откуда был взят, пострижен и отправлен в Студийский монастырь. Никифорица, вместе с великим этериархом Давидом, бежал в Ираклию, к Урселю. Жена Парапинака, Мария, с малолетним сыном, Константином Порфирородным, тоже вышла из дворца и поселилась на жительство в монастыре Петрии.[3] Граждане Византии отправили после того просительное послание к Вотаниату, призывая его на царство. Вотаниат продвинулся из Никеи к проливу, прибыл в Пренет, оттуда

---

[1] Был ли в их числе Солиман, сын Кутулмиша, с которым правительство Парапинака заключило договор, не сказано.

[2] *Скилица* (733) (*Zon.*, IV, 227) кроме Эмилиана Антиохийского называет еще митрополита Иконийского, который у *Атталиота* упоминается по сходному случаю 7 января. *Скилица* опустил один случай, роль Иконийского митрополита отнес к другому и таким образом объединил два различные факта.

[3] *Scyl.*, 734 (*Glyc.*, 616; *Ioel*, 65); *Bryenn.*, 126. *Михаил Сирийский* (295) записал ложное известие о двух (вместо одного) сыновьях Парапинака, которых Вотаниат будто бы оскопил. У *Ромуальда Салернского* (172) заметно смешение сына с братьями; перепутывая имена, он говорит, что Михаил на 8-м (вместо 7-го) году правления был изгнан вместе с сыновьями: Михаилом, Андроником и Константином, и власть захватил Никифор Вотаниат. У *Ордерика Виталиса* (518) тоже неверное известие, будто Вотаниат, лишив престола Парапинака, «ослепил» его сыновей.

в Руфинианский дворец, но со въездом в столицу не торопился — Византия целых три дня оставалась без царя. В эти дни лагерь Вотаниата представлял оживленное зрелище: высокопоставленные и властные лица спешили из столицы к Вотаниату, чтобы заручиться его расположением; прибыли в том числе Алексей Комнин и брат низложенного императора, Константин, и приняты были весьма милостиво. Наконец, в Великий вторник, 3 апреля, Вотаниат торжественно вступил в столицу и был коронован патриархом.[1] Предшественник его занимал престол в течении 6 лет и 6 месяцев.[2]

Самый способ вступления Вотаниата на престол обусловил то направление, какого он должен был держаться в своей политике. Он взошел на престол по ступеням народного раздражения против политики Никифорицы, опираясь главным образом на церковную партию, затем на массу лиц, так или иначе обиженных в прежнее царствование, и наконец на турок. Вотаниату предстояло с первых шагов своего царствования показать, что он будет действовать в духе совершенно противоположном предшествовавшему времени, он должен был также оправдать надежды своих приверженцев, помогших достигнуть престола, отблагодарить их за услуги и исполнить данные им обещания. Несочувствие прежней политике он выразил тем, что виновника ее принес в жертву народному гневу. Когда Никифорица был доставлен к нему товарищами Урселя (сам Урсель скоропостижно умер), он был отправлен в ссылку на один остров, подвергнут пытке и под пыткой умер.[3] Вместе с тем Вотаниат вызвал и сделал первым министром евнуха Иоанна, митрополита Сидского, вытесненного при Парапинаке Никифорицей.[4] Приверженцы Вотаниата получили видные и выгодные места, были осыпаны милостями. Особенно большую выгоду извлекли церкви и монастыри — новый император щедро отблагодарил духовных лиц за содействие его делу. Сыновья Кутулмиша, жившие в Хрисополе, турецкие эмиры и саларии вынесли из Византии богатые дары, золото и драгоценные ткани.[5] Сочувствие Евдокии и Константина Дуки, брата Парапи-

---

[1] *Attal.*, 266–273 (*Scyl.*, 732–735; *Zon.*, IV, 227–228; *Glyc.*, 616; *Ephr.*, 147; *Ioel*, 65–66; *Man.*, 283); *Scyl.* 734–735 (*Zon.*, IV, 228; Ioel, 66); *Bryenn.*, 120–126; *Matth. d'Ed.*, 178; *Guil. Apul.*, 267–268, 279; *Chron. Brev.*, 278.

[2] *Attal.*, 270 (*Zon.*, IV, 227; *Ephr.*, 147; *Georg.*, 891; *Codin.*, 158); *Scyl.*, 734; *Glyc.*, 613; *Manass.*. 284 — круглая цифра: 6 лет; *Ioel*, 66 — 7 лет. В каталоге *Продолжателя Георгия* (920), по ошибке переписчика, — 16 лет.

[3] По словам *Скилицы* (743–744) (*Zon.*, IV, 231–232; *Georg.*, 899), он сослан на остров Прот; по словам *Вриенния* (127–128), на остров Оксию.

[4] *Zon.*, IV, 231 (*Ephr.*, 148; *Georg.*, 898).

[5] *Attal.*, 274, 276–277 (*Scyl.*, 735).

нака, тоже было вознаграждено. Евдокия получила позволение жить с детьми в Византии, ей было дано роскошное содержание, дочери ее выданы замуж, сын Константин принят ко двору.[1]

Но удовлетворяя настроению общественного мнения и снискивая себе щедротами и милостями доброжелателей, Вотаниат едва ли мог считать свое положение на престоле прочным. Он был уже стар, телом слаб, мышцы его были вялы для войны,[2] но ум был еще достаточно светел,[3] чтобы понимать истинное положение вещей. Самым опасным для него обстоятельством было то, что корона досталась ему не по воле прежде царствовавшего государя и не имела того престижа, какой приобретается достоинством рода и крови. Разумеется, Вотаниат мог считать свою фамилию не хуже других, предъявлял даже притязания на родство с Никифором Фокой, некогда занимавшим престол, но все это для народного сознания было делом смутным, осязательных связей с царствовавшими в Византии фамилиями, своими предшественниками, Вотаниат в глазах современников не имел. Таким образом, его положение было менее счастливо, чем, например, положение Комнинов или Дук. В разных концах Империи процветали знатные аристократы, которые не хотели понять, для чего им следует покоряться Вотаниату, когда они нисколько не уступают ему по знатности, а по личным качествам, как они думали, даже превосходят. Вотаниат, желая восполнить этот недостаток и через то основать прочнее свой престол, решил породниться с царствовавшим до него домом. Когда первая[4] его жена, Бердина, вместе с ним провозглашенная императрицей, умерла, он решился вступить во второй брак: выбор его колебался между Евдокией, женой Константина Дуки, и Марией, женой Михаила Парапинака; брак со второй представлял более затруднений, чем с первой, потому что муж ее был еще жив, тем не менее выбор склонился на сторону Марии, и Вотаниат женился на ней, поощряемый кесарем Иоанном, который после этого сделался особенно близким к Марии

[1] *Attal.*, 304–305 (*Scyl.*, 742).

[2] *Zon.*, IV, 231; *Bryenn.*, 5.

[3] Sagax ingeniosa mente: *Guil. Apul.*, 281.

[4] *Вриенний* (126–127) говорит, что раньше Вотаниат был женат два раза, и когда женился в третий раз, на Марии, вторая жена была жива. Вриенний, кажется, введен в заблуждение неясным представлением об Евдокии и Марии, кандидатках в жены Вотаниату. Евдокию он принял за вторую жену, как показывают слова: ἐν ἀγωνίᾳ ἦν μὴ τὴν τελουμένην μνηστείαν λύσει ὁ πατριάρχης ἐνωτισθεὶς περὶ τούτου καὶ αὖθις πρὸς τὴν Εὐδοκίαν ἀπονεύσει (он опасался, как бы патриарх, узнав об этом, не расторг помолвки и не склонился вновь к Евдокии).

человеком.[1] Расчет Вотаниата оказался не совсем верен. Его соперники, значительные властели, не убедились в его превосходстве и не отказались от намерения оспаривать престол в свою пользу; трудно указать государя, который в такое короткое время должен был, подобно Вотаниату, свести счеты со столькими претендентами.

Претендентство Никифора Вриенния было унаследовано Вотаниатом от предшественника. Никифор Вриенний, сидевший в Адрианополе, узнав о перевороте в Византии, решился идти к столице и домогаться престола. В его распоряжении было довольно значительное войско из македонян, норманнов и печенегов. Вотаниат желал покончить с ним миром и снаряжал несколько посольств,[2] предлагая всеобщую амнистию, Вриеннию звание кесаря и усыновление, а его приверженцам утверждение в тех достоинствах, какие они получили от Вриенния. Во главе последнего посольства стоял царский родственник, протопроедр и великий этериарх Страворомам. Посольства не увенчались успехом. Тогда отправлено было против претендента войско под начальством новеллисима Алексея Комнина, возведенного в сан доместика. С ним двинулся и турецкий вспомогательный отряд, присланный на помощь Вотаниату его союзниками, сыновьями Кутулмиша (Солиманом и Масуром). Противники встретились между Калабрией и Месиной. Силы Алексея Комнина по численности уступали силам Вриенния, тем не менее перевес остался на стороне первого. Сначала он был приведен в затруднительное положение, войско его обратило тыл. Но печенеги и турки выручили. Печенеги Вриенния, удачно сразившись с противниками, вздумали кроме того попользоваться за счет союзников, ворвались в их аръергард для грабежа и произвели замешательство. Между тем турки подкрепили Комнина, бой возобновился и Никифор Вриенний был взят в плен руками турок, брат его Иоанн Вриенний успел бежать. Пленник отправлен был Алексеем Комнином к Вотаниату, который выслал палачей для его ослепления. Палачи встретили Вриенния в загородном увеселительном дворце, Филопатионе, и здесь ослепили. В столицу он был привезен уже ослепленный, выслушал из уст Вотаниата упрек за возмущение и принял позорный триумф, после чего Вотаниат постарался его утешить подарками и чинами. Его соумышленники, за исключением весьма немногих, были прощены и удостоены царских милостей. Был помилован и брат Никифора Вриенния, Иоанн, который потом сделался жертвой мести одного варяга в Византии: прежде

[1] *Scyl.*, 738 (*Zon.*, IV, 229; *Glyc.*, 617; *Ioel*, 66; *Man.*, 284; *Ephr.*, 148; *Georg.*, 893, 897); *Lup.*, 60; *Anon. Bar.*, 335; *Matth. D'Ed.*, 178.

[2] По *Атталиоту* — три, по *Вриеннию* — одно.

он варягу отрезал нос, а теперь варяг убил его за это.[1] Снисходительность Вотаниата к приверженцам Вриенния, помимо его гуманности, выразившейся, между прочим, в его новелле,[2] объясняется еще тем обстоятельством, что Вотаниату нужно было бороться с новым претендентом и для борьбы он рассчитывал заручиться силами прежнего претендента.

Новым претендентом был протопроедр Никифор Василакий, отправленный при Парапинаке на смену Вриенния в Диррахий. Он затеял восстание еще при Парапинаке, но держал свой замысел в секрете. Положением правителя Диррахия он воспользовался для того, чтобы собрать военную силу; составил войско из греков, болгар, албанцев, призвал норманнов из Италии, нанял печенегов, делая все это под предлогом предстоящей борьбы с Никифором Вриеннием. С собранными войсками он прибыл в Фессалонику и здесь обнаружил свои настоящие намерения в то время, когда Парапинак был низвергнут и место его занял Вотаниат. В числе его деятельных приверженцев были: племянник его Мануил, стратиг Гимн, Григорий Месимар, Тессараконтапихис, Гемист. Когда стремления Василакия сделались ясны для Вотаниата, он сначала поступил так же, как с Вриеннием, — отправил посольство, предлагая амнистию и достоинство новеллисима. Но Василакий не поддался на предложение, и Алексею Комнину, едва только окончившему войну с Вриеннием и не успевшему даже на возвратном пути дойти до Константинополя, послано было в награду за подвиги достоинство севаста[3] и вместе с тем приказ идти против Василакия на Фессалонику. Комнин со своим войском, подкрепленным еще бывшими приверженцами разбитого Вриенния (в числе таковых упомянут Василий Куртикий), отправился к Фессалонике и, в недалеком расстоянии от города, расположился лагерем на береку реки Вардари. Василакий решил напасть на него неожиданно, ночью. Но неожиданность не удалась, потому что Комнин через своих лазутчиков успел узнать о его плане и принять меры к тому,

---

[1] *Attal.*, 284–286, 288–294, 319 (*Scyl.*, 735–737; *Zon.*, IV, 228–229; *Glyc.*, 616; *Ephr.*, 149; *Georg.*, 896–897); *Scyl.*, 737; *Bryenn.*, 130–148 (*Anna*, I, 25–36, 38–40); *Anna*, I, 36–37. Вриенний, автор записок, приписывает ослепление Никифора Вриенния Бориллу. Было подозрение и на Алексея Комнина, почему дочь его, Анна, считает нужным очистить память отца. *Лебо* (XV, 61) делает неудачную прибавку, что вместе с Никифором Вриеннием был ослеплен и его сын; сын, действительно, участвовал в сражении, но успел бежать со своим дядей Иоанном и ослеплен не был.

[2] *Attal.*, 313–318; *Zachariae*, III, 332–338.

[3] По словам *Вриенния* (156) (*Anna*, I, 48), Комнину дан был этот титул по возвращении из похода против Василакия. Мы следуем более древнему свидетельству.

чтобы обратить задуманную хитрость во вред самому Василакию. После неудачного ночного нападения Василакий заперся в городе. Комнин осадил Фессалонику и вступил в тайные переговоры с гражданами и войском своего противника, кончившиеся тем, что Василакий был схвачен собственными приверженцами и выдан Комнину. Комнин отправил его в кандалах в Византию, послав туда наперед донесение об исходе дела. Из Византии отдан был приказ ослепить неудачника-узурпатора, и он был ослеплен в местности, именуемой Хемпина, между Филиппами и Амфиполем, у источника, который с тех пор стал называться βρύσις τοῦ Βασιλακίου (источник Василакия).[1]

В то самое время, когда Комнин боролся с соперником Вотаниата, Василакием, или немного спустя, летом 1079 года, неожиданно выступил третий соперник Вотаниату в лице Константина Дуки, брата низвергнутого Парапинака. Константин, во главе так называемых бессмертных, отправлен был против турок. Он должен был присоединиться к войску, ранее высланному и по малочисленности не решавшемуся вступать в сражение с турками, подкрепить его и сдерживать турецкие набеги. Бессмертные, представлявшие собой войско избалованное, были недовольны тем, что их отправили сражаться на Восток, а главное, они были привержены к Дукам.[2] Между бессмертными и Константином Дукой произошло соглашение, и едва Константин переправился из Византии в Хрисополь, он был провозглашен императором. Вотаниат принял меры к обороне, а между тем начал переговоры с бессмертными, предложил им подарки, почетные титулы и право возвратиться назад, в Византию. Переговоры увенчались успехом: войско возвратилось в столицу, выдав с головой Константина Дуку, который был пострижен и отправлен в ссылку.[3]

В конце 1080 года возмутился против Вотаниата Никифор Мелиссин, женатый на Евдокии Комниной, тот Мелиссин, которого армянские историки представляют не только претендентом, но и императором, царствовавшим после Вотаниата в течении 4–6 месяцев и свергнутым с престола Алексеем Комнином.[4] Мелиссин в одном отношении пошел по

[1] *Attal.*, 297–300 (*Scyl.*, 739–741; *Zon.*, IV, 230; *Glyc.*, 617; *Ephr.*, 149; *Georg.*, 897–898); *Scyl.*, 739–741; *Bryenn.*, 146, 148–156 (*Anna*, I, 40–48).

[2] *Bryenn.*, 134.

[3] *Attal.*, 306–309 (*Scyl.*, 742; *Zon.*, IV, 230; *Georg.*, 898). *Скилица* (742) прибавляет, что Константин Дука был возведен в пресвитеры.

[4] *Matth. d'Ed.*, 180–181; *Вардан*, 131. Ошибка произошла, вероятно, оттого, что Мелиссин не был усмирен Вотаниатом и его соискательство продолжалось до вступления на престол Алексея Комнина. См.: *Zon.*, IV, 236. Показание

следам Вотаниата — точно так же основал свои надежды на престол на пособничестве турок; облекшись в императорские одежды, обходил в сопровождении турок малоазиатские города и заставлял признавать свою власть. Операционным своим базисом он избрал Никею. Вотаниат, вынужденный начать с ним борьбу, предложил начальство над войском Алексею Комнину. Но Комнин отказался от этой чести, ссылаясь на свое родство, могущее дать недоброжелательный повод в случае неудачи оклеветать его, Комнина. Тогда начальство было вручено протовестиарию, евнуху Иоанну. Евнух Иоанн направился к Никее с войском, осадил ее и потребовал сдачи. Осажденные обнадеживали его обещаниями до тех пор, пока не явились на выручку турки и не заставили евнуха отступить. Евнух со стыдом возвратился в столицу, а Мелиссин придвинулся еще ближе и расположился лагерем при Дамалисе.[1]

Алексей Комнин в родстве с зятем, Мелиссином, нашел благовидный предлог к тому, чтобы отказаться от похода в Азию, но действительной причиной, заставлявшей его держаться поближе ко двору и к западным областям Империи, был собственный его замысел, давно[2] уже лелеемый, — выступить претендентом на престол. Основанием для его претендентства был, без сомнения, тот мотив, который позднейшими, благоприятствовавшими Комниным, писателями приводится в его оправдание,[3] а именно: наследственное право на престол, в силу родства с Исааком Комнином и Дуками; Алексей Комнин был родной племянник царствовавшего Исаака Комнина и женат был на Ирине, внучке кесаря Иоанна, дочери Андроника Дуки. Для осуществления замысла Алексей Комнин, в союзе со старшим братом, Исааком, стал подготовлять почву и приобретать приверженцев при дворе, в войске и во влиятельных сферах. При дворе Комнины свили себе уютное гнездо на женской половине, под крылом жены Вотаниата, императрицы Марии, чему, без сомнения, много содействовал дед Алексея Комнина, кесарь Иоанн, пользовавшийся большим уважением и авторитетом в глазах Марии после того, как, благодаря его влиянию, Вотаниат отдал предпочтение Марии перед Евдокией.

армянских писателей о продолжительности царствования Мелиссина (по *Матвею Эдесскому*, 4 месяца, по *Вардану* — 6 месяцев) служит основанием для заключения, что восстание началось в конце 1080 г., в ноябре или декабре, так как в апреле 1081 г. вступил на престол Комнин.

[1] *Bryenn.*, 158–166; *Anna*, I, 115.

[2] *Zon.*, IV, 232: πάλαι παρ' ἑαυτοῖς τὸν τῆς βασιλείας τρέφοντες ἔρωτα (они давно уж питали тайную страсть к императорской власти).

[3] *Bryenn.*, 12–13.

За Исаака Комнина выдана была замуж еще при Парапинаке племянница императрицы Марии, потом Алексей Комнин был усыновлен Марией. Эта двойственная связь дала возможность братьям Комниным беспрепятственно посещать Марию, проникать в ее задушевные мысли, утешать в тайных тревогах и, в свою очередь, пользоваться ее услугами.[1] Случилось тогда одно обстоятельство, в сильной степени возбудившее тревогу в Марии и много помогшее Комниным. Старик Вотаниат не имел собственного сына,[2] наследника престола, но был у него пасынок, Константин, сын императрицы Марии от первого ее мужа, Михаила Парапинака. Мария надеялась, что ее сын будет наследником престола, эту мысль поддерживали Комнины и в ее пользу говорили перед Вотаниатом.[3] Но план Вотаниата был другой. У него были родственники, Синадины, очень к нему приверженные и в свою очередь пользовавшиеся большим его расположением. Синадины первые приняли его сторону, когда он выступил соискателем престола. Вотаниат хлопотал о том, чтобы пристроить молодых Синадинов, и не без успеха: дочь Феодула Синадина, приходившуюся ему племянницей, выдал замуж за короля Угрии.[4] Одного из молодых Синадинов Вотаниат стал прочить в преемники себе.[5] Это сильно обеспокоило императрицу Марию, и Комнины обратили ее беспокойство в собственную пользу. Анна Комнина, рассказывая о том, как после вступления на престол ее отца, Алексея, императрице Марии выдана была грамота, которой сын ее, Константин, признан соцарствующим Алексею Комнину, с правом надевать красные туфли и царскую тиару, подписываться на хрисовулах красными чернилами вслед за Алексеем, идти на выходах и быть провозглашаемым во многолетиях вслед за ним, прибавляет: «Говорили, что еще до восстания царица заключила на этот счет договор, чтобы так именно было поступлено с ее сыном».[6] Эта прибавка бросает свет на ту подготовительную работу при дворе, которая предшествовала возмущению Комнина. Комнины, пользуясь тревогой, вызванной планом Вотаниата

[1] *Anna*, I, 84–86.

[2] *Anna*, I, 129.

[3] У *Вриенния* (7–8) дело изложено темно и допущено смешение Константина Порфирородного, сына Михаила Парапинака, с Константином Порфирородным, братом Парапинака.

[4] *Scyl.*, 743. По смерти мужа она возвратилась в Византию, и можно догадываться, что Вотаниат хлопотал о новом замужестве ее с Ашодом, сыном Иоанна и внуком Какига Анийского. См.: *Вардан*, 132.

[5] *Anna*, I, 86–87.

[6] *Anna*, I, 150–151.

возвести на престол Синадина, предложили императрице Марии свой план для спасения ее сына, Константина, состоявший в том, что один из Комнинов овладеет престолом и вместе с собой возведет на престол Константина. В этом смысле заключено было условие. Конечной целью этого плана перед императрицей Марией выставлялось спасение престола для ее сына, остальное было лишь средством, и кандидатура Комнина — делом второстепенным. В действительности, понятно, было наоборот: в руках Комнинов Константин был только орудием, средством заручиться сильной поддержкой при дворе для того, чтобы успешнее выполнить задачу возведения рода Комнинов на престол. Оттого после воцарения Алексея Комнина недолго сохранялась царская обстановка за Марией и ее сыном, Константином: спустя некоторое время Мария, частью добровольно, частью по принуждению, облеклась в монашескую одежду, у ее сына отняты красные туфли и одному Комнину оставлены названия царя и самодержца.[1] Заручившись при дворе содействием императрицы Марии, Комнины не оставили без внимания влиятельных царедворцев и даже низшей прислуги: любезностью, обходительностью, щедрыми подарками и обещаниями они снискали расположение многих; один весьма близкий к Вотаниату сановник, по чину магистр, земляк императрицы Марии (из грузин), сообщал Комниным, с ведома императрицы, весьма важные известия и предостерегал в минуты опасности;[2] даже царский повар, задобренный Комниными, был для них полезен: ставя кушанье на стол, умел шепнуть что-нибудь весьма интересное.[3] Алексей Комнин создал себе сильных приверженцев и в рядах западной армии: войско было к нему привержено как к храброму и искусному полководцу,[4] и было огорчено, когда военачальником во время похода против Мелиссина назначен был вместо Комнина евнух Иоанн,[5] видело в нем не только военачальника, но своего благодетеля, защитника и доброжелателя. Достоверное показание, занесенное в латинские хроники из источника, небезызвестного и Анне Комниной, знакомит нас с приемами, к каким прибегал Алексей Комнин для снискания себе расположения солдат и офицеров. По этому показанию, Вотаниат, которому угрожал поход из Италии Роберта Гвискара, снабдил Алексея Комнина деньгами, с тем чтобы он отправился на Запад, привел в

[1] *Zonar.*, IV, 237.
[2] *Anna*, I, 95.
[3] *Anna*, I, 91.
[4] *Zon.*, IV, 232.
[5] *Bryenn.*, 159.

порядок войско и нанял варваров. Алексей, дойдя до Адрианополя, собрал, сколько мог, войска, некоторых воинов, перед которыми считал возможным открыться, богато одарил, многое обещал и взял с них присягу себе на верность. Остальным же не давал жалованья и говорил: «Я вам охотно дал бы, если бы император, согласно своему обещанию, прислал денег; часто я к нему обращался по этому делу и сильно опечален, что до сих пор не присылает». Солдаты ему верили, а он между тем раздавал некоторым из них собственную свою утварь, сосуды, одежду, говоря: «Если бы мне было возможно, я обогатил бы таких умных людей, как вы». Поступая таким образом, он перетянул на свою сторону всех солдат, а потом сказал им: «Пойду-ка я поговорю о вас с императором и принесу вам ваше жалованье». Он отправился в Константинополь, переманил в столице, кого мог, на свою сторону подарками и обещаниями, императора уверил в своих верноподданнических чувствах и ночью бежал из Константинополя, явился к войску, настроенному уже в его пользу, и держал такие речи: «За то, что я просил для вас жалованье, император грозил меня схватить и наказать; и так как вы мне доныне верили, то я прибыл посоветоваться с вами, с тем чтобы, если вы со мной согласны будете, одарить всех вас наградами и достоинствами». Войско согласилось, провозгласило его императором и двинулось на Византию.[1] Оказывается, что Алексей Комнин привлекал к себе войско не только военными подвигами и талантами, но также деньгами, обещаниями и искусными речами, смысл которых был тот, что от Вотаниата солдаты ничего не могут получить, что если бы он, Комнин, был на месте Вотаниата, то излил бы на них всевозможные блага. Рассказ грешит, может быть, излишней конкретностью, тем, что в уста Комнина влагает такие, а не иные речи, но по своему существу он едва ли может встретить возражение, потому что не противоречит свидетельству Анны Комнины. Анна, разумеется, обошла молчанием хитрость, употребленную Комнином для привлечения войска, так как это могло скомпрометировать ее отца. Тем не менее ее повествование как бы дополняет рассказ западных историков, знакомит нас с тем, что происходило в промежутке между двумя моментами: отъездом Алексея Комнина из лагеря в столицу и его возвращением к войску. Анна Комнина разъясняет нам, почему отцу ее необходимо было убеждать Вотаниата в своих верноподданнических чувствах, кто были те приверженцы, содействие которых он обеспечил себе, и в какую именно ночь он выехал из Византии.

[1] *Rom. Sal.*, 173; *Chron. Amalph.*, 215; *Dandolo*, 249.

У Вотаниата было два доверенных лица, славяне по происхождению,[1] Борилл и Герман, которые пользовались его безграничным доверием и были вполне ему преданы.[2] Они, особенно Борилл, человек проницательный и энергичный, зорко охраняя интересы своего патрона, обратили внимание на предприятие Комнинов и предостерегали Вотаниата. Пребывание Алексея Комнина в столице совпало с событием, которое весьма было кстати для Комнинов и дало повод названным советникам Вотаниата усилить свою бдительность. В это самое время турки взяли Кизик. Вотаниат приказал Алексею Комнину как доместику Запада вооружить часть войска и направить против турок. Алексей воспользовался этим, чтобы придвинуть к столице расположенные к себе войска, и разослал приказы. Войска отовсюду стали стекаться по направлению к Византии. Бориллу дело показалось подозрительным: он недоумевал, зачем приведена в движение и направлена на столицу вся армия, когда велено снарядить лишь часть ее. В этом смысле он сделал представление императору. У Алексея Комнина потребовано было объяснение. Комнин дал объяснение довольно правдоподобное, хотя натянутое, а именно, что в данном случае действует оптический обман, солдаты поднимаются с разных мест и, благодаря разбросанности, людям несведущим кажется, что их очень много; факт движения войска к столице Комнин отвергнул. Как бы то ни было, этот эпизод должен был убедить Комнина, что Борилл и Герман начинают не без успеха проникать в его планы. Борилл и Герман в свою очередь пришли к убеждению, что дело находится в таком положении, когда необходимо принять решительные меры. Анна Комнина уверяет, что они рискнули на свой страх и риск арестовать Исаака и Алексея Комнинов и ослепить их, дополняя свое показание еще сведением, что оба славянина заботились при этом не о царе, а о самих себе, так как Борилл сам домогался царства, Герман же помогал ему. Уверение Анны мы вправе считать преувеличением, допущенным с целью оправдать поведение отца. В нем верна лишь основная мысль, что славяне сознали необходимость и решились действовать, — Комниным грозила опасность. Неизвестный по имени[3] магистр, из грузин, донес Комниным об опасности. Тогда и они увидели, что необходимо приступить к действиям. Алексей

[1] *Anna*, I, 77: οἱ Σκύθαι; 83: δύο βαρβάρων Σθλαβογενῶν (скифы; два варвара из славян).

[2] *Scyl.*, 743 (*Zon.*, IV, 231; *Glyc.*, 618; *Manass.*, 284; *Georg.*, 898, 895).

[3] *Анна* (I, 76) говорит об «Иоанне»-грузине, который подобную же роль переносчика сведений играл относительно Мономаха, — может быть, это одно и то же лицо, хотя к тому алану титул магистра не прилагается.

Комнин отправился к армянину Пакуриану и обещал ему сан доместика, если поможет вступить на престол; получив согласие Пакуриана, он отправился к норманну Убертопулу и от него тоже заручился клятвенным обещанием помощи. Затем Алексей и брат его, Исаак, отправились во Влахернский дворец, выбрали себе в царских конюшнях лучших лошадей, остальным подрубили задние ноги, чтобы пресечь возможность погони, и поспешили ускакать из столицы, склонив еще перед выездом свояка, Георгия Палеолога, следовать за ними. Выезд Комнинов из столицы совершился ночью с воскресенья на понедельник сырной недели,[1] т. е. с 7 на 8 февраля 1081 г. После выезда Комнины сочли необходимым известить еще одного из своих приверженцев: послан был гонец к деду жены Алексея, кесарю Иоанну Дуке, с приглашением спешить на сборное место. Кесарь Иоанн немедленно последовал зову и оказал неоценимые услуги: добыл для них денег и, встретив случайно у реки Гебра (Марица) отряд угров, нанял их на службу Комниным. После соединения с Комнинами в дальнейшем ходе их предприятия Иоанн являлся на выручку в самых критических случаях.[2]

Сборным пунктом было назначено фракийское селение Цурулл, куда успело сойтись по приказам доместика войско: сюда съехались все, и кесарь Иоанн с внуками, Михаилом и Иоанном (сыновьями Андроника), и Георгий Палеолог; отсюда уже двинулись к Византии. Первым вопросом, который предстояло решить, было избрание императора; необходимо было отдать предпочтение которому-нибудь из братьев Комнинов, Исааку или Алексею. Избрание было пустой формальностью, выполненной лишь с целью не обидеть старшего брата. Предпочтение младшего брата, Алексея, было делом предрешенным; на его стороне стояла армия, еще раньше им предрасположенная, им заключено было условие с Пакурианом и Убертопулом, наконец, кесарь Иоанн с внуками и Георгий Палеолог узами родства были связаны с Алексеем и единодушно действовали в его пользу. Алексей Комнин был провозглашен императором. Войско, с претендентом во главе, шло в Византию весьма медленно: весь Великий пост прошел, прежде чем оно приблизилось к стенам столицы. Это время посвящено было Алексеем Комнином увеличению военных сил и денежных средств. Для приобретения того и другого он обращался к правителям разных областей. Некоторые удовлетворяли его требованиям, другие отказывали. К числу последних принадлежал Георгий Мономахат, дука Диррахия, преемник по должности Никифора Василакия. Он

[1] *Anna*, I, 98: νὺξ δ' ἦν ἡ τῆς τυροφάγου κυριακῆς.

[2] *Anna*, I, 90–109.

считался другом Алексея Комнина, и потому, вскоре после ослепления Василакия, Борилл и Герман, тогда уже подозрительно посматривавшие на Комнина, постарались его удалить из столицы под предлогом почетного назначения. Алексей Комнин, выступив претендентом, по старой дружбе попросил у Мономаха субсидии. Но тот ответил, что дружбу он и впредь сохранит, но из друга превратится в слугу лишь тогда, когда Комнин взойдет на престол, а до тех пор намерен верно служить Вотаниату, которому присягнул. Время, предшествовавшее осаде столицы, занято было сверх того переговорами с другим претендентом, сидевшим около Дамалиса, Никифором Мелиссином. Мелиссин через послов предлагал Алексею Комнину действовать сообща и разделить управление Империей на две части: себе оставлял Восток, Алексею предоставлял Запад. Комнин не согласился на это предложение и объявил, что может лишь дать Мелиссину звание кесаря и город Фессалонику для жительства; на этом дело было решено.[1] В конце марта войско Алексея Комнина, состоявшее из разного сброда, из греков и иностранцев, подошло к стенам Византии. Наружная стена столицы была охраняема бессмертными, варягами и немцами, на внутренней стояли случайно набранные ратники из горожан. Кесарь Иоанн подал Комнину мысль войти в переговоры с начальником[2] немецкого отряда, охранявшего одну из надворотных[3] башен наружной стены. Переговоры удались: немец сдался на подкуп. Когда осаждавшие подошли к стене с лестницами и находившиеся на стене воины стали защищаться, немцы сверху, с башни, принялись стрелять в защитников и принудили их удалиться. Георгий Палеолог с несколькими товарищами

[1] *Zon.*, IV, 236. Комнин потом исполнил обещание, но так как кесарь занимал после императора первое место, а у Алексея был старший брат, Исаак, которому он хотел предоставить это место, то он придумал остроумный способ выйти из затруднения: измыслил новый титул севастократора, отвел ему в чиновной иерархии первое место и возвел в севастократоры Исаака; титул кесаря отодвинулся на второй план. См.: *Anna*, I, 147.

[2] У *Анны* (I, 123) он называется Γιλπράκτος. Правильно назван у *Ромуальда Салернского* (173), который говорит, что Комнин подкупил magistrum militum Arnonem ex genere alamannorum (...магистра воинов Арнона, германца родом). У *Дандоло* (249), очевидно, имя испорчено: praeditione Ammonii magistri militum (...из-за предательства магистра воинов Аммония). *Ордерик Виталис* (518) имеет весьма спутанное представление о деле и называет начальника стражи Раймундом Фландрским.

[3] Эти ворота *Зонара* (IV, 232) и *Анна* (124) называют πύλη Χαρσίου (Харсийские ворота); *Ромуальд Салернский* (173): porta Vulgarorum; *Дандоло* (249): porta Bulgarorum (Болгарские ворота). Ныне: Эгри-Капу.

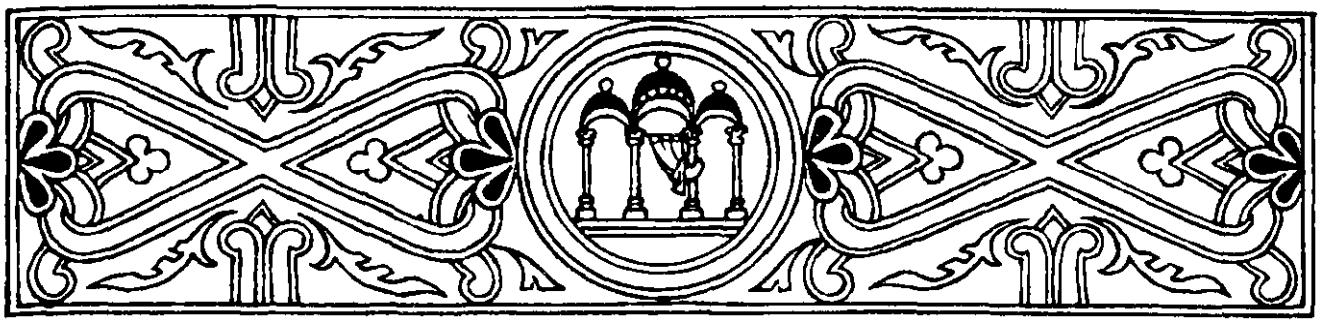
немедленно проник вовнутрь, запоры были сняты, ворота открыты, и войско Комнина беспорядочной толпой устремилось в город, потому что ворота внутренней стены не представляли препятствия: стоявшие на ней горожане, с военным делом незнакомые, не оказали сопротивления и, соскочив, бросились бежать. Это происходило 1 апреля, в четверг Страстной недели, утром.[1] Сбродное войско Комнина рассеялось по городу и начался грабеж и насилия, доходившие до того, что не были пощажены храмы и не уважена стыдливость жен, дев и монахинь. Всякий заботился о добыче и удовлетворении низких инстинктов, причем отличались не одни варвары, но и греки. Претендент был забыт, всеми покинут и при некоторой смелости и расторопности со стороны Вотаниата легко мог быть захвачен. Но обескураженный старик не подумал об этом. Считая свое дело проигранным, он хотел спасти хоть что-нибудь. Сначала он думал вступить в соглашение со стоявшим на другой стороне пролива Мелиссином, чтобы с его помощью вытеснить Комнина. Снаряжен был уже флот и один из приближенных Вотаниата отправился послом, но Георгий Палеолог вовремя это заметил и разрушил предприятие, убедив матросов и гребцов принять сторону Комнина. Потом Вотаниат отправил к Комнину Никифора Палеолога (отца упомянутого Георгия), который держал сторону Вотаниата в то самое время, как его сын был на противной стороне. Никифор Палеолог предложил Алексею Комнину от имени Вотаниата быть его нареченным сыном и взять в свои руки все управление государством: себе Вотаниат оставлял только титул царя, обычное царям приветствие, пурпурные туфли и помещение во дворце. Комнин готов был склониться на это предложение, но тут подоспел кесарь Иоанн и сердито заметил, что это предложение было бы уместно до взятия города, а теперь старику остается только сойти с престола и позаботиться о спасении души. Один Борилл сохранил присутствие духа и здравый взгляд на вещи: он видел, что в разгар грабежа, когда все войско, кроме немногих родственников, оставило претендента, ничего не стоит его уничтожить; он собрал военный отряд из варягов и так называемых хоматинцев и ожидал только

[1] *Zon.*, IV, 233: κατὰ τὴν μεγάλην πέμπτην τῆς ἑβδομάδος τοῦ σωτηρίου πάθους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. *Rom. Sal.*, 173: die Jovis, quae coena Domini. *Dand.*, 249: die coenae Domini. Выражение *Анны* (I, 123): ἡ δὲ ἡμέρα πέμπτη ἦν ἡ μεγάλη καθ' ἣν τὸ *μυστικὸν πάσχα* θύομεν ἅμα καὶ ἐστιώμεθα (Это происходило в Великий четверг — день, когда мы жертвуем и вкушаем тайную пасху. — *Пер. Я. Н. Любарского*) ввело в заблуждение комментатора, Дюфреня, а за ним и русского переводчика Комнины (проф. Карпова), которые поняли его так: в пятый день светлого праздника.

разрешения от Вотаниата, чтобы приступить к делу. В истории претендентства Комнина это был самый опасный момент; но и тут спас мужа своей внучки кесарь Иоанн. Пользуясь дружескими отношениями с патриархом Косьмой, он побудил его употребить всю силу иерархического авторитета, чтобы отклонить междоусобие и резню. Косьма своими убеждениями достиг того, что Вотаниат не дал разрешения на вооруженное сопротивление и, к великой досаде Борилла, отправившись в храм Св. Софии, отрекся от престола, который занимал три года;[1] из храма он был перевезен в монастырь Перивлепт, которого был вторым ктитором (после первого, Романа Аргира, основавшего монастырь), и здесь пострижен в монашество. Алексей Комнин занял дворец и в первый день Пасхи, 4 апреля 1081 г., был венчан на царство, после чего прекратилось и разграбление Византии, продолжавшееся целых три дня.[2]

[1] Вывод из *Зонары* (*Glyc.*, 616; *Ioel*, 66; *Man.*, 286; *Ephr.*, 148; *Georg.*, 893). По *Кодину* (158) — три года с половиной.

[2] *Zon.*, IV, 232–234 (*Glyc.*, 618; *Ephr.*, 149; *Georg.*, 899–901); *Bryenn.*, 11–12; *Anna*, I, 77–79, 110–136, 172; *Rom. Sal.*, 173–174; *Chron. Amalph.*, 215; *Dand.*, 249; *Lup.*, 161; *Chron. Brev.*, 278; *Guil. Ap.*, 282; *Order. Vit.*, 518–519; *Mich. le Grand*, 295.



Глава третья

Основой византийской государственности была идея авторитета, полного подчинения человеческой личности государству, частного общему. Применение этой идеи отразилось в Византии крайностями централизации: интересы государства сузились, из провинций перешли в столицу, из столицы во дворец и здесь воплотились в лице императора. Развитие власти византийских императоров было неразрывно связано с развитием централизации, для которой прочный фундамент заложен был еще в конце III и начале IV в. и которая к XI в. сделала большие успехи.

Нельзя, однако же, назвать вполне правильным то мнение, по которому власть византийских императоров была абсолютна, не знала никаких сдержек ни в теории, ни на практике.[1] Правда, император в представлении византийцев рисовался как неограниченный монарх, имеющий возможность не стесняться законами, нарушать их по побуждениям личного каприза; но нарушая законы, он поступал как тиран,[2] и действия его не считались одобрительными. Возможность фактическая не была еще законным правом. С юридической точки зрения император был не нарушителем законов, а их покровителем и защитником: он — верховный законодатель и управитель, общее благо подданных, не знающий лицеприятия в раздаянии благодеяний, ни гнева в наказании, беспристрастный мздовоздаятель, воздающий каждому по заслугам, поддерживающий, прежде всего, предписания священных книг, затем постановления семи Соборов и, наконец, вообще римские законы.[3] Со стороны фактического обнаружения власти император был обставлен если не прямыми, то косвенными ограничениями, которые находились в связи с двумя особенностями политического устройства, во-первых, с отсутствием определенного, признанного законом порядка престолонаследия, во-вторых, с византийским

[1] *Gibbon*, 1004; *Finlay*, II, 1–2, 461.

[2] Τυραννήσαντος τοὺς νόμους τοῦ βασιλείου σκοποῦ. *Psell.*, IV, 126.

[3] Epanagog., tit. 2. Ср.: *Mortreuil*. Hist. du droit Byzant., III, 35.

консерватизмом, и в частности консерватизмом формы. Отсутствие порядка престолонаследия вело к тому, что императоры искали для себя опоры в народной воле, становясь через то в известную зависимость от этой последней; византийский формализм, приверженность к традиционным обрядам и внешним условиям жизни вели к тому, что неограниченный монарх должен был слепо покоряться сухой, бездушной и ни для кого не опасной форме, над монархом личным стоял монарх отвлеченный, сдерживал его и ограничивал. В этом отношении византийский формализм, повлекший за собой чрезвычайное развитие церемоний, внешних отличий и титулов, не есть что-нибудь лишенное всякого значения, как обыкновенно думают; все эти церемонии, отличия и титулы имели свой смысл и свое место в политическом строе государства. Частнейшее рассмотрение вопроса об отсутствии порядка престолонаследия и вытекавших отсюда последствиях, а также о внешних, формальных условиях обнаружения императорской власти даст нам возможность ближе познакомиться с положением византийских императоров.

Отсутствие закономерного порядка престолонаследия вело к крайней неопределенности положения византийских императоров. Занятие престола известным человеком составляло благоприятный прецедент для членов его рода, особенно для детей, рожденных, согласно закону Константина Великого, возобновленному Василием I Македонянином, в порфирной комнате (πορφυρογέννητοι), — оно воспитывало в народе привычку к династии, вырабатывало своего рода легитимизм. Но вполне надежной гарантии оно не давало даже в том случае, если престол долгое время находился в руках одной династии, как например Македонской, владевшей престолом 189 лет. Ни один император не мог считать себя вполне обеспеченным на троне; из общего числа лиц, занимавших престол и причастных к императорской власти, добрая половина окончила жизнь насильственным образом.[1] Перевороты были беспрерывны, и нигде не было такого обилия претендентов на престол, как в Византии. Редкая фамилия, редкий выдающийся деятель отказывался в глубине души от надежды облечься в пурпур. В наше время шарлатаны эксплуатируют легковерие людей, предсказывая им богатство и успех в семейной и общественной жизни, а в то время пророчили легковерным императорский престол, и пророчества часто сбывались. Смелый и энергичный человек иногда поневоле даже должен был обращать взоры на престол, так как своими качествами и подвигами возбуждал подозрение в стремлении к

[1] Итог императоров, трагически лишившихся престола, от Аркадия до Магомета II, подведен у *Sabatier*. Monnaies byzantines, 21.

узурпации и через это подвергался личной и имущественной опасности, от которой мог избавиться, только взойдя на престол. Людей решительных должно было еще останавливать то обстоятельство, что восстание против царствующего государя, помазанника Божия, считалось отступничеством (апостасией) и каралось анафемой.[1] Но Церковь, охранявшая таким образом престол от узурпаторов, провозгласила вместе с тем устами патриарха Полиевкта, короновавшего Цимисхия, принцип, что помазание на царство смывает грехи. После того следовало ли задумываться перед анафемой и цареубийством, если анафематствованный и убийца в случае удачи получал очищение грехов? Разумеется, здравое нравственное чувство не мирилось с вытекавшим отсюда результатом; Михаил Пафлагон, заподозренный в цареубийстве, в глазах общественного мнения до конца своей жизни носил на челе печать преступления. Но в государстве, где процветал формализм, и у людей, интерес которых заставлял мириться с формальным оправданием, общечеловеческая нравственность не всегда была регулятором нравственных поступков.

При отсутствии закона, дававшего право на престол, признавался и имел силу один лишь факт, и государи заботились о том, чтобы предвосхитить факт в свою пользу. Средствами к тому были: а) система сотоварищества и б) избрание и назначение преемника престола царствующим государем. Оба способа иногда объединялись, оба основывались на императорской воле.

В XI в. практиковались как система сотоварищества, так и способ замещения престола по избранию и назначению царствующего императора, причем иногда прибегали даже к подлогам, только бы доказать, что преемник престола вступил на престол по воле своего предшественника. Константин VIII был коронован и считался сотоварищем Василия II, носил вместе с братом титул царя; после его смерти вновь коронован и сделался самодержавным.[2] Перед смертью он избрал себе преемником Романа III, который сочетался с Зоей и был коронован патриархом Алексием. Власть Романа основывалась, таким образом, не только на родстве с Македонским домом, но и на воле императора Константина. Михаил IV вступил на престол и был коронован патриархом Алексием как муж Зои, следовательно, по праву родства и избрания Зоей. Но избрание женой

[1] *Zachariae*, III, 320–321.

[2] На повторное венчание указывают слова патриарха Алексия, произнесенные им при Михаиле Пафлагоне: «Три царя коронованы мною» (*Cedr.*, II, 517). Так как Алексий возведен на престол перед смертью Василия, то третьим царем, кроме Михаила IV и Романа III, мог быть только Константин VIII.

предшественника, а не им самим, считалось недостаточным и был поэтому разослан манифест, в котором (фальшиво) утверждалось, что Михаил IV избран еще при жизни Романа, по его воле.[1] Михаил Калафат был усыновлен Зоей, заблаговременно связан с Македонским домом узами искусственного родства. По смерти Михаила IV он избран на престол Зоей как ее соправитель и был коронован[2] патриархом Алексием, но сверх того еще при жизни Пафлагона, удалившегося в монастырь, его братья, главным образом Иоанн Орфанотроф, подделали от имени императора грамоту, в силу которой Калафат занял во дворце место своего августейшего дяди.[3] С первого взгляда может показаться, что содержанием грамоты был призыв Калафата ко двору — Калафат не пользовался милостями Пафлагона, держался в удалении,[4] и грамота открывала ему двери туда, куда вход ему был прегражден. Но эта цель представляется слишком незначительной, чтобы из-за нее пафлагоняне решились на подлог; Калафат мог быть призван ко двору без всяких предосторожностей, как скоро удалился Михаил IV, антипатия которого была причиной устранения Калафата и выселения из Константинополя загород. Невольно является мысль, что содержание грамоты было более важное и касалось не только въезда во дворец, но вопроса о престолонаследии: Калафат в подложной грамоте был назначен преемником Михаила IV и здесь, может быть, скрывается одна из причин, почему Зоя не противилась возведению своего усыновленного сына на престол; она видела, что в случае отказа с ее стороны, его возведут помимо ее желания, опираясь на волю умершего Пафлагона. Константин Мономах был избран на престол Зоей и женился на ней, имел таким образом за собой и родство, и волю старшей из царствовавших после низвержения Калафата императриц. Он был коронован патриархом Алексием[5] и стал управлять в сотовариществе с Зоей и Феодорой, которые носили царский титул. Мономах хотел назначить себе преемника, и только предусмотрительность партии Феодоры и смерть помешали его намерению. Воцарившаяся после Мономаха Феодора еще при жизни назначила себе преемником Стратиотика, который и был коронован Керулларием, прежде чем умерла императрица. Насильственным образом вступивший на престол после Стратиотика и венчанный патриархом Керулларием Исаак Комнин назначил при жизни своим преемником, хотя

[1] *Cedr.*, II, 506.
[2] *Cedr.*, II, 534.
[3] *Psell.*, IV, 77 (*Zon.*, IV, 149).
[4] *Psell.*, IV, 62.
[5] *Cedr.*, II, 542.

и неформально, Константина Дуку, который был коронован Лихудом.[1] Константин Дука, у которого были сыновья, имел полную возможность применить систему сотоварищества. Младший сын, порфирородный Константин, еще в пеленках украшен царским титулом, старший, Михаил, рожденный до вступления отца на престол, был коронован спустя несколько времени после воцарения Константина Дуки.[2] Диоген, вступивший на престол по избранию Евдокии как ее муж, был коронован Ксифилином и обязан договором поддерживать систему сотоварищества: его пасынки — Михаил, Андроник и Константин — носили титул царей, а когда у Диогена родился от Евдокии сын, то и его Диоген приобщил к сотовариществу, почему прилагается к нему титул царя.[3] Сын Михаила Парапинака, Константин Порфирородный, был коронован в пеленках[4] при жизни отца. Никифор Вотаниат, получив венец из рук патриарха Косьмы, счел нужным обосновать свою власть на браке с Марией, женой низвергнутого Парапинака, которая по прежним примерам (Зои и Евдокии) могла избранному ею мужу передать престол. Вотаниат предполагал назначить при своей жизни преемником себе Синадина; но это ему не удалось. Алексей Комнин, предварительно соединившись узами искусственного родства с императрицей, его усыновившей, и заключив договор, обеспечивавший ее санкцию в случае успеха, низвергнул Вотаниата и был коронован патриархом Косьмой.[5]

Существование одной лишь фактической основы для императорской власти соединено было с большими неудобствами. Воля императора имела значение только под условием добровольной покорности; назначенный по желанию царствующего государя наследник престола мог быть признан, мог быть также отвергнут подданными, особенно если случались обстоятельства, умалявшие авторитет державной власти, от которой исходило назначение, к каковым обстоятельствам в наш период принадлежало, между прочим, прекращение сначала мужской линии Македонской

---

[1] См. выше, с. 174–175, 188, 190, 201, 213.

[2] *Psell.*, IV, 267.

[3] См. выше, с. 222, прим. 1.

[4] *Psell.*, IV, 293. О братьях Михаила, Андронике и Константине, как сотоварищах, в греческих памятниках не говорится, но в Италии они считались соцарствующими Михаилу: imperante domino nostro Michaele et Constantino Porfirogenito et Andronico magnis imperatoribus (Когда правил господин наш Михаил, багрянородный Константин и Андроник, великие императоры...) — в шести грамотах. См.: Regii Neap. archivi monum. Vol. V, 67–84.

[5] См. выше, с. 242, 245, 279, 256.

династии, а затем и женской. Отсюда происходило, что византийские императоры искали других опор для своего трона и заботились о том, чтобы вступление их на престол было признано не только предшественником-императором, но и подданными. Степень заботливости обусловливалась вескостью одного из реагентов: если император, по воле которого преемник занимал престол, пользовался значительным авторитетом, то и восполнять его волю согласием подданных не было особенной надобности, можно было даже совершенно обойтись без согласия; наоборот, если авторитет предшественника был незначителен, а тем более если преемник вступал на престол помимо воли предшественника, то согласие подданных оказывалось необходимым и притом в бóльших или меньших размерах, смотря по тому, против воли или по воле малоавторитетного государя занял престол его преемник. Как скоро воля подданных получила вес при таком капитальном акте как преемственность престолонаследия, естественно было отвести ей место и при других важных случаях государственной жизни. И действительно, мы видим, что в критических и затруднительных обстоятельствах императорская власть прибегает к содействию народной воли.

Формы обращения к народной воле были традиционные, перешедшие от первых веков христианской эры. До конца III в. выбор императора принадлежал народу, сенату и войску — преторианцам; последние de facto играли наибольшую роль, так что хотя после Тиберия, перенесшего права народа на сенат, и писалось о том или другом императоре, что он избран authoritate senatus, consensu militum, однако же на деле было обратное отношение: избирало войско, а сенат только утверждал, или, правильнее, признавал совершившийся факт. Вступивший на престол император отплачивал за свое избрание: население столицы получало анноны (даровую раздачу жизненных припасов) и конгиарии (даровую раздачу денег), преторианцам вручался донатив (сумма денег, размеры которой обусловливались обстоятельствами). Корпус преторианцев с течением времени исчез, самый сенат сделался тенью прежнего сената, пока Лев Мудрый совершенно не уничтожил его значение.[1] Но прежние порядки не были забыты и продолжали существовать, хотя и в измененной форме. Место преторианцев заняла лейб-гвардия императоров, сенат составился из чиновной аристократии (как будет показано ниже), буйное население столицы продолжало непрерывно заявлять о себе. Существенная разница та, что после возведения христианства на степень господствующей

[1] Nov. LXXVIII: ne amplius senatusconsulta fiant (...чтобы впредь сенатских постановлений больше не было). См.: *Zachariae*, III, 175.

религии, к прежним политическим агентам прибавился еще один — клир в лице своих представителей, патриарха и его синода. В XI в., при переменах на троне и в более важных случаях политической жизни, имели значение: а) сенат (σύγκλητος, γερουσία, βουλή), и так как сенат в полном составе был весьма многочислен, то обыкновенно отборнейшие (τὸ ἔκκριτον) сенаторы, б) народ (δῆμος, κοινόν, τῆς ἀγορᾶς), под которым понималось городское население, купцы, ремесленники, городская чернь, а также пришлый сброд, при смене императоров массами стремившийся в Константинополь[1] в надежде получить на свою долю нечто из императорской благостыни, в) синод (σύνοδος) с патриархом во главе и г) императорская охранная стража (ἡ βασιλικὴ δορυφορία). Обыкновенно восшествие на престол совершалось с согласия сената и народа, и каждый претендент, затевая восстание, помышлял о средствах, чтобы привлечь их на свою сторону. В тех случаях, когда смена одного императора другим носила тиранический характер, когда вступивший на престол не мог опереться на волю прежде царствовавшего государя, — на подмогу авторитету сената и народа призывался еще авторитет синода (независимо от коронации, всегда бывшей непременным условием) и царской стражи. Если вопрос шел не о престолонаследии, а о каком-нибудь менее важном, хотя и серьезном случае, имевшем отношение к внутренней или внешней политике, то императорская власть довольствовалась тем, что обращалась к содействию одного какого-нибудь агента, сената или народа, смотря по тому, откуда можно было извлечь больше пользы. Во всех случаях, когда высшая власть обращалась к воле подданных, было в обычае расточать царские благодеяния, и несоблюдение этого древнего обычая считалось чертой неодобрительной в императоре, признаком скупости и неуважения к традиции. Благодеяния выражались в том, что члены сената повышаемы были в чинах и должностях, народу раздавались денежные и другие подарки. В дополнение к благодеяниям, уже оказанным, принято было за правило[2] еще большее обещать в будущем; обещания давались или в речах, которые вновь вступивший на престол произносил к сенату (во дворце) и народу (с дворцового балкона), или в манифестах, которые издавались по случаю вступления на престол (например, при Мономахе),[3] или принятия важных государственных мер (например, при Калафате).[4]

---

[1] *Attal.*, 10.

[2] *Attal.*, 169.

[3] *Cedr.*, II, 542.

[4] См. выше, с. 166–167.

Об участии народа в вопросе престолонаследия и в других важных государственных вопросах в рассматриваемый нами период, равно как о тесно связанном с народным участием обычае царских благодеяний, мы находим достаточно указаний у византийских историков. О том, чтобы сделано было обращение к народу при вступлении на престол Константина VIII и Романа III, сведений нет, и это понятно. Власть последних представителей Македонского дома в мужском колене была достаточно сильна, чтобы не нуждаться в одобрении подданных. Константин VIII был сотоварищем по управлению отца, двух императоров-опекунов и своего брата; принимая в 1025 г. в свои руки единодержавное правление, он чувствовал под ногами крепкую почву. Точно так же и Роман III, будучи избран Константином VIII, считал это избрание достаточной гарантией своей власти. Положение вещей изменилось после смерти Романа III. Власть, «снизошедшая до гинекея», была уже не так авторитетна, да и воля Романа, которому приписано было назначение в преемники Михаила Пафлагона, значила в глазах народа далеко не то, что воля государя, по прямой линии принадлежавшего к Македонской династии. При возведении на престол Михаила Пафлагона необходимо уже было согласие подданных, и историк считает делом несообразным, что Зоя возвысила его, не заручившись наперед приговором сената и волей народа.[1] Недостаток был потом восполнен: получено одобрение сената и народа, в благодарность сенаторам даны новые чины, а народу подарки.[2] То же повторилось при вступлении на престол Михаила Калафата, который купил расположение к себе сената и народа теми же средствами.[3] Когда Калафат решился отправить Зою в ссылку, он не обошелся без сената и народа: в день ссылки был собран сенат, Калафат изложил перед ним мотивы своего поступка и склонил сенаторов в свою пользу; затем собран был народ, Калафат повторил мотивы, выслушал мнения, какие при этом были высказаны,

---

[1] *Psell.*, V, 125: οὐ συγκλήτου ψήφους ἐκδεξαμένη οὐ δήμου βουλήν.

[2] *Cedr.*, II, 507: ὁ Ἰωάννης δὲ τήν τε σύγκλητον ὑπεποιεῖτο καὶ τὸ κοινόν, καὶ τὴν τῶν πολλῶν ἐπεσπᾶτο εὔνοιαν, βαθμοῖς μὲν αὖ τοὺς τῆς συγκλήτου προύχοντας ἀξιωμάτων ὑψῶν, δωρεῶν δε διανομαῖς καὶ χάρισι μειλισσόμενος τὸ κοινόν, καὶ καθάπαξ οἰκειούμενος το ὑπήκοον (Иоанн привлекал на свою сторону синклит и народ и искал благосклонности большинства — виднейших синклитиков награждал высокими титулами, народ подкупал дарами и милостями, располагал к себе подданных).

[3] *Attal.*, 11: φιλοτίμως τῇ συγκλήτῳ καὶ τοῖς ἄλλοις προσφερόμενος ὑποικόοις (Он проявлял щедрость по отношению к синклиту и другим подданным); *Cedr.*, II, 535 (*Glyc.*, 590): τιμαῖς καὶ ἀξιώμασι τὴν σύγκλητον καὶ δωρεῶν διανομαῖς τὸ κοινόν (<жаловал> синклитикам титулы и почести, а народу <раздавал> дары).

и затем распустил собрание.[1] Здесь, очевидно, призваны были лишь наиболее выдающиеся представители народа; к массе народа, к площадной толпе, Калафат обратился на следующий день с манифестом-воззванием.[2] Возведение на престол Зои и Феодоры после низвержения Калафата было плодом общенародного решения;[3] поэтому, когда собрался сенат, Зоя поблагодарила его, а затем с видного места повела речь к народу и тоже засвидетельствовала свою благодарность;[4] когда все было покончено, от Зои и Феодоры посыпались чины на сенаторов и подарки народу.[5] Возведение Зои и Феодоры было соединено с тиранией против царствовавшего государя, потребовался поэтому голос подданных в усиленном составе, кроме сената и народа в деле участвовала и Церковь. Решение выйти замуж за Мономаха принято было Зоей после того, как она заручилась одобрением охранной стражи и согласием главнейших членов сената.[6] Мономах, получив в руки скипетр, отблагодарил сенаторов повышением каждого в чине и исполнил обычай относительно народа, раздав деньги.[7] Когда Мономах задумал переселить во дворец свою фаворитку, Склирену, получено было одобрение сената,[8] а когда против него восстал Торник и осадил столицу, император позаботился о том, чтобы заручиться благосклонностью народной массы, которой надавал обещаний,[9] —

[1] *Psell.*, IV, 89–90: τῇ συγκλήτῳ βουλῇ ἀνακαλύπτει... καὶ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους ἀποπειρᾶται... τὰ μὲν εἰρήκει, τὰ δὲ παρ᾽ αὐτῶν ἠκηκόει... διέλυσε καὶ τούτον τὸν σύλλογον.

[2] См. выше, с. 166–167.

[3] *Zonar.*, IV, 153: παρὰ πάντων τῶν τε τῆς βουλῆς καὶ τῶν τοῦ δήμου καὶ αὐτῶν τῶν τῆς ἐκκλησίας... ἀνηγόρευτο (они были возведены на престол... всем синклитом, народом и церковными иерархами); *Cedr.*, II, 537.

[4] *Cedr.*, II, 539: πρότερον μὲν πρὸς τὴν σύγκλητον, εἶτα καὶ ἔκ τινος περιωπῆς πρός τὸ πλῆθος...

[5] *Cedr.*, II, 541: ἡ σύγκλητος προβιβασμοῖς ἐγεραίρετο καὶ δωρεῶν διανομαῖς τὸ κοινόν.

[6] *Psell.*, IV, 112–113: ἀνακαλύπτει πρὸς τὸ περὶ ἑαυτὴν δορυφορικὸν... καταγγέλλει καὶ τῇ ἐκκρίτῳ τό δόξαν βουλῇ. Φανέντος δὲ καὶ παρ᾽ αὐτοῖς θεοκινήτον τοῦ δόγματος, μετακαλεῖται ὁ Κωνσταντίνος (она открывает <решение> страже... возвещает его избранным членам синклита. Когда же они сочли, что это решение угодно Богу, она призывает Константина).

[7] *Cedr.*, II, 542: τοὺς συγκλητικοὺς βαθμοῖς ἀξιωμάτων κατὰ τὴν ἑκαστου προεβίβασεν ἀξίαν, καὶ χρυσίου δὲ διανομαῖς τὸ πλῆθος ἐφιλοτιμήσατο; *Attal.*, 18.

[8] *Psell.*, IV, 129: ἡ σύγκλητος... ἐπαινοῦντες...

[9] *Psell.*, IV, 159: τὸ πλῆθος δημαγωγήσας τῆς πόλεως καὶ τῆς προλαβούσης αὐτοὺς εὐνοίας ἀποδεξάμενος, τῆς δέ γε μελλούσης ἔπαθλα ὥσπερ ἐπ᾽ ἀγωνίαις προθείς (он произнес речь перед жителями города, воздал им за расположение в прошлом и, как на ристалище, назначил награды за будущую поддержку).

при активном содействии горожан он надеялся спасти столицу и самого себя. Замысливший заговор против Мономаха Роман Боила постарался прежде всего привлечь на свою сторону сенаторов, которые почему-нибудь были недовольны царем.[1] Когда Мономах хотел назначить себе преемника, помимо Феодоры, последняя поспешила в Великий дворец, около нее собралась охранная стража с избранными сенаторами и провозгласила императрицей.[2] Михаил Стратиотик обязан был своим избранием на престол немногим приближенным к трону сенаторам; народ тут был не при чем, равно как и большинство сенаторов. Поэтому Стратиотик простирал свои благодеяния лишь на самых выдающихся и избранных сенаторов, относительно же народа отделывался обещаниями.[3] Стесненный Комнином Стратиотик с целью не допустить народ и сенат до подачи голоса в пользу претендента стал раздавать столичному населению подарки,[4] а со всех сенаторов взял подписку в том, что они не изберут в цари Комнина. Но было поздно: народ и сенаторы, недовольные Стратиотиком,[5] собрались в храме Св. Софии и избрали императором Комнина. Так как действие было насильственное, направлено против царствующего государя, то понадобилось усилить авторитет выбора, и к избирателям присоединилась Церковь в лице ее представителей.[6] Хотя Комнин был

[1] *Cedr.*, II, 605: ὅσοι τῶν συγκλητικῶν προσκεκρουκότες ἦσαν τῷ βασιλεῖ.

[2] *Zonar.*, IV, 181: ἥ τε βασιληκὴ δορυφορία προσερρύη αὐτίκα καὶ τῆς γερουσίας τὸ ἔκκριτον, καὶ αὐτοκράτωρ πρὸς πάντων ἀνερρήθη, ὡς αὐτῇ κατὰ κλῆρον τῆς ἀρχῆς προσηκούσης (вокруг нее собралась царская стража и виднейшие синклитики, и все провозгласили ее императрицей, ибо власть ей полагалась по наследству); *Psell.*, IV, 199.

[3] *Cedr.*, II, 614: τοὺς λογάδας τῆς συγκλήτου εἰς βαθμοὺς ἀξιωμάτων ὑψηλοτέρους ἀνήγαγε, καὶ τὸν δῆμον ὑποσχέσεσιν ὑπεποιεῖτο πολλῶν ἀγαθῶν (знатнейшим синклитикам он пожаловал более высокие титулы, а народ располагал к себе обещаниями многих благ); *Attal.*, 53; *Cedr.*, II, 612; *Psell.*, IV, 209–210 (*Zon.*, IV, 183).

[4] *Cedr.*, II, 632: τῶν πολιτῶν εὔνοιαν ἐπισπάσοι ῥθεν καὶ τούτους περιεῖπε καὶ δώροις συνεῖχε καὶ φιλοτιμασιν (дабы снискать расположение горожан, он окружал их заботой и привязывал к себе дарами и щедротами). 634: συνέσφιγγε εἰς αὐτὸν τῶν πολιτῶν εὔνοιαν καὶ δωρεαῖς καὶ χρήμασι καὶ ἀξιωμάτων ὑπεροχαῖς... ἕκαστον τῶν συγκλητικῶν ἠνάγκαζεν ὑπογράφειν (он добивался расположения горожан, жаловал дары, деньги, высокие должности... вынуждал каждого из синклитиков дать подписку).

[5] *Cedr.*, II, 635: ἄλλο πλῆθος... καὶ τῶν συγκλητικῶν πλῆθος, ὅσοι μὴ ἱκανῶς παρὰ τοῦ βασιλέως ἐθεραπεύθησαν (многие другие... а также те синклитики, которые получили недостаточно внимания царя).

[6] См. выше, с. 199–201.

избран по воле народа, однако же он иначе смотрел на добытую власть, полагал, что обязан престолом единственно своему мечу и храбрым сподвижникам. Поэтому он наградил последних, но нет указаний, чтобы он наградил также сенаторов повышением в чинах и народ раздачей подарков. Окончательное возведение на престол Константина Дуки решено было сенатором Пселлом в согласии с другими;[1] народ при этом акте не присутствовал. Но тотчас после избрания созваны были не только сенаторы,[2] но также городские ремесленные корпорации и вообще народ,[3] Дука держал перед собранием речь, в которой излагал программу своего царствования, обещал быть гуманным, милосердным и справедливым, а затем последовали обычные благодеяния, причем не забыты были ни сенаторы, ни горожане.[4] Константин Дука сделал при этом нововведение: прежде народ собирался вне дворца и получал подарки, во дворец же допускались только сенаторы, удостаивавшиеся чинов; Дука устранил такое разделение, всех призвал во дворец и наградил чинами не только сенаторов, но и ремесленников; историк ставит ему это в заслугу, находя, что он содействовал сближению горожан с сенатом.[5] Выход Евдокии замуж по смерти Константина Дуки в принципе решен был при участии сената и патриарха.[6] О Романе Диогене не сохранилось известий, что он выполнил древний обычай царских благодеяний при восшествии на престол,

---

[1] *Psell.*, IV, 263: αὐτὸς... τῶν πάντων μοι παραχορούντων.

[2] *Psell.*, IV, 264: τὴν γερουσίαν εἰσκαλεσάμενος.

[3] *Attal.*, 70: συνήθροισε τὰ σωματεῖα τῆς πόλεως; *Scyl.*, 651: ἐδημηγόρησε πρὸς τὴν σύγκλητον καὶ πρὸς ἅπαν τὸ δημοτικόν τε τῆς πόλεως καὶ κοινόν.

[4] *Attal.*, 71: ἦσαν οἱ τιμηθέντες πολλοὶ τῶν τε τῆς ἀγορᾶς καὶ τῆς συγκλήτου βουλῆς. *Scyl.*, 651: ἐτίμησε δὲ τῶν τε τῆς συγκλήτου καὶ τοῦ δήμου πολλούς (*Zon.*, IV, 197; *Glyc.*, 604; *Ephr.*, 142).

[5] *Psell.*, IV, 265: οὐδὲ τῶν βαναύσων οὐδένα· αἴρει γὰρ καὶ τούτοις τοὺς τῶν ἀξιωμάτων βαθμοὺς, καὶ διῃρημένου τέως τοῦ πολιτικοῦ γένους καὶ τοῦ συγκλητικοῦ, αὐτὸς ἀφαιρεῖ τὸ μεσότοιχον καὶ συνάπτει τὸ διεστὼς (...ни даже ремесленников. Для них открыл он чиновную лестницу, и если раньше гражданское сословие и синклитики были разъединены, то он разрушил разделявшую их стену, сочетал расщепленное. — *Пер. Я. Н. Любарского*). Свидетельство *Скилицы* (*Cedr.*, II, 634), что и Стратиотик удостаивал горожан чинов, ввиду свидетельства Пселла, может быть принимаемо в смысле раздачи чинов значительнейшим горожанам, но не ремесленникам.

[6] *Attal.*, 100: ἐσκέπτετο ἡ Αὐγοῦστα καὶ ὅσοι τῆς πρώτης ἦσαν βουλῆς, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ ὁ πατριάρχης (решение принимала Августа, первые из синклитиков, а с ними и патриарх); *Guil. Apul.*, 265.

и это нельзя не отнести к числу причин ослабления верноподданнических к нему чувств. Возведению на престол Михаила Парапинака содействовала охранная царская стража.[1] По вступлении на престол он привлек на свою сторону сенаторов, наградив их чинами, и, по обычаю, держал к народу речь, в которой указывал, что получил царство как отцовское наследие, милостью Божией, и давал разные обещания.[2] О неблагоприятном обороте дел вследствие столкновения с Урселем сообщено было всему народу,[3] после чего собраны во дворце сенаторы и горожане и Парапинак держал перед ними с царского трона речь по поводу дурных вестей.[4] Когда против Парапинака поднялось возмущение на Западе и Востоке, он обратился с воззванием к народу и давал обещания.[5] То же делали восставшие против него претенденты: Вриенний не раз посылал хрисовулы, наполненные обещаниями сановникам и гражданам столицы,[6] Вотаниат не уступал ему, тоже подсылал лазутчиков, которые приносили хрисовулы с обещаниями даров и почестей.[7] Конкуренция двух претендентов закончилась тем, что Вотаниат, как вступивший на престол тиранически, был избран в императоры усиленным представительством народа, т. е. не только сенаторами и простым народом, но также синодом.[8] Вотаниат по вступлении на престол отблагодарил за это подарками (деньгами и недвижимостью), возведением в чины и назначением на должности,[9] а молва скоро разнесла по Империи, что он избран сенатом, синодом и народом.[10] Когда обнаружился замысел Комнинов после их бегства

---

[1] *Psell.*, IV, 281: τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν φύλακας οἰκειοῦται (...привлекает на свою сторону дворцовую стражу).

[2] *Attal.*, 169: τοὺς μὲν τῆς συγκλήτου βουλῆς οἰκειώσασθαι καὶ τιμᾶν αὐτοὺς προκατάρξασθαι, πρὸς δὲ τοὺς τῆς ἀγορᾶς τὰ συνήθη δημηγορῆσαι καῖ ὡς τὴν πατρῴαν βασιλείαν ψήφῳ θεοῦ εἰς ἑαυτὸν ἀνεκτήσατο, καὶ ὑποσχέσεσι φιλανθρώποις ἐυέλπιδας τούτους ποιήσασθαι.

[3] *Attal.*, 186: τῷ δήμῳ παντί.

[4] *Attal.*, 187: «ἄνδρες πολῖται καὶ ὅσοι τῆς συγκλήτου βουλῆς» (граждане и члены синклита) (начало речи).

[5] *Attal.*, 256–257.

[6] *Bryenn.*, 114; *Attal.*, 257.

[7] *Bryenn.*, 118, 120.

[8] *Attal.*, 270: μετὰ τῆς συνόδου συγκροτοῦσιν οἱ τῆς συγκλήτου λογάδες... πᾶς ὁ κλῆρος συννεύει, καὶ ὅσοι τῆς ἀγορᾶς (его приветствуют избранные синклитики и синод... его принимает и народ, и всякое сословие) (*Scyl.*, 733).

[9] *Attal.*, 274.

[10] *Attal.*, 298: παρὰ πάσης τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τῆς συνόδου καὶ τῶν δημοτικῶν.

из столицы, Вотаниат собрал сенат,[1] сообщил о деле и искал поддержки. Восшествие на престол Алексея Комнина, достигнутое путем военного насилия, не сопровождалось ни согласием сената и народа, ни благодеяниями тому или другому, напротив, у сенаторов отнято и то, что им прежде было дано.[2]

Кроме ограничений, связанных с недостатком системы престолонаследия, византийские императоры были еще ограничены в своих действиях обрядностью, придворным этикетом и церемониями. Исполнять положенные по церемониалу обряды, не выходить из рамок традиционных форм жизни считалость непременной обязанностью императора и ничто не освобождало византийского монарха от этой обязанности. Роман III Аргир, невзирая на ужасные физические страдания, не выпускал ни одного слова в церемониях.[3] Михаил IV в период усиленных припадков падучей болезни должен был выполнять все следовавшее по чину и утешаться лишь сознанием, что благодаря принятым предосторожностям в критический момент он будет скрыт от посторонних глаз.[4] Для Константина Мономаха в разгар подагры при всем отвращении к труду, требовавшемуся для выполнения церемоний, последние были однако же неизбежны; все снисхождение состояло лишь в том, что на аудиенциях его прилаживали так, чтобы по возможности страдания были менее чувствительны, а на великих выходах в церковь с особенным искусством усаживали на седле, высокие и сильные конюшие поддерживали его с обеих сторон и лошадь вели тихим шагом, причем, дабы она не поскользнулась, снимаемы были камни с мостовой.[5] Тщательное выполнение церемоний со стороны императоров вменялось им в добродетель; историк указывает как на признак особого благочестия Вотаниата на то, что он прославлял Господские и другие праздники действиями, положенными по церемониалу.[6] Большая заботливость о церемониях иногда имела роковое значение: у Торника столица была почти в руках, но он отложил въезд не только потому, что щадил своих приверженцев, но, между прочим, и потому, что хотел въехать в сопровождении свеченосцев, с императорской пышностью,[7] между тем обстоятельства переменились и промедление погубило дело.

---

[1] *Anna*, 101: τὴν σύγκλητον.
[2] *Zon.*, IV, 236.
[3] *Psell.*, IV, 45.
[4] *Psell.*, IV, 57 (*Zon.*, IV, 143).
[5] *Psell.*, IV, 164.
[6] *Attal.*, 319.
[7] *Psell.*, IV, 158.

Благоговение перед церемониями обусловливалось тем, что, по представлению византийцев, они имели священное значение; церемония была своего рода тайнодействием (μυστήριον),[1] по характеру и составу напоминавшим церковные чинопоследования. Было бы односторонне считать византийские церемонии продуктом одного христианства, точно так же как односторонне производить их из персидского ритуала на том основании, что церемониальные возгласы и славословия византийцев имеют аналогию с торжественными молениями и воззваниями к Ормузду и Ариману.[2] Тем не менее христианское влияние отразилось на них неоспоримым образом, хотя рядом с этим влиянием нельзя не заметить влияний староримских, языческих и восточных — персидских. Под таким совокупным влиянием выработана была, между прочим, обстановка для императоров. Языческий Рим оставил в наследство Риму христианскому культ императоров, который был обставлен внешними приемами, заимствованными от персов. Культ был смягчен и видоизменен под влиянием христианских идей. Христианство, в лице Тертуллиана и др., восставало против него до тех пор, пока он выражался в апофеозе императоров. Но как скоро решено было, что культ есть только способ почтения верховной власти, отцы Церкви не могли против него возражать и христианами допущен был взгляд, что император есть человек, «стоящий непосредственно за Богом, который получил от Бога то, чем владеет, и который ниже одного Бога».[3] При таком взгляде естественно произошло так, что на императора перенесена была известная степень божественного величия, выразившаяся во внешних формах и наименованиях, остатки которых замечаются и в XI веке.

К императору прилагаются эпитеты, указывающие на его святость и божественность. Пселл в панегириках и письмах, в том числе и к частным лицам, называет императора святым,[4] божественным,[5] Мономаха величает солнцем,[6] сыном Божиим,[7] его слова — божественными глаго-

---

[1] *Psell.*, IV, 79.

[2] *Krause*. Byzantiner d. Mittelalters, 122.

[3] *Boissier G.* Études des moeurs romains sous l'empire. Revue des deux mondes, 1871. T. XCIII, 86.

[4] *Psell.*, V, 372: ἁγίου ἡμῶν βασιλέως (...нашего святого императора...); 169: πρὸς τὴν ἁγίαν δέσποιναν (...святой нашей владычице). То же — *Иоанн Евхаитский*: δέσποτά μου ἅγιε, θεοδόξαστε καὶ θεόστεπτε... ἁγιώτατας δεσποίνας καὶ βασιλίσσας ἡμῶν (святой мой владыка, богопрославленный и боговенчанный... святых владычиц наших и цариц). *De-Lagarde*, 68.

[5] *Psell.*, V, 433: θείῳ αὐτοκράτορι.

[6] *Psell.*, V, 106: ἥλιε.

[7] *Psell.*, V, 110: τοῦ θεοῦ παῖδα.

лами.[1] Эпитет святости усвояется императору не только придворными льстецами, но и лицами, не имеющими отношения ко двору, в отдаленных от столицы местах.[2] Императору отдавалось почитание богоравное (ἰσόθεος),[3] выражавшееся в поклонении (προσκύνησις) и в славословиях (εὐφήμιαι); первой заботой придворных, низложивших Диогена после его пленения турками, было разослать грамоты, повелевавшие не воздавать ему такого почитания.[4] Поклонение состояло в наклонении головы до самой земли и целовании руки,[5] славословия заключались в многолетиях, к которым присовокуплялись хвалебные эпитеты; в этих славословиях даже в XI в., по свидетельству папы Льва IX, удерживалась отчасти латинская терминология.[6]

Поклонение и славословие принадлежали императору с момента его облачения в императорские одежды и провозглашения (ἀνάρρησις). Самой важной из царских одежд были багряные туфли.[7] О том, чтобы облечься в них, более всего заботились[8] и никогда с ними не расставались, так что по пурпуровым туфлям можно было отличить императора в массе лиц. Во время похода против сарацин Роман III был узнан его солдатами, обратившимися в бегство, только по туфлям.[9] Отнятие или отдача туфлей было главным признаком лишения или сложения императором власти, как показывает история Стратиотика,[10] или Алексея Комнина, который, овладев Вриеннием, вместо всяких донесений послал императору Вотаниату пурпуровые туфли претендента, унизанные жемчугом и каменьями.[11] Кроме того, император облачался в цветные златотканные платья

---

[1] *Psell.*, V, 350: τὰ τοῦ θεοῦ ῥήματα; 138: θείων θεσπισμάτων (божественные предначертания).

[2] *Annal. Bar.*, 56: et reversi Bari, ad laudem dedit *sancto* imperatori Constantino Monomacho (вернувшись в Бари, он возблагодарил святого императора Константина Мономаха); Reg. Neap. arch. monum. Vol. IV, 218: domino Romano Diagenio *sanctissimo* (святейшему господину Роману Диогену); Vol. V, 10: imperii domini Constantini *sanctissimi* imperatoris nostri... (господина Константина, святейшего императора нашего).

[3] *Attal.*, 175 (*Scyl.*, 704).

[4] *Attal.*, 168 (*Scyl.*, 702).

[5] *Psell.*, IV, 49, 210.

[6] PG, CXLIII, 761.

[7] *Attal.*, 247: ἐρυθρὰ καὶ **βασιλέα πέδιλα**.

[8] *Psell.*, IV, 274.

[9] *Psell.*, IV, 35.

[10] См. выше, с. 200.

[11] *Bryenn.*, 146.

из пурпура, виссона и жемчуга,[1] на голове имел венец,[2] на шее цепь из драгоценных камней,[3] в руке скипетр.[4] Все это были царские инсигнии.[5] Провозглашение обыкновенно происходило в золотом зале — хрисотриклине,[6] который вообще служил для торжественных выходов и где стоял серебряный царский трон,[7] отделенный от пространства, предназначенного для публики, завесой,[8] которая, когда нужно было, поднималась и опускалась. О том, как совершалось провозглашение, можно судить по примеру Михаила Пафлагона. Зоя одела его в златотканную одежду, на голову возложила венец, посадила его на трон, сама села около него в подобной же одежде и всем придворным приказала поклоняться и славословить (προσκυνεῖν τε καὶ εὐφημεῖν) сообща себя и Михаила, что и было сделано. Приказание передано было также находившимся вне дворца, и весь город присоединился к славословию. Затем через эпарха города разослана была повестка сенаторам явиться во дворец для поклонения новому императору. Собравшиеся сенаторы по одиночке подходили к сидевшим на троне царю и царице, кланялись до земли, относительно императрицы ограничивались одним поклоном, а у императора целовали еще правую руку. После того Михаил был βασιλεὺς αὐτοκράτωρ ἀναρρηθείς (был провозглашен самодержавным императором).[9] Таким же образом был провозглашен Константин Дука, с тем лишь различием, что на трон его посадил и пурпуровую обувь ему надел Пселл и на троне Дука сидел один, все остальное было по обычаю — точно так же поодиночке подходили, покланялись и славословили.[10]

Каждый шаг императора обставлен был церемониями: отправлялся ли он на войну, возвращался ли с похода, шел ли в театр, — все совершалось

---

[1] *Psell.*, IV, 45: στολαῖς χρυσοπάστοις; *Attal.*, 215: χλαμύδα καὶ βύσσον καὶ ἀλουργίδα; 247: τὴν ἀλουργίδα; *Man.*, 285.

[2] *Psell.*, IV, 49; IV, 306 etc.; *Zon.*, IV, 123, 136; *Cedr.*, II, 475: στεφάνη, διαδήμα, τιάρα, τούφα. Последнее название — простонародное — произошло. по догадке Зонары, оттого, что венец, закрывая уши, делает человека глухим — τετυφῶσθαι.

[3] *Psell.*, V, 306: στρεπτὸς λιθοκόλλητος.

[4] *Psell.*, IV, 39: σκήπτροις κατακοσμήσας.

[5] *Attal.*, 247: τὰ τῆς βασιλείας παράσημα.

[6] *Attal.*, 142, 169; *Cedr.*, II, 505.

[7] *Psell.*, IV, 49: πολυτελοῦς θρόνου; *Manass.*, 285: θρόνων ἀργυροήλων; *Zon.*, IV, 136: τῷ θρόνῳ... ἐπὶ θώκου βασιλικοῦ.

[8] *Psell.*, IV, 264; *Attal.*, 71: παραπετάσμα.

[9] *Psell.*, IV, 49 (*Zon.*, IV, 136).

[10] *Psell.*, IV, 264.

с соблюдением известных обрядов и в известном порядке.[1] Но самыми важными актами византийского церемониала были выходы — внутренние в хрисотриклин и наружные в Великую и другие церкви.

На внутренних высочайших выходах находили себе применение все главнейшие функции императорской власти: император, сидя на троне, окруженный почетной стражей и сенаторами, совершал те действия, совокупность которых составляла его верховную власть: принимал и отправлял послов (χρηματίζων πρέσβεσι), возводил в чины и назначал на должности (ἀρχαιρεσιάζων), производил суд и произносил решения (δίκαις ἐνθεμιστεύων καὶ ψήφους ἐκφέρων), распоряжался делами относительно податей и налогов (διαιτῶν δημοσίαις καὶ κοιναῖς ὑποθέσεσι).[2] Если император сидел на престоле вместе с супругой или сотоварищами, то он имел преимущество чести. Так, Роман III имел преимущество перед Зоей.[3] В совместном сидении Калафата и Зои первенство принадлежало последней.[4] Ей же принадлежало первенство, когда она правила вместе с Феодорой: для выражения превосходства Зоя пользовалась более почетным одеянием, и поверхность трона там, где сидела Феодора, была несколько ниже, чем там, где сидела Зоя.[5] При Мономахе Зоя сидела с одной стороны царя, Феодора с другой.[6] При Константине Дуке рядом с отцом сидел его старший сын Михаил.[7] По смерти мужа Евдокия сидела на престоле вместе с сыновьями — она посередине, сыновья по сторонам, и честь принадлежала матери.[8] Открытие и закрытие завесы сопровождалось славословиями. Обстановка этих выходов была одинакова при всех случаях, разве только при приеме послов заботились о большей торжественности, дабы через это возвысить достоинство Империи в глазах иностранцев. Если император находился вне столицы, в походе, то вся разница высочайшего выхода состояла в том, что он происходил не в хрисотриклине, а в открытой царской палатке, и когда претендент Вриенний принял Страворомана, после Вотаниата, не в палатке, по обычаю царей, но верхом на

[1] *Attal.*, 143 (*Scyl.*, 689); *Psell.*, IV, 130; V, 228.

[2] *Psell.*, IV, 200 (*Zon.*, IV, 181; *Ephr.*, 138); *Psell.*, IV, 270–271 (*Zonar.*, IV, 202); *Psell.*, V, 109–110.

[3] *Psell.*, IV, 41: τῷ βασιλεῖ τῇ βασιλίδι συγκαθημένῳ οὕτω δόξαν ἐκείνῳ (...императору, восседавшему на троне вместе с императрицей — так ему было угодно).

[4] *Psell.*, IV, 86.

[5] *Psell.*, IV, 104–105.

[6] *Psell.*, IV, 143 (*Zon.*, IV, 162).

[7] *Psell.*, IV, 267.

[8] *Psell.*, 271 (*Zon.*, IV, 202).

лошади, это возбудило негодование; историк, рассказывая об этом факте, называет его делом позорным, которого истинный царь никогда не позволил себе с послом самого последнего этнарха.[1]

Пселл сохранил для нас сведения о том, как совершались высочайшие выходы в хрисотриклине и царской палатке. Когда Зоя и Феодора, или Мономах, а еще позже Исаак Комнин, сидели на престоле, внизу по обеим сторонам, образуя полукруги, располагались сенаторы с охранной стражей: в самом близком расстоянии находились мудрейшие из советников и те, которые принимали деятельное участие в заседании; далее ликторы, меченосцы и секироносцы; их опоясывал ряд других телохранителей, с глазами вперенными в землю; затем первая степень сенаторов, за первой вторая, за второй третья, одна от другой на некотором расстоянии, в правильных рядах; сенаторы стояли неподвижно, точно приросшие к месту, с руками сложенными на груди, склоняясь корпусом вперед; говорили всего более лица, облеченные властью, и когда требовалось, с трона раздавалось окончательное решение, причем государь или сам говорил, или передавал мысль через других.[2] Сведение о выходе в открытой царской палатке касается того времени, когда Исаак Комнин, провозглашенный своими приверженцами императором, оспаривал престол у Стратиотика и Стратиотик отправил к нему посольство. Пселл, состоявший в посольстве, с любовью останавливается на подробностях приема, дорогого ему по личным воспоминаниям. К послам явились сенаторы и привели их к большой палатке. Около палатки стояло войско в строгом порядке: одни опоясаны были мечами, у других тяжеловесные мечи были повешены через плечо, третьи держали копья, все стояли полукругами, на некотором друг от друга расстоянии, хранили гробовое молчание и пристально смотрели на начальника телохранителей, помещавшегося у входа в палатку. Начальник приказал приблизившимся послам остановиться у входа, а сам вошел внутрь палатки. Через несколько времени он вышел, и вдруг, ни слова не сказав, настежь раскрыл дверь. Тут началось славословие войска: сначала[3] прокричал первый полукруг, когда он кончил, то же сделал второй, за вторым третий, и когда, таким образом, последний полукруг окончил славословие, все круги закричали вместе. Внутри палатки сидел на возвышенном, видимом для всех

[1] *Attal.*, 286 (*Scyl.*, 735).

[2] *Psell.*, IV, 105 (*Zon.*, 155), 235–236; V, 115.

[3] Таким же способом, поотрядно, славословили Никифора Вриенния его войска, осаждавшие столицу под предводительством Иоанна Вриенния в 1077 г., *Attal.*, 251.

троне[1] царь, походный стул был у него под ногами, одет он был в блестящую одежду. Около царя составлено было много концентрических полукругов: полукруг, находившийся ближе всех к царю, был меньше остальных — он состоял из отборных по рождению и доблестям людей, принадлежавших к первой степени; за этим первым полукругом следовал второй, состоявший из сподвижников первого, принадлежавших к войску; за ним стоял полукруг из людей неопоясанных; затем иноплеменные союзники — италы и тавроскифы, с секирами на плечах и копьями. По знаку царя послы вошли и заняли место между первым и вторым полукругами. Один из приближенных обратился к ним и потребовал показать грамоту и изложить на словах то, что им поручено. Началась беседа и обмен мыслей, в котором принимали участие лица, приближенные к Комнину, а остальные шумом и восклицаниями выражали свое впечатление. Когда все было высказано, Комнин поднялся с престола и распустил собрание, а послов оставил при себе для секретной беседы.[2]

Наружные высочайшие выходы происходили по воскресным и праздничным дням[3] — в ту или другую церковь. Царь отправлялся или пешком, если церковь была недалеко, например, храм Св. Софии, храм Спасителя в Халке, или верхом на лошади, если церковь находилась в отдалении, например, храм св. Апостолов, св. 40 мучеников и др. О выходах наперед объявлялось во всеобщее сведение. Шествие совершалось по церемониалу, в известном порядке, в сопровождении телохранителей и сенаторов, со славословиями и пеанами. Император был одет в парадные одежды, чрезвычайно тяжелые, в которых выстоять всю церковную службу было делом далеко не легким. Оттого существовал обычай, что после прочтения Евангелия императоры оставляли свое место в церкви и уходили отдохнуть от тяжести камней и разных драгоценностей, нанизанных и вотканных в их инсигнии. Историк не упускает случая отметить в Вотаниате черту, которой он отличался от предшественников, состоявшую в том, что он не предпочитал свой отдых и комфорт божественному священнодействию, не стремился освободиться от безмерной тяжести одежд, но выстаивал до конца литургии.[4] На зрелище великого царского выхода собирался смотреть весь город и, пользуясь этим случаем, народ по временам не ограничивался принятыми славословиями

[1] ἐπ᾽ ἀμφικεφάλου θρόνου.

[2] *Psell.*, IV, 220–226.

[3] В обыкновенные дни царь слушал утреню и литургию в своей придворной церкви.

[4] *Attal.*, 320.

и песнопениями, но высказывал иными способами знаки особого своего расположения и неприязни. Вспомним великие выходы Калафата на Пасху и в Фомино воскресенье 1042 г., первый раз пешком в церковь Св. Софии, а второй верхом в храм св. Апостолов, и выход Мономаха в храм Спасителя в Халке, 9 марта 1044 г.[1]

С торжественными императорскими выходами тесно связана была чиновная иерархия, так как производство в чины приурочивалось к великим выходам не только внутренним, но и наружным.[2] Византийская табель о рангах получила в XI в. некоторые новые особенности, сравнительно с предшествующим временем: о некоторых чинах совершенно не упоминается, другие изменили свой характер и место в иерархической лестнице, некоторые должности получили титулярное значение и превратились в чины. Чиновная лестница в XI в. имела следующий вид:

1) **Кесарь**. Ему принадлежало первое после царя место,[3] и блеск царского достоинства отражался на нем в присвоенных ему внешних преимуществах. Возведение в кесари соединено было с церемонией, понятие о которой можно получить из примера Михаила Калафата. Когда Михаил Пафлагон с Зоей решились — первый возвести Калафата в кесари, а вторая усыновить, — назначен был день и по повесткам собрались во Влахернский храм сенаторы и сановники. В их присутствии сначала Зоя нарекла Калафата своим сыном и обняла; затем император отдал ему честь как сыну царицы и возвел в достоинство кесаря. Присутствующие произнесли славословие.[4] Затем над кесарем прочитано и совершено было то, что в этом случае полагалось по чину, и собрание разошлось.[5] Таким образом кесарю, как и царю, присвоено было славословие,[6] только в низшей степени. При возведении в кесари полагался обряд, читались молитвы и совершались действия, под которыми следует понимать вручение внешних атрибутов, соединенных с достоинством кесаря. Его короновали головным украшением, похожим на венец.[7] Для кесаря раскидывалась царская палатка и при нем была почетная стража.[8] Усыновление не

---

[1] См. выше, с. 162, 178.

[2] О производстве Романа Диогена Евдокией см. выше, с. 221.

[3] *Psell.*, IV, 257.

[4] В тексте *Пселла* (IV, 61) испорченное ἐπεφήμησαν издатель **поправляет**: ἐπεφήμισαν. Но нужно поправить: ἐπευφήμησαν. Ср.: *Zon.*, IV, 144.

[5] *Psell.*, IV, 60–61 (*Zon.*, IV, 144).

[6] Он приобщался к божественной славе императора, вследствие **чего о нем** говорилось как о божественном: περὶ τοῦ θείου τοῦ καίσαρος. *Psell.*, **IV, 292.**

[7] στέμματι ἀλλ' οὐ στεφάνῃ. *Psell.*, IV, 227.

[8] *Psell.*, IV, 61, 227.

составляло чего-нибудь неразрывно связанного с достоинствами кесаря. То и другое соединялись лишь тогда, когда возведенный в кесари становился вместе с тем наследником престола. В этом случае слышался отзвук того искусственного порядка престолонаследия, который установлен был некогда Диоклетианом и по которому кесарь, занимавший потом место августа, непременно был усыновляем этим последним, — оттого усыновлен был Зоей Калафат, оттого возмутившемуся Исааку Комнину предложено было Стратиотиком,[1] а Никифору Вриеннию Вотаниатом[2] не только достоинство кесаря, но и усыновление. Этим самым кесарю открывался путь к престолу, как родному императорскому сыну.[3] Но с достоинством кесаря, без усыновления, не соединялось никаких прав на престол. Достоинство было лишь высшим почетным титулом, который давался брату императора, а если брата не было, то кому-нибудь из дальнейших царских родственников, как показывают примеры из времени Михаила Пафлагона и Константина Дуки: Иоанн Орфанотроф, убеждая Михаила Пафлагона возвести в достоинство кесаря Калафата, говорил, что если бы брат их не умер, то достоинство принадлежало бы ему, но поскольку он умер, то принадлежит племяннику;[4] Константин Дука, взойдя на престол, возвел в кесари своего брата Иоанна, который оставался в этом звании при Диогене и Парапинаке.[5] Если у императора не оказывалось родственников, то достоинством кесаря могло быть почтено лицо постороннее.[6] Исаак Комнин, будучи претендентом, почтил этим достоинством постороннего человека (Константина Дуку), вместо того чтобы почтить родного брата; но, по-видимому, поступок его считался неправильным.[7] По старинной традиции,[8] в XI в. с достоинством кесаря соединялось еще представление о командовании войском. Константин Дука вместе с возведением в кесари получил от Исаака Комнина начальство над войском;[9] Иоанна Дуку-кесаря тоже видим во главе войска и при

---

[1] *Psell.*, IV, 224, 225.

[2] *Bryenn.*, 132.

[3] *Psell.*, IV, 225: γηροκομήσων **τὸν πατέρα**, ἵνα **ἐννόμως τοῦ σκήπτρου** κληρονομήσῃς (окажи уважение старому **отцу** своему — и **получишь** скипетр **по** закону. — *Пер. Я. Н. Любарского*).

[4] *Psell.*, IV, 60.

[5] *Psell.*, IV, 269, 278; *Attal.*, 74, 184 (*Scyl.*, 709).

[6] *Bryenn.*, 101.

[7] *Psell.*, IV, 257.

[8] *Const. Porphyr.*, II, 264 (*Reiskii* comment.).

[9] *Psell.*, IV, 257.

Константине Дуке,[1] и при Михаиле Парапинаке.[2] Но кесарь, отражавший на себе императорскую славу, не имел прерогатив верховной власти, как-то: права производить в чины, назначать на должности и т. д. Стратиотик, допуская Комнина к соучастию в управлении, предоставляя ему право раздавать низшие чины и замещать некоторые должности, тут же счел нужным оговориться, что это не составляет принадлежности кесарского достоинства.[3]

2) **Севаст**. В наш период только два лица имели этот чин: Алексей Комнин, получивший его от Вотаниата после победы над Вриеннием,[4] и брат его, Исаак Комнин, награжденный чином севаста после того, как он подарил Вотаниату дорогие сирийские ткани.[5]

3) **Новеллисим**. И этот чин имели только два лица: дядя Михаила Калафата, Константин,[6] и Алексей Комнин, носивший чин новеллисима до производства его в севасты.[7]

4) **Куропалат**. Этим словом прежде обозначалась важная придворная должность,[8] но с течением времени должность превратилась в чин и в XI в. нет ясных указаний, чтобы слово понималось иначе.[9] По сомнительному свидетельству армянского историка,[10] этот чин предлагаем был Стратиотиком Комнину. В него произведены были: Исааком Комнином брат его, Иоанн Комнин, и главнейший сподвижник Катакалон Кекавмен,[11] Диогеном — Мануил Комнин.[12] При Михаиле Парапинаке носил чин куропалата Никифор Вотаниат,[13] а Никифор Вриенний, будучи провозглашен

---

[1] *Attal.*, 74.

[2] *Psell.*, IV, 292; *Attal.*, 184 (*Scyl.*, 709).

[3] *Psell.*, IV, 227 (*Zon.*, IV, 189).

[4] *Attal.*, 299 (*Scyl.*, 740). Ср.: *Bryenn.*, 156.

[5] *Bryenn.*, 157. По свидетельству *Михаила Сирийского* (294), чин севаста дан был также армянину Филарету Вахраму, но греческие историки об этом умалчивают.

[6] *Psell.*, IV, 80; *Cedr.*, II, 535.

[7] *Attal.*, 288 (*Scyl.*, 736; *Zon.*, IV, 228; *Glyc.*, 616). Кроме того, этот чин предлагаем был Вотаниатом Василакию, которого он хотел побудить прекратить восстание. *Attal.*, 298 (*Scyl.*, 739).

[8] *Cedr.*, II, 804, 913 (comment. *Xyl.*, *Goar.*, *Fabr.*).

[9] То обстоятельство, что Кекавмен был послан Комнином занять дворец (*Cedr.*, II, 537 (*Zon.*, IV, 191)), может и не иметь связи с его чином куропалата.

[10] *Arisd.*, 118. Ср. выше, с. 196, прим. 1.

[11] *Scyl.*, 642 (*Zon.*, IV, 192); *Cedr.*, II, 637 (*Zon.*, IV, 191).

[12] *Attal.*, 138 (*Scyl.*, 685; *Zon.*, IV, 210; *Glyc.*, 609).

[13] *Attal.*, 185 (*Scyl.*, 709), 213.

императором, почтил им брата своего, Иоанна Вриенния.[1] Чин куропалата давался также иностранным владетельным особам, как-то: грузинским царям — Давиду,[2] Баграту,[3] Георгию,[4] князю грузинскому Липариту[5] и армянскому — Филарету Вахраму.[6] Этим чином византийское правительство хотело прельстить и Урселя, в надежде побудить его прекратить войну.[7] С титулом куропалата соединены были некоторые внешние отличия, в том числе окраска колесниц в зеленый цвет.[8] То обстоятельство, что титул давался братьям византийских царей и иностранным коронованным лицам, свидетельствует об его значении. На нашем языке он будет соответствовать титулу высочества, с тем лишь различием, что наш один титул у византийцев XI в. имел четыре степени (кесарь, севаст, новеллисим и куропалат) и последняя, низшая степень была куропалата.

5) **Протопроедр**. Чин этот носили: Константин Лихуд при Исааке Комнине,[9] Мануил Комнин до возведения Диогеном в куропалаты,[10] Андроник и Константин, сыновья кесаря Иоанна Дуки,[11] Василакий[12] и Иосиф Тарханиот при Парапинаке,[13] племянник патриарха Керуллария Константин.[14] Дан был также чин дожу Венеции Доминику Сильвио.[15] Замечательно, что в трех местах Скилица, пользующийся Атталиотом, ставил титул «проедра»[16] там, где у Атталиота поставлен «протопроедр». Это показывает, что в умах историков, близких к рассматриваемому времени, чины протопроедра и проедра не всегда различались, вероятно, потому, что они были новы по происхождению. О первом можем предполагать, что введен при Исааке Комнине, время же установления второго известно в точности.

---

[1] *Attal.*, 250: *Bryenn.*, 114.
[2] *Cedr.*, II, 447.
[3] *Cedr.*, II, 489; Chron. Armén., 54.
[4] Chron. Armén., 55.
[5] Chron. Armén., 55.
[6] *Attal.*, 301 (*Scyl.*, 741).
[7] *Attal.*, 187 (*Scyl.*, 710).
[8] *Attal.*, 225 (*Scyl.*. 730).
[9] *Georg.*, 883.
[10] *Attal.*, 138 (*Scyl.*, 685; *Zon.*, IV, 210; *Glyc.*, 609).
[11] *Attal.*, 173, 169.
[12] *Attal.*, 297.
[13] *Bryenn.*, 96.
[14] *Psell.*, V, 219, 467.
[15] *Dandolo*, 247.
[16] *Scyl.*, 702, 703, 727 (*Zon.*, IV, 217, 218); *Attal.*, 169, 173, 297.

6) **Проедр**. Этот чин, по словам Зонары,[1] явился при Никифоре Фоке и первый был возведен в него Фокой паракимомен Василий. В наш период упоминаются следующие проедры: евнухи Николай, Никифор и Симеон при Константине VIII,[2] евнух Феодор при Феодоре,[3] Роман Склир при Мономахе и Стратиотике,[4] Феодосий Мономах,[5] Константин Лихуд и Феодор Алопос, послы Стратиотика к Комнину,[6] Михаил Пселл, тоже посол, чин, вероятно, получивший при Комнине,[7] Константин Дука перед возведением на престол,[8] претор Ксир,[9] Павел Катепан,[10] Феодор Алиат, приверженец Романа Диогена,[11] Алексей Комнин при Парапинаке,[12] Константин Хиросфакт и Михаил Атталиот при Вотаниате.[13] Диоген возвел в чин проедра турка Хризоскула, победителя Мануила Комнина.[14]

7) **Магистр**. Это слово, некогда обозначавшее должность, гражданскую или военную,[15] в XI в. имело титулярное значение. Чин магистра имел при Константине VIII Прусиан Болгарин.[16] В этот чин возведены были при Михаиле Пафлагоне: Алусиан за услугу, оказанную грекам в борьбе с болгарами,[17] и племянник царя Константин;[18] при Калафате Георгий Маниак;[19] при Мономахе: Роман Склир,[20] итал Аргир по при-

---

[1] *Zon.*, IV, 91. До тех пор это был не чин, а звание, соответствовавшее древнему princeps senatus. *Constant. Porphyr.*, II, 465.

[2] *Cedr.*, II, 480.

[3] *Psell.*, IV, 216.

[4] *Cedr.*, II, 622; PG, CXX, 789.

[5] *Cedr.*, II, 612.

[6] *Cedr.*, II, 632.

[7] *Psell.*, V, 423.

[8] *Attal.*, 69 (*Scyl.*, 648).

[9] *Psell.*, V, 279, 283.

[10] *Attal.*, 168.

[11] *Attal.*, 171.

[12] *Attal.*, 199 (*Scyl.*, 713).

[13] *Bryenn.*, 130; *Sathas*. Bibl. gr., I, 44.

[14] *Attal.*, 142 (*Scyl.*, 688; *Zon.*, IV, 211).

[15] Magister officiorum (канцлер), magister larum (в ведении praepositi sacri cubiculi), magister equitum, magister peditum. Ср.: *Ducange* ad Alexiad., *Reiskii* ad *Const. Porph.*, II, 66, 861; *Fabroti* ad *Cedr.*, II, 918–919.

[16] *Cedr.*, II, 483.

[17] *Cedr.*, II, 533.

[18] *Arisdag.*, 48.

[19] *Cedr.*, II, 541.

[20] *Cedr.*, II, 547.

бытии в Византию,[1] Михаил Ясит.[2] Упоминаются магистры при Мономахе: Василий Феодорокан,[3] Константин Аррианит,[4] Иоанн, заведовавший прошениями,[5] Константин Алан;[6] при Стратиотике: Никифор Вотаниат,[7] Михаил, сын Анастасия, Исаак Комнин и Катакалон Кекавмен.[8] Последние два просили Стратиотика повысить их в следующий чин проедра, но просьба не была уважена. Евдокия возвела в магистры Романа Диогена,[9] Диоген — Петра Ливеллия, укрепившего Иераполь.[10] При Романе Диогене в чине магистра состояли: Никифор Вриенний,[11] Василакий,[12] Евстратий Хиросфакт.[13] Носили еще этот чин: Константин Керулларий,[14] Епифаний Филарет (современник Пселла),[15] *Михаил Атталиот до возведения в проедры.*[16] *Чин давался* также иностранным князьям. При Романе III он дан был Димитрию, сыну Георгия-абасга и Алды-аланки,[17] при Михаиле Пафлагоне эмиру Сицилии Абулафару Мохамеду, заключившему мир с Византией,[18] при Константине Мономахе Какигу после уступки им Ания,[19] при Константине Дуке венецианскому дожу Доминику Контарено.[20] Просил Стратиотика дать ему чин магистра и норманн Эрве, но получил отказ.[21]

---

[1] *Cedr.*, II, 563; *Guil. Apul.*, 254.
[2] *Cedr.*, II, 565.
[3] *Attal.*, 21; *Cedr.*, II, 552; *Lup. Prot.*, 58.
[4] *Attal.*, 34; *Cedr.*, II, 601.
[5] PG, CXX, 745.
[6] *Cedr.*, II, 559.
[7] *Attal.*, 56.
[8] *Cedr.*, II, 634, 615–616.
[9] *Attal.*, 100 (*Scyl.*, 665).
[10] *Attal.*, 111 (*Scyl.*, 673).
[11] *Attal.*, 154.
[12] *Attal.*, 155 (*Scyl.*, 694).
[13] *Attal.*, 167 (*Scyl.*, 701).
[14] *Psell.*, V, 277.
[15] *Psell.*, V, 213.
[16] *Sathas.* Bibl. gr., I, 59.
[17] *Cedr.*, II, 503.
[18] *Cedr.*, II, 514.
[19] *Cedr.*, II, 559.
[20] *Dandolo*, 246.
[21] *Cedr.*, II, 617.

8) **Вестарх**. Этот чин, происхождение которого ученые производят от армян или грузин,[1] но который скорее от греков перешел к грузинам и армянам, носили при Мономахе: Михаил Пселл,[2] Михаил Докиан,[3] Михаил Ясит (до возведения в магистры);[4] при Стратиотике Михаил Вурца;[5] в начале царствования Комнина Константин Дука;[6] при Константине Дуке Роман Диоген;[7] при Михаиле Парапинаке Нестор.[8]

9) **Вест**. Этот чин имели при Мономахе: Пселл до возведения в вестархи,[9] Лев Торник,[10] Аргир до прибытия в Византию,[11] Михаил Ясит до возведения в вестархи,[12] Катакалон Кекавмен,[13] Аарон,[14] Иоанн II, герцог Амальфи.[15]

10) **Антипат**. В этот чин возведен был в начале царствования Михаила Пафлагона Константин Далассин;[16] при Парапинаке в чине антипата состояли Феогност Вурца[17] и Михаил Атталиот.[18] Кроме того, Роман III произвел в антипаты сарацина Саламу (Солимана) за то, что он передал грекам Эдессу.[19]

11) **Патриций**. В этом чине, между прочим, упоминаются: Роман Аргир при Константине VIII;[20] при Романе III: Константин Далассин,[21] Константин

---

[1] На том основании, что он прилагается к князьям, происходившим из Грузии и Армении, или же к греческим военачальникам, командовавшим в Армении и Грузии. Так думают *Гоар* (*Cedr.*, II, 879) и *Сент-Мартен* (Memoires sur l'Arménie, II, 202–203); последний ссылается на *Чамчьяна*. Главное основание, как видно уже из перечня лиц, носивших этот титул, оказывается недостаточным.

[2] *Psell.*, V, 204; PG, CXX, 745.

[3] *Attal.*, 34.

[4] *Cedr.*, II, 559.

[5] *Cedr.*, II, 665.

[6] *Attal.*, 56.

[7] *Attal.*, 97 (*Zonar.*, IV, 204).

[8] *Attal.*, 205 (*Scyl.*, 719).

[9] *Psell.*, V, 332.

[10] *Attal.*, 22.

[11] *Annal. Bar.*, 56.

[12] *Cedr.*, II, 557.

[13] *Cedr.*, II, 555.

[14] *Cedr.*, II, 574.

[15] *Camera*. Memorie, I, **251–252**.

[16] *Cedr.*, II, 508.

[17] *Scyl.*, 716.

[18] *Sathas*. Bibl. gr., I, 54.

[19] *Arisd.*, 45.

[20] *Яхъя*, у бар. Розена, 71.

[21] *Cedr.*, II, 492.

Карантин,[1] Николай Хрисилий;[2] при Михаиле Пафлагоне: Константин, племянник царя,[3] Никита Пигонит,[4] Алусиан до возведения в магистры,[5] Василий Феодорокан[6] и Георгий Таронит;[7] при Калафате: Константин Кавасила,[8] Георгий Маниак;[9] при Мономахе: Стефан Лихуд,[10] Константин Адровалан,[11] Василий Абукаб,[12] Константин Хаге[13] и Михаил Докиан;[14] при Феодоре Михаил Стратиотик;[15] при Стратиотике: Феодор Хрисилий, Христофор Лампрос;[16] при Константине Дуке Роман Диоген до возведения в вестархи.[17] Кроме того, произведены были в патриции: при Романе III Алах, сын трипольского эмира Пинзараха (Ибн-Зайраха),[18] при Мономахе Кеген Печенежский.[19]

Нужно заметить, что различие между вестом, антипатом и патрицием было весьма незначительное. Вероятнее всего, титулы вест и антипат были дополнительными к титулу патриция, так что и вест, и антипат были патриции, лишь с оттенком некоторого преимущества. Оттого могло произойти, что Роман Диоген при Константине Дуке, будучи патрицием, просил себе чин прямо вестарха, и когда отличился в войне с печенегами, то получил этот чин. Оттого же историк,[20] рассказывая о Феодате (при Романе III) или о Льве Торнике (при Мономахе), продолжает называть их патрициями, несмотря на то, что они тогда состояли в чине вестов. Наконец отсюда, может быть, происходит, что Михаил Атталиот, имевший

---

[1] *Cedr.*, II, 488.
[2] *Cedr.*, II, 502.
[3] *Cedr.*, II, 532.
[4] *Cedr.*, II, 503.
[5] *Cedr.*, II, 533.
[6] *Cedr.*, II, 523.
[7] *Cedr.*, II, 531.
[8] *Cedr.*, II, 537.
[9] *Cedr.*, II, 541.
[10] *Cedr.*, II, 570.
[11] *Cedr.*, II, 588.
[12] *Cedr.*, II, 591.
[13] *Cedr.*, II, 550.
[14] *Cedr.*, II, 601.
[15] См. выше, с. 192.
[16] *Cedr.*, II, 634–635.
[17] *Scyl.*, 663 (*Zonar.*, IV, 203).
[18] *Cedr.*, II, 496.
[19] *Cedr.*, II, 584.
[20] *Cedr.*, II, 487, 561.

уже в 1075 г. чин антипата, прилагает к себе в 1077 г. оба титула вместе (πατρίκιος ἀνθηπάτης);[1] то же делают барийский анналист в применении к Аргиру (patricius vestatus) и Аристакес к Саламе (патриций антипат); к Иоанну III, герцогу Амальфи, прилагаются даже все три титула.[2] Затем бросается в глаза факт, что титулы вестарха и веста встречаются, начиная с Константина Мономаха. Невольно возникает предположение, что оба они введены в употребление при этом императоре: сначала был установлен титул веста, около 1042 г.,[3] а потом вестарха, не ранее 1046 г.[4] До Мономаха промежуточной ступени между магистром и патрицием не было (не считая титул антипата, дополнительный к патрицию), и потому, может быть, Михаил Пафлагон прямо произвел Алусиана и своего племянника Константина из патрициев в магистры, а Михаил Калафат то же сделал относительно Георгия Маниака.[5]

12) **Протоспафарий**. Этот чин имели при Романе III: Текнея,[6] Феофилакт Афинянин;[7] при Михаиле Пафлагоне: Михаил Докиан, Ивир Варасватце, Катакалон Кекавмен, Константин Мукупел[8] и Григорий, стратиг далматинский;[9] при Мономахе Пард[10] и Иоанн Ивирица;[11] при Константине Дуке: стратиги Иоанн Маия и Николица Делфина[12] и Лев, далматинский катепан.[13] При Михаиле Пафлагоне возведен также в этот чин

---

[1] *Sathas*. Bibl. gr., I, 43.

[2] *Camera*, I, 251: temporibus domini Iohannis gloriosi ducis et imperialis patricii et anthipatus et vesti; 252: temporibus domini Iohannis gloriosi ducis et imperialis *patricii anthypatus atque vestis* (*в правление славного герцога господина Иоанна*, императорского патриция, антипата и веста).

[3] В этом году титул *дан* Аргиру.

[4] Предположение основано на том, что вест Аргир, прибывший в Византию в 1046 г., прямо был произведен в магистры, может быть, по отсутствию промежуточного ранга.

[5] Основания приведены нами в предположительной форме, потому что можно и иначе объяснять факты — тем, что повышение в чине не разобщало повышенного с низшим чином, и тем, что строгая постепенность в повышениях не была обязательна для императоров. Об этом речь ниже.

[6] *Cedr.*, II, 502.

[7] *Cedr.*, II, 498.

[8] *Cedr.*, II, 520, 523, 545.

[9] *Lucius*, 131.

[10] *Cedr.*, II, 548.

[11] *Psell.*, V, 197, 198.

[12] Советы и рассказы византийского боярина/ /Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 291; июль, 131.

[13] *Lucius*, 135.

дож Венеции Доминик Флабанико,[1] а при Константине Мономахе князь сербский Михала (Μιχαηλάς)[2] и стратиг Захолмия Лютовид.[3]

13) **Спафарокандидат**. В этот чин произведен был Михаилом Пафлагоном, за отличие в войне с болгарами, Гаральд Гардрад; при Романе Диогене состоял в числе спафарокандидата (до производства в протоспафарии) Григорий, сын Николицы Делфина.[4]

14) **Спафарий**. Чин спафария имел Иоанн Кордака, фигурировавший в иске Пселла против Елпидия в качестве поверенного Елпидия,[5] и неизвестный нам по имени посол Вотаниата к Мелиссину.[6]

15) **Кандидат**. Кандидатом был союзник норманнов, ломбард Ардуин, получивший чин от дуки Италии Докиана,[7] — обстоятельство, из которого можно заключить, что производство в низшие чины совершалось не только императором, но, по императорскому полномочию, и правителями областей.

Чины первых двенадцати степеней принадлежали к числу сенаторских, чиновники этих степеней входили в состав синклита (σύγκλητος),[8] который, как легко себе представить, был весьма многочислен. Некоторые сенаторы проживали в столице — обыкновенно это были архонты синклита (οἱ τῆς συγκλήτου ἄρχοντες), которые называются еще избранными (τὸ ἔκκριτον), сановными (μεγαλοδόξοι συγκλητικοί),[9] и под которыми

---

[1] *Dandolo*, 240.

[2] *Cedr.*, II, 607.

[3] *Farlati*. Illir. Sacr., VI, 44.

[4] Советы и рассказы византийского боярина// Ж. М. Н. Пр., июль, **147**; август, 328.

[5] *Psell.*, V, 208.

[6] *Anna*, I, 125.

[7] *Leo Ost.*, 675.

[8] На это ясные указания в Πεῖρα, XXV, 17: ὅτι *συγκλητικοῦ* γυνὴ *τουτέστι πρωτοσπαθαρίου καὶ ἐπάνω*... (...что жена синклитика, то есть протоспафария или чиновника более высокого ранга...) XLIX, 4: ὅτι ὁ τοῦ Σολομῶντος υἱὸς Ἰμέριος πρωτοσπαθάριος ἠράσθη *συγκλητικῆς*, θυγατρὸς τοῦ *πρωτοσπαθαρίου* Τειχιώτου... (...что сын Соломона Имерий полюбил дочь синклитика — протоспафария Тихиота...) *Zachar.*, I, 99, 223. Следовательно, рамки синклита к нашему периоду раздвинулись, обняв собой протоспафарат, тогда как прежде ограничивались на низшей степени патрициатом, судя по схолии к «Василикам», *Mortreuil*, III, 36: συγκλητικοὶ εἰσιν οἱ *ἀπὸ πατρικίων ἕως ἰλλουστρίων* (синклитики — <обладатели всех чинов> от патрикия до светлейших) (illustres с IV в. титул 2-го ранга, после 1-го nobilissimi, gloriosi, соответствовавшего «высочеству» и дававшегося принцам крови).

[9] *De-Lagarde*, 198.

понимаются более высокие чины, приглашавшиеся для участия в придворных церемониях, в отправлениях императорской власти, и вообще в важнейших случаях окружавшие императора.[1] Но кроме сенаторов, живших в столице, было множество таких, которые жили в фемах не только в качестве администраторов, но и помещиков. В числе их были сенаторы низших степеней, были и архонты. Так, родственники Вотаниата, которые первыми присоединились к нему в феме Анатолике, когда он выступил претендентом, были τῶν συγκλητικῶν ἀρχόντων λογάς (избранные архонты синклита). О числе сенаторов можно судить по тем случаям, когда происходили торжественные царские выходы для раздачи царских милостей и когда собирались не только избранные, но весь синклит, вся герусия, кто только хотел и мог из сенаторов. По напыщенному выражению Атталиота, численность таких сенаторов превосходила мириады,[2] а говоря простым языком, их было никак не менее тысячи человек.

Численность сенаторов увеличивалась оттого, что кроме вышеперечисленных двенадцати степеней, были еще другие, стоявшие рядом с ними чиновные степени, которые тоже включали лиц, их занимавших, в состав синклита. Это именно титулы и чины, дававшиеся лицам духовным: **протосинкелла**, **синкелла**, **ипертима** и **ректора**.

Каково бы ни было первоначальное значение синкелла: был ли это сокелейник и духовник патриарха,[3] или кандидат на патриарший престол, занимавший по смерти патриарха его место,[4] или нечто вроде коадъютора и викария патриарха или епархиального епископа, в случае их отсутствия или болезни исправлявший должность,[5] несомненно, что в XI в. значение его было чисто титулярное; это был чин, дававшийся императором духовному лицу и открывавший доступ в ряды синклита. Правда,

---

[1] Например, во время нашествия россов Мономах отправился на берег μοῖράν τινα τῆς συγκλήτου βουλῆς τὴν ἔκκριτον μεθ' ἑαυτοῦ ἔχων (в сопровождении группы избранных членов синклита). *Psell.*, IV, 145.

[2] *Attal.*, 275: ὑπὲρ μυριάδας ἀνδρῶν παραμετρουμένη.

[3] Гоар — *Cedr.*, II, 791.

[4] Ксиландр — *Cedr.*, II, 747. Гоар и Фаброт (*Cedr.*, II, 869, 870, 939) отличаются от Ксиландра лишь тем, что, по их мнению, это был второй (а не первый) момент в развитии значения синкелла — первый: со-келейник и духовник. Для иллюстрации значения синкелла в этот момент развития имеют значение слова *Кедрина* (II, 581) и *Зонары* (IV, 174–174): ὡς γὰρ ὁ σύγκελλος τοῦ πατριάρχου θανόντος εἰς τὸν ἐκείνου τόπον ἀντικαθίστατο, οὕτω καὶ ὁ σερίφης τοῦ Χαλιφᾶ φθαρέντος ἐκεῖνος τὸν τελευτήσαντα διεδέχετο (как синкелл по смерти императора занимал его место, так и сериф наследовал халифу после его кончины).

[5] Рейске — *Const. Porphyr.*, II, 835.

синкеллы делали попытки, основываясь на своем чине, завоевать себе преимущество и в рядах церковной иерархии. В первый год царствования Романа III, в день Пятидесятницы (25 мая 1029 г.), произошло в Великой церкви смятение по тому поводу, что синкеллы хотели занять при служении место выше митрополитов.[1] Попытка возобновилась при Константине Дуке, но не имела успеха: митрополиты вошли с жалобой к царю на то, что синкеллы и протосинкеллы хотят занять место выше их; в ответ на это Константин Дука издал постановление, в котором объяснял, что в пределах церковного управления и практики чин протосинкелла или синкелла не дает никакого преимущества; на собраниях синода и при богослужении протосинкелл и синкелл должны занимать то место, какое им следует по их иерархическому положению в Церкви; преимуществами своего сенаторского звания они могут пользоваться только во дворце, на сенатских собраниях, занимая в рядах сенаторов то место, какое им отведено по рангу.[2]

Синкеллов было много и протосинкеллов, вероятно, более одного. Из протосинкеллов нашего периода известны: Никита, хартофилакс Великой церкви при Керулларии,[3] Лев Параспондил при Стратиотике,[4] Георгий Коринфский при Константине Дуке и Романе Диогене,[5] Иоанн, митрополит Сидский, при Парапинаке и Вотаниате.[6] В синкеллы были произведены Романом III: монах Иоанн, надсмотрщик Феодоры, митрополиты — Ефесский Кириак, Кизический Димитрий и Евхаитский Михаил;[7] Михаилом Пафлагоном — брат его евнух Иоанн.[8] При Мономахе упоминаются синкеллы: Василий Монах, архонт Болгарии,[9] Феофан Кизический, Николай Евхаитский, Иоанн Евхаитский (Мавропод), Никита Халкидонский, Лаврентий Диррахийский, Лев Афинский, Михаил Силейский;[10] при Феодоре Лев Параспондил.[11] Относительно места,

---

[1] *Cedr.*, II, 487.

[2] *Zachar.*, III, 323–325.

[3] PG, CXIX, 748.

[4] *Cedr.*, II, 619; *Psell.*, V, 365.

[5] Советы и рассказы византийского боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 125, 146.

[6] *Attal.*, 180 (*Scyl.*, 705; *Zonar.*, IV, 219; *Glyc.*, 613); *Zonar.*, IV, 231.

[7] *Cedr.*, II, 486.

[8] *Arisdag.*, 49.

[9] *Cedr.*, II, 602.

[10] PG, CXX, 737, 748, 1199.

[11] *Cedr.*, II, 611; *Zonar.*, IV, 181.

принадлежавшего протосинкеллам и синкеллам в византийской чиновной иерархии, мы не имеем прямых указаний. В прежнее время, судя по сочинению Константина Багрянородного,[1] синкелл занимал одно из первых мест, вслед за чинами высочества. Нет оснований предполагать, что в XI в. прежнее значение было потеряно; по всей вероятности, протосинкеллы приравнивались к протопроедрам, синкеллы к проедрам, и на торжественных выходах протосинкеллы, во внимание к их духовному сану, стояли выше протопроедров, а синкеллы выше проедров.

О значении титула ипертим, который носили монах Пселл и монах Михаил, первый министр Вотаниата,[2] можно судить по примеру Пселла. В последний год царствования Мономаха (1054) он имел чин вестарха.[3] Затем, незадолго до смерти Мономаха, он принял монашество, при Стратиотике исправлял должность посла к узурпатору Комнину и у последнего заручился обещанием, что будет возведен в проедры синклита.[4] Следовательно, при Комнине он получил титул, приличный духовному лицу, не ниже проедра.[5] Затем Пселл оказал громадную услугу Константину Дуке, устроив возведение его на престол и, без сомнения, был им за это повышен в чине. Играл далее роль при Романе Диогене, и при Диогене, а также после пленения Диогена, выступает с титулом ὑπέρτιμος.[6] Если предположить, что Пселл был повышен в чине Константином Дукой на одну лишь степень, то и в таком случае титул ипертима окажется не ниже титула протопроедра. Но едва ли любимец императора в течении довольно продолжительного времени, семи с половиной лет (не считая царствования Евдокии и Диогена) ограничился одним лишь повышением. Будет

---

[1] *Const. Porphyr.*, I, 718, 727.

[2] *Attal.*, 296.

[3] PG, CXX, 745.

[4] *Psell.*, IV, 233: πρόεδρον ἤδη τιμῶ τε καὶ κατονομάζω τῆς συγκλήτου βουλῆς («Я уже теперь возвожу тебя в должность и нарекаю проедром синклита»).

[5] Или просто титул проедра (*Psell.*, V, 423), хотя гражданские чины духовным лицам давались неохотно, и принимавший духовный или монашеский сан тем самым иногда (однако, не всегда, например, Иоанн-кесарь) лишался гражданских чинов. Пселл в монашестве (при Феодоре) называется γεγονὼς βεστάρχης (в прошлом вестарх). *Psell.*, IV, 208.

[6] *Zon.*, IV, 217; *Scyl.*, 688: ὅ τε Παλαιολόγος Νικηφόρος ὁ ὑπέρτιμος, καὶ τῶν φιλοσόφων ὕπατος Κωνσταντῖνος ὁ Ψελλός (Никифор Палеолог и Константин Пселл, ипертим и ипат философов) — неудачная расстановка знаков препинания: запятая должна стоять не после ὑπέρτιμος, а после Νικήφορος. Что Никифор Палеолог носил титул ипертима, из источников не видно, между тем в рассказе *Анны Комнины* (I, 127–130) он играет видную роль и назвать его чин было бы уместно

поэтому правдоподобно заключение, что чин ипертима по рангу считался выше чина протосинкелла.

Чин ректора тоже был выше чина протосинкелла, неизвестно только, был ли он выше или ниже ипертима. О значении его можно судить по «Церемониям» Константина Багрянородного,[1] где он после чинов высочества занимает первое место, выше синкелла. В наш период с этим титулом является одно только лицо: Константин Мономах возвел в чин ректора своего бывшего иерея, евнуха Никифора, отправляя его с войском сначала в качестве стратопедарха против турок, а потом в качестве стратига-автократора против печенегов.[2]

Строгая постепенность не составляла непременного условия при производстве в чины. Хотя в большинстве случаев она соблюдалась, однако же, не исключала для императора возможности возвести кого-нибудь в чин высший, минуя промежуточный. Особенной щедростью на этот счет отличался Вотаниат, дававший чины на четыре или на пять степеней выше той, в которой известное лицо состояло.[3] Способы получать чины вообще, и в частности чины, открывавшие доступ к рядам сенаторов, были различны. Был способ наследственный, когда чин переходил от отца к сыну,[4] так что ряд поколений носил одно и то же достоинство.[5] Другим способом было получение чинов в силу личных отношений к кому-нибудь из людей властных, а тем более к императору; тут действовала протекция или отличие,[6] чин служил или знаком благосклонности, или наградой за заслуги, или, наконец, средством задабривания нужных людей. Этот способ был самый распространенный, и им императорская власть пользовалась, между прочим, в видах нивелирования подданных. Наследственность чиновной аристократии и сенаторского достоинства в принципе противоречила задачам единой верховной власти, считавшейся источником всякого гражданского и общественного блага. Поэтому императоры охотно игнорировали наследственность и возводили в чины и сенаторское достоинство людей, не имевших на то никакого наследственного права. С особенной смелостью действовал в этом направлении Константин Мономах, приобщивший, по словам историка, чуть не весь площадный

[1] *Const. Porph.*, I, 713, 727.

[2] *Cedr.*, II, 593, 597; *Attal.*, 32. В «Советах и рассказах византийского боярина» (Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 260) он назван не Никифором, а Константином.

[3] *Attal.*, 275.

[4] *Cedr.*, II, 615: ἐκ πατέρων.

[5] Например, дед протоспафария Иоанна Ивирицы, Стефан Ивирица, был протоспафарий. *Psell.*, V, 197, 198.

[6] *Cedr.*, II, 615: ἐκ προσπαθείας τινός... ἐξ οἰκείων ἀνδραγαθημάτων.

и праздношатающийся люд к сенату, не только простиравший свои благодеяния на свободных ромеев, но и на купленных за деньги варваров. Историк отмечает как хорошие, так и дурные последствия такой политики — в числе хороших ставит то, что этим путем получили достойную оценку и нашли себе приложение способности и таланты людей знающих и годных к административной деятельности, в числе дурных, что от громадного наплыва внешних людей пало сенаторское звание, чистота синклита исчезла, можно было встретить таких, которые тулупы променяли на мундиры и из рабов превратились в правителей, не будучи нисколько подготовлены к своему положению, без всяких политических и стратегических познаний.[1] Был еще один способ приобретения чинов — покупка их за деньги. Историк, перечисляя новые источники доходов, открытые Исааком Комнином, говорит, что он, между прочим, придумал с этой целью некоторые почетные титулы.[2] Отсюда следует, что наделение титулами приносило государству доход, что за них взималась плата. Вследствие того, что чин можно было приобрести за деньги, на него иногда смотрели как на капитал, равный сумме, за которую чин покупался, и его давали в приданое за невестами. Наглядный пример тому представляет Пселл. Он, лишившись родной дочери, взял к себе на воспитание приемную дочь и, по обычаю византийцев, прежде чем она достигла совершеннолетия, обручил ее с женихом, тоже несовершеннолетним, Елпидием Кенхри. У него положено было дать в приданое за дочерью 50 литр, в том числе 30 литр наличными деньгами и вещами, а вместо остальных 20 литр чин протоспафария. Пользуясь влиянием при дворе Мономаха, он достиг того, что Елпидию дан был протоспафарат; мало того, потом он добился, хотя и с чрезвычайными усилиями, что Елпидию дан был чин патриция и присвоенный этому чину пояс. С течением времени обнаружилось, что выбор был неудачен. Елпидий был ленив, не занимался науками, вел себя предосудительно и относительно невесты проявлял полнейшую холодность. Тогда Пселл подал прошение на высочайшее имя о расторжении обручения, отнятии у Елпидия и возвращении ему, Пселлу, если не обоих, то одного чина, с тем, чтобы он мог отдать его как приданое другому, более достойному жениху. Императрица Феодора

---

[1] *Psell.*, IV, 108–109, 117–118 (*Zon.*, IV, 157; *Ephr.*, 135); *Psell.*, IV, 139, 168.

[2] *Zon.*, IV, 239: τὰ καινὰ τῶν ὠνομάτων ἐπινενόητο, τὰ ὑπέρτιμα λέγω καὶ τὰ ὑπέρπλεα (он измыслил новые титулы — я имею в виду напыщенные и чрезмерные) (*Glyc.*, 620). Какие титулы были придуманы Исааком Комнином, с достоверностью сказать нельзя, может быть, это были титулы протопроедра и иперτима.

положила резолюцию насчет чинов, а суд, куда дело было ею передано, рассмотрел и решил частнейшие вопросы, соединенные с фактом расторжения обручения: пояс с Елпидия был снят, он лишен чина патриция, а чин протоспафария остался за ним; Елпидий доплатил Пселлу пять литр, в счет же недостающих к стоимости протоспафарата 15 литр пошла пеня, в этом именно размере наложенная судом на Пселла за нарушение обручального договора.[1] Этот пример с одной стороны показывает, что повышение в чине не разобщало совершенно повышенного с прежним, низшим чином, так что высший чин мог быть по какому-нибудь поводу отнят, а низший остаться; с другой стороны, он показывает, что курсовая стоимость низшего сенаторского достоинства — протоспафарата — равнялась 20 литрам.

Главнейшим обстоятельством, дававшим возможность капитализировать чины, было то, что они приносили проценты, постоянный доход; с ними соединена была пенсия, так называемая руга (ῥόγα). Руга низшего сенаторского чина, протоспафария, равнялась 72 номисмам (νομίσματα),[2] затем чем выше был чин, тем руга больше. Руга платилась обыкновенно золотом, но если казна стеснена была в денежном отношении, то часть выдавалась наличными деньгами, а остальное шелковыми тканями.[3] Руга раздавалась раз в год, обыкновенно приурочивалась ко времени Пасхи,[4] а именно к Великому четвергу,[5] или же к неделе Ваий.[6] Но если император не располагал пробыть предпасхальное время в столице, то руга могла быть раздана и раньше. Так, например, в 1071 г. Диоген раздал ругу в субботу, накануне Недели Православия, а в воскресенье выступил в поход против турок и Пасху провел вне столицы.[7]

---

[1] *Psell.*, V, 204–212.

[2] *Psell.*, V, 205. Следовательно, она составляла ровно 5% на капитал в 20 литр, так как номисма, называемая еще в актах солидом, а позднее иперпиром, была золотая монета, равнявшаяся 1/72 литры золота (на наши деньги около четырех рублей). См.: *Sabatier.* Description générale des monnaies byzantines. Par., 1862.

[3] Так, например, поступил Диоген, имевший большую нужду в наличных деньгах для своих походов против турок. См.: *Scyl.*, 688–689.

[4] *Cedr.*, II, 614, 616; *Attal.*, 122.

[5] *Cedr.*, II, 505.

[6] *Attal.*, 275.

[7] *Attal.*, 143 (*Scyl.*, 188–189; *Glyc.*, 608). Руга присвоена была не только сенаторскому рангу, но и низшим чинам, как показывает следующее выражение грамоты Вотаниата от 1079 г.: διορίζεται δίδοσθαι τῇ τοιαύτῃ μονῇ ἐν τῷ καιρῷ τῆς ῥόγας τῶν σπαθαροκανδιδάτων, λόγῳ σολεμνίου νομίσματα δώδεκα (Этому монастырю предписывается платить подать в двенадцать номисм по праву солемния в то время, когда выплачивается руга спафарокандидатам). *Sathas.* Bibl. gr., I, 65.

У византийцев были чины и для женщин: существовали у них «опоясанные» дамы (ἡ ζωστή), каковой, например, была мать Прусиана Болгарина.[1] Высшим женским титулом, который при Мономахе впервые был перенесен с коронованных лиц на частных, был титул севасты. Мономах почтил этим титулом свою фаворитку Склирену,[2] а после ее смерти сменившую ее аланку.[3] Императрица после этого стала титуловаться преимущественно латинским термином «августа» или же латинским с присоединением к нему тождественного греческого: «августа-севаста».[4]

От византийских чинов (ἀξιώματα) следует отличать должности (ὀφφίκιοι, ἀρχαί). Между чинами и должностями были точки соприкосновения и тесная аналогия. Существовал обычай, что на все более или менее видные должности по разнообразным отраслям государственного управления назначались сенаторы, т. е. чиновники тех степеней, которые давали право на звание сенатора, — когда Стратиотик обошел этот обычай и назначил на должности по финансовому ведомству лиц, не принадлежавших к сенату, это возбудило удивление и сетования на новшества.[5] Отсюда происходило, что чин и должность соприкасались и объединялись в одном и том же лице; бывало и так, что объединялись чин и две должности.[6] Аналогия между чинами и должностями замечается на нескольких пунктах. Подобно тому как при вступлении императоров на престол и во время их императорствования раздавались чины, в виде царского благодеяния, точно так же раздавались и государственные должности.[7] Подобно тому как мотивом для возведения в чин чаще всего служила царская благосклонность или расчет, желание наградить за приверженность, за содействие к вступлению на престол, или желание упрочить преданность в людях нужных, способных принести пользу, точно такой же мотив чаще всего руководил при раздаче должностей. Византийские автократоры не любили при этом ограничивать свою волю наследственными и другими рамками, тем более что и обычай, по которому сенатор считал государственную должность своим неотъемлемым

---

[1] *Cedr.*, II, 487. Ср. коммент. *Гоара* (*Cedr.*, II, 836) и *Рейске* (*Const. Porph.*, II, 166).

[2] *Psell.*, IV, 129–130 (*Zon.*, IV, 159).

[3] *Psell.*, IV, 177 (*Zon.*, IV, 179).

[4] *Scyl.*, 642; *Zon.*, IV, 192.

[5] *Cedr.*, II, 614.

[6] Например, евнух Николай при Константине VIII был проедр, паракимомен и доместик схол.

[7] Ср.: *Attal.*, 266, 274 (*Scyl.*, 732, 735).

правом, императору легко было соблюсти, возведя сначала любого своего прислужника в сенаторский чин, а потом отправив его для управления фемой и поручив его заведованию ту или другую придворную или центральную должность.[1] Подобно тому как византийский чин можно было купить за деньги, точно так же практиковалась широкая система продажи государственных должностей, с тем только различием, что легально она не признавалась явлением нормальным и лучшие императоры избегали ее. Первые министры и лица, управлявшие отдельными ведомствами и областями, продавали должности, ничем не стесняясь. Известно, что Иоанн Орфанотроф при Михаиле Пафлагоне продавал должности.[2] В итальянской феме Михаил Докиан за деньги отдал Ардуину власть над некоторыми городами.[3] Зоя, воцарившись с сестрой Феодорой, после низвержения Калафата, разослала манифесты с обещанием, что впредь государственные должности не будут продажными, какими они были до сих пор.[4] Но обещание, если исполнялось, то недолго: при Константине Дуке была даже усовершенствована система продажи должностей — этот император стал отдавать сбор податей на откуп желающим.[5] Можно было купить должность и при Романе Диогене.[6] При его преемнике, Парапинаке, Никифорица тоже извлекал большой барыш от продажи должностей.[7] Подобно тому как сенаторское звание, или, что то же, чины первых двенадцати степеней, и вообще чины доставались по наследству, точно так

[1] Например, при Мономахе один «попавший в сановники, что называется, с перепутья» (*Psell.*, IV, 139) был отправлен в Италию, другой, «взятый, можно сказать, с улицы» (*Psell.*, IV, 171) поставлен во главе телохранителей.

[2] *Cedr.*, II, 526 (*Glyc.*, 589).

[3] *Amat.*, 42 (*Leo Ost.*, 675).

[4] *Cedr.*, 541 (*Glyc.*, 592): γραμμάτων ἀπανταχοῦ καὶ διαταγμάτων ἐκπεμπομένων, ἀπριάτην τε τὰς ἀρχὰς γίνεσθαι καὶ μὴ ὠνίους ὡς πρότερον ὑπισχνουμένων (повсюду были разосланы письма и распоряжения, провозглашавшие, что впредь должности будут предоставляться безвозмездно, а не как прежде, за плату).

[5] *Zon.*, IV, 198–199: τὰ ἀρχεῖα τὰ τοὺς φορολόγους λογοπραγοῦντα ὠνητὰ παρεῖχε τοῖς βουλομένοις καὶ τελώναις τὴν συλλογὴν τῶν φόρων ἐπὶ συνθήκαις ἐπίστευε (на должности, сопряженные со сбором налогов, он назначал за деньги, а право на сбор податей предоставлял на условиях договора) (*Ephr.*, 143). Некоторые откупщики наживали себе этим путем состояние, но были неудачники, наживавшие недоимки и попадавшие в богадельню; к числу последних принадлежал стратиг, протоспафарий Иоанн Маия. См.: Советы и рассказы визант. боярина // Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 291–292.

[6] *Attal.*, 181.

[7] *Attal.*, 201.

же и в применении к государственным должностям обнаруживаются попытки превратить их в наследственную собственность. Относительно высших должностей, как центральных, так и областных, это явление не получило такого значения и характера, какое оно имело на западе Европы.[1] Все, что достигнуто было в этом отношении, это то, что должностное лицо, переменяя место службы, могло выхлопотать (не имея однако же на то неоспоримого права) замещение прежде занимавшегося им места кем-нибудь из своих родственников.[2] Был также случай отчисления центральных учреждений в ведение частного лица, получившего право пользоваться доходами с этих учреждений, а именно, о Вотаниате известно, что он отдал в распоряжение Евдокии, вдовы императора Константина Дуки и Романа Диогена, матери Михаила Парапинака, три секрета.[3] Разумеется, регулярное замещение должностей родственниками прежде занимавших должности лиц могло в результате привести к наследственности государственных должностей, но этот результат не был достигнут, потому что самой регулярности не существовало, были только отдельные случаи, в виде исключений. Равным образом, если бы государственные доходы отдавались в постоянную, наследственную собственность частным лицам, то на финансовой почве, как показывает пример Западной Европы в Средние века, легко могла бы возникнуть наследственность отправлений судебной, административной и военной власти; но такой отдачи доходов не существовало, и самый факт, единственный в своем роде, отдачи трех секретов в личное владение Евдокии — факт темный. Наследственность, в применении к высшим государственным должностям не только не утвердившаяся, но и не получившая прочных прецедентов для своего утверждения на будущее время, несколько более

---

[1] Свидетельство (Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, август, 319) о Николице, назначенном в X в. пожизненным (ἀδιάδοχος) дукой Эллады, с выдачей на то хрисовула, представляется несколько сомнительным, тем более что Николица все-таки был смещен Василием II.

[2] Так, например, в одном письме Пселла к судье какой-то фемы говорится, что судья этот занял место своего брата, переведенного в другую фему. См.: PG, CXXXVI, 1330. В другом письме (*Psell.*, V, 487) есть выражение, показывающее, что сын занял после отца место судьи Фракии и Македонии: εἰ τοιούτου πατρὸς ᾖ, ὁποίου τυγχάνεις αὐτός (если окажется, что у него тот же отец, что и у тебя). Ср.: *Psell.*, V, 423.

[3] *Attal.*, 304: τριῶν σεκρέτων καὶ τῶν ἄλλων χρηστῶν κυρίαν ταύτην ἀπέφηνε (...отдал ей в распоряжение три секрета и наделил другими благами...). В чем проявлялась власть ее над секретами, определить невозможно, по смыслу видно только, что это было для Евдокии доходной статьей.

успехов сделала в сфере ограниченных и незначительных функций, свойственных низшим государственным должностям: здесь имели место изъятия от суда в пользу частных лиц, напоминающие западно-европейские иммунитеты.

Сохранилось два письма Пселла — одно адресованное стратигу Абида,[1] другое судье Фракии и Македонии,[2] — цель написания которых тождественна — просьба о защите против притязаний аплоконисского турмарха, в частности, по своему содержанию они доказывают существование у византийцев судебных изъятий, с некоторыми намеками на то, на какой именно почве они развились. В Византии было особое ведомство для наблюдения и управления недвижимыми императорскими имениями, дворцами, конфискованными и секвестированными имуществами. В отдельные имения командировались императорские слуги, своего рода чиновники особых поручений, которые носили название βασιλικοί. По имени их и имения, ими заведуемые, назывались василикатами (τὸ βασιλικάτον). Эти «царевы люди» ведали финансовую часть;[3] суд по делам, возникавшим в василикатах, принадлежал царю, помимо ближайших инстанций,[4] и император мог поручить его кому-нибудь из своих уполномоченных, хотя бы тому же цареву человеку. Из писем Пселла видно, что одно из таких имений, в качестве поместья, было пожаловано Константином Мономахом автору писем. Ему император пожаловал в неотъемлемую собственность τὸ βασιλικάτον Μαδύτου, а также отдал в его распоряжение τὸν βασιλικόν. В хрисовуле было объяснено, что Пселл может отдавать поместье, кому захочет, передавая и суд по некоторым делам, к нему относящимся. Пселл отдал поместье в управление тому же βασιλικός'у, который был ему подарен, поручив ему судебную власть,[5] а когда по смерти Мономаха турмарх Аплокониса обнаружил притязание на вмешательство в дела василиката, Пселл просил стратига защитить его от этих притязаний. Таким образом оказывается: а) жалуется

---

[1] *Psell.*, V, 423–424.

[2] *Psell.*, V, 487–488.

[3] С понятием о них тесно связывалась финансовая часть, как видно из Vita Basil.: βασιλικὸν ἀποσταλῆναι τὸν ἀπογράψασθαι καὶ παραλαβεῖν ὠφείλοντα τὴν περιουσίαν αὐτῆς (...послать «царского человека», дабы он описал ее имущество и взял на себя его управление). Ср.: *Ducange*. Glossar. Lat., s. v. Basilicus, а также *Яхъя*, у бар. Розена, 59: «И устроил (Василий II) дела Болгарии и назначил туда василиков, т. е. управляющих всеми делами и имуществами».

[4] *Psell.*, V, 423: μόνος τὰς κρίσεις ὁ βασιλεὺς ἔχει (одному царю подобает судить).

[5] *Psell.*, V, 487: τῷ βασιλικῷ δέδοται ἐνίας τῶν δικῶν ἐξετάζειν.

в неотъемлемую собственность (δεδώρηται εἰς ἀναφαίρετον ἐξουσίαν, ἀναφαιρέτως ἐχαρίσατο) недвижимое имущество и вместе с тем судебная власть в пределах недвижимости, б) суд в этой области недвижимости принадлежал прежде прямо царю, органом которого был βασιλικός, следовательно, император, отдавая в дар суд, вместе с лицом, этот суд ведавшим и впредь продолжавшим ведать, отказывался от своих прерогатив как представителя государственной власти и спасал лишь внешнюю форму, благодаря которой для местных жителей могла быть незаметной и нечувствительной перемена, в) βασιλικός, по уполномочию владельца василиката, имел лишь некоторую судебную власть (ἐνίας τῶν δικῶν), и так как эта власть принадлежала к той сфере, в которой считал себя компетентным не правитель фемы, а правитель турмы, подразделения фемы, то, следовательно, это была власть низшая, по всей вероятности, вотчинная полиция и суд. Дальше этой низшей юрисдикции византийский иммунитет не простирался.

Наконец, был еще пункт аналогии между чинами и должностями. С чином соединена была руга, точно так же с должностью соединялось жалованье (τῶν ὀφφικίων δόσεις), и должностные лица, по крайней мере центральных ведомств, получали жалованье одновременно с чиновниками, перед Пасхой. Жалованье, в соединении с ругой, составляло весьма солидную и чувствительную для государства сумму. Исаак Комнин первый наложил руку на этот расход и частью сократил, а частью совершенно отнял у должностных лиц их содержание.[1] Но его поступок вызвал бурю негодования и не нашел подражателей в его ближайших преемниках. Не только лица, занимавшие должности в центральных учреждениях, но и областные правители получали от казны содержание, и коль скоро учреждалась фема, то вместе с тем назначалось содержание ее стратигу и другим принадлежавшим к составу администрации лицам.[2] Впрочем, византийское правительство выплачивало содержание областным правителям лишь до тех пор, пока видело в том необходимость, и охотно прекращало платеж, если это было возможно. Правитель города Ания, добытого у армян при Мономахе, получал от казны содержание. Но вот является к Константину Дуке армянин Баграт (Παγκράτιος) и обещает исправлять должность без всякой казенной субсидии. Предложение было принято, и Баграту отдан в управление Аний.[3]

---

[1] *Attal.*, 61 (*Scyl.*, 642): τὰς τῶν ὀφφικίων δόσεις αὐτὸς περιέτεμε πρῶτος. *Attal.*, 69: ὑστέρησιν μερικὴν καὶ καθόλως τῶν διδομένων τοῖς πλείστοις ἐπετείως ἐκ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν.

[2] *Attal.*, 119.

[3] *Attal.*, 80.

Казенное жалованье было не единственным средством содержания византийских чиновников, состоявших на государственной службе. Гораздо более обильным источником служили для них незаконные поборы, взяточничество. При существовании системы продажи должностей, доходы этого рода были неизбежным явлением, и стоявшие во главе управления лица поневоле должны были смотреть на него сквозь пальцы, игнорируя бедствия, причиняемые таким порядком вещей.[1] Сестра Иоанна Орфанотрофа, ездившая в 1040 г. в Ефес на богомолье, была поражена теми неправдами и вымогательствами, которые, как она видела по пути, переносил народ. Но когда она, возвратившись, высказала вынесенные ею впечатления перед своим братом, тот засмеялся и заметил сестре, что она судит по-женски и не понимает сути византийской администрации.[2] А суть заключалась в том, что взяточники заплатили вперед Иоанну за места хорошие деньги. Областные правители с помощью вымогательств наживали себе состояния. Но еще более, чем областные правители, обогащались посредством взяток служившие в центральных учреждениях. О Николае, заведовавшем комиссией прошений, говорится, что он разбогател на службе.[3] Особенно известен был взяточничеством Никифорица. Еще когда он управлял Элладой-Пелопоннесом, Пселл в письме к нему делал прозрачный намек на то, что в его глазах сильна только рука, дающая взятку,[4] а когда он сделался первым министром Парапинака, взяточническим его инстинктам открылся широкий простор и он брал решительно со всех, с кого была возможность взять, с мирных граждан и воинов, с правителей и управляемых, с зажиточных и бедных, пользовался услугами доносчиков и ябедников, извлекал прибыль из людского несчастья и слез. Этим путем он приобрел громадное состояние.[5]

Так как государственная служба была очень доходной, то и охотников поступить на службу было немало. Едва ли кто смотрел на нее как на подвиг, на бескорыстное служение. Преобладало, напротив, воззрение,

---

[1] В одном слове *Иоанн Евхаитский* говорил по этому поводу: οἱ ἄρχοντες ἡμῶν ἀνομοῦσι μετ' ἐξουσίας, τὸ εὐθὲς διαστρέφουσι, τὸ δίκαιον καπηλεύουσιν, ἀγαπῶσι δῶρα, διώκουσιν ἀνταπόδομα. οἱ πράκτορες ἡμῶν καλαμῶνται ἡμᾶς, καὶ τὰ πρὸς τὸ ζῆν οἰκτρὰ λείψανα προσαφελέσθαι βιάζονται (наши архонты, пользуясь властью, чинят беззакония, правду искажают, справедливостью торгуют, любят подношения, жаждут вознаграждения. Наши мытари «пожинают нас» и силятся лишить нас даже тех жалких крох, которыми мы живем). См.: *De-Lagarde*, 170.

[2] *Cedr.*, II, 526 (*Glyc.*, 589).

[3] *Psell.*, V, 215.

[4] *Psell.*, V, 346: χεὶρ λῆμμα διδοῦσα δεδύνηται.

[5] *Attal.*, 201.

что она есть средство кормления, и если кому с семьей было нечего есть, но была протекция во влиятельных сферах, тот искал государственной должности.[1] Нельзя сказать, чтобы при этом не требовалось специально-научной подготовки. Но до Константина Мономаха подготовка была соединена с большими трудностями вследствие отсутствия официально признанной юридической школы. Государство требовало от лиц, желавших занять места нотариев, записаться в корпорацию адвокатов или судей, чтобы они указали своих наставников и обозначили количество времени, употребленного на изучение права, между тем не было государственного училища и учителя, где бы можно было изучить законы, — приходилось учиться у случайно найденных учителей. Для устранения этого недостатка Мономах открыл в Георгиевском монастыре (не ранее 1044 и не позже 1047 г.) профессорскую кафедру (διδασκαλικὸς θρόνος), которая стала называться юридической школой (διδασκαλεῖον νόμων), а учитель по этой кафедре — номофилаксом. Первым номофилаксом назначен был Иоанн Ксифилин. Определены были права и обязанности номофилакса: он причислен к сановным сенаторам, на высочайших выходах занимал одно из первых мест, ежегодно получал ругу в четыре литры, шелковую одежду, пасхальный подарок и хлебное содержание, должность свою исправлял пожизненно. Он обязан был знать два языка — латинский и греческий, быть сведущим в законах и ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, читать лекции, не взимая за то со слушателей никакой платы. Все желавшие заниматься практической юриспруденцией, быть адвокатами и ходатаями по делам, должны были прежде чем вписаться в соответствующую корпорацию изучить у номофилакса законы, выдержать у него экзамен и получить аттестат. Мономах в новелле торжественно объявлял, что он и его преемники будут поощрять молодых людей к изучению законов у номофилакса раздачей им должностей, чинов и подарков.[2] Действительно, начиная с Мономаха, мы встречаем на государственных местах питомцев восстановленной при Мономахе византийской Академии, слушавших право у номофилакса, философию и риторику у других дидаскалов (ипата философов и магистра риторов).[3] Но едва ли могли выходить из византийской Академии все чиновники, занимавшие места не только высшие, но и низшие. Для занятия второстепенных мест считалось достаточной практическая подготовка, да и первостепенные должности сплошь и рядом замещались мало-

[1] *Psell.*, V, 400.

[2] *De-Lagarde.* Iohann. Euchait., 196–202.

[3] *Psell.*, IV, 352–353; V, 334, 314, 432, 434; PG, CXXXVI, 1329.

сведущими чиновниками, единственное преимущество которых состояло в сильной протекции.

Молодые люди, большей частью дети благородных родителей, отправлялись в фемы и поступали на службу к областным правителям, дабы приобрести опыт для занятия должностей. Лица, стоявшие у власти и пользовавшиеся влиянием при дворе, осаждались толпами этих молодых карьеристов, выпрашивавших рекомендательные письма к тому или другому областному правителю.[1] Иногда достаточно было рекомендации имевшей силу при дворе или родственной какому-нибудь правителю женщины для определения на службу.[2] Но службы в фемах добивались только начинавшие карьеру или те, кто не надеялся получить лучшего. Служба в фемах считалась менее выгодной и почетной, чем служба в столице, при дворе. Служивший в центральном учреждении если в чем-нибудь провинялся и вызывал неудовольствие начальства, был штрафуем тем, что его переводили на службу в фему — и это делалось как с простыми писцами,[3] так и с заведовавшими целыми учреждениями.[4] Никифорица тоже был в числе оштрафованных подобным образом. При Константине Дуке за клевету, возведенную на супругу императора, он был лишен места в императорской канцелярии и сослан в Антиохию дукой.[5] Редкий чиновник, управлявший фемой, не стремился перейти в столицу. Если только он имел при дворе доброжелателя, с помощью которого мог этого достигнуть, он обращался за содействием и просил выхлопотать перемещение. К Пселлу многие обращались с подобными просьбами и немалое число писем Пселла наполнено сообщениями по поводу этих просьб.[6]

О продолжительности службы низших должностных лиц мы не имеем определенных указаний. Вероятно, они оставались на местах, пока какая-нибудь оплошность, упущение по службе[7] и т. п. не навлекали гнев начальника, или пока они не дослуживались до высших должностей, относительно которых срок службы был установлен обычаем. Обычай состоял в том, что при смене императоров происходила смена в составе высших должностных лиц, как гражданского, так и военного ведомств.[8]

---

[1] *Psell.*, V, 260, 272, 342, 377.

[2] *Psell.*, V, 380 — о нотарии, принятом на службу по ходатайству магистриссы Далассины.

[3] *Psell.*, V, 279.

[4] *Psell.*, V, 351.

[5] *Attal.*, 181 (*Scyl.*, 706).

[6] *Psell.*, V, 259, 261–262, 280–281, 297–298, 337–338, 342; PG, CXXXVI, 1330.

[7] Ср.: *Psell.*, V, 260, 279.

[8] *Psell.*, IV, 200.

Этот обычай, без сомнения, находился в связи, с одной стороны, с постоянными у византийцев династическими переворотами, под влиянием которых преемник изменял политику своего предшественника, наглядно об этом заявляя (иногда далее и не простираясь) сменой наличного состава управления, с другой — с необходимостью для вновь вступившего на престол императора раздать своим приверженцам и членам сената милости. Так как милости состояли не только в подарках деньгами и недвижимостями, но также в чинах и должностях, и так как должность можно было отдать только тогда, когда она оказывалась праздной, то отсюда и выработалась практика в указанном смысле. Существование этой практики предполагает существование принципа, по которому действие императорской власти имеет силу лишь до тех пор, пока лицо, от которого проистекло действие, обладает властью; чтобы оно имело силу на дальнейшее время, нужно подтверждение нового лица, вступившего во власть. Принцип имел полное приложение в вопросе о назначении должностных лиц. Поэтому правители областей, узнав о вступлении на престол нового государя, отправлялись обыкновенно в столицу засвидетельствовать свои верноподданнические чувства[1] и нередко возвращались на прежние места, получив от нового государя утверждение в должностях. Здесь имела место процедура оставления должности и нового назначения на нее, допускавшаяся, понятно, тогда, когда вновь вступивший на престол не имел побуждений и необходимости менять систему управления и правивших лиц. Процедура оказывалась излишней и должностные лица, помимо ее, оставались на местах в тех случаях, когда вступивший на престол император формально царствовал еще ранее. Мы видим, например, что областные правители, назначенные императором Василием II, при Константине VIII остались на своих местах.[2] Точно так же и Феодора, вступив на престол в 1055 г., многих оставила на местах, заявив при этом, что на престоле никакой перемены не произошло, так как она прежде еще имела императорскую власть.[3] Из других императоров нашего периода историк указывает на Михаила Пафлагона и Константина Мономаха как на таких, которые не произвели перемен в составе управления,[4] очевидно, потому что царская власть того и другого проистекала от власти Зои, а власть Зои и прежде действовала. О Стратиотике известно, что к нему являлись правители фем и ушли утвержденные в прежних долж-

[1] *Arisd.*, 109.
[2] *Arisd.*, 39.
[3] *Arisd.*, 39; *Psell.*, IV, 200–201.
[4] *Psell.*, IV, 52, 137.

ностях.[1] Затем при всех остальных переменах на троне происходила смена должностных лиц. Особенно рельефно она выражалась при насильственных переворотах: смена произведена была Зоей и Феодорой после низвержения Калафата,[2] новые должностные лица назначены после низвержения Стратиотика[3] и Парапинака.[4]

Из византийских должностей одни имеют отношение к придворной службе, другие — к центральному управлению, третьи — к областному.

Придворные должности поручались лицам, состоявшим в услужении у императоров, носившим общее название θαλαμηπόλοι καὶ κατευναστῆρες (камердинеры и постельничие). Это были люди, взятые большей частью из несвободного состояния и евнухи; а так как закон дозволял набирать евнухов из варваров,[5] то между императорскими прислужниками очень часто и попадались варвары, не умевшие правильно говорить по-гречески. Личные царские слуги, вследствие близости к особе императоров, заручались их доверием и возвышались, получали не только придворные, но и чисто государственные должности, их мы видим первыми министрами, им нередко вверялось командование войсками, они исправляли обязанности послов и т. д. Отсюда происходит, что в византийской истории часто выступают на сцену евнухи и лица варварского происхождения. Императоры, пользуясь для государственных целей их услугами, руководствовались тем соображением, что на преданность их можно вполне рассчитывать, не опасаясь каких-нибудь замыслов с их стороны, так как эти люди не были связаны тесными узами с населением Империи и в большинстве случаев не пользовались народным уважением.[6] Действительно, это были самые ревностные приверженцы династии. Недаром Константин VIII выдвигал своих слуг-евнухов на сцену.[7] Никто усерднее их не действовал в пользу его дочерей Зои и Феодоры.[8] Династия Дук тоже имела преданных слуг в лице евнухов, и важнейшие дела, вроде замужества Евдокии с Диогеном, устраивались при их посредстве.[9]

Во главе придворного ведомства стояли препозит и протовестиарий, первый соответствовал старинному praepositus sacri cubiculi (министру

[1] *Arisd.*, 109.
[2] *Psell.*, IV, 100, 104; *Attal.*, 16; *Cedr.*, II, 540.
[3] *Attal.*, 58.
[4] *Attal.*, 270–271 (*Scyl.*, 734).
[5] *Zachariae*, I, 298–299.
[6] *Psell.*, IV, 140 (*Zon.*, IV, 161).
[7] *Zon.*, IV, 125–126; *Arisd.*, 40–41.
[8] *Psell.*, IV, 97; *Cedr.*, II, 537, 541–542.
[9] *Scyl.*, 665.

двора), последний, судя по названию, стоит в соотношении с прежним comes sacrae vestis, одним из подчиненных препозиту чиновников, заведовавшим императорским гардеробом; разница протовестиария нашего периода от прежнего «графа священной одежды» та, что он исправляет обязанности обер-церемониймейстера и по своему положению уравнивается с препозитом до такой степени, что современники представляли обе эти должности нераздельно одну от другой. Так, Симеон Новый Богослов, рассуждая о высоте учительского звания и, в частности, о значении настоятеля монастыря (учителя монахов), заимствует сравнение из придворной сферы и замечает, что никого из лиц, неизвестных императору и всем придворным, не призовут и не скажут: будь препозитом и протовестиарием императора.[1] Несмотря на всю неточность выражений автора, ясно, что, по его представлению, препозит и протовестиарий были чем-то тождественным, обе должности совмещались в одном лице, самом близком к императору и относительно остальных придворных занимавшем такое же положение, какое занимал настоятель монастыря относительно монастырской братии. Как ни сходно было значение этих двух должностей, однако же отождествлять их невозможно ввиду того, что одновременно одно лицо носило звание препозита, другое — протовестиария. Из лиц, носивших в наш период первое звание, известны: при Романе III евнух Иоанн Орфанотроф,[2] при Михаиле Пафлагоне евнух Василий Педиадит (который был отправлен с войском в Сицилию вместе со Стефаном Калафатом),[3] при Мономахе евнух Константин, отправленный с войском против печенегов.[4] Из протовестиариев известны: при Константине VIII евнух Никифор,[5] при Михаиле

[1] PG, XXX, 434, oratio XXIV: si frequens ista et ampla civitas quempiam advocaret ac diceret: te praepositum et imperatoris protovestiarium creabimus, tu solus ascende in regiam, ingressusque causam nostram apud imperatorem age, ipsumque precare, ut haec et illa nobis praestet. Si is palatium nunquam intravisset, sed tam ipsis aulicis omnibus, quam imperatori ignotus esset, num istuc unquam facere, aut dignitatem istam inire sustineret? (Если этот великий и многочисленный народ призовет кого-либо и скажет: «Мы изберем тебя препозитом и протовестиарием императора, восходи один ко престолу, ходатайствуй пред государем о наших делах, моли его, чтобы он явил нам то или иное благодеяние» — а этот <человек> никогда не был во дворце, и ни император, ни придворные не знают его, то разве сможет он исполнить это и взять на себя такую обязанность?)

[2] *Cedr.*, II, 498.

[3] *Cedr.*, II, 523.

[4] *Attal.*, 33.

[5] *Cedr.*, II, 480.

Пафлагоне брат царя, евнух Георгий,[1] при Мономахе и Исааке Комнине Константин Лихуд,[2] при Романе Диогене Василий Малесис,[3] при Парапинаке Андроник, старший сын кесаря Иоанна Дуки,[4] при Вотаниате евнух Иоанн, ходивший с войском против Никифора Мелиссина.[5] Таким образом, оказывается, что эти должности не совмещались, например, при Пафлагоне одну исправлял Педиадит, другую Георгий Пафлагонянин, при Мономахе одну Константин-евнух, другую — Лихуд.

Препозиту как министру двора принадлежал надзор за служащими при дворе и он мог влиять на замещение придворных должностей, например, Михаил Пафлагон занял должность при дворе Романа III, благодаря содействию своего брата, препозита Иоанна. Но в чем заключались обязанности препозита, какова была власть его над служащими при дворе и кто из придворных в частности был ему подчинен, — указаний не имеем. Протовестиарий исполнял обязанности обер-церемониймейстера во время высочайших выходов; при производстве в чины, имевшем место на этих выходах, он должен был подойти к императору, узнать, в какой чин ему угодно произвести того или другого, и затем объявить это во всеуслышание. Историк, рассказывая о высочайшем выходе Вотаниата в неделю Ваий 1078 г., замечает, что произведена была в следующие чины такая масса лиц, что протовестиарий не в состоянии был получать от царя и выкликивать имена, был ими засыпан, ежеминутно подходил к царю для узнавания его воли и опять уходил или даже, стоя на одном месте, спешил провозгласить удостоенных, одного вслед за другим, и понес такой труд, что голос у него отнялся.[6]

Из других придворных должностей упоминаются следующие: протостратор (обер-шталмейстер) — на эту должность при Мономахе был назначен Роман Склир,[7] при Романе Диогене Мануил Комнин (потом сделанный главнокомандующим войск),[8] при Парапинаке Константин, младший сын кесаря Иоанна Дуки;[9] паракимомен (первый постельничий),

---

[1] *Cedr.*, II, 512 (*Zon.*, IV, 139).

[2] *Psell.*, V, 262; *Attal.*, 66 (*Scyl.*, 644; *Zon.*, IV, 194; *Glyc.*, 602; *Ioel*, 164).

[3] *Attal.*, 167; *Scyl.*, 701.

[4] *Bryenn.*, 107.

[5] *Bryenn.*, 159.

[6] *Attal.*, 275. Были и дамы-протовестиарии у императриц, например, жена кесаря Иоанна Дуки. См.: *Anna*, I, 103.

[7] *Cedr.*, II, 547.

[8] *Bryenn.*, 25.

[9] *Bryenn.*, 57. Сказав, что должность протостратора удержала Константина при дворе, в то время как его отец и старший брат уехали в Азию, Вриенний делает

которому принадлежало начальство над служащими в царской опочивальне (κοιτῶν) и в ведении которого были китониты (спальники) — должность паракимомена при Константине VIII исполнял евнух Николай (бывший вместе с тем доместиком схол),[1] при Мономахе евнух Николай (тоже занимавший должность доместика схол);[2] артоклин (хлебодар), наблюдавший за царской трапезой, распределявший места за столом и пр., — должность эту занимал Константин, кандидат на руку Зои, отравленный ревнивой женой;[3] ἄρχων τοῦ πανθέου — должность, которую занимал Михаил Пафлагон и которая состояла в том, что он прислуживал императору, когда тот лежал в постели;[4] манглавиты,[5] иначе называемые равдухами или равдофорами (жезлоносцами), игравшие роль жандармов и во время императорских выходов расчищавшие дорогу от толпы, — в манглавиты был возведен Михаилом Пафлагоном, в награду за подвиги в Сицилии, Гаральд Гардрад,[6] упоминается еще манглавит Василий.[7]

При дворе[8] сосредоточено было и центральное управление. Центральными учреждениями были так называемые секреты, т. е. приказы, в которых работали состоявшие на жалованьи секретари или нотарии,[9] занимавшие места более или менее важные и по степени важности различно оплачиваемые. В числе их были: малые нотарии, диаллакты, меситы, мистографы, фесмографы, царские нотарии, хартуларии, протонотарии;[10]

следующее, не лишенное значения, замечание: τουτὶ δέ τὸ ὀφφίκιον μέγα ἦν ἀεὶ παρὰ βασιλεῦσι καὶ μεγίστοις ἐδίδοτο (эта должность всегда считалась высокой при царском дворе и давалась наизнатнейшим).

[1] *Cedr.*, II, 480; *Яхъя*, у бар. Розена, 70.

[2] *Cedr.*, II, 553, 558–559.

[3] *Cedr.*, II, 541.

[4] *Cedr.*, II, 504; *Zon.*, IV, 134; *Rom. Sal.*, 168. По названию эта должность напоминает прежнего magister larum, которые заведовал принадлежностями домашнего богослужения. Впрочем, титул ὁ ἐπὶ τοῦ πανθέου не всегда соединен был с фактическим занятием придворной должности. В двух транийских грамотах читаем подпись: Ἰωάννης ἐπὶ τοῦ πανθέου καὶ κριτής. Prologo, 58–61.

[5] Μαγγλαβίτης означает: носящий в руке (manus) палку (clava). Манглавитам соответствуют прежние silenciarii.

[6] Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, август, 328.

[7] *Psell.*, V, 198.

[8] Сначала секреты помещались на ипподроме, а потом перенесены ко входу во дворец. См.: *Cedr.*, II, 833; *Psell.*, IV, 92.

[9] Назывались латинскими терминами ἀσηκρῆτις, νοτάριος, а также греческими ὑπογραφεύς, ὑπογραμματεύς.

[10] *Psell.*, V, 205–206, 209, 252–253; *Sathas.* Bibl. gr., I, 11, 57, 66.

с низших мест они выдвигались на высшие по выслуге лет или с помощью других средств. В одном из таких секретов служил в молодости Пселл, горько жаловавшийся на обилие труда, скупость в поощрениях и интриги между чиновниками. Служба в секретах, по его словам, не лучше огня геенского; усердия и уменья надо много, а в возмездие обходят, сердятся и грозят; сослуживцы наперерыв стараются превзойти друг друга, один указывает на старшинство свое по службе, другой старается отличиться беглостью письма или познаниями, третий пускает в ход сплетни и наушничество перед начальством — соревнование и вражда царят невообразимые.[1] В разных секретах ведались дела по разным отраслям управления, во главе их стояли особые лица.

Одним из важнейших секретов был секрет протоасикрита. Это была собственная его величества канцелярия, где сосредоточивалось делопроизводство по делам, поступавшим на высочайшее усмотрение. В этом секрете, составлявшем весьма обширное ведомство, можно было найти замечательных каллиграфов и скорописцев, изготовлявших хрисовулы и записывавших указы под диктовку императоров. Для того, чтобы вести это, по-видимому, незамысловатое дело, иногда требовалась большая сноровка, потому что императоры, диктуя, не обращали внимания, поспевает ли скорописец записывать, или нет. О Константине VIII известно, что он диктовал так быстро, что ни один скорописец не мог записать его слов, и у секретарей была поэтому применена стенографическая система, они отмечали мысли и слова императора с помощью разного рода значков.[2] Когда император отправлялся в поход, за ним двигалась и его канцелярия, без сомнения, не в полном составе. Письмо Пселла, адресованное нотариям, сопровождавшим Комнина в походе, дает понятие о тех разнообразных предметах, которые поступали в их ведение, а следовательно, и в ведение всего секрета, из которого нотарии были откомандированы: главный нотарий (κορυφαῖος) разбирал загадочные письмена, написанные по системе значков, делал поправки, обрабатывал стиль и передавал другому, который переписывал набело; один нотарий писал о войне и вооружении войска, другой о гарнизонах в сторожевых пунктах и обмене посольствами, третий рассматривал дела о несправедливостях областных правителей, четвертый, самый ловкий и бойкий, писал насчет податей и рассылал указы сборщикам.[3] Нотарии царского секрета, отправлявшиеся вместе с императором в поход, были, надо полагать, главнейшие

[1] *Psell.*, V, 248–252.
[2] *Psell.*, IV, 27.
[3] *Psell.*, V, 305, 485–486.

чиновники отделений секрета или даже управляющие секретом и его отделениями. Так, во время последнего похода Романа Диогена против турок принимали участие в походе:[1] протоасикрит (начальник секрета), либеллисий (ведавший царскими грамотами — λίβελλα)[2] и ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων (ведавший прошениями на высочайшее имя и жалобами на должностных лиц). Мы знаем, что должность чиновника прошений исполнял некто Лев, человек замечательного ума и познаний, погибший во время похода, имена протоасикрита и либеллисия неизвестны.[3] Из лиц, проходивших эти должности в другое время (до Романа Диогена и после него) известны протоасикриты: Епифаний Филарет, современник Пселла,[4] и сам Пселл;[5] οἱ ἐπὶ τῶν δεήσεων: Иоанн при Мономахе,[6] Лев, митрополит Патр,[7] Николай, современник Епифания Филарета, замешанный в какой-то заговор и за это наказанный конфискацией имущества, которое было отдано Епифанию.[8] Либеллисия не знаем по имени ни одного.

К числу сановников центрального ведомства принадлежал хранитель каниклия (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου), наблюдавший за чернильницей с пурпурными чернилами и подносивший ее императору, когда требовалось подписывать бумаги. Едва ли этому сановнику нужен был особый секрет;[9] сам он, вероятно, входил в состав секрета, которым заведовал протоасикрит. При Мономахе хранителем каниклия был Василий.[10]

За секретом протоасикрита следовал секрет, которым управлял сановник, называемый логофетом дрома или просто логофетом; первое лицо в этом секрете, после логофета дрома, был протонотарий дрома.[11] Из лого-

---

[1] *Psell.*, V, 451–455.

[2] В прежнее время либеллисий был чиновник, подведомственный квестору (*Const. Porphyr.*, I, 718), сановнику, на обязанности которого лежало делать доклады государю и полученным от императора резоляциям сообщать соответствующую форму.

[3] *Атталиот* (167) (*Scyl.*, 701) называет протоасикрита Хиросфактом, но это ошибка. Хиросфакт был протонотарием дрома. *Psell.*, V, 372, 451–455.

[4] *Psell.*, V, 213, 430–431.

[5] *Psell.*, V, 171–176.

[6] PG, CXX, 745.

[7] *Psell.*, V, 333.

[8] *Psell.*, V, 213–215.

[9] Ср.: *Const. Porphyr.*, I, 719: τῷ δε χαρτουλαρίῳ τοῦ κανικλείου οὐδὲν ὑποπέπτωκε διὰ τὸ καθ' ἑαυτὸν μόνον ὑπηρετεῖν (у хартулария каниклия нет подчиненных, ибо он исполняет свою службу один).

[10] *Cedr.*, II, 610 (*Glyc.*, 599).

[11] *Const. Porphyr.*, I, 718.

фетов дрома известны: Анастасий при Михаиле Пафлагоне или Калафате,[1] при Мономахе — Иоанн,[2] при Феодоре — Никита,[3] при Стратиотике — Никита Ксилинит,[4] при Парапинаке — Никифорица.[5] Из протонотариев дрома известны: Константин при императоре Мономахе,[6] при Романе Диогене Евстратий Хиросфакт, погибший во время похода против турок,[7] при неизвестном, современном Пселлу, государе — кир Иоанн.[8] Как показывает само название, в ведении логофета дрома прежде всего была государственная почта, существовавшая, разумеется, не для общественных надобностей, например, пересылки частных писем, а для перевозки чиновников, иностранных послов, ссыльных, для сопровождения которых в распоряжении логофета находились мандаторы.[9] Рассылка императорских указов лежала на логофете как министре путей сообщения; с существом его должности находились также в связи обязанность докладывать царю об общем состоянии государства,[10] а для того чтобы собирать об этом сведения, у него была в распоряжении государственная полиция,[11] в разных местах существовали надсмотрщики (ἐπισκεπτίται, нечто вроде шпионов);[12] наконец, на обязанности логофета дрома лежало представлять императору иностранных послов, спрашивать их от имени императора о здоровье их государей, передавать императору их ответы и вообще говорить с послами от имени императора,[13] — для

[1] *Cedr.*, II, 543.

[2] *Cedr.*, II, 610 (*Glyc.*, 599).

[3] *Cedr.*, II, 611.

[4] *Cedr.*, II, 623.

[5] *Attal.*, 182 (*Scyl.*, 706; *Zon.*, IV, 219; ***Glyc.*, 613**).

[6] *Cedr.*, II, 610 (*Glyc.*, 599).

[7] *Psell.*, V, 372.

[8] *Psell.*, V, 373. Вероятно, ему же адресовано письмо Пселла: «синкеллу и протонотарию дрома». PG, CXXXVI, 1325.

[9] Μανδατώρων τοῦ δρόμου πρέσβεις ἀγόντων ἢ ἐξορίστους. *Sathas*. Bibl. gr., I, 56, 64.

[10] ὁ τῶν δημοσίων πραγμάτων τὰς ὑπομνήσεις τῷ βασιλεῖ διακομίζων, по словам патриарха Никифора. Ср.: *Const. Porphyr.*, II, 58.

[11] По свидетельству Пселла, в энкомии Симеону Метафрасту у Алляция. Ср.: *Rambaud* (99), у которого разоблачен также ложный взгляд *Краузе* (216–217) насчет значения должности логофета, и Алляция, предполагавшего существование в X в. «великого логофета», который, как известно, введен Андроником Палеологом.

[12] *Const. Porphyr.*, I, 718.

[13] *Luitpr.* Hist., VI: imperator non voce sua, sed per logothetam cum legatis loquitur. Ср.: *Const. Porphyr.*, I, 680–686.

этой цели у логофета находились в распоряжении драгоманы (ἑρμηνευταί).[1] Словом, логофет дрома во многом напоминал прежнего magister officiorum, с тем различием, что круг его ведения был у́же, чем у последнего.

За секретом министра путей сообщения нужно поставить финансовые секреты. Судя по грамотам,[2] они следовали в таком порядке. Секрет великого сакелларий, называемого также просто сакелларием; лицо, стоявшее во главе этого секрета, имело верховный надзор за всеми финансовыми секретами.[3] Секрет логофета общих дел, т. е. министра государственных финансов (ὁ γενικός, λογοθέτης ὁ γενικός, λογοθέτης τοῦ γενικοῦ);[4] эту должность в середине XI в. занимал Константин Керулларий, племянник патриарха Михаила, состоявший тогда в чине протопроедра.[5] Секрет военного логофета (τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθέτου), заведовавшего расходами

---

[1] *Const. Porph.*, I, 718.

[2] *Sathas.* Bibl. gr., I, 66, 56: τῶν κατὰ καιροὺς σακελλαρίων γενικῶν καὶ στρατιωτικῶν λογοθέτων τῶν ἐπὶ τῆς ἡμετέρας σακέλλης καὶ τοῦ βεστιαρίου, οἰκονόμων τῶν εὐαγῶν οἴκων καὶ τῶν πετρίων, τῶν επὶ τῶν οἰκειακῶν καὶ τῶν ἐφόρων τῶν κουρατορικῶν εἰδικῶν γηροτρόφων, τῶν ἐπὶ τοῦ θείου ἡμῶν ταμείου τοῦ φύσκου, κουρατόρων τοῦ οἴκου τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν μαγγάνων, οἰκιστικῶν καὶ ὑπ᾽ αὐτοὺς πρωτονοταρίων, χαρτουλαρίων, βασιλικῶν νοταρίων καὶ νοταρίων (сакелларии, логофеты общих дел, хранители нашей сакеллы и вестиария, экономы богоугодных заведений, управляющие частными делами, надзиратели частных домов престарелых, хранители нашего божественного казначейства фиска, кураторы Элевтерий и Манган, икистики и подвластные им протонотарии, хартуларии, царские нотарии и нотарии). Хрисовул Михаила Парапинака Атталиоту от 1075 г. был явлен: εἰς τὸ σέκρετον τοῦ γενικοῦ λογοθέτου... εἰς τὸ σέκρετον τῶν οἰκειακῶν... εἰς τὸ σέκρετον τῆς σακέλλης... εἰς τὸ σέκρετον τοῦ οἰκονομίου τῶν εὐαγῶν οἴκων... εἰς τὸ σέκρετον τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθέτου (в секрет логофета общих дел... в секрет частных дел... в секрет сакеллы... в секрет монастырской экономии... в секрет военного логофета). Хрисовул ему же Никифора Вотаниата от 1079 г. явлен: εἰς τὸ σέκρετον τῶν οἰκειακῶν... εἰς τὸ σέκρετον τῆς σακέλλης... εἰς τὸ σέκρετον τοῦ μεγάλου σακελλαρίου... εἰς τὸ σέκρετον τοῦ οἰκονομίου... εἰς τὸ σέκρετον τοῦ γενικοῦ λογοθέτου... εἰς τὸ σέκρετον τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθέτου (в секрет частных дел... в секрет сакеллы... в секрет великого сакелларий... в секрет экономии... в секрет логофета общих дел... в секрет военного логофета). *Sathas*, I, 53, 57–58.

[3] *Const. Porphyr.*, I, 717: τῷ σακελλαρίῳ ὑποτέτακται τὰ ὀφφίκια πάντα διὰ τὸ ἐν ἑκάστῳ σεκρέτῳ τὴν ἐπισκοπὴν τῶν ἐκεῖσε πραττομένων διὰ τῆς καταγραφῆς τοῦ οἰκείου νοταρίου ποιεῖσθαι (все должностные лица подчинены сакелларию, ибо он посредством своего нотария контролирует деятельность каждого секрета).

[4] Он соответствовал прежнему comes sacrarum largitionum.

[5] *Psell.*, V, 441, 467.

по содержанию армии и флотов. Секрет царской сакеллы, т. е. императорской казны, состоявшей из денег и разного рода ценностей;[1] Константин Керулларий, до назначения на должность логофета общих дел, состоя еще в чине магистра, заведовал сакеллой и назывался поэтому сакелларием.[2] Секрет монастырской экономии (τοῦ οἰκονομίου τῶν εὐαγῶν οἴκων), имевший отношение к царским монастырям и богоугодным заведениям, управлявшийся экономом.[3] Удельный секрет, называвшийся секретом частных, приватных дел (τῶν οἰκειακῶν) и находившийся под управлением министра приватных дел, т. е. императорских имуществ (ὁ ἰδικός, ὁ ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν).[4] С этой должностью,[5] можно думать, соединились обязанности, лежавшие на великом кураторе,[6] или куропалате, после чего название куропалат из должности превратилось в чин.

Константин Мономах учредил еще секрет, во главе которого поставил министра юстиции (ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων). Кто занимал эту должность тотчас после учреждения секрета, не знаем, но потом был на нее назначен преподаватель права (номофилакс)[7] Иоанн Ксифилин.[8] В этом секрете составлялись судьями образцовые официальные бумаги и хранились копии решений. Способ выражения, употребленный историком в рассказе об учреждении секрета,[9] заключает в себе намек на то, что нечто подобное

[1] Saccus = thesaurus. Βεστιάριον, в котором хранились утварь, одежды и ценные ткани, неразрывно был связан с сакеллой. Государственное казначейство (ταμεῖον τοῦ φύσκου) было учреждением, отличным от сакеллы.

[2] *Psell.*, V, 277–278.

[3] В ближайшем отношении к эконому находились, вероятно, εἰδικοὶ γηροτρόφοι (содержатели домов престарелых).

[4] *Psell.*, V, 259, 277, 421.

[5] Она соответствует должности, которую в прежнее время занимал comes rerum privatarum divinae domus.

[6] *Const. Porphyr.*, I, 720: τῷ μεγάλῳ κουράτωρι ὑποτέτακται... κουράτωρες τῶν παλατίων, κουράτωρες τῶν κτημάτων... (великому куратору подвластны... кураторы дворца, кураторы имений)

[7] Должность номофилакса была введена Мономахом позже должности министра юстиции. См.: *Attal.*, 21; *Zachariae*, III, 321; *De-Lagarde*, 195 sq.

[8] *Psell.*, V, 409; IV, 431.

[9] *Attal.*, 21–22: ἐκαίνισε δέ καὶ σέκρετον (а не δέκρετον) δικῶν ἰδιωτικῶν, ἐπὶ τῶν κρίσεων καλέσας τόν τούτου προέχοντα. ἐν τούτῳ οἱ τῶν ἐπαρχιῶν (*Zachariae*. Gesch. des gr. röm. Rechts, 2 Aufl., Berlin, 1877, 349, предпочитает чтение: τῶν ἐπάρχων) δικασταὶ καὶ συντάττουσι τὰ ποιητέα ἐγγράφως καὶ τὰ τῶν σχεδαρίων ἐναποτιθέασιν ἴσα δι' ὑποψίας ἀπαλλαγήν (он возобновил секрет судов по частным делам и назвал его главу председателем судов. В нем епархиальные судьи составляют письменные акты и, дабы избежать подозрений, оставляют копии решений).

существовало и в прежнее время, Мономах же только возобновил прежний порядок вещей. В связи с этим, не лишено значения показание армянского историка, что отец Константина Мономаха, Феодосий, стоял во главе судебной части и что от него получали назначение судьи во всей Империи.[1] Последние слова сомнительны, потому что назначение областных правителей, или что то же — судей, централизовано было в то время, когда жил Феодосий, в руках императора. Но первая половина свидетельства не заключает ничего несообразного, Феодосий мог стоять во главе учреждения, похожего на то, которое потом было возобновлено его сыном.

Были в Византии и другие секреты, например, τὸ τοῦ Ἀντιφωνιτοῦ σέκρετον,[2] в который Пселл поместил своего обрученного зятя Елпидия, но для выяснения значения как этого, так и других секретов нет данных.

Независимо от секретов и лиц, ими управлявших, стоял первый министр, не приуроченный ни к какому ведомству, но имевший влияние на все отрасли управления. К нему не прилагается какого-нибудь определенного названия, но разные эпитеты, указывающие на положение его при царе и в управлении, как-то: παραδυναστεύων, μεσάζων, μεσίτης ἐς τὸν βασιλέα, πρωτεύων, τὰ πρῶτα φέρων τῷ βασιλεῖ (причастный к управлению, посредник, царский посредник, первенствующий, занимающий первое место при царе). При выборе первого министра не имело значения его общественное положение: мог быть избран в первые министры сановник придворного или центрального управления, препозит, протовестиарий, логофет, друнгарий; первый министр мог быть светским чиновником и мог быть духовным лицом; после назначения на должность он не терял прежнего своего положения, продолжал занимать место в придворном или ином ведомстве и с тем вместе управлять государством в пределах власти, принадлежащей царю. Первому министру присвоены были некоторые внешние отличия[3] и почетная стража.[4] Он был душой императора, власть императора служила только для прикрытия действий министра, сообщая ей внешний вид законности. Разумеется, первый министр требовался тогда, когда император лично был не в состоянии или не находил нужным заниматься делами; но он мог взять государственное бремя на себя и совсем не иметь первого министра. Если по той или другой причине император допускал рядом с собой alter ego в лице первого министра,

[1] *Arisd.*, 55.
[2] *Psell.*, V, 205.
[3] *Psell.*, IV, 411.
[4] *Psell.*, IV, 83.

то тем самым делался обыкновенно лишь орудием в руках последнего. В энкомии Константину Лихуду рассказывается, что Лихуд, будучи первым министром Мономаха, вел себя таким образом: он показывал вид, что во всем действует по указанию и воле царя; если о чем его спрашивали, он не тотчас давал ответ, но подходил к царю и, возвратившись, отвечал на вопрос, — все были убеждены, что решение исходит от императора, а император даже не знал, о чем речь; бывало часто и так, что император сидел на троне, а внизу устанавливались те, которые имели нужду к императору и хотели спросить его о чем-нибудь, — на все вопросы давал ответы или первый министр, наклонявший предварительно ухо к императору с таким видом, как будто слушает приказ императора, что ответить, или сам император, которому предварительно первый министр внушал, в каком смысле сказать.[1] В том же энкомии перечислены предметы, которыми приходилось ведать первому министру: он, по словам энкомиаста, соначальствовал стратигам, подавая им советы, толковал сомнительные законы, писал приказы о назначении на должности,[2] делал распоряжения насчет государственных податей, по каждому делу полагал решение; ко всему этому на нем лежала обязанность утишать поднимавшиеся волны государственного моря или, говоря менее образным языком, поддерживать внутреннее спокойствие в Империи и предотвращать возможные вспышки со стороны недовольных.[3] Словом, вся та власть, которая по закону объединялась в лице императора, практически находилась в руках первого императорского министра. Неудивительно после того, что первый министр не знал покоя ни днем, ни ночью. Озабоченный тем, чтобы государственная машина двигалась правильно и безостановочно, он должен был еще исследовать подпольную область, не грозит ли откуда опасность. Иоанн Орфанотроф в глубокую полночь объезжал город и все высматривал, нет ли где чего подозрительного; на пирах, на дружеской попойке его никогда не покидала озабоченность; он замечал все слова и движения собутыльников, делал выводы из услышанного и сообразно с тем принимал потом свои меры.[4] При такой широте фактической власти нужны были высокие гражданские добродетели, чтобы не злоупотреблять положением, тем более что поводы к злоупотреблениям постоянно представ-

[1] *Psell.*, IV, 402; ср. 189.

[2] Равно и при увольнении от должности первому министру принадлежал влиятельный голос: когда судья Опсикия, Зома, просился по болезни в отставку, Мономах советовался по этому делу с первым министром. См.: *Psell.*, V, 483.

[3] *Psell.*, IV, 400–401.

[4] *Psell.*, IV, 54.

лялись. Пселл имел полное основание удивляться такому феномену, как Лихуд, ни от кого ничего не бравший,[1] потому что искушения были на каждом шагу, и если еще на злоупотребления других чиновников можно было надеяться найти управу, то на первого министра — никакой, разве только можно было с некоторым успехом апеллировать к собственному мечу.[2]

Почти все лица, бывшие первыми министрами в наш период, известны по имени. Перед смертью Василия II первым министром был протонотарий Иоанн.[3] Но при Константине VIII он удалился от дел, постригся, и хотя Роман III опять призвал его ко двору,[4] однако же не видно, чтобы сделал первым министром. При Константине VIII, как показывает история избрания Романа Аргира, пользовался большим влиянием Симеон, друнгарий виглы,[5] — можно думать, что именно он был первым министром. При Романе III царским доверием овладел препозит Иоанн, который затем принял монашество, из препозита превратился в орфанотрофа и синкелла и оставался первым министром при Михаиле Пафлагоне и в начале царствования Калафата.[6] После ссылки Иоанна влияние его перешло к новеллисиму Константину.[7] При Константине Мономахе первым министром сначала был протовестиарий Лихуд,[8] а когда по проискам врагов он был удален,[9] на место его был поставлен логофет Иоанн,[10] человек малоспособный и необразованный. По смерти Мономаха опять пригла-

---

[1] *Psell.*, IV, 404: τὸ θαυμασιώτατον, ὅτι μηδὲν παρὰ μηδενὸς εἰληφώς, ἀλλ' ἀνωτέραν λημμάτων τὴν ψυχὴν καὶ τὴν χεῖρα τετηρηκώς... (самое удивительное, что ни у кого он не принял ни одного подношения и сохранил свою длань и душу в чистоте от взяток).

[2] Так и поступил, между прочим, Алусиан, стратиг Феодосиополя. Когда на него возведено было обвинение по должности, Иоанн Орфанотроф, не задавая себе труда исследовать дела, наложил на обвиненного пеню в 50 литр золота и отнял прекрасное женино именье в Харсианской феме; обиженный жаловался, но жалоба ни к чему не повела, едва ли даже дошла до рук императора: тогда Алусиан перешел в лагерь мятежников. См.: *Cedr.*, II, 531.

[3] К нему в отсутствие Василия II был прислан мятежник Никифор Ксифий, которого он постриг; он же интронизовал патриарха Алексия. См.: *Cedr.*, II, 478, 480.

[4] *Cedr.*, II, 486.

[5] *Cedr.*, II, 484.

[6] *Psell.*, IV, 14, 72, 77–79; *Attal.*, 11; *Zon.*, IV, 138, 150; *Cedr.*, II, 504.

[7] *Psell.*, IV, 80.

[8] *Psell.*, IV, 411; *Attal.*, 66 (*Scyl.*, 644; *Zon.*, IV, 194; *Glyc.*, 602).

[9] *Psell.*, IV, 189–190 (*Zon.*, IV, 180), 405.

[10] *Cedr.*, II, 610 (*Zon.*, IV, 180; *Glyc.*, 599).

шали на должность Лихуда, но он отказался и ограничился лишь тем, что, как человек опытный, подавал иногда советы другим, державшим в руках кормило правления.[1] Только при Исааке Комнине он опять занял место первого министра.[2] Феодора сделала первым своим министром лицо духовное, синкелла Льва Параспондила, который в звании протосинкелла занимал это место и при Стратиотике.[3] При Константине Дуке не упоминается о первых министрах; Пселл имел, правда, большое влияние, но влияние его не исключало личного, и притом весьма энергичного, участия самого государя в делах. При Диогене место первого министра принадлежало ученому и опытному в государственных делах логофету вод, протовестиарию Василию Малесису.[4] При Михаиле Парапинаке первым министром сначала был митрополит Сидский, протосинкелл Иоанн, а потом он был вытеснен занявшим его место логофетом дрома Никифорицей.[5] При Вотаниате опять поступил на место первого министра митрополит Сидский;[6] занимал также это место какой-то монах Михаил, уроженец Никомидии,[7] чином ипертим,[8] — неизвестно только, кто из них следовал за другим, Иоанн за Михаилом или Михаил за Иоанном; с большей вероятностью можно предположить первое, так как Михаил в самом начале царствования Вотаниата умер.

Как на переходную ступень от центрального управления к областному можно смотреть на ведомство эпарха, находившееся в соотношении со старинным административным устройством. Рим и Константинополь были выделены из общего территориального состава Империи и организованы в две самостоятельные префектуры, с префектами во главе. Слово «эпарх» вполне соответствует прежнему «префект»,[9] по своему положению

---

[1] *Psell.*, IV, 406.

[2] *Psell.*, IV, 409.

[3] *Attal.*, 52; *Cedr.*, II, 611, 619; *Zon.*, IV, 181; *Psell.*, IV, 201–204.

[4] *Attal.*, 167 (*Scyl.*, 701).

[5] *Attal.*, 180, 182, 200 (*Scyl.*, 705–706; *Zon.*, IV, 219; *Glyc.*, 613).

[6] *Zon.*, IV, 231.

[7] Следовательно, это был не Михаил Пселл, тоже ипертим и монах, но уроженец Византии.

[8] *Attal.*, 296–297.

[9] Были praefectus urbi и praefectus praetorio (префект города, префект претория), обозначавшие первоначально две различные должности. В македонский период они являются слившимися в одну, как показывают *Василики* (VI, 4), которые в одном и тот же титуле говорят о praefectus urbi и praefectus praetorio. В других памятниках македонского периода (*Эпанагога*, *Notitia* Филофея от 900 г.) выступает один только ἔπαρχος или ὕπαρχος τῆς πόλεως (эпарх, ипарх города).

эпарх напоминает префекта: как в прежнее время префект был отблеском императорской власти, так и теперь власть эпарха напоминала царскую власть, хотя он и не украшался порфирой.[1] Отличительными знаками достоинства эпарха служили пояс и инсигнии, лишение эпарха должности сопровождалось отнятием этих отличий.[2] У эпарха находились в распоряжении лица, услугами которых он мог пользоваться при исполнении лежавших на нем обязанностей. По своим обязанностям эпарх был обер-полицмейстер столицы. На нем лежала обязанность наблюдать за общественным спокойствием в столице и охранять жилище императора — дворец; нарушение порядка и общественной безопасности в стенах Византии было знаком недеятельности эпарха.[3] Эпарх имел полицейскую власть над жителями Византии, надзор за производством торговли и ремесел, и вообще должен был исполнять многое, что и в наше время соединяется с понятием полицейской службы. Так, например, при наружных высочайших выходах делом эпарха было наблюдать за улицами, по которым двигалась процессия,[4] он же должен был доставлять сенаторам повестки с приглашением на высочайшие выходы, равно как делать оповещения народу,[5] заключение кого-нибудь под стражу; отправление под караулом в ссылку, пока действие совершалось в стенах столицы, опять вызывали на сцену эпарха, и потому, когда приказано было перевести низвергнутого Калафата из Студийского монастыря в другое место, для исполнения приказа явился не кто иной, как эпарх.[6] Некоторые из лиц, занимавших должность эпарха, нам известны: был эпархом Роман Аргир,[7] впоследствии император; при Калафате упоминается эпарх патриций Анастасий,[8] который во время народного возмущения против Калафата был заменен Кампанаром;[9] при взятии Византии Алексеем Комнином место эпарха занимал Радин.[10]

---

[1] *Psell.*, IV, 28: τὸ τοῦ ἐπάρχου ἀξίωμα βασίλειος δέ αὕτη ἀρχή, εἰ μὴ ὅσον ἀπόρφυρος.

[2] *Attal.*, 75: ἀφαιρεθεὶς δὲ τὴν ζώνην καὶ τὰ παράσημα (...лишен пояса и знаков отличия).

[3] *Attal.*, 75 (*Scyl.*, 652).

[4] Ср.: *Const. Porph.*, II, 37.

[5] Поэтому манифест-воззвание Калафата читал народу на площади городской эпарх. См.: *Attal.*, 14.

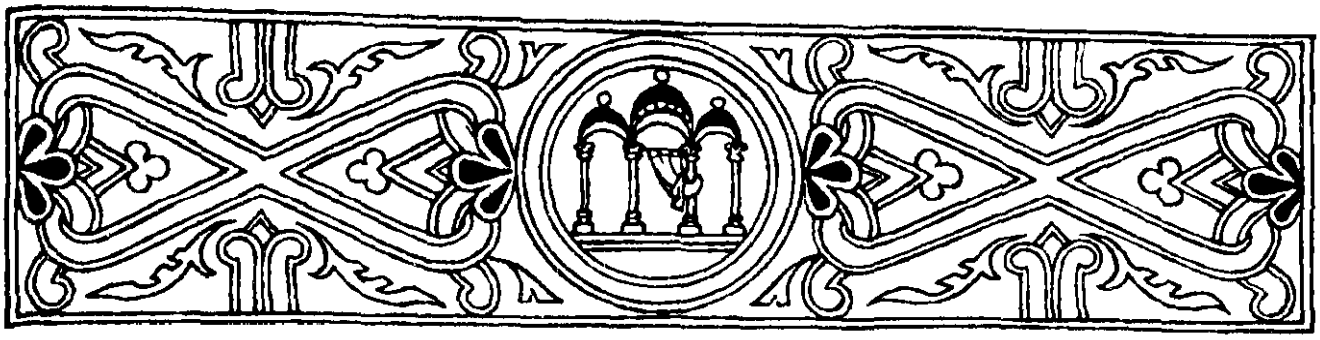
[6] *Psell.*, IV, 100.

[7] *Psell.*, IV, 28 (*Zonar.*, IV, 127); *Яхъя*, у бар. Розена, 71.

[8] *Cedr.*, II, 537.

[9] *Cedr.*, II, 540.

[10] *Anna*, I, 134.



Глава четвертая

Областное управление Византийской империи было организовано по территориальным округам, которые обыкновенно носят название фем, но иногда называются также епархиями.[1] Образование фем, относящееся ко времени, предшествующему рассматриваемой нами эпохе, было результатом двух течений: с одной стороны — стремления к централизации управления, с другой — находившейся в зависимости от централизационной тенденции и вынужденной вместе с тем обстоятельствами необходимости объединения военной власти с гражданской.

Со времен императора Августа вся Империя была разделена на провинции императорские (пограничные) и сенатские (внутренние); первые управлялись императорскими легатами, которые сосредоточивали в своих руках власть гражданскую и военную, в последних консуляры пользовались только властью гражданской и не имели военной, но это происходило не в силу существования правительственного принципа разделения властей, а по той причине, что поддерживалось еще республиканское начало, по которому в мирных провинциях нельзя было располагать войска на квартирах. Что принцип разделения властей отсутствовал в государственном устройстве, видно уже из того, что в стенах Рима префект города был не только администратор и судья, но и предводитель городской милиции (cohortes urbanae), а префект претория не только командовал преторианцами, но, в отсутствие императора, председательствовал в верховном государственном совете, куда поступали arcana imperii и дела по апелляциям. С конца III в. войска стали располагаться безразлично во всех провинциях, но вместе с тем строгим образом проведено начало

[1] Особенно любит называть их епархиями *Атталиот* (77, 103, 144, 146), употребляющий, впрочем, и название фема (103, 147, 149). Пселл тоже применяет иногда старинный термин епархия, наряду с термином фема, см.: PG, CXXXVI. 1330. Название «епархия» встречается и в письмах Иоанна Евхаитского, см.: *De-Lagarde*, 56, 77.

отделения военной власти от гражданской; для заведования войском были особые предводители (magistri equitum et peditum, duces et comites), которые не имели никакого отношения к управлению, в свою очередь лица, ведавшие гражданским управлением, не касались военного. Мало того, гражданская сфера была разделена; судебно-административная часть и сбор податей, в прежнее время не отделявшиеся, теперь были разделены. Самое деление Империи как территории с установлением в выделенных единицах должностей судебно-административных и финансовых было выполнено по плану градации и соподчинения низших территорий и правящих ими лиц высшим. Таким образом оказалось четыре громадные префектуры,[1] с префектами претория во главе, в 4-х префектурах 14 диоцезов или епархий, с викариями[2] во главе, а в 14-и диоцезах 116 провинций, управлявшихся проконсулярами, консулярами, президентами и корректорами. Рядом с этими правителями, имевшими судебно-административную власть, стояли лица, от них независимые, для заведования финансовой частью (comites largitionum, rationales etc.). Они сносились прямо с министром государственных имуществ, тогда как в системе Августа хотя и были прокураторы при легатах императорских провинций и квесторы при проконсулах сенатских провинций, стоявшие до известной степени в непосредственной зависимости (по предмету своего ведения — сбору податей) от императора и сената, однако же этим совершенно не исключалась их зависимость от провинциальных правителей.

Устройство фем было в известной мере шагом назад, возвращением от Диоклетиано-Константиновой системы к системе первых трех веков: градация территориального и судебно-административного деления Империи исчезает, вместо префектур, диоцезов и провинций появляются только фемы, занимающие среднее место между прежними диоцезами (или епархиями) и провинциями, сначала более напоминающие по своим

---

[1] Praefecturae: Orientis, Illiricum, Italia, Galliarum, не считая Рима и Византии, двух самостоятельных префектур, а также проконсульских провинций Азии и Африки с Карфагеном, управлявшихся sacra vice, непосредственно от имени императора.

[2] «Викарии» было общее название правителей диоцезов, исключая двух, правителя Восточного диоцеза (Orientalis) восточной префектуры, который назывался comes, и правителя диоцеза Египта (тоже восточной префектуры), который назывался praefectus augustalis — титулом, ведущим начало от основателя Империи, Августа. Еще два диоцеза не знали викариев, но не потому что имели правителей с другим титулом, а потому что управлялись непосредственно префектами претория, а именно: диоцез Дакия, управлявшийся префектом Иллирика, и диоцез Западный Иллирик, управлявшийся префектом Италии.

размерам и численности диоцезы, а потом чем дальше вглубь Средних веков, тем более приближающиеся к провинциям; с исчезновением градации исчезает и иерархически-постепенная подчиненность правящих лиц центру, и правители фем, помимо промежуточных ступеней, ставятся в непосредственную зависимость от императора; исчезает далее принцип разделения властей, правители фем делаются и военачальниками, подобно легатам первых веков Империи; исчезает, наконец, полная независимость лиц, заведовавших финансовой частью от областных правителей, они занимают относительно этих последних такое же положение, какое занимали прокураторы и квесторы относительно легатов и проконсулов. Это ретроградное движение находилось в связи с успехами, какие делала централизация, все нервы государственного организма стянувшая к личности императора, а также, как выясняет Константин Багрянородный в своем сочинении о фемах,[1] в связи с военными предприятиями агарян, производивших опустошительные набеги на города и деревни и тем заставивших византийских императоров раздробить прежние большие округи на меньшие и поставить для заведования ими стратигов, которые бы не только управляли населением, но и защищали его от неприятельских нападений. После того как войско осело в округе, начальник войска сделался областным правителем, военный элемент слился с гражданским, — название, прежде прилагавшееся к военному отряду (θέσις, θέμα), было приложено к области, к территории, которая стала называться фемой; повторилось явление, некогда имевшее место в Нумидии, которая стала называться легионом от полка (легиона), здесь квартировавшего, или у германцев, у которых деревенские общины назывались сотнями (hundrede, huntari) от военных отрядов — сотен, на которые делилось народное ополчение.

Переделка порядков управления, завершившаяся устройством фем, впервые начинает проявляться в V в. Из памятника (*Notitia dignitatum*), относящегося по происхождению к этому времени, видно, что в двух разбойничьих провинциях — Аравии и Исаврии — власть военная и гражданская соединена была в одном лице. Обыкновенно объясняют[2] это явление тем, что реформа (отделение военной власти от гражданской) не была применена к этим двум провинциям — в них оставлен прежний порядок вещей, господствовавший и во всех других провинциях до конца III в. Но можно и иначе смотреть на дело, видеть в нем не продолжение, а возвращение к прежнему порядку. В VI в. новое устройство применяется

[1] *Const. Porph.*, III, 16.

[2] *Rambaud*, 183 sq.

энергичнее. Современный Юстиниану писатель, Лид (De magistratibus), констатирует факт распадения префектур претория и власти префектов на меньшие единицы. Слитие власти допущено было Юстинианом во многих местах: сначала он и в Аравии отделил власть гражданскую от военной, поручив ее ведению модератора, но потом изменил свое решение и не только сосредоточил в Аравии обе власти в одних руках, но распространил тот же порядок на Писидию, Ликаонию, Фракию, Геленопонт, Пафлагонию, Каппадокию и подтвердил его для Исаврии.[1] Во всех этих странах была соединена власть гражданская и военная и основанием для применения этой меры Юстиниан выставлял в своих новеллах мятежный дух населения. Таким образом, еще до VII в. положено было начало той системе, которая потом названа техническим термином по имени греческих полков — фем. В науке после Финлея упрочился взгляд, что император Ираклий (610–641) первый сделал решительный шаг в деле устройства фем, а после него Лев III Исавр (718–741) частью реорганизовал, частью довершил новую систему. Этот взгляд, не имеющий для себя прямых документальных опор, а только косвенные доказательства, тем не менее должен быть допущен в том смысле, что эти императоры, много заботившиеся — первый об упорядочении администрации, второй сверх того о наиболее целесообразной организации военных сил, могли обратить серьезное внимание на систему, задатки которой положены были задолго до их времени. Не подлежит сомнению факт, что технические выражения, служащие для обозначения устройства, впервые встречаются у историков два десятка лет спустя после смерти Ираклия и затем делаются обычными терминами.[2] Этот факт, в связи со свидетельством Константина Багрянородного,[3] удостоверяет, что разделение на фемы (с применением к выделенным областям технического термина «фема») начинает входить в употребление с императора Ираклия. От X в. мы имеем систематический обзор фем, вышедший из-под пера Константина Багрянородного. Но его сочинение не считается достаточным памятником для ознакомления с современным автору положением вещей, так как оно изобилует странными объяснениями происхождения стран и народов и

[1] Nov. 102, 27, 24, 25, 26, 28, 29, 30.

[2] В 668 г. упоминается Сапор, стратиг Армениака, в 669 г. — фема Анатолик, в 679 г. — фема Фракия. в 698 г. — друнгарий Кивирреота, в 732 г. — стратиг Кивирреота, в 713 г. — комит фемы Опсикия, в 711 г. — турмарх Фракисия. в 742 г. — стратиг Фракисия. См.: *Theoph.*, 533, 539, 559, 567, 580, 587, 631, 638.

[3] *Const. Porph.*, III, 12.

географическими анахронизмами, зависевшими от того, что сочинение составлено по древним источникам, главным образом по Гиероклу, современнику Юстиниана I.[1] Если для X в. данные, сообщаемые этим сочинением, недостаточны, то тем менее они удовлетворительны для XI в., потому что разделение на фемы не было чем-нибудь постоянным, но беспрестанно менялось, смотря по нужде и обстоятельствам: то несколько фем соединялось в одну, то одна разделялась на несколько, то от одной фемы отделялись участки и присоединялись к другой; при определении границ нисколько не стеснялись национальными мотивами, не заботились о том, чтобы границы фемы совпадали с границами национальности, так что одна и та же народность встречается в четырех-пяти фемах и фемы не носят названия народностей, а называются или по местопребыванию стратига, или географическими именами стран, или именами каких-нибудь знаменитых личностей, или наконец именами, заимствованными от случайных событий. Изменчивость деления на фемы видна уже из показаний Константина Багрянородного, например, о нововведениях его отца, Льва Мудрого,[2] она отразилась также в разноречивости показаний Константина Багрянородного о фемах в разных его сочинениях.[3] Та же изменчивость обнаружится, если сравним количество фем в X и XI вв. Тогда как Константин Багрянородный насчитывает их 29 (17 в Азии и 12 в Европе), в XI в., как покажет нижепредставляемый перечень, число их простиралось до 38.[4]

Фемы и до XI в. занимали, без сомнения, в списках высшее или низшее место, смотря по их важности и значению для государства. Критерием для определения сравнительной важности той или другой фемы в XI в. служат названия, прилагавшиеся к правителям фем. В трех фемах (Фракисий, Армениак, Эллада-Пелопоннес) к областному правителю прилагается иногда название претор (πραίτωρ), в одной феме (Болгария) — сатрап. Но эти названия встречаются в виде исключений и рядом с ними к правителям тех же фем применяется одно из ординарных названий, употреблявшихся в XI в. в Византии для обозначения воевод. Таких ординарных названий три: в одних фемах лица, заведовавшие управлением, называются дуками, в других катепанами, в третьих стратигами. Что касается

[1] *Rambaud*, 164–170.

[2] Об образовании турмы Commata и увеличении Харсианской фемы за счет Букелларий и Армениака.

[3] «De administrando imperio» сравнительно с «De thematibus».

[4] Об изменениях, происшедших после XI в., можно судить по новелле Алексея Ангела от 1199 г., в которой перечислены фемы. См.: *Zachariae*, III, 553–565.

отношения между этими названиями, то слово «стратиг» имело значение родового понятия. Поэтому дука и катепан могли быть названы и действительно назывались стратигами. Но не все стратиги фем, а только некоторые были дуки или катепаны, а именно те, которые занимали высшее положение относительно остальных. Первым, высшим рангом было звание дуки, за ним следовало звание катепана, за катепаном звание стратига (в частнейшем смысле слова).[1] Общее отличие стратигов в собственном смысле от тех, которые, независимо от звания стратигов, могли еще называться дуками и катепанами, было то, что функции первых имели по преимуществу мирный характер, а последних — военный. Поэтому первые назывались безразлично стратигами и судьями (κριτής),[2] а последние игемонами.[3] Отсюда, однако же, не следует, чтобы стратиги-судьи исключительно ведали гражданскими делами, а игемоны, дуки и катепаны исключительно предводительствовали войском. Стратиг-судья сплошь и рядом предводительствовал войском, причем слово κριτής в приложении к нему было уже неуместно и он назывался только στρατηγός. Равным образом дуки и катепаны имели в своем ведении кроме начальствования над войском гражданское управление. Стратиги-судьи, имевшие и военную власть, главным образом занимались делами гражданскими, а дуки и катепаны, имевшие и гражданскую власть, главным образом предводительствовали войском, потому что для первых реже представлялись случаи становиться во главе военных отрядов, между тем как последние постоянно к тому были вызываемы, так как их фемы были пограничными. В этом отношении фемы, бывшие в заведовании дук и катепанов, можно отчасти сравнить с установленными в Западной Европе при Карле Великом

---

[1] В таком порядке они читаются в официальных бумагах — в хрисовулах Михаила Парапинака и Никифора Вотаниата (*Sathas*. Bibl. gr., I, 57, 66): δουκῶν, κατεπάνω, στρατηγῶν; в хрисовуле Алексея Комнина (*Zachar.*, III, 374): δουκῶν, κατεπάνων, στρατιωτῶν (στρατηγῶν).

[2] Свои письма к стратигам фем Пселл адресует большей частью: τῷ κριτῇ. От κριτῆς у него отличается δικαστής, название, применяемое к преторам и лицам, заведовавшим финансовой частью в фемах. Отождествление начальствовавшего фемой (стратига) и судьи встречается и в юридических памятниках, например, *Zachariae*, I, 20: διαλυσάμενος *κριτὴς* Μεσοποταμίας... ἀπείρηται τὰ τοιαῦτα δρᾶν τοῖς *ἄρχουσι* τῶν ἐπαρχιῶν... (судья Месопотамии заключил мир... но архонты епархий запретили ему так поступать).

[3] К ним также по преимуществу прилагается название архонтов. Так как слово «игемон» в лексикологическом отношении равнозначно слову «дука», то отсюда, вероятно, происходит, что у историков иногда к катепанам прилагается название дук.

марк-графствами. Аналогия усматривается не только в том, что дукаты и катепанаты были пограничными фемами, но и в том, что они пространственно были обширнее многих простых фем. Есть одно место у историка, которое с первого взгляда указывает даже на то, что они слагались из многих фем. Говоря о нападениях бежавшего из Византии Стефана-Воеслава на греческие земли, Скилица—Кедрин замечает, что император Мономах приказал дуке Диррахия, патрицию Михаилу, собрать стратиотов, присоединить к ним войска подвластных ему и соседних с Диррахием фем и, вместе с подстратигами, начать военные операции против Стефана.[1] Однако же из этого свидетельства мы не находим возможным сделать вывод о существовании в пределах дукатов и катепанатов многих фем; думаем, что историк неточно выразился и что под фемами, подвластными дуке Диррахия, нужно понимать турмы, а под подстратигами, заведовавшими турмами, — турмархов.

Турмы были подразделениями фем и управлялись турмархами, бывшими в зависимости от стратигов, почему для защиты от притязаний турмархов обращались к стратигам, как высшей инстанции.[2] Назначение на места турмархов зависело (как и на места стратигов) от царя,[3] причем и голос ближайшего начальника, стратига, мог приниматься в расчет. В отдаленных фемах, как, например, в Италии, императоры в целях практического удобства совершенно даже передавали стратигам право назначения турмархов.[4] Власть турмарха была ограниченнее власти стратига по компетенции, но по характеру была сходна; точно так же турмарх не только командовал отрядом войска, но имел гражданскую власть, и к нему, подобно тому как к стратигу, прилагается название κριτής.[5]

Как у стратига, так и у турмарха была канцелярия, в которой состояли на службе чиновники, носившие то же название, какое носили служа-

---

[1] *Cedr.*, II, 543: τῷ τότε ἄρχοντι τοῦ Δυρραχίου (ἦν δὲ Μιχαὴλ πατρίκιος, ὁ Ἀναστασίου τοῦ λογοθέτου υἱὸς) γράμμασιν ἐγκελεύεται τὸν ὑπ' αὐτὸν ἀθροῖσαι τοῦ Δυρραχίου λαὸν στρατιωτικόν, ἔτι δὲ καὶ τὰς στρατιὰς τῶν ἐγγιζόντων τούτῳ θεμάτων καὶ αὐτῷ ὑποκειμένων, καὶ συνάμα τοῖς ὑποστρατηγοῖς εἰς Τριβαλλοὺς ἀπελθεῖν καὶ καταπολεμῆσαι τον Στέθανον.

[2] Напр., Пселл, см. выше, с. 295–297.

[3] *Psell.*, V, 487: τὴν ἀρχὴν τῆς τούρμας παρὰ τοῦ βασιλέως λαμβάνων.

[4] Поэтому Докиан и находил возможным продавать места. См. выше, с. 293. Ср. также *Anon. Bar.*, 332.

[5] Напр., в транийской грамоте говорится: de Maraldo judice et turmarcha. Prologo, 43. Judex соответствует κριτής (ср.: Prologo, 50: Ρωμανὸς ὁ ριθεὶς κριτής (выше упомянутый судья Роман)), оба термина по средневековому употреблению указывали не только на суд, но и на управление.

щие в канцеляриях центральных учреждений: νοτάριος, ὑπογραμματεύς, χαρτουλάριος.[1] Назначение их вполне зависело от воли их начальников. Эти нотарии или писцы не только составляли и переписывали бумаги, но по временам исполняли разные поручения. Например, Георгий Дросс, ὑπογραμματεύς Аарона, дуки Васпуракана, ездил в 1048 г. послом к турецкому султану, Тогрульбеку, по делу о выкупе из плена Липарита.[2]

Фема была не только военным и судебно-административным округом, но также округом податным. В отношении сбора податей фема называлась протонотаратом;[3] в протонотарат фемы командировалось из центра, столицы, для сбора податей лицо, остававшееся на месте временно, до окончания операции.[4] Это должностное лицо носило название διοικητής, χρυσοτελής, πράκτωρ, πρωτονοτάριος, δικαστής.[5] Первые четыре названия были однозначны, из них третье более всего употребительно; название же «дикаст» заимствовано оттого, что сборщик не только заведовал сбором податей, но имел право суда по вопросам, соединенным со сбором.[6] Вследствие неразрывной связи функций сборщика с функциями судьи по предметам сбора, к лицу, заведовавшему этим делом, обыкновенно прилагаются два названия сразу, например, протоспафарий Феофилакт называется дикастом и практором Кипра.[7] Сборщик, будучи чиновником, временно назначаемым из центра, независимо от стратига, и действовал независимо от последнего. Однако же, независимость его была не безусловная. Прежде всего, он зависел от стратига со стороны практического выполнения возлагавшихся на него обязанностей: процесс сбора не всегда был делом легким, требовались административные понуждения, и во власти стратига было оказать сборщику административное содействие

---

[1] *Psell.*, V, 260, 272, 279, 342; *Cedr.*, II, 580; *Sathas*, I, 57, 66.

[2] *Cedr.*, II, 580.

[3] *Psell.*, V, 268: τῶν θεματικῶν πρωτονοταράτων. Податный округ меньших размеров назывался ἐπίσκεψις. См.: Советы и рассказы визант. боярина / / Ж. М. Н. Пр.. 1881, июнь, 291.

[4] *Psell.*, V, 268: τὴν Ἑλλάδα τὰ δημόσια τούτῳ καταβάλλειν χρέα· πεῖσον γοῦν αὐτός... καὶ ἀπόδος ἡμῖν τὸν ἄνθρωπον (...чтобы <жители фемы> Эллады уплатили ему подати. Склони их сам... и отошли нам этого человека).

[5] *Psell.*, V, 258, 267–268, 276, 344–346, 459–460; *Cedr.*, II, 530, 549–550; *Zachariae*, III, 391; *De-Lagarde*, 74, 170.

[6] Так, например, предмет суда, по поводу которого *Пселл* (V, 459–460) пишет к дикасту (в заголовке издателем неправильно поставлено τῷ κριτῇ, нужно τῷ δικαστῇ) Филадельфии, был взнос, ὑποτελεσμός, требовавшийся от филадельфийцев и ими оспариваемый.

[7] *Cedr.*, II, 549.

при сборе. Поэтому, например, Пселл, снабжая практора рекомендательным письмом к судье (κριτῇ, стратигу) Пелопоннеса и Эллады, объясняет адресату, что практор потому и предпочел протонотарат его фемы другим, что во главе фемы стоит друг Пселла, который, во внимание к дружбе, окажет содействие при сборе податей.[1] Из этого письма видно также, что содействие сборщику со стороны стратига не было чем-нибудь обязательным, зависело от благосклонности и предупредительности стратига. Далее, зависимость сборщика от стратига состояла еще в том, что стратигу принадлежал надзор за правильностью его действий. Поэтому Пселл в письме к судье (τῷ κριτῇ) Опсикия просит быть благосклонным и снисходительным к сборщику его фемы (τοῦ σοῦ θέματος), родственнику Пселла,[2] а в другом письме к неизвестному стратигу какой-то фемы просит сквозь пальцы смотреть на действия сборщика, так как он, взыскивая по надлежащему, не в состоянии будет собрать обычного количества податей.[3] Стратиг и практор не всегда уживались в добром согласии, иногда они спорили и враждовали, причем византийское правительство, всегда высоко ставившее фискальные интересы, вступалось за практора. Так, известен случай из начала царствования Мономаха (между октябрем 1042 и мартом 1043 гг.), что стратиг Кипра, Феофил Эротик, обвинив перед киприотами дикаста и практора Феофилакта в том, что он взимает слишком тяжелые подати, подбил население умертвить его; за это Феофил был подвергнут позорному наказанию и конфискации имущества.[4] Самый факт обвинения Феофилакта Феофилом возможен был, очевидно, потому, что стратигу принадлежало право надзора за сборщиком, следовательно, он мог решить, правильно ли производится сбор, или нет, и кроме того сборщик, как действовавший независимо, сам нес и ответственность за свои действия; стратиг, не обязанный по закону содействовать ему, мог отклонить от себя всякую ответственность, сложив вину на сборщика.

Численность византийских фем в период от 1025 до 1081 г. колебалась. Сначала пределы византийского государства раздвинулись и вместе с тем число фем возросло, но к концу периода понесены были громадные потери, как в Европе, так особенно в Азии, вместе с тем и число фем уменьшилось. Обстоятельствами, содействовавшими расширению пределов и увеличению числа византийских фем, были с одной стороны упадок Багдадского халифата и стремление к независимости эмиров, которые,

[1] *Psell.*, V, 267–269. Ср.: V, 375.
[2] *Psell.*, V, 267.
[3] PG, CXXXVI, 1329–1330.
[4] *Cedr.*, II, 549–550 (*Zon.*, IV, 162; *Glyc.*, 594–595).

ослабляя силы друг друга во внутренних междоусобиях, давали возможность Византии на почве их соревнования и вражды строить собственные расчеты и извлекать выгоды; с другой — стесненное состояние Грузии и Армении, государи которых под давлением внутренних затруднений, а еще более внешних врагов, не могли противостоять византийской политике и сохранять неприкосновенность своих владений от Византии.

Больше всего приобретений сделала Византия за счет армянских владетельных домов. Пока был в силе Багдадский халифат, государи Великой Армении[1] волей-неволей подчинялись его влиянию, политическому и религиозному: они получали от халифов утверждение в достоинстве, титулы и знаки отличия, один из Ардзруниев и даже один из Багратидов перешли в ислам. Ислам сильной волной вливался в Армению с южных границ, так что, например, почти все население Мартирополя сделалось мусульманским и сам город переименован в Мейафарекин; армянские государи должны были целые города (Манцикерт, Келат, Перкри, Арджиш и др.) уступать халифам, которые сажали здесь своих эмиров и подэмиров. Когда халифат стал клониться к упадку и в нем выделились независимые династии, эти последние стали предъявлять притязания на то влияние в Армении, какое принадлежало халифу (особенно Гамданиды Мосула и Халеба). Византия умела пользоваться чувством недовольства, возбуждаемым в армянах их зависимостью от халифов и эмиров; на этом пункте были основаны ее планы, в известной мере осуществившиеся, на распространение ее влияния в пределах Армении. Когда начато было завоевательное движение турок-сельджуков, эти планы получили своеобразную постановку и сопровождались осязательными, по-видимому, весьма благоприятными для Византии результатами. Византия стала практиковать систему обмена земель, происхождение которой, кажется, современно началу Македонской династии — по крайней мере, при сыне основателя династии путем применения этой системы была образована фема Месопотамия. До XI в. к системе обращались изредка, а в XI в. стали усердно прилагать ее в сношениях как с армянскими князьями, так

[1] Царствовала династия Багратидов, распавшаяся сначала на три ветви, из которых старейшая владела северной Арменией, с главным городом Анием, вторая сидела в Карсе, третья основалась в южной Армении, где посредством брачных союзов приобрела округ Тарон; к этим трем ветвям в конце X в. присоединилась еще четвертая ветвь Багратидов, имевшая столицей город Лори. В Грузии тоже основалась ветвь Багратидского дома. В Армении после Багратидов самым могущественным владетельным домом был дом Ардзруниев, правивший обширной провинцией Васпураканом, к востоку от озера Ван.

и грузинскими. Византийское правительство, пользуясь давлением турок на армян, усиливая сверх того политические затруднения Армении интригами и подкупом, вызывавшими внутреннее разъединение в стране, и без того не отличавшейся сознанием национального единства, страдавшей от эгоизма и своеволия магнатов, — предлагало государям Армении уступить ему свои владения под условием получения земель в областях Малой Армении, издавна принадлежавших Византии. Мотивом, склонявшим армянских владетелей к предлагаемой сделке, были внешние и внутренние затруднения в их наследственной земле, а также то соображение, что на земле, полученной в обмен, они могут спокойно наслаждаться миром, отделенные и защищенные от турок византийскими фемами. Византийское правительство, в свою очередь, считая свои силы достаточными для того, чтобы разгромить беспорядочные турецкие орды и отстоять от их нападений новоприобретенные пограничные области, находило весьма для себя выгодным вместо этих областей отдать прежним их владетелям уступавшие по размерам территории, тем более что эта мера была переходной ступенью к совершенному подчинению переселенных армян. После поселения на византийских землях, в Малой Армении, армянские владетели при известной доле независимости не были совершенно свободны от влияния византийских императоров, которые затем пользовались каждым удобным случаем, чтобы усилить свой авторитет и уравнять армян с остальными подданными как в политическом, так и в церковно-религиозном отношениях. Расчет византийского правительства оказался в конце концов несостоятельным, равно как не сбылись и надежды армянских владетелей. Несостоятельность расчета и несбыточность надежд зависели главным образом от того, что стороны слишком полагались на военные средства Византии в борьбе с турками, преувеличивали силы греков и умаляли силы турок. На первых порах турецкое вторжение было как бы полезным для Византии, число ее фем увеличилось новыми пограничными фемами, территория раздвинулась. Но выгода была обманчива: выселив из пограничных, подвергавшихся нападениям турок, областей армян, вместо того чтобы ободрить их и подкрепить для борьбы с опасным врагом, Византия собственными руками сломала барьер, защищавший государство от азиатских варваров; взяв на свою ответственность защиту границ, византийское правительство оказалось несостоятельным, турки не только завладели пограничными городами и областями, но прорвались вовнутрь Малой Азии, посетили и те земли, которыми владели по обменному договору армянские князья, утешавшие себя призраком безопасности. Не осуществился и расчет Византии на совершенное подчинение выселенных во внутренние области армян; политическое и особенно

религиозное давление на армян со стороны Византии, вместо того чтобы слить армянскую нацию с остальной массой населения и сделать православной, разожгло фанатизм и породило обособление и смертельную вражду между армянами и греками, которые в наш период находили себе выражение во взаимных насилиях и бесчеловечных поступках, а впоследствии побудили армян с распростертыми объятиями встретить крестоносцев и помочь им не только против неверных, но и против Византии.

Установить строгую градацию между фемами Византии, за отсутствием списков из XI в., невозможно. Для того чтобы составить об этом предмете приблизительное понятие, мы не должны упускать из виду, что дукаты и катепанаты, как пограничные и важные для государства в стратегическом отношении фемы, ставились выше обыкновенных, внутренних фем. При перечислении азиатских фем правильнее будет прежде всего упомянуть о тех, которые опоясывали азиатскую часть государства, начиная от сирийского побережья и оканчивая юго-восточным берегом Черного моря, а затем уже об остальных.

1) **Антиохия**, фема-дукат, без сомнения, самая важная из азиатских фем, судя по вниманию, с каким относилось к ней византийское правительство, и по лицам, которых оно назначало антиохийскими дуками. Эта фема, названная по имени главного города после отнятия его у сарацин,[1] представляла собой прибрежную полосу, с запада омываемую морем, с юга смежную с владениями трипольских эмиров, а с востока соприкасавшуюся с владениями халебских эмиров. Вследствие такого положения Антиохия была главным операционным базисом Византии в ее военных предприятиях против Триполи и Халеба, и из нее, как из центра, распространялось влияние Византии на сарацинские владения в Сирии. В год смерти Василия II дукой Антиохии был Константин Далассин, который впоследствии едва не попал в императоры, сын Дамиана Далассина.[2] При Константине VIII и в первое время царствования Романа III управлял Антиохией Михаил Спондила,[3] при котором фема подверглась враждебным действиям со стороны эмиров Халеба и Триполи, а также войска, подосланного египетским халифом. Неудачи антиохийского дуки в борьбе с ними были причиной, что император Роман III послал Спондиле отставку

[1] Антиохия была отнята у сарацин в третий год царствования Никифора Фоки (963–969) патрицием Михаилом Вурцой, который в начале царствования Василия II и Константина (по смерти Иоанна Цимисхия в 976 г.) был назначен дукой этого города, в чине магистра. См.: *Cedr.*, II. 365–367, 417.

[2] *Яхъя*, у бар. Розена, 66.

[3] *Cedr.*, II, 488, 490; *Кемаледдин*, у бар. Розена, 316.

и назначил на его место своего зятя, патриция Константина Карантина, которого снабдил инструкцией, как поступать относительно неприятелей.[1] После неудачного сирийского похода в 1030 г.[2] Роман Аргир, уходя из Антиохии в Византию, оставил игемоном Антиохии Никиту Мисфийского, который был несколько счастливее своих предшественников.[3] Он управлял Антиохией до своей смерти, последовавшей в первый год царствования Михаила Пафлагона. Одним из практоров, при Никите, был Салива, убитый антиохийцами.[4] На место Никиты был назначен дукой брат императора, Никита, ставший из-за убийства Саливы в натянутые отношения к антиохийцам, а после его смерти (1034 г.) другой брат, Константин.[5] При Константине Мономахе место антиохийского дуки занимал проедр Роман Склир;[6] при Феодоре — магистр Катакалон Кекавмен, замененный, по вступлении на престол Стратиотика, царским племянником, Михаилом Ураном.[7] При Константине Дуке отправлен был в Антиохию дукой евнух Никифорица, заявивший себя на должности притеснениями антиохийцев.[8] По смерти Константина Дуки Никифорица, имевший личные счеты с Евдокией, попал в тюрьму и на его место назначен магистр Никифор Вотаниат. При нем было сделано нападение на антиохийскую фему турками; Вотаниат не мог успешно им противостоять и был отрешен за это от должности.[9] Роман Диоген назначил дукой Антиохии веста Качатура, армянина по происхождению, который потом был деятельным приверженцем этого государя;[10] император Михаил Парапинак — протопроедра Иосифа Тарханиота, знаменитого своим крайне подозрительным поведением во время последнего, трагически окончившегося похода Романа Диогена против турок. После смерти Тарханиота в 1073 г. Парапинак назначил в Антиохию Исаака Комнина (брата будущего императора Алексея), который закончил свою карьеру, в качестве дуки, тем, что при нашествии на Сирию турок взят был в плен и выкуплен за

---

[1] *Cedr.*, 490–491 (*Glyc.*, 582); *Cedr.*, II, 488 (*Glyc.*, 581).

[2] Об этом походе: *Psell.*, IV, 33–36; V, 124; *Cedr.*, 491–493 (*Zon.*, IV, 130; *Glyc.*, 582–583; *Ephr.*, 129); *Michel le Grand*, 281; *Arisdag.*, 41–44; *Matth. d'Ed.*, 45–46; *Ибн-ал-Алтир* и *Кемаледдин*, у бар. Розена, 313–322.

[3] *Cedr.*, II, 495–496; *Кемаледдин*, у бар. Розена, 321.

[4] *Cedr.*, II, 510.

[5] *Cedr.*, II, 512 (*Zon.*, IV, 139); *Arisd.*, 49.

[6] PG, CXX, 789.

[7] *Cedr.*, II, 615 (*Zon.*, IV, 183).

[8] *Attal.*, 181.

[9] *Attal.*, 95–96 (*Scyl.*, 662–663).

[10] *Attal.*, 172, 136–137 (*Scyl.*, 684, 703; *Zon.*, IV, 210).

20000 золотых.[1] Затем мы встречаем при Парапинаке в должности антиохийского дуки Васага, сына Григория Магистра и брата армянского католикоса Григория (Вахрама). Он пал от руки греков жертвой вражды их к армянам. Группировавшаяся вокруг Васага партия армян обратилась тогда к Филарету Вахраму и пригласила его в Антиохию. Армянин Филарет, приверженец императора Романа Диогена, умевший внушить к себе уважение правительству Парапинака, которое дало ему чин куропалата, ко времени умерщвления Васага (совпадающего в изложении армянского историка[2] со вступлением на престол Никифора Вотаниата) успел сделать немало приобретений за счет турок, равно как и своих сородичей, армянских владетелей. Получив приглашение из Антиохии, он не замедлил последовать ему и, явившись в город, страшно отомстил грекам, враждовавшим с армянами. Филарет стал управлять Антиохией в качестве дуки и счел нужным получить санкцию и утверждение в должности от византийского императора, для чего изъявил покорность Вотаниату и получил даже, если верить показанию Михаила Сирийского, чин севаста. Он был последний антиохийский дука нашего периода, занимал это место до тех пор, пока Антиохия в отсутствие Филарета, уезжавшего в Эдессу, не была захвачена никейским султаном Солиманом, в 1084 г.[3]

2) **Телух**. Эта фема, названная по имени главного города, лежала между антиохийской фемой и рекой Евфратом, по северным границам Халебского эмирата. Она принадлежала к простым фемам и управлялась обыкновенными стратигами, для которых служила переходной ступенью к занятию мест в более видных и важных фемах. Во время похода императора Романа III в Сирию стратигом Телуха был Георгий Маниак, награжденный за удачное дело с сарацинами, осадившими Телух в 1030 г., перемещением на лучшую фему.[4] Затем фема Телух упоминается только один раз в рассказе о первом походе Романа Диогена против турок, в 1068 г., — император прошел через нее, отправляясь во владения халебского эмира.[5]

3) **Нижняя Мидия**, иначе еще называемая «Поевфратские города»,[6] а со времени переселения стратига фемы из Самосата, прежней резиден-

---

[1] *Scyl.*, 718; *Bryenn.*, 96, 99.

[2] Матвея Эдесского.

[3] *Matth. d'Ed.*, 173, 179, 187–188; *Michel le Grand*, 293–294; *Kirak. de Kantz.*, 44; *Вардан*, 130; *Attal.*, 301 (*Scyl.*, 741); *Scyl.*, 681 (*Zon.*, IV, 209); *Elmac.*, 347; *Sigib.*, 364.

[4] *Cedr.*, II, 494.

[5] *Attal.*, 107.

[6] Παρευφρατίδιαι πόλεις.

ции, в Эдессу, просто Эдессой. Это была фема-катепанат; она лежала на восток от фемы Телуха, по течению Евфрата, сначала граничила с рекой Евфратом, а после приобретения Эдессы раздвинулась на юг от Евфрата. По отношению к сарацинским владениям, находившимся на левом берегу Евфрата, эта фема имела такое же стратегическое значение, какое имела Антиохия относительно Халебского эмирата, лежавшего на правом берегу. Катепаном Нижней Мидии назначен был в 1030 г. Георгий Маниак, в награду за отличие при нападении сарацин на Телух.[1] При нем, в 1031 г., границы фемы были расширены до города Эдессы, благодаря внутренним волнениям в нем; Маниаку пришлось выдержать упорную борьбу с сарацинами за новое владение, но с помощью христиан Эдессы он успел восторжествовать над своими врагами, заключен был мир и город остался в руках византийского правительства.[2] В первый год царствования императора Михаила Пафлагона Маниак был еще повышен в должности, получив назначение в фему Васпуракан. На его место, в Эдессу, отправлен был Лев Лепендрин.[3] Недолго, однако же, Лепендрин оставался в Эдессе. Прежние владетели города, не смирившиеся с его потерей, опустошили фему и едва не захватили резиденцию катепана в 1036 г.[4] Лепендрин был отставлен за то, что не сумел предотвратить опасность, вместо него назначен протоспафарий Варасватце Ивир.[5] При нем враждебные действия сарацин не прекратились, но успешно были разрушаемы стратигом, как можно заключить из одного, записанного историком, легендарного сказания.[6] О лицах, управлявших Эдессой в последующее время, знаем главным образом из показаний Матвея Эдесского, который часто касается истории своего родного города, хотя не всегда дает точные сведения. По свидетельству Матвея, был назначен правителем Эдессы армянин Абукаб, сопровождавший Романа III в сирийском походе и оказавший услугу своевременным открытием заговора.[7] Судя по тому, что

[1] *Cedr.*, II, 494.

[2] *Cedr.*, II, 500–501 (*Zon.*, IV, 132; *Ephr.*, 130); *Matth. d'Ed.*, 46–51; *Arisd.*, 45–46; *Michel le Grand*, 283; *Яхъя* и *Ибн-ал-Атир*, у бар. Розена, 72, 390–391; *Abulfeda*, III, 77–79; *Abulfar.* Chr. Syr., 231.

[3] *Cedr.*, II, 512.

[4] *Cedr.*, II, 515 (*Zon.*, IV, 139); *Matth. d'Ed.*, 52; *Abulfar.*, 234.

[5] *Cedr.*, II, 520. Грузин по матери, по отцу армянин.

[6] *Cedr.*, II, 520–521 (*Zon.*, IV, 140–141; *Ephr.*, 132). Сказание **напоминает** сказку об Али-Бабе и 40 ворах в арабских «Ночах». Ср.: *Petis de la Croix.* **Histoire** du Grand Genghizcan, 29; *Finley*, I, 487.

[7] См. выше, с. 140.

фема найдена была Абукабом в состоянии разрушения, с наибольшей вероятностью можно относить его назначение ко времени после Варасватце, когда Эдесса с окрестностями не успела оправиться от враждебных действий арабов при Лепендрине и Варасватце.[1] При Исааке Комнине Эдессой управлял Константин Дука, после отречения Исаака Комнина занявший его место на византийском престоле.[2] Вступив на престол, он, по всей вероятности, возвысил административное значение фемы, так как мы видим, что в начале его царствования управляет Эдессой Таваданос, с титулом дуки.[3] Этот храбрый дука погиб под стенами Амида.[4] После его смерти был назначен на его место Бигонид, известный своим предосудительным поведением во время нашествия турок на Эдесскую фему, когда он, из зависти к антиохийскому дуке, заботился о том, чтобы последний не стяжал себе военной славы, а не о том, чтобы уничтожить врагов. Когда императору было сообщено о таком его поведении, он был лишен должности.[5] Кто был назначен на место Бигонида — прямых указаний нет, может быть, Василий, сын Алусиана Болгарина, который управлял Эдессой в начале царствования Диогена и прославился блистательной обороной города во время осады его турецким султаном Алп-Арсланом.[6] Во время третьего похода Романа Диогена против турок в 1071 г. катепаном Эдессы был уже проедр Павел, приближенный советник Диогена, в несчастии ему изменивший.[7] При Вотаниате управление Эдессой находилось в руках Льва, брата Таваданоса; население города было им недовольно, возмутилось и помогло Василию, сыну Абукаба, сподручному Филарета Вахрама, взять город.[8] Василий Абукаб был последним правителем Эдессы в наш период, он умер в 1083 г., оставив после себя в Эдессе партию приверженцев Филарета, давшую последнему возможность назначить сюда правителем своего сына Варсама.[9]

---

[1] *Matth. d'Ed.*, 181. Показание *Матвея Эдесского* (51), что Абукаб был назначен стратигом при Романе III, по удалении Георгия Маниака, принадлежит к числу неточных показаний.

[2] *Matth. d'Ed.*, 106.

[3] *Matth. d'Ed.*, 118. Возвышение если и было, то временное, потому что при Диогене стратиги Эдессы опять называются катепанами.

[4] *Matth. d'Ed.*, 119.

[5] *Matth. d'Ed.*, 130–131.

[6] *Matth. d'Ed.*, 164–166.

[7] *Attal.*, 168 (*Scyl.*, 702). См. выше, с. 228. *Лекэнь* (Oriens Christ., **II, 966**) ошибочно считает этого катепана Павла митрополитом Эдесским.

[8] *Matth. d'Ed.*, 180–182.

[9] *Matth. d'Ed.*, 186–187.

4) **Мелитина**. Фема, названная так по имени главного города,[1] лежала на восток от «Поевфратских городов», по течению реки Евфрата, которой была охвачена с трех сторон; река Евфрат отделяла ее от западных границ Диарбекра, владения Мерванидов. Фема, несмотря на то, что была пограничной, принадлежала к разряду простых. В начале царствования Мономаха мелитинским стратигом был патриций Лев Лампрос, обвиненный в заговоре и пострадавший.[2] Можно предполагать, что при том же императоре Мономахе на должность мелитинского стратига был назначен Лев Торник.[3] Упоминается также мелитинский стратиг при Романе Диогене, не названный, впрочем, по имени, может быть потому, что он обнаружил позорную трусость во время нападения на фему турок.[4]

5) **Месопотамия**, фема-дукат, лежала на северо-восток от Мелитинской фемы, по другую сторону Евфрата, южные ее границы были смежны с северными границами Диарбекра. Дукой этой фемы, учрежденной еще в конце IX в.,[5] при Мономахе назначен был Григорий Магистр, сын Васага, из рода Баглавуни, после того как он передал императору свои владения в Великой Армении.[6] Как месопотамский дука, он, вместе с правителями соседних фем, принимал участие в битве с турками при Габудру, закончившейся пленом Липарита (1048). По свидетельству армянского писателя (Аристакеса), управление Месопотамией было отдано ему в наследственную собственность и условия этого пожалования изложены были в хрисовуле. Поэтому по смерти Григория Магистра (1066) владение его в Месопотамии и титул дуки получил старший его сын, Вахрам.[7] Однако же византийское правительство скоро поставило свою власть в Месопотамии на прочную почву. В момент восстания Вотаниата против Парапинака Месопотамской фемой управлял уже грек, Никифор Палеолог,[8] отец Георгия Палеолога, свояка Алексея Комнина.

---

[1] Город Мелитина в 1057 г. был разрушен ордой турок, предводительствуемых Динаром (*Arisdag.*, 119–120; *Matth. d'Ed.*, 107–109), но потом воздвигнут из развалин Константином Дукой (*Michel le Grand*, 291).

[2] См. выше, с. 179.

[3] *Attal.*, 22.

[4] *Attal.*, 121 (*Scyl.*, 678). *Гфрёрер* (III, 719–720) делает догадку, что это был Алусиан Болгарин.

[5] Львом Мудрым из земель, полученных от одного армянского владетельного дома. См.: *Const. Porph.*, III, 31, 226.

[6] Крепость Беджни, Каян и Кайтцон, в округе Ник, провинции Арарад. См.: *Arisd.*, 67–68; *Вардан*, 124.

[7] *Matth. d'Ed.*, 128.

[8] *Bryenn.*, 118.

6) **Тарон**, на восток от Месопотамии, по северным границам Диарбекра. Эта фема и по времени, и по способу образования, и по положению в ней византийской власти, сходна с месопотамской фемой.[1] В Тароне, подобно тому как в Месопотамии, звание стратигов было достоянием армянского владетельного дома — принадлежало потомкам Григория Таронита. Но Византия стремилась к совершенному подчинению себе Тарона и не упускала случая, чтобы усилить здесь свою власть. В XI в. она достигла того, что не исключительно потомки Григория заведовали управлением, но время от времени назначались и люди посторонние. Так, в царствование Феодоры правителем (стратигом) Тарона был Феодор, сын Аарона,[2] умерший от раны, полученной в одной стычке с турками.[3] После Феодора, не состоявшего в прямом родстве с армянским домом, при Исааке Комнине, Константине Дуке и Михаиле Парапинаке управление Тароном опять находилось в руках армянина, Торника,[4] который удачно действовал против турок в пользу Византии[5] и погиб по козням Филарета Вахрама.[6] Из городов Таронской фемы важное стратегическое значение имел Манцикерт. Он находился под управлением особого византийского коменданта (игемона). В конце царствования Мономаха таким игемоном был патриций Василий Абукаб, прославившийся мужественной защитой города от султана Тогрульбека, в 1053 г.[7] При преемнике Тогрульбека, султане Алп-Арслане, Манцикерт был взят турками,[8] в 1071 г. отнят у турок императором Романом Диогеном,[9] но лишь несколько дней оставался под греческим владычеством: после роковой битвы, при р. Царе (недалеко

---

[1] *Const. Porphyr.*, III, 185, 189.

[2] Того Аарона, который при Мономахе управлял Васпураканом.

[3] *Arisd.*, 103–104.

[4] У Григория Таронита был брат Абуганем, у этого последнего — сын Торник (*Const. Porph.*, III, 187), бывший, по всей вероятности, родоначальником позднейших Торников.

[5] *Matth. d'Ed.*, 109.

[6] *Matth. d'Ed.*, 173–176.

[7] *Attal.*, 46–47; *Cedr.*, II, 591–593; *Arisd.*, 91–101; *Matth. d'Ed.*, 98–102. Осада Манцикерта, один из характерных эпизодов в истории военных столкновений Византии с турками, у Скилицы—Кедрина поставлена не на месте. Хронология выясняется из сравнения показания Атталиота с показаниями армянских писателей.

[8] *Attal.*, 149. Выражение историка κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος (в прошлом году) показывает, что город взят в 1070 г.

[9] *Attal.*, 151–154 (*Scyl.*, 692; *Zon.*, IV, 212); *Matth. d'Ed.*, 167; *Sam. An.*, 74; *Kirak. de Kantz.*, 55; *Вардан*, 127.

от Манцикерта), окончившейся пленом греческого императора, город опять попал в руки турок.

7) **Верхняя Мидия**, или **Васпуракан**, фема-катепанат, лежавшая на восток от озера Ван и с трех сторон охваченная мусульманскими владениями, с юга Курдистаном, с востока Адербиджаном, с севера Тевином. Эта провинция армянского владетельного дома Ардзруниев поступила в число византийских фем при Василии II, которому была передана в 1021 г. Сеннахарибом, в обмен на владения в Каппадокии.[1] В новообразованную фему назначен был стратигом сначала патриций Василий Аргир, а когда он оказался неспособным, протоспафарий Никифор Комнин.[2] Комнин остался на должности при Константине VIII и за участие в заговоре ослеплен.[3] При Романе III правителем Васпуракана был патриций Николай Хрисилий, ознаменовавший свое управление отнятием у сарацин и присоединением к феме города Перкри (недалеко от приобретенного Комнином Арджиша, на востоке).[4] При восшествии на престол Михаила Пафлагона Хрисилий был смещен и на его место переведен катепан Эдессы Георгий Маниак.[5] Но для Маниака и катепанат Васпуракана был переходной ступенью к занятию места в еще более важной феме (в Италии); по удалении его с должности правителем Васпуракана сделан, повидимому, патриций Никита Пигонит (Бигонид).[6] При одном из этих стратигов — Маниаке или Пигоните, вероятнее при первом, — город Перкри вновь был захвачен сарацинами и стоявший в нем греческий гарнизон перебит. Однако же сарацины владели городом не более года, и Никита Пигонит его отнял.[7] При Константине Мономахе катепаном был патриций Стефан Лихуд, племянник[8] первого министра, Константина Лихуда.

---

[1] *Яхъя*, у бар. Розена, 62, 374.

[2] *Cedr.*, II, 467; *Sam. An.*, 71; *St.-Martin*, I, 368.

[3] См. выше, с. 127.

[4] *Ибн-ал-Атир*, у бар. Розена, 328. У *Скилицы—Кедрина* (II, 502–503) город Перкри представляется лежащим где-то близ Багдада и факт взятия его Хрисилием затемнен привнесением фактов позднейшего времени.

[5] *Cedr.*, II, 512.

[6] *Cedr.*, II, 503.

[7] *Arisd.*, 50–51; *Matth. d'Ed.*, 60–61; *Sam. An.*, 71; *Cedr.*, II, 503.

[8] У *Скилицы—Кедрина* (II, 570) темное выражение: Στέφανος πατρίκιος ὁ Κονσταντίνου τοῦ παραδυναστεύοντος τῷ βασιλεῖ τῆς Λειχουδίας υἱός (патрикий Стефан, сын Лихуды, <сестры> Константина, первого царского министра); оно ввело в заблуждение *Врienния* (31), который говорит: Στέθανος ὁ Κωνσταντίνου τοῦ παραδυναστεύοντος τῷ τότε βασιλεῖ, ὃν καὶ Λειχουδίαν ἐκάλουν, *θεῖος* (Стефан, дядя Константина, по прозванию Лихуда, тогда первого царского министра); вводит в заблуждение

Около 1047 г. он был разбит турками, возвращавшимися с Кутулмишем (родственником Тогрульбека) из-под Мосула, взят в плен и уведен в Хорасан, в город Геру.[1] После него катепаном Васпуракана назначен был вест Аарон, сын Владислава и брат Прусиана Болгарина, имевший резиденцию не в Арджише (по примеру предшественников), а в Ване (город при озере Ван). При нем фема много пострадала от турок. Сначала Аарон, в соединении с Катакалоном Кекавменом, правителем Ания, нанес туркам поражение.[2] Следующая затем битва при Габудру, в сентябре 1048 г., имела сомнительный исход, несмотря на то, что Аарону помогали, кроме Катакалона Кекавмена, месопотамский дука Григорий Магистр и грузинский князь Липарит (взятый турками в плен).[3] Когда наконец сам султан Тугрульбек двинулся на Империю, в 1053 г., города Васпуракана (Перкри и др.) стали переходить во власть турок, переправленные в Азию македонские войска ничего не могли сделать (по случаю смерти Мономаха), и есть основание предполагать, что приобретения турок в Васпуракане остались за ними на будущее время; в числе условий мирного договора, заключенного Феодорой с султаном, был, между прочим, пункт, по которому области и города, находившиеся прежде во власти сарацин (в том числе, следовательно, Перкри и Арджиш), были отданы туркам.[4] Византийская фема прекратила свое существование.

8) **Иверия**, фема-катепанат, а после присоединения к ней Ания фема-дукат, лежала к северу от Васпуракана и с восточной стороны граничила с сарацинским владением Тевином. Подобно Васпуракану, она получила свое начало при Василии II, раньше, однако же, чем Васпуракан, — была образована из земель, завещанных Василию II иверийским царем, куропалатом Давидом († 1000 г.). С первого момента своего существования иверийская фема сделалась могущественным средством распространения византийского влияния на Грузию, и чем далее, тем все более возрастала

и новейших историков, считающих Стефана сыном (*Muralt*, 633; *Lebeau*, XIV, 351) или пасынком (*Gfrörer*, III, 456) Константина, тогда как скорее следовало бы считать его племянником, сыном Лихуды, сестры Константина.

[1] *Attal.*, 44; *Cedr.*, II, 570–572 (*Zon.*, IV, 171–172; *Bryenn.*, 29); *Matth. d'Ed.*, 80–81. Стефан, по свидетельству греческого историка, был продан. Армянский историк говорит, что он был замучен в Гере, турки содрали с него кожу, набили ее сеном и продали родственникам Стефана за 10000 тахеганов.

[2] *Cedr.*, II, 573–575 (*Zon.*, IV, 172); *Ибн-ал-Атир*, у *St.-Martin*, 216.

[3] *Attal.*, 45; *Cedr.*, II, 575–580 (*Zon.*, IV, 172–173); *Arisd.*, 83–86; *Matth. d'Ed.*, 84, 87, 88; *Ибн-ал-Атир*, у *St. Martin*, 214–215.

[4] *Arisd.*, 102–103.

и раздвигала свои границы за счет грузинских и армянских владетелей. Во второй год царствования Константина VIII правителем этой фемы послан был из Византии евнух Никита, удачно действовавший в пользу своего правительства. Он убедил некоторых иверийских магнатов отказаться от своих владений и отправиться в Константинополь; те сдались на убеждения, в Константинополе ласково были встречены, получили чины, подарки, а также деревни и города в наследственную собственность, прежние же их владения присоединены к иверийской феме.[1] Уступка владений в пользу Византии при Константине VIII не закончилась — из времен Романа III мы знаем об уступке крепости Анакофы Алдой, вдовой Георгия, царя абхазского, которая достигла этим того, что сын ее Димитрий получил чин магистра.[2] При Михаиле Пафлагоне катепаном Иверии был Михаил Ясит, которому приходилось вести счеты с грузинским царем Багратом IV,[3] недружелюбно смотревшим на приобретения, какие делала Византия. Ясит оставался катепаном Иверии и при Мономахе; он же первый был облечен титулом дуки, после приобретения города Ания, куда затем перенесена была и резиденция фемы. Первый шаг к приобретению Ания сделан был еще императором Василием II, который, вмешавшись в распрю между братьями Иоанном (или Семпадом II) и Ашодом IV за обладание Анием, получил от первого в 1022 г. письменное завещание, что Аний по смерти его, Иоанна, должен перейти во власть Византии. Когда в 1040 г. Иоанн умер, император Михаил Пафлагон предъявил права на Аний, на основании договора 1022 г., и выслал войско, которое осадило Аний, но взять не могло; происшедшая перемена на византийском престоле была причиной, что войска отступили. Мономах не оставил мысли завладеть Анием. С помощью разного рода интриг молодой царь анийский, Какиг II (сын Ашода IV), был вызван в Византию и здесь принужден отдать Аний Мономаху; взамен он получил чин магистра и владения Галонбегад и Бизу (в Каппадокии).[4] Заключен был формальный договор, и Ясит явился перед стенами Ания с договорной грамотой в руках, подписанной Какигом. Сначала жители не приняли его; потребовались военные усилия и искусство византийской дипломатии, чтобы заставить непокорных сдаться. Наконец, в 1045 г. Михаил Ясит основался в Ании как дука.[5] Новому анийскому дуке пришлось

[1] *Arisd.*, 40–41.

[2] *Cedr.*, II, 503.

[3] *Cedr.*, II, 519.

[4] *Cedr.*, II, 556–558; *Arisd.*, 58–68, 70; *Matth. d'Ed.*, 64, 68–72, 76–78; ***Sam. An.***, 71; *Kirak. de Kantz.*, 48; *Вардан*, 124; *Mkhithar d'Airiv.*, 91.

[5] *Psell.*, IV, 193; *Attal.*, 79–80; *Arisd.*, 68–69; *Matth. d'Ed.*, 78–79.

пожинать плоды двусмысленной политики, которой держалось византийское правительство в вопросе о приобретении Ания. С союзником Византии по войне с Анием, Абул-Севаром, эмиром Тевина, относительно которого правительство не пожелало выполнять условий, произошло столкновение. Когда предпринятый против Тевина поход окончился неудачей, Михаил Ясит был лишен звания анийского дуки. Есть указание, довольно, впрочем, смутное, что в это время был послан для управления Иверией Лев Торник.[1] Но если Торник и управлял, то самое короткое время. Скоро по удалении Ясита мы видим на его месте Катакалона Кекавмена, который продолжал до сентября 1047 г. борьбу с тевинским эмиром, пока его войско не было отозвано для защиты Византии от Льва Торника,[2] затем Кекавмен принимал участие в двух битвах Аарона, васпураканского катепана, с турками и наконец (около 1049 г.) получил новое назначение на место стратилата Востока.[3] Кто после Катакалона Кекавмена занял место анийского дуки, мы не имеем сведений, знаем только о дуке, управлявшем фемой при императоре Константине Дуке, царствование которого было роковым для иверийско-анийской фемы. Этот император отдал место дуки в Ании армянину Баграту, прельстившись его предложением содержать войско и производить другие расходы за свой счет, без казенных субсидий. Баграт оказался несостоятельным, и продовольственная часть в войске, долженствовавшем охранять Аний, пришла в упадок. Между тем турецкий султан Алп-Арслан предпринял в 1064 г. поход в Иверию. Многие города были взяты, а в заключение был осажден и взят Аний. Столица фемы, около 20-и лет находившаяся во власти Византии, была потеряна навсегда.[4] Была потеряна также значительная часть территории фемы. На первых порах Византия отчасти вознаградила себя за потерю присоединением лежавшего недалеко от Ания (на запад) города Карса с округом. Этот город был еще независимым под управлением одной ветви Багратидов. Управлявший им хитрый Какиг, сын Апаса Шахеншаха, сумевший обмануть Алп-Арслана, нашел более выгодным уступить свое владение Византии и взамен получить город Дзаментау (недалеко от Мелитины) и некоторые другие города и деревни.

---

[1] *Psell.*, IV, 150; *Cedr.*, II, 561.

[2] *Cedr.*, II, 558–561; *Arisd.*, 70–71; *Psell.*, IV, 153–346.

[3] *Cedr.*, II, 597.

[4] *Attal.*, 80–82 (*Scyl.*, 653–654; *Zon.*, IV, 199; *Glyc.*, 605); *Arisd.*, 139–141: *Matth. d'Ed.*, 121–125; *Sam. An.*, 72, 74; *Kirak. de Kantz.*, 49; *Вардан*, 126–127; *Mkhithar d'Airiv.*, 92; *Ибн-ал-Атир*, у Saint-Martin, 226–228; *Abulfar.* Chr. Syr., 262–283.

Карс, можно полагать, сделался после этого резиденцией фемы, насколько она уцелела от турецкого разгрома. Недолго, впрочем, греки держались и в Карсе, — скоро и этот город подпал власти турок. При Диогене Иверийская фема более не существует, пограничной фемой вместо нее стал Феодосиополь.[1]

9) **Феодосиополь**, на запад от Ания и Карса, на север от Тарона, сначала простая фема, а потом, с потерей Иверийской фемы, превращенная в фему-катепанат. При Михаиле Пафлагоне, около 1040 г., стратигом этой фемы был Алусиан, из мести к Иоанну Орфанотрофу принимавший участие в болгарском восстании.[2] Не на далеком расстоянии от Феодосиополя лежал богатый торговый город Арзен, или Эрзерум, замечательный тем, что он был первым армянским городом, разрушенным турками в 1048 г.[3] Уцелевшие от разгрома жители Эрзерума перешли на жительство в Феодосиополь, увеличив тем состав населения в этом последнем.[4] Феодосиополь при Романе Диогене был уже фемой-катепанатом, так как вследствие потери Ания и Карса он оказался пограничной областью. В последнем походе Романа Диогена против турок 1071 г. принимал участие катепан Феодосиополя, магистр Василакий; в стычке с турками, предшествовавшей генеральному сражению, он был взят в плен, из которого освобожден вместе с Диогеном.[5]

10) **Халдия**, у юго-восточного побережья Черного моря, с главным городом Трапезунтом. Эта фема до основания Иверийской фемы имела весьма важное значение и играла по отношению к грузинским владетелям ту же роль, какую потом взяла на себя Иверия, — ее стратиги еще при Василии II носили титул дук.[6] В наш период значение Халдии упало; она принадлежала к числу фем,[7] но ее стратиги не занимали выдающегося положения и ни один из них не упомянут.

---

[1] *Matth. d'Ed.*, 125–126; *Вардан*, 127; *Kirak. de Kantz.*, 49; *Mkhithar d'Airiv*, 93; *St.-Martin.*, I, 375.

[2] *Cedr.*, II, 531. См. выше, с. 312, прим. 2.

[3] *Arisd.*, 82–83; *Matth. d'Ed.*, 83–84; *Ибн-ал-Атир*, у St.-Martin, 215.

[4] Отсюда происходит, что у некоторых историков оба города смешиваются, и название Каликала (которое носил город Эрзерум) прилагается к Феодосиополю.

[5] *Attal.*, 155 (*Scyl.*, 694. Скилица называет Василакия дукой Феодосиополя; объясняя эту особенность своеобразным пониманием слова «дука» (см. выше, с. 320, прим. 3), мы отдаем предпочтение источнику, из которого Скилица заимствовал сведение. См.: *Zon.*, IV, 212).

[6] Таков был Склир, дука Халдии. См.: *Cedr.*, II, 431.

[7] *Attal.*, 78.

11) **Армениак**, побережная фема, на запад от Халдии. Она образована из части Каппадокии, прилегавшей к морю, с городом Амасией и др., и получила название, по мнению Константина Багрянородного,[1] не ранее императора Ираклия от обитавших по соседству армян. Стратигом этой фемы (или турмархом) при Михаиле Пафлагоне был Катакалон Кекавмен (впоследствии дука анийский), в чине протоспафария. В 1040 г. он во главе военного отряда своей фемы храбро защищал город Мессину, в Сицилии, и отстоял его от сарацин.[2] При Романе Диогене претором Армениака был протосинкелл Георгий Коринфский.[3] Во второй половине XI в. должность стратига занимал неизвестный по имени ученик Пселла, племянник Амасийского митрополита-синкелла.[4]

12) **Пафлагония**, к западу от Армениака, по берегу моря, с городом Синопом. Эта фема упоминается при Калафате[5] и Романе Диогене.[6] Но ни один стратиг фемы не назван.[7]

13) **Букелларий**, к юго-западу от Пафлагонии, по берегу моря, с городами: Ираклией, Клавдиополем, Анкирой и др. Эта фема, соответствовавшая древней Галатии, получила свое название от фурштатных солдат, которые здесь располагались на квартирах.[8] При Константине VIII стратигом Букеллария был магистр Прусиан Болгарин, который за раздор, доходивший до войны, с Василием Склиром был сослан на остров Плату.[9]

14) **Оптиматы**, к юго-западу от Букеллария, по Черному морю, Босфору и Пропонтиде, с главным городом Никомидией. Фема получила такое название, как полагают,[10] от отборных готских воинов (оптиматов) или от массы находившихся в ней дворцов, принадлежавших магнатам. О феме Оптиматы есть упоминание в письмах Пселла.[11]

---

[1] *Const. Porphyr.*, III, 18.

[2] *Cedr.*, II, 523.

[3] Советы и рассказы визант. **боярина**//Ж. М. Н. Пр., 1881, **июль**, 146.

[4] *Psell.*, V, 269.

[5] *Cedr.*, II, 535.

[6] *Attal.*, 173.

[7] У *Пселла* (V, 280) есть письмо к стратигу Пафлагонии, но имя его не указано. Есть также письмо Иоанна Евхаитского к игемону и архонту Пафлагонской епархии, но и здесь имя стратига не приведено. *De-Lagarde*, 56.

[8] βουκελλάριος = bucca, κελλάριος = ὁ φύλαξ τοῦ ἄρτου (хранитель провизии). Ср.: *Const. Porph.*, III, 28.

[9] *Cedr.*, II, 483.

[10] *Rambaud*, 191–192; *Gfrörer*, III, 806. *Константин Багрянородный* (III. 26) отказывается объяснить происхождение этого названия.

[11] *Psell.*, V, 291.

15) **Опсикий**, к югу от Оптиматов, по берегу Пропонтиды, с главным городом Никеей. Фема названа так от особого отряда войска, сопутствующего императору или главнокомандующему.[1] При Михаиле Пафлагоне отряд войска из фемы Опсикия принимал участие в неудачном сражении Докиана с норманнами, но командовал ли этим отрядом стратиг фемы, или турмарх — не знаем.[2] В конце царствования Мономаха стратигом фемы был Зома, административные способности которого и нравственные качества высоко ценились при дворе, почему, несмотря на болезнь, он не мог выхлопотать себе отставку от должности.[3]

16) **Абид**, по обеим сторона Геллеспонта, фема, получившая название от города на азиатском берегу. В прежнее время она входила в состав одной общей фемы, носившей название Αἰγαῖον πέλαγος (Эгейское море) и заключавшей в себе азиатский треугольник, с городами Абидом и Троей, европейский полуостров, с Мадитом и Сестом, Спорадские острова, в том числе важнейшие: Лемнос, Лесбос и Хиос, и Киклады.[4] В XI в. Эгейская фема является разделенной на три частнейшие. Абид уже при Василии II выступает в виде отдельной фемы, с особым стратигом,[5] на котором лежит специальная обязанность с помощью бывшего в его распоряжении флота защищать проход через Геллеспонт и охранять побережье.[6] При Романе III стратигом Абида, по-видимому, был протоспафарий Текнея, предпринимавший, по приказанию императора, экспедицию против Александрии и в устьях Нила захвативший немало судов.[7] К неизвестному по имени стратигу Абида, состоявшему в чине магистра, писал письмо Пселл, прося защиты от притязаний аплоконисского турмарха.[8]

17) **Эгей** (Αἰγαῖον πέλαγος), другая частнейшая фема, выделившаяся из большой фемы этого имени. Она отличалась от фемы Абида,[9] имела

---

[1] Obsequentes = προπορευομένοι ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως (идущие впереди царя). См.: *Const. Porphyr.*, III, 24. Obsequentes называлась еще милиция гладиаторов, образованная, по словам Капитолина, Марком Аврелием и квартировавшая на местах позднейшей фемы Опсикия. Ср.: *Rambaud*, 293–294.

[2] *Cedr.*, II, 546.

[3] *Psell.*, V, 263–265, 483–485; ср. V, 276; PG, CXXXVI, 1326.

[4] *Const. Porph.*, III, 42–43.

[5] При Василии II был назначен стратигом Абида Роман-Симеон, сын болгарского царя Петра и брат Бориса, после того как он передал императору город Скопы. См.: *Cedr.*, II, 455.

[6] *Cedr.*, II, 479.

[7] *Cedr.*, II, 502.

[8] *Psell.*, V, 423.

[9] *Psell.*, V, 338–339.

особого стратига (к одному из стратигов адресовано два письма Пселла),[1] но, по отсутствию прямых указаний, трудно сказать, какие острова принадлежали к этой феме, — вероятнее всего Лесбос.

18) **Хиос**, третья частнейшая фема, выделившаяся из большой Эгейской фемы. Стратиг этой фемы (подобно стратигам Абида и некоторых других приморских фем) имел в своем распоряжении флот. При Константине VIII хиосским стратигом был Беривой; когда агаряне сделали нападение на Киклады, он, в союзе со стратигом Самоса, разбил их, 12 кораблей пленил, остальные рассеял.[2]

19) **Самос**. В прежнее время в состав этой фемы входил остров Самос и малоазиатское побережье с городами: Адрамитием, Смирной и Ефесом, из которых Смирна была резиденцией стратига.[3] В наш период побережье от Адрамития на севере до Милета на юге принадлежало к Фракисийской феме,[4] так что фема Самос едва ли не ограничивалась островами этого имени и, может быть, некоторыми другими островами. При Константине VIII стратигом Самоса, помогавшим Беривою разбить флот агарян, был Георгий Феодорокан.

20) **Фракисий**, фема, названная так по имени фракийских славян, переселенных из Европы в Азию. Кроме прибрежных городов: Адрамития, Смирны, Ефеса, Милета, к этой феме относились, между прочим, Филадельфия и Иераполь. В Филадельфии имел свою резиденцию praктор фемы, каковым был одно время Пселл.[5] Известно об отце Романа Диогена, Константине Диогене, что он при императоре Романе Аргире был переведен в наказание из Фессалоники, где занимал место дуки, во Фракисийскую фему стратигом, однако же, недолго оставался на новом месте.[6] При преемнике Романа Аргира, Михаиле Пафлагоне, отряд фракисийцев сражался с Докианом против норманнов.[7] В середине XI в. должность фракисийского претора исправлял проедр Ксир.[8]

---

[1] *Psell.*, V, 297, 338.

[2] *Cedr.*, II, 484 (*Zon.*, IV, 127).

[3] *Const. Porph.*, III, 41.

[4] *Cedr.*, II, 513.

[5] *Psell.*, V, 459–460.

[6] См. выше, с. 139.

[7] *Cedr.*, II, 513.

[8] *Psell.*, V, 279, 283. Имя Ксира неизвестно, — может быть, это был Константин, упоминаемый на печати (Revue archéol., 1877, XXXIV, 48), а может быть, проедр и протомистик Иоанн Ксир, разбиравший в 1057 г. спорное дело между монастырями св. Пантелеимона и св. Никона. См.: Акты русского на св. Афоне монастыря, 30.

21) **Кивирреот**, к югу от Фракисия, фема, получившая название, по объяснению Константина Багрянородного, от незначительного городка Кивирры,[1] каковое объяснение может быть принято лишь с той поправкой, что Cybirra magna был город довольно значительный.[2] Кроме Кивирры в этой феме были города: Атталия, Сид, Миры Ликийские, Малая Антиохия и др., в состав ее входил также остров Родос. Под ведением кивирреотского стратига находился флот для защиты малоазиатского побережья и островов от сарацин Египта и Сицилии и для морских экспедиций. При Михаиле Пафлагоне стратигом был Константин Хаге; когда сарацины сделали нападение из Африки и Сицилии, он одержал над ними победу, многих истребил, и взяв в плен до 500 человек, препроводил к императору, в Византию.[3] Преемником Хаге был Константин Каваллурий, упоминающийся в рассказе о нашествии россов в 1044 г.[4] Впоследствии должность кивирреотского стратига занимал некто, прежде бывший протонотарием дрома; о нем знаем по надписанию писем Пселла.[5]

22) **Кипр**, с главным городом Константией. О стратиге этой фемы, Феофиле Эротике, занимавшем должность при Калафате и в начале царствования Мономаха, известно по его столкновению с практором фемы, Феофилактом.[6]

Между кивирреотской и антиохийской фемами лежали Селевкия и Киликия, две гористые области. Первая из них до императора Романа Лакапина составляла клисуру, имевшую своим назначением отражать нападения сарацин из Тарса; Роман обратил клисуру в фему.[7] Что касается Киликии, то нет указаний, чтобы она когда-нибудь была фемой. Это была клисура, крайний наблюдательный пункт для пригляда за сарацинами: как скоро в Тарсе замечалось подозрительное движение, на вершине киликийского Тавра зажигался сторожевой сигнальный огонь, немедленно такие же сигнальные огни зажигались на других пунктах, по направлению к Византии, и через каких-нибудь два часа в столице Греческой империи уже знали, что в Тарсе затевается недоброе.[8] К началу нашего периода Тарс не принадлежал сарацинам, равно как и многие другие

---

[1] *Const. Porph.*, III, 38.
[2] *Taciti* Annal., 10, 13.
[3] *Cedr.*, II, 513, 514 (*Zon.*, IV, 139).
[4] *Cedr.*, II, 554.
[5] *Psell.*, V, 351, ср. 297.
[6] См. выше, с. 323.
[7] *Const. Porph.*, III, 35–36.
[8] *Theoph. Contin.*, 197.

города, которыми сарацины некогда владели и потом потеряли. Тем не менее Киликия продолжала оставаться клисурой, имея своим средоточием Подант. Селевкия тоже едва ли не была опять низведена на степень клисуры, по крайней мере, о ней, как о феме, и о ее стратиге нет нигде упоминания. В селевкийских горах обитали армяне, которые в случае надобности охраняли проходы через горные ущелья.[1]

Кроме пограничных и побережных фем в Азии были еще фемы внутренние.

23) **Анатолик**, к югу граничивший с Киликией, Селевкией и Кивирреотом, к западу с Фракисием, к северу с Опсикием, Оптиматами и Букелларием. Эта фема соответствовала древней Фригии.[2] Стратигами Анатолика были Ликанф при Стратиотике[3] и Никифор Вотаниат при Парапинаке.[4]

24) **Каппадокия**, прилегавшая к восточным границам фемы Анатолика,[5] *на севере граничившая с Букелларием, на юге с Киликией. При* Михаиле Стратиотике стратигом Каппадокии был Вриенний.[6]

25) **Харсианская фема** (названная так по имени полководца Харсия, около времени Юстиниана отличившегося в борьбе с персами)[7] прилегала к северо-восточным границам Каппадокии, на западе граничила с Букелларием, на севере с Пафлагонией и Арменіаком. О Харсианской феме несколько раз упоминается у историков по тем или другим случаям,[8] есть и письма к харсианским стратигам,[9] но ни один стратиг по имени не назван, известны только имена двух турмархов, предводителей харсианских отрядов при Стратиотике.[10]

26) **Ликанд**, к югу от Харсия, подобно этой последней феме, прилегал к восточным границам Каппадокии, соприкасался также с «Поевфрат-

---

[1] В этом смысле им был дан приказ Романом Диогеном во время нападения турок. См.: *Attal.*, 137.

[2] *Attal.*, 103; *Zon.*, IV, 206.

[3] *Cedr.*, II, 621–622, 627.

[4] *Attal.*, 213. К неизвестному по имени стратигу фемы писал письмо *Пселл* (V, 273).

[5] *Attal.*, 184–185 (*Scyl.*, 709). Мост Зомп через реку Сангар соединял фемы Анатолик и Каппадокию.

[6] *Cedr.*, II, 616. Есть письма к неизвестным по имени стратигам Каппадокии. См.: *Psell.*, V, 354, 412.

[7] *Const. Porph.*, III, 20.

[8] *Attal.*, 146; *Cedr.*, II, 531, 627.

[9] *Psell.*, V, 308, 370.

[10] Феофилакт Маниак и Пниемий Ивир. См.: *Cedr.*, II, 627.

скими городами» (на востоке) и с Киликией (на юге). Фема Ликанд упоминается в рассказе о походах Романа Диогена.[1]

На восток от Харсианской фемы лежала Малая Армения, обозначаемая также именем Каппадокии. Во времена Константина Багрянородного здесь была византийская фема Севастия, названная так по имени главного города.[2] В наш период фемы Севастии не существует, территория с находившимися в ней городами отдается по частям великоармянским владетельным домам, в обмен на их наследственные владения, уступаемые Византии. Здесь Сеннахариб, в 1021 г., получил за уступленный Византии Васпуракан кроме титула патриция и звания стратига каппадокийского, города: Севастию, Лариссу, Абару и др.,[3] здесь Какиг II получил от Мономаха, в вознаграждение за уступку Ания в 1044–1045 г., Галонбегад и Бизу, а Какиг, князь Карса, Дзаментау от Константина Дуки, в 1067 г. Новые владения бывшего царя анийского находились на юг от владений Сеннахариба, ближе к Харсианской феме, к востоку от Кесарии, столицы Харсия, а владения бывшего князя Карса лежали ближе к «Поевфратским городам» и Мелитине. Все эти владетели должны были признавать известную степень зависимости от Византии и поставлять вспомогательное войско. Отношения их к Византии были натянуты. Младшие сыновья Сеннахариба († 1027), Адом и Абусал, наследовавшие старшему брату, Давиду († 1037), едва не пострадали при Михаиле Пафлагоне, были тревожимы при Константине Дуке по вопросу о соединении Греко-Восточной церкви с Армянской и не пользовались благосклонностью Романа Диогена.[4] Какиг, владетель Галонбегада и Бизу, славившийся ученостью, был главным противником унициональных стремлений Византии, играл первую роль в богословском диспуте при Константине Дуке и в высшей степени был ожесточен против греков,[5] за что и греки платили ему той же монетой; он погиб от руки греков, почти одновременно с князьями

[1] *Attal.*, 105, ср. 97.

[2] *Const. Porphyr.*, III, 32.

[3] *Cedr.*, II, 464. В каком смысле он был стратигом каппадокийским — трудно сказать, может быть, в то время Каппадокийская и Харсианская фемы были объединены, а может быть, он был стратигом которой-нибудь из прилегавших к его новым владениям фем, Харсианской или Армениака, но назван каппадокийским в смысле древней терминологии, потому что три фемы: Армениак, Каппадокия и Харсий были только подразделениями древней Каппадокии. Ср.: *Const. Porphyr.*, III, 20.

[4] *Matth. d'Ed.*, 44, 52, 67–68, 133–151, 166–167.

[5] *Matth. d'Ed.*, 152–154.

Севастии, около 1079 г.[1] Какиг, бывший Каррский, немногим его пережил.

27) К северо-востоку от Севастии лежала последняя византийская фема в Азии, **Колония**. Кроме Севастии она прилегала к фемам: Армениаку (на западе), Халдии (на севере), Феодосиополю (на востоке), Месопотамии (на юго-востоке). Эта фема, получившая название от сильной крепости, Колонии,[2] упоминается в рассказе о походах Романа Диогена.[3]

Не только пограничные азиатские фемы, но и внутренние, и побережные фемы страдали от турецких набегов, не только в первых, но и в последних турки делали приобретения. Сначала, с Константина Мономаха, подверглись нападениям фемы, прилегавшие к границам. Затем турки простерли свои опустошения далее. От времени Исаака Комнина до Парапинака из внутренних фем пострадали: Колония,[4] Харсий,[5] Армениак, Каппадокия, Анатолик,[6] Фракисий[7] и др. Особенно же большие успехи сделали турки в царствование Парапинака и Вотаниата. Опираясь на мирный договор, заключенный Алп-Арсланом с Романом Диогеном, который византийское правительство не хотело признавать, они вступали в византийские фемы не только для грабежа, но с целью обладания и поселения.[8] Героем турок является Солиман-ибн-Кутулмиш, племянник Алп-Арслана, которому последний перед смертью отдал в управление Малую Азию, с тем чтобы он признавал над собой верховенство Малекшаха, сына Алп-Арслана. Правительство Парапинака после неудачной попытки борьбы с турками предпочло пользоваться их услугами для борьбы с внутренними врагами — Урселем, кесарем Иоанном Дукой и Никифором Вотаниатом.[9] Туркам, без сомнения, сделаны при этом известные уступки, результатом которых было, что турки рассыпались по всем азиатским

---

[1] *Matth. d'Ed.*, 183–184; *Sam. An.*, 75; *Kirak. de Kantz.*, 53–54.

[2] *Const. Porphyr.*, III, 31.

[3] *Attal.*, 149; ср. 78, 105, 136, 168.

[4] *Arisd.*, 120.

[5] *Attal.*, 94 (*Scyl.*, 661).

[6] *Attal.*, 136 (*Scyl.*, 683–684; *Zon.*, IV, 210).

[7] *Attal.*, 140–141 (*Scyl.*, 686; *Zon.*, IV, 211).

[8] *Scyl.*, 708: τοῖς Ῥωμαϊκοῖς ἐπιστρατεύουσι θέμασι, καὶ ταῦτα κατελυμήναντο, οὐ σποράδες ἐπιφοιτῶντες ὡς τὸ πρίν, καὶ φυγάδες αὐτόχρημα, μάλλον δὲ ὡς δεσπόται τῶν προστυχόντων κατακυριεύοντες (Они ополчились на ромейские фемы и разорили их, поступая не так, как прежде, когда они совершали случайные набеги и тут же отступали, а распоряжаясь всем, что им попадется, как господа) (*Zon.*, IV, 220).

[9] *Attal.*, 183–186, 189–192, 199–200, 240–241 (*Scyl.*, 708–711, 713; *Zon.*, IV, 221; *Glyc.*, 614); *Scyl.*, 724; *Bryenn.*, 57–72, 81, 118.

фемам[1] и стали оседать даже около Халкидона, Хрисополя и Никеи, в Оптиматах и Опсикии; здесь, в близком соседстве с Византией, за греками оставались только города, все же остальное, неукрепленные места и деревни, было в руках турок.[2] Положение вещей было до того плачевно, что византийское войско отчаялось в надежде возместить потери в Азии, и если правительство желало отправить солдат против турок, то они открыто бунтовали и не соглашались идти на верную смерть.[3] В таком положении было дело при вступлении на престол Вотаниата, при котором не последовало ни малейшего улучшения. Вотаниат пользовался услугами турок сначала как претендент, в борьбе с законным правительством, а потом как император, в борьбе с претендентом Вриеннием.[4] При этом заключены были выгодные для турок условия,[5] которыми они не замедлили воспользоваться; по словам Анны Комнины, турки раздвинулись всюду и держали в осаде почти все области между Евксинским Понтом и Геллеспонтом, Энейским и Сирийским морями; Кизик, в феме Опсикий, был ими захвачен,[6] та же участь постигла другие города. Не нужно упускать из виду, что Мелиссин, претендент, выступивший в Азии против Вотаниата, был сподручным орудием в руках турок; турки были его союзниками и делали захваты под предлогом утверждения власти Мелиссина.[7] Все это может дать понятие о степени расстройства византийской власти в азиатских фемах в момент вступления на престол Алексея Комнина. Если провести линию от Киликии до Геллеспонта, то получится две полосы, из которых в южной еще удерживалась власть Византии, в северной же полосе, за исключением побережья Черного моря, на расстоянии не менее 30 дней в длину и 10–15 в ширину, основались турки, утвердившиеся также по берегу Пропонтиды и Босфора.[8]

---

[1] *Attal.*, 198: πρὸς πάντα τὰ Ῥωμαϊκὰ ἐτύγχανον θέματα.

[2] *Attal.*, 200, 267–269 (ср.: *Scyl.*, 733; *Georg.*, 892). Венецианский источник говорит точнее, что при преемнике Романа Диогена турки заняли всю страну от Киликии до рукава св. Георгия, т. е. до Геллеспонта, в длину (имеется в виду расстояние от востока на запад) на 30 дней пути, в ширину (от юга к северу) на 10–15 дней. См.: *Dandolo*, 247; *Guil. Tyr.*, 235–236.

[3] *Attal.*, 306–309 (*Scyl.*, 742).

[4] *Attal.*, 240, 263–266, 276–277 (*Scyl.*, 735); *Scyl.*, 732–733 (*Zon.*, IV, 226–227); *Bryenn.*, 119, 130, 133, 137.

[5] *Scyl.*, 733: ἐπὶ συνθήκαις ῥηταῖς μεθ' ἑαυτοῦ συνεπήγετο (он повел их за собой на заранее оговоренных условиях) (*Zon.*, IV, 227).

[6] *Anna*, I, 25, 90.

[7] *Bryenn.*, 158.

[8] Такой вывод находится в соответствии с вышеприведенным (с. 345, прим. 2) свидетельством Дандоло и Вильгельма Тирского и с тем обстоятельством, что

Здесь Солиман основал Иконийское султанство с главным городом Никеей, которое после приобретения Солиманом Антиохии (1084) простиралось до Сирии, захватывая в промежутке бывшие византийские фемы и вассальные земли, за исключением лишь возвышенностей Киликии, где основалось два армянских государства: одному из них положил начало в 1080 г. Рупен, родственник убитого греками Какига II, князя Галонбегада и Бизу (резиденцией его была отнятая у греков крепость Вагу, где жили его потомки Рупениды); другому — Авшин, родоначальник Гетумидов (от Гетума I в XIII в.), который при Парапинаке отнял у турок Лампрон и в нем утвердился.[1] Иконийским султанам, владения которых раскинулись, таким образом, от Сирии до Пропонтиды, недоставало только флота, чтобы подчинить своей власти острова; в царствование Алексея Комнина было устранено и это препятствие.[2]

Перечень европейских фем начнем с наиболее отдаленных.

28) **Италия**, называемая еще у византийских писателей Лангобардией, а у западных Апулией или Барем, по имени главного города — резиденции стратига. В прежнее время у Византии было две фемы — Сицилия, в состав которой, кроме острова этого имени, входила еще Калабрия, и Лангобардия. Но с тех пор как остров Сицилия был отторгнут сарацинами, Калабрия, оставшаяся во власти Византии, была причислена к феме Лангобардии, и в Италии оказалась одна фема.[3] Италия была фема-катепанат, впоследствии дукат. Для византийского правительства она представляла такие сложные задачи, каких не создавала ни одна другая фема. Здесь завязан был узел, соединявший Восток с Западом, поддерживавший между ними постоянное культурное общение, вместе с тем здесь был пункт столкновения и борьбы разнообразных политических интересов. На Италию обращали взоры сарацины из Африки и Сицилии, от притязаний на нее не отказывались и германские императоры. Кроме того, Византия должна была еще считаться с национальными стремлениями местного населения итальянской фемы, которое не рассталось с мечтой о независимости, находя отголосок и поддержку своим стремлениям при

в хрисовуле, данном Алексеем Комнином венецианцам в начале царствования (*Zachariae*, III, 436), перечень азиатских городов, в гаванях которых венецианцы освобождены от пошлин, начинается с Лаодикии (на южной оконечности Антиохийской фемы) и оканчивается Фокеей (во Фракисийской феме); из прибрежных городов Азии к северу от Фокеи ни один не назван.

[1] *Matth. d'Ed.*, V–VI.

[2] *Zon.*, IV, 239 (*Glyc.*, 620). Ср.: *Guil. Tyr.*, 236.

[3] *Const. Porphyr.*, III, 58–62.

дворе пап и германских императоров. Наконец, с XI в. выступила в Италии против Византии новая и самая опасная для нее сила в лице норманнских авантюристов, которые сначала небольшими отрядами, а потом массами стали появляться в Италии, с целью наживы, и делать территориальные приобретения за чужой счет, главным образом за счет Византии.[1] Ко времени вступления на престол Константина VIII влияние Византии в Италии, потрясенное восстанием Мела, действовавшего при помощи норманнов, было восстановлено трудами катепана Василия Воиоанна.[2] При Константине VIII Воиоанн продолжал оставаться катепаном Италии до вступления на престол Романа Аргира, который назначил на его место сначала какого-то Христофора, а потом Льва Опа. Последний занимал должность и в первое время царствования Михаила Пафлагона.[3] По приказанию своего правительства он ходил с войском в Сицилию на помощь просившему содействия у Византии Абулафару Мохамеду против его брата (Абухана), искавшего содействия у тунисского (Кайрован) султана Моезза-ибн-Бадиса. Лев Оп не безуспешно действовал в Сицилии, однако же поняв, что борьба с тунисским султаном не обещает быть легкой, возвратился в Италию, а византийское правительство, не доверяя его способностям, назначило в конце 1037 или в начале 1038 г. катепаном в Италию Георгия Маниака, которому были даны сухопутное войско, флот и наказ покорить Сицилию.[4] Маниак прибыл сначала в Италию, оттуда, подкрепив свои силы, переправился в Сицилию, овладел Мессиной, Сиракузами и одиннадцатью другими городами, нанес два поражения африканскому войску, но за оскорбление царского зятя, Стефана Калафата, командовавшего флотом, был отставлен от должности.[5] Для управления фемой назначен на его место протоспафарий Михаил Докиан, который получил звание дуки.[6] Фема, таким образом,

[1] Этот вопрос с достаточной полнотой рассмотрен у *Амари*, *Деблазиица*, *Гизебрехта*, *Бреслау* (Jahbücher des deutschen Reiches unter Heinrich II. Bd. III) и *Деларка* (Les Normands en Italie. Paris, 1883), особенно у последнего, который, впрочем, не чужд недостатков (указаны в Ж. М. Н. Пр., 1883, декабрь, 363–369).

[2] *Ann. Bar.*, 53; *Amat.*, 19, 21; *Leo Ost.*, 653–655, 661, 665; *Lup.*, 57; *Guil. Apul.*, 243; *Anon. Cas.*, 55–56; *Rom. Sal.*, 166; Chr. Amalf., 211–212.

[3] *Lup.*, 57; *Anon. Bar.*, 321–322; *Cedr.*, II, 503.

[4] *Cedr.*, II, 514 (*Zon.*, IV, 140); *Cedr.*, II, 516–517.

[5] *Cedr.*, II, 520, 522–525 (*Zon.*, IV, 140–142; *Ephr.*, 132); *Lup.*, 58; *Anon. Bar.*, 323; *Amat.*, 38–39 (*Leo*, 675); *Malat.*, 551 (*Anon. Vat.*, 747–749).

[6] *Attal.*, 9; *Cedr.*, II, 545; *Amat.*, 41. Показанию *Амата*, что Маниак был катепаном и потом его место занял Докиан, мы отдаем предпочтение перед *Лупом* (57–58), по словам которого за Опом следовал Никифор Докиан, а за Никифором

превращена в 1040 г. из катепаната в дукат, во внимание к факту новых приобретений в Сицилии и к осложнившимся военным задачам относительно сарацин Сицилии и Кайрована. Намерения образовать из сицилийских завоеваний особую фему у византийского правительства пока не обнаруживается. Да и непрочны были эти завоевания: быстро приобретенные, они с неменьшей быстротой были потеряны; греки удержались на время только в Мессине, благодаря Катакалону Кекавмену. Под управлением Докиана начался упадок византийской власти в Италии. Михаил Докиан[1] нанес оскорбление норманнам, в лице их ходатая, Ардуина; норманны с Ардуином оставили в Сицилии греков, которым до тех пор помогали, и, переправившись в Италию, приготовились к мести. Ардуин, знавший недоброжелательное настроение местного населения к византийским порядкам, подготовил общественное мнение к ожидаемому перевороту, и когда норманны, предводительствуемые сыновьями Танкреда Отвильского, появились на границах Апулии, на них стали смотреть как на освободителей от греческих притеснений. Город Мельфы сдался им первый, за ним последовали другие (Асколи, Венуза, Лавелло). Михаил Докиан выступил против норманнов с полной уверенностью в легкой над ними победе, но потерпел в марте и в мае 1041 г. два жестоких поражения, а третий раз помериться силами ему не удалось, потому что византийское правительство прислало ему отставку. На смену ему явился для управления Италией Воиоанн Младший, сын того Василия Воиоанна, который отличился в царствование Болгаробойцы и Константина VIII. Он тоже прибыл в звании дуки, подобно своему предшественнику.[2] Но и Воиоанн, несмотря на личную храбрость, не был счастливее Докиана: в сентябре 1041 г. он был разбит при Монтепилозо и попал в плен, из которого был освобожден только за большой выкуп; норманны беспрепятственно стали занимать Апулию и ко времени вступления на

Михаил Докиан. Никифор Докиан мог исправлять должность Маниака в Италии, пока тот находился в Сицилии, с чем вполне совпадает хронология событий: отставка Опа последовала не позже середины 1038 г., тогда же его место занял Маниак; между тем Никифор Докиан прибыл в Бари в феврале 1039 г., очевидно, когда Маниак отплыл в Сицилию. Смерть Никифора Докиана последовала в Асколи 9 января 1040 г. Предполагают, что Никифор был отцом Михаила Докиана.

[1] Некоторые западные историки (*Amat.*, 41 (*Leo*, 675); *Malat.*, 551 (*Anon. Vat.*, 747–749)) приписывают оскорбление Ардуина Маниаку, ставя этот факт в связь с первой его победой над египетскими войсками. Но более правдоподобно показание историков греческих (*Attal.*, 9; *Cedr.*, II, 545–546) и одного западного (*Guil. Apul.*, 245–246), относящих действие к Михаилу Докиану.

[2] *Malat.*, 552.

престол Михаила Калафата в руках греков оставались в Апулии лишь четыре больших города: Бриндизи, Отранто, Тарент и Бари.[1] Михаил Калафат сначала отправил в Италию Синадина, который не имел большого успеха и был отозван.[2] Дела греков еще ухудшились, потому что и Бари перешел на сторону норманнов, — вследствие того, что последние избрали Аргира, во власти которого находился тогда Бари, своим вождем, в феврале 1042 г.[3] В Константинополе опять вспомнили о Маниаке. Калафат освободил его из-под стражи, дал чин магистра и отправил дукой в Италию. Маниак прибыл в апреле 1042 г. в Тарент (так как Бари, резиденция дуки, был в руках врагов), и уклоняясь от решительной битвы с норманнами и Аргиром, стал заботиться о возвращении под власть греков городов, сдавшихся норманнам. Успехи Маниака были довольно значительны: многие города (Трани, Джиовенаццо, Монополи, Матера) волей-неволей должны были возвратиться под власть греков. Между тем при дворе Мономаха получили значение личные враги Маниака и в августе решен был вопрос о его отозвании. На это Маниак ответил тем, что провозгласил себя императором: с сентября 1042 г. окончилась его деятельность как италийского дуки и началась деятельность как претендента.[4] Византийское правительство поспешило привлечь на свою сторону Аргира дарованием ему амнистии за враждебные действия против Византии, чином патриция и признанием за ним того властного положения, какое он успел приобрести себе в родном городе Бари; между тем на смену Маниака, в качестве дуки италийского, отправлен был протоспафарий Пард.[5] Маниак без труда разделался с этим новым правителем Италии,

[1] *Cedr.*, II, 545–547; *Ann. Bar.*, 54–55; *Lup.*, 58; *Anon. Bar.*, 325; *Amat.*, 42–45, 47–53 (*Leo*, 675–676; *Guil. Apul.*, 246–249); *Malat.*, 552 (*Anon. Vat.*, 750); *Rom. Sal.*, 168; *Ann. Ben.*, 178; *Dandolo*, 241; *Ann. Amalf.*, 212.

[2] *Guil. Apul.*, 250.

[3] *Amat.*, 53 (*Leo*, 676; *Guil. Apul.* 250).

[4] *Psell.*, IV, 138; *Attal.*, 11; *Cedr.*, II, 541, 547 (*Zon.*, IV, 160. Скилица—Кедрин неправильно приписывает отправление Маниака в Италию Зое вместо Калафата). *Ann. Bar.*, 55–56; *Anon. Bar.*, 325–326; *Lup.*, 58; Chr. Brev., 278; *Guil. Apul.*, 250–253.

[5] Примирение с Аргиром произошло не позже первой половины сентября, после того как послы Мономаха, Феодорит Мономах и Василиск, принесли ему грамоту, mandatora parcentia et patricato — *Anon. Bar.*, 326; susceptis imperialibus litteris foederatis et patriciatus an cattepanatus vel vestati honoribus — *Ann. Bar.*, 56. Применение к Аргиру звания катепана имеет здесь специальное значение признания за ним его власти в Бари, — *оно не указывает на возведение* Аргира *в дуки Италии; дукой* Аргир *сделан* был впоследствии, а до того времени дуками были другие лица. Вместе с этим теряет силу догадка Гфрёрера о существовании в Италии с 1042 г. нескольких катепанов.

человеком неспособным, — захватил его и умертвил.[1] Маниаку оставалось тогда бороться в Италии лишь с Аргиром, как приверженцем Мономаха. Борьба имела нерешительный характер до тех пор, пока не прибыл в Италию, в феврале 1043 г., новый дука, магистр Василий Феодорокан, некогда подвизавшийся с Маниаком в Сицилии и теперь отправленный сражаться против него. Маниак оставил тогда Отранто, который он попеременно с Тарентом имел местом своего пребывания, и переправился в Диррахий (в смысле фемы, а не города), для того, чтобы помериться силами с царствовавшим в Византии императором.[2] Положение дуки Феодорокана было весьма затруднительно: за греками оставались только Калабрия и в Апулии те города, которые были удержаны или приобретены Маниаком и Аргиром. Остальную часть Апулии разделили между собой вожди норманнов.[3] Чем ознаменовал Феодорокан свое управление, мы не знаем, но известно, что он недолго оставался на должности, в 1044 г. видим его уже в Византии, отличающимся в битве с россами.[4] Управлять Италией после Феодорокана стал Евстафий Палатин,[5] и управлять несчастливо: в 1044 г. норманны проникли в Калабрию и основали здесь, как основу дальнейших действий, крепость Стридулу; в 1046 г. Евстафий сразился с норманнами около Тарента, но сражение было неудачное, многие из греков пали. Византийское правительство объяснило неудачи Евстафия его неспособностью

[1] *Cedr.*, II, 548; *Ann. Bar.*, 56; *Anon. Bar.*, 326–327; *Lup.*, 58; *Guil. Apul.*, 251. См. выше, с. 178–179.

[2] *Lup.*, 58; *Anon. Bar.*, 327; *Guil. Apul.*, 253.

[3] *Amat.*, 54–56 (*Leo*, 676).

[4] *Cedr.*, II, 552–553 (*Zon.*, IV, 168).

[5] Упоминается он в первый раз в связи с отправлением Аргира в Константинополь, в конце 1045 или начале 1046 г., *Anon. Bar.*, 327: et venit Chagea et catapanus Palatino in Bari. Et Argiro ibit cum Chagea Constantinopolim cum suis, et ipse catapanus remansit Bari. *Lup.*, 58: perrexit Argiro patricius Constantinopolim; et Palatinus Cathepanus, qui et Eustasius, revocavit omnes exiliatos in Barum (И пришли Хаге и катепан Палатин в Бари. Аргир и Хаге со своими людьми отправились в Константинополь, а катепан остался в Бари... Патрикий Аргир отправился в Константинополь, а катепан Палатин, он же Евстафий, вернул в Бари всех сосланных). Но это не значит, чтобы он тогда только вступил в управление Италией; и Хаге впервые здесь упоминается, а между тем его не было на Востоке (ни в Византии, ни в феме Кивирреоте) уже летом 1044 г. и кивирреотским стратигом был Константин Каваллурий, см. выше, с. 341. Показание барийских источников мы понимаем так, что Евстафий сменил Феодорокана и, до конца 1045 г., имел, подобно Феодорокану, резиденцию в Отранто или Таренте, с конца же 1045 г. переехал на жительство в Бари. Аргир же отправился в Константинополь.

и с 1046–1047 г. мы встречаем другого катепана, Иоанна-Рафаила, появляющегося и не без успеха действующего с отрядом варягов.[1] Между тем византийская политика и дипломатия изыскивали средства, чтобы спасти итальянские владения. Выработан был план действий, исполнителем его избран Аргир; в марте 1051 г. он прибыл в Италию с деньгами и соответствующими полномочиями, в чине магистра и в звании дуки Апулии, Калабрии и Сицилии, как писалось в официальных бумагах,[2] или просто дуки Италии, как обыкновенно говорилось и писалось.[3] Войдя в Бари и очистив его от партии, сочувствовавшей норманнам,[4] Аргир стал предлагать самим норманнам идти в Грецию против турок. Когда норманны предложения не приняли,[5] оставалось взяться за оружие — тайное и явное. В применении первого дука был счастливее,[6] чем в применении второго, в результате же предприятия его против норманнов были неудачны, в том числе и его старания[7] возбудить папу против норманнов, старания, облегченные отношениями папы и норманнов к Беневенту и окончившиеся плачевным образом для Льва IX. Аргир занимал место италийского дуки до 1058 г., когда был отставлен от должности Исааком Комнином.[8] Для управления Италией назначен после него патриций Фримвос, при котором приобретения норманнов за счет греков стали быстро возрастать: в 1060 г. были взяты: Реджио, Сквиллаче, Троя (в Апулии); в 1061 г. Роберт Гвискар окончил завоевание Калабрии и свое положение в Апулии считал настолько прочным, что мог перенести оружие в Сицилию.[9]

---

[1] *Lup.*, 58; *Anon. Bar.*, 328; Chron. Brev., 278.

[2] Prologo, 51: Ἀργυρὸς προνοίᾳ θεοῦ μάγιστρος, βέστης καὶ δοῦξ Ἰταλίας, Καλαβρίας, Σικελίας καὶ Παφλαγονίας ὁ Μελητός (Аргир Мелит, волею Божьей магистр, вест и дука Италии, Калабрии, Сицилии и Пафлагонии) (1054).

[3] PG, CXX, 780.

[4] *Lup.*, 59; *Anon. Bar.*, 329.

[5] *Guil. Apul.*, 254.

[6] О заговоре против норманнов и умерщвлении Дрогона в замке Монтольо см.: *Malat.*, *553* (*Anon. Vat.*, 752).

[7] *Guil. Apul.*, 255; *Ann. Benev.*, 179–180.

[8] *Anon. Bar.*, 330–331; *Lup.*, 59; Chron. Brev., 278; *Amat.*, 99–101; *Leo*, 419, 694 (ed. Murat.). *Вильгельм Апулийский* (259) ошибочно говорит, что Аргир лишен должности и отправлен в ссылку Мономахом. Умер он не в ссылке, а в своем родном городе Бари в 1068 г. См.: *Anon. Bar.*, 333.

[9] *Amat.*, III, 146–147 (*Leo*, 426); *Malat.*, 558 (*Anon. Vat.*, 755); *Rom. Sal.*, 170; *Chr. Amalf.*, 217. Из слов *Скилицы* (722) можно заключить, что Фримвос имел резиденцию в Реджио. После взятия Реджио он, вероятно, основался в Сквиллаче и ушел оттуда вместе с греческим гарнизоном, удалившимся, по словам Малатерры, после взятия города в Константинополь.

Фримвос оказался несостоятельным и удалился в Византию. После Фримвоса стал управлять Италией (имея резиденцией Бари) Марули с 1061 г., за ним Сириано с 1062 г., а в 1064 г. назначен был дукой Италии Абухарес, занимавший должность до 1068 г., когда он умер в Бари. Завоевания в остававшейся еще за греками части Апулии при них продолжались, города (Ачеренца, Ории, Бриндизи, Тарент, Матера, Отранто, Монтепилозо) один за другим переходили в руки норманнов.[1] Власть византийского императора в 1068 г. находилась в Италии в таком упадке, что новый дука Италии, Перин, назначенный на место умершего Абухареса, не счел нужным или возможным явиться к месту своей службы; доехав до Диррахия, он не решился следовать далее и был наименован дукой Диррахия; защищать интересы Византии в Италии предоставлено было начальникам гарнизонов (между которыми особенно отличился Никифор Карантин, начальствовавший в Бриндизи).[2] Наконец, в 1068 г. Роберт Гвискар осадил Бари и, несмотря на мужественную защиту города (Стефаном Патераном), взял его в 1071 г. после трехлетней осады.[3] Итальянская фема перестала существовать.

29) За Истрией, находившейся во владении венецианцев, лежала по берегу Адриатического моря фема **Далматия**. В состав ее входили некоторые города (Сплет, Задр) и острова, не занятые ни аваро-славянами (в конце VI в.), ни сменившими их (в VII в.) хорватами и сербами. Здесь сохранилось прежнее население, которое у историков[4] называется ρωμᾶνοι (в отличие от греков — ρωμαῖοι), сохранилось и византийское управление.[5] Впрочем, Византия должна была здесь применяться к местным особенностям населения, назначая (или правильнее, утверждая) властителей из местных жителей, и допустить долю влияния хорватов, выражавшуюся в обязательстве городов платить дань славянским властителям. В 998 г. Василий II Болгаробойца уступил Далматию венецианцам, и Петр II Орсеоло, венецианский дож, присоединил к своему титулу титул далматинского.[6] Однако же, ближайшее подчинение Венеции не

---

[1] *Scyl.*, 722; *Anon. Bar.*, 332; *Lup.*, 59; Chron. Br., 278; *Rom. Sal.*, 170–171; *Malat.*, 571–572 (*Anon. Vatic.*, 763).

[2] *Scyl.*, 722–723; *Amat.*, 144–146; *Anon. Bar.*, 332 (о Перине поставлено не на месте); *Lup.*, 60; *Rom. Sal.*, 171.

[3] *Amat.*, 159–164 (*Leo*, 426); *Guil. Apul.*, 264–265, 268–269; *Malat.*, 571–573 (*Anon. Vat.*, 764); *Lup.*, 60; *Anon. Bar.*, 333–334; *Rom. Sal.*, 171; Ann. Benev., 181.

[4] *Const. Porph.*, III, 125, 128; *Eginhardi*, ed. Pertz, I, 203.

[5] *Pertz*, I, 208; *Const. Porph.*, III, 146–147.

[6] *Dandolo*, 227, 230.

исключало верховной зависимости от Византии. Венецианское владычество продолжалось недолго. Хорватский король Кресимир отнял Далматию у Венеции,[1] и его наместники заняли в Задре такое же положение, какое занимали правители, посылавшиеся из Венеции, — верховная власть Византии признавалась по-прежнему, и даже была усилена, по крайней мере, судя по титулам приоров Задра. В какое время это произошло — с точностью неизвестно, во всяком случае не раньше 1018 г.[2] и не позже царствования Романа Аргира, при котором топарх Задра, Добронья, приезжал в Византию.[3] В 1033 г. существовал правитель фемы, имевший резиденцию в Задре, по имени Григорий, приор города;[4] к нему прилагается староримский титул проконсула.[5] В 1036 г., сообразно с тогдашней византийской терминологией, он уже называется «стратигом всей Далматии» и состоит в чине протоспафария.[6] С течением времени

[1] *Rački*. Borba Južnich Slovena, 1875, u Zagrebu. Ср.: *Смирнов*. Очерк истории хорватского государства до подчинения его угорьской короне. Казань, 1880; Городские общины Далмации в X–XI вв.//Ж. М. Н. Пр., 1881, апрель.

[2] От этого года сохранился список даней, плативших Венеции далматинскими городами. См.: *Marin*. Storia dei Veneziani, II, 273.

[3] Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 159.

[4] По мнению *проф. Васильевского* (там же, 163–166), это был тот же Добронья, славянин, родственник Кресимира.

[5] *Lucius*, 131; *Rački*. Docum. hist. Croat. ant., № 32: regnante Romano augusto, Jaderae regente Cathedram pontificatus Andrea venerabili episcopo, priore urbis domino Gregorio, et proconsule (...при августе Романе, преподобном епископе Задры Андрее и приоре и проконсуле города господине Григории). Титул проконсула усвояется представителю византийской администрации в Далматии и во время, предшествующее 998 г., до поступления под власть Венеции, напр., *Farlati*. Illyr. sacr., III, 113; *Lucius*, 130; *Kukuljević-Sakcinski*, I, 94: ego Majus prior supradictae civitatis (Jaderae) atque proconsul Dalmatiarum (я, Великий приор вышеназванного города (Задры) и проконсул Далмации) (грамота от 986 г.). Под владычеством Венеции в городах существуют приоры (напр., *Lucius*, 127–128; *Farlati*, III, 117: Флорин в Сплете в 1000 г., Беллата в Арбе в 1018 г.), но проконсулами они не называются.

[6] *Lucius*, 131; *Kukuljević-Sakcinski*, I, 110; *Rački*, № 34, 35: romani imperii dignitatem gubernante serenissimo Michaele, Gregorio protospafario et stratico universae Dalmatiae... Michaele gloriosissimo imperatore, in finibus Dalmatiarum honorabile protospafario et stratico Gregorio viro illustrissimo procurante (...когда Римской империей правил светлейший Михаил, а стратигом всей Далмации был протоспафарий Григорий... при славнейшем императоре Михаиле, когда стратигом в пределах Далмации был славный протоспафарий сиятельный муж Григорий).

Далматия была обращена из простых фем в катепанат и ее стратиг получил звание катепана. Указать год, когда это сделано, не можем, несомненно однако же, что в 1067 г., при Константине Дуке, императорский протоспафарий, приор Задра Лев уже назывался «катепаном всей Далматии».[1] Так как возведение фемы на степень катепаната указывает на усложнение ее военных задач, то и относительно Далматии можем сделать заключение, что она превращена в катепанат с появлением по соседству какого-нибудь нового врага, делавшего нападения. Из венецианских памятников легко видеть, что таким врагом были угры[2] и что катепанат в Далматии обязан происхождением угорским вторжениям. Византийская власть в Далматии едва ли сделалась сильнее и прочнее от того, что ее стратиг переименован в катепана; по-прежнему видим, что должность эту занимает городской приор, центральное византийское правительство при назначении на должность было ограничено, — назначаем был стратигом, а затем катепаном тот, кого горожане избирали своим приором. Кроме того, не забывали своих притязаний на Далматию Венеция[3] и Хорватия. Король хорватский Кресимир III (иначе — Петр, 1052–1073) носит в грамотах титул хорватского и далматинского;[4] этот титул носит и его второй (после Славицы, с 1075) преемник Звонимир, иначе называемый Димитрием.[5] Так как в грамотах, в которых Кресимир титулуется таким образом, встречается, наряду с подписями других сановников, подпись далматинского катепана, представителя императорской власти, то отсюда

[1] *Lucius*, 123, 135; *Kukuljević-Sakcinski*, I, 128; *Rački*, № 53–54: anno 1067, regnante domino Constantino Duca magno imperatore, prioratum vero Jaderae retinente D. Leone imperiali protospafario, et totius Dalmatiae capitano. 125: anno 1069, dominus Leo imperialis protospafarius, ac totius Dalmatiae capitanus (В году 1067, когда царствовал великий император господин Константин, а приором Задры и катепаном всей Далмации был императорский протоспафарий Лев... В году 1069: императорский протоспафарий и катепан всей Далмации господин Лев...).

[2] *Dandolo*, 239, 244. Можно принять основную мысль Дандоло, хотя в частностях показания его ошибочны и потому отвергаются (*Lucius*, 132; *Васильевский* // Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 166) или же принимаются с разными исправлениями (*Gfrörer*. Byz. Gesch., I, 453, 490; *Смирнов*. Очерк истории хорватского государства).

[3] *Simonsfeld*. Kurze Venetian. Annalen. Neues Archiv, Bd. I, 702; *Rački*. Docum. hist., 444.

[4] Так он титулуется в грамотах от 1052, 1059, 1062, 1066, 1069, 1072 гг. См.: *Farlati*. Illyric. sacr., V, 604; *Lucius*, 155–165.

[5] *Farlati*, III, 146 sq.; *Lucius*, 137–139, 158. Носил этот титул и один из преемников Звонимира, Стефан. См.: *Lucius*, 140–141.

естественно заключить, что усвоение хорватскому королю титула «далматинский» совершилось не против воли, но с согласия византийского правительства.

30) Южная часть Далматии, начиная от реки Цеттины, занятая сербами, составляла, если не всегда, то время от времени, особую, отдельную от Далматии византийскую фему, называемую или общим именем **Сербии**, или частнейшим — одного из княжеств диоклейской тетрархии **Захолмия**. Далматинский город Рагуза принадлежал к Сербской феме. Положение византийской власти в этой феме представляется аналогичным с положением ее в феме Далматии: как в Далматинской феме она должна была сделать уступку влиянию хорватских князей, так и в Сербской значение ее было парализовано усилением в XI в. сербских князей. Аналогия усматривается еще в том, что византийское правительство относительно этой фемы должно было держаться той же политики назначения, или правильнее — утверждения местных жителей в должности стратигов, какой держалось в Далматии, с тем различием, что роль далматинских приоров здесь играли сербские баны. В первое время после завоевания Болгарии Василием II (1018) и тесно связанного с этим завоеванием утверждения власти византийских императоров над Сербией, стратигами Сербии назначаемы были люди пришлые, но так продолжалось не далее, как до начала царствования Константина Мономаха, при котором придерживаться прежнего порядка назначения сербских стратигов оказалось уже невозможным вследствие возобновлявшихся усилий сербских князей к освобождению страны от византийской власти. Имена сербских стратигов при Константине VIII и Романе III неизвестны.[1] По смерти Романа сербский князь Доброслав делал несколько попыток к освобождению страны от греков. К этому времени следует относить пребывание в Рагузе византийского стратига Катакалона Клизомений-ского, который был захвачен топархом диоклейским Воиславом.[2] Когда Доброслав примирился с Византией,[3] отдав в заложники старшего сына,[4]

[1] По поводу морского нападения сарацин на берега Иллирика в 1032 г. (при Романе Аргире) упоминается о флоте рагузян, помогшем стратигу Навпакта, патрицию Никифору Карантину, разбить сарацин, но кто им тогда предводительствовал — не сказано. См.: *Cedr.*, II, 499.

[2] Советы и рассказы визант. боярина / / Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 370–371.

[3] *Cedr.*, II, 515.

[4] По *Пресвитеру Диоклейскому* (497), старший сын назывался Goyslauus, остальные четыре: Mihala, Saganec, Radoslauus, Predimirus. Упоминаемый греческими историками Στέφανος Βοϊσθλάβος, очевидно, то же, что Goyslauus.

для управления Сербией, в качестве императорского уполномоченного, был прислан Феофил Эротик. Но в 1040 г. среди сербов началось новое движение, во главе которого стал бежавший из Византии старший сын Доброслава, Воислав. Императорский стратиг был изгнан из Сербии.[1] Движение продолжалось целые годы. Византийское правительство назначило на должность стратига Лютовида, владетеля холмской земли, или Захолмия, дав ему чин протоспафария[2] и возложив на него обязанность смирить сербского князя. Дуке соседней фемы, Диррахия, приказано было помогать Лютовиду. Но сербы разбили в 1042 г. войско диррахийского дуки, после чего нанесли поражение и Лютовиду.[3] В дальнейшее время о стратигах Сербии не упоминается; греки не оставляли притязаний на Сербию,[4] но успеха не имели. При князе Михале, особенно же его сыне Бодине, авторитет Византии в сербской феме пал окончательно.[5]

31) **Диррахий (Драч)**, фема-дукат, названная по имени главного города, лежала по берегу Адриатики на юг от сербских владений, в северной части греческого Иллирика. Эта фема была образована Василием II из приморской части Новой Болгарии, после того как армянин Асот (из Тарона), зять царя Самуила, по соглашению с одним из местных династов, Хрисилием,[6] изменил своему тестю и передал Диррахий, которым управлял, византийскому императору.[7] Фема была операционным базисом Византии против сербов, северных соседей фемы, и болгар, соседей восточных. При Михаиле Пафлагоне в 1040 г. управление Диррахием находилось в руках Василия Синадина. Когда началось восстание в Болгарии, он выступил с войском для усмирения восставших, но прежде чем

---

[1] Феофил Эротик после этого получил назначение на остров Кипр.

[2] *Presb. Diocl.*, 498; Luttouid principi regionis Chelmanae, ut... ipse esset princeps et ductor totius populi. Сохранилась грамота (*Farlati*. Illyr. sacr., VI, 44), в которой Лютовид называет себя протоспафарием и стратигом Захолмия.

[3] В 1044 г. о Лютовиде уже не упоминается; другой бан Захолмия, Ратимир, фигурирует в грамоте (*Farlati*, VI, 44 sq.), утверждающей право на церковь Babina Palla за бенедиктинцами Лакромского (небольшой остров напротив Рагузы) монастыря, — право, впервые данное Лютовидом.

[4] Mychala et Saganec timentes ne graeci terram invaderent, eo quod graeci praeparabant se venire (Михала и Саганек боялись, как бы греки не напали на их земли, ибо греки готовились вторгнуться туда) (около 1051 г.). См.: *Presb. Diocl.*, 501.

[5] *Cedr.*, II, 526–527, 549–550, 607 (*Zonar.*, IV, 158; *Glyc.*, 594); *Presb. Diocl.*, 497–504.

[6] *Пресвитер Диоклейский* (498–499) смешивает его с позднейшим дукой Диррахия Михаилом (сыном Анастасия), которого называет Cursilius.

[7] *Cedr.*, II, 451.

дело дошло до схватки, был смещен по доносу его подстратига, Михаила Дермокаиты. Доносчик назначен на место Синадина, но дурным управлением возбудил против себя такое негодование, что должен был спасаться бегством.[1] В первое время после вступления на престол Мономаха управлял Диррахием Михаил, сын логофета Анастасия, который в 1042 г. ходил с войском против сербов, на обратном пути через клисуру потерял около 40 тысяч человек и сам едва спасся бегством.[2] Около 1066 г. дукой Диррахия был, по-видимому, вестарх Михаил Маврики, названный на свинцовой печати катепаном Диррахия.[3] При Романе Диогене (1068 г.) дукой Диррахия сделан был Перин, первоначально назначенный в Италию, но не решившийся туда ехать вследствие того, что удержание византийской власти над Италией было делом положительно безнадежным.[4] Состоя на должности в Диррахии, он должен был в то же время иметь надзор за Италией.[5] При Михаиле Парапинаке дукой Диррахия был проедр Никифор Вриенний, нанесший поражение разбойничьей итальянской флотилии[6] и не без успеха действовавший против сербов.[7] В 1077 г. Вриенний был смещен и вместо него Парапинак назначил протопроедра Никифора Василакия, который занимал должность до начала правления Вотаниата, пока не выступил неудачным соперником Вотаниату.[8] Вотаниат назначил дукой Диррахия Георгия Мономахата, который во время восстания против Вотаниата Алексея Комнина остался верен законному императору и отказал Комнину в деньгах, за что по вступлении Комнина на престол немедленно был заменен Георгием Палеологом, ревностным приверженцем Алексея; Мономахат искал убежища у Михалы Сербского и его сына Бодина, откуда возвратился, получив от императора хрисовул, обеспечивавший личную безопасность.[9]

---

[1] *Cedr.*, II, 527.

[2] *Cedr.*, II, 543–544; Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 265.

[3] Revue archéolog., 1877, XXXIV, 52. Ср.: *Lup.* Prot., sub a. 1066.

[4] *Scyl.*, 722.

[5] Этим объясняется, почему, как говорит *Аноним Барийский* (332), multi nobiles (из Италии) perrexerunt Perino in Durrachio pro tollendum honores (многие знатные люди отправились в Диррахий к Перину, дабы удостоиться почестей). О возложенном на него поручении действовать против норманнов см.: *Amat.*, 144–146; о наблюдении его за Гвискаром — *Malat.*, 573.

[6] *Bryenn.*, 103.

[7] *Bryenn.*, 102–103.

[8] *Attal.*, 242, 246, 297 (*Scyl.*, 727).

[9] *Anna*, I, 76–80, 181.

32) **Никополь**, или **Навпакт**, к югу от Диррахия, на месте древнего Эпира. Фема называлась Никопольской (τῶν Νικοπολιτῶν) по имени города, бывшего в прежнее время резиденцией стратигов, а Навпактом — по имени города, служившего местопребыванием стратигов в XI в.[1] При Константине VIII стратигом Навпакта был Георгий, которого за мрачные душевные качества называли еще Морогеоргием и который известен своими притеснениями, доведшими жителей до такой степени раздражения, что они умертвили его и имущество его расхитили.[2] При Романе III стратигом Навпакта[3] был Никифор Карантин, удачно отражавший нападения сарацин из Сицилии и Африки на берега Иллирика и острова.[4] Из времени Михаила Пафлагона известен практор Никопольской фемы Иоанн Куцомита, доведший жителей своими притеснениями до того, что они растерзали его на части.[5]

33) **Пелопоннес и Эллада**, фема, лежавшая по соседству с Никопольской и составившаяся из прежних двух фем. Прежние две фемы[6] в XI в. являются объединенными как в судебно-административном, так и в финансовом отношении,[7] и сохранившиеся до нашего времени письма адресованы стратигу «Пелопоннеса и Эллады»[8] или «претору Пелопоннеса

---

[1] *Cedr.*, II, 529: τὸ θέμα τῶν Νικοπολιτῶν, πλὴν Ναυπάκτου (фема Никопольская, кроме Навпакта). 482: ἐν τῇ Ναυπάκτῳ... Γεωργίου στρατηγοῦντος (когда Георгий был стратигом... Навпакта). В прежнее время город Навпакт принадлежал не к Никопольской феме, но к Элладе. См.: *Const. Porph.*, III, 51. Перенесение резиденции стратига в Навпакт можно объяснить тем, что в этом городе не так чувствителен был славянский элемент, как в Никополе. О силе славянского элемента в Никополе, некогда составлявшем часть Болгарского царства, можно судить по истории болгарского восстания, когда никопольцы сочувствовали своим сородичам и легко перешли на их сторону. См.: *Cedr.*, II, 529.

[2] *Cedr.*, II, 482–483.

[3] Скилица—Кедрин называет его стратигом Навплия, но по общему убеждению (ср.: *Hopf*, 139; *Herzberg*, I, 304), историк делает здесь ошибку, смешивая Навплий с Навпактом.

[4] *Cedr.*, II, 499, 500, 503 (*Zon.*, IV, 132; *Ephr.*, 130).

[5] *Cedr.*, II, 530.

[6] *Константин Багрянородный* (III, 51–54) при исчислении европейских фем ставит Элладу (с островом Эвбеей) на пятое место, а Пелопоннес на шестое, представляя их отдельными фемами.

[7] Объединение совершилось таким образом, что фема Эллада разделена была на части, из которых одна с Навпактом отошла к Никопольской феме, а другая к Пелопоннесской. Древнейшее свидетельство об их объединении в Πεῖρα, *Zachariae*, I, 274.

[8] *Psell.*, V, 267–268.

и Эллады».[1] Резиденция практора фемы была в Афинах,[2] но в этом ли городе имел резиденцию стратиг — указаний нет. Из истории болгарского восстания 1040 г. можно, напротив, заключить, что стратиг жил в Фивах: войско, отправленное Делеаном в Элладу, под предводительством Анфима, встретило у Фив Аллакасевса, обратило его в бегство и истребило множество фивян.[3] Хотя Аллакасевс не назван прямо стратигом, однако же можно думать, что он занимал эту должность. После Аллакасевса назначен был в 1041 г. стратигом Пелопоннеса и Эллады Константин Мономах,[4] едва ли, впрочем, успевший даже вступить в должность. В ближайшее затем время стратигом был вестарх Василий Ксир, упоминаемый на свинцовой печати, если только он тождественен с позднейшим претором фракисийским, проедром Ксиром.[5] При Романе Диогене купил себе должность претора Эллады и Пелопоннеса Никифорица,[6] занимавший должность до Михаила Парапинака. Около времени воцарения Алексея Комнина претором был Константин Хиросфакт.[7] Протоспафарий Николица Делфина, имевший резиденцию в Лариссе и стоявший во главе восстания влахов при Константине Дуке, был скорее турмарх, чем стратиг.[8]

34) **Фессалоника**, фема-дукат, к северу от Пелопоннесско-Элладской фемы, при Эгейском море, названная по имени главного города. Эта фема, в ряду европейских фем, занимала такое же положение, какое Антиохия в ряду фем азиатских: царские родственники получали назначение на места дук этой фемы, подобно тому как и на места дук фемы Антиохийской. Военное ее значение обусловливалось главным образом соседством болгар, относительно которых фема составляла такой же стратегический

---

[1] *Psell.*, V, 344.

[2] *Psell.*, V, 268.

[3] *Cedr.*, II, 529.

[4] *Cedr.*, II, 542.

[5] Θεοτόκε βοήθει Βασιλείῳ βεστάρχῃ (καὶ) κριτ(ῇ) Πελ(οπονν)ήσου καὶ Ἑλλ(ά)δ(ος) τῷ Ξυρ(ῷ) (Богородица, помоги Василию Ксиру, вестарху и судье Пелопоннеса и Эллады). См.: Revue archéolog., 1877, XXXIV, 51. Если не допускать тождества, то придется здесь иметь в виду Василия Ксира, бывшего послом при Мануиле Комнине. См.: *Cinnami*, 91–92.

[6] *Attal.*, 182; *Psell.*, V, 344.

[7] На свинцовой печати: Ἑλλὰς (ἐ)μὲ καὶ Πελοπόννησος δέχου Κωνσταντῖνον πραίτωρα τὸν Χοιροσφάκτην (Эллада и Пелопоннес, прими меня, Константина Хиросфакта, претором). См.: Revue archéol., 1877, XXXIV, 48. В 1081 г. к нему прилагается *Анной Комниной* (I, 175) титул ὁ πρωτοπρόεδρος καὶ κατεπάνω.

[8] Советы и рассказы визант. боярина / / Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 125–146.

базис на восточной стороне, каким был Диррахий на западной. При Константине VIII и в первое время Романа III фессалоникийским дукой был Константин Диоген, муж племянницы императора Романа III и отец вступившего впоследствии на престол Романа IV Диогена.[1] При Михаиле Пафлагоне должность дуки занимал царский племянник, патриций Константин. В его управление город подвергся осаде со стороны восставших болгар, в 1040 г.; жители, сделав вылазку, нанесли осаждавшим поражение и заставили отступить.[2]

К северу от Фессалоникийской фемы, по течению реки Стримона, находилась в X в. фема **Стримон**.[3] В XI в. название Стримон употреблялось для географического обозначения местности между Македонией и Фессалоникой,[4] но не в смысле военно-административной единицы — фемы Стримона более не существовало, — она была причислена к какой-нибудь из соседних фем, неизвестно только — к Фессалонике, или к Македонии, или же к обеим вместе по частям.

35) К северо-востоку от Фессалоникийской фемы, между Эгейским морем, Пропонтидой, затем, минуя окрестности Константинополя, между Черным морем и Гемусом, лежала фема-дукат, которая чаще всего называется **Македонией**, иногда «**Фракией и Македонией**», а также **Адрианополем** (по имени главного города). Эта фема находилась главным образом на месте древней Фракии, которая с течением времени[5] стала называться Македонией. Остатком старых географических представлений

---

[1] *Cedr.*, II, 483, 487. У Скилицы—Кедрина в истории Константина VIII неточное выражение, что Константин Диоген переведен был из Сирмия в Болгарию дукой; в истории Романа III автор выражается точнее, говоря, что из Сирмия он был переведен в Фессалонику. Неточность в первом случае может быть объяснена тем, что часть болгарских земель из царства Самуила отошла к Фессалоникийской феме или, что будет смелее, тем, что историк смешал Константина Диогена с сыном его Романом и императора Константина VIII с Константином X.

[2] *Cedr.*, II. 532. *Аристакес* (48–49) ошибочно называет фессалоникийского дуку братом царя. См.: Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 273.

[3] *Const. Porphyr.*, III, 50.

[4] *Cedr.*, II, 518.

[5] От конца VII до середины IX в., как показано *Тафелем* (Constantinus Porphyrogenitus novis curis editus. Tübing., 1846, XV). При этом название «Фракия» получило крайне смутное значение, и тогда как одни ограничивали ее чуть не стенами Константинополя, другие под Фракией имели в виду прилегавшую к Константинополю местность, а иные (в том числе Константин Багрянородный) желали понимать этот географический термин в древнем его значении.

и тем, что новая терминология (замена названия Фракии названием Македонии) не успела еще и в XI в. вполне вытеснить прежнюю, объясняется равнозначное применение простого (Македония) и сложного (Фракия и Македония) наименования для обозначения фемы. Видеть в этом результат объединения в XI в. двух фем, до того времени существовавших отдельно (подобно тому как объединены Пелопоннес и Эллада), нельзя,[1] потому что задолго до XI в. общим именем «Фракия и Македония» обозначалась одна фема, бывшая под управлением одного стратига.[2] Македонская фема служила для Империи оплотом против набегов из-за Дуная туркоманских орд — печенегов, узов, куманов, которые пробивались через придунайские владения Византии, переправлялись через горы и вносили опустошение в Македонскую фему, не оставляя без внимания и Адрианополя, а в случае удачи простираясь на фемы, следовавшие за Македонской.[3] При Константине Мономахе, в период столкновений Империи с печенегами, дукой фемы был магистр Константин Арианит.[4] Он сначала в союзе со стратигами соседних фем удачно действовал против

[1] *Константин Багрянородный* (III, 44–50), при поверхностном с ним знакомстве, может дать повод именно к такому взгляду, так как в своем перечне европейских фем называет Фракию и Македонию как две отдельные фемы. Исчисляя города той и другой фемы, Константин Багрянородный сам же обнаруживает несостоятельность своего разделения, — к Македонской феме отнесены им города, принадлежавшие, по собственному его показанию, к другим фемам, как-то: к Никополю, Элладе. Причина такой странности заключается в том, что сделав из одной фемы две и отнеся к Фракии то, что принадлежало Фракии-Македонии, он поставлен был в затруднение при определении границ фемы Македонии и поневоле продвинул ее в пределы близлежащих фем.

[2] Так, по словам *Феофана* (737), императрица Ирина около 800 г. μονοστρατηγὸν εἰς τὴν Θράκην καὶ Μακεδονίαν προεβάλετο (поставила единого стратига над Македонией и Фракией), а по словам *Продолжателя Феофана* (305) (*Cedr.*, 231), император Василий Македонянин назначил патриция Льва стратигом Фракии и Македонии.

[3] При Константине VIII, *Cedr.*, II, 483 (*Zon.*, IV, 127). При Романе III, *Cedr.*, II, 499 (*Zon.*, IV, 132; *Glyc.*, 584). При Михаиле Пафлагоне, *Cedr.*, III, 512, 514–515 (*Zon.*, IV, 139). При Константине Мономахе, *Attal.*, 30–44; *Cedr.*, II, 581–589, 594–604, 607–608 (*Zon.*, IV, 174–176; *Glyc.*, 597; *Ephr.*, 136). При Константине Дуке, *Attal.*, 83 (*Scyl.*, 654), 87. При Михаиле Парапинаке и Никифоре Вотаниате, *Attal.*, 262, 290, 298 (*Scyl.*, 731, 739; *Zon.*, IV, 226); *Bryenn.*, 104, 117.

[4] *Cedr.*, II, 585–586: τῷ δουκὶ Ἀδριανουπόλεως (ἦν δὲ Κωνσταντῖνος μάγιστρος ὁ Ἀριανίτης (...дуке Адрианополя (то был магистр Константин Арианит)). 596: ὁ τῆς δύσεως ἄρχων Κωνσταντῖνος μάγιστρος ὁ Ἀριανίτης (архонт Запада, магистр Константин Арианит).

печенегов, но потом был ими разбит, заперся в Адрианополе, а в одном из последующих сражений получил смертельную рану, от которой на третий день умер. Из писем Пселла[1] мы еще знаем, что управляли Македонской фемой вестарх Хасан и магистр Поф, но в какое время — трудно сказать, может быть, в промежутке между заключением мира с печенегами при Мономахе (1053 г.) и вступлением на престол Парапинака (1071 г.).

36) Между сербскими землями и Диррахием на западе, Никополем и Элладой на юге, Фессалоникой и Македонией на востоке, Балканами на севере лежала фема **Болгария**, называвшаяся также именем главного города, сначала бывшая катепанатом,[2] а потом возведенная в дукат.[3] Фема была организована из Ново-Болгарии (которую Балканы отделяли от старой Болгарии), после того как эта часть державы царя Самуила, со столичным городом Охридой, была приобретена 30-летними трудами императора Василия Болгаробойцы (1018).[4] В первое время после образования фемы Охрида оставалась ее главным городом, но потом административный центр фемы был перенесен (около 1040 г.) в Скопы (ныне Ускуб), из Скоп (около 1060 г.) в Средец (Сардика, Триадица, София), из Средца (около 1070 г.) опять в Скопы. Мы имеем сведения о стратигах Болгарии при Василии II,[5] но имена стратигов, управлявших фемой при следующих императорах, до Константина Мономаха, неизвестны. Рассказ о восстании 1040 г., коренной причиной которого было не умиравшее среди болгар стремление к свободе,[6] а внешним поводом — нарушение привилегий, данных Василием II болгарам,[7] желание византийского правительства уравнять болгар относительно податей с остальным населением Империи, и которое не удалось вследствие свойственной болгарам, как и другим славянским народам, внутренней розни и недоброжелательства,[8]

---

[1] *Psell.*, V, 272, 439; PG, CXXXVI, 1329. Хасан называется судьей (κριτής, стратиг) Македонии, а Поф — Фракии и Македонии.

[2] *Attal.*, 37.

[3] Впервые с этим названием выступает при Константине Дуке.

[4] *Яхъя*, у бар. Розена, 59.

[5] После занятия Охриды назначен был сюда патриций Евстафий Дафномила, а после перевода его в Диррахий управлял в Охриде Давид. См.: *Cedr.*, II, 468, 474, 479.

[6] *Psell.*, IV, 69.

[7] *Cedr.*, II, 530.

[8] О перипетиях восстания и роли Алусиана: Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 257–258, 273, 282; *Psell.*, IV, 70–74 (*Zonar.*, IV, 146–148); V, 127; *Attal.*, 9–10; *Cedr.*, II, 527–533 (*Zonar.*, IV, 145–148); *Matth. d'Ed.*, 63–64, 72. Ср.: *Иречек*. История болгар (в перев. Ф. Бруна), 269; *Rački* Borba Južnich Slovena, 122.

историк заканчивает замечанием, что император Михаил Пафлагон, сам ходивший в Болгарию, привел там дела в порядок, назначил стратигов в фемы[1] и затем возвратился в столицу. Но кто именно и в какую фему был назначен стратигом, в частности кто получил назначение на место стратига в Болгарию, не упомянуто. При Константине Мономахе сатрапом (катепаном) Болгарии был евнух Василий Монах, названный так по прежней своей принадлежности к монашескому званию и имевший чин синкелла. Он в 1048 г., вместе с адрианопольским дукой, Константином Арианитом, принимал участие в борьбе с печенегами, закончившейся в пользу греков, а в 1053 г., во главе войска своей фемы, участвовал в походе за Балканы против печенегов, из которого ему не суждено было возвратиться; во время отступления византийского войска из лагеря при Великом Преславе (нынешний Эски-Стамбул, близ Шумлы) печенеги сделали нападение и произвели страшное избиение; в числе погибших был и Василий Монах.[2] На место убитого Василия Монаха назначен был правителем Болгарии Никифор Протевон, известный кандидат в преемники Константину Мономаху, захваченный приверженцами Феодоры и отправленный в ссылку, в монастырь Кузина.[3] При Константине Дуке катепаном Болгарии был Андроник Филокалес (около 1066 г.), известный тем, что он был посредником в примирении императора с Николицей Делфина.[4] После Филокалеса правители Болгарии имеют резиденцию в Средце и носят звание дук. Константин Дука в конце своего царствования назначил дукой Средца патриция Романа Диогена, который при Евдокии был лишен должности за заговор.[5] При Михаиле Парапинаке в Болгарии сменилось несколько дук. В первый год по вступлении Парапинака на престол скопийским (резиденция опять в Скопах) дукой был Никифор Карантин. Когда среди болгар началось движение под руководством Войтеха

---

[1] *Attal.*, 10: καταστησάμενος πράγματα. *Cedr.*, II, 533: καταστησάμενος πάντα τὰ ἐν Βουλγαρίᾳ, καὶ στρατηγοὺς ἐν τοῖς θέμασι τάξας.

[2] *Attal.*, 37; *Cedr.*, II, 586, 602, 607; Советы и рассказы визант. боярина, 1881, июнь, 263.

[3] *Cedr.*, II, 610. Судя по тому, что Протевон был захвачен в Фессалонике, на пути в Константинополь, можно думать, что тогда столицей фемы были еще Скопы, а не Сардика, из которой прямой путь в Византию лежал через Адрианополь. Из Скоп удобнее было спуститься на Егнатиеву дорогу, ведшую из Охриды в Фессалонику, а оттуда в Византию сухим путем или морем. Об этой дороге, вдоль которой главным образом группировались болгарские поселения, см.: *Tafel.* Via militaris Romanorum Egnatia. Tübing., 1841.

[4] Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 144.

[5] *Attal.*, 97; *Scyl.*, 663 (*Zon.*, IV, 203).

и при участии Михалы Сербского и сына его Бодина, Карантин был лишен должности за медлительность и нерешительность действий. На его место назначен Дамиан Далассин. Новый дука энергично взялся за дело, но в первом же сражении был разбит болгарами. Для управления Болгарией послан был Никифор Вриенний, который усмирил болгар частью оружием, частью обещаниями, за что и был награжден перемещением на лучшую фему, в Диррахий.[1] Кто управлял Болгарией после удаления Никифора Вриенния — мы не знаем. Скопийский дука Александр Кавасила был назначен на должность уже приемником Парапинака, императором Никифором Вотаниатом.[2]

37) К северу от Болгарской и Македонской фем, за Балканами,[3] лежала фема **«Придунайских городов»** (τῶν Παριστρίων). Она была образована, после разрушения царства Самуила, из старой Болгарии и составляла пограничную фему в собственном смысле, так как за Дунаем находились поселения и кочевья народов, не входивших в состав Византийской империи. Как пограничная фема, она была катепанатом; такой она выступает при Михаиле Парапинаке, но, без сомнения, и раньше стратиги ее назывались катепанами.[4] С тех пор как Василий II посадил стратига в Доростоле (Дерстр, Силистрия),[5] город этот служил резиденцией придунайской фемы.[6] Власть Византии была здесь весьма слаба, находилась в положении, до некоторой степени сходном с положением ее в Далматии и Сербии. Придунайские города, представлявшие в своем населении смесь разных народностей и языков,[7] к которым постоянно прибывали новые беспокойные элементы, проникнутые вольным и независимым духом, не мирились с византийской властью, и если допускали ее, то в силу известных сделок. Управление фемой в 1044 г. находилось в руках веста

---

[1] *Scyl.*, 714–718 (*Zon.*, IV, 223; *Glyc.*, 615); *Bryenn.*, 102–103; *Presb. Diocl.*, 502.

[2] *Scyl.*, 743.

[3] *Attal.*, 37: βουνὸν καὶ οἷον μεθόριον κείμενον τῆς τε Μακεδονικῆς καὶ τῶν περι τὸν Ἴστρον χωρῶν (возвышенность, словно пограничный рубеж между Македонией и придунайскими землями).

[4] Судя по словам *Скилицы* (719), фемой управлял не катепан, а дука, но мы следуем источнику (*Атталиот*), из которого Скилица почерпнул свое сведение. См. выше, с. 320, прим. 3.

[5] *Cedr.*, II, 465: στρατηγοῦντος ἐν τῷ Δοροστόλῳ Τζιτζικίου τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρικίου Θεοδάτη τοῦ Ἴβηρος (...когда стратигом Доростола был Цицикий, сын патрикия Феодата Ивира).

[6] *Cedr.*, II, 582 (при Мономахе); *Attal.*, 205 (при Парапинаке).

[7] *Attal.*, 204.

Катакалона Кекавмена, удачно действовавшего против россов во время движения их к Константинополю и обратно.[1] У него было немало случаев познакомиться и с печенегами; между прочим, знакомство с одним печенегом спасло ему жизнь в 1049 г.[2] По удалении Кекавмена от управления (вследствие назначения иверийским дукой), место его в придунайской феме занял Михаил, сын Анастасия, бывший до того времени дукой Диррахия, предпринимавший неудачный поход против сербов и, вероятно, наказанный за неудачу перемещением на худшую фему. К нему, как начальнику фемы, обращался в 1048 г. предводитель печенежской орды, Кеген, с предложением услуг византийскому правительству; для этого, переправившись через Дунай, он подошел к резиденции стратига, Доростолу. В последовавших затем переговорах с Кегеном Михаил, как местный орган центральной власти, был посредником; ему был приказ из столицы тщательно оберегать переправу через Дунай от полчищ Тираха, соперника Кегена, в чем должен был помогать ему и Кеген со своими печенегами, получившими земли для жительства в придунайской феме. Когда печенежская орда с Тирахом все-таки переправилась через Дунай, Михаил, в союзе с Кегеном, будучи подкреплен македонским и болгарским правителями (Константином Арианитом и Василием Монахом), разгромил ее.[3] Кто был преемником Михаила — не знаем; упоминание о стратиге фемы встречается только под 1064 г., по поводу вторжения узов. Управлял тогда фемой магистр Василий Абукаб, знаменитый защитник Манцикерта от турецкого султана. В сражении с узами он был разбит, попал в плен, но при содействии одного солдата сумел бежать из плена в Византию, откуда перебрался в Эдессу, к своему отцу.[4] Наконец, еще один правитель придунайской фемы упоминается при Михаиле Парапинаке, в связи с рассказом о внутреннем брожении в среде придунайских городов по случаю отнятия у них правительством войскового жалованья. Это был Нестор, родом славянин (из болгарской фемы). Он был возведен в чин вестарха, сделан катепаном и отправлен в Дерстр около 1074 г.

---

[1] *Cedr.*, II, 555.

[2] *Cedr.*, II, 599–600.

[3] *Cedr.*, II, 583, 585; *De-Lagarde*, 144.

[4] *Attal.*, 83, 85 (*Scyl.*, 654); *Matth. d'Ed.*, 126–127. Атталиот говорит неопределенно, что начальствовали тогда над городами по Истру магистр Апокап (Абукаб) и магистр Никифор Вотаниат, но поскольку он, несмотря на постоянное стремление выдвинуть Вотаниата, ставит его имя на второе место, то мы выводим заключение, что более важная фема, с главным городом Дерстром, была под управлением Абукаба, а Вотаниат управлял Сирмием.

Вместо того чтобы подавить движение, он стал во главе недовольных и ходил с войском к Византии добывать Никифорицу, своего личного врага.[1]

38) К западу от придунайской фемы, по течению рек Дуная и Савы, была последняя византийская фема, с городами **Сирмием** и **Белградом**; она называется именем какого-нибудь из этих городов. Фема Белград, с особым стратигом, по свидетельству Константина Багрянородного,[2] существовала еще при императоре Ираклии, но потом была уничтожена. Она восстановлена Василием II в 1024 г.,[3] после того как Константин Диоген вероломно погубил славянского князя, управлявшего Сирмием, и овладел его княжеством. Эта фема с севера граничила со страной, занятой уграми, и была поэтому ареной для их столкновений с византийским государством. Первым правителем Сирмия был назначен Василием II Константин Диоген, которому принадлежала не совсем лестная честь вероломного захвата страны. Он оставался правителем фемы до тех пор, пока Константин VIII не перевел его дукой в Фессалонику. Сын Константина Диогена, Роман Диоген, по всей вероятности, прежде назначения своего в Болгарию, тоже управлял Сирмием, и так как он переведен в Средец в конце царствования Константина Дуки, то управление его Сирмием приходится на царствование Исаака Комнина и начало царствования Константина Дуки.[4] Магистр Никифор Вотаниат, ближайший сотрудник

---

[1] *Attal.*, 204–206, 208–209 (*Scyl.*, 719; *Zon.*, IV, 223; *Ephr.*, 147).

[2] *Const. Porphyr.*, III, 153.

[3] На год события (1024) указывает заключительная фраза в рассказе *Скилицы—Кедрина* (476) о занятии Сирмия, что вдова убитого Сермона, князя Сирмия, сдавшая город, была взята и отправлена в Константинополь. У *Лупа* под 1024 г. говорится, что Воиоанн ходил из Италии в Хорватию, взял патрициссу, жену Цисмиги (вероятно, испорченное имя убитого князя), и отправил в Константинополь.

[4] *Атталиот* (97) говорит, что Роман Диоген, прежде чем сделался дукой Сардики, начальствовал над городами по Дунаю (τῶν περὶ τὸν Ἴστρον πόλεων), но так как при этом прибавляет, что он должен был бороться с савроматами (уграми) и подвергался в борьбе опасности, от которой спас его магистр Никифор Вотаниат, то всего естественнее понимать под городами по Дунаю Белград-Сирмий. О времени Исаака Комнина известно (*Attal.*, 66–67 (*Scyl.*, 645; *Zon.*, IV, 195; *Glyc.*, 602; *Ephr.*, 141)), что тогда обнаружились враждебные действия со стороны угров, что император отправился (1059) в поход против них, а также против печенегов, действовавших, может быть, в связи с уграми, но в Средце был встречен послами короля Андрея (1046–1061) и был заключен мир. Борьба Романа Диогена как сирмийского стратига, очевидно, имеет связь с неприязненными действиями угров при Исааке Комнине.

Романа Диогена, вероятно, занял его место по управлению Сирмием; историк, определяя его административное положение, говорит, что он начальствовал над городами по Дунаю,[1] причем возможно подразумевает фему Белград-Сирмий, так как в придунайской феме управлял тогда Василий Абукаб; вместе с этим последним, Вотаниат сражался против узов и, подобно Абукабу, был взят в плен (1064), из которого скоро освободился. В 1068 г. упоминается в Белграде греческий стратиг Никота; в этом году угорский король Саломон взял Белград, и Никота сдался на капитуляцию, как военнопленный. Спустя некоторое время город был возвращен и Никота освобожден по договору, заключенному византийским правительством с одним из враждовавших с Саломоном его двоюродных братьев, Гейзой.[2] В начале царствования Михаила Парапинака Саломон опять стеснил сирмийскую фему;[3] пользуясь, вероятно, восстанием болгар, он вторгся (1072) в греческие владения[4] и в 1073 г. осаждал Белград.[5] Но предприятие Саломона, несмотря на поддержку, оказанную ему куманами (половцами), не увенчалось успехом. Фема была сохранена и оставалась за греками до тех пор, пока Бодин, сын Михалы, утвердившись на сербском престоле, не завладел ею.[6]

[1] *Attal.*, 83, 85 (*Scyl.*, 654). См. **выше**, с. 365, **прим.** 4.

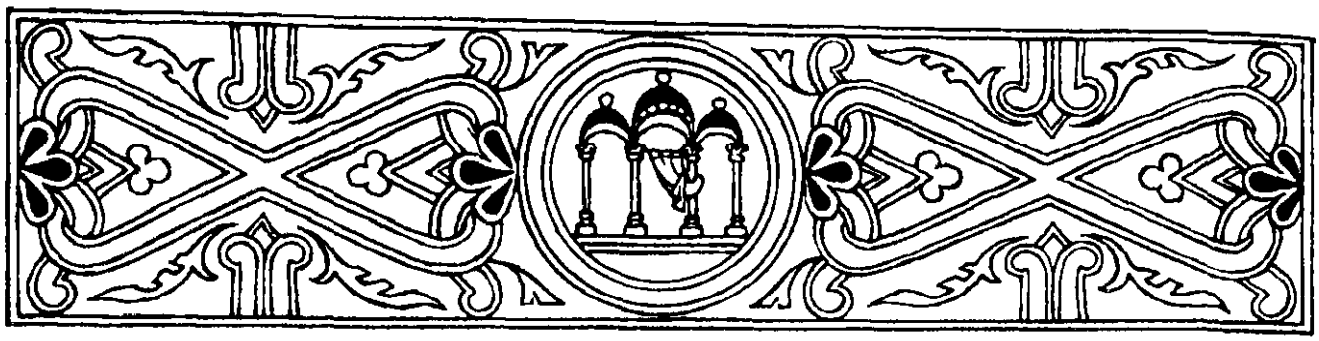
[2] Chronicon Posoniense, ed. *Endlicher*, 56; *Thwrocz*, ed. **Schwandtner, I, 117–120.**

[3] *Bryenn.*, 100.

[4] Chron. Poson., 56.

[5] *Malte-Brun.* Mémoires sur la découverte en Asie de la poudre-a-canon, par Paravey, 7; *Finley*, II, 51.

[6] *Presb. Diocl.*, 502–503.



Глава пятая

В византийском государстве фема была, как замечено выше,[1] округом военным, судебно-административным и финансовым, — военное дело, судопроизводство и податная система по своей организации находились в ближайшем отношении к устройству фем. Поэтому продолжением и дальнейшим раскрытием представленного в предшествующей главе обзора фем будет очерк названных главнейших отправлений государственной жизни в том порядке, какой определяется их важностью с византийской точки зрения, по которой первое место отводилось податной системе, а следующее затем военному делу и судопроизводству. Но чтобы составить обо всем этом ясное представление, необходимо принимать в расчет характер социально-общественных учреждений, на почве которых были построены государственные учреждения. Следовательно, прежде всего нам предстоит разрешить вопрос: каков был социально-общественный строй жизни в Византийской империи в XI в.

Византийское общество и экономические условия его быта развивались в направлении, какое им дано было вследствие соприкосновения греко-римских обычаев и воззрений с обычаями и воззрениями народностей, вошедших в этнографический состав Империи. Преобладающее значение в этом отношении принадлежало славянскому племени, национальный гений которого играл в судьбах учреждений Восточной Римской империи роль, аналогичную с той, какая в судьбах учреждений Западной Римской империи принадлежала гению германскому. Привнесение славянского элемента в Восточную империю совершалось тем же путем, как и элемента германского в империю Западную, с тем главным отличием, что славяне на два столетия, как в деле мирной колонизации, так и вооруженного занятия греческих областей, отставали от германцев. Первые поселения германцев на римской земле совпадают с началом христианской эры, между тем исторические свидетельства о поселениях славян за

[1] См. с. 322.

Дунаем начинаются (минуя легендарные указания) лишь со времени Константина Великого.[1] Основание германских государств в Западной Европе произошло в V в., государства славянские — хорватское, сербское и болгарское — основаны только в VII в. по Р. Хр. Славянская колонизация в Малой Азии началась еще позже — тогда, когда славянские государства были уже основаны на Балканском полуострове и когда, помимо областей, отошедших к этим государствам, и другие части европейских владений Византии, Македония, Фессалия, средняя Греция и Пелопоннес значительно были ославянены: из трех больших славянских поселений в Малой Азии, о которых знает история, первое относится к 664 г. (поселение 5000 славян в селении Скевоководе, в апамейской области, в Сирии), второе — к 687 г. (поселение в Опсикии массы славян, о численности которых можно догадываться по тому, что они выставляли правительству военный отряд в 30000 чел.), третье — к 754 г. (поселение около 208000 славян на Артане).[2] Несмотря, однако же, на то, что славяне позже германцев пришли в соприкосновение с греко-римским социально-общественным строем, этот последний в момент соприкосновения был тождествен или почти тождествен на востоке и на западе Европы, так что особенности, какие он представляет в последующее время на Востоке, сравнительно с Западом, могут быть объяснены только различием обычаев и образа жизни славян и германцев и отчасти различным отношением правительственной власти в Византии и в западно-европейских государствах.

Три учреждения в социально-общественном строе времен Римской империи обращают на себя особенное внимание по их значению для истории последующего времени: муниципия, колонат и прекарно-бенефициальная система. С именем первого учреждения связано представление о поземельной провинциальной аристократии, влиятельном классе посессоров, державших в своих руках обширные имения, латифундии, и пользовавшихся громадным влиянием в городских куриях, в качестве декурионов, или, как их принято было называть с IV в., куриалов; с именем второго соединяется представление о классе крепостных крестьян, обрабатывавших земли посессоров и обязанных известными повинностями

[1] «Он (Константин Великий. — *Н. С.*) принял всех их (славян, которых автор называет тавроскифами. — *Н. С.*) в пределы Римской империи, и способных носить оружие присоединил к своим войскам, а другим для пропитания отвел земли, которые они должны были обрабатывать». См.: *Евсевий Памфил.* О жизни блаженного царя Константина. Кн. IV, гл. 6.

[2] *Theoph.* Chronogr., I, 532, 557, 667; *Niceph. Patr.*, 997 (PG, C).

государству и землевладельцу; третье учреждение создало разряд людей, занимавших как бы середину между этими двумя сословиями (посессоров и колонов).

Муниципальное устройство, заключавшее в себе известную долю местного самоуправления, в принципе расходилось с тенденцией императорского управления, тянувшего к центру, и не могло поэтому пользоваться симпатиями правительства. Тем не менее правительство, преследуя фискальные интересы, сначала не вооружалось против него и даже покровительствовало. Распространение на подданных прав римского гражданства, предпринятое, как говорят, Каракаллой в видах увеличения так называемой vicesimae hereditatum (пятипроцентный сбор в пользу казны с наследства римских граждан), привело к введению муниципального устройства в массе городов. Привлечение городских курий к ответственности за бездоимочное поступление государственных податей и обнаруженное вследствие того стремление посессоров к уклонению от обязанностей куриалов, побудило правительство узаконить наследственность куриальского достоинства, с признанием за куриалами права избирать из собственной среды должностных лиц. Мера эта, по-видимому, обеспечивавшая прочность муниципий, в действительности была первым шагом к их разрушению; с одной стороны, потому что начало наследственности устранило существенный признак муниципального устройства — выборное начало, право всех членов муниципии на участие в избрании городских должностных лиц и членов курии, с другой — потому что податная ответственность повела к разорению и банкротству тех, кем это устройство поддерживалось. Ко времени основания германских государств муниципии находились в Западной Римской империи в полном упадке, и германцы, непривычные к городской жизни, не только не содействовали их восстановлению, но еще способствовали большему подавлению: чем сильнее утвердился в той или другой местности германский элемент, тем труднее отыскать в городах следы римского муниципального устройства. Однако же, обломки прежних порядков сохранились по местам в продолжении веков и впоследствии, соединившись со старогерманскими гильдами и каролингским скабинатом, легли в основу устройства средневековых городских общин. В Восточной Римской империи, независимо даже от славянских поселений, муниципия стала разлагаться под давлением центральной власти, особенно в лице таких ее представителей, как Юстиниан I, уничтожавший всякую тень областной самобытности, отнимавший у городов имущества и тем лишавший их возможности самостоятельно распоряжаться даже в сфере чисто хозяйственных интересов, каковы: ремонт и освещение улиц, поддержание общественных зданий,

водопроводов и пр. Лев VI Мудрый нанес окончательный удар муниципальному устройству, закрыв городские курии (βουλευτήρια), лишив куриалов (βουλευτῶν) права избирать лиц на городские должности и самостоятельно управлять городами (ἀρχῶν τινων πρόβολῆς καὶ διοικήσεως αὐτεξουσίου τῶν πόλεων). Муниципии уничтожены, как несоответствовавшие общему направлению жизни, противоречившие монархическому принципу; попечение о городах и право распоряжения ими отнесены на счет прерогатив императорской власти (πρὸς μόνην τὴν βασίλειον πρόνοιάν τε καὶ διοίκησιν (по усмотрению одного лишь императора)).[1]

Положение вещей, созданное для городов новеллой Льва Мудрого, оставалось в силе в XI в., — назначение городских властей исходило от императора. О Константине VIII известно, что он назначал архонтов на городские должности,[2] Феодора назначала начальников рынка.[3] В обоих случаях, очевидно, имеется в виду столица и столичные власти, с эпархом во главе; но нет оснований сомневаться, что и в других городах следы прежней самостоятельности исчезли, и если сохранились, то в другом виде, измененном по началам славянской общины. Трудно допустить,[4] чтобы при господствовавшей в византийском государстве системе управления возможно было восстановление муниципального устройства в старинном значении слова. Из этого, впрочем, не следует, что в XI в. не сохранялось никаких воспоминаний о прежнем устройстве. Два начала, тесно связанные с муниципальным устройством, начало народного выбора и начало корпоративности, держались — первое в памяти, а последнее и в практике горожан XI в. В те моменты, когда центральная власть

---

[1] *Zachariae*, III, 138–139.

[2] *Cedr.*, II, 480: ἄρχοντας καθιστὰς ἔν τε πολιαρχίαις.

[3] *Attal.*, 16: ἀρχὰς ἀγορανομικὰς ἀποδείξασα (...назначила смотрителей рынка...).

[4] *Гфрёрер* (III, 641–642, 695) желает видеть при Константине Дуке восстановление муниципального устройства и введение общинного совета, обозначаемого словом κοινόν. Ученый просмотрел, что это слово, на употреблении которого *Скилицей* (651) держится его взгляд, встречается у историков и раньше, например, при Михаиле Пафлагоне и Михаиле Калафате, см. выше, с. 264, в смысле противоположения сенату, для обозначения всей массы народа, не принадлежавшего к сенаторам, что оно отождествляется со словами δῆμος, τῆς ἀγορᾶς, и если Скилица ставит рядом два однозначных слова (τὸ δημοτικόν τε τῆς πόλεως καὶ κοινόν (городские жители и народ)), то этим он желает оттенить участие промысловых корпораций, судя по тому, что мысль, выражаемая таким образом у Скилицы, у его источника, *Аттaлиота* (70), выражена словами: τὰ σωματεῖα τῆς πολεως (городские корпорации). См. выше, с. 267, прим. 3.

вследствие династических потрясений ослабевала, начало выбора, в применении к городским должностям, всплывало наружу. Так, после низвержения Михаила Парапинака и прежде чем Вотаниат прибыл в столицу, граждане Византии сами избрали лиц для заведования городским управлением.[1] Деятельная роль в этом случае принадлежала лучшим, значительнейшим горожанам (οἱ τῆς πολιτείας ἐπώνυμοι), под которыми нужно понимать высшее городское сословие, считавшее себя τὸν ἀπόλεκτον δῆμον (избранными),[2] занимавшее в составе городского поселения первое место, тогда как второе занимали мелкие торговцы и ремесленники (ὅσοι τῆς ἀγοραίου τύρβης ἢ τῶς βαναύσων τεχνῶν ᾠκειοῦτο),[3] а третье — городская чернь, те праздные и убогие люди (οἱ ἀργοὶ καὶ πένητες), которые не были приурочены к постоянным, определенным занятиям, не всегда имели пристанище и заработок, ютились в портиках и питались «Христовым обычаем» (συνήθειᾳ τοῦ Χριστοῦ), т. е. подачками, получаемыми за поздравления от чиновников, по поводу повышения их в чине.[4] Первое из этих сословий, по своему происхождению и традициям, ближе других стояло к старинным куриалам и выбор ими должностных лиц был проблеском права куриалов, отнятого законом Льва Мудрого. Но указанный случай, из последней четверти XI в., так и остался исключением, которому не суждено было обратиться в правило. Иначе обнаруживалось начало корпоративности. Оно находило себе постоянное приложение в промышленной сфере. Торговцы и ремесленники, группировавшиеся во времена Римской империи в корпорации по роду торговли и ремесел, удержали свои цеховые порядки и в последующее время. Лев Мудрый, уничтоживший городские курии, не только не преследовал этих корпораций, но придал им прочность, регламентировав их внутренний быт своей новеллой Περὶ πολιτικῶν σωματείων διατάξεις (Распоряжения о городских корпорациях). Центральная власть мирилась с этим учреждением, не представлявшим для нее опасности и способным даже при известных условиях оказать услугу. Без сомнения, корпорации находились под контролем правительства; о характере контроля мы, к сожалению, не можем составить себе определенного представления, так как новелла Льва Мудрого в полном составе не сохранилась, дошел только отрывок, трактующий об

[1] *Attal.*, 270: προϊστῶσιν ἀρχὰς ὅσαι τὴν ἀγορανομικὴν ἐυταξίαν διακοσμεῖν ἔμελλον (избрали должностных лиц, которым надлежало блюсти порядок на рынке).

[2] *Psell.*, IV, 85.

[3] *Psell.*, IV, 85.

[4] *Attal.*, 275–276.

условиях принятия кандидатов в корпорацию табулляриев.[1] Существование промысловых корпораций в XI в. ясно выступает в памятниках — историк, рассказывая о воцарении Константина Дуки, прямо говорит о σωματεῖα τῆς πόλεως (городских корпорациях).[2] На корпорации делились не только мелкие торговцы и ремесленники,[3] принадлежавшие ко второму сословию, но и лица, входившие в состав первого сословия, по крайней мере, в рассказе об участии их в низвержении Парапинака замечено у историка, что они действовали κατὰ φατρίας διαιρεθέντες (разделившись на отряды).[4] Только низший класс населения был чужд корпоративности. Это последнее обстоятельство, в связи с тем, что в известиях о Михаиле Калафате, покровительствовавшем городскому населению, упоминаются только первые два сословия, избранные горожане и торговцы-ремесленники,[5] может дать основание заключать, что этот государь желал связать интересы своего дома с интересами городских корпораций; о городской черни Калафат, очевидно, не заботился и поэтому, тогда как значительнейшие горожане (οἱ τῆς ἀγορᾶς προεξάρχοντες)[6] оказывали ему знаки приверженности, чернь подняла против него бунт.[7]

Спрашивается, какое же положение заняла провинциальная землевладельческая аристократия, после того как рушилось муниципальное устройство, на котором основывалось ее значение? С упадком муниципального устройства она, естественно, должна была пасть, и пала бы, если бы, потеряв для себя почву в городах, не нашла взамен того соответствующей опоры в другом месте. Но она отыскала себе опору, обратив свое честолюбие на государственные должности и чины. Бывшие посессоры и куриалы набросились на государственную службу, всеми способами стали приобретать титулы, а вместе с тем известные права и привилегии;

---

[1] *Zachariae*, III, 221–222.

[2] См. выше, с. 371, прим. 4.

[3] Обе профессии объединились: ремесленники были вместе и торговцами, занимались производством и продавали свои произведения. При изучении отраслей производства, а следовательно и числа корпораций, не лишены интереса два стиха *Манасси* (285), который, распространяя слова Атталиота об отношении Вотаниата к ремесленникам, перечисляет их занятия: χαλκεῖς, δρυτόμους, σκαφευτάς, ἐμπόρους, γαιομάχους, κρηπιδοπόλας, σχοινουργούς, κναφεῖς, ἀμπελεργότας (...кузнецов, лесорубов, землекопов, купцов, земледельцев, сапожников, суконовалов, виноградарей).

[4] *Attal.*, 270 (*Scyl.*, 733).

[5] *Psell.*, IV, 85.

[6] *Attal.*, 12.

[7] См. выше, с. 162, 166–167.

в свою очередь лица, не принадлежавшие прежде к землевладельческой аристократии, которым посчастливилось получить чин и поступить на государственную службу, старались довершить свое благополучие приобретением недвижимой собственности (в форме ли правительственного пожалования, посредством ли купли, или другим способом). Образовалась таким образом мало-помалу новая, чиновная аристократия, льнувшая к императорскому двору и на близости к нему основывавшая свою карьеру и свое возвышение. Так как и чин, и должность в Византии можно было купить за деньги, то понятно, что известная степень зажиточности открывала дорогу в ряды этой аристократии. Здравая логика требовала, вследствие того, чтобы доступ к ней не был закрыт для промышленных классов, в том числе для первых двух городских сословий, по роду занятий имевших возможность обогащаться. И вот император Михаил Стратиотик начинает возводить в чины избранных горожан, лиц первого городского сословия; Константин Дука идет далее и награждает чинами торговцев и ремесленников; при Вотаниате превращение горожан в чиновников становится делом обычным,[1] — численность чиновной аристократии увеличивается. Лица, входившие в состав аристократии, носили разные названия, указывавшие на способ образования, на те элементы из которых она сложилась, — назывались ἄρχοντες (термин, указывающий на старинную землевладельческую аристократию, или на государственную должность, или на высокий чин), ἀξιωματικοί (указание на чин, дававший место в рядах аристократии), πλούσιοι (на богатство, дававшее то же право); но самый обычный термин, который, начиная с Юстиниана, употребляется в законодательных и других памятниках для обеспечения аристократии — это δυνατοί, т. е. сильные люди, властели. Властели были не только вне городов, в имениях, которыми владели, но и в городах; в последних не только потому, что богатый землевладелец имел обыкновенно в городе, — прежде всего, если позволяли ему средства, в столице, — собственный дом, в котором он проживал, приезжая из деревни, но также и потому, что коренной житель города, при известных условиях, превращался во властеля. Начало образования чиновной аристократии следует относить к тому времени, когда привлечением курий к податной ответственности и наследственностью куриалов нанесен был первый удар муниципальному устройству, побудивший посессоров бежать из курий и искать пристанища в рядах honorati (позднейшие визант. ἀξιωματικοί). Первоначально эта аристократия, по причине своей молодости, не могла иметь большого значения, затем в V–VII вв. ее развитию мешали перевороты,

[1] См. выше, с. 267.

соединенные с поселениями славян, но с VIII в. она начинает крепнуть, с IX в., при Македонской династии, выделяются уже из ее среды аристократические роды, которые чем далее, тем более усиливаются, так что возбуждают наконец опасение в императорах и заставляют их подумать о мерах предосторожности.[1]

Происхождение колоната относится к первым векам христианской эры,[2] с IV в. это учреждение существует уже как вполне развившееся; в законах, вошедших в кодексы Феодосия и Юстиниана, регламентировано его существование и в частностях. Как ни объяснять его происхождение, производить ли[3] колонов, иначе называемых adscriptitii, в греческих памятниках ἐναπόγραφοι (занесенные в список), и др. именами, от рабов-невольников классической древности, превратившихся в крепостных в силу политико-экономических законов, требующих развития мелкого земледелия вблизи населенных центров, городов, или же ставить[4] колонат в связь с состоянием древнегерманских литов и производить его от германских поселений на римской почве, или наконец прибегать еще к каким-нибудь комбинациям, несомненно во всяком случае, что учреждение это имеет громадную важность в истории развития человеческих обществ, представляя собой прогресс, сравнительно с прежним временем. Тогда как рабы-невольники, руками которых обрабатывались земли до появления колонов, лишены были прав собственности и личности, даже права вступить в законный брак, всецело принадлежали господам, которые могли распоряжаться ими и их добром по своему усмотрению, колоны могли иметь собственность (peculium), и хотя не пользовались правом отчуждать ее, но и посягать на нее господину не дозволялось, исключая того случая, когда колон, умирая, не оставлял ни завещания, ни наследников; колоны могли, далее, заключать законные браки, даже со свободными гражданками, жены их назывались uxores; господам, земли которых

---

[1] Многие из аристократических родов, игравших видную роль в XI в., упомянуты нами в предшествующих главах, к которым и отсылаем читателя.

[2] Уже в эдикте Александра Севера от 225 г. есть упоминание об adscriptitia, при Константине Великом, в 332 г., находим колонат распространенным в Галлии и Италии.

[3] Следуя *Родбертусу* (Zur Geschichte agrarischen Entwickelung Roms unter der Kaisern oder die Adscriptitier, Inquilinen und Colonen в журнале *Гильдебранда* Jahbücher für Nationalökonomie und Statistik, 1864).

[4] Следуя *Гушке* (Das römische Colonat). Теория Гушке, как и Родбертуса, подвергнута вновь пересмотру в сочинении Die Entstehung des Colonats, von *B. Heisterberg*. Leipzig, 1876.

колоны обрабатывали, они обязаны были вносить канон (оброк натурой, иногда деньгами), и господин без согласия колона не мог повысить (superexactio) канон сверх той нормы, по какой платили его предшественники, если же повышал, то колону разрешалось обратиться к правительству с жалобой на произвол господина. Существенное отличие колона от свободного земледельца, обрабатывавшего на известных условиях чужую землю, заключалось не только в том, что он не мог отчуждать своего peculium'a, но главным образом в том, что он был прикреплен к земле, не мог ее оставить, тогда как свободный человек обязан был держать землю лишь в течении контрактного срока, и только в том случае, когда он 30 лет сидел на земле, он по праву давности прикреплялся к ней, т. е. переходил в разряд колонов. На прикрепление колонов к земле обращены были постоянные заботы правительства, законы о прикреплении делались все строже, так что и легкие послабления, сначала допускавшиеся, потом были отменены.[1] По законам колон ни в каком случае не мог оставить занимаемой им земли, господин всегда мог требовать возвращения ушедшего колона, даже если он, перейдя к другому владельцу, успел от другого перейти к третьему; поступление помимо воли господина на военную службу и в духовное звание не освобождало колона от его обязанностей — только епископский сан делал его совершенно свободным. Равным образом и господин не мог оторвать колона от земли — продавая землю, обязан был продать ее с колоном, на ней сидевшим, и наоборот, если желал продать колона, то должен был продать и участок занимаемой им земли; возможные в этих случаях злоупотребления, когда бы господин продавал колона со слишком малым количеством земли, были предусмотрены законом и установлено правило о пропорциональности между количеством земли и числом колонов. Заботливость, с какой правительство прикрепляло колонов к земле, объясняется старанием улучшить земледелие, а также фискальными соображениями. Кроме канона господину, колоны обязаны были платить поголовную (подушную) подать государству, так как они почти все без исключение были плебеи, никогда не имевшие собственной земли в области крестьянского надела, а вне надела имевшие ее весьма редко. Правительство при взимании подати не имело дела непосредственно с колонами, место их заступал господин. При взносе поземельной подати посессор должен был внести и поголовную подать за колонов, находившихся на его земле, собирать же эту подать с колонов ему предоставлялось на свой страх. Система податного представительства

[1] Напр., дозволение Валентиниана III господам меняться колонами, не встречаемое при Юстиниане.

была весьма выгодна правительству, потому что обеспечивала поступление поголовной подати даже при несостоятельности колона, — этим и объясняется, почему правительство рядом узаконений старалось придать колонату прочность. Могло при этом влиять еще одно соображение, тоже финансового свойства. Хотя сами колоны не платили поземельной подати государству, так как земля, ими обрабатываемая, принадлежала не им, а посессорам, которые и должны были платить, тем не менее косвенно они содействовали увеличению поземельной подати. Поземельная подать бралась с полей обрабатываемых и приносящих доход, обрабатывали же землю и делали ее доходной колоны; понятно, что от распространения и прочности колоната зависело увеличение и постоянство поземельной подати. Руководствуясь всеми этими мотивами, правительство усердно покровительствовало колонату; забирая, например, варваров в плен, раздавало их посессорам, с условием поселения в качестве колонов (закон Гонория и Феодосия от 408 г.); обработка земель посредством колонов стала все более вытеснять обработку посредством рабов, число колонов увеличивалось, а число рабов уменьшалось. Впрочем, рабство не было вполне уничтожено, хотя правительство, руководимое Церковью, видевшей в рабстве следствие порока и любостяжания, смотрело на него как на зло и заботилось о том, чтобы облегчить положение рабов.

Дальнейшая судьба колоната была неодинакова на Западе и Востоке.

Германцы, явившиеся в Западную Европу и основавшиеся в ней, знакомы были как с рабством, так и с состоянием литов, близким к колонату. Литы и кнехты приурочены были исключительно к обработке земли. Обычной формой поземельных отношений было общинное землевладение, и только еще остается вопрос, известна ли была германцам отдельная поземельная собственность. Впрочем, если и не была известна, то легко заимствована у римлян; отдельное землевладение с первого времени поселений существует у германцев рядом с общинным. Римские колоны и рабы, для которых германцы находили аналогию в собственных литах и кнехтах, удержались в неприкосновенном виде. Образовалось рядом со свободным несколько ступеней несвободного состояния; число их еще увеличилось от того, что многие из небогатых свободных людей, под гнетом несчастных обстоятельств, принуждены были занимать положение, близкое к положению несвободных. С течением времени, разряды несвободного состояния смешались и выработался один класс крепостных крестьян, средневековых вилланов, который в феодальную эпоху обнимал всех, не входивших в состав феодальной иерархии. На определение положения этих крепостных громадное влияние имело римское законодательство о колонах. С точки зрения исторического прогресса германцы сделали шаг

назад, так как их вилланы по правам и фактическому положению, обусловленному средневековыми «обычаями» (coutume), стояли ниже римских колонов, занимали среднее место между римскими рабами и колонами. Когда Западная Европа передала учреждение крепостных крестьян России, этим она заставила последнюю отступить уже не на шаг, а на два шага назад, так как до того времени в России господствовали социальные порядки, сходные с византийскими, которые в самой Византии были выработаны под влиянием славянства, в связи со славянскими поселениями.

У славян до поселения их в византийских пределах, подобно тому как и у германцев, существовала община и, кроме свободных общинников, известны были рабы. Но у славян не было состояния, которое могло бы выдержать аналогию с римскими колонами или германскими литами. Духу славянства было чуждо то учреждение, которое в византийском государстве обозначалось словом ἐναπόγραφοι; славяне не понимали его и не могли с ним примириться. Прямым результатом вторжений и поселений славянских было уничтожение этого учреждения; связь между крестьянином и землей была порвана, крестьяне перестали быть прикрепленными к земле и получили право свободного перехода. Это явление было естественным последствием вытеснения с прежних мест массы местного населения, которое принуждено было искать себе других мест для жительства и садиться на землях новых господ, заключая с ними известные условия. Прежние крепостные превратились таким образом в вольных крестьян, сидевших только на чужой земле и обрабатывавших ее, но не связанных с землей такими неразрывными узами, как прежде. Кроме крестьян-присельников появились крестьянские общины, которые были организованы славянами в занятых ими областях, по славянскому обычаю, и которые, может быть, были заимствуемы от славян крестьянами других народностей, подданными византийского государства.[1]

Новые порядки и изменения в социальном строе скоро нашли себе выражение в законодательстве — имеем в виду законодательствоVIII в.,

[1] Процессу заимствования могли содействовать воспоминания о вольных крестьянских волостях, митрокомиях, следы существования которых заметны еще в кодексе Юстиниана (закон Льва и Анфимия от 468 г.), а также сродная с митрокомиями организация городских союзов, называвшихся τρίπολις, τετράπολις, πεντάπολις (троеградие, четвероградие, пятиградие) и т. д., которую (*Hudson.* Graeci minor. georg., IV, 124) вводил, между прочим, Юстиниан в Малой Азии и которая удерживалась даже в XI в., как видно из названия Иконии πόλις τετραπόλεως (*Cedr.*, II, 611), т. е. глава союза, состоявшего из четырех городов, и из того, что во Фригии был союз пяти городов (*Bryenn.*, 130: Страворoман родом ἐκ πενταπόλεως τῆς Φρυγίας (из пятиградия фригийского)).

принадлежащее императорам-иконоборцам. *Эклога* Льва Исавра и Константина Копронима, изданная IX индиктиона, 726 г., имеет мало отношения к этому вопросу,[1] но прямое отношение имеет находящийся в родстве с *Эклогой* «Земледельческий закон» (Νομος γεωργικὸς), изданный, как справедливо полагают, или одновременно с Эклогой, или немного позже, во всяком случае в иконоборческую эпоху, императорами Исаврийского дома. О прикреплении к земле и о крепостных в *Земледельческом законе* совершенно не говорится. Речь идет только о двоякого рода крестьянах: а) о вольных крестьянах, которые с определенно выраженного согласия землевладельцев (χωροδότης, земледавалец) или только с их попущения, молчаливого и беспротестного согласия, садятся на их земле и обрабатывают ее, с правом всегда ее оставить, вознаградив собственника за убыток, равно как и с соответствующим правом собственника удалить крестьян, сидящих на земле; эти крестьяне платят господам за пользование землей известный оброк, который чаще всего равняется десятой части (μόρτη) полевых сборов, почему и крестьяне носят название мортитов, десятинников, но иногда повышается до более высокого процента, даже до половины сборов, почему встречаются и крестьяне-половинники; б) о крестьянах-общинниках (κοινωνοί, χωρῖται), которые в своей совокупности составляют общину, владеющую землей (называющейся поэтому κοινότης τοῦ χωρίου (сельская община)); общинная земля разделена по жеребьям, или участкам (μερίς, σκαρφίον, τοπος), между членами общины, которые или обрабатывают свои участки сами с помощью рабов, или отдают их для обработки другим, так что и здесь оказываются половинники (ἡμισειαστής); юридическая личность общины, несмотря на раздел участков между ее членами, не уничтожалась, особенно рельефно она выступала в вопросе о податной ответственности.

Законы, вошедшие в *Эклогу* и *Земледельческий закон*, были действующим правом во все продолжение иконоборческого периода. Со второй пол. IX в., со вступления на престол Македонской династии, обнаруживается в политике направление, противоположное предшествующему периоду, а в законодательстве — стремление к реставрации Юстиниановых

[1] Имеют некоторое отношение только титулы (8, 17), посвященные отпущению рабов на свободу и трактующие об их убийстве. Они заключают указания на положение рабов и взгляд на них общества и правительства. Указания на положение рабов (бесправных) и взгляд на них (как на вещь) в XI в. можно находить в Πεῖρα, *Zachariae*, I, 3, 7, 13, 66, 131–132, 153, 231, 288. Взгляд на рабство представителей Церкви высказан в Слове Симеона Нового Богослова//PG, CXX, 362.

законов. В Царских книгах (*Василиках*) первых императоров Македонского дома сделана новая публикация юстиниановского права, вместе с тем выступают на сцену и крепостные, ἐναπόγραφοι. Но это не значит, что состояние опять восстановлено и что для его восстановления достаточно было заменить одно руководство права другим. Между иконоборческим законодательством и законодательством Македонского дома существовала громадная разница, дававшая первому преимущество перед вторым. Тогда как законодательство иконоборцев шло по следам социально-общественного развития, вызвано было новыми потребностями жизни, которым и удовлетворяло, законодательство македонских императоров было плодом уважения к традициям старого времени, сделавшимся анахронизмом и не имевшим места в действительной жизни. Статьи *Царских книг* о крепостных в юридической практике не имели решительно никакого приложения, как видно из того, что в Πεῖρα об этом состоянии не говорится ни слова, и позднейшие писатели, например, Вальсамон, комментатор Фотиева *Номоканона*, имеют о предмете смутные представления. Между тем положения иконоборческого законодательства не теряли жизненного значения. Уже сами императоры Македонского дома сделали уступку перед неизбежностью факта. Несмотря на то, что в *Прохироне*, изданном Василием Македонянином между 870 и 879 гг., *Эклога* называется «извращением добрых законоположений», а в *Эпанагоге*, составленной при Василии I, Льве и Александре между 879 и 886 гг., постановления ее называются «несообразностями, сделанными исаврийцами в противность божественному догмату и на разрушение спасительных законов», тем не менее названные императоры сами заимствовали многие статьи из *Эклоги* и внесли их как в оба руководства, так и в *Василики*. Юристы и после появления новых руководств продолжали пользоваться *Эклогой*, согласуя ее по возможности с новыми законными книгами.[1] Содержание *Земледельческого закона* не вошло, подобно *Эклоге*, в состав македонского законодательства, но что он постоянно имел для себя реальное приложение, доказывается многочисленностью списков закона, тем, что он присоединяется в списках к *Прохирону*, *Эпанагоге*, к частным переработкам официальных руководств, как-то: *Эклоге*, переработанной по *Прохирону*, в особенности же «Шестикнижию» Арменопула, фессалоникийского судьи XIV в.

Положение вещей, обрисовываемое *Земледельческим законом*, продолжало существовать и при Македонской династии. По-прежнему

[1] Плодом соглашения явилась переработка *Эклоги* по *Прохирону*: Ecloga ad Prochiron mutata.

существовало вольное крестьянство, разделявшееся на крестьян сидевших на властельских землях и крестьян группировавшихся в свободные общины. Крестьяне первого рода, начиная с IX в., носят обыкновенно имя париков (πάροικοι, присельники);[1] в числе их были такие, которые платили господину лишь десятину и по-прежнему назывались еще мортитами, но были и такие, которые, называясь общим именем париков, но обязаны были к господину более тяжелым оброком; все они по собственному желанию могли оставлять землю и могли быть удаляемы с нее по желанию владельца земли; более тесная связь между париком и землей наступала лишь тогда, когда он обрабатывал свой участок непрерывно в течении 30 лет, — господин тогда лишался права согнать парика, последний делался неоспоримым распорядителем своего надела, хотя и подчиненным господину в том смысле, что обязан был платить ему оброк. Общины, в которые группировались крестьяне второго рода, носили название κωμητοῦραι, ὁμάδες, ἀνακοινώσεις, но каков был общий термин для обозначения крестьян-общинников, неизвестно.[2] Как парики, так и крестьяне-общинники составляли в своей совокупности византийское крестьянство, другую половину общества, наряду с властелями; в отличие от властелей все вообще крестьянство называлось людьми убогими, πένητες.

После того как оправившееся от ударов, нанесенных славянскими вторжениями, властельское сословие стало крепнуть и образовались аристократические роды, т. е. с IX в., началась продолжительная экономическая борьба властелей с убогими; властели, пользуясь стесненным положением убогих, доведенных до крайности стихийными бедствиями (неурожаями, эпидемиями и пр.) или неприятельскими нападениями, а также злоупотребляя своей силой и влиянием, дававшими им возможность делать нападения на убогих и брать над ними перевес, опираясь на представителей в данной местности судебно-административной власти и т. д., заставляли крестьян-общинников отдавать (в дар или в наймы) или продавать занимаемые ими участки общинной земли, а крестьян-париков принимать

[1] В надписи от 834 г. императора Феофила говорится, что он был кроткий господин для своих париков. См.: *Banduri*. Imp. Orient., ed. Ven., II, 158. У Юстиниана встречается παροικικόν или παροικικόν δίκαιον (право париков), но с этим словом соединяется побочное представление о занятии чужой земли без формального разрешения, в силу попущения. См.: *Zachariae von Lingenthal*. Gesch. d. griech.-röm. Rechts, 2 Aufl., 245.

[2] *Успенский* (К истории крестьянского землевладения в Византии/ /Ж. М. Н. Пр., 1883, февраль, 309–313) на основании словоупотребления в памятниках XII–XIII вв. и в новогреческом языке старается доказать, что таким термином было слово эпики (ἔποικοι, поселенцы).

на себя все более тяжелые обязательства, — тех и других становиться в зависимое отношение к властелям. Правительство не могло остаться равнодушным зрителем в этой борьбе, с одной стороны, потому что усиление властелей, естественно вытекавшее из увеличения их поземельной собственности, грозило опасностью монархической власти, с другой, потому что разложение общинного союза, производимое отчуждением властелями общинных участков, нарушало фискальные интересы, для соблюдения которых было весьма важно, чтобы круговая порука общины перед правительством не умалялась в своем значении и объеме. Отсюда произошло, что в X в., когда перевес, как это и естественно в борьбе крупной собственности с мелкой, пока они предоставлены самим себе, стал явно клониться на сторону властелей, правительство, вооружившись силой законодательного авторитета, выступило на помощь убогим. В промежуток времени между 922 и 996 гг. императоры Роман I Лекапин, Константин VII Багрянородный, Роман II, Никифор Фока и Василий II Болгаробойца издают ряд новелл[1] в защиту мелкой поземельной собственности от поглощения крупной и крестьянских общин от вторжения в них властелей. Через все новеллы проведен один принцип. Он высказан в первой по времени новелле Романа Лекапина от 922 г. и выражается двумя положениями: а) что предпочтительное право (προτίμησις) на покупку недвижимой собственности принадлежит общине и б) что властели не могут делать приобретения из общинного поземельного имущества посредством дара, завещания, покупки и найма. Принцип, проведенный с последовательностью через все новеллы, не только не ослабевает в деталях, а, напротив, усиливается, и в последней новелле Василия Болгаробойцы от 996 г. доходит до отмены 40-летней давности, которой прикрывалась страсть к стяжанию. Новеллы не оставались мертвой буквой, но выражались в соответствующих действиях, может быть, подчас слишком даже энергичных, как показывает поступок с Филокалесом, который сначала был убогим, потом, разбогатев и достигнув чинов, сделался властелем, и у которого, по распоряжению Василия, земля была отнята и возвращена убогим, великолепные дворцы разрушены и сам Филокалес возвращен в первоначальное состояние крестьянина.[2] Василий II, завершивший своей новеллой ряд новелл в защиту убогих и мелкого земледелия и не останавливавшийся

[1] Все эти новеллы изложены на русском языке *проф. Васильевским* в Ж. М. Н. Пр., 1879, ч. CCII.

[2] Этот пример приводится в самой новелле Василия II и, без сомнения, был не единственным примером. Подобное же явление представляет конфискация Василием II имущества Евстафия Малеина. См.: *Cedr.*, II, 448.

ни перед чем, чтобы подавить знать, прибегнул кроме того к мере, которая окончательно должна была подорвать значение властелей. Мера эта была подобна той, которой некогда было подорвано значение муниципий и старинной землевладельческой аристократии. 15 индиктиона, т. е. 1001–1002 г., Василий издал повеление о так называемом аллиленгии, — властели в податном отношении сделаны ответственными за убогих и в случае несостоятельности последних должны были платить за них. Мера касалась, можно полагать, только париков, потому что относительно крестьян-общинников правительство и без того было обеспечено круговой порукой общины; она наносила сильный ущерб всем властелям, светским и духовным, почему патриарх Сергий, с епископами и монахами, усердно, хотя и напрасно, просили императора Василия снять аллиленгий.[1] Если бы эта мера удержалась, то она привела бы к разорению властелей, ограничению крестьянской свободы перехода и, косвенным образом, к охранению неприкосновенности крестьянских общин, но, как увидим, она не удержалась.

Таким образом, XI в. получил в наследство от предшествующего времени крайне натянутое положение социально-общественных элементов. Дело доведено было до того пункта, когда торжество в борьбе между властелями и убогими, при неуклонной последовательности правящих сфер, должно было склониться на сторону убогих; строгие узаконения о праве предпочтения, о запрещении властелям делать приобретения за счет убогих, а главным образом аллиленгий давали готовое средство для получения победы. С первого взгляда можно подумать, что к XI в. борьба так или иначе разрешилась или, по крайней мере, была на время приостановлена, так как XI в. не представляет памятников законодательной деятельности, которые выдерживали бы аналогию с новеллами императоров X в. или были бы дальнейшим их развитием. Но эта отрицательная посылка едва ли уполномочивает на такое заключение, во-первых, потому что XI в. вообще отличается в византийской истории затишьем по отношению к

[1] *Cedr.*, II, 456. По мнению *бар. Розена* (384–385), словом «аллиленгий» обозначалась подать, следующая с земель, оставленных их владельцами, и взимавшаяся с соседей этих владельцев, о ней *Яхъя* (70) говорит: «Сложил (Константин VIII) с обитателей греческой земли недоимки и взимавшиеся с них доходы с необрабатываемых царских имений, которые находились в соседстве каждой группы их, до тех пор пока они не будут опять обработаны». Но еще вопрос, о чем говорится в темной фразе Яхъи. Соседями могли быть и убогие, аллиленгий же платили только властели: τὰς τῶν ἀπολωλότων ταπεινῶν συντελείας τελεῖσθαι παρὰ τῶν *δυνατῶν* κατονομάσθη δὲ ἡ τοιαύτη σύνταξις ἀλληλέγγυον (...чтобы подати обедневших <соседей> уплачивали властели; этот налог был назван аллиленгием).

законодательным работам, а во-вторых, потому что начала, положенные в основу новелл X в., были достаточно раскрыты — для преемников Василия II оставалось только решить, руководствоваться ли началами во всей строгости, или ослабить их значение. Следовательно, хотя мы не имеем от XI в. новелл, которые можно было бы поставить в параллель с новеллами X в., однако же вопрос остается еще не решенным. Он может быть подвинут к разрешению путем выяснения соприкосновенных пунктов: о существовании в XI в. борющихся сторон и самой борьбы между ними, об отношении к ним правительства, об уступчивости в XI в. начал, легших в основу новелл X в., и наконец вообще о совокупности условий, благоприятствовавших той или другой из спорящих сторон.

Сборник судебных случаев, известный под именем Πεῖρα, ставит вне всякого сомнения существование в первой половине XI в. враждующих сторон и тот факт, что правительственная власть, в лице лучших своих представителей, покровительствовала убогим, опираясь на новеллы X в. В сборнике постоянно выступают властели и убогие,[1] выдвигаются на сцену определения новелл Романа Лекапина и Василия Болгаробойцы, с объяснением, что ими нужно руководствоваться;[2] если случай подходит под действие новелл и предусмотрен ими, то и решается на их основании. Вот примеры: когда обнаружилось, что один властель сделал приобретение в деревенской общине (ἐν χωρίῳ) после издания новеллы 934 г. (Романа Старшего), он был присужден безденежно возвратить приобретенное;[3] когда один убогий завещал имущество монастырю и Ксир утвердил завещание, магистр Евстафий кассировал решение на том основании, что завещание убогого властелю не имеет силы;[4] когда зашел спор о рынках, тоже состоялось решение, согласное с новеллой Василия II, в смысле охранения интересов убогих;[5] когда какие-то властели, державшие землю убогих, уклонялись от судебного процесса, пользуясь своим несовершеннолетием, постановлен был приговор, чтобы и до формального

[1] *Zachariae*, I, 18, 21, 29, 41; 18, 21, 42, 199.

[2] *Zachariae*, I, 21, VIII, ά: κατὰ τὴν πρώτην νομοθεσίαν τοῦ εἰρημένου βασιλέως κυροῦ Ῥωμανοῦ καὶ τοῦ κυροῦ Βασιλείου, καὶ τότε ἐξ ἐγγράφων καὶ σωματικῶν δικαιωμάτων (согласно первому законодательству вышеупомянутого императора господина Романа и господина Василия, исходя из документов и совокупного права). 29, IX, ά: ὅτι ἡ νεαρὰ τοῦ μακαρίτου βασιλέως κυροῦ Βασιλείου περὶ τῶν χωρίων τῶν ἐκποιηθέντων διαλαμβάνουσα οὑτωσὶ δογματίζει (что новелла блаженного императора господина Василия о приобретенных землях постановляет так).

[3] *Zachariae*, I. 29, IX, β΄. Ср. 159–160, XXXVI ιέ.

[4] *Zachariae*, I, 41, XIV κβ΄.

[5] *Zachariae*, I, 260, LVII, ά.

судебного решения земля оставалась за убогими.[1] Πεῖρα, ясно отличая между убогими париков и крестьян-общинников, защищает интересы тех и других против властелей; парика гарантирует от господского произвола в пользовании землей, толкуя в его пользу статью новеллы о 30-летней давности,[2] охраняет и общину на основании точного смысла новелл. Например, когда возник спор между Клавдиопольской митрополией и общиной Риакиев (ἀνακοίνωσις εἰς τὸ χωρίον τῶν Ῥυακίων) о распределении границ между владениями, потребованы были свидетельства и состоялось решение в пользу общины, причем сказано было, что если бы остался хоть один младенец, наследующий от простолюдинов, то он должен получить все и владеть, ибо он имеет предпочтительное перед всеми властелями право владеть податными землями умерших крестьян.[3] В другой раз, когда возник спор между епископом Кратии и наследниками патриция Евсевия насчет селения Риакиев, положено было сходное решение, что если властели судятся об имениях, входящих в состав крестьянской общины (περὶ κτημάτων ἀνακοινώσεως ὄντων χωρίταις), то каждый получает принадлежащий ему податный, то есть записанный за ним в податной писцовой книге участок, относительно же остальных участков, хотя бы их было много, между тем из крестьян оставался в наличности только один, этот крестьянин признается имеющим право владеть всеми внесенными в списки крестьянскими участками, а властели изгоняются отсюда на далекое расстояние.[4] Вообще, на основании Πεῖρα можно сказать, что в первой половине XI в. отношение правительства к общественным классам было такое же, как и в X в.; узаконения, благоприятствовавшие убогим и стеснявшие

---

[1] *Zachariae*, I, 186, XL, ιβ΄.

[2] *Zachariae*, I, 42, XI, β΄: ὅτι παροίκους εὑρισκομένους ἀδιακόπως νεμηθέντας τὰ τῆς παροικίας αὐτῶν τόπια καὶ τὸ πάκτον διδόντας ἐπὶ τριακονταετίᾳ, ὁ βέστης (Евстафий) ἔλεγε μὴ ἔχειν τὸν δεσπότην ἰσχὺν ἐκδιώκειν αὐτούς· δοκούσι γὰρ οὗτοι ὡς δεσπόται μὲν τῶν τόπων διὰ τῆς χρονίας νομῆς, ἀνάγκην δὲ ἔχουσι παρέχειν τὸ πάκτον... (поскольку оказалось, что парики непрерывно занимали участки своей парикии и на протяжении тридцати лет вносили пакт, вест (Евстафий) постановил, что землевладелец не имеет права изгонять их, ибо они сами считаются владельцами своих участков по причине долгого проживания на них, хотя и обязаны уплачивать пакт).

[3] *Zachariae*, 45–47, XV, ί.

[4] *Zachariae*, I, 30, IX, θ΄. Принципы общинного землевладения выступают также в решениях о крестьянах, сообща владевших церковью св. Авксентия в Халдии (44, XV, ή); об участке поселка Неаста, входившего в состав общинного селения Гордия (86–87, XXIII, γ΄); о способе раздела доходов с пастбищ, находящихся в общинном владении (162–163, XXXVII, β΄).

властелей, оставались в полной силе. Личное настроение некоторых императоров гармонировало с этим направлением внутренней политики, как видно из свидетельств историков о Константине VIII и Михаиле V Калафате.[1] Но и относительно второй половины XI в. есть основание утверждать, что то же направление преобладало. Из государей второй половины XI в. можно указать на Константина X Дуку, который главнейшее внимание обращал на суды и при этом, естественно, заботился о том, чтобы новеллы X в. применялись на деле. Он покровительствовал убогим; оказывая благосклонность ремесленникам, был не менее благосклонен и к поселянам, которых охотно допускал к себе и выслушивал их жалобы;[2] решения его в пользу убогих не нравились властелям, почему и замечено у историка, что он был «тяжел и невыносим для властелей».[3] В одном письме, которое с наибольшей вероятностью может быть отнесено ко времени Константина Дуки, Пселл дает практору совет, какой политики следует держаться, чтобы действовать в тон с настроением высших правительственных сфер, — он советует принимать к рассмотрению такие дела, которые выгодны для сельчан.[4]

Из сказанного не следует однако же, что дело властелей было проиграно в XI в. Если, вообще говоря, высшая правительственная власть и юстиция оставались верными традициям Македонского дома, к прямой невыгоде властелей, то вместе с тем последние имели на своей стороне немало преимуществ, которыми и спешили воспользоваться. Сюда прежде всего следует отнести невыдержанность политики государей XI в. Одни императоры твердо держались той точки зрения, что для блага государства необходимо покровительствовать убогим, и сообразно с тем поступали; другие находили возможным не слишком ригористически проводить этот государственный принцип и, явно не вооружаясь против него, снисходительно смотрели на послабления в его применении. К последнему разряду принадлежали: Роман Аргир, Константин Мономах и Никифор Вотаниат, которые по своему происхождению, по фамильным симпатиям

---

[1] См. выше, с. 125–126, 162.

[2] *Psell.*, IV, 265: οἱ δ' ἐπὶ τῶν ἀγρῶν, οἳ τὸ πρὶν μηδὲ τὸν βασιλεύοντα ἤδεισαν, καθαρῶς αὐτῷ ἐνητένιζον, καὶ φιλανθρώπων μὲν λόγων, φιλανθρωποτέρων δὲ πράξεων μετελάμβανον (А сельские жители, которые раньше и не видели никогда императора, не отводили от него глаз и получали свою долю от его милосердных речей и еще более милосердных деяний. — *Пер. Я. Н. Любарского*).

[3] *Scyl.*, 652: βαρὺς δεικνύμενος τοῖς δυνατοῖς καὶ ἀφόρητος.

[4] *Psell.*, V, 395: τῶν δὲ ὑποθέσεων ἐκείνας ἑλοῦ δικάζειν ὅσαι λυσιτελεῖς τοῖς χωρίταις γενήσονται (Избирай для рассмотрения те дела, которые обещают выгоду для поселян).

тяготели к властельной аристократии и принимали близко к сердцу их интересы, по крайней мере, на первых порах правления, пока византийская государственность не успевала увлечь их за собой, даже против их воли. Периодом колебания и неустойчивости императоров властели пользовались для того, чтобы достигнуть благоприятных себе результатов. Особенно важный результат достигнут был ими при Романе III: аллиленгий этим императором был отменен.[1]

Далее, в пользу властелей должно было послужить пристрастное отношение к ним судебно-административных органов. Если лучшие люди из судебной корпорации твердо держали знамя тех идей, которые провозглашены были новеллами X в., то отсюда не следует, что все судьи-администраторы были проникнуты такими непреклонными чувствами и убеждениями, — твердость в этом отношении правительственных органов была, можно думать, скорее исключением, чем правилом, и без сомнения, тот судья, на которого жаловались крестьяне, говоря, что он принудил их к сделке с Романом Склиром,[2] представлял собой не единственный пример влияния аристократии на местную администрацию. Представители власти в данной местности, удаленные от непосредственного надзора центральной власти, в большинстве не славившиеся, как известно, честностью, не могли не считаться с силой влияния и капитала, которую представляли в своем лице властели; нередко их прямой интерес — денежный и судебный — связан был с вопросом о том, чтобы оказать содействие властелю в его споре с убогим или, по крайней мере, не принимая прямого участия в деле, закрыть глаза на нарушения закона властелем и оставаться глухим к жалобам убогих на его злоупотребления. Если властель не пользовался в такой мере личным влиянием и авторитетом, чтобы побудить местную власть поддержать свое дело, то он всегда имел более шансов, чем убогие, к тому, чтобы найти в столице поддержку, — через какого-нибудь влиятельного родственника, приятеля или знакомого произвести давление на стратига или практора известной фемы и заставить принять свою сторону. Влиятельные лица при дворе в этих случаях были не более щепетильны, чем областные правители, и не считали предосудительным на время забыть о государственной пользе ради интересов дружбы, родства и кумовства. Тот же Пселл, дававший такой политический совет своему приятелю-практору о покровительстве сельчанам, в другом письме рекомендует своему племяннику, очевидно, занимавшему какой-то административный пост, услуживать и властелям (θεράπευε

[1] *Cedr.*, II, 486 (*Zon.*, IV, 128; *Glyc.*, 581; *Ioel*, 61; *Ephr.*, 129).

[2] *Zachariae*, I, 199.

καὶ τοὺς δυνατούς), а именно помочь некоему Патрикию, сыну Иканатиссы, который был поставлен в затруднительное положение тем, что парики переселялись с его земель на другие места. Пселл просит устроить так, чтобы парики не оставляли монастырской парикии (во владении Патрикия были монастыри), другими словами — фактически ограничить крестьянское право перехода.[1] Для властелей достаточно было, чтобы правительственные органы сквозь пальцы смотрели на их действия. Они тогда умели справляться с убогими и знали, чем воспользоваться за их счет: самовольно отнимали у них землю и отдавали другим на тяжелых условиях, делали разбойничьи набеги на крестьян и, похитив их имущество, заставляли потом входить в сделки и т. д.[2]

На помощь властелям приходили еще разные невзгоды и стихийные бедствия, обрушивавшиеся на убогих и отдававшие их в руки властелей. Известен повод к изданию Романом Лекапином новеллы 934 г. Зима 927–928 гг. отличалась жестокими морозами, так что земля была покрыта льдом 120 дней. Следствием морозов был неурожай, за неурожаем последовал страшный голод, а за голодом мор, истреблявший людей в таком множестве, что живые не успевали хоронить умерших. Бедствия голода и моровой язвы продолжались несколько лет, когда же они миновали, тогда оказалось, что многие властели бесчеловечным образом воспользовались народным несчастьем для собственной выгоды — по самой ничтожной цене, за небольшое количество хлеба, скупали у бедных, подвергавшихся опасности голодной смерти, их земельные участки. Это и побудило Романа издать новеллу.[3] Одинаковые причины и в XI в. должны были вести к одинаковым следствиям; если при Романе Лекапине властели пользовались народным бедствием для своей наживы, то ничто не заставляет предполагать, что их потомки в XI в., не превосходившие своих предков

---

[1] *Psell.*, V, 381.

[2] Примеры в Πεῖρα: управитель Романа Склира самовольно передал участки некоторых крестьян (199), сын патриция Ваасакия сделал набег на остров Газуру и похитил много вещей (198), сверх того был обвиняем в убийстве (288), Роман Склир сделал нападение на дома крестьян и потом заключил сделку с крестьянами (198), вообще на Склира поступало много жалоб, что он отнимал имущество, деньги, наносил побои, сажал в темницу и пр. (89–90, 295). Склир, сравнительно с другими властелями, был только более дерзок и смел. Подобные жалобы на властелей были делом обычным, и если властель не возбуждал жалоб, то это было дивом, которому с трудом верили. *Атталиот* (256), прославляя Вотаниата, считает нужным призвать Бога в свидетели, что он ни разу не был привлечен к суду, так был правдив.

[3] Ж. М. Н. Пр., 1879, CCII, 180–188.

добродетелью, поступали иначе. Между тем народные бедствия были не редким явлением, как в этом легко убедиться из простого их перечня. В первые два года царствования Константина VIII, не говоря уже о страшном землетрясении в Константинополе 5 декабря 1026 г.,[1] была величайшая засуха, так что реки и источники высохли.[2] В 1028 г. Бог послал дождь — и было обилие плодов, особенно масличных;[3] но потом настала беда и от дождя: пошли беспрерывные ливни, продолжавшиеся до марта 1029 г., реки и озера переполнились, животные пострадали, плоды были сбиты на землю и потому в следующем году настал сильный голод.[4] Летом 1032 г. голод и моровая язва посетили малоазиатские области, Каппадокию, Пафлагонию, Арменияк и Онориаду, так что жители покидали свои места и переселялись в другие;[5] в довершение ужасов, 13 августа 1032 г., в час ночи, произошло сильное землетрясение, повторившееся и в марте 1033 г.[6] Голод 1032 г. не был кратковременным бедствием: он был результатом налета саранчи, пожравшей посевы. Но саранча не сразу пропала, целых три года она опустошала восточные фемы, а более всего фему Фракисийскую; жители были доведены до такой крайности, что продавали детей и переселялись на европейский берег, во Фракию; только в 1034 г. саранча была поднята порывами сильного ветра, брошена на морское побережье и погибла около Пергама.[7] На смену одной беде не замедлила явиться другая: 18 апреля 1034 г. выпал сильный град, побивший фруктовые деревья; виноградники, полевые сборы пострадали, и в этом году был большой недостаток съестных припасов.[8] Несколько раньше, 17 февраля 1034 г., в Сирии началось землетрясение, повторявшееся местами в течении 40 дней: многие города пострадали, в Иерусалиме множество народа погибло под развалинами храмов и домов.[9] В 1035 г. землетрясение произошло в Букелларии, земля местами дала трещины и целых пять деревень (χωρία) погибло.[10] В последние годы царствования Михаила Пафлагона невзгоды следовали одна за другой. В 1037 г. настала засуха, продолжавшаяся шесть месяцев; по истечении этого времени вместо дождя

[1] *Яхъя*, у бар. Розена, 70.
[2] *Cedr.*, II, 484 (*Zon.*, IV, 127).
[3] *Cedr.*, II, 487.
[4] *Cedr.*, II, 488 (*Glyc.*, 581).
[5] *Cedr.*, II, 499 (*Zon.*, IV, 133); *Matth. d'Ed.*, 51.
[6] *Cedr.*, II, 500.
[7] *Cedr.*, II, 503–504, 509, 514; *Zon.*, IV, 133.
[8] *Cedr.*, II, 507 (*Glyc.*, 586).
[9] *Cedr.*, II, 503, 511 (*Glyc.*, 587).
[10] *Cedr.*, II, 514 (*Glyc.*, 588).

выпал град такой величины, что черепичные крыши на городских домах были разбиты; последовал всеобщий недостаток в хлебе, голод свирепствовал во Фракии, Македонии, Стримоне и Фессалонике до Фессалии; оставалось искать пропитания в Элладе и Пелопоннесе, где был урожай.[1] Одновременно, в течении нескольких месяцев, с ноября 1037 по январь 1038 г., повторялись удары землетрясения.[2] 1038 год прошел благополучно, но в 1039 г. опять начались частые землетрясения и сильные дожди; в некоторых фемах стала свирепствовать горячка, и смертность была такая, что живые не поспевали убирать мертвых.[3] В 1040 г. была засуха, высохли реки и источники;[4] было также страшное землетрясение, от которого пострадали многие города и деревни, — Смирна представляла плачевное зрелище, лучшие дома в ней были разрушены и многие граждане погибли.[5] Приступы землетрясения не прекращались и во все время царствования Калафата.[6] При Константине Мономахе стихийные бедствия посещали Империю сравнительно редко: в сентябре 1043 г. от сильного ветра пострадали виноградные грозды,[7] в 1045 г., во время землетрясения, были случаи провала людей под землю,[8] и в 1054 г. выпал крупный град, нанесший вред людям и животным, а в столице появилась моровая язва, погубившая массу народа.[9] Кратковременное царствование Феодоры изображается как счастливое: всюду был обильный урожай.[10] Затем известия встречаются редко, отмечены только два случая: при Исааке Комнине в 1058–1059 г. лег на землю красный снег, был голод и мор на диких зверей и птиц;[11] при Константине Дуке, 23 сентября 1063 г., началось землетрясение, редкое по своей продолжительности и учащенности колебаний, — случалось, в одну ночь повторялось до 12 колебаний; продолжалось землетрясение с перерывами два года (тогда как в прежние времена не превышало сорока дней); пострадали македонские города, Редесто, Паний, Мориофит, где множество домов было разрушено и много людей задавлено, потерпел также Кизик на Геллеспонте, знаменитый

[1] *Cedr.*, II, 516, 518 (*Glyc.*, 588).
[2] *Cedr.*, II, 515, 518.
[3] *Cedr.*, II, 522.
[4] *Cedr.*, II, 529.
[5] *Cedr.*, II, 522.
[6] *Cedr.*, II, 535.
[7] *Cedr.*, II, 555.
[8] *Matth. d'Ed.*, 79–80.
[9] *Cedr.*, II, 609–610 (*Glyc.*, 598).
[10] *Psell.*, IV, 201 (*Zon.*, IV, 182; *Ephr.*, 139).
[11] *Matth. d'Ed.*, 110–111.

храм которого был разрушен,[1] потерпела, наконец, Никея с ее храмами, в том числе с храмом Св. Софии и храмом свв. Отцов, где заседал Первый Вселенский собор.[2] Но если со второй половины XI в. природа сделалась более снисходительной к людям и природные несчастья реже удручали население Византийской империи, то не уменьшились, а, напротив, увеличились бедствия, причиняемые неприятельскими набегами, главным образом в азиатских фемах. Тягости, разумеется, ложились прежде всего на сельчан, которые должны были оставлять свои поля и дома и искать спасения в укреплениях,[3] под опасением быть перебитыми или взятыми в плен врагами.[4] При этом византийским подданным из греков приходилось страдать не только от турок в Азии и родственных туркам народностей в Европе, но также от армян, питавших национальную вражду к грекам; и здесь отвечать приходилось тем же крестьянам, как показывает пример того армянина из города Ания, по имени Георгия Шагатси, который из ненависти к грекам собрал толпу турок, стал разорять крестьян, сжег 12 деревень и, захватив пленных, перерезал их перед стенами Антиохии.[5] Последствием неприятельских набегов было не только обезлюдение местностей, подвергавшихся набегам, но также материальный недостаток и увеличение смертности на местах, лежавших вне района враждебных действий, что происходило от скопления в этих местах населения, бежавшего перед неприятельским нашествием; примером может служить конец царствования Михаила Парапинака, когда вследствие турецких вторжений произошел наплыв в столицу народа из малоазиатских фем, затем почувствовался недостаток в съестных припасах и настала наконец голодная смерть, разившая как пришельцев, так и коренное городское население, достигшая такой степени развития, что в портиках и под открытым небом валялись кучи мертвых тел и можно было видеть, как на одних носилках уносили пять-шесть человеческих трупов.[6] Легко представить себе, до какой крайности доводимы были в те времена убогие

[1] Это, без сомнения, тот храм, о котором упоминает Дион Кассий, в котором колоннами были монолиты в 75 футов высоты и 24 в окружности. См.: *Hoffmann.* Griechenland u. die Griechen im Mittelalter, II, 1605.

[2] *Attal.*, 88–91 (*Scyl.*, 657–658; *Zon.*, IV, 200–201; *Glyc.*, 605–606; *Ephr.*, 144).

[3] Напр., в Иверии, в 1048 г., во время движения турецкой армии. См.: *Cedr.*, II, 576.

[4] Напр. в 1078 г. поселяне (οἱ ἐν ἀγροῖς) были перебиты печенегами. См.: *Attal.*, 262.

[5] *Matth. d'Ed.*, 188–189.

[6] *Attal.*, 211–212 (*Scyl.*, 725; *Zon.*, IV, 224; *Ephr.*, 148).

неурожаями, болезнями и неприятельскими вторжениями. Правда, и тогда государство и Церковь оказывали посильную помощь пострадавшим. Например, в 1032 г. Роман Аргир, встретив по дороге из Месанакт в Византию толпу переселенцев, бежавших от голода и болезней, снабдил их деньгами, съестными припасами и возвратил домой, а Михаил, митрополит Анкирский, явил чудеса самоотвержения для спасения пострадавших от голода и моровой язвы. Тот же император Роман, в 1034 г., давал пострадавшим от неурожая, которые хотели выселиться во Фракию, по три номисмы, с тем чтобы они оставались дома. В 1037 г., во время голода, бывшего следствием засухи и града, Иоанн Орфанотроф закупил в Пелопоннесе и Элладе 100000 мер хлеба и раздал жителям столицы. Но все эти меры не были следствием какой-нибудь организованной системы; продовольственных капиталов в то время не существовало, и хотя высказывался некоторый взгляд, что на правительстве лежит обязанность помогать в нужде,[1] однако же выполнение обязанности имело чисто нравственный характер, зависело от личного усмотрения императоров и их первых министров и простиралось преимущественно на столичное население, да и то не всегда.[2] Поставленное лицом к лицу с голодной смертью, решавшееся даже продавать собственных детей, могло ли крестьянство задумываться перед продажей за бесценок земельных участков? В свою очередь властели, не останавливавшиеся перед позором играть роль разбойников и грабителей относительно крестьян, могли ли останавливаться перед возможностью захватить почти даром их участки, а тем более завладеть ими в тех случаях, когда сами крестьяне оставляли их, вытесненные голодом или вражеским вторжением? Следует поэтому согласиться с заключением, что явление, констатированное в новелле Романа Старшего от 934 г., имело место и в XI в., и чем чаще повторялись стихийные и иные бедствия, тем больше представлялось властельскому сословию возможности усиливаться за счет крестьянства и склонять на свою сторону весы экономического соперничества, которое носит название борьбы крупного и мелкого землевладения.

Наконец, кроме перечисленных условий, благоприятствовавших властелям в их борьбе с убогими, был еще один способ, дававший первым перевес над последними, не только над париками, но и над свободными крестьянскими общинами. Способ этот заключался в системе проний, происхождение и смысл которых вполне могут быть поняты только в связи со старинной прекарно-бенефициальной системой.

---

[1] *Attal.*, 211.

[2] Напр., во время голода при Парапинаке правительством не было оказано пособия.

Прекарно-бенефициальная система представляла собой тот своеобразный вид пользования землей, который был чужд древнеримскому гражданскому праву (jus civile), имел приложение лишь в частной жизни, в практике отдельных личностей, и принадлежал к области так называемого прирожденного права.[1] Сущность системы определяется ее названием. Один человек обращался к другому с просьбой (precarium) дать ему землю. Тот, к кому обращались, снисходил на просьбу и делал просителю благодеяние (beneficium), давал землю в пользование. Здесь не было никакого юридического основания для пользования землей, все основывалось на нравственном побуждении, на благосклонности одного человека к другому. Так как основание было чисто нравственное — добрая воля посессора, то отсюда происходило, что не существовало ни срока, ни определенных условий для пользования. Эти земли не уступались навсегда, в отличие от донаций, переходивших в собственность, господин мог взять назад прекарию или бенефицию (названия употреблялись безразлично, но чаще прекария) тогда, когда это было ему угодно; передать землю другому лицу или оставить в наследство детям прекарист и подавно не мог, после его смерти земля отходила к первоначальному владельцу и наследники не могли предъявлять никаких претензий. Пользование землей не сопровождалось никакими определенными условиями, в отличие от наемных земель, отдававшихся в аренду по контракту; единственным

[1] Digesta seu Pandectae Justiniani Augusti, recogn. *Th. Mommsen*. Berolini, 1870. Vol. II. Lib. XLIII. Tit. 26. P. 611: Ulpianus libro primo institutionum. Precarium est, quod precibus petendi utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur. Quod genus liberalitatis ex jure gentium descendit. Idem libro septuagesimo primo ad edictum. Ait praetor: «Quod precario ab illo habes aut dolo male fecisti, ut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas». Hoc interdictum restitutorium est. Et naturalem habet in se aequitatem, namque precarium revocare volenti competit: est enim natura aequum tamdiu te liberalitate mea uti, quamdiu ego velim, et ut possim revocare, cum mutavero voluntatem (Ульпиан в первой книге «Институций». Прекарий — благодеяние, которое делается на основании просьбы в той мере, в какой это позволит благодетель. Этот вид благодеяния восходит к иноземному праву. То же говорится и в семьдесят первой книге в эдикте. Претор говорит: «Если ты нанес вред тому, кто пожаловал тебе прекарию, так что ты потерял право владения тем, о чем идет речь, ты обязан вернуть прекарию». Это интердикт о возвращении. Он соответствует прирожденному праву, ибо требует возвратить землевладельцу его прекарию, если он пожелает. Ведь это справедливо по природе, что ты пользуешься моими благодеяниями в той мере, в какой мне угодно, и что если я изменю мнение, я смогу и отказать тебе). В этом же смысле говорят: Гай, Павел, Помпоний, Цельс, Иулиан, Венулей (Ibid., 611–614).

условием пользования было, чтобы прекарист в глазах собственника заслуживал бенефиции, каковое условие выполнить, само собой разумеется, не всегда было легко: прекарист вечно должен был держать себя в положении просителя, заискивающего у своего патрона, и патрон мог злоупотреблять своим положением, налагать на прекариста такие обязательства, которые были тяжелее всевозможных условий, строго сформулированных. Хотя в частной жизни римлян этот способ практиковался с давних пор, однако же сначала он не имел слишком широкого применения. Важное место он занял только в последнее время Римской империи и стал мало-помалу вытеснять обычай отдавать землю в аренду, — обстоятельство, которое можно объяснять с одной стороны тем, что арендование земель сопряжено было с опасностью перехода в разряд колонов, и свободные люди, ограждая свою свободу, предпочитали брать землю в виде прекарий, от которых во всякое время могли отказаться, с другой — тем, что и землевладельцы находили выгодным отдавать землю в виде прекарий, потому что хотя по своему смыслу прекарии были даровыми и не давали дохода, однако же на практике было иначе: у владельца было в руках косвенное средство извлекать доход из прекарий, прекаристы, из опасения потерять бенефицию, исполняли требования господ, и в действительности оказывалось, что за пользование бенефицией они отплачивали тем или иным образом. Сальвиан Марсельский,[1] писатель V в., говорит уже об этом способе пользования землей как о самом обыкновенном, которого держались посессоры, города, храмы; в законах, вошедших в кодекс Юстиниана,[2] тоже находим на него указания. Эти законы, в связи со свидетельством Сальвиана, знакомят нас с тремя формами бенефиций: первая форма — те бенефиции, которые образовались через раздачу земель богатыми людьми бедным, вторая — те, которые образовались из соединения земли, принадлежащей дающему бенефицию, с землей, принадлежащей получающему бенефицию, но отданной первому в виде благодарности за благодеяние;[3] третья форма — те бенефиции, которые

[1] *S. Salviani Massiliensis presbyteri* de gubernatione Dei octo libri dati ad S. Salonium episcopum (Св. Сальвиана Марсельского, пресвитера, восемь книг о державе Божией, обращенные к св. епископу Салонскому). PL, LIII.

[2] *Cod.*, 1, 2, 14, 17.

[3] Закон от V в. говорит только о церквах, дозволяя им этим способом отдавать земли, т. е. когда церковь по просьбе (pro petitione) какого-нибудь человека уступает ему землю, этот человек, в вознаграждение за благодеяние (beneficii gratia), должен подарить церкви другую землю такой же стоимости; он получает после того ту и другую землю в пользование на определенное число лет или на всю жизнь, а потом церковь берет назад и ту, и другую землю. Но нет оснований предполагать, что только церкви поступали таким образом и что обычай не существовал также в среде частных лиц.

образовались из земель мелких землевладельцев, отданных сначала людям влиятельным и привилегированным, а потом оставленных прежними владельцами в пользование. Законы (IV и V вв.), называющие эту последнюю форму fundorum patrocinia и строго ее преследующие, говорят, что даже куриалы, с целью освободиться от налогов и заручиться в суде покровительством сильного человека, выдают свои земли под его именем, т. е. уступают ему право собственности, из слов же Сальвиана Марсельского[1] видно, что уступивший другому свою землю оставлял ее за собой для пользования, но не как собственность, а в виде бенефиции, по милости нового патрона.

Прекарно-бенефициальная система целиком перешла от римлян к германцам, все три формы прекарий существовали во франкском государстве при Меровингах, и мало-помалу видоизменившись как со стороны терминологии, так и внутреннего содержания, сделались одной из составных частей позднейшего феодализма.[2] Что касается византийского государства, то мы не имеем определенных данных о существовании в нем указанных прекарно-бенефициальных форм в VII–IX вв. Едва ли, однако же, мы вправе сомневаться, что самый способ в тех или других формах практиковался, — иначе останется необъяснимым факт выступления его на сцену в X в.

В X в. этот способ с ясностью выступает в применении к монастырям, которые раздаются в виде пожалования (διὰ χαριστικῆς, διὰ δωρεᾶς)

---

[1] PL, LIII, 102: tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus... tueri pauperes videntur ut spolient, hac lege defendunt miseros ut miseriores faciant defendendo. Omnes enim qui defendi videntur, defensoribus suis omnem fere substantiam suam priusquam defendantur addicunt; ac sic, ut patres habeant defensionem, perdunt filii haereditatem. Tuitio parentum mendicitate pignorum comparatur. Ecce quae sunt auxilia ac patrocinia majorum. Nihil susceptis tribuunt, sed sibi. Hoc enim pacto aliquid parentibus temporarie attribuitur, ut in futuro totum filiis auferatur (<бедные> вверяют себя покровительству и опеке могущественных... <те же> притворяются, будто опекают нищих, дабы грабить их, покровительствуют бедным, чтобы своим покровительством сделать их еще беднее. Все, кто будто бы пользуется покровительством, еще прежде, чем получить его, передают покровителям почти все свое имущество. И вот, чтобы отцам приобрести покровителей, сыновья лишаются наследства. Забота о родителях покупается ценой обнищания детей. Вот какова помощь и благодеяния могущественных людей. Они ничего не уделяют подопечным, а все забирают себе. Ведь, таким образом, если родителям что-то временно и дается, то дети в будущем лишаются всего).

[2] Ср.: *Waitz G.* Deutsche Verfassungsgeschichte, t. III, IV; *Fustel de Coulanges.* Les origines du régime féodal/ /Revue des deux mondes, 1873. T. CV.

лицам духовным и светским. Так, например, монастырь Пиперата передан был монахом, его устроившим, Роману Старшему до его воцарения, а Роман после своего воцарения, улучшив положение монастыря, отдал его протовестиарию Мариану, с тем чтобы он распоряжался монастырем и принадлежавшим монастырю по усмотрению.[1] Ректор Никита получил, в виде пожалования, монастырь св. Фоки.[2] По имени харистикии, соответствующей прежней бенефиции, лица, которым делалось пожалование, назывались харистикариями. То обстоятельство, что харистикарный способ получил такое широкое приложение к монастырям, заставляет поставить его в связь с секуляризацией монастырских земель, предпринятой в VIII в. императорами-иконоборцами; очевидно, правительственная власть стала раздавать секуляризованные имущества, между прочим, тем способом, который был дозволен церквам по закону V в. Небезынтересно поэтому свидетельство патриарха Антиохийского Иоанна, производящего харистикарный способ от иконоборческой ереси, и именно от самого ревностного ее поборника, Константина Копронима.[3] Действительно, императоры-иконоборцы могли сообщить способу одностороннее значение, обратив почти исключительное внимание на монастырские земли, так что случаи его приложения к землям не монастырским совершенно стушевались и харистикия стала пониматься специально, в смысле монастырского пожалования. Но Иоанн Антиохийский ошибается, считая Константина Копронима изобретателем харистикий; харистикарный способ — это тот же прекарно-бенефициальный способ, названный только вместо латинского греческим словом; он существовал задолго до Копронима, и Копроним, жалуя монастыри с их имениями светским лицам, в существе дела ничего нового не вводил. В харистикарный способ раздачи монастырей вкрались с течением времени некоторые злоупотребления,

---

[1] *Zachariae*, I, 43.

[2] *Zachariae*, I, 45. О пожаловании монастырей говорится и в новелле Василия II от 996 г.: τὰ μὲν τῶν τοιούτων μοναστηρίων (образовавшиеся в среде сельских общин), αὐτοὶ ἐκεῖνοι κατέχοντες οἱ μητροπολῖται ἢ ἐπίσκοποι τὰ δὲ κατὰ δωρεὰν δυνατοῖς τισι διδόντες πλεονεκτοῦσι τὰ χωρία· τὰ δὲ ἰδιόστατα καὶ ὅσα μεγάλα μοναστήρια ἐκ παλαιοῦ ἦσαν... διοριζόμεθα ταῦτα καὶ πάλιν ὑπὸ τὰς μητροπόλεις καὶ τὰς ἐπισκοπὰς εἶναι καὶ δωρεῖσθαι (одними из таких монастырей владеют сами митрополиты или епископы, а другие они жалуют динатам, владеющим обширными землями. Что же касается самостоятельных монастырей, которые издревле были значительными... мы повелеваем, чтобы они, в свою очередь, пребывали и жаловались во владение под началом епископий и митрополий). *Zachariae*, III, 313, 315.

[3] *Cotelerii* Ecclesiae Graecae monumenta, I, 168–169.

против которых уже в X в. протестовал[1] патриарх Сисиний II (996–999). Но ни злоупотребления не были искоренены, ни самый способ не был ослаблен; он, вместе с злоупотреблениями, перешел в XI век, и патриархи Сергий, Алексий и Иоанн Ксифилин усиливались достигнуть того же, к чему стремился патриарх Сисиний, — оставляя неприкосновенным самый харистикарный способ, старались искоренить существовавшие в нем злоупотребления. Постановления Константинопольского синода от мая 1016 г., при Сергии, двух синодов от 1027 и 1028 гг., при Алексии, и синода от 1073 г., при Иоанне Ксифилине, в соединении с некоторыми другими данными, в достаточной мере обнаруживают связь харистикий с прежними бенефициями и знакомят как со значением харистикарного способа, так и с теми злоупотреблениями, которые были ему присущи в XI в.

Подобно тому как бенефиции не имели ничего общего с актом полного отчуждения и актом договора, точно так же и пожалование, отдача διὰ χαριστικῆς, διὰ δωρεᾶς, строго отличается от совершенной уступки или отчуждения и от уступки условной, в силу договора, на определенное время и за определенную плату (ἔκδοσις, πάκτα). Отчуждение и условная отдача монастырских имуществ должны были происходить при участии патриаршего приказа, заведовавшего монастырями; в постановлении 1027 г. говорится, что этого рода акты не должны совершаться помимо приказа хартофилакса, иначе они будут считаться недействительными, недвижимость будет подлежать безденежному отобранию и убыток ляжет на тех, кто дал и получил незаконным образом.[2] Между тем пожалование в виде харистикии не было обставлено подобными формальностями и не находилось под контролем патриарших приказов. Требовалась только воля владельца монастыря, митрополитам же, архиепископам и епископам надлежало наблюдать, чтобы не допускалось злоупотреблений. Впрочем, этим не исключались решительно всякие документы. Нужно было доказательство, что монастырь пожалован такому-то лицу, и потому выдавалась[3] дарственная грамота, в которой писалось: «Царство мое, мерность моя (смотря по тому, кто давал) дарит тебе, такому-то, такой-то

[1] По свидетельству того же Иоанна Антиохийского, *Cotelerii*, I, 171. О постановлении патриарха Сисиния упоминается также в синодальном определении патриарха Сергия от 1016 г., PG, CXIX, 742.

[2] PG, CXIX, 841, 844; *Rhalli et Potli*, V, 22–23.

[3] Точно так же на Западе бенефиция давалась вместе с грамотой, констатировавшей факт пожалования и определявшей если не права, то ограничения при пользовании.

монастырь с его имениями, движимыми и недвижимыми, на время твоей жизни или же на два лица».[1] Отличие харистикарного способа отдачи недвижимостей от уступки по договору и отчуждения ясно проявляется там, где системы приходили в соприкосновение и сталкивались. Пример представляет собой монастырь св. Фоки. Монахи этого монастыря уступили (ἐκδεδώκασι) недвижимое имение без согласия монастырского приказа (τοῦ ἐπὶ τῇ σακέλλῃ ἢ τινὸς τῶν σεκρετικῶν) на 29 лет; арендатор передал его Зографу, который и держал имение. Но ректор Никита, получив монастырь в виде пожалования (διὰ χαριστικῆς), отобрал имение спустя лишь 15 лет после его уступки, без судебного решения. Когда Зограф обратился в суд с жалобой, ректор был оправдан, и решение мотивировано тем, что уступка (ἔκδοσις) произведена была без ведома и согласия монастырского приказа.[2] Сопоставляя в частности харистикарный способ с тремя формами прекарий или бенефиций, мы усматриваем в нем признаки, которые позволяют сравнивать его со второй и третьей формами, причем обнаруживаются и изменения, произведенные временем и обстоятельствами. Согласно второй форме бенефиций, бенефициарий должен был, в благодарность за бенефицию, подарить церкви землю такой же стоимости, как бенефиция. И харистикарий обязан был за харистикию благодарностью, но благодарность была несколько иного рода. В постановлении 1027 г. говорится, что желающие получить монастырь в харистикию выпрашивали (αἰτήσασθαι, αἴτησις = precarium) его в дар, обещая оказывать монастырю всякие благодеяния, устранять от него всякую невзгоду и сообщать благолепный вид.[3] Поэтому, как говорит Иоанн Антиохийский, цари и патриархи стали сначала отдавать разрушенные или разрушающиеся монастыри с целью их восстановления и украшения, но потом раздавались и монастыри вполне благоустроенные.[4] Благодарность за харистикию иногда определялась точнее. Пселл просил у митрополита Кизического, синкелла Романа, дать ему в дар монастырь Мунтаниев, находившийся в Кизической митрополии, и в благодарность обещал снабдить монастырь волами и стадами овец.[5] Раздавали монастыри все владевшие ими: и императоры, распоряжавшиеся так называемыми «царскими монастырями», иногда, впрочем, налагавшие руку и на другие монастыри и церковные

[1] *Cotelerii*, I, 172–180.
[2] *Zachariae*, I, 44–45.
[3] PG, CXIX, 840; *Rhalli et Potli*, V, 21.
[4] *Cotelerii*, I, 170.
[5] *Psell.*, V, 456–457: βόας καὶ ἀγέλας προβάτων.

имения,[1] и патриархи, и митрополиты, и епископы, и светские лица — ктиторы монастырей; равным образом и получить могли все, как духовные, так и светские лица: и епископ, и сановный монах, вроде Пселла, и евнух, вроде владевшего в Кизической митрополии монастырем Артигена,[2] или Никифорицы, получившего в дар (κατὰ δωρεάν) Эвдомский монастырь.[3] Не было никаких ограничений насчет числа получаемых в дар монастырей: всякий приобретал, сколько мог, у Пселла, например, кроме вышеназванного монастыря Мунтаниев, были на правах харистикий монастыри: Мидикий в Опсикийской феме,[4] Кафары, Большие Келлии на горе Олимпе,[5] Нарсийский в Элладе.[6] Иногда монастырь сам себя предлагал в дар[7] лицу сильному и влиятельному, в надежде пользоваться его покровительством. В этом случае устанавливается отношение, напоминавшее третью форму бенефиций, и харистикарий походил на поземельного патрона (fundi patronus) прежнего времени, с тем различием, что он носил название (харистикария), соответствовавшее названию (бенефециария), которое носил прежде клиент, избравший кого-нибудь своим патроном и отдавший землю, с оставлением ее за собой для пользования по милости нового владельца. По словам Евстафия Солунского, были такие монастыри, которые добровольно подчиняли себя какому-нибудь многосильному боголюбивому лицу; предоставив ему внешнюю оборону, все делать и все выносить, что касается закона и суда, они сами оставались спокойными и заботились о душе, занятые одним делом — исполнением заповедей.[8] Это несколько позднейшее свидетельство имеет полное значение и для XI в. Пселл получил Нарсийский монастырь от самих монахов,[9] кроме того, сохранилось письмо Пселла к монахам какого-то монастыря, которые предлагали себя под власть Пселла, на предложение которых он

[1] Феофилакт Болгарский в одном письме к сыну севастократора (Исаака) упоминает о селении, которого церковь лишается, потому что царь желает отдать его в дар (χαρίζεσθαι). Ж. М. Н. Пр., CCII, 428.

[2] *Psell.*, V, 456.

[3] *Psell.*, V, 378–379.

[4] *Psell.*, V, 263.

[5] *Psell.*, V, 311, 270.

[6] *Psell.*, V, 378–379.

[7] Так, очевидно, мог поступить монастырь, **ни от кого не зависевший**, пользовавшийся правом самоуправления, — αὐτεξούσιον καὶ αὐτοδέσποτον. См.: *Sathas*. Bibl. gr., I, 62.

[8] Ж. М. Н. Пр., CCII, 438.

[9] *Psell.*, V, 379: οἱ δὲ μοναχοὶ... με βιάζονται καὶ **εἰσποιοῦνται ἑαυτοῖς** (монахи... **вынуждают** меня и поручают себя моей власти).

ответил отказом, вероятно, потому что бедный монастырь не представлял никаких выгод, хотя в письме приведен более благовидный предлог.[1]

К числу злоупотреблений в харистикарной системе, против которых восставала церковная власть в XI в., принадлежало, прежде всего, доведенное до крайности безразличие относительно лиц, получавших харистикии. Монастыри стали раздаваться не только людям светским, но и женщинам,[2] притом случалось, что мужские монастыри отдавались женщинам, а женские — мужчинам. Далее, допускались злоупотребления в пользовании монастырями. Вместо того чтобы заботиться о материальном благосостоянии монастыря, получивший его в дар заботился только о собственных выгодах, о том, чтобы извлекать из него возможно большие доходы. Примеры, когда харистикарии употребляли доходы с монастырей на их поддержание и улучшение, сделались редкостью.[3] Монахи получали от харистикариев скудное содержание, обрушивавшиеся здания не восстанавливались и монастыри приходили в крайнее запустение; у некоторых харистикариев эксплуатация доводилась до того, что монахи под влиянием нужды и стеснений должны были удалиться, а монастыри превращаемы были в гостиницы. Были и еще злоупотребления, касавшиеся изменения существенного смысла харистикий и заключавшееся

---

[1] *Psell.*, V, 398: οὐδέ μοι τοσαύτη παρὰ τῶν βασιλέων ἰσχύς, ὥς τε βοηθεῖν δύνασθαι... προστῆναι μὲν οὖν με ὑμῶν καὶ τῆς καθ' ὑμᾶς μονῆς οὐ πάνυ τι ἐπαγγέλλομαι, δεδιὼς μὴ ἐλάττων φανείην τῆς ἐπηγγελμένης ὑμῖν προστασίας (я не обладаю таким влиянием при дворе императоров, чтобы помочь вам... я не обещаю покровительствовать вам и вашей обители, ибо я боюсь, что обещанное покровительство окажется мне не по силам). Термин προστασία, по-видимому, употреблялся не только для обозначения власти настоятеля монастыря, но также и власти харистикария. В соборных определениях к харистикариям безразлично применяются выражения: ἐπιστατοῦσιν, φροντίζουσιν, δεσπόζουσιν (управляют, опекают, властвуют).

[2] Известны и примеры: Мария, дочь Склира, получила за долг от патриция Панвирия монастырь св. Маманта: οὐκ ἐπὶ τῷ ἐκποιεῖσθαί τι τούτων, ἀλλ' ἐπι τῷ διοικεῖν ταύτην (дабы она управляла этим монастырем, но не наследовала его). *Zachariae*, I, 48. Мария, жена Парапинака и потом Вотаниата, получила от второго своего мужа два монастыря — один при Манганском, другой при Эвдомском дворце. *Zon.*, IV, 236–237. Атталиот в «Типике» сделал следующее замечание об отдаче монастырей женщинам: ἡ γὰρ πρόνοια τῶν τοιούτων γυναιξὶ μεν *πολλάκις* ἀνατίθεται διὰ δωρεῶν (забота о таких <монастырях> зачастую предоставляется в дар женщинам). *Sathas*. Bibl. gr., I, 44.

[3] Но, разумеется, такие примеры были: *Пселл* (V, 264) о Мидикийском монастыре пишет: πρὶν τι λαβεῖν, οὐκ ὀλίγον χρυσίον ἀνάλωσα (прежде чем взять что-либо, я истратил немало денег).

в стремлении обратить харистикии в постоянную, как бы наследственную собственность. Не делая различия между харистикией и обыкновенной собственностью, харистикарии не только сами эксплуатировали монастыри, но отдавали их в дар или продавали другим лицам; иные, с целью закрепить за собой вечное владение монастырем, строили внутри обители дома, в которых и поселялись.

Синодальные определения строго преследуют злоупотребления. Определение 1027 г. заранее объявляет недействительной всякую сделку, имеющую предметом переуступку или продажу харистикии, грозит виновным в этом преследованием и штрафом, повелевает наблюдать, чтобы монастыри не были разоряемы, и чтобы не получали начальство женщины над мужскими, а мужчины над женскими монастырями.[1] Определение 1028 г. прямо уже повелевает епископам и митрополитам с позором изгонять харистикариев, виновных в злоупотреблениях.[2] Рекомендуя харистикариям, в случае если они будут считать себя обиженными, обращаться с жалобами к патриаршему синоду, члены синода, с патриархом во главе, выражают надежду, что никто из митрополитов и прочих архиереев не решится изгнать из монастыря харистикария без вины с его стороны и без суда.[3] Уже самый способ выражения показывает, что патриарх и члены синода держались строгого, сообразного с сущностью дела, взгляда на харистикии, по которому они как даны единственно по доброй воле владельца, так могут быть взяты назад единственно по его желанию. Тот же взгляд лежит в основе того постановления (1027 г.), по которому епископы и другие лица, получившие от митрополитов монастыри, в виде харистикии, должны их возвратить, если митрополия находится в затруднительном положении и митрополиты терпят материальную нужду.[4] Но харистикарии не считали взгляд членов Константинопольского синода обязательным для себя, и постановления, направленные против злоупотреблений в пользовании харистикиями, не были достаточны, чтобы искоренить эти злоупотребления. Тенденция, противоположная указанному взгляду, направленная к превращению харистикий в наследственную

---

[1] PG, CXIX, 840–841; *Rhalli et Potli*, V, 21–22.

[2] PG, CXIX, 833, 836; *Rhalli et Potli*, V, 29–31.

[3] Ἀναιτίως δὲ καὶ ἀνεγκλεῖτως, καὶ διά μόνην ἐπήρειαν, οὐδένα *πιστεύομεν* τῶν ἱερωτάτων μητροπολιτῶν καὶ λοιπῶν ἀρχιερέων χαριστικάριον ἐξωθῆναι μονῆς (мы надеемся, что без вины и судебного приговора, по одному лишь навету, никто из преосвященных митрополитов и других архиереев не станет изгонять из обители харистикария).

[4] PG, CXIX, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24.

собственность, сделала значительные успехи. Уже пожалование монастырей в пожизненное пользование, о котором идет речь в формуле дарственной грамоты, представленной Иоанном Антиохийским, было важным для харистикариев приобретением; но на этом дело не остановилось, грамоты в XI в. выдавались не только на одно, но и на два лица, так что получивший харистикию мог передать ее кому-нибудь другому. О харистикиях на два лица упомянуто в той же формуле Иоанна Антиохийского, а наглядный пример представляют Пселл и Атталиот. Пселл просил Романа Кизического дать ему монастырь Мунтаниев на два лица, ссылаясь на то, что и прежний харистикарий, недавно умерший, имел эту привилегию.[1] У Атталиота, державшего на правах харистикии монастырь св. Георгия в Редесто, вторым лицом был сделан его сын Феодор; этот Феодор был также вторым лицом по владению женским монастырем св. Прокопия в Редесто, составлявшим харистикию Варды Ксирады.[2]

Наряду и одновременно с харистикарным способом раздачи монастырей существовал, без сомнения, в византийском государстве сходный с ним способ пожалования земель, принадлежавших частным лицами и государству, но этот последний стушевывался перед первым и на него не имеем таких ясных указаний, как на способ харистикарный. Тем не менее в новеллах X в., охраняющих мелкую поземельную собственность, в перечне средств,[3] с помощью которых властели приобретали земли

---

[1] *Psell.*, V, 456–457: ἡ δὲ τῶν Μουντανίων χθές που καὶ πρῴην δυοῖν συζύγων χηρεύσασα... μὴ τοίνυν ἐμοὶ μόνῳ συνάψαις τὴν ἄστοργον, ἀλλὰ καὶ ᾧ ἂν αὐτὴν ἐγὼ συνοικίσαι βουλήσομαι (Еще недавно Мунтанийская обитель дважды овдовела... Так сочетай же ее, равнодушную, не со мной одним, но также и с другим, с которым я пожелаю соединить ее).

[2] *Sathas.* Bibl. gr., I, 22: μονὴ τοῦ ἁγίου Γεωργίου, ἣν ἔχω ἐπὶ δυσὶ προσώποις εἰς χαριστικήν, ἧς δεύτερον πρόσωπον ἀφίω τὸν υἱὸν τὸν μυστογράφον, κυρὸν Θεόδωρον· ἡ γυναικεία μονὴ τοῦ ἁγίου Προκοπίου, ἧς δεύτερον πρόσωπον ἐστιν ὁ υἱός μου ὡς ἀπὸ τοῦ πρῴην χαριστικαρίου Βάρδα τοῦ Ξηράδα (...обитель св. Георгия, которой я владею по харистикию на два лица, и вторым владельцем которой я оставляю сына моего мистографа господина Феодора. Женская обитель св. Прокопия, вторым владельцем которой является сын мой, получивший ее от прежнего харистикария Варды Ксирады).

[3] Новелла от 922 г. Романа Старшего: τοῖς δὲ δυνατοῖς ἀπαγορεύομεν... τρόπῳ δωρεᾶς ἁπλῆς... ἢ ὡς ἐπί τινι προστασίᾳ καὶ συνδρομῇ λαμβάνειν τὶ παρὰ τῶν εὐτελεστέρων (Мы запрещаем властелям... либо в виде простого дара... либо с целью оказания какой-либо помощи или покровительства приобретать что-либо у бедняков). Новелла от 934 г. Романа Старшего: μηδεὶς τῶν περιφανῶν... τολμήσει ὑπεισελθεῖν ἢ ἀγορᾶς ἢ δωρεᾶς ἢ κληροδοσίας ἢ ἄλλης οἱασοῦν προφάσεως αἰτίᾳ (никто из

убогих, находим одно, обнаруживающее некоторое соотношение с третьей формой бенефиций. В новеллах постоянно упоминаются три средства: купля, дар и наследование. Под даром, очевидно, разумеются разнородные дарственные акты, к числу которых относилась и отдача убогим своего участка властелю, с целью приобретения его покровительства, как можно заключить из того, что Роман Лекапин запрещает властелям приобретать что-либо от бедных, между прочим, посредством простого дара и под предлогом какой-либо помощи и защиты, т. е. расчленив понятие дара и указав один его вид (простой дар), законодатель нашел нужным указать и другой, соединявшийся с помощью и защитой лица, получившего дар, тому лицу, от которого дар получен. Константин Багрянородный намекает и на результат не простого дара, — зависимое, подчиненное положение убогих относительно властелей, превращение поселян как бы в рабов этих последних. Не лишено значения и то обстоятельство, что отдача земель убогими властелям обозначается термином (δωρεά), который был употребителен при обозначении харистикарного способа, составляя синоним харистикии. Законодательная власть, ратовавшая против даров убогих властелям и тем думавшая оградить первых от последних, сама однако же практиковала раздачу поместий, в которой заключалась бóльшая опасность для убогих и которая находится не только по существу, но и со стороны терминологии в связи с харистикарным способом.

Византийские императоры жаловали (ἐχαρίσαντο) казенные и свои личные имения приближенным и угодным людям в награду за их службу и в знак благосклонности. Одно из таких поместий было пожаловано Константином Мономахом Пселлу,[1] причем пожалование сделано было на два лица, в параллель с господствовавшим тогда обычаем раздачи монастырей харистикариям на два лица, и хотя в хрисовуле говорилось о неотъемлемости владения, однако же, надо полагать, под этим еще не понималось безусловного права распоряжаться поместьем как неоспоримой

знатных... не дерзнет войти <во владение землей> под предлогом покупки, дарения, наследства или чего-либо другого). Новелла от 947 г. Константина Багрянородного: δυνατοί... οὐ παύονται ἐπεισερχόμενοι ἐν τοῖς χωρίοις ἕνεκεν ἀγορῶν καὶ δωρεῶν καὶ κληρονομῶν (властители... не перестают приобретать общинные земли под предлогом покупки, дарения, наследства). Новелла его же от 945–959 гг.: πᾶς τις τῶν ἐν δόξῃ κραταιῶν πασσυδεὶ χώρας ἀπεριγράπτους ἀποτεμνόμενος ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ τοὺς ἀθλίους ἀνέταττε κτήτορας (каждый из могущественных <землевладельцев> всеми усилиями присваивал земли и обращался с несчастными владельцами как с рабами). См.: *Zachariae*, III, 240, 246, 253, 265.

[1] См. выше, с. 295.

собственностью, отчуждать, завещать и пр., словом, тот существенный признак, которым отличался харистикарный способ, удержан был и здесь. Правда, на основании нескольких слов, сказанных Пселлом и относящихся к содержанию данного ему на василиках Мадита хрисовула, этого прямо утверждать нельзя, но допустить необходимо ввиду известного факта из времени Исаака Комнина. Исаак Комнин, заботившийся о приобретении государству земель, отнял у многих частных лиц имущества, пренебрегая их жалованными грамотами, которыми закреплялось за ними владение.[1] Факт, непонятный вне связи с системой пожалований, получает смысл под условием принятия того положения, что характеристическая черта бенефициального, а затем харистикарного способа, состоявшая в том, что право собственности оставалось за лицом, давшим пожалование, и всегда могло быть восстановлено, составляла особенность и императорских пожалований. Хотя эти пожалования делались на время жизни лица и даже с правом передачи, т. е. на два лица,[2] однако же не забывалось правило, что казна, в случае нужды и оскудения, может взять назад свои пожалования как свою собственность, находившуюся лишь в пользовании частных лиц по милости казны, точно так же как это правило в применении к харистикиям хорошо помнили члены синода 1027 г. Для обозначения царских пожалований сначала не существовало какого-нибудь определенного, общепринятого термина, но в XI в. такой термин установился. Он был заимствован из харистикарной практики; один из второстепенных эпитетов, прилагавшийся к харистикиям и харистикариям, был выделен, получил специфическое значение и стал употребляться для обозначения царских пожалований. Просившие монастырь

---

[1] *Attal.*, 61: ἐμέλησε... τοῦ προσθήκην ἀγρῶν τῇ βασιλείᾳ περιποιήσασθαι. διὸ καὶ πολλὰ μὲν ἰδιωτικὰ πρόσωπα πολλῶν ἀπεστέρησε κτήσεων, παριδὼν τὰς χρυσοβούλλους τούτων γραφάς, δι' ὧν αὐτοῖς τὰ τῆς δεσποτείας ἡδραίωντο. Для устранения недоразумения припомним, что и к владениям харистикариев прилагалось слово δεσποτεία, см. с. 400, прим. 1.

[2] Нужно, впрочем, заметить, что спустя около двадцати лет после того как Мономах дал Пселлу хрисовул на два лица, было стремление ограничить пожалование одним лицом. К сожалению, новелла Михаила Парапинака, относящаяся к этому предмету, известна только по заглавию: Νεαρὰ τοῦ βασιλέως κυροῦ Μιχαὴλ τοῦ Δούκα θεσπίζουσα τοὺς κάστρα λαμβάνοντας οἱουσδήτινας κἂν ὅπως ταῦτα λάβωσιν, ἐφ' *ἑνὶ προσώπῳ* ταῦτα κεκτῆσθαι, καὶ οὕτω νοεῖσθαι *τὰς δωρεάς* (Новелла императора господина Михаила Дуки, предписывающая, чтобы обладателям крепостей, кем бы они ни были и как бы их ни получили, давалось право владения **на одно лицо**, и чтобы это подразумевалось актом **дарения**). См.: *Zachar.*, III, 330.

в харистикию обещали в благодарность иметь заботу, попечение о монастыре, и монастырь отдавался в дар с тем, чтобы получивший заботился о нем (φροντίζειν), имел о нем попечение (πρόνοια). Поэтому получивший дар назывался не только χαριστηκάριος (слово, указывающее на мотив последующий — милость дающего), но также φροντιστής, προνοητής[1] (слова, указывающие на мотив предшествующий, обусловливавший милость). Одно из этих названий, προνοητής, стало употребляться для обозначения лиц, высочайше пожалованных поместьями, самые поместья получили название проний. Употребление слова «прония» в смысле недвижимых имуществ, отданных в дар императорами или от императорского имени их министрами, в первый раз встречается в царствование Константина Мономаха, давшего Манганы в пронию Константину Лихуду,[2] а еще определеннее в царствование Михаила Парапинака, о министре которого, Никифорице, историк свидетельствует, что он за немалые взятки дарил, кому хотел, чины и пронии.[3]

Таким образом, относительно системы пожалований в XI в. можно сказать, что установился технический термин — «прония» для обозначения жалуемых поместий. В пронию давались казенные имения, замки (по новелле Парапинака), пахотные поля, пастбища и пр. Имения были не только пустопорожние, но и населенные. Последние или давались прониарам населенными, или заселялись стараниями самих прониаров, во всяком случае на присутствие в прониях населения указывает предоставление прониару некоторых судебных прав, предполагающее объект суда, живых людей. Население состояло из париков. Отдавались ли в виде проний такие земли, которые обрабатывались крестьянами-общинниками, а также соединялись ли с прониями какие-нибудь обязанности, и если соединялись, то какие именно, об этом из памятников XI в. мы не знаем.

---

[1] Оба эти названия, наравне с названием харистикарий, встречаются в синодальном постановлении 1028 г. Название προνοητής, в применении к харистикарию, употреблялось еще в форме προνοητικός, как показывает документ от 1049 г. (*Miklosich.* Acta et diplomata graeca medii aevi, IV, № 10), в котором Василий, настоятель монастыря Спасителя τῶν Ἀγραύλων, назван προνοητικός монастыря Кареи. В широком смысле катепан Василий Монах называется προνοητής Болгарии в «Советах и рассказах визант. боярина» // Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 263.

[2] *Scyl.*, 645: τῆς τῶν Μαγγάνων προνοίας καὶ τῶν δικαιωμάτων φύλαξ παρὰ τοῦ εἰρημένου βασιλέως καταλειφθείς (император отдал ему в пронию Манганский монастырь и оставил ему права на него) (*Zon.*, IV, 194: τὰ περὶ τῆς ἐλευθερίας αὐτῶν ἔγγραφα (грамота, дающая свободу)).

[3] *Attal.*, 200–201: τὰς τιμὰς καὶ προνοίας οἷς ἐβούλετο χαριζόμενος διὰ λημμάτων οὐχὶ μικρῶν.

Только в памятниках последующего времени вопрос проясняется: а) оказывается, что пронию образуют не только рыбные ловли,[1] не только земли, на которых сидят парики,[2] но целые области и селения с крестьянами-общинниками;[3] б) с понятием пронии тесно соединяются некоторые обязанности, и между ними главная обязанность военной службы.[4] При отсутствии свидетельств о существовании в XI в. проний с таким значением, т. е. заключавших в себе крестьянские общины и обязывавших прониаров к военной службе, мы можем судить только предположительно, принимая в расчет те элементы, из которых развились эти особенности прониарного владения. Но и самый вопрос об элементах имеет гадательный характер, можно. например, раздачу общинных земель прониарам ставить в связь с оскудением казенных имений, заставившим императоров обратиться к другим источникам пожалований и посягнуть на достояние общин; соединение же с прониями обязанности военной службы можно объяснять или смешением проний с воинскими участками, или влиянием западно-европейских порядков,[5] или тем и другим вместе.

---

[1] Напр., в 1234 г. нижнее течение реки Ермона, с рыбными на ней ловлями, составляло пронию Калигопула, стратиота и местного владельца, а потом вследствие нового пожалования перешло к стратиоту Авгею. См.: *Miklosich*, IV, № 150.

[2] Напр., в 1255 г. Михаил Петриций, царский слуга, заявлял претензию на том основании, что монах Никодим был париком его пронии. См.: *Miklosich*, IV, № 21.

[3] Напр., фессалийские Мелиссины получили от царя в дар всю область Дианувэны и крестьяне дианувэнской общины в мирском приговоре от 1271 г. говорят «о любви, какую от глубины души питают к благороднейшим супругам Мелиссинам за честь и управление и милости, которыми постоянно от них пользуются». См.: *Miklosich*, IV, № 28. В 1277 г. протоновеллисим Мармара держал, в виде пронии, селение (χωρίον) Триново. См.: *Miklosich*, IV, № 37.

[4] Напр., это видно из дарственных грамот на имя Георгия Гемиста Плифона и его сыновей: аргировула деспота Феодора Палеолога от 1427 г., хрисовула царя Иоанна Палеолога от 1428 г. и аргировула деспота Димитрия Палеолога от 1450 г. См.: *Miklosich*, III, 173–176, 225. Обязанность военной службы была неразрывно связана с понятием проний и в древней Сербии, где прония, дававшиеся венецианским правительством, представляют сходство с византийскими прониями. Документы, относящиеся к сербским прониям, от первой половины XV в., извлечены *Макушевым* из Венецианского архива и изданы в отрывках в статье «О пронии в древней Сербии» / /Ж. М. Н. Пр., 1874, CLXXV.

[5] Производство обязанности военной службы прониаров от западно-европейских порядков более правдоподобно, так как документы, указывающие на эту обязанность, слишком позднего происхождения, — относятся ко времени после латинского завоевания; но и производство ее от воинских участков не лишено

Система проний заключала величайшую опасность для крестьянства, его свободы и благосостояния. Отдача общинных земель в виде проний прямо разрушала общину, разлагая общинный организм, отрывая от целого (комитуры) части (общинные селения, κώμη), которые поступали на кормление прониаров; политическое значение общины в государстве ослаблялось, свободные крестьяне становились в обязательные отношения к прониарам, которым должны были платить оброк и отбывать барщину,[1] по своему положению они приближались к парикам, быт их несомненно ухудшался. Но прежде даже чем общинные владения стали раздаваться в дар, пронии были опасны для общины и для крестьян-общинников уже потому, что при помощи их увеличивалось число властелей и возрастала их социальная сила. Что касается париков, то положение их делалось тяжелее с переходом земель, на которых они сидели, под власть прониаров. Прониар, владевший пронией пожизненно, не рассчитывавший передать ее в наследство детям, не имел особых побуждений улучшать ее в хозяйственном и других отношениях, париков не щадил, заботился только о том, чтобы извлекать из них возможно больший доход. Отсюда происходило, что поступление в пронию было для населения крайне неприятно и освобождение от пронии считалось великой милостью, которой жители усиленно добивались, и добившись, чувствовали себя счастливыми.[2]

Несмотря, однако же, на все неблагоприятные для крестьянства условия, со включением пронии, основные начала, на которых покоился быт крестьянского сословия и которыми определялось его юридическое положение, не потерпели изменения в XI в. Произошло дробление крестьянских общин, может быть, уменьшилось число свободных крестьян-общинников, вследствие потери участков и перехода общинников в разряд париков; но сама община и общинное землевладение не исчезли. Общинное устройство не только сохранялось в течении XI в., но перешло к последующим векам и пережило саму Византийскую империю.[3] Положение

вероятия, особенно если вспомнить, что уже в новелле, приписываемой Никифору Фоке, раздача стратиотам воинских участков называется пронией, и об армянах, бежавших в Сирию и за это лишенных участков, но потом возвратившихся, сказано: χρὴ πρόνοιαν γίνεσθαι διὰ παροχῆς ἑτέρων τοπίων (следует предоставить им в пронию другие участки). См.: *Zachariae*, III, 291.

[1] Об этом см. в вышеуказанной статье *Макушева*.

[2] Отрывки прошений об освобождении от проний и резолюции по ним у *Макушева*, 18–19.

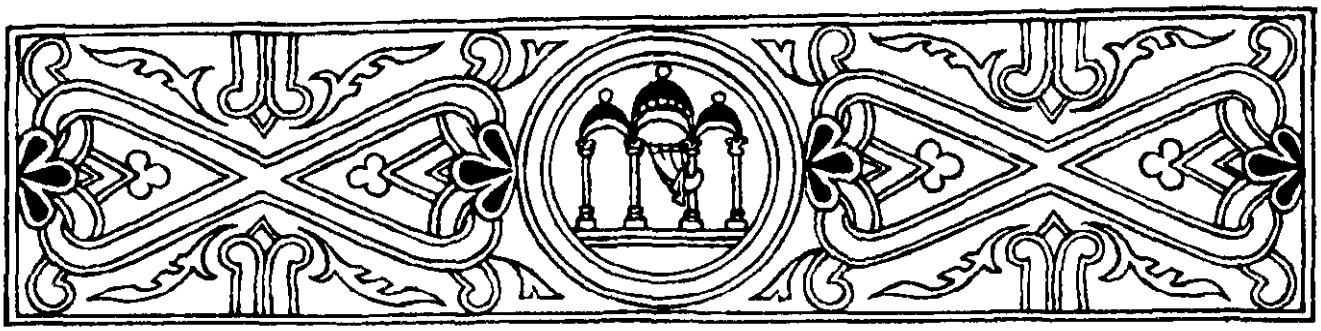
[3] Доказательства представлены в статье г. *Успенского*. К истории крестьянского землевладения в Византии/ /Ж. М. Н. Пр., 1883, ч. CCXXV.

париков во многих местах ухудшилось, но ухудшение не было повсеместным; между крестьянами-присельниками продолжали существовать такие, которые платили только десятину, морту, и по-прежнему называлась мортитами.[1] За париками оставалось право свободного крестьянского перехода, по крайней мере до XIII в. Только в XIII в. обнаруживается стремление стеснить крестьянскую свободу на юридической почве,[2] но стремление не повело к какой-нибудь общегосударственной законодательной мере. Известен только один документ от 1244 г.:[3] по просьбе игумена монастыря Лемвиотиссы, с имений которого сошли многие парики, о том, чтобы повелено было собрать париков и водворить на прежние места, издан был царский указ, отрицающий право свободного перехода и повелевающий государственным чиновникам, заведующим податными сборами, отчислить париков от новых их помещиков и возвратить монастырю. Но этот указ признается частной мерой, имевшей временное значение.

[1] Существование морты и мортитов в XIII в. доказывается грамотами, изданными *Миклошичем* и *Мюллером*, т. IV, с. 35, 39–40, 145, 218, 220, 231–232, 235, 255, 419. Некоторые выдержки из грамот можно прочитать в статье *проф. Васильевского* «Материалы для истории византийского государства»//Ж. М. Н. Пр., 1880, CCX.

[2] На почве фактического стеснения возможны были и в XI в., как свидетельствует вышеприведенное письмо Пселла, см. с. 388.

[3] *Miklosich*, IV, № 166.



Глава шестая

Византийское правительство всегда обращало серьезное внимание на финансы и в XI в. не изменило своего отношения к этому предмету. Некоторые императоры пренебрегали другими, по обстоятельствам времени более важными, отраслями государственного управления и сосредоточивали внимание на финансах. Династия Дук обнаруживала как бы фамильную склонность в этом смысле. Константин Дука, еще до вступления на престол обнаруживший таланты финансиста, заявил себя на престоле заботами о приумножении государственных доходов, бережливостью и даже скупостью.[1] Сын его, Михаил Парапинак, не блиставший вообще государственными способностями, обладал однако же достаточными сведениями в финансовой области и воспитатель его, Пселл, желая его восхвалить, особенно оттеняет то, что он отличался знанием во всем, касающемся доходов и расходов, чеканки монет и их доброкачественности.[2] Исторически сложившимся положением социально-общественных классов византийское правительство воспользовалось прежде всего для фискальных целей. Два важнейшие вопроса в податной системе — вопрос о платежных силах и вопрос о платежной гарантии — выяснились сами собой.

К платежу податей привлечены были обе половины византийского общества, как сословие властелей, так и сословие убогих. Платили все убогие, парики и крестьяне-общинники, должны были платить и все властели, светские и духовные. Церковь и монастырь принадлежали к властелям и несли податные тягости наравне с другими. Только в силу особой привилегии тот или другой заслуженный властель, тот или другой монастырь могли быть освобождены, — так, имения Михаила Атталиота во Фракийско-Македонской феме были освобождены от податей и повинностей по хрисовулу Михаила Парапинака от 1075 г., подтвержденному хрисовулом

---

[1] *Attal.*, 76–77 (*Scyl.*, 652; *Zon.*, IV, 198; *Ephr.*, 143).

[2] *Psell.*, IV, 288–289.

Никифора Вотаниата от 1079 г.;[1] Афонская лавра освобождена по хрисовулу Константина Дуки от 1060 г.;[2] лавра Большие Келлии на Олимпе, бывшая харистикией Пселла, тоже имела хрисовул.[3] Что касается гарантии, то государство успело обеспечить себе податные платежи в обоих сословиях — властелей и убогих, — но не в полном их составе. В сословии убогих, благодаря существованию крестьянской общины, представилась возможность гарантировать исправное поступление податей крестьян-общинников, введя круговую поруку и возложив ответственность за каждого несостоятельного крестьянина на всю общину. Быт париков не давал возможности установить податную ответственность. Самой естественной, подсказанной воспоминаниями времен римского колоната, была порука поземельного собственника за сидевших на его земле крестьян, — правительство и пришло к мысли установить ее. Но мера оказалась недолговечной: аллиленгий, введенный Василием II, не просуществовал и двух полных десятилетий, Роман III, как выше замечено,[4] отменил его в самом начале своего царствования. Привлечь к круговой поруке за каждого парика остальных париков, сидевших на той же парикии, сопариков его, было немыслимо, потому что противоречило основному крестьянскому праву — свободного перехода; оставалось, следовательно, иметь дело с каждым париком в отдельности, как лицом, которое одно только за себя отвечало. В сословии властелей в таком же точно положении как парики находились светские властели: муниципального устройства, курии, на которую можно было бы возложить ответственность, более не существовало, приходилось ведаться с каждым властелем, как лицом за себя ответственным. Иначе поставлен был класс духовных властелей: существовавшая организация церковного управления представила удобную почву для привития на ней начала податной ответственности. Митрополия сделана ответственной перед казной за все епископии, входившие в ее состав, за несостоятельных епископов, не способных уплатить причитающихся с них податей, должны были платить митрополиты. Это, разумеется, было тяжелым бременем для митрополий, тем более что открывало путь злоупотреблениям недобросовестных епископов, которые под благовидными предлогами, из корыстных расчетов, разоряли епископии, или же, при наступлении времени прибытия сборщиков, захватывали церковные доходы и укрывались с ними в надежные места, предоставляя расплачиваться с казной митрополитам. Констан-

[1] *Sathas*. Bibl. gr., I, 53–66.
[2] *Miklosich*. Slavische Bibliothek, I, 151.
[3] *Psell.*, V, 311.
[4] С. 387, ср. с. 383.

тинопольские синоды позаботились о том, чтобы оградить митрополитов от таких злоупотреблений. Синод 1027 г. сделал нерешительный шаг и применил снисходительную меру, о которой уже упомянуто по поводу харистикий, именно постановил, чтобы богатые епископии помогали митрополиям, возвращая полученные от митрополитов, в виде харистикии, монастыри, «потому что несправедливо и неуместно, чтобы митрополии подвергались всякого рода взысканиям за бедные епископии, а епископии богатые не пришли на помощь». Синод 1028 г. определил меру более строгую и действенную. Постановлено было, что в те епископии, представители которых наносят вред, обращая церковное имущество на собственные нужды и доводя епископии до крайнего разорения, подвергая также убыткам митрополии, с которых казна взыскивает лежащие на епископах повинности, могут быть назначаемы митрополитом экономы, которые и должны заведовать доходами, пока не будет возмещен ущерб, нанесенный митрополии, и не выяснится причина, приведшая епископию к несостоятельности. Относительно же тех епископий, от которых может грозить митрополиям опасность подвергнуться взысканиям за лежащие на них повинности, вследствие дурного поведения епископов, имеющих возможность забрать все плоды и доходы церквей и переправить их, куда хотят, с целью при первом появлении сборщиков самим покинуть епархию и скрыться куда-нибудь, — разрешено митрополитам, в видах предотвращения опасности, посылать и в эти епископии управителей; управители будут, вместе с епископами, наблюдать за хозяйством и по истечении года отдавать в своем управлении отчет; из излишков дохода, если таковые окажутся, часть поступит митрополии в возмещение убытков, а остальное — Церкви. Епископам, в епископии которых будут посланы такие экономы и управители, запрещено, под страхом тягчайшего осуждения, чинить им какие-нибудь препятствия в отправлении возложенной на них обязанности, за исключением случаев, когда пожелают научить чему-нибудь такому, что может послужить в пользу Церкви.[1]

Византийская податная система своей организацией ясно доказывает, что она составляет прямое наследие податной системы императорского Рима.[2] В частностях обнаруживаются однако же черты, отличающие ее от этой последней, — замечается отличие в постановке бюджетного периода, в том значении, какое получили основные подати, и в том развитии, какое сообщено податям второстепенным и дополнительным.

---

[1] PG, CXIX, 828, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24–25.

[2] *Savigny*. Steuerverfassung unter den Kaisern (Vermischte Schriften, II); *Zachariae*. Zur Kenntniss des römischen Steuerwesens//Записки С.-Петерб. Академии наук за 1863 г.

Со времени податной реформы Диоклетиана и Константина Великого 15-летний период был сроком, в течении которого должны были иметь силу писцовые книги (кадастр); по истечении 15-и лет книги подлежали пересмотру, проверялись, в них с точностью обозначалось, сколько в каждой области податных тягол (jugum), с которых следовало брать поземельную подать (tributum soli), сколько в каждом тягле колонов, с которых причиталась поголовная подать (tributum capiti), и т. д. При определении числа тягол принималось в расчет качество земли, причем земля была разделена на несколько классов, и тогда как, например, 20 югеров[1] земли первого класса составляли тягло, земли второго класса требовалось 40, третьего — 60 югеров, чтобы составилось тягло, а земли, находившейся под виноградником, стоявшей выше первого класса, нужно было только 5 югеров для тягла. Писцовые книги (ἰσοκώδικον),[2] как основа податного обложения, продолжали существовать и в Византийской империи, хранились в министерстве, подведомственном логофету общих дел (ὁ γενικός), практоры, отправлявшиеся для сбора податей, получали в министерстве из книг выписки (ἀκρόστιχοι, κατάστιχοι),[3] касавшиеся той фемы, которая приходилась на их долю, и взимали сбор с того, за кем записано тягло (ζευγάριον), чей был столбец (στίχος). Византийский зевгарий состоял из большего или меньшего числа модиев,[4] смотря по качеству земли и ее классу. Но если в этом отношении Византия удержала прежние порядки и не представила ничего нового, кроме названий, то в отношении бюджетного периода она более ограничивалась воспоминаниями, заявляя свою верность старым традициям, главным образом, в принятой системе летосчисления по индиктионам. Правильно повторявшихся через каждые 15 лет податных ревизий в Византии не видим. До конца X в. в источниках встречается только одно указание на неосуществившийся проект переписи при Василии I Македонянине.[5] Нельзя однако же толковать такое умолчание памятников в смысле полнейшего отсутствия обычая переписей: не было систематического их повторения, но со здравым смыслом несообразно, чтобы в течении столетий можно было довольствоваться раз составленными писцовыми книгами; кроме того, если уравнительных проверок не было предпринимаемо, то зачем существовали[6] в Византийской империи должности дозорщиков, при-

[1] Югер — около ¼ десятины.
[2] *Zachariae*, I, 46.
[3] *Zachariae*, III, 391.
[4] Модий — $^{1}/_{12}$ десятины.
[5] Vita Basil., 346–347.
[6] *Const. Porphyr.*, II, 841; *Zachariae*, III, 374; *Sathas*, I, 54, 57, 66.

правщиков и писцов (ὀρθώται, ἐπόπται, ἐξισώται, ἀναγραφεῖς)? Следует поэтому допустить, что ревизии и уравнительные переписи предпринимаемы были, по крайней мере, изредка и имели если не общее для всего государства значение, то частное для тех или других фем. В конце X в., именно в 995 г., перепись, общая или частная — сказать трудно, — была предпринята и писцовые книги пересмотрены по приказанию императора Василия II.[1] Этими книгами руководствовались при податных операциях в последние годы царствования Василия II и при ближайших к нему императорах. В 1042 г. произошел случай, который вновь должен был побудить заняться писцовыми книгами. Во время бунта против Михаила Калафата народная толпа, ворвавшись во дворец, проникла в то помещение, где хранились деньги (казна) и податные списки, деньги расхитила, а списки (τὰς δημοσίας ἀπογραφάς) разорвала.[2] Хотя в ближайшее затем время историки не говорят о переписи, которая была бы произведена по повелению Зои с Феодорой, и хотя в самом рассказе об уничтожении списков не совсем ясно, что следует под ними понимать, самые ли писцовые книги, или акростихи, которые выдавались практорам отдельных фем и затем были ими возвращаемы с отметками об уплаченных податях; однако же едва ли можно сомневаться, что беспорядок в податных документах и уничтожение некоторых из них должны были вызвать меру, необходимую для приведения дел в ясность. При Константине Мономахе была произведена[3] перепись в Иверии и Месопотамии чиновником Серблием. Из государей последующего времени о Константине Дуке, уже потому что он так внимательно относился к финансам, можно догадываться, что он не упускал из виду уравнительной ревизии и пересмотра писцовых книг. Показание историка о смуте, произошедшей в тех епархиях, подати которых были увеличены,[4] может

---

[1] *Codin.*, 156: προστάξας γίνεσθαι τὰ ἰσωδικὰ (ἰσοκώδικα) ἐτελείωσε ταῦτα ἐν ἔτει 6503 (<Василий> повелел составить писцовые книги, что было исполнено в 6503 году).

[2] *Cedr.*, II, 539 (*Glyc.*, 592). Помещение, где найдены были народом деньги и списки, называется у Скилицы—Кедрина Сектом, но еще вопрос, исправен ли здесь текст и не следует ли вместо ἐν τῷ Σέκτῳ (в Секте) читать ἐν τῷ σεκρέτῳ (в секрете). По крайней мере, такое чтение имел перед глазами Глика, у которого стоит ἐν σεκρέτοις.

[3] Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 257.

[4] *Attal.*, 77: ἠγείρετο πολὺς γογγυσμὸς τῶν δεχομένων φορολογικὰς ἐπαυξήσεις ἐπαρχιῶν (поднялся великий ропот в тех епархиях, где были повышены подати). Историк, очевидно, имеет в виду восстание фессалийских влахов около 1066 г., под начальством протоспафария Николицы Делфина, который, снесшись с царем, откровенно объяснил, что причиной восстания стали податные надбавки — νομισμάτων αὐξήσεις. См.: Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 139.

подкрепить догадку, потому что факт увеличения подати в некоторых только епархиях предполагает предшествовавшую ему ревизию, с помощью которой было выяснено, что эти фемы можно обложить бóльшим сбором.

Первой основной податью была поземельная подать. В римском государстве она лежала только на землевладельцах, плативших ее деньгами и натурой. В византийском государстве затемнился существенный ее признак, по которому она ограничивалась одними поземельными собственниками. Когда после социального переворота, выразившегося появлением в византийском государстве крестьянских общин и париков, поземельная подать была возложена на крестьян-общинников, наряду с отдельными землевладельцами, в этом не было ничего непоследовательного, потому что община была поземельным собственником, — непоследовательность заключалась в привлечении к платежу подати париков, обрабатывавших чужие земли. И в византийском государстве поземельная подать, по-видимому, платилась сначала и деньгами, и натурой; денежный взнос мог называться в собственном смысле посошным (ζευγαρατίκιον), а взнос натурой — житным (σιταρκία). Но с течением времени обнаруживается стремление к замене натуральных взносов денежными. В XI в. к этому в особенности стремился Иоанн Орфанотроф, первый министр Михаила Пафлагона. До его времени те фемы, в которых преобладало болгарское население, платили натурой: каждый болгарин, имевший тягло,[1] платил государству модий жита, модий проса и стамну вина. Этот порядок существовал при царе Самуиле и оставлен в неприкосновенности Василием II после завоевания Болгарии. Орфанотроф изменил порядок, повелел взимать подать номисмами, к явному неудовольствию плательщиков.[2] Переложение поземельной подати натурой на деньги привело к тому, что впоследствии названия отождествились, зевгаратикий и ситаркия стали употребляться как слова равные.[3] Кроме указанных изменений в характере поземельной подати, в ней замечается еще та особенность, что в византийском государстве она разветвилась, или правильнее — дополнена другими сходными податями. При исчислении тягол (зевгариев) принималась в расчет лишь земля, состоявшая под пашней (пахотная), виноградниками и масличными насаждениями. Земля усадебная и пастбища оставались в стороне. Государство

[1] ζεύγος βοῶν (пара быков).

[2] *Cedr.*, II, 530 (*Glyc.*, 589).

[3] τῆς σιταρκείας ἤγουν τοῦ ζευγαρατηκείου (...ситаркия, иначе зевгаратикий...), — Акты русского на св. Афоне монастыря св. Пантелеимона, 174. В другом документе (166) поземельный сбор называется еще гуменным (от ἁλώνιον — гумно) и название отождествляется с ситаркией: ἁλωνιατικοῦ ἤτοι σιταρκίας.

привлекло и последние два рода земельных владений к уплате податей, обложив усадьбы с жильем подымной податью (καπνικόν, καπνίον),[1] а пастбища — пастбищным (ἐννόμιον).[2]

Другой податью, следовавшей за поземельной, была подать поголовная. В Римской империи эта подать была дополнительной, лежала на тех, которые не имели собственной земли и не несли поземельного налога, так что известное лицо обыкновенно не платило и поземельной, и поголовной податей, а лишь одну из них. Согласно с этим правилом, в Византийской империи, после привлечения к поземельной подати всех имевших землю, как на правах собственности, так и временного пользования, подать поголовная должна была исчезнуть. И действительно, она вышла из употребления, но не навсегда, а лишь на время. Тот же Иоанн Орфанотроф, заботившийся о переложении натуральной поземельной подати на деньги, позаботился и о восстановлении поголовной подати. Одновременно с тем, как были обложены денежным сбором болгары, или несколько ранее, он наложил на каждую деревню (ἕκαστον τῶν χωρίων), независимо от других государственных податей, еще подать за воздух (ὑπὲρ ἀερικοῦ), в количестве, соответствующем средствам деревни, так что, например, на одну было наложено четыре номисмы, на другую шесть и так далее до двадцати.[3] Подать за воздух, показавшаяся в свое время необычной,[4] не потому, разумеется, что она была совершенной новостью, а потому что современники Иоанна успели от нее отвыкнуть,[5]

---

[1] Подымное было в употреблении уже в IX в., см.: *Theoph. Contin.*, 54. Упоминается и в Πεῖρα (*Zach.*, I, 66), и в грамотах от 1075, 1079 и 1088 гг. (*Sathas*, I, 56, 64; *Zach.*, III, 374), так что существование подати в XI в. не может подлежать спору. Недоумение существует только относительно ее значения: *Цахариэ* понимает под ней подать поголовную, *проф. Васильевский* (Ж. М. Н. Пр., 1880, CCX, 368–370), указывая на грамоты из позднейшего времени, в которых она отличается от поголовной подати, считает подымное сбором с жилья и усадебной земли. *Барон Розен* (278–280) в доказательство правильности этого последнего понимания привел свидетельства Ибн-Хеукаля и Ибн-Хордадбэха.

[2] Было в употреблении в X–XI вв., см.: *Zachariae*, I, 162. Впоследствии пастбищное распалось на два вида: ἐννόμιον и ὀρική; первое слово стало обозначать побор со скота, пасущегося на полях и лугах, последнее (в славянских грамотах — горнина) побор со скота, пасущегося в горах. См.: Ж. М. Н. Пр., CCX, 372–373.

[3] *Cedr.*, II, 521.

[4] *Zon.*, IV, 142: πολλαῖς δὲ καὶ *ἀσυνήθεσιν* εἰσπράξεσιν οὗτος ἐξέτρυχε τὸ ὑπήκοον (он разорял подданных множеством **необычных** податей).

[5] Перед тем последнее упоминание о ней — в Тактике *Льва Мудрого* (гл. 20, § 71): ἀρκεῖ γὰρ αὐτοῖς τελεῖν τούς τε δημοσίους φόρους καὶ τὰ ἐπικείμενα αὐτοῖς ἀερικά, καὶ μηδὲν πλέον καταβαρεῖσθαι (Достаточно, чтобы они уплачивали налоги в казну и установленную для них подать на воздух и ничем более не обременялись).

представляла собой не что иное, как поголовную подать.[1] После возобновления ее Иоанном, она была в непрерывном употреблении до конца XI столетия[2] и перешла к последующим векам. Из сообщения историка о ее возобновлении можно заключить, прежде всего, что она была распространена на одних крестьян и не коснулась властелей; принцип несовместимости ее с поземельной податью был, следовательно, соблюден, но только в интересах властельской стороны; далее, что обложение ею производилось по деревням и селениям, причем раскладка по душам могла и не подлежать правительственному контролю.[3]

Но если властели, платившие поземельную подать, были изъяты от поголовной подати, которую платили только убогие, то они не были освобождены от добавочных статей и подлежали им вместе с убогими, хотя, впрочем, с некоторыми послаблениями. В числе таких статей первое место занимал дикерат, т. е. надбавка двух кератиев или, что то же, одного милиарисия[4] к каждой номисме поземельной подати, сделанная еще Львом Исавром, для покрытия расходов на восстановление разрушенных землетрясением 740 г. стен Константинополя,[5] и оставшаяся в последующее время, несмотря на то, что расходы по возобновлению стен давно окупились. Второе место между добавочными статьями занимал экзафолл, т. е. надбавка шести пулл на $^{2}/_{3}$ номисмы поземельной подати, тоже сделанная Львом Исавром, как свидетельствует заметка в образцовом расчете для взимания податей, составленном при Алексее Комнине применительно к старой системе.[5]

---

[1] Доказательства приведены *проф. Васильевским* (Ж. М. Н. Пр., CCX, 371). Были впоследствии и другие названия: κεφαλαίον, βιωτικόν, χαράτζιον (от χάραγμα, νόμισμα χαράγματος, позднейший турецкий харач). В одной неизданной грамоте Михаила Палеолога прямое отождествление: κεφαλαίου ἤ ἀέρος (...подушной подати, иначе — подати за воздух...).

[2] Упоминается в грамотах от 1075, 1079 и 1088 гг., см.: *Sathas*, I, 56, 64; *Zach.*, III, 374.

[3] Этот характер подать сохраняла и в последующее время, т. е. она была податью деревенских крестьян; в грамотах она приводится в числе податей лежащих на париках и рассматривается как подать с селения, τὸν ἀέρα τοῦ χωρίου, — *Miklosich*, IV, 17, 4.

[4] В номисме было 12 милиарисиев (серебряная монета ценностью 30–35 коп.), а в милиарисии 2 серебряных кератия, называвшихся еще (впоследствии) коккиями. Медные монеты — пуллы или фоллы, ценностью около 2 коп. См.: *Sabatier.* Description genér. des monnaies byzantines.

[5] *Theoph.*, I, 634.

[6] Rationarium antiquum, *Zachariae*, III, 385–392. При Алексее Комнине составлен и другой расчет, применительно к пущенной Комнином в обращение новой низкопробной монете, Rationarium novum, *Zachariae*, III, 393–400.

Третью добавочную статью составляли пошлина и погонное, равнявшиеся одному милиарисию и двенадцати пуллам с каждой номисмы поземельной подати — сбор, о первоначальном и позднейшем назначении которого сделана в расчете следующая заметка: «Практор имел обыкновение спрашивать в свою пользу пошлины (συνήθειαν) на каждую номисму 1 милиарисий, что составляет $^{1}/_{12}$ номисмы, а сверх того, в виде вознаграждения за ногоутомление (ποδοκοπίου) того его человека, который привлекает плательщика ко взносу должного казне, погонного (ἐλατικόν) 12 фолл или $^{1}/_{24}$ номисмы. Так как дикерато-экзафолльный сбор принадлежал казне, то он отмечался на листе (κατάστιχον), представляемом в секрет общих дел (σέκρετον τοῦ γενικοῦ). Пошлина и погонное тоже вносились в казну и в секрет общих дел, но записывались в особых ведомостях, выдававшихся на каждую фему, как взысканные в пользу сборщика (τοῦ διοικητοῦ) и его людей; они ставились на его счет и не вносились в квитанцию, выдаваемую плательщику сборщиком. Впоследствии и эти сборы поставлены на счет казны (в ее пользу), и в квитанции плательщиков известного селения пишется примерно так: общая сумма (поземельной подати) 100 номисм, дикерата 100 милиарисий, т. е. $8\,^{1}/_{3}$ номисм, экзафолла 25 милиарисий, т. е. $2\,^{1}/_{12}$ номисмы, пошлины 3 номисмы и погонного 1 номисма, а всего с дикерато-экзафоллом, пошлиной и погонным 114 номисм с $^{1}/_{3}$ и $^{1}/_{12}$.[1] Таким образом оказывается, что добавочные статьи, дикерат, экзафолл, пошлина и погонное увеличивали основную поземельную подать на $14\,^{5}/_{12}$ процентов. В конце расчета замечено, что количество взыскиваемых с одного лица пошлины и погонного может возрастать до 10 номисм, смотря по количеству вносимой им поземельной подати, но затем останавливается, и взыскание с одного лица пошлины и погонного свыше 10 номисм не бывает, так что все количество основной подати свыше 200 номисм, платимое тем или другим лицом, не подлежит надбавке по этой статье. Отсюда видно, что хотя властели облагались добавочными статьями, наравне с убогими, однако же и здесь сделано в пользу первых, и именно в пользу властелей, обладавших крупной поземельной собственностью, облегчение в том смысле, что с суммы обложения, превосходившей 200 номисм, им прощалось три процента, которые следовало бы взимать в силу последней добавочной статьи.

В Византийской империи кроме денежных взысканий существовали еще натуральные повинности, и если относительно первых убогие были более обременены, чем властели, то относительно последних неравномерность обнаруживалась еще в сильнейшей степени. Натуральные повинности

[1] *Zachariae*, III, 391.

группировались около трех главных предметов: а) военного дела, б) государственной почты и в) кормления воевод, сборщиков и др. властей.

Передвижение войска, его продовольствие, раскватирование, сооружение укреплений, военных судов и т. д.[1] ложились всей своей тяжестью на податные классы, которые привлекались к отправлению соответствующих повинностей. Главнейшие из повинностей были: συνωνή — обязанность поставлять хлеб для армии по принудительной цене, определенной казной; μιτάτον — военный постой, обязанность отводить солдатам помещение, а в связи с помещением и содержание; καστροκτισία — градостроение, обязанность строить укрепления, подвозить нужный для того материал, дерево, камень, известь и пр.; κατεργοκτισία — постройка каторг, военных судов, рубка и подвоз необходимого при этом леса, распил досок, доставка парусины, пакли, конопли, смолы и пр. Повинности, соединенные с военным делом, лежали на всех — жителях городов и деревень, властелях и убогих. Но всеобщность существовала больше в теории, чем на практике. Там, где нужна была работа, личный труд, привлекаемы были, разумеется, убогие. С другой стороны, хотя повинности были общегосударственными, однако же несли их жители местностей, ближайших к театру военных действий, и тех, через которые лежал путь для войск, отправлявшихся в поход и возвращавшихся из похода. Поэтому хорошие главнокомандующие при определении маршрута обыкновенно принимали в расчет степень материального благосостояния той или другой местности, щадя население небогатое или пострадавшее от каких-нибудь бедствий.

---

[1] В грамотах от 1075, 1079 гг., *Sathas*. Bibl. gr., I, 55–56, 64: φοσσάτου διελέυσεως... μιτάτου... σιταρκήσεως κάστρων, ἀγορᾶς μουλαρίων, μεσομουλαρίων, βορδωνίων, μεσοβορδωνίων, ἵππων, παριππίων, ὀνοκηλωνίων, ὀνοθηλειῶν, φορβαδῶν, βοῶν ἐργατικῶν καὶ ἀγελαίων, χοίρων, προβάτων, αἰγῶν, ἀγελαδίων, βουβαλίων, κυνῶν λαγωνικῶν καὶ λοιπῶν τετραπόδων ζώων, παροχῆς γεννημάτων ἐξ ἀγωρᾶς γεγενημένης... συνωνῆς... καστροκτισίας... παροχῆς χρειῶν στρατῷ τινί... ἐξωνήσεως σίτου, κριθῆς, βρώμης, ἐλαίου, ὀσπρίων, καὶ παντοίων σπερμάτων, κοπῆς καὶ καταβιβασμοῦ οἰασδήτινος ξυλῆς, ἢ μετακομιδῆς, κωπίων, ἢ ἑτέρων εἴδους... φοσσάτου διατροφῆς... ἐπὶ πόλεμον ἀπιόντων καὶ ὑποστρεφόντων (проход фоссата... постой... доставка продовольствия в крепости... продажа мулов, лошаков, <почтовых> лошадей, дополнительных лошадей, ослов, ослиц, вьючного скота, рабочих и стадных быков, свиней, овец, коз, коров, буйволов, борзых собак и других четвероногих... доставка и продажа урожая... поставки хлеба... строительство укреплений... предоставление войску всего необходимого... торговля хлебом, ячменем, съестными припасами, оливковым маслом, бобами, разнообразными семенами, рубка и подвоз какого-либо дерева... содержание фоссата (т. е. войска)... идущих на войну и возвращающихся). Ср.: *Zachariae*, I, 65–66; III, 373–374: *Miklosich*, IV, 4, 17.

Так, например, Роман Диоген во время похода 1068 г. принял в соображение урон, нанесенный Антиохии неприятельскими набегами; чтобы продовольствованием армии еще более не стеснить жителей, и без того терпевших недостаток в съестных припасах, он двинулся по местам не населенным, через возвышенности и клисуры, отделявшие Келисирию от Киликии.[1] Способ привлечения к повинностям вел к тому, что местности, удаленные от театра военных действий, не были обременяемы, но тем большее бремя лежало на местностях, имевших несчастие служить театром военных действий или соприкасавшихся с ними. Тяжесть еще более увеличивалась вследствие того, что взыскание повинностей открывало широкое поприще злоупотреблениям, которые, благодаря особенностям системы, всегда возможно было прикрыть личиной законности. Не все были похожи на Диогена, щадившего мирное население и строго наблюдавшего, чтобы солдаты не позволяли себе противозаконных действий.[2] Большинство военачальников смотрело на свое положение с точки зрения выгод, которые из него можно извлечь, и обращая в свою пользу деньги, предназначавшиеся на содержание войска,[3] предоставляло армии другие способы содержания; те военачальники, которые при других условиях, может быть, и не допустили бы злоупотреблений, иногда поневоле должны были сквозь пальцы смотреть на притеснения жителей солдатами, потому что правительство скупилось на средства, необходимые для военных надобностей.[4] В подобных случаях военачальники находили нужным забыть на время, что существует повинность συνωνή, в силу которой за хлеб, поставляемый войску населением, нужно платить деньги, но хорошо помнили, что по закону есть другая повинность — μιτάτον, по которой помещение и содержание армии можно получить даром. В результате выходило, что мирное население на законном основании лишалось и той скудной казенной платы, какая назначалась за хлеб, и доставляло войску провиант бесплатно. Этого мало. Войско, вследствие такого положения вещей, дошло до крайней деморализации; забывая патриотические чувства, оно смотрело на войну как на промысел, и если начальники спешили поживиться за счет казны, то и подчиненные, и рядовые

[1] *Attal.*, 120 (*Scyl.*, 677).

[2] *Attal.*, 153 (*Scyl.*, 693).

[3] *Attal.*, 195. О случаях краж и растраты денег, отпускавшихся на содержание войска, при Мономахе, Константине Дуке и Стратиотике см.: *Psell.*, IV, 185–186; *Attal.*, 95.

[4] Например, Алексей Комнин, высланный Парапинаком против Урселя, не получил от царя денег на военные издержки. См.: *Bryenn.*, 84.

солдаты думали только о том, чтобы поживиться за счет мирного населения. Этим настроением были проникнуты не только наемники и иноплеменники, но и местное войско. Требовалась большая, можно сказать, самоотверженная энергия, чтобы ограничить солдатские насилия и грабительства. О наемных войсках и говорить нечего: их даже такой строгий полководец, как Диоген, не мог удержать от излишеств, даже под его командой они не стеснялись беспощадно разорять страну, преждевременно снимать жатву и выпасать скотом крестьянские посевы.[1] Но и хищнические инстинкты своего войска, жертвой которых делались мирные земледельцы, крестьянство, нелегко было укротить. Когда император Исаак Комнин во время своего похода в европейские фемы смог достигнуть того, что заставил войско довольствоваться собственным содержанием и не притеснять убогих земледельцев,[2] Пселл имел полное основание отнести его успех к числу побед, и побед не последней важности. Разумеется, полководец, искавший популярности в войне, не мог и думать о чем-нибудь подобном; ему оставалось, для приобретения расположения солдат, отдавать им в жертву крестьянское добро, и, например, о Льве Торнике, поднявшем оружие против Мономаха, известно, что он позволял солдатам все найденное забирать и обращать в свою пользу.[3] Нетрудно представить себе, до какого состояния доводимо было население в местностях, где появлялась византийская армия. Появление ее для жителей было своего рода вражеским нашествием, иногда не уступавшим вторжению настоящего врага. Армянский писатель замечает, что войско, состоявшее под начальством антиохийского дуки Константина, возвращаясь с похода против мусульман, повергало христиан (между Мелитиной и Антиохией) еще в большую скорбь, чем делали это сами мусульмане.[4] Замечание может показаться пристрастным в устах нерасположенного к грекам армянина; но и греческий писатель с сокрушенным сердцем разоблачает тот же факт, говоря, что масса войска, подражая нечестию своих начальников, бесстыдно обижает и бесчеловечно притесняет своих единопле-

---

[1] *Attal.*, 146 (*Scyl.*, 691).

[2] *Psell.*, 302: δευτέραν νίκης κατώρθωσας κρείττω τῆς προτέρας παρὰ πολύ, κατὰ τῆς τοῦ στρατοπέδου πλεονεξίας ἄρας τὰ νικητήρια, καὶ πείσας ἅπαντας εὐσεβεῖν, καὶ τοῖς ἰδίοις ὀψωνίοις ἀρκεῖσθαι, ἀλλὰ μὴ τοὺς γεωργοῦντας πένητας ἀδικεῖν (...он одержал вторую победу, намного значительнее первой, стяжав победный венец в битве со своекорыстием воинов, склонив всех <их> блюсти благочестие, довольствоваться своим жалованьем и не притеснять бедных земледельцев).

[3] *Psell.*, IV, 152.

[4] *Matth. d'Ed.*, 52.

менников, грабит и отнимает их имущество, в собственном своем отечестве ведет себя по-неприятельски, не оставляя на долю так называемых неприятелей ни одного злодеяния и разбоя, — поражение их освобождает деревни, селения и города от дурных поступков, и единоплеменники усердно об этом молятся.[1]

В связи с государственной почтой находилась ямская повинность — ἀγγαρεία,[2] обязанность поставлять подводы, лошадей, волов, ослов, с возницами и погонщиками, для провоза сановников, послов, гонцов, должностных лиц, и вообще лиц, отправлявшихся по казенной надобности. Перевозка солдат и военных принадлежностей составляла часть этой повинности, к ней относилась также обязанность содержать в исправности дороги и мосты. Ямская повинность имела, по-видимому, двойственный характер. Пселл, объясняя слово κόντουρα, распространяется о почтовых станциях, которые находились в соответственном расстоянии одна от другой и на которых стояло 4–6 быстроходных лошадей, имевших, в отличие от остальных, обрезанные хвосты, и называвшихся поэтому κόντουρα; поставка этих лошадей производилась не за счет казны, но составляла как бы подать (κῆνσος), возлагавшуюся на некоторые деревни, которые за это освобождались от других тягостей.[3] Пселл говорит в прошедшем времени и из слов его не ясно, была ли почта, о которой у него идет речь, учреждением староримским, видоизменившимся к XI в., или же она существовала в XI в., и следовательно, в XI в. жители, несшие почтовую повинность, освобождены были от других повинностей. Но сравнивая описание Пселла с тем, что говорит Прокопий Кесарийский[4] о государственной почте,

---

[1] *Attal.*, 196.

[2] В грамотах от 1075 и 1079 гг., *Sathas*, I, 55–56, 64: ἀγγαρεία ἢ παραγγαρεία... ἐνοχῆς τοῦ δρόμου, οἰκομοδίου, κωμοδρομίας... ὁδοστρωσίας, γεφυρωσίας... προελευσίμου βασιλικῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τινας ἀποστελλομένων δουλείας... ἀγγαρείας, παραγγαρείας καὶ λοιπῆς ἁπάσης ἐπηρείας (ангария или парангария... содержание дорог, возведение строений, содержание войска... покрытие дорог, сооружение мостов... содержание царских людей, посылаемых по какой-либо надобности... ангария, парангария и устранение любого ущерба). Ср.: *Zachariae*, III, 374; *Miklosich*, IV, 4.

[3] *Psell.*, V, 532–533.

[4] *Procopii*, III, 161. До Юстиниана по большим дорогам, на расстоянии, какое хороший пешеход мог пройти в течении дня, существовало 5–6 станций и на каждой около 40 лошадей, которые поставлялись землевладельцами, получавшими за это хорошие деньги. Юстиниан оставил тракт от Елеонополя по направлению к Персии в прежнем виде, но на других уничтожил или изменил прежние почтовые учреждения. Он закрыл станции на почтовой дороге, лежавшей по азиатскому

организованной Юстинианом I, мы видим, что порядок вещей, изображаемый Пселлом, несколько отличен от того, который существовал с VI в. После перемен, введенных Юстинианом, были тракты с короткими перегонами и с числом лошадей на каждой станции около сорока; были также тракты с большими перегонами и, вместо лошадей, с ослами на станциях. Расход по поставке лошадей и ослов производился правительством, которое покупало лошадей у землевладельцев. Желание сократить государственные расходы побудило Юстиниана на одном тракте закрыть все станции, на другом уменьшить их число и, вместо дорогих лошадей, поставить дешевле стоивших ослов; если бы почта содержалась жителями, а не казной, то Юстиниан, без сомнения, и не позаботился бы об ее удешевлении. Таким образом, когда Пселл говорит об одинаковых на всех трактах почтовых станциях, с числом лошадей от 4 до 6, и об обязанности деревень поставлять лошадей, он говорит о деле, по древности не достигавшем Юстиниана, а установившемся впоследствии. Пселл говорит о нем в прошедшем времени, потому что намерением его было выяснить начало, происхождение[1] существовавших в его время почтовых порядков, а не потому, чтобы к его времени они вышли из употребления и не существовали более. В одном письме Пселл пишет о сменных лошадях на почтовых станциях между двумя фемами и применяет к ним то же название κόντουρα; это слово у него тождественно с δημοσία ἵππος,[2] и основанием, почему почтовая гоньба лежала не на казначействе, а на некоторых деревнях, служит для него то соображение, что дело это — δημόσιον πρᾶγμα.[3] Поэтому когда в источниках почтовые лошади, существовавшие и при Мономахе, и при Вотаниате, называются

побережью между Халкидоном и Елеонополем, так что казенные бумаги и транспорты стали перевозиться на судах между Елеонополем и Константинополем, тогда как прежде от Елеонополя до Халкидона перевозились на почтовых лошадях и только через пролив от Халкидона в Константинополь по воде; почтовые же станции по египетскому тракту были сокращены в числе, так что оставлено по одной станции на расстоянии дня пути, и сверх того лошади заменены ослами.

[1] *Psell.*, V, 532: ἀρχὴ... ταύτης προσηγορίας ἡ τῶν Ῥωμαίων ἀρχή· βουλομένη γὰρ... (происхождение этого названия восходит к началам государства ромеев).

[2] *Psell.*, V, 370: στήσουσι κόντουρα εἰς τὰς ἀλλαγὰς τὰς πλησιαζούσας τῷ ἡμετέρῳ καὶ σῷ θέματι (...поставят почтовых лошадей на станции, ближайшие к моей и твоей феме).

[3] *Psell.*, V, 553: ἐπεὶ δὲ δημόσιον πρᾶγμα τὸ τοιοῦτον πρᾶγμά ἐστιν, οὐκ ἐκ τοῦ ταμείου, οὐδ' ἀπὸ τοῦ πρυτάνείου ἡ συντέλεια καταβέβληται, ἀλλ' οἷόν τις κῆνσος καὶ τοῦτο τὸ χωρίον (очевидно, τοῖς χωρίοις) τισὶν ἐπιτέθειται (Поскольку это дело есть дело общественное, его оплата производится не из казны и не из притании, а как некая подать возлагается на сельские общины).

δημοσία ἵππος, δημοσίοι ἵπποι,[1] под ними мы должны понимать лошадей, содержавшихся не казной, а крестьянами некоторых деревень; когда сам же Пселл рассказывает, как Торник и его приверженцы, бежавшие из Константинополя в Адрианополь, по дороге, для устранения погони, умертвили почтовых лошадей. его рассказ, убеждая нас с одной стороны, что лошади были отборные и постоянно находились на станциях, с другой — делается правдоподобным лишь под условием предположения, что на станциях лошадей было немного (от 4 до 6), иначе, если бы комплект был велик (доходил, например, до 40, как при Юстиниане), мера была бы едва ли выполнимой уже потому, что при таком комплекте состояло бы значительное число прислуги, с которой пришлось бы считаться приверженцам Торника. Итак, сообщение Пселла об устройстве почты мы вправе считать имеющим силу для XI в.; можем принять в соображение и его известие, что деревни, поставлявшие почтовых лошадей, освобождены были от других повинностей. Получается один вид ямской повинности: ее несут крестьяне, живущие в деревнях, расположенных вдоль больших дорог; эти крестьяне для государственных нужд содержат по дорогам почтовые станции, на станциях — лошадей, и отбывая эту постоянную повинность, пользуются льготами относительно остальных повинностей. Но не по большим только дорогам приходилось ездить чиновникам и двигаться войскам, если же войска двигались и по большим дорогам, то почтовых лошадей было для них недостаточно, и кроме того, не одни лошади, но волы и другие вьючные животные требовались для перевозки военных припасов и оружия: что значило несколько почтовых упряжек, стоявших наготове для станции, если для подвоза осадных машин (например, при осаде Манцикерта Диогеном)[2] требовалось не менее тысячи повозок? Получается, таким образом, другой вид ямской повинности: ее несут крестьяне (исключая крестьян, содержавших государственную почту), и она не имеет характера постоянной и равномерной повинности; требовалась она по мере надобности и, подобно повинностям, соединенным с военным делом, не между всеми равномерно

[1] При Мономахе Торник с приверженцами, на пути из Византии в Адрианополь, τὴν δημοσίαν ἵππον ἀπεκτόνασι (перебили почтовых лошадей) (*Psell.*, IV, 151), для того чтобы избежать преследования и лишить правительство возможности настигнуть себя (*Attal.*, 23). Когда потом Торник приблизился к столице, был отправлен на почтовых (δημοσίοις ἔποχος ἵπποις (*Cedr.*, II, 562)), курьер в Иверию с приказанием командовавшему находившимся там войском спешить на выручку. При Вотаниате Василакий был отправлен из Фессалоники в Византию на почтовых, διὰ τῶν δωμοσίων ἵππων φερόμενος (*Attal.*, 300).

[2] *Attal.*, 151.

распределялась, но всей тяжестью ложилась на тех местностях, где обнаруживалась надобность. Последнего рода ямская повинность, как скоро она касалась известной местности, могла быть, и действительно была, не легче, а, напротив, тяжелее постоянной почтовой гоньбы, составлявшей обязанность придорожных деревень, но поскольку она не была учреждением непрерывно существующим, то крестьяне, несшие повинность, не пользовались никакими льготами; в этом убеждают грамоты, в которых ангария перечисляется наряду с другими налогами.

Была еще натуральная повинность ἄπληκτον,[1] представлявшая аналогию с постойной повинностью и состоявшая в обязанности давать помещение и кормы (κάθισμα καὶ ὑποδοχή, τροφαῖ) правителям фем, сборщикам податей и вообще официальным лицам, а также заслуженным особам, для которых, надо полагать, это было своего рода пенсионом (μονοπροσώπων παροχή). Для пропитания названных лиц и особ и сопровождавшей их свиты, равно как их прислуги и лошадей, требовалось мясо разных животных и птиц, рыба, вино, масло, овощи, хлеб, ячмень, овес, сено, и все это, вместе с помещением, должны были доставлять митрополии, еписко-

[1] В грамотах от 1075 и 1079 гг., *Sathas*, I, 55–56, 64: εἰς παροχὴν χρειῶν καθέλκεσθαι τῶν δικασταῖς ἢ πράκτορσι καὶ τοῖς ἄνωθεν ἠριθμημένοις διδομένων... ἢ ἄλλων τινῶν ἀντιμιτάτων ἀπλήκτων, καὶ τῆς ὑπὲρ τῶν ἀπλήκτων χορηγίας, μεσαπλήκτων, κριτῶν, ἀπαιτητῶν καὶ λοιπῶν ἁπάντων, ἐπιθέσεων μονοπροσώπων, δόσεως κανισκίου, ἢ ἀντικανίσκιου... παροχῆς χρειῶν τῶν χορηγουμένων δικασταῖς ἢ πράκτορσιν ἢ ἑτέροις ἄρχουσιν, εἴτε πρέσβεσιν ἐθνῶν διερχομένων... ἐκβολῆς χορτασμάτων, διατροφῆς πρωτοκεντάρχων... ἐκβολῆς γεννημάτων, ἢ καταβιβασμοῦ οἴνου, κρεῶν, καὶ παντοίων εἰδῶν... καθισμάτων τῶν ὑπεροχῆς ἀρχόντων, κατεπάνω, στρατηγῶν, κριτῶν, καὶ λοιπῶν ἀπαιτητῶν... διατροφῆς καὶ απλήκτων... βεστιαριτῶν, μανδατώρων τοῦ δρόμου πρέσβεις ἀγόντων ἢ ἐξορίστους, ἢ κατά τινα ἄλλην χρείαν διερχομένων, τοποτηρητῶν, τουρμάρχων, μεράρχων, καὶ παντὸς ἑτέρου δημοσιακῶν πραγμάτων ἐρεύναν ἐπιτετραμμένου (освободить от содержания, предоставляемого судьям, сборщикам налогов и выше упомянутым... или каких-либо иных выплат помимо митата и апликта, подати сверх апликта, месапликта, от судей, взыскателей и всех остальных, от налога <на содержание> отдельных лиц, от уплаты каниския или антиканиския... от содержания, выплачиваемого судьям, сборщикам налогов, другим архонтам или послам иноземных народов... от поставок продовольствия и содержания протокентархов... от поставок урожая или снабжения вином, мясом и всеми видами <продовольствия>... от предоставления помещений высокопоставленным архонтам, катепанам, стратигам, судьям и другим взыскателям... содержания и апликта... вестиариатов, мандаторов, сопровождающих ссыльных или послов, или же проходящих по какой-либо иной надобности, местоблюстителей, турмархов, мерархов и всякого другого, следующего по казенному делу). Ср.: *Zachariae*, III, 373–374.

пии, монастыри, землевладельцы, города и села, в которых появлялись стратиг, судья, практор и др. Имевший право на даровое помещение и кормы располагал широким выбором мест и лиц, которых он мог почтить ни для кого нежелательной честью принимать и угощать себя, — остановиться там или здесь зависело от его воли. Поэтому и мог Пселл, узнав, что бывший в его харистикии Мидикийский монастырь ожидает прибытия опсикийского стратига Зомы, обратиться к последнему с просьбой освободить его от своего посещения ввиду того, что монастырь — бедный и тягота кормления будет для него непосильной.[1] Повинность была обременительной не только для отдельных монастырей, но и для митрополий,[2] почему и существовал обычай, что некоторые монастыри давали митрополиям субсидии на этот предмет. Синод 1028 г. постановил, чтобы монастыри, исстари делавшие взнос митрополиям на содержание особ или на кормление судей и сборщиков государственных податей, в случае если будут отданы кому-нибудь в харистикию, продолжали уплачивать этот взнос митрополитам без изменения.[3] Некоторые получали от императоров привилегии, освобождавшие от посещений представителей власти, влекших за собой тяжелую обязанность давать помещение и кормы; но византийские администраторы умели обходить запрещение и привлекать даже имевших привилегию к отбыванию повинности.[4]

Памятники, сохранившиеся от последующих столетий, указывают на существование многих других податей и повинностей, сверх нами перечисленных, а также на то, что некоторые натуральные повинности переведены были на деньги, поэтому они превратились в налоги более постоянные и более равномерные. Из XI в. нет указаний, которые давали бы право заключать, как о взыскании натуральных повинностей деньгами, так и о применении тех частных сборов, вроде десятины с овец, свиней и пчелиных ульев (дальнейшее развитие пастбищного), убийства (τοῦ φόνου), деворастления (παρθενοφθορία — девичий разбой), обретения

---

[1] *Psell.*, V, 263–265.

[2] Есть письмо *Пселла* (V, 312–313), в котором он просит сборщика пощадить Кизическую митрополию.

[3] PG, CXIX, 836; *Rhalli et Potli*, V, 31.

[4] Известен факт из позднейшего времени, внесенный в докладную записку, составленную в 1198 г. Михаилом Акоминатом в защиту афинской общины и представленную Алексею Ангелу (в русском перев. — Ж. М. Н. Пр., 1880, CCX, 399–400; 1883, CCXXV, 55–60): претору хрисовулом запрещен был вход в Афины, но он все-таки являлся, как бы на богомолье к Пресвятой Богородице, и при этом взимал те же сборы, какие делались в силу ἄπληκτον.

сокровища (εὕρεσις τοῦ θησαυροῦ) и пр., перечень которых находим в позднейших актах. Независимо однако же от такого разветвления государственных налогов, составляющего предмет сомнительный для XI в., мы имеем достаточно данных, убеждающих, что и в XI в. податные классы были крайне обременены. Масса народа оказывалась несостоятельной, и византийская казна, отличавшаяся вообще строгостью в деле взыскания податей, прибегала к экзекуциям, продаже земель, домов и другого имущества, — к таким мерам, которые приводили к окончательному разорению плательщиков, имущество которых чиновники фиска из личных расчетов могли продать и нередко продавали дешевле действительной стоимости.[1] Но экзекуции мало помогали и недоимки с каждым годом все более накапливались. В большинстве случаев недоимки представляли безнадежный долг, так что в интересах уменьшения финансовой путаницы оставалось только списать их со счетов. Тем не менее с формальной стороны они всегда могли послужить законным основанием к тому, чтобы многих повергнуть в нищету, и потому списание недоимок, в существе дела неизбежное, было благодеянием для подданных. Обыкновенно приказы о прощении долгов давались в поминальные дни (ἐπιταφίοις ἡμέραις) или по поводу тяжкой болезни императора, за спасение души — царствующего государя или прежде умерших; прощались также долги в ознаменование каких-нибудь важных событий, вроде восшествия на престол. Византийская казна и в благодеяниях старалась соблюсти расчет: долги большей частью прощались за известное число старых лет, принося радость старинным должникам и возбуждая зависть в должниках позднейших.[2] При вступлении на престол Константина VIII оставалось много неуплаченных денег за два года, потому что Василий Болгаробойца, щадя убогих, был снисходителен при взимании с них податей. Константин VIII взыскал эти недоимки.[3] Роман III ознаменовал свое вступление на престол прощением государственных долгов,[4] но тем неумолимее он стал впоследствии, по возвращении с неудачного сирийского похода, взыскивать старые долги, — многие были прогнаны с земель и домов, поступивших в продажу за долг казне.[5] Затем упоминается о Зое, что она, приближаясь

---

[1] *Zachariae*, I, 200.

[2] *Attal.*, 283.

[3] *Cedr.*, II, 484 (*Zon.*, IV, 127; *Glyc.*, 580). Показание *Яхъи* (у бар. Розена, 70), что Константин VIII сложил недоимки с обитателей греческой земли, менее правдоподобно, чем свидетельство греческих историков в противоположном смысле.

[4] *Cedr.*, II, 486 (*Zon.*, IV, 128; *Glyc.*, 581; *Joel*, 61; *Ephr.*, 129).

[5] *Zon.*, IV, 131 (*Ephr.*, 129).

к смерти, освобождала от долгов.[1] Но особенно щедрым оказался Вотаниат, простивший долги не только за старые, но и за новые годы; он издал повеление (νομοθετεῖ) о списании долгов со всех, как властелей, так и убогих, за все время, предшествовавшее провозглашению его императором.[2]

Бремя, угнетавшее податные классы, делалось еще тяжелее вследствие того, что находились охотники приумножить тяжесть, имевшие в руках средства достигнуть этого. К числу их принадлежали некоторые претенденты, поднимавшие оружие против царствовавших государей, и вообще бунтовщики, выступавшие против законной власти. Были претенденты, которые для приобретения популярности и приверженцев считали нужным объявить облегчение и даже снятие податей, — к числу таких принадлежали Маниак и Лев Торник.[3] Но не все держались этого правила, многие, напротив, нуждаясь в деньгах для осуществления замыслов, собирали дани с населения. Так Исаак Комнин, восставший против Стратиотика, поставил караулы по дорогам, ведшим к столице, так, чтобы без его ведома и разрешения никто не мог пройти и проехать, и затем стал собирать подати; к чести его нужно сказать, что сбор производился не беспорядочно, но с соблюдением строгой отчетности — составлены были особые присутствия, назначены сборщики и все взысканное записывалось, с тем чтобы впоследствии можно было зачесть платежи.[4] Судьба благоприятствовала Комнину, и подданные вследствие того не понесли ущерба. Но едва ли обошлось без убытка для плательщиков в другом случае, когда Роман Диоген, освободившись из турецкого плена, двинулся от Манцикерта к Амасию и по пути собрал государственные подати:[5] весьма сомнительно, чтобы правительство Парапинака, объявившее Диогена низложенным с престола, зачло за подданными уплаченные ими низложенному государю деньги. В царствование Романа Диогена мятежный предводитель норманнской наемной дружины, Криспин, делал нападения на сборщиков и отнимал у них собранные подати,[6] а его преемник, Урсель, бунтовавший при Михаиле Парапинаке, обходил населенные места около Амасии и Неокесарии и принуждал жителей платить себе дань.[7]

---

[1] *Psell.*, IV, 181.
[2] *Attal.*, 283, 274 (*Scyl.*, 735; *Zon.*, IV, 228; *Ephr.*, 148).
[3] *Psell.*, V, 138; IV, 152.
[4] *Psell.*, IV, 212 (*Zon.*, IV, 187).
[5] *Psell.*, IV, 283.
[6] *Attal.*, 123.
[7] *Bryenn.*, 83.

В пользу Вриенния, восставшего против Парапинака, тоже взимаема была дань с жителей Кизического полуострова,[1] а кесарь Иоанн, стоявший на стороне Комнинов, восставших против Вотаниата, поступил наподобие Криспина: встретив сборщика, везшего в Византию мешок золота, он сначала уговаривал его перейти в лагерь бунтовщиков, когда же тот не согласился, отнял у него деньги и, навьючив на своих лошадей, отправился к Комниным.[2]

Претенденты и мятежники были временной невзгодой, обрушивавшейся на ту или другую часть Империи. Гораздо более терпело население от сборщиков податей, ежегодно делавших свой набег. Места сборщиков были настоящим золотым дном, хотя не всегда безопасные для эксплуатации. Организация податной системы, с ее кормлениями и дополнительными статьями, сама по себе доставляла практорам выгоды, даже при добросовестном с их стороны отношении к делу; для практоров же недобросовестных открывала широкий путь к наживе. Сложные, требовавшие точности и знания, выкладки дикерата, экзафолла, пошлины и погонного были в высшей степени сподручны для чиновников, желавших поживиться за счет простоты и неопытности поселян; к тому же неизвестно, в какое время введена отчетность по взиманию пошлины и погонного, — во всяком случае, было время, когда по этой статье строгих оправдательных документов не полагалось и произвол практоров не имел узды. Не все практоры заботились даже о том, чтобы излишние взыскания замаскировать в глазах плательщиков известной статьей в окладном листе, — требуя с них, что следовало по закону, они не стеснялись требовать и сверхдолжного.[3] Поднимался ропот, жалобы в изобилии доходили до столицы, но в столице нужно было иметь сильного заступника, чтобы жалоба произвела действие, потому что центральное правительство имело основание быть солидарным с практорами[4] и не жертвовать фискальными интересами ради народного блага. В защиту епископа от притеснений сборщика мог еще раздаться голос из столицы, где у епископа было знакомство при дворе,[5] но для крестьянской общины и париков нелегко было найти защитника: скорее раздавался голос в пользу сборщика, чем убогих плательщиков.[6] Народу оставалось или

[1] *Attal.*, 268.

[2] *Anna*, I, 107–108.

[3] PG, CXXXVI, 1329–1330.

[4] Особенно после того как Константин Дука **стал отдавать сбор податей на** откуп.

[5] *Psell.*, V, 344–346.

[6] *Psell.*, V, 276; PG, CXXXVI, 1329–1330.

терпеть, или защищаться собственными средствами. Большей частью он терпел, но иногда, не в состоянии будучи выносить зла, прибегал к самовольной расправе с практорами и их приспешниками, стратигами.[1] Народные бунты против сборщиков служат красноречивой иллюстрацией как тяжести податной системы, так и злоупотреблений со стороны органов фиска. Вместе с тем они доказывают и полную солидарность высшей, центральной власти со своими органами, потому что народные вспышки, вместо того чтобы побудить правительство ввести изменения в системе, вызывали лишь репрессии.

Явное предпочтение фискальных интересов другим существенным государственным интересам, выразившееся в покровительстве правительства финансовым чиновникам, с неменьшей ясностью обнаруживается в характере тех экстренных источников дохода, к которым обращалось правительство с целью восполнения недостаточных для его нужд податных сборов. Применение этих источников с точки зрения здравых политических и экономических начал является аномалией, и если для государственных деятелей Византии XI в., прибегавших к ним, можно отыскать оправдание, то лишь в том обстоятельстве, что не они были творцами и изобретателями источников, что эти последние составляли традиционное наследие старых времен, давно всосавшееся в византийский государственный организм.

Первым таким источником было отчисление в казну частных и церковных имуществ. Действие это имело в Византийской империи давние прецеденты. Конфискация частных имуществ, бывшая по закону наказанием за преступления против государства и Церкви, весьма часто применявшимся, иногда переходила на почву явного насилия и злоупотребления властью, которая лишь прикрывалась личиной права. Чтобы не вдаваться в подробности, но иметь однако же перед глазами конкретный пример, достаточно вспомнить Юстиниана I, при котором не только заговоры и возмущения, вроде «дня Ники» или бунта из-за фальсификации монеты, открывали законный путь к конфискациям, не только обвинения в приверженности к язычеству и ереси давали повод к пеням и секвестрам, но пущены были также в ход разные предосудительные средства, в видах обогащения казны за счет частных лиц, причем внешняя законность не нарушалась: казна получала имущество в силу дара, завещания, по-видимому, вполне правильно, но дело в том, что иногда дарил имущество

[1] Убиение Саливы в Антиохии, *Cedr.*, II, 510; Морогеоргия в Навпакте, *Cedr.*, II, 482–483; Иоанна Куцомиты в Никополе, *Cedr.*, II, 530; Феофилакта на Кипре, *Cedr.*, II, 549–550 (*Zon.*, IV, 162; *Glyc.*, 694–597).

богатый человек, совершивший убийство или другое тяжелое преступление и затем освобождавшийся от преследования, или дарил казне свой процесс с соседом тот, кто был уверен в безнадежности иска, а между тем знал, что в руках казны он окажется бесспорным, что через это и императорская благосклонность будет приобретена, и противник уничтожен; отчуждение в казну имуществ по смерти владельцев не всегда совершалось на основании подлинных завещаний, иногда имели силу и документы сомнительного происхождения.[1] Что касается захвата церковных имуществ казной и мотивов, по которым он совершался, то нет надобности возвращаться к VIII в., к мерам императоров-иконоборцев, отмененным Седьмым Вселенским собором 787 г. и потерявшим значение при императорах Македонской династии; достаточно вспомнить новеллы X в. (Романа Лекапина, Никифора Фоки и Василия II Болгаробойцы). 8-й пункт новеллы Романа Лекапина 934 г., различно понимавшийся тогдашними юристами, говорит о предпочтении вкладов в монастыри деньгами перед вкладами недвижимыми имуществами и мотивирует свое предпочтение тем, что монахи, не имеющие недвижимости, освобождаются от споров, тяжеб и неудержимого стяжания, получают возможность избегать, а не идти навстречу искушениям и поводам к падению, опасным для них, как для людей, не чуждых человеческих слабостей.[2] Никифор Фока в новелле 964 г., развивая тот же мотив о несовместимости имущественных приобретений с монашеской нестяжательностью и дополняя свое рассуждение соображением о суетном тщеславии, побуждающем частных лиц основывать собственные монастыри, вместо того чтобы помогать деньгами монастырям уже существующим, но пришедшим в упадок, положительно воспрещает строить новые монастыри (за исключением келий и лавр в пустынных местах) и делать в существующие монастыри вклады недвижимостей, разрешает жертвовать только деньги, для чего позволительно продать свои поля и имения кому-нибудь из людей светских и обратить недвижимость в капитал.[3] Закон Никифора Фоки окончательно был отменен Василием II, в 988 г., но затем в новеллу самого же Василия II от 996 г. внесен[4] параграф (3-й), постановивший важные, а главное весьма растяжимые и поддававшиеся различным комментариям ограничения насчет монастырей. О тех религиозных мотивах, которые приведены в новеллах Лекапина и Фоки, здесь нет речи — выставлен лишь государ-

[1] *Procopii*, III, 132, 77.
[2] *Zachariae*, III, 251.
[3] *Zachariae*, III, 292–296.
[4] *Zachariae*, III, 313–315.

ственный принцип: защита крестьянской общины от монастырей (как властелей). Новелла, разделив монастыри на два разряда, на сельские, возникшие на крестьянских участках, имеющие не более 8 старцев, и на монастыри, существующие вне крестьянских общин, к которым причисляются и сельские, имеющие более 8 старцев и, сверх имения образовавшегося из крестьянских наделов, владеющие еще недвижимыми имуществами, пожертвованными частными лицами или императорами, узаконяет, что монастыри, в момент издания новеллы подходящие к первому разряду, должны оставаться в распоряжении крестьянских общин, никому не могут быть передаваемы и даримы, монастыри же второго разряда могут находиться под властью митрополитов и епископов и ими могут быть отдаваемы в дар. Вопрос о том, могут ли быть устраиваемы новые монастыри, в новелле обойден молчанием; но важно, что в новелле запрещается монастырям делать новые приобретения, причем запрещение поставлено в такую предметную связь и изложено в такой форме,[1] что его можно было толковать в смысле обязательности только для крестьянских монастырей, можно было также прилагать ко всем монастырям, можно было распространять обязательность только на время после издания новеллы Василия II, можно было также подвести под него все приобретения, сделанные монастырями со времени издания новеллы Романа Лекапина. Неопределенность, с какой сделано запрещение, была весьма тактичным делом со стороны государя, желавшего избежать столкновения с могущественным духовным сословием, с монашеским чином и вообще с благочестивыми людьми своего времени, но делом крайне опасным для Церкви и соблазнительным для своекорыстных государей, преемников Василия II. Во всяком случае, XI век унаследовал известную аргументацию (занесенную в новеллы Лекапина и Фоки) о несообразности монастырского стяжания и формальное запрещение стяжаний (Лекапина и Василия II), смысл и растяжимость которого зависели от усмотрения.

С этим наследием в руках, равно как с унаследованной от старого времени практикой отнятия на законном основании в пользу казны имуществ

[1] Вслед за словами, разрешающими крестьянским монастырям оставаться под властью митрополитов и епископов и быть даримыми под условием, если новелла застает в них не менее 8 монахов и достаточные для их содержания средства, прибавлено: οὐδὲ γὰρ δύνανται νέας ἐπικτήσεις ποιεῖσθαι, κωλυθέντα πρότερον μὲν παρὰ τοῦ προπάππου ἡμῶν βασιλέως Ῥωμανοῦ τοῦ γέροντος νῦν δὲ παρὰ τῆς βασιλείας ἡμῶν (Ведь <эти монастыри> не могут делать новых приобретений, ибо прежде это было воспрещено нашим прадедом императором Романом Старшим, а теперь и нашим царствованием). См.: *Zachariae*, III, 315.

у частных лиц, опираясь, наконец, на принципы харистикарной и прониарной систем, некоторые императоры нашего периода принялись за восполнение денежных ресурсов. Первым вступил на это поприще Константин Мономах в последние два года своего царствования. Историк сообщает, что он в сообществе со счетчиками податей, которых зовут приказными (σεκρετικούς), измыслил неожиданные вины и штрафы и разбил жизнь людей, сколько-нибудь зажиточных, подвергая их судам неправедным, поднимая новоявленные иски и претензии. Начался вопль штрафуемых, которые принуждены были отдавать свое добро, последовали усиленные аресты, плач раздавался каждодневно. Те, которые не испытали еще горя, были более достойны сожаления, чем испытавшие, потому что трепетали в ожидании обвинений со стороны представителей фиска и почти видели над своей головой поднятый меч. Зло коснулось и содержания (σιτηρεσίων), предназначенного Божьим храмам и монастырям, всюду по епархиям разосланы были повеления произвести на этот счет исследование, допросить служителей тех священных мест, и кто добровольно сейчас не даст, вырвать даяние. Когда император еще до исследования скончался, пошла всеобщая молва, что небесный удар поразил его и изъял из среды живых за то, что он пытался изменить благочестивые постановления.[1] Свидетельство историка не настолько ясно, чтобы судить по нему о характере мероприятий, ознаменовавших последнее время жизни Мономаха. Из него однако же видно, что меры сначала были применены к частным лицам, затем очередь дошла до церквей и монастырей, но здесь постигла императора смерть и дело было приостановлено. Далее видно, что меры эти имели целью увеличение казенного имущества за счет имущества церковного и частных лиц, средством же отнятия имущества у частных лиц послужили суды, орудие законное, но в своем приложении бывшее для лиц пострадавших неожиданностью. С первого взгляда можно подумать, что вопрос шел о взыскании казенных недоимок, но то обстоятельство, что пострадавшими были люди зажиточные, способные заплатить подати, заставляет подозревать нечто иное, что однако же подведомо было министерству финансов, чиновники которого принимали во всем деятельное участие. По всей вероятности, это дело находилось в сродстве с тем, которое выполнено при Исааке Комнине; разница лишь та, что Мономах хотел, чтобы вопрос не сходил с почвы формальной законности и чтобы имущество церковное и лиц частных отбиралось в казну лишь по судебному приговору; Комнин же распорядился по-солдатски, нашел излишним усложнять судебным разбирательством вопрос, который

[1] *Attal.*, 50–51.

мог быть разрешен гораздо прямее и проще, без соблюдения легальной формы, но с соблюдением, как он полагал, справедливости. Исаак Комнин, как уже было замечено,[1] отчислил в казну поместья, пожалованные до его времени частным лицам, на право владения которыми у последних были хрисовулы. Так как поместья до их пожалования состояли в ведении секрета общих и приватных дел, смотря по тому, составляли ли они собственность государственную, или лично императорскую, то допустив предположение, что об этих поместьях шла речь и при Мономахе, поймем, почему такую важную роль в деле играли приказные. Задача суда при Мономахе могла заключаться в проверке жалованных грамот и выяснении по ним прав владения: если при этом открывалось, что поместье, данное в пользование на определенное число лет или на время жизни, оставляемо было по истечении срока или удерживаемо было наследниками по смерти пожалованного лица, то оно отбиралось в казну. Замечательно, что при Исааке Комнине соблюдена была и та постепенность перехода от частного имущества к церковному, которая замечается при Мономахе. Историк, сказав об отнятии Комнином, вопреки хрисовулам, имущества частных лиц, продолжает, что он налег также на некоторые из монастырей, имевших большие и богатые имения, нисколько не уступавшие тому, что находилось в царских сокровищницах. Отняв многие из этих имений и оставив, ради своего оправдания, достаточно монастырям и монашествующим, излишнее причислил к царским владениям, — дело, которое казалось беззаконием или нечестием, более благочестивыми прямо приравнивалось к святотатству, но которое, в глазах людей трезво смотрящих на вещи, не заключало ничего неуместного, поскольку оказывалось выгодным в двояком отношении: с одной стороны освобождало монахов от забот, не соответствующих образу их жизни, не лишая необходимого, отвращало от стяжания тех, которые научаемы были нестяжательности, освобождало и соседних поселян от тягости, потому что монахи обилием и ценностью своих имений принуждали их покидать участки; заболев же ненасытностью и дойдя до состояния страсти, брали над противником, в случае столкновения и судебной тяжбы, верх при помощи изобилия стяжаний и денег, возможности безотчетно распоряжаться ими и под влиянием того соображения, что одобрение встречает тот, кто победил соперника. С другой стороны, казна, многообразно принуждаемая расточать полными руками свое достояние, получила приращение и немалое утешение, не нанося при этом вреда другим.[2]

---

[1] См. выше, с. 404.

[2] *Attal.*, 61–62 (*Scyl.*, 642; *Glyc.*, 601). Ср.: *Psell.*, IV, 242–243 (*Zon.*, IV, 192–193).

Таким образом и при Исааке Комнине, подобно тому как при Мономахе, сначала приступлено было к отнятию поместий у лиц частных, а затем мера была распространена на монастыри: юридическим основанием для секуляризации монастырских имуществ могло послужить или то, что эти имущества тоже составляли царские пожалования, или то, что они были приобретены монастырями после издания закона Василия II (даже Романа Лекапина); что же касается тех соображений, которые юрист Аттали-от приводит в своем историческом произведении в оправдание факта, которые, без сомнения, разделяемы были и другими юристами того времени, равно как ближайшими сотрудниками Комнина и самим Комнином, то они представляются как бы списанными с новелл X в. Михаил Парапинак, руководимый Никифорицей, пошел по следам Мономаха и Комнина, — при нем тоже делались посягательства на имущества церковные и частных лиц. Историк слагает вину этого дела на Никифорицу, о действиях которого говорит в неопределенных выражениях, языком, сходным с описанием поведения Мономаха, а именно, что царь во всем следовал указаниям Никифорицы и отсюда произошли обвинения и вымогательства у людей невинных, платежи недолжного, приговоры более приличествующие фиску, чем суду, конфискации полные и частичные, беспрерывные тяжбы, вчиняемые представителями фиска, плач пострадавших и печаль великая.[1] Несчастья, обрушивавшиеся со стороны турок, не удерживали от гражданских неправд.[2] Царь допускал неподобающие и недостойные царя суды, неосновательно обвиняя людей по злым наветам стряпчих;[3] каждодневные беззаконные судилища не прекращались, точно и не было войны с иноплеменниками и гнев Божий не карал людей оскудением средств жизни; все произволение царское устремлялось на измышление и делание неправды присным, на погоню за их жизнью и имуществом.[4] Погоня производилась за имуществом не только частных лиц, но также церквей, монастырей и богоугодных заведений: были отписаны в казну так называемые в просторечии скалы (σκάλαι), т. е. деревянные приспособления для стоянки судов; они раскиданы были по берегам моря, омывающего столицу, и находились во владении тех лиц, которым принадлежали участки земли, примыкавшие к берегу, особенно же во владении благотворительных учреждений (птохотрофий, носокомий), церквей и монастырей, — царь отнял их, ссылаясь на основания устаревшие, давно

[1] *Attal.*, 183 (*Scyl.*, 707; *Zon.*, 219; *Ephr.*, 148).
[2] *Attal.*, 184 (*Scyl.*, 768).
[3] *Attal.*, 200.
[4] *Attal.*, 212 (*Scyl.*, 725).

потерявшие силу.[1] Не ограничиваясь отнятием скал, царь распорядился взять в церквах священные сосуды, ценные пелены, Евангелия, имевшие дорогую обложку, и переплавить все это в деньги.[2] Вступивший на престол после Парапинака Никифор Вотаниат по возможности исправил зло: возвратил скалы прежним владельцам, утвердив хрисовулом права их на владение; сосуды и другие предметы, уцелевшие во дворце, отдал церквам.[3]

Вторым экстренным источником приращения государственных доходов было обращение в государственную монополию торговли хлебом и предметами первой необходимости. Происхождение монополии можно ставить в связь с системой аннонов, т. е. податных взносов натуральными продуктами, поступавших, между прочим, в раздачу городскому населению. Для хранения хлеба и других припасов нужны были склады. Не все содержимое этих складов расходовалось безмездно, излишек, очевидно, был продаваем правительством, особенно после того, как безмездная раздача припасов жителям столицы была вытеснена другим способом — продажей из государственных складов по уменьшенной цене. От дешевой продажи недалек был переход к обыкновенной продаже и к превращению торговли хлебом в регулярный источник правительственных доходов, причем даже после уничтожения подати натурой и замены ее деньгами одна из общеобязательных повинностей, συνωνή, должна была послужить средством к извлечению немалых барышей, так как правительство, покупая хлеб по ценам, им же назначенным, и продавая по ценам, стоявшим на рынке, могло выручать от операции большой процент. Правительство имело возможность продавать хлеб по ценам ниже рыночных, и таким образом обезопасить себя от конкуренции, но этот способ парализовать конкуренцию соединен был с известной жертвой, нежелательной для византийских государственных людей. Они нашли более удобным избавиться от конкуренции, применив ничего не стоившее казне, хотя сопряженное с величайшими потерями для производительных сил страны и с уроном для торгового сословия, средство, а именно, подвергнув ограничению свободную торговлю хлебом и сделав государство единственным, или, по крайней мере, первым посредствующим агентом между производителями и потребителями. Так явилась монополия, процветавшая уже в VI в., при Юстиниане I. Из показаний Прокопия,[4] за устранением

[1] *Attal.*, 278.

[2] *Attal.*, 260 (*Glyc.*, 615).

[3] *Attal.*, 277, 279.

[4] О Юстиниане I Прокопий Кесарийский рассказывает, что он привел в стеснен-
ное положение население столицы тем, что забрал рынок в свои руки, наложил

крайностей, навеянных автору пристрастием, получается вывод, что монополия при Юстиниане касалась главным образом столицы. Относительно столичного населения, пропитываемого и даром, правительство приняло на себя роль хлебного торговца, разумеется, оптового, снабжавшего мелких торговцев хлебным товаром; торговцы не могли покупать хлеб из первых рук, минуя посредничество правительства. Других городов правительственная монополия не касалась, и если был сбываем в некоторые из них хлеб правительством, то в силу особых предписаний, с целью очистки государственных магазинов, или потому, что города терпели недостаток и рады были откуда-нибудь получить хлеб. В промежутке времени между VI и XI столетиями практика, установленная Юстинианом в Константинополе насчет хлебной торговли, продолжала существовать; мы не имеем прямых свидетельств, что монополия оставалась во всей строгости, но встречаем косвенные на то указания: в столице были правительственные хлебные склады, в них производилась продажа, под наблюдением чиновников, по цене, назначенной правительством, и от правительства зависело повысить или понизить рыночную цену на хлеб, что возможно было лишь при том условии, если рыночные торговцы получали свой товар от правительственных агентов.[1]

монополию и цены на жизненные припасы возвысил втрое. Никто не смел покупать хлеб, где хотел, помимо императорских магазинов. Во главе хлебной торговли был поставлен сириец Петр Варсума. Он ежегодно предписывал всем провинциям, главный продукт которых заключается в хлебе, доставлять его в магазины столицы. Цену назначал он сам, и притом весьма низкую; землевладельцы обязаны были причитающуюся долю доставить в Константинополь за собственный счет, никто из них не должен был продавать хлеб кому-нибудь другому, кроме правительства. Иногда случалось, что в накопленных в Константинополе запасах зерна появлялся червь или обнаруживалась гнилость. Но это мало беспокоило сирийца: он предписывал восточным городам Империи, где по причине жары мало родится хлеба, покупать за высокую цену порченное зерно, независимо от того — можно было его потреблять, или нет. Следствием было, что города, принужденные к покупке, высыпали множество мешков этого навязанного им зерна в море или помойные ямы. Если же в том или другом городе наступала дороговизна хлеба, то Варсума продавал залежавшийся хлеб по цене вдвое и втрое превосходившей ту, за которую хлеб куплен. См.: *Procopii*, III, 123–126, 145–146.

[1] Из IX в. известен рассказ о Василии Македонянине, как он однажды, придя в храм св. Апостолов и заметив у некоторых горожан, здесь присутствовавших, печальные и сумрачные лица, приблизился к ним и спросил, какая тому причина. Один горожанин ответил ему: «Тебе, государь, и твоим приближенным можно быть веселыми и радостными, а тем, которые близки к смерти, это не пристало; разве

В XI в. правительственная монополия в Константинополе была ослаблена и, можно даже сказать, совершенно выведена из употребления, если не юридически, то фактически. По крайней мере, в Константинополе не было правительственных складов, где бы хранились хлебные запасы в количестве, удовлетворяющем численности константинопольского населения: когда в 1037 г. столицу постиг голод, правительство оказалось несостоятельным, чтобы помочь нуждавшимся, и должно было закупить партию хлеба в Элладе; равным образом во время голода в столице при Парапинаке у правительства не оказалось средств для прокормления голодающих.[1] Торговля хлебом в столице сделалась свободной и производилась

не знаешь, что по причине жестоких ветров два медимна хлеба продаются за номисму?» Император был потрясен известием до слез, ободрил горожан, а возвратившись во дворец, созвал сановников, заведовавших делами столицы и двора, осыпал их упреками за то, что умолчали перед ним о бесхлебии, и немедленно велел продавать императорский и казенный хлеб по номисме за 12 медимнов. См.: *Cedr.*, II, 373. Из 2-й половины X в. известно, что во время движения в пользу *Никифора Фоки среди константинопольского населения, препозит и паракимомен* Иосиф Бринга, стоявший во главе управления и бывший противником Фоки, грозил жителям таким образом: «Вот я усмирю вашу дерзость и бесстыдство, — устрою так, что за номисму будете покупать хлеба ровно столько, чтобы унести его за пазухой». См.: *Cedr.*, II, 349. О Никифоре Фоке замечено, что нужда народная не производила впечатления как на него, так и на брата его Льва, который, усердно занимаясь торговлей жизненными припасами, был причиной большого зла. При этом рассказывается и анекдот, как граждане посмеялись над любостяжанием братьев. Когда император прибыл к войску с целью заняться его учением, подошел к нему седой старик и пожелал вписаться в реестр стратиотов. Император заметил ему, что он слишком стар, чтобы причисляться к стратиотам, но тот отвечал: «Я теперь гораздо крепче, чем когда находился в цветущем возрасте». На вопрос императора: «Отчего так?» он сказал: «Оттого, что в прежнее время я за одну номисму увозил хлеба на двух ослах, а в твое царствование покупаю хлеба на две номисмы и, унося его на плечах, не чувствую тяжести». Император, прибавляет историк, понял насмешку, но отошел без смущения. См.: *Cedr.*, II, 324. Лев, брат императора Никифора Фоки, состоял в чине куропалата и, оставив военную службу, занялся исключительно финансовыми операциями; народ почувствовал результаты этих операций, потому что повышены были цены на хлеб и на другие жизненные припасы, и в Константинополе потихоньку говорили друг другу: «Царская парочка знает секрет, как переводить деньги из карманов народа в свою мошну». См.: *Leo Diac.*, 64. Перечисленные факты показывают, что торговля хлебом и другими жизненными припасами в IX и X вв. находилась в руках правительства.

[1] См. выше, с. 391–392.

на пристанях и в местах стоянки судов и хлебных барж.[1] Но если столица освобождена была от монополии, зато сделан при Парапинаке опыт введения ее в других местах, между прочим, в городе Редесто. Атталиот рассказывает об этом следующее. В город Редесто приезжали с хлебом и хлеб продавался с возов в монастырских странноприимницах, а также в местах, принадлежавших Великой церкви и многим местным жителям; торговля была свободной и беспрепятственной, составляя источник благосостояния. Первый министр царя, Никифорица, построил вне города магазин-фундак (φούνδακα) и царским указом повелел собираться туда возам. Он установил монополию на самый необходимый предмет потребления, хлеб, который никто не смел покупать в другом месте, кроме фундака. Тогда как прежде желавший купить хлеб полюбовно договаривался с продавцом, если не сходился в одном месте, отправлялся в другое, из другого в третье и купля совершалась прямо с возов; теперь хлеб, ввезенный в ограду фундака, находил в его обитателях многих торговцев, которые скупали и складывали хлеб, приобретая прибыли на одну номисму три номисмы. С возов никто уже не покупал, ни пловец (ναυτικός), сплавлявший хлеб на судне в столицу, ни горожанин, ни селянин, ни иной кто; но покупка производилась у хлеботорговцев фундака, как они хотели и как хотел их начальник, фундакарий, который, притесняя привозивших хлеб, несправедливо отнимая его у них, взыскивая тяжелые пошлины за место (ὑπὲρ τῶν τοπιατικῶν), заставлял их всем этим продавать гораздо дешевле. Благодаря неисправимым злоупотреблениям фундака рушилось прежнее благосостояние городского округа, дошло до того, что за номисму можно было купить только один модий хлеба, тогда как прежде покупалось восемнадцать. Потом привлечены были к этим операциям не только возы с пшеницей, но и с остальными товарами, проезжавшие поблизости. Жителям (ἔποικοι) города Редесто и окрестностей воспрещено было продавать собственные продукты земли в своих домах, отняты были у них медимны и один фундак владел медимнами. Началась неправда, нигде небывалая и невиданная: если открывалось, что кто-нибудь продавал дома хлеб, им же производимый, то он подвергался конфискации и разграблению со стороны начальствовавшего над фундаком, точно вор, или разбойник, или совершивший иное преступление. У фундакария находилось в ведении до ста оценщиков (ταξιῶται), подвергавших многим мучениям несчастных купцов и землевладельцев. Не было никого, кто бы мог противостоять им, так как они были неодолимы, благодаря своей численности и тому, что для своей неудержимой дерзости имели опору во власти

[1] *Psell.*, V, 266.

логофета (Никифорицы). Успевший откупиться от фундака (τὸν φούνδακα μισθωσάμενος) за 60 литр хвастался барышом. Все почувствовали недостаток не только в хлебе, но и в других предметах, поскольку оскудение в хлебе ведет к оскудению в остальном, так как хлеб дает средства приобретать другие товары, и наемники, по причине дороговизны хлеба, стали требовать более высокой наемной платы. Люди благоразумные и близко стоявшие к фундаку понимали его вред и знали, откуда пришла эта страшная и нежеланная гостья — нужда, но неправедное стяжание, точно яд, замаскированный сладостью меда, обольщал правителей.[1] К этому рассказу Атталиота нечего прибавить, кроме разве того, что Редесто был родным городом для историка: там у него было имение, дом и земля,[2] следовательно, новые порядки, введенные Никифорицей, затрагивали и его интересы. Это с одной стороны объясняет, почему историк с таким негодованием сообщает о деле, а с другой — дает основание предполагать, что Редесто был не единственным городом, подвергшимся правительственной монополии. История Редесто выдвинута на сцену по личным побуждениям историка, потому что происходившее здесь он видел собственными глазами и на себе испытывал тягости; но для первого министра императора Парапинака не было никаких побуждений посвящать исключительное внимание городу Редесто, когда и другие города по экономическим условиям не уступали ему, ограничивать свою хлебную монополию одним этим городом, когда и другие города могли быть ей подчинены и приносить казне неменьшие доходы. Хлебная монополия, одинаково подрывавшая благосостояние и земледельческих, и промышленных классов, была ненавистна народу и держалась только страхом населения перед византийской администрацией.[3]

Кроме двух указанных, был еще один источник восполнения казны — чеканка низкопробной монеты. Выпуск в обращение низкопробных или легковесных (так, чтобы из литры выходило более 72) номисм практиковался изредка в Византийской империи, как крайнее средство против истощения государственного казначейства, и средство, нужно прибавить, в высшей степени опасное, потому что византийский народ был весьма чувствителен к этого рода злоупотреблению. Из государей нашего периода это средство применено было последним, Никифором Вотаниатом,

[1] *Attal.*, 201–204 (*Scyl.*, 714; *Glyc.*, 614).

[2] *Attal.*, 249.

[3] Поэтому, когда восстал против Парапинака Вриенний и многие жители Редесто приняли сторону претендента, первым делом их было напасть на фундак и разрушить его до основания. *Attal.*, 248–249. См. выше, с. 236.

который отчеканил золотые номисмы с такой массой лигатуры, что золото казалось похожим скорее на серебро.[1]

Стоит вспомнить хронологические даты применения экстренных источников дохода, чтобы прийти к правдоподобному выводу об общем состоянии византийских финансов. С Константина Мономаха практикуется отчуждение в казну частных и церковных имуществ, в дополнение к этому при Михаиле Парапинаке вводится правительственная монополия торговли хлебом, наконец при Никифоре Вотаниате пускается в обращение низкопробная золотая монета. Таким образом, чем дальше, тем большим числом экстренных источников необходимо было пользоваться для того, чтобы государственные доходы уравновешивали расходы. Это обстоятельство, очевидно, находится в связи с тем, что государственные доходы, выручаемые с помощью ординарного источника, податных сборов, оскудевали, между тем государственные расходы не уменьшались. Оскудение податных сборов было естественным результатом территориальных потерь, которые Византия понесла на Западе от норманнов и на Востоке от турок — особенно от последних. Одновременного же уменьшения государственных расходов не могло последовать, потому что эти расходы по своему свойству мало зависели от внешней пространственности Империи, так что сокращение пределов не влекло к сокращению расходов, или если влекло, то в самой незначительной степени.

В ряду расходов первое место занимали расходы на содержание императорского двора, на удовлетворение потребностей, желаний и прихотей императоров. Размер расходов по этой статье обусловливался личными склонностями и слабостями императоров, степенью их щедрости и расточительности, а также степенью жадности императорских фаворитов и фавориток, родственников и приближенных. В этом отношении благоприятным временем можно считать время от смерти Константина Мономаха до вступления на престол Михаила Парапинака (1055–1071), когда государи по своим личным качествам не были разорительны для государства: императрица Феодора была бережлива до скупости; император Константин Дука представлял много общего с ней и также неохотно расставался с деньгами; Михаил Стратиотик тоже не был щедр, а главное — был слишком стар, чтобы много расходовать на собственные удовольствия; императоры Исаак Комнин и Роман Диоген были слишком серьезные люди, чтобы много заботиться о внешнем блеске своего двора

[1] *Bryenn.*, 129: τὸ νόμισμα κεκιβδήλευτο (монеты стали поддельными); *Saulcy.* Essai de classification des suites monetaires Byzantines, 316; *Ducange.* Fam. Byz., 159.

и истощаться в расходах на нужды, несущественные для истинных интересов государства. Но все остальное время, от вступления на престол Константина VIII до смерти Мономаха (1025–1055), равно как от вступления на престол Парапинака до низвержения Вотаниата (1071–1081), было временем, дорого стоившим государству. Константин VIII отличался расточительностью и сыпал деньгами на собственные утехи и на подарки любимцам; особенно много пользовались его щедростью слуги, получившие воспитание вместе с Константином и сроднившиеся с ним: царь обильно наделял их золотом, и они увозили целые возы, нагруженные деньгами.[1] Дочь Константина VIII, Зоя, расточительностью не уступала отцу и, когда могла, проявляла ее самым бесцеремонным образом, «не только раскрывала источники царских сокровищ, но если где скрывалась в них какая-нибудь струя — и ту выливала прочь».[2] Первый муж Зои, Роман Аргир, отличался, между прочим, слабостью к сооружениям, заботился об улучшении водопроводов, восстановлении пострадавших от землетрясения приютов для призрения сирот, увечных и прокаженных;[3] свое честолюбие он вложил в постройку храма с монастырем, Перивлепта, которую историки единогласно называют источником величайших издержек и истощения казны, так как Роман ничего не щадил для своего предприятия и хлопотал о том, чтобы оно поражало грандиозностью.[4] Второй муж Зои, Михаил Пафлагон, тоже истратил немало денег на сооружение блестящего храма и монастыря св. Бессребренников, а еще более на построение птохотрофия, Магдалинского убежища и на вклады в монастыри, сделанные под влиянием болезни и в надежде избавиться от нее.[5] К расходам, которые производил император с благочестивой целью, присоединилось хищничество его братьев, грабивших казну под прикрытием Иоанна Орфанотрофа.[6] Третий муж Зои, Константин Мономах, превзошел первых двух. Сооружение новых зданий и перестройка старых было его слабостью, к тому же все делалось на широкую ногу: холмы выравнивались, насаждались рощи, разводились сады, рылись пруды, реки направлялись по новому руслу. Храм и монастырь св. великомученика Георгия были венцом его подвигов на этом поприще; денег израсходовано на них без счета, и историки довольно резко отзываются об этом разорительном

[1] *Psell.*, IV, 25; *Zon.*, IV, 126.
[2] *Psell.*, IV, 107.
[3] *Cedr.*, II, 504.
[4] *Psell.*, IV, 38–39; *Cedr.*, II, 497; **Zon.**, IV, **131** (*Ephr.*, **130**).
[5] *Psell.*, IV, 64, 67.
[6] *Psell.*, IV, 55 (*Zon.*, IV, 143).

для государственного казначейства предприятии императора.[1] Но и это предприятие бледнело перед императорской щедростью к любимцам и любимицам. Он умел одаривать по-царски;[2] щедродательность его, по выражению приверженного к нему писателя, была подобна Атлантическому океану и рекам, текущим из Эдема; открыв раз сокровищницы, он уже не закрывал их и не возбранял из них черпать, так что, казалось, намерением его было не оставить в них и капли.[3] Особенно истощаема была казна в угоду любовницам, сначала Склирене, потом аланке. Мономах, заметив, например, во дворце изящной отделки медный кувшин, изукрашенный снаружи рисунками и резьбой, тотчас приказывал наполнить его золотыми монетами и отправлял в подарок Склирене, и подобные подарки делались не изредка, но беспрерывно — один за другим; Склирена же благосклонно все принимала, будучи жадна к деньгам.[4] К аланке, сменившей Склирену после ее смерти, тоже потекли золотые реки: одно тратилось на удовлетворение ее капризов в Византии, другое увозилось на ее родину; земля алан наполнилась греческим добром, корабли постоянно приходили в Византию и уходили обратно в страну варваров, нагруженные ценными предметами, какие отыскивались в греческой столице, — в течении года дважды и трижды посещали аланку ее родичи и каждый раз возвращались богато одаренные императором.[5] Михаил Парапинак по личным качествам едва ли может быть причислен к расточительным государям, скорее он обладал противоположным свойством, бывшим фамильной его особенностью. Но жадность и ненасытность его первого министра, Никифорицы, восполнила отсутствие в императоре расточительности; монастырь Эвдома, который был получен Никифорицей в дар и на который он записывал все свои новые приобретения,[6] поглотил немалую часть государственного достояния. Наконец, Никифор Вотаниат изображается у историков как воплощение щедрости; волны, которые катит Нил, не могли, по напыщенному выражению Атталиота, сравняться с обилием его щедрот, бедным подарком считалось 15 литр деньгами и недвижимость в 100 литр, все только удивлялись, откуда берутся деньги и как средства казначейства могут выдер-

[1] *Psell.*, IV, 186–188, 191; V, 113 (*Man.*, 226); *Attal.*, 48; *Cedr.*, II, 608 (*Zon.*, IV, 178; *Glyc.*, 597–598; *Ephr.*, 137–138).

[2] *Attal.*, 47: δωρηματικός τε καὶ βασιλικῶς εὐεργετεῖν ἐπιστάμενος (<он был> щедр и умел творить благодеяния по-царски).

[3] *Psell.*, V, 110. 137; IV, 117.

[4] *Psell.*, IV, 128, 131 (*Zon.*, IV, 159).

[5] *Psell.*, IV, 178.

[6] *Attal.*, 201.

живать такую щедрость.[1] Первый министр Вотаниата, монах Михаил из Никомидии, восстал против такой расточительности и через это нажил себе много врагов в среде придворных;[2] впрочем, сама казна предъявила красноречивый протест, — она вдруг оказалась пустой и щедрый Вотаниат не в состоянии был производить регулярных государственных расходов.[3]

Кроме денег, которые шли на содержание двора, а также расходовались по личному усмотрению императоров (нося в последнем случае характер расходов случайных), были еще регулярные расходы на государственные нужды и потребности. Сюда принадлежали прежде всего расходы на жалованье должностным лицам и на раздачу руги чиновникам. Это была обязательная и весьма значительная[4] статья в государственном бюджете. Далее следовали расходы по содержанию войска. Размер расходов по этой статье мог, разумеется, колебаться, смотря по заботливости того или другого императора о военном деле: один мог обращать больше внимания на содержание армии в должном порядке и надлежащем числе, расходовать в силу того больше денег на этот предмет, другой — меньше. Но в результате итог сбережений императоров, пренебрегавших войском, не мог быть велик, так как сбережение в одном отношении неминуемо влекло излишнюю трату в другом. Император, не заботившийся об армии, которая могла бы отразить неприятеля, в случае его нападения, должен был позаботиться о том, чтобы предотвратить самое нападение. С этой целью посылались подарки народам, от которых грозила опасность, на задабривание врагов тратилась сумма, которая должна была идти на содержание войска. Такой политики задабривания врагов держались Константин VIII[5] и Константин X Дука[6] — оба мало

---

[1] *Attal.*, 273–274; *Bryenn.*, 128–129.

[2] *Attal.*, 296–297.

[3] *Bryenn.*, 129.

[4] Вспомним, что руга низшего сенаторского чина, протоспафария, была одна литра (72 номисмы), что над этим чином стояло не менее 15-и сенаторских степеней (светских и духовных), что всех сенаторов было более тысячи человек, что руга номофилакса равнялась четырем литрам и т. д. Все это может дать приблизительное понятие об итоге расхода по этой статье.

[5] *Psell.*, IV, 24: τὸ μὲν πέριξ βαρβαρικὸν ὑποκινούμενον καθ' ἡμῶν ἀξιώμασιν ἀνεῖργε καὶ δωρεαῖς (Когда соседние варварские народы восставали против нас, он сдерживал их почестями и дарами).

[6] *Psell.*, IV, 265: μὴ πολέμοις τὰ περὶ τῶν ἐθνων διατίθεσθαι, ἀλλὰ δώρων ἀποσταλαῖς καὶ τισιν ἑτέραις φιλοφροσύναις, ἵνα μήτε τὰ πλείω καταναλίσκοι τοῖς στρατιώταις (Он не вел войн с народами, а посылал дары и оказывал разные другие милости, дабы не тратить еще больше денег на содержание войска).

заботившиеся о войске и не желавшие много тратить на его содержание. Вопрос о расходах на войско и о причинах увеличения этих расходов выяснится сам собой при ближайшем ознакомлении с военным устройством и с составом византийского войска, что составит предмет дальнейшего нашего изложения.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Е. Лебедева. К истории изучения творческой биографии Н. А. Скабалановича 5

Научная разработка византийской истории XI в. (Речь, произнесенная доцентом Н. А. Скабалановичем 18 мая 1884 г. перед публичной защитой диссертации на степень доктора богословия под заглавием «Византийское государство и Церковь в XI в.») 25

Н. А. Скабаланович. Византийское государство и Церковь в XI в. от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина 40

Глава первая 120
Глава вторая 192
Глава третья 257
Глава четвертая 315
Глава пятая 368
Глава шестая 409

Научное издание

Николай Афанасьевич Скабаланович

ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В XI в.
От смерти Василия II Болгаробойцы
до воцарения Алексея I Комнина
Книга I

Директор издательства: *О. Л. Абышко*
Редактор: *Л. А. Абышко*
Перевод греческих и латинских цитат в тексте книги: *Д. А. Черноглазов*
Художественное оформление: *А. Б. Левкина*
Компьютерный набор: *Е. А. Хошимова*
Оригинал-макет: *Ю. В. Никитина*

Издательство Олега Абышко,
198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 37–1–71

По вопросам реализации книги обращаться:
в Санкт-Петербурге
Центр Православной книги «КИФА»
Тел. (812) 468–2325, факс (812) 230–7801
E-mail: KIFAKNIGA@yandex.ru
ИТД «Летний Сад»
Тел. (812) 232–2104; e-mail: letsad@mail.wplus.net
ООО «Университетская книга»
Тел. (812) 323–5495; e-mail: ukniga@sp.ru

в Москве
ИТД ГК «Гнозис»
Тел. (095) 247–1757; e-mail: gnosis@pochta.ru
ИТД «Летний Сад»
Тел. (095) 202–5409; e-mail: letsad@aha.ru

Для заказа книг «Издательства Олега Абышко» (СПб.)
по почте пишите по адресу:
198020, Санкт-Петербург, Старопетергофский пр., д. 28, кв. 152.
Свои предложения и замечания можно отправить по e-mail:
nikita2712@pochta.ru

Подписано в печать 24.09.2004. Формат 60×88 1/16.
28 печ. л. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 3567

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография "Наука"»,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12

В составе серии «Библиотека христианской мысли», издаваемой «Издательством Олега Абышко», в 2002–2004 гг. вышли следующие книги:

1. *Е. В. Афонасин.* В начале было... (Античный гностицизм в свидетельствах христианских апологетов);
2. *Св. Дионисий Ареопагит.* Полный корпус сочинений с толкованиями преп. Максима Исповедника (с параллельными греческими текстами. Перевод с греч. и вступ. ст. Г. М. Прохорова);
3. *А. Х. Армстронг.* Истоки христианского богословия. Введение в античную философию (перевод с англ. В. А. Самойлова);
4. Энциклопедия русского игумена XIV–XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского (издание подготовил Г. М. Прохоров);
5. *Климент Александрийский.* Строматы: В 3 т. Книги I–III (с приложением греческих текстов. Издание подготовил Е. В. Афонасин);
6. *Климент Александрийский.* Строматы: В 3 т. Книги IV–V (с приложением греческих текстов. Издание подготовил Е. В. Афонасин);
7. *Климент Александрийский.* Строматы: В 3 т. Книги VI–VII (с приложением греческих текстов. Издание подготовил Е. В. Афонасин);
8. Россия и Православный Восток. Константинопольский патриархат в конце XIX в. Письма Г. П. Беглери к проф. И. Е. Троицкому 1878–1898 гг. (издание подготовила Л. А. Герд);
9. *Д. И. Макаров.* Антропология и космология св. Григория Паламы (на примере гомилий);
10. *И. И. Соколов.* Состояние монашества в Византийской Церкви с середины IX до начала XIII века (842–1204). Опыт церковно-исторического исследования;
11. *И. И. Соколов.* Избрание патриархов в Византии. Вселенские судьи в Византии. О византинизме в церковно-историческом отношении;
12. *И. И. Соколов.* Избрание архиереев в Византии IX–XV вв. (Историко-правовой очерк). Избрание патриархов Александрийской церкви в XVIII и XIX столетиях (вступительная статья В. Цыпина);
13. *И. И. Соколов.* Свт. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, его труды и учение об исихии. Никифор Влеммид, византийский ученый и церковный деятель XIII в. Церковная политика византийского императора Исаака II Ангела (вступительная статья А. В. Маркидонова);

14. *А. В. Петров*. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы. К изучению древнерусского вечевого уклада;
15. *А. П. Лебедев*. Духовенство древней Вселенской Церкви;
16. *А. П. Лебедев*. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском мире при Константине Великом;
17. *А. П. Лебедев*. Очерки внутренней истории Византийско-Восточной церкви в IX, X и XI веках;
18. *А. П. Лебедев*. Исторические очерки состояния Византийско-Восточной церкви от конца XI до середины XV века;
19. *А. П. Лебедев*. История разделения Церквей в IX, X и XI веках;
20. *А. П. Лебедев*. Вселенские соборы IV и V веков. Обзор их догматической деятельности в связи с направлениями школ Александрийской и Антиохийской;
21. *А. П. Лебедев*. История Вселенских соборов VI, VII и VIII веков. С «Приложениями» к истории Вселенских соборов;
22. *А. П. Лебедев*. Церковно-исторические повествования общедоступного содержания и изложения: Из давних времен христианской Церкви;
23. *А. П. Лебедев*. История Греко-Восточной церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени: В 2 кн. Книга I;
24. *А. П. Лебедев*. История Греко-Восточной церкви под властью турок. От падения Констатинополя (в 1453 году) до настоящего времени: В 2 кн. Книга II;
25. *А. П. Лебедев*. Из истории Вселенских соборов IV и V веков. Полемика А. П. Лебедева с прот. А. М. Иванцовым-Платоновым;
26. *А. П. Лебедев*. Братья Господни: Исследования по истории древней Церкви;
27. *А. П. Лебедев*. Споры об Апостольском символе. История догматов: Исследования по истории древней Церкви;
28. *А. П. Лебедев*. Христианский мир и эллино-римская цивилизация: Исследования по истории древней Церкви;
29. *Павел Орозий*. История против язычников. Книги I–VII (Перевод с латинского, комментарий и указатель В. М. Тюленева);
30. *Н. А. Скабаланович*. Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина: В 2-х кн. Книга I (Вступительная статья Г. Е. Лебедевой);
31. *Н. А. Скабаланович*. Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина: В 2-х кн. Книга II;
32. *Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс*. О душе (Перевод с латинского, вступительная статья, комментарии и указатель А. Ю. Братухина).

издательство
олега абышко

исследования

Се бо и́стину возлюби́л еси́,
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея яви́л ми еси...
Слу́ху моему́ да́си радость и весе́лие,
возра́дуются ко́сти смире́нныя.
Отврати́ лице́ Твое от грех моих
и вся беззако́ния моя очи́сти.
Сердце чи́сто созижди́ во мне, Боже,
и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Не отве́ржи мене́ от лица Твоего...
и Духом Влады́чним утверди́ мя...
Же́ртва Богу дух сокруше́н:
сердце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.

Псалом 50, стихи 8, 10-14

Серия основана в 2002 г.

Н. А. СКАБАЛАНОВИЧ

ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В XI в.

От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина

Книга II

Научное издание

издательство
олега абышко

Санкт-Петербург
2004

УДК 27-9:949.502«10»
ББК 63.3(0)4+86.2
С42

Скабаланович Н. А.

С42 Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина: В 2-х кн. Кн. II. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2004. — 416 с. — (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»).

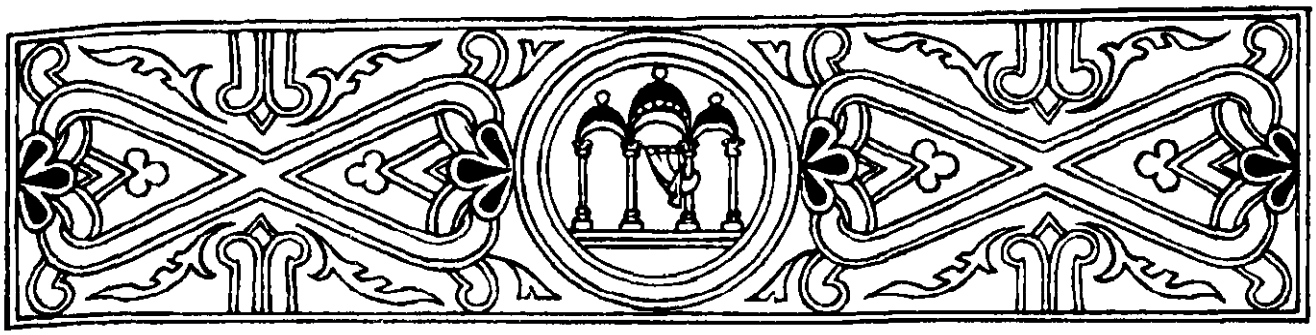
ISBN 5-89740-108-6

Николай Афанасьевич Скабаланович (1848–1918) — профессор общей и церковной истории Санкт-Петербургской Духовной академии, доктор богословия, один из самых талантливых русских церковных историков. Его основополагающая работа «Византийское государство и Церковь...» — это настоящая энциклопедия по Византии, непревзойденный во многих отношениях даже по настоящее время научный труд, в том числе и по своим литературным достоинствам. В приложении даются статьи «Византийская наука и школы в XI в.», «О нравах византийского общества в Средние века», «Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии» и другие, позволяющие с большей полнотой и вниманием остановиться на конкретных вопросах как внутренней истории Византийской империи в целом, так и истории Византийско-Восточной церкви в частности.

Для всех интересующихся историей Церкви и историческими судьбами Православия.

ISBN 5-89740-108-6

© «Издательство Олега Абышко»,
подготовка текста к изданию,
художественное оформление, 2004



Глава седьмая

Исходной точкой отправления для византийского военного устройства были воинские участки (στρατιωτικὰ κτήματα, τόπια). Нести военную службу обязаны были не все подданные Империи, но только те, которые владели воинскими участками. Владея этими участками, они были свободны от некоторых государственных повинностей, взамен которых отправляли военную повинность. Участки и лица, ими владевшие, занесены были в особые военные реестры (каталоги) и только те, которые значились в реестре, призывались к оружию. Участки передавались по наследству от родителей к детям; военное звание было поэтому наследственным. Существовало особое сословие стратиотов, выделявшееся из массы остальных граждан и относившееся к последним с некоторым пренебрежением;[1] дети стратиотов с малых лет приучались к своей профессии[2], и для византийца показалось бы странным, если бы привлечены были к военной службе лица, не записанные в реестры и не происходящие от стратиотов.[3] Только в случае крайности брались за оружие и не исконные стратиоты,[4] но делали это по доброй воле, а не в силу обязанности. От существовавшей некогда общеобязательности военной службы осталась одна тень, смутное воспоминание, которое если еще применялось на практике, то не иначе, как при посредстве тех же воинских участков, этого неизбежного и первого звена в цепи военного устройства: воспоминание обнаруживалось в том, что правительство могло

---

[1] *Attal.*, 236.

[2] *Cedr.*, II, 612, 619.

[3] *Psell.*, IV, 431: ἄτοπον μὲν γὰρ ἡγεῖτο ἐπὶ μὲν τῶν στρατιωτικῶν καταλόγων μὴ τοὺς ἐκ πατέρων στρατηγικῶν ἢ ἄλλως ἀρχικῶν, ἢ τὸ κοινὸν δὴ τοῦτο στρατιωτῶν ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἄλλως ἀναφανέντων πρὸς ταῦτα ἐπιτηδείων καταλέγειν εἰς τὰ πολέμια (Он считал странным, что в войско зачисляются не только дети военачальников или других архонтов, но и люди, проявившие себя как достойные воины...).

[4] Например, горожане во время осады Византии Торником или Алексеем Комнином. См. выше, кн. I, с. 183 и сл., кн. I, с. 254 и сл. *Zon.*, IV, 233.

обыкновенные крестьянские участки вписать в военный реестр, превратить в участки воинские и таким образом подчинить крестьян, уже как владельцев не простых, но воинских участков, обязанности военной службы.

Происхождение воинских участков можно ставить в связь с существовавшим в Римской империи обычаем раздавать землю в пограничных округах ветеранам и солдатам, равно как и чуждым народностям, с обязательством охранять за это границу, передавая обязательство и детям. Обычай этот следует отличать от обычая выведения (deductio) колоний, составлявшего способ вознаграждения за службу (praemia militiae) ветеранов по выходе их в отставку, наряду с другим способом вознаграждения деньгами (тоже praemia militiae) из специальной войсковой кассы (aerarium militare). Практика выведения колоний стала приходить в упадок и смысл ее стал уже затемняться[1] к тому времени, когда обычай пограничных наделов начал входить в употребление. Первые указания на существование этого обычая относятся к первой половине III в. Лампридий[2] сообщает об Александре Севере (222–235), что он земли, отнятые у неприятелей, отдал пограничным солдатам и их вождям, с тем, чтобы они и их наследники несли военную службу и чтобы земли не отчуждались частным лицам, — император говорил, что солдаты будут лучше сражаться, защищая собственные свои поля; он наделил их скотом и рабами, дабы поля обрабатывались, а не лежали впусте. Этих солдат Лампридий называет пограничными — limitanei. В другом памятнике, нижнепаннонской надписи[3] от первой половины III в., поселенцы называются «замковыми солдатами» — milites castellani — и тоже говорится об обязательности военной службы не только для солдат, получивших наделы, но и для их детей.[4] К тому же приблизительно времени можно относить распро-

---

[1] См. статью *Кулаковского* «Praemia militiae в связи с вопросом о наделе ветеранов землей»//Ж. М. Н. Пр., 1880, CCX, 265–300.

[2] Script. hist. Aug. Vit. Alex., c. 58.

[3] Издана *Моммзеном*. Archäologische Mittheilungen aus Oesterreich. 1879, Lief. I.

[4] In provincia probatis filiis ex se procreatis. По свидетельству надписи, наделы в Нижней Паннонии получили ветераны не легионов, но когорт, каковым именем обозначались некогда отряды вспомогательных войск, набиравшихся среди варваров. Здесь можно было бы видеть указание на военные варварские поселения в III в., если бы не обстоятельство, заставляющее отнестись к этому термину (cohors, cohortales) с осторожностью, а именно, что со времени распространения прав гражданства на всех свободно рожденных подданных Римской империи различие между легионерами (из римских граждан) и ауксилиариями (из варваров) стало исчезать, и слово auxilia (с частнейшими понятиями cohortes et alae — пешие и конные

странение обычая на варваров, хотя термин gentiles, употреблявшийся для обозначения варваров, поселенных на пограничных римских землях, с обязательством военной службы, впервые попадается в императорском указе от 409 г.[1] Поселение солдат в пограничных областях, с обязанностью наследственной военной службы и запрещением отчуждать наделы в частные руки, делается, начиная с III в., обычным явлением. Во второй половине III в. отводил солдатам на этих условиях земли император Проб (276–282);[2] в IV–VI вв. условия сформулированы законодательным образом: в законах, вошедших в кодексы Феодосия и Юстиниана, подтверждается обязательность военной службы для детей солдат с воспрещением им предаваться другим занятиям;[3] преследуется отчуждение наделов частным лицам; посторонним людям (homines conditionis privatae), которые завладели наделами, повелевается, под страхом уголовного взыскания и конфискации имущества, возвратить их без всякого вознаграждения пограничным солдатам (militibus limitaneis, castellanis).[4] Достойно внимания, что закон поощряет ветеранов к поселению на необработанных и никому не принадлежащих землях, не делая различия между землями пограничными и внутренними, обещая поселенцам свободу от налогов[5] и субсидию на обзаведение, состоящую из денег, упряжных волов и семян для посева. Этим узаконением сделан был шаг к распространению практики, существовавшей в пограничных областях, на остальные области Империи.

Славянские поселения и соединенные с вторжениями славян перевороты скорее могли содействовать, чем препятствовать развитию воинских участков. Количество пустых, никому не принадлежащих земель возросло, и если уже в V в. заботились о поселении на таких землях воинов, то тем более должны были прилагать к тому заботы впоследствии такие

отряды) стало обозначать лишь более подвижную часть армии, в противоположность к крупным единицам, каковы были легионы (позднее numeri). Нельзя поэтому считать milites castellani поселенцами из варваров.

[1] Cod. Theod., VII. Так как наделы, для обозначения которых термин употреблен, названы при этом старинным учреждением (antiquorum humana provisione), то происхождение его, равно как и самого предмета, им обозначаемого, по праву может быть отодвинуто в предшествующие столетия.

[2] Script. hist. Aug., V. Probi, c. 16.

[3] Cod. Theod., VII, 21, 4, 7, 9.

[4] Cod. Theod., VII, 15, 2; Cod. Justin., XI, 60, 3.

[5] Terras habeant immunes, nullum ex his agris stipendium nullamque annuam praestationem (Пусть их земли будут свободны от податей, и пусть они не уплачивают с них никакого налога и никаких ежегодных податей): Cod. Theod., 20, 3, 8.

императоры, как Лев Исавр или Василий Македонянин. Во всяком случае общинное устройство, выросшее в Византийской империи на местах славянских поселений и под влиянием славян, представило готовую схему, под которую подведена была организация воинских участков с теми началами (наследственной военной службы, неотчуждаемости в частные руки и некоторыми привилегиями), с какими являются воинские наделы III–VI вв.[1] В X в. существуют стратиотские домы (οἶκοι στρατιωτικοί) — наследственное военное сословие, владеющее участками и обязанное за них военной службой; в числе принадлежащих к этому сословию отличаются убогие, крестьянские общины, в целом составе или в части, и властели, выступающие обыкновенно в качестве офицеров; определен нормальный размер воинского участка, обязывающего к личной службе, участок в 4–5 литр обязывает лично нести верховую службу (καβαλλαρικὸς στρατιώτης), участок в 2–4 литры сопряжен с обязанностью личной службы во флоте (βασιλικὸς πλόϊμος), владеющие участками меньшей стоимости делают складчину (συνδόται) и на общий счет снаряжают стратиота; за отправление военной службы стратиоты пользуются некоторыми привилегиями, а именно: освобождены от натуральных повинностей, градостроения, ямщины и др., должны только вносить подати поземельную и поголовную, при взимании которых сборщики позволяли себе также теснить стратиотов, как они теснили обыкновенных податных крестьян; стратиотские участки запрещено отчуждать в частные руки, они должны переходить к наследникам, причем правом предпочтения пользуются прежде всего ближайшие родственники, затем родственники более отдаленные, за ними складчики, за складчиками стратиоты соплательщики (συντελεσταὶ

[1] Мы объединяем взгляд о происхождении военно-поместного землевладения от римских terrae limitaneae vel castellorum (*Васильевский* / /Ж. М. Н. Пр., 1879, CCII, 171) со взглядом, отрицающим римское происхождение учреждения и производящим его из общинных земель (*Успенский* / /Ж. М. Н. Пр., 1883, CCXXV, 324–326). Взгляд *Гфрёрера* (III, 296–404), считающего систему воинских участков учреждением Василия Македонянина, создавшего будто бы крестьян-ленников и давшего им предводителей из местного дворянства, представляется необоснованной гипотезой. Ученый, хвалящийся своей прозорливостью, помогшей отгадать то, чего, по его словам, не знал Константин Багрянородный, питает слишком смелую уверенность, полагая, что выражения новеллы Василия II от 996 г. о том, что 100 и 120 лет прошло, как Фоки и Малеины вкушают плоды своих неправд, достаточно, чтобы с помощью простого вычитания открыть виновника системы — Василия Македонянина. Фокиды и Малеины могут усиливаться за счет воинских участков и вообще крестьянских наделов, но между их усилением и *происхождением* участков нет связи.

στρατιῶται), наконец соплательщики-нестратиоты (πολιτικοὶ συντελεσταί), т. е. члены той же крестьянской общины или того же податного тягла, только не записанные в военные реестры.[1]

Судьба воинских участков неразрывно связана с судьбой крестьянского землевладения. Подобно тому как крестьянские земли подвергались опасности поглощения крупной поземельной собственностью и властели всеми правдами и неправдами усиливались обогатиться за счет убогих; точно так же опасность грозила и землям убогих стратиотов — и они, под давлением властелей (как богатых стратиотов, так и лиц, не принадлежавших к стратиотскому сословию), переходили во власть этих последних. Императоры X в., охранявшие по финансовым расчетам убогих и их земли от притязаний властелей, тем более имели побуждений охранять стратиотов и их участки, так как стратиоты представляли не только податную, но и военную силу, и от их положения находились в зависимости интересы государства не только финансовые, но и политические. Роман Лекапин, Константин Багрянородный, Роман II и Никифор Фока рядом новелл старались утвердить прочность и ненарушимость воинских участков: принцип, который ими проводится — неотчуждаемость участков, особенно людям посторонним, непричастным военной службе, — представляет воспроизведение того, что читаем в кодексах Феодосия и Юстиниана, — в новеллах X в. он только развит подробнее и видоизменен в частностях. В новелле Романа Лекапина от 922 г. предписывается, чтобы воинские участки, отчужденные каким-либо способом в продолжение последних тридцати лет или же имеющие впредь быть отчужденными, были без всякого вознаграждения возвращаемы на дело отбывания военной службы, если только после отчуждения не осталось у стратиота достаточно для воинского участка; насколько оказывается в этом отношении недостаток, настолько признается недействительным отчуждение.[2] Новелла Константина Багрянородного о стратиотах, составленная патрицием Феодором Декаполитом (945–959), развивает и дополняет положения предшествующей новеллы. В ней срок давности для бесспорного владения приобретенными воинскими участками распространен с 30 лет на 40, определен минимум стратиотских участков (4 литры конных и 2 литры морских) и определено, как следует поступать с той недвижимостью, которая не выступает за минимальную норму, и как с той,

[1] *Leonis Philos.* Tactica, XX, § 71; *Constant. Porphyr.*, I, 695–696; *Zachariae*, III, 264–265; De velitatione bellica *Nicephorae Phocae*, 239–240 (*Leo Diac.*, ed. Bonn.).

[2] *Zachariae*, III, 241.

которая оказывается сверх нормы: недвижимость, не превосходящая 4 литр (стратиота-всадника) или 2 (стратиота-моряка), ни в каком случае не может быть отчуждаема, но должна передаваться по наследству по правилам предпочтения, а недвижимость, остающаяся у стратиота сверх этой нормы, — если она записана в военный реестр, тоже не может быть отчуждаема, если же в реестр не записана и составляет самостоятельный участок стратиота, помимо военного надела, то может быть отчуждаема, за исключением того случая, когда участок, записанный в реестр, ценностью не доходит до нормы, — тогда недостающее отчисляется от самостоятельного участка, приписывается к участку воинскому и отчуждаемо может быть только то, что остается после отчисления; отчужденное до издания новеллы неправильно, т. е. из того, что записано в военный реестр, или из того, что хотя не записано, но должно идти на восполнение воинского участка до его законной нормы, возвращается назад без всякого вознаграждения, покупатель не может заводить и речь об уплаченных им деньгах, если он властель или богатый стратиот и купил участок у бедного стратиота, если же покупатель — бедный стратиот, купивший участок у стратиота богатого, то он получает обратно заплаченные деньги или удерживает за собой купленное.[1] Последний пункт был потом изменен Константином Багрянородным. По просьбе властелей (архонтов) военного сословия он издал новеллу, до нас не дошедшую, о том, чтобы не только убогие, при отнятии купленных ими в 928–945 гг. у богатых стратиотов участков, имели право на возврат заплаченных денег, но чтобы это право имели и властели, при отнятии купленных ими в тот же период времени у бедных стратиотов участков; при этом разрешено убогим выплачивать деньги в рассрочку в пятилетний срок. Две новеллы Романа II Младшего, нисколько не ослабляя строгости предписаний Константина Багрянородного, только разъясняют частные пункты, а именно: новелла о стратиотах или решение на доклад областного судьи, объявленное магистром Феодором Декаполитом (959–963), вызвана затруднениями, встретившимися по применению на практике правила о возврате убогими покупных денег в рассрочку и, подтверждая безденежное возвращение участков, приобретенных после 945 г., определяет, какие сделки могут быть допускаемы для облегчения сторон относительно участков, отчужденных в 928–945 гг.;[2] отрывок же из эдикта, провозглашенного к находящимся во Фракисийской феме, от 962 г., точнее определяет случаи, когда покупатель воинского участка, сверх безденежного отобрания

[1] *Zachar.*, III, 261–266.
[2] *Zachar.*, III, 281–284.

его, подлежит еще денежной пене в пользу казны за недобросовестное приобретение.[1] Император Никифор Фока своей новеллой о стратиотах, продавших поместья и потом снова их отыскивающих (963–969), внес то изменение в военное законодательство, что нормальную стоимость воинского участка, во внимание к введению нового тяжелого вооружения, определил в 12 литр, и дозволив относительно прежнего времени, до издания новеллы, руководствоваться старой нормой, т. е. воинские участки ценностью менее 4 литр возвращать безденежно, а недвижимые имения, превосходящие эту норму, возвращать с уплатой внесенной за них цены; относительно же будущего времени узаконил, чтобы в случае продажи недвижимого имущества, не превосходящего ценностью 12 литр, оно было возвращаемо стратиоту безденежно, и только в случае продажи излишка против 12 литр, чтобы стратиот, отыскивающий проданное обратно, возмещал полученную при продаже сумму.[2] Государство, ограждавшее стратиотские участки от захвата властелями, позаботилось обеспечить их неприкосновенность со стороны фиска и суда, ставя в этом случае интерес военный не ниже фискального. В новелле Константина Багрянородного есть, между прочим, статья, воспрещающая казне продавать участки стратиотов за долг, так как, по выражению новеллы, государство не должно следовать обычаю медведей, которые, будучи мучимы голодом, сосут свою лапу, а стратиоты не что иное, как руки в государстве;[3] в новелле же, обыкновенно приписываемой Никифору Фоке, изданной в разрешение доклада об армянах и иных подвергшихся обвинению в убийстве, воспрещается употреблять воинский участок стратиота, обвиненного в убийстве, на удовлетворение (παραμυθία) сыновей или родственников убитого.[4]

В таком виде законодательство о воинских участках перешло из X в XI в. От XI в. не сохранилось юридических данных, указывающих на какое-нибудь изменение в этом отношении. Те фактические данные, какие мы имеем от того времени о наследственности военного сословия, внесении стратиотов в военные реестры, дают право заключать, что принципы, развитые в новеллах X в., оставались во всей силе и в XI в. В том же убеждает нас и судебная практика XI в., Πεῖρα. К сожалению, именно 70-й титул этого сборника, в котором, судя по оглавлению, речь должна идти περὶ στρατιωτῶν (о стратиотах), в тексте отсутствует; между тем он должен бы

[1] *Zachar.*, III, 285–287.
[2] *Zachar.*, III, 299–300.
[3] *Zachar.*, III, 264.
[4] *Zachar.*, III, 291.

доказать степень приложимости в XI в. законов о воинских участках. Но титул 66-й об убийстве, который по содержанию представляет некоторые соприкосновенные пункты с новеллой, приписываемой Фоке, и статьей новеллы Константина Багрянородного, доказывает, что воинский участок был в XI в. также неприкосновенен, как в X, и точно так же не мог быть употребляем на удовлетворение родственников убитого или возмещение казенного ущерба: в одном из рассказанных здесь случаев две трети имущества убийцы-стратиота присуждено родственникам убитого, причем замечено, что прежде чем производить расчет, надо выделить не подлежащие отчуждению, во-первых, воинский участок, во-вторых, женино приданое и вдовью долю, и затем уже остающееся разделить на три части; в другом случае пострадала казна, так как сделано было нападение на сборщика и разграблено золото, — здесь имущество виновных присуждено к отчуждению для покрытия убытка, не пощажена даже вдовья доля, поскольку казна имеет перевес перед женой, но тем не менее участок, по которому отправляема была военная служба, оставлен в неприкосновенности.[1]

Воинский участок был местом постоянной оседлости стратиота, которое он оставлял лишь в случае войны и на время войны, каждый раз по особому оповещению:[2] когда предпринимаем был поход (обыкновенно весной и летом), стратиоты собирались под знамена, по возвращении же с похода (с наступлением зимы) расходились по домам, к своему хозяйству и к семьям; исключение составляли лишь те случаи, когда стратиотам, по дальности расстояния или по особым расчетам правительства, неудобно было возвращаться домой на зимовку, например, стратиотам европейских фем, находившимся для военных надобностей в Азии, или стратиотам азиатских фем, находившимся в Европе, — в этих случаях они располагались на зимних квартирах там, где находились. Примеров, доказывающих такой порядок вещей, немало. Когда Исаак Комнин, поднявший знамя восстания против Стратиотика, подошел к городу Никее, он, прежде чем занять город, предоставил уйти из него воинам, которые здесь находились и которые желали сохранить верность царствовавшему императору; они спокойно разошлись, каждый стратиот отправился домой и предался заботам о жене, детях и разных хозяйственных предметах.[3] Когда же Исаак Комнин вошел в столицу, он поспешил бывших с ним стратиотов наградить и распустить по домам, с тем чтобы они отдохнули и можно было опять их

[1] *Zachar.*, I, 286, 287.

[2] *Psell.*, IV, 153: κατεσκήνουν ἐφ' ἑαυτῶν... κατὰ σύνθημα συλλεγέντες (они жили сами по себе... а собирались по особому знаку).

[3] *Cedr.*, II, 626–627. Ср. выше, кн. I, с. 195.

собрать для войны с варварами.[1] Походы Романа Диогена заканчивались тем, что сам он возвращался в Константинополь, а войско расходилось по домам;[2] освобожденный из турецкого плена, он, проходя по Иверии, собирал стратиотов в городах и деревнях,[3] а каппадокийцев призвал извещениями и грамотами (κηρύγμασι τε καὶ γράμμασι).[4] Высланный против Диогена протопроедр Константин собрал стратиотов посредством царских грамот (διὰ γραμμάτων βασιλικῶν), а когда приблизилась зима, все эти стратиоты разошлись;[5] равным образом, когда возвратился с похода против Диогена Андроник, брат Константина, бывшее с ним войско разбрелось по домам.[6] Что войска по нужде располагались на зимних квартирах и в других местах, помимо своих домов, можно привести для примера первый поход Диогена: он окончился в январе и восточные войска были распущены, но так как ввиду предполагавшегося в скором времени нового похода западным войскам неудобно было возвращаться, то пять отрядов, пришедших с Запада и состоявших под командой Самуила Алусиана, были расположены на зимних квартирах в армянских фемах.[7]

Лица, владевшие воинскими участками, обязаны были не только нести военную службу, но и снаряжать себя на войну за собственный счет, являться в своей одежде, в своем вооружении и на своей лошади, если стратиот был конник. Снаряжение производилось или единоличными средствами стратиота, или в складчину, смотря по тому — соответствовал ли его участок указанной норме, или нет. Тяжелое вооружение, о котором говорит Фока в своей новелле, было в употреблении и в XI в. Так, в войске Торника, при осаде им столицы, более состоятельные из стратиотов одеты были в наножники и латы (περικνημῖσιν καὶ θώραξιν) и сидели на лошадях, защищенных латами (ἵππος κατάφρακτος), остальные были вооружены, смотря по средствам.[8] Под более состоятельными, имевшими

---

[1] Psell., IV, 234. Ср. выше, кн. I, с. 204.

[2] *Attal.*, 138: ἐπ' οἴκου καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ στρατεύματος γέγονε.

[3] *Attal.*, 166–167.

[4] *Attal.*, 170.

[5] *Attal.*, 170–172.

[6] *Attal.*, 175: ἡ στρατιὰ τὴν ἐπ' οἴκου ἐλαύνουσα.

[7] *Attal.*, 122, 123 (*Scyl.*, 678).

[8] *Psell.*, IV, 154. О вооружении можно судить по грамотам от 1075 и 1079 гг. (*Sathas*, I, 56, 64), освобождающим живущих на землях Атталиота от ματζουκατιῶνος... ἐξοπλίσεως πλωΐμων, κονταράτων τοξοτῶν, ἢ καὶ ἱπποτοξοτῶν... ἐκβολῆς καλαρτίων τοξοτῶν, ἐξοπλίσεως στρατιωτῶν ἀρχόντων καβαλλαρικῶν καὶ πεζῶν (матцукатиона... снаряжения флота, лучников-копьеносцев или конных лучников... доставки лучников, снаряжения войсковых архонтов, конных и пеших). Ср.: *Zachariae*, III, 374.

тяжелое вооружение, можно понимать, следуя указанию новеллы Никифора Фоки, тех, воинский участок которых ценностью был не менее 12 литр. Состоятельные стратиоты не ограничивались боевым конем, но выступали в сопровождении повозок, нагруженных необходимыми для них предметами, и стратиг Диррахия, Михаил Дермокаита, преемник Василия Синадина, возбудил против себя (в 1040 г.) бунт в войске тем, что по корыстолюбивым расчетам вздумал отнимать у стратиотов их лошадей, повозки и разное добро.[1] Вообще иностранцев поражал обычай греков обременять себя при отправлении на войну разного рода скарбом, — норманны однажды воспользовались этим обычаем для своего обогащения: разбив Докиана, они захватили массу разноцветных одежд, украшения, сосуды из золота и серебра, дорогое оружие и лошадей.[2] Иногда, впрочем, обычай приносил свою долю пользы, заставляя стратиотов сражаться с большей храбростью.[3]

Стратиоты обязаны были только снарядить себя в поход за собственный счет. Содержание их в течении времени, пока они оставались под оружием и несли службу, лежало на казне. Если поход предстоял по стране малонаселенной, в которой могло встретиться затруднение в снабжении войска провиантом, то заблаговременно делались запасы, достаточные для прокормления армии, и каждый стратиот нес свою часть,[4] а в арьергарде гнали стада скота.[5] Если же страна, по которой шло войско, не представляла затруднений в доставлении войску требуемых припасов, то приобретение провианта происходило, по мере надобности, в продолжении похода, причем натуральная повинность, συνωνή, оказывала существенную услугу: отряды войск высылаемы были специально для покупки съестных припасов,[6] сверх того само население подвозило припасы

---

[1] *Cedr.*, II, 528.

[2] *Amat.*, 50: furent fait rieche, quar l'usance de li Grex est quant il vont en bataille de parter toute masserie nécessaire avec eaux.

[3] Во время сирийского похода Романа Аргира, когда вышедшее из лагеря греческое войско подверглось нападению арабов и обратилось в бегство, был забавный (χαριέν), по выражению историка, случай: в то время как стратиги и стратиоты, не в состоянии будучи сдержать натиска, постыдно обратили тыл, один евнух, состоявший в числе царских спальников, разогорченный тем, что его пожитки и слуги захвачены врагами, стремительно бросился на сарацин, одного поразил из лука, других обратил в бегство и, взяв свою собственность, с торжеством воротился назад. См.: *Cedr.*, II, 493.

[4] *Attal.*, 148 (*Scyl.*, 691; *Zon.*, IV, 212).

[5] *Attal.*, 151.

[6] *Attal.*, 108: δι' ἀγορὰν σιτίων.

в армию и операция покупки совершалась под прикрытием арьергарда.[1] Разумеется, предпринимались также фуражировки и реквизиции в неприятельской стране,[2] равно как не обходилось без того же и в своей родной земле.[3] Этими способами войско продовольствовалось. Но независимо от казенных кормов, стратиоты, пока они отправляли службу, получали еще жалованье деньгами. Жалованье обыкновенно раздавалось перед началом похода, и раздачу производил или сам полководец, или особый командированный для того финансовый чиновник, войсковой казначей. Так, Стратиотик, отправляя в 1057 г. против Комнина отряды европейской армии, раздал стратиотам жалованье,[4] а перед тем послан был патриций Иоанн Опсара для раздачи жалованья восточному войску.[5] Роман Диоген раздавал жалованье сразу после того, как собирались стратиоты,[6] равным образом и Андроник, отправленный против Диогена, раздал жалованье, прежде чем двинуться в поход.[7] Никифор Вотаниат, отправляя стратиотов против Вриенния, выдал им предварительно жалованье,[8] так же точно он поступил с войсками, отправленными против турок в Азию.[9]

В связи с господствовавшим в Византийской империи порядком, по которому правительство продовольствовало стратиотов и платило им жалованье только тогда, когда они оставляли свои воинские участки для отправления военной службы, понятен обычай распускать стратиотов по домам немедленно по окончании похода: здесь принимались в соображение не только семейно-хозяйственные потребности стратиотов, но также интересы казны, для которой удержать стратиотов, расположив их на квартирах вне их участков, значило увеличить расход, так как удержанные стратиоты считались отправляющими службу, получали продовольствие

---

[1] *Attal.*, 126: τῶν ἐπαγομένων τὴν ἀγοράν. 156: κατόπιν... τοῖς πωλοῦσι τὰ ὤνια (позади... продавали товары).

[2] *Attal.*, 108: εἰς προνομὴν ἀποστείλας τὴν πολεμίαν χώραν κατελήισατο, ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν καὶ βοσκημάτων δορυάλοτον πλήθος οὐκ ἐλάχιστον ποιησάμενος (Отправив отряды на промысел, он [Роман Диоген] разграбил земли неприятеля и угнал в плен немало мужчин, женщин и скота).

[3] Об этом выше, кн. I, с. 419–421.

[4] *Cedr.*, II, 627: διανομαῖς χρημάτων.

[5] *Attal.*, 54: πρὸς διανέμησιν τῶν στρατιωτικῶν ὀψωνίων; *Cedr.*, 621: στρατιώταις διανεμηθῆναι τὸ σιτηρέσιον.

[6] *Attal.*, 104.

[7] *Attal.*, 173: σιτηρέσια διανείμας (*Scyl.*, 703).

[8] *Attal.*, 261: ῥόγαις μυριοταλάντοις (...жалованье в мириады талантов).

[9] *Attal.*, 306: ὀψωνίοις (<выдал> жалованье).

и жалованье, между тем стратиоты распущенные по домам не пользовались в течении отпуска ни тем, ни другим. В связи с этим порядком приобретают смысл и некоторые факты, касающиеся военного дела при Мономахе, Константине Дуке, Евдокии, Диогене и Парапинаке. Скилица—Кедрин говорит, что Мономах распустил иверийское войско, доходившее до 50 тысяч, и вместо стратиотов стал получать с тех стран большие подати.[1] Руководствуясь буквальным выражением автора, можно понимать (как действительно и понял Зонара) его известие таким образом, что Иверия не платила никаких податей, а вместо них несла сторожевую службу, Мономах же обложил страну податью, освободив за это от военной службы. Понимание, очевидно, идущее вразрез с тем, что нами сказано о воинских участках, а именно, что владевшие ими были освобождены только от натуральных повинностей, подати же поземельную и поголовную платили. Но дело в том, что Скилица—Кедрин неточно сообщил известие, а Зонара окончательно извратил его смысл. Атталиот говорит короче и точнее: в Иверии, по его словам. расположено было значительное войско, получавшее жалованье с некоторых соседних, обложенных податью, стран; эту последнюю царь отнял и таким образом лишил себя воинов и содействовал усилению врагов.[2] Другими словами, вопрос заключался в том, что иверийское войско несло постоянную сторожевую службу и потому пользовалось правом на постоянное продовольствие и жалованье. В видах практического удобства, в содержание им поступали подати, взимавшиеся с Иверии и соседней Месопотамии;[3] деньги, вместо того чтобы перевозиться в Византию и оттуда в Иверию для раздачи стратиотам, прямо доставлялись по их окончательному назначению. Мономах считал такой регулярный расход излишним и решил его прекратить. Для этого стоило только распустить стратиотов по домам, что и было сделано; укрепления лишились после этого своих гарнизонов, зато подати, которые прежде обращались на их содержание, стали поступать в императорскую казну. Жители при этом, естественно, были подчинены и таким повинностям (натуральным), которых прежде не знали, потребовалось произвести перепись и обложение, и Серблий, посланный для этой цели Мономахом, с успехом выполнил задачу.[4]

---

[1] *Cedr.*, II, 608 (*Zon.*, IV, 178; *Glyc.*, 597–598; *Ephr.*, 137–138).

[2] *Attal.*, 44–45: στρατεύματος γὰρ ἀξιομάχου τὴν Ἰβηρικὴν περιέποντος, καὶ ὀψώνιον ἔχοντός τινας τῶν παρακειμένων δημοσίων χωρῶν, ἀφείλετο ταύτας ὁ βασιλεύς (Иверию охраняло боеспособное войско, которое получало жалованье с каких-то близлежащих областей, а царь освободил их <от этой повинности>).

[3] *Советы и рассказы визант. боярина XI в.* // *Ж. М. Н. Пр.*, *1881*, *июнь*, 257.

[4] Там же.

При Константине Дуке скупость казны и неаккуратная уплата жалованья стратиотам были причиной военного расстройства. Воины, не получавшие жалованья, обеднели, и, что важнее, лучшие стратиоты оставили военную профессию, отыскивая себе лучшего вознаграждения и почестей.[1] Оставление военной профессии должно было вести к исключению из военных реестров, с чем правительство, не обращавшее серьезного внимания на военное дело, легко мирилось, потому что в финансовом отношении это было небезвыгодно, — сопровождалось подчинением некоторым государственным повинностям лиц, прежде от них изъятых.

Время, последовавшее за смертью Константина Дуки, до вступления на престол Диогена, было продолжением прежней политики относительно войска и вело к аналогичным последствиям. Военные отряды, стоявшие лагерем около Мелитины и не получавшие жалованья, были недовольны и не пожелали переправиться через Евфрат на соединение со стратиотами, расположенными в Месопотамии.[2] Когда потребовалось отправить войско против турок, сделавших нападение на Антиохийскую фему, собраны были стратиоты, но вместо того, чтобы выдать им сполна следуемое жалованье, правительство выдало только небольшую часть; тогда стратиоты подняли шум, отказались идти против неприятеля и разошлись по домам. После того набрана была за небольшое жалованье молодежь, люди, не искусившиеся в войне, без лошадей и без достаточного вооружения; это войско отдано под команду антиохийского дуки, но ничего не могло сделать, и потерпев неудачу, возвратилось на родину.[3] Указанные факты свидетельствуют, во-первых, о том, что жалованье было непременным условием нахождения стратиотов на действительной службе, так что стратиоты, не получая жалованья или получая его не сполна, считали себя вправе отказаться от службы и разойтись, во-вторых, что жалованье стратиотов было неодинаково, размер его зависел от рода службы, способа вооружения и времени службы, обусловливавшего бóльшую

[1] *Attal.*, 79: ψιλὸν καὶ ἀπρόθυμον τῇ τοῦ ὀψωνιασμοῦ ὑστερήσει, εἰπεῖν δὲ καὶ τὸ κάκιστον μέρος, ὡς τῶν κρειττόνων ἀπελαυνομένων τῆς στρατειᾶς διὰ τὸ μείζονος τυγχάνειν βαθμοῦ τε καὶ ὀψωνιασμοῦ (по причине недостатка жалования воины были нищие и вялые, это была, можно сказать, худшая часть войска — лучшие оставили службу в поисках более высоких должностей и более щедрого жалованья) (*Zon.*, IV, 199: τῶν στρατιωτικῶν καταλόγων ἠμέλησεν ἢ μᾶλλον πολλοὺς καὶ τοὺς γενναιοτέρους τῶν ἀπογραφῶν ἀπῆλειψε διὰ το βαρύμισθον (Он не заботился о военных каталогах, а скорее даже исключил из них многих и <среди них> отважнейших воинов, ибо их содержание требовало больших средств)).

[2] *Attal.*, 93 (*Scyl.*, 660; *Zon.*, IV, 203).

[3] *Attal.*, 95–96 (*Scyl.*, 662–663).

или меньшую степень военной опытности, вследствие чего малоопытная молодежь, пешие и легковооруженные получали меньше, чем ветераны, воины конные и тяжеловооруженные. Диогену пришлось исправлять погрешности своих предшественников, особенно Константина Дуки. Дука исключал стратиотов из реестров, переводя их в разряд податных и внося в писцовые книги, Диоген же пополнял военный каталог новыми лицами и увеличивал численность военных отрядов, сократившуюся вследствие мероприятий Дуки.[1] При Михаиле Парапинаке византийское правительство опять стремилось избавиться от расходов на жалованье войску. Города по Дунаю получали ежегодные выдачи (φιλοτιμίας), очевидно, потому что в них, с целью обороны, постоянно расположены были значительные отряды тяжеловооруженных (ὁπλιτικὸν οὐ μικρόν), — выплаты из царской казны были не более, как жалованьем войску, отправлявшему службу. Старанием Никифорицы выплаты были отняты, вследствие чего в городах началось брожение.[2] Так же поступлено было и с другими западными стратиотами. Часть их из Адрианополя отправилась с жалобой к царю на лишение жалованья (τῶν στρατιωτικῶν ὀψωνίων) и другие злоупотребления, причиняемые жадностью командующих. Стратиотам приготовлена была в столице засада, и когда они сошли с лошадей, на них напали, били железными палицами, некоторых умертвили мечами, палатки их разграбили и лошадей расхитили. Византийцы прониклись состраданием, глядя на этих несчастных, сам царь сжалился над ними и повелел возвратить кое-что из расхищенного, однако же не вознаградил их вполне за убытки и не уплатил просимого жалованья (φιλοτιμίαν). Стратиоты, возвратившись домой, решили отомстить царю и были против него.[3] Жестокая экзекуция, выполненная над адрианопольскими стратиотами в Византии, была устроена теми, по воле которых было удерживаемо жалованье и которые карали таким образом протестующих против их действий; но она могла быть благовидным образом мотивирована необходимостью наказать солдат за нарушение дисциплины и своевольное оставление поста. Разумеется, наказание было бесплодным: пока поддерживалась система военного устройства, с воинскими участками и с обязанностью временно отправлять службу под условием казенного продовольствия и жалованья за время несения службы, до тех пор трудно было установить строгую дисциплину. Солдаты начинали с законных требований, просили

[1] *Attal.*, 104: κατάλογον στρατιωτικὸν ποιησάμενος... τὸν ἀριθμὸν τῶν ταγμάτων ἀναπληρώσας (составив... военный каталог... увеличив численность отрядов).

[2] *Attal.*, 205 (*Scyl.*, 719).

[3] *Attal.*, 210 (*Scyl.*, 719).

принадлежащего им по праву, в случае отказа возвращались к хозяйственным занятиям, своему законному времяпровождению, кончали же тем, что отказывали предводителям в повиновении и командующие должны были заискивать у своей армии, выпрашивать послушания. Попытки императоров Исаака Комнина и Романа Диогена, а также куропалата Мануила Комнина (племянника Исаака),[1] к восстановлению военной дисциплины были паллиативами, имевшими временное значение. Младший брат Мануила Комнина, Алексей, должен был убедиться, что попытки приносили мало пользы и войско остается по-прежнему своевольным. Когда при Парапинаке он хотел преследовать бежавших из Афира приверженцев Вриенния, стратиоты его не послушались, боясь неудачи, и полководец принужден был отложить намерение.[2] Когда затем при Вотаниате тот же Алексей Комнин отправлялся против Вриенния, он счел нужным предварительно взять с воинов обещание, что они будут ему верны и будут храбро сражаться против тирана.[3]

Система воинских участков внесла в военную организацию черты родового и общинного быта. Стратиот имел собственный дом, семью, домашних и слуг; участки родственников соприкасались и к ним примыкали участки лиц хотя и не состоявших в родственной связи, однако же соединенных узами соседства и принадлежности к одной деревне или одной общине. Отсюда естественно произошло, что связь между стратиотами, обусловленная земельно-родовыми отношениями, продолжалась и на войне: они выступали в поход, окруженные родственниками (συγγενεῖς), домашними и слугами (οἰκεῖοι, θεράποντες, ὑπηρέται, ὑπασπισταί, ὀπαδοί), в строю располагались родственными группами. Наглядным примером могут служить состоятельные стратиоты, властели, обладавшие достаточными материальными средствами, чтобы иметь слуг, которых у стратиота убогого могло и не быть. В 1049 г. происходила несчастная для греков битва с печенегами, в которой участвовал и Константин Кекавмен. Когда греки обратили тыл и бежали вместе со своими предводителями, один Кекавмен остался геройски сражаться вместе со своими слугами и некоторыми из родственников.[4] Впоследствии, в 1057 г., подготовляя приверженцев Комнину, замышлявшему восстание против Стратиотика, Кекавмен открыл замысел сначала слугам и родственни-

[1] *Attal.*, 139.

[2] *Attal.*, 254 (*Scyl.*, 730).

[3] Attal., 290: παρὰ τῶν στρατιωτῶν λαβὼν τὰ πιστά, καὶ ἄγειν αὐτοὺς κατὰ τοῦ τυράννου μετὰ προθυμίας ἀκηκοώς.

[4] *Cedr.*, II, 599: μετὰ τῶν ἑαυτοῦ στὰς θεραπόντων καὶ τινων συγγενῶν.

кам[1] и потом, найдя сподручников до тысячи человек, стал склонять других. Восставший Исаак Комнин начал продвигаться к Константинополю, имея при себе охранную стражу из своих родственников.[2] В 1053 г. греческое войско было разбито печенегами при Великом Преславе. В сражении участвовал, между прочим, Никифор Вотаниат, который с небольшой горстью стратиотов предпринял затем отступление, под тучей стрел печенегов, наскакивавших со всех сторон. Лошади у греков были перебиты и они шли пешком, закрывшись щитами. На третий день стратиотам удалось отбить у печенегов три лошади, каковые были предложены Вотаниату и двум его оруженосцам.[3] Когда в 1067 г. малоопытная в военном деле молодежь, отданная под команду антиохийского дуки, потерпела, как выше сказано, неудачу в борьбе с турками и возвратилась на родину, магистр Никифор Вотаниат (антиохийский дука) стал сдерживать набеги варваров с помощью местных жителей и собственных своих оруженосцев.[4] Восставший в 1077 г. против Парапинака Никифор Вриенний двинулся из Диррахия в Адрианополь со стратиотами, прислужниками и союзниками.[5] В городе Редесто в пользу Вриенния стала агитировать Ватацина. Когда историк Атталиот, оказавшийся в тот раз в Редесто, хотел выехать из города в сопровождении своих людей, он нашел городские ворота на запоре и под охраной гоплитов Ватацины. Лишь угроза Атталиота начать войну и боязнь Ватацины и ее сыновей за исход войны раскрыли перед ним ворота.[6] Затеявший восстание Никифор Василакий

---

[1] *Cedr.*, II, 625: τοῖς ἑαυτοῦ θεράπουσι καὶ συγγενέσι. *Гфрёрер* (610–613, ср. 606–607) ссылается на это место в доказательство существования на Востоке, в Малой Азии, ландвера из ленных крестьян. Ссылка неудачная: как показывают другие приведенные нами примеры, такие же следы родового быта (но не ленной системы) были и на Западе, в европейских областях.

[2] *Psell.*, IV, 213: συγγενικῷ αἵματι τὸ σῶμα πιστεύσας καὶ κύκλον τινὰ περιελίξας αὐτῷ (Охранять себя он доверил родственникам, окружив ими себя словно кольцом).

[3] *Attal.*, 41: δύο ὑπασπιστῶν.

[4] *Attal.*, 96: μετὰ τῶν ἐπιχωρίων καὶ τῶν ἰδίων ὑπασπιστῶν (*Scyl.*, 663: μετὰ τῶν οἰκείων ὑπασπιστῶν καὶ τινων ξενικῶν δυνάμεων (со своими оруженосцами и иноземным войском) — ошибочно).

[5] *Attal.*, 242: τοῖς ἐκεῖσε στρατιώταις καὶ ὀπαδοῖς καὶ συστρατιώταις χρησάμενος.

[6] *Attal.*, 245: ὥρμησα μέν, ὡς εἶχον ἡμιόνων καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων καὶ τῆς ἄλλης παρασκευῆς... ὁπλίταις παρὰ τῆς τοῦ Βατάτζη γυναικός (Я устремился со всеми мулами, конями, людьми и всем снаряжением, что у меня было... <но ворота охранялись> гоплитами жены Ватаца).

насчитывал в рядах своего войска немалое число собственных оруженосцев.[1] Обычай окружать себя родственниками и вооруженными прислужниками и в сопровождении их выступать на поле битвы практиковался не только у выдающихся властелей военного сословия, но и у обыкновенных стратиотов, как показывает последний поход Романа Диогена, в 1071 г. Из истории этого похода известно, что когда однажды прислужники стратиотов вышли на добычу, турки сделали на них нападение и смяли;[2] известно также, что каппадокийцы были построены по группам из родственников и соседей, — в таком порядке они отступали после рокового сражения Диогена с турками.[3]

Естественная группировка по родовым и общинным началам существовала как бытовой факт рядом с искусственным делением войска на отряды для целей военного управления и боевого строя. Почвой деления служили фемы, как военные округи. XI век представляет в этом отношении бóльшую простоту и однообразие, сравнительно с предшествующим временем. Если не обращаться к памятникам военного устройства более древнего времени, ограничиться сочинениями Льва Мудрого и Константина Багрянородного, а также некоторыми новеллами X в., то и данных, в них заключающихся, достаточно, чтобы убедиться, что еще в X в. терминология, применявшаяся для обозначения военных отрядов и лиц, ими управлявших, свидетельствовала о двух порядках, параллельно существовавших и друг от друга отличавшихся. Были отряды войск, носившие название θέματα, и были отряды, называвшиеся τάγματα; одни с другими не смешивались.[4] Фемы управлялись стратигами и подразделялись на

---

[1] *Attal.*, 297: εἶχε γαρ... καὶ οἰκείους ὑπασπιστὰς οὐκ ὀλίγους.

[2] *Attal.*, 153: τοῖς εἰς τὴν λείαν ἐξιοῦσι στρατιωτῶν ὑπηρέταις (когда прислужники стратиотов вышли на промысел) (*Scyl.*, 693: τοῖς εἰς τὴν χρείαν ἐξιοῦσι στρατιώταις Ῥωμαίοις (когда стратиоты ромейские вышли на добычу) — ошибка).

[3] *Scyl.*, 698: κατὰ φατρίας καὶ συμμορίας (разделившись на группы и отряды). Здесь тоже *Гфрёрер* (III, 784) видит указание на ленное устройство, вместо того чтобы видеть указание на устройство общинное. Группы стратиотов, составлявшиеся по началам общинного устройства, намечены в новелле Константина Багрянородного: а) συγγενεῖς (родственники), б) συνδόται καὶ σύναιχμοι (соратники, вносящие общую подать), в) συντελεσταὶ στρατιῶται (стратиоты из одной общины). См.: *Zachariae*, III, 264–265).

[4] *Const. Porphyr.*, I, 483: κελεύει βασιλεὺς ἀποσωρευθῆναι τά τε τάγματα καὶ τὰ θέματα... προϋπαντῶσι τά τε τάγματα καὶ τὰ θέματα... διαπερῶσι τὰ τάγματα ἔμπροσθεν· ὁμοίως καὶ τὰ θέματα (Император повелевает, чтобы тагмы и фемы были собраны вместе... тагмы и фемы выступают навстречу... тагмы, так же как и фемы, проходят впереди).

турмы, управлявшиеся турмархами. Из тагм, иначе называвшихся еще бандами, составлялись друнги;[1] тагмой или бандой управлял комит (сельский староста), а друнгой — друнгарий; комит может быть сопоставляем с турмархом, друнгарий — со стратигом. Для выяснения различия между делениями этих двух порядков, с одной стороны фемами и турмами, с другой друнгами и тагмами, можно обратиться к аналогии старого времени: фема выдержит сравнение с прежним legio, тагма с cohors,[2] фемами обозначались отряды войск греческих, тагмами — варварских войск.[3] Не без некоторого основания можно искать объяснения такому различию в истории славянских поселений и основания славянских общин, обязавшихся византийскому правительству военной службой; само название друнг (задруг, дружин) и банд можно производить от славянских корней. Славяне были для греков варвары, поставляемые ими отряды войск греки называли поэтому тагмами, в отличие от фем. Это были отряды селений, входивших в состав известной общины, выступавшие под предводительством сельских старост и в своей совокупности образовывавшие общинную дружину, предводительствуемую волостным старшиной. И подобно тому как фемы и турмы сообщили мало-помалу свое имя административным округам и их подразделениям, точно так же именем друнгов и банд обозначались славянские общины и входившие в состав общин селения.[4] Но различие между терминами с течением времени сглаживалось, понятия смешивались: как некогда понятия legio и cohors смешались вследствие уравнения варваров в правах с римскими гражданами, точно так же смешение тагм с фемами произошло вследствие полной акклиматизации на византийской почве общинного устройства и того обстоятельства, что общинный строй постепенно начал растворяться в общегосударственном византийском строе. Самые термины удержались, но потеряли свою обособленность: название друнгариев сделалось равнозначным с назва-

---

[1] *Leo.* Tact. IV, 9: δροῦγγος, τὸ ἐκ ταγμάτων ἤτοι ἀνδρῶν τῶν λεγομένων κομήτων συγκείμενον πλῆθος (друнг, войско, состоящее из тагм или же из мужей, именуемых комитами); III, 10: κόμητες ἤγουν οἱ τῶν λεγομένων βάνδων ἄρχοντες (комиты, иначе архонты так называемых банд). «Комит» нужно здесь производить от слова κώμη, деревня, селение, имеющего тождественный смысл со словом βάνδα. *Константин Багрянородный* (III, 225) отождествляет банды с топотирисиями, βάνδα ἤτοι τοποτηρησία, а перечень топотирисий, вроде св. Агапита, св. Креста и пр., ясно показывает, что это — селения, получившие название от приходской церкви.

[2] См. выше, с. 6, прим. 4.

[3] У *Константина Багрянородного* (I, 482–484) это ясно обнаруживается.

[4] Остаток этого словоупотребления заметен в докладной записке царю Алексею Ангелу Акомитата, в которой крестьянские общины называются друнгами.

нием стратигов, с той только особенностью, что оно стало прилагаться к стратигам морских фем; название тагмы, в применении к военному отряду, вытеснило название турмы и фемы. Уже в X в. обнаружились признаки этих перемен;[1] в XI в. изменение частью является установившимся фактом, частью идет далее.

В XI в. войско набиралось в фемах,[2] которые были сухопутными или морскими, давали конных и пеших стратиотов или гребцов и экипаж для флота, морских стратиотов, пловцов.

Отряды сухопутных войск, выставляемых фемами, носили название тагм, с присоединением того прилагательного, которое отличало одну фему от другой. Таким образов получались: тагма колониатов,[3] тагма халдиев,[4] тагма арменияков,[5] тагма харсианитов,[6] тагмы анатоликов,[7] тагма каппадокийцев,[8] тагма опсикийская,[9] тагма фракисийцев,[10] тагмы фракомакедонян,[11] тагма болгар[12] и пр. Иногда тагма называется еще фалангой, например, фаланга харсианитов,[13] но такое словоупотребление встречается очень редко, преимущественно у писателей, претендующих на изящество речи и подражающих классическим образцам.[14] О численности тагмы можно судить по тому, что протоспафарий Катакалон Кекавмен, предводитель тагмы арменияков, защищавший Мессину в 1040 г., имел в своем распоряжении 300 человек конницы и 500 пехоты.[15] Некоторые фемы выставляли одну такую тагму, следовательно, здесь тагма соответствовала прежней феме, как отряду войска; другие, более населенные и обширные фемы выставляли несколько тагм, например, Анатолик не менее

---

[1] *Лев Мудрый* в своей «Тактике» (XIX, 23) заявляет, что командующие флотом морских фем, прежде называвшиеся стратигами, стали называться друнгариями — νῦν εἰς στρατηγίδα ἑκάστου τῶν δρουγγαρίων ἀρχὴ ἀναβέβηκε.

[2] *Attal.*, 10.

[3] *Cedr.*, II, 625.

[4] Ibid.

[5] *Cedr.*, II, 626, 523.

[6] *Cedr.*, II, 627.

[7] *Cedr.*, II, 622; *Ann. Bar.*, 54.

[8] *Cedr.*, II, 621.

[9] *Cedr.*, II, 546; *Ann. Bar.*, 54.

[10] Ibid.

[11] *Cedr.*, II, 561; *Zon.*, IV, 233; ***Ann. Bar.*, 55.**

[12] *Attal.*, 29, 297.

[13] *Cedr.*, II, 627.

[14] *Psell.*, IV, 154, 213, 215.

[15] *Cedr.*, II, 523.

двух,[1] — в этом случае тагма соответствовала прежней турме, как военному отряду. В фему Анатолик входили, между прочим, две древние области: Писидия и Ликаония;[2] стратиоты этих областей соединенными силами поставляли одну тагму, которая называлась поэтому тагмой фидератов,[3] а также тагмой писидийцев и ликаонцев.[4] Италийская фема выставляла, по-видимому, три тагмы: одна состояла из калабрийцев, другая из апулийцев, третья из жителей Капитанаты.[5] Каждая тагма делилась на части (μέρος), которые могли получить разное назначение,[6] так что присутствие тагмы в полном составе в одном месте не было необходимостью. Самый состав тагмы из всадников и пехотинцев неизбежно вел к выделению двух главных частей: пехоты и конницы. Кроме этих двух крупных частей, тагма дробилась на так называемые лохи. Лох обыкновенно состоял из 16 человек, но это число не было непременным условием и в случае нужды могло быть уменьшено: у Торника при осаде Византии в лохах было менее чем по 16 человек.[7] Особенно сокращалась численность, когда по каким-нибудь соображениям делались сокращения в стратиотских реестрах, как, например, при Константине Дуке. Когда Роман Диоген, по вступлении на престол, прибыл в фему Анатолик, и по его приказу собрались тагмы стратиотов с их предводителями, можно было видеть лохи, состоявшие лишь из нескольких человек.[8] Деление на лохи, наряду с делением на тагмы, было существенной принадлежностью византийского военного строя,[9] отличавшей его от строя наемников.[10] Тагмами предводительствовали стратиги, лохами — лохаги.[11] Именем стратигов назывались и командующие всеми тагмами, входившими в состав фемы, — обыкновенно это были правители фем, стратиги в собственном смысле,[12]

---

[1] *Cedr.*, II, 621–622.

[2] *Const. Porphyr.*, III, 14.

[3] *Cedr.*, II, 546, под 1041 г.

[4] *Attal.*, 126; *Cedr.*, II, 621.

[5] *Ann. Bar.*, 54–55.

[6] *Cedr.*, II, 546: μέρος τῶν Θρακησίων (часть Фракисийской фемы).

[7] *Psell.*, IV, 154–155.

[8] *Attal.*, 103: ἦν ἰδεῖν τοὺς διαβοήτους λόχους ἐξ ὀλίγων συγκειμένους ἀνδρῶν (*Scyl.*, 668).

[9] *Psell.*, IV, 215: δυνάμεις ἐξαρτηθεῖσαι, εἵς τε λόχους διαιρεθεῖσαι καὶ συναιρεθεῖσαι εἰς φάλαγγας (снаряженное войско, разделенное на отряды и построенное по фалангам).

[10] *Attal.*, 107.

[11] *Attal.*, 104, 107.

[12] *Cedr.*, II, 621–622, 627.

и командующие каждой отдельной тагмой — обыкновенно турмархи (если фема выставляла более одной тагмы),[1] и командующие частями тагмы, всадниками или пехотинцами, мерархи.[2] Таким образом все вообще предводители войска, снаряжавшегося в сухопутных фемах, были или стратиги, или лохаги, и Никита Стифат выражается совершенно правильно, когда, доказывая необходимость для ищущих отшельнического жития испробовать предварительно свои силы в общежитии, под руководством других, и заимствуя для этого сравнение из военного устройства, называет только стратигов и лохагов и говорит: разве может выйти на единоборство с мириадами врагов и совершить нечто доблестное тот, кто неопытен в войне и кто, сражаясь в царском строю под командой стратигов и лохагов, не в состоянии показать никакой доблести и молодечества и одолеть хотя бы одного врага?[3]

К числу морских фем, обязанных снаряжать суда (хеландии, дромоны), ставить гребцов и экипаж, в XI в., как видно из прямых указаний, принадлежали: Кивирреот, Абид, Хиос, Самос и Никополь.[4] Сверх того, снесение данных предшествующего времени может привести к заключению о принадлежности и других фем к разряду морских, если не в полном составе, то в частях. В новелле Константина Багрянородного о стратиотах к фемам, которые должны нести морскую службу, отнесены: Эгейское море, Самос и Кивирреот.[5] Фема Эгейского моря к XI в. распалась на три частнейшие и о присутствии флота в двух из них (Абиде и Хиосе) есть свидетельства; что касается третьей, Эгеи, то хотя таких свидетельств не имеем, однако же и ее можем причислить к фемам морским, как выделившуюся из морской. Из двух отчетов, внесенных в сочинение Константина Багрянородного «О церемониях»: а) о снаряжении при Льве Мудром в 908 г. патриция Имерия против острова Крита, б) о снаряжении флота против того же острова при Константине Багрянородном в 949 г.,[6] — можем сделать такой же вывод о феме Эллада-Пелопоннес, так как она приводится в отчетах наряду с другими, снаряжавшими суда для морских экспедиций. Косвенным подтверждением того, что Эллада-Пелопоннес принадлежала в XI в. к морским фемам, может служить еще отсутствие в памятниках упоминаний об участии ее сухопутного войска в каком-

[1] *Cedr.*, II, 561.
[2] *Cedr.*, II. 627.
[3] PG, CXX, 884–885.
[4] См. выше, кн. I, с. 335–337, 358.
[5] *Zachariae*, III, 262.
[6] *Const. Porphyr.*, I, 651, 664.

нибудь предприятии за пределами фемы. По свидетельству «Тактики» Льва Мудрого, флот каждой морской фемы находился под командой друнгария и на каждом корабле было известное число гребцов, исполнявших вместе с тем и обязанности воинов. Первый из названных отчетов показывает, что уже при Льве Мудром сделано было усовершенствование в этом отношении: обязанность сражаться снята с гребцов, и без того несших нелегкий труд, и возложена на особых воинов, которые, не истощая своих сил тяжелой работой, могли приносить больше пользы. По отчету, на каждом из снаряженных фемами дромоне было известное число гребцов (ἀνδρῶν κωπηλατῶν) и воинов (πολεμιστῶν). Этот порядок существовал и в XI в. Но XI в. представляет изменение терминологии, в смысле возврата к старому времени. Командующие флотом фем, называвшиеся в X в. друнгариями, стали опять (по примеру времени до Льва Мудрого) называться стратигами. Слово «друнгарий» еще более специализировалось, в сфере морского дела стало прилагаться к адмиралу, который сделался связующим звеном для морских фем и носил титул друнгария флотов (δρουγγάριος τῶν πλωΐμων), потому что в его руках находилось начальство над обоими флотами, областным (τὸ θεματικὸν πλώϊμον) и императорским (τὸ βασιλικὸν πλώϊμον).

При Льве Мудром императорский флот был учреждением новым[1] и значение должности друнгария флотов не успело еще упрочиться. Этим объясняется, почему император находил нужным давать (в своем сочинении) такие обстоятельные наставления адмиралу, как насчет флота областного, так и императорского.[2] При Романе Лекапине и Никифоре

[1] Учреждение императорского флота с некоторой вероятностью можно относить ко времени Василия Македонянина, о котором известно, что он для борьбы с агарянами построил 100 кораблей и друнгарием флотов назначил патриция Никиту Оорифу. См.: *Cedr.*, II, 219. До того времени хотя и были попытки завести, сверх областного, императорский флот, например, при императоре Анастасии II (713–716) (*Theoph.*, I, 589), однако же они не увенчались продолжительным успехом. Если византийское правительство брало верх над арабским флотом, то благодаря главным образом «греческому огню», выступающему на сцену с 672 г., и при помощи областных флотов, а также временного обращения на государственные нужды частных купеческих кораблей. Можно ставить в связь с этой последней чертой известие (*Theoph.*, I, 757) об императоре Никифоре I (802–811), что он дал важнейшим византийским корабельщикам по 12 литр каждому под условием уплаты процентов; ссуда, очевидно, сделана с целью дать средства на сооружение кораблей, которые в случае нужды должны были служить и для государственных надобностей.

[2] Император внушал, что областные дромоны, подчинявшиеся друнгариям и турмархам, впредь должны состоять под главным управлением адмирала, друнгария

Фоке византийский флот процветал: Роман Лекапин до вступления на престол сам был друнгарием флотов[1] и в этом мог находить особенное побуждение заботиться о флоте по вступлении на престол; Никифор Фока хвастался перед послом императора Оттона I своим могуществом на море, тем, что с помощью флота может сжечь любой прибрежный город.[2] Но уже в конце X в., вследствие изнурительных войн на суше, морские силы государства начинают клониться к упадку, в XI в. же явно обнаруживается их слабость. В XI в. существовал императорский флот (στόλος), состоявший из царских триер или дромонов (τριήρεις δρομάδες), находившийся под управлением друнгария флотов,[3] который имел главное начальство и над флотами фем. Должность эту занимал при Михаиле Пафлагоне Стефан Калафат, отец будущего императора,[4] вместе с Маниаком предпринимавший экспедицию в Сицилию; при Мономахе —

флотов, и друнгарии должны ему повиноваться. Императорские дромоны, по объяснению Льва Мудрого, бывают трех родов: большие, средние и малые. Большие и средние дромоны имеют два ряда (этажами, один над другим) гребцов с каждой стороны судна — средние по 25 человек в ряд, а всего 100, большие по 50, всего 200; малые дромоны имеют один только ряд гребцов. Адмиральский дромон по величине и крепости должен превосходить все остальные и экипаж его должен соответствовать названию πάμφυλος, указывающему на людей отборных, отовсюду, из всех наций взятых. Равным образом и дромоны комитов, начальствующих над несколькими дромонами (до пяти), должны отличаться от остальных. Во время битвы дромоны выстраиваются полукругом, чтобы удобнее было обхватить неприятеля, или же в прямую линию; сифонаторы, стоящие в передней части дромонов, бросают огонь из особых метательных приспособлений — сифонов, устроенных на носу дромонов, солдаты собираются на верхней палубе, для того чтобы защищать переднюю часть дромона, метать в неприятеля стрелы, камни, горшки и трубки с горючими и дымящимися веществами, что делают или от руки, или с помощью машин, устроенных на четырех сторонах дромона. Впрочем, император не советует вступать в абордажный бой, а предпочтительно рекомендует утомлять неприятеля искусными маневрами.

[1] *Cedr.*, II, 289.

[2] *Pertz*, III, 349. О том, как Никифор Фока организовал флот и употреблял для этой цели подымную подать, см. рассказ *Ибн-Хаукаля*, у бар. Розена, 278–280.

[3] *Attal.*, 271: μήτε τὸν στόλον ἐάσαντες ἀκυβέρνητον, ἀλλὰ κἀν τούτῳ δρουγγάριον ἐπιστήσαντες (И <императорский> флот не был оставлен без управления, но и над ним был поставлен друнгарий) (в 1078 г.). Второстепенное место в управлении флотом занимал протонотарий флота. См.: Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., август, 350.

[4] *Cedr.*, II, 514, 522: ἄρχων τοῦ στόλου (архонт флота).

патриций Константин Хаге, возведенный в друнгария из стратига кивирреотского.[1] Численность императорских триер едва ли была велика, особенно после несчастного случая 6 августа 1040 г., когда пожар, произошедший на месте стоянки флота в Византии, истребил все триеры с их снарядами.[2] Император Константин Мономах вознаградил потерю, соорудив, по словам его панегириста, башни на море, точно какие холмы движимые по влажной стихии тысячью весел.[3] Однако же во время нападения россов в 1044 г. Византия поставлена была в крайне затруднительное положение, вследствие отсутствия достаточного флота, с помощью которого можно было бы противостоять врагам. Правда, историк спешит заявить, что огненосные корабли были тогда рассеяны вдоль береговых областей и охраняли отдельные части Империи.[4] Но морские фемы имели свой собственный флот и могли обойтись без помощи императорского флота. Остается предположить, что императорский флот крейсировал тогда у берегов Сицилии и Нижней Италии, где главным образом действовал и в последующее затем время, до Романа Диогена. Очевидно, этот флот был далек от совершенства, если в 1071 г. он был разгромлен у стен города Бари только что зарождавшимся норманнским флотом. Поражение у Бари нанесло новый удар[5] морским силам Византии, и во время нашествия Роберта Гвискара Алексей Комнин должен был искать помощи у венецианцев, чтобы с успехом бороться с норманнским флотом.

Подобно тому как друнгарий флотов объединял в своем лице команду над всем флотом, точно так же и сухопутные фемы имели для себя пункт объединения в лице двух доместиков схол, название которых по первоначальному значению указывало на принадлежность к семейству (то же, что οἰκειακοί), потом обозначало привилегированный отряд войска (лейбгвардию, domestici et protectores), наконец стало прилагаться к лицам,

---

[1] *Cedr.*, II, 550: ὁ τοῦ στόλου κατάρχων (предводитель флота); *Anon. Bar.*, 327.

[2] *Cedr.*, II, 529: ἐνεπρήσθησαν αἱ ἐκείσε ἱστάμεναι πᾶσαι τριήρεις μετὰ τῆς ἑαυτῶν παρασκευῆς.

[3] *Psell.*, V: ἐπὶ θαλάσσης τοὺς ἐρεσσομένους πύργους θεάσωμαι, ὥσπερ τινὰς λόφους καὶ ἐπαναστάσεις τῆς ὑγρᾶς φύσεως χιλίᾳ κώπῃ εὐθυνομένας (...и увижу я башни, плывущие по морю, словно некие холмы, возвышающиеся над водной стихией и направляемые бесчисленными веслами).

[4] *Psell.*, IV, 145.

[5] Расстройству областного флота содействовало взяточничество византийских чиновников, которые дозволяли жителям откупаться (ἐξκουσεύεσθαι) от снаряжения хеландий и служащим во флоте разрешали быть невооруженными. См.: Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., август, 348–349.

имевшим власть над войском.[1] Фемы в силу географического положения распадались на две части (τμήματα),[2] на восточную и западную, между которыми обособленность развивалась исторически, выработалась даже в своего рода соперничество, доходившее до того, что в минуту опасности одна часть считала для себя делом посторонним интересы другой.[3] Императоры не заботились об устранении этого хронического недуга византийского военного устройства, может быть, не без задней мысли, рассчитывая эксплуатировать в свою пользу зависть и недоброжелательство одной тмимы, в случае враждебных действий со стороны другой.[4] Разъединение между Востоком и Западом поддерживалось и на почве управления, так как они имели своих особых начальников: войско восточных, азиатских фем было подчинено доместику восточных схол, войско западных, европейских фем — доместику западных схол. Из лиц, занимавших эти должности, нам известны: при Константине VIII евнух Николай, первый царский постельничий, который был возведен в доместики схол, неизвестно только каких — восточных или западных;[5] при Михаиле Пафлагоне дука антиохийский Константин, брат царя, за спасение Эдессы от арабов был сделан доместиком восточных схол;[6] после низвержения Калафата императрица Зоя назначила доместиком западных схол патриция Константина Кавасилу, принимавшего энергичное участие в перевороте, а доместиком восточных схол проедра Николая, евнуха своего отца, очевидно, того, который занимал уже эту должность при Константине VIII;[7]

---

[1] Прилагалось, впрочем, и для обозначения выдающегося положения в других отношениях, — в церкви были доместики правого и левого клиросов.

[2] *Psell.*, IV, 342, 362.

[3] Это соперничество иногда наносило явный ущерб. Во время битвы с печенегами за Балканами, в местности Диакене, около Ста Холмов, стратиоты западной тмимы не подали своевременной помощи своим восточным собратьям и это было причиной совершенного поражения греков. См.: *Attal.*, 33. Подобное же соперничество обнаружилось в 1068 г., во время столкновения с турками у города Иераполя. См.: *Attal.*, 113 (*Scyl.*, 674).

[4] Мы знаем, что силы Торника, опиравшегося на западные войска, были сломлены при помощи восточных войск, и против восточных сил, поднятых Исааком Комнином, Стратиотик собрал и двинул западные войска. См. выше, кн. I, с. 184, 196.

[5] *Cedr.*, II, 480.

[6] *Cedr.*, III, 515 (*Zon.*, IV, 139).

[7] *Cedr.*, II, 541. О назначении Кавасилы сказано, что императрица сделала его δοῦκα τῆς δύσεως (дукой Запада), но это лишь неточный способ выражения, для обозначения звания доместика, который употребляется и в применении к Алексею Комнину.

при Константине Мономахе — магистр Михаил Ясит (иверийский дука),[1] при Феодоре евнух Феодор был возведен в доместики восточных схол;[2] Исаак Комнин назначил доместиком западных схол своего брата, куропалата Иоанна Комнина;[3] протопроедр Андроник Дука, сын кесаря Иоанна, а затем Исаак Комнин были возведены в доместики Востока Михаилом Парапинаком,[4] новеллисим Алексей Комнин — в доместики Запада Никифором Вотаниатом.[5]

Должность доместика схол имеет сходство с должностью стратилата и стратопедарха, которые тоже командовали восточными или западными тагмами войск. Чем отличался стратилат от стратопедарха, трудно сказать; по положению и рангу лица, носившие то и другое название, уравнивались. При Константине Мономахе для борьбы с эмиром Тевина собраны были все восточные тагмы и отданы под команду ректора, евнуха

---

[1] *Cedr.*, II, 565: τῶν ἑῴων στρατευμάτων στρατηγόν (стратиг восточных войск). Хотя Ясит не назван прямо доместиком, однако же о принадлежности ему этого звания можем заключать из того, что подобным же образом описывается звание евнуха Феодора, относительно которого не подлежит сомнению, что он был произведен в доместики императрицей Феодорой.

[2] *Cedr.*, II, 611: δομέστικον τῶν σχολῶν τῆς ἀνατολῆς τὸν Θεόδωρον προβαλλομένη; *Psell.*, IV, 216: ὅ τε τῶν δυνάμεων ἄρχων ὁ ἐκτομίας Θεόδωρος, ὃν ἡ βασιλὶς... τὰ τῆς ἑῴας ἐγκεχειρήκει στρατόπεδα (предводитель воинства евнух Феодор, которого императрица... поставила во главе восточных войск).

[3] *Скилица* (642) говорит: μέγαν δομέστικον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφὸν προβαλλόμενος (...назначил брата великим доместиком). Звание великого доместика в наш период не существовало, появилось лишь впоследствии. Историк или допустил неточность, перенеся позднейшее положение вещей на прежнее время, или, что вероятнее, в рукописи или в печатном издании испорчен текст; в чем состоит порча, можно видеть из того, что *Вриенний* (19–20) выражается так: κουροπαλάτην τὸν ἀδελφὸν τιμήσας ἄρχοντα τῶν τῆς δύσεως στρατευματων ἀποδέδειχεν, ὃν πάλαι δομέστικον τῶν σχολῶν ἐκάλουν, *νυνὶ δέ μέγαν* καλοῦσι δομέστικον (Почтив брата титулом куропалата, он назначил его на должность архонта западных войск, которая прежде именовалась «доместик схол», а теперь называется «великий доместик»). Западные историки (*Rom. Sal.*, 173; Chron. Amalf., 215; *Dandolo*, 249) тоже ошибаются, называя Алексея Комнина megadomesticum.

[4] *Attal.*, 173: δομέστικος τῆς ἀνατολῆς (доместик Востока); *Bryenn.*, 58: δομέστικον τῶν σχολῶν τῆς ἀνατολῆς (доместик схол Востока).

[5] *Attal.*, 250, 288: δομέστικος τῆς δύσεως (доместик Запада) (*Scyl.*, 736; *Zon.*, IV, 228; *Glyc.*, 616); 299: τῷ τῶν ἑσπερίων ταγμάτων ἄρχοντι, τῷ νωβελλισίμῳ δηλαδὴ Ἀλεξίῳ καὶ δουκὶ τῆς δύσεως (...командующему западными тагмами, то есть новеллисиму Алексею, дуке Запада).

Никифора, который наименован стратопедархом.[1] Когда затем понадобилось двинуть армию против печенегов, этот Никифор сделан был главнокомандующим, а Катакалон Кекавмен, иверийский дука, возведен в стратилаты Востока.[2] Существовал не только стратилат Востока, но и стратилат Запада: в 1057 г. стратилатом Запада был Василий Тарханиот, командовавший правым крылом армии, выставленной Стратиотиком против восставшего Комнина.[3] Относительно стратилата можно еще сделать предположение, что так называлось лицо, командовавшее кавалерией той или другой тмимы, но касательно стратопедарха, хотя в его имени есть указание на отношение к пешим силам, нигде однако же не находим прямого свидетельства, что именно он командовал пехотой. Некоторые лица, стоявшие во главе пеших сил, нам известны, но они не носят названия стратопедархов. Таков, например, патриций Самуил Вурца, командовавший пехотой в армии, отправленной против печенегов в 1050 г., к которому прилагается название ἄρχων τῶν πεζικῶν δυνάμεων (архонт пеших войск).[4]

В связи со званием доместиков и стратилатов следует упомянуть о военных отрядах, способных занять середину между двумя родами существовавших в Византии войск, — местным войском, выставляемым фемами, о которых до сих пор была речь, и наемным войском, о котором речь будет впереди. Существование этих отрядов отчасти может способствовать к выяснению смысла употреблявшихся в XI в. двух технических терминов в приложении к военным отрядам. В грамотах, данных частным лицам или монастырям, освобождающих от постойной повинности (ἀπὸ μιτάτου), перечисляются начальствующие над греческими войсками и отряды наемников, и между первыми различаются ταγματικοί и θεματικοί.[5]

---

[1] *Cedr.*, II, 593: τὰ ἑῷα τάγματα πάντα... στρατοπεδάρχην ὀνομάσας. Ср. из времени Василия II, *Cedr.*, II, 417: ἐπιστάτην τῶν ἑῴων ἀποδείκνυσι πάντων ταγμάτων τὸν πατρίκιον Πέτρον, στρατοπεδάρχην αὐτὸν ὀνομάσας (Во главе всех восточных тагм он ставит патрикия Петра, наименовав его стратопедархом).

[2] *Cedr.*, II, 597: στρατηλάτην τῆς ἀνατολῆς προβαλλόμενος.

[3] *Cedr.*, II, 630: στρατηλάτης τῆς δύσεως (стратилат Запада).

[4] *Cedr.*, II, 601. Под начальством Самуила Вурцы находилась оборона всего лагеря, лагерных окопов. В византийской армии пехота, кроме роли, которую она играла в сражении, особенно при осаде крепостей, когда должна была сталкиваться с машинами, имела еще специальную обязанность занимать города (*Attal.*, 268) и охранять окопы при расположении армии лагерем.

[5] Грамота Парапинака Михаилу Атталиоту от 1075 г.: ἐξκουσσευθήσονται δὲ καὶ ἀπὸ μιτάτου ἀρχόντων ταγματικῶν ἢ θεματικῶν, ἔτι δὲ Ῥῶς, Βαράγγων, ἢ Κουλπίγγων, ἢ Φράγγων, ἢ Βουλγάρων, ἢ Σαρακηνῶν, ἢ ἄλλων τινῶν (...освобождаются

Прежде всего, в этой терминологии нельзя не видеть подражания традиционным формам официальных бумаг прежнего времени, когда между тагмами и фемами было существенное различие. Теперь, когда отряды фем стали называться тагмами, понятие, выражаемое словом θεματικοί, вошло в понятие ταγματικοί как часть в целое: все отряды фем были тагмы, хотя не все тагмы были фемы, потому что именем тагм обозначались и отряды наемников. Смысл поэтому был бы полный, если бы в грамотах выражение θεματικῶν совершенно было выпущено. Однако же в грамотах систематически удерживается старая терминология и это приводит к мысли, что не одно подражание традиционным формам тому причиной, что был и более важный мотив, а именно тот, что слово θεματικοί не обнимало всех местных, греческих войск, что сверх наемных варварских отрядов были еще отряды, которые под это понятие не подходили, кроме наемников были еще тагмы, не приурочивавшиеся к фемам, по крайней мере, к известным, определенным фемам.[1] Какие же это были войска?

от обязанностей принимать на постой начальников фем и тагм, а также <наемников> — русских, варягов, кульпингов, франков, болгар, сарацин и других). См.: *Sathas*. Bibl. gr., I, 55. Грамота ему же Никифора Вотаниата от 1079 г. (Ibid., 64) буквально повторяет те же слова. Грамота Алексея Комнина Христодулу от 1088 г.: ἐξκουσευθήσεται... ἀπό τε μιτάτων ἀρχόντων ταγματικῶν καὶ θεματικῶν, ῥωμαϊκῶν τε παραταγῶν καὶ ἐθνικῶν· ἔτι τε Ῥώσων, Βαράννων, Κουλπίννων, Ἰγγλίνων, Φράγγων, Νεμίτζων, Βουλγάρων, Σαρακηνῶν, Ἀλλανῶν, Ἀβασγῶν, ἀθανάτων καὶ λοιπῶν ἁπάντων ῥωμαίων τε καὶ ἐθνικῶν (...освобождается... от обязанности принимать на постой начальников фем и тагм, ромейских воинов и наемников, росов, варягов, кульпингов, *англов*, *франков*, *немцев*, *болгар*, *сарацин*, *аланов*, *абазгов*, «*бессмертных*» и всех прочих ромеев и наемников). См.: *Zachar.*, III, 373.

[1] При этом небезынтересной оказывается одна ошибка, сделанная Скилицей в его «Истории» и произошедшая от недосмотра в пользовании источником. *Атталиот* (93) рассказывает, что по смерти Константина Дуки турки делали набеги на восточные области около Месопотамии и угрожали расположенным около Мелитины ромейским (греческим) тагмам, которые будучи недовольны лишением жалованья, не желали переправиться через Евфрат и не могли помочь ромейским стратиотам в Месопотамии. Эту фразу *Скилица* (660) понял таким образом, что ромейское войско, стоявшее около Мелитины, недовольное лишением жалованья и обычного продовольствия, не хотело соединиться с туземным войском (т. е. находившимся около Мелитины) и вместе с ним переправиться через Евфрат. Можно винить историка за недосмотр, но едва ли можно сомневаться, что для современника Пселла и Атталиота порядки, существовавшие в Византийской империи в XI в., были виднее, чем для нас, и если он допустил ошибку, то потому, что она не противоречила существовавшим тогда порядкам. Другими словами, по представлению Скилицы, могли быть областные войска

Из рассказа[1] о походе Романа Диогена против турок 1068 г. обнаруживается, что в византийской армии существовали две тагмы, которые не назывались именем какой-нибудь фемы, — тагма схол и тагма стратилатов. Это были отряды не пешие, но конные, как видно по назначению, какое им было дано, и по тому, что они имели кавалерийские стычки, преследовали арабских всадников. Задача, которая на них была возложена, показывает также, что это была легкая конница. Лица, составлявшие эту конницу, прямо называются ромеями, и следовательно нет ни малейшего основания видеть в них наемных варваров. То, как отнеслись к их поражению областные войска (с лохами и лохагами), стоявшие в лагере, предполагает в последних некоторое недоброжелательство к первым. Причиной недоброжелательности могло быть привилегированное положение этих тагм (в размере жалованья и в правах), вызывавшее зависть обыкновенных стратиотов. Некоторые их привилегии можно угадывать по самым их названиям. Тагма схол носила такое название, потому что

(ἰθαγενής = θεματικός) (местное <войско> = фемное) и войска ромейские, не приуроченные к области, те и другие по смерти Константина Дуки могли находиться около Мелитины.

[1] Историк сообщает следующее о происшествиях 19 ноября 1068 г. После того как император, расположивший войско лагерем перед городом Иераполем, занял затем Иераполь, между городом и лагерем образовалось промежуточное пространство, и так как местность была ровная, то арабы делали на нее свои кавалерийские наезды. Это повело к кавалерийским стычкам (ἀγῶνες ὁπλιτικοί). Было отправлено два отряда (παρατάξεις δύο) для защиты этой промежуточной местности от врага. Арабы стали делать нападения на эти отряды, немедленно обращая тыл и подзадоривая римлян (τίνας τῶν Ῥωμαίων) преследовать себя. Повторив этот маневр несколько раз, они при новом нападении, вместо того чтобы обратить тыл, наскочили на фалангу стратилатов (μέχρι τῆς τῶν στρατηλατῶν φάλαγγος), вступили с ней в рукопашный бой, обратили в бегство и во время преследования многих умертвили; преследуя ее, они оставили вправо от себя синтагму схол (τὸ τῶν σχολῶν σύνταγμα), которая, вместо того чтобы прийти на помощь, думала о том, что, может быть, неприятель ее не заметит. Но неприятель на обратном пути заметил эту тагму (τὸ τάγμα τοῦτο) и нанес ей поражение: многие были умерщвлены, остальные заперлись в лагерь, знамена были захвачены, и некоторые сарацины, сходя с лошадей, отрезали головы стратиотам и посылали их в виде трофея в Халеб. Затем историк высказывает свое удивление и негодование по поводу того, что в то время, как наносимо было это поражение римлянам (τῶν Ῥωμαίων) перед окопами лагеря, в лагере никто из лохов и лохагов не подумал отомстить, — каждый занимался своим делом, точно он в дружеской стране, а не среди неприятелей. *Attal.*, 111–113 (*Scyl.*, 673–674: τῷ τάγματι τῶν στρατηλατῶν... τὸ τῶν σχολῶν τάγμα (тагме стратилатов... тагма схол)).

сопровождала доместиков схол в походах, была самым близким к их особе отрядом войска. Какое-нибудь придворное значение, вроде тех схол, которые некогда состояли в ведении магистра служб (magister officiorum), она едва ли имела, — роль ее ограничивалась войной.[1] Равным образом и тагма стратилатов носила название по имени военачальников, которым она сопутствовала. Возможно предположение, что эти тагмы составляемы были из стратиотов всех без исключения сухопутных фем, которые таким образом были награждаемы за отличие или открывали себе доступ в ряды тагм с помощью связей и тому подобных средств. Хотя фемы выделяли из своей среды контингент для тагм, однако же последние не могли быть названы областными (θεματικά), потому что ни одна в частности фема не была тесно с ними связана; начальники этих тагм (доместики и стратилаты, а затем их наместники, топотириты) были ταγματικοί, а не θεματικοί.

Что сказано о тагмах схол и стратилатов, то же можно сказать о так называемом аллагии (царской смене). Если выдающееся положение доместиков и стратилатов служило основанием существования особых привилегированных тагм, им сопутствовавших, тем более таким основанием должно было послужить выступление императора в качестве военачальника. Из другого рассказа[2] о походе Романа Диогена против турок, в 1071 г.,

---

[1] Кроме рассказанного случая, тагма схол, под предводительством топотирита (τοποτηρητής), протоспафария Никиты Глабы, участвовала в борьбе с печенегами при Константине Мономахе. См.: *Cedr.*, II, 602.

[2] Историк следующим образом рассказывает об этом походе. Император из Севастии пришел в Феодосиополь и оттуда предполагал сделать дальний переход на восток, почему отдал приказ, чтобы запасен был провиант на два месяца. Когда приказ был исполнен, царь отрядил наемных скифов (узов) и франков (норманнов) в Келат для фуражировки, сам же намеревался сначала овладеть городом Манцикертом и потом уже идти в Келат. Но поскольку он считал силы неприятеля, занимавшего Манцикерт, слишком незначительными, то отделил еще немалую часть войска (μοῖραν τοῦ στρατοῦ) и вверил начальство над ней магистру Иосифу Тарханиоту, присоединив к нему и немаловажный отряд пехоты (στῖφος πεζῶν). Вверенное ему войско (στρατιωτικόν) было испытанное и лучшее, в стычках с неприятелем сражавшееся впереди и по численности значительно превосходившее тех, что были под командой царя. В предшествующих сражениях дело не доходило до такой крайности, чтобы коснуться царя и чтобы была нужда двинуть в битву и его отряд (μοῖρα), обыкновенно называемый ἀλλάγιον. Победу предвосхищали остальные, а окружавшие царя лохи оставались в стороне от столкновений с неприятелем, забыв таким образом искусство сражаться. Итак, Тарханиот с частью врученного ему войска из местных стратиотов (ἐγχωρίων στρατιωτῶν) отправился в Келат на соединение со скифами и франками.

открывается, что ἀλλάγιον было не пешее войско, но конное, так как оно, по участию, какое принимало в сражениях, и по боевой опытности, противополагается не пехоте, отданной в распоряжение Тарханиота, но всадникам; далее, что строй этого войска состоял из лохов, следовательно, смену составляли не наемники из иностранцев, но греческие стратиоты; эти стратиоты не были областными, в противоположность областным стратиотам, вверенным Тарханиоту. Вывод тот, что и в царскую смену, подобно тому как в тагмы схол и стратилатов, поступали отборные стратиоты из разных фем, пользовавшиеся привилегированным положением. Так как по своему составу смена не была исключительно связана с одной какой-нибудь фемой, то и начальствующие ею лица были ἄρχοντες ταγματικοί, а не θεματικοί.

Было еще два отряда местных греческих войск, подходивших более под понятие тагм, чем фем, а именно «бессмертные» и хоматинцы. Название «бессмертных», в применении к военному отряду, было заимствовано из практики персов, у которых существовал отряд под этим именем (ἀθανάτων).[1] У византийцев «бессмертные» упоминаются еще до XI в., но правильную организацию они получили только в XI в.,[2] при Михаиле Парапинаке. Тагма (φάλαγξ) «бессмертных» была привилегированным, собственным его величества войском; она составлена была из выходцев тех азиатских фем, которые были завоеваны турками.[3] Царь Михаил, или, вернее, евнух Никифорица, видя, что восточное войско уменьшилось вследствие подпадения областей под власть турок, позаботился о том, чтобы восполнить убыль. Он нанял на службу выходцев из Азии, одел в латы и шлемы, вооружил щитами и копьями и, поставив во главе их одного стратига, каппадокийца Константина, приходившегося родственником царю Михаилу, вместе с ним воспитывавшегося и обладавшего военными способностями, начал с его

См.: *Attal.*, 148–150, 155 (*Scyl.*, 692: στίφος πεζῶν οὐκ εὐκαταφρόνητον, μᾶλλον δὲ τῶν ἱπποτῶν τὸ ἔκκριτόν τε καὶ μαχιμώτατον κἀντοῖς πολεμίοις προκινδυνεῦον ἀεὶ καὶ προμαχόμενον (...отряд наших воинов далеко не малочисленный и, более того, отборные всадники, которые всегда отважно сражались в первых рядах). 694: μετὰ τῶν ἰθαγενῶν στρατιωτῶν (с местными стратиотами)).

[1] *Procop.*, 22.

[2] К местам, указанным Фабротом (*Cedr.*, II, 891) у Сократа и Фемистия, нужно присоединить еще Льва Диакона, тоже упоминающего о «бессмертных».

[3] *Attal.*, 243: ἦν δὲ τῷ βασιλεῖ καὶ στρατὸς *ἰδιαίτατος*, ἀπο *συγκλύδων* ἀνδρῶν ἀθροισθείς, καὶ τῇ γυμνασίᾳ προσλαβὼν τὸ εὐδόκιμον, οὓς καὶ ἀθανάτους ὁ βασιλεὺς οὗτος ὠνόμασε (Было у императора и собственное войско, набранное из пришельцев. Они были хорошо обучены и, сверх того, пользовались почетом, а называл их император «бессмертными») (*Scyl.*, 727).

помощью обучать их военному делу. Константин давал им учебные сражения: усадив на коней, ставил друг против друга и приказывал, сняв с копий острые наконечники, стремительно бросаться и разить друг друга древками; кто при этом отличался смелостью и ловкостью, того переводил в первый разряд, а тех, которые часто отличались, называл «бессмертными», и таким образом произошло, что все поступившие в фалангу, после достаточного упражнения, стали называться «бессмертными».[1] В первый раз «бессмертные» упоминаются при Парапинаке по поводу несчастного случая, когда двое «бессмертных» были убиты молнией у западной городской стены, в Византии, в промежуток времени между 1074 и 1077 гг.[2] При Вотаниате «бессмертные» посылались на Восток, против турок, ходили с Алексеем Комнином против Вриенния, при осаде Византии Алексеем Комнином защищали стены столицы и, как земляки Вотаниата, считались его вернейшими приверженцами, хотя вообще не славились дисциплиной и верностью, служили не по чувству долга, а по расчету на богатое вознаграждение.[3] Хоматинцы получили название от города Хомы, лежавшего на юге Малой Азии, в древней Писидии, недалеко от Памфилийского залива.[4] Хоматинцы первый раз появляются при Вотаниате, с которым вместе они и прибыли в столицу. В числе войск, отправленных с Алексеем Комнином против Вриенния, упоминаются и хоматинцы.[5] Во время занятия Константинополя Алексеем Комнином, Борилл рассчитывал уничтожить претендента, между прочим, с помощью воинов, происходивших из Хомы.[6] Хоматинцы служили потом Алексею Комнину.[7] Таким образом, это было войско, находившееся в столице при особе императора, получавшее постоянное содержание, происходившее из известной, определенной местности, тем не менее не областное, потому что ни откуда не видно, чтобы Хома составляла фему.[8]

---

[1] *Bryenn.*, 133–134.

[2] *Attal.*, 211 (*Scyl.*, 724).

[3] *Attal.*, 306; *Bryenn.*, 133; *Anna*, I, 120. Ср. выше, кн. I, с. 247, 254.

[4] *Forbiger*, II, 332.

[5] *Bryenn.*, 133.

[6] Ὁπόσοι ἐκ τοῦ Χώματος ὥρμηντο. *Anna*, I, 131. См. выше, кн. I, с. 255.

[7] *Anna*, I, 178.

[8] *Гфрёрер* (III, 807–815) полагает, что Хомой называлась фема, учрежденная при Парапинаке из остатков прежних фем, уцелевших от турецких завоеваний. Он склонен производить название не от имени города, а от слова χῶμα — вал, окоп, и указывает аналогию между этой фемой и так назыв. Limes transrhenanus: оба́ были оплотом против варварства: Хома — против турок, Limes — против германцев. Но Гфрёрером не представлено ни одного солидного доказательства в пользу его предположения об учреждении фемы Хомы.

Греческое войско не могло удовлетворить потребностям византийского государства. Все почти местное войско было областное, численность его находилась в прямом отношении к территориальной пространственности государства. Но пределы государства, начиная особенно со второй пол. XI в., стали быстро сокращаться, вместе с тем военные силы стали уменьшаться, потребность же в оборонительных средствах нисколько не уменьшилась, напротив — увеличилась. Это обстоятельство повело к тому, что Византия чем далее, тем чаще и усерднее прибегает к помощи наемных войск, из иностранцев (μισθοφορικόν, συμμαχικόν, συμμάχοι, ξενικαὶ δυνάμεις). Между иностранными наемниками отличались два рода войск: а) императорская лейб-гвардия и б) простые наемники-иноземцы.

Для обозначения лейб-гвардии в целом ее составе существовали два технических термина: οἰκεῖοι и ἑταίριαι. Первый термин составляет перевод на греческий язык прежнего латинского термина domestici et protectores, которым обозначалась лейб-гвардия. Он несколько раз встречается у историков[1] и употребляется как тождественный с этериями.[2] Впрочем, последний термин (этерии) встречается чаще, чем первый.[3] Этерий было несколько. Прежде всего была великая этерия, во главе которой стоял великий этериарх. Должность великого этериарха занимали: при Константине VIII евнух Евстафий;[4] при Романе Аргире протоспафарий Феоктист;[5] при Михаиле Пафлагоне Михаил Калафат;[6] при Константине Мономахе евнух Константин, производивший свой род от сарацин и служивший Мономаху еще до воцарения, и Роман Боила;[7] при Михаиле

[1] *Psell.*, IV, 153: οὔτε γὰρ *οἰκεῖον* στράτευμα (лейб-гвардия), οὔτε συμμαχικὸν αὐτοῦ *που συνείλκετο* (остальные наемники), εἰ μή τις ὀλίγη μερὶς ξενική (часть лейб-гвардии). Мы понимаем это место иначе, чем *проф. Васильевский* (Ж. М. Н. Пр., CLXXVIII, 94). *Cedr.*, II, 492: μετὰ τοῦ οἰκείου τάγματος. *Cedr.*, II, 625: πρῶτον μὲν ὑπηγάγετο τὰ δύο Ῥωμαϊκὰ τάγματα (областное войско), μετ' ἐκεῖνα δὲ καὶ τοὺς οἰκείους (лейб-гвардия), ἔπειτα καὶ τοῖς ἐξ ἐθνῶν (остальные наемники) προσήγαγε τὰς προσβολάς. *Attal.*, 161: ταχὺ τούς οἰκείους ἀναλαβὼν φυγὰς εἰς τὴν παρεμβολὴν ἐπανέδραμε (В сопровождении собственного войска он обратился в бегство и спешно отступил в лагерь) (речь об Андронике Дуке).

[2] Напр., об Андронике, имевшем под командой τοὺς οἰκείους, *Врienний* (41) говорит: ὁ πρόεδρος Ἀνδρόνικος τάς τε τῶν ἑταίρων τάξεις ἔχων (Андроник со своей личной гвардией).

[3] *Cedr.*, II, 493, 553, 560, 605, 635 etc.

[4] *Cedr.*, II, 481.

[5] *Cedr.*, II, 495.

[6] *Psell.*, IV, 60.

[7] *Cedr.*, II, 560, 600, 605; *Psell.*, IV, 171.

Парапинаке Давид, наперсник Никифорицы;[1] при Никифоре Вотаниате протопроедр Роман, иначе называемый Страворомaном.[2] Кроме великой были еще другие этерии, имевшие во главе особых архонтов.[3] Был архонт экскувитов, начальствовавший над отрядом телохранителей (τῶν ἐξκουβίτων), помещавшимся во дворце, в караульной, носившей их имя (τὸ ἐξκούβιτον, τὰ εξκούβιτα);[4] при Романе Аргире должность архонта экскувитов занимал патриций Лев Хиросфакт.[5] Был архонт, начальствовавший над тем отрядом, который обыкновенно сопровождал императора в торжественных выходах,[6] и по свойству своей должности называвшийся аколуфом; при Константине Мономахе известен аколуф Михаил.[7] Главный надзор за императорской охраной принадлежал друнгарию виглы (δρουγγάριος τῆς βίγλης, т. е. vigiliarum), на ответственности которого лежала правильная смена караулов днем и ночью. Из друнгариев виглы известны: при Константине VIII евнух Симеон;[8] при Константине Мономахе Константин Ксифилин;[9] при Феодоре Мануил;[10] при Исааке Комнине Махитарий;[11] при Михаиле Парапинаке Константин Керулларий.[12]

Различие между этериями обусловливалось различием их функций, а также происхождением лиц, вступавших в эти общества. По происхождению лица, принадлежавшие к этериям, распадались на две части: на ромеев (греков) и на чужеземцев. У византийских императоров было в обычае причислять детей благородных родителей, по достижении ими

---

[1] *Attal.*, 271.

[2] *Attal.*, 286 (*Scyl.*, 735); *Scyl.*, 744.

[3] В заговоре против Стратиотика принимали участие οἱ τῶν ἑταιρειῶν πάντες ἄρχοντες (все архонты этерий). *Cedr.*, II, 635. Ср. выше, кн. I, с. 198.

[4] Здесь имели помещение и другие отряды телохранителей, кроме экскувитов. *Zon.*, IV, 257: οἱ βάραγγοι τὴν ἐν τοῖς ἐξκουβίτοις διειληφότες ὁδόν, ἔνθαπερ τούτοις καὶ ἡ κατοίκησις (варяги преградили улицу у караульной экскувитов, где и сами жили).

[5] *Cedr.*, II, 492. Ср.: *Matth. d'Ed.*, 78.

[6] *Psell.*, IV, 153: ὀλίγη μερὶς ζενική, ὁπόση τις εἴωθεν ἐφέπεσθαι ταῖς βασιλείοις πομπαῖς (Небольшой отряд иноземцев, который по обыкновению сопровождал императора в процессиях).

[7] *Cedr.*, III, 606; Советы и рассказы визант. боярина/ /Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 263. При Михаиле Пафлагоне звание аколуфа носил предводитель армии, отправленной против Адома и Абусала. См.: *Matth. d'Ed.*, 67.

[8] *Cedr.*, II, 480.

[9] *Psell.*, V, 499. Ср.: V, 318.

[10] *Cedr.*, II, 611.

[11] *Psell.*, V, 352–353.

[12] *Bryenn.*, 101.

совершенного возраста, к своим этериям, открывавшим дорогу к достижению высших почестей в областном управлении и войске, — о братьях Комниных, Исааке и Иоанне, знаем, что получив надлежащее воспитание и образование, особенно в военном деле, они были переведены Василием II из Студийского монастыря во дворец и причислены к этериям.[1] Из этих благородных ромеев был составлен отряд царских телохранителей, которые жили при дворе и несли охранную службу. Они дважды выступают на сцену: во время возмущения Феодосия Мономаха против Стратиотика они были собраны для того, чтобы дать отпор бунтовщику,[2] и при Вотаниате, во время бунта дворцовой иноземной стражи, они были собраны для защиты императора.[3] Оба случая замечательны еще тем, что по поводу их упоминается царская стража во всем ее составе, как ромеи по происхождению, так и иноземцы, и указывается технический термин, которым обозначалась иноземная стража, — лица, ее составлявшие, назывались варягами. Мы готовы допустить, что стража из ромеев, в противоположность варягам, называлась экскувитами, и тогда как варяги держали караул преимущественно днем, причем по необходимости участвовали и на церемониальных императорских выходах, экскувиты охраняли императорскую опочивальню ночью; с наступлением вечера варяги освобождались от работы и могли вволю предаваться любимому своему занятию — пьянству.[4] Аколуф был начальником варягов, архонт экскувитов начальствовал над ромейской стражей; друнгарий виглы, имевший надзор за караулами, как дневными, так и ночными, стоял во

---

[1] *Bryenn.*, 18: εὐθὺς ταῖς βασιλικαῖς ἑταιρίαις συγκαταλεγήτην· ἔθος γὰρ τοῦτο βασιλεῦσι Ῥωμαίων τοὺς τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν παῖδας καὶ τῶν εὖ γεγονότων τῇ σφῶν αὐτῶν ὑπηρεσίᾳ συγκαταλέγειν (Я сразу же был включен в царскую этерию. Ведь императоры, по обыкновению, составляли свою личную стражу из детей благородных и знатных мужей).

[2] *Cedr.*, II, 613: οἱ φυλάσσοντες ἐν τῷ παλατίῳ στρατιῶται ῥωμαῖοι τε καὶ βάραγγοι (Воины дворцовой стражи, ромеи, варяги).

[3] *Attal.*, 294–295: ἀνίστησι τοῖς τὴν φυλακὴν ἔχουσι τοῦ παλατίου θυμοφθόροις ἀνδράσι καὶ ἐθνικοῖς... ἐπισυνηθροίζοντο οἱ τῷ βασιλεῖ τὴν φρουρὰν ἀποπληροῦντες Ῥωμαῖοι... (<Дьявол> пробуждает в воинах дворцовой стражи, кровожадных иноземцах, <мятежные помыслы>... были собраны ромеи, которые несли охрану царя) (*Scyl.*, 738: ἐπανέστησαν δὲ καὶ τῷ βασιλεῖ οἱ Βάραγγοι... (восстали на царя варяги); *Zon.*, IV, 229; *Ephr.*, 149).

[4] *Attal.*, 295: περὶ δείλην γὰρ ἦν ὀψίαν, ὅτε τούτοις ἁφῇρητο τὸ φρονεῖν διὰ τὴν ἄγαν οἰνοφλυγίαν καὶ τὴν τοῦ ἀκράτου μετάληψιν (...ведь случилось это поздним вечером, когда они лишились рассудка из-за неумеренного пьянства и употребления несмешанного вина).

главе, был выше аколуфа и архонта экскувитов. Что же касается великого этериарха, то он стоял ниже друнгария виглы,[1] но выше архонта экскувитов и аколуфа; он, по-видимому, не имел никакого отношения к ромейской страже, а только к варяжской дружине, — аколуф находился в его ведении. Высшее положение этериарха, сравнительно с аколуфом, обусловливалось, впрочем, не тем, что ему подчинены были придворные варяги, состоявшие при особе императора, но тем, что под его надзором и на его попечении находились все вообще варяги, весь варяжский корпус, как жившие при дворе и управлявшиеся аколуфом, так и находившиеся вне столицы. Численность этого корпуса была настолько велика, что он по праву мог называться великой этерией, а его главный начальник — великим этериархом.

Ромейская стража была не велика числом, составляла всего одну тагму, которая удобно находила себе помещение и занятие при дворе. Оттого мы не видим, чтобы экскувиты располагались когда-нибудь на постоянных квартирах вне стен столицы, за исключением тех случаев, когда сам император оставлял Византию, и телохранители должны были его сопровождать. Во время сирийского похода встречаем тагму экскувитов, которая посылается, вместе со своим архонтом, для разведки и бросается врассыпную при нападении арабов,[2] — присутствие ее объясняется тем, что Роман Аргир находился в походе и шел охраняемый царскими этериями.[3] Вообще тагма экскувитов редко оставляла столицу: когда император отправлялся в поход или путешествовал по стране[4] или когда

---

[1] Градация ясно видна из назначений при Константине VIII, который Νικόλαον τὸν *πρῶτον* τῶν αὐτοῦ θαλαμηπόλων δομέστικον προεβάλετο τῶν σχολῶν καὶ παρακοιμώμενον, Νικηφόρον δε τὸν μετ' ἐκεῖνον *τὰ δευτερεῖα* φέροντα πρωτοβεστιάριον, Συμεὼν δὲ τὸν κατὰ τὴν τάξιν *τρίτον* δρουγγάριον τῆς βίγλας, προέδρους τοὺς πάντας τιμήσας, Εὐστάθιόν τε τὸν πολλοστὸν μετ' ἐκείνους μέγαν ἑταιρειάρχην (...Николая, первого из своих евнухов, назначил доместиком схол и паракимоменом, Никифора, занимавшего второе место после него, назначил протовестиарием, Симеона, третьего в этом ряду — друнгарием виглы, почтив при этом всех титулом проедра, Евстафия же, ничтожнейшего из них, сделал великим этериархом). См.: *Cedr.*, II, 480–481.

[2] *Cedr.*, II, 492.

[3] *Cedr.*, II, 493: ἐκθύμως ἀγωνισμένων τῶν βασιλικῶν ἑταίρων καὶ διασωσάντων ἑαυτούς τε καὶ τὸν βασιλέα (царские этерии яростно сражались и спасли и себя, и государя).

[4] Напр., она могла быть в числе тех телохранителей, которых имел при себе (μόνους τοὺς ἐν τῇ αὐλῇ σωματοφύλακας ἔχοντα) Михаил Пафлагон, мирно проезжавший по фессалоникийским горам, когда на него сделали нападение восставшие болгары. См.: *Attal.*, 9.

крайняя опасность со стороны неприятеля вынуждала наконец отправить против него дворцовую стражу,[1] — в остальное время место ее было при дворе, при особе императора. Совсем другое дело варяги. Их было столько, что поместить их всех при дворе едва ли было возможно, а главное, в этом не было никакой надобности. Из всего варяжского корпуса отбиралась только малая часть (ὀλίγη μερὶς ξενική), которая содержалась во дворце (τὸ παρατρεφόμενον ἐν ταῖς αὐλαῖς ξενικόν) и несла личный караул (τὴν φρουράν, τὴν τοῦ σώματος φρουράν), служа телохранителями, почетной стражей (φύλακες, σωματοφύλακες, δορυφορία); эти отборные варяги с секирами на правом плече (πελέκεις ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ὤμου) стояли у императорского трона и следовали за императором во время выходов.[2] Они были дворцовыми варягами (οἱ ἐν τῷ παλατίῳ Βάραγγοι). Но кроме них были еще внешние варяги (οἱ ἐκτὸς Βάραγγοι), единоплеменные с первыми (ὁμοεθνεῖς),[3] составлявшие с ними одно целое, но отличавшиеся тем, что они имели свое местопребывание не во дворце и употреблялись не для дворцовой службы, но располагаемы были на квартирах в фемах и употреблялись для строевой службы, принимали участие в походах и сражениях. Первое упоминание о варягах встречается у историков в применении именно к этим внешним варягам, квартировавшим вне столицы. В 1034 г. один из варягов, зимовавших во Фракисийской феме, хотел изнасиловать женщину и был ею убит; варяги, узнав об этом, воздали честь этой женщине, отдали ей все имущество насильника, а самого его бросили без погребения, согласно с законом о самоубийцах.[4] Затем внешние варяги не раз упоминаются: в 1041 г. они были отправлены с Воиоанном в Италию и сражались против норманнов;[5] в 1047 г. опять прибыли в Италию с катепаном Рафаилом;[6] в 1047–1048 гг. взяли города Стиру и

[1] Напр., она могла находиться в числе тех ἐν αὐλῇ φυλασσόντων (охраняющих дворец), с которыми патриций Иоанн Философ, евнух царицы Зои, напал ночью на пьяных и спящих печенегов, слишком близко подошедших к столице в 1050 г., и перебил их. См.: *Cedr.*, II, 603. Ранее (1044 г.), во время нашествия россов и после их поражения, так называемые этерии (τὰς λεγομένας ἑταιρείας), под предводительством паракимомена Николая, вместе с двумя тагмами, состоявшими под командой магистра Василия Феодорокана, поставлены были стеречь побережье, чтобы где не высадился неприятель. См.: *Cedr.*, II, 553. Под этериями здесь исключительно можно понимать экскувитов.

[2] *Psell.*, IV, 60, 85, 93, 142, 153, 171, 199, 251, 288; *Bryenn.*, 45.

[3] *Scyl.*, 737.

[4] *Cedr.*, II, 508–509 (*Glyc.*, 586–587).

[5] *Amat.*, 50. 52 (*Leo Ost.*, 676).

[6] *Anon. Bar.*, 328.

Лечче;[1] в 1046–1047 гг. три тысячи варягов принимали участие в столкновении Липарита с Багратом IV, царем Картлии и Абхазии, и для этого ходили в Грузию;[2] в 1050 г., вместе с другими войсками, под главным начальством патриция Никифора Вриенния, были отправлены против печенегов;[3] в 1053 г. стояли на квартирах в Халдии или Иверии и здесь собраны были аколуфом Михаилом для действий против турок-сельджуков;[4] в 1055 г. находились в Отранто при захвате города норманнами;[5] в 1066 г. Маврикий приплыл с варягами на хеландиях в город Бари;[6] в 1068 г. варяги участвовали в походе Романа Диогена против турок;[7] в 1077 г. многие варяги приняли сторону Никифора Вриенния, восставшего против Парапинака, между тем как другие остались верны Парапинаку и в 1078 г. участвовали в афирском деле против Иоанна Вриенния;[8] при осаде Константинополя Алексеем Комнином, вероятно, внешние варяги участвовали в защите города и Борилл приготовил их, вместе с хоматинцами, для битвы.[9] Упоминаются также неоднократно и дворцовые варяги: первый раз при Михаиле Стратиотике, по случаю возмущения Феодосия Мономаха;[10] затем при Исааке Комнине, по поводу низложения патриарха Керулларий,[11] при провозглашении Романа Диогена[12] и при Вотаниате, когда один из дворцовых варягов убил из мести Иоанна Вриенния,[13] а весь варяжский дворцовый отряд поднял бунт против царя.[14] Внешние варяги, несмотря на то, что не состояли при особе императора и жили вне столицы, считались однако же принадлежащими к императорской лейбгвардии, к этериям. Поэтому для обозначения их безразлично употребляются оба названия: и варяги, и этерии — οἰκεῖοι. Сторону Вриенния против Парапинака приняли, между прочим, по ясному свидетельству историков, внешние варяги (οἱ ἐκτὸς Βάραγγοι). Потомок этого претендента, тщательно

---

[1] *Anon. Bar.*, 328; *Lup. Prot.*, 59.
[2] *Brosset.* Hist. de Georg., 321.
[3] *Cedr.*, II, 602–603.
[4] *Cedr.*, II. 606.
[5] Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 278.
[6] *Anon. Bar.*, 333. Ср.: *Lup.*, 59.
[7] *Scyl.*, 668.
[8] *Attal.*, 242, 54 (*Scyl.*, 727). Ср.: *Scyl.*, 737.
[9] *Anna*, I, 120, 131.
[10] См. выше, кн. I, с. 193.
[11] *Scyl.*, 644.
[12] *Scyl.*, 666. См. выше, кн. I, с. 223.
[13] Scyl., 737. См. выше, кн. I, с. 245–246.
[14] См. выше, кн. I, с. 255.

описывая в своей истории возмущение и битву с императорскими войсками, называет приверженцев своего предка не варягами, но принадлежащими к этериям.[1] Вообще, если в какой-нибудь феме встречается войско, на зимних квартирах или в походе, и называется ἑτέρειαι или οἰκεῖοι, а между тем император остается в столице и не участвует в походе, то, без опасности впасть в ошибку, можно под этерией понимать внешних варягов.

Вопрос о том, из кого состоял варяжский корпус, в настоящее время, после исследований проф. Васильевского,[2] может считаться решенным: преобладающим, если не исключительным, элементом в этом корпусе были русские. Прямое, не подлежащее сомнению, доказательство тому находится в рассказе Атталиота о военных действиях Алексея Комнина и Урселя против засевшего в Афире Иоанна Вриенния, в 1078 г. Историк употребляет в своем рассказе названия «русские» и «варяги», как выражения совершенно тождественные.[3] Это доказательство проф. Васильевский вполне основательно дополняет свидетельствами царских хрисовулов от 1060, 1075 и 1079 гг., в которых название варяги и русь (варяго-русь) стоят рядом и не разделены союзом или (ἤ), сопровождающим названия других родов войск и свидетельствующим о различии их между собой.[4] К аргументации проф. Васильевского мы можем только прибавить, что если бы им не было оставлено без внимания тождество между варягами

---

[1] *Bryenn.*, 136: τῶν ἀπὸ τῶν ἑταιρειῶν λεγομένων μοῖρα οὐκ ἐλαχίστη (немалая часть так называемых этерий).

[2] Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков/ /Ж. М. Н. Пр., ч. CLXXVI–CLXXVIII.

[3] Историк сообщает, что русские отправились к Афиру на кораблях, а остальное войско, конное и пешее, сухим путем. План был такой, чтобы сухопутное войско, подступив одновременно с морским к Афиру, отрезало врагу всякое отступление и нагнало его на русских, которые должны были или уничтожить его, или пленить. Но план не удался. Сухопутное войско вместо того, чтобы прямо идти в Афир, отвлеклось в сторону и погналось за какими-то македонянами, видневшимися на полях. Между тем варяги, как и следовало, проникли в город (со стороны моря), бились с приверженцами Вриенния, но те успели ускакать на лошадях, потому что с противоположной стороны некому было преградить им отступление. Несколько македонян все-таки пало в городе от рук русских, другие были взяты в плен. См.: *Attal.*, 253–254 (*Scyl.*, 730).

[4] От 1060 г.: λογαριακῆς εἰσπράξεως Βαράγγων Ῥῶς, ἢ Σαρακηνῶν, ἢ Φράγγων (подать с варягов Руси, или сарацин, или франков). См.: *Преосв. Порфирий.* История Афона/ /Труды Киев. Духовн. академии, 1873, I, 36. Выражения других грамот см. выше, с. 31, прим. 5.

с одной стороны, и ἑτέρειαι, οἰκεῖοι с другой, то получилось бы еще одно доказательство в пользу того, что русское войско составляло лейб-гвардию. В 1057 г. поднялось восстание Исаака Комнина против Стратиотика. Деятельный приверженец его Катакалон Кекавмен составил план привлечь на свою сторону три стоявшие на зимних квартирах тагмы союзников (τῶν συμμάχων), а именно две франков (норманнов) и одну россов (δύο τάγματα Φραγγικὰ καὶ Ῥωσικὸν ἕν), а также две областные тагмы, колониатов и халдиев. И вот он составил подложный царский указ, повелевавший ему идти на Самуха. Опираясь на указ, он приказал всем пяти тагмам собраться в долине около Никополя, и когда собрались, он ежедневно приезжал, останавливался вдалеке, подзывал сначала предводителя и предлагал на выбор — или пристать к заговорщикам, или расстаться с жизнью, затем делал то же с одним отрядом, потом с другим, и таким образом со всех взял клятву, даже против их воли. Прежде всего он склонил в свою пользу две ромейские тагмы, затем τοὺς οἰκείους и наконец народов — ἐξ ἐθνῶν.[1] Две ромейские тагмы мы знаем, это колонийская и халдийская, две тагмы народов тоже знаем, это франки, остаются οἰκεῖοι, под которыми ничего более нельзя иметь в виду, кроме тагмы россов. Подобно тому как Атталиот отождествлял русских с варягами, точно так же Скилица—Кедрин отождествляет русских с οἰκεῖοι, что вполне равносильно.

Как скоро констатировано тождество варягов с русскими, получается совершенно законное основание видеть русских там, где называются варяги, и наоборот — варягов там, где называются русские. Случаи, когда упоминаются варяги, нами перечислены; остается дополнить их случаями, когда выступают на сцену русские наемники. В 1030 г. русские находились в войске Романа III, во время похода его против Халеба;[2] в 1033 г. они состояли под командой патриция Никиты Пигонита, осаждали и взяли крепость Перкри;[3] участвовали в двух сражениях, данных Докианом норманнам в Италии, в марте и мае 1041 г.;[4] принимали также участие в перевороте, низвергшем Калафата, в 1042 г.,[5] и в походе восставшего Маниака из Италии в фему Диррахий в 1043 г.;[6] при нашествии россов,

[1] *Cedr.*, II, 224–225.

[2] *Кемаледдин*, у бар. Розена, 317.

[3] *Cedr.*, II, 503.

[4] *Annal. Bar.*, 54.

[5] *Psell.*, IV, 91; *Ибн-ал-Атир*, у Васильевского / / Ж. М. Н. Пр., 1875, февр., 445, и у *бар. Розена*, 330.

[6] *Psell.*, V, 138.

в 1044 г., они были рассеяны по разным фемам;[1] в 1055 г. находились в Отранто при занятии города норманнами;[2] в 1057 г. тагма русских стояла на зимних квартирах в Малой Азии,[3] русские (тавро-скифы) сражались на стороне Стратиотика против Комнина[4] и помогали также Комнину;[5] во время похода Романа Диогена 1068 г. Иераполь (Менбедж) взят был при помощи русского оружия,[6] русские участвовали и в походе 1071 г.[7]

Образование русского варяжского корпуса, появляющегося на страницах истории то под именем русских, то под именем варягов, относится ко времени до начала нашего периода и было результатом переговоров императора Василия II Болгаробойцы с русским князем Владимиром в 988 г. Русский князь принял крещение и получил руку греческой царевны Анны, сестры Василия, а Василий II получил обратно Херсон и вспомогательный наемный корпус из 6000 человек.[8] Русские, по всей вероятности, принесли с собой и самое название варягов, которое по происхождению принадлежит скандинавскому северу, появилось в Киеве вместе со скандинавскими наемниками, называвшими себя вэрингами, усвоено затем и принесено в Византию русскими наемниками византийского императора, которые стали называть себя варягами, и в Византии вошло в общенародный язык, так что (в форме Βάραγγοι) сделалось техническим термином для обозначения русских союзников.[9] Русский варяжский корпус получил в Византии привилегированное положение, был причислен к этериям,[10] немедленно по своем прибытии оказал услугу Василию II в борьбе с Вардой Фокой (не позже 989 г.), дважды ходил с императором Василием в Армению, в 1000 и 1021–1022 гг., причем в первый раз из-за ничтожного повода — вязанки сена — имел схватку с грузинами куропалата Давида, несчастную для последних, во второй разбил полки

---

[1] *Cedr.*, II, 552.

[2] Советы и рассказы визант. боярина//Ж. М. Н. Пр., 1881, июнь, 278.

[3] *Cedr.*, II, 624.

[4] *Psell.*, IV, 216.

[5] *Psell.*, IV, 222.

[6] *Attal.*, 110.

[7] *Ибн-ал-Атир*, у Васильевского//Ж. М. Н. Пр., 1875, март, 118. О заимствовании Ибн-ал-Атиром у Имадеддина см.: *бар. Розен*, 392.

[8] *Psell.*, IV, 10; *Cedr.*, II, 444; *Zon.*, IV, 114; *Асохик*. Всеоб. история, 200–201; *Arisd.*, 9. Ср.: *Васильевский*//Ж. М. Н. Пр., CLXXVI, 121–127.

[9] *Scyl.*, 644: Βαράγγους αὐτοὺς ἡ κοινὴ ὀνομάζει διάλεκτος (на общенародном наречии они именуются варягами).

[10] В какое время он сделан этерией, тотчас ли по прибытии, или потом, остается невыясненным.

Багратида Гургена I, царя Абхазии и Картлии;[1] отряды этого корпуса участвовали в походе Василия II в Болгарию, в 1016 г., и получили $^1/_3$ захваченной добычи;[2] дважды посылаемы были императором в Италию, в 1019 и 1024–1025 гг. — в первый раз разбили норманнов и Мела при Каннах,[3] во второй находились под начальством китонита Ореста и имели целью завоевание Сицилии.[4] Варяжский корпус достался в наследство преемникам Василия II, при которых занимал прежнее положение. Это была пехота, вооруженная секирами,[5] копьями, имевшая щиты и, может быть, луки и мечи.[6] Корпус мог пополняться детьми и потомками наличных членов, а еще более новыми выходцами из Руси, прибывавшими не только в одиночку, но и значительными партиями, как показывает пример Хрисохира, который явился в конец царствования Василия II с восьмисотенным отрядом, хотел наняться на службу, но не сошелся в условиях и потерпел со всеми своими воинами плачевную участь.[7] В варяжскую дружину могли поступать и люди другой национальности, кроме русской; тем не менее русский элемент был преобладающим до воцарения Алексея Комнина. Можно допустить, что до Алексея Комнина в варяжской дружине, кроме россов, находились скандинавские норманны, составлявшие незначительную часть, сравнительно с россами. Эту уступку следует сделать сагам, источнику, впрочем, малонадежному и позднему (не ранее XII в.). В сагах говорится о причислении к варяжской дружине, как учреждению ранее существовавшему, тех или других норманнов, как-то: Болле Боллесона, которого Лаксдельская сага (записанная в начале XIII в.) называет первым норманном, вступившим в общество вэрингов (около 1026 г.), Геста и Торстейна (герои Вигастировой саги), Колскегга (Ньялова сага), Торстейна Дромунда и Торбиорна Аунгула (Греттирова сага) и особенно Гаральда Гардрада (Гаральдова сага). Гаральд Гардрад с его спутниками имеет свидетельства своей службы в Византии и в других памятниках, кроме саги, — в песнях скальдов и в произведениях

---

[1] *Brosset*. Hist. de Georg., I, 309; *Arisd*., 34.

[2] *Cedr*., II, 465.

[3] *Ademari*, ed. Pertz, IV, 140; *Amat*., 18; *Leo*, 652.

[4] *Ann. Bar*., 53; *Cedr*., II, 479.

[5] Это отличительное вооружение варягов часто указывается *Пселлом* (IV, 105, 142, 220), *Врienнием* (74, 123) и *Анной Комниной* (I, 120, 211).

[6] О щитах у *Асохика* (200), *Пселла* (IV, 281) и *Врienния* (74); о копьях у *Асохика* (200) и *Пселла* (IV, 216); о мечах — ἀκινάκη — у *Скилицы—Кедрина* (II, 509); о луках у *Атталиота* (295).

[7] *Cedr*., II, 478–479.

историков.[1] Кроме скандинавских норманнов, есть указания на присутствие в варяжской дружине, именно в том отряде, который охранял особу императора, арабов: по поводу осады Константинополя Торником говорится об обществе агарян, состоявшем на царской страже при Константине Мономахе и участвовавшем в обороне города.[2] Наконец, странную глоссу о варягах времени Михаила Стратиотика, внесенную в сочинение Скилицы—Кедрина,[3] и объяснение Анны Комнины о происхождении варягов, защищавших при Вотаниате Византию от Алексея Комнина,[4] можно объяснять не только тем, что авторы перенесли позднейшие порядки на более раннее время, но и тем, что еще до Алексея Комнина, после завоевания Англии Вильгельмом Норманнским в 1066 г., и даже раньше, были отдельные случаи поступления англо-саксов в число варягов.[5] Сначала поступали немногие, но после того как попытки англо-саксов отстоять свое отечество от норманнов окончательно не удались, последовал в начале царствования Алексея Комнина, в 1081–1082 гг., массовый прилив англо-саксов на византийскую службу;[6] они наполнили варяжскую

[1] Из этих памятников извлекаются следующие данные: Гаральд прибыл в 1031 г. в Гардарик (Киев), к русскому князю Ярославу, оттуда около 1033 г. в Миклагард (Византию). Здесь он вместе с варягами принимал участие в борьбе с сарацинами в Малой Азии в 1033–1034 гг., потом вместе с Маниаком прибыл в 1038 г. в Италию и сражался с сарацинами в Сицилии, а в 1040 г. участвовал в борьбе с болгарами и защищал Солунь, осажденную болгарами. С солунянами находилась тагма великосердых (τῶν μεγαθύμων, Cedr., II, 532), в которой с большой вероятностью можно видеть скандинавский отряд, составившийся, вероятно, из 500 дружинников, приведенных Гаральдом (Советы и рассказы визант. боярина // Ж. М. Н. Пр., 1881, август, 328); этот отряд или входил в состав варяжской дружины, или существовал независимо от нее. В 1042 г. Гаральд находился в Константинополе и принимал участие в бунте против Калафата, ворвался вместе с толпой во дворец, умертвил варягов, державших караул, и разграбил золото; в самом ослеплении Калафата он играл какую-то роль. В 1043 г. Гаральд оставил императорскую службу и в 1044 г. возвратился в Скандинавию.

[2] *Attal.*, 24: ἀγαρηνῶν τις ξυμμορία τῶν ἐπὶ φρουρᾶς ἐκβληθεῖσα καὶ δεξιώσεων τυχοῦσα βασιλικῶν (некий отряд агарян был выделен из стражи и удостоен царских милостей).

[3] *Cedr.*, II, 613: γένος δὲ κελτικὸν οἱ Βάραγγοι μισθοφοροῦντες Ῥωμαίοις (варяги — кельтское племя, наемники у ромеев).

[4] *Anna*, I, 120: οἱ ἐκ τῆς Θούλης Βάραγγοι (варяги из Фулы).

[5] Что англо-саксы до Алексея Комнина оставляли родину и искали себе дела на чужбине, показывает пример Эбузанда, который был в числе спутников Роджера в Сицилии, в 1078 г., и которого историк (*Malat.*, 580) называет бриттом.

[6] *Order. Vital.*, 309, 519. Ср.: *Freemann*. History of the Norman Conquest, IV, 628.

дружину, вытеснили русских, дурно зарекомендовавших свою верность при императоре Вотаниате (против которого взбунтовались), и заняли преобладающее положение среди варягов, принадлежавшее доныне русским, а рядом с ними второстепенное место отвоевали себе датчане, игравшие в XII в. в варяжской дружине такую же роль, сравнительно с англо-саксами, какую в XI в. играли норвежцы и исландцы, сравнительно с русскими.

Варяги были постоянным наемным войском из иноземцев. Отдельные лица могли вступать в дружину и покидать ее, уезжая на родину, но сама варяжская дружина, как учреждение, постоянно существовала, хотя численность ее в разное время могла быть неодинакова. От варягов строго отличались все другие иностранные наемники; составлявшиеся из них союзные войска назывались войсками народов (ἐθνῶν, βαρβάρων).[1] Эти войска нанимались тогда, когда чувствовалась в них нужда. Благоразумная подготовка к походу и к войне в глазах византийских политиков и людей военных должна была заключаться, между прочим, в том, чтобы призваны были на помощь иноземцы;[2] с этой целью отправляемы были вербовщики в Западную Европу и в другие страны, где была надежда найти охочих для войны людей, и желающие нанимались на службу;[3] без сомнения, многие прибывали и помимо всякой вербовки, привлекаемые византийским золотом, которым правительство щедро вознаграждало услуги наемников. Иностранные наемники поступали на службу на более или менее продолжительное время, или только ad hoc, для участия в известном походе или войне; в первом случае они по целым годам оставались в Империи, располагались на зимних квартирах в фемах, а временами совершенно оседали в поместьях[4] и на землях, полученных в награду за службу. Хотя отряды, составлявшиеся из наемников, служили иногда целыми годами, однако же их нельзя назвать постоянным войском; в наш период из наемников чаще всего встречаются французские норманны, однако и норманнские отряды, по миновании надобности, распускались; в Италии можно было встретить немало авантюристов, побывавших на службе в Византии, потом отпущенных за ненадобностью и искавших себе

[1] *Cedr.*, II, 625; *Zon.*, IV, 233.

[2] *Psell.*, IV, 275: ξενικὴν συμμαχίαν προσαγαγεῖν εἶθ' οὕτως ἐφ' ἑτοίμοις τοῖς πράγμασι πολεμεῖν (...либо призвать иноземных союзников, либо воевать как есть, исходя из сложившегося положения).

[3] *Matth. d'Ed.*, 166: Diogène... envoya des hérauts partout dans les contrées d'Occident... il fit venir des renforts de chez les barbares.

[4] Эрве имел поместье Даварам, в Армениаке.

занятия в рядах норманнов, отвоевывавших у Византии Апулию и Калабрию.[1]

Французские норманны занимали первое место в ряду иностранных наемников Византии; вербовка их была весьма удобна: Италия была передаточным местом, из которого эти беспокойные искатели приключений прибывали в Византию. Византийцы называли их франками. Впервые французские норманны стали поступать на византийскую службу при Константине Мономахе, — указал им дорогу в Византию знаменитый Маниак. Уже во время первого пребывания Маниака в Италии и Сицилии, при Михаиле Пафлагоне, норманны имели возможность познакомиться с ним: трехсотенный отряд норманнов, состоявший до тех пор на службе Салернского князя Ваймара, разделял с Маниаком экспедицию в Сицилию и участвовал в битвах с сарацинами. Маниак своими физическими данными не мог не произвести сильного впечатления на норманнов, и хотя во второй раз, при Михаиле Калафате, он явился уже для борьбы с норманнами, однако ему, как скоро он пожелал, нетрудно было найти между норманнами почитателей, готовых идти за ним и разделять опасности, — в войске Маниака, высадившемся в феме Диррахии, в 1043 г., находились союзные франки. После поражения Маниака многие из них возвратились назад в Италию, но были и такие, которые предпочли остаться на службе византийского императора и стали именоваться маниакатами.[2] Затем много раз встречаемся с франками и франкскими отрядами. При Мономахе во время осады Византии Торником, в 1047 г., франки находились в городе и вместе с Аргиром защищали его от осаждавших.[3] В 1049 г. франки были отправлены против печенегов и в 1050 г. отданы под (главное) начальство патриция Никифора Вриенния, для

[1] Когда самозванец, назвавшийся Михаилом Дукой, явился к Роберту Гвискару с просьбой о помощи, эти норманны, побывавшие в Византии на службе, не раз видевшие царя, утверждали, что лже-Михаил совершенно не похож на настоящего Михаила. См.: *Malat.*, 580.

[2] *Scyl.*, 720. В рассказе о восстании Вриенния (*Bryenn.*, 136) говорится, что его войско составляли οἵ τε ἐξ Ἰταλίας παρὰ τοῦ Μανιάκη ἐκείνου κομισθέντες Φράγγοι (франки, призванные из Италии еще тем самым Маниаком). В этих словах можно видеть лишь объяснение того, как первоначально появились франки в Византии. В 1077 г., через 34 года после Маниака, в Империи едва ли мог оставаться хоть один приведенный им норманн, а чтобы из маниакатов был сформирован постоянный отряд, который бы по мере убыли наличных членов пополнялся новыми, ниоткуда не видно.

[3] *Anon. Bar.*, 328.

противодействия набегам печенегов.[1] В 1053 г. франки, расположенные на квартирах в Халдии или Иверии, были собраны аколуфом Михаилом для войны с турецким султаном;[2] при осаде Манцикерта султаном один франк показал свою удаль тем, что подъехал на лошади к стенобитной машине, поставленной турками, бросил в нее «мидийский огонь» и сжег.[3] В 1057 г. две тагмы франков, привлеченные Катакалоном Кекавменом на сторону Исаака Комнина,[4] участвовали в восстании этого последнего.[5] Франки участвовали в походе Диогена 1068 г.[6] и были отправлены императором в Мелитину с наказом действовать против турок;[7] они участвовали также в походе 1069 г. и раз собственными силами отразили турок, сделавших нападение на греческий лагерь;[8] были они и в походе 1071 г., из Феодосиополя отправлены были Диогеном в Келат,[9] по освобождении Диогена из турецкого плена многие прибыли к нему в Докию, между тем как другие сражались за Парапинака против Диогена.[10] При Михаиле Парапинаке, во время болгарского восстания, франки под главной командой Саронита отправлены были против Бодина Сербского, явившегося на помощь болгарам,[11] затем бунтовали против Парапинака в Малой Азии, причем численность их доходила до 3000 человек,[12] а во время восстания Никифора Вриенния приняли сторону этого последнего;[13] однако же и Алексей Комнин, отправленный против Вриенния Вотаниатом, имел в своем распоряжении франков из Италии.[14] Поднявший оружие против законного правительства Никифор Василакий нанял франков в Италии.[15] Не излишне припомнить, что и во всех известных нам грамотах, перечисляющих роды войск, упомянуты франки. Норманны служили Византии

---

[1] *Cedr.*, II, 597, 602.

[2] *Cedr.*, II, 606.

[3] *Attal.*, 47; *Matth. d'Ed.*, 100–101. Атталиот называет его «латинянином».

[4] *Cedr.*, II, 624.

[5] *Psell.*, IV, 222. Пселл называет их «италами».

[6] *Scyl.*, 668.

[7] *Attal.*, 107.

[8] *Attal.*, 126–127 (*Scyl.*, 680).

[9] *Attal.*, 148 (*Scyl.*, 691): Γερμανοὺς τοὺς λεγομένους Φράγγους (Германцы, именуемые франками).

[10] *Attal.*, 170–171.

[11] *Scyl.*, 717–718.

[12] *Attal.*, 188.

[13] *Attal.*, 242 (*Scyl.*, 727); *Bryenn.*, 136.

[14] *Bryenn.*, 133.

[15] *Attal.*, 297 (*Scyl.*, 739).

под непосредственным начальством какого-нибудь вождя из своих соотечественников. Эти вожди, собиравшие вокруг себя дружины смельчаков, представляют конкретные примеры той необузданности, переменчивости и своекорыстия, которыми отличались отчаянные воители, избиравшие их своими вожаками: они не рассуждали о том, за кого сражаться, заботились только о выгоде и поэтому не задумывались принимать сторону всех соперничавших между собой претендентов, или даже, помимо претендентов, сражаться на свой собственный счет и риск. Знаменитейшими предводителями норманнских дружин были: Эрве,[1] Роберт Криспин[2] и Урсель Бальйоль.[3]

Позже французских норманнов стали поступать на византийскую службу немцы. Первое упоминание о немецких наемниках встречаем при Романе Диогене во время похода 1069 г., когда какой-то знатный немец наушничал императору на Роберта Криспина. Очевидно, в походе участвовал немецкий отряд, в состав которого входил и этот немец. В рассказе о походе 1071 г. есть эпизод, из которого можно сделать некоторые заключения о значении немецкого отряда. Когда Роман Диоген стоял лагерем у источника Крии, между Кесарией и Севастией, наемные иноземцы беспощадно разорили окрестности и выпасли посевы скотом. Император по этому поводу сурово обошелся с некоторыми из немцев. Те воспламенились гневом и с варварским безумием дерзко поднялись на защиту своих прав, сели на лошадей и приготовились выступить против царской палатки и самого царя. Когда намерение их сделалось известно, в лагере произошла тревога и царь отдал приказ о войне (с немцами). Когда он сел на лошадь и двинулся строем, готовый к битве, это устрашило иноземцев. Заключив с ними договор, царь отвел им крайнее место, взамен прежней близости и службы в телохранителях, полагая в этом единственное наказание за их преступление.[4] Последние слова показывают, что немцы начали службу в рядах византийской армии в качестве не простых

---

[1] Об Эрве (Ἐρβέβιος, Φραγγόπωλος): *Attal.*, 35; *Cedr.*, II, 617–619, 597; *Matth. d'Ed.*, 118–120.

[2] О Роберте Криспине: *Attal.*, 122–123, 125–126, 170–171 (*Scyl.*, 678–679, 703; *Zon.*, IV, 218); *Psell.*, IV, 285–286; *Amat.*, 11–12.

[3] Об Урселе (Ῥουσέλιος) Бальйоле (Baillol): *Attal.*, 183, 185–186, 188, 191, 198–199, 206–207, 253–255, 269–271 (*Scyl.*, 708–709, 713–714, 730; *Zon.*, IV, 221–222); *Scyl.*, 743 (*Zon.*, IV, 231); *Bryenn.*, 58–59, 73–75, 81–93, 127–128; *Malat.*, 568.

[4] *Attal.*, 147 (*Scyl.*, 691; *Zon.*, IV, 212): τὴν ἐσχάτην τούτοις χώραν ἐκ τῆς σωματοφυλακίας καὶ τῆς πρώην ἐγγύτητος ἀπενείματο.

союзников, но лейб-гвардии, были телохранителями. Свое положение они удерживали недолго: за возмущение 1071 г. они были лишены звания телохранителей и низведены в разряд обыкновенных наемников. Как простых наемников, видим их и после Диогена. Немцы (Ἀλαμάνοι) участвовали в усмирении болгарского восстания при Михаиле Парапинаке, ознаменовав свое участие тем, что, вместе с норманнами, разрушили дворец болгарских царей в Преспе и разграбили находившийся здесь храм св. Ахилла.[1] При осаде Константинополя Алексеем Комнином немцы охраняли башню над Харсийскими воротами и, польстившись на золото Комнина, изменили Вотаниату.[2]

Из азиатских народов Византия, кроме арабов, которые, как выше упомянуто, служили в варягах, но могли также находиться и в числе простых наемников,[3] изредка обращалась к содействию грузин, чаще — к содействию турок. Грузины упоминаются Ибн-ал-Атиром[4] в числе войск, бывших в армии Романа Диогена во время похода его против турок. При Парапинаке был отправлен в Грузию Михаил Палеолог для найма войска против Урселя. Палеолог собрал около шести тысяч, но медлил с уплатой им жалованья; грузины долго настаивали, чтобы деньги были им заплачены, но не получив желаемого, разошлись по домам, — остались только немногие.[5] Турки, как показывает пример Амертика,[6] еще при Михаиле Стратиотике стали поступать на византийскую службу, но особенно усердно византийское правительство пользовалось их услугами, начиная с Михаила Парапинака.[7]

На правах союзных народов несли военную службу и некоторые народности, жившие на землях Византийской империи, а именно: армяне, павликиане, печенеги с узами и албанцы.[8] Великоармянские владетели, получившие в Малой Армении земли, в обмен на уступленные ими

---

[1] *Scyl.*, 718–719.

[2] *Zon.*, IV, 232–233 (*Glyc.*, 618); *Anna*, I, 120. См. выше, кн. I, с. 254.

[3] Простые наемники-арабы, вероятно, имеются в виду под сарацинами в хрисовулах, см. выше, с. 31, прим. 5; с. 43, прим. 4, и под теми арабами, которые, по свидетельству *Ибн-ал-Атира* (Ж. М. Н. Пр., CLXXVIII, 118), участвовали в походах Диогена.

[4] Под именем Курч. См.: Ж. М. Н. Пр., CLXXVIII, 118.

[5] *Bryenn.*, 83–84.

[6] *Attal.*, 94–95 (*Scyl.*, 662).

[7] См. выше, кн. I, с. 241–242.

[8] Может быть, к этому разряду принадлежат и упоминаемые в хрисовулах Κουλπίγγοι, относительно которых, впрочем, существуют и другие объяснения. См.: Ж. М. Н. Пр., CLXXVIII, 130.

Византии города и области, должны были поставлять вспомогательное войско и главным образом снабжали пехотой, которая славилась выдержкой, нередко отличалась в делах,[1] нередко также проявляла непостоянство и строптивость.[2] Павликиане, выведенные из Армении Константином Копронимом и Иоанном Цимисхием и поселенные около Филиппополя, несли военную службу и участвовали в походах греков, например, в Сицилию и Италию (1041 г.), где действовали против сарацин и норманнов, возбуждая в последних удивление своим обычаем полагать знамение креста на челе одним перстом.[3] Печенеги поселены были в пределах Империи при Константине Мономахе, в 1048–1049 гг., сначала в придунайской, потом в Болгарской феме,[4] оба раза десятками тысяч человек, с обязательством поставлять вспомогательное союзное войско. Первый опыт службы печенегов как союзников, в 1049 г., был крайне неудачен. Печенеги, отправленные в числе 15000 против турок-сельджуков, взбунтовались, возвратились назад с азиатского берега Босфора и подали сигнал своим сородичам оставить поля Болгарской фемы для более привольной кочевой жизни за Балканами. Новое поселение на казенных византийских землях, уже в Македонской феме, произведено при Константине Дуке. в 1064 г., — поселены были главным образом узы, хотя и родственные узам печенеги получили на свою долю часть казенных земель; те и другие приняли обязательство поставлять союзное войско.[5] Родство узов и печенегов, их соседство и совместная служба в рядах византийской армии побуждают византийских историков называть их безразлично то печенегами (Атталиот), то узами (Скилица). Узо-печенеги участвовали во всех трех походах Романа Диогена. Отправляясь в первый поход, Диоген призвал их,[6] около Халеба посылал на фуражировку;[7] во втором походе, когда турки были разбиты под Лариссой и обращены в бегство, узо-печенеги гнались за ними впереди других воинов, посланных для

[1] Напр., в 1071 г., при осаде Манцикерта, когда пешие армяне первыми взошли на стену. См.: *Attal.*, 151.

[2] Напр., в 1068 г., после неудачи при Иераполе. См.: *Attal.*, 113.

[3] *Ann. Bar.*, 55; *Guil. Apul.*, 248.

[4] *Cedr.*, II, 584, 587 (*Zon.*, IV, 175). Обилие пустопорожних земель, дававшее Византии возможность селить варваров, *Вильгельм Тирский* (653) объясняет намеренным превращением греками пограничных мест новоприобретенной Болгарии в пустыню, с целью сделать ее менее доступной нападениям врагов.

[5] *Attal.*, 87 (*Scyl.*, 657).

[6] *Attal.*, 103 (*Scyl.*, 668).

[7] *Attal.*, 108 (*Scyl.*, 672).

преследования;[1] во время третьего похода на фуражировку из Феодосиополя высланы были они же,[2] а незадолго перед сражением, окончившимся пленом Диогена, часть узо-печенегов перебежала к туркам, и это вынудило императора принять меры предосторожности относительно оставшихся и взять с них присягу на верность.[3] Вообще, узо-печенеги исполняли роль «летучего» войска и были пускаемы в дело, когда требовалось добыть припасы, нагнать неприятеля и т. п. Они представляли собой ненадежное войско. Измена в 1071 г. могла бы еще быть оправдана родственным тяготением к туркам; но известно, что и в других случаях узо-печенеги не отличались преданностью Империи и готовы были подать руку помощи всякому претенденту, от которого можно было ожидать наживы. Ни одно возмущение в европейских фемах не обходилось без участия печенегов из-за Балкан, или узо-печенегов, живших по эту сторону Балкан.[4] Албанцы, жившие в горах фемы Диррахия и впервые[5] выступающие на сцену в XI в., служили, в качестве союзников Византийской империи, еще при Михаиле Пафлагоне. В конце царствования Михаила Пафлагона, при италийском дуке Михаиле Докиане, мы встречаем албанцев в Италии. Из Италии они прибыли вместе с Маниаком, сторону которого держали.[6] Василакий считал албанцев в числе своих приверженцев.[7]

Наемное иноземное войско сражалось под командой своих предводителей, которые не обязаны были занимаемыми ими местами византийскому правительству и держали себя с самостоятельностью и независимостью, доходившими до своеволия, во всем, что касалось внутреннего управления войском. Тем не менее византийская централизация желала наложить свою печать и на этот элемент армии, по самой природе не мирившийся

---

[1] *Attal.*, 126–127 (*Scyl.*, 680).

[2] *Attal.*, 148 (*Scyl.*, 691).

[3] *Attal.*, 157–158 (*Scyl.*, 695–696); *Matth. d'Ed.*, 169.

[4] *Attal.*, 207, 290, 298, 302 (*Scyl.*, 719, 739, 741); *Bryenn.*, 136, 139; *Anna*, I. 30.

[5] Самое их имя ведет начало от более раннего времени; город Албанополис — турецкое Элбассан — читается еще у *Птоломея* (Geograf. Lib. III, cap. XIII, §33).

[6] *Attal.*, 9: οἵ ποτε σύμμαχοι... Ἀλβανοί (союзники... албанцы). 18: Μανιάκης... ἐκ τῆς Ἰταλικῆς ἀρχῆς ἐπαναστὰς μετὰ τῶν ἐκεῖσε συνόντων στρατιωτῶν Ῥωμαίων καὶ Ἀλβανῶν (Маниак, возглавлявший италийское войско, поднял мятеж вместе с бывшими там воинами — ромеями и албанцами). Таким образом, за сорок лет до появления албанцев в войске Василакия, считающегося обыкновенно первым случаем упоминания об албанцах, они попадаются на страницах истории.

[7] *Attal.*, 297: Ἀρβανιτῶν (*Scyl.*, 739).

с централизационной тенденцией. Разумеется, дело могло и не выходить из сферы желания, ограничиваясь существованием в административной иерархии титула, указывавшего на звание начальствовавшего войсками народов, — мы имеем в виду титул этнарха, с которым соединялось представление об управлении союзным войском ἐξ ἐθνῶν (из иноземцев). Иногда лицу, облеченному этим званием, вручалось фактическое командование отрядами разных народов: например, патриций Никифор Вриенний получил в 1050 г. главное начальство над отрядами франков, варягов, конных стрелков из фемы Телуха, с горы Мавра и Каркаря и отправлен был с этим сборным войском, числом около 20000, против печенегов, в звании этнарха (ἐθνάρχης).[1] Но чаще это звание имел кто-нибудь из приближенных царя, никогда не выходивший из стен Византии, чтобы предводительствовать отрядами народов. Между прочим, звание этнарха носил приближенный императора Вотаниата, славянин Борилл.[2]

В Византии была должность, которая действительно собирала в одно целое разнородный состав византийской армии, объединяла все роды войск. Это должность стратига-автократора, с которой соединены были полномочия главнокомандующего войск и которая в известном отношении аналогична с диктаторской властью древнего Рима. Полномочия стратига-автократора имели временное значение и оканчивались вместе с окончанием похода, но в пределах определенного времени они были весьма широки. Стратиг-автократор как бы заменял императора в походе, на что указывало и само его название (автократор). Случалось, что сам император отправлялся в поход во главе войска. Это соединено было с известной церемонией: раскидывалась царская палатка, оповещавшая жителей столицы об отбытии царя в поход,[3] царские кони украшались пурпуровыми попонами, вызолоченной сбруей, седлами, напоминавшими императорский престол (δίφρον), коней окружали скороходы с большими саблями в руках.[4] В тех случаях, когда император участвовал в походе, никогда не было назначаемо особого стратига-автократора, по той причине, что постоянный автократор был налицо. Стратиг-автократор

---

[1] *Cedr.*, II, 602–603.

[2] *Bryenn.*, 146.

[3] *Attal.*, 102: τὸ παράσημον τῆς βασιλικῆς σκηνῆς (знак царской палатки). Царская палатка, по-видимому, заменила щит и меч на воротах Халки и знамя на кровле Влахернской Богоматери, которые в X в. служили знаком выступления императора в поход. См.: *Rambaud*, 435.

[4] *Attal.*, 162, 247; *Anna*, I, 31.

назначался только тогда, когда император участия в походе не принимал; он временно отдавал тогда свои права над армией другому, который, занимая какую-нибудь постоянную должность, на время делался главнокомандующим. Стратиг-автократор имел главную команду над всеми войсками, из которых в данный момент слагалась армия, и над ромейскими тагмами, и над флотом, и над этериями, и над войсками народов, все командующие частями войск должны были повиноваться ему. Из стратигов-автократоров известны следующие лица: при Романе III великий этериарх, протоспафарий Феоктист, с войсками ромеев и народов отправленный в Сирию;[1] при Михаиле Пафлагоне патриций Георгий Маниак, посланный в Италию с сухопутным войском и флотом;[2] при Константине Мономахе Стефан Севастофор, высланный против Маниака,[3] доместик схол Николай, ходивший против тевинского эмира,[4] сменивший его после неудачи великий этериарх Константин,[5] ректор Никифор, действовавший против печенегов,[6] опять этериарх Константин — против печенегов,[7] аколуф, патриций Михаил, — сначала против печенегов, затем (с западными стратиотами, франками и варягами) против турок, наконец (с войсками Востока и Запада) опять против печенегов;[8] при Михаиле Стратиотике стратиг Каппадокии Вриенний, поставленный стратигом-автократором македонских тагм против турок,[9] и доместик Востока Феодор — против восставшего Комнина;[10] при Романе Диогене Мануил Комнин[11] — против турок (в 1070 г., когда император оставался в столице); при Парапинаке Исаак Комнин[12] и кесарь Иоанн[13] — против турок.

В заключение обзора составных частей византийской армии приведем описание триумфа, в котором по принятому обычаю участвовали войска всех родов, бывшие в деле, притом в порядке, по возможности

---

[1] *Cedr.*, II, 495.
[2] *Cedr.*, II, 514.
[3] *Cedr.*, II, 548.
[1] *Cedr.*, II, 558.
[5] *Cedr.*, II, 560.
[6] *Cedr.*, II, 597.
[7] *Cedr.*, II, 600.
[8] *Cedr.*, II, 603, 606–607.
[9] *Cedr.*, II, 616.
[10] *Cedr.*, II, 627–628.
[11] *Bryenn.*, 25.
[12] *Bryenn.*, 58.
[13] *Attal.*, 184.

воспроизводившем боевой строй. В ряду византийских церемоний триумфы занимали далеко не последнее место. Приготовления к ним делались ранее, чем выиграна была битва, победные венки (ἀριστεῖοι στεφάνοι) заготовлялись перед отправлением в поход.[1] Победа, подчас даже сомнительного свойства, праздновалась триумфом. Роман III въехал в Антиохию (после неудачного дела с арабами) с пышностью, напоминавшей скорее театральное представление;[2] после победы над болгарами Михаил Пафлагон блистательно отпраздновал подвиги конницы и пехоты и торжественно въехал в столицу, в сопровождении значительнейших пленников;[3] при Мономахе были триумфы по поводу победы над Маниаком, Торником и над россами;[4] при Исааке Комнине — по поводу победы над печенегами.[5] Триумф, устроенный после победы над Маниаком, историк описывает следующим образом. Прежде чем войско возвратилось, послана была к императору голова тирана. Как бы освободившись от какой тяжести, император вздохнул свободно, возблагодарил Бога, а голову повесил на возвышенном месте в Великом театре, дабы все издали могли ее видеть. Когда затем возвратилось войско, причем многие воины были украшены венками доблести, и остановилось перед городом, неподалеку от стен, император признал нужным, чтобы был устроен триумф (θρίαμβος ἐπὶ τοῖς τροπαίοις (триумф по случаю трофея)). Торжественное шествие расположено было сообразно с порядком, соблюдавшимся в лагере и в боях. Впереди шел скученно и в беспорядке легковооруженный строй (τὸ ψιλόν), с щитами, луками и копьями, за ним следовали всадники, одетые в броню с тяжелым вооружением, возбуждавшие страх как своим видом, так и боевым порядком. Далее войско тирана, без всякого строя, в дурной одежде, восседавшее на ослах, с лицом, обращенным к хвосту; за этим войском совершала свой вторичный въезд голова тирана, а за нею кое-что из его одеяния. Потом некоторые меченосцы и равдухи, равно и носящие секиры на правом плече, великое их множество предшествовало главнокомандующему войск, а за всеми ими сам главнокомандующий, выдававшийся как своей

[1] *Psell.*, IV, 33: ὁ δὲ (Роман Аргир перед отправлением в сирийский поход) καὶ τοὺς στεφάνους οἷς τὴν κεφαλὴν ταινιώσαιτο ἐπὶ τῇ τῶν τροπαίων ἀναρρήσει πολυτελῶς κατεσκεύαζεν (он же готовил и роскошные венки, которыми намеревался украсить главу, когда будет провозглашена победа).

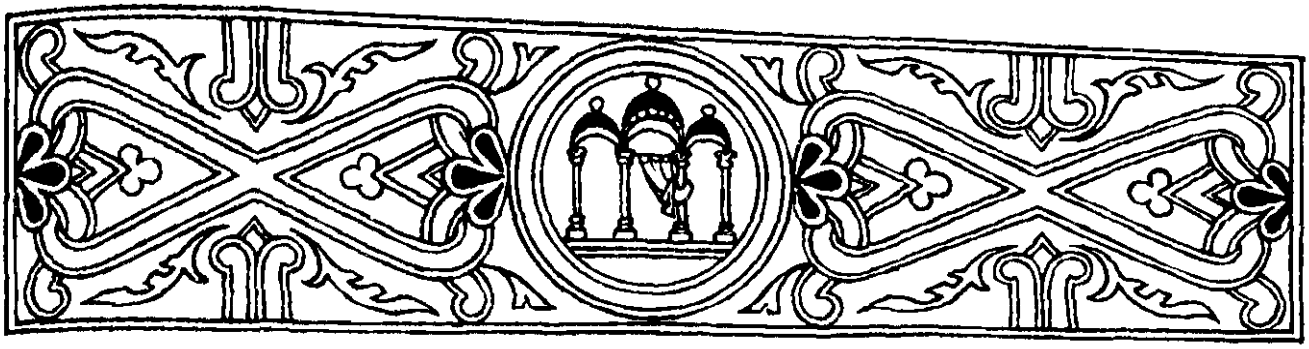
[2] *Psell.*, IV, 33.

[3] *Psell.*, IV, 74; *Attal.*, 10.

[4] *Psell.*, IV. 142–143, 147, 162.

[5] *Psell.*, IV, 249.

лошадью, так и облачением, за ним же вся свита телохранителей. В то время как шествие двигалось в таком порядке, император во всем блеске восседал на балконе башни в Халке (Χαλκῆς Φυλακῆς), находящейся при Божьем храме, построенном великим царем Иоанном (Цимисхием), преемником Никифора Фоки. По обеим сторонам его сидели царицы и смотрели на триумф. По окончании торжества венценосец (император), сопутствуемый хвалебными славословиями, удалился во дворец.



Глава восьмая

Со стороны судебной организации XI век представляет продолжение порядков, господствовавших в предшествующее время, при императорах Македонской династии и ранее; лишь в немногих частных пунктах заметны особенности и нововведения. В источниках отличаются суды духовные и светские (ἐκκλησιαστικὰ — κοσμικὰ κριτήρια, δικαστήρια), светские распадаются на гражданские и военные (πολιτικὰ — στρατιωτικὰ κριτήρια) и гражданские в частности на столичные и областные (πολιτικά, θεματικά); на вершине всего стоит императорский суд (τὸ αὐτοκρατορικὸν δικαστήριον, τὸ βῆμα τῆς βασιλείας).

Император, как источник закона и правды, был верховный судья в государстве. Его судилище, по характеру и составу членов, было, собственно говоря, высочайшим выходом (внутренним), на котором находило себе выражение одно из проявлений императорской власти. На заседаниях (σελέντιον) этого судилища присутствовали собиравшиеся по императорскому приглашению отборнейшие сенаторы и сановники. В Πεῖρα перечислены следующие: друнгарий, эпарх, квестор, протоасикрит, хранитель каниклия, магистр, вест, патриции, протоспафарии, экзактор и столичные судьи. Но, понятно, в Πεῖρα не названы некоторые чины (например, протопроедр, вестарх) и должности (например, ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων (начальник судов)), которые установлены в XI в., после того как записан этот юридический памятник. Заседания проходили под председательством императора, в отсутствие же императора председательствовал сначала эпарх, потом друнгарий виглы. Друнгарий виглы, уже в Πεῖρα выступающий на передний план,[1] в XI в., по-видимому, вполне занял место эпарха, как председатель верховного суда в отсутствие императора.[2] В тех случаях,

[1] *Zachariae*, I, 16, 45, 48, 90, 109, 117, 209, 227.

[2] Соответственно с усилением его значения он был наименован в конце XI в. великим друнгарием: μέγας δρουγγάριος. Титул этот, судя по схолии к *Василике* (ed. Heimbach, III, 573), введен при Михаиле Парапинаке. В новелле Михаила

когда император не присутствовал на заседании, решение суда представлялось ему на утверждение.[1]

В верховном императорском суде разбирались дела, имевшие особенно важное, государственное значение, и дела о преступлениях высших должностных лиц. Поэтому, например, в нем рассматривались дела о заговорах при Константине Мономахе,[2] и Роман Диоген за свой замысел был судим первейшими членами синклита, под председательством императрицы Евдокии.[3] Кроме того, в верховный суд поступало множество дел по реляциям, апелляциям и суппликациям. С реляциями (ἀναφορά, ὑπόμνησις) обращались чиновники, спрашивавшие императорского решения (λύσις) в сомнительных случаях. Несмотря на то, что по судебным делам реляции были воспрещены законом, они тем не менее практиковались весьма часто,[4] и императоры давали λύσις или сами лично, или поручали дать кому-нибудь другому. Апелляция (ἔκκλητος) дозволялась во всех случаях и на решения как светских, так и духовных судей, исключая такие случаи, которые раз и навсегда были подчинены известным инстанциям окончательно. Через суппликацию (δέησις) каждый подданный мог,[5] минуя обычные суды, перенести свое дело на решение императора, и хотя в этой области закон налагал такое же ограничение, как и относительно реляций, судья уполномочивался даже не обращать внимания[6] на императорское определение (ὁριστής), однако же, само собой разумеется, такое идеальное полномочие не могло устоять против императорского всевластия и прошения на высочайшее имя подавались во множестве. Для принятия этих прошений и заведования ими существовало целое учреждение с министром во главе (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων).[7] Прошениям, если только

от 1075 г. (*Zachariae*, III, 328–332) упоминается великий друнгарий. У Феофилакта Болгарского есть письмо (Epist. 7), адресованное τῷ γαμβρῷ τοῦ μεγάλου δρουγγαρίου (зятю великого друнгария).

[1] *Zachariae*, I, 224–225, 233, 271, 288.

[2] *Psell.*, IV, 175–176, 184.

[3] *Attal.*, 98 (*Scyl.*, 664; *Zon.*, IV, 204): παρὰ τῶν πρώτων τῆς συγκλήτου βουλῆς (первыми из членов синклита).

[4] *Zachariae*, I, 288 (дело о кураторе Св. Софии); *Rhalli et Potli*, V, 271–273.

[5] До 1095 г., когда Алексей Комнин уничтожил право суппликации, во внимание к злоупотреблениям, какие оно собой влекло. См.: *Mortreuil*, III, 86.

[6] *Zachariae*, I, 269: εἰ ὡς ἀπὸ ἐξουσίας ἢ ἀποφάσεως γέγραπται, διορθώσεως οὐ δεῖται (Если что-либо определено решением или приговором, то не подлежит исправлению).

[7] Учреждение это, по-видимому, составляло отделение секрета протоасикрита. См. выше, кн. I, с. 305.

они принимались и проситель не был отсылаем к соответствующему ординарному суду, давалось двоякое направление: а) решение полагалось лично императором или верховным императорским судом, в последней инстанции, б) дело передавалось на рассмотрение одному или многим чиновникам по императорскому указанию (πρόσταξις, ἀντιγραφὴ βασιλική) и решалось ими, с правом апелляции на решение к верховному суду или к императору. Дать то или другое направление прошению зависело от императора и обусловливалось большей или меньшей склонностью его к судебным делам. Такой император, как Константин Дука, который был охочь до судов,[1] любил заниматься судопроизводством и других поощрял,[2] содействовал тому, что верховный суд был завален супликациями; но императоры, не питавшие подобной слабости, без сожаления уполномочивали других разбирать дела. Еще император Юстиниан специально для этой цели назначил 12 императорских судей (θεῖοι δικασταί), которые имели свое пребывание в столице и получали определенное жалованье; обыкновенно одному или нескольким из них давалось императором поручение разобрать то или другое дело. Эти судьи продолжали существовать и при преемниках Юстиниана, имея свои камеры (κελλία) на константинопольском ипподроме.[3] В XI в. они стали называться судьями вила на ипподроме (κριταὶ τοῦ βήλου καὶ ἐπὶ τοῦ ἱπποδρόμου).[4] Им обыкновенно и давались императорами поручения разобрать дело. Впрочем, императоры не стеснялись этой комиссией судей, давали также поручения и разным другим чиновникам.[5]

На положение столичных гражданских судов в XI в. проливает свет следующее место в Πεῖρα: «Одни из людей состоят при (царских) дверях и подлежат суду этериархов и протовестиария; другие плавают по морю и подлежат парафаласситу; моряки — друнгарию (флотов); ремесленники — эпарху; имеющие дела о завещаниях — квестору. Если бы кто, имея дело о завещании в том смысле, что завещание неправильно, привлек своего соперника к суду эпарха, а эпарх принял бы к своему рассмотрению

---

[1] *Psell.*, IV, 259, 266.

[2] *Attal.*, 76 (*Scyl.*, 652; *Glyc.*, 604).

[3] *Zachariae*, I, 267: ἐν τῷ ἱπποδρομίῳ ἱστάμενός τις... εἰσῆλθεν εἰς τὸ κελλίον τοῦ μαγίστρου (некто явился на ипподром... и вошел в келию магистра).

[4] Первое упоминание — у *Анонима Барийского* (322), под 1032 годом: descendit Michail Protospata criti tu Bilu ke tu Ypodromu. В 1077 г. это название прилагается к Михаилу Атталиоту, в его «Типике» (*Sathas*. Bibl. gr., 43), а около 1080 г. в надписании его «Истории» к нему же.

[5] *Zachar.*, I, 97, 160, 274 (поручение экзактору, мистику).

и постановил решение, то решение не имело бы силы. Равным образом если бы кто, возбудив дело о запрещенных тканях или по поводу какого другого ремесла, привлек ответчика на суд парафалассита, то решение парафалассита не имело бы тут никакой силы. То же правило имеет значение и по отношению к остальным (ведомствам)».[1] Из этого отрывка убеждаемся, что в византийском государстве, в XI в., поддерживалась неотделимость управления от суда: лица, стоявшие во главе управления учреждениями придворного ведомства (протовестиарий, этериархи) и заведовавшие флотом (друнгарий), были вместе с тем судьями. Заключительные слова, кроме того, удостоверяют, что и во всех других ведомствах господствовал тот же порядок. Следовательно, логофет дрома имел судебную власть над служащими в его секрете, а так как внешние сношения подлежали его ведению (как своего рода министру иностранных дел), то и спорные дела между иностранцами и подданными византийского государства стали поступать на его рассмотрение. Протоасикрит и логофеты: военный, общих и приватных дел и др., пользовались такой же властью в сфере своих секретов. Можно думать, что суд всех этих лиц имел характер суда чрезвычайного, что начальники тех или других ведомств, тех или других учреждений пользовались дисциплинарной властью над своими подчиненными. О существовании постоянных судебных инстанций, состоявших под председательством названных сановников, не упоминается; дикастирия протоасикрита выступает лишь в позднейшее время, при Мануиле Комнине.[2]

Но в столице были и в собственном смысле судебные учреждения (хотя тесно соединенные с администрацией). Некоторые из них указаны в приведенном отрывке Πεῖρα, это именно: эпарха, квестора и парафалассита. Дополняя отрывок другими местами того же юридического памятника, а частью новеллами и свидетельствами схолиастов, имеющими значение для XI в., можем заключать о существовании следующих судебных учреждений в столице. Высшим судебным учреждением была дикастирия друнгария виглы (δρουγγαρικὸν δηκαστήριον),[3] который, независимо от того, что играл важную роль в верховном императорском суде, имел еще свой отдельный суд, компетенция которого простиралась на всех мирян, за исключе-

[1] *Zachariae*, I, 249.

[2] Полагают, что появление этого судилища, упоминаемого в новелле Мануила Комнина, находилось в связи с запрещением Алексея Комнина от 1095 г. См.: *Zachariae von Lingenthal*. Gesch. d. griech-röm. Rechts, 2 Aufl., III, 351–352.

[3] Является как готовое уже учреждение в новелле Алексея Комнина от 1082 г. См.: *Zachariae*, III, 354.

нием лиц сенаторского звания и высших сановников.[1] За дикастирией друнгария виглы следовала дикастирия министра юстиции, τοῦ ἐπὶ τῶν κρίσεων (начальника судов).[2] Полагают, что было какое-то соотношение между этой дикастирией и камерами судей вила на ипподроме, которые, независимо от того, что разбирали дела по императорскому указанию, имели еще собственную юрисдикцию, удовлетворяя потребностям столичного населения.[3] Третье место (после дикастирий друнгария и министра юстиции) занимала дикастирия квестора (δηκαστήριον τοῦ κοιαίστωρος), надзору которого были подчинены в столице приезжие и городская чернь, убогие; компетенция его имела также значение во всех делах, где был возможен подлог (πλαστογραφία), почему при нем совершалось вскрытие и от него зависело утверждение завещаний, ему принадлежал надзор за душеприказчиками, забота о несовершеннолетних наследниках, назначение для них опекунов, и вообще спорные дела о наследствах подлежали его решению.[4] На четвертом месте стояла дикастирия эпарха, компетенция которого простиралась на городских ремесленников.[5] Парафалассит был чиновник, подведомственный эпарху,[6]

---

[1] Τοῖς λαϊκοῖς τοῖς μήτε συγκλητικοῖς μῆτε ἀξιωματικοῖς, по свидетельству автора Ecloga librorum I–X Basilicorum, писавшего в 1142 г. (*Mortreuil*, III, 266).

[2] Та же Ecloga I–X Basil. ставит его в подчиненное отношение к друнгарию виглы, который может возлагать поручения на министра юстиции и принимать на него апелляции. Сверх того, схолиаст «Василик», принадлежащий, по-видимому, ко времени Константина Дуки (*Zachariae*, III, 349), перечисляет дикастирии в таком порядке: друнгария, τοῦ ἐπὶ τῶν κρίσεων, квестора, эпарха.

[3] По общему убеждению (*Mortreuil*, III, 89; *Zachariae*, 345), компетенция их простиралась только на гражданские дела, не касаясь уголовных. По мнению *Цахариэ* (349–350), связь между этими судьями и секретом министра юстиции та, что ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων был председателем судей и архивариусом, секрет его был архивом для дел, решавшихся судьями; Никита Хониат был κριτὴς τοῦ βήλου καὶ ἐπὶ τῶν κρίσεων (судья вила и начальник судов). Ср. выше, кн. I, с. 307.

[4] *Zachariae*, I, 39, 49–50, 54, 56, 59, 261–262, 274–275. В «Типике» Михаила Атталиота (*Sathas*. Bibl. gr., I, 9) упоминается квестор Анца (Ἀνζᾶ).

[5] Что такое значение имела его юрисдикция в продолжении всего XI в., видно из сопоставления свидетельства в Πεῖρα со свидетельством Ecloga lib. I–X Basil.: ὁ ἔπαρχος ἐξουσίαν ἔχει ἐπι πᾶσι τοῖς συστηματικοῖς καὶ ἰδιώταις τέχνην οἱανδήτινα μετερχομένοις (Эпарх обладает властью над всеми цехами и частными людьми, занимающимися каким-либо ремеслом).

[6] По «Notitia dignitatum et administrationum» Филофея от 900 г. (*Const. Porphyr.*, I, 702 sq.), он в ряду чиновников, подчиненных эпарху, занимал низшее место сравнительно с κριταὶ τῶν ῥεγεώνων (judices regionum), которые были начальниками константинопольских кварталов и имели не только полицейскую и административную власть, но также судебную, по крайней мере, по гражданским искам.

следовательно, суд его над плавающими по морю, т. е. над лицами, занимавшимися морской торговлей и перевозкой фрахтов, равно как над служившими на торговых судах, был только низшей инстанцией, сравнительно с судом эпарха.

Областной гражданский суд является, подобно столичному, неотделимым от управления: административные округи, фемы и турмы, были вместе с тем судебными округами, стратиги и турмархи были не только правители, но и судьи.[1] Юрисдикция их имела приложение в сфере как уголовных, так и гражданских дел, например, антиохийский дука привлекает (в 1034 г.) антиохийцев к ответственности и присуждает к наказанию за убийство,[2] правитель Пелопоннеса и Эллады заключает Катананку под стражу за разбой,[3] турмархи присутствуют при гражданских сделках и свидетельствуют своей подписью купчие, торговые и дарственные акты.[4] Практор в своей сфере, по предметам, касавшимся казенного интереса, податей, казенных и отошедших в казну имуществ, тоже имел судебную власть, был дикастом.[5] Упоминаемый в Πεῖρα сельский судья (χαμαιδικαστής)[6] был если не тот же турмарх, то во всяком случае лицо с низшей юрисдикцией, сравнительно с областным правителем, — он судил по уполномочию правителя фемы и апелляция на него поступала к этому последнему, между тем как апелляция на областного судью шла к императору, квестору и эпарху, а на практора, кроме того, к логофету общих дел. Чтобы в XI в. существовали в областных городах местные судьи, наследники старинных defensor'ов, хотя бы в подчиненном положении относительно императорских судей,[7] — это более чем сомнительно.

---

[1] *Zachariae*, I, 44, 201, 262, 286. Ср. также цитаты в главе о фемах, кн. I, с. 320–322.

[2] *Cedr.*, II, 510.

[3] *Zachariae*, I, 247.

[4] Prologo, 43–47.

[5] *Zachariae*, I, 160; *Phalli et Potli*, V, 271–273. Ср. цитаты в главе о фемах, кн. I, с. 322.

[6] *Zachariae*, I, 243: χαμαιδικαστὴς λέγεται ὁ δοθεὶς εἰς δίκην διαγνώμων παρὰ ἄρχοντος θεματικοῦ (хамедикастом именуется судья, назначенный для разбора дел фемным архонтом).

[7] Так полагает *Цахариэ* (Gesh. d. gr.-röm. Rechts, 334–355), ошибочно перенося на мнимых дефенсоров функции областных правителей-судей, выступающих в Πεῖρα под именем κατὰ τὴν ἐπαρχίαν δικάζοντες, θεματικοὶ δικασταί, κριταί (епархиальные, фемные судьи). Превращение им катепана в императорского бургомистра, с юрисдикцией более ограниченной, чем дефенсорская, тоже основано на превратном понимании значения катепаната.

Были однако же в приморских городах парафаласситы,[1] которые, судя по названию и по аналогии с византийскими парафаласситами, имели судебную власть над судохозяевами и промышлявшими торговлей и службой на кораблях; вероятно, они были подчинены областным правителям.

Военные суды, согласно с характером византийского военного устройства, имели временное значение, продолжались до тех пор, пока войско находилось в сборе и стратиоты несли военную службу. Судебная власть в это время принадлежала начальникам военных отрядов, не только стратигам и турмархам, командующим тагм, юрисдикция которых не прекращалась с переходом от мирных занятий к военным, но также начальствующим над более обширными военными образованиями: доместикам схол, стратилату, стратопедарху, а в высшей инстанции главнокомандующему, стратигу-автократору. То, что в Πεῖρα говорится о друнгарии флотов, делает уже необходимым такое заключение. Если друнгарий имел судебную власть над служащими во флоте, то нет оснований оспаривать принадлежность судебной власти доместикам схол, занимавшим аналогичное положение с друнгарием флотов. Исторические факты подтверждают это заключение. Пример Исаака Комнина, к которому в бытность его стратигом-автократором (в 1072–1073 гг., при Парапинаке) обращался какой-то иконием с жалобой на обидевшего его норманна и который хотел наказать последнего,[2] показывает, что по византийскому воззрению юрисдикция главнокомандующего простиралась не только на местные греческие войска, но и на наемников (с каковым воззрением, как видно из того же примера, а также из примера немцев, взбунтовавшихся против Диогена, сами наемники не хотели соглашаться). Понятно, главнокомандующий не в состоянии был лично с успехом выполнять судебную функцию, в ущерб прямой своей обязанности — командованию армией; для помощи при нем были войсковые судьи.

Этих судей мы встречаем в походах Романа Диогена, о них упоминается благодаря тому исключительному обстоятельству, что Атталиот,

[1] Есть письмо Иоанна Евхаитского (*de-Lagarde*, 56) к какому-то парафаласситу. В надписи от 1081 г. (*Böck*, № 8716) над дверями храма св. апостолов Петра и Павла, в Палермо, упоминается парафалассит Панорма, — храм ἐτελειώθη... δι' ἐξόδον Νικολάου υἱοῦ Λέοντος, παραθαλασσίτο(υ) Πανόρμου (...сооружен... на средства Николая, сына Льва, парафалассита Панорма). Если даже относить звание парафалассита на счет Николая, окончившего храм в 1081 г., а не Льва, его отца, все-таки будет слышаться остаток греческих порядков от того времени, когда Панорм находился во власти греков.

[2] *Bryenn.*, 58–59.

описывающий походы, сам состоял в числе войсковых судей. Он говорит, что император, отправляясь в поход, взял его с собой для того, чтобы производить суд по делам, возникавшим в войске.[1] Он участвовал не только в первом походе, но и во втором, и в третьем. Раз, во время второго похода, когда войско стояло лагерем у Мелитины, на военном совете было принято императором решение, одобренное всеми, возвратиться домой и войско распустить. Когда это решение было утверждено, царь вспомнил о войсковых судьях (τῶν τοῦ στρατοπέδου κριτῶν), они были призваны и спрошено их мнение. Остальные судьи одобрили решение, Атталиот же подал особое мнение, которое и было принято императором.[2] Случай этот показывает, во-первых, что войсковых судей было несколько, а не один, во-вторых, что они, помимо своей ближайшей обязанности, приглашаемы были, по усмотрению главнокомандующего, на совещание при обсуждении стратегических вопросов. В другом месте Атталиот делает заметку, еще более выясняющую положение этих судей. Желая доказать, что Вотаниат никогда не был обвинен ни в одной несправедливости, он говорит: «Свидетель я сам, пишущий это, потому что я, будучи много лет судьей (δικαστής) и судя всех стратиотов, граждан и начальствующих, в столице и в царских походах, по разным поводам и делам, не встречал его привлеченным ни к одному судилищу (δικαστηρίῳ) и обвиненным по какому-нибудь делу, большому ли то, или малому».[3] Это замечание уполномочивает к выводу, что военный судья судил не только стратиотов в походах, но также граждан и начальствующих лиц в столице, другими словами, что военные судьи не составляли постоянной корпорации со специфической задачей — судить людей военных, что это были судьи, жившие в столице и принадлежавшие к какому-нибудь столичному судебному учреждению, которое ведало делами не только по обвинению граждан, но и лиц начальствующих, в случае же надобности прикомандировывались к главнокомандующему,[4] отправлялись с ним в поход, чтобы судить стратиотов, а по возвращении опять принимались за прежние занятия. Каково было то судебное учреждение в столице, которое выделяло из своей среды военных судей, видно из того, что в мирное время Атталиот был судьей вила на ипподроме. Временное превращение судей вила на ипподроме в войсковых судей понятно ввиду того, что они были

[1] *Attal.*, 102–103: τὰς τοῦ στρατοῦ διευθετῶν ὑποθέσεις ἐν κρίσεσι.

[2] *Attal.*, 128–131.

[3] *Attal.*, 256.

[4] *Attal.*, 102: τῶν ἐκ προκρίσεως αὐτῷ συνεπομένων ἐτύγχανεν (...<я> **был** одним из тех, кому было постановлено за ним следовать).

как бы чиновниками поручений по судебной части при императоре. Юрисдикция их во время походов тоже была поручением, перенесением на них судебной власти, принадлежавшей стратигам-автократорам.

Духовный суд, если не принимать в расчет право налагать епитимии (ἐπιτίμια ἐκκλησιαστηκά), составлявшее скорее обнаружение дисциплинарной власти, признаваем был в XI в. только в гражданских делах,[1] хотя существовало стремление распространить его и на другие отношения.

В гражданских спорах, в которых сторонами были лица духовные и монахи, еще Юстиниан предоставил юрисдикцию епископам,[2] — позднейшим законодательством она была точнее определена и частью расширена: император Ираклий в 629 г.[3] признал за епископами право приводить свои решения в исполнение и определил, что в случае, если обвинено в преступлении духовное лицо или монах, расследование должно производиться у епископа, и лишь после того как преступление здесь выяснится и обвиненный окажется виновным, он должен подлежать ответственности перед светским судом; в постановлении Ираклия, кроме того, точнее указаны условия апелляции и дано епископам право уполномочивать других лиц для расследования и решения спорных вопросов: *Эпанагога*[4] совершенно отнимает у светского судьи право судить преступления духовных лиц, исключая случаи государственной измены. Хотя в *Василиках* новелла Ираклия и определение *Эпанагоги* отсутствуют,[5] однако же канонисты постоянно смотрели на них как на имеющие силу действующего права в византийском государстве.[6] Разумеется, это не исключало возможности вторжения светских судей в область суда духовного, но высшая государственная и церковная власть считала их вмешательство злоупотреблением. Патриарший синод 1028 г. подтвердил постановление, чтобы клирики и монахи судились у своих епископов, епископы же у митрополитов, чтобы они не обращались к мирским судьям, под опасением извержения епископа с епископства, клирика из клира, монаха из монастыря, равным образом, чтобы мирские судьи не принимали дела духовных лиц к своему рассмотрению и силой не привлекали[7]

---

[1] Уголовная компетенция признана за епископами не ранее XIII в.

[2] Nov. 79, 83, 123, cap. 8, 21–23.

[3] Nov. 25: De clericis conveniendis (О суде между клириками). См.: *Zachariae*, III, 44–48.

[4] Epanag., XI, 11, 14.

[5] Воспроизведена лишь (Lib. III, tit. 1) юстиниановская 123-я новелла.

[6] Определение «Эпанагоги» повторяют *Властарь* (Synt. alph., litt. Δ, § 9) и *Арменопул* (Epit. can., tit. IV, §15).

[7] Один случай насильственного привлечения областным судьей епископов к суду рассказан *Аристакесом* (137).

их к своему суду, под опасением Божия и царского гнева и патриаршего прещения (δεσμός). В синодальном постановлении сделана ссылка на не дошедший до нас закон императора Константина VIII, изданный по смерти Василия II, запрещавший светским судьям судить лиц духовных; опираясь на него, равно и на другие узаконения, патриарх Алексий с синодом объявлял, что он не потерпит нарушения божественного и церковного права со стороны областных или столичных судей (παρὰ τῶν θεματικῶν ἢ πολιτικῶν δικαστῶν).[1]

В гражданских спорах между духовным лицом и мирянином имело силу после Юстиниана правило,[2] что дело должно разбираться на суде той стороны, к которой принадлежит ответчик. Лишь тогда, когда мирянин-ответчик давал согласие на разбор дела у епископа, последний постановлял решение. В этом последнем случае епископ пользовался, собственно говоря, властью третейского судьи, способной иметь приложение даже тогда, когда истец и ответчик (обе стороны) были миряне.[3] Впрочем, рано обнаруживается тенденция превратить это третейское право в настоящую судебную власть. В связи с ней видим попытки причислить к области церковных дел, не подлежащих светскому суду, все религиозно-нравственные отношения, как-то: вопрос о брачных препятствиях, разрешении и расторжении браков, а также о благотворительных учреждениях. Желание встать в соответствие с этой тенденцией оказывается уже в *Эпанагоге*,[4] император же Алексей Комнин прямо постановил в 1086 г., чтобы все дела брачные и касающиеся душевного спасения судимы были духовными судьями.[5] Впрочем, в этих делах продолжали пользоваться юрисдикцией, как до Алексея, так и при Алексее, и светские судьи,

---

[1] PG, CXIX, 832–833; *Rhalli et Potli*, V, 28–29. В позднейшее время императорские предписания о невмешательстве светских властей в духовные суды часто повторялись. Новеллы Иоанна Комнина от 1124 или 1139 гг., Мануила Комнина от 1151 или 1166 гг., Иоанна Дуки Ватацы от 1229 г., Андроника Старшего от 1312 г. у *Zachariae*, III, 428, 457, 572, 633; Prochiron auctum (начала XIII в.), XL, 95; *Miklosich et Müller*. Acta patr. Const., I, 458.

[2] Это правило повторено Алексеем Комнином в новелле от 1081 г. De foro laicorum et clericorum invicem litigantium (О судебных тяжбах между мирянами и клириками). См.: *Zachariae*, III, 341.

[3] На этом основании спорное дело об имении между Марией, женой патриция Ксифия, и Пикридом было решено в пользу Марии Анкирским митрополитом, современником Пселла. См.: *Psell.*, V, 201.

[4] Epanag., III, 11.

[5] Ψυχικὰ ἅπαντα, καὶ αὐτὰ δὴ τὰ συνοικέσια (Все, касающееся души, и дела брачные). См.: *Zachariae*, III, 367.

которые иногда полагали даже решения, противоречившие решениям духовного суда.[1]

Решались дела в дикастирии епископа, в митрополичьем и патриаршем синоде,[2] при личном участии епископа, митрополита и патриарха, или через уполномоченных;[3] на епископа апелляция шла к митрополиту, на митрополита к патриарху, но на решение патриарха, подобно тому как и на решение императора, апелляции не допускалось, возможен был только пересмотр (ἀναψηλάφησις).[4]

Не будем останавливаться на подробностях судебной процедуры, видах судебного доказательства и наказаний по суду. Так как в XI в. практические источники права были прежние,[5] то и эти принадлежности судебной организации оставались в прежнем положении. По-прежнему принимали участие в процессе адвокаты (συνηγόροι),[6] из которых одни состояли на жалованьи у правительства и защищали его интересы, были адвокатами фиска, другие пользовались гонораром от своих клиентов; по-прежнему имели на суде доказательную силу документы и показания свидетелей, присягавших до или после дачи показаний,[7] в спорах о межах

---

[1] *Zachariae*, I, 150; III, 401–404.

[2] PG, CXIX, 832; *Rhalli et Potli*, V, 28.

[3] Ecloga lib. I–X Basil., lib. II, 2.

[4] Epanag., XI, 6. Ср.: Acta patr. Const., II, 57.

[5] А именно, судя по источникам для *Πεῖρα*, это *Василики* и новеллы Льва, Романа и Василия II, в виде же пособия при интерпретации отдельных мест закона в судах высших инстанций это Юстиниановы законные книги (Ἀνακάθαρσις τῶν νόμων (очищение законов)) и греческие их переводы (Πλάτος Стефана, Πλάτος τῶν κωδίκων или Κατὰ πόδας Фалелея) или сокращенные изложения (Кирилла и Феодора).

[6] *Psell.*, V, 208, 210. О корпорациях и юридической подготовке адвокатов говорится в новелле Константина Мономаха, см. выше, кн. I, с. 298.

[7] *Psell.*, IV, 88, 112; *Zachariae*, I, 155, 262, 292–293. По Юстинианову праву присяга была обязательна до дачи показаний; она разрешена после дачи показаний *Эклогой* (XII, 51) и новеллой Ирины от 797–802 гг. (*Zachariae*, III, 55), допускается также по новеллам Михаила Парапинака и Алексея Комнина (Ibid., 327–330, 427). Когда при Михаиле Парапинаке возникло недоумение о сроке, в течении которого присяга обязательно должна быть принесена свидетелями, давшими показания, император в ответ на реляцию (ὑπόμνησις) друнгария виглы, протопроедра Константина (1075 г.), издал новеллу, которой назначен 30-дневный срок, определено, что свидетели, которые в течении этого срока после троекратного призыва не явятся для скрепления своего показания присягой, должны подвергаться судебному взысканию.

употреблялось иногда крестопрохождение,[1] были также в ходу пытки, в качестве судебной улики, в применении как к людям незначительным, так и к знатным;[2] в сродстве с пытками находилось и испытание огнем, своего рода суд Божий, который во время похода против болгар, при Парапинаке, был применен к одному стратиоту из македонской тагмы;[3] по-прежнему наказаниями были, смотря по степени вины, смертная казнь,[4] членовредительство (ослепление, отсечение носа, руки, языка), битье кнутом и плетьми с острижением волос (κουρά), конфискация имущества и ссылка,[5] заключение в тюрьму[6] или в монастырь,[7] наконец, денежная пеня,[8] которая или поступала в казну, или же в пользу пострадавшего и его родственников в виде утешения (εἰς παραμυθίαν).[9]

Сделаем в заключение несколько замечаний об успехах, каких достигли в наш период принципы равенства перед судом, правды и милости, которые не без основания можно считать показателем уровня развития в человечестве гуманных идей.

---

[1] В 1057 г. спор о границах обителей св. Пантелеимона и св. Никона на Афоне разрешен был тем, что игумен св. Никона Митрофан, держа при персях св. Евангелие, и два другие старца, один с честным крестом на плечах, другой с иконой, размежевали место. См.: Акты русского на св. Афоне монастыря св. Пантелеимона, 35.

[2] Выше упомянуто (кн. I, с. 142, 243) о том, как были подвергнуты пыткам Константин Диоген и Никифорица; здесь присоединим еще варягов, поднявших бунт против Вотаниата, которые на судебном розыске подвергнуты были ταῖς προσηκούσαις ἀπειλαῖς (подобающим пыткам). См.: *Attal.*, 296.

[3] *Scyl.*, 719: τὶς τῶν στρατιωτῶν τῆς μακεδονικῆς φάλαγγος ὢν, ἀξιούμενος ἀποδοῦναι ὅπερ εἰλήφει ἱερόν (из храма св. Ахилла в Преспе), ἐπεὶ μὴ ἐπείσθη, ἀνθρακιάσας τοὺς ὤμους τελευτᾷ, τῆς δίκης μὴ ἀνασχομένης ὡς ἔθος, ἀλλὰ μετελθούσης αὐτὸν εἰς ὑπόδειγμα τοῖς ὀψιγόνοις (Некий воин из македонской фаланги, у которого требовали возвратить похищенную святыню, не внял убеждениям, но огонь опалил его плечи, и он умер — Правосудие не стерпело этого по обычаю, но покарало его в назидание будущим поколениям). Этот факт остался неизвестным для *Цахариэ*, который указывает (Gesch. d. gr.-röm. Rechts, 380), как на единственный, на записанный *Григорой* (VI, 1, 8) случай применения испытания огнем в Адрамитии, в 1283 г.

[4] *Psell.*, V, 347–350.

[5] *Attal.*, 20, 30; *Cedr.*, II, 629; *Zachariae*, I, 264; Ж. М. Н. Пр., 1881, август, 329.

[6] *Cedr.*, 512–513; Ж. М. Н. Пр., 1881, июль, 145.

[7] *Anna*, I, 103.

[8] *Psell.*, IV, 185–186.

[9] *Zachariae*, III, 291.

Первый шаг в этом отношении сделан был еще в иконоборческом законодательстве. *Эклога* уравнивает подданных, не делая различия между знатным и простолюдином, богатым и бедняком, назначая одинаковые наказания тем и другим (за исключением штрафов, размер которых определялся применительно к степени состоятельности); вместе с тем *Эклога* стремится к большему человеколюбию (εἰς τὸ φιλανθρωπότερον) и достигает этого тем, что за некоторые преступления, за которые прежде полагалась смертная казнь, назначает членовредительство.[1] Об уравнении граждан перед лицом суда заботился перед началом нашего периода Василий II. До Василия II действовал старинный закон, отводивший на суде привилегированное место лицам титулованным, сенаторам. По этому закону все имевшие чин не ниже протоспафария, будучи повинны в умышленном убийстве, наказывались только потерей сана и чести, а не смертной казнью. Василий II 5-м параграфом новеллы 996 г. узаконил, чтобы на будущее время все чиновники, уличенные в убийстве или составлении заговора, наущении других к этим преступлениям и пособничестве, были наказываемы смертной казнью наравне с не имеющими чина, так чтобы чин не приносил им в этом случае никакой пользы.[2] Разумеется, прежний взгляд на людей привилегированных не мог быть вытеснен из судебной практики сразу, узаконением Василия II — антиохийский дука Никита, преследуя в 1034 г. антиохийцев за убийство Саливы, руководился старым воззрением на преимущества властельского сословия в суде, сравнительно с убогими, когда около 100 человек из простых горожан подвергнул смертной казни, а 11 человек, отличавшихся богатством и происхождением, наказал лишь конфискацией имущества и отправил в Византию в узах.[3] Но важно было то, что новеллой Василия II положено было прочное юридическое основание и открыта дорога для проведения в жизнь принципа равенства перед судом. Из государей, заботившихся об уравнении подданных перед судом, известен Константин Дука, который стремился к тому, чтобы все были одинаково судимы (τῆς ἴσης ῥοπῆς ἀξιούμενοι), крестьяне наравне с властелями. Этому же государю принадлежит честь введения большей мягкости в судебных наказаниях, честь умаляемая лишь тем, что не без влияния при этом оставался фискальный мотив. Законодательных мер принято не было, но de facto в царствование Константина Дуки изгнаны были из употребления смертная

[1] *Zachariae*. Gesch. d. gr.-röm. Rechts, 311–312; *Васильевский*. Законодательство иконоборцев//Ж. М. Н. Пр., CXCIX, 290–291.

[2] *Zachariae*, III, 316.

[3] *Cedr.*, II, 510.

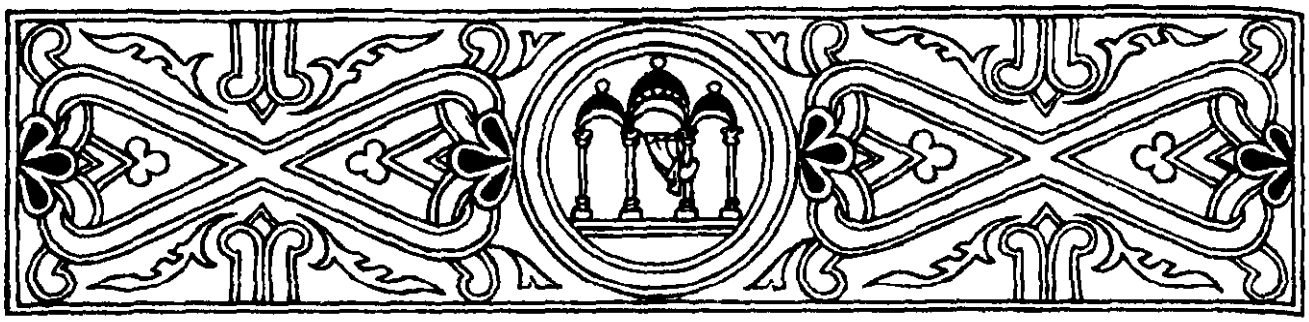
казнь и телесное изувечение. Он, вступив на престол, дал обет никого не лишать жизни и не увечить, и свой обет сдержал.[1] Пример Константина Дуки хотя нашел подражателей,[2] не превратился однако же в постоянное правило. После него сделал попытку ввести справедливость и некоторую человечность в судах Никифор Вотаниат, и сделал это на почве законодательной. Новелла Вотаниата от 1079 г. в большей части своих пунктов не представляет чего-нибудь нового, а лишь простое возобновление старых узаконений, с течением времени забытых. Еще Феодосий постановил, чтобы между судебным приговором, присуждающим к смертной казни или членовредительству, и приведением его в исполнение проходило 30 дней. В основе постановления лежало желание, чтобы приговор был беспристрастен и справедлив; месячный срок был достаточен для того, чтобы страсти улеглись, и если под их влиянием постановлено неправильное решение, то чтобы оно было изменено. Этот закон с течением времени сделался мертвой буквой, — приговоренный отдаваем был в руки палача или тотчас, или немного спустя после приговора и формального его объявления. Вотаниат возобновил старый закон, повелев, чтобы между приговором и его выполнением проходило 30 дней; в течении этого времени осужденный должен находиться под стражей, и только если по истечении 30-дневного срока не последует помилования или смягчения участи, должна приводиться в исполнение смертная казнь или чреновредительство (θανάτου, ἢ τῆς ἄλλης εἰς σῶμα διὰ σιδήρου πληγῆς). Вместе с тем Вотаниат обратил внимание на одно обычное в Византии злоупотребление, противоречившее справедливости. Обыкновенно случалось, что император, достигший престола с помощью политического переворота, или почему-нибудь нерасположенный к своему предшественнику, обрушивался местью на его родственников и слуг, которые были привлекаемы к суду и осуждаемы, иногда без всякой вины. Вотаниат, называя такое действие противозаконным, рекомендует будущим государям, под страхом анафемы, не подвергать преследованию слуг и родственников своих предшественников, не конфисковывать их имущества

[1] *Psell.*, IV, 260, 265–266. Рельефнее всего он заявил такое свое направление по поводу заговора против него — самого большого преступления, которое обыкновенно каралось смертью, ослеплением, конфискацией имущества и ссылкой; зачинщики и участники заговора — одни заключены были в тюрьму, другие подвергнуты бичеванию и ссылке, с конфискацией имущества, третьи пострижены, смертью же никто не был наказан и никто не был изувечен. См. выше, кн. I, с. 217.

[2] По свидетельству Никиты Хониата, в царствование Иоанна Комнина (1118–1142) не был исполнен ни один смертный приговор.

и не доводить до нищеты. Чтобы какой-нибудь император не забыл и, по забвению или незнанию, не стал нарушать этих узаконений, Константинопольскому патриарху вменено в обязанность напоминать о них. Кроме того, Вотаниат оживил патриаршее право печалования за осужденных и сосланных преступников. Так как возможны были случаи, и действительно бывали, что царь совершенно забывал о некоторых ссыльных и те долгое время влачили жалкую жизнь, без надежды на помилование, то на будущее время постановлено, чтобы Константинопольский патриарх регулярно три раза в году, раз через каждые четыре месяца, напоминал царю о ссыльных, дабы царь, по долгу справедливости и для душевного своего спасения, мог возвратить на родину тех, которые, по его убеждению, окажутся понесшими достаточное наказание, и оставлял в ссылке лишь тех, которых найдет недостаточно еще наказанными.[1]

[1] *Zachariae*, III, 331–338; *Attal.*, 313–315, 318–319.



Глава девятая

В связи с политическими событиями и государственным устройством нам приходилось касаться в предшествующих главах и церковной сферы, указывать роль, принадлежавшую de facto и de jure Церкви и православному духовенству в гражданских вопросах. Так, отмечено участие Константинопольских патриархов и лиц высшего духовенства в династических переворотах, значение духовных лиц как членов высшего государственного учреждения — синклита; социально-общественное положение духовенства не только как духовного сословия, но и как сословия властельского, несшего государственные тягости и платившего подати, значение монастырей как харистикий, и духовного суда в применении не только к духовным, но и к светским лицам, и пр. Теснейший союз государства и Церкви составляет характеристическую особенность церковно-государственных отношений в Византии. Развитие церковных учреждений и церковного управления совершалось параллельно и в соответствии с развитием политических учреждений и государственного управления, государственная власть принимала деятельное участие в церковных вопросах, вторгаясь в область церковного хозяйства и присваивая себе право назначения на церковные должности и устранения от этих должностей; в свою очередь, духовные лица принимали деятельное участие в гражданских делах, не только косвенное, путем нравственного влияния на народную массу, но и прямое, в качестве руководителей внешней и внутренней политики, а также непосредственных участников в важнейших политических предприятиях и общественных движениях. Взаимодействие государства и Церкви было полное: влияние государства обнаруживалось начиная с патриарха, продолжая митрополитами, епископами, клириками и оканчивая монахами, в свою очередь лица разных степеней церковной иерархии, как белое, так и монашествующее духовенство, пользовались влиянием в государстве, занимали места первых министров, разные мирские должности в центральном и областном управлении, выступали на сцену как руководители партий, государственные послы и посредники

между враждующими сторонами. Способ обнаружения влияния как с той, так и с другой стороны во многих случаях шел вразрез с каноническими правилами, неканоничность его сознавалась и высказывалась современниками, тем не менее факт продолжал существовать, к нему привыкли и с ним мирились, протест заявляем был только тогда, когда нужно было прикрыть ширмой законности личные или сословные интересы, — если и были в наш период попытки привести факты в согласие с церковным правом, то они касались только некоторых сторон церковной дисциплины и некоторых вкравшихся в церковную жизнь злоупотреблений, не затрагивали положения вещей в их корне и не несли никаких существенных изменений в фактическом строе.

Церковное устройство в XI в. не представляет никаких существенных перемен сравнительно с предшествующим временем, оно оставалось statu quo ante во всех главнейших своих частях, и если сделаны были нововведения, то частного свойства и по частным обстоятельствам, вроде усиления власти патриарха и митрополитов на экономической почве, возведения некоторых архиепископий и епископий на степень митрополий и т. д. Эти нововведения обнаруживают тенденцию к большей церковной централизации, вполне естественную ввиду развившейся тогда до крайней степени государственной централизации. Об усилении власти митрополитов за счет епископов уже было упомянуто[1] по поводу податной ответственности митрополитов перед государством за епископии, входившие в состав митрополий. Другие изменения будут указаны, когда зайдет речь о патриархе, при котором они были введены, и о кафедрах, которых изменения касались. Так как церковное устройство в XI в. оставалось прежнее, вопрос же об его историческом развитии, начиная с древнейших времен, выходит за пределы нашей темы, то оставляя в стороне этот вопрос, мы обратим внимание на то, как на почве уже существующего, исторически выработавшегося церковного строя формулировались и фактически выражались отношения между государством и Церковью и проявлялась церковно-религиозная жизнь.

Константинопольский патриарх был главой Восточной церкви, таким же средоточным пунктом в церковной сфере, каким был император в сфере государственной. Вообще положение Константинопольского патриарха выработалось в соответствии с положением императора. Еще *Эклога* в той своей части, которая с небольшими изменениями принята в *Эпанагогу*, определяет положение патриарха в связи с положением императора, по аналогии с человеческим организмом, состоящим из тела и души.

[1] Кн. I, с. 410–411.

Подобно тому как император был представитель закона, общее благо всех подданных, задача которого — благотворить всем; точно так же и патриарх был живой и одушевленный образ Христа, представитель истины словом и делом; ему принадлежит право учительства, изъяснения древних канонов, св. отцев и соборных определений, а также предстательства за истину и догматы перед императором; подобно тому как гармония частей тела необходима для благосостояния человеческого организма, точно так же духовное и телесное благоденствие подданных зависит от единомыслия и согласия во всем государя и архиерея. Византийский император был автократором, воплощавшим в себе всю власть, точно так же Константинопольский патриарх хотя с канонической точки зрения пользовался между другими восточными патриархами лишь первенством чести, был primus inter pares,* однако же в глазах византийского государственного права и установившейся практики имел и преимущество власти, сравнительно с другими патриархами. Тогда как значение остальных патриархов ограничивалось пределами их патриархий и на общий ход церковной жизни на Востоке они имели мало влияния, на рассмотрение патриарха Константинопольского государственное право переносило все недоуменные случаи и пререкания, возникавшие в других патриархатах, и Константинопольский патриарх пользовался большим значением в общем направлении церковных дел.

Высшим правительственным учреждением при императоре был синклит, в состав которого входили и некоторые духовные лица и на собраниях которого находили себе выражение административные и судебные функции. Точно так же при Константинопольском патриархе был синод, так называемый σύνοδος ἐνδημοῦσα (Поместный собор), представлявший собой как бы всю поместную, автокефальную Церковь и образовавшийся из повременных соборов, которые в древности, смотря по требованию обстоятельств, собирались вокруг представителей автокефальных Церквей, а потом (как полагают, с конца IV в.) превратились в постоянное учреждение, синод. Синод состоял из членов действительных (каковыми могли быть все лица, имевшие сан не ниже епископского), выбираемых и назначаемых патриархом, а в исключительных случаях императором, и из членов присутствующих (каковыми были патриаршие сановники первой пентады), сверх того в синоде могли заседать и представители правительства (δεσποτικοὶ ἄρχοντες), которые однако же не были постоянными представителями, а являлись и заседали тогда, когда в синоде решались

* Первый среди равных (*лат.*).

вопросы, имевшие отношение к области государственной жизни. Синод был высшей административной и судебной инстанцией, наблюдал за чистотой веры и поддержанием церковных порядков, за назначением епископов на места, их перемещением, рассматривал жалобы на духовных лиц и пр., причем обыкновенные постановления утверждались патриархом и объявлялись от его имени, а более важные, в том числе касавшиеся самого патриарха, восходили на утверждение императора.

При императоре существовали приказы, так называемы секреты для заведования различными отраслями государственного управления, лица, стоявшие во главе секретов, были вместе и членами синклита. Точно так же при патриархе были приказы, также называвшиеся секретами, заведовавшие различными отраслями церковного управления; во главе их стояли обыкновенно патриаршие сановники первой пентады, которые были вместе и членами синода, а именно: великий эконом, великий сакелларий, великий скевофилакс, хартофилакс и сакеллион (протэкдик прибавлен к ним для присутствования в синоде лишь впоследствии). Патриаршие приказы назывались по имени должностных лиц, ими заведовавших, например, σέκρετον τοῦ χαρτοφύλακος или χαρτοφυλακεῖον, σέκρετον τοῦ μεγάλου σακελλαρίου или μεγάλη σακέλλη (секрет хартофилакса, хартофилакия, секрет великого сакеллария, великая сакелла) и т. д.; для письменных работ в приказах имелись секретари (χαρτουλάριοι). Секрет хартофилакса был самый обширный и важный. Хартофилакс был патриаршим канцлером и помощником патриарха по разным вопросам его юрисдикции: в его ведении были деловые бумаги и переписка от имени патриарха, на суде в присутствии патриарха он докладывал дела, а в его отсутствие занимал председательское место; ближайшими сотрудниками хартофилакса были протонотарий и ипомниматограф. Во второй пол. XI в. (при Керулларии и Иоанне Ксифилине) должность хартофилакса Великой церкви занимал после Льва, возведенного на Болгарскую архиепископию,[1] диакон Никита, имевший чин протосинкелла.[2] Великий эконом заведовал финансами, доходами как Великой Константинопольской церкви — постоянными (с недвижимой собственности и вкладов, вносимых жертвователями) и временными (подарки от императоров в день коронации и от патриархов в день интронизации), — так и Константинопольской патриархии (с недвижимых имений, ставропигиальных монастырей и с рукополагаемых епископов), равно и расходами. Назначение на эту

[1] *Ducange*. Famil. Byz., 175.

[2] PG, CXIX, 748, 856. Упоминается также (PG, CXX, 745) ипомниматограф, современник Никиты, но по имени не назван.

весьма выгодную должность в первой пол. XI в. зависело от императора, и назначались иногда светские люди из высокопоставленных лиц, даже родственники царя, каков, например, был при Константине VIII Роман III Аргир, сам потом занимавший престол.[1] Великий сакелларий имел при своем ведении монастыри как со стороны имущественных отношений, так и надзора за монастырской дисциплиной и уставами; ближайшим помощником его был архонт монастырей. При Михаиле Керулларии сакелларием был Константин.[2] На обязанности великого скевофилакса, назначение которого на должность, подобно тому как и на должность великого эконома, зависело в первой пол. XI в. от царя,[3] лежало заведование сосудами, священными одеждами, книгами и вообще утварью Великой церкви. Сакеллион заведовал по одним показаниям женскими монастырями, по другим — приходскими церквами (имея помощником архонта церквей), сверх того исправительным домом при патриархии. Протэкдик стоял во главе корпорации экдиков, на обязанности которых лежало защищать интересы Церкви в светских присутственных местах, ходатайствовать по делам как Церкви, так и лиц, прибегавших к ее защите и покровительству.[4]

Самый способ вступления патриархов на престол представлял аналогию со вступлением на престол византийских императоров. При вступлении императоров на престол соблюдалась форма избрания сенатом и народом; древний республиканский принцип не забывался, но de facto решение вопроса зависело от того, на чьей стороне находилась сила; физическая сила решала возведение императора на престол и его свержение. Точно так же и по отношению к патриарху не забывались канонические правила, гарантировавшие патриарху четыре важные преимущества:[5] свободное

---

[1] *Cedr.*, II, 486; *Zon.*, IV, 128; *Яхъя*, у бар. Розена, 71. Упоминается еще при Михаиле Керулларии эконом, монах Стефан (PG, CXX, 745), которому, вероятно, адресовано и письмо *Пселла* (V, 266–267), но был ли он патриаршим экономом, или заведовал монастырской экономией (одним из императорских секретов), сказать трудно.

[2] PG, CXLIII, 102; *Will*, 154.

[3] *Zon.*, IV, 191–192.

[4] Подробные сведения о патриарших приказах и чинах можно найти у *Zhishmann.* Die Synoden und die Episcopal-Aemter in der morgenländ. Kirche. Wien, 1867, и на русском языке в статьях: «О чинах патриаршей Константинопольской церкви в Средние века» // Правосл. собеседник, 1868, ч. II–III, и «О чинах при архиерейских кафедрах в Восточной церкви» А. В–ва (по Чишманну) // Руководство для сельских пастырей, 1868, ч. III.

[5] Они сформулированы в постановлениях №№ 12, 14, 21 и 22 Константинопольского собора 869 г., из которых одно (12-е) подтверждает 30-е Апостольское правило и вошло в греческие канонические сборники, остальные три остались лишь в латинской редакции определений этого собора.

избрание клиром и народом, независимое отправление должности, неприкосновенность личности и несменямость иначе, как по суду. Применительно к канонической почве практиковалась в Византии процедура избрания и наречения патриарха, в которой отведено было место клиру, народу и верховной государственной власти.[1] Она не лишена была наружных признаков

[1] Описание процедуры читаем у *Константина Багрянородного* (I, 564–566), *Кодина* (101–102) и *Симеона Солунского* (PG, CLV, 438–439). Она состояла в следующем. По смерти или удалении патриарха происходил, по повелению императора, собор из митрополитов и епископов, присутствовавших на патриаршем синоде или случайно находившихся в Константинополе, а также из патриарших архонтов. Собор собирался в одной из верхних галерей Великой Константинопольской церкви, называемой катехуменами (ἐν τοῖς κατηχουμενίοις τῆς ἁγιωτάτης μεγάλης ἐκκλησίας (в катехуменах Великой святейшей церкви)), а впоследствии в храме св. Апостолов, и избирал трех кандидатов, имена которых писались на особом свитке и свиток отправляем был с депутацией из трех митрополитов, или же из двух митрополитов и патриаршего хартофилакса, к императору. Император, просмотрев свиток и найдя имя угодного себе человека, утверждал его, если же ни один из записанных кандидатов ему не нравился, прямо называл того, кого желал видеть на патриаршем престоле. Митрополиты кланялись в знак согласия и повиновения и, возвратившись в собрание, передавали волю императора к исполнению. После того новая депутация отправлялась к избранному и извещала его об избрании в такой форме: «Державный и святый самодержец наш и император и божественный, священный и великий собор призывают твою святыню на высочайший престол патриархии Константинопольской». Это называлось малым наречением (μικρὸν μήνυμα). За ним следовало большое наречение (μέγα μήνυμα). В назначенный день собирались в Магнаврском дворце все члены синклита, все митрополиты и епископы, все церковные архонты, пресвитеры и прочие церковные лица (λοιποὶ ἱερεῖς). В собрании находился и нареченный патриарх. Император в нарядной златотканной одежде выходил из внутренних апартаментов, останавливался перед собранием и произносил: «Божественная благодать и наша царская власть, от нее происходящая, производит сего благоговейнейшего в патриарха Константинопольского». Собрание отвечало на эти слова благодарностью императору. Затем, по указанию императора, препозит и другие высшие придворные сановники брали нареченного и, в сопровождении духовных лиц, отводили в патриархию, а император возвращался во внутренние покои, и этим оканчивалось великое наречение. В ближайший воскресный или праздничный день совершалась хиротония нареченного, если он не был епископом. Обыкновенно (хотя не исключительно) совершал хиротонию митрополит Иракийский. По окончании ее император, присутствовавший при хиротонии, поздравлял нового патриарха с возведением в сан. Если нареченный имел уже сан епископа, то совершался лишь обряд интронизации (ἐνθρονισμός), или торжественного возведения на патриарший престол. (Более подробно см. работу И. И. Соколова «Избрание патриархов в Византии». СПб., 2003. — *Прим. Ред.*)

каноничности, так как избрание исходило от собора, и император только как бы утверждал свободный соборный выбор. Та же видимость законности сопровождала и низложение патриарха, так как оно совершалось по судебному процессу, производившемуся в патриаршем синоде и восходившему затем на императорское усмотрение. Но как избрание императоров сенатом и народом было политической фикцией, прикрывавшей факт обнаружения силы, так и избрание патриархов собором было в большинстве случаев фикцией канонической, прикрывавшей вторжение в лице императора физической силы в сферу церковных отправлений. В действительности воля императора была единственным имевшим значение фактором при возведении патриархов на престол, от воли императора зависело и свержение патриархов; при этом не всегда даже соблюдалась в точности вышеупомянутая форма законности, так что противоканоническое действие прямо бросалось в глаза.

Положение, равное с Константинопольским патриархом de jure, хотя далеко не de facto, занимали другие патриархи, затем следовали автокефальные архиепископы, за ними митрополиты и (подчиненные патриархам) архиепископы, наконец — епископы. Все эти подразделения составляли первую богоучрежденную степень иерархии — епископскую. Вторая степень — пресвитерская — подразделялась на протопопов, второсвященников и священников, третья — диаконская — на архидиаконов, втородиаконов, диаконов и иподиаконов. Избрание патриархов и автокефальных архиепископов выдерживало аналогию с избранием Константинопольских патриархов, и если в деле избрания последних решающее значение имели императоры, то и при избрании первых светская власть пользовалась не меньшим влиянием. Избрание митрополитов и архиепископов, подчиненных патриархам, производилось при патриарших кафедрах, в патриаршем синоде, причем и здесь светская власть сплошь и рядом вторгалась, назначая от себя митрополитов и оставляя патриарху лишь акт хиротонии. Избрание епископов происходило при митрополичьих кафедрах. Органы управления, существовавшие при Константинопольском патриархе, существовали также при других патриархах и в епархиях, у митрополитов, архиепископов, епископов, только в меньших размерах: в соответствие с патриаршим синодом существовали у архиереев синоды или советы, члены которых назначались из епархиального духовенства по усмотрению архиерея и, совместно с архиереем, ведали все дела по управлению епархией; соответственно с патриаршими чинами были чины и у епархиальных архиереев; средства содержания тоже находились в соответствии. Доходы епископов поступали: а) с монастырей и недвижимой церковной собственности, б) с хиротоний, в) подымный канонический сбор

(в отличие от подымного государственного) и г) от браков.[1] Доходы городского и сельского духовенства состояли в плате за требоисправления, в сборах с прихожан натурой (руга) и в продуктах церковной земли. Так как главный доход получался от платы за требы, то материальным интересам духовенства наносим был сильный ущерб теми властелями, которые, основав в своих домах церкви, устанавливали в них постоянное служение и совершение таинств. Синодальное постановление 1028 г. выступает на защиту интересов приходских священников и определяет, что епископы могут разрешать служение литургии в домовых церквах только по праздникам, в другие же дни допускать не должны, а всякое священнодействие, кроме литургии, вообще воспрещать как в будние, так и в праздничные дни; иерей, решившийся совершить таковое, подвергается лишению сана, а властель, принуждающий к тому иерея или попускающий, — анафеме.[2]

На Константинопольском патриаршем престоле в промежуток времени от 1025 до 1081 г. сменилось пять патриархов. За несколько дней до смерти императора Василия II (последовавшей 15 декабря 1025 г.) умер Константинопольский патриарх Евстафий. Одним из последних актов державной воли императора было назначение ему преемника. Василий II назначил патриархом игумена Студийского монастыря Алексия, который навестил тогда болящего императора с честно́й главой Иоанна Предтечи. Император отправил своего первого министра, протонотария Иоанна, интронизовать Алексия, а сам в тот же день, вечером, скончался.[3] Об

[1] Постановлением Константина Мономаха определено было, что от вступающих в пределах епископии в законный брак епископ получает с жениха одну золотую номисму и с невесты 12 локтей пряжи (πανίου πήχεις ιβ). См.: *Zachariae*, III, 321. По хрисовулу Исаака Комнина, одобренному синодальным определением Михаила Керуллария, установлена следующая норма платы за хиротонию и подымного канонического сбора: хиротонисующий епископ или архиепископ получает со ставленника семь золотых номисм, именно: одну номисму при рукоположении в чтецы, три при рукоположении в диаконы и три при рукоположении в пресвитеры; подымный канонический сбор (ὑπὲρ τοῦ κανονικοῦ) собирается практорами, вместе с государственным сбором, и его составляют с каждой деревни, имеющей 30 дымов (καπνούς): 1 золотая номисма, 2 серебряные монеты, 1 баран, 6 модиев ячменя, 6 мер вина, 9 модиев муки (пшеничной) и 30 куриц, — с деревни в 20 дымов: ½ номисмы золотом, 1 монета серебром, 1 взрослый ягненок, 4 модия ячменя, 4 меры вина, 4 модия муки, 20 куриц, — с деревни в 10 дымов: 5 серебряных монет, 1 ягненок, 2 модия ячменя, 2 меры вина, 2 модия муки, 10 куриц. Заключительные слова хрисовула показывают, что эта норма была принята и до Исаака Комнина. См.: *Zachariae*, III, 322–323.

[2] PG, CXIX, 837.

[3] *Cedr.*, II, 479; *Georg.*, 868; *Ephr.*, 404.

участии собора в избрании Алексия ничего не известно, его, очевидно, и не было, иначе враги Алексия не имели бы основания выдвигать против него впоследствии обвинение в том, что он вступил на престол не по каноническим правилам — обвинение, которого патриарх по существу не опроверг. Пять императоров сменилось в патриаршество Алексия. При первом, Константине VIII, Алексий спокойно занимался устроением церковных дел, встречая себе содействие у императора,[1] второй, Роман III Аргир, находился в хороших к нему отношениях и обнаружил это щедрыми дарами в пользу Великой церкви, с которой был связан воспоминаниями от того времени, когда он занимал в ней должность великого эконома, — зная нужды Великой церкви и ее клира, он тотчас по вступлении на престол распорядился, чтобы ежегодно выдаваема была из государственной казны субсидия на этот предмет в количестве 80 литр золота, а впоследствии еще восполнил свою жертву, повелев украсить капители колонн Великой церкви золотом и серебром.[2] Но при третьем императоре, Михаиле Пафлагоне, у Алексия начались столкновения с государственной властью. Отношения получили натянутый характер с самого момента вступления Пафлагона на престол. Патриарху, без сомнения, небезызвестна была предосудительная связь его с Зоей при жизни первого ее мужа, до ушей его могли доходить и слухи о кознях, устраиваемых против приверженного к Церкви и столько для нее сделавшего[3] Романа III. Поэтому неудивительно, что когда 11 апреля 1034 г., поздно вечером, он был позван во дворец от имени Романа III, придя же туда, нашел императора мертвым, — вместо того увидел приготовления к брачной церемонии Зои с Михаилом, он был неприятно удивлен и колебался обвенчать их. Историк замечает, что Иоанн Орфанотроф, истинный виновник всей интриги, вместе с Зоей убедил патриарха совершить брачный обряд, дав 50 литр золота ему и 50 клиру.[4] Этот подарок на первый взгляд может показаться подкупом, но не следует забывать о существовании у византийских императоров обычая делать подарки Великой церкви в день коронации и о том, что патриарх, помимо всякого подарка, принужден был бы уступить силе необходимости, тем более что в крайнем случае могли бы обойтись и без его согласия; в среде придворного духовенства, которое

[1] PG, CXIX, 832–833.

[2] *Cedr.*, II, 486, 497 (*Glyc.*, 580–581, 583; *Ephr.*, 129); *Zon.*, IV, 128.

[3] Не нужно забывать, что кроме Великой церкви Роман принес немало пожертвований в пользу других храмов, например Влахернского, а также благотворительных учреждений. См.: *Cedr.*, II, 497, 504; *Zon.*, IV, 133.

[4] *Cedr.*, II, 505 (*Glyc.*, 585).

хотя и находилось под юрисдикцией патриарха, однако же в материальном отношении не было от него зависимо, получая содержание от казны, императорская чета всегда могла найти лиц, готовых повенчать не только второй, но и третий брак, — позднее история Мономаха ясно это доказала. Как бы то ни было, тень неприязни была наброшена, двор был оскорблен, немалую долю обиды Иоанн Орфанотроф принял на свой собственный счет и, может быть, здесь лежал один из мотивов, побудивших его начать интригу против патриарха.

В конце лета или в начале осени 1037 г.[1] интрига обнаружилась: оказывается, что Иоанн не прочь сам занять место патриарха, низложив Алексия, и что его сторону держат некоторые митрополиты. В числе приверженцев Иоанна были: Димитрий Кизический, Антоний Никомидийский, два брата, занимавшие митрополичьи кафедры в Сиде и Анкире, и некоторые другие митрополиты. Предводительствовал партией Димитрий Кизический. Обвинение, выставленное партией против Алексия, заключалось в неканоническом способе его вступления на престол; оно считалось достаточным, чтобы низвести с престола того, кто незаконно его занял, и возвести другого с соблюдением законных форм. Патриарх весьма умело отпарировал направленный против него удар. Не входя в рассуждение о том, законно или незаконно он занял престол, он с оставшимися ему преданными иерархами послал своим противникам заявление такого рода: «Поскольку, как вы говорите, я неканонически вступил на престол, по повелению царя Василия, а не по избранию архиереев, то пусть будут низложены митрополиты, которых я хиротонисал, управляя Церковью одиннадцать с половиной лет, пусть будут анафематствованы три царя, которых я короновал, — и я уступлю престол желающему». Получив это заявление, лица, державшиеся партии Димитрия, замолчали из стыда и боязни, так как большая часть их получила хиротонию от Алексия. Иоанн должен был отложить в сторону свой план вступления на патриарший престол.[2] Эпизод этот свидетельствует, что идея закономерных церковных порядков, несмотря на фактическое их нарушение на Востоке, была присуща религиозному сознанию; но, во-первых, она не была общей принадлежностью, как видно из того, что клир разделился на две партии, из которых одна стояла против Алексия, другая за него, во-вторых, она не отличалась характером живучести и глубокого жизненного

[1] Скилица—Кедрин ставит событие ранее 2 ноября 1037 г.; из слов Алексия, что он к тому времени 11,5 лет управлял уже Церковью, видно, что событие произошло после 15 июня 1037 г.

[2] *Cedr.*, II, 517–518 (*Zon.*, IV, 142).

убеждения у тех, которые ее сознавали, как видно из того, что оказалась несостоятельной при столкновении с аргументом ad hominem.* Впрочем, эти выводы должны быть смягчены во внимание к тому обстоятельству, что в деле имело значение не одно столкновение начал церковного права с установившейся церковной практикой, не без влияния также оставались эгоистические расчеты действующих лиц: приверженцы Алексия могли сознавать неканоничность его вступления на престол, но защищали его сторону, потому что для них было ясно, что не забота о восстановлении канонических порядков, а своекорыстные соображения руководят его противниками; в свою очередь, не все приверженцы Иоанна Орфанотрофа могли иметь отчетливые представления о закономерных церковных порядках, зато все они отчетливо должны были представлять себе выгоды, какие легко извлечь, поставив во главе церковного управления человека, имеющего решающий голос в гражданских делах. О митрополите Никомидийском, евнухе Антонии Пахе, известно, что он не обладал никакими достойными епископского сана качествами, ворочал языком точно жерновом,[1] занял кафедру только потому, что был родственником братьев-пафлагонян, — подозревать в нем богословские и канонические познания было бы слишком смело, но видеть в его поведении родственное доброжелательство к Иоанну Орфанотрофу вполне позволительно. Для других иерархов, хотя бы и не родственников, у Иоанна Орфанотрофа не было недостатка в обольстительных приманках, с помощью которых он мог заручиться их голосом и содействием: не говоря уже о награде, ожидавшей их в случае успеха интриги и возведения в патриархи Иоанна, даже в случае неудачи в перспективе для них мог рисоваться чин синкелла, которого они пока не имели, исключая Димитрия Кизического, а также некоторые материальные выгоды, которыми Иоанн мог их наделить. Иоанн Орфанотроф, будучи сам доступен подкупам, обладал искусством и других завлекать в золотые сети; политика же его, как первого министра, выразившаяся в системе обирания народа и поблажки злоупотреблениям чиновников, должна была служить многообещающим прецедентом для тех архиереев, которые, подобно Феофану Фессалоникийскому, не прочь были основать собственное благополучие на разорении и нищете низшего клира.[2]

---

* От человека; человеческим аргументом (*лат.*).

[1] *Cedr.*, II, 516: μηδὲν ἄξιον ἔχων ἐπισκόπου, ἀλλὰ βοῦν ἀφωνίας ἐπὶ τῇ γλώσσῃ φέρων.

[2] Все это необходимо иметь в виду для того, чтобы, предполагая исключительно идеальные мотивы у противников Алексия, не дать превратного толкования факту, по примеру *Гфрёрера* (Byzant. Gesch., III, 197–209). В объяснение факта

Иоанн Орфанотроф своей попыткой низвергнуть Алексия с патриаршего престола не мог не поселить в последнем враждебного настроения к себе и к пафлагонскому дому, старшим представителем которого он был. Иоанн Орфанотроф своим поведением относительно Зои возбудил и в этой последней вражду, доведшую до преступного замысла.[1] Общность настроения должна была сблизить патриарха с Зоей; сближение было тем

Гфрёрер выдвигает следующую гипотезу: с патриарха Полиевкта до Сисиния II, при Полиевкте (956–970), Василии I Скамадрине (970–974), Антонии III Студите (974–979) и Николае II Хрисоверге (984–996), когда поддерживались добрые отношения между Константинопольским и Римским престолами, господствовал и практиковался в Византии закон, по которому патриарх выбирался клиром. При Сисинии II, со времени которого опять проявляются неприязненные отношения к Риму, совершился переворот, закон был отменен, патриаршие выборы устранены, император присвоил себе право назначать патриарха, в возмездие же за это совершенно отказался от вмешательства в денежные дела Церкви, предоставил патриарху исключительное право назначать митрополитов, а митрополитам и епископам отдал в жертву низший клир, — Феофан Фессалоникийский, грабивший низший клир, поступал «по праву». Но в Восточной церкви оставалась могущественная партия, тяготевшая к Риму, начертавшая на своем знамени восстановление порядков, нарушенных Василием Болгаробойцей и патриархом Сисинием; в состав ее входила лучшая и большая часть клира, особенно же монашество, высоко ценившее добытое Полиевктом церковное устройство. При Михаиле Пафлагоне она сгруппировалась вокруг Димитрия Кизического и сделала известную попытку низвержения Алексия, окончившуюся неудачей. В этой гипотезе, что ни слово, то догадка, натяжка и извращение истины. Внутренний источник ошибок — желание историка-паписта показать, что в Греческой церкви нарушение коренных принципов церковного устройства находилось в связи с ее отделением от Западной церкви, что существование чистых и возвышенных начал немыслимо без единства с Римом и без папского главенства. Капитальная ошибка — смешение права с фактом, которые в Восточной церкви должны быть рассматриваемы отдельно: существование практики назначения патриархов императорами, без участия собора, свидетельствует не об изменении закона, а о том, что закон, de jure остававшийся в силе, de facto нарушался. В частности, положение Гфрёрера, что государство отказалось от вмешательства в денежные дела Церкви, противоречит тому, что назначение великого эконома и скевофилакса оставалось в руках императора до Исаака Комнина, и положение об исключительном праве патриарха назначать митрополитов составляет насильственный и нелогичный вывод из слов патриарха Алексия о митрополитах, которых он хиротонисал в течении 11,5 лет, — с равным основанием можно было бы из слов патриарха о трех коронованных им императорах сделать вывод, что Константин VIII, Роман III и Михаил IV назначены на императорский престол патриархом Алексием.

[1] См. выше, кн. I, с. 149.

естественнее со стороны патриарха, что он и по сану, и по характеру был представителем и защитником справедливости и законности, которые относительно Зои бесцеремонно были попраны пафлагонянами. Когда на престол вступил племянник Михаила Пафлагона, Михаил Калафат, и злоключения Зои еще увеличились, Алексий по-прежнему был ее верным союзником. Он стоял во главе партии, не разделявшей планов Калафата о совершенном удалении Зои от управления. Отсюда произошло, что буря, разразившаяся над императорским троном, захватила в своем порыве и патриарха, которому пришлось играть в кризисе деятельную роль. Калафат, вознамерившись удалить Зою и встретив оппозицию в патриархе, решился отделаться от Алексия и возвести на патриарший престол преданного себе человека. Кого он метил в преемники Алексию — мы не знаем, дело в своем течении не дошло до той точки, когда возможно было открыто рассуждать о новом патриархе, оно остановилось на подготовительной работе к низложению старого патриарха. В Фомино воскресенье, 18 апреля 1042 г., в тот же день, когда Зоя сослана была на остров Принца, несколькими лишь часами ранее ее ссылки, были приняты меры к тому, чтобы удалить из Константинополя Алексия и, разобщив его с населением столицы, развязать руки для дальнейших действий относительно его. Император послал патриарху четыре литры золота и приказал отправиться в монастырь, в Стеносе, за Константинополем, и там приготовиться к приему его, императора, на следующий день, в понедельник. Патриарх поступил согласно с данным ему приказанием. Между тем ночью, в то самое время как постригали сосланную вслед за выездом патриарха Зою, прибыл к патриаршему монастырю отряд императорской лейб-гвардии, состоявший из россов и болгар, и занял все выходы, так что монастырь оказался в осаде и патриарх как бы заключенным в тюрьме.[1] Нет надобности принимать на веру показание арабского историка, что отряд, высланный императором, имел тайное поручение убить патриарха. Задача могла быть гораздо проще и целесообразнее: не выпускать патриарха из монастыря, куда император и не думал приезжать и откуда патриарх, естественно, должен был, после напрасного ожидания, возвратиться в столицу. Прибытие военного отряда и арест, которому подвергся монастырь, раскрыли патриарху истину; сверх того, им могли быть получены из столицы от единомышленников сообщения о положении вещей и о брожении в народе против Калафата. Алексий подкупил своих импровизированных

[1] Отсюда, вероятно, и произошла та редакция рассказа, которая записана Матвеем Эдесским, что на патриарха наложены были, по приказанию императора, цепи и он брошен в тюрьму.

стражей, скрытно вышел из монастыря и прибыл в Софийский храм. Когда на следующее утро городской эпарх прочитал на площади народу слова императорского манифеста, что Зоя сослана, а союзник ее, Алексий, извергнут из Церкви, в этих словах было лишь наполовину правды. Зоя действительно была в ссылке, но Алексий находился в храме Св. Софии и ожидал, пока соберутся около него приверженцы сестер, Зои и Феодоры. Нами уже рассказано,[1] как между приверженцами произошло соглашение насчет совместного возведения на престол Зои и Феодоры, и как план этот осуществлен, Калафат же низвергнут и ослеплен. Здесь напомним только, что храм Св. Софии был центром агитации против Калафата. Феодора же провела ночь с понедельника на вторник в патриарших покоях при храме Св. Софии и из храма перешла во дворец.[2]

Вскоре между партиями Зои и Феодоры произошло разногласие по вопросу о том, которая из сестер должна выйти замуж, с тем, чтобы бразды правления находились в руках мужчины, а не женщины. Каждая из партий стояла за свою патронессу. Сторону которой из этих партий принял патриарх Алексий, историки не говорят; но есть косвенные указания, что он был на стороне Феодоры. Причина, по которой он в данном случае оставил дело Зои, перестал быть ее союзником, заключалась не в какой-нибудь вражде к ней, а в необходимости поддержать значение канонических правил. Зоя уже два раза была замужем, приверженцы ее проектировали третий брак. В Византийской империи в X в. был случай вступления императора даже в четвертый брак[3] и сделана была Львом Мудрым попытка, благосклонно встреченная в Риме, узаконить четвертый брак. Попытка эта, положившая начало продолжительным смутам в Константинопольской церкви, окончилась неудачей. В «Томе единения», одобренном соборным постановлением 995–996 г., четвертый брак безусловно воспрещен, а третий назван скверной (ῥύπασμα), допущен лишь с ограничениями, под условием несения епитимии, лицам же перешедшим за 40-летний возраст и имеющим детей от прежних браков, не дозволен и третий брак.[4] У Зои от первых двух браков не было детей, зато когда шла речь о ее третьем замужестве, ей было не 40, а целых 64 года. Неудивительно, что патриарх был против этой скверны, третьего брака в такие годы, и предпочитал первое замужество Феодоры третьему замужеству

[1] Кн. I, с. 167–168.

[2] *Cedr.*, II, 536–537; *Attal.*, 15; *Matth. d'Ed.*, 72–73; *Ибн-ал-Атир*, у бар. Розена, 330; Ж. М. Н. Пр., 1875, февр., 445–446.

[3] Брак Льва Мудрого с Зоей Карбонопсиной в 905 г.

[4] *Zachariae*, III, 227–233.

Зои. Относительно Константина Мономаха, который, как кандидат на руку Зои, взял перевес над другими кандидатами, неизвестно, были ли у него дети от первых двух браков; но, вероятно, были, потому что он после смерти второй жены, будучи частным человеком, не мог вступить в третий брак и рассчитывал сделать это на престоле, основываясь на том соображении, что воля царя насилует законы.[1] Как бы то ни было, когда дошло дело до бракосочетания Зои с Мономахом, патриарх Алексий, хотя и сдался перед силой необходимости, не согласился однако же совершить брачный обряд, — венчание совершено протопресвитером Стипой, а патриарх только короновал Мономаха на другой день, 12 июня.[2] Константин Мономах ожидал, может быть, от патриарха большей уступчивости и предупредительности и не совсем был доволен его независимым образом действий. Однако, он ничем не высказал своего недовольства при жизни Алексия и только после его смерти позволил себе насильственный поступок. Когда Алексий скончался на первом году царствования Мономаха, 20 февраля 1043 г., после 17 лет и двух с небольшим месяцев патриаршествования, императору сообщено было, что в монастыре почившего патриарха накоплены значительные суммы денег. Мономах отправил чиновников, те действительно нашли в монастыре 25 кентинариев золота,[3] и взял эти деньги в казну.[4]

Избрание преемника Алексию совершилось, по-видимому, с соблюдением установленных законом и обычаем форм. Панегирист Керуллария передает дело в такой форме, под которой явно просвечивает принятая процедура соборных совещаний, представления императору избранных собором кандидатов, одобрения императором одного из кандидатов или же рекомендация своего собственного и т. д. По его словам, после преставления Алексия у различных лиц оказались разные кандидаты на патриарший престол, в пользу одного располагала его добродетель, в пользу другого — узы родства, в пользу третьего — узы дружбы. Но царь не колебался, решение его прямо направилось на Михаила Керуллария. Желание царя было принято, Керулларий призван во дворец и ему предложен

---

[1] *Psell.*, IV, 126: εἰς τρίτους ἀποκλίναι γάμους οὕτως ἰδιωτεύων ἔτι ᾐσχύνετο, ἅτε μηδὲ τοῖς Ῥωμαίων νόμοις δοκοῦν... (Будучи еще частным человеком, он устыдился вступать в третий брак — это запрещено ромейскими законами).

[2] *Psell.*, IV, 113; *Zon.*, IV, 157; *Cedr.*, II, 542.

[3] Кентинарий = 100 литр; 25 кентинариев = около 720000 руб. золотом.

[4] *Cedr.*, II, 550 (*Zon.*, IV, 162; *Glyc.*, 595; *Ioel*, 63); *Georg.*, 879 (неправильный расчет времени патриаршествования — 15 лет), 868 (тоже — 12 лет). У Зонары круглая цифра — 18 лет.

патриарший престол. Он сначала отклонял от себя честь, говорил, что для такого поста необходима подготовка, он же недостаточно приготовлен, предлагал обратиться к другим, более его достойным. Но так как император не отказывался от своего желания, то он наконец согласился. В положенный день император торжественно объявил об его избрании (ἀπὸ σκήπτρου θεμιστεύει τὴν χειροτονίαν), передал его духовным лицам и последовало торжественное шествие из дворца в храм, в сопровождении вельмож и духовенства. Вошли в храм и поставили его перед священным троном. Когда совершено было все следовавшее по чину и ему нужно было приблизиться к Божественной трапезе, он вдруг преклонил колена и тайно молился Богу, о чем — одному ему известно; потом поднялся как бы сияющий и видимо преображенный, благословил народ и дал всем полезные, применительные к обстоятельствам обещания.[1] Времени между смертью Алексия и интронизацией Керуллария прошло достаточно для того, чтобы выполнить все обычные, соединявшиеся с переменой на патриаршем престоле формальности — 32 дня; интронизован был Керулларий в праздник Благовещения, 25 марта 1043 г.;[2] необходимостью тщательного соблюдения всех формальностей мы и объясняем довольно значительный промежуток между смертью одного патриарха и возведением на его место другого.[3]

Михаил Керулларий в то время, когда на него пал выбор, находился в монашеском звании и был уже известен Мономаху (чем и объясняется самый факт избрания). Принятие монашества и знакомство с Мономахом относятся к предшествующему времени и стоят в связи с происхождением Керуллария, его общественным положением и ролью, которую он играл в прежние царствования. Михаил Керулларий, как уже было упомянуто,[4] принадлежал к сословию аристократов, отец его занимал видную должность в центральном управлении, дед и прадед были знамениты в рядах властелей,[5] в числе его родственников считались первейшие роды (например, Макремволиты). Если исключить довольно темное (по отсутствию

[1] *Psell.*, IV, 326–329.

[2] *Cedr.*, II, 550.

[3] Во всяком случае, это объяснение кажется нам более законным, чем догадка *Гфрёрера* (III, 267–276) о каких-то переговорах, которые будто бы в это время происходили между Мономахом и Керулларием и результатом которых была будто бы обратная уступка императору прав, предоставленных некогда патриарху императором Василием II.

[4] Кн. I, с. 153.

[5] *Psell.*, V, 507.

имен) указание на братьев Керулляриев в Πεῖρα, по поводу одного гражданского иска,[1] то первый случай выступления этой фамилии на сцену истории будет относиться ко времени Михаила Пафлагона, когда (1040) составлен был заговор, в котором принимал участие Михаил Керулларий вместе со старшим братом. После обнаружения заговора у Керулляриев было конфисковано имущество, они высланы из Константинополя в разные места и заключены под стражу. На старшего Керулларий, человека изящного, блестящего и любившего блеск, такой исход предприятия подействовал убийственным образом. Он скоро умер в ссылке, оставив на попечении младшего брата двух сыновей, находившихся еще в том нежном возрасте, от которого не могло остаться никаких воспоминаний об отце.[2] Михаил Керулларий, отличавшийся вдумчивостью, сосредоточенностью и вообще обладавший столько же внутренней серьезностью, сколько его брат внешним блеском, нашел утешение своему несчастью в богомыслии и подвигах благочестия. Пафлагонянин приказал постричь его в монахи. Сначала Керулларий упорно противился пострижению, но когда узнал о смерти брата, перестал сопротивляться и принял пострижение. В конце 1041 или в начале 1042 г., при новом императоре Михаиле Калафате, он был, вместе с другими, возвращен из ссылки; однако же конфискованное имущество ему отдано не было.[3] По возвращении он стал жить в Константинополе, где и ранее семья Керулляриев имела оседлость.

Знакомство Михаила Керуллария с Константином Мономахом началось еще прежде, чем отправлены были в ссылку тот и другой при Михаиле Пафлагоне. Они много раз видели друг друга, не имели однако же случая побеседовать и ближе познакомиться. На основании сведений, полученных от других, Мономах составил высокое мнение о Керулларии. Когда решен был вопрос о кандидатуре Мономаха и устроен был ему торжественный въезд в столицу, Керулларий вместе с другими вышел ему навстречу. При взгляде на него первые слова Мономаха, получившего уже, очевидно, сведения о сопротивлении патриарха Алексия замужеству Зои и находившегося под влиянием неприятного чувства к патриарху, были: «Вот муж, достойный патриаршего Константинопольского престола», причем, говоря это, он протянул руку и приветствовал Керуллария как своего друга. Новый император приблизил к себе Керуллария, возвратил ему имущество, некогда конфискованное, родственникам его, остававшимся еще в ссылке, позволил возвратиться, с удовольствием принимал

[1] *Zachariae*, I, 275.
[2] *Psell.*, V, 351.
[3] *Psell.*, V, 317–322.

его посещения и почтительно выслушивал его суждения. Когда же сделался вакантным патриарший престол, облек его достоинством Константинопольского патриарха.[1]

В лице Керуллария вступил на престол патриарх, который по некоторым душевным качествам скорее был бы на месте на престоле императорском, чем патриаршем. Недаром его прочили в императоры. Отличительной особенностью его нравственного облика было преобладание мысли над чувством. Все у него имело свой источник в голове, а не в сердце, рассудок над всем господствовал. Он сам сознавался Пселлу, что только во сне получает над ним власть сила воображения, в бодрственном же состоянии он побеждается умом.[2] Вместе с этой особенностью и в связи с ней Керулларий отличался твердостью и непоколебимостью в решениях. Что теоретически он считал правильным, то в жизни преследовал с неумолимой настойчивостью, невозможно было тронуть его ни жертвами, ни слезами, точно природа его была отлична от человеческой и не подвержена состраданию.[3] Если он на кого сердился, то гнев его проходил нескоро, но это происходило не от внутреннего раздражения и вражды, а от того, что теоретически он находил это необходимым; поэтому гнев его продолжался ровно до тех пор, пока по его расчетам он был полезен, и как скоро, по его соображениям, цель была достигнута — гнев утихал и уступал место противоположному настроению. Многие не понимали этой черты его характера и находили его тяжелым, жестоким, мстительным. Но Пселл разгадал его нрав и однажды, недоумевая, зачем Керулларий надевает на себя внешнюю личину, не отвечающую внутренней настроенности, предложил вопрос в этом смысле. Керулларий разрешил недоумение следующими словами: «Но ведь я многим не принес бы пользы, если бы не держался такого домостроительства; я и сам остерегался бы этой системы, если бы душа моя не была совершенно свободна от страстей».[4] Вследствие одностороннего направления душевных способностей Керулларий был своего рода утилитаристом, уважал только то, что приносило пользу, что имело практическое приложение, и невысоко ставил разные идеализации. Философию он называл суетой и глупостью[5] и с ранних лет, со школьной скамьи, обнаруживал пристрастие к земным вещам; в то время как старший его брат увлекался рифмами

[1] *Psell.*, IV, 324–325.
[2] *Psell.*, IV, 332–333.
[3] *Psell.*, V, 506–507.
[4] *Psell.*, IV, 342–343.
[5] *Psell.*, V, 509–510.

и метрами, он занимался прозой.[1] Это направление удержалось в нем и впоследствии, он явно заявлял приверженность к точным знаниям, и если кто раскрывал перед ним тайну природы или же сообщал о каком-нибудь достопримечательном событии, то он слушал с наслаждением; с Пселлом, изображавшим собой ходячую энциклопедию, он любил беседовать, потому что у того и на вопросы из области естественных наук были готовые ответы.[2] Высшей наукой он называл ту, которая открывает путь к Царству Небесному — самой большой пользе, какая может быть достигнута. Он обладал богословскими познаниями, которым тоже сообщал некоторую оригинальность в силу своего практицизма.[3] Особенно же компетентен был в каноническом праве, — тщательно занимался отеческими преданиями, апостольскими и соборными постановлениями и легко разрешал все сомнения, порождаемые спорными вопросами церковного права.[4] И в жизни он поступал как человек практический, приноравливающийся ко времени, месту и обстоятельствам, но приноравливающийся своеобразно, по предписаниям рассудка, поступающий так, как, по его мнению, следовало поступать в данный момент и в данном положении. Он взвешивал обстоятельства, умел ими пользоваться и примениться к характеру каждого.[5] Его частная жизнь и общественная деятельность представляли различные оттенки, потому что в том и другом случае преследовались разные цели. В частной жизни у него задачей было угодить Богу подвигами благочестия, ему предносился идеал подвижника и он старался приближаться к идеалу. Обстановка его была самая скромная, угождать плоти было не в его привычках: прислуга его была немногочисленная, постель — жесткая, убранная не багряными коврами, а чуть не лохмотьями, для приготовления кушаний не нужны были ему искусные повара, потому что он довольствовался столом далеко не изысканным, удовольствий он себе не позволял и во внутренних своих покоях предавался богомыслию, самоуглублению и молчанию. Словом, дома он был аскет; но только дома, в обществе — никогда, и в этом отношении была громадная разница между ним и обыкновенным аскетом. У обыкновенных аскетов того времени вся жизнь исполнена была самоумерщвления, облита потом и изнурена борьбой, потому они всегда были мрачны, с сухими глазами, с насупленными

---

[1] *Psell.*, IV, 312.

[2] *Psell.*, IV, 338, 355.

[3] Например, считал дьявола **достойным и ненависти (за измену** человеческому роду), и сожаления (за то, что **послужил виной нашего спасения**).

[4] *Psell.*, IV, 336–337, 350.

[5] *Psell.*, IV, 333.

бровями, на всем их существе лежала печать апатии, они не любили обращаться с людьми и неохотно вступали в беседу. Керулларий был не таков. Как только он выходил из кельи, он переставал быть аскетом. Тут он становился патриархом и задачей его было держать себя на высоте, подобающей патриарху: он выступал с открытым взором, бодро, самоуверенно и повелительно, окруженный пышностью и роскошью. Насколько он был нетребователен и прост в домашней жизни, настолько величествен и недосягаем при отправлении обязанностей, — окружающие его трепетали, цепенели от одного его взгляда, самая легкая тень неуважения с чьей бы то ни было стороны к его сану была смертным грехом. Все это он давал чувствовать и понимать: на синодальных заседаниях, при разного рода церемониях, в собраниях народа и вельмож — светских и духовных — он был неподражаемо блестящ и властен, стремился всех затмить и требовал, чтобы все перед ним благоговели.

Однажды, в день престольного праздника в храме св. Апостолов, когда патриарх обходил верхнюю галерею, любуясь образами и, насладившись зрелищем, спускался вниз, весь народ почтительно приблизился, которые сидели — поднялись со своих седалищ, чтобы получить благословение, но один из присутствующих, по рассеянности или по чему иному, остался сидеть. Керулларий заметил это и, отрядив церковных глашатаев, иерокириков, грозно потребовал виновника к ответу. Иерокирики подвели его, дрожащего и бледного, к патриаршей кафедре; Керулларий прочитал ему надлежащее внушение, а потом утешил принятием в состав клира.

Керулларий держался весьма высокого представления о своем патриаршем достоинстве. Хотя назначение его зависело от воли императора, однако же это обстоятельство он не считал существенно важным, производил свою власть от Бога и свое избрание относил к устроению Промысла Божия, не допуская, чтобы многим был обязан царю. По его взгляду, достоинство его было выше царского, так как на нем лежала забота руководить поступками царей, исправлять их слабости, словом, быть, по образу Ветхого Завета, не только умилостивителем, но и мстителем. Поэтому в принципе он был против неограниченной монархии и сферу политическую не считал изъятой из области патриаршего ведения, а так как у него дело не расходилось с убеждением, то свой взгляд он и обнаруживал в отношениях к императорам и государству. Пселл в письме к Керулларию не без основания бросил ему упрек в том, что он демократ, недоволен монархией, принижает царей; вместо того чтобы простирать руки к небу и примирять Бога с людьми, вмешивается в светские дела и забывает, что власть, составлявшая некогда одно целое, распалась на две

части — на власть царскую и власть архиерейскую.[1] Человек с такими задатками был бы образцовым византийским самодержцем, и если бы судьба поблагоприятствовала ему украситься короной, может быть, оставил бы о себе память в истории как об одном из лучших представителей византийского абсолютизма; но для Константинопольского патриарха, желавшего прочно сидеть на своем месте, он был недостаточно кроток и слишком самостоятелен.

При Константине Мономахе, не отличавшемся чистотой жизни, представлялось много поводов и случаев для Керуллария обнаружить свою энергию, в видах исправления царских нравов. Невоздержность царя, его легкомысленное отношение к договорам были предметом обличений патриарха. Мономах сердился, высказывал недовольство, но патриарха трудно было сбить с дороги. Потерпев раз неудачу, он вторично приходил во дворец и заводил речь о том же, и так как Мономах был человек переменчивого характера, к тому же уважал патриарха, то в конце концов постоянство последнего побеждало, он достигал цели и царь был даже благодарен за вразумление. Что касается самого Керуллария, то он не всегда был послушен императору, повиновался ему только тогда, когда находил нужным и полезным.[2] Требуя справедливости от Мономаха, Керулларий был лучшим и преданнейшим его утешителем в минуты невзгод. Во время осады Константинополя Торником, 1047 г., когда Мономах предавался малодушию и доходил до отчаяния, Керулларий поддерживал в нем бодрость всенародными молениями и предсказывал победу, говоря, что придет время, когда стрелы врагов обратятся вспять и поразят их самих; но когда враги действительно были одолены и Мономах, забыв договор, в пылу раздражения велел их казнить, Керулларий поспешил им на помощь, и хотя ему не удалось спасти Торника и Ватацу от ослепления, однако же его укоры и угрозы подействовали на императора, и многие другие мятежники были пощажены.[3] Когда Мономах находился при смерти, Керулларий тоже не замедлил явиться с утешением. Он не обратил внимания на то, что колесо Фортуны повернуло в другую сторону, что все оставляют Мономаха и бегут к Феодоре; он присутствовал при последних минутах жизни императора, а после смерти, посетив брошенный на произвол судьбы труп и отдав последний долг, сделал распоряжение о приличном званию умершего погребении.

---

[1] *Psell.*, IV, 324; 332, 339–340, 344–345, 353–354; V, 508, 510–512.

[2] *Psell.*, IV, 333, 341–342; V, 111.

[3] *Psell.*, IV, 346–347; *De-Lagarde*, 185, 193.

Историк по этому случаю замечает, что патриарх поступал так, несмотря на то, что имел много причин помянуть покойника злом.[1] Каковы были причины недовольства, нетрудно догадаться. Мономах в последние два года жизни, под влиянием новых советников, которые фигурировали и перед его кончиной, агитируя в пользу Никифора Протевона, изменил свое отношение к Церкви и ее предстоятелю. Он обнаружил попытку подчинить церковные интересы политическим и только мудрая проницательность и самоотверженная решимость Керуллария могли сдержать ее в пределах. Когда правительство, в целях приобретения содействия папы для борьбы с норманнами и для успешного заключения мира с германским императором Генрихом III, подало Римскому престолу надежду[2] на возвращение патримоний в Апулии и Калабрии и признание привилегий, в ущерб правам Константинопольской кафедры, и когда патриарх узнал об этой государственной тайне от Иоанна Транийского, приезжавшего осенью 1053 г. в Византию послом от дуки Аргира,[3] он, не имея формального основания протестовать прямо и открыто, выразил протест косвенно известным посланием Льва Охридского к Иоанну Транийскому, собственным посланием к Доминику Градскому и административным стеснением проживавших в Константинополе азимитов. Уступая затем представлению правительства о необходимости союза с папством и преклоняясь перед величием идеи церковного единства, он сам же (письмом к Льву IX) подал руку примирения Риму, под непременным однако же условием, чтобы соблюдены были достоинство и права Константинопольской церкви,[4] но когда папа ответил на это намерением не допускать уравнения Константинопольской кафедры с Римской, легаты же его явились в Византию не со словом мира, а для суда над патриархом, с первого свидания не уважили патриаршего достоинства и закончили свою легацию актом отлучения, Керулларий, молчавший до последней минуты, ополчился наконец за честь своей Церкви и не только легаты должны были поспешно ретироваться, но и само правительство, предупредительное к легатам сверх меры, смирилось и поспешило загладить свое поведение перед патриархом. Кроме столкновения с Римом были и другие поводы к неприятностям между императором и патриархом. Когда диаконы, монахи Студийского монастыря, не хотели отказаться от присвоенных себе каких-то особых поясов, отличных от тех, которые употреблялись диаконами

[1] *Psell.*, IV, 357–358.
[2] PG, CXLIII, 777–780; *Will*, 85–88.
[3] *Anon. Bar.*, 220; PG, CXX, 788; *Will*, 178.
[4] PG, CXX, 784; CXLIII, 773–774, 876; *Will*, 89–91, 174.

Великой церкви,[1] и когда по поводу этого обычая, нарушавшего единообразие в церковном облачении, а также, быть может, в связи с вопросом об отношениях к Риму, произошло у Керуллария столкновение со студийскими монахами и их игуменом Михаилом Мерментулом, Мономах принял сторону монахов и заставил патриарха уступить.[2] Еще большее оскорбление патриарху нанес Мономах своим посягательством на церковное достояние. В первые годы своего царствования он склонен был давать Церкви, а не брать у нее. В пользу патриаршего кафедрального храма он сделал весьма многое. Известно, что в год вступления Керуллария на патриарший престол (1043) молния ударила в храм Св. Софии и произвела повреждения. Принял ли участие в исправлении повреждений Мономах — мы не знаем, по-видимому, и повреждения были настолько незначительны, что можно было обойтись собственными средствами Великой церкви.[3] Затем из монодии Пселла мы узнаем, что во время землетрясения (вероятно, 1045 г.) обрушился храм Св. Софии. Как ни странен пропуск такого важного факта хронистами, с первого взгляда подсказывающий даже мысль о том, не следует ли здесь разуметь храм Св. Софии в Никее, обрушившийся при Константине Дуке (в 1063–1065 гг.), тем не менее заключающийся в монодии намек на торжественные выходы в обрушившийся храм Солнца, Луны и звезд,[4] т. е. императора, его жены, свояченицы и фаворитки, не дозволяет иметь в виду другой храм кроме константинопольского. Восстановление храма едва ли могло совершиться без помощи казны, и Мономах, надо полагать, помог, хотя и на это нет прямых указаний. Есть зато указания на другие жертвы Мономаха в пользу Великой церкви. До его времени литургия в храме Св. Софии совершалась только по важнейшим праздникам, а также по субботам и воскре-

[1] Об этих поясах упоминает Петр Антиохийский в послании к Керулларию, где он замечает, что, несмотря на все старания, патриарх не смог уничтожить обычай, PG, CXX, 809; *Will*, 200. В защиту обычая написал трактат монах Студийского монастыря Никита Стифат: Νικήτα μοναζόντος τοῦ Στηθάτου εἰς ζώνην τῶν στουδίτων διακόνων (Монаха Никиты Стифата <сочинение> о поясах диаконов Студийского монастыря). В трактате есть, между прочим, фраза: εἰ γε ἄλλως μὲν ἐν τούτῳ τὰ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τῶν λαϊκῶν, ἄλλως τε τὰ τῆς ἡμετέρας ἔχει τῶν μοναχῶν, θαυμαστὸν οὐδέν... (Нет ничего удивительного в том, что кафолическая Церковь мирян держится в этом отношении одного обычая, а наша монашеская Церковь — другого). Трактат хранится в рукописи Моск. Синод. библ., № 467. Мы воспользовались списком с него, принадлежащим профессору И. Е. Троицкому.

[2] *Cedr.*, II, 555.

[3] *Psell.*, V, 511.

[4] PG, CXXII, 911–916.

сеньям, — в остальные дни службы не было по причине недостатка в средствах. Мономах назначил от казны щедрое вспомоществование и дал возможность совершать божественную литургию ежедневно, каковой порядок установился потом на долгое время и соблюдался не только при нем, но и при его преемниках; Мономах снабдил также церковь необходимыми при богослужении сосудами из золота, жемчуга и драгоценных камней, замечательными по величине, красоте и ценности; украсил церковь и многими другими дорогими вещами.[1]

Нет ничего невероятного, что все эти пожертвования находились в связи с восстановлением храма Св. Софии после землетрясения и составляли завершение того, что сделано было государством в этом отношении. Как бы то ни было, начало царствования Мономаха показывало заботы государства о материальном обеспечении клира Великой Константинопольской церкви, об украшении самой церкви и удовлетворении ее нужд. Другое показал конец царствования: перед смертью Мономах сделал распоряжение об обращении в государственную казну церковных и монастырских доходов, и хотя исполнение распоряжения было остановлено его смертью,[2] однако же оно переполнило чашу огорчений, причиненных патриарху. Под свежим впечатлением этих огорчений, действительно, не мудрено было помянуть злом отошедшего в вечность государя.

В последнее время, при Мономахе, Керулларий находился в оппозиции правительству. В следующие два царствования оппозиция с его стороны была почти непрерывной. Феодора до воцарения была близка к патриарху, относилась к нему с уважением, и после воцарения на первых порах руководилась его советами и указаниями.[3] Но вскоре, под влиянием партии Льва Параспондила, разошлась с патриархом по вопросу о замужестве, и между патриархом и двором установились натянутые отношения, не улучшившиеся и при Михаиле Стратиотике, который был избран партией Параспондила, не по мысли патриарха. Феодосий Мономах знал о настроении Керуллария и надеялся найти себе в нем поддержку. Однако же практичный Керулларий не счел нужным засвидетельствовать свою солидарность в безумной затее. Иначе он отнесся к обширному и серьезному заговору военного сословия, выдвинувшего Исаака Комнина в соперники Стратиотику. Керулларий, как глава партии, недовольной правительством, сочувствовал заговорщикам. Когда махинация заговорщиков приведена была в действие, первым актом правительства,

[1] *Cedr.*, II, 609 (*Glyc.*, 598); PG, CXX, 1157.
[2] *Attal.*, 51. Ср. выше, кн. I, с. 432.
[3] *Psell.*, IV, 207.

озабоченного вопросом о мерах сопротивления, было примирение с патриархом, с целью парализовать явное его содействие планам Комнина. Так как никакого договора у Керулларий с заговорщиками заключено не было, дело ограничивалось только сочувствием, открыто не обнаруженным, то примирение без труда состоялось. Оно не склонило симпатий Керулларий на сторону Стратиотика и его приверженцев, однако побудило его в ходе дальнейших событий быть осторожным, сторониться от роли руководителя и принимать в движении более пассивное, чем активное участие. Только тогда, когда вопрос был решен бесповоротно, патриарх вышел из страдательного состояния и стал действовать. От его имени предложено было Стратиотику сойти с престола и постричься в монахи, он же в своих покоях дал первый приют постригшемуся императору, он же отправил к Комнину вестника с извещением об избрании на царство и с приглашением прибыть в столицу.[1]

Хотя в истории переворота Керулларию не принадлежало роли ни инициатора, ни руководителя, заслуга его перед Комнином заключалась только в сочувствии к его делу, устранении от всего, что могло повредить его успеху, и лишь в последнюю минуту в деятельном участии, хотя переворот, без сомнения, совершился бы и помимо патриарха, тем не менее Комнин, благосклонно смотревший на тех, которые до момента пострижения оставались верны Стратиотику и только потом перешли в противоположный лагерь, тем большую благосклонность должен был питать к Керулларию, главе оппозиции, не одобрявшему Стратиотика и признававшему преимущества его противника, Комнина. Комнин щедро вознаградил патриарха. До его времени назначение лиц на должности великого эконома и великого скевофилакса принадлежало царю. Разумеется, императоры, через посредство назначаемых ими лиц, держали под своим контролем финансы патриархии и Великой церкви и, судя по скудости, которую испытывал клир и которая была побуждением для Романа III, особенно же для Константина Мономаха, к выдаче субсидий, этот порядок вещей не был благоприятен для Церкви; очень возможно, что значительная доля доходов ускользала от прямого своего назначения и поступала в распоряжение казны; пожертвования Романа и Мономаха могли быть только слабым возмещением потерь, понесенных этим путем Церковью. Исаак Комнин, по вступлении на престол, в 1057 г., отказался от императорского права назначения великих экономов и скевофилаксов, предоставив право Константинопольскому патриарху. Этим внесен был больший порядок и целесообразность в управление церковными имуществами и

[1] Подробнее об этом выше, кн. I, с. 193–202.

доходами, патриарх получил более действительный, чем прежде, надзор за церковным хозяйством и бóльшую возможность устранять возникавшие в этой сфере злоупотребления. Независимо от этого дела, важного и для Церкви, и для патриархии, Комнин выполнил другое, в угоду лично патриарху. У Михаила Керуллария, кроме племянницы Евдокии, жены будущего императора Константина Дуки, было еще два племянника, Никифор и Константин, сыновья старшего его брата. По смерти последнего заботу о них принял на себя их дядя, который с помощью Пселла дал племянникам надлежащее воспитание, был им вместо отца и сильно был озабочен их судьбой. При вступлении Исаака Комнина на престол это были окончившие ученье молодые люди, в возрасте около двадцати лет, и Комнин, желая сделать приятное патриарху, возвел их в высокие чины и назначил на видные должности.[1]

Недолго однако же продолжалось согласие между императором и патриархом: в сентябре 1057 г. Комнин вступил на престол, а в ноябре 1058 г. Керулларий был низвергнут с престола.[2]

В характере Исаака Комнина были некоторые общие черты с Керулларием, как-то: двойственность поведения в домашней и официальной жизни, суровое и высокомерное обращение с людьми. Разница главным образом состояла в том, что у Комнина было менее, чем у Керуллария, рассудительности в поступках, менее стремления приноравливаться к обстоятельствам и более нетерпимости, бесцеремонности, резкости и решимости в действиях. В лице Керуллария и Комнина сошлись две натуры одинаково устойчивые и неподатливые, два самолюбия одинаково исключительные, натура

---

[1] *Attal.*, 60 (*Scyl.*, 641–642; *Glyc.*, 601; *Zon.*, IV, 191–192; *Ephr.*, 140–141); *Psell.*, IV, 351–353.

[2] Для определения хронологии решающее значение имеет показание *Аталиота* (63), что патриарх был арестован в праздник Архангела Михаила, в ноябре, ранее похода. Показание это, с пропуском месяца, повторяется писателями, в основу которых легло сочинение Атталиота. Так как поход был в сентябре 1059 г., то низвержение Керуллария произошло в ноябре 1058 г. Это согласно и с показанием каталога, присоединенного к *Георгию* (879, 883), по которому Керулларий патриаршествовал 15 лет (круглая цифра) и в котором удаление его отнесено ко второму году царствования Комнина. Заключение *Барония*, основанное на каталоге, было поэтому совершенно правильно, и *Паджи* (вслед за ним *Лебо*, XIV, 424–425, и др.) напрасно хотел сделать поправку, поставив событие под 1059 г. (Annal., ed. 1869, t. XVII); *Купер* (De patriarchis Constant., 126) с полным правом предпочел Барония. Относительно дня низложения Паджи указал на 8 июня. Гфрёрер на 6 сентября, — тот и другой совершенно упустили из виду праздник 8 ноября.

теоретика, неуклонного в преследовании излюбленной теории, столкнулась с натурой солдата, не признававшего узлов, которых нельзя было бы рассечь мечом; честолюбие патриарха, для которого не было достоинства и власти выше патриаршей, с честолюбием императора, не допускавшего в мире власти, выше императорской. Трудно было ужиться рядом представителям двух противоположных направлений, при характере, исключавшем возможность уступки с той или другой стороны. Одна сторона необходимо должна была сойти со сцены, и необходимость выпала на долю той, которая была физически слабее.

Истинная причина кризиса, постигшего патриарха, скрывалась в личных качествах императора. Керулларий был совершенно последователен и верен себе, поступал при Комнине так, как он поступал прежде, но последовательность и погубила его; роковая его ошибка заключалась в том, что он не хотел принять в расчет, что императорский престол занимает суровый Комнин, а не легкомысленный и переменчивый Мономах, не слабая женщина и не дряхлый старик. Повод к столкновению был аналогичен с причиной, вызвавшей недовольство Керулларий Мономахом в самое последнее время жизни Мономаха, а именно политика Комнина относительно Церкви, секуляризация церковных и монастырских имуществ. Патриарх, как защитник церковных интересов, не мог безучастно отнестись к этому поступку.[1] Он смело заговорил с императором и старался отклонить его от принятого решения, хотел подействовать сначала пастырскими вразумлениями и кротостью, когда же это не помогло, грозил епитимией.[2] Неизвестный источник, принадлежащий перу какого-то автора из лагеря недовольных Керулларием, каких, разумеется, было немало среди духовенства, испытывавшего на себе строгость патриарха, передает крайне подозрительные подробности о том, как он грозил

[1] Рассказ о столкновении патриарха с императором и его низвержении помещается историками вслед за рассказом (*Psell.*, IV, 243 (*Zon.*, IV, 193); *Attal.*, 61–62 (*Scyl.*, 642–643; *Glyc.*, 601)) о секуляризации имуществ, — связь обоих фактов несомненна. Новейшие исследователи совершенно произвольно (отчасти по незнакомству с Атталиотом) утверждают (напр., *Лебо* (XIV, 424); *Гфрёрер* (III, 625)), что патриарх не принимал к сердцу интересов Церкви и монастырей и раздор с императором произошел по другой причине, — по Гфрёреру, причина заключалась будто бы в неумеренных притязаниях Керулларий, в том, что он требовал от Комнина, чтобы только те государственные акты признавались имеющими силу, которые получат его патриаршее одобрение. Опровергать это фантастическое объяснение излишне. *Папарригопуло* (IV, 413) ближе к правильному пониманию.

[2] *Attal.*, 62; *Psell.*, IV, 245.

Комнину лишением престола, употребляя вульгарное выражение ἐῶ σε ἔκτισα, φοῦρνε, ἐῶ ἵνα σε χαλάσω (я тебя слепил, печка, я же тебя и разобью), и как он надевал багряные туфли, императорскую обувь, говоря, что это — принадлежность древнего архиерейства и что Константинопольскому архиерею прилично ей пользоваться, так как достоинство архиерея нисколько не ниже достоинства царя, относительно же предметов высших даже преимуществует.[1] В этих подробностях ясно обнаруживается тенденция обвинить в глазах народа Керулларία и оправдать факт его низложения. Керулларий, несомненно, пользовался популярностью среди константинопольского населения, к составу которого он сам принадлежал по рождению. Популярность вела свое начало еще от того времени, когда Керулларий выступил против Михаила Пафлагона с заговором, в котором пробиваются и признаки народного протеста против злоупотреблений. Популярность еще возросла в патриаршество Керуллария: стремление поддержать достоинство Константинопольского престола и охранить чистоту кафолической веры, обнаруженное во время столкновения с Римом, неустрашимое предстательство перед верховной властью за правду, за права и интересы Церкви, беззаветное обличение пороков и противозаконных деяний в императорах, — все это не могло не производить обаяния на народ. Враги Керуллария, выступившие на борьбу с ним, должны были считаться с его популярностью и оправдывать свои поступки в глазах преданного патриарху населения. И вот они заговорили понятным народу языком, доступными народу выражениями и образами; являются на сцену вульгарная пословица, императорские туфли. Керулларий был не настолько тривиален и прост, чтобы говорить и действовать таким образом. Нельзя однако же оспаривать, что в изложении неизвестного писателя нашло себе место указание, хотя в грубой форме, на внутренний смысл столкновения и на намерение Керуллария. Смысл столкновения: спор о преимуществах двух властей — власти императорской и власти патриаршей; намерение: выдвинуть соперника Комнину. То и другое частью выяснено прямо, частью пробивается в намеках у Пселла, знавшего многие скрытые для других пружины этого дела и имевшего побуждения собрать обстоятельные сведения, так как на него возложена была обязанность составления обвинительного акта против Керуллария. Пселл старается объяснить, что если выдается два доблестных мужа, соперничающих между собой в превосходстве над остальными, то между ними единомыслие и согласие возможны только тогда, когда один уступит и покорится другому. В данном случае этого условия не

[1] *Scyl.*, 643 (*Glyc.*, 601).

было соблюдено: император не отличался уступчивостью и не желал играть второстепенной роли, патриарх тоже высоко ставил архиерейское достоинство; император хотел подчинить себе патриарха, тот не поддавался, хотел заградить ему уста, а тот становился еще смелее, ни на что не обращая внимания; патриарх действовал прямо, заботясь об общей пользе, император же подозревал козни и боялся за собственное положение, с тревогой взирая на преданность патриарху народной массы.[1] Какие козни подозревал Комнин в Керулларии, можно заключать из слов того же Пселла, что патриарх предугадывал будущее высокое положение Константина Дуки, мужа своей племянницы.[2] Если принять во внимание, что у Дуки вышли около того времени какие-то неприятности с Комнином, вследствие которых он был удален на службу в провинцию, то легко сделать вывод, что Керулларий, недовольный Комнином, готовил своего родственника ему в соперники, обещая поддержать его дело своим влиянием на константинопольское население, и Дука потому и был удален из столицы, что именно здесь он был наиболее опасен.

Определить точно момент, когда стала назревать вражда Комнина к Керулларию и когда запала в душу императора решимость устранить неприятного себе патриарха, мы не можем, главным образом потому, что с точностью неизвестно, к какому году и месяцу следует относить меру относительно монастырей, к концу 1057 или к 1058 г. Во всяком случае несомненно, что еще до 8 ноября 1058 г. были не только размолвки между императором и патриархом, но и попытки со стороны Комнина установить modus vivendi. Понятно, что попытки не могли увенчаться успехом, если условием полагалось, как говорит Пселл, подчинение патриарха императору, покорность всем его притязаниям. Император решился на более сильную меру, но открытием враждебных действий медлил из опасения народного волнения, — выжидал, пока патриарх выедет в какой-нибудь пригородный храм, подальше от столичного населения. 8 ноября такой случай представился: патриарх отправился в основанный им монастырь, находившийся в пригородном месте, за западной городской стеной. Император и тут понимал, на какой опасный шаг он решается, и сделал последнюю попытку примирения: он отправил одного из приближенных к себе духовных лиц для переговоров с патриархом о некоторых секретных предметах и, если понадобится, для назначения времени свидания. Попытка и на этот раз ни к чему не привела, и вот явился отряд императорской лейб-гвардии, так называемых варягов, патриарх был насиль-

[1] *Psell.*, IV, 367–368.

[2] *Psell.*, IV, 380–381. Ср. выше, кн. I, с. 210, прим. 2.

ственно совлечен с кафедры, посажен на мула и окольными путями привезен к влахернскому берегу: здесь ожидала хеландия, которая отвезла его в заточение на остров Приконис. Весть о событии скоро распространилась в столице, народ пришел в волнение. Император встревожился и стал размышлять о способах предотвратить неблагоприятные последствия. Приближенные советники указали ему единственный исход — соблюдение установленных законом на этот случай формальностей. Закон допускал два пути для устранения патриарха с престола — добровольное его отречение и низложение по суду в патриаршем синоде. Первый путь был проще и во всех отношениях надежнее, император к нему прежде всего и обратился. Некоторые митрополиты были отправлены к Керулларию на остров убедить его сложить достоинство добровольно, с тем чтобы не было нужды разбирать дело публично в синоде. Керулларий не сдался на убеждения и пристыдил митрополитов. Когда те возвратились и сообщили императору о неудаче, решено было начать процесс на соборе, собору же собраться не в Константинополе, где ежеминутно можно было ждать какой-нибудь вспышки разъяренной толпы, а в одном из городов Херсониса Фракийского. Сделаны были все приготовления, подобраны члены судебного трибунала, причем некоторые державшиеся прежде хорошего мнения о патриархе, из угождения к императору перешли в лагерь врагов, обвинительный акт должен был составить Пселл, старающийся заверить читателя, что нет в мире вещи, которой нельзя было бы истолковать и в хорошую, и в дурную сторону и по поводу которой, вооружившись риторикой, невозможно было бы говорить «за» и «против». Затем отправлен был корабль, который должен был взять Керулларий из его заточения и доставить на место соборных заседаний. Путь лежал через Геллеспонт, на европейском берегу Геллеспонта расположен был город Мадит, в котором почивали мощи угодника Божия, Евфимия, источавшие благовонное миро. Причалили к Мадиту, Керулларий вошел в храм, приложился к мощам святого, и так как был вечер, то весь кортеж расположился на ночлег. Во сне явился Керулларию св. Евфимий и возвестил ожидающее его в скором времени преставление в лучшую жизнь, о чем проснувшийся патриарх и сообщил сначала караулившему его солдату, а потом еще нескольким спутникам. Взойдя на корабль, поплыли дальше и пристали наконец к месту назначения. Но не привелось собору судить патриарха. Исполнилось бывшее ему в Мадите предсказание: изнуренный телесно голодом и лишениями во время приконисского заключения, еще более потрясенный душевно, с разбитыми идеалами, носителем которых и неодолимым защитником почитал он себя, Керулларий скончался, молясь в последнюю минуту за свой народ, им любимый и ему

преданный; рука его так и застыла в форме для благословения, в чем его современники видели чудесное знамение. Впечатление от его смерти было потрясающее, — общественное мнение было наэлектризовано, кредит императора поколеблен, и гордый Комнин, предвкушавший победу при жизни патриарха, был им побежден после смерти: он публично раскаялся в своем поступке, оплакал свой грех, останки почившего перевезены были в византийское предместье и погребены в том же монастыре, в котором Керулларий был арестован варягами по приказу императора. Племянники Керуллария, возвышение которых было результатом императорской благосклонности к патриарху и которых постигла опала вслед за арестом их дяди, опять были приближены и восстановлены в прежнем положении.[1]

День смерти Керуллария неизвестен. Разумеется, обстоятельства его ареста, заточения, переговоров, приготовлений к собору и пр. потребовали не одного дня, прошло, может быть, несколько недель до окончательной развязки. Обычные формальности и некоторые особенные усложнения при избрании ему преемника тоже потребовали срока, так что возведение нового патриарха на престол падает на конец января или начало февраля 1059 г.[2] Новым патриархом, преемником Керуллария, был Константин Лихуд.

Константин Лихуд, подобно Керулларию, был уроженец Византии и принадлежал к аристократической фамилии, был наследственный сенатор. С ранних лет он обнаружил большие способности и легко усвоил науку. Особенную склонность он проявил к изучению риторики и законов, с их помощью развил свой природный дар слова и приобрел искусство управления. Он умел приноровлять свое красноречие к потребностям, слово его, блиставшее аттической красотой, становилось просто и удобопонятно, когда он говорил о делах государственных. Если к его происхождению и политическому образованию присоединить еще приятную

---

[1] *Psell.*, IV, 245 (*Zon.*, IV, 194), 368–380; *Attal.*, 62–66 (*Scyl.*, 644; *Zon.*, IV, 193–194; *Glyc.*, 601–602); *Ephr.*, 404.

[2] Хронология определяется только приблизительно следующими данными. Константин Лихуд патриаршествовал 4 года и 6 месяцев. См.: *Zon.*, IV, 201; *Georg.*, 883. По смерти Лихуда кафедра оставалась праздной пять месяцев, а в пятый год царствования Дуки (начавшийся в декабре 1063), 1 января (следовательно, 1064 г.), был возведен на патриарший престол Иоанн Ксифилин. См.: *Georg.*, 884. Таким образом, простое арифметическое вычисление дает вывод, что Лихуд вступил на престол в конце января или начале февраля 1059 г. и умер в конце июля или начале августа 1063 г.

наружность, статность и гибкость тела, звучность и ясность голоса, а также его благовоспитанность, умение вовремя промолчать, высказать свою мысль скромно, уважить свободу чуждого мнения, мягкость манер в обращении с людьми и строгость привычек в домашней жизни, то понятен будет успех, с каким этот человек сделал свою карьеру.[1] Начало его возвышения по службе относится ко времени Михаила Пафлагона, но на высоту положения он взошел при Константине Мономахе, назначившем его первым своим министром. Если при других императорах первые министры пользовались громадным влиянием, то при Мономахе, не любившем серьезных занятий, первый министр был как бы царь de facto, и Лихуду принадлежало решающее значение во всех гражданских и военных вопросах; не только в административной, финансовой и судебной сфере от него исходили решения, но, например, во время осады Константинополя Торником от него зависела диспозиция войск, оборонявших столицу, причем, как показали последствия, он обнаружил недостаточную стратегическую компетентность.[2] Возвышение Лихуда не развратило его и не изменило его привычек, как это нередко бывало с другими. Он сохранил честность и неподкупность, естественность и простоту в отношении к ближним, снисходительность к их недостаткам, в пище и одежде умеренность, целомудренность в поведении; современники, привыкшие к другим примерам, удивлялись тому, что он неохотно носил даже присвоенные его званию пурпуровые нашивки и вел монашеский образ жизни. Женат он не был и детей не имел: известный своей печальной судьбой Стефан, управлявший Васпураканом, был его племянник, сын его сестры.[3] Но что Лихуд был евнух,[4] это недоразумение, обязанное, вероятно, своим происхождением тому обстоятельству, что Лихуд занимал при Мономахе и Исааке Комнине должность протовестиария, которая действительно большей частью поручалась евнухам, хотя и не исключительно, так что мы знаем протовестиариев, заведомо не евнухов.[5]

При дворе Мономаха начались против Лихуда интриги, с целью его низвержения. Так как первый министр не одобрял некоторых предосудительных поступков императора, чем возбуждал в нем чувство недовольства, то интриги не остались без успеха, и Лихуд был удален от должности первого министра. Принимая во внимание, что решительный поворот

[1] *Psell.*, IV, 188–189, 390–393, 395–397; PG, CXX, 1151.

[2] Ср. выше, кн. I, с. 184, 302.

[3] *Psell.*, IV, 398–404; 411; PG, CXX, 1151; *Cedr.*, II, 563, 570. Ср. выше, кн. I, с. 333–334.

[4] *Georg.*, 883; *Ephr.*, 404.

[5] Напр., Андроник Дука. См. выше, кн. I, с. 303.

во внутренней политике Мономаха произошел за два года до его смерти, мы не без основания можем ставить этот факт в связь с устранением Лихуда от управления и относить его устранение к концу 1052 или к началу 1053 г. Мономах отдал Лихуду в пронию Манганы, может быть, в бытность его первым министром, в благодарность за труды, а может быть, при отставке, в виде утешения и пенсии, так как известно, что отставка Лихуда не сопровождалась опалой, между экс-министром и императором продолжались добрые отношения, и в последние минуты жизни Мономах не отпускал его от себя. Феодора, вступив на престол после Мономаха, предлагала Лихуду опять занять место первого министра, но он отклонил предложение; при Феодоре и Стратиотике он, не принимая официального участия в делах, не отказывал однако же в советах лицам, стоявшим у власти, если они обращались к нему как опытному государственному человеку, и то, что делалось по его наставлениям, было лучшим делом этих двух царствований.[1]

Отказ Лихуда от должности первого министра, его нежелание открыто вмешиваться в дела при Феодоре и Стратиотике ясно свидетельствовали о его несочувствии к той партии, которая ведала управлением при этих государях. Если присоединить, что его несочувствие распространялось и на последние годы Мономаха, то для нас совершенно будет ясно сходство его политического направления с направлением Керуллария, принадлежность его к оппозиционному лагерю, во главе которого стоял патриарх. Но как человек более мягкий и уступчивый, чем Керулларий, более способный сживаться со средой, он не выражал своей оппозиции в резких формах. Несочувствие к действиям правящей партии, естественно, должно было увеличить его авторитет в глазах Комнина и его приверженцев, тоже недовольных этими действиями, только заявивших свое недовольство энергичным протестом. Когда восстание Комнина разыгралось до степени, на которой оно грозило серьезной опасностью Стратиотику, и решено было отправить к мятежникам посольство для переговоров, то в состав посольства вошел и Константин Лихуд. По вступлении Комнина на престол члены посольства были взысканы милостями императора, а Лихуд восстановлен в том положении, какое он занимал при Мономахе, сделан протовестиарием и первым министром, повышен в чине, из проедров возведен в протопроедры.[2] Лихуд теперь уже не отказывался от должности, как он отказывался при Феодоре; потому что самое существо дела, способ вступления Комнина на престол, обещали иную полити-

[1] *Psell.*, IV, 189–190 (*Zon.*, IV, 180), 405–406; *Scyl.*, 645 (*Zon.*, 194).

[2] *Psell.*, IV, 408–409; *Georg.*, 883.

ческую программу, чем та, которой держалась партия Льва Параспондила. Расчет оказался не во всех отношениях верным, секвестры и секуляризация многих заставили разочароваться. Каким же образом отнесся первый министр Комнина к его церковной политике?

Поверхностное знакомство с делом ясно подсказывает ответ на этот вопрос, причем достаточной, по-видимому, посылкой является факт возведения Лихуда на патриарший престол. Лихуд занял место Керуллария по желанию Комнина.[1] Это должно бы свидетельствовать, что тех взглядов и того направления, за которые низвергнут был Керулларий, преемник его не разделял; что Комнин потому и возвел на патриарший престол Лихуда, что встречал в нем полную солидарностью со своей политикой. Заключение крайне поспешное, которое можно сделать только отрешившись от всяких представлений о личном характере Лихуда, о частных обстоятельствах возведения его на престол и о его поведении в бытность патриархом.

Исаак Комнин был не из тех государей, которые служили покорным орудием в руках своих первых министров: в нем замечался недостаток политического образования, но в инициативе и в энергии недостатка у него не было; сделав Лихуда первым министром, он отдавал полную справедливость его уму и административным способностям, но этим еще не отказывался от самостоятельности и не желал уступать кому бы то ни было.[2] В свою очередь Лихуд, со своей сдержанностью, привычкой говорить и с людьми, не соглашавшимися с ним в мнениях, не иначе, как мягко, не столько с ними спорить и порицать, сколько отстраняться от них, не мог показаться ярым противником Комнину, а главное, на патриаршем престоле обещал покорность и уступчивость императору, какой невозможно было добиться от Керуллария. Все это не исключало несогласия Лихуда в убеждениях с Комнином. Он мог держаться других воззрений на задачи внутренней политики, чем Комнин, и несомненно держался, потому что Комнин с секвестрами и секуляризацией был только продолжателем системы Мономаха, целесообразности которой Лихуд не признавал. Но как Мономах, несмотря на неодобрительное отношение Лихуда к его политике, не прерывал близости к нему, так точно в глазах Комнина разногласие во взглядах, высказываемое кротко, без тени резкости, не могло служить поводом к раздору. Комнин щадил убеждения человека, превосходство которого над собой в знаниях и опытности не мог не признать, но поступал по-своему, и даже там, где Лихуд был лично

[1] *Psell.*, IV, 246.

[2] *Psell.*, IV, 409.

заинтересован, он не изменял принятому решению, хотя действовал с возможной пощадой. Как при Мономахе и его преемниках несогласие во взглядах с лицами руководившими политикой, не нарушая добрых отношений (выражавшихся, как сказано, в обращениях к Лихуду за советами), побуждало Лихуда сторониться от формального участия в управлении, точно так же при Комнине, после того как политика пошла по известному направлению, нежелательному для Лихуда, еще вопрос, остался ли бы он на своем посту, если бы вступление на патриарший престол по необходимости не развязало его с должностью первого министра.

Эпизод, случившийся при избрании Лихуда в патриархи, тоже доказывает, что он не был приверженцем политики, усвоенной Комнином. У Лихуда находились во владении, на правах пронии, Манганы. По мнению Комнина, они, подобно другим розданным казной имуществам, должны были возвратиться к своему первоисточнику. Если бы таково было и мнение Лихуда, то он, вероятно, в числе первых отказался бы от пронии; между тем, когда происходили его выборы в патриархи, он продолжал ими владеть, и Комнин, щадивший, как уже мы сказали, своего первого министра не в пример другим, не посягал на его пронию, выжидая случая сделать это под благовидным предлогом. При избрании в патриархи случай представился. Выборы Лихуда происходили с соблюдением законных форм: он был избран по решению митрополитов, клира и всего народа,[1] потом уже воля царя санкционировала предпочтение его другим кандидатам. Так как избранный был мирянин, сановник, занимавший при дворе и в управлении должность, то необходимо было провести его через иерархические степени. Лихуд был уже посвящен в пресвитеры и затем предстояла хиротония в епископы. Но тут возник вопрос о правильности его посвящения, — рукоположение в епископы грозило на лучший конец отсрочкой впредь до решения вопроса синодом по соображению с каноническими правилами. Византийская практика не препятствовала совмещению пресвитерского сана со званием первого министра, если на то была воля императора и желание со стороны намеченного лица. Но, вероятно, для Лихуда нежелательно было продолжать службу, может быть, и Комнин не захотел бы пригласить его остаться на прежнем месте; между тем ограничиться саном пресвитера, в случае если бы встретились препятствия к рукоположению в епископа, Лихуд считал для себя обидным. В этот трудный момент Комнин предложил Лихуду уступить ему права

[1] Πρότερον ψήφου προβάσης ἐπ᾽ αὐτῷ παρὰ τῶν μητροπολιτῶν καὶ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ παντός (Прежде состоялось избрание при участии митрополитов, клира и всего народа).

на Манганы, обещая за это со своей стороны оказать услугу, а именно, не обращая внимания на возникшие недоумения, дать разрешение на его хиротонию. Лихуд принял предложение, и сделка состоялась: он возвратил в казну Манганы, которыми владел в силу грамоты Константина Мономаха, и по императорскому приказанию был рукоположен в епископы, — вопрос о правильности его рукоположения даже не поступил на синодальное обсуждение.[1]

Константин Лихуд по возведении на престол быстро применился к своему новому положению. Он смирил силу своего слова, звучный голос заменил тихим, мысли свои не тотчас высказывал, но давал прежде другим вполне высказаться, и если кто говорил, чего не следовало, то исправлял мягко, без строптивости и раздражения; не было случая, чтобы он обошелся с кем-нибудь жестко и гневливо, масса просителей и людей, желавших говорить с ним, приходила к нему без стеснения и уходила с облегченным сердцем, унося с собой приятное впечатление от предупредительности и отеческого внимания патриарха. Нестяжательность его и попечительность удивляли современников: выделив из своего имущества достаточную часть родственникам, он раздал остальное нуждающимся; не только низшие члены клира, иерокирики и мигады,[2] испытали на себе его заботливость, но все вообще находившиеся в стесненных обстоятельствах могли рассчитывать на его щедрость. Неудивительно, что такими качествами патриарх пленил сердца людей, начиная с высших и кончая низшими: когда он опасно захворал, император (Дука) поспешил в его палаты и обнаружил самое сердечное к нему участие, весь город был опечален и с трепетом ожидал исхода болезни, когда же наступил последний его час и иерофантор начал читать отходную, толпа народа неудержимо хлынула в палаты без всякого порядка, поднялся громкий плач, из уст убогих и несчастных, которых при жизни призревал и утешал умирающий, послышались разные почтительные названия, с которыми они обращались к своему благодетелю, и выражения непритворного горя, которыми они провожали его в загробную жизнь.[3] Лихуд, как и Керулларий, пользовался популярностью, но популярность его была несколько иного рода: Керуллария народ уважал как своего героя за его

[1] *Scyl.*, 644–645 (*Zon.*, IV, 194–195).

[2] К уяснению значения слова могут служить противоположения у Иоанна Евхаитского: οἱ μοναδικοὶ καὶ μιγάδες... μοναδικοὺς καὶ μιγάδας (монахи и мигады). См.: *De-Lagarde*, 112, 140–141.

[3] *Psell.*, IV, 246, 412–413, 418; *Attal.*, 66 (*Scyl.*, 645; *Zon.*, IV, 194; *Glyc.*, 602; *Ioel*, 64).

безответную прямоту и стойкость, за преданность интересам народа и Церкви, за самоотверженную защиту этих интересов; Лихуда он чтил как доброго пастыря, всем доступного, сострадательного и милостивого. Почва популярности Керуллария была политическая, Лихуда — нравственная.

Однако же прежняя политическая деятельность не прошла бесследно, она отразилась на деятельности Лихуда как патриарха. Лихуд, сделавшись патриархом, пренебрег изяществом красноречия, не полагал более честолюбия в занятиях законами, тем не менее не вдался в крайность отрешения от мира, не забыл уз родства и дружбы, не забыл и опытности, приобретенной на государственном поприще, — проницательность и глубина анализа его всегда отличали; привычная светскость обращения и гибкость характера помогли легко устроить всем приятные отношения.[1] Отношения его к императорам отличались осторожностью и мягкостью, неразлучными его качествами и до вступления на патриарший престол. О столкновениях его с Комнином мы не знаем, хотя бесцеремонное обращение с церковными имуществами не могло возбуждать благодарного чувства в предстоятеле Церкви. В душе он был противником Комнина, но далек был от мысли выступить с протестом, особенно протестом резким и грубым. Он не чужд был желания видеть Комнина устраненным, не прочь был даже посодействовать этому, но только под условием, чтобы содействие облечено было в приличную форму, чтобы всю черную работу и все способное скомпрометировать взяли на себя другие. Участие его в отречении Комнина от престола именно таким характером и отличалось. В интриге, устроенной Пселлом против Исаака Комнина и в пользу Константина Дуки, он играл, по-видимому, безобидную, хотя в существе дела весьма важную роль: в то время как Пселл внушал императору мысль, что болезнь его должна иметь смертельный исход, Лихуд убеждал подумать о душе и принять пострижение; в то время как Пселл устраивал провозглашение Дуки, патриарх, сидя у постели больного, поддерживал и укреплял его решение променять сан императорский на чин ангельский. Роль патриарха до такой степени стушевывалась, имела такой скромный, не бросающийся в глаза вид, что императрица, потрясенная событием и под влиянием душевного волнения не способная пристально всматриваться и распознавать роли разных лиц, решимость своего мужа перейти к монашеской жизни приписывала влиянию Пселла, совершенно не замечая патриарха.[2]

---

[1] *Psell.*, IV, 411–412.

[2] См. выше, кн. I, с. 213.

В 1063 г., в конце июля или начале августа, патриарх Константин Лихуд скончался. Преемник его Иоанн Ксифилин обязан возведением на патриарший престол Михаилу Пселлу, своему школьному товарищу и другу, который и в прежней его судьбе принимал большое участие.

Иоанн Ксифилин родился в городе Трапезунте от зажиточных родителей. В раннем возрасте он лишился отца и воспитывался под надзором матери, женщины весьма религиозной, положившей и во впечатлительной душе своего малолетнего сына благочестивые задатки. Иоанн Ксифилин предполагал посвятить свою жизнь на служение родному городу, но судьба распорядилась иначе. Для усовершенствования в науках он был отправлен в Византию и здесь на школьной скамье сошелся с Михаилом Пселлом, который был несколько моложе его летами. Пселл, возвысившись при дворе Мономаха, порадел своему приятелю. Ксифилин был принят ко двору и получил должность по судебному ведомству (судьи на ипподроме и экзактора), поскольку юриспруденция была его специальностью, в школе он главным образом изучал законы и по окончании учения сам открыл частную школу, в которой обучал законам. Должность была второстепенная, но Ксифилин сумел выдвинуться, благодаря своим систематическим познаниям и философскому методу, который он применял к объяснению законов и которым он отличался от других законоведов-практиков. Тогда как последние полагали знакомство с законами в знании возможно большего количества статей, не объединенных общей мыслью, раздробленных механически, а не расчлененных применительно к их внутреннему содержанию, в голове Ксифилина все было упорядочено, сходное соединено, несходное разделено. Систематичность много помогала ему при ссылках и толкованиях: там, где другим нужно было взять в руки книгу, чтобы подыскать подходящую к случаю статью, он легко приводил ее на память; где другие беспомощно были подавляемы буквой, у него по ассоциации припоминались другие статьи, делались сопоставления и этим путем получалось рациональное изъяснение сомнительного закона. Превосходство его особенно обнаруживалось во время судебных прений: выслушав до конца противника, он разбирал и опровергал его аргументы по порядку, логически и основательно; принимаясь говорить речь, держался синтетического метода, разделял сначала предмет, рассматривал части и от частей восходил к целому, излагая при этом мысли округленными периодами. Все это, вместе с протекцией Пселла, привело к тому, что он со второстепенного поднялся на первостепенное место, ему вверены были учрежденные Мономахом должности преподавателя права (номофилакса) и министра юстиции (ὁ ἐπι τῶν κρίσεων).[1]

[1] *Psell.*, IV, 424–429, 431–433; *De-Lagarde*, 198. Ср. выше, кн. I, с. 298, 309.

Интриги, вследствие которых устранен был от должности первого министра Лихуд, коснулись также круга лиц, тесно примыкавших к Лихуду. К этому кругу принадлежал и Ксифилин вместе с Пселлом. Интриги сначала были нерешительны, наветы шли из-за угла, а потом стали делаться открыто. Друзья — Пселл и Ксифилин — на первых порах надеялись подействовать на царя и заставить своих врагов замолчать, но когда интриганы не унялись, они условились гарантировать себя от случайностей изменчивой Фортуны пострижением в монашество и скрепили свое условие взаимной клятвой. Клятва была средством поддержать в себе решительность и пресечь колебания, препятствовавшие сделать окончательный шаг. Придворная жизнь постоянно вовлекала их в свой круговорот, довольно было, чтобы одна интрига закончилась, как они забывали о своем намерении, начиналась другая — намерение опять оживлялось и т. д. Клятвенный обет положил конец колебаниям, а болезнь, случившаяся сначала с Ксифилином, потом с Пселлом, дала возможность осуществить план под благовидным предлогом и примирить императора Мономаха с фактом пострижения, крайне для него неприятным.[1] Связь между пострижением Ксифилина и Пселла с одной стороны, с другой — связь начатых против них интриг с удалением Лихуда от управления, дает возможность определить время пострижения Ксифилина в монашество. Пострижение Пселла совершилось незадолго до смерти Мономаха, в конце 1054 г., удаление от дел Лихуда — в конце 1052 или начале 1053 г. Между пострижением Ксифилина и Пселла был некоторый промежуток, нужно также начислить некоторый срок на развитие начатых по удалении Лихуда интриг, склонивших друзей к пострижению. Таким образом, если отнесем поступление Ксифилина в монашество к первой половине 1054 г., то это будет наиболее вероятно.

После пострижения Ксифилин отправился на Олимп, где и провел все время до возведения в патриархи, т. е. почти целых десять лет. В это время богато взросли семена, посеянные в молодые годы в душе Ксифилина матерью. Чем далее, тем он более усовершался, восходя от подвига к подвигу и делая быстрые успехи в нравственном саморазвитии. Когда в царствование Феодоры (1055–1056 гг.) Пселл посетил Олимп, он нашел уже своего друга предавшимся молчальнической жизни. Между тем как Ксифилин подвизался на Олимпе, Пселл вращался при дворе и готовил ему новое поприще деятельности.

Претендентов на патриарший престол после Лихуда было много, — были кандидаты из лиц, посвятивших свою жизнь на служение Богу, были

[1] *Psell.*, IV, 340–341, 435–438.

и вельможи, приближенные к царскому трону. Но император Константин Дука не спешил с выборами: целых пять месяцев патриарший престол оставался праздным. В это время Пселл употреблял все свое влияние, чтобы склонить царский выбор на сторону Ксифилина: он выставлял преимущества, рисовал достоинства своего друга, его добродетели, его познания, его дар слова. Часто заходила речь об этом предмете у Пселла с царем; царь сначала не решался, но потом уступил убеждениям и на Олимп послан был указ, вызывавший Ксифилина в столицу.[1] Все эти подробности записал сам же Пселл в панегирике Ксифилину. Способ изложения в его рассказе о многих кандидатах и предпочтении им Ксифилина сходен с рассказом об обстоятельствах избрания Лихуда, о котором Пселл говорит только, что он был предпочтен всем и не было ему соперника.[2] Между тем о Лихуде знаем из других источников, что он был избран с соблюдением всех формальностей, при участии митрополитов, клира и народа. Такой же характер имело, без сомнения, и избрание Ксифилина; в рассказе о нем даже больше реальных оттенков,[3] указывающих на соблюдение обычных формальностей, чем в рассказе о Лихуде; время же, протекшее от смерти Лихуда до возведения Ксифилина, было вдвое больше времени между низвержением Керуллария и возведением Лихуда; срок, следовательно, был вполне достаточен для выполнения всех установленных законом и обычаем форм.

Когда Ксифилин прибыл с горы Олимпа в столицу, ему дана была царем аудиенция, царь вышел к нему в сопровождении своих приближенных, в том числе и Пселла. При этом Ксифилин и Пселл обменялись несколькими фразами, весьма характерными для выяснения чувств, с какими Ксифилин смотрел на свое возвышение, и его взгляда на виновника возвышения. Ксифилин, протянув Пселлу руку и облобызавшись с ним, сказал: «К этому ли я стремился? Вот на что понадобилась твоя сила при дворе! Я и не предполагал, и не заявлял, что когда-нибудь по доброй воле оставлю молчание, — и вдруг так снизойти!» — Пселл возразил: «Но ведь ты не вниз спускаешься, а поднимаешься на вершину архиерейства?» — «Нет, — заметил Ксифилин, — это напротив — понижение, так как что

[1] *Psell.*, IV, 439, 445–447.

[2] *Psell.*, IV, 410: κἀκείνῳ ἐπὶ τῷ τῶν πάντων κρινομένῳ, οὐδεὶς εἱστήκει ἀντίρροπος.

[3] Несколько ниже, говоря об отказе Ксифилина от предложенной ему чести, панегирист (*Psell.*, IV, 448) замечает: ἰσχυρογνώμων ἦν πρὸς ὃ προσκέκλητο καὶ τοῖς ὁμοδόξοις *ἡμῖν ἅπασι καὶ συμψήφοις* περὶ τὴν ἐκείνου κρῖσιν ἑτεροῤῥεπής (он оставался непреклонен к просьбам и противостоял всем нам, избравшим его единодушно и единогласно).

может быть выше Бога, сокровенных Которого я достигнул?» Пселл на это сказал: «Совершенствоваться — дело страдательное, недеятельное, совершенствование других гораздо выше самосовершествования; ты для нас будешь совершать таинства и руководить нас к совершенству». Тут заговорил царь, и разговор друзей прервался. Ксифилин пытался отказаться от высокого звания, к которому был призываем, но должен был наконец уступить, и 1 января 1065 г. совершена была его хиротония.[1]

Десятилетнее подвижничество Ксифилина не прошло бесследно: на его патриаршей деятельности отчасти отражается влияние монашеских правил. Он обращал большое внимание на церковную службу и служил не только по важнейшим праздникам, как это было принято у патриархов, и не только вообще по праздникам, но каждый день. Положенные по чину патриаршие выходы из Великой церкви пешком и в облачении он исполнял неукоснительно, обливаясь весь потом и изнемогая от усталости. Он собирал лиц, призреваемых Церковью (τῆς ἐκκλησίας τροφίμους), и читал им священные книги, особенно же святоотеческие правила, причем объяснял казавшееся трудным и малопонятным. Обстановка Ксифилина была самая простая, пища — рассчитана не для удовольствия, а лишь для поддержания жизни, о родственниках он мало заботился, боясь, по объяснению современников, чтобы его не заподозрили в себялюбии;[2] зато он много раздавал ближним и много употреблял на украшение Божьих храмов. В голодное время, когда не только убогие, но и властели доводимы были до крайности, он по несколько раз в неделю кормил беспомощных бедняков. Храм Св. Софии украсил, обновил в нем иконы, делал также пожертвования в пользу некоторых других храмов, снабжая их утварью, украшениями или же вновь основывая.

В своих отношениях к светской власти Ксифилин главным образом заботился о том, чтобы не оставалось бесплодным его право печалования. Он постоянно обращался с ходатайствами к правителям и судьям, особенно же к царю: несправедливость, допущенная царем, вызывала с его стороны слово осуждения; если он хлопотал о чем-нибудь у царя, то делал это с настойчивостью и до тех пор не успокаивался, пока не получал удовлетворения.[3]

---

[1] *Psell.*, IV, 447–448; *Attal.*, 92–93 (*Scyl.*, 659; *Zon.*, IV, 201; *Glyc.*, 606; *Ioel*, 64); *Georg.*, 884–885; *Ephr.*, 404–405.

[2] *Psell.*, IV, 452: τοῦ μὲν γένους τὰ πλείω καταφρονῶν, οὐκ οἶδ' ὅπως τοῦτο τὸ μέρος τιθέμενος, οἶμαι δὲ τοῦ μὴ δοκεῖν περιαυτίζεσθαι ἕνεκεν (О своих родственниках он по большей части заботы не проявлял. Почему он так относился к ним, не знаю, но — думаю — для того, чтобы не показаться своекорыстным).

[3] *Psell.*, IV, 449–452; *Georg.*, 885.

Константин Дука весьма уважал патриарха и выразил свое уважение тем, что когда заболел в 1066 г., вверил своих детей его попечению (присоединив к нему и брата, кесаря Иоанна).[1] Между прочим, факт вручения детей попечению патриарха, вместе с фактом перехода патриарха от партии, не одобрявшей вторичного замужества Евдокии, в лагерь патриотов, державшихся противоположного взгляда, мог послужить, как уже нами было замечено,[2] основанием появлению легенды о подписке, взятой перед смертью Константином Дукой с Евдокии, и о хитрости, с помощью которой подписка была будто бы добыта у патриарха, хранившего ее. Одно из соображений, изобличающих легенду, ее противоречие нравственной настроенности Ксифилина, получает еще большую убедительность при сопоставлении со сведением об отношениях патриарха к родне, вызывавших недоумение в современниках и заставлявших их искать правдоподобного объяснения этих отношений.

Иоанн Ксифилин занимал патриарший престол 11 лет и семь месяцев,[3] следовательно, до августа 1075 г. Сколько протекло времени между его мирной кончиной и избранием на престол ему преемника — мы не знаем. Во всяком случае немного. Не имеем также указаний, был ли преемник его, Косьма, возведен на патриарший престол с соблюдением установленных правил, или рукоположен просто по царскому повелению, по примеру патриарха Алексия. Научное образование Парапинака, знакомство его с государственными законами и церковными канонами скорее заставляют склониться на сторону первой половины этой альтернативы.

Патриарх Косьма не был знаменит ни по происхождению, ни по образованию; никаких видных должностей он до вступления на патриарший престол не занимал, ничем ни в сфере политической, ни в церковной не прославился, был не более как благочестивый инок, прибывший из Иерусалима в Византию, обративший своими добродетелями внимание царя и его приближенных и за нравственные качества удостоенный патриаршего сана.[4] Это был в полном смысле слова подвижник, владевший, по убеждению современников, даром предвидения, к которому часто обращались многие желавшие проникнуть в будущую свою судьбу.[5] Он был человек не от мира сего, не созданный для занятого им места. В делах церковного управления и влияния на государственную жизнь он был мало компетентен,

---

[1] *Psell.*, IV, 269.
[2] Кн. I, с. 218–219.
[3] *Zon.*, IV, 226 (*Ioel*, 65).
[4] *Scyl.*, 731 (*Zon.*, IV, 226; ***Ioel*, 65); *Ephr.*, 405.**
[5] *Anna*, I, 131.

и если представлял в своем лице церковные интересы, то пассивно, будучи орудием в чужих руках, более его опытных и более способных ориентироваться посреди сложных обстоятельств того времени. Оттого мы видим, что деятелями по важным вопросам внутренней политики, в которых затронута была Церковь и общественная нравственность, являются другие лица, фигура же патриарха рисуется в отдалении картины, и то, по-видимому, она присутствует более ради приличия. В его время правительство Парапинака ограбило церкви, монастыри и богоугодные учреждения, отчислив в казну скалы и переплавив взятые из церквей священные сосуды и другие ценности на деньги.[1] О том, чтобы патриарх опротестовал эту противозаконную меру, историки совершенно умалчивают. Но что ею возбуждено было среди духовенства сильное недовольство, и недовольство прорвалось наружу — это не подлежит сомнению, только выразителями протеста явились другие архиереи, а не патриарх. Руководителем церковной политики при Парапинаке был Неокесарийский митрополит, занимавший при дворе должность царского сакеллария. Отнятие скал приписывалось его влиянию. Духовенство возненавидело виновника своего злополучия, и ему грозило низвержение из сана. Угроза исходила не от патриарха, а от архиереев (παρὰ τῶν πλείστων συλλειτουργῶν καὶ ἀρχιερέων). Аргументом было выставлено, что Неокесарийский митрополит, вмешиваясь в мирские дела, нарушает отеческие постановления и апостольские каноны, наносит ущерб благочестию и Божьим храмам. Лишь с помощью просьб и почетных отличий царь сумел склонить архиереев (τοὺς ἀρχιερεῖς) к милости, и виновный миновал низвержения, хотя принужден был сложить светскую должность и удалиться из столицы, вероятно, на свою кафедру, где и умер в начале царствования Вотаниата.[2] Агитация среди духовенства против Парапинака в пользу Вотаниата велась независимо от патриарха. Историк передает, что 7 января 1078 г. недовольные правительством собрались в храме Св. Софии, около патриарха Косьмы, и громко высказывали свое недовольство, но здесь, как сказано, имя патриарха стоит лишь для приличия, и это обнаруживается несколькими строками ниже, где действующим лицом и предводителем оппозиции является митрополит Иконийский, который за это и был арестован; во время движения в пользу Вотаниата 25 марта, в храме Св. Софии, уже совершенно не упоминается о патриархе Косьме, действующим лицом и руководителем выступает Антиохийский патриарх

[1] См. выше, кн. I, с. 434.

[2] *Attal.*, 278–279. О месте удаления сказано глухо: περὶ τὸ τοῦ Πόντου στόμα (у выхода в Понт).

Эмилиан.[1] Словом, по всему видно, что хитрый Никифорица, первый министр Парапинака, знал, каким сподручным для его видов патриархом может быть добродетельный и мало разумеющий в делах житейских и государственных инок, и не будет слишком смелым предположение, что Косьма, прельстивший царя и его приближенных ореолом святости, прельстил могущественного министра кое-чем другим — своей простотой и малоподготовленностью к патриаршему сану.

В царствование Вотаниата, при столкновении со сферой политических вопросов, патриарх Косьма по-прежнему или стушевывается, предоставляя действовать другим, или действует как пассивное орудие в руках других. Пожертвования Вотаниата в пользу церквей и монастырей,[2] возвращение церковных украшений и драгоценностей, взятых прежним царем и найденных Вотаниатом во дворце, возвращение, наконец, скал[3] — все это было знаком внимания и благодарности не к патриарху, а к церковной, приверженной Вотаниату партии и формальным свидетельством несолидарности политики с политикой предшествующего царствования. Когда после смерти своей жены Бердины Вотаниат задался мыслью жениться на Евдокии или Марии, решившись во всяком случае на дело непристойное, так как у Евдокии уже было два мужа, а у Марии оставался в живых первый муж, и когда наконец свою мысль он осуществил, сочетавшись браком с Марией, подвижник-патриарх как бы не существовал, и слово его безмолвствовало при этом вопиющем оскорблении общественной нравственности и церковных узаконений. Евдокию отклонил от замужества не патриарх, а какой-то знаменитый в то время монах; священник, обвенчавший Вотаниата с Марией, был, правда, лишен сана, но и при этом действии совершенно не упомянуто о патриархе, — очевидно, оно исходило от патриаршего синода или вообще от лиц, ведавших делами за патриарха и от имени патриарха.[4] Во время взятия Константинополя Алексеем Комнином патриарх Косьма выступает на сцену: в решительный момент, грозивший ужасным кровопролитием и разрушением всего предприятия Комнинов, он убеждает Вотаниата отречься от престола и уступить, но поступает так не по своей инициативе, а по внушению кесаря Иоанна,[5] того самого, который более всех содействовал браку Вотаниата с Марией и в данном случае хлопотал не о том, чтобы предотвратить

[1] См. выше, кн. I, с. 240–242.
[2] *Attal.*, 274.
[3] *Attal.*, 277, 279.
[4] *Scyl.*, 738 (*Zon.*, IV, 229; *Glyc.*, 617).
[5] *Anna*, I, 131–132.

пролитие человеческой крови (мотив, вложенный в уста патриарха), а чтобы спасти дело свое и своей клики.

Патриарх Косьма и сам сознавал свою непригодность для того поста, на который волею судеб он был поставлен. Едва ли не самый практичный шаг из всего времени его патриаршествования, продолжавшегося 5 лет и 9 месяцев, был тот, когда он, спустя месяц с небольшим после вступления Алексея Комнина на престол, в середине мая 1081 года, сказал своему служке: «Возьми Псалтырь и следуй за мной», — и отказавшись от управления, ушел в монастырь Каллия, откуда, несмотря на неоднократные приглашения, не согласился возвратиться к прежней ответственности и несродной ему должности.[1] Патриарх Косьма закончил собой наш период, подобно тому как патриарх Алексий начал его.

Точный перечень епархий, входивших в состав Костантинопольского патриархата в XI в., труден и даже едва ли возможен, вследствие отсутствия списков кафедр, относящихся к этому периоду. Следуя наиболее пригодному списку, усвояемому в надписании Льву Мудрому,[2] а в действительности, как показывает его содержание, явившемуся в 1084–1140 гг., укажем по порядку епархии и относящиеся к ним исторические данные от XI в.

Митрополии, подчиненные Константинопольскому патриарху.

1) **Кесария Каппадокийская**. При Константине Дуке и патриархе Ксифилине Кесарийским митрополитом был Марк, большой ревнитель Православия, защитник греческой национальности, противник армянского исповедания и враг армян. Свое настроение относительно армян он наглядно выразил, дав своей собаке кличку «армен» (армянин), — поступок несколько неприличный и крайне неосторожный, стоивший жизни

---

[1] *Zonar.*, IV, 237 (*Glyc.*, 619); *Georg.*, 892; *Ephr.*, 405; *Anna*, I, 149: μεθ' ἡμέρας τινὰς κατὰ τὴν μνήμην τοῦ ἱεράρχου Ἰωάννου τοῦ θεολόγου (8 мая) (через несколько дней, в день памяти святителя Иоанна Богослова). Комментарий Зонары о побуждении к отказу от патриаршества: τῇ τῶν κοινῶν πραγμάτων μεταχειρίσει ἀπαρεσκόμενος καὶ ἀπεγνωκὼς τὴν διόρθωσιν (Он был недоволен состоянием государственных дел и отчаялся в их исправлении), может быть надлежаще оценен только при сопоставлении с общим характером рассказа, проникнутого враждебностью автора к Алексею Комнину.

[2] Ἡ γεγονυῖα δυατύπωσις παρὰ τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ Σοφοῦ, ὅπως ἔχουσι τάξεως οἱ θρόνοι τῶν ἐκκλησιῶν τῶν ὑποκειμένων τῷ πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως (Распоряжение императора Льва Мудрого, устанавливающее порядок следования епархий, подчиненных Константинопольскому патриарху). Новейшие издания: *Rhalli et Potli*, V; *Parthey*. Hieroclis Synecdemus et notitiae graecae episcopatuum. Berolini, 1866.

Марку Кесарийскому.[1] Неназванный по имени Кесарийский митрополит упоминается в синодальных определениях патриарха Ксифилина от апреля 1066 и марта 1067 гг.;[2] при Михаиле Парапинаке, за несколько дней до взятия Кесарии турками, скончался митрополит, по имени тоже неизвестный.[3]

2) **Ефес**. При патриархе Алексии митрополитом Ефесским был Кириак, подписавшийся на обоих синодальных определениях 1027 и 1028 гг.[4]

---

[1] Об этом армянские писатели сообщают следующие подробности, отчасти, быть может, не лишенные легендарности. Когда о поступке митрополита доведено было до сведения Какига II, бывшего царя Анийского, владевшего тогда Галонбегадом и Бизу, городами, полученными от Мономаха в обмен на Аний, он, оскорбленный в национальном чувстве, воспылал против митрополита местью и сдерживаем был лишь тем, что Марк жил не в его владениях, среди греческого населения и пользовался уважением греков. После богословского диспута, проходившего в Византии при Дуке, Какиг на обратном пути в свою резиденцию, под свежим впечатлением религиозного и национального раздражения, возбужденного диспутом, не в силах был долее скрывать свою ненависть. Проезжая через Кесарию, он попросил у Марка гостеприимства. Тот с удовольствием приготовил все к приему гостя и с почетом встретил его, окруженный духовенством. Когда за столом Какиг был несколько возбужден вином, он, обратившись к митрополиту, сказал: «Мне донесли, что у тебя есть очень хорошая собака; мы желали бы ее видеть». Митрополит, поняв вызов, скрывавшийся в словах, сделал вид, что не слышит. Какиг повторил требование, собака была приведена, но неохотно шла, потому что никто не осмеливался произнести ее кличку. Какиг требовал, чтобы ее позвали, и когда Марк произнес ее имя, собака резво подбежала. — «Так эта собака носит кличку "армен"?» — спросил Какиг. — «Она мила, — отвечал митрополит, — и потому мы зовем ее "армен"». — «А вот посмотрим, — сказал Какиг, — кто милее — армянин или грек». По его приказу принесен был большой мешок, в него помещены были собака и митрополит Марк, и Какиг со словами: «Посмотрим теперь, кто из двух более храбр — милая ли собака, или греческий митрополит», приказал бить собаку палкой. Разъяренное животное стало грызть своего хозяина и загрызло до смерти. После того Какиг разграбил дом митрополита, захватил много золота и серебра, 6000 овец, 40 пар волов, 10 пар быков, много лошадей и лошаков и с награбленной добычей удалился восвояси. Понятно, что после этого Какиг, несмотря на неоднократные приглашения императора, не осмеливался показаться в Византии, возбудил против себя смертельную вражду в греках и около 1079 г. погиб от руки греков. См.: *Matth. d'Ed.*, 152–154, 183–184; *Sam. An.*, 75; *Kirak. de Kantz.*, 53–54.

[2] PG, CXIX, 756–757; *Rhalli et Potli*, V, 51, 53.

[3] *Le Quien*. Oriens Christ., I, 385.

[4] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

Он находился в кровном родстве с патриархом Алексием и вследствие того возведен императором Романом Аргиром в начале его царствования в чин синкелла.[1] После него кафедру занимал Феодор II,[2] который, вероятно, имеется в виду под митрополитом Ефесским в синодальных определениях патриарха Ксифилина, от апреля 1066 и 6 ноября 1073 гг.[3] Преемником его был Никифор, имевший чин протосинкелла, человек весьма образованный, изучивший науки, особенно же богословие и канонику, друг Пселла.[4] Он умер при патриархе Косьме, и патриарх со своим синодом, по желанию императора Вотаниата, возвел на Ефесскую кафедру экс-императора Михаила Парапинака, бывшего тогда уже монахом.[5] Рукоположенный в митрополиты, Михаил Парапинак только однажды посетил свою епархию и, возвратившись, проживал в монастыре Мануила, занимаясь физическими работами. Он умер при Алексее Комнине, относившемся к нему с великим почтением; перед смертью он простил грех своей неверной супруги Марии, которая после низвержения Вотаниата сама поступила в монашество.[6] В числе епископий, принадлежавших к Ефесской митрополии, были: Приина, епископ которой Димитрий упоминается в синодальном определении Константина Лихуда от декабря 1038 г,[7] и Теос, епископ которой Сисиний, родившийся при Романе Аргире, был рукоположен митрополитом Феодором, вероятно, при Константине Дуке.[8]

3) **Ираклия**. Митрополит Ираклийский, по имени не названный, упоминается в синодальных определениях патриарха Ксифилина от 1066 и 1067 гг.[9] Неизвестный также по имени митрополит, вместе с двумя другими, был невольным клятвопреступником вследствие вероломства

---

[1] *Cedr.*, II, 486.

[2] *Le Quien*. Oriens Christ., I, 686. Так как он рукополагал епископа Сисиния, родившегося при Романе (Аргире), то следует относить его ко времени патриарха Иоанна Ксифилина.

[3] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51; *Bandini*. Catalogus cod. manuscript.. 76.

[4] С ним *Пселл* был в переписке (V, 458) и после его смерти написал ему монодию (V, 102–105).

[5] *Attal.*, 303 (*Scyl.*, 738–739; *Zon.*, IV, 229; *Bryenn.*, 126; *Man.*, 284; *Ephr.*. 148; *Codin.*, 158): ψήφῳ τοῦ πατριάρχου καὶ τῶν μητροπολιτῶν... ψήφῳ συνοδικῇ (по решению патриарха и митрополитов... по решению собора).

[6] *Scyl.*, 738–739 (*Zon.*, IV, 229; *Glyc.*, 617).

[7] PG, CXIX, 853; *Rhalli et Potli*, V, 48.

[8] *Le Quein*, I, 728.

[9] PG, CXIX, 756–757; *Rhalli et Potli*, V, 51, 53.

византийского правительства, так как он находился в числе тех, которые клятвенно поручились Роману Диогену за неприкосновенность его личности.[1] Между епископиями этой митрополии одно из первых мест занимал Редесто. Епископ Редесто, по имени неизвестный, во время возмущения Торника против Мономаха был защитником законной власти, и византийское правительство обязано было, между прочим, ему тем, что город остался верен.[2]

4) **Анкира**. Современником патриарха Алексия был Николай, митрополит Анкирский, участвовавший в заседании патриаршего синода, решавшего вопрос о браке в 7-й степени.[3] Преемником его можно считать[4] Михаила, который обнаружил свое человеколюбие во время голода и мора, постигших в 1032 г. Каппадокию, Пафлагонию, Арменияк и Онориаду. Он не щадил никаких издержек для уврачевания ран, нанесенных населению этим несчастьем.[5] Митрополит Анкирский, не названный по имени, принадлежал к партии, агитировавшей в 1037 г. против патриарха Алексия, в пользу Иоанна Орфанотрофа.[6]

5) **Кизик**. Димитрий, Кизический митрополит, известный как историк, полемист и канонист,[7] участвовал в заседании синода при патриархе Алексии, в 1028 г.[8] Он был в дружественных отношениях к Роману Аргиру еще до вступления его на престол и по воцарении Аргира удостоен им чина синкелла.[9] В 1037 г. он стоял во главе партии, безуспешно домогавшейся низвержения патриарха Алексия и возведения на его место Иоанна Орфанотрофа.[10] При Михаиле Керулларии кафедру занимал Феофан, с чином синкелла, участвовавший в синодальном заседании 1054 г.[11]

---

[1] *Attal.*, 177–178 (*Scyl.*, 704; *Zon.*, IV, 218; *Glyc.*, 612). См. выше, кн. I, с. 229–230.

[2] *Cedr.*, II, 565.

[3] PG, CXIX, 744; *Rhalli et Potli*, V, 36.

[4] *Лекэнь* (Oriens Christ., I, 470) считает, наоборот, Николая преемником Михаила. Но мы находим более сообразным относить издание определения о брачных степенях к первым годам патриаршествования Алексия.

[5] *Cedr.*, II, 500.

[6] См. выше, с. 83–84.

[7] Он составил не дошедшую до нас хронику (*Cedr.*, I, 5), написал краткое изложение яковитской ереси (издал *Комбефиз* в Auctarium bibl. pp. graec., t. II. Par., 1648) и два решения, обширное и краткое, о степенях родства в браке (изд. *Rhalli et Potli*, V, 354–368).

[8] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

[9] *Cedr.*, II, 486.

[10] См. выше, с. 83–84.

[11] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

Позже митрополитом Кизика был синкелл Роман, человек, отличавшийся пастырской простотой и уважением к науке; ученому Пселлу он присылал в подарок разные продукты и обнадеженный его расположением Пселл просил у него себе монастырь в харистикию.[1] Он, может быть, имеется в виду и в синодальном определении патриарха Ксифилина от 1066 г.[2] Около 1073 г. Кизическим митрополитом был Константин, обратившийся к императору с реляцией по поводу монастырей его митрополии, розданных харистикариям. Решение императора о передаче дела в синод послужило причиной издания синодального определения относительного этого предмета.[3]

6) **Сарды**.

7) **Никомидия**. В начале XI в. митрополитом Никомидийским был Стефан, известный по столкновению с Симеоном Новым Богословом.[4] Трудно сказать, занимал ли он кафедру и в начале нашего периода. Под влиянием двора, в 1037 г. назначен был на кафедру родственник Михаила Пафлагона, евнух Антоний Пах (Тупица), поражавший своим невежеством и контрастом личных качеств занятому им иерархическому положению.[5] В интриге против патриарха Алексия он держал, понятно, сторону своего родственника, Иоанна Орфанотрофа.[6]

8) **Никея**. Константин Никейский подписался под синодальными постановлениями патриарха Алексия 1027 и 1028 гг.[7]

9) **Халкидон**. Имя Феодора Халкидонского тоже читается под постановлениями 1027 и 1028 гг.[8] При Михаиле Керулларии Халкидонским митрополитом был Никита, имевший чин синкелла и заседавший на синоде 1054 г.[9] Не названный по имени митрополит Халкидонский в судьбе Диогена играл такую же роль, какую и митрополит Ираклийский.

10) **Сид**. При патриархе Алексии на синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. присутствовал Константин Сидский, при Керулларии на заседании 1054 г. Анфим.[10] В числе приверженцев Иоанна Орфанотрофа и

---

[1] *Psell.*, V, 265, 312, 456.
[2] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51.
[3] *Bandini*, 76.
[4] Душепол. Чтен., 1877, февр., 184–186.
[5] *Cedr.*, II, 516.
[6] См. выше, с. 83–84.
[7] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.
[8] Ibid.
[9] PG, CXX, 737; *Will*, 156.
[10] PG, CXIX, 844, 837; CXX, 737; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32; *Will*, 156.

противников патриарха Алексия находился (1037) Сидский митрополит, но неизвестно — был ли это Константин, или Анфим. В конце нашего периода митрополитом Сидским был Иоанн, имевший чин протосинкелла. В начале царствования Михаила Парапинака и в царствование Никифора Вотаниата он занимал при дворе должность первого министра.[1]

11) **Севастия**. Феодор Севастийский, автор не дошедшего до нас сочинения, посвященного описанию царствования Василия Болгаробойцы,[2] мог занимать кафедру в начале нашего периода.

12) **Амасия**. С неизвестным по имени митрополитом Амасийским, имевшим чин синкелла, находился в переписке Пселл.[3] В синодальных определениях патриарха Ксифилина от 1066 и 1073 гг. упоминается митрополит Амасийский, но по имени не назван.[4]

13) **Мелитина**. При патриархе Алексии в синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. участвовал Иоанн Мелитинский.[5] В ближайшее затем время (около 1028 г.) митрополитом Мелитинским был Никифор, известный своим столкновением с яковитами.[6] В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1066 г. упомянут Мелитинский митрополит, но без указания имени.[7]

14) **Тианы**. На синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. присутствовал Константин Тианский.[8] В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1067 г. упоминается, но по имени не назван, митрополит Тианский.[9] В числе епископий Тианской митрополии была Кибистра (или Ираклей). При патриархе Константине Лихуде она возведена на степень архиепископии[10] и в синодальном определении патриарха Ксифилина от 1066 г. упоминается уже Ираклийский архиепископ.[11]

15) **Гангра**. В конце периода Гангрским митрополитом был Никифор, перед тем игумен Космидийский, а впоследствии переведенный с кафедры Гангрской в Амастриду.[12]

---

[1] См. выше, кн. I, с. 313.
[2] *Dosith. Hieros.*, с. 5, §4; *Niceph. Callist.*, lib. 14, cap. 39; *Le Quien*, I, 808.
[3] *Psell.*, V, 269.
[4] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51; *Bandini*, 76.
[5] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.
[6] *Abulfar.* См.: *Assemani.* Bibl. Orient., II, 355; *Le Quien*, I, 446.
[7] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51.
[8] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.
[9] PG, CXIX, 757; *Rhalli et Potli*, V, 53.
[10] *Rhalli et Potli*, V, 478, schol. *Parthey*, 109, schol.
[11] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51.
[12] *Niceph. Callist.*, lib. 14, cap. 38; *Le Quein*, I, 554.

16) **Фессалоника**. При Романе III и Михаиле Пафлагоне митрополитом Фессалоникийским был Феофан. Два раза он выступает в истории и оба раза при обстановке не совсем его рекомендующей. Первый раз, в сентябре 1031 года, он является доносчиком, оговаривает Константина Диогена, Диррахийского митрополита и Перифеорийского епископа.[1] Другой раз он фигурирует как эксплуататор низшего клира. Когда в 1038 г. Михаил Пафлагон находился в Фессалонике, принесена была ему фессалоникийским духовенством жалоба на Феофана, что он удерживает в свою пользу полагающееся клирикам содержание. Царь сначала убеждал его, митрополита, добровольно удовлетворить предъявленную претензию, но когда тот не соглашался и упорствовал, прибегнул к хитрости, с целью наказать его жадность. Он отправил одного из своих слуг к митрополиту с просьбой дать ему взаймы кентинарий золота на время, пока не привезут денег из Византии. Очевидно, император рассчитывал раздать этот кентинарий клирикам. Но митрополит понял хитрость и отказал в ссуде, говоря, что у него нет более тридцати литр. Тогда император приказал обыскать митрополичью казну и найдено было 33 кентинария золота.[2] Из этих денег он отдал клирикам столько, сколько им приходилось получить по расчету, начиная с первого года архиерейства Феофана, остальное же разделил между бедными. Феофана он лишил кафедры и сослал в одно поместье, на место его поставил митрополитом Прометея, обязав его давать низложенному своему предшественнику содержание.[3] При Константине Мономахе митрополичью кафедру в Солуне занял Никита, бывший до того времени сначала магистром школы св. Петра, где он обучал грамматике, а потом дидаскалом византийской Академии, в которой он преподавал риторику.[4]

17) **Клавдиополь**. На синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг., при патриархе Алексии, присутствовал Иоанн Клавдиопольский.[5] Если этот Иоанн понимается под митрополитом Клавдиопольским, учителем Иоанна Евхаитского,[6] то нужно сделать заключение о высокой степени его образования. В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1066 г. упомянут не названный по имени митрополит Клавдиопольский.[7]

---

[1] См. выше, кн. I, с. 141.

[2] Около 950400 руб. золотом.

[3] *Cedr.*, II, 518–519: ἐξωθεῖ τῆς ἐκκλησίας... ἐφίστησι **τῇ μητροπόλει** (низлагает с престола... возводит на митрополичью кафедру).

[4] *Psell.*, V, 93; PG, CXXII, 1161.

[5] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[6] *Psell.*, V, 143.

[7] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51.

18) **Неокесария**. При патриархе Алексии в 1027 г. был митрополитом Неокесарийским Феофан, а в 1028 г. Феофилакт, если судить по подписям на соборных постановлениях того и другого года;[1] но подпись на акте 1027 г. имеет разночтение: Феофилакт, так что нужно понимать одно и то же лицо, присутствовавшее на обоих синодальных заседаниях. В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1067 г. упомянут не названный по имени митрополит Неокесарийский.[2] При Михаиле Парапинаке неизвестный по имени митрополит Неокесарийский занимал при дворе место царского сакеллария, едва не был низвергнут из сана и, удалившись от двора, умер в начале царствования Вотаниата.[3]

19) **Писинунт**. При Михаиле Керулларии Николай Писинунтский участвовал в заседании синода 1054 г.[4]

20) **Миры**. В том же заседании синода 1054 г. присутствовал Лев, митрополит Мир.[5]

21) **Кария (Афродисиада или Ставрополь)**. Причисление Карии к разряду митрополий относится ко второй пол. XI в., — до того времени это была архиепископия. Под синодальным определением 1054 г. Димитрий Карийский подписался архиепископом.[6] Между тем в определении синода 1073 г., при патриархе Ксифилине, Карийский архиерей, по имени не названный, поставлен выше Родосского (митрополита).[7]

22) **Лаодикия**.

23) **Синнады**.

24) **Иконий**. Иконийский митрополит Иоанн участвовал в синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг.[8] Неизвестный по имени Иконийский митрополит, происходивший из Аскалона Финикийского и отличавшийся познаниями и благочестием, принадлежал к лагерю недовольных правлением Парапинака и за открытое заявление недовольства был арестован 7 января 1078 г. в храме Св. Софии.[9]

---

[1] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[2] PG, CXIX, 757; *Rhalli et Potli*, V, 53.

[3] См. выше, с. 116. Он же, может быть, и автор сочинения о Византии ὁ Νεοκαισαρείας τὰ τῆς πόλεως ἀνεγράψατο (митрополит Неокесарийский составил сочинение о Городе). См.: *Matth. Blastar*. Syntagma alphab., litt. K, §32; *Le Quien*, I, 506.

[4] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

[5] Ibid.

[6] PG, CXX, 748; *Will*, 168.

[7] *Bandini*, 76.

[8] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[9] *Attal.*, 258–259 (*Scyl.*, 733). См. выше, с. 116.

25) **Антиохия Писидийская** (в феме Анатолике). В начале XI в. Антиохийскую кафедру занимал Макарий. В царствование французского короля Роберта († 1031) он передал управление Елевферию, а сам отправился сначала в Палестину, а потом через Германию в Бельгию, где и скончался.[1]

26) **Силей**. Михаил Силейский, синкелл, подписался под синодальным определением 1054 г.[2]

27) **Коринф**. На синодальном постановлении 1027 г. стоит имя Сергия, митрополита Коринфского, на постановлении 1028 г. имя Георгия.[3] Но относительно этого нужно сказать то же, что выше сказано о митрополите Неокесарийском: есть разночтение, по которому и в 1027 г. действующим лицом является Георгий, а не Сергий. С неизвестным по имени митрополитом Коринфа находился в дружеских отношениях Пселл, письменно ходатайствовавший перед ним за какого-то Хрисобалантита.[4]

28) **Афины**. При патриархе Алексии митрополитом Афинским был Михаил; он участвовал в синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. и, сверх того, в решении (отрицательном) вопроса о браке в пятой степени родства.[5] При патриархе Алексии упоминается еще Лев, синкелл, митрополит Афинский; к нему послано было синодальное решение о браке в седьмой степени родства.[6] Этот Лев синкелл оставался на Афинской кафедре и при патриархе Керулларии, — он подписался под синодальным определением 1054 г.[7]

29) **Мокисс**. В синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. участвовал Феогност, митрополит Мокисса.[8] В состав этой митрополии входила епископия Парнас, епископ которой (неизвестный по имени) находился в дружественных отношениях к Пселлу и просил у него рекомендации к кесарю Дуке; Пселл, получивший от епископа по этому случаю в подарок коровье масло и другие продукты, исполнил просьбу.[9]

---

[1] Acta Sanct. Bolland., 10 april; *Le Quien*, I, 1040.

[2] PG, CXX, 748; *Will*, 168.

[3] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[4] *Psell.*, V, 296.

[5] PG, CXIX, 837, 844, 849; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32, 36. О приписываемых этому Михаилу сочинениях см.: *Le Quien*, II, 172.

[6] PG, CXIX, 744; *Rhalli et Potli*, V, 37.

[7] PG, CXX, 748; *Will*, 168.

[8] PG, CXX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[9] *Psell.*, V, 294–295.

30) **Крит (Гортина)**. На синодальных заседаниях **1027 и 1028** гг. был Стефан, митрополит Критский.[1]

31) **Селевкия**.

32) **Калабрия (или Реджио)**.

33) **Патры**. Константин, митрополит Патр, принимал участие в синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг.[2] При патриархе Керулларии митрополичью кафедру в Патрах занимал Лев, состоявший вместе с тем при дворе в должности заведовавшего прошениями (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων).[3] К числу епископий митрополии Патр принадлежала Корона (которую нужно отличать от Коронии, епископии Афинской митрополии). Сохранилось одно письмо Пселла по поводу епископа Коронского, свидетельствующее о невыгодах удаления епископов со своих кафедр. Обычай покидать паству и стремиться в Константинополь делать карьеру, против которого вооружался и патриарх Алексий, требовавший, чтобы епископы не приезжали в столицу и вообще не отлучались из епархий без ведома и рекомендательного письма митрополита,[4] наносил материальный ущерб Церкви. Епископ Коронский (по имени не названный) долгое время был в отлучке. Пользуясь этим, один нотарий подделал грамоту с подписью руки логофета и, основываясь на ней, начал с епископом иск за имения. Пселл разоблачает подлог перед местными властями.[5]

34) **Трапезунт**. В синодальных постановлениях 1027 и 1028 гг. встречается имя Константина, а в постановлении 1054 г. — имя Льва, митрополитов Трапезунтских.[6]

35) **Ларисса**. Ларисский архиерей, неизвестный по имени, принимал участие в заседании синода 1073 г., при патриархе Ксифилине.[7]

36) **Навпакт**. При императоре Константине VIII неизвестный по имени Навпактский митрополит, замешанный в народном бунте против стратига Морогеоргия, был по приказанию императора ослеплен.[8]

---

[1] PG, CXX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[2] Ibid.

[3] Письмо к нему *Пселла* (V, 333–334): τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων κῦρ Λέοντι τῷ τοῦ Πατρῶν (заведующему прошениями господину Льву, митрополиту Патр) (к нему же, вероятно, и другое письмо, V, 356), как видно из заключительных слов: ὁ δὲ ταῦτά σοι γράφων βέστης (пишущий тебе это вест), написано раньше производства Пселла в вестархи (при Константине Мономахе).

[4] PG, CXIX, 832; *Rhalli et Potli*, V, 27–28.

[5] *Psell.*, V, 378.

[6] PG, CXIX, 837, 844; CXX, 737; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32; *Will*, 156.

[7] *Bandini*, 76.

[8] См. выше, кн. I, с. 128, 358.

37) **Филиппополь**.

38) **Траянополь**. К Траянопольской митрополии принадлежала, между прочим, епископия Перифеорий, на епископа которой, по имени неизвестного, доносил в 1031 г. Феофан Фессалоникийский как на участника в заговоре Константина Диогена.[1]

39) **Родос**. Архиерей Родосский, по имени не названный, участвовал в синодальном заседании 1073 г., при патриархе Ксифилине.[2]

40) **Филиппы**. В синодальном постановлении патриарха Алексия от 1028 года встречается имя Иоанна, митрополита Филиппийского.[3]

41) **Адрианополь**. В синодальных постановлениях 1027 и 1028 гг. встречается имя Агапита, митрополита Адрианопольского, в постановлении 1054 г. имя Евсевия.[4]

42) **Иераполь**. Иерапольский митрополит, по имени не названный, упоминается в синодальных определениях патриарха Ксифилина от 1066 и 1073 гг.[5]

43) **Диррахий**. Митрополит Диррахийский был оговорен Феофаном Фессалоникийским как сообщник Константина Диогена.[6] Может быть, это был Лаврентий, который при патриархе Алексии участвовал в синодальном заседании, обсуждавшем вопрос о браке в седьмой степени.[7] Лаврентий, уже с чином синкелла, занимал кафедру и при Михаиле Керулларии, — участвовал в заседании синода 1054 г.[8]

44) **Смирна**. При Керулларии в заседании синода 1054 г. участвовал Иоанн, митрополит Смирнский.[9]

45) **Катана**.

46) **Аморий**. Аморийский митрополит, по имени не названный, упоминается в синодальном определении патриарха Ксифилина от 1067 г.[10]

47) **Камах**. В синодальном заседании 1028 г. участвовал Феодор, митрополит Камаха.[11]

---

[1] См. выше, кн. I, с. 141.

[2] *Bandini*, 76.

[3] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

[4] PG, CXIX, 837, 844; CXX, 737; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32; *Will*, 156.

[5] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, 51; *Bandini*, 76.

[6] См. выше, кн. I, с. 141.

[7] PG, CXIX, 744; *Rhalli et Potli*, V, 37.

[8] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

[9] Ibid.

[10] PG, CXIX, 757; *Rhalli et Potli*, V, 53.

[11] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

48) **Котиаий**. В синодальных определениях патриарха Ксифилина от 1066 и 1067 гг. упомянут, но по имени не назван, Котиаийский митрополит.[1]

49) **Свято-Севериана** (в Калабрии). К этой митрополии принадлежала, между прочим, епископия Акерантийская (Ачеренца), епископ которой, Стефан, в мае 1041 г. сражался против норманнов в рядах греческого войска, предводительствуемого Михаилом Докианом, и пал в сражении.[2]

50) **Митилина**. В заседании патриаршего синода 1054 г. участвовал Константин Митилинский.[3]

51) **Ново-Патры**.

52) **Евхаиты**. 65) **Евхания**. Евхаиты и Евханию возможно отождествлять,[4] хотя в списке митрополий они стоят отдельно, на значительном друг от друга расстоянии. Около 1028 г. Евхаитскую кафедру занимал Михаил, состоявший в родстве с Романом Аргиром. По вступлении на престол Роман возвел его в чин синкелла.[5] Под синодальным определением 1054 г. подписался Николай Евханийский — синкелл.[6] Так как это определение состоялось в месяце июле, а Иоанн Мавропод был возведен на Евхаитскую кафедру при Константине Мономахе,[7] то смерть Николая и возведение на его место Иоанна дóлжно относить ко времени между июлем 1054 г. и январем 1055 г. Иоанн Евхаитский тоже имел чин синкелла.[8] Деятельность его до возведения на митрополию принадлежит истории образования. Он сначала содержал в Константинополе частную школу (в собственном доме), в которой обучал юношество риторике, философии и законам, потом трудился в патриаршей школе, наконец получил, по-видимому, кафедру в восстановленной Мономахом византийской

---

[1] PG, CXIX, 756–757; *Rhalli et Potli*, V, 51, 53.

[2] *Ann. Bar.*, 54.

[3] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

[4] Не лишено значения следующее обстоятельство. Евхания занимает 65-е место, после Тивериуполя, поставленного на 64-м месте. Между тем в позднейших списках митрополий, подчиненных Константинопольскому патриаршему престолу (Андроника Палеолога, *Rhalli et Potli*, V, 493; *Parthey*, 231, 241), Евхании нет, но после Тивериуполя, занимающего 74-е или 75-е место, непосредственно стоит ὁ Εὐχαΐτων, τὰ Εὐχάϊτα.

[5] *Cedr.*, II, 486.

[6] PG, CXX, 748; *Will*, 168.

[7] *Psell.*, V, 154.

[8] PG, CXX, 1199. В надписании похвального слова *Пселл* (V, 142) титулует его протосинкеллом. Может быть, ко времени составления слова (не ранее 1063 г.) Иоанн был повышен в чине.

Академии. От этого времени имели значение связи, которые Иоанн завязал при дворе, начиная с самого императора, привыкшего с уважением относиться к своему дидаскалу,[1] и оканчивая Пселлом, который учился у Иоанна, пристроил своего учителя при дворе, так же как Ксифилина, и был его сотоварищем по преподаванию в Академии. Эти связи принесли впоследствии свою долю пользы. Вступление на кафедру совершилось по настоянию императора и не вполне охотно, — Иоанн отказывался от предлагаемой чести, ссылаясь на телесные и душевные немощи,[2] свое назначение в Евхаиты он считал как бы почетным изгнанием, и друзья разделяли с ним этот взгляд.[3] Назначение находилось в связи с удалением Лихуда от управления делами и с усилением при дворе влияния партии логофета Иоанна. В совещаниях между Пселлом и Ксифилином относительно поступления в монашество принимал участие и Мавропод, который затем предупредил своих товарищей принятием монашества и на митрополию был возведен уже как монах.[4] Свою епархию Иоанн нашел в расстроенном состоянии, особенно со стороны церковного хозяйства,[5] и направил все старания к тому, чтобы привести дела в порядок. Управление митрополией Иоанн ознаменовал некоторыми полезными предприятиями для церкви Евхаитской. Он заботился о приращении церковного достояния и своим авторитетом предотвращал опасности, грозившие церковному благосостоянию.[6] С этой целью, опираясь на прежнюю благосклонность Мономаха, успел выхлопотать у него хрисовул, которым утверждались за Евхаитской церковью дары прежних императоров и церковные имущества ограждались от посягательств.[7] Ревностная защита церковных интересов создала Иоанну врагов в лице некоторых евхаитских властелей и те пожаловались на митрополита императору; но тут

---

[1] PG, CXX, 1167–1168; *Psell.*, V, 154.

[2] *Psell.*, V, 155; PG, CXX, 1193; *De-Lagarde*, 76–77.

[3] *Psell.*, V, 440–441.

[4] *Psell.*, V, 163. В акростихах некоторых составленных им канонов он называет себя монахом.

[5] Иоанн в первом обращении к евхаитцам высказал удовольствие по поводу хорошего состояния Церкви, обилия утвари, доходности земель (*De-Lagarde*. 160), но это было данью народному самолюбию. В письме к Керулларию он жаловался на скудость и пустынность земли, на то, что мало хлеба, овощей, масла (Ibid., 88–89); в письмах к другим лицам сетовал по поводу того, что жизнь чрезвычайно трудная, что бедствия удручают его непрерывно, и напрасно некоторые ему завидуют (Ibid., 82–83, 85).

[6] *Psell.*, V. 156, 158.

[7] PG, CXX, 1172.

помогли придворные связи, — красноречивое объяснение самого митрополита и заступничество за него Пселла парализовали успех жалобы.[1] Иоанн Евхаитский много заботился также о благоустройстве церковного богослужения и религиозной жизни. Предметом его попечения было стройное и благолепное церковное пение, он увеличил в своей Церкви число певцов, обучал поселян пению, в монастырях организовал монашеские хоры; к прежним песнопениям прибавил новые.[2] Поводом к составлению новых песнопений послужило для него, между прочим, введение нового праздника. В греческих Минеях, в Синаксаре на 30 января, Иоанну Евхаитскому приписывается установление праздника трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.[3] Митрополит Евхаитский посвящал еще свои труды исправлению богослужебных книг (Миней)[4] и упорядочению монастырских уставов.[5] Он окончил свою многоплодную жизнь в глубокой старости.[6]

53) **Амастрида**. В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1067 г. упомянут митрополит Амастридский.[7] Никифор из Гангры переведен был в Амастриду.

54) **Хоны (Колоссы)**. В синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. принимали участие Константин, в заседании 1054 г. Николай, а в заседании 1073 г. не названный по имени митрополит Хон.[8]

55) **Гидрунт**. В синодальном постановлении 1027 г. читается имя Николая, в постановлении 1028 г. имя Никиты.[9] Хотя в печатных изданиях не показано разночтения, которое уполномочивало бы видеть в обоих случаях одно лицо (подобно тому, как относительно митрополитов Нео-

---

[1] *Psell.*, V, 313–314.

[2] *Psell.*, V, 156–157, 159.

[3] PG, CXX, 1119.

[4] PG, CXX, 1195.

[5] *Psell.*, V, 159.

[6] Несомненно, что Иоанн пережил Константина Лихуда († 1063) (*Psell.*, IV, 394). Может быть, он еще имеется в виду под митрополитом Евхаитским в синодальном постановлении патриарха Ксифилина от 1073 г. (*Bandini*, 76). Но отождествлять его с ὁ Εὐχανείας Ἰωάννης (Иоанн, митрополит Евхании), который заседал в синоде Константинопольского патриарха Николая в 1092 г. (*Fabric.* Bibl. gr., VIII, 627; PG, CXIX. 764), едва ли возможно ввиду того, что под 1082 г. упоминается уже Василий Евхаитский. См.: *Le Quein*, I, 547.

[7] PG, CXIX, 757; *Rhalli et Potli*, V, 53.

[8] PG, CXIX, 837, 844; CXX, 737; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32; *Will*, 156; *Bandini*, 76.

[9] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

кесарийского и Коринфского), однако же созвучие имен и здесь наводит на мысль, не следует ли в акте 1027 г. заменить имя Николая именем Никиты. В синодальном заседании 1054 г. принимал участие Ипатий Гидрунтский.[1]

56) **Келтцина (Юстинианополь)**. В синодальном постановлении от 1028 г. упоминается Сисиний, а в постановлении патриарха Ксифилина 1067 г. не названный по имени митрополит Келтцины.[2]

57) **Колония**. При Романе Диогене митрополитом Колонийским был Феофил,[3] давший поручительство Диогену, вместе с митрополитами Ираклии и Халкидона. Он же, вероятно, имеется в виду под Колонийским архиереем в синодальном постановлении патриарха Ксифилина от 1073 г.[4]

58) **Фивы**.

59) **Серры**. Неизвестный по имени архиерей Серр участвовал в синодальном заседании 1073 г.[5] В конце периода митрополитом Серр был (до перемещения на Ираклийскую митрополию) Никита-дидаскал,[6] комментировавший «Слова» Григория Богослова.

60) **Помпеиополь**.

61) **Россия**. В заседании синода 1073 г. участвовал митрополит России[7] Георгий.

62) **Алания**.

63) **Энос**.

64) **Тивериуполь**.

66) **Керасунт**. При патриархе Керулларии упоминается Михаил Керасунтский.[8]

67) **Наколия**. В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1066 г. упомянут, но не назван по имени, митрополит Наколийский.[9]

68) **Германия**.

69 **Мадит**. Мадит прежде был епископией, принадлежавшей к Ираклийской митрополии, потом возведен на степень митрополии. Никифор

---

[1] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

[2] PG, CXIX, 757, 837; *Rhalli et Potli*, V, 24, 53.

[3] *Scyl.*, 704.

[4] *Bandini*, 76.

[5] Ibid.

[6] Ему написано (9-е) письмо *Феофилакта Болгарского*. **PG, CXXVI**, 373; *Le Quien*, II, 88.

[7] *Bandini*, 76. В акте по имени не назван.

[8] *Niceph. Callist.*, cap. 15; *Le Quien*, I, 515.

[9] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, 51.

Вотаниат издал в пользу Ираклийской митрополии хрисовул, восстанавливавший ее отношение к Мадиту. В хрисовуле сказано было, что по смерти Мадитского митрополита, занимавшего кафедру в момент издания хрисовула, права Мадита прекращаются и он, как по-прежнему, возвращается под власть Ираклийского митрополита.[1] Митрополит Мадитский пережил царствование Вотаниата и ввиду того, что для преемника его распоряжение могло не иметь обязательной силы, трудно сказать — приведено ли оно было в исполнение.[2] Гораздо важнее для нас знать, в какое именно время Мадит возведен на степень митрополии. Но и для решения этого вопроса положительных данных нет. Можно только догадываться, что это сделано во второй половине XI в.[3]

---

[1] *Zachariae*, III, 341; *Rhalli* et *Potli*, V, 72.

[2] В списке Андроника Палеолога Старшего Мадит — митрополия. См.: *Rhalli et Potli*, V, 493; *Parthey*, 231.

[3] Основания догадки следующие: с одной стороны, при патриархах Алексии и Керулларии нет упоминания о Мадитской митрополии и митрополите, с другой — в конце царствования Мономаха (а может быть и после Мономаха, ни в каком, однако, случае не раньше) иерарх Мадита о чем-то усиленно хлопочет при дворе. Посредником был избран Пселл, который и сообщал архиерею (*Psell.*, V, 396–397), что он не раз беспокоил царя, но получал от него в ответ такие слова: «Что это за человек (иерарх Мадита) и почему он вместе с другими архиереями не придет поклониться царю?» Пселл объяснял архиерею, что для легчайшего достижения его желаний ему необходимо лично прибыть в столицу на поклон императору и для беседы с друзьями, если же невозможно это сделать, то, выждав некоторое время, написать царю письменную просьбу, прислать в дар благовонного мира знаменитого в Мадите святого (без сомнения, Евфимия) — и царский хрисовул будет выдан. Предметом хлопот могло быть иерархическое возвышение Мадитской кафедры на степень митрополии (вопрос, решение которого принадлежало царю, с одобрения патриаршего синода); такая догадка не будет противоречить существу письма Пселла, предполагающего и помеху прибытию епископа в столицу (которая могла проистекать от митрополита), и деликатность предмета (требовавшего личного присутствия), и его важность (требовавшую повременить, пока доброжелатели епископа опять войдут в силу, так что возможно будет выхлопотать царский хрисовул). Для хронологии письма имеют значение: а) слова παρῃνίξω τι περὶ τοῦ βασιλικοῦ (намекну о кое-каких делах василиката), показывающие, что оно написано не раньше Мономаха, потому что мадитский василикат и василикос были пожалованы Пселлу Мономахом, б) слова ὁποῖος δὲ οὗτος (т. е. καιρός) νῦν, ἀκοῇ ἂν εἰδείης, καὶ φήμαις πολλαῖς (Какая теперь наступила пора, ты, наверное, знаешь из молвы и многочисленных слухов) и совет: βραχὺν μέν τινα χρόνον καρτέρησον (подожди немного), указывающие на время, когда партия, к которой принадлежал Пселл, находилась в пренебрежении, следовательно, 1053–1057 гг.

70) **Апамея**.

71) **Василия (Юлиополь)**. Василия прежде была епископией Анкирской митрополии. Константин Дука возвел ее на степень митрополии, постановив, чтобы по смерти митрополита, удостоенного этой почести, Василийская митрополия опять обращена была в епископию (что, по-видимому, не было исполнено, хотя Михаил Парапинак подтвердил хрисовул о Василийской митрополии своего отца, Константина Дуки).[1]

72) **Дристра**.

73) **Назианз**. Назианз до Романа Диогена был епископией Мокисской митрополии. Диоген возвел прежнюю епископию на степень митрополии.[2]

74) **Керкиры**.

75) **Абид**.

76) **Мефимна**.

77) **Христианополь**.

78) **Русий**. Митрополией сделан впоследствии. В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1067 г. говорится еще об «архиепископе» Русия, присутствовавшем на заседании.[3]

79) **Лакедемон**. Лакедемон в наш период оставался епископией митрополии Патр, к которой он был причислен хрисовулом императора Никифора Геникоса (802–811), подтвержденным четырьмя хрисовулами последующих императоров (последний из них — хрисовул Никифора Вотаниата).[4] Лакедемон возведен был на степень митрополии при Алексее Комнине и патриархе Евстратии, в 1081–1082 гг.[5]

---

[1] *Zachariae*, III, 326; *Rhalli et Potli*, V, 71. Слова синодального послания патриарха Николая к Алексею Комнину: τοῦ μακαρίτου βασιλέως τοῦ Δούκα (*блаженного императора Дуки*), *взятые вне контекста, могут указывать* на Константина Дуку только при том предположении, что Михаил Дука Парапинак находился еще в живых, когда написано было послание (1084); между тем о Парапинаке знаем только, что он умер при Алексее Комнине, год же смерти неизвестен, он мог умереть и до 1084 года. Но слова вполне ясны по связи с последующей речью, где упоминается об императоре, сыне покойного Дуки.

[2] *Scyl.*, 705. *Гфрёрер* (III, 775–776) объясняет это недоверием к политической благонадежности каппадокийских епископов, желанием создать себе в епископе Назианза приверженца. Но проще объяснять факт уважением к родине св. Григория.

[3] PG, CXIX, 757; *Rhalli et Potli*, 53.

[4] *Zachariae*, III, 341; *Rhalli et Potli*, V, 72.

[5] *Rhalli et Potli*, V, 482, schol.; *Parthey*, 119, schol.

80) **Наксос**. Наксос, равно как и Парос, в наш период были епископиями Родосской митрополии. В мае 1083 г. Парос и Наксос были выделены, соединены вместе и образовали особую митрополию Наксос.[1]

81) **Атталия**. Атталия в наш период была епископией Силейской митрополии. На степень митрополии возведена при императоре Алексее и патриархе Евстратии в 1083–1084 гг.[2]

Кроме перечисленных митрополий, Константинопольскому патриарху подчинены были архиепископии (не имевшие под собой епископий).

1) **Визия**. В синодальном заседании 1028 г. участвовал Никита Визийский.[3]

2) **Леонтополь**. В синодальном заседании 1073 г. участвовал архиерей Леонтопольский.[4]

3) **Марония**. В синодальном определении патриарха Ксифилина от 1066 г. упомянут Маронийский архиепископ и в определении 1073 г. Маронийский архиерей.[5]

4) **Гермии**.

5) **Аркадиополь**. В синодальном заседании 1073 г. участвовал архиерей Аркадиопольский.[6]

6) **Парий**. В том же заседании 1073 г. был Парийский архиерей.[7]

7) **Милит**.

8) **Приконис**. В синодальных заседаниях 1027 и 1028 гг. участвовал Дионисий Приконисский; Приконисский архиепископ упомянут, но не назван по имени, и в определении патриарха Ксифилина от 1066 г.[8]

9) **Силимврия**. В заседании синода 1067 г. участвовал не названный по имени архиепископ Силимврии.[9]

10) **Кий**. В синоде 1028 г. участвовал Никифор Киосский.[10]

11) **Апр**. В синодах 1027 и 1028 гг. участвовал Стратигий Апросский.[11]

---

[1] *Rhalli et Potli*, V, 483, schol.; *Parthey*, 123, schol.

[2] *Rhalli et Potli*, V, 481, schol.; *Parthey*, 116, schol.

[3] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

[4] *Bandini*, 76.

[5] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51; *Bandini*, 76.

[6] *Bandini*, 76. В акте Аркадиопольский архиерей поставлен ниже Леонтопольского, но выше Маронийского.

[7] Ibid.

[8] PG, CXIX, 756, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32, 51.

[9] PG, CXIX, 757; *Rhalli et Potli*, V, 53.

[10] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

[11] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

12) **Кипселлы**. В синоде 1027 г. участвовал Петр Кипселлский.[1]

13) **Ника**.

14) **Неаполь**.

15) **Селга**.

16) **Херсон**. В синоде 1028 г. участвовал Андрей Херсонский.[2]

17) **Месина**.

18) **Гарелла**. В синоде 1066 г. участвовал не названный по имени архиепископ Гареллский.[3]

19) **Врисис**. В синодах 1027 и 1028 гг. участвовал Лев Врисийский.[4]

20) **Деркос**.

21) **Каравизия**. В синоде 1054 г. участвовал Лев Каравизийский.[5]

22) **Лимн**. В синодах 1027 и 1028 гг. участвовал Николай, а в синоде 1054 г. Павел Лимносский.[6] В синодальном определении 1066 г. архиепископ Лимна упомянут, но по имени не назван.[7]

23) **Левкад**. В заседании синода 1073 г. присутствовал Левкадийский архиерей, не названный по имени.[8]

24) **Мисфия**.

25) **Кудры**.

26) **Сотириополь**.

27) **Пидахфон**. В заседании синода 1073 г. находился Пидахфонский архиерей, не названный по имени.[9]

28) **Герма**.

29) **Боспор**. В синоде 1028 г. участвовал Иоанн Боспорский, в синоде 1066 г. тоже находился архиепископ Боспорский, но по имени не назван.[10]

30) **Котрадия**. В синоде 1054 г. участвовал Лев Котрадийский.[11]

31) **Эроина**.

32) **Карпаф**.

---

[1] PG, CXIX, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24.

[2] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

[3] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51.

[4] PG, CXIX, 837, 844; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32.

[5] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

[6] PG, CXIX, 837, 844; CXX, 748; *Rhalli et Potli*, V, 24, 32; *Will*, 168.

[7] PG, CXIX, 756; *Rhalli et Potli*, V, 51.

[8] *Bandini*, 76.

[9] Ibid.

[10] PG, CXIX, 756, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32, 51.

[11] PG, CXX, 748; *Will*, 168.

33) **Месимврия**. В синоде 1054 г. участвовал Григорий Месимврийский.[1]

34) **Готфия**. В синодальных определениях 1066 и 1067 гг. упомянуто об архиепископе Готфийском.[2]

35) **Сугдия**. В синоде 1028 г. участвовал Арсений Сугдийский.[3]

36) **Фуллы**.

37) **Эгина**.

38) **Фарсалы**.

39) **Метрахи**.

Сверх того, упоминается в числе архиепископий не помещенная в списке Зикхия. Под синодальным определением 1054 г. последним подписался Ἀντώνιος Ζικχίας (Антоний, <архиепископ> Зикхии).[4]

Кроме патриархата Константинопольского, в пределах византийских владений находились в XI в. Антиохийский патриархат (не вполне — некоторые из его митрополий были под сарацинской властью) и автокефальная Болгарская архиепископия.

Патриарший Антиохийский престол с 1024 по 1029 г., в течении 5 лет, 8 месяцев и 11 дней, занимал Николай, после которого с 1029 по 1032 г. было междупатриаршество. Затем следовали: Илия, сидевший на престоле год, 5 месяцев и 8 дней (1033–1034), Феодор, он же Георгий Ласкарис, 8 лет, 6 месяцев и 21 день (1034–1042), Василий — 10 лет (1043–1052), Петр, Феодор или Феодосий, Эмилиан, Никифор Мавр (1080–1092).[5] О патриархах, начиная с Петра, сохранились некоторые сведения, — не одни только имена. Петр особенно известен по участию, какое он принимал в произошедшем при Михаиле Керулларии столкновении Церквей. Он вступил на престол в 1052 г.[6] и немедленно отправил известительное послание к папе,[7] руководствуясь практикой древней Церкви и заботами

---

[1] PG, CXX, 737; *Will*, 156.

[2] PG, CXIX, 756–757; *Rhalli et Potli*, V, 51, 53.

[3] PG, CXIX, 837; *Rhalli et Potli*, V, 32.

[4] PG, CXX, 748; *Will*, 168. Впоследствии, около времени Андроника Палеолога Старшего (*Rhalli et Potli*, V, 494; *Parthey*, 232), Зикхия возведена на степень митрополии, причем Метрахи соединены с ней.

[5] Восток христианский, Сирия. Список Антиохийских патриархов, составленный преосв. Порфирием, епископом Чигиринским. Киев, 1876. С. 70–76.

[6] В письме к Доминику Градскому (PG, CXX, 757–781; *Will*, 308–228), которое написано не позже апреля 1054 г., Петр говорит, что от начала его архиерейства, когда им отправлено известительное послание к папе, прошло два года: διετία. Следовательно, на престол он вступил не позже апреля 1052 г.

[7] Послание это мы имели в списке проф. И. Е. Троицкого по код. № 504 Московской Синод. библ.

о водворении мира и единения между Церквами. Во время и после столкновения Церквей он был представителем церковного единства и писал проникнутые примирительным духом послания к Доминику Градскому и патриарху Керулларию,[1] в которых проводил тот взгляд, что нужно относиться с уважением и снисходительностью к чужим обычаям, — важно уже то, что латиняне исповедуют троичного Бога, и если они откажутся от нечестивой прибавки к Символу «и от Сына», то можно оставить для них неприкосновенным все остальное. Доказывая свою мысль, что местные обычаи не имеют большой важности, Петр упоминал о некоторых греческих обычаях, которые могут быть поставлены в параллель с латинскими, и между прочим сообщил Доминику Градскому, что греческие монахи едят мясо. Монахи были крайне недовольны по поводу этого разоблачения и говорили, что Петр сделал его вследствие своего пристрастия к скоромной пище; составилась даже легенда в среде монахов о том, как Петр, не имея возможности вкушать мясное, стремился по крайней мере понюхать мяса.[2] В 1057 г. патриархом Антиохийским был уже Феодор, известный участием в агитации в пользу Комнина, которого он первый провозгласил императором в храме Св. Софии, в Константинополе.[3] Эмилиан, преемник Феодора, имел при дворе ожесточенного врага в лице первого министра императора Парапинака Никифорицы, с которым у него были давние счеты. Это обстоятельство, в связи с обвинениями, выставленными против Эмилиана, не лишено значения для оценки его политической деятельности. Вражда между Эмилианом и Никифорицей, очевидно, вела свое начало от того времени, когда евнух управлял Антиохией, при императоре Константине Дуке. Если произошли у него несогласия с Эмилианом, то причину их можно искать лишь в том, что последний стоял на стороне притесняемого Никифорицей народа, защищал народ от административных несправедливостей. Естественно поэтому, что на Эмилиана, как представителя местных интересов, обратились симпатии народонаселения и он сделался главой сильной народной партии. Такое его положение послужило источником наветов и интриг со стороны недоброжелателей. Его обвиняли в произведении каких-то беспорядков в Антиохии по смерти антиохийского дуки Иосифа Тарханиота и в сношениях с Филаретом Бахрамом. В одном письме Пселл крайне порицает Тарсийского митрополита, который строил козни и злоумышлял против

[1] PG, CXX, 757–781, 800–812; *Will*, 193–203, 208–228.

[2] *Преосв. Порфирий.* Восток христианский. С. 77–78 / / Труды Киев. Духовн. академии, 1873, сентябрь, 331–332.

[3] См. выше, кн. I, с. 200.

хиротонисавшего его Антиохийского патриарха.[1] Ни митрополит, ни патриарх не названы по имени, но мы вправе подразумевать здесь Эмилиана, который, следовательно, и между митрополитами своего патриархата нашел одного недоброжелателя и клеветника. Интриганы, поддержанные Никифорицей, имели успех при дворе, и дуке антиохийскому Исааку Комнину, отправленному на место Иосифа Тарханиота, дан был при отправлении приказ препроводить Эмилиана из Антиохии в Константинополь. Но легко было приказать, трудно исполнить приказание. Комнин нашел Антиохию разделенной на две партии, сильнейшая группировалась вокруг Эмилиана, слабейшая тяготела к греческой администрации. Явное насилие над патриархом неминуемо вызвало бы бунт и междоусобную резню. Комнин только с помощью хитрости исполнил приказ. Он выманил патриарха из Антиохии за город, потом запер перед ним городские ворота и предъявил царское повеление о выезде в Константинополь. Эмилиан против воли должен был повиноваться, а в Антиохии вслед затем, и очевидно в связи с этим фактом, началось возмущение против Комнина и византийских чиновников, усмиренное только с помощью войск соседних городов,[2] по усмирении же восстания приобрела силу армянская партия, окончившая свою деятельность призванием Филарета и бесчеловечным истреблением многих приверженцев греческой партии, правительственной. Остальное время царствования Парапинака Эмилиан провел в Византии на свободе, агитировал здесь в пользу Вотаниата[3] и при Вотаниате, по-видимому, возвратился на свою кафедру. При Вотаниате же он и умер, а на его место царь назначил (προεβάλετο ὁ βασιλεύς) Никифора, по прозванию Мавр.[4] — Из митрополитов, подвластных Антиохийскому патриарху, в наш период, кроме не названного по имени Тарсийского митрополита, враждовавшего со своим патриархом, упоминаются: Лука, митрополит Аназарбский, присутствовавший при посвящении Петра Антиохийского в Византии и сопровождавший новопосвященного в Антиохию,[5] и Дамасский митрополит Сергий, который при папе Бенедикте IX (вступившем на престол в 1033 г.) оставил Дамаск, прибыл в Рим и здесь умер.[6]

---

[1] *Psell.*, V, 497–498.

[2] *Bryenn.*, 96–99.

[3] См. выше, кн. I, с. 242.

[4] *Scyl.*, 772 (*Zon.*, IV, 231).

[5] *Преосв. Порфирий.* Восток христианский. С. 78/ /Труды Киев. Духовн. академии, 1873, сент., 351–352.

[6] *Petri Damiani*, ed. Migne. PL, CXLV, 440; *Le Quien*, II, 837–838.

Болгарский архиепископ имел местопребывание в Охриде[1] и назывался еще Охридским. Вскоре после 1019 г. император Василий II назначил архиепископом Охридским Иоанна, родом из Дебри, игумена тамошнего монастыря Богоматери. Преемником его был грек Лев, хартофилакс Великой Константинопольской церкви, ознаменовавший свое управление постройкой нижней церкви во имя Софии Премудрости Божией и участием в столкновении между Восточной и Западной церквами.[2] Лев умер в царствование императрицы Феодоры, и Феодора назначила (προεχειρίσατο) архиепископом монаха Феодула, происходившего из Икония и бывшего игуменом монастыря св. великомученика Мокия. Новый архиепископ, по свидетельству историка, был совершенно чужд внешней мудрости (незнаком с науками), но в божественной сделал большие успехи и украсился добродетелями.[3] Назначение его (и некоторых других архиереев) Феодорой, без соблюдения форм избрания, предписанных канонами, вызвало глухой ропот в современниках (в том числе в Пселле); они находили поступок императрицы противозаконным (παρανομεῖν) и объясняли его слишком ревнивым отношением ее к своей самодержавной власти.[4] Феодул ознаменовал свое управление сооружением верхней церкви Св. Софии[5] и скончался при Константине Дуке. Царь назначил (προχειρίζεται ὁ βασιλεύς) ему преемником монаха Иоанна, происходившего из Лампы (на острове Крите) и бывшего соаскетом патриарху Ксифилину, вместе с ним подвизавшегося на Олимпе.[6] Этот архиепископ оказал важную услугу правительству: когда Никифор Василакий, замысливший восстание, прибыл из Диррахия в Охриду и хотел здесь провозгласить себя императором, Иоанн воспрепятствовал выполнению его намерения и Василакий должен был уйти из

---

[1] Начиная с архиепископа Филиппа, перенесшего резиденцию из Преспы в Охриду. См.: *Ducange*. Famil. Byzant., 174–175.

[2] *Ducange*. Fam. Byz., 175; *Mai*. Spicil. Rom., X, 26. От его имени было отправлено послание к Иоанну Транийскому (PG, CXX, 233–244; *Will*, 51–64); кроме того, Лев написал еще два послания об опресноках, которые помещены в рукописном сборнике Московской Синод. библ. № 208 и из которых одно — последнее — издано в приложении к сочинению Чельцова «Полемика между греками и латинянами по вопросу об опресноках». СПб., 1879, в греч. подлиннике с древнеславянским переводом по рукописи Кирилло-Белозерской библиотеки № 76–1153; Льву принадлежит, наконец, аскетико-нравоучительный трактат «Об искушениях» в 50-и главах (*Udini*. Comment. de script. eccl., II, 604).

[3] *Cedr.*, II, 611.

[4] *Psell.*, IV, 206–207.

[5] *Ducange*. Fam. Byz., 175.

[6] *Scyl.*, 658–659.

Охриды в Фессалонику.[1] Скоро затем Иоанн скончался и на его место император Вотаниат назначил (ἀντ' αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς προεβάλετο) другого Иоанна, по прозванию Аина (Непьющего).[2] — В числе епископий, входивших в состав Болгарской архиепископии, были, между прочим, Деабольская и Сардикийская. Между тем как архиепископ Болгарский не сочувствовал предприятию Василакия, Феодосий, епископ Деаболя, служил Василакию посредником при найме норманнов в Италии; впрочем, Феодосий мог при этом не знать настоящего намерения Василакия, мог предполагать, что он подготовляет войско для борьбы с Вриеннием.[3] Сардикийский епископ Михаил во время бунта Леки против Никифора Вотаниата убеждал граждан Средца оставаться верными византийскому правительству, за что был убит Лекой в епископском облачении.[4]

Православные патриархаты — Александрийский и Иерусалимский — находились в XI в. под властью сарацин и об их судьбе сохранились крайне скудные сведения. Относительно Александрийского патриархата они почти ограничиваются именами патриархов, занесенными в каталоги в таком порядке: Арсений († 1010), Георгий, Леонтий (или Александр), Иоанн, Савва, Феодосий.[5] Несколько обстоятельнее сведения об Иерусалимском патриархате, благодаря тому обстоятельству, что Св. Земля привлекала к себе взоры всего христианского мира и побуждала историков отмечать (не всегда верно) в своих произведениях главнейшие события, ее касающиеся. Наибольший интерес историков сосредоточен на судьбе храма Воскресения Господня. В начале XI в.[6] он, вместе с базиликой св. равноапостольного Константина и одним женским монастырем, был разрушен по приказанию египетского халифа ал-Хакима. Бедуинский вождь ал-Муфаридж, придя в столкновение с ал-Хакимом и желая заручиться содействием византийского императора, назначил (ок. 1011 г.) епископа Феофила Иерусалимским патриархом, побудил христиан приступить к восстановлению

[1] *Scyl.*, 739.

[2] *Scyl.*, 742; *Ducange*. Fam. Byz., 175.

[3] *Scyl.*, 739.

[4] *Scyl.*, 741–742.

[5] *Бар. Розен*, 352; *Le Quien*, III, 480–483.

[6] По *Яхъе* в 1009 г., по *Ибн-ал-Атиру* в 1007 г. (у *бар. Розена*, 48, 349), по *Вильгельму Тирскому* (631) в 1011 г. Указания других источников менее точны, см.: *Sacy*. Exposé de la religion des Druses, I, CCCXXXVI; *Wüstenfeld*. Gesch. d. fatimid. Chalif., 101; *Le Quien*, III, 475. Об убиении и ослеплении патриарха Ореста, соединяемых западными историками с фактом разрушения храма, не может быть и речи, так как Орест умер 18 октября 1004 г. (*Бар. Розен*, 352).

храма и сам им помогал. Но дело было не под силу иерусалимским христианам. Более энергичное его осуществление начато при преемнике Феофила, Никифоре, который, будучи священником, в то же время исполнял плотничьи работы при дворе халифа ал-Хакима и когда, за смертью Феофила (в январе 1020 г.), освободился Иерусалимский патриарший престол, выпросил себе у халифа назначение в патриархи, каковое место и занял (в июле 1020 г.).[1] При этом патриархе заключен был договор между императором Романом Аргиром и халифом Дагером, сыном и преемником ал-Хакима. По смерти Дагера (1036), договор был скреплен между его сыном и преемником, халифом Мостансиром, и византийским императором Михаилом Пафлагоном. Одним из пунктов договора было восстановление Иерусалимского храма, к чему и было приступлено с помощью субсидий византийского правительства. Постройка храма окончена в 1048 г., при императоре Мономахе, который с целью приведения к концу этого богоугодного дела тщательно поддерживал добрые отношения к египетскому двору.[2] После Никифора на патриаршем престоле был Софроний, при котором турки (с Исаром) взяли Иерусалим и убили около 3000 христиан, в 1076 г.,[3] после Софрония Евфимий и затем Симеон, современник взятия Иерусалима крестоносцами.[4] — Из епархиальных архиереев Иерусалимского патриархата в наш период упоминается Иорий, епископ Синайский, подчиненный митрополиту Петры (Аравийской); в 1033 г. он прибыл в Болонью, оттуда в Бетуну (Bethuna), здесь неожиданно скончался, был тайно похоронен боявшимся судебного следствия хозяином, у которого он нашел гостеприимство, и впоследствии прославился чудесами.[5] Около 1056 г. жил Самона, архиепископ Газы, известный своим «Разговором с сарацином Ахметом»; разговор может служить образчиком миссионерской беседы, рассчитанной на вразумление неверующего путем доступных здравому смыслу аргументов и общепонятных сближений.[6]

---

[1] *Яхъя*, у бар. Розена, 49, 60, 356.

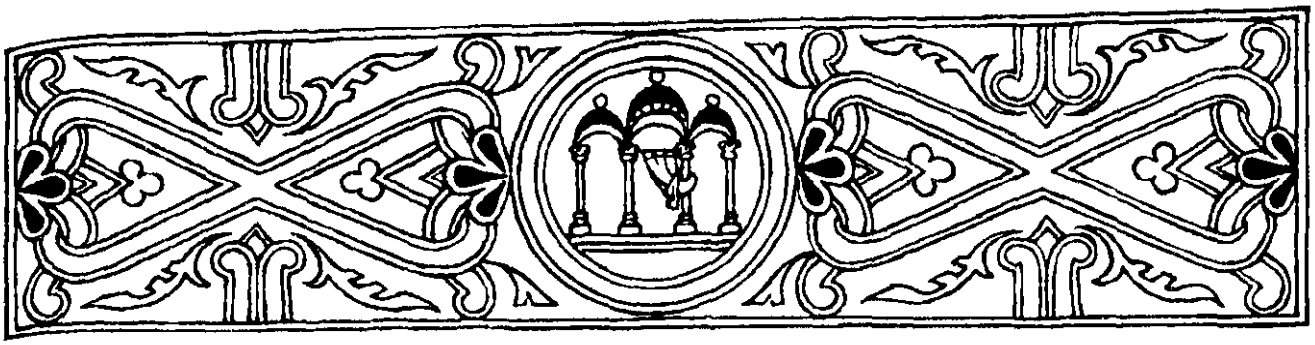
[2] *Psell.*, IV, 193–194; V, 113–114; *Cedr.*, II, 515 (***Zon.*, IV, 139**); ***Guil. Tyr.***, 631–633; *Dandolo*, 243; *Elmac.*, 323; *Abulfed.*, III, 85.

[3] *Elmac.*, 349.

[4] В каталоге патриарха Досифея названы другие патриархи, но его показания не находят себе подтверждения, ср. *Le Quien*, III, 491 sq.

[5] Acta Sanct. Bolland., 26 jul.

[6] Διάλεξις πρὸς Ἀχμὲδ τὸν Σαρακηνόν. Ed. Galland., Veter. Patr. Bibl., XIV; PG, CXX, 821–832. О времени жизни Самоны см. у Галланда (в предисловии) и Никифора Комнина (Praenot. Mystagog., 407).



Глава десятая

Существенной принадлежностью византийской церковно-религиозной жизни было умножение монастырей и развитие монашества, его государственное и социально-общественное значение. Эта принадлежность, служа выражением общего направления византийской централизации, всецело проникнутой церковностью, религиозностью, с наклонением на сторону формализма, находилась вместе с тем в связи с особенностями политического строя, гармонировала с ними и в известной мере обусловливалась ими.

Политическая сфера в византийском государстве была самой капризной и изменчивой стихией, которую справедливо уподобляли волнующемуся морю. Начиная с вершины трона и кончая его подножием, все стояло на горючем вулкане, ни император, ни его слуги, ни ближайшие его советники, ни отдаленнейшие органы его власти — никто не имел прочной почвы под ногами. Император, не обезопасенный юридически, вследствие отсутствия установленного порядка престолонаследия, каждую минуту мог быть низвергнут со своего царского величия, точно так же успех политического деятеля, не гарантированный от фактического абсолютизма, мог быть неожиданно прерван, по мимолетному неудовольствию главы государства или по интригам доверенных его лиц. Строй жизни в Византии более и нагляднее, чем где-нибудь, должен был убеждать людей в превратности земного счастья и обращать их взоры к тихому и необуреваемому убежищу, какое до известной степени представляли монастыри. Каждый император, поднимаясь по ступеням трона, должен был иметь в мыслях возможную в будущем перспективу, когда он под давлением силы или обстоятельств окажется вынужденным сойти с трона; в воображении его должен был тогда рисоваться монастырь и монашеская мантия, которые скроют его позор и разочарование, дадут мир и успокоение душе и подготовят к другой, лучшей жизни. С царского трона было только две дороги — на эшафот и в монастырь, — припомним только, как закончили свою жизнь Михаил Пафлагон, Михаил Калафат, Михаил

Стратиотик, Исаак Комнин с женой Екатериной и дочерью Марией, Роман Диоген с женой Евдокией, Михаил Парапинак, Никифор Вотаниат с женой Марией. Если император с такими мыслями занимал престол, то каждый государственный деятель тем более был ими проникнут, выступая на поприще деятельности. Ему наперед было известно, что как бы он ни возвысился, он ничем не обезопасен от внезапного падения; известен был также самый надежный и обычный для византийца исход разрушенного земного величия и славы — монастырь. Пострижение в монашество и заключение в монастырь по установившейся в Византии практике было обыкновенным средством устранения с политической сцены людей, не подходивших в данное время к направлению правительства, устранения как насильственного, так и добровольного, как тех, кого правительство находило для себя в каком-нибудь отношении неприятным и опасным, желало или наказать, или оградить себя от опасности, так равно и тех, кто сам недоволен был правительством, имел основание опасаться его и желал, скрывшись в монастырской тиши, уйти от опасности и от всего, что способно было возбуждать чувство недовольства. Достаточно прошло перед нашими глазами примеров, чтобы иллюстрировать и эту сторону дела. Вспомним о пострижении Феодоры Зоей и Зои Калафатом, пострижении Прусиана Болгарина, Константина Диогена, Константина Далассина, Льва Торника, Стефана Севастофора, Никифора Протевона, Михаила Пселла, Иоанна Ксифилина, кесаря Иоанна Дуки, племянника его Константина Дуки и пр. Монастырь был тюрьмой для преступников, вместе с тем он был мирным приютом и местом успокоения для разочарованных; монашеская мантия надеваема была на тех, кто перед судом власти достоин был кары; облекались в нее и те, которые проникнуты были чистыми патриотическими порывами, не знали за собой никакого политического греха, единственный грех которых состоял в политическом отчаянии, в безотрадном убеждении, что для исцеления государственных недугов они не обладают силами и что лучший исход — удалиться из мира, скрыться за монастырской стеной от мирской злобы и не видеть политических, социальных, общественных и иных неправд. Нужно заметить, что не только разочарование политическое, но и разрушение финансовых расчетов, разного рода жизненные неудачи часто оканчивались монастырем, — человек, лишившийся всего состояния, из богача превратившийся в бедняка, искал себе утешения в монастырском уединении.[1] И наоборот,

[1] Примером может служить вест Михаил, который был богат, а лишившись богатства, заключился в монастырь Морохарзана и здесь проживал на скудные доходы от недвижимых имений монастыря. См.: *Psell.*, V, 342.

к тому же результату нередко вела неожиданная удача, вызывавшая в человеке мысль о Божественном промышлении и разогревавшая чувство благодарности ко Всевышнему. Выздоровевший от тяжкой болезни, избавившийся от смертной опасности видел в этом перст Божий, указывавший на призвание к высшему нравственному совершенствованию монастырским подвигом.[1] Здесь уже выступал религиозный мотив и присоединялся к ряду причин политических и экономических, содействовавших развитию монашества. Излишне было бы останавливаться на том чисто религиозном мотиве, который всегда имел значение, как и теперь имеет, для избранников, стремящихся к угождению Богу и спасению души путем подвижничества и отречения от мира; в век развития религиозности (каков был XI в.) этот мотив имеет весьма большое приложение. Следует наконец отметить специальную черту, составлявшую разветвление религиозного мотива. Для каждого грека громадную важность имел вопрос о месте погребения после смерти. Если он по социальному положению выделялся из массы людей, не способных в заботах о хлебе насущном заглядывать в будущее, то заветной его мечтой становилось — приобрести место вечного упокоения в какой-нибудь святой обители. Забота о таком завершении земного поприща лежала на сердце всех сколько-нибудь зажиточных людей, начиная с императоров, которые не имели определенной усыпальницы и погребаемы были в разных монастырях, продолжая патриархами, тоже не имевшими определенной усыпальницы, и кончая обыкновенными властелями.

Удовлетворять спросу, обусловленному указанными потребностями, могли, по-видимому, и прежде основанные монастыри. Действительно, и прежде основанные монастыри играли свою видную роль. Лица, удалявшиеся или удаляемые со сцены, если до тех пор они занимали высокое общественное положение или обладали большим богатством, поступали обыкновенно в знаменитый Студийский монастырь, находившийся в самом Константинополе. Цари считали этот монастырь самым приемлемым для себя местом после удаления с трона: Михаил Калафат искал в нем убежища, был в нем пострижен и только после ослепления насильно сослан в монастырь Элегмон; Исаак Комнин, после отречения от престола и пострижения в монашество, тоже нашел приют в Студийском монастыре, где пробыл последнее время своей жизни; Михаил Парапинак, вытесненный с престола Вотаниатом, был отправлен после пострижения

[1] Примером может служить евнух Константина VIII, проедр Никифор, который, избегнув сверх ожидания опасности во время землетрясения в Букелларии в 1035 г., постригся в монахи. См.: *Cedr.*, II, 514 (*Glyc.*, 588).

в Студийский монастырь и только впоследствии, после рукоположения в митрополиты, стал проживать в монастыре Мануила. Вслед за царями и высокопоставленные лица предпочитали Студийский монастырь остальным. Никифор Ксифий, еще при Василии II сосланный на остров Антигона и постриженный в монашество, по возвращении из ссылки при Романе Аргире, не пожелал более вмешиваться в государственные дела и принял монашескую схиму в монастыре Студия;[1] Константин Диоген, замешанный в заговоре против Романа, равно и евнух Никифор, спасшийся от погибели во время землетрясения 1035 г., тоже постригся в монахи в Студийском монастыре.[2] Реже, чем Студийский, фигурируют в истории другие из прежде основанных монастырей, в столице и в областях, как-то: Петрийский, в котором пострижена была и проживала до возведения на престол Феодора, дочь Константина VIII, и куда удалилась Мария, жена Парапинака, с сыном Константином, после низвержения мужа с престола,[3] Мануилов, в который заточен был Романом III Прусиан Болгарин[4] и где проживал Михаил Парапинак, митрополит Ефесский, св. Николая или Моливотон, в котором был погребен император Константин Дука,[5] Мантинийский, где находилась мать Прусиана,[6] Кузина, куда сослан Никифор Протевон,[7] Мирелейский, в котором проживала после пострижения жена Исаака Комнина, Екатерина, с дочерью Марией,[8] Алипос, давший приют больному Мануилу Комнину,[9] в особенности же монастыри на горах: Афоне, Олимпе и Синае.

Но если с нашей точки зрения ранее существовавшие монастыри могли удовлетворять потребностям, то не так было с точки зрения византийского общества. Каждому лестно было иметь свой собственный монастырь, которым бы он мог вполне распоряжаться, в минуту невзгоды найти пристанище и по смерти вечное упокоение. И вот кто только мог, строил монастырь, снабжал его движимым и недвижимым имуществом, собирал монахов — и двойная цель была достигнута: совершено дело, угодное Богу, и принята предосторожность на «черный день». Чем выше стоял

---

[1] *Cedr.*, II, 487, 578

[2] *Cedr.*, II, 497 (*Zon.*, IV, 132), 514 (*Glyc.*, 588).

[3] *Cedr.*, II, 498; *Bryenn.*, 126.

[4] *Cedr.*, II, 487.

[5] *Attal.*, 92; *Scyl.*, 659 (*Glyc.*, 606; *Ioel*, 65).

[6] *Cedr.*, II, 497.

[7] *Cedr.*, II, 610 (*Glyc.*, 599).

[8] *Scyl.*, 649 (*Glyc.*, 604).

[9] *Bryenn.*, 34.

человек, тем краше монастырь он стремился соорудить, чем богаче — тем монастырь роскошнее: тут соперничало честолюбие, один желал затмить другого блеском сооружений, обилием монахов и т. д., не без влияния оставался и тот расчет, чтобы в случае, если судьба приведет заключиться в стенах монастыря, возможно менее чувствительна была разница во внешней обстановке сравнительно с прежней жизнью. Императоры, понятно, имели наиболее средств воздвигать блестящие монастыри и наделять их обильными благами, — их сооружения поражали великолепием. Из императоров и лиц царской фамилии, основавших в наш период монастыри, известны следующие.

Роман III Аргир построил монастырь Перивлепт. Постройка началась в 1031 г. и продолжалась до самой смерти императора (1034). Сначала предполагалось выстроить только храм. Куплено было место с домом у какого-то Триаконтафилла и начаты сооружения. Император в честолюбивых замыслах хотел сравниться с Соломоном и Юстинианом, желал, чтобы его храм не уступал храмам, построенным этими царями. Собраны были лучшие мастера, приготовлен лучший материал, начаты работы, и по мере того как они продвигались вперед, первоначальный план сооружений был дополняем, видоизменяем и исправляем. Главнейшее дополнение состояло в том, что при новом храме решено было построить монастырь и воздвигнуты были нужные для этой цели здания в обширных размерах. Это предприятие Романа, стоившее государству громадных денег, осталось памятным народу по тем тягостям, к которым оно влекло, — так как доставка кирпичей и разных строительных материалов всецело легла на население. Монахов собрано было в новом монастыре множество и они роскошно были обеспечены содержанием, целые округи казенных земель, к тому же самых добротных и доходных, были приписаны к новому монастырю.[1] Перивлепт послужил местом вечного упокоения для своего основателя.[2] Вторым ктитором этого монастыря после Романа Аргира был Никифор Вотаниат; после взятия Византии Алексеем Комнином он пострижен был здесь в монашество, оставался до конца своей жизни и здесь погребен.[3]

Михаил Пафлагон построил в северном предместье, за городской стеной, монастырь св. бессребренников Косьмы и Дамиана, иначе еще называемый Космидийским. Прежде на этом месте стоял бедный храм, Пафлагон вновь его перестроил, окружил стенами, опоясал зданиями и

[1] *Psell.*, IV, 37–40; *Cedr.*, II, 497; *Zon.*, IV, 131 (*Glyc.*, 583; *Ephr.*, 130).
[2] *Cedr.*, II, 506 (*Glyc.*, 585).
[3] *Zon.*, IV, 234 (*Glyc.*, 618; *Ephr.*, 149).

превратил в монастырь. При выполнении работ тщательно заботились о красоте и симметрии, как в планировке зданий и в размерах, так равно в употреблении материалов и размещении украшений, — вышина и ширина строго гармонировали, стены и пол выложены лучшим камнем, храм блистал золотом, мозаикой и живописью, иконы казались как бы живыми. Для монахов устроены были купальни, сооружены бассейны, разведены сады, все, что только могло пленять глаз и услаждать чувство. Изнуренный болезнью и отчаявшийся в жизни Михаил Пафлагон велел перенести себя на носилках в основанный им монастырь. Внесенный в храм, он потребовал пострижения в монашество, что и было исполнено немедленно, — Косьма Цинцулук, его духовник, совершил обряд пострижения, царские одежды заменены монашеской мантией, царская калиптра — монашеским куколем, багряная обувь — сандалиями. Изнемогающий Михаил отведен был в келью и уложен в постель. Когда настал час обычных в монастыре песнопений и монахи стали собираться в церковь, поднялся со своей постели и Михаил, но сандалий по оплошности прислужников налицо не оказалось. Михаил был недоволен, приказал прислужникам поддерживать себя с обеих сторон и отправился босиком в церковь, едва переводя дух от слабости. Путешествие это окончательно его сразило. Едва он возвратился из церкви и улегся опять на постель, как тотчас скончался, не пережив даже дня своего второвозрождения (δευτέρα παλινζωΐα) и сопричтения к ангельским хорам. Он был погребен по монашескому чину в основанном им храме, с левой стороны амвона.[1]

Константин Мономах основал монастырь св. великомученика Георгия в Манганах. Первоначальным поводом послужили отношения его к Склирене. Скоро после вступления Мономаха на престол Склирена была вызвана в Византию и поселена в доме Кинигия. Чтобы иметь благовидный предлог посещать ее, Мономах затеял здесь постройку дворца и стал ходить как бы для наблюдения за работами. Потом план был расширен, так что кроме царских палат появился храм и монастырь, а при монастыре разные учреждения. Сначала предположено было соорудить храм скромных размеров, сообразно с тем и был заложен фундамент и возведены стены. Но спустя некоторое время у Мономаха появилось соревнование, желание не только не уступить другим подобным сооружениям, но и превзойти их. Тогда площадь для храма была распространена во все стороны, фундамент заложен вновь — более глу-

[1] *Psell.*, IV, 64–65, 75–76; *Attal.*, 10; *Cedr.*, II, 533; *Zon.*, IV, 148 (*Ephr.*, 133); *Georg.*, 875. Ср.: *Psell.*, V, 129.

бокий и прочный, на нем утверждены объемистые, красивые колонны и воздвигнуты стены; все сделано пышно и с уменьем, крыша позолочена, стены и пол выложены блестящими разноцветными камнями, с искусным подбором цветов. Но прежде чем храм совершенно был окончен, опять начались перемены и переделки, стены разобраны, все разрушено. Причиной было, что сооружение оказалось выполненным по образцу какого-то определенного храма, вследствие чего вышло недостаточно оригинальным и теряло от сравнения с другими храмами. В третий раз стали строить храм, пышнее и роскошнее прежних, изукрасили золотыми звездами, наподобие неба, особенный блеск сообщили своду, который был вызолочен и из которого, как из центра, распространялись золотые ручьи с обильными разветвлениями. Кругом храма на значительном протяжении раскинуты были здания, площадки, сады, цветники, проложены были водопроводы, устроены аллеи, бассейны, купальни. Великолепие было полное, размеры соперничали с красотой, забота царя в том и состояла, чтобы все казалось чем-то необыкновенным и чудесным, чтобы глаз не встречал здесь того, что можно было видеть в другом месте, но поражался новостью и оригинальностью. В числе учреждений при монастыре были странноприимницы (ξενῶνες), дома для призрения стариков (γηρωτροφεῖα) и убогих (πτωχοτροφεῖα). Словом, предприятие выполнено было так, что удовлетворяло самым требовательным вкусам, и если кто мог пожаловаться, то лишь казна, которая была им истощена. В царских палатах Манганского монастыря Мономах умер и в монастыре же похоронен.[1] Еще при жизни Мономаха Манганы императорской грамотой отданы были в пронию Константину Лихуду, который при возведении на патриарший престол уступил их, по предложению Исаака Комнина, казне.[2] При Никифоре Вотаниате Манганы, дворец и монастырь, отданы были по царскому хрисовулу императорской супруге, Марии. В Манганы она удалилась вместе с сыном своим, Константином, после вступления на престол Алексея Комнина, сначала жила во дворце среди царской пышности, а потом постриглась в монашество.[3]

Императрица Зоя построила монастырь Антифонита, названный так по имени иконы Христа Поручника, которой она предпочтительно моли-

[1] *Psell.*, IV, 127, 191–192; *Attal.*, 47; *Cedr.*, II, 609 (*Glyc.*, 598); *Zon.*, IV, 159, 178.

[2] См. выше, с. 106, 109.

[3] *Zon.*, IV, 236–237.

лась, изливая радости и горе;[1] в нем Зоя была и похоронена.[2] Роман Диоген основал монастырь на острове Проте; после пострижения и ослепления жил в нем короткое время, умер и погребен.[3] Евдокия, супруга Константина Дуки, потом Романа Диогена, основала в предместье Стеносе, близ моря, монастырь Пресв. Богородицы, именуемый Пиперуди; здесь она доживала свой век монахиней и лишь однажды на время отлучалась, с разрешения сына Михаила, на остров Прот для погребения несчастного Диогена.[4]

Патриархи Константинопольские, подобно царям, сооружали для себя монастыри. У патриарха Алексия был монастырь в Стеносе, упоминаемый по поводу замысла Калафата низложить его с престола.[5] У Михаила Керуллария был основан монастырь в честь Архангела Михаила в константинопольском предместье, за западной городской стеной.[6] Константин Лихуд соорудил церковь и монастырь в честь Богоматери.[7] У Иоанна Ксифилина был монастырь по ту сторону пролива, именуемый Аргурия (Ἀργούρια);[8] у Косьмы — монастырь Каллия (τοῦ Καλλίου).[9] Каждый патриарх похоронен в собственном своем монастыре.

Множество монастырей было построено частными лицами. На Афоне появились монастыри: Эсфигмен с 1034 г., Дохиарий с 1037 г., Филофей с 1046 г., Каракалл с 1071 г.;[10] на Олимпе основан был, между прочим, монастырь протовестиарием Симеоном, который и постригся в нем после высылки из столицы, в 1034 г.[11] Не только в этих центрах монашеской жизни, но вообще на всем пространстве Византийской империи возникло

---

[1] *Psell.*, IV, 133. С иконой, известной под именем Χριστὸς ὁ Ἀντιφωνήτης, связано сказание о константинопольском купце Феодоре, который разорился вследствие кораблекрушения, потом опять разбогател от оборотов на деньги, взятые у еврея Авраама, под поручительство иконы Спасителя (ἀντιφωνήτης = ἔγγυος) (поручитель; служащий порукой). Икона помещалась над воротами в Халке и в истории Льва Исавра и его гонения против св. икон выступает на передний план: солдат, которому приказано было снять ее, был растерзан народом.

[2] *Georg.*, 880.

[3] *Psell.*, IV, 288; *Attal.*, 179 (*Scyl.*, 705; *Zon.*, IV, 218; *Glyc.*, 613; *Ephr.*, 146).

[4] *Psell.*, IV, 282–283; *Attal.*, 169 (*Scyl.*, 702).

[5] *Cedr.*, II, 536.

[6] *Attal.*, 63.

[7] *Psell.*, IV, 415–416.

[8] *Georg.*, 892.

[9] *Anna*, I, 149.

[10] *Zachariae*, III, XVII.

[11] *Cedr.*, II, 511. Ср. выше, **кн.** I, с. 152, **прим.** 1.

много новых монастырей. Появление их было делом заурядным, не возбуждавшим ничьего внимания, в глазах историков не заслуживавшим упоминания, исключая случаи, когда строителями были лица, особенно выдающиеся по положению или судьбе. Предел размножению монастырей мог быть положен только сокращением числа состоятельных людей, имевших возможность строить монастыри. Но и этот предел был пройден после открытия способа восполнять началом корпоративности недостаток личной экономической состоятельности. Монастыри стали воздвигаться соединенными силами многих бедняков, в складчину, при помощи благочестивых соседей и т. д. Еще Василий Болгаробойца в новелле 996 г. заметил: «Во многих деревнях бывают, как говорят, такие случаи, что построил крестьянин церковь на своей земле и приписал к ней свой участок, с согласия односельчан, сделался сам монахом и расположился жить при церкви до своей смерти; сделал то же другой крестьянин, за ним третий — и вот стало уже два и три монаха».[1] Таким образом не только властели, но и убогие устраивали монастыри, применяя начало кооперации, воздвигая монастыри не в одиночку (как делали люди зажиточные), но на общий счет. Порядок вещей, подмеченный в X веке, без сомнения, продолжался и в XI. В письме к одному представителю областной администрации Пселл хлопотал за крестьянку-монахиню (ἡ πένης αὕτη καὶ μοναχή), которая соорудила монастырек в складчину (μοναστηριτίκιον τε ἐκ τῶν ἐνόντων ἐδείματο); один из складчиков отказался внести свою долю (εἷς τῶν ἐρανιστῶν ἀρνεῖται τὸν ἔρανον), и автор письма просил подействовать на него убеждениями, если же убеждения не помогут, то посредством суда.[2] Здесь, очевидно, имел место договор между участниками предприятия, опираясь на который можно было искать содействия в суде. Но и помимо договора всегда можно было рассчитывать на помощь. Когда Дорофей прибыл в сопровождении товарища своего Василия в лесную глушь, усыпанную развалинами бывшего там некогда монастыря, с намерением воздвигнуть храм и новый монастырь во имя Св. Троицы, у него не было ни денег, ни рабочих рук, исключая его самого да Василия; но в скором времени соседи (περίοικοι) узнали, что пришел благочестивый муж и приступает к святому и богоугодному делу, — они поспешили на помощь, снабдили деньгами, рабочей силой, и монастырь с церковью в короткое время был готов. Не одно желание участвовать в таком душеспасительном деле, как построение церкви и монастыря, побуждало соседей помочь Дорофею. Могли иметься в виду и более вещественные,

[1] *Zachariae*, III, 313.

[2] *Psell.*, V, 376.

земные соображения: надежда найти приют в монастыре на старости и в болезни, отыскать в нем подспорье бедной крестьянской обстановке. Тот же Дорофей, встретивший такую предупредительность у соседей, прекрасно знал их крестьянские нужды и то, чем может быть им полезен. Перед смертью он приказал собрать все, что было в монастыре, разную утварь, главным образом посуду, служившую для приема странников, и припасы, предназначавшиеся для их прокормления. Все это добро Дорофей разделил на две половины и одну половину раздал соседям (периекам).[1] Легко понять, как должны были размножиться монастыри, коль скоро, с одной стороны, весь строй жизни, склад умов и направление общества содействовали тому, а с другой — так легко было человеку и с ограниченными средствами, даже без всяких средств, достигнуть цели. Вся территория византийского государства усеялась монастырями, и неудивительно, что западным путешественникам и крестоносцам Империя на первый взгляд казалась одним сплошным монастырем.

Монастыри разделялись: на царские, ставропигиальные, епархиальные, принадлежавшие частным лицам или общинам и независимые. Монастыри частных лиц или общин, равно и монастыри ни от кого не зависевшие (αὐτεξούσια καὶ αὐτοδέσποτα), не обязаны были платить епархиальной власти никаких взносов; по отношению к ним митрополиты, архиепископы и епископы имели только право возношения (τὴν ἀνοφοράν, упоминание в молитвах), поставления (τὴν σφραγίδα) и власть дисциплинарную (τὴν διόρθωσιν τῶν σφαλμάτον);[2] принадлежавшие митрополитам, архиепископам и епископам, сверх обязанностей, общих монастырям частным, должны были еще платить епархиальной власти определенные взносы; монастыри, в которых водружен был крест патриархом (ставропигиальные), платили эти взносы патриарху, которому и были подчинены, помимо местной епархиальной власти; наконец, царские монастыри свободны были от взносов в пользу епархиальной власти, независимы были от нее в административном отношении, в отношении же юрисдикции, хотя по церковным правилам и были подчинены, de facto нередко освобождались. Весьма выгодным считалось причисление к царским монастырям и об этом всего более заботились. Когда монах Никодим соорудил близ города Лакедемона мост через реку Ири и на левом берегу реки, близ моста, воздвиг на собственное иждивение церковь. при церкви же монастырь, он обратился к императору Константину VIII с просьбой принять монастырь в число царских. Константин VIII дал (не

[1] PG, CXX, 1064, 1072.

[2] *Zachariae*, III, 314.

позже мая 1027 г.) привилегию следующего содержания: власть над монастырем, церковью и мостом принадлежит Никодиму, а попечение (куратория) стратигу фемы, как представителю императора; епископу Лакедемона и его клиру совершенно воспрещается вмешиваться в дела;[1] после смерти Никодима царь и стратиг (правильнее — царь через стратига)[2] избирают игумена непременно из среды монахов монастыря, а не из внешних; новый игумен должен с любовью заботиться о церкви, мосте и братиях монастыря, если же он будет небрежен, то на его место из среды братии будет избран другой таким же порядком, т. е. царем и его стратигом. Стратиги не всегда были представителями прав императора по отношению к царским монастырям; права свои император мог передавать по усмотрению, кому угодно. Так, например, Константин Мономах хрисовулом от июня 1052 г. возложил кураторию над афонской Лаврой на препозита и заведующего каниклием.[3] Что царские монастыри de facto освобождались от юрисдикции епископов, указание находим в синодальном постановлении 1028 г. Синод, воспрещая духовным лицам и монахам судиться у светских судей, под опасением низвержения, замечает, что в особенности монахи так называемых царских монастырей и клирики царских клиров (μάλιστα οἱ τῶν βασιλικῶν λεγομένων μονῶν καὶ κλήρων κληρικοὶ καὶ μονάζοντες), вместо епископов, предпочитают обращаться к светским судьям, которых сами должны были бы исправлять; о монахах, дерзающих поступать таким образом, синод постановляет, что ни епархиальные их епископы, ни иноепархиальные, не должны удостаивать их рукоположения или вообще благословения и общения, дабы они, не воздавая епархиальным епископам возношения (τὴν ἀναφοράν) или иной чести, не получали в свою очередь от епископов иерейского сана.[4]

---

[1] Ἐπ(ησ)κέπτεσθε δὲ αὐτὴν (т. е. церковь), κ(αὶ) ἐπημελῆστε παρὰ τοῦ κρ(ατίσ)του κὲ... στρατηγοῦ τοῦ (κ)ρατοῦντα ἰς τὸ θέμαν κὲ μὴ ἐᾶν ἐπήσκοπ(ον) τῆς ἀ(γ)ί(α)ς πόλ(εως) ἅμα κέ τοῦ κ(λ)ήρου αὐτοῦ ἐπεξουσηάζην ἐν τῇ ἐκλησ(ί)ᾳ μήτε βῆμα ποδός (Блюдите ее и повинуйтесь превосходительному стратигу, правящему в феме, а епископу Святого града и его клиру вмешиваться в дела церкви воспрещается). *Boeck*, № 8704.

[2] Ἀνφώτερι... (оба). По связи с предшествующими словами, а также с последующими: ὥ τι δαὶ πι(ῶσι) ὁ βασηλεὺς κὲ ὁ κράτιστος στρατηγός (как поступят император и превосходительный стратиг), ясно, что под «обоими» нужно понимать императора и стратига. Издатели надписи неправильно передали смысл этих слов, *Boeck*, № 8704, 329: e communi et episcopi et ducis sententia, а за ними повторяют то же другие, напр. *Hopf*, *Ersch u. Gruber*. Encyklopädie, LXXXV, 144–145.

[3] *Miklosich*. Slavische Bibliothek, I, 150.

[4] PG, CXIX, 833; *Rhalli et Potli*, V, 29.

Общежительные монастыри чаще всего руководствовались уставами — студийским и афонским. Особенности жизни на Афоне, внутренние распри побудили монахов составить себе в сентябре 1046 г., при помощи преподобного Косьмы Цинцулука, новый устав (Типик), который главным образом регулировал экономические отношения и был утвержден Константином Мономахом, давшим Афону официальное название Ἅγιον Ὄρος (Святая гора); в то время, когда написан был этот документ, на Афоне находилось 180 игуменов.[1] Кроме уставов двух названных монастырей (студийского и афонского), применялись и другие, тождественные в принципах и сходные в подробностях: основатели и устроители новых монастырей обращались к практике монастырей наиболее известных и уважаемых в данной местности и заимствовали у них писанный устав, дополняя иногда от себя теми или другими частностями. Так, Дорофей, основавший монастырь Св. Троицы, ввел в нем устав преподобного Арсения, заимствованный из близлежащего монастыря «Золотая Скала», к которому он прибавил кое-что и от себя.[2] Не только игумены монастырей брали на себя труд пересмотра и дополнения уставов, но принимались иногда за это дело и епархиальные архиереи, ревновавшие о монастырском благоустроении. Таков, например, был Иоанн Евхаитский, написавший правила для монахов.[3] Наконец, благочестивые миряне-ктиторы иногда сами начертывали для построенных ими монастырей уставы. Например, судья вила на ипподроме, патриций-антипат Михаил Атталиот, основав в 1077 г. монастырь Всемилостивого Спаса (τοῦ Πανοικτίρμονος),

---

[1] *Преосв. Порфирий.* История Афона//Труды Киевск. Духовн. академии, 1873, янв., 17–33.

[2] PG, CXX, 1064–1065: τοὺς τύπους ἐγγράφους ἐκ τῶν Ἀρσενίου τοῦ πάνυ διαταγμάτων, ὥσπερ ἄλλος Μωσῆς θεοχαράκτους πλάκας ἐδέξατο (ἦν δὲ οὗτος Ἀρσένιος ὁ τὴν ἀρετὴν περιβόητος ἐκεῖνος ἐν μοναστηῖς, ὃς καὶ τῆς Χρυσῆς καλουμένης Πέτρας, οὐ δ᾽ἐκείνη δὲ πόρρω, ἄριστα πάντων ἦρχε καὶ ἀφηγήσατο), καὶ αὐτὸς δὲ πολλὰ προσεξευρὼν οἴκοθεν, καὶ τῷ πολυπλόκῳ τούτῳ στεφάνῳ τῆς ἀσκητικῆς εὐπρεπείας συγκαταπλέξας (Как второй Моисей, он принял начертанные Богом скрижали, письменное изложение устава великого Арсения — это тот самый Арсений, славный средь монахов своею добродетелью, наилучший из всех настоятель монастыря «Золотой Скалы», расположенного поблизости, — а многое также добавил сам и вплел в сей пышносплетенный венец подвижнического благочестия).

[3] *Psell.*, V, 159: μεμίμηται τὴν τῶν κρηπίδων τοῦ νεὼ πῆξιν τῆς νομοθεσίας τέ πάγιον· αἱ γὰρ ἔγγραφοι περὶ ὧν τοῖς ἀσκηταῖς ἐνομοθέτησε διατάξεις, ἀντ᾽ ἄλλου τινὸς φυλακτηρίου αὐτάρκεις τῷ πράγματι (Твердыня закона подобна неколебимым основам храма. Ведь законы, которые он составил для подвижников, это достаточная замена любого другого оплота).

с птохотрофием, в городе Редесто, написал собственноручно Типик,[1] в котором изложил правила не только относительно монастырских недвижимых имуществ, доходов и расходов, но также относительно внутреннего строя монастырской жизни, избрания игумена, эконома, числа монахов, их содержания, времяпровождения и пр. Этот Типик заслуживает внимания, потому что знакомит с положением монастырей, принадлежавших частным лицам, и монастырей самостоятельных.

Михаил Атталиот отписал монастырю и птохотрофию Всемилостивого Спаса свое недвижимое имущество, которое по хрисовулу императора Михаила Парапинака освобождено было от всех государственных податей и повинностей.[2] Все привилегии были сохранены за монастырем и подтверждены новым хрисовулом императора Никифора Вотаниата, который гарантировал монастырю неприкосновенность от притязаний духовных и светских властей, равно как все порядки, установленные в монастыре Типиком ктитора.[3] В Типике определено, что попечителем монастыря (προτοητής) будет ктитор до своей смерти, потом попечительство перейдет к старшему сыну его, Феодору, а после смерти Феодора к его потомкам, причем преимущество должно быть отдаваемо старшему сыну перед младшими и мужскому колену перед женским. Если иссякнет мужское потомство и останется только женское, то попечительницами должны быть женщины, если же прекратится и женская линия, то монастырь делается самостоятельным и независимым (αὐτεξούσιον καὶ αὐτοδέσποτον). До тех пор пока монастырь не сделается самостоятельным, полным его распорядителем (παροχεὺς καὶ διανεμητής) должен быть попечитель: он заведует монастырским имуществом лично или через доверенного человека, которого назначает для ближайшего наблюдения (ἐπίσκεψις), от него же зависит избрание монастырских властей, игумена и эконома. Игумен избирается попечителем (προχειρίζεται παρ' ἐκείνου, ἀγωνοθετοῦντος αὐτοῦ καὶ ἀρεσκομένου), с согласия монахов (τῇ ἐπιλογῇ τῶν μοναχῶν); прежде чем попечитель совершит над ним обряд избрания (προχείρισις), игумен должен дать обещание свято исполнять все постановленное в

[1] Τὸ τυπικὸν μου ὅπερ ἰδίως συνεγραψάμην (Типик, который я сам составил). См.: *Sathas*. Bibl. gr., I, 33.

[2] *Sathas*, I, 53–57.

[3] *Sathas*, I, 57–66: μήτε παρὰ βασιλικῆς τινος ἐξουσίας ἢ σεκρετικῆς ἐπιφορᾶς, μήτε ἀρχιερατικῆς προεδρίας, ἀλλὰ μηδὲ δυναστευόντων τινὸς ἀντιμεθέλκεσθαι ἰδιωτικῆς... κατὰ τοῦ εἰρημένου κτήτορος τυπικόν (Освободить от власти императора, секретов, архиереев и вообще от какого-либо посягательства властителей... согласно Типику указанного ктитора).

Типике ктитора. Если при выборах произойдет колебание между двумя кандидатами на должность игумена, то вопрос решается жребием (κλῆρος): имена кандидатов пишутся на отдельных хартиях, хартии кладутся на св. престол, совершается божественная литургия, по окончании ее невинный младенец берет с престола одну хартию и с ней уходит, — чье имя окажется написанным на хартии, тот признается избранным. Игумен, точно так же как эконом, остаются на должности пожизненно, лишаются ее лишь в том случае, если впадут в ересь, совершат плотской грех, обнаружат пренебрежение к божественным заповедям или же неуважение к попечителю. Если по прекращении потомства ктитора монастырь превратится в самостоятельный, то избрание игумена производится монахами из их собственной среды (с применением в сомнительных случаях жребия) и избранный получает поставление (σφραγίζηται) от игумена Студийского монастыря, который за это получает денежную благодарность (εὐλογία ὑπὲρ ὀψωνίου) в 3 номисмы, но кроме этого не может претендовать на какие-нибудь права и власть над монастырем. Принятие в монахи и пострижение происходят безмездно (ἄνευ ἀποταγῆς δωρεάν), лишь на покрытие издержек, соединенных с пострижением, и на трапезу для братии постригаемый вносит 10 номисм. Монахи должны жить в мире, сидеть в своих кельях и заниматься ручной работой, не сходиться друг с другом для болтовни и пьянства, собравшись на молитву, не разговаривать вслух и не шептаться, ночные и денные славословия (δοξολογία) исполнять по чину; виновные подвергаются епитимии, и после первой, второй и третьей епитимии (смотря по роду преступления) изгоняются из монастыря. Монастырские власти и монахи получают на свое содержание ругу деньгами и натурой в следующем размере: игумен — жалованье 12 номисм, жита 48 модиев, вина 36 мер (μέτρα), овощей 3 модия, на приправу (ὑπὲρ προσφαγίου) 3 номисмы и на масло (ὑπὲρ ἐλαίου) 2 номисмы; служащие (эконом, вратарь) — жалованье по 8 номисм, жита по 30 модиев, вина по 24 меры, овощей по 3 модия, на приправу по 2 номисмы и на масло по 1 номисме; остальные монахи получают столько же, сколько служащие, по всем статьям, за исключением первой статьи — жалованья, которое равняется для пресвитеров 7 номисм, для прочих 6-и номисмам. Кроме этой годичной руги назначена была монашествующим добавочная выдача в важнейшие праздники, в том или другом размере.[1]

Спрашивается, насколько жизнь тогдашних монахов соответствовала идеалу, начертанному в уставах, до какой степени они оставались верны главнейшим принципам монашества: послушанию, нестяжательности, отречению от себя и от мира?

[1] *Sathas*, I, 7–41.

Разумеется, было среди монахов немало высоконравственных личностей, стремившихся осуществить монашеский идеал и осуществлявших, насколько человеческая природа позволяла им это. Примером могут служить Симеон Новый Богослов и Дорофей. Симеон Новый Богослов, по происхождению из пафлагонского селения Галаты, в молодых летах был представлен своим дядей ко двору Василия II, но не прельстился удовольствиями придворной жизни; под руководством старца Симеона он проводил время в молитве и чтении священных книг. Постриженный в монахи в монастыре св. Маманта, он еще усилил подвиги: весь предался уединению, чтению, молитве и богомыслию; по целым неделям вкушал одни овощи и семена, лишь по воскресеньям ходил за братскую трапезу, в великий же пост пять дней ничего не ел, питался только по субботам и воскресеньям; спал мало, на полу, подстилая овчину поверх рогожи; на воскресенье и праздники совершал всенощные бдения, стоя на молитве с вечера до утра и во весь затем день не давая себе отдыха; не произносил ни одного праздного слова, — запершись в своей келье, или молился, или переписывал для монастыря книги. Пройдя с усердием возложенный на него подвиг учительства и избранный потом в игумены монастыря, он делил время между заботами по управлению монастырем и иноческими подвигами, а чтобы еще более усовершиться, назначил для управления старца Арсения, сам же уединился в келью.[1] Дорофей принадлежал по происхождению к властельской фамилии из города Трапезунта, 12-летним ребенком бежал из родительского дома в город Аминс (у Черного моря, близ Синопа) к Иоанну, игумену монастыря Рождества Христова (Геннас), принял от него пострижение и предался монашеским подвигам. Он услуживал братии, отличался смирением, повиновением и при этом не думал, что совершает что-нибудь важное. После продолжительных подвигов был посвящен в пресвитеры и ревностно стал отправлять службу Божию, — служил ежедневно в течении 62 лет. После основания собственного монастыря он заключился в него, никогда не выходил за его пределы, имел общение только с монахами, ведшими одинаковую с ним жизнь, и устранялся от бесед с людьми, жившими иначе; молитва его была исполнена сокрушения, — молясь, он орошал землю ручьями слез; настроение его беспрерывно проникнуто было религиозным экстазом и он удостаивался таинственных видений; в полевых работах он участвовал наравне с другими монахами.[2]

[1] Душеполезное Чтение, 1877, февр., 173–182.
[2] PG, CXX, 1057, 1072.

Можно и еще указать на некоторых лиц, известных подвижничеством. Иоанн Мавропод до пострижения в монашество, а тем более после пострижения, вел жизнь настоящего аскета, так что удивлял придворных; он заботливо подавлял в себе страсти, был целомудрен, доводил даже целомудрие до крайности и дал повод придворным сплетникам рассказывать о том, как он избегает свиданий с родной матерью, щадя целомудрие; с сановниками и с самим императором он говорил открыто, без заискиваний. Возведенный в митрополиты, Иоанн еще усилил свои подвиги и научал других подвижничеству. У него постоянно было в мыслях отказаться когда-нибудь от архиерейской кафедры и начать жизнь монаха-молчальника. По поводу этого его намерения Пселл сравнивал монашеский подвиг с архиерейским и служение монаха со служением священника, находя последнее выше первого. По его словам, ошибаются те, которые думают, что молчальническая жизнь сама по себе есть постоянное собеседование с Богом, достижение высшего блага, возношение и отдохновение помыслов. Правда, такая радость выпадает на долю молчальников, но лишь немногих, да и тех посещает только изредка и на короткое время; подобно тому как молния блеснет и исчезнет, оставив после себя еще больший мрак, точно так же бывает с молчальником, — на один момент мир и душевное удовлетворение, во все остальное время тернии и опасности жизни. Между тем у архиерея постоянные занятия, а вследствие того в душевном его настроении более мира, более ревности, самое же дело не составляет обременения, как скоро оно производится не механически, но разумно, освещено философским сознанием. Иерейство не требует большого упражнения рук, движения ног или языка, но зато требует большого напряжения ума и восхождения к Богу; служить (λειτουργεῖν) Богу значит углубиться умом до мысленного созерцания сокровенных тайн. Оставляющий паству и удаляющийся в пустыню, это тот же полководец, который, оградив город стеной и обезопасив тем от нападений, затем покидает его и идет в другой город, незащищенный и неогражденный.[1]

История представляет нам примеры монахов, которые, стремясь в своей жизни к осуществлению нравственного идеала, были неустанными поборниками нравственности в других и безбоязненно выступали на защиту нравственных начал, попираемых современным им обществом. Таков был известный по своей ревности к чистоте православного учения, обнаруженной во время столкновения с Римом, монах Студийского монастыря Никита Стифат, великий подвижник и постник, иногда не вкушавший пищи в течении 40 дней. Когда Константин Мономах перевез

[1] *Psell.*, V, 153–154, 164–166.

в столицу свою любовницу, Склирену, он выступил со словом обличения и противления, хотя успеха не имел.[1] Таков был прославившийся добродетелью монах, которого народ, вместо всякого имени, называл просто Всесвятым (Πανάγιος); он восстал против намерения Вотаниата жениться на Евдокии и отсоветовал последней вступать третий раз в замужество.[2]

Были и между монахинями личности, стремившиеся к нравственному совершенствованию и приобретавшие славу своим подвижничеством. Мать Пселла, Феодота, так была поражена смертью своей дочери, что остригла волосы, надела черное платье и стала жить подвижнической жизнью в монастыре, основанном на могиле дочери. На монашескую схиму она смотрела слишком высоко, чтобы надеть ее без приготовления, тем более, что жив был и ее муж, отец Михаила Пселла. Скоро муж умер, и Феодота перенесла эту утрату с мужественной стойкостью и преданностью воле Божией, заметив только удрученному горем своему сыну, что наука принесла ему, вероятно, мало пользы, если не вразумила его, что Бог дал в смерти средство освобождать душу от тела — некогда прекрасного, но испорченного змеиным ядом; если кто желает плакать, прибавила она, то должен плакать о себе, пока находится в телесных узах. Феодота стала вести жизнь согласную с этим взглядом на телесный организм, изнуряла свою плоть лишениями и постом. Она до того истощилась, что вызвала против себя укор в излишнем воздержании, особенно же был недоволен ее отец. Уступая общему голосу и убеждениям родных, она приказала однажды служанке принести себе рыбное кушанье, но, при взгляде на принесенное, раскаялась в своей минутной слабости, позвала с улицы нищую старуху, отдала ей рыбу, а сама стала постничать по-прежнему. Наконец она совершенно ослабела телом, руки не двигались, ноги не повиновались. Тем не менее она не переставала присутствовать при песнопениях и молитвословиях, причем желала непременно стоять прямо, и так как собственных сил не хватало, то заставляла двух служанок поддерживать себя с обеих сторон. Перед смертью она приняла схиму и, когда умерла, была положена в ней в гроб. Народ во множестве стал стекаться на погребение подвижницы, постом и воздержанием освободившей душу от телесных уз. Все хотели освятить себя прикосновением к ней, толпа разорвала ее одежду на мелкие части и унесла с собой лоскутки. Когда пришло время опустить гроб в могилу, невозможно было сделать это, не оттеснив предварительно отовсюду напиравшую народную массу.[3]

---

[1] *Cedr.*, II. 556.

[2] *Scyl.*, 738 (*Zon.*, IV, 229).

[3] *Psell.*, V, 32, 39–40, 42–51.

К сожалению, монашество далеко не в полном составе своих членов представляло привлекательные черты. Многие монахи по своей жизни стояли в противоречии с монашескими обетами, так что все их существование построено было на лицемерии, пороке самом обыкновенном в то время, коренившемся в мирских людях, присущем также и монашеству.[1] Вместо смирения и послушания, требовавшихся монашескими обетами, монахи проникнуты были чувством любочестия и властолюбия, вместо того чтобы повиноваться и поучаться, сами стремились повелевать другими и учить, а для этого усиливались получить место настоятеля монастыря. Не всегда достоинство и внутреннее превосходство пролагали дорогу к этому месту, иногда оно приобретаемо было с помощью лести и денег.[2] Харистикарный способ, открывавший широкое поле вмешательству харистикариев во внутренние монастырские порядки, представлял возможность честолюбивым монахам посредством подкупов и взяток делаться игуменами. Разумеется, игумены, получившие власть подобным образом, были потом безответны перед теми же харистикариями, которые не стеснялись отдавать им приказания через своих управляющих или посылать им письменные повеления о пострижении того или другого в монахи.[3] Монашеский обет предписывал нестяжательность: между тем тогдашние монахи величайшее благополучие полагали в богатстве и чрезвычайно падки были на деньги. Все усердие обращено было на увеличение монастырских имуществ и извлечение из них возможно бóльших доходов. Евстафий Фессалоникийский рисует мрачную картину обирания мирских людей монахами, — как разбогатевшего мирянина всячески заманивают, сначала предлагают угощение, вкусные кушанья и напитки, затем пускают в ход духовную приманку, говорят о воздержании, бодрствовании, хвалятся видениями, богоявлениями и чудотворениями; очаровав таким образом слушателя, привлекают его к пострижению, и если встречают с его стороны нерешительность вследствие суровости монастырской жизни, спешат убедить, что его ожидает беструдная святость, спасение без пота, невозбранный вход в рай; всеми этими соблазнами уловляют в свои сети достояние человека, его имения и деньги, а как скоро цель достигнута, не обращают уже на него внимания, отпускают на все четыре стороны, без имения и без денег, предоставляя однако же новопостриженному монаху вновь заняться оборотами и нажить

[1] Этот порок часто обличается у Симеона Нового Богослова и других. См.: PG, CXX, 336, 369, 395.

[2] PG, CXX, 434 (24-е слово Симеона Нового Богослова).

[3] *Cotelerii*, I. 181.

состояние.[1] Хотя Евстафий — писатель XII в., однако же нарисованная им картина применима и к монахам XI в., любостяжание которых, стремление к накоплению монастырских имуществ в размерах, превосходивших монашеские потребности, обращало внимание и проповедников, и историков, и политиков, вызывало даже соответствующие административные меры. Обет отречения от плоти, от сродников, от мира тоже находился в противоречии с действительным поведением монахов. Можно думать, что Пселл, в каноне Иакову, монаху монастыря Синкелла, о содержании которого легко судить по акростиху, преувеличил в пылу раздражения невоздержность монашеского жития, приверженность к пьянству;[2] еще большее преувеличение можно усматривать в его письме к монаху Феревию, который, по словам Пселла, не имел ни скромности на лице, ни нрава покорного, предан был гаданиям, игре в кости, угождал чреву, устраивал пирушки, находился в сношениях с флейтистками, услаждал себя музыкой и чуть сам не участвовал в хороводах.[3] Но помимо этого, и в произведениях авторов, не имевших никаких побуждений преувеличивать, заботившихся лишь об исправлении пороков, находим подтверждение тому, что монахи в своей жизни преданы были угождению плоти, не разрывали с поступлением в монашество родственных уз и мирских связей, охотно вмешивались в дела, непристойные монахам. Симеон Новый Богослов укоряет монахов за то, что они, приняв монашество, прилепляются к нечестию более, чем миряне, вместо того чтобы переносить голод, жажду и тяготу, не стыдятся ради куска хлеба совершать вещи постыдные, отрекшись от всего мирского, от родителей, братьев, друзей, не перестают кормить их монастырским хлебом, решившись удаляться от мира как от своего врага, любят мирян и мирское более, чем самого Христа.[4] Вмешательство монахов в мирские дела заслуживает особенного внимания, так как здесь выясняется для нас вопрос о степени влияния монашества на византийское общество и государство.

Монахи не любили заключаться в стенах монастырей. Многие из них, преисполненные, по словам историка, честолюбия и корыстолюбия, лицемеры в душе, хотя с виду посланники Божии, вращались среди людей,

[1] Ж. М. Н. Пр., CII, 435–436.

[2] *Psell.*, V, 177–181.

[3] *Psell.*, V, 426–427.

[4] PG, CXX, 457. В сане игумена монастыря св. Маманта Симеон Новый Богослов все старания прилагал к тому, чтобы отучить монахов от обычая держать особый стол и чтобы заставить довольствоваться монастырской трапезой. См.: Душеполезное Чтение, 1877, февр., 181.

одетые в монашескую одежду, нося на теле вериги, с ногами грязными, руками заскорузлыми, располагались отдыхать на шкуре, клали под голову камень и своим аскетизмом, своими речами многих увлекали; они вели себя наподобие каких-то полубогов, предсказывали будущее, кому уменьшали пределы жизни, кому увеличивали.[1] Ни одно публичное торжество не обходилось без участия монахов; как скоро скапливалась толпа, появлялись и монахи, вмешивавшиеся в толпу. Историк, описывая въезд Исаака Комнина в столицу, замечает, что он отличался необыкновенным блеском, не только простой народ, не только сенаторы, земледельцы и купцы приняли участие в торжестве, но также люди, преданные высшей философии, обитающие на вершинах гор, в ущельях скал или под открытым небом, как анахореты, так и ведущие общежительный образ жизни, — все они вышли из ущелий, спустились с возвышенностей, расстались с голубым сводом неба и пришли смотреть на царский въезд.[2] Монахам воспрещено было посещать общественные увеселения, ипподром, театры. Они и не доходили до такого соблазна, чтобы присутствовать на зрелищах, но посетить свадьбу с ее играми, песнями и двусмысленными обрядами не отказывались, рискуя даже своей черной одеждой смутить веселое настроение гостей и послужить для легковерных дурным предзнаменованием.[3] Не ограничиваясь городскими площадями и домами частных лиц, монахи проникали и в царские чертоги, у всех встречая радушный прием, в том числе у членов царского семейства. Некоторые императоры известны своей преданностью монахам, преимущественно те, на совести которых лежало много грехов. Из нашего периода наибольшую приверженность к монахам питал Михаил Пафлагон, путь которого к престолу весь был устлан грехом. Он не разлучался с монахом Косьмой Цинцулуком, постоянно руководствовался его наставлениями,[4] угождал и другим монахам, отовсюду к нему приходившим, приветливо их встречал, сам обмывал их грязные ноги или прислуживал при обмывании, укладывал в свою постель, а себя покрывал их лохмотьями и ложился на полу, на ковре, с жестким камнем под головой. У монахов он выпрашивал обещание, что они будут предстательствовать за него перед Богом об отпущении его грехов. Многие давали обещание, но некоторые воздерживались, боясь, чтобы император не совершил какого-нибудь греха и в оправдание свое не ссылался бы потом на молитвенное заступничество

[1] *Psell.*, IV, 207–208; V, 22–24.
[2] *Psell.*, IV, 232.
[3] *Psell.*, V, 320, 322.
[4] *Cedr.*, II, 533 (*Ioel*, 62).

монахов. Богатая милостыня, раздаваемая им монахам из специальной кассы, основание монастырей и другие благочестивые дела не удовлетворили всех монахов, перед которыми он, как полагали, исповедал свой грех прелюбодеяния и цареубийства. Пафлагону не без основания выставляли на вид, что он считает Бога слишком простым и неправосудным, если полагает, что возможно купить себе прощение казенными деньгами; добрые дела, говорили ему, тогда только возымеют силу, если он откажется от всякого непотребства, сложит с себя царское достоинство и в уединении оплачет свой грех. Внушения не остались бесплодными.[1] Константина Мономаха, человека небезупречного в нравственном отношении, панегирист его тоже восхваляет за монахолюбие, видя в этом его качестве признак глубокого смирения; панегирист призывает в свидетели гору Синай, Гимеон, высокий Афон, обуреваемый ветрами Олимп и предлагает подтвердить истинность его слов, что герой его, Мономах, хотя сам не искал гостеприимства в этих центрах подвижничества, однако же всех оттуда приходивших радушно принимал, окрылял их подвижнические порывы, лобызал их немытые волосы и их власяницу ставил выше порфиры.[2] У Феодоры, преемницы Мономаха на царском престоле, монахи пользовались большим почетом вследствие того, что сумели отгадать ее слабую сторону, боязнь смерти, и воспользоваться ею: они усердно предсказывали Феодоре бесконечные годы жизни и поэтому всегда были желанными для нее гостями.[3] Наконец и Константина Дуку историки называют императором-монахолюбцем (φιλομόναχος).[4]

Вращаясь в мире, монахи не стеснялись предаваться и мирским занятиям. Торговля была весьма обыкновенным у них делом. Афонский устав, утвержденный Константином Мономахом, служит официальным доказательством, что афонские игумены и монахи, построив мачтовые лодки, скупали на Афоне вино и иные произведения, отплывали в Византию и другие города и, как купцы, торговали этими предметами; некоторые монахи нагружали на Афоне суда строевым лесом, досками, смолой, и все это увозили для продажи мирянам. Новый устав торговлю лесом вовсе запретил, а на торговлю другими предметами наложил ограничения.[5]

---

[1] *Psell.*, IV, 56, 66–67 (*Zon.*, IV, 143); *Cedr.*, II, 513 (*Zon.*, IV, 144; *Glyc.*, 587–588). Ср. выше, с. 147–148, а также кн. I, с. 148, 441.

[2] *Psell.*, V, 115.

[3] *Psell.*, IV, 206, 208.

[4] *Attal.*, 76 (*Scyl.*, 652; *Zon.*, IV, 198; *Ephr.*, 142).

[5] *Преосв. Порфирий.* История Афона//Труды Киев. **Духовн. академии,** 1873, янв., 17–22.

Из афонского устава не видно, чтобы барыши поступали не в пользу монастырей, а в собственность отдельных монахов и их родни. Но мы имеем указания, что и отдельные монахи занимались торговыми оборотами, в видах собственного обогащения и для удовлетворения семейных нужд. Об одном таком монахе-коммерсанте, Илии, знаем из двух рекомендательных писем, которыми он снабжен был Пселлом. Пселл объяснял администратору, благосклонному вниманию которого поручал Илию, что этот человек — нечто среднее между монахом и купцом, рад бы он вознестись к небу, да встречает препятствие в том, что на нем покоятся надежды матери и целой семьи. И вот он принужден постоянно путешествовать, то на север, то на юг, то на восток, то на запад. Не любознательность руководит им, не желание узнать, на каком расстоянии лежит Фула британцев, каким образом прославленный Океан омывает землю, какие эфиопы живут на востоке, какие на западе, вся его забота к тому устремлена, чтобы в одном месте получить товар, в другом продать и на вырученные деньги пропитать мать и толпу родственников. Монах Илия, замечает Пселл, мастер на все руки: он тебе споет священный гимн, а потом попляшет и от дорийской песенки перейдет к фригийской, если же ты обнаружишь недовольство, он опять перескочит на первоначальный лад: одну минуту глаза у него неподвижны, руки скромно покоятся на груди, ноги составлены вместе, но он многообразен, как мифический Протей, — вдруг зарычит по-львиному и запрыгает как обезьяна.[1]

Монахов нередко можно было видеть в судах защищающими чужие дела. По этому поводу патриарх Иоанн Ксифилин издал в 1070 г. определение, которым строго воспрещалось монахам, как и вообще духовным лицам, быть ходатаями по делам в судах светских и духовных. Исключение делалось только для тех случаев, когда они выступали на суде в качестве защитников церковных интересов, по особому патриаршему повелению. Это определение, объявленное тем, кого оно более всего касалось, было также сообщено светским судьям, дабы они не допускали впредь ходатаев-монахов и клириков.[2]

Наконец, для монахов не было закрыто и политическое поприще. Начать с того, что пострижение не служило неодолимым препятствием ко вступлению на императорский престол. Феодора была пострижена[3] Зоей, однако же считалась до смерти Мономаха императрицей и после его смерти царствовала самодержавно. Зоя была пострижена Калафа-

[1] *Psell.*, V, 402–404.
[2] PG, CXIX, 760–761.
[3] *Cedr.*, II, 498.

том,[1] однако же это не помешало ей заменить опять монашескую одежду порфирой, выйти в третий раз замуж и оставаться на троне до самой смерти. Константин Далассин тоже был пострижен Калафатом,[2] однако же когда поднялся вопрос о замужестве Зои и о кандидатах на ее руку, а с рукой и на императорский престол, выдвинут был и Далассин, если же он был отвергнут, то не потому, что одет был в монашеское платье. Если доступ к императорскому трону не был прегражден для монахов, то тем более не были закрыты для них государственные должности. Мы видим, что монахи занимают места первых министров, например, Иоанн Орфанотроф при Михаиле Пафлагоне и в начале царствования Калафата, Лев Параспондил при Феодоре и Стратиотике, Михаил Никомидийский при Вотаниате; монахи исправляют придворные должности, поступают на службу по центральному и областному управлению, например, Иоанн, протонотарий дрома, синкелл Василий, катепан Болгарии.[3] Монахи нередко были послами, руководителями военных и других предприятий. Пселл был монахом в то время, когда ездил послом от Стратиотика к Исааку Комнину. При Алексее Комнине, по желанию его матери, во всех походах находился монах Иоанникий (или Симеон), настоятель Ксенофонтова монастыря на Афоне: он сопровождал Комнина, между прочим, в походе против Никифора Василакия, присматривал за его палаткой, съестными припасами и другими принадлежностями домашнего обихода, во время неудачного ночного нападения Василакий одного его нашел в палатке Комнина, когда же затем Василакий заперся в Фессалонике, послом к нему от Комнина с предложением сдаться самому и сдать город был тот же монах.[4] Кесарь Иоанн Дука, постригшийся при Парапинаке, принимал деятельное участие в восстании Алексея Комнина против Вотаниата, добыл ему денег, вместе с ним явился под стенами столицы, мимо ушей пропуская насмешки византийцев, которые со стен кричали ему «авва» и прибавляли еще какое-то словцо, о котором стыдливая Анна[5] умалчивает; ему принадлежал план взятия Константинополя с помощью подкупа, он же, при содействии патриарха Косьмы, спас дело Комнина в последнюю и самую опасную минуту. Вмешиваясь в дела политические, монахи, понятно, должны были нести и все последствия своего вмешательства, а каковы иногда были эти последствия, можно судить по

[1] *Cedr.*, II, 536, 538; *Psell.*, 94–95.
[2] *Psell.*, IV, 109.
[3] См. выше, кн. I, с. 313, 363.
[4] *Bryenn.*, 150, 155; *Anna*, I, 41, 43, 47.
[5] *Anna*, I, 119.

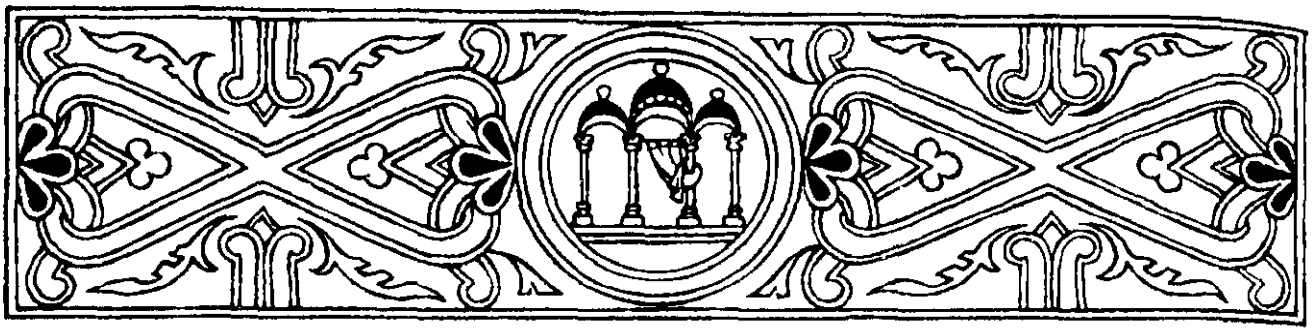
примеру монаха Захарии, которому при Константине VIII был отрезан язык за участие в политическом заговоре.[1]

Указанные особенности монашества находятся в противоречии с монашескими идеями и не найдут себе оправдания ни в одном монастырском уставе. Но если в этом отношении они являются аномалиями, то нельзя в то же время не согласиться, что рассматриваемые в связи со всем строем тогдашней жизни, они были в известной мере необходимыми, а именно стояли в зависимости от умножения монастырей и обстоятельств, обусловливавших умножение. Число монастырей было слишком велико, значительный контингент монашествующих состоял из людей, принявших монашество против воли, под давлением посторонней силы и внешних обстоятельств. Увеличение монастырей и монахов с давних пор вызывало в среде государственных деятелей сетования на потери, какие через это несет государство, лишающееся рабочих рук и интеллигентных сил в лице людей, отрекающихся от мира. Сетования не умолкали вплоть до XI в., не ограничиваясь голословными жалобами, но пробиваясь в репрессалиях иконоборцев и в законодательных мероприятиях императоров Македонского периода. Ничто не помогло, — ни иконоборческие экзекуции, ни противомонастырские законы не остановили умножения монастырей, а между тем сетования, некогда так громко раздававшиеся, в XI веке стихают. Очевидно, стихают они потому, что история указала более приложимый на практике и более целесообразный способ предотвращать нежелательные для государства последствия чрезмерного развития монашества. Таким способом, помимо практиковавшейся изредка секуляризации монастырских имуществ, было главным образом привлечение монахов на службу государству и обществу, привлечение чуждое всякой принудительности, но прекрасно достигавшее цели, которая состояла в том, чтобы люди таланта, обладавшие государственными и общественными способностями, не были погребаемы при жизни в стенах монастырей, но приносили пользу отечеству и ближним, хотя бы и с нарушением церковных постановлений. Состав монашества, слагавшегося из монахов добровольных и невольных, из постриженников по призванию и по принуждению, прямому или косвенному, облегчал привлечение монахов к участию в мирских делах: подневольные постриженники не мирились с непривычной им сферой, исполнение скромных и мирных монашеских обязанностей не удовлетворяло их, они и после пострижения стремились в мир, искали за монастырскими стенами более для них сродной и более соответствовавшей их склонностям деятельности и легко находили приложение для своих сил и энергии.

[1] *Cedr.*, II, 489.

Тесное общение монахов с миром имеет, таким образом, свое оправдание в законе исторической необходимости. Рассматриваемое со стороны влияния на монашество, как теоретическое направление, явление это тоже не лишено значения. Оно должно было содействовать уравновешению двух крайних взглядов на отношение частей человеческой природы — духовной и физической. Представители аскетического, ультрамонашеского взгляда уничижали физическую природу человека, люди светские на ней главным образом сосредоточивали внимание; кому же было соглашать крайности, устанавливать гармонию, как не людям, представлявшим собой нечто среднее, полумонахов-полумирян? Один из таких людей, Пселл, высказывает следующий вполне христианский взгляд на предмет: «Знаю, что многие крайние мыслители (имеются в виду монахию. — *Н. С.*) ни во что ставят телесную красоту, уважают только лучшую и важнейшую часть природы, возвышенность ума, твердость мысли, благородство души, проницательность, постоянство и вообще качества, которыми украшается внутренний человек. Я же вот как полагаю и как думаю об этом. Если две половины, душа и тело, соперничают в красоте, душа выступает со своей доблестью, тело — со своим благообразием, то хотя бы соперники не были равносильны, но тело затмевало блеском душу, я отдаю пальму первенства душе с ее малой красотой перед телом с его большой красотой. Если же сравниваются между собой два человека, из которых один блистает душевными прелестями, но имеет неприятную наружность, а другой, при таких же душевных качествах, цветет еще телесной красотой, я признаю победу за этим последним. Хотя телесная красота представляется как бы излишней для душевной добродетели, однако же такое суждение приложимо только при рассмотрении обеих природ в отдельности; если же они соединены, то гармоническое их соединение лучше, чем преобладание одной стороны».[1]

[1] *Psell.*, IV, 308.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Литература. I. Истории, записки, хроники и летописи: А) греческие: Михаила Пселла, Михаила Атталиота, Иоанна Скилицы, Георгия Кедрина, Иоанна Зонары, Никифора Вриенния, Анны Комнины, Михаила Глики, Константина Манасси, Иоила, Ефрема, Продолжателя Георгия, списателя болгарских архиепископов, Кодина; Б) латинские: Барийского анналиста, Лупа Протоспафария, Анонима Барийского, Амата, Льва Остийского, Петра Диакона, Анонима Касинского, Вильгельма Апулийского, Готфрида Малатерры, сицилийского историка, краткого норманнского хрониста, Ромуальда Салернского, Амальфийского хрониста, Андрея Дандоло, Беневентского анналиста, Германа Расслабленного, Адама Бременского, Ламберта Герсфельдского, Сигеберта Гемблурского, Ордерика Виталиса, Вильгельма Тирского, Пресвитера Диоклейского; В) восточные: Аристакеса Ластивертского, Матвея Эдесского, Самуила Анийского, Киракоса Гандзакского, Вардана Великого, Мехитара Айриванкского, Стефана Орбелиани, грузинского летописца, Михаила Сирийского, Яхъи Антиохийского, ал-Макина, Ибр-ал-Атира, Абу-л-Феды, Абу-л-Фараджа. II. Слова, речи, биографии, жития и т. п.: А) греческие: Симеона Нового Богослова, Иоанна Ксифилина, Михаила Пселла, Иоанна Мавропода, Никиты Стифата, Иоанна Антиохийского, монаха Никона, Феофилакта Болгарского, византийского боярина; Б) латинские: Випона, Виберта, Бензона, Петра Дамиани, житие Макария Антиохийского, Бертольда, Маврикия, сказания, саги. III. Послания и письма: Михаила Пселла, Иоанна Мавропода, Михаила Керуллария, Петра Антиохийского, Льва IX, Григория VII. IV. Законодательные акты и официальные бумаги: новеллы и хрисовулы императоров — Константина VIII, Константина IX Мономаха, Исаака Комнина, Константина Дуки, Михаила Парапинака, Никифора Вотаниата, определения патриархов — Алексия, Михаила Керуллария, Иоанна Ксифилина, монастырские акты, постановление по делу Пселла, Πεῖρα, докладная записка легатов, булла Льва IX, акт Римского собора, грамоты и привилегии — Трани, Амальфи, Неаполя, Далматии и Хорватии. V. Надписи на вещественных памятниках.

Глава I. Императоры от смерти Василия II Болгаробойцы до прекращения Македонской династии. Константин VIII: его характеристика; агитация против Македонской династии; заговор Никифора Комнина; дочери Константина VIII; вопрос о престолонаследии. Роман III Аргир: генеалогия; брак с Зоей; характеристика; причины натянутых отношений к свояченице и жене; Феодора, как центр оппозиции; элементы оппозиции; перипетии заговора; пафлагонский род; интрига Иоанна Орфанотрофа; болезнь и смерть Романа; вопрос о виновниках его смерти. Михаил IV Пафлагон: его характеристика; правительственная система и положение Зои; недовольство аристократии и простого народа; дело Константина Далассина; заговор Керулллария; заговор в Месанактах; возведение Михаила Калафата в кесари; его характеристика; пострижение и смерть Пафлагона. Михаил V Калафат: неопределенность показаний об его царствовании; обстоятельства вступления его на престол; намерения и политика Калафата; удаление Зои; народный бунт и ослепление Калафата. Зоя и Феодора: вопрос о замужестве; кандидаты для Зои. Константин IX Мономах: его генеалогия и первоначальная судьба; характеристика; Склирена и аланка; народное смятение по поводу Склирены; возмущение Маниака; дело Льва Лампроса; восстание Льва Торника; замыслы неизвестного и Романа Боилы, смерть Мономаха. Феодора: кандидатура Никифора Протевона; положение партий при Феодоре; вопрос о преемнике.

Глава II. Императоры от прекращения Македонской династии до воцарения Алексея I Комнина. Михаил VI Стратиотик; предприятие Феодосия Мономаха; возмущение стратигов; битва близ Никеи; переговоры правительства с бунтовщиками; низвержение Стратиотика. Исаак Комнин: его генеалогия; характеристика; внутренняя политика; болезнь и отречение от престола. Константин X Дука: его генеалогия; предшествующая судьба; интрига в пользу его Пселла; политика Дуки; партия патриотов и заговор; болезнь и смерть Дуки. Евдокия: легендарность известия о подписке; усиление и успех партии патриотов. Роман IV Диоген: деятельность его до возведения на престол; обстоятельства вступления на престол; враждебная Диогену партия; его приверженцы; плен, низвержение и ослепление. Михаил VII Парапинак: его характеристика; деятельность Никифорицы; узурпаторство кесаря Иоанна Дуки; восстание Никифора Вриенния; восстание Вотаниата. Никифор Вотаниат: его генеалогия, предшествующая судьба; узурпаторство; вступление на престол; политика; брак с Марией; претендентство Никифора Вриенния, Никифора Василакия, Константина Дуки, Никифора Мелиссина, Алексея Комнина; приверженцы Алексея при дворе и в войске, его провозглашение, занятие столицы, воцарение.

Глава III. Центральное управление. Положение императорской власти. Отсутствие закономерного порядка престолонаследия. Система сотоварищества, избрание и назначение преемника престола царствующим государем. Участие народа. Формы обращения к народной воле. Придворный этикет и церемонии. Культ императоров. Высочайшие выходы. Чиновная иерархия. Сенаторские чины, светские и духовные. Способы приобретения чинов. Руга. Должности, их аналогия с чинами. Взяточничество. Подготовка и способы занятия должностей. Продолжительность службы. Придворное ведомство. Препозит и протовестиарий. Второстепенные придворные должности. Секреты: протоасикрита, логофета дрома, великого сакеллария, логофета общих дел, военного логофета, царской сакеллы, монастырской экономии, приватных дел, министра юстиции. Первый министр. Ведомство эпарха.

Глава IV. Областное управление. Образование фем. Градация фем, дуки, катепаны, стратиги. Турмы. Протонотараты. Численность фем. Антиохия. Телух. Поевфратские города. Мелитина. Месопотамия. Тарон. Васпуракан. Иверия. Феодосиополь. Халдия. Армениак. Пафлагония. Букелларий. Оптиматы. Опсикий. Абид. Эгей. Хиос. Самос. Фракисий. Кивирреот. Кипр. Анатолик. Каппадокия. Харсий. Ликанд. Колония. Италия. Далматия. Сербия. Диррахий. Никополь. Пелопоннес и Эллада. Фессалоника. Македония. Болгария. Придунайские города. Белград-Сирмий.

Глава V. Общество и экономические условия его быта. Значение славянского гения. Судьба муниципального устройства. Начала народного выбора и корпоративности. Чиновная аристократия. Колонат. Вольное крестьянство. Земледельческий закон. Парики и общинники, убогие. Борьба властителей с убогими. Новеллы X в. Πεῖρα о властелях и убогих. Условия, благоприятствовавшие крестьянам и властелям. Прекарно-бенефициальная система. Харистикарная система, ее значение, злоупотребления. Дары убогих властелям. Пронии; их влияние на положение крестьян.

Глава VI. Финансы. Вопрос о платежных силах и гарантии. Организация податной системы. Бюджетный период, писцовые книги. Подати поземельная и поголовная. Добавочные статьи. Натуральные повинности: в связи с военным делом, государственной почтой и кормлением должностных лиц. Списание недоимок. Взимание даней узурпаторами и мятежниками. Злоупотребления сборщиков. Экстренные источники доходов: отчисление в казну частных и церковных имуществ, государственная монополия, чеканка низкопробной монеты. Отношение между доходами и расходами. Характер расходов.

Глава VII. Войско. Значение воинских участков, их происхождение, судьба. Участок как место постоянной оседлости стратиота. Снаряжение.

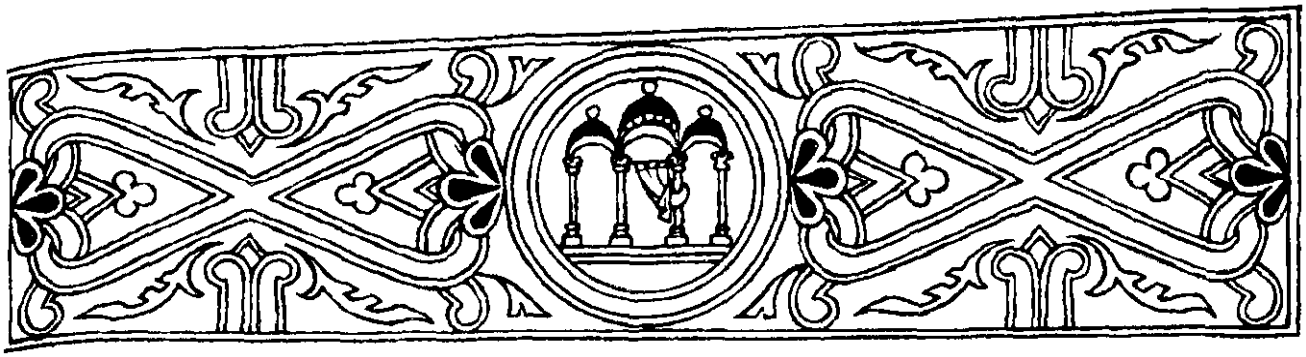
Продовольствие и жалованье. Упадок военной дисциплины. Группировка естественная и искусственная. Тагмы. Лохи. Стратиги и лохаги. Морские фемы. Друнгарий флотов. Императорский флот. Доместики схол. Стратилаты и стратопедархи. Тагмы схол и стратилатов. Аллагий. Бессмертные и хоматинцы. Наемное войско. Лейб-гвардия. Экскувиты и варяги. Состав варяжского корпуса. Союзное войско народов. Французские норманны. Немцы. Арабы, грузины, турки. Армяне, павликиане, узо-печенеги, албанцы. Этнарх. Стратиг-автократор. Триумф.

Глава VIII. Суд. Инстанции. Императорский суд. Реляции, апелляции и супликации. Судьи вила на ипподроме. Столичный гражданский суд. Дикастирии: друнгария виглы, министра юстиции, квестора, эпарха. Областной гражданский суд. Военный суд. Войсковые судьи. Духовный суд. Судебная процедура, доказательства и наказания. Принципы равенства, правды и милости.

Глава IX. Церковь. Союз государства и Церкви. Положение Константинопольского патриарха. Синод. Секреты. Вступление патриархов на престол. Церковная иерархия. Патриархи: Алексий; Михаил Керулларий; Константин Лихуд; Иоанн Ксифилин; Косьма. Подчиненные Константинопольскому патриарху митрополии: Кесария, Ефес, Ираклия, Анкира, Кизик, Сарды, Никомидия, Никея, Халкидон, Сид, Севастия, Амасия, Мелитина, Тианы, Гангра, Фессалоника, Клавдиополь, Неокесария, Писинунт, Миры, Кария, Лаодикия, Синнады, Иконий, Антиохия, Силей, Коринф, Афины, Мокисс, Крит, Селевкия, Калабрия, Патры, Трапезунт, Ларисса, Навпакт, Филиппополь, Траянополь, Родос, Филиппы, Адрианополь, Иераполь, Диррахий, Смирна, Катана, Аморий, Камах, Котиаий, Свято-Севериана, Митилина, Ново-Патры, Евхаиты, Амастрида, Хоны, Гидрунт, Келтцина, Колония, Фивы, Серры, Помпеиополь, Россия, Алания, Энос, Тивериуполь, Керасунт, Наколия, Германия, Мадит, Апамея, Василия, Дристра, Назианз, Керкиры, Абид, Мефимна, Христианополь, Русий, Лакедемон, Наксос, Атталия. Архиепископии: Визия, Леонтополь, Марония, Гермии, Аркадиополь, Парий, Милит, Приконис, Силимврия, Кий, Апр, Кипселлы, Ника, Неаполь, Селга, Херсон, Месина, Гарелла, Врисис, Деркос, Каравизия, Лимн, Левкад, Мисфия, Кудры, Сотириополь, Пидахфон, Герма, Боспор, Котрадия, Эроина, Карпаф, Месимврия, Готфия, Сугдия, Фуллы, Эгина, Фарсалы. Метрахи, Зикхия. Патриархат Антиохийский. Архиепископия Болгарская. Патриархаты Александрийский и Иерусалимский.

Глава X. Монашество. Умножение монастырей в связи с особенностями политического строя, экономическими и религиозными мотивами. Вновь основанные монастыри: Перивлепт, Косьмы и Дамиана, св. велико-

муч. Георгия, Антифонита и др. Применение корпоративного начала к устройству монастырей. Монастыри царские, ставропигиальные, епархиальные, частных лиц и общин, независимые. Монастырские уставы. Типик Михаила Атталиота. Примеры подвижничества: Симеон Новый Богослов, Дорофей, Иоанн Мавропод, Никита Стифат, Всесвятый, Феодоты. Степень выполнения монахами монашеских обетов. Влияние монашества на византийское общество и государство. Вмешательство монахов в мирские дела со стороны своего происхождения и значения.



Византийская наука и школы в XI веке*

В истории византийского образования XI в. был временем сравнительного процветания науки и школ. Византия в то время не считала своей задачей военную славу, государи ее, начиная с Константина VIII, преемника Василия Болгаробойцы, предпочитали мирные занятия воинским подвигам, и музы, безмолвствующие тогда, когда гремит оружие (inter arma silent musae), не оставались немы, коль скоро меч был вложен в ножны. В деле умственного оживления и подъема школьной науки видное место принадлежит царствованию Константина Мономаха и деятелям его царствования. Издание сочинений Пселла ученым Сафой[1] много содействовало освещению царствования Мономаха с этой стороны. Но труды Пселла, изданные Сафой, могут привести и к некоторым односторонним суждениям, как доказал сам издатель,[2] поверивший на слово Пселлу и проведший слишком резкую грань между состоянием византийской образованности до Мономаха и состоянием ее при Мономахе.

В интересах установления правильного взгляда на состояние византийской образованности как во вторую, так и в первую половину XI в. (после Мономаха и до него), картина, начертанная Пселлом, не лишена значения, но на нее необходимо смотреть при надлежащем свете. Из слов Пселла легко вывести заключение, что в первой половине XI в. науки были заброшены и в школах не преподавались. «В старое время, — говорит он в панегирике Иоанну Ксифилину, — в нашем городе (Византии) были училища и преподавание наук и искусств, существовали знаменитые кафедры не только пиитики, но риторики и философии, о юриспруденции (νομικῆς) у многих заботы было меньше. Но времена и обстоятельства изменились к худшему, и светочи наук почти погасли. Общественные

---

* Впервые опубликовано в журнале «Христианское Чтение» (1884, март-апрель. С. 344–369; май-июнь. С. 730–770).

[1] *Sathas*. Bibliotheca graeca medii aevi. V. IV–V. Paris, 1874, 1876.

[2] В прологе к IV тому.

зрелища процветают, судья игр председательствует на них, существуют искусные борцы, а арены (ἀγῶνες) наук не оправдывают своего названия, и лишь в тиши некоторые нашептывают себе науки. Водящих хороводы много, но нет запевалы (κορυφαῖος) хора, толпа поет все в такт, без рифмы, не умеет хорошо составить строфу и стройно пропеть эпод».[1] «Вся почти Эллада, — говорит он в другом панегирике, Иоанну Италу,[2] — и колония ее Иония утратили отцовское наследство, жребий достался ассирийцам, мидянам и египтянам. До того изменился порядок вещей, что эллины превратились в варваров, а варвары — в эллинов. Если бы случилось, что эллин пришел в Сузу и Экбатану, древнюю резиденцию Дария, и присоединился к вавилонянам, то он услышал бы, чего не слышал в Элладе, с удивлением взирал бы на мужей, и тогда впервые узнал бы, что такое всеобщая мудрость. А если бы какой-нибудь варвар забрел в Элладу или в любую нашу страну и вступил в беседу, он нашел бы многих, не скажу полуослов, но настоящих ослов; потому что многие и наполовину не знают ни природы, ни того, что выше природы. Остальные же полагают, что знают, а не знают даже дороги к знанию. Из так называемых философов многие состоят в разряде учеников, некоторые же восседают с торжественным видом и объемистой бородой, бледные и угрюмые, с насупленными бровями и донельзя грязные, колупают Аристотеля и снаружи, и изнутри, воображая, что отгадывают скрытое во мраке неведения и считая нужным краткую путаницу раскрывать пространными речами, или же отделываться от непонятного немногими словами». «Я, — говорит о себе Пселл, — не встретил достойных дидаскалов, искал и не нашел даже зерна мудрости ни в Элладе, ни у варваров. Поскольку же я в Элладе много слышал о философии, изучил ее в афоризмах и простых положениях, то опираясь на них, как на колонны, искал большего и встретил некоторых истолкователей знания, от которых узнал путь к знанию, причем каждый из них указывал иную дорогу, — один к Аристотелю, другой к Платону... Ныне ни Афины, ни Никомидия, ни Александрия в Египте, ни Финикия, ни второй Рим (ибо что касается первого, то он уступает, второй его превосходит), ни один вообще город не славится науками; эти золотые, серебряные и другие не столь ценные россыпи лежат сокрытые для всех».[3] Для полноты следует еще привести слова Пселла о царствовании Василия II и Романа III. По поводу пренебрежения Василия II к ученым он замечает: «Для меня удивительно, что при таком презрении царя к ученым

[1] *Psell.*, apud Sathas, IV, 433.

[2] Не издан вполне, но отрывок приведен у Сафы. См.: *Psell.*, IV, XLVII–XLVIII.

[3] *Psell.*, IV, 120, 123.

занятиям в те времена было немалое оживление среди философов и риторов. Единственное вероятное объяснение этого странного явления я нахожу в том, что тогда люди не пользовались науками для иной какой-нибудь цели, занимались ими ради их самих. Но многие из ученых (παρὰ τὴν παίδευσιν) — да будет им стыдно — не так поступают, высшей целью наук они полагают пользу, или, лучше, только ради ее занимаются науками, и как скоро цель достигнута, прекращают занятия».[1] Говоря о Романе Аргире, что он откапывал всякую искру мудрости, скрывавшуюся под спудом, собирал философов, риторов и тех, которые занимались, или, вернее, думали, что занимаются науками, Пселл прибавляет: «В то время было немного ученых, и те стояли у Аристотелевых преддверий, лишь прикоснулись устами Платоновых символов, но не знали ничего сокровенного, не знакомы были также с диалектикой и аподиктикой. Оттого, не обладая основательным мышлением, они не оправдывали ожиданий. Наши ученые занимались пикантными исследованиями, а многие вопросы, приводящие в недоумение, оставались неразрешенными. Исследовали, каким образом в одно время может быть нетленность и соединение, дева и рождающая, и другие сверхъестественные предметы».[2]

Мы привели все важнейшие места из Пселла, имеющие отношение к характеристике общего уровня образования, чтобы из сопоставления их виднее была истина и легче было избежать односторонности. Прежде всего оказывается, что неблагоприятный для греков отзыв об уровне их образованности сравнительно с арабами есть результат риторического преувеличения, потому что в одном месте автор превозносит образованность варваров, в другом же заявляет, что не нашел науки ни у греков, ни у варваров, что и Александрия, подобно всем остальным городам, не славится науками; затем, говоря о Греции без отношения ее к другим государствам и народам, Пселл тоже обнаруживает стремление вдаваться в гиперболу, которую сам же против воли разоблачает. Он желал бы убедить, что науки для всех закрыты, но в то же время должен сознаться, что население как бы распадается на две части, из которых одна совершенно не образованна, а в другой имеются и философы, и риторы, и другие ученые; в среде ее процветали мужи науки при Василии II и при Романе III, ученость которых не шла далеко, обращаясь на Аристотеля и разрешение схоластических вопросов. Чтобы правильно оценить все шероховатости и противоречия в словах Пселла, необходимо иметь в виду два мотива, руководившие его пером при изображении состояния наук: его желание

[1] *Psell.*, IV, 18.

[2] *Psell.*, IV, 30–31.

возвысить собственную свою заслугу и его нерасположение к Аристотелевой философии. Пселл был преисполнен сознания своих заслуг на научном и преподавательском поприще. Он был убежден и других желал убедить, что ему принадлежит слава восстановления и оживления науки, что он нашел науку умирающей, если не умершей, и поднял ее из мертвых; что до него источники мудрости были засорены, а он их очистил и стал поить желающих чистыми водами знания, ничего с них не взимая за это сокровище.[1] Тенденция Пселла естественно повела его к некоторому утрированию. Он, разумеется, не чужд был заслуги перед школой и наукой, заслугу его не может оспаривать потомство, не могли отрицать и современники. Потомство может судить о ней приблизительно, а современники видели воочию на тех результатах, какие получались от деятельности Пселла. Желая возвысить свою заслугу в общем мнении, Пселл мог это сделать только преувеличив результаты, не в смысле их безотносительной оценки (что было невозможно, так как факт был налицо), но по сравнению с предшествующим временем. Это привело к умалению наук прежнего времени: чем большее процветание автор желал приписать последующему времени, тем ярче он должен был изображать предшествующий упадок. В вышеприведенных отзывах Пселл рисует положение вещей до того момента, как он выступил на сцену в качестве дидаскала при Константине Мономахе, и мы вправе заключить, что на свою картину он наложил более мрачные краски, чем следовало. Это плод самовосхваления, пристрастия к самому себе. Другой мотив мог послужить принципиальным основанием для такого именно, вполне искреннего со стороны Пселла, согласного с его убеждением, но не вполне согласного с действительностью, взгляда на упадок науки и знания во время, предшествующее Мономаху. В XI в. ученый мир разделен был на два лагеря: на приверженцев Аристотеля и приверженцев Платона. Аристотель давно уже на христианском Востоке взял перевес над Платоном, и лагерь его приверженцев значительно превосходил числом противоположный лагерь. Авторитет Аристотеля был санкционирован систематическим применением его логики к православной догматике у Иоанна Дамаскина, на стороне предпочтения этого мыслителя Платону стояли такие ученые, как патриарх Фотий, в XI в. Аристотель имел энергичного себе защитника в лице Иоанна Ксифилина; и восстание против Аристотеля, предпочтение ему Платона считалось уже делом предосудительным, несогласным с православным учением. Тем не менее появились в среде тогдашних ученых люди, которые окрылялись платоновскими идеями и ставили, вопреки

[1] *Psell.*, IV, 120, 123.

общему убеждению, Платона неизмеримо выше Аристотеля. Обыкновенным философским направлением в школе был аристотелизм, но и в школе время от времени пробивались усилия дать торжество Платону. Из эпиграммы Иоанна Мавропода на Платона и Плутарха видно, что этот дидаскал был приверженцем Платона, которого называл и по учению, и по делам близким к законам Христа (καὶ λὸγον, καὶ τὸν τρόπον τοῖς σοῖς νόμοις ἔγγιστα προσπεφυκότες).[1] Свою преданность Платону Мавропод, без сомнения, внушил и ученикам, и он, может быть, более всего содействовал тому, что ученик его Пселл сделался преданным поклонником Платона. Преданность Пселла Платону, предпочтение этого философа Аристотелю объясняет, до некоторой степени, пренебрежительный отзыв его о состоянии образованности до Мономаха. Преобладающим направлением тогда, как это видно из слов самого же Пселла, из его свидетельства о занятиях тогдашних философов, было аристотелевское, которое так низко ставил Пселл, не считавший его истинной мудростью. Как приверженец Платона и противник Аристотеля, Пселл считал себя вправе говорить о времени, когда преобладал этот последний, как о таком, когда невозможно было отыскать зерна мудрости, когда знание умирало; о себе, восстановившем или по крайней мере желавшем восстановить авторитет Платона, он с этой точки зрения мог говорить как об ученом, очистившем источники знания и оживившем умирающую науку. Пселл-платоник делает нелестный отзыв о науке предшествующего времени; но если бы на месте платоника был аристотелик, то едва ли картина не вышла бы более светлой. Словом, философское пристрастие имело в этом случае не меньшее значение, чем пристрастие Пселла к своим заслугам как ученого и дидаскала.

Находя преувеличение в изображении Пселла, мы все-таки должны согласиться с верностью основных его мыслей. Первая половина XI в., сравнительно с днями, давно минувшими, не отличалась процветанием науки и школы, как ее рассадницы; это явление не было специфической особенностью XI в., но еще в X в. позволяло Иоанну Геометру в двустишии на человека, посетившего Элладу и одичавшего, говорить: «Не варварскую землю, но Элладу увидев, ты обратился в варвара и речью, и нравом». Понижение уровня образованности во всех областях было результатом сколько этнографических потрясений, соединенных со славянскими поселениями, столько же и давлением византийской централизации, убившей благосостояние областей как экономическое, так и интеллектуальное. Тем не менее в первой половине XI в. в областях школы

[1] PG, CXX, 1136.

существовали; картина Пселла, на фоне которой отведено место как областям, так и столице, не исключает существования школ в областях, подобно тому, как она не разрушает вескости известных фактов об их существовании в Византии. Пусть эти школы не отвечали запросам более высоких умов, для нас важно, что они были и могли удовлетворить по крайней мере элементарным требованиям людей того века. Сам же Пселл делает обмолвку, что в Элладе он изучил философию, хоть в форме его не удовлетворившей, в виде простых положений; следовательно, была какая-нибудь школа, где преподавалась философия. Не лишено также значения высказанное вскользь Пселлом замечание, что Рим уступает Византии в отношении наук. Замечание это может быть распространено и понято в смысле научного превосходства Византийской империи вообще над современной ей Западной Европой. Хотя тогдашний уровень знания в Империи оставлял желать многого, однако же в Западной Европе он был еще ниже. Сравнительный уровень был таков, что Империя могла еще разыгрывать роль учительницы по отношению к Западу, и западноевропейцы того времени в поисках науки отправлялись обыкновенно на Восток. В XI в. некто Адам, из Парижа, для завершения образования решился отправиться в Афины и в Византию. Он искал при этом не элементарного знания, но чего-нибудь побольше, так как уже обладал достаточными познаниями для того, чтобы дать повод Спалатскому епископу обратиться к нему с предложением редактировать жития далматинских святых.[1] Одним словом, можно допустить, что по отношению к науке первая половина XI в. стояла ниже второй половины и ниже тех периодов из предшествующего времени, когда знание находилось в цветущем состоянии, но невозможно согласиться, чтобы между временем до и после Мономаха существовал такой резкий контраст, какой вытекает из свидетельства Пселла. При Мономахе последовало оживление в науке, но это не значит, что до Мономаха науки совсем не существовало; школа со времен Мономаха получила более прочную постановку, но из этого не следует, чтобы она и в прежнее время находилась в полном упадке. Если еще можно говорить о полном упадке школы до Мономаха, то лишь имея в виду высшую правительственную школу, византийскую Академию, а не средние и низшие учебные заведения.

В ряду школ первое место бесспорно должно быть отведено византийской Академии, имевшей характер правительственной школы и получавшей содержание от императорских щедрот. Это последнее обстоятельство было причиной, что судьба Академии зависела от личного настроения

[1] *Thomas Archid. Lucius*, ap. Schwandtner//Scr. rer. Hungar., III, 323, 328.

того или другого императора, от отношения его к науке и ученым. Существование свое Академия получила во времена Феодосия II (425), который, основав церковь в Халкопратиях, на месте прежней еврейской синагоги,[1] основал также (как полагают, при этой церкви) учебное заведение, имевшее 28 учителей. Академия существовала до времени Фоки (602–610), который, воспретив преподавание, закрыл ее. Недолго, однако, она оставалась закрытой. Низвергнувший Фоку и занявший его место Ираклий ознаменовал свое царствование покровительством науке: при содействии ученого патриарха Сергия[2] Академия была восстановлена и снабжена учителями. Ираклий и его преемники щедро награждали учителей, кроме учительской открывали им дорогу и к политической деятельности. В течение столетия Академия процветала; при вступлении на престол Исаврийской династии она помещалась в Халкопратиях при так называемой Царской цистерне, т. е., очевидно, там же, где поместил ее еще Феодосий II, имела 12 учителей и ректора, который назывался οἰκουμενικὸς διδάσκαλος (Вселенский учитель). Лев Исавр, не найдя в учителях сочувствия и поддержки своей иконоборческой политике, поступил по меньшей мере так же, как Фока, — закрыл Академию.[3] Но мера его была не так кратковременна, как этого последнего. «С тех пор, — говорит Георгий Монах, — изучение наук, ослабленное безумием императоров наукоборцев, прекратилось до времен Михаила и Феодоры — благочестивых и правоверных царей». Хотя мера Льва Исавра не могла отклонить частных лиц от занятия науками, тем более что соперничество между партиями иконопочитателей и иконоборцев имело характер не только борьбы внешней, но и внутренней, не ограничивалось законодательными стеснениями и административными гонениями, с одной стороны, оппозицией пассивной и активной — с другой, но простиралось также на область мысли, причем противники старались друг друга опровергнуть и доказать правоту своего учения (особенно при преемниках Ирины, старавшихся держаться нейтральной политики), а, следовательно, должны были запасаться научным оружием; однако же слова Георгия Монаха не

[1] *Theoph.*, sub 5942a.

[2] *Theoph. Simoc.*, dialog.

[3] Хронисты (*Cedr.*, ed. Bonn., I, 795; *Zon.*, ed. Dindorfii, VI, 3; *Georg.*, ed. Muralt., 634) говорят, что Лев Исавр приказал учителей запереть в школе, ночью поджечь здание, и учителя вместе с Академией сгорели. Этот рассказ, верный в основной мысли — враждебности Льва к Академии и ее закрытии, — в деталях составляет позднейшую выдумку, не подкрепляемую современными событию памятниками.

лишены значения. Они верны как общая характеристика неблагоприятного отношения к науке императоров-иконоборцев и как указание времени, в течении которого не существовало византийской Академии. Имеем в виду Академию в собственном смысле, как учебное заведение с целой корпорацией преподавателей, а не как школу, имеющую одного только учителя. В этом последнем смысле возрождение началось еще при иконоборцах. Михаил Травл, при всем своем невежестве, поощрял занятие наукой, а сын его Феофил открыл публичную школу при храме св. Сорока мучеников[1] в Константинополе и поставил преподавателем в ней Льва Математика, которого потом (в 839 г.) возвел в сан архиепископа Фессалоникийского. В рассказе хронистов о побуждениях к открытию Феофилом школы фигурирует багдадский халиф Эль-Мамун, узнавший о Льве Математике от одного из его учеников, попавшего в плен к арабам, и своим пригласительным письмом обративший на Льва внимание Феофила. Разумеется, император Феофил, имевший сношения с людьми учеными (один из них был воспитателем Феофила), мог и помимо багдадского халифа знать о Льве, а как человек образованный, ценивший науку, мог руководствоваться при открытии школы не одним завистливым соперничеством, нежеланием «отдать другим свое добро», как выражается хронист, но более высокими целями; допустим даже, что цели его были не исключительно научные, но и политические, так как о Льве Математике известно, что он разделял иконоборческие тенденции императора.[2] Рассказ, впрочем, небезынтересен в смысле установления хронологической даты этого события, открытия школы, послужившей ступенью к Академии. Так как Эль-Мамун скончался в июле 833 г., то факт открытия школы, на почве которого появился рассказ, должно относить к первым годам царствования Феофила (830–833). Восстановление византийской Академии принадлежит кесарю Варде, управлявшему государством от имени своего племянника Михаила III. Академия была помещена в так называемом Магнаврском дворце, руководителем и начальником ее был сделан Лев Математик, к тому времени лишенный уже архиепископского сана, в помощь ему дано два или три дидаскала из его учеников. Варда щедро вознаграждал учителей, сам нередко посещал их уроки и поощрял их занятия.[3] Византийская Академия в Магнавре имела себе покровителей в лице первых императоров Македонского дома, всего более в лице Константина Багрянородного, собравшего вокруг себя кружок ученых

[1] Или, по Льву Грамматику (455), во дворце Магнавры.

[2] Впоследствии он за это поплатился лишением архиепископского сана.

[3] *Genesii*, ed. Bonn., 98; *Theoph. Cont.*, ed. Bonn., 185, 192.

людей и вместе с ними трудившегося над разрешением научных задач того времени.

Но этот усерднейший между императорами X в. покровитель науки был и последним. Преемники его, занятые совсем другими делами, не имели ни времени, ни охоты покровительствовать науке. Время побед и военной славы (царствование Никифора Фоки, Иоанна Цимисхия и Василия Болгаробойцы) не обнаруживает и следа существования византийской Академии. Последний император, закончивший этот период, именно Василий Болгаробойца, сам был человек малообразованный, говорил по-деревенски (ἀγροικικῶς), науки считал вещью лишней и бесполезной, к ученым не благоволил, смотрел на них с пренебрежением.[1]

Двадцать лет прошло после смерти Василия Болгаробойцы, а Академии все еще не существовало, несмотря на то, что в числе императоров, сидевших в это время на византийском престоле, были не одни невежи, но и люди образованные, преданные науке. Константин VIII по степени образования походил на брата, в науках мало был сведущ, владел лишь элементами, вкусив знания столько, сколько приходится на долю детей.[2] Совсем другого рода был его зять и преемник Роман III Аргиропул. Он знаком был с греческим и латинским языками, умел философствовать и составлять силлогизмы. По восшествии на престол он в заботах о науке хотел подражать Антонинам, Марку Аврелию и Августу, окружил себя философами, риторами, любил с ними беседовать, причем можно было видеть на нем философскую мантию, надетую вместо императорской порфиры; вообще на науку он обращал больше внимания, чем на дела управления.[3] Тем не менее, мы не знаем ничего, что было сделано в пользу Академии. От Михаила Пафлагона невозможно было и ждать какой-нибудь услуги в этом смысле. Это был государь невежественный, совершенно непричастный образованию (παιδείας ἑλληνικῆς ἄμοιρος παντάπασιν ἦν), беспомощный там, где требовалось знание законов и вообще какое-нибудь научное сведение; его братья ему не уступали, скорее превосходили невежеством, в частности евнух Иоанн Орфанотроф, стоявший в качестве первого министра во главе всего управления, был не расположен к людям, украшавшим себя светскими науками.[4] О Михаиле Калафате, кроме того, что при его дворе существовали астрологи и что он издевался над их наукой,

[1] *Psell.*, IV, 18–19, 22–23; *Zon.*, ed. Dindorfii, IV. 115, 120.

[2] *Psell.*, IV, 26–27.

[3] *Psell.*, IV, 30–31, 39; V, 123; *Zon.*, IV, 186 (*Manass.*, ed. Bonn., 257; *Ephr.*, ed. Bonn., 129).

[4] *Psell.*, IV, 50–51, 55; V, 125.

ничего неизвестно. Восстановлением византийской Академии прославил свое царствование Константин Мономах. Сам Мономах не обладал основательными познаниями, всего более он сведущ был по части астрологии, в других же отраслях знания был крайне поверхностен (ἄκρῳ μόνον δακτύλῳ τὸ τοῦ λογου γευσάμενος (отведал словесной науки лишь с кончика пальца)), тем не менее он чувствовал некоторое пристрастие и слабость к науке и к людям ученым, которых собирал в свой дворец; при дворе Мономаха можно было встретить и молодых, начинающих ученых, и почтенных старцев, украшенных сединой.[1] Нашли здесь себе место и ученые: Михаил Пселл, Иоанн Ксифилин, Иоанн Мавропод, Никита. Все это были дидаскалы, обучавшие тогда юношество наукам — Пселл философии, Ксифилин юриспруденции, Никита грамматике и риторике, Мавропод всем вместе. Они учили в разных местах, отдельно и независимо друг от друга. Мономах воспользовался их услугами для открытия Академии.

В Академии для каждой науки учреждена была особая кафедра, которая замещалась особым маистром (название, которое надо отличать от магистра — чиновного ранга). Кафедру философии занял Михаил Пселл, с титулом ипата философов, кафедру законов — Иоанн Ксифилин, с титулом номофилакса,[2] кафедру риторики — Никита, с титулом маистра риторов. Какую кафедру занял Мавропод, не знаем. Академия помещена была в монастыре при основанном Мономахом храме св. Георгия Победоносца и получила официальное значение, а ее маистрам назначено от казны определенное содержание. Об учреждении в Академии одной из кафедр, именно кафедры юриспруденции, до нас дошла новелла, из которой узнаем любопытные подробности. В новелле Мономах объявлял, что в прежнее время лица, желавшие занять место нотариев, записаться в корпорацию адвокатов или судей, поставлены были в трудное положение: государство требовало от них удостоверения в знании законов, чтобы они указали своих наставников и обозначили количество времени, употребленного на изучение права; между тем признанного государством учителя и официального училища, где бы можно было изучить законы, не существовало. Отсюда происходило, что молодые люди вверяли себя разным учителям, случайно найденным, усвояли от них разнообразные, нередко противоречивые взгляды на один

[1] *Psell.*, IV, 119 (*Zon.*, 157; *Ephr.*, 135); V, 106–107, 109, 131–132.

[2] К нему прилагается и название μαϊστωρ — *Psell.*, V, 276. Должность номофилакса введена при Мономахе, см.: *Attal.*, ed. Bonn., 21; *Zachariae*, Jus gr.-rom., III, 321; титул ипата философов встречается еще в хрисовуле Романа Лекапина 927 г., см.: *Zachariae.*, III, XXIX.

и тот же предмет и потом вносили в судебные решения и дела путаницу и замешательство. Для устранения этого недостатка открывается в Георгиевском монастыре кафедра (διδασκαλικὸς θρόνος), которая будет именоваться юридической школой (διδασκαλεῖον νὸμων), а учитель по этой кафедре — номофилаксом. Он будет причислен к сановным сенаторам (μεγαλοδόξοις συγκλητικοῖς), на торжественных царских выходах будет занимать место вслед за министром юстиции (ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων), ежегодно будет получать ругу в четыре литры (более 1000 руб. золотом), шелковую одежду (βλάττιον), пасхальные подарок (βάϊον) и хлебное довольствие (σιτηρέσια). Должность свою он будет, по царскому назначению, занимать пожизненно. От учителя требуется знание двух языков, латинского и греческого, и основательное знание законов. Он будет преподавать науку безмездно, не взимая никакой платы со своих слушателей, и лекции будет читать ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней. Все желающие заниматься практической юриспруденцией, быть адвокатами и ходатаями по делам, должны, прежде чем записаться в соответствующую корпорацию (синигоров, табулляриев), изучить у номофилакса законы, выдержать у него экзамен и получить аттестат; если же кто помимо этого условия вступит в синигоры или табулларии, — будет исключен. В этой же новелле сказано, что (первым) номофилаксом назначается муж испытанного ума, доказавший свои юридические познания, судья на ипподроме и экзактор Иоанн Ксифилин.[1] Открытие Академии следует относить к первой половине царствования Мономаха; в рассказе Атталиота событие поставлено позже нашествия россов (1044) и раньше возмущения Торника (1047).

В Академии началось преподавание, слава о котором скоро разнеслась не только по областям Империи, но проникла в иностранные государства и привлекла к слушанию лекций учеников из Западной Европы и земель сарацинских, багдадского и египетского халифатов.[2] Особенно отличался Пселл, затмивший своими философскими лекциями товарищей по преподаванию и вызвавший даже чувство зависти в Ксифилине, повлекшее к возражениям со стороны последнего против философского направления Пселла. Пселл с академической кафедры стал проповедывать преимущества Платона перед Аристотелем. Он стал превозносить Платона как величайшего в мире мыслителя и предвозвестника христианских догматов, считая, в частности, учение о бессмертии души платонов-

[1] *Paulus de Lagarde*. Johann. Euchaitorum metropol. Gott., 1882. P. 196–202.

[2] *Psell.*, V, 508.

ским догматом.[1] Платона он ставил на одном уровне со св. Григорием Богословом.[2] На Аристотеля он смотрел как на философа туманного, чуждого фантазии, вращающегося в низменных сферах, который непонятен для ума, возносящегося к горнему, и не дает пищи высшим порывам души. Когда другарий виглы Константин Ксифилин обратился к нему с предложением истолковать «Органон» Аристотеля, из непонятного сделать ясное, Пселл решительно отклонил от себя эту задачу, считая ее выше своих сил, обещая однако же всевозможное со своей стороны содействие, если Ксифилин возьмет на себя ее выполнение.[3] Константин Ксифилин находился в каком-то родстве с Иоанном Ксифилином и, как показывает этот эпизод, интересовался Стагиритом. Но Иоанн Ксифилин простер далее уважение к Стагириту. Он написал какое-то философско-богословское рассуждение, в основу которого положен был Аристотель и так называемые «Халдейские догматы» александрийских философов.[4] Таким образом, в среде ученой корпорации произошел философский раздор, к нему примешалось и преподавательское соревнование; один дидаскал был приверженцем и защитником Аристотеля, другой — Платона. В связи с этим раздором находятся два написанные Пселлом сочинения о халдейских догматах.[5] Раздор серьезных последствий не имел, однако же не прошел бесследно. Впоследствии, когда Ксифилин был вызван с Олимпа для занятия патриаршего престола, Пселл написал ему дружественное письмо, в котором, между прочим, с обычным увлечением отозвался о Платоне. Ксифилин ответил резко, называл Пселла отступившим от Бога, полюбившим Платона, Хрисиппа и прилепившимся к Новой Академии, — поступки, которые могут повлечь к извержению из христианской плеромы. Пселл был устрашен угрозой и написал Ксифилину оправдательное письмо, в котором сознается в своей приверженности к Платону и Хрисиппу, но в оправдание приводит, что знаком не с ними одними, а также

[1] Ἑρμηνεία περὶ δόγματος: φαμὲν τὴν ψυχὴν τὸν Πλάτωνα δοξάζειν ἀθάνατον, ἀφ' οὗ δὴ καὶ δόγμα *πλατωνικὸν* τὸ ἀθάνατον εἶναι τὴν ψιχήν (Толкование догмата: мы говорим, что Платон считал души бессмертными, а значит, догмат о бессмертии души принадлежит Платону). См.: *Psell.*, IV, LI.

[2] οὐδείς ἄν τῶν πάντων ἀνθρώπων διαμιλλήσαιτο Πλάτωνι ἤ ὁ μέγας ἐν θεολογία Γρηγόριος (Никто из людей не смог бы соперничать с Платоном, кроме великого богослова Григория). См.: *Psell.*, IV, LIII.

[3] *Psell.*, IV, 499–501.

[4] Сочинение это до нас не дошло, указание на него есть в панегирике Пселла Иоанну Ксифилину, IV, 456–462.

[5] *Psell.*, ed. Boissonade, 151–152; PG, CXXII, 1124–1153.

с Аристотелем, с учением халдеев и египтян, что у Платона есть истинные взгляды, например, его учение о справедливости и бессмертии души, послужившее и для христиан основанием (ἀρχαί) этих догматов, что он, пользуясь Платоном, оценивает его учение с точки зрения Священного Писания и отцев Церкви и вообще руководствуется примером свв. Василия Великого и Григория Богослова, которые заимствовали у греческого мудреца то, что полезно было для православной истины, и опровергали еретиков оружием, взятым у философов. В заключение Пселл все-таки утверждает, что Платон превосходит всю греческую (эллинскую) мудрость, с придачей халдейской и египетской.[1] Других подробностей этого спора из-за Платона мы не знаем.

Долго ли маистры трудились на академическом поприще, в точности определить не можем, во всяком случае, еще при Константине Мономахе в положении и личном составе их произошла перемена. Профессора переведены были во дворец, получили, как бы в награду за труды, государственные должности и сделались в собственном смысле слова придворными учеными. Мономах пожелал сам слушать их лекции. Повторилось явление, имевшее место на Западе при Карле Великом, с тем различием, что Мономах не только смиренно выслушивал произносимое с кафедры, но и записывал слышанное (до какого искусства Карл, при всем своем старании, не мог дойти). Пселл получил должность протоасикрита, и исполняя в этой должности статс-секретарские обязанности при Мономахе, имел удовольствие видеть, что и Мономах становился его секретарем (μοι λέγοντι ὑπεγραμμάτευς), когда он вступал в роль ипата философов. Отношения Мономаха к Мавроподу напоминали классически образованному Пселлу отношения Дионисия к Платону. И его Мономах сажал на кафедру, выслушивал его уроки, руководствовался его советами по вопросам государственного управления (τὴν βασιλικὴν ἐπιστήμην ὠφέλειτο) и вообще пользовался им как ученым и как приближенным советником.[2] И подобно тому, как Пселл был вознагражден за заслуги домом в Византии, поместьем и другими дарами от царских щедрот, точно так же не забываем был и Мавропод: когда он был принужден продать свой дом в Византии, доставшийся ему от родителей по наследству, Мономах выкупил дом и подарил Мавроподу, дав таким образом ему возможность не расставаться с дорогим по воспоминаниям жилищем, в котором он провел столько бессонных ночей за книгами.[3] Но номофилакс Ксифилин был

[1] *Psell.*, V, 444–451.

[2] *Psell.*. IV, 433–434; V, 154, 509; PG, CXX, 1167–1168.

[3] PG, CXX, 1160.

сделан министром юстиции с оставлением в прежнем звании номофилакса. Спрашивается, прекратила ли свое существование Академия с переводом ко двору ее учителей? Без сомнения, нет. Самое большое изменение в ней, может быть, происшедшее, это переселение ее из монастыря св. Георгия в здание дворца. Но и это изменение — предполагаемое, исправление новых обязанностей при особе императора не исключало возможности совмещения с ними прежней преподавательской должности и отправления ее на прежнем месте. Несомненно однако же, что мера Мономаха относительно учителей не была благоприятна для процветания Академии. Была ли Академия оставлена в монастыре св. Георгия, или была переведена во дворец, в обоих случаях преподавание в ней должно было ослабеть, вследствие отвлечения преподавателей от их прямого дела другими для школы посторонними занятиями. Если же Академия переведена была во дворец, и уроки, которые учители должны были давать императору, были общеакадемическими уроками, а не составляли уроков отдельных от тех, которые читались обыкновенным слушателям, то, кроме указанного результата — ослабления преподавания, такой порядок вещей, естественно, должен был еще наложить аристократический отпечаток на преподавание; доступ к слушанию для обыкновенных смертных, если не был прегражден окончательно, то должен был сделаться труднее, чем он был в прежнее время.

Академия, не прекратившая своего существования при Мономахе, продолжала существовать и при его преемниках. Но сведения о ней крайне скудны. При императоре Мономахе, пока во главе министерства стоял Константин Лихуд, Мавропод, Пселл, Никита и Ксифилин беспрепятственно занимали свои академические кафедры.[1] Преемник Лихуда в звании первого министра, евнух, логофет Иоанн был настолько слаб в грамматическом искусстве, что не мог правильно ни сказать, ни написать.[2] Особенной приверженности к учителям Академии, в силу своей малообразованности, он чувствовать не мог. Сверх того, он принадлежал к другой политической партии, чем учителя. Вообще объединение политики с наукой, положение, занятое преподавателями Академии при дворе и в государственном управлении, породило завистников и недоброжелателей, который, прельщаясь их политическим значением и видя в школьных занятиях средство, с помощью которого достигнуто значение, переносили

[1] Весьма вероятно, что самое возникновение Академии произошло не без влияния на Мономаха Константина Лихуда. Замечательно, что все кафедры были замещены школьными товарищами Лихуда и его сторонниками.

[2] *Zon.*, 180.

зависть и недоброжелательство и на их школьную деятельность, старались вытеснить их из Академии и занять их место. Секрет школьного соперничества, несколько эпизодов которого нам известны, скрывался в политическом значении школы и ее деятелей. Интриги, отсюда возникшие, повели к тому, что ко времени кончины Мономаха квадрумвират друзей расстроился. Сначала был вытеснен Иоанн Мавропод, получивший почетное назначение на должность митрополита Евхаитского. Затем Никита был возведен в митрополиты Фессалоникийские и оставил кафедру;[1] если его место занял другой, то это был, вероятно, Хиросфакт, о риторических познаниях которого с уважением отзывался Пселл.[2] Но вопрос еще, замещена ли была его кафедра, по крайней мере в ближайшее время. Сохранилось два письма Иоанна Евхаитского. В одном из них, адресованном тезке Иоанну (очевидно, Ксифилину), автор намекает на учительский триумвират, на двух дидаскалов, не считая адресата.[3] Между тем другое письмо отправлено маистрам школы (Пселлу и Ксифилину); автор извиняется, что он за недосугом пишет обоим вместе, а не каждому порознь,[4] о третьем маистре совершенно не упомянуто и, можно полагать, его не существовало. В промежуток между отправлением двух писем Никита возведен был на митрополичью кафедру, а освободившаяся профессорская кафедра пока не была замещена. После Никиты очередь дошла до Ксифилина. Ему позавидовал один синайский монах, по имени Офрида, желавший сам сидеть на кафедре и преподавать законы. Это был ученый, убеленный сединами, не могший равнодушно смотреть на почет, приобретенный молодым (сравнительно с ним) Ксифилином. Чтобы пошатнуть авторитет последнего, Офрида пустил в обращение анонимный памфлет, в котором с помощью клевет и неудачных силлогизмов старался развенчать своего соперника как ученого. Автор памфлета был узнан по почерку, и хотя Ксифилин не счел нужным отвечать на него, однако же Пселл не желал оставить выходку Офриды безнаказанной и написал грозную апологию номофилакса.[5] Вместо Офриды нашлись другие интриганы. Усилия их привели наконец к тому, что Ксифилин принял монашество и удалился на Олимп, предоставив другим преподавание права.

[1] *Psell.*, V, 93; PG, CXXII, 1161.

[2] *Psell.*, V, 455: ἐξαίρω τοῦ λόγου τὸν ῥήτορα (Χοιροσφάκτην), ὅτι με κἀκεῖνος ἐξαίρετον τῶν ἄλλων ἔχει σοφῶν (Я превозношу ритора (Хиросфакта), ибо и он почитает меня превыше других мудрецов).

[3] *De Lagarde*, 86.

[4] Ibid.

[5] *Psell.*, V, 181–196.

Кто занял его место в Академии — неизвестно. Только из времен Константина Дуки известен преподаватель права Гарида. Было бы слишком смелой догадкой из того, что Ксифилин объединял в своем лице должность номофилакса и министра юстиции (ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων), заключить, что такое объединение обеих должностей было в последующее время неизменным правилом, и что, следовательно, позднейшие министры юстиции обязательно были преподавателями права в Академии. Последнему удар нанесен был Пселлу. В июле 1054 г. он еще был ипатом философов,[1] но незадолго перед смертью Мономаха и он принял постриг, затем удалился на Олимп, оставив кафедру философии; интриги, против которых Пселлу сначала достаточно было представить императору письменное исповедание веры,[2] чтобы опровергнуть клевету, потом стали, по признанию самого же Пселла,[3] наклонять весы на сторону его врагов, и он счел более благоразумным удалиться с арены.

По смерти Мономаха, в царствование Феодоры, Пселл возвратился в Византию. При Феодоре и Стратиотике он держал себя в некотором отдалении от двора, неохотно вмешивался в дела, между тем жил в столице и, разумеется, непраздно. Каковы были его занятия, видно из того, что в посольстве, отправленном в 1057 г. к Исааку Комнину, он выступает с титулом ипата философов.[4] Следовательно, все это время он по-прежнему, как и при Мономахе, преподавал в Академии, занимая кафедру философии. Со вступления на престол Исаака Комнина обстоятельства стали благоприятствовать процветанию Академии. Мы сказали, что первым условием ее процветания была благосклонность императоров, на средства которых школа содержалась. Между тем Исаак Комнин и его преемники питали глубокое уважение к науке. Исаак Комнин хотя сам был мало образован, не обладал достаточными познаниями в законах, даже в грамматике, однако же не презирал науки, как это делали другие недалекие по образованию государи; он стыдился своей малограмотности, устранялся от собственноручных резолюций, из опасения сделать ошибку против орфографии, к ученым относился милостиво и охотно принимал их при своем дворе.[5] Преемник его Константин Дука был горячий любитель наук

[1] PG, CXX, 745.

[2] *Bandini.* Cat. Manuscript. Biblioth. Laurent., II, 548. Отсюда заключение, что интриганы старались подвергнуть сомнению православность Пселла.

[3] В письме к неизвестному другу — *Psell.*, V. 472. Жалобы на придворные интриги изложены также в письме к Псифе — *Psell.*, V, 491–493.

[4] *Cedr.*, II, 632.

[5] *Psell.*, IV, 236; *Zon.*, IV, 197 (*Ephr.*, 140); *Seyt.*, ed. Bonn., 650.

(λόγων ἐραστής θερμότατος) и его любовь еще до вступления на престол была началом знакомства и дружбы его с Пселлом.[1] По вступлении на престол он, как дилетант, не блиставший глубокими познаниями в философии и риторике (φιλοσοφίας καὶ ῥητορείας οὐ πάνυ μετέχων),[2] любил в часы, свободные от государственных забот, заняться книгами, выслушать богословское рассуждение о тайне Воплощения и других предметах догматики, читал Священное Писание и углублялся в его таинственный смысл. Пселл был неизменным его собеседником и руководителем в книжных занятиях (συνῆν ἐπὶ λόγοις).[3] О науке он отзывался, что предпочел бы славу ученого славе государя.[4] Супруга Константина Дуки и его преемница, вышедшая вторично замуж за Романа Диогена, Евдокия, была образованнейшей женщиной своего времени и покровительствовала науке; в то время как Роман Диоген был занят походами против турок, она, не щадя издержек, приобретала рукописи, увеличивала императорскую библиотеку, поощряла ученых и их занятия, так что в посвятительном (присоединенном к «Ионии») письме к мужу могла указывать на то, что государство украшено наукой, людьми учеными и их трудами.[5] Сын Константина и Евдокии Михаил Дука Парапинак, преемник Диогена, воспитанный ученым Пселлом, был до страсти предан наукам. Высшим наслаждением для него было чтение книг и кабинетные занятия; он любил сочинять стихи, писать истории, беседовать с учеными людьми.[6] Вообще род Дук был привержен к наукам и нет надобности усматривать[7] преувеличение и тщеславие в словах Анны, что «Дуки были науколюбивейшие (φιλολογώτατιο), как братья императора, так и сам император Михаил».[8]

---

[1] *Psell.*, IV, 261.

[2] Ibid., 259.

[3] Ibid., 259, 268–269.

[4] Ibid., IV, 270: τοῖς δὲ λόγοις ἐξόχως προσκείμενος «ὦφιλον», ἔλεγεν, ἐκ τούτου ἢ τῆς βασιλείας γνωρίζεσθι (Он питал необычную склонность к слову и говорил: «О, если бы не царство, а науки принесли мне славу!») (*Scyl.*, 680; *Zon.*, IV, 202; *Ephr.*, 144).

[5] *Villoison.* Anecdota graeca, II; *Psell.*, V, XLIV–XLVII: τὴν πόλιν κεκοσμημένην παιδεία τε, ἧς οὐδὲν τιμιώτερον, τῇ τῶν λογίων ἀνδρῶν ἀναγώσει καὶ τῇ τῶν σπουδαίων μελέτῃ... τῶ τε τοὺς λόγους ἀνακαλέσασθαι (Град, украшенный образованием, которого нет ничего ценнее, чтением трудов ученых мужей, изучением важнейших предметов... и возрождением наук).

[6] *Psell.*, IV, 289–290, 292–293; *Zon.*, IV, 220 (*Ephr.*, 147); *Scyl.*, 725 (*Zon.*, IV, 224; *Glyc.*, ed. Bonn., 615; *Manass.*, 282).

[7] По примеру Николаи, *Ersch und Gruber.* Real-Encyclop., LXXXVII, 280–281.

[8] *Anna*, ed. Bonn., I, 259.

Действительно, брат Михаила Андроник был склонен к наукам (πρόθυμος τὴν ψυχὴν περὶ λόγους) и любил вдаваться в глубокие исследования, которые, впрочем, для нас могут казаться забавными; он, например, оспаривал у Пселла существование антиподов, недоумевал, чтобы человек мог висеть головой вниз.[1] Дядя Михаила, кесарь Иоанн, преисполнен был уважения к людям ученым, и подобно своему племяннику, любил книги, из которых черпал сведения по разным отраслям знания, особенно же по стратегии.[2] Наконец, об императоре Никифоре Вотаниате известно, что он посвящал ночи чтению книг как духовных, так и светских.[3] При таком благоприятном для науки настроении высшей государственной власти, с которым гармонировал даже пресловутый Никифорица,[4] невероятно, чтобы рассадник науки, византийская Академия, находилась в пренебрежении. Во всяком случае несомненно, что существовала при Михаиле Парапинаке и после него кафедра философии, равно и другие кафедры, преподавание разных наук было в руках отдельных лиц. Пселл, превознося ученость Парапинака, прибегает к выражениям, которые показывают, что при дворе этого государя вращались ученые разных профессий: «Нужно сказать, — замечает он, — что занятия по роду своему разделены между разными лицами, у царя есть царские дела и слова, у философа, ритора, у занимающегося музыкой — у каждого своя область, астрологи заняты небесным сводом, геометры — фигурами, силлогизмы принадлежат философам, сокровенные действия природы — физикам, — каждому свое; у него же (Парапинака) все соединено, он стоял в одном ряду с философами, с риторами говорил о спряжении и склонении, с оптиками о протяжении лучей и расстоянии между ними».[5] Нетрудно поэтому было заместить академические кафедры; может быть, преподавателей академических наук Пселл и имеет в виду, перечисляя различных ученых, с которыми сталкивался его царственный питомец. Кафедру философии занимал или ипатом философов был несомненно сам Пселл, — этот титул дан ему хронистом[6] при изложении царст-

[1] *Psell.*, IV, 297.

[2] *Psell.*, IV, 295–296; PG, CXXII, 1184; CXXXVI, 1317–1321.

[3] *Attal.*, 312: οὐδὲ τὸν νυκτερινὸν χρόνον ἔξω τῶν ἑαυτοῦ σπουδασμάτων ἐτίθετο, ἀλλὰ τοῖς βιβλίοις καὶ ταῖς ἀναγνώσεσιν ἐπιδιδοὺς ἑαυτὸν πολυΐστορα καὶ μεμυημένον τὰ θεῖα περίστα καὶ τὰ ἀνθρώπινα (И ночью не оставлял он своих занятий, всецело предаваясь чтению книг, он сделался ученым, просвещенным в мудрости мирской и божественной).

[4] О нем историк (*Zon.*, IV, 219) замечает: λόγοις ὠμιλικης (знаком с науками).

[5] *Psell.*, IV, 289–290.

[6] *Scyl.*, 725.

вования Парапинака. Известны и преемники Пселла по кафедре: после Михаила Пселла ипатом философов был Иоанн Итал, после Иоанна Итала Феодор Смирнский.[1] Смена Иоанна Итала Феодором Смирнским произошла при Алексее Комнине, смена Михаила Пселла Италом совершилась при Парапинаке. Об этом некоторые подробности записаны у Анны Комниной. По ее словам, Иоанн Итал происходил из Италии и, будучи еще в несовершенном возрасте, сопровождал своего отца в Сицилию и изучал под его руководством военное искусство. В период деятельности Георгия Маниака в Сицилии (1038–1040) отец Итала, находившийся во враждебных отношениях к греческому правительству, бежал со своим сыном из Сицилии в Италию, и отсюда Иоанн, уже в царствование Мономаха, прибыл в Константинополь. В Константинополе он слушал лекции ученых дидаскалов, особенно Пселла. Из ученика он с течением времени сделался соперником Пселла.[2] При Михаиле Парапинаке он вошел в близкие отношения к императору и его братьям и занял после Пселла второе место. Как доверенного себе человека, знакомого с латинским языком, император отправил его в Диррахий для каких-то переговоров. Итал, вместо того чтобы защищать интересы греков, затеял измену, и когда измена открылась, бежал в Рим. Однако же скоро принес императору раскаяние, был им прощен, в уважение к ученым талантам, вызван в Константинополь и получил для своего местопребывания монастырь Пигу с храмом Сорока мучеников. Когда Пселл удалился из Византии (по причинам, которые остаются невыясненными),[3]

---

[1] Τιμαρίων, ἢ περὶ τῶν καθ' αὐτὸν παθημάτων (Тимарион, или О его злоключениях). См.: *Hase*. Notices et extraits des manuscrits. IX, 2-e partie, 125 sg.

[2] К истории этого соперничества относятся, между прочим, два письма Иоанна Евхаитского. В одном (*De Lagarde*, 71–72, № 28) автор намекает на ученое соперничество между адресатом (очевидно, Пселлом) и Италом (ἰταλικόν τε καὶ φιλορώμαιον); в другом он отклоняет от себя просьбу адресата (того же Пселла) разделить ученый спор (διαιτῆσαι τῇ μάχῃ) между им и Иоанном (Ibid., 72, № 29).

[3] Анна говорит: μετὰ τὴν ἀποκαρσιν (приняв постриг). Но пострижение было причиной более раннего удаления Пселла, при Мономахе; на удаление же его при Парапинаке оно не могло иметь влияния. Не без влияния могли оставаться интриги Итала, о которых подробностей не знаем, за исключением того, что Итал обвинял Пселла в неглубоком преподавании так называемых μαθήματα (математической науки) и Пселл по этому поводу писал письмо εἰς λογγίβαρδον Ἰωάννην καταναγκάζοντα αὐτὸν εἰς τὸ ἑρμηνεῦσαι τάχιον τα μαθήματα (лангобардийцу Иоанну, побуждающему скорее приступить к преподаванию математики). См.: *Boissonade*. Psell., 164. Возможно также, что вытеснение Пселла было результатом торжества аристотелизма над платонизмом, так как об Иоанне Итале известно, что он был не менее горячим приверженцем Аристотеля, чем Пселл — Платона.

Иоанн Итал был назначен дидаскалом философии и возведен в ипаты философов. Он стал объяснять сочинения Платона и Аристотеля, Прокла, Порфирия и Ямвлиха. Аристотелем и его «Органоном» занимался более всего. Он говорил и писал как иностранец, с некоторыми солецизмами и ошибками, но в диалектике был неодолим и никто не был в состоянии его переспорить. Кроме того, в споре он был крайне горяч, от слова переходил к делу, давал волю рукам и непрочь был вцепиться в бороду и в волосы противника, хотя, придя в себя, раскаивался в своей горячности и просил прощения. В числе учеников его были и такие, которые потом были замешаны в заговорах. «Все это, — замечает Анна, — было прежде, чем мой отец вступил на царский престол», и затем переходит к описанию смятения, произведенного при Алексее Комнине неправославными богословскими воззрениями Иоанна Итала,[1] составлявшими результат его стремления применить аристотелевскую логику к христианской догматике.

* * *

Византийская Академия имела значение казенного учебного заведения, преподавание в ней было официальное, школа была высшего разряда. Покровительство или пренебрежение наукой со стороны императоров имело влияние на обучение лишь в этом казенном учреждении. Но кроме Академии были другие школы, по существованию своему независимые от правительственных субсидий, содержавшиеся учреждениями и частными лицами; учение в этих последних производилось постоянно и непрерывно, если не в одной школе, то в другой, и, благодаря им, интеллектуальное движение, судьба которого была бы плачевна, если бы оно всецело зависело от правительственной школы, то закрывавшейся, то вновь открывавшейся, никогда не прекращалось. Были, помимо Академии, школы как в столице, так и в областях. В Константинополе были школы при патриархии, и не одна, но несколько, низшая и высшая. Низшая школа была переходной ступенью к высшей, как для учителя, так и для учеников, преподавание в ней состояло под наблюдением патриархии, но средства содержания получались от сборов с учеников, от платы за учение. В собрании писем Пселла помещено одно, имеющее отношение к вопросу о том, какие это были школы. Письмо озаглавлено (№ 162):[2]

[1] *Anna*, I, 257–267.

[2] *Psell.*, V, 420–421.

Ἐπιστολὴ δοθεῖσα παρὰ τοῦ τηνικαῦτα μαϊστωρος τῶν Λιακονίσσης πρὸς τὸν πατριάρχην, αἰτοῦντος τὴν σχολὴν τοῦ ἁγίου Πέτρου (Послание к патриарху от маистра школы Диакониссы, просящего перевести его в школу св. Петра). Автор письма говорит о себе, что всю жизнь он провел за книгами, в научных занятиях, не встречая в вознаграждение до старости (πρὸς αὐτὸ τὸ γῆρας) ничего, кроме оскорблений и насмешек. Патриарх, как бы в возмездие за труды, поставил его во главе бездействовавшего тогда училища (τοῦ τηνικαῦτα ἀργοῦντος παιδευτηρίου), чтобы он преподавал науки желающим и за это получал от них средства к жизни (τὰ παρ' ἐκείνων ἀγώγιμα). Это принесло учителю мало пользы, потому что он не научился торговать наукой и не сумел пустить ее в коммерческий оборот; особенно трудно было ему, потому что отеческий дом его находился далеко от школы, и ему, с давних пор привыкшему сидеть и заниматься науками дома, каждый день приходилось совершать трудный путь. Ссылаясь на стесненность жизненных обстоятельств, учитель просит патриарха сжалиться над ним, поскольку и для учителя есть движение — переход в высшее училище (ἔστι τις καὶ παιδευτῶν εἰς μείζονα παιδευτήρια προκοπή), просит освободить его от низшей службы (ἀπάλλαξον με τῆς ἐσχάτης διακονίας), поставить его, тревожимого многими испытаниями, на скале (στῆσον ἐπὶ πέτρας πολλοῖς πειρατηρίοις κλονούμενον). На первый взгляд, если руководствоваться заглавием письма и внесением его в число произведений Пселла, выходит, что низшая патриаршая школа была — Диакониссы, высшая — св. Петра, и что учителем в первой был Пселл. При храме св. Петра, основанном еще при Юстиниане I патрицием Петром Варсомианом, действительно была школа и, по-видимому, это была школа патриаршая. Маистром этой школы, до открытия Академии при Мономахе, был Никита.[1] Но была ли школа Диакониссы и, главное, Пселл ли писал указанное письмо, еще вопрос. Пселл мог заниматься преподаванием в патриаршей школе и писать письмо не позже 1047 г. — крайний срок учреждения Академии; потом положение его было не таково, чтобы преподавать в низшей патриаршей школе. Между тем в 1047 г. Пселлу (родившемуся в 1018 г.) было 29 лет, и если он мог говорить об отеческом доме, который у него действительно был в Византии, то во всяком случае в устах человека цветущего возраста более чем странна речь о том, что он дожил до старости. Очевидно, это письмо ошибочно внесено в число писем Пселла и самый заголовок заимствован от выражений: τῆς ἐσχάτης διακονίας (низшей службы) и στήσον ἐπὶ πέτρας (поставь на скалу), понятых в метафорическом

[1] Εἰς Νικήταν μαϊστορα τῆς σχολῆς τοῦ ἁγίου Πέτρου (Никите, маистру школы св. Петра). *Psell.*, V, 87.

смысле; вывод, что низшая патриаршая школа была школой Диаконис-сы, а высшая — св. Петра, будет зависеть от предположения, что автор письма играл словами и именам собственным давал отвлеченное значение — основание слишком шаткое. Если необходимо отыскивать автора этого письма, то с некоторой вероятностью можно видеть его в Иоанне Мавроподе.[1] Он был старше Пселла, был его учителем; из того обстоятельства, что при возведении в митрополиты он ссылался на свои телесные и душевные немощи,[2] можно заключить, что он приближался к возрасту, когда силы слабеют. Слова о занятиях в родительском доме и неумение торговать наукой как нельзя более совпадают с тем, что говорит Мавропод в стихотворении εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν, ὅτε διαπράσας ταύτην ἀπέλιπε (Моему дому, когда я продал его и покинул). Здесь он называет свой отчий очаг, родовой дар и единственное наследие кормильцем, педагогом и дидаскалом; в этом доме, по его словам, он понес большие труды, проводил бессонные ночи, дни посвящал наукам, одно исправляя, другое сочиняя, наставляя учеников, исполняя обязанность дидаскала, готового давать ответы всем, прилежно занимаясь сочинениями и книгами; в этом доме собирал он знания, в нем же раздавал их желающим, безмездно (προῖκα) из многих юношей делая мудрецов.[3]

Кроме патриарших школ, в Константинополе были еще школы при монастырях. Симеон Новый Богослов, которого Никита Стифат называет своим дидаскалом, был игуменом монастыря св. Маманта Ксилокерского,[4] следовательно, при этом монастыре существовала школа, в ней преподавал Симеон и учился в этой школе Стифат. При монастырях более важных, например Студийском, тем более должны были существовать школы. В Студийский монастырь, как известно, отданы были на воспитание Исаак и Иоанн Комнины, из которых первый занял в 1057 г. византийский престол.

Открывали школы и частные лица за свой собственный счет и на свой страх и риск, в собственных или чужих домах. Иоанн Мавропод, как

[1] *Psell.*, 142, 466–467.

[2] *De Lagarde*, 77.

[3] PG, CXX, 1158–1159.

[4] PG, CXX, 311, 319: Монастырь св. Маманта основан при Юстиниане Фарасмоном, предстоятелем императорской спальни (praefectus cubiculi), близ городской стены, в том квартале, которые от ворот назван Ксилокерком, ворота же так названы потому, что при постройке их открылся ключ с обильной водой, поэтому строители должны были вбить деревянные сваи, завалить его каменьями и тогда уже начать постройку.

показывает сейчас приведенный документ, имел школу и обучал юношество в собственном своем доме. Иоанн Ксифилин и Михаил Пселл, прежде чем были посажены на кафедры в Академии в монастыре св. Георгия, занимались преподаванием отдельно друг от друга.[1] Преподавательская профессия была для многих средством к жизни, на деньги, вырученные с учеников за учение, дидаскал содержал себя и школу. Некоторых идеалистов, вроде Иоанна Мавропода, такое положение вещей шокировало, они считали предосудительным продавать науку. В случае личных счетов торговля давала даже повод к нападкам. Когда у Пселла объявился какой-то соперник и стал извлекать материальные выгоды из преподавания философии, Пселл вооружился против него и стал попрекать торгашеством. «Какой ты философ? — обращался он к своему противнику. — Ты лавочник, хрисмолог, а не философ. И говорить с торгашом нет нужды, ему следует только показать обол — и он готов к услугам».[2] Тем не менее сам же Пселл собирал мзду со своих учеников, и когда Ясит пожертвовал ему мула в благодарность за духовные сокровища, от него полученные (αὐτὸς ἄλογον τι χρῆμα διδοὺς καὶ λογικὰς λαμβάνων χάριτας (Он отдал мне бессловесную тварь, а получил <взамен> словесный дар)), Пселл принял подарок как должную дань за труды и в своем письме замечал только, что «самое это письмо стоит тысячи бессловесных скотов, мы же меняем на одного. Пусть это будет не осел, не конь, а лишь мул, да и то нежирный и тощий... И масть мне не важна, был бы только он крепок и не трясок».[3] Вследствие такого положения вещей преподавание было свободно, каждый избирал учителя, которого считал лучше других, учитель же заботился о том, чтобы не уступить в достоинстве своим сотоварищам и привлечь к себе поболее учеников; Пселл не требовал, но кротко убеждал своих слушателей посещать его лекции, не манкировать и не опаздывать под разными предлогами;[4] при этом, разумеется, он мог руководиться желанием добра молодым людям; знал, однако же, хорошо, что дидаскалу, внушающему такие добрые мысли, и прочие приложатся, если ученики последуют внушению. Правительство, по-видимому, не стесняло учителей, заводивших школы. Оно смотрело на дело с фискальной точки зрения, и так как школы были своего рода промыслом, приносившим доход дидаскалу, то ограничивалось только взиманием сбора со школы в пользу казны. Чем более было школ, тем, следовательно, сбор

[1] *Psell.*, IV, 433; V, 90.
[2] *Psell.*, V, 502–505.
[3] *Psell.*, V, 434–438.
[4] *Psell.*, ed. Boissonade.

был больше; неудивительно, что правительство, всегда ставившее на первом плане фискальные соображения, не находило нужным делать стеснения частному преподаванию, способные повлиять на сокращение доходов. Школьным государственным сбором (τὰ ἀργυρὰ τοῦ κλητωρίου) заведовал маистр Халкопратий. Так как сбор составлял известный процент с ученических взносов за учение, эти же последние зависели от соглашения между учителями и учениками, или их родителями, родственниками и опекунами, да и само посещение школы было делом доброй воли, следовательно, размер взносов не мог быть регулирован и заранее определен, то и сбор в пользу казны не мог получить большой правильности и регулярности. Во всяком случае, это была почва для взаимных пререканий между чиновниками фиска и дидаскалами: первые требовали возможно большего, последние указывали на то, что сами получают немного. Однажды, когда Пселл послал деньги маистру Халкопратий, тот денег не принял, на том основании, что сумма неполная, — он требовал большего. В ответ на требование Пселл, кроме разных других соображений, счел долгом обратить, между прочим, внимание чиновника на то, что сидящие у источников знания одну науку пьют с жадностью, а от другой отведают кое-что и уйдут,[1] другими словами, что наука, преподаваемая Пселлом, по свойству своему такова, что привлекает ограниченное число слушателей, а с тем вместе дает и ограниченные доходы.

Кроме школ в столице были школы и в областях, фемах. Интеллектуальное оживление в Византии, выразившееся в восстановлении Академии и деятельности ее дидаскалов, должно было иметь возбуждающее влияние и на фемы, — школы и вообще образованность в этих последних тоже должны были оживиться, причем двигателями и возбудителями могли быть дидаскалы и питомцы византийской Академии. Никита Фессалоникийский или Иоанн Евхаитский на месте нового служения в Фессалонике и Евхаите едва ли равнодушно могли относиться к состоянию школы, столь дорогой им по воспоминаниям о прежней деятельности, и слова панегириста об Иоанне, что он, будучи митрополитом, «возвещал всем дух Писания, разрешал загадочное, обнаруживал прикровенное, объяснял символы и пред всеми обнажал их внутреннюю прелесть»,[2] могут быть понимаемы не только в смысле указания аллегорического направления в учении и трудах митрополита Евхаитского, но и как свидетельство его забот о религиозном образовании паствы в церкви и школе. В Византии обыкновенно бывало, что правительство, покровительствуя школе,

[1] *Psell.*, V, 428–430.

[2] *Psell.*, V, 157.

преследовало при этом не чисто научные, но также церковные и государственные цели: из византийской Академии во все время ее существования выходили кандидаты на архиерейские места и государственные должности, это был не только храм науки, но вместе рассадник ученого чиновничества. Так было в прежнее время, так было и в XI в. Не только учителя, но и питомцы Академии стали занимать епископские места, важные должности в центральном и областном управлении; между епископами, государственными сановниками, правителями фем оказалось немало учеников Пселла, как, например, Феофилакт, знаменитый впоследствии архиепископ Болгарский,[1] Лев, митрополит Патр, и заведовавший прошениями (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων),[2] племянник патриарха Керуллария Константин,[3] Поф, судья Фракии и Македонии, и др.[4] Мы вправе думать, что управление епархиями ученых архиереев, а фемами — образованных стратигов имело благодетельные последствия для школ при архиерейских кафедрах, монастырях, как и для всех вообще школ, рассеянных по областям.

Не нужно еще упускать из виду и того узкого типа школы, когда она переставала быть общественным учреждением и делалась принадлежностью семьи. Было в обычае, что в аристократических семействах, славившихся богатством и родовитостью, дети обучались дома, — для этого нанимались дидаскалы и учреждалась как бы домашняя школа, в которой кроме властельских детей, для которых собственно и взяты были учителя, иногда обучались беднейшие товарищи их игр, даже рабы. Так, когда Дорофей достиг возраста, с которого принято было начинать учение, он, по обычаю властелей, был вручен педагогам и дидаскалам.[5] К Адриану и Никифору Комниным приставлены были их матерью Анной учителя, которые должны были пройти со своими учениками образовательный

[1] Πολλὰ οἶδα τῆς μούσης τοῦ ἀνδρὸς (Ψέλλου) ἀπονάμενος, οὐκ ἔχων δὲ ὅπως ὅλῳ τούτῳ χαρισαίμην (Я немало насладился музой этого мужа (Пселла) и не знаю, как воздать за все это) (из письма к Каматиропулу). См.: *Meursii* Opera, ed. Samii, VIII, 817.

[2] *Psell.*, V, 334.

[3] *Psell.*, IV, 352–353.

[4] PG, CXXXVI, 1329. По поводу одного судьи, своего ученика, Пселл писал митрополиту Евхаитскому (*Psell.*, V, 314); другого своего ученика рекомендовал вниманию племянника императора Исаака Комнина (*Psell.*, V, 432, 434).

[5] PG, CXX, 1053: τὰ τοῦ βίου προοιμία ὑπὸ διδασκάλοις κοσμίως καὶ παιδαγωγοῖς διανύσας, ὡς ἐικὸς ἦν δήπου τὸν εὐγενῆ (На жизненный путь я вступил подобающим образом — под началом педагогов и дидаскалов, как, вне сомнения, и надлежало благородному юноше).

цикл наук.[1] В особенности этот домашний способ обучения был неизбежен в применении к женщинам. Женских общественных школ не существовало, да и само занятие науками считалось делом не женским, несогласным с женской природой. Оттого женское образование чаще всего не выходило за пределы элементов, которые в состоянии была сообщить своей дочери мать, или которые женщина самоучкой могла почерпнуть из книг, научившись сначала читать.[2] Тем не менее в царской семье и в некоторых властельских семьях находили нужным давать девушкам более чем элементарное образование, как об этом можем судить по примерам женщин образованных и со сведениями. В этих случаях, бывших исключениями из общего правила, необходимо предположить, что к девушкам приставляемы были учителя для обучения их наукам, и учение производилось в стенах гинекея. Так, дочери Константина VIII были воспитаны при дворе Василия II и были обучены нарочитыми учителями, а не матерью, которая скончалась прежде, чем было окончено их воспитание.[3] О Пульхерии, сестре Романа III, известно, что она была женщина с возвышенным умом (γυνή φρόνημα αἴρουσα),[4] о Пульхерии, сестре Константина Мономаха, — что она в свое время была умнейшей женщиной (συνετωτάτη τῶν καθ' ἡμᾶς γυναικῶν);[5] но как далеко простирались их книжные познания, мы не знаем. Относительно же фаворитки Мономаха, Склирены, имеем сведение, что она обладала познаниями, которые тогда составляли предмет грамматики. Она часто беседовала с Пселлом о греческих

[1] *Bryenn.*, ed. Bonn., 25: Ἀδριανός τε καὶ Νικηφόρος, οἷν ἡ μήτηρ κομιδῇ νέοιν ὄντοιν διδασκάλους ἐπιστήσασα τὴν ἐγκύκλιον ἐπέταττεν ἐκπαιδεύεσθαι παίδευσιν (Когда Адриан и Никифор были еще весьма юны, мать приставила к ним учителей и велела ввести их в образовательный цикл наук).

[2] *Psell.*, V, 7: ὅτε δὲ μὴ ἄρρενα τὴν φύσιν ἔλαχε, μὴ δὲ ἐξῆν ταύτῃ (матери Пселла) ἀδεῶς λόγοις προσομιλεῖν, ἐν δεινῷ ἐποιεῖτο· ὅπου δὲ τὴν μητέρα λάθοι τὰς τῶν γραμμάτων ἀρχὰς παρὰ τοῦ μόνας λαβούσα, εἶτα δή ἀφ' ἑαυτῆς συνετίθει, καὶ συλλαβὰς ἐποίει καὶ λόγους, μηδὲν προσδεομένη τοῦ στοιχειώσοντος (Ее удручало, что наделенная не мужскою природой, она не могла открыто заниматься науками. Тайно от матери усвоила она у кого-то лишь самые азы грамоты, а затем уже сама складывала буквы, составляла слоги и слова, ничуть не нуждаясь в наставнике).

[3] *Psell.*, IV, 25: ἡ μὲν (Елена — жена Константина VIII) ἀπῆλθε τὸν δεδομένον χρόνον πληρώσασα, αἱ δὲ (дочери) ἐπὶ τοῖς βασιλείοις αὐτοῖς βασιλικῆς ἠξιοῦντο καὶ ἀνατροφῆς καὶ παιδεύσως (Прожив отмеренный срок, <Анна> умерла, а <дочери> остались во дворце и были удостоены царского воспитания и образования). Ср.: *Psell.*, V, 122.

[4] *Psell.*, IV, 32.

[5] *Psell.*, IV, 127.

мифах, вставляя при этом и собственные свои замечания. Однажды во время выхода в театр, когда Склирена впервые появилась наряду с царицами, занимая в их среде третье место, один придворный льстец сказал по этому поводу: οὐ νέμεσις («Осуждать невозможно» — Ил. III 156), не прибавив более ни слова. Склирена выслушала комплимент без всякого возражения, как и требовал долг вежливости, но по окончании выхода сделала удачную, совершенно правильную оценку сказанного, безошибочно произнесла слово и определила его значение. В другой раз, когда в ее присутствии прочитано было историческое произведение, она осыпала чтеца похвалами, свидетельствовавшими о ее вкусе к этого рода трудам.[1] Евдокия, бесспорно, была образованная женщина; если даже согласиться, что «Иония» не принадлежит ее перу, то остается, сверх того, несколько до нас не дошедших или, по крайней мере, неизданных ее произведений, которые свидетельствуют о ее познаниях, как-то: «О волосах Ариадны», «Руководство женщинам», «О занятиях принцесс», «О монашеской жизни».[2]

О предметах, входивших в круг школьного преподавания, порядке их изучения, сравнительном значении предметов и методе изложения можем судить по конкретным примерам отдельных лиц, бывших учителями или учениками.

Обучение Иоанна Мавропода велось последовательно и основательно, начиная с элементов, продолжая более трудным и оканчивая высшим, а не так, как бывает со многими, которые минуя начало и середину, порываются к концу и вследствие того лишь приближаются, но не достигают высшего знания и не приобретают основательности в суждениях. Мавропод, обратившись к лучшим дидаскалам (из которых один был Клавдиопольским епископом, а другой миссионером у печенегов и болгар), изучил сначала предварительный цикл наук и, дойдя до высоты грамматического искусства, приступил к высшим наукам (τὴν ἐγκύκλιον πρῶτα παιδείαν μεμαθηκώς, πρὸς δὲ καὶ τῆς γραμματικῆς τέχνης εἰς ἄκρον ἐληλυθώς οὕτω δὴ τῶν μειζόνων μαθημάτων ἀντιλαμβάνεται)... Сделавшись сам дидаскалом, Мавропод умел обращаться с науками; начав с риторики (ἀπὸ τῶν ῥητορικῶν λόγων ἀρξάμενος), переходил к философии, не пренебрегал также и мудростью италов (τῆς Ἰταλῶν σοφίας), т. е. знанием политическим и законоведением (πολιτικὰ πράγματα, νομικὴ τέχνη). Искусство (τέχνη, т. е. риторическое) он полагал не в широковещательности, но в умении

[1] *Psell.*, IV, 130.

[2] *Villoison*. II; Сафа (*Psell.*, V, μς) замечает, что все это καὶ νῦν καθ' ἡμᾶς ἐν τῷ τῆς Προικονήσου σεμνείῳ σώζεται (...и теперь хранится в монастыре на Приконисе).

говорить и писать кратко, вместе с тем содержательно. Из образцовых риторов, Григория Богослова, Демосфена, Димада и Исократа, он старался подражать Григорию, всех более походил на Исократа, в общем же представлял приятную смесь достоинств, отличающих образцовых риторов. Еще более он возбуждал удивление знанием (ἐπιστήμη, т. е. философией): разделял целое на части (ἀναλύσας) и части соединял воедино (ξυνθείς), составлял силлогизмы, отыскивал посылки, основные и производные; не уклонялся ни от диалектической, ни от аподиктической, ни от иной какой-нибудь логической задачи; умозаключение возводил до оснований и отыскивал вложенные в нас пределы высшего разума (ὅρους τοῦ πρώτου νοῦ); софизмы изгонял. Затем, обращаясь к обозрению природы, начинал с элементов и восходил к общему, шел по суше, плыл в разные города, возносился к небу, ничего не оставляя нерассмотренным, ни того, что в душах, ибо этот род кладет первое основание физическим знаниям, ни того, что в животных, ни того, что в растениях; после этого, подобно тому, как желающий отплыть в Элладу или Ионию не заботится о постройке корабля, но пользуется для переезда первым попавшимся, так и он, пользуясь науками, как средством переправы, переходил от тел к бестелесному, пройдя прежде через смешение обоих (τῷ κράματι πρότερον προσελθὼν); достигнув этого пункта, он познавал первое единство, происходящие из него единицы, главенствующее бытие, части бытия, первообразы блага (τὸ πρώτως ἕν, τὰς ἐκεῖθεν ἑνάδας, τὸ κυρίως ὄν, τὰς τοῦ ὄντος μερίδας, τὰ τοῦ καλοῦ παραδείγματα), удивительную цепь, звенья, связующие крайние вещи. Таков был этот философ и дидаскал, не чета многим, которые занимаются наукой в ограниченных размерах, многое находя излишним, и полагают, что приобрели все, ни в чем более не нуждаются.[1]

Учение Пселла началось с пяти лет. Когда ему исполнилось пять лет, мать, сама до тех пор кое-чему его обучившая, отдала его в науку дидаскалу. Когда наступил восьмой год, природа Пселла потребовала бóльших познаний. Многие родственники не советовали пускать мальчика в это пространное море, а лучше направить на что-нибудь более легкое и полезное. Мать, после некоторых колебаний, отдала сына в дальнейшее учение. Он стал быстро успевать, так что в течении года изучил орфографию и знал «Илиаду», не только мог прочитать эпопею, но и сделать всесторонний разбор, определить построение, оборот речи, указать метафору, гармонию в композиции. В 16 лет он покончил с поэзией и приступил к риторике (τοῦ ποιημάτων ἀκούειν ἀπαλλαγεὶς καὶ παρακύψας εἰς τὴν τῶν λόγων τέχνην). В это время он впервые оставил Византию и

[1] *Psell.*, V, 146–151.

отправился в одну западную фему чиновником какого-то практора; но умерла сестра, и его вызвали в Византию под предлогом продолжать учение. Действительно, он продолжал учение и к 25 годам изучил в Византии и в Элладе риторику и философию. Риторикой образовал свой язык, мог разделять речь на части, вносить главные и придаточные предложения, мог владеть искусством, не будучи его рабом. Философией возвысил свой ум, овладел разнообразными силлогизмами,[1] коснулся наук физических и через посредствующее знание вознесся к первой философии... А именно, познакомившись с философскими основоположениями, перешел к Аристотелю и Платону, от них пустившись в путь, переплыл через Плотинов, Порфириев, Ямвлихов и прибыл к великой пристани, удивительнейшему Проклу. Отсюда, желая подняться к первой философии, погрузиться в чистое знание (τὴν πρώτην ἀναβαίνειν φιλοσοφίαν καὶ τὴν καθαρὰν ἐπιστήμην μυεῖσθαι), наперед усвоил теорию отвлеченного (περὶ τῶν ἀσωμάτων θεωρίαν) в так называемых науках (ἐν τοις λεγομένοις μαθήμασιν), которые занимают как бы середину между телесной природой, обнимаемой безграничным мышлением (ἄσχετος νόησις), и самосущностями (αὐτῶν τῶν οὐσιῶν), которым соответствует чистое мышление (καθαρὰ νόησις) и за которыми лежит сверхъестественное, превышающее силы ума (ὑπὲρ νοῦν ἢ ὑπερούσιον). Для этого занялся системой чисел (ἀριθμῶν μεθόδοις) и геометрическими доказательствами, которые некоторыми называются роковыми (ἀνάγκας), углубился также в музыку, астрономию и другие науки (μαθήσεις), следующие (ὑπόκεινται) за ними; не забывая ни одной из них и сначала пройдя каждую порознь, затем, все соединив в одно, взошел посредством их на высоты. Поскольку же от более совершенных философов слышал, что есть еще мудрость, стоящая выше доказательств, постигаемая лишь вдохновенным умом, то не обошел вниманием и ее, но добыв тайные книги (βίβλια ἀρρήτα), почерпнул из них сколько следовало и сколько мог. «Усмотрев, что есть два отдела знаний, один объемлется риторикой, другой философией, что первая, не заключая более важных сведений, хвалится только обилием речений, вращается на построении частей речи, имеет приложение к речам политического содержания и, украшая слово, сообщает пышность речам политическим, философия же, менее заботясь о словесных красотах, исследует природу сущего, представляет невыразимые словом созерцания, не только возводя до небес, но обнажая во всем разнообразии и ту красоту, которая на небе, — усмотрев

[1] ἢ ἄνωθεν καὶ ἀμέσως, ἢ ἐκ τῶν μετέπειτα καὶ παντοδαπῶς (от причины и непосредственно, от обратного и многими способами. — *Пер. Я. Н. Любарского*).

это, — говорит о себе Пселл, — я не считал нужным, как многие делают, заимствовать только искусство (τέχνη, риторика) и пренебречь знанием (ἐπιστήμη, философия), или же, занявшись знанием и приобретя богатство мыслей, пренебречь изяществом речи, разделением и построением ее по законам искусства. Я держусь правила, за что многие меня осуждают, занимаясь риторическим предметом, вводить в него какое-нибудь доказательство из сферы знания, а доказывая какое-нибудь философское мнение (θέλημα), украшать его прелестями искусства, дабы душа читателя, с трудом усваивающего глубину мысли, не была лишена философского слова. Так как выше этой философии есть еще другая, содержание которой составляет тайна Слова (τὸ τοῦ καθ'ἡμᾶς λόγου μυστήριον), тайна же эта определяется двойственно (διπλοῦν μεμερισμένον), и по природе, и по времени, да и сама эта другая философия двойственна, одной стороной доступна доказательствам, а в другой представляет знание, бывающее по наитию свыше; то я той, первой, философией занимался более, чем этой, второй, что же касается последней, то частью руководствовался в ней словами великих отцев, частью внес и от себя нечто в божественную плерому. Есть более семи тысяч слов, перешедших к грекам от египтян, халдеев и евреев, примененных к богопочитанию (πρὸς θεοσέβειαν). Я их изучил, хотя не все, и многими воспользовался для утверждения тайны Слова (πρὸς τὴν ἐσχὺν τοῦ καθ'ἡμᾶς λόγου)... Изучив философию, спустился от высшего к низшему и стал изучать законы (νομικὴ ἐπιστήμη), руководствуясь при изучении их философским методом» (т. е. применяя анализ и синтез).[1] Задачи, которые, по взгляду Пселла, должны быть достигаемы школьным обучением,

[1] *Psell.*, V, 11–12, 14, 28–29; IV, 120–122; V, 152; IV, 427–428. В письме к друнгарию виглы Махитарию Пселл кратко перечисляет изученные им науки: ρητορικήν, γεωμετρίαν, μουσικήν, ρυθμικήν, ἀριθμητικήν, σφαιρικήν, νομικήν, κἄν Ἕλληνες ἀπαρέσκονται ἱερατικήν, θεολογικήν (риторику, геометрию, музыку, метрику, арифметику, науку о сферах, законы, священные каноны, богословие) (V, 352). То же в письме к патриарху Керулларию: φιλοσοφίας ἄττα ἐξέμαθον, καὶ τὴν γλῶτταν ταῖς σοφιστικαῖς τέχναις ἐκάθηρα, καὶ γεωμετρίαν τοῖς ἐφ' ἡμῖν συμπεπόρισμαι, πρῶτος ἐπιβαλών, καὶ μουσικῆς λόγους ἐξεύρηκα, καὶ τῶν περὶ τὴν σφαῖραν κινήσεων οὐκ ὀλύγα διωρθωσάμην, καὶ τῶν ἡμετέρων λόγων τὴν ἐπιστήμην ἀκριβεστέραν ἐποιησάμην, καὶ θεολογίας ἐξεθεμην διδόγματα, καὶ τὸ τῆς ἀλληγορίας βάθος ἀνέπτυξα, καὶ πᾶσαν ἐπιστήμην ἠκρίβωσα (Я изучал кое-что из философии и очистил язык софистическим искусством. Я принес современникам геометрию, — а взялся я за это первый, — а также составил сочинения о музыке, внес немало исправлений в науку о движениях сферы, знание нашей словесности углубил, богословские поучения издал, сокровенный смысл иносказания раскрыл, всякую науку в точности познал) (V, 506–507).

состоят в преподавании ученикам искусства и знания, риторики и философии; философия должна послужить приготовлением к христианским догматам, быть полезной при усвоении этих последних, но вводить учеников в сокровенное знание, посвящать в необъяснимые тайны природы нет надобности. «Я хочу, — говорил Пселл, обращаясь к ученикам, — чтобы вы отвыкли от нравов черни и напитались науками, позаботились бы о мыслях и очистили язык, поработали бы над оборотами речи, вместе с тем убедились бы, что эллинская мудрость, погрешившая в догмате о Боге, не погрешила в другой части богословия и познала природу такой, какой создал ее Творец. Следует нам иметь об этом понятие, на основании нашей мудрости познавать тип и истину, смотреть на букву, как на оболочку, и извлекать внутренний смысл, как жемчуг. Из того, что философы говорят и аргументируют о едином, сущем, самодвижущем, отдельном, принимайте согласное с системой, а несогласное отвергайте. Делая так, вы, по примеру моряков, будете извлекать из соленой воды воду, годную для питья. Что те делают? Пустившись в море и почувствовав недостаток в пресной воде, погружают губку в море, и обратив пар в воду, получают приятное питье. Так и вы, утвердившись на поверхности эллинских воззрений и раздающееся из них эхо — тяжелое и земное — превратив в острое и легкое, услышите самую высокую и звонкую мелодию».[1] В письмах к одному приятелю, который был озабочен вопросом о лучшем воспитании своего сына, Пселл, представив примеры мистического учения египтян и неразгаданных явлений природы, которые служат источником чудесного элемента и дают содержание таинственной науке, наделяющей скрытыми силами животных, растения и камни, советует не вводить ребенка в этот таинственный лабиринт, в котором первейшие мудрецы не могут разобраться и отыскать разумные основания явлений; совершенно достаточно познакомить его с двумя науками, из которых одна разовьет его язык, другая просветит ум и даст содержание мысли. «Посади, — говорит он, — ребенка между двумя источниками — знанием и искусством (ἐπιστήμης τε καὶ τέχνης); словесное же искусство лишь одно — так называемая риторика. Дай ему испить в меру от обеих чаш и позаботься о том, чтобы он не вдался в односторонность, чтобы, изучив одну лишь философию, не получил ума без языка, или же, усвоив одну лишь риторику, не приобрел языка без ума».[2] Свой взгляд Пселл применял и на практике. Племянники патриарха Михаила Керулларий, учившиеся, между прочим,

[1] *Psell.*, ed. Boissonade, 151–153.

[2] *Psell.*, V, 473–480.

у Пселла, сначала усвоили себе риторику, а потом философию.[1] Михаила Парапинака Пселл обучал грамматике, метрике, диалектике, риторике, истории и философии.[2]

Иоанн Ксифилин в совершенстве изучил грамматику, пиитику и орфографию; усвоил риторическое искусство, так что никому не уступал красноречием и легкостью языка; на помощь уму призвал философию, познакомился с аподиктическим методом, с природой, небесными явлениями и миром сверхчувственным, который созерцается умом; не пропустил и математики, и геометрии с теоремами. Но прежде чем приступил к философии, изучил политическое искусство законов (πολιτικὴ τέχνη τῶν νόμων). При этом достойно было изумления, что, не зная еще философии, он к изучению законов применил философский метод, части соединял в одно целое и наоборот — целое разделял на части; он систематизировал законы по их внутренним признакам, а не так, как поступают многие законники, которые не разделяют законов, но рассекают, разрывают их и достоинство полагают в знании возможно большего количества глав. Около него собрались те, которые посвятили себя государственной деятельности, и он преподавал им законы, следуя своему методу.[3]

Никита, маистр школы св. Петра, впоследствии митрополит Фессалоникийский, изучал риторику вместе с Пселлом у одного и того же учителя. В то время как Пселл от риторики перешел к философии, Никита за ним не последовал: около него собралось учащееся юношество и заставило преподавать орфографию. Он приступил к преподаванию и вел его так, что грамматику, бывшую прежде началом (στοιχεῖον) всякого учения, обратил в искусство искусств и науку наук. Он сообщал сведения не беспорядочно, но в системе, одно полагая в начале, другое к этому присоединяя, все истолковывая и объясняя, даже историю изобретения алфавита, что в этом отношении сделал Кадм, что затем финикийцы и т. д.

---

[1] *Psell.*, IV, 352–353: τέχνας λόγων ἐμεμαθήκεσαν, καὶ πρὸς τὸ τῆς φιλοσοφίας ὕψος ἀνέδραμον (постигли словесное искусство, а затем взошли на вершину философии).

[2] *Zon.*, IV, 220: Μιχαὴλ τοῦ Ψελλοῦ λόγοις τῷ δοκεῖν αὐτὸν ἐμβιβάζοντος καὶ διδάσκοντος νῦν μὲν τὴν γραμματικὴν τέχνην καὶ μέτρα καὶ διαλέκτους. νῦν δ᾽ἵνα καὶ ῥήτορας διαλέγοιτο, νῦν δ᾽ ἱστορίαις αὐτὸν προσεθίζοντος, ἄλλοτε δε φιλοσόφων θεωρημάτων ἀκροᾶσθαι παρασκευάζοντος (...Михаил Пселл, как казалось, обучал его наукам — то наставлял в искусстве грамматики, стихосложении и диалектике, то упражнял в произнесении речей, то с историей знакомил, то к изучению философии готовил) (*Ephr.*, 147).

[3] *Psell.*, IV, 427–429, 433; V, 185–186.

Превосходно разделял и истолковывал диалекты, указывая различие и сходство между ними; излагал правила просодии, ударение, острое и тяжелое придыхание, откуда то и другое происходит. Обратившись к искусству Аристарха и Аполлония, преимущественно показывал грамматическое искусство: какие особенности в выражениях, какое между ними различие, какова конструкция зависимых частей, чем отличается главное от зависимого, почему вместо имен употреблены антонимии и какие правила для антонимий. Как удачно он оценивал поэтические произведения, могли бы засвидетельствовать те, которые, выслушав его, предпочли его способ толкования другим. Зная, что эллины любили таинственность, скрывая истину под покровом внешности, он снимал покров и обнажал мысль. Златая цепь, составленная Гомером, получала особое значение, связанный Арес означал гнев; любезное отечество, к которому спешат спутники Одиссея, — вышний Иерусалим. В таком же направлении истолковывались им Эпихармы и Архилохи, Менандры и Пиндары.[1]

Доныне была речь о четырех известных дидаскалах византийской Академии, чему они учились и чему учили других. Еще обратим внимание на пример двух патриархов — Керуллария и Лихуда — и митрополита Ефесского Никифора.

Михаил Керулларий с раннего возраста обратил ум свой на науки. В достаточной мере усвоив первые элементы, занялся риторикой, не удовольствовавшись же наружной красотой (речи), в искании истины перешел к философии и не пренебрег философским циклом.[2] Товарищем его по учению был старший его брат. Оба они позднее полюбили философию, в особенности же диалектику. Имели наклонность не просто к силлогизму, но доискивались оснований для доказательства и откуда вытекают самые основания. Младший брат главным образом занимался прозой, старший — рифмами и метрами. Оба выбирали себе некоторых из людей умерших, и не только составляли изображения лиц, посвятивших себя Богу (τῶν γε καθοσιωσάντων ἑαυτοὺς τῷ θεῷ οὐκ εἰκόνας ἐπεποίηντο μόνον), но украшали их речами и эпиграммами. Старшему была более по душе

[1] *Psell.*, V, 88–92.

[2] τοῖς γε πρώτοις ἀρκούντως στοιχειωθεὶς, ἐπειδὴ καὶ ρητορικοῖς λόγοις ὡμίλησεν, οὐ τό φαινόμενον αὐτῶν κάλλος καὶ πρὸς πειθῶ ἀρκοῦν ἠγαπήκει, ἀλλὰ τὸ ἀληθὲς καὶ στερρὸν, ὅ δὴ καὶ φιλοσοφία ἑαυτῇ ὑποποιεῖται καὶ τοῦ περὶ αὐτὴν οὐκ ἀπαξιοῖ κύκλου (Овладев в достаточной мере первоосновами <знания> и изучив риторику, он не удовольствовался призрачной красотою ее, служащей одному убеждению, а возлюбил красоту истинную и неколебимую, которой философия облекается, и не пренебрег окружающими ее науками).

природа; изучив то, что находится долу, он сказал «прости» чудесам и красотам, которые на небе, ум же младшего окрылялся и этими последними: знал он и о неподвижных звездах, и о планетах, о параллельных кругах и эклиптических соединениях, о причинах затмений и ущербов. До всех этих сведений он дошел самостоятельно (не строгим научным методом), геометрией не занимался прилежно, делал только то, и делал искусно, что в геометрии получается как окончательный результат. Таковы были его занятия до тех только пор, пока он не возгорел ревностью к высшей добродетели. Когда же узнал, что обычные занятия не составляют еще достаточного блага, но служат переходом к цели, приводят к созерцанию, тогда он снял с себя земные крылья, надел сребровидные крылья божественной голубицы и, оставив дела политические, воспарил к духовным.[1]

Константин Лихуд обнаруживал большую способность к учению. Когда он приступил к изучению науки, служившей подготовлением к другим, более совершенным наукам (τὰ προτέλεια τῶν τελεωτέρον μαθημάτων), и занялся правилами орфографии, он тогда уже показал недюжинность своей природы: учителям приходилось не сокращать, но расширять размеры преподавания, до такой степени он был восприимчив и по душевным качествам старше своих лет. В возрасте, когда другие едва усвояют грамоту, он уже доходил до высшего разумения; едва у него стал пробиваться пушок, как он уже превзошел длиннобородых и поседевших старцев. Но он на этом не остановился и усердно стал изучать риторику и достиг того, что силой слова, убедительностью и искусством возбуждал удивление в риторах: умел поставить и обработать тему, украсить речь внешней формой, изложить мысли в периодах и в простых тезисах, сказать благозвучно и гармонично, подчиняя слово рифме, и вместе с тем прогреметь с силой. Достигнув совершенства в риторике, он вступил на третье поприще, занялся после риторического искусства другим искусством — законами. И здесь он усовершенствовался настолько, что трудно было решить, чему более удивляться, гибкости ли мысли, или языка. Занимавшие судебные должности признавали его первенство, его мнение и толкование было для судей законом. Словом, по природе он ко всему был способен, всего же более к искусству управления, которое потом и украсил собой.[2]

Никифор, митрополит Ефесский, с ранних лет был самой природой подготовлен, как чистая дощечка для начертания лучшего письма, и когда

[1] *Psell.*, IV, 310–312.

[2] *Psell.*, IV, 391–392, 394, 396–397.

наступило время для письма, на ней соединились разнообразные цвета, как из области первого знания, так и из сфер, за нею следующих (ὅσα τε τῆς πρώτης τῶν ἐπιστημῶν καὶ ὅσα τῶν μετ'δ'ἐκείνην μερίδων ἐστί). Занятием его была первая философия (ἡ πρώτη φιλοσοφία), возносящая наш ум к Богу. Но чтобы не было скачка, он пришел к ней разумным путем, сначала исследовал природу, ее причину, от телесной природы перешел к бестелесной и вознесся к Богу. Вознесшись же на эту высоту, он не смотрел пренебрежительно на науки, потому что чужд был односторонности, но разносторонне обладал всеми искусствами, которые украшают жизнь частную и политическую; трудился над метром, эпосом и избранными творениями, не пренебрегал политическими законами, как и церковными постановлениями.[1]

В представленных примерах вопросы о предметах школьного преподавания, их порядке и методе имеют однородное освещение, и выводы получаются довольно отчетливые. Полный и законченный круг школьного преподавания слагался: а) из наук подготовительных, б) риторического искусства, в) философского знания, г) рядом со второй и третьей группой колеблющееся место принадлежало политическому искусству, или законоведению.

Изучение подготовительных предметов занимало добрую половину и даже бóльшую половину всего времени, которое в детском и юношеском возрасте посвящалось науке, лет около десяти, начиналось примерно с 6 и оканчивалось 16 годом. Предметы этого подготовительного курса состояли из грамоты, т. е. чтения и письма, и орфографии, именем которой обозначались две науки — грамматика и пиитика.[2] Восьмилетний возраст был пределом, когда оканчивалась учеба и начиналось в собственном смысле учение, от элементов переходили к грамматике и пиитике. Все изучение той и другой основано было на классических образцах: грамматики — на Аристархе и Аполлонии, пиитики — на Гомере, Эпихарме, Архилохе, Менандре, Пиндаре. Чтение классиков сопровождалось тщательным их разбором и извлечением выводов о природе языка, его истории, о правилах этимологии, синтаксиса, просодии, а также объяснением содержания авторов. При этом необходимо заметить, с одной стороны, что история привходила по необходимости, как составная часть грамматического обучения, судьбы минувших времен изучались по историческим

[1] *Psell.*, V, 103–104.

[2] Это своеобразное понимание орфографии вытекает из рассказа о Никите. Впрочем, в рассказе о Пселле и Ксифилине она имеет значение видового понятия, наряду с грамматикой и пиитикой, а не родового относительно двух последних.

произведениям древних, не говоря уже об исторических сведениях, которые учитель сообщал о происхождении алфавита и пр., с другой стороны, что комментарии и объяснения к содержанию классических авторов велись в христиански-аллегорическом духе, в результате чего Гомер оказывался в числе пророков христианской истины, которая у него скрыта под покровом аллегории, а Менандр и другие комики приобретали возвышенный смысл.[1]

Другая половина школьного возраста, примерно с 16 до 25 лет, была посвящаема юношей изучению всех остальных предметов, и прежде всего риторического искусства. Преподавание риторики направлялось к тому, чтобы развить язык, научить искусно и убедительно говорить и писать. Оно тоже твердо держалось на почве древних образцов, языческих и христианских, как-то: Григория Богослова, Демосфена, Димада и Исократа. Тут приобретаем был навык к произнесению речей на суде и с церковной кафедры, равно как оживлялись сведения по церковной истории. О последнем можно заключать потому, что ученические упражнения в риторическом искусстве имели, между прочим, предметом жизнь и деятельность святых и посвятивших себя Богу мужей, учениками были составляемы их характеристики, писались в их честь речи и эпиграммы в прозе и стихах.

По изучении риторического искусства приступали к тому, что называлось знанием или вообще философией. Содержание ее было всеобъемлюще; познание мира, человека и Бога подходило под это понятие; целый цикл наук опытных и сверхъопытных, конкретных и отвлеченных, обозначался этим словом. В порядке их изучения существовала постепенность. На первом плане стояло учение о формах человеческого мышления и конкретном их воплощении в умах мыслителей, т. е. логика, чаще называвшаяся диалектикой, и история философии. Ученики знакомились с силлогизмами, с анализом и синтезом, с диалектическим и аподиктическим способами доказательств и т. д. Затем им сообщаемо было о системах Платона, Аристотеля, о Плотине, Порфирии, Ямвлихе и Прокле. На втором плане стояли так называемые науки математические — μαθήματα, а именно: арифметика, геометрия, музыка, астрономия и физика. Физика знакомила с Землей и земным, в состав ее входили и география, и зоология, и ботаника, и медицина, и психология — все это, разумеется, в примитивных формах. Астрономия знакомила с небом и небесными телами.

[1] Кроме Никиты, такого направления держится и Пселл в своих произведениях. См. статью: Sur les commentaires de Ménandre et les allégories homériques. Annuaire de l'association pour les études Grecques, en France. 1875.

Остальные μαθήματα знакомили с отношениями чисел, линий и звуков и составляли естественный переход от опытного знания к чистому. На третьем плане (после наук) стояло так называемое чистое знание — καθαρὰ ἐπιστήμη, или метафизика. Путем сведения результатов изучения наук ученики приводились к метафизическому познанию высшего бытия и его частей, верховного единства, верховного блага и т. д. Наконец, на четвертом плане стояло и высшее место занимало первое знание, первая философия (πρώτη ἐπιστήμη, πρώτη φιλοσοφία), под которой понималось богооткровенное знание, богословие. Это знание отчасти только доступно уму и может быть раскрываемо по законам мышления, в остальном же превышает силы ума и основанием своим имеет слово Божие и свидетельства отцев Церкви.

Кроме перечисленных предметов особый еще предмет преподавания составляло знание или искусство (безразлично называемое τέχνη и ἐπιστήμη) политическое, законоведение. Место его в порядке обучения не было строго определено: одни приступали к изучению законов после риторики, другие после философии. Научной задачей юриспруденции было изложение законов в системе, в противоположность механическому усвоению их в пунктуальном порядке законодательных актов. По всей вероятности, в связи с изучением государственных законов (νόμων πολιτικῶν) велось изучение и церковных законов (θεσμῶν ἱερατικῶν, ἱερῶν κανόνων); по крайней мере, одно с другим тесно связано в случае Никифора Ефесского.

Изложенный порядок и объем школьного обучения был идеальным; он считался наиболее правильным, целесообразным, удовлетворяющим все требования, какие мог предъявить образованный человек. Но оба принципа, которые преследовались этим идеалом, во-первых, последовательность и постепенность, во-вторых, всесторонность и законченность образования, на практике далеко не всегда выполнялись, далеко не все проходили весь образовательный цикл (ἐγκύκλιος παίδευσις) правильно и систематично. Были такие, которые, не усвоив себе или усвоив недостаточно начала, стремились к концу, и познания их вследствие того не отличались основательностью. Еще более было таких, которые, начав правильно, не доходили до конца. Некоторые ограничивались элементарным обучением и не простирались далее грамоты, как показывает история с Пселлом, которого родственники не советовали отдавать в науку преподавателю орфографии, а удовлетвориться теми сведениями, которые он успел приобрести до 8-летнего возраста. Другие останавливались на рубеже между пиитикой и риторикой и не простирались в область риторического искусства; с теми познаниями, какие вынесли из грамматики и пиитики, вступали в жизнь, принимались за государственную службу

или практическую деятельность и доживали до седых волос. По сравнению с этими устаревшими недоучками восхваляется Лихуд, который в том возрасте, когда начинала только расти у него борода, превзошел многих длиннобородых, седых стариков, потому что не остановился на поэзии, а занялся еще риторикой. Пселлу тоже грозила опасность закончить ученую карьеру на поэзии; так как его семья была не из особенно зажиточных, то в 16 лет он оставил учение и временно превратился в чиновника, с целью приобретения средств к жизни. Некоторые изучали риторику и тем оканчивали свое образование, например, Никита Фессалоникийский, по изучении риторики принявшийся за учительское ремесло. Некоторые к риторике присоединяли еще знакомство с законами, до философии все-таки не простираясь. Таков был Константин Лихуд. Некоторые, наконец, принимались и за философию, но усваивали ее не во всей полноте: старший Керулларий изучил диалектику, физику и на том остановился, младший Керулларий, знаменитый впоследствии патриарх, к физике прибавил еще астрономию, но следовавшими за ней отвлеченными науками (арифметика, геометрия, музыка, метафизика) не занимался, и напыщенную заметку, что он впоследствии, как голубица, воспарил в область духовных предметов, трудно понимать в смысле школьных занятий его богословием, а можно разуметь скорее или в смысле общего направления позднейшей его деятельности, или в смысле позднейших внешкольных занятий богословием. Так как богословие было заключительным звеном в цепи школьного обучения, до которого доходили не все, то естественно сделать вывод, что и систематическое научное изложение догматов становилось уделом лишь немногих, достигавших вожделенной пристани знания, вроде Пселла или Никифора Ефесского. Даже о таких светилах, как Иоанн Мавропод, Иоанн Ксифилин, Никита Фессалоникийский, Константин Лихуд, биограф их не говорил, чтобы они венчали свои школьные занятия догматикой. По-видимому, учительницей благочестия была в то время не столько школа, сколько семья и Церковь; уроки по этому предмету, преподанные детям матерью, восполняла и укрепляла Церковь. В школе же богословский элемент был как бы придаточным; на первой стадии школьного учения он выражался в аллегорическом объяснении поэтов, на второй в изучении христианских риторов наравне с языческими, усвоении церковного красноречия, наравне с политическим, на третьей (если такой было законоведение) — в ознакомлении не с одними гражданскими и уголовными законами, но и канонами Церкви, на четвертой (имея в виду философию) — в мистическом изъяснении арифметических чисел, а еще более в применении музыки к церковным песнопениям. Только на вершине школьной мудрости догматика делалась специальным

предметом. Но немногие достигали этой вершины, если же и достигали, то недолго на ней удерживались. Причиной тому было самое свойство предмета — догматики, — вспомним ссылку Пселла на двойственность первой философии в объяснение того обстоятельства, почему он занимался ею менее, чем второй философией.

Представленные разъяснения могут способствовать установлению надлежащей точки зрения на характер византийской образованности XI в. Бесспорно, на образованности того времени лежал отпечаток церковности, результат этого стоит в согласии со школьным приемом обучения, объединявшим на всех стадиях содержание светское с духовным. Но было бы заблуждением утверждать, что религиозный элемент вытеснял и подавлял элемент светский, что богословская наука убивала науку светскую. Скорее светский элемент брал перевес над духовным, во всяком случае, он стоял на первом плане, а религиозный элемент привходил стороной, сообщая при этом свою окраску содержанию науки в целом. Взгляд, высказываемый некоторыми учеными исследователями о преобладании в Византии религиозного начала в сферах мысли и жизни, мы находим утрированным по отношению к школе и школьной науке. Некоторую неточность видим также в общепринятом взгляде на энциклопедичность, универсальность знаний в Византии. Взгляд этот справедлив в том смысле, что энциклопедичность была идеалом византийской образованности, справедлив он, далее, в смысле отсутствия специально духовных и специально светских школ, с разделением элемента светского и духовного в две различные области. Но взгляд неверен, если формулировать его так, что вообще византийская школа была рассадницей энциклопедизма. Такое положение было бы верно, если бы в каждой византийской школе преподавался весь круг наук. Но этого не было. В школе преподавалась лишь часть круга или одна из наук. До открытия византийской Академии при Мономахе были (употребляя с некоторой натяжкой знакомую нам терминологию) школы низшие или элементарные, средние и высшие. Образцом первой может служить та школа, в которой Пселл обучался от 6 до 8 лет, образцом второй — школа Никиты Фессалоникийского до поступления его на кафедру риторики в Академии, — предметами преподавания в этой школе были орфография, грамматика и пиитика, образцом третьей — школа Иоанна Мавропода, тоже до занятия им академической кафедры: в ней преподавались риторика, философия и законы. Византийская Академия, открытая Мономахом, подходит по составу преподаваемых наук под этот последний тип: в ней были кафедры риторики, философии и законов, но нет сведений, чтобы существовала кафедра какой-нибудь из наук, предшествовавших риторике; Мавропод, вероятно,

преподавал какую-нибудь науку из обширного философского цикла. Мы не знаем ни одной византийской школы, где бы совмещался весь образовательный цикл, начиная с элементов, если не с грамоты, то с грамматики, и кончая философией. Между тем мы знаем школы, которые, отличаясь от низших и средних, лишь отчасти подходят под тип высших, скорее же могут быть названы школами специальными, так как в них преподавалась лишь одна наука из круга наук высшего преподавания. Так, известно, что до открытия Академии имели отдельные школы Ксифилин и Пселл, один преподавал в своей школе законы, другой — философию.

В связи с вопросом о школьном преподавании заслуживает еще внимания пограничный рубеж, который отделял область школьных предметов от сферы предметов внешкольного изучения, с которыми Пселл не советовал знакомить учеников, будучи, однако же, сам с ними знаком. Эта сфера предоставлялась на долю внешкольного самоусовершенствования в науках, и содержанием ее служило мистическое, таинственное знание. Несмотря на необязательность, так сказать, этого знания, оно было весьма популярно, и в той или иной степени, в тех или иных размерах составляло весьма важный бытовой момент в жизни византийского общества. С нашей точки зрения, это знание, если не в полном составе, то в значительной своей части, подходит под разряд суеверий и предрассудков.

Суеверия были неотъемлемой принадлежностью всех классов византийского общества; простой народ отличался от аристократии разве тем, что его суеверие было грубое, менее утонченное. Народ верил в Гиллу, отвратительную старуху с огненными глазами и железными руками, с головы до пят покрытую шерстью наподобие шерсти верблюда. Она губит новорожденных детей, вселяясь в них и поглощая высасываемое ими молоко, истребляет скот, отравляя воду источников, из которых скот пьет. Для того чтобы избавиться от нее, необходимо знать 12½ имен, которые она носит; в тот дом, где знают эти имена, она войти не может, но бежит за 500 миль. Легенда называла эти имена и указывала, каким образом они стали известны: по одному сказанию, их узнали в царствование императора Траяна три св. подвижника — Сисиний, Син и Синодот, у которых была сестра Мелетина, потерявшая 7 детей, пожранных Гиллой. Когда она погубила седьмого ребенка, св. мужи, по указанию свыше, погнались за Гиллой, настигли ее, заставили извергнуть из себя живыми всех детей Мелетины и объявить имена. По другому сказанию, архангел Михаил заставил Гиллу назвать свои имена; по третьему — св. Арсений, синайский подвижник.[1]

[1] *Psell.*, V, 572–578; Bibliotheque greque vulgaire, publiée par Emile Legrand. Par., 1880–1881. T. II. Introd. P. XXII–XXIII.

Под образом Гиллы олицетворялась губительная сила природы, в частности, болезни, истребляющие людей и животных. Число имен Гиллы указывает, по-видимому, на главнейшие виды болезней, свирепствовавших в народе, сложившем легенду. Греки верили также в бабуцикариев, ночных демонов, которые являются людям в ночь на Рождество Христово и Крещение,[1] и верили вообще в волшебство. Веру в волшебников и волшебство разделяло не одно простонародье. Роман III Аргир, страстно желавший иметь порфирородных детей, восполнял свою физическую немощь, обусловливавшуюся 60-летним возрастом, искусством, — принимал микстуры, натирания и т. д., а жена его Зоя прибегала к симпатическим и чародейственным средствам: привешивала себе камешки, содействующие зачатию, нацепляла какие-то банты и перевязи, обращалась к нашептываниям и заговариваниям.[2] В понятиях того времени волшебство примыкало к врачебной науке, а именно к искусству составления и употребления ядов. О Романе III, лишенном жизни через медленное отравление, историк выражается, что он был погублен чарами;[3] равным образом обвинение Зои в замысле извести Калафата с помощью яда (φαρμάκοις) было неразрывно связано с обвинением ее в волшебстве.[4] Вся жизнь грека от колыбели до гроба опоясана была точно магическим кольцом, разного рода предсказаниями, предзнаменованиями, приметами. Прежде чем человек появлялся на свет, это кольцо начинало его обхватывать: были приметы, предсказывавшие зачатие и рождение ребенка:[5] если роженица трудно рожала, то это было верной приметой, что в числе присутствующих при родах женщин есть беременная,[6] и потому было правилом не допускать беременной прислуживать рожающей женщине; обстоятельства, сопровождавшие рождение, были для женщин источником предугадывания будущей судьбы ребенка.[7] Не одни повивальные бабки и старушки занимались этим «умным» делом, были «специалисты»,

[1] *Psell.*, V, 571–572.

[2] *Psell.*, IV, 31–32; *Zon.*, IV, 133. В обвинительном акте против Михаила Керуллария в числе обвинений фигурировало то, что он занимался алхимией и волшебством и покровительствовал двум хиосским монахам-волхвам, у которых в распоряжении была какая-то женщина, предсказывавшая наподобие древней пифии. См.: *Psell.*, IV, LXXXVI.

[3] *Cedr.*, 535: γοητείαις κατεργασθέντι. Ср.: *Psell.*, IV, 46.

[4] *Psell.*, IV, 88: ὡς φαρμακίδα τὴν βασιλίδα καταδικάζει.

[5] *Psell.*, IV, 308.

[6] *Psell.*, V, 28.

[7] *Psell.*, V, 11.

которые делали из предсказаний и волшебства выгодный промысел и открыто им занимались, не заботясь о законе Льва Мудрого, устанавливавшем смертную казнь для тех, кто предается волшебству (γοητεία, μαγγανεία).[1] Были предсказатели по внутреннему влечению, окружавшие себя таинственностью, скрывавшиеся в дебрях и появлявшиеся на короткое время, чтобы бескорыстно изречь пророчество. Однажды, когда Алексей Комнин с братом своим Исааком, возвращаясь из церковных палат, ехал верхом домой, перед ним неожиданно предстал загадочный субъект, с виду похожий на священника, с обнаженной головой, седыми волосами и косматой бородой; ухватив Алексея за ногу и идя у его стремени, он произнес стих: «Наляцы, успевай и царствуй истины ради, кротости и правды», с прибавкой: «автократор Алексей», — и затем скрылся.[2] Но такие бескорыстные прорицатели были редкость. Обыкновенно люди этого рода, чаще всего монахи, собирали обильную мзду за свои прорицания. Так как каждому приятно было слышать хорошее предсказание, а не дурное, и первое, разумеется, лучше оплачивалось, чем последнее, редко кому не были излиты прорицателями горы счастья и благополучия, и в среде простых граждан была целая масса будущих императоров. Не было соискателя прεстола, который, приступая к своему рискованному предприятию, не хранил бы в своем сердце пророчества о том, что воссядет на царском престоле, и не поддерживал бы своей энергии этим пророчеством. Иногда молва о счастливце, получившем предсказание насчет предстоящего ему царского величия, широко распространялась, многие верили предсказанию и старались заранее обделывать свои дела, заискивали перед будущим императором, просили вспомнить о них в дни его величия, старались породниться, охотно ссужали деньгами — и таким образом предсказание приносило свою долю пользы, приобретая известному лицу приверженцев и доставляя необходимые для достижения престола средства. Иногда, впрочем, оно приносило и вред лицу, к которому относилось, потому что царствующий император принимал свои меры и заботился, чтобы сделать человека для себя опасного безвредным. Константина Далассина народная молва еще с 10 лет готовила на высокий императорский пост. Это было причиной, почему Калафат позаботился постричь его, с целью разрушить надежды.[3] Константину Мономаху с малолетства предсказывали престол[4] с разными подробностями, которые все кончались

[1] *Zachar.* Jus graeco-rom., III, 160–161.
[2] *Anna*, I, 112–113.
[3] *Psell.*, IV, 110.
[4] *Psell.*, IV, 133.

хорошо; говорили, что на него обрушится много ужасов, но они минуют благополучно, судьба всегда будет ему покровительствовать; предсказания как нельзя более гармонировали с беззаботным характером Мономаха, — что бы с ним ни приключилось, он всегда был уверен, что все кончится хорошо, и благодушно смотрел на жизнь.[1] Льву Торнику, по достижении им зрелого возраста, и Константину Дуке тоже многие предсказывали царское достоинство, и по поводу не оправдавшихся предсказаний первому историк замечает, что подобные неудачные предсказания не редкость.[2]

Помимо предсказаний, получаемых от «профессиональных» провидцев, каждый грек пытался самостоятельно предугадывать будущее по разным приметам и предзнаменованиям, которые частью были освящены традиционной символикой, частью представляли символическое истолкование явлений природы и обыденной жизни по субъективному разумению каждого. Если греку, запрягавшему лошадей, попадался на глаза монах, то это всегда было дурной приметой, и все знали, что тут остается одно средство спасения — распрячь лошадей и остаться дома.[3] Но кроме таких «общепризнанных» примет, была масса других столь же разнообразных, как разнообразны обстоятельства человеческой жизни. При Романе III с марта 1029 по январь 1030 г. во Фракисийской феме у подошвы горы Кузина раздавались какие-то подземные звуки, похожие на жалобы, рыдания и плач. Истолковано это было в смысле предзнаменования несчастий, в ближайшем будущем постигших греков в Келисирии.[4] В Фомино воскресенье 1041 г. Калафат открыл торжественный выход ранее, чем были окончены приготовления в театре и на улицах, — и это было сочтено дурным предзнаменованием.[5] Во время сражения между войсками Исаака Комнина и Михаила Стратиотика на Комнина лично было сделано нападение с двух сторон и он не пострадал — это, конечно же, хорошее предзнаменование;[6] во время похода против печенегов обрушился дуб, под которым он отдыхал, и во время охоты молния ударила в то место, где он охотился — это уже дурное предзнаменование.[7] Во время последнего

[1] *Psell.*, IV, 147. Фатализм Мономаха обнаруживался, между прочим, во время осады Константинополя Торником и нашествия россов, — в обоих случаях он был твердо уверен в благополучном исходе. См.: *Psell.*, IV, 148, 158–159.

[2] *Psell.*, IV, 149 (*Zon.*, IV, 163), 256.

[3] *Psell.*, V, 174.

[4] *Cedr.*, II, 489 (*Glyc.*, 581–582).

[5] *Attal.*, 13.

[6] *Psell.*, IV, 216.

[7] *Attal.*, 68–69 (*Scyl.*, 647; *Glyc.*, 602).

похода Диогена против турок голубь подошел к рукам императора, когда он плыл по проливу, — это предзнаменование сомнительного свойства; по переправе через пролив царь двинулся к Еленополю (имя, которое можно производить от ἐλεεινόπολιν («жалкий город»)), в Еленополе же обрушилась царская палатка, затем сгорел дом, в котором квартировал царь, — все эти предзнаменования заведомо дурные.[1] Около Манцикерта в то самое время, когда Диоген держал военный совет, священником были прочитаны слова: «Если Меня изгнали, то и вас изженут, если слово Мое соблюли, и ваше соблюдут» и т. д.; все слушавшие чтение Евангелия стали дрожать, потому что сочли эти слова дурным предсказанием.[2] Вручение послам султана креста в залог безопасности тоже было объяснено как дурной знак.[3] Вриенний оделся в царские инсигнии в 1077 г. и провозглашен императором в Траянополе — дурной признак, потому что император Траян построил этот город в честь какого-то магната, тоже Траяна по имени, которого он ослепил и над которым потом сжалился.[4] Палатка Вриенния обрушилась и крыша провалилась — явное предуказание собственного падения Вриенния.[5]

Из различных предзнаменований и способов предугадывания будущего три их вида заслуживают преимущественного внимания, потому что они были до известной степени систематизированы и составляли в собственном смысле науку таинственного. Первый вид было гадание по книгам, заключавшим какие-то загадочные изречения о византийских императорах (τὰς περὶ τῶν βασιλέων αἰνιγματώδεις γραφάς).[6] Эти своего рода Сивиллины византийские книги имели соотношение с таинственными письменами, начертанными на цоколе некоторых колонн и статуй в Константинополе, и заключавшими списки будущих византийских императоров, указание на судьбу Византии, на время, когда город будет разрушен, на стенания, какие будет издавать последний император, отправляясь в ссылку в Иерусалим[7] и пр. Подобно древнеримским квиндецемвирам, и в Византии были люди, занимавшиеся изучением этих загадок и применением их к личности тех или других императоров. На их основании

[1] *Attal.*, 143–145 (*Scyl.*, 689–690; *Zon.*, IV, 211; *Glyc.*, 609–610; *Manass.*, 277–278).

[2] *Attal.*, 154–155 (*Scyl.*, 693; *Zon.*, IV, 212).

[3] *Attal.*, 160 (*Scyl.*, 696).

[4] *Scyl.*, 728–729.

[5] *Attal.*, 287 (*Scyl.*, 735–736; *Glyc.*, 616).

[6] *Zonar.*, IV, 255.

[7] *Codinus*, de antiqu.; *Anon.*, de antiqu.

Никифору Вотаниату было предсказано, что восстание его против Михаила Парапинака будет удачно. Загадка гласила, что пятидесятая цифра возьмет перевес над сороковой (ὑπερτερήδει τὸ N τοῦ M), в первой найдено указание имени Никифора, во второй — Михаила.[1] Имя другого соискателя престола, Вриенния, тоже было Никифор, поэтому если бы Вриенний овладел престолом, то загадка, не теряя в глазах византийца всего своего значения, имела бы иное приложение, благоприятное Вриеннию; но при данных обстоятельствах факт был безапелляционным истолкованием в пользу Вотаниата, не только в его борьбе с Парапинаком, но даже с Вриеннием. В этом последнем случае заключение о торжестве Вотаниата над Вриеннием выводили из того обстоятельства, что в загадке цифра 50 стоит простая, а не двойственная (στοιχεῖον τοῦ N ἁπλοῦν μόνον καὶ οὐ διπλοῦν),[2] что, следовательно, один Никифор, а не два займут престол, который занимал Парапинак. В числе загадочных изречений читались еще следующие: ἐν ἀκεσωδύνοις πεσεῖται (падет в утоляющих боль) и ἀγκῆρι καυθεὶς πεσεῖται (падет, обожжённый железом). Оба эти афоризма прилагались к Алексею Комнину. Болезнь Алексея Комнина потребовала операции: ему прожгли живот железом и перенесли в Манганский дворец, по климату более полезный императору в его состоянии, где он и скончался. Мудрецы-толкователи под утоляющим боли (ἀκεσωδύνοις) разумели Манганы, под ἀγκῆρι — железо, которым произведена операция.[3]

Другой систематизированный вид предугадывания будущего — толкование снов. По тогдашнему воззрению, сновидения имели двойственное происхождение: или проистекали из самой души, были прирожденным (ἔμφυτος) ей сознанием бываемого, раскрывающимся во сне, или же привносились извне (ἔξωθεν), были высшим знанием, получаемым душой в момент ее разлучения с телом, происходящего во время сна.[4] В последнем случае источником знания служит сверхъестественная сила, откровение от Бога и Его святых или вообще от небожителей, людей, перешедших в лучший, загробный мир, которые в сонном состоянии могут приходить в соприкосновение с живущими людьми, являться им и сообщать сведения.[5] Сведения иногда сообщаются прямо, в форме понятной, не требующей толкования, иногда прикровенно, под образами, доступными разумению лишь немногих посвященных в тайны высшего, сокровенного знания.

[1] *Scyl.*, 726 (*Zon.*, IV, 224; *Glyc.*, 615).
[2] *Scyl.*, 736; *Attal.*, 287.
[3] *Zon.*, IV, 254–255.
[4] *Psell.*, V, 41.
[5] Ibid., 86–87.

Знание это давалось изучением и было заключено в тайных книгах. Пселл говорит о себе, что был посвящен в это знание (τοῖς περὶ τά κρείττω βιβλίοις ἐντετυχηκὼς κἀκεῖθέν τι γνοὺς τῶν κρυφίων καὶ ἀπορρήτων (Изучив книги о высшей науке, я узнал из них о тайном и сокровенном)) и поэтому мог объяснить сон племяннику патриарха Михаила Керуллария.[1] Мистическое толкование сновидений было в большом ходу и имело широкое применение. События политического и общественного характера по временам приводились в связь со сновидениями, которые по своей «редакции» подчас обнаруживают политическую или моральную тенденцию. При Михаиле Пафлагоне, перед тем как началось трехлетнее опустошение саранчой Фракисийской фемы, один епископский слуга получил видение. Ему явился блестящий евнух, одетый в светлую одежду; перед ним лежало три мешка, и он велел развязать и опорожнить сначала один мешок, потом другой, наконец третий. Когда приказание слугой было исполнено, из первого мешка выползли змеи, ехидны, скорпионы, из второго — жабы, аспиды, василиски, ящерицы и др. ядовитые пресмыкающиеся, из третьего — пауки, комары, осы и др. насекомые, имеющие жало на хвосте. При таком зрелище слуга был изумлен, а евнух приблизился к нему и сказал: «Это с вами приключится за преступление божественных заповедей и за беззаконное дело, соделанное с царем Романом и с его ложем».[2] Подкладка и смысл этого сновидения ясно пробиваются наружу: приверженность духовенства к Роману Аргиру (слуга епископа), несочувствие его новому императору, идея об ответственности подданных за грехи правительства, протест против безнравственности правящих сфер, в частности против того преступления — распутства, — реальной антитезой которого был евнух. Сновидение это, благодаря своей тенденции и связи с событием, имевшим общественный интерес, было разнесено молвой на далекое расстояние и нашло место в хронике. Сны, интерес которых ограничивался известной личностью, были таким заурядным явлением, которое не возбуждало ничьего внимания, однако же в частной жизни имели громадное значение. В этом может убедить любое из сохранившихся до нас жизнеописаний, отчасти и хроники, эпизодически касающиеся жизни отдельных лиц; в них неизменно фигурируют сны и их таинственное толкование, сновидения руководствуют поступками. Когда у Иоанна Орфанотрофа сел нарыв на губе и врачебное искусство оказалось бессильным, чтобы излечить его, во сне является ему св. Николай Чудотворец и повелевает отправиться в Миры, где он получит исцеление. Орфанотроф поспешно идет, приносит в дар храму великого Чудотворца драгоценности, окружает город крепкой

[1] *Psell.*, IV, 385.

[2] *Cedr.*, II, 509.

стеной и возвращается здоровым.[1] Мать Пселла находилась в колебании насчет того, как поступить с сыном Михаилом: покончить ли с учением на восьмом году, или продолжать учить его. Ей снятся два сна тождественного содержания, хотя различные по обстановке и частностям, и колебания ее кончаются, сын отдан в учение.[2] Равным образом, когда она колебалась принять схиму, несмотря на крайнее телесное изнурение, не обещавшее долговременной жизни, одна праведная старица видит сон, предвещающий скорое преставление Феодоты, и колебания последней окончены — она соглашается на пострижение.[3] Пселл находит нужным рассказать и собственные сны, и с серьезностью их рассказывает, начиная со сна, который он видел на 10-м году жизни и который относит к наукам.[4] По поводу видения во сне недавно умершего отца, незадолго перед смертью принявшего монашество, представшего ему в монашеской схиме и предсказавшего скорое пострижение его самого, Пселл, не выполнивший в точности этого предсказания, сокрушенным тоном замечает, что ему стыдно за невыполнение предсказания и противодействие внушению свыше, что это, однако же, не говорит против истинности откровения во сне, а только свидетельствует о его собственной злой воле, так как никто не нудится ни к добру, ни ко злу, но по своей воле выбирает то или другое.[5] Свое пострижение в монашество, выполненное впоследствии, Пселл считает посмертным делом матери и в доказательство приводит не лишенное поэзии сонное видение.[6] Он сообщает также нам сон, виденный им во время болезни патриарха Лихуда, предвещавший выздоровление,[7] рассказывает сны своей дочери Стилианы, предзнаменовавшие ее смерть и пр.[8]

Третий вид предсказаний будущего состоял в предсказании по положению небесных светил — астрологии. Этот вид был более систематизирован, чем снотолкование, хотя по своей малодоступности не так общеупотребителен, и в тех, кому был доступен, не вызывавший такого единодушного признания. Главный мотив, заставлявший с осторожностью относиться к астрологии, была забота о сохранении чистоты христианского вероучения. Учение астрологов, ставивших человеческие действия в зависимость от движения

[1] Ibid., 512.
[2] *Psell.*, V, 12–13.
[3] Ibid., 45–46.
[4] Ibid., 14–15.
[5] Ibid., 42.
[6] Ibid., 52–54.
[7] *Psell.*, IV, 414.
[8] *Psell.*, V, 82–85.

небесных тел, противоречило учению о самоопределении души, о свободной воле, управляющей действиями, и этим самым устраняло учение о воздаянии за гробом, награждении за добродетели и наказании за пороки.[1] Несмотря, однако же, на опасность для православной доктрины, вооружавшую против астрологии и законодательную власть,[2] наука эта, украшенная престижем седой старины,[3] в силу одной только древности должна была уже иметь приверженцев. При дворе византийских императоров существовала корпорация астрологов или, выражаясь тогдашней терминологией, астрономов, математиков, геометров (названия, употреблявшиеся безразлично), которые в затруднительных и вообще в более важных случаях определяли по сочетанию звезд исход того или другого предприятия. У некоторых императоров астрология терпелась более как дань традиции, а не вследствие глубокой их веры в науку; они готовы были ей верить лишь тогда, когда астрологические предсказания совпадали с их собственными желаниями, в противном случае оказывались скептиками. Но были, разумеется, и легковерные императоры. К первому разряду принадлежал Михаил Калафат. Когда был поднят вопрос об удалении Зои, решено было обратиться к помощи математических вычислений придворных астрономов и через них узнать: благоприятствует ли время задуманному предприятию и не препятствует ли его выполнению положение небесных светил. Астрономы, не обращаясь к сложным математическим выкладкам, применили элементарные геометрические приемы и сделали наблюдение, что все наполнено кровью и печалью, что необходимо поэтому оставить намерение или отложить до другого времени. Но император намерен был следовать советам астрологов лишь в том случае, если бы они совпали с его планами, вопрос же об удалении Зои был предрешен в его уме окончательно и бесповоротно. Поэтому Калафат, выслушав результат наблюдений астрологов, громко захохотал и стал издеваться над их наукой, называя ее шарлатанством.[4] Большей благосклонностью к астрологам отличался и бóльшую любовь к их науке питал Константин Мономах, который и сам знаком был с геометрией, с законами движения небесных светил и, находясь в ссылке на острове Лесбос, любил на досуге рассматривать звезды и читать по ним свою судьбу. Раз, по словам его панегириста, произошла удивительная вещь: наблюдая звездное небо и остановившись на одной звезде, Мономах сказал: «Теперь узнаю, будет ли мне по слову, реченному Господом» и загадал.

[1] *Psell.*, IV, 303.

[2] Законы Констанция и Валентиниана I.

[3] Об астрологии древних народов см. в Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft. Bd. IV. S. 1637–1643. Artikel «Mathematici».

[4] *Psell.*, IV, 87–88.

что получит царскую власть, если звезда двинется и упадет. И вдруг звезда, точно столкнутая кем с места, сорвалась и покатилась с неба.[1] О Михаиле Парапинаке известно, что он в критических обстоятельствах обращался к содействию астрономов, истолкователей небесных знаков и выслушивал их прорицания.[2] Отношение образованных византийцев к астрологии было нерешительное: с одной стороны, опасаясь за логические последствия при столкновении системы астрологов с ортодоксальной системой, они восставали против астрологии, не признавали ее значения, вооружались против астрологов, с другой — подчиняясь духу времени, неудержимо увлекавшему всех в область таинственности и сверхъестественности, а также склоняясь перед авторитетом старины, — они сами изучали астрологию, объясняли с точки зрения астрологических положений судьбу государства и отдельных лиц и вообще в применении к конкретным случаям допускали то, что отвергали в принципе. Пселл говорит о себе, что не разделяет того убеждения, будто звезды управляют поступками людей и от их расположения зависят земные дела. В то же время он сознается, что сам занимался геометрией, знаком с математикой (γεωμετρίας ἠψάμην, μαθηματικὴν ἐπιστήμην αὐτὸς εἰδώς), что астрологи, наблюдавшие небо при Калафате, обращались к содействию его познаний; вообще о его астрологических сведениях все были высокого представления и когда вскоре после принятия им монашества умер Мономах, политическая атмосфера изменилась и все получило иное направление, стали говорить, что Пселл поступил так, потому что наперед знал, какое настанет время, сведения же получил из наблюдения за звездами.[3] Рассказывая историю смерти Георгия Маниака, Пселл вдается в рассуждение, которое странным образом противоречит его заявлению о неосновательности астрологической теории. Он сообщает, что некоторые видели необычную (ибо солнце еще не скрылось за горизонтом) звезду, которая упала на голову Маниака и сразила его, другие слышали, как Маниак кричал: «Я ранен всадником, всадник меня умерщвляет, всадник, нанесший мне смертельный удар, ушел, лошадь у него и одежда, все на нем светлое». «А я говорю, — замечает Пселл, обращаясь к императору Мономаху, — что всадник и звезда одно и то же, это был ангел, явившийся в двойственном виде, обнаруживший блеск своей природы (звезда) и собственный свой образ на войне. Эта звезда, надо думать, и прежде являлась тебе на небе, укрепляя твой ум в минуты сомнений, и здесь она же стала прямо над головой врага, предвещая победу над ним».[4]

[1] Ibid., 135.
[2] *Attal.*, 257.
[3] *Psell.*, IV, 87, 204; V, 56.
[4] *Psell.*, V, 139–140.

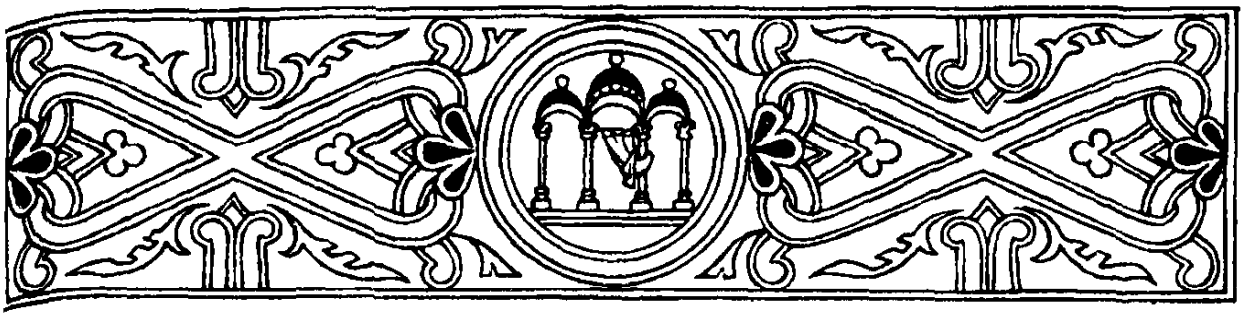
Атталиот, подобно Пселлу, свидетельствует о своем недоверии к астрологии и астрологов называет обманщиками[1] (μηχανορράφοις τισὶν ἢ ἀστρονόμοις). Между тем сам же считает нужным рассказать о двух знамениях, благоприятных Вотаниату и не предвещавших ничего хорошего его соперникам. 3 октября 1077 г., ночью, когда Вотаниат хотел сняться из Лампы и направиться к столице, на востоке появился невещественный огонь, как бы просачивающийся из родника и разливающийся по воздуху; воздух наполнился сиянием, а огненный ручей потянулся по направлению к Халкидону и Хрисополю, поражая сверхъестественностью, потому что никто еще не видел на земле невещественного огня, вытекающего из источника, все охватывающего и нисколько не опаляющего и не искрящегося. Перейдя из Хрисополя через пролив Стенос, этот ручей частью охватил Влахернский дворец, частью разлился по горизонту в северном направлении и долго держался, возвещая всем прибытие с Востока великой силы. Ученые же, истолковывающие видения и проникающие в их символический смысл (очевидно, имеются в виду астрономы, о которых в другом месте сделан такой нелестный отзыв) объясняли явление так, что из Лампы придет во дворец светоч, который будет для добрых и расположенных к нему светом, весельем и радостью неизреченной, а для противящихся и замышляющих на него огнем попаляющим, — и предзнаменование сбылось.[2] В 1078 г., по словам Атталиота, произошло лунное затмение (ἔκλειψις τῆς σελήνης), предвещавшее падение Никифора Вриенния; потому что, как говорят математики, люди сведущие в движениях светил, луна знаменует судьбу апостатов и потому ее страдание предуказывает страдание апостата.[3] Если люди, стоявшие в первых рядах образованного общества, не могли выдержать последовательности во взгляде на значение астрологии, то для людей посредственного образования, а тем более для малообразованной и необразованной народной массы не существовало раздвоения мысли, они были проникнуты верой в зависимость человеческих судеб от небесных светил. Появление на небесном своде кометы в глазах народа было предвестием какого-нибудь несчастья, и хронисты, бывшие в этом отношении отголоском ходячей молвы, постоянно указывают связь между тем и другим.[4]

[1] *Attal.*, 257.

[2] *Attal.*, 241–242 (*Scyl.*, 726).

[3] *Attal.*, 287 (*Scyl.*, 736; *Glyc.*, 616).

[4] Примеры из времени Романа Аргира: *Cedr.*, II, 488, 499, 500 (*Glyc.*, 581, 583–584); Михаила Пафлагона: *Cedr.*, II, 507–508, 511, 525 (*Glyc.*, 587, 589). Константина Мономаха: *Cedr.*, II, 543 (*Glyc.*, 593–594).



О НРАВАХ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В СРЕДНИЕ ВЕКА

(Речь, произнесенная профессором Н. А. Скабалановичем на годичном акте С.-Петербургской Духовной академии, 17 февраля 1886 года)

Преосвященнейшие архипастыри, милостивые государи и государыни!

Нам не нужно доказывать истину, о которой многие из почтивших настоящее собрание своим присутствием знают по опыту, — что для успешного воздействия на общество, в смысле религиозно-нравственного влияния, необходимо изучить и близко знать это общество, как хорошие, так и дурные его стороны, и что степень напряжения, интенсивность просветительной деятельности, количество и качество требуемых на этом поприще трудов находятся в прямом соответствии с большей или меньшей деморализацией общества, с количеством и качеством господствующих в обществе пороков. Доказывать эту истину, повторяем, нет нужды, но она предносилась перед нами, и в нашем убеждении служила оправданием при выборе предмета для речи, которую предлагаем благосклонному вниманию высокопросвещенного собрания.

Таким предметом избран вопрос о нравах византийского общества в Средние века, и именно начиная с конца X века, с того времени, когда волей Провидения Русь стала учиться у Византии вере и благочестию, когда весь строй господствовавшей в Византии жизни, не одной религиозной, но и семейной, и общественной, и государственной, представился нашим предкам как материал не только для изучения, но, частью, и для подражания. Даже при беглом взгляде на византийскую семью того времени, быть может, припомнятся аналогичные, хорошо нам известные порядки в древнерусской семье; при взгляде же на общественную нравственность того времени, быть может, уяснятся и некоторые особенности в том мнении о характере греков, какое составлено было нашими предками. Правда, анализ общественной нравственности иногда обязывает всматриваться и в такие вещи, которые гораздо приятнее игнорировать. Но ведь

для пастырей Церкви — настоящих или будущих, — которые обязаны не закрывать глаза перед общественными недостатками той среды, где протекает их деятельность, для них, привыкших видеть и наблюдать как хорошее, так и дурное, подобный анализ в области времен давно минувших не может представить неожиданности. А главное, чтобы оценить труды и заслуги пастырей Церкви, действовавших в те давно минувшие времена, необходимо рассматривать их деятельность в связи с состоянием пасомых, ясно представлять себе те задачи, которые налагала на них жизнь семейная и общественная.

Лицом, на котором держался весь семейный порядок в Византии и которое всего более несло тяготы домашней жизни, была хозяйка дома. Муж был главой семьи и дома, все почтительно ему повиновались, но преданный служебным обязанностям или заботам о снискании средств к жизни, он не имел досуга, да и не принято было, чтобы он, кроме верховного наблюдения, обременял себя заботами о доме и детях. Эти заботы входили в обязанность его жены, которая вся предавалась этому делу тем с бóльшим рвением и самоотверженностью, что все пути к общественной деятельности были для нее закрыты. Византийский идеал женской скромности и стыдливости требовал от женщины безвыходного пребывания в доме; если ей позволялось выйти, например, во время религиозных процессий, хождений с иконами[1] и пр., то не иначе, как под покрывалом. Случаи, когда женщины без этой предосторожности выходили из дома, не закрывая лица от взоров мужчин, были чрезвычайно редки, вызывались какими-нибудь исключительными обстоятельствами и каждый раз отмечались как события из ряда вон выходящие. До какой степени случаи появления женщин без покрывала на улицах столицы целыми массами были редки, можно судить по тому, что в течении всего XI в. повторились всего трижды: первый раз во время возмущения против Михаила Калафата, когда женщины представляли собой невиданное дотоле для многих зрелище, выбежали из домов, били себя в грудь и кричали, возбуждая ярость толпы против Калафата;[2] второй раз при осаде Византии Львом Торником в 1047 г., когда в смятении, вызванном этой осадой, приняли участие женщины;[3] третий раз, наконец, во время землетрясения 23 сентября 1063 г., когда женщины под впечатлением страха забыли стыд.

[1] *Пахимер*, рус., 228. Цитаты из источников, переведенных на русский язык при СПб. Духовн. акад., для удобства читателей будем приводить по русскому переводу.

[2] *Psell.*, ed. Sathas, IV, 91.

[3] *Attal.*, ed. Bonn., 26.

выбежали из домов под открытое небо и голосили, призывая Бога на помощь.[1] Исключая этих и им подобных массовых нарушений приличия, появление в публике какой-нибудь женщины без покрывала служило внешним признаком принадлежности ее к разряду гетер;[2] женщина же, дорожившая репутацией, могла это сделать только в страстном порыве, доводившем до забвения действительности.[3] Если, таким образом, византийский этикет и приличия не дозволяли женщине показаться на глаза постороннему мужчине, заключали ее в доме, где кроме мужа и самых близких родственников она из мужчин могла видеть только приставленных к ней евнухов, то тем более этот же этикет и эти приличия делали несообразным всякое вмешательство женщины в сферу политической и общественной деятельности. Оттого всякий раз, как оказывалась на престоле женщина, с такой силой и смелостью начинали говорить о необхо-

[1] *Attal.*, 88.

[2] *Psell.*, V, 27. Гетеры не только не стеснялись публично появляться без покрывала, но охотно принимали участие в любом уличном скандале. При взятии Византии Андроником Палеологом Младшим, 19 мая 1328 г., невольной жертвой подобного скандала сделался патриарх Исаия. Этот патриарх был заключен Андроником Старшим в Манганский монастырь под стражу. Андроник Младший постановил возвратить его на кафедру и распорядился сделать это торжественно. Исаия был посажен на одну из церковных колесниц с пурпурными украшениями, и процессия двинулась. В этой процессии никто из епископов, ни из священников не шел ни впереди, ни позади колесницы; шли же с веселыми песнями флейтисты и флейтистки, танцоры и танцовщицы. Одна из флейтисток, выдававшаяся между другими красивой наружностью, сев на коня в мужской одежде, ехала то впереди воинов, то впереди патриарха, причем бесстыдными и пошлыми шутками возбуждала нескромный смех как в патриархе, так и в других. См.: *Григора*, рус., 418.

[3] Мать Пселла впервые предстала перед взорами мужчин с непокрытым лицом, когда, находясь при гробе умершей дочери, получила известие, что ее сын Михаил, бывший в отсутствии и только что возвратившийся в столицу, неожиданно узнав о смерти сестры, упал в обморок, свалился с лошади и лежит на улице; мать его прибежала к нему, забыв опустить покрывало. См.: *Psell.*, V, 30. Императрица Зоя, когда ее второй муж Михаил Пафлагон постригся в монахи, до того была этим потрясена, что пешком отправилась к нему в монастырь Бессребренников, рискуя попасться на глаза мужчинам (из чего можно предположительно заключить, что она была без покрывала, хотя историк об этом умалчивает). См.: *Psell.*, IV, 76 (*Zon.*, ed. Dind., 148–149). Относительно императрицы Феодоры историком отмечено, в виде особенно важного факта, что она, вступив в управление, смело показывалась на глаза мужчинам и без покрывала отправляла свои царские функции. См.: *Psell.*, IV, 200.

димости ее замужества. Оттого кроме женщин-императриц, деятельниц невольных, не встречаем других женщин — деятельниц на поприщах политическом и общественном. Если же в виде редких исключений[1] из этого правила и встречаем женщин — деятельниц на названных поприщах, то их деятельность носит особый характер: они, во-первых, обыкновенно выступают в действующей роли по смерти своих мужей и, во-вторых, имеют взрослых сыновей, поступающих по их советам и указаниям, так что скорее они могут служить примером высокого уважения, каким пользовалась мать в семье — уважения, не прекращавшегося и по достижении детьми совершеннолетия. Прочное основание уважения детей к матери закладывалось с юных лет и обусловливалось тем положением, какое обыкновенно занимала женщина в семье, не только как жена, но как мать и хозяйка дома.

По отношению к мужу, главе семейства, жена его, согласно с древним обычаем (πρὸς τὴν ἀρχαίαν διάταξιν), должна была быть не только ближайшей помощницей и советницей, но и покорной слугой. Муж иногда был нрава кроткого и доброго, прост и негневлив, жена суровая и строгая, — тем не менее обычай требовал, чтобы она смирила себя в обращении с мужем, чтобы она хотя бы и превосходила его, относилась однако же как низшая к высшему.[2] Дети вполне находились на попечении матери и место их было на женской половине. Не только в нежном возрасте, когда для них требовались еще мамки и няньки,[3] но и когда дети начинали подрастать, они не выходили из-под надзора матери. Прежде чем мальчик поступал в школу или прежде чем он был окружаем дома гувернерами (педагогами) и учителями (дидаскалами),[4] на обязанности матери лежало ознакомить его с началами грамоты, да и на первых порах школьного учения она репетировала сына, пока изучаемые им науки не превышали запаса ее знаний.[5] Что же касается дочерей, то они до самого выхода замуж всецело находились на попечении матери, все их воспитание зависело от

[1] В течение всего XI в. было только два исключения: мать Алексея Комнина Анна, игравшая некоторую роль среди партии, приверженной Роману Диогену, а потом пользовавшаяся влиянием через посредство своего сына, и жена Ватацы, имевшая большой авторитет в городе Редесто, успешно агитировавшая между жителями в пользу Вриенния, бравшая с них клятву верности и т. д. См.: *Attal.*, 244–245 (*Scyl.*, ed. Bonn., 729).

[2] *Psell.*, V, 19–20.

[3] *Psell.*, V, 409–411.

[4] PG, CXX, 1053.

[5] *Psell.*, V, 11, 21.

нее, всеми познаниями они были ей обязаны. Богобоязненная мать должна была воспитывать детей в страхе Божием, тешить их детское воображение не сказками, но библейскими сказаниями,[1] прямо с азбуки переходить на Псалтирь.[2] Образцовая мать, кормя свою семью пищей телесной, не забывала и о духовной. Анна Комнина с удовольствием вспоминала, как мать ее, бывало, когда подадут обед, приносила в руках книгу и читала святоотеческие творения, преимущественно философа и мученика Максима.[3] Честь матери требовала, чтобы ее дочь по вечерам, зажегши свечу и взяв в руки Псалтирь, распевала псалмы, а ранним утром отправлялась бы в церковь и, став на хорах, пела вместе с другими.[4] Еще более требовалось от матери обучить свою дочь искусству прясть, ткать и разного рода рукодельям, без которых немыслимо было ни одно благоустроенное хозяйство.

Прялка, веретено, станок были необходимыми принадлежностями дома, умение прясть, ткать полотна, выделывать на тканях разные фигуры и узоры шелковыми нитями было первой рекомендацией женщины. И все без исключения этим занимались. Жены и дочери императоров уравнивались в этом отношении с остальными смертными;[5] как скоро девушка приходила в возраст, достаточный для того чтобы работать, ей приобретаем был особый станок, все необходимые для женских работ орудия, и она принималась за дело наравне со всеми остальными обитательницами гинекея.[6] Перечисленные женские занятия были возведены в апофеоз, покровительницей их почиталась св. Агафия, и праздник этой святой соединен был с некоторыми характерными особенностями. Это был праздник исключительно женский; в известном здании, достаточно обширном, выставлялись картины, на которых изображены были принадлежности пряжи и тканья, равно и женщины прядущие и ткущие; на картинах представлялось, как одни из женщин делают дело искусно, другие неумело подбирают нитки на станке, не соблюдают ровности в ткани и т. д. и за это подвергаются наказанию, — их кладут на землю и жестоко секут, а надсмотрщицы за работами стоят над истязуемыми и наблюдают, чтобы сечение совершалось должным образом. Разодетые женщины приходили

[1] *Psell.*, V, 17.

[2] *Psell.*, V, 66.

[3] *Анна*, рус., 251.

[4] *Psell.*, V, 67, 74.

[5] *Psell.*, IV, 131–132, 180. Зоя уклонялась от обычных женщинам занятий, и историк считает нужным отметить эту черту.

[6] *Psell.*, V, 7, 66.

в это здание и составляли вокруг картин хороводы, пели рифмованные песни и под текст песни плясали. Песня соответствовала сюжету картины: около картины, изображавшей наказание неискусной работницы, пелась песня печальная, участницы торжества внешним видом, голосом и напевом показывали, что они плачут, как будто их самих наказывают; с переходом к картине с веселым сюжетом напев менялся, печаль уступала место веселью, танцы делались резвее и энергичнее.[1]

Руками женщин дома изготовлялся материал для одежд и сами одежды. Только в богатых семействах верхнее платье для мужа, главы семейства, покупалось, а не изготовлялось домашними средствами, исключая, впрочем, головных уборов, которые по самому своему свойству были произведением женских рук. Это был род тюрбанов, куски продолговатой ткани, которой обертывалась голова в несколько кругов. Эти тюрбаны, заимствованные греками с Востока и рано вошедшие у них в употребление,[2] в конце X и в начале XI в. делались из разноцветных кусков материи и казались чем-то необычайным для западноевропейцев, которые называли их митрами. Так, например, норманны, прибывшие на Гарган для поклонения Архангелу Михаилу, встретив Мела, одетого по греческой моде (more graeco vestitum), дивились его наряду, особенно же интересовались пестрой митрой, украшавшей его голову.[3] В первой половине XI в. вошли в употребление одноцветные тюрбаны. Престарелый Стратиотик, восстановляя обычай своей юности, издал приказ, чтобы граждане покрывали свои головы узорчатыми платами из виссонного пурпура. Впрочем, к XII в. опять утвердилась прежняя простота,[4] которая лишь изредка нарушалась тем, что тот или другой щеголь облекался в модные заграничные платья, вроде, например, известного своей превратной судьбой и трагической смертью Андроника Комнина, который страстно любил иностранные одежды, особенно те, которые «опускаются до чресел, здесь раздвояются и так плотно обнимают тело, что как будто пристают к нему». Эту одежду, ныне хорошо всем известную (панталоны в обтяжку), Андроник первый ввел в употребление.[5] Были ли тюрбаны одноцветные, или

[1] *Psell.*, V, 530–531.

[2] См. византийские рисунки, приложенные к 3-й кн. Прокопия, боннского изд.

[3] *Guil. Apul.*, Pertz., SS., IV, 241.

[4] *Cedr.*, ed. Bonn., 604: μὴ δι᾽ ἀγραμμάτων, ὡς νῦν, ἀλλὰ διὰ μεγαλογράμμων ὀθονίων ἐκ βυσσοῦ πορφυρᾶς ἐξυφασμένων ([Он повелел] покрывать голову не одноцветной тканью, а пурпуром и виссоном, расшитым крупными узорами). Словом γράμματα назывались разные изображения, вроде звезд, растений и т. п.

[5] *Хониат*, рус., 178.

узорчатые, они с одинаковым удобством могли быть изготовляемы на женской половине. Лишь когда утвердилась мода на иностранные материи,[1] положение вещей изменилось. Что касается женских нарядов, то лишь украшения не могли быть изготовлены дома, как-то: ожерелья, серьги, броши, браслеты, кольца, а также косметика для натираний и подкрашиваний, к которым и тогда византийские красавицы были неравнодушны;[2] платья же могли быть изготовлены и действительно изготовлялись домашним способом, тем более что они были довольно примитивны — нижнее платье из тонкого полотна, плотно охватывавшее шею, грудь и плечи, стянутое у талии поясом и спускавшееся по ногам до пяток, верхнее платье-хитон из более ценного материала, иногда затканный золотом и драгоценными камнями, — он свободно был накинут на плечи, драпировался по фигуре изящными складками и при ходьбе раздувался и поднимался от ветра.[3] На хозяйке дома лежала нелегкая задача одеть и обуть мужа, себя, детей, прислугу, а если она была сердобольная женщина, то отыскивались неимущие родственники и родственницы и вообще бедняки, которые умели воспользоваться ее добротой и выпросить себе платьев.[4] Из всего этого нетрудно заключить, что если кто был занят и не знал праздности, так это византийская женщина в Средние века. Не говорим уже о том, что и для прокормления семьи с ее стороны требовались труд, время и изобретательность, потому что хотя кушанья не отличались изысканностью, однако же изготовление их и сервировка стола должны были приспособляться к некоторым требованиям комфорта, о котором тогда на западе Европы не имели понятия и с которыми успели сжиться византийцы. Западные историки[5]

[1] Мода на иностранные материи завоевала себе прочное место в XIV в. при Андронике Палеологе Младшем. Головные уборы с Андроника Младшего стали носить все — и юноши, и старики — из разнородных иностранных, преимущественно шелковых, материй по собственному выбору, так что встречались материи и латинские, и трибаллские, и сирийские, и финикийские. В это же время стали брать перевес иностранные моды и на другие одежды, так что приверженцы старины пришли в ужас, видя в этих нововведениях дурной знак, начало падения государства с его обычаями и учреждениями. См.: *Григора*, рус., 563.

[2] Изысканности дамского туалета были не всегда излишни даже на взгляд мужчин. О жене Мануила Комнина рассказывается, что она заботилась не столько о красоте телесной, сколько о внутренней — душевной. Отказавшись от притираний порошками, от подкрашивания глаз, от щегольства, от искусственного румянца, она занималась добродетелями... Поэтому царь и мало ее любил. См.: *Хониат*, рус., 69.

[3] *Psell.*, IV, 177; V, 73, 76; 27.

[4] *Psell.*, V, 10.

[5] Петр Дамиани, а с его слов Дандоло. См.: *Muratori*. Scr. rer. it., XII, 277–248.

с негодованием, например, говорят, что жена венецианского дожа Доминика Сильви, сосватанная ему в Византии императором Михаилом Парапинаком, так была изнеженна, что не только мылась в особой разведенной с чем-то воде, не только пропитывала духами свою постель, но даже не брала пищу пальцами, а подносила ее к своему рту золотыми двузубцами; это богопротивное в глазах тогдашнего Запада дело, употребление за столом вилок, за которое виновница была поражена гневом Божиим и заживо стала разлагаться, в Византии не только не считалось преступным, но, напротив, признавалось первым условием опрятности за столом.

Едва дети успевали выйти из младенческого возраста, как для матери прибавлялась новая забота — необходимо было устроить их будущую судьбу, подготовить брачный союз. Устройство браков было по преимуществу делом матерей и бабушек, всего менее тех, судьба которых в данном случае решалась: прямым результатом такого порядка были браки по политическим и экономическим расчетам, и лишь в виде исключений — по любви. Матери и бабушки чаще всего фигурируют в брачных вопросах.[1] Жених и невеста находятся в стороне. Это обстоятельство объясняется весьма естественно тем, что в то время, когда начиналась брачная процедура, жених и невеста были еще неразумные дети. Было в обычае заблаговременно обручать будущих жениха и невесту. 12-летний возраст не считался для мальчика ранним, обручаемы были и 9-летние мальчики.[2] Закон разрешал эти акты, полагая лишь ограничения насчет лет обручаемых, особенно же насчет степеней родства; сравнительное обилие синодальных определений относительно степеней родства пока-

[1] Когда Алексея Комнина хотели женить на Ирине, он сослался на волю своей матери; Анна, мать Вриенниев, устроила брак своего внука с Еленой Тарханиотиной. Подобные примеры — на каждом шагу.

[2] PG, CXX, 1053; *Zachar.*, I, 232. Невесте в этом (занесенном в Πεῖρα) случае было 7 лет. Но случалось и так, что невесте было 5,5 лет (PG, CXIX, 844), даже 5 лет, вопреки закону, полагавшему крайним сроком (минимум) для обручения невесты 7 лет, а для выдачи ее замуж 12 лет. Как на пример обручения 5-летнего ребенка — девочки, можно указать на дочь Андроника Палеолога, Симониду. 40-летний сербский князь Святослав, желая четвертый раз вступить в брак, просил руки Евдокии, сестры императора Андроника, но та не согласилась. Тогда Андроник предложил свою 5-летнюю дочь Симониду, которая была отправлена в Фессалонику и здесь обручена. До брачного совершеннолетия она должна была жить у жениха. Святослав ждал лишь три года и сошелся с Симонидой, когда она достигла 8-и лет, результатом чего было всегдашнее ее бесплодие. См.: *Григора*, рус., 187, 236.

зывает, что по этому пункту были часты казусы правонарушений.[1] Обручение сопровождалось формальным договором (τὰ γραμματεῖα τῆς μνηστείας), в котором определялось количество приданого, жених или его родители обязывались взять невесту замуж, а невеста — выйти за жениха.[2] Договор мог быть нарушен только в случае невыполнения определенных в нем условий.[3] Если жених или его родители без достаточных оснований отказывались от обрученной невесты, то суд присуждал или к вступлению в брак, или к уплате пени, доходившей иногда до весьма почтенной цифры.[4] Равным образом если и со стороны невесты и ее родных нарушался договор без основательных причин, то решение суда было такое же.[5]

---

[1] Определения патриархов Алексия (PG, CXIX, 744–748, 844–849), Михаила Керуллария (Ibid., 748–756, 849–852), Иоанна Ксифилина (Ibid., 756–760, 856–860), постановления императоров Дуки (*Zachar.*, III, 331) и Вотаниата (Ibid., III, 338–340), подтверждавшие определение Ксифилина, и пр.

[2] Так сын Комнина, 18-и лет, дал расписку протоспафарию Илье в том, что возьмет замуж его дочь (*Zachar.*, I, 59); патриция Мария Касторисса заключила договор с протоспафарием Василием Стратигом, что сын ее возьмет его дочь (I, 64) и т. д.

[3] Например, одна патриция нарушила обручальный договор своего сына на том основании, что невеста оказалась несостоятельной; по иску родителей невесты судья присудил патрицию к уплате проторей (неустойки) и постановил решение о дозволении невесты замуж за другого, но патриция обратилась с апелляцией в высшую инстанцию и выиграла дело. См.: *Zachar.*, I, 232.

[4] Напр., сын Соломона протоспафарий Имерий, отказавшись от брака с дочерью протоспафария Тихиота, на которой он обещал жениться, был присужден к уплате пени 5 литр, из которых за нарушение договора зачтено собственно 150 номисм, а 210 номисм наложено за растление девушки. См.: *Zachar.*, I, 223–224. Это дело рассматривалось на суде ипподрома, замечательно по разногласию мнений судей и по тому, что в числе судей был Роман Аргир, впоследствии император.

[5] Пселл обручил свою усыновленную дочь, не достигшую еще возраста, требуемого для брака, некоему Елпидию, сыну протоспафария Иоанна Кенхри, и заключил договор, в котором обещал дать приданого за невестой 50 литр, из них 30 литр деньгами, а вместо 20 литр чин протоспафария, приносивший ежегодную ругу 72 номисмы (до тех пор Елпидий имел чин спафария, оплачивавшийся 12 номисмами). Елпидий не удовлетворил ожиданиям Пселла, не стал заниматься науками, как тот желал, предался увеселениям, стал вести себя легкомысленно и сделался невнимателен к невесте. После неудачных опытов исправить молодого человека Пселл подал прошение о расторжении обручального договора. Судьи, выслушав доводы Пселла, нашли их в формальном отношении недостаточными и постановили решение о расторжении договора со взысканием с Пселла пени 15 литр. Пени, однако же, Пселл не заплатил, потому что за нее зачтен был протоспафарат, выхлопотанный Пселлом Елпидию и стоивший 20 литр. См.: *Psell.*, V, 204–212.

В большинстве случаев заблаговременное обручение увенчивалось браком. Вместо обручального условия составлялся брачный контракт и справлялась свадьба. В контракте (ἐν τοῖς συμφώνοις τῆς γυναικός) в точности обозначалось количество приданого, и это делалось не столько в целях взаимной гарантии интересов брачующихся, сколько в целях защиты от притязаний фиска. Жена имела по закону право преимущественного предпочтения (προτίμησις) перед фиском, и если у мужа отписывалось имущество за долг казне или конфисковывалось за политическое преступление, то женино приданое все же оставалось неприкосновенно.[1] Брачное торжество соединено было с известными обрядами, освященными народным обычаем: новобрачным предносились свадебные факелы, выпивались свадебные чаши, пелись свадебные песни, играла музыка на цитре и на трубах, у входных дверей помещались женщины с запасом яблок, а над дверью — с запасом розовых цветов; на каждого приходившего на пиршество гостя сыпался с боков входных дверей град яблок, а сверху розы. Разумеется, некоторые играли свадьбу без этих обрядов, без музыки, песен и без всего остального, но даже люди серьезные, профессиональные философы и монахи восставали против такого уклонения от народного обычая, отнятия у свадьбы лучшего ее украшения, ее поэзии.[2] И прочие семейные торжества соединены были с теми или другими обрядами и обычаями. Как на свадьбе фигурировали яблоки и розы, так на родинах — масличные ветви, с которыми являлись почетные гости, приглашенные на пиршество.[3]

Свадебные и иные обычаи переносят нас к вопросу об общественных увеселениях. Самыми обыкновенными развлечениями византийского общества были конские ристалища в ипподроме, на которых иногда вслед за конским бегом выступали на сцену акробаты, канатные плясуны и производилась травля зайцев охотничьими собаками.[4] Кроме цирковых игр

[1] Император Константин Дука своей новеллой гарантировал лишь интересы казны от злоупотреблений правом предпочтения, когда и имущество мужа выдаваемо было за женино приданое; он постановил, что голословное заявление не должно иметь силы и что только то имущество, которое поименовано в брачном контракте, считается приданым. См.: *Zachar.*, III, 326.

[2] *Psell.*, V, 319–323, 219–222.

[3] *Хониат*, рус., 217.

[4] *Хониат*, рус., 369. Кроме доморощенных искусников, жадные до зрелищ византийцы временами имели удовольствие видеть и заезжих. Особенно тщательно описывается у историка случай при Андронике Палеологе Старшем. В это время пришли в Византию 20 человек акробатов, выходцев из Египта, и показали чудеса ловкости: исполняли разнообразные упражнения на туго натянутом канате.

давались еще представления (ποιητικαὶ θέαι) в театре и производились разные гимнастические состязания, особенно игра в мяч, так называемый цукан, для которого отведено было особое место, называвшееся цуканистирием. Ипподром, театр, цуканистирий — были неизбежными общественными учреждениями, которыми считал долгом украсить себя каждый более или менее значительный город, не говоря уже о столице. Этими играми живо интересовалось все общество, и хотя византийские женщины не доходили до такой свободы, как в мусульманском мире, где, например, случалось, что дочь халифа (Гишама) принимала личное участие в ристалищах,[1] однако же они охотно были зрительницами, сидя в ложах под приличным прикрытием. Можно даже сказать, что зрелища были одним из средств сближения полов, для которого стены домов служили преградой. Во время театральных представлений сходились вместе члены семейства и родственники, мужчины обменивались мыслями с женщинами.[2] Мужчины в огромной массе тоже были зрителями, потому что для личного участия даже в гимнастических упражнениях недостаточно было доброй воли и желания, нужно было сверх того подходить к условиям, доступным лишь для людей состоятельных. Для того чтобы участвовать в персидской[3] игре в мяч, в цукане, необходимо было иметь специально для этого дрессированную лошадь, так как вся игра в том и состояла, что две партии играющих устанавливались друг против друга верхом на лошадях, с короткими палками в руках и, применительно к известным правилам игры, оспаривали мяч размерами в небольшое яблоко.[4] Игра была небезопасная, некоторые падали с лошади, получали

на несущейся вскачь лошади, выделывали всевозможные фокусы. Как смелы и рискованны были их экзерсисы, видно из того, что из Египта вышло этих фокусников 40 человек, из них половина расшиблись до смерти в разных местах по дороге, где они показывали свое искусство; из 20 прибывших в Византию не все кончили благополучно, — некоторые оборвались с каната и на глазах византийской публики расшиблись до смерти. См.: *Григора*, рус., 343–345.

[1] *Cremer*. Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, I, 142.

[2] Так, на одном из представлений Феодора и Евпрепия (свояченица и сестра императора Константина Мономаха) высказали неудовольствие по поводу пощады императором злоумышленника, посягавшего на его жизнь, и тот после того был отправлен в ссылку. См.: *Psell.*, IV, 176.

[3] Эта игра, как и ристалища, была очень любима при дворе Оммайядов в Дамаске и называлась saulagan. См.: *Goeje*. Fragmenta historicorum arabicorum, I, 114; *Cremer*, I, 142.

[4] *Ducange*. Histoire de St. Louis par Joinville, diss. 8: de l'exercise de la Chicane et du jeu de paume à Cheval/ /Glossar. med. et inf. graec. sub. v. Tchukanisterion.

увечья и разбивались до смерти.[1] Тем не менее считалось признаком хорошего тона участвовать в ней, и все, кто мог, участвовали, а лошадью, дрессированной для мяча (πρὸς τὴν σφαῖραν), весьма дорожили.[2] На представлениях присутствовали императоры с семейством; некоторые из них даже принимали личное участие в играх.[3] Между прочим, цукан был средством общения императоров с подданными: когда император забавлялся в мяч, желающие могли подать ему прошение, а злые люди пользовались случаем, чтобы приводить в исполнение свои замыслы. Однажды, когда Алексей I Комнин играл в мяч, один варвар, происходивший от армян и турок, под предлогом подать прошение, хотел извлечь меч и убить его. Но струсил, рука отказалась повиноваться, и он был изобличен.[4] К числу общественных увеселений можно также отнести заимствованные от западно-европейских народов, со времени крестовых походов, турниры. Первый турнир, насколько известно, был устроен императором Мануилом Комнином в Антиохии между латинянами и византийцами. Сам Мануил принимал в нем участие и удачным ударом ниспроверг сразу двух латинян.[5] Кроме указанных увеселений, имевших общественный характер, были и другие — частного характера, как-то: охота на зверей и птиц, бывшая обычным средством развлечения для императоров, государственных людей и властелей.[6] При императорском дворе были еще в ходу

[1] Известно, что Мануил I едва не был убит при падении с лошади во время цукана, а в XIII в. Иоанн I Акзух (Трапезунтский) умер от ушиба, полученного при падении.

[2] Когда у одного из любимцев Константина Мономаха такая лошадь, пропавшая было, нашлась, он в порыве радости не постеснялся ночью разбудить императора, чтобы сообщить ему приятное известие. См.: *Psell.*, IV, 171.

[3] Константин VIII был готов все оставить, только бы не пропустить представления, и несмотря на слабость ног (последствие излишеств), участвовал в состязаниях. См.: *Psell.*, IV, 27–28. То же Константин Мономах, см.: Ibid., 163. Даже Михаил Парапинак, несмотря на свой мирный характер и пристрастие к кабинетным занятиям, любил цукан и не без ловкости гонял мяч. См.: Ibid., 291.

[4] *Анна*, рус., 424.

[5] *Хониат*, рус., 137–138.

[6] Константин VIII был большой любитель охоты. См.: *Psell.*, IV, 14, 27. Исаак Комнин тоже был страстный охотник, не только травил собаками зайцев, охотился на журавлей, но ходил на медведей, кабанов и, охотясь на кабанов, схватил простуду, имевшую для него трагические последствия. См.: *Psell.*, IV, 250. Кесарь Иоанн Дука был предан охоте в самых различных ее видах: и на птиц, и на оленей, и на медведей, и на других зверей. См.: *Psell.*, IV, 296; V, 407–409. Сыновья его брата, императора Дуки, Михаил, Андроник, Константин тоже были охотники, из них первый предпочитал охоту мирного свойства. См.: *Psell.*, IV, 291, 294–295.

развлечения в эстетическом и юмористическом направлении, как-то: органная и духовая музыка, пение, танцы с пением и без пения, наконец, проделки шутов и скоморохов. В XI в. особенное пристрастие к шутам питал Константин Мономах. Любимейшим его шутом был этериарх Боила, забавлявший императора сколько своими шутовскими выходками, столько же недостатками выговора и неправильностями речи, зависевшими от физического уродства и, вероятно, от его иностранного происхождения. Он всегда имел беспрепятственный вход к императору и принят был даже на женской половине, где старухи-императрицы с наслаждением выслушивали его сальные шуточки.[1] В XII в. напоминал Константина Мономаха любовью к шутам Исаак Ангел: карлики, скоморохи, мимы, певцы, музыканты — все находили радушный прием при его дворе.[2]

К разряду общественных развлечений могут быть также отнесены официальные празднества и церемонии, которые так были любимы византийцами. Каждый внешний императорский выход представлял для византийца занятное зрелище, каждый триумф — как почетный, так и позорный[3] — был для него любопытным событием; а въезд в столицу новоизбранного императора был источником неописуемого удовольствия, так как он представлял собой из триумфов триумф: тут делались приготовления на широкую ногу, и император въезжал в столицу в сопровождении целой армии факельщиков, при всеобщих восклицаниях, звуках труб и других инструментов, — на пути шествия рассыпаемы были цветы и воскуряем фимиам.[4]

---

[1] О характере его шутовства можно судить по представленному историком примеру. Приходя к императрицам, он клятвенно уверял, что родился от старшей (Зои) и родил младшую (Феодору); особенно распространялся насчет этого последнего пункта, в подробностях рассказывая, как он забеременел Феодорой, как произвел ее на свет, кормил своей грудью и т. д. См.: *Psell.*, IV, 170–173 (*Zonar.*, IV, 177).

[2] *Nic. Chon.*, ed. Bonn., 580.

[3] С особенной тщательностью историк описывает позорный триумф, данный при Михаиле Палеологе побежденным и взятым в плен италийцам. Они были возимы по городу по одному в ряд, каждый сидел на коне, опустив обе ноги на одну сторону, каждому дано было копье из папируса или иного хрупкого вещества, головы их были острижены. Константинопольская чернь отпускала на их счет шуточки, посвистывала и глумилась. См.: *Пахимер*, рус., 478–479.

[4] При такой обстановке въехали в столицу Константин Мономах, Исаак Комнин, Никифор Вотаниат и др. См.: *Psell.*, IV, 113, 230, 232–233; *Attal.*, 59, 273; *Cedr.*, II, 542. Все эти церемонии, выходы, триумфы обязательно имели религиозный колорит, многие составлены были по образцу церковных чинопоследований, украшались священными предметами и изображениями, совершались в предношении св. Креста. См.: *Хониат*, рус., 150.

Не только радостные события служили для византийцев источником развлечений, но и печальные, как-то: торжественный вынос и погребение умершего императора. Особенно же их привлекала публичная казнь политических и иных преступников. Обстановка казни рассчитана была отчасти на то, чтобы доставить потеху праздной византийской черни. Преступников, приговоренных к телесному наказанию, конфискации имущества, ссылке, истязали кроме того нравственно, отдавая на посмеяние толпы, а для этого возили на ослах по улицам и площадям столицы,[1] или же, одев в женское платье, выводили на площадь, либо на арену цирка, во время общественных игр.[2] До какой черствости и загрубелости чувств был доведен греческий народ этой системой делать из несчастья ближнего предмет увеселения, можно, например, судить по тому бессердечному злорадству, с каким византийская чернь потешалась над несчастным императором Михаилом Калафатом. Когда Калафат бежал вместе со своим дядей из дворца в Студийский монастырь, площадная толпа немедленно отпраздновала это событие импровизированным театральным представлением, — составлены были хороводы под нарочито на этот

[1] *Attal.*, 293; *Cedr.*, II, 445–446, 488, 566.

[2] Так было сделано с Феофилом Эротиком при Мономахе, с Критоплом при Иоанне Комнине и др. См.: *Cedr.*, II, 550; *Киннам*, рус., 11; *Пахимер*, рус., 219. Этот обычай, по-видимому, перешел к византийцам с Востока, от персов, у которых позорным наказанием для воина было облачение в женское платье. См.: *Cedr.*, II, 569. Грек был очень чувствителен к перспективе быть одетым в женское платье и обнаруживал боязнь перед этим убранством даже в критические минуты; характерный и вместе забавный случай был при Мануиле Комнине с его двоюродным братом Андроником (впоследствии занимавшем престол). Этот Андроник, большой руки ловелас, вступил в любовную связь со своей двоюродной племянницей Евдокией. Раз ночью, когда он находился в палатке Евдокии, родственники последней, узнав об этом, окружили палатку с намерением убить обольстителя. Евдокия, со свойственной женщинам проницательностью, раньше своего любовника почуяла опасность и предложила остроумный план: любовник ее наденет женское платье, она громким голосом, чтобы это слышали окружавшие палатку, кликнет по имени прислужницу и велит ей принести светильник, Андроник же под видом прислужницы выйдет из палатки и скроется. Андроник отверг этот план, боясь срама быть пойманным в женском платье. Он предпочел исполнить необыкновенный salto mortale, который был возможен только для человека такого исполинского роста и геркулесовой силы, какими отличался Андроник: косым ударом меча он рассек палатку, выскочил вон и одним огромным прыжком перескочил и плетень, случайно примыкавший к палатке, и все пространство, которое занимали колья и веревки. Сторожившие только разинули рты от удивления. См.: *Хониат*, рус., 132–133.

случай сложенные песни, и перипетии судьбы низверженного императора были изображены в действиях; затем, когда Калафат был извлечен из храма, толпа сопровождала его смехом и оскорбительными шутками, пока наконец не была вполне удовлетворена зрелищем ослепления Калафата и его дяди.[1] Интересен еще эпизод с одним сарацином, послуживший для византийцев источником бесконечных шуток. При Мануиле Комнине посетил Византию турецкий султан. Император позаботился, чтобы гость не скучал, тешил его играми в цирке и другими увеселениями. Турки захотели показать, что и они мастера насчет фокусов. Один, как называет его историк, «потомок Агари» взялся перелететь все пространство цирка, бросившись для этого с высокой башни, устроенной над тем местом, откуда выпускались лошади для бега. Он надел широкий хитон, перетянутый обручами, который по его расчету должен был надуться как парус и поддерживать его на воздухе. Сарацин взобрался на вершину башни и стал выжидать, пока подует благоприятный для него ветер. Уже это выжидание вызвало смех в зрителях: «Лети, лети, сарацин! Доколе ты будешь томить души наши, взвешивая ветер с башни?» — кричали ему снизу. Когда наконец подул благоприятный ветер, сарацин соскочил с башни, но вместо того, чтобы лететь по воздуху, грузно упал на землю и испустил дух. Этот полет сделался для городских жителей предметом постоянных насмешек над турками, бывшими в свите султана. Турки не могли пройти по площади без того, чтобы не быть осмеянными. Когда дошло это до сведения царя, он хотя и «знал, как уличная толпа любит острить и шутить», однако же, в угоду султану, которого эти выходки уязвили в самое сердце, счел нужным принять меры к обузданию вольных острот толпы.[2] Вообще нужно сказать, что грек был неудержим насчет шутки и чувствителен к насмешке: удачное предприятие заставляло его слагать поощрительную песенку,[3] неудача вызывала насмешливое присловье.[4]

---

[1] *Psell.*, IV, 98, 102 (*Zon.*, IV, 154).

[2] *Хониат*, рус., 150–152.

[3] Напр., относительно Алексея Комнина за его решимость и быстроту: τὸ σάββατον τῆς τυρινῆς, χαρεῖς Ἀλέξιε ἐνόησές τό, καὶ τὴν δευτέραν τὸ πρωῒ εἶπα κάλῶς γεράκιν μου (В субботу сырной недели, молодец, Алексей, ты разгадал, а в понедельник утром, голубчик мой, — счастливого пути! — *Пер. С. Д. Пападимитриу* (Две народные песни у Анны Комнины / / Летопись историко-филологического общества при Имп. Новороссийском университете. 2. Византийское отд. 1. Одесса, 1892. С. 283))». См. *Anna*, ed. Bonn., 98.

[4] Напр., о Феодосии Мономахе: ὁ μωρὸς ὁ Μονομάχος, εἴ τι ἐφρόνει, εποίησε (Глупый Мономах, что затеял, то и сделал). См.: *Zonar.*, IV, 184.

В особенности было в обычае у враждующих сторон сопровождать неприязненные действия насмешками и оскорблениями по адресу друг друга. Известна история со свиньей, которой жители Манцикерта угостили султана Тугрулбека, возбудив этим в нем неописуемую ярость: они взяли свинью, поместили ее в баллисту и бросили в неприятельский лагерь с криком: «Султан, возьми эту свинью в жены, а мы дадим тебе Манцикерт в приданое».[1] Известно также, что при осаде города Бари Робертом Гвискаром осажденные появились на городских стенах и под аккомпанемент музыкальных инструментов пели в честь Гвискара насмешливые песни.[2] В обоих случаях греки издеваются над иностранцами, турками и норманнами. При столкновении греков с греками начиналось в этом отношении настоящее соперничество. Когда приверженцы Торника подошли к столице и осадили ее, они сначала сделали попытку склонить граждан, охранявших стены, к добровольной сдаче и признанию Торника императором. Приверженцы Мономаха отвечали на это градом оскорблений по адресу Торника и его македонян. Тогда и македоняне не остались в долгу, — обращаясь к Мономаху, который на беду вышел на дворцовый балкон, откуда все мог видеть и слышать, они стали называть его блудливым, сластолюбцем, пагубой города, растлителем народа и тому подобными «лестными» эпитетами, а многие из македонян, сойдя с коней, составили хоровод и сыграли перед императором бесплатную комедию, под звуки рифмованной песни притопывая ногами и выплясывая. Мономах, видя и слыша все это, не знал, что делать от стыда.[3] Подобных примеров можно было бы подобрать массу.[4] Игривость проявлялась у греков не только тогда, когда они хотели кого уязвить, но и когда желали почтить. Из множества примеров укажем на пример Андроника Комнина. Когда он был провозглашен царем (вместе с Алексеем), два почтенных сенатора, один занимавший должность президента в комиссии прошений, другой протонотарий, желая польстить новоизбранному, «прилетели, —

[1] *Matth. d'Ed.* Chronique, par Dulaurier, 102.

[2] *Malaterra* / / Muratori. Scr. rer. ital., V, 571–572.

[3] *Psell.*, IV, 155–156 (*Zon.*, IV, 165); *Attal.*, 24.

[4] Вот некоторые. Когда приверженцы Вриенния приблизились к стенам Византии, они услышали от граждан насмешки (*Attal.*, 251); та же участь постигла приверженцев Алексея Комнина, в частности кесаря Иоанна Дуку, при осаде ими столицы (*Anna*, 119). При осаде Андроником (Комниным) Никеи осажденные осыпали со стен Андроника ругательствами, называя его мясником, кровожадным псом, гнилым старикашкой, бессмертным злом, людской фурией, развратником и др. постыдными именами (*Хониат*, рус., 360).

как выражается историк, — к его дому, сбросили с себя сенаторские головные покровы, распустили наподобие шаров висевшие на спине белольняные плащи, составили из простонародья хоровод и, приняв над ним начальство, стали петь на приятный и мерный напев, прыгали, сводили руки как бы для рукоплесканий, продвигались вперед и кружились посередине, сопровождая пляску пением, кликами и притопыванием ног».[1]

Теперь взглянем на нравственный облик византийского общества, и прежде всего посмотрим, в чем заключались его слабости, его пороки. Характерной чертой греков была *лживость*. Это качество, снискавшее им нелестную известность между иностранцами, составляло не только правило государственной мудрости, руководившее их международными сношениями, но и было принадлежностью взаимных отношений друг к другу самих греков, применялось в сфере общественной и из сферы общественной переносилось на политическую, захватывая собой даже чувства верноподданнические.[2] Правдивость никак не может быть поставлена в число национальных свойств греческого народа; грек был, по справедливому замечанию нашего летописца, «льстив», и так как каждый грек, сам склонный к лживости, был убежден, что и собрат ничем от него не отличается, то отсюда происходило взаимное недоверие, желание гарантировать себя от обмана со стороны ближнего. Внешним знаком согласия и дружбы было общение чаши; лицо, желавшее показать свое расположение к другом лицу, разделяло с этим последним трапезу и пило вместе вино; но дух недоверия и подозрительности носился над этой братской трапезой, и было в обычае, что лицо угощавшее давало угощаемому гарантию безопасности, отведывая вина из поднесенной гостю чаши для доказательства, что к вину ничего не подмешано.[3] Общение чаши, как знак приязни, было наследием патриархальных времен, свято соблюдалось народами, ближе греков стоявшими к патриархальному быту, имело когда-то большое значение и у греков, но в Средние века это уже была

---

[1] *Хониат*, рус., 346–347.

[2] Любопытную характеристику лживости греков в этом последнем отношении сделал Михаил Палеолог в одной своей речи: «Верность большей части подданных, — сказал он между прочим, — окоченела на *маске*, и притом, пока царь благоденствует; а как скоро он унижен, подданные необходимо становятся дерзки и нападают». См.: *Пахимер*, рус., 232.

[3] Так, когда между Василием II и Склиром произошло свидание и был заключен договор, император удостоил Склира общей чаши, поднеся к собственным устам чашу, предложенную Склиру, отпил из нее и затем опять передал ему, устраняя этим подозрения и показывая святость договора. См.: *Psell.*, IV, 17.

пустая формальность, надлежащую цену которой греки знали.[1] Словом, общение чаши хотя и не было выведено из употребления, но никого уже не обольщало и никто этому обряду не верил. Только народы, приходившие с греками в соприкосновение и более греков простосердечные, принимали обряд за чистую монету, зато и делались иногда жертвой своего простодушия.[2] Самой надежной гарантией против обмана, более важной, чем общение чаши, считалось клятвенное и письменное удостоверение. Клятва давалась на св. Евхаристии, кресте, Евангелии, иконах, мощах и других священных предметах,[3] и грек, величайший в мире формалист,

[1] Так послы, явившиеся от Стратиотика к Комнину, были им удостоены общей чаши (κρατῆρος κοινωνήσας, τραπέζης αὐτῷ κοινωνήσαντες, *Psell.*, IV, 220, 227), тем не менее трепетали за свою участь. После того как Роман Диоген, принужденный уступить силе своих соперников, приверженцев Парапинака, сдался и был приведен к Андронику Дуке, греческий полководец подал ему правую руку, ввел в свою палатку и разделил трапезу, см. *Psell.*, IV, 287: τραπέζης λαμπρᾶς κοινωνεῖ. Тем не менее это не помешало ослеплению Диогена.

[2] Известен эпизод из истории сирийского похода Романа Аргира. После поражения Романа и бегства его в Антиохию 8000 арабов явились к городу Телуху и обратились к стратигу Георгию Маниаку с предложением сдать город, так как император взят будто бы в плен, все греческое войско погибло и сам стратиг вместе с гарнизоном несомненно погибнет, если не последует приглашению. Маниак сделал вид, что покоряется, обещал на следующее утро удалиться из города и в доказательство мирного своего настроения выслал арабам в изобильном количестве пищи и напитков. Те до такой степени были обольщены обещанием и поступком Маниака (τοῖς τε λόγοις καὶ τοῖς ἔργοις φενακισθέντες), что предались беззаботному отдыху и попойке. Между тем ночью, когда они напившись уснули, греческий стратиг со своим гарнизоном сделал нападение, всех перебил, захватил 280 верблюдов и, отрезав у павших арабов носы и уши, препроводил в виде трофея императору. См.: *Cedr.*, II, 494. Кстати о трофеях. В других случаях трофеями служили сами головы убитых неприятелей. Так при Константине Мономахе патриций Иоанн Философ, разбив печенегов, нагрузил их головы на деревенские телеги и отправил к императору (*Cedr.*, II, 603), при Константине Дуке Роман Диоген тоже послал императору головы убитых им в сражении печенегов (*Scyl.*, 663). Этот обычай, как и многое другое, был заимствован у восточных народов, у которых отрезание голов доведено было до совершенства и существовало даже (напр., у турок) искусство сохранять отрезанные неприятельские головы от разлагания.

[3] Эти предметы религиозного почитания считались достаточным ручательством и в глазах неверных. Во время переговоров Романа Диогена с турецким султаном в 1071 г. послам султана дан был крест, как ручательство безопасности, и это их вполне удовлетворило. См.: *Attal.*, 159 (*Scyl.*, 696).

заботился о том, чтобы священных предметов собрано было побольше, крест был бы пообъемистее и т. д. Но и эта гарантия не всегда могла устоять против греческой лживости. К клятвенным и письменным удостоверениям обращались сплошь и рядом, но сплошь и рядом мы видим нарушение клятв и договоров, *вероломство и клятвопреступничество.* Примеров тому много, но мы укажем лишь несколько, и именно те, где рельефнее всего выступает формализм греков, где обилие и величина священных предметов обусловливали степень доверия. После вступления на престол Михаила Пафлагона (в первой пол. XI в.), брат царя и его первый министр Иоанн Орфанотроф, желая завлечь в свои сети патриция Константина Далассина, казавшегося небезопасным, отправил к нему искусного евнуха Ергодота, с тем чтобы евнух, дав Далассину клятвенное заверение (ὅρκους δοῦναι) в безопасности, склонил его явиться в столицу. Далассин не поверил клятве Ергодота и через одного доверенного человека заявил, что требует более крепких клятв (ὅρκους μείζονας). Тогда послан был к Далассину один приближенный царю евнух, его земляк (пафлагонянин), по имени Константина Фагитца; он принес с собой Честно́е Древо (Животворящего Креста), святой плат, собственноручное письмо Христа Спасителя к Абгару, которое в предшествующее царствование (при Романе Аргире) было найдено Георгием Маниаком в Эдессе и прислано в Византию, и икону Пресвятой Богородицы. Клятве, данной Фагитцой на этих священных предметах, Далассин поверил, прибыл в Византию и сначала был принят с честью, но спустя короткое время был отправлен в ссылку на остров Плату, — клятва была нарушена. Справедливость требует заметить, что на этот раз нашлись люди, громко и открыто осуждавшие клятвопреступническое деяние правительства.[1] В царствование Никифора Вотаниата (вторая пол. XI в.) Анна Далласина, мать Комниных, после того как сыновья подняли бунт искавшая вместе с невесткой убежища в храме Чудотворца Николая, на требование явиться к царю во дворец отвечала, ухватившись за ступеньки амвона: «Разве отсечете руки, и то не выйду из храма, пока не получу от императора в залог безопасности крест». Когда Страворомам, посланец Вотаниата, сняв свой нагрудный крест, предложил Анне, она не взяла его, заметив: «Не от вас (т. е. Страворомана и Евфимиана) я требую ручательства, но от самого царя, и не маленький крестик я желаю получить, но крест достодолжной величины». Требуемый крест был прислан, Анна с невесткой отдались в руки правительства, но были отправлены в Петрейский

[1] *Cedr.*, II, 501, 507–508, 511.

женский монастырь.[1] Применение формального взгляда к вопросам из нравственной области делало подчас грека очень изворотливым там, где

[1] *Anna*, I, 102–103, рус. пер., 94–99. Вот еще несколько примеров, когда обращались к клятвенным и письменным удостоверениям и клятву большей частью нарушали. С Михаила Пафлагона взята была Романом III клятва на священных предметах (ὅρκος καθ' ἱερῶν) в том, что он не состоит в любовной связи с Зоей и не имеет против ее мужа злого умысла. Михаил поклялся, несмотря на то, что в то время был любовником Зои, а впоследствии навлек на себя подозрение в злоумышлении против Романа. К чести общественной совести византийцев (или по крайней мере их руководителей, духовенства и монашества), нужно сказать, что это клятвопреступничество вызвало против себя осуждение, выразившееся в убеждении, что болезнь, постигшая Пафлагона, была Божиим наказанием за грех. См.: *Psell.*, IV, 43; *Zon.*, IV, 135 (*Ephr.*, 132). Брат Михаила Пафлагона Никита, назначенный дукой в Антиохию и не допускаемый в город антиохийцами, которые боялись наказания за умерщвление сборщика Саливы, дал гражданам клятвенное заверение (ὅρκοις πιστωσάμενος), что им будет дана полная амнистия, но когда затем он был впущен в Антиохию, забыл клятву, возбудил против жителей преследование и многих казнил. См.: *Cedr.*, II, 510. Михаил Калафат клялся Зое, которой был усыновлен и с согласия которой вступил на престол, страшной клятвой (ὅρκοις φρικωδεστάτοις) на Крови Христовой и на руке Иоанна Крестителя (*Attal.*, 11), однако же забыл клятву и сослал Зою на остров Принца. Народное порицание этого поступка слышится в крике, которым открылся бунт: «Не хотим иметь царем Калафата *ставропата*». См.: *Cedr.*, II, 537. Когда Калафат с Константином новеллисимом искали убежища в Студийском монастыре, эпарх Кампанар, посланный, чтобы их взять, и не желавший сначала нарушить право церковного убежища, дал клятву на священных предметах (καθ' ἱερῶν ὀμνύς), что им не будет причинено зло. Когда те, не доверяя клятве, не хотели добровольно сдаться и были силой извлечены из храма, с нарушением права убежища, монахи все-таки взяли с эпарха клятву (τοῖς ὅρκοις πιστεύσαντες) в том, что над личностью Калафата и новелиссима не будет учинено никакого насилия (*Psell.*, IV, 100–101); однако же это не спасло их обоих от ослепления. Смягчающим обстоятельством в деле этого клятвопреступничества может служить то, что не эпарх выполнил приказ об ослеплении (вопреки свидетельству Скилицы, *Cedr.*, II, 540), но другие лица, встретившие уже эпарха и арестованных им на дороге из Студийского монастыря, и что, следовательно, давая клятву, он мог и не знать об участи, готовившейся Калафату и его дяде. Константин Мономах, по вступлении на престол, стал убеждать Зою допустить Склирену к сожитию с собой. Зоей была издана грамота дружбы, одобренная сенатом, заключен договор, даны клятвы (συγγραφάς φιλίας ποιεῖται, ἡ σπονδὴ ἐγεγόνει καὶ ἀπετελέσθη τὰ ὅρκια), и тогда Склирена поселилась во дворце. См.: *Psell.*, IV, 129 (*Zon.*, IV, 159). Приверженцы Торника, восставшего против Константина Мономаха, дали ему присягу на верность и поклялись на священных предметах (πολλὰ ὁμωμοκότες καὶ καθ' ἱερῶν τὰ πιστὰ δόντες) умереть на его глазах, однако же

требовалось оправдать факт клятвопреступничества или вероломства. Например, известно, что император Михаил Палеолог, так бесчеловечно поправший клятву, данную малолетнему Иоанну Ласкарису, которого он ослепил,[1] был большой мастер по части софистических изворотов, и отцы-иезуиты должны бы относиться к нему с величайшим уважением как к провозвестнику их доктрины. Вот один случай. Сын его Андроник, посланный с войском против сербов, склонил сербского вождя Котаницу сдаться, причем дал клятвенные обещания, что он не потерпит от царя ничего дурного. Михаил Палеолог однако же задумал ослепить его: «Ведь не я клялся, — рассуждал он, — а мой сын без моего соизволения». Узнав о намерении отца, Андроник явился с ходатайством за злополучного Котаницу. Отец в ответ на ходатайство сына и на приведенный им аргумент, что если Котаница будет ослеплен, то через это он, Андроник, сделается клятвопреступником, стал ему доказывать, что никакого клятвопреступничества не будет, потому что ведь он-то, Андроник, сохранит клятву, а царь, как свободный от клятвы, данной без сношения с ним, может поступать так, как того требует безопасность. К чести Андроника нужно заметить, что он не убедился доводами отца, счел нужным

с прибытием на помощь императору восточных войск многие оставили Торника и перебежали к Мономаху. Лишь один из соратников, Иоанн Ватаца, остался верен клятве. Когда дело было окончательно проиграно, он вместе с Торником искал убежища в храме в Булгарофиге. Получив клятвенное заверение (δι' ὅρκων τὸ πιστὸν ἐιλῃφότες) личной безопасности, они вышли оттуда и отдались в руки врагов, но клятва была забыта, и они, по приказанию Мономаха, ослеплены (*Psell.*, IV, 161–162; *Attal.*, 29–30; *Cedr.*, II, 566 (*Zon.*, IV, 167)), потому что, как замечает армянский писатель (*Matth. d'Ed.*, 83), у греков в обычае губить магнатов, злоупотребляя ложными клятвами. В сношениях с иноземцами Мономах не стеснялся договорами. Когда во время борьбы с Какигом, царем Ания, для греческого императора полезен был союз Абулсевара, сарацинского эмира в Тевии, с ним был заключен договор и договорные пункты изложены в хрисовуле, но когда борьба была окончена и союз оказывался излишним, тогда договор был нарушен, были предъявлены требования, противоречившие пунктам хрисовула, и это повлекло к войне с Абулсеваром. См.: *Cedr.*, II, 558–559. Излишне останавливаться на том, как во время внутренних волнений, восстания претендентов и борьбы политических партий верноподданническая присяга и клятва делались игрушкой. Вспомним, однако же, что Стратиотику не помогли против Комнина присяга и подписка, взятые с сенаторов, что Диоген должен был сдаться вследствие измены гарнизона, и ему не принесло пользы клятвенное поручительство греческих архиереев. См. выше «Византийское государство и Церковь», гл. I и II.

[1] *Пахимер*, рус., 86–87, 153, 175; *Григора*, рус., 74–76.

предупредить Котаницу, который и принял меры, чтобы избежать несчастья.[1]

Самым действенным средством склонить грека к измене, нарушению верности и клятвы были деньги. *Корыстолюбие* было пороком, довольно распространенным в византийском обществе; против него вооружалась церковная власть в своих постановлениях,[2] поднимали голос проповедники на церковных кафедрах,[3] но все средства нравственного воздействия были бессильны. Приобретение денег ставилось высшей целью жизни, удачное обогащение возбуждало завистливое удивление и уважение; никто не спрашивал, каким способом приобретены деньги, правильно ли и законно нажито состояние. Деньги ценились, как сказано в одном синодальном акте, выше души.[4] Неудивительно поэтому, что для снискания денег грек готов был на всякое преступление и легко был доступен подкупу. Все можно было купить и всех подкупить: можно было купить почет и влияние, приобретя у правительства за деньги чин и государственную должность, а у так называемого харистикария настоятельство в монастыре; можно было подкупить правосудие, представив судье вместо всякого судебного доказательства известную сумму;[5] можно было заручиться благоволением любого чиновника, дав ему взятку; можно было

[1] *Пахимер*, рус., 459–460.

[2] Напр., в 1027 г. См.: PG, CXX, 840.

[3] Напр., бóльшая часть слов патриарха Иоанна Ксифилина изобличает корыстолюбие. См.: PG, CXX, 1203–1292.

[4] PG, CXIX, 840: ποιοῦμεν τὰ χρήματα τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς προτιμότερα.

[5] Были судьи, которые на свою профессию смотрели не иначе, как на способ торговать голосами. См.: *Хониат*, рус., 334. Продажность до такой степени въелась в правосудие, что о нее разбивались все попытки судебных реформ. Андроник Палеолог пришел было к мысли, нельзя ли поправить дело, сделав судьями иерархов, поставив суд в ближайшее отношение к Церкви. Он назначил в храме четырех «вселенских судей», в том числе одного епископа, и взял с них клятву, что будут творить суд неподкупный. Но это ни к чему не привело. Судьи оказались такими же продажными душами, как и заурядные византийские чиновники (*Григора*, рус., 432), о продажности которых не раз открыто свидетельствовали с высоты трона сами византийские государи. (Любопытно в этом отношении наставление, сказанное в 1147 г. деспотом Мореи и Пелопоннеса Константином Палеологом Георгию Сфрандзи при назначении его правителем в Спарту. Наставление это, самим же Сфрандзи записанное в его «Хронику» (ed. Bonn., 200–202), предостерегало, между прочим, и от подарков, которые вредят правосудию и до такое степени ослепляют, что заставляют поступать беззаконно и несправедливо.)

с помощью денег побудить врача угостить своего пациента вместо лекарства ядом;[1] можно было, наконец, купить верноподданническую преданность, — претенденты умели золотом и обещаниями составлять себе партию приверженцев и отклонять подданных от повиновения законному государю. Умели также и латиняне, и турки пользоваться этой слабостью греков, деньгами и обещанием материальных выгод вербовали среди них изменников в своих ряды, отыскивали опытных проводников и пр.[2]

Если грек способен был за деньги продать свою душу, то тем более он не затруднялся продавать и покупать тело. В Византии было обилие публичных домов и большой наплыв женщин легкого поведения.[3] Это был элемент населения, недоступный никаким моральным внушениям и против которого правительство отказывалось прибегать к мерам насилия. Правда, делались (например, при Михаиле Пафлагоне) попытки уменьшить, если не остановить развитие зла: устраивались магдалинские убежища, для которых специально сооружались великолепные монастыри, блистательно украшенные и снабженные всем необходимым, во всеобщее сведение объявлялось, что женщины, оставившие предосудительную жизнь и надевшие монашескую схиму, найдут себе тихое пристанище. И что же? Разумеется, являлось много охотниц поедать даровые хлеба, монастыри населялись, но в конце концов паллиатив ни к чему не вел и не искоренял разврата.[4] *Разврат*, несмотря на заключение женщин в домах, свил себе гнездо и в семейной жизни. Один из тогдашних историков с чувством глубокой грусти описывает нам ветренников, которые непрочь были внести дисгармонию в семейный союз и людей почтенных шокировали тем, что «завивали себе волосы, намащались благовониями, подобно женщинам украшались ожерельями из дорогих камней, и смотрели на свой предмет во все глаза» с нехорошей

---

[1] *Cedr.*, II, 519.

[2] Феодор Палеолог, Пелопоннесский деспот, в 1392 г., после одного сражения, взял в плен немало греков, сражавшихся за его врага-латинянина. Турки, вознамерившись при Иоанне Палеологе, в 1432 г., взять Константинополь и имея надобность в проводниках, подкупили для этого греков-рыбаков. В 1452 г., когда Магомет проходил по Карамении, он был осаждаем греками-изменниками, которые предлагали свои услуги против императора Константина. Подробнее об этом читай у *Lebeau*. Hist. du Bas-empire, 1836. T. XXI. P. 9, 133, 223.

[3] Византийские публичные женщины отчасти напоминают современных цыганок: они были и флейтистки, и танцовщицы, и, сверх того, имели обыкновение гадать своим любезным, давать им разные «ребяческие и глупые предсказания». См.: *Григора*, рус., 442.

[4] *Psell.*, IV, 67.

целью.[1] Немало было мужей, жены которых находились в чужих объятьях и которые не только не возмущались таким поведением своих жен, но еще сватали их другим, находя в этом доходную статью. Для таких мужей существовало особое техническое название, которое в буквальном переводе значит «рогоносец» (κερατᾶ). Один ученый, блиставший в XI в. своими энциклопедическими познаниями, взялся объяснить, почему такое название присвоется известного сорта мужьям, и представил не лишенное остроумия соображение, что называются они в обществе «рогоносцами» потому, что безрогие животные бывают сердиты и ревнивы к своим самкам, а рогатые легко относятся к неверности своих подруг и практикуют Платонову систему общения браков.[2] Однажды Андроник I Комнин зло посмеялся над обилием рогоносцев в византийском обществе: он приказал развесить на портиках площади большие оленьи рога, мотивируя свое распоряжение желанием показать народу величину пойманных зверей. Но византийцы поняли истинный смысл и обиделись на царя, зачем он ругается над гражданами, осмеивая распутство их жен.[3] Распутство практиковалось у греков в гнусных формах, причем не без влияния оказывалось соседство с Востоком.[4] Показателем развращенности византийского общества служит двор византийских императоров. Если исключить некоторых императоров, вроде Исаака Комнина, о целомудрии которого составился даже анекдотический рассказ,[5] то в

[1] *Хониат*, рус., 289.

[2] *Psell.*, V, 525–527.

[3] *Хониат*, рус., 407.

[4] Между прочим, у них, как и у грузин, был обычай, что враги из личной мести оскверняли друг другу ложе. Так, напр., Роман Склир, сосед Георгия Маниака по имениям в феме Анатолик, находился в постоянной с ним вражде и, пользуясь своей силой при дворе и отсутствием Маниака, удалившегося в Италию для борьбы с норманнами, осквернил его ложе (εἰς τὴν τούτου κοίτην ἀνέδην ἐξύβρισεν, *Cedr.*, II, 548; *Zon.*, IV, 160). Что этот обычай был свойственен и грузинам, видно из примера Баграта и Липарита. Баграт, правитель Иверии, осквернил ложе Липарита. В отместку Липарит, прогнав Баграта на Кавказ, вглубь Абасгии, и овладев его дворцом, опозорил его мать. См.: *Cedr.*, II, 572–573.

[5] Рассказ передает — *Cedr.*, II, 648–649 (*Glyc.*, 603), — что когда с Исааком Комнином, в бытность его стратопедархом, случилась почечная, опасная для жизни болезнь, и когда врачи, испытав безуспешность всех средств, посоветовали иметь сношения с женщинами, Комнин не согласился, и на замечание врачей, что в противном случае придется сделать операцию, которая повлечет за собой бездетность и мучительную боль, отвечал: «Достаточно с меня Мануила и Марии, по Божией милости мне данных детей; без них можно достичь Царства Небесного, а без целомудрия никто не узрит Господа».

общем получится картина двора, не уступающего по развращенности французскому двору позднейшего времени. Разврат при дворе византийских императоров особенно развился в первой половине XI в., совершался открыто, доходил до циничесих проявлений, причем заботились о соблюдении только официального приличия.[1] Особенно выделялся император Константин Мономах, действия которого имеют такой вид, будто он бравирует развратом, считая его как бы некоторым достоинством, а не делом постыдным. Впоследствии двор сделался приличнее, но полной безупречностью никогда не отличался: если не со стороны мужа, то со стороны жены совершались нарушения супружеской верности; незаконнорожденные императорские дети не перестают фигурировать на страницах истории, незаконные связи иногда оканчиваются трагически, поражая и виновных, и невинных.[2]

---

[1] Достаточно вспомнить Константина VIII, который от эротических излишеств лишился употребления ног (*Psell.*, IV, 27), особенно же подвиги на этом поприще Зои или Константина Мономаха, чтобы иметь настоящее представление о деле. Зоя, последовательно сменившая трех законных мужей, была верна из них разве последнему, и то по преклонности лет, а не по нравственному принципу. При жизни же первых двух мужей не один придворный мог похвастать близостью к императрице. Знакомство ее с Михаилом Пафлагоном историки (*Psell.*, IV, 41–43; *Zon.*, IV, 134) изображают красками, которые делают не совсем удобными выдержки из их показаний. При Константине Мономахе, с допущением ко двору Склирены, в силу дружественной грамоты Зои, разврат пустил при дворе как бы легальные корни, законная супруга и любовница императора мирно проживали и появлялись перед публикой бок о бок одна с другой, к любовнице, как и к императрице, придворные обращались со словами δεσπότις, βασιλίς (госпожа, царица). Зоя нисколько не считала себя обиженной, по-приятельски встречалась со Склиреной и в присутствии императора беседовали с ней о предметах, интересных для женщин. Мономах искусно балансировал между ими обеими и во дворце одной отвел помещение с одной стороны, другой — с другой, а сам поселился посередине, так что с одинаковым удобством могли приходить к нему и жена, и любовница, хотя в действительности этим удобством они пользовались не с одинаковым правом — Склирене вход всегда был открыт, а Зоя была обязана, прежде чем войти, осведомиться — у себя ли император, и нет ли у него севасты (официальный чин Склирены). По смерти Склирены у Мономаха оказалась новая страсть в лице одной аланской принцессы, проживавшей заложницей в Византии, взявшей в сердце императора перевес над сонмом других любовниц. См.: *Psell.*, IV, 129, 131 (*Zon.*, IV, 160); 177–179; *Cedr.*, II, 609.

[2] Печальный случай невольного братоубийства однажды был вызван подобной связью при Андронике Палеологе Старшем. Любимый внук императора Андроник Младший ночью отправился к знатной женщине легкого поведения, и так как у нее был любовник, то около дома расставил стрелков и меченосцев, приказав

С нравственной развращенностью у византийцев соединялись *грубость и жестокосердие*. Люди высокопоставленные, занимавшие почетные места на гражданской и военной службе, позволяли себе браниться в таких выражениях, которые неприличными кажутся и для простонародья,[1] и от ругани переходить к кулачной расправе. Император Василий Болгаробойца попросту распорядился с доместиком западных схол Контостефаном за ложный донос на Льва Мелиссина, а именно, соскочив с царского трона, он схватил Контостефана за волосы и за бороду и повалил на землю.[2] Если так поступал император, то от подданных нельзя было и требовать деликатного обхождения. Читая византийских историков, постоянно наталкиваемся на случаи, когда высокопоставленные лица вступают между собой в драку.[3] В соответствии с такой грубостью находилась жестокость, проявлявшаяся в отношениях как к своим, так и к чужим, как в частных и официальных сношениях, так в судебной и военной практике. На войне не было пощады неприятелю и неприятельской стране,

---

убить его, если тот появится. Брат Андроника Младшего Мануил случайно проезжал мимо, и стрелки, не распознав его и приняв за любовника, пустили дождь стрел. Мануил был ранен, упал с лошади и в скором времени умер. См.: *Григора*, рус., 275–276.

[1] Некто Лев, по чину протоспафарий, по должности протонотарий министра государственных финансов (τοῦ γενικοῦ), позволил себе в присутственном месте обозвать чиновника (кандидата) κερατᾶν κούρβας υἱόν (рогоносцем и сукиным сыном), — случай, разумеется, не единственный, но единственно известный, потому что он занесен в Πεῖρα. См.: *Zachar.*, I, 267.

[2] *Cedr.*, II, 438.

[3] Так, главнокомандующий греческих войск Георгий Маниак после одного дела с сарацинами в Сицилии в 1040 г., хотя удавшегося, но по вине командующего флотом Стефана Калафата не имевшего того блистательного успеха, какого ожидал Маниак, стал бранить Стефана, называя его зевакой, трусом и изменником, а когда Стефан ответил ему строптиво, извлек сиромасту и стал наносить удары по голове. Так как Стефан был царский родственник, то расправа над ним стоила Маниаку лишения места и тюремного заключения. См.: *Cedr.*, II, 523; *Zon.*, IV, 141. Когда в 1057 г. войсковой казначей, патриций Иоанн Опсара, при раздаче жалованья каппадокийцам не послушался стратига Вриенния и не захотел давать свыше нормы, указанной царем, тогда Вриенний дал ему пощечину, схватив за волосы и за бороду, повалил на землю и, заключив его в узы, стал сам раздавать щедрой рукой. Вриенний поплатился за свой поступок дороже, чем Маниак за избиение Стефана. Опсара при помощи другого стратига завладел Вриеннием и выколол ему глаза. См.: *Cedr.*, II, 621–622. Иоанн Кантакузин жестоко избил кулаками какого-то скопца Циту, вышиб ему зубы и разбил губы в кровь. См.: *Хониат*, рус., 332.

пленные без сожаления умерщвлялись, если только не желали обратить их в рабство или продать за выкуп. Маниак, например, отомстил жителям Матеры и Монополи, умерщвляя их целыми сотнями.[1] Никифор Карантин, управлявший городом Бриндизи в Италии и принужденный ретироваться, ознаменовал свое отступление следующим образом: вошел с норманнами в тайное соглашение, обещал сдать город и предложил для этого войти в город тайком по лестнице; норманны поодиночке стали взбираться на городскую стену, а Карантин каждого принимал, отрезал голову и, отрезав таким образом до ста голов, переплыл с ними из Бриндизи в Диррахий.[2] Сарацин Сицилии, Африки и Сирии, попадавшихся в плен, греки предпочитали топить, сажать на кол и т. д., немногих оставляя в живых.[3] Подобным же образом поступали и с пленными турками. Во время похода 1068 г. император Диоген, рассеяв турок на возвышенностях Тефрики (неподалеку от Севастии), всех попавшихся в плен перебил;[4] после победы близ Лариссы в 1069 г. пленные турки прожили лишь одну ночь в греческом лагере, на утро Диоген произвел их смотр и отдал приказ всех перебить, в том числе и турецкого предводителя, богато одетого и напрасно предлагавшего за себя ценный выкуп деньгами и пленными греками.[5] Вообще Диоген, тип идеального греческого генерала, прекрасно охарактеризовал свой взгляд на способ обращения с пленными врагами в ответе, данном султану Алп-Арслану. На вопрос султана: «Что ты бы сделал со мной, если бы я попался тебе в плен?», пленный Диоген чистосердечно отвечал: «Я бы сумел истощить твое тело множеством ударов». — «А я, — заметил султан, — не стану подражать тебе в суровости и жестокости», — и заключив дружественный договор, с честью отпустил греческого императора на свободу.[6] На суде жестокость греков обнаруживалась в таких наказаниях, как членовредительство, включая сюда и оскопление, заимствованное греками у персов, и ослепление, происходившее из того же источника,[7] — наказание, по преимуществу любимое греками и часто у них применявшееся, особенно к политическим преступникам, — обнаруживалась в той виртуозности, с какой казни выполня-

[1] *Ann. Bar.*, Pertz, SS., V, 56; *Anon. Bar.*, ed. Pratilli, 326; *Lup.*, Pertz, V, 58; *Guil. Ap.*, Pertz, SS., IX, 251.

[2] *Scyl.*, 723.

[3] *Cedr.*, II, 513–514, 521.

[4] *Attal.*, 127 (*Scyl.*, 671).

[5] *Attal.*, 106 (*Scyl.*, 681).

[6] *Attal.*, 165–166.

[7] Journal asiatique, 1866, Febr., Mart.

лись.[1] Обнаруживалась она и в обычном у греков применении к судебному процессу пыток, которые иногда превращались в смертную казнь, медленную и мучительную,[2] иногда же свидетельствовали о достойной лучшего назначения изобретательности.[3] Обращение с рабами тоже было неласковое, малейшая с их стороны провинность сопровождалась сечением розгами, кнутом и плетьми, хотя представители Церкви и христианской нравственности старались внушать снисходительность к рабам, освещая нравственно-религиозным светом самое происхождение и существование рабства, доказывая, что рабство есть следствие порока и любостяжания, что творец рабства — не Бог, но дьявол, что рабство — не христианское дело, потому что Христос всех освободил, дабы все были свободны.[4]

К числу нравственных особенностей греков нужно еще отнести крайнее легковерие, преданность всевозможного рода *суевериям и предрассудкам*.[5] Народ верил в какую-то Гиллу, отвратительную старуху с огненными глазами, железными руками, с головы до пяток покрытую шерстью наподобие шерсти верблюда, старуху, которая губит новорожденных детей, вселяясь в них и поглощая высасываемое ими молоко, истребляет также скот, отравляя воду источников, из которых скот пьет, и т. д. Верил, далее, народ в каких-то бабуцикариев, ночных демонов, которые являются людям в ночь на Рождество Христово и Крещение. Верил он в действительность и непогрешимость разных примет: были приметы, предуказывавшие зачатие и рождение ребенка,[6] равно и его судьбу, были общепризнанные приметы насчет удачного или неудачного исхода того или другого предприятия, находили и во внешнем облике человека приметы, свидетельствовавшие о его внутренних качествах. Если, например, греку, запрягавшему лошадей, попадался на глаза монах, то это всегда

[1] Напр., выкалывался правый глаз и отрубалась левая рука, — левый глаз и правая рука и т. д. См.: *Хониат*, рус., 367.

[2] Так поступлено, напр., с Войтехом в 1073 г. и Никифорицей в 1078 г. См.: *Scyl.*, 718, 744 (*Zon.*, IV, 232).

[3] Напр., патриций Георгий Таронит был зашит великим доместиком Константином (братом Михаила Пафлагона) в бычью шкуру и в таком виде препровожден из Месанакт в Византию. См.: *Cedr.*, II, 531.

[4] Таков, между прочим, взгляд Симеона Нового Богослова, PG, CXX, 362–366.

[5] См. мою статью «Византийская наука и школы в XI в.».

[6] Если, напр., роженица трудно рожала, то это было приметой, что в числе присутствующих при родах женщин есть беременная, и потому было правилом не допускать беременных прислуживать рожающей женщине. См.: *Psell.*, V, 28.

было дурной приметой, и все знали, что тут остается одно средство спасения — распрячь лошадей и остаться дома.[1] Если у кого была длинная, раздвояющаяся, остроконечная борода, то это было плохой рекомендацией нравственных качеств, и раз даже был случай, что почтенный старец (Иоанн Дука), выступивший претендентом на престол, не был избран народом потому, что он имел несчастье обладать «длинной бородой, разделяющейся на две половины и оканчивающейся острием».[2] Было бы ошибкой предполагать, что лишь простой темный народ верил всему этому. Нет, и высший класс, и люди по тому времени образованные разделяли если не все, то многие предубеждения черни. И образованный человек, подобно необразованному, всюду искал примет и, разумеется, везде их находил, так что вследствие этого приметы разнообразились до бесконечности: не только случаи и обстоятельства действительной жизни, но даже продукты воображения серьезнейшим образом принимались за приметы. Однажды в царствование Андроника Палеолога Старшего, в глубокую полночь, когда царская лейб-гвардия хотела уже идти спать, раздалось около дворца сильное лошадиной ржанье, всех заинтересовавшее, потому что ни одной лошади ни во дворце, ни около ворот в это время не было. Между тем ржание повторилось сильнее прежнего, дошло до ушей царя, и тот приказал узнать, откуда оно происходит в такую позднюю пору. Один придворный послан был разузнать дело и скоро возвратился с докладом, что ржание издает лошадь, нарисованная на одной из дворцовых стен. На стене, которая приходилась напротив церкви Пресв. Богородицы Одигитрии, один живописец, по имени Павел, нарисовал Георгия Победоносца, как всегда его рисуют, т. е. верхом на лошади. И вот посланному показалось, что эта самая лошадь издает ржанье. Но интерес не в том, что ему показалось, а в том, что его сообщение всеми было принято всерьез, и разногласие возникло только по вопросу о значении необычайного явления, — один министр (логофет) сказал: «Поздравляю тебя, царь, с будущими трофеями. Я думаю, что ржание означает не что другое, как твой царственный поход против агарян, опустошающих нашу Азию». А царь заметил: «Видно, что ты не понимаешь дела; я тебе дам настоящее объяснение. Эта лошадь, как передали нам наши отцы, ржала точно так же и прежде, когда мой отец-царь задумывал отнять у Балдуина, правителя латинян, этот пышный город. И однажды он был встревожен этим странным звуком. Он нашел себе в нем дурное предзнаменование, а потом спустя немного времени и самим делом убедился, что

[1] *Psell.*, V, 174.

[2] *Хониат*, рус., 435.

предзнаменование было на его голову, когда увидел, что этот пышный город опустошают ромеи».[1] Свойственное человеку стремление приподнять завесу будущего было чрезвычайно развито у византийских греков, благодаря тому, что судьба каждого гражданина, вследствие особенностей политического строя, представляла широкое поле всевозможным случайностями, и каждый с одинаковой правдоподобностью мог рисовать себе в отдаленной перспективе и царский престол, и эшафот. Спрос, понятно, вызвал предложение, и в Византийской империи были профессиональные предсказатели, гадальщики, которые могли желающему рассказать все, что произойдет. Довольно популярным способом предугадывания будущего было снотолкование, которое было разработано в целую науку и изложено в особых, посвященных этому предмету книгах. Другим способом, который еще более, чем снотолкование, был систематизирован, служила астрология, гадание о человеческой судьбе по положению небесных светил. Третий способ — гадание по книгам, заключавшим изречения о византийских императорах. Эти своего рода Сивиллины византийские книги имели соотношение с таинственными письменами, начертанными на цоколе некоторых колонн и статуй в Константинополе, в которых заключались списки будущих византийских императоров и указания на судьбу Византии. При туманности этих книг и записанных в них изречений для каждого императора можно было найти подходящий афоризм.[2] Был, наконец, четвертый способ гаданий, к которому могли обращаться и обращались не одни императоры,[3] но и простые смертные, — гадание на воде: специалист этого дела, налив мутной воды в таз или лохань и совершив над ней известные ему обряды, читал потом на ней ответы на предлагаемые вопросы. По общему убеждению, ответы начертывал на воде (обыкновенными человеческими буквами) злой дух, вызываемый кудесником. Этот последний способ гаданий находился уже в связи с магией и волшебством. Среди византийского общества волшебники играли

[1] *Григора*, рус., 295–296.

[2] См. примеры афоризмов, отнесенных на счет Никифора Вотаниата (*Scyl.*, 726, 736; *Zon.*, IV, 224; *Glyc.*, 615), Алексея I Комнина (*Zon.*, IV, 254–255), Иоанна Комнина (*Хониат*, рус., 53), Мануила Комнина (*Хониат*, рус., 186, 217, 286), Михаила Палеолога (*Пахимер*, рус., 21, 136), Андроников Палеологов Старшего и Младшего (*Григора*, рус., 458, 435) и пр.

[3] Что к этому способу обращались и императоры, показывает пример Андроника Комнина: он спрашивал кудесника Сифа, кто будет после него царствовать (ответ, прочитанный на воде: «Исаак»), и когда преемник воцарится (ответ: «во дни Воздвижения Креста»). См.: *Хониат*, рус., 427–428.

большую роль. Это были лица, окружавшие себя разными мистическими и каббалистическими аксессуарами, вроде изображения черепахи, вмещавшей в себе человеческую фигуру, у которой (фигуры) обе ноги в кандалах, а грудь насквозь пронзена гвоздем; у них была в распоряжении книга Соломонова, которой не только чтение, но даже простое перелистывание обладает, как полагали, способностью вызывать и собирать легионы демонов, являющихся с тем, чтобы получить известное поручение и усердно его исполнить; они, эти волшебники, могли, по народному убеждению, совершать чудеса: могли, например, приворожить девушку и свести ее с ума от любви, могли напустить туман самому зрячему человеку, так что тому казались несообразные вещи,[1] могли погубить чарами намеченного недруга,[2] могли нашептываниями и заговорами, привешиванием камешков и разными симпатическими средствами вылечить больного и даже бесплодную женщину сделать плодовитой[3] и т. д. Закон относился строго к этого рода шарлатанам: новелла Льва Мудрого устанавливала смертную казнь для тех, кто предается волшебству и магии (γοητεία, μαγγανεία), и закон не всегда оставался мертвой буквой, — были случаи, когда волшебников всенародно сжигали на костре, наказывали ослеплением, подвергали разным истязаниям.[4] Тем не менее волшебство

[1] *Хониат*, рус., 187–190.

[2] В этом отношении волшебство по понятиям того времени примыкало к врачебной науке, а именно к искусству составления и употребления ядов, вследствие чего о человеке, погибшем от яда, говорили как о γοητείαις κατεργασθέντι (погибшем от колдовства). См.: *Cedr.*, II, 535. Ср.: *Psell.*, IV, 46.

[3] *Psell.*, IV, 31–32; *Zon.*, IV, 133.

[4] Особенно преследовал волшебников Мануил Комнин. При нем были ослеплены: Аарон за то, между прочим, что занимался чернокнижием, Сиф Склир (тот самый, который впоследствии гадал на воде Андронику Комнину) за то, что приворожил к себе и обольстил девушку и вообще занимался магией, Михаил Сикидит — тоже за занятие магией, выразившееся, между прочим, в том, что однажды он напустил туман на лодочника, везшего горшки, тому показался огненный змей, извивающийся между горшками, и он веслом перебил всю свою посуду, — другой раз напустил туман на мывшихся вместе с ним в бане, и тем показалось, что из крана с горячей водой выскакивают черные человечки (*Хониат*, рус., 187–190). При Андронике Комнине сожжен на костре за волшебство бездомный нищий-калека (Косой) (*Хониат*, рус., 328). При Феодоре Ласкарисе опять усилилось преследование волшебников вследствие того, что их козням была приписана постигшая царя падучая болезнь. Стоило только кого обвинить в чародействе — обвиненный подвергался суду Божию (через раскаленное железо), и если его не выдерживал, то нес наказание (*Пахимер*, рус., 25); одну старуху, обвиненную в

процветало, к услугам волшебников обращались даже императоры (напр., Роман Аргир и супруга его Зоя, Андроник Комнин).

Но довольно об этом. Считаем нужным заметить, что начертанная картина общественной нравственности не должна вводить нас в заблуждение. Было бы несогласно с истиной представлять себе, что византийское общество во всем составе было развращено, что кроме пороков — лживости, вероломства и клятвопреступничества, продажности, распутства, грубости и жестокосердия, суеверия и предрассудков, — не проявлялось никаких добрых качеств. Нет, порочность налагала на общество того времени преобладающий, если угодно, колорит, но одновременно с тем пробивались и лучи добродетелей — семейных, гражданских и общехристианских. Идеал нравственного человека, по понятиям того времени, нашедший себе выражение в сочинениях писателей, отличается по преимуществу церковным характером: на первом месте стоит благочестие, состоящее в соблюдении церковных уставов, в прилежном посещении храмов Божиих, заботах об их благолепии, в почитании священнического и иноческого чина и т. д.; словом, идеал нравственности для добродетельного мирянина, как он обрисован, например, у Евстафия Фессалоникийского, состоит в том, что мирянин должен отличаться теми добродетелями, усовершаться в которых обязан монах, т. е. он должен обладать нелицемерным благочестием, сыновним послушанием своей матери — святой Церкви, боголюбезным смирением, кротостью, нестяжательностью и пр. Разумеется, в византийском обществе были лица, которые стремились осуществить в жизни этот нравственный идеал. Не вдаваясь в подробности, припомним только ту ревность, с какой общество охраняло неповрежденность и чистоту православного учения и обрядов, ту стойкость, какую оно обнаружило в этом отношении, несмотря на давление латинян с одной стороны, турок — с другой. Оказала ли бы Византия и способна ли была бы оказать эту историческую услугу православному миру, если бы указанный идеал нравственности не пустил в обществе глубоких корней? Можно было бы, на основании даже византийских историков, не говоря уже о памятниках агиографической литературы, составить длинный список лиц, стяжавших себе почетную известность подвигами добродетели и высокими нравственными качествами, и этих представителей положительных сторон морали противопоставить той картине

чародействе, допрашивали таким образом: раздев ее, завязали в мешок и туда же поместили кошек; кошек стали колоть извне шиповником, а те стали царапать когтями старуху, и бедная страдалица принуждена была принять на себя вину (*Пахимер*, рус., 28).

отрицательного свойства, которая нами начертана. Но это не входит в нашу задачу, — нашей целью было наглядно показать не те проявления общественного быта, за которые тогдашним пастырям Церкви оставалось только благодарить Господа, а те, которые обусловливали их пастырскую деятельность, их заботы и труды по возвышению нравственного уровня.

Теперь спрашивается, насколько пастыри Церкви сами удовлетворяли своему назначению, по крайней мере, сознавали ли они всю высоту долга и стремились ли к его выполнению?

Тяжелы были условия, при которых приходилось тогда действовать пастырям Церкви. Церковь испытывала на себе все последствия доведенного до крайности своего союза с государством. Представители ее, начиная с патриарха и кончая низшим клиром, находились, можно сказать, в порабощении у деятелей государственной власти. На патриарший престол возводились лишь угодные императорам лица, которые по своему характеру, умственным и нравственным качествам обещали быть послушным орудием императорской воли. Если только патриарх не оправдывал ожиданий императора, он был низлагаем по административному распоряжению, или его заставляли отречься от престола как бы добровольно, а в действительности по принуждению. Как шатко было положение патриархов, видно из того, что из 42 патриархов, занимавших Константинопольский престол с конца IX до начала XIII в., почти половина, а именно 19 были низведены с престола без достаточных причин и помимо законных формальностей, по распоряжению высшей государственной власти. Каково было положение простых епископов по отношению к светской власти, можно судить по тому, что они не только императоров, но и государственных сановников должны были приветствовать земными поклонами, сплошь и рядом не имели средств содержать прислугу, так что двери должны были отпирать и запирать сами, а если перепадал на их долю лишний грош, то они должны были закапывать его в землю, так как государство не освобождало их от податей, а царские сборщики не церемонились при взимании денег. О низшем духовенстве и говорить нечего. Нечего также говорить, как незначителен был авторитет выдвигаемых ими религиозно-нравственных начал, если даже исконные церковные законы не могли иногда устоять перед государственным произволом, если открыто, на юридической почве проводился принцип, что «в тех случаях, когда государственный закон оказывается целесообразнее церковного, первый должен быть предпочтен последнему» (7-я новелла Льва Мудрого). Государственный же закон, в свою очередь, должен подчиняться императорской воле, «так как лица, которым вверено от Бога управление миром, стоят выше законов своих подданных» (109-я новелла Льва Мудрого).

Несмотря, однако же, на неблагоприятные условия, из среды представителей Церкви выступали поборники благочестия, у которых чувство долга и сознание ответственности перед Богом брали перевес над житейским расчетом и страхом перед сильными мира сего, которые бестрепетно возвышали голос с обличением и вразумлением. Константинопольские патриархи, не все конечно, но лучшие из них, подавали в этом отношении пример подведомому духовенству. Они брали на себя нелегкий труд исправления царских нравов, когда цари предавались невоздержности, нарушали брачные узы, попирали договоры и клятвы. При Константине Мономахе такой труд нес знаменитый патриарх Михаил Керулларий. Невоздержность Мономаха, его легкомысленное отношение к договорам служили предметом частых обличений патриарха; несмотря на недовольство императора, он, бывало, учащал свои визиты во дворец и заводил речь об одном и том же до тех пор, пока наконец император не сдавался. В 1047 году против Константина Мономаха поднял мятеж его родственник Лев Торник. Когда мятеж был подавлен и все стали покидать Торника, он с одним из сохранивших верность сподвижников, Иоанном Ватацей, искал спасения в храме. Им от имени царя дано было клятвенное обещание, что на личность их не сделано будет никакого посягательства. Они тогда сдались и были приведены в Византию. При виде их в Мономахе забушевала ненависть и он велел их ослепить, что и было исполнено. Керулларий, получив известие, что император, забыв договор и клятву, отдал такой постыдный приказ, поспешил на помощь обманутым. Торника и Ватацу ему не удалось спасти от ослепления, однако же его укоры и угрозы подействовали на императора, и многие другие мятежники были пощажены.[1] Так вел себя этот патриарх, доблестный защитник православной истины и христианской нравственности, несмотря на то, что он понимал, к чему его смелость может повести. Впоследствии он сделался жертвой своей отваги и непоколебимости. Когда он выступил с обличением против Исаака Комнина по поводу секуляризации церковных и монастырских имуществ, грозил при этом императору даже епитимьей,[2] то был низвергнут с престола. При Михаиле Палеологе по следам Керуллария пошел патриарх Арсений. Михаил Палеолог, будучи женат на Феодоре, прельстился Анной, дочерью Фридриха, короля Сицилийского, и вдовой императора Иоанна Дуки. Так как Анна не поддавалась на его искательства, то Михаил разными софистическими соображениями, в которых фигурировали и стратегические расчеты, и государственная польза

[1] *Psell.*, IV, 333, 341–342, 346–347; V, 111; *De-Lagarde*, 185, 193.
[2] *Attal.*, 62; *Psell.*, IV, 245.

убедил себя и желал убедить других в необходимости развестись с Феодорой и жениться на Анне. Царица Феодора, узнав об этом, обратилась к патриарху Арсению с просьбой о защите. Патриарх сделал царю строгое внушение, опроверг его аргументы, укорял за попрание божественных законов и в заключение грозил отлучением от Церкви. Это так подействовало на императора, что он отказался от своего намерения и отослал Анну в Сицилию.[1] Трагичнее окончилось дело по поводу Иоанна Ласкариса. Когда во внимание к малолетству наследника престола Иоанна Ласкариса был избран ему соправителем Михаил Палеолог, оба царя дали клятвы не замышлять никакого зла друг против друга, и клятвы изложены были в формальном акте. Как бы поручителями ненарушимости этой клятвы явились вельможи, которые в верноподданническую присягу обоим царям включили обещание противодействовать тому из них, который бы вздумал нарушить клятву. Между тем Михаил Палеолог, более или менее упрочившись на престоле, постепенно стал отодвигать Иоанна Ласкариса на задний план и кончил тем, что повелел его ослепить. Уже пренебрежительное, вопреки договору, отношение Михаила Палеолога к Иоанну Ласкарису сильно возмущало патриарха Арсения, так что он пришел даже к решимости отказаться от патриаршества. Когда же относительно малолетнего Иоанна был выполнен последний акт жестокости и вероломства, Арсений отлучил виновника этого преступления от Церкви. Много усилий употребил и даже к хитростям прибегал император, чтобы заставить патриарха снять отлучение. Тот оставался непоколебим, требуя, чтобы император прежде раскаялся и на деле загладил свой поступок относительно Иоанна. Арсений был низложен, а все-таки разрешения не дал,[2] но за него дали другие (при патриархе Иосифе).

Для противодействия грубости, жестокосердию и несправедливости со стороны светского правительства у Константинопольских патриархов было в распоряжении старинное право печалования. Преимущественно оно употреблялось в сфере дел судебных и служило средством проведения в жизнь суда милостивого, проникнутого чувством сострадания и любви к ближнему. Некоторые патриархи известны тем, что очень дорожили правом печалования и постоянно его практиковали. В XI в. в особенности патриарх Иоанн Ксифилин заботился о том, чтобы это право не оставалось бесплодным. Он постоянно обращался с ходатайствами к правителям и судьям, особенно же к царю: несправедливость, допущенная

[1] *Пахимер*, рус., 166–169.

[2] *Пахимер*, рус., 87–88, 92, 117–118, 152, 174–176, 185, 187, 193–196, 233–234, 240, 282.

царем, вызывала с его стороны слово осуждения; если он хлопотал о чем-нибудь у царя, то делал это с настойчивостью и до тех пор не успокаивался, пока не получал удовлетворения.[1] В конце XI в. (1079 г.) при патриархе Косьме патриаршее право печалования за осужденных и сосланных преступников было оживлено и до известной степени регулировано. Так как возможны были случаи, и действительно бывали, что царь совершенно забывал о некоторых ссыльных и те долгое время влачили жалкую жизнь без надежды на помилование, то император Никифор Вотаниат на будущее время постановил, чтобы Константинопольский патриарх регулярно три раза в год, раз через каждые четыре месяца, напоминал о ссыльных царю, дабы царь, по долгу справедливости и для душевного своего спасения, мог возвратить на родину тех, которые, по его убеждению, окажутся понесшими достаточное наказание, и оставлял в ссылке лишь тех, которых найдет недостаточно еще наказанными.[2] Это трехкратное патриаршее печалование не исключало для патриарха возможности, сверх того, ходатайствовать по частным случаям, так что из последующего времени мы знаем факты, когда по ходатайству того или другого патриарха отворялись темницы, освобождались из оков многие заключенные, возвращались в отечество сосланные и давалось помилование осужденным.[3] Особенное развитие право печалования получило при патриархе Иоанне Векке. Император Михаил Палеолог дал этому патриарху возможность широко применять свое право, и Векк чуть не каждодневно являлся с ходатайствами. Он разделил своих несчастных на два класса: на осужденных за действительные проступки, ищущих помилования, и на подвергшихся суду невинно, ищущих справедливости. За тех и других он одинаково ходатайствовал, причем делал доклады царю изустно и был чрезвычайно настойчив. Однажды он настойчивость свою довел до того, что когда царь не соглашался удовлетворять просьбе, патриарх бросил к его ногам жезл и отправился в монастырь, показывая тем, что в случае неисполнения просьбы он откажется от патриаршества. В другой раз патриарх, после многих неудачных попыток ходатайства за одного осужденного, воспользовался случаем, когда царь в день великомученика Георгия находился в Манганском монастыре за патриаршей службой. Патриарх вышел, после службы, для раздачи антидора, царь, как водится, подошел и протянул руку. В эту минуту патриарх, взяв частицу антидора, прежде чем вручить ее царю, стал печаловаться за того же осужденного,

[1] *Psell.*, IV, 452.

[2] *Zachariae*, III, 331–338.

[3] *Пахимер*, рус., 13, 281–282.

доказывая, что святой хлеб самому царю послужит в осуждение, если он не даст помилования. Царь просил не конфузить его перед народом, дать антидор, но со своей стороны не соглашался на помилование. Патриарх все настаивал — и разгневанный царь повернулся и ушел с пустыми руками, сказав при этом: «Мы не праздновали праздника». Этот случай побудил императора ввести некоторые изменения в праве печалования, а именно: патриарху воспрещено было каждый день докучать царю, для этого был избран один день в неделю (вторник); кроме того, патриарху предоставлено ходатайствовать в этот день не изустно, но письменно, делая представления императору на бумаге, на которой особый чиновник должен был писать императорские резолюции.[1]

По примеру патриархов, несших труд исправления царских нравов, трудилось на религиозно-нравственном поприще и духовенство Греческой церкви, как монашествующее, так и белое. Монашество, в лице лучших, к сожалению, впрочем, немногих, своих представителей, безбоязненно выступало на защиту нравственных начал, попираемых современным ему обществом, причем и величие царского трона не останавливало благочестивой ревности. Великий постник (иногда в течение сорока дней не вкушавший пищи) Никита Стифат был поборником чистоты не только православного учения, что доказал во время столкновения с Римом, но и христианской нравственности. Он обличал, между прочим, императора Константина Мономаха за его предосудительное поведение.[2] При Никифоре Вотаниате один монах, имени которого не знаем и который за добродетельную жизнь носил в народе прозвание «Всесвятой» (Πανάγιος), восстал против намерения императора вступить в брак, неодобрительный с точки зрения церковных канонов,[3] и его старания увенчались успехом — брак не состоялся. В царствование второго никейского императора Иоанна Дуки (1222–1254) был характерный случай. После смерти первой своей жены (Ирины, дочери Феодора Ласкариса) Иоанн Дука женился вторично на Анне, дочери Сицилийского короля Фридриха. В свите новой императрицы прибыла, между прочим, одна маркиза, отличавшаяся чрезвычайной красотой и изяществом манер. Она произвела сильное

[1] *Пахимер*, 373–378.

[2] *Cedr.*, II, 556.

[3] *Scyl.*, 738 (*Zon.*, IV, 229). Евдокия, которую этот монах отклонил от замужества с Вотаниатом, дважды уже была замужем, так что брак с Вотаниатом, если бы состоялся, был бы по счету третьим, — между тем третий брак в «Томе единения», одобренном соборным постановлением 995–996 г., назван скверной (ῥύπασμα) и допущен лишь с ограничениями (*Zachariae*, III, 233).

впечатление на императора и стала пользоваться его благосклонностью в большей степени, чем законная супруга. Поборники нравственности — монахи, и во главе их строитель и настоятель одного монастыря Никифор Влеммид, были возмущены этим. Однажды маркиза вздумала посетить храм в монастыре Влеммида и приехала с пышностью. Но едва она взошла на паперть, как по приказанию Влеммида двери храма были заперты и вход загражден. Маркиза жаловалась императору за оскорбление, но на императора так сильно подействовал этот факт, что он раскаялся в своем поведении.[1]

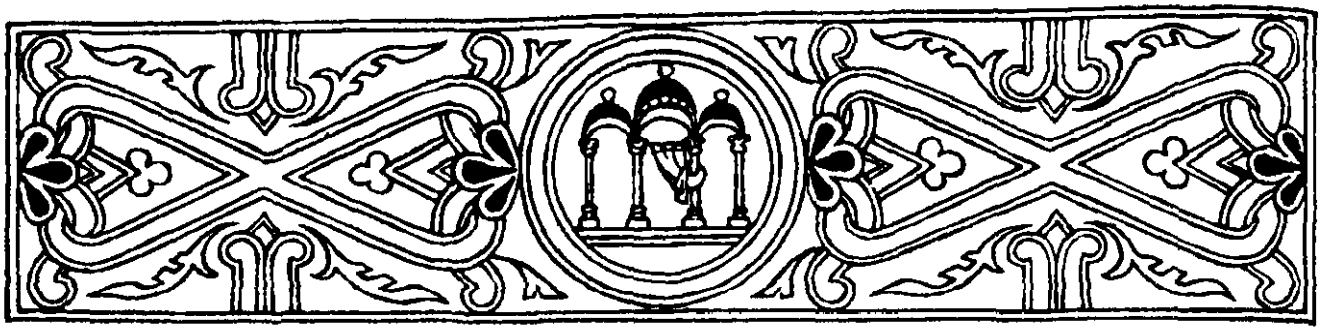
Белое духовенство не отставало от монахов. Оно, без сомнения, главным образом вело просветительскую деятельность при помощи того могущественного средства, глубокая целесообразность которого была хорошо сознана в византийском государстве. Мы имеем в виду внебогослужебные собеседования с народом о религиозно-нравственных предметах, которые служили дополнением к собеседованиям богослужебным. Эти внецерковные собеседования происходили в частных домах, куда собирались, с ведома хозяев, соседи. Вели их лица, имевшие священный сан, по очереди. Пока эти собеседования процветали, плоды их были весьма ощутительны, заметно сказываясь на нравах общества. Но по мере того как государство близилось к своему падению, истощалась его политическая сила, ослабевала также и энергия в духовенстве; внебогослужебные собеседования стали приходить в упадок, а вместе с тем стали ухудшаться и общественные нравы. Византийский историк первой половины XIV в. (Григора) пишет по этому поводу следующее: «Прежде, с древнейших времен Церковь была богата между прочим и учителями (дидаскалами). Они в различные времена и в разных местах Константинополя объясняли кто песни пророка Давида, кто послания апостола Павла, кто евангельские заповеди Спасителя (пока еще речь идет о церковных беседах, далее пойдет о внецерковных. — *Н. С.*). Все те из них, которые были облечены в сан священства, частным образом и поочередно проповедывали Божественное слово по домам, в собрании членов семейства и их соседей. Это располагало к жизни по заповедям Божиим, служило к познанию истинной веры и прямо вело к добру. Или лучше: это было духовное орошение слушателей из великого и божественного источника, орошение, которое их изменяло, преобразовывало и располагало к лучшему. С течением времени все это исчезло, как исчезли и все другие добрые обычаи, которые словно погрузились на дно морское. Этого рода опустошение отсюда простерлось и на другие Церкви, и вот души всего христианского

[1] *Григора*, рус., 44–46.

мира блуждают и по сие время, точно по какой-нибудь непроходимой и безводной пустыне. Бессовестность дошла до того, что за один обол дают с той и другой стороны страшнейшие клятвы, какие не посмеет даже передать перо писателя. Вместе с тем, как угас животворный луч слова и учения, все слилось в безразличную массу; люди впали в бессмысленное состояние, и не стало человека, который мог бы сам решить, что полезно и какими признаками отличается благочестие от нечестия».[1]

Вот знаменательное свидетельство и поучительный опыт! Свидетельство о древности доброго обычая, как называет историк внебогослужебные собеседования, и о его происхождении с Православного Востока; опыт относительно пользы этого обычая, служившего к познанию истинной веры и ведшего к добру. Невольно при этом взор обращается на современность, к благородным усилиям последнего времени восстановить и в нашем Отечестве этот исконно православный добрый обычай. Хвала труженикам этого дела и да поможет им Бог не ослабевать в трудах своих и не допустить до того, чтобы на Святой Руси когда-нибудь не только угас, до даже мало-мало померкнул «животворный луч слова и ученья»!

[1] *Григора*, рус., 177–178.



РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ при патриархе Михаиле Керулларии*

Разделение Церквей может и должно быть рассматриваемо как неизбежное последствие целой совокупности обстоятельств, слагавшихся веками. Оно было подготовлено на тройственной почве: народной, государственной и церковной. Этнографическое различие между Востоком и Западом Европы, различие народностей, давших главный контингент, своим языком, нравами и особенностями гения сообщивших неодинаковый колорит двум половинам Европы, имеет значение первичного момента в данном вопросе. Этнографическое начало легло в основу государственного, и различие национального типа послужило основанием для обособления политического и культурного. Принцип политического единства, носителем которого был императорский Рим, оказался несостоятельным и бессильным, чтобы примирить противоположности, а привнесение германского и славянского элементов должно было их еще усилить. Различие между Востоком и Западом в этнографическом и культурном отношениях отразилось на складе ума и обычаях, причем коснувшись всех сфер быта и жизни, не миновало и сферы религиозной; религиозное созерцание получило на Востоке более спекулятивный характер, на Западе — более практический, выработались постепенно некоторые разности в догматических воззрениях, в церковных обрядах и дисциплине, обнаружилось соперничество в строе церковного управления.

В разностях между Церквами, послуживших как бы легальным основанием их разделения, церковь Греческая стояла ближе к учению и практике древней Вселенской Церкви, чем церковь Римская. Это обстоятельство, в связи с более высоким уровнем богословского образования на Востоке, было причиной, что в случаях, когда дело доходило до формальных заявлений по поводу разностей, обвинительницей выступала церковь Греческая, а Римская — ответчицей, первая нападала, а последняя оборонялась. До времен патриарха Михаила Керуллария не раз поднималась речь о разностях. Дваж-

---

* Печатается по отдельному изданию: СПб., 1884.

ды они были более или менее сгруппированы: первый раз на Трулльском соборе 691–692 гг., второй — по поводу спора, возникшего при патриархе Фотии в IX в. Были и еще случаи, когда по тому или иному поводу выступала наружу и была указываема одна какая-нибудь разность, взятая отдельно. Разности касались трех областей богословской мысли и церковной жизни: одни — догматов (учение о Св. Духе), другие — обрядов и дисциплины (о посте в субботу и св. Четыредесятницу, о таинстве миропомазания, о безженстве священников, о постановлении диаконов прямо во епископы, о бритье бороды и стрижении волос, об агнце, об употреблении в пищу крови и удавленины, о четвертом браке), третьи — церковного управления и устройства. Пререкания по этому последнему пункту сводились к соперничеству кафедр Римской и Константинопольской за власть, вызванному успехами, какие сделала Константинопольская кафедра и которые состояли в том, а) что она приравнена на почве канонов и государственного права к Римской кафедре, б) что патриарху Константинопольскому усвоен титул «вселенского» и в) что под его юрисдикцию отчислены диоцезы, принадлежавшие прежде Римской кафедре (патримонии в Сицилии и Калабрии, епархии в этих областях и в Апулии, а также в Иллирике, Эпире, Ахайе и Македонии).

Во время церковного столкновения при патриархе Фотии представились побуждения к обстоятельному выяснению церковных разностей, вместе с тем обнаружились и данные для суждения о сравнительном значении этих разностей. С теоретической точки зрения, которая как тогда была приложима, так и теперь уместна и которая для людей рассудительных всегда будет понятна, догматический пункт об исхождении Св. Духа имеет первостепенную важность, не допускающую компромисса, на почве которого соглашение возможно только под условием принятия истины по разуму Слова Божия и учению Вселенской Церкви, все же обрядовые и дисциплинарные разности составляют такой предмет, относительно которого каждая Церковь может иметь свой почтенный обычай, при соблюдении или не соблюдении которого первой заботой должно быть, чтобы не произвести соблазна для ближнего.[1] Такого взгляда держались и ученые богословы IX в., держался его Ратрамн,[2] не мог не разделять его

[1] Прекрасно заметил на этот счет Амвросий Медиоланский блаж. Августину: «Когда я здесь (в Милане), я не пощусь в субботу, когда же я в Риме, я пощусь. Уважайте каждую Церковь, сохраняйте ее обычай, если не хотите производить соблазна».

[2] Ратрамн (PG, CXXI, 313) разделял взгляд Амвросия Медиоланского и советовал «каждому действовать по личному усмотрению, в особенности принимая в уважение авторитет своих предков и обычай своей Церкви», при этом заботиться

и такой образованный человек, как Фотий. Но одно дело была теория, другое — практика. На практике теоретические взгляды постоянно приноровляются к обстоятельствам и вопрос о разностях в IX в. получал то ту, то другую постановку, смотря по требованиям времени. Преобладающее значение имел вопрос по преимуществу практический — о власти и правах патриархов Римского и Константинопольского. От постановки этого вопроса зависела постановка разностей не только дисциплинарно-обрядовых, но и догматической. Как скоро доходило до столкновения между папами, увлеченными безмерностью притязаний, и Константинопольским патриаршим престолом, охранявшим свою самостоятельность, тогда не только догматическая разность получала истинное свое освещение, но и разности церковно-обрядовые и дисциплинарные чуть не возводились в догматы. Если же папы молчали о своем приматстве, не делали покушений подчинить себе Восточную церковь, то не только разности церковно-обрядовые и дисциплинарные трактовались в духе снисхождения и взаимного уважения, но и разность в догмате не делалась источником раздора. Так как не сообразно было с достоинством догматической истины допускать сознательное и заведомое от нее уклонение, то при этом поступали так, что о догматической разности или совершенно умалчивали, или (по примеру преподобного Максима) успокаивали совесть верующих, давая отступлению такое толкование, при котором оно получало значение истины. В первом ответном письме своем папе Николаю I после Перво-Второго Константинопольского собора 861 г., когда еще папа не обнаружил своих действий в качестве верховного судьи и решителя судеб Восточной церкви, Фотий писал: «Есть много канонов, которые у одних в употреблении, а другие не имеют о них никакого понятия... никого нельзя обязывать исполнять закон, которого он не получил, лишь бы не нарушалась вера и общие постановления». При этом в пример необязательных законов он привел несколько дисциплинарно-обрядовых разностей, но совершенно умолчал об исхождении Св. Духа, хотя, без сомнения, и тогда он прекрасно знал об отступлении латинян в этом пункте. Когда же папа на своем соборе низложил Фотия, обнаружив этим поступком свое стремление к подчинению Восточной церкви, тогда Фотий заговорил другим тоном: в энциклике он не только указал на заблуждение латинян в догмате об исхождении Св. Духа, но и остальные разности отнес к разряду заблуждений и даже приравнял к ересям, — пост в субботу назвал «отступлением от церковных правил» и «нару-

только о догмате, а остальное не считать предосудительным: cum nihil de dogmate fidei contineant, in quo christianitatis plenitudo consistit, verum consuetudinem suae ecclesiae narrent, nihil ist hinc vel approbandum vel refutandum...

шением преданий», непощение в первую неделю Четыредесятницы «крайним неблагочестием», разность в таинстве миропомазания «попранием таинств христианских», безбрачие священников «манихейской ересью». Когда после собора 879 г., не признанного папами, вновь открылось пререкание, Фотий поступил еще решительнее: хорошо сознавая, что его натяжки и преувеличения по поводу дисциплинарно-обрядовых разностей могут не иметь убедительности,[1] он для большего успеха ограничил полемику только двумя пунктами: о Filioque и о власти Римского престола. Таким образом видим, что разности между Церквами делаются не более как оружием в борьбе, вызванной противоположностью принципов, на которых кафедры Римская и Константинопольская основывали свои права; оружие то прячется, то извлекается, то старательно обостряется, смотря по требованию времени и обстоятельств. Недостаточность религиозного развития народной массы, не отличавшей догмата от обряда, давала возможность обострять оружие до крайней степени, с другой стороны — живучесть сознания церковного единства, веры во *единую* святую, соборную и апостольскую Церковь побуждала устранять это оружие и уполномочивала забывать даже о догматическом отступлении или прикрывать его.

Помимо этого последнего обстоятельства, как свидетельства о сохранявшемся на Востоке и Западе сознании церковного единства, помимо прямых заявлений в этом смысле у полемистов, мы имеем и другие указания, что несмотря на натянутость отношений между Константинополем и Римом, до середины XI в. духовная связь между Восточной и Западной церквами была еще сильна, единство Церкви брало перевес над сознанием разностей. Самый факт постоянного обращения к Риму, приглашения римских первосвященников к участию в делах Константинопольской церкви, служит уже красноречивым тому доказательством. Время от времени представители Западной и Восточной церквей обменивались известительными посланиями, в которых сообщали о своем вступлении на престол и излагали, в знак духовного единения, свою веру. Так, папа Адриан III (884) отправил такое послание в Константинополь, патриарх Антиохийский Петр (1052) — в Рим. Союз мира и любви выражался также во взаимных молитвах, возношениях при богослужении имен патриархов; в XI в. имена римских пап значились в диптихах Константинопольской церкви и когда впоследствии по этому поводу зашла речь между Керулларием и Петром

[1] Тем более что собор 879 г. взглянул свободно и с уважением на значение обычаев каждой Церкви: τὸ ἔθος αὐτὸ ἱκανὸν ἐστι νικᾶν τὸν κανόνα (этот обычай достаточно укоренился, чтобы победить канон) (по поводу обычая возводить мирян в патриаршее достоинство).

Антиохийским, последний объявил, что около 1008 г. он сам слышал, как имя папы возносилось в Константинополе и в Антиохии в общественном молении.[1] Особенно много содействовали поддержанию религиозного единства два обстоятельства: во-первых, существование греческих владений в Италии, во-вторых — тяготение всего христианского мира к Иерусалиму, к Святой Земле; к этому присоединялись еще торговые сношения итальянских городов с Востоком. Греческие владения в Италии были местом взаимодействия Запада и Востока, сюда происходил постоянный прилив греков, являвшихся в рядах армий и по делам мирного свойства, здесь греки вступали в сношения с латинянами, — составлявшими население их владений или обитавшими по соседству с последними; известный контингент пришлых греков оседал в Апулии, Калабрии, Сицилии, простираясь из Апулии и на другие области Италии. Основано было много монастырей и греческих церквей, которые существовали бок о бок с латинскими, были епископии, принадлежавшие к Константинопольскому патриархату. В самом центре западного христианства, в Риме, и поблизости к Риму были греческие монастыри и церкви, державшиеся собственного обряда и не встречавшие ни запрещения, ни притеснения со стороны пап, как об этом положительно потом засвидетельствовал папа Лев IX.[2] Места, освященные учением и кровью Христа Спасителя, еще более сближали христиан. Иерусалим был объектом чистых религиозных чувствований всего христианского мира, куда, несмотря на препятствия со стороны сарацин, под властью которых находился Св. Град, отовсюду прибывали массы пилигримов. Он одинаково был дорог как грекам, так и латинянам, те и другие одинаково были готовы для него на жертвы. Когда египетский халиф ал-Хаким разрушил в начале XI в. иерусалимский храм Воскресения, задушевной мыслью византийских императоров сделалось восстановление этого храма. Роман III Аргир, Михаил IV Пафлагон и Константин IX Мономах вели по этому поводу переговоры, по заключении договора приступлено было к работам за счет византийского правительства, и постройка окончена в 1048 г. Из Западной Европы прибывали во множестве пилигримы на поклонение Гробу Господню. По пути они заходили в Константинополь, Антиохию, посещали греческие храмы, молились наравне со всеми православными перед иконами греческого письма, приносили и собственные иконы, которые чествовались греками.[3] Для удовлетворения религиозных нужд западных

[1] PG, CXX, 800; *Will*, 193.

[2] PL, CXLIII, 764.

[3] Об этом свидетельствуют Петр Антиохийский, см.: PG, CXX, 812, и Никита Стифат, см.: Ibid., CXX, 1011.

христиан, прибывавших на Восток, существовали разные учреждения, подобно тому как таковые были в Италии для удовлетворения нужд явившихся сюда и поселявшихся здесь греков. Учреждения заведены были теми, которые не случайно только, не один раз посещали Восток, но находились в более или менее постоянных сношениях. Таковы были амальфитанцы и венецианцы, рано вступившие в торговые сношения с греками. В Иерусалиме был амальфитанский монастырь и странноприимница во имя св. Иоанна,[1] обязанная происхождением знатному амальфитанскому дому Мавра. Граждане Амальфи находились в оживленных торговых сношениях с Александрией, Антиохией, Константинополем. Старший сын Мавра, Панталеон, построил странноприимницу в Антиохии; в Константинополе у него был дом, где его соотечественники и вообще западноевропейцы, приезжавшие в Константинополь, могли найти пристанище.[2] Купцы из Амальфи, по-видимому, имели уже в первой половине XI в. колонию[3] в Константинополе, здесь у них был храм св. Андрея, были монастыри Спасителя (St. Salvatore) и св. Марии Латинской (Santa Maria di Latina), в которых господствовали латинские обряды, не возбуждая ни в ком особенного соблазна. Венецианцы, торговые отношения которых к Византийской империи особенно развились после 991 г., когда были понижены пошлины с их товаров, тоже имели оседлость, а с тем вместе и необходимые для удовлетворения религиозных потребностей учреждения не только в Константинополе, но и в других городах; в Диррахии они заселяли целый квартал и имели собственный храм св. Андрея. Среди населения колоний — западно-европейских на Востоке, греческих в Италии, разумеется, всего легче могла сглаживаться противоположность Востока и Запада как в других отношениях, так и в религиозном, мог поддерживаться тот дух терпимости и взаимного уважения, при котором церковному обычаю отводилось подобающее место и он переставал быть casus belli в междуцерковных отношениях.

В середине XI в. произошло новое столкновение между Церквами, борьба на почве литературной и церковной продолжалась на этот раз не более года и привела к окончательному разделению Церквей. Первым открытым и достоверно известным актом этой борьбы было послание[4]

---

[1] *Willg. Tyr.*, 636.

[2] *Amat.*, 231; *Guil. Apul.*, 275. Гизульф Салернский и его слуги в бытность в Константинополе, останавливались у Панталеона и пользовались его гостеприимством.

[3] *Heyd.* Die Anfänge der ital. Handelscolonien im byzantinischen Reiche. Zeitschr. für die Staats-wissenschaft. Bd. XIV, 1858, 652–720, предполагает, что главой колонии был Панталеон, так как к нему прилагается титул консула.

[4] PG, CXX, 833–844; *Will*, 51–64.

Льва, архиепископа Охридского, к Иоанну, епископу Транийскому, предназначавшееся для распространения с помощью Транийского епископа между другими латинскими епископами и для сообщения папе.[1] По времени написания оно падает на последние четыре месяца 1053 г., хронологической гранью для него служат с одной стороны посещение Иоанном Транийским Константинополя, с другой — ответ на послание папы Льва IX. Первый факт, как ниже будет показано, имел место не ранее сентября 1053 г., последний — в самом конце 1053 г. Послание представляет главным образом интерес как памятник полемический и в этом отношении важно потому, что в нем впервые официально заявлено о разности между греками и латинянами по вопросу об евхаристийном хлебе, сообщившей преобладающий колорит последующей полемике. Патриарх Фотий совершенно не упомянул об этой разности, из чего видно, что в IX в. греки о ней не знали и что употребление опресноков до Фотия, как заметил еще иезуит Сирмонд, не было распространено на Западе.[2] В историческом отношении послание важно как исходный пункт, как толчок к тому напряженному недоразумению, которое окончилось церковным разделением. При этом первостепенную важность имело то, как взглянули на послание на Западе.

На Западе без всяких колебаний признали виновником этого послания Константинопольского патриарха; папа Лев IX и кардинал Гумберт[3] были убеждены, что оно написано совместно Михаилом Керулларием и Львом Охридским. Действительно, более чем вероятно, что инициатива исходила из Константинополя, что Лев поступал по предварительному соглашению с патриархом и по его внушению. В этом удостоверяет показание историка (хотя и затемненное некоторыми погрешностями), что патриарх Михаил возвел на Римскую церковь обвинение в опресноках

[1] Помещены в рукоп. сборнике Моск. Синод. библ. № 208. Из них последнее издано в приложении к сочинению *И. В. Чельцова* Полемика между греками и латинянами по вопросу об опресноках. СПб., 1879, в греческом подлиннике с древнеславянским переводом по рукописи Кирилло-Белоз. библ. № 76–1153.

[2] Древнейшее свидетельство, указывающее на начало утверждения на Западе обычая опресноков, относится к концу VIII и началу IX в. и заключается в словах Алкуина, который требует, чтобы хлеб, освящаемый в Тело Христово, был без закваски (Opp. ed. Frobenii, I, 107). Впрочем, даже это свидетельство некоторыми оспаривается, потому что слова: absque fermento ullius alterius infectionis (...без закваски и какой-либо иной примеси) могут быть понимаемы в смысле требования от евхаристийного хлеба чистоты и запрещения разных примесей, вроде масла.

[3] Также и биограф Лев IV Виберт.

и что ему помогал в этом (συνήγει) Лев, архиепископ Болгарии,[1] а еще более одновременное с обнародованием послания Льва поведение Керуллария в Константинополе. В это время Керулларий со своей стороны отправил послание к Доминику Градскому, или Аквилейскому (Венецианскому тоже), содержанием которого был вопрос об опресноках,[2] и по поводу которого Доминик в конце того же 1053 г. или в начале 1054 г. счел долгом написать Петру Антиохийскому в том смысле, что на святую Римскую церковь напрасно взведено константинопольским клиром (παρὰ τοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως κλήρου) обвинение в нарушении церковного единства на том основании, что латиняне совершают Евхаристию на опресноках. «Мы охраняем церковное единение», — замечает Доминик и развивает далее свой взгляд на спасительность обоих обычаев — Восточной церкви, потому что он указывает на существо воплотившегося Слова, и Западной, потому что в нем скрывается указание на чистоту человеческой плоти, воспринятой Божеством.[3] В это же время в Византии, по распоряжению патриарха, приняты были стеснительные меры против проживавших в столице латинян, державшихся опресноков. Хотя папа Лев IX,[4] указывая на народную молву, на слухи, как на источник своих сведений о том, что Керулларий запер в Константинополе латинские храмы и монастыри, стал требовать замены опресноков квасным хлебом и подверг анафеме всех принимающих таинство Евхаристии на опресноках, однако же подвергать на этом основании сомнению самый факт административных репрессалий против латинян[5] нельзя: в бытность в Константинополе

---

[1] *Cedr.*, II, 555.

[2] До нас не дошло. О нем знаем из послания Михаила Керуллария к Петру Антиохийскому, который, получив письмо от Доминика, отвечал ему при жизни еще папы Льва IX, следовательно, ранее апреля 1054 г., рассуждал в своем ответе об опресноках и копию отправил к Керулларию. Патриарх, желая себе объяснить, почему Петр рассуждает только об опресноках, не касаясь других латинских заблуждений, предполагает, что вероятно Доминик писал что-нибудь на этот счет по поводу письма, полученного от Константинопольского патриарха: εἰ τάχα καὶ ἔγραψεν οὐτωσὶ πρὸς τὴν σὴν ἁγιότητα, ὅτι περὶ τούτων ἔγραψεν αὐτῷ ἡ μετριότης ἡμῶν (...если, быть может, он написал твоей святости, что об этом говорилось в письме нашего смирения) (PG. Ibid., 789; *Will*, 179). Так как Доминик, писавший к Петру в конце 1053 или в начале 1054 г., имел уже под руками послание Керуллария, то, следовательно, последнее падает на то же время, что и послание Льва Охридского.

[3] PL, CXX, 752–853; *Will*, 205–208.

[4] В письмах к Керулларию и Константину Мономаху, см.: PL, CXLIII, 764, 775–780.

[5] Так делают некоторые историки, напр. *Παπαρρηγοπουλο*, IV, 370–371.

папские легаты, без сомнения, имели возможность исследовать этот факт, — он подтвердился, и выяснилось, что патриарший сакелларий Никифор по своей должности заведующего монастырями был исполнителем патриарших мероприятий. Поэтому легаты занесли в акт отлучения, что Керулларий закрыл латинские церкви, словом и делом преследовал латинян, называя их азимитами и анафематствуя их, а в их лице апостольский престол; осуждение легаты произнесли не только над Керуллариям, но и над исполнителем его велений сакелларием Никифором, который попирал ногами Евхаристию латинян.

То обстоятельство, что Керулларий письмом к Иоанну Транийскому сделал первый шаг к разрыву, определило взгляд новейших историков, как католиков, так и протестантов,[1] на значение Керуллария как виновника церковного разделения; все они относят вину на счет «невежественного, ограниченного, высокомерного, честолюбивого, страстного» и т. д. Керуллария, который будто бы вызвал ссору и довел ее до рокового конца; даже православные писатели готовы согласиться, что «Михаил Керулларий сделал первый шаг к враждебному наступлению на Западную церковь отчасти вследствие ревности к охранению status quo Восточной церкви, отчасти в видах желания оградить ее от влияния латинских обычаев, отчасти вследствие личной запальчивости и беспокойного характера»,[2] причем не входя глубже во внутренние мотивы дела и не выясняя скрытого в нем смысла, являются столь же односторонними судьями, как и западные историки.

Запальчивость, страстность не принадлежали к свойствам характера Керуллария, скорее он был бесстрастный теоретик, человек твердый и непоколебимый, но вместе с тем хладнокровный. Правда, он был честолюбив, но честолюбие его не шло вразрез со справедливостью, направлялось к поддержанию достоинства и прав Константинопольского патриаршего престола; он далеко уступал, без сомнения, в образовании Фотию, но не настолько был невежествен в богословской науке, чтобы не понимать различия между догматом и обрядом. Знал он, как оказалось впоследствии, и об отступлении латинян от православного учения в догмате,[3]

[1] Ср., напр. *Lebeau*, 387–392; *Finlay*, 73–74; *Hertzberg*, I, 311–313; *Neander*. 321–322; *Hergenrötter*. Handbuch, 690–697.

[2] *Лебедев А. П.* Церковь Римская и Византийская... / / Чтения в Общ. Люб. Дух. Просвещения, 1875, I, 282.

[3] Этому, по-видимому, противоречит одно место в письме к Петру Антиохийскому, написанном в конце 1054 г. Перечислив в нем все отступления латинян в догмате и обрядах, Керулларий прибавляет: ταῦτα κατὰ πάροδον διεξήλθαμεν. ἵνα

однако же на первых порах совершенно не упоминал о нем, вместо же того выступил с опресноками, относительно которых он, как первый выдвинувший их на полемическую арену, мог увлекаться, но едва ли имел утрированное представление об их важности. Если бы даже он склонен был к утрированию, то общецерковное настроение, господствовавшее в то время в Восточной церкви, убеждение представителей ее в малозначимости того предмета должны были бы подействовать на него отрезвляющим образом. До Керуллария, по собственному его признанию,[1] дошли слухи, что патриархи Александрийский и Иерусалимский не только принимают латинян, вкушающих опресноки, но и сами совершают божественную службу на опресноках; слухи, разумеется, были ложны, но самая их возможность доказывает, что вопрос о веществе для евхаристийного хлеба не приобрел в умах тогдашних иерархов капитальной важности и было бы странно со стороны Керуллария вооружаться анафемой против отступления, считающегося в Церкви безразличным, если только он не имел для того других, более существенных мотивов.

Для правильности суждения здесь необходимо констатировать тот вывод относительно Керуллария, получаемый из знакомства с его письмами и его поведением, что он был далек от мысли придавать опреснокам решающее значение в вопросе об отношениях между Церквами. По поводу вышеуказанного письма Доминика Градского к Петру Антиохийскому, Петр Антиохийский написал не позже апреля 1054 г. послание-трактат к Доминику.[2]

εἰδέναι ἔχουσα ἡ τελειότης σου τὰ τούτοιν τελούμενα μὴ οἰηται, ὡς περὶ μόνα τὰ ἄζυμα σφάλλονται. καθὼς καὶ αὐτοι μέχρι τοοῦ παρόντος ὑπελαμβάνομεν (Мы вкратце перечислили это, дабы твое совершенство могло знать об этом и не считало, что они заблуждаются только в вопросе об опресноках, как и мы до сей поры полагали) (PG, CXX, 713; *Will*, 183). Но слова эти, очевидно, имеют не тот смысл, что Керулларий не был знаком с другими разностями, кроме опресноков, но тот, что он не писал о них. Как он мог о них не знать, если даже в письме Льва Охридского перечислено, кроме опресноков, еще три разницы, или если папы в посланиях к восточным патриархам, напр., Лев IX к Петру Антиохийскому (PL, CXLIII, 769–773; *Will*, 168–171) излагал свое исповедание веры с прибавкой Filioque?

[1] В письме к Петру Антиохийскому, см.: PG, CXX, 788; *Will*, 179.

[2] PG, CXX, 757–781; *Will*, 208–228. Доказав в начале послания неуместность титула «патриарха» в применении к епископу Аквилейской или Венецианской церкви (каковой титул приложил к себе Доминик в своем письме), патриарх Петр излагает свой взгляд на опресноки и аргументы в пользу превосходства практики Греческой церкви. Как памятник полемический, это послание в отношении содержания отличается от послания Льва Охридского, во-первых, тем, что трактует

Это свое послание, проникнутое примирительным духом и свободным взглядом на обрядовые разности, патриарх Антиохийский через антиохийского дуку Романа Склира препроводил в копии к Михаилу Керулларию.

исключительно об опресноках, не касаясь других разностей, во-вторых, что вопрос об евхаристийном хлебе он рассматривает с большей полнотой, чем Лев, и приводя некоторые сходные с этим последним соображения (связь опресноков с Ветхим Заветом и квасного хлеба, ἄρτος, — с Новым, совершенство и жизненность, сообщаемые хлебу закваской, бездушие опресноков), вносит некоторые новые оттенки мысли, которых нет у Льва, а именно: о присутствии в квасном хлебе трех начал, соответствующих духу, воде и крови, открывшихся в Спасителе, когда Он висел на кресте и когда из Его прободенного ребра истекли кровь и вода, а дух оставался в теле, об опасности для принимающих опресноки впасть в ересь Аполлинария, лжемудрствовавшего, что Слово восприяло от Девы через Св. Дух одно тело без души и ума, каковой опасности при квасном хлебе не представляется, потому что в нем закваска соответствует душе, соль — уму, особенно же о несоответствии опресночной практики указаниям Священной истории, научающей нас, что Господь совершил Тайную вечерю с учениками в четверг, а не в пятницу, 13-го, а не 14-го числа первого месяца, когда еще не было опресноков; развивая этот последний аргумент, автор примиряет разноречия между показаниями евангелистов, руководствуясь данными в *Исх.* XII, 1–3 и тем правилом, что евангелист Иоанн, писавший позже других евангелистов, читал их и в своем Евангелии восполнял и объяснял. Но еще более отличается послание Петра от послания Льва в отношении направления: тогда как Лев Охридский полагал, что доказывать правильность употребления квасного хлеба значит доказывать истинную веру, следовательно, на опресноки смотрел, или показывал вид, что смотрит, как на извращение православной веры, Петр Антиохийский ясно дает понять, что употребление того или другого хлеба не составляет существенной важности, что квасной хлеб совершеннее, но и опресноки по нужде могут быть допущены, не препятствуя спасению. Опресноки в первое время христианства могли быть в употреблении в Риме, где, по свидетельству книги Деяний, было много иудеев; в этом случае допускалось послабление в несущественном и маловажном, чтобы вернее привести к истине, а когда цель была достигнута, тогда сами же апостолы исправили несовершенство и ввели обычай более совершенный, подобно тому как они, а по их примеру и отцы Церкви, поступали и во многом другом, напр., праздновали когда-то субботу, обрезывали христиан из язычников, крестили оглашенных по достижении ими тридцати лет, позволяли епископам иметь жен, после же того как церковь Христова возросла в силе и пришла в совершенство, все это было изменено. Установив таким образом различие в деле веры существенного от маловажного и отнеся к последнему разряду обрядовые разности, а к первому непреложную истину, догматы, Петр Антиохийский объясняет также преимущественную важность в деле спасения благочестивой жизни перед теми или другими обрядами, а тем более важность церковного единства. Показав несовершенство латинских опресноков,

Понятно, как должен был бы отнестись к нему Керулларий в том случае, если бы он придавал большое значение опреснокам. Он должен был бы разубедить Антиохийского патриарха, показать ему, что он ошибается, считая опресноки такой маловажной вещью, что в действительности латиняне погрешили против правой веры, изгнав из евхаристийной практики квасной хлеб. Но этого Керулларий не делает. Он действительно старается убедить патриарха Петра, что латиняне веруют не право, но достигает этого иным путем, разъясняя, что не опресноками только отличаются латиняне от греков, что они разногласят и во многих других пунктах, в том числе и в догмате об исхождении Св. Духа.[1] Этим самым Керулларий как бы желал сказать, что вопрос об опресноках сам по себе еще не важен, из-за него еще не следовало бы налагать отлучение на латинян, между тем в 1053 г. вопрос был поднят и из-за него начато в Византии преследование против латинян. Обстоятельство решительно непонятное и по законам здравого смысла необъяснимое, если не предположить, что в основе скрывались другие мотивы, а вопрос об опресноках был ширмой, прикрывавшей эти мотивы. Помимо таких мотивов это обстоятельство возможно было бы объяснить лишь одним способом, а именно, что в течении года у Керуллария произошел переворот в мыслях: в конце 1053 г. он считал опресноки чрезвычайно важным отступлением, даже уклонением от веры, а в конце 1054 г. (когда написано письмо к Петру Антиохийскому) изменил взгляд и стал смотреть на них так же, как смотрел Петр. Но такой способ объяснения оказывается несостоятельным. Керулларий принадлежал к разряду тех людей, у которых слово и дело не расходятся между собой и которые, придя к известному убеждению, поступают согласно с убеждением. Если предположить,

---

он тут же спешит заявить, что, благодарение Богу, жизнь латинян тверда, они славят имя Господне делами, с окраин земли предпринимают далекий и трудный путь в Иерусалим на поклонение животворящему Гробу Господню. Церковное единство — пункт настолько важный, что ради его можно пожертвовать обычаями, принося при этом местный обряд в жертву практике Вселенской Церкви. Поведение Римской церкви потому не одобрительно, что папа, держась обряда, отличного от того, которого держатся четыре остальные патриарха, не только не желает один склониться перед голосом четырех, но еще старается утвердить свой собственный обычай; самого Константинопольского патриарха, на которого Доминик был недоволен за его письмо, Петр старался оправдать, говоря, что Константинопольский патриарх считает латинян православными, огорчен лишь тем, что они употреблением опресноков удаляются от единомыслия с четырьмя патриархами.

[1] Об этом письме подробнее будет речь ниже.

что Керулларий в 1053 г. восставал против латинян и преследовал их за опресноки потому, что опресноки сами по себе в его глазах были важным предметом, заслуживавшим преследования, то вместе с тем необходимо допустить, что и в предшествующие десять лет своего патриаршествования (с 1043 г.) он точно так же относился к латинянам; если же относился иначе, то потому, что не знал о существовании у них обычая опресноков. Но обе посылки неверны: Керулларий до 1053 г. и знал об опресноках, и в то же время не вооружался против них. Что Керулларий знал о них, свидетельствует он сам в письме к Петру Антиохийскому,[1] где говорит, что Аргир во время своего пребывания в Константинополе часто беседовал с ним в духе латинян об опресноках и вследствие того раза три-четыре был не допущен к причащению, что было вполне законно и необходимо в том случае, если Аргир признавал правильность только Евхаристии, совершенной на опресноках, и требовал, чтобы и в греческом храме его причащали опресноками. Аргир проживал в Константинополе с 1045 г. по 1051 г., следовательно, к этому времени относятся его беседы с Керулларием об опресноках, и Керулларий, по меньшей мере года за два до открытого выступления против латинян, имел сведения об опресноках и был знаком с аргументами «за» и «против». Что Керулларий до конца 1053 г. не преследовал латинян за опресноки, об этом свидетельствует отсутствие всяких указаний в этом смысле, между тем таковые несомненно остались бы, если бы факт существовал, потому что в интересах латинян, в частности папских легатов, было выяснить все, что только можно было с их точки зрения поставить в вину Керулларию. При этом необходимо надлежащим образом оценить одно место в хронике Скилицы, на котором может быть основан противоположный вывод. Вот оно: «Патриарх Михаил после своего рукоположения (ἅμα τῷ χειροτονηθῆναι, т. е. в 1043 г.) исключил римского папу из диптихов, возведя на него обвинение в опресноках, как причину удаления из диптихов. В этом ему содействовал патриарх Антиохийский Петр, архиепископ Болгарии Лев и вся знатнейшая часть Церкви. Придя же в столкновение с тогдашним игуменом Студийского монастыря Михаилом, по прозванию Мерментул, выбросил из синодика, читаемого в церквах, св. Феодора Студита. Мерментул не перенес этого,

[1] PG, CXX, 788; *Will*, 177: ἐν τῇ μεγαλοπόλει ὁ Ἀργυρὸς ἐνδημῶν πρὸς τὴν ἡμετεραν πολλάκις ἔλεγε μετριότητα· μάλιστα δέ περὶ ἀζύμων δὶ ἃ καὶ οὐχ ἅπαξ μόνον· ἀλλὰ καὶ δὶς ἤ δη καὶ τρὶς καὶ τετράκις τῆς θείας ἐξώσθη καὶ ἀπεβλήθη παρ ἡμῶν κοινωνίας καὶ μεταλήψεως (Когда Аргир жил в великом городе, он не раз беседовал с нашим смирением. Особенно часто он говорил об опресноках и поэтому не однажды только, но и дважды, и трижды, и четырежды был не допущен к причастию).

пришел к царю и сообщил ему о происшедшем. И вот по царскому повелению был прочитан синодик в неделю Самарянины, все остальное прочитано было по обычаю, а имя великого Феодора патриарх, встав, произнес громким и раздельным голосом. Таким образом укрощено было возникшее по этому поводу волнение монахов Мерментула».[1] В этом месте поставлены в связь два сообщения: а) о столкновении Керуллария с Римом и б) о его столкновении со Студийским монастырем. Последнее столкновение в сообщении Скилицы имеет загадочный характер. Из того, что в хронике оно поставлено в тесную связь с первым столкновением, можно догадываться, что оно произошло в 1053–1054 гг. О поводах к столкновению историк ничего не говорит, но сопоставляя одно замечание Петра Антиохийского[2] с неизданным трактатом Никиты Стифата,[3] можно прийти к заключению, что столкновение произошло из-за поясов, которые стали носить диаконы — монахи Студийского монастыря и которые, несмотря на все старания патриарха, не могли быть выведены из употребления. Что касается сообщения Скилицы о столкновении с Римом, то в нем истина перемешана с ложью. Верно то, что имя папы было выброшено из диптихов Константинопольской церкви, что Керулларий первый выступил против латинян с обвинением по поводу опресноков и что помощником Константинопольского патриарха был Лев Охридский, но затем остальные частности (о Петре Антиохийском, особенно же о времени исключения папы из диптихов и побуждении к тому) явно выдуманы: Петр Антиохийский потому уже не мог участвовать во враждебном столкновении Константинополя с Римом по вопросу об опресноках, что он держался на этот предмет взгляда, исключавшего возможность вражды, а главное, что до 1054 г. не начиналось переписки, не завязывалось сношений по этому предмету у Петра с Керулларием, следовательно, не могло произойти никакого соглашения насчет общих действий в борьбе с Римом. Несообразность же той частности, что Петр содействовал Константинопольскому патриарху с момента рукоположения последнего, достаточно уже разоблачается тем обстоятельством, что Петр вступил на Антиохийский престол лишь в 1052 г.[4] Исключение папы из диптихов сделано не

[1] *Cedr.*, II, 555.

[2] PG, CXX, 809; *Will*, 200.

[3] Νικήτα μοναζόντος τοῦ Στηθάτου εἰς ζώνην τῶν Στουδίτων διακόνων (Монаха Никиты Стифата <сочинение> о поясе диаконов Студийского монастыря). Трактат найден проф. И. Е. Троицким в рукописи Моск. Синод. библ. № 467.

[4] Здесь не лишне исправить неточность, состоящую в том, что вступление Петра на Антиохийскую кафедру обыкновенно относится к 1053 г. В письме к

Керулларием и не в 1043 г., но гораздо раньше, когда еще не было возбуждаемо вопроса об опресноках. Если бы это было сделано Керулларием или, по крайней мере, его предшественником, на его памяти, то естественно было бы Керулларию или питомцу Константинопольской патриаршей школы, Петру Антиохийскому, иметь на этот счет достоверные сведения. Между тем как тот, так и другой имеют крайне смутное представление о деле. В своем письме к Петру Антиохийскому, отправленном не ранее последних чисел июля 1054 г., после окончательного разрыва, Керулларий писал: «До наших ушей дошел слух, что твое совершенство (τελειώτης), а также патриархи Александрийский и Иерусалимский, возносите в священных диптихах римского папу. Не думаю, чтобы возможно было допустить такую несообразность, особенно с твоей стороны; ибо ты знаешь, что со времени святого Шестого Вселенского собора возношение папы исключено из священных диптихов в наших святых церквах за то, что тогдашний папа римский Вигилий не прибыл на этот собор и не анафематствовал как написанного Феодоритом против правой веры и двенадцати глав св. Кирилла, так и послания Ивы; с тех пор и доныне папа отсечен от нашей святейшей кафолической Церкви. Поэтому-то мне и показалось это невероятным не столько в рассуждении тех двух патриархов, сколько ввиду твоей учености и замечательного благоразумия».[1] По поводу этих слов Петр Антиохийский писал Керулларию следующее: «Содержание твоего почтенного письма повергло меня в стыд, и поверь — более за тебя, именно если ты такие же письма, как к нам, написал и к другим блаженнейшим патриархам, неосновательно и без полного знания, следуя пустой молве, представил не бывшее бывшим. Если твоя святая Церковь не возносит папу, то каким образом мог бы возносить его я, питомец и ревнитель этой Церкви, более чем кто другой всегда прославляющий и возвеличивающий ее преимущества (πρεσβεῖα) словом и делом? А что сказано относительно Вигилия, то это не рекомендует

Доминику, которое, как уже замечено, написано не позже апреля 1054 г., Петр говорит, что в начале своего архиерейства он послал блаженнейшему папе римскому извести тельное послание (συστατικὴν γραφήν), но вот прошло с тех пор два года (διετία) и никакого не получено ответа, поэтому написав его вновь, посылает в Венецию, «дабы ты отправил к его честнейшему блаженству (σεβασμιωτάτην μακαριότητα, следовательно, и выше эпитет τὸν μακαριώτατον не значит «покойный». — *Н. С.*), получил от него ответ и прислал к нам» (PG, CXX, 780; *Will*. 227–228). Простого вычитания достаточно, чтобы видеть, когда началось патриаршествование Петра, если в первой половине 1054 г. минуло два года.

[1] PG, CXX, 788–789; *Will*, 178–179.

тщательности твое доброчестного хартофилакса, который хотя и искусен, как мы слышали, в риторической науке, однако же в делах церковных оказывается новичком, не приобретшим надлежащей опытности». Исправив затем допущенные Керулларием церковно-исторические ошибки, т. е. сказав, что папа Вигилий жил во время Пятого, а не Шестого Вселенского собора, что он по причине вражды с патриархом Миной был лишен церковного возношения, но лишь временно, во время же Шестого Вселенского собора папой был Агафон, к которому, как свидетельствуют акты, читаемые обыкновенно в неделю по Воздвижении Честного Креста, собор отнесся с честью, патриарх Петр продолжает: «Я сам могу быть неоспоримым свидетелем, а со мной многие из знатных лиц Церкви, что при покойном (τῷ μακαρίτῃ) патриархе Антиохийском кир Иоанне папа римский Иоанн возносим был в священных диптихах, — это я сам слышал. А когда я сорок пять лет тому назад прибыл в Константинополь, тогда я слышал, как покойный патриарх кир Сергий во время божественного тайнодействия возносил того же папу вместе с другими патриархами. Каким образом и по какой причине исключено впоследствии его возношение, я не знаю».[1] Таким образом ни Керулларий, ни Петр не имеют точных сведений о времени и причинах исключения римского папы из диптихов, — сведения Керуллария не только не точны, но извращены исторически. Петра — ближе к истине. Петр по собственному опыту знает, что при патриархе Сергии имя папы Иоанна возносилось в Константинополе и в Антиохии, и так как из двух пап, носивших при Сергии это имя, Иоанн XVIII, занимавший папский престол до 1008 г., ближе подходит к вычислению (1054 – 45 = 1009), чем папа Иоанн XVII, сидевший на престоле с мая до декабря 1003 г., то очевидно первого и нужно понимать под папой, имя которого возносилось за литургией, и время возношения относить приблизительно к 1008 г. Петр знает, что лишь впоследствии, после 1008 г., имя папы выброшено из диптихов, но достоверно не знает, когда и почему. Мы можем догадываться, что это произошло или при патриархе Сергии (999–1019) вследствие сделанного папой Бенедиктом VIII (1012–1024) распоряжения, чтобы во время литургии был пет Символ веры с прибавкой Filioque, или при патриархе Евстафии (1019–1025) в связи с неудавшейся в 1024 г. попыткой склонить папу Иоанна XIX (1024–1032) к признанию за Константинопольским патриархом титула «вселенский». Результат тот, что сведение, занесенное Скилицей в хронику о столкновении Керуллария с Римом, произошедшем будто бы тотчас после вступления его на патриарший престол, возникшем из-за опресноков и выразившемся

[1] PG, CXX, 796–800; *Will*, 190–193.

исключением имени папы из церковных диптихов, неверно: оно заимствовано Скилицей из какого-то до нас недошедшего и крайне ненадежного источника, проникнутого нерасположенностью к Константинопольским патриархам. Даже такой малосмыслящий компилятор, как Кедрин, понял цену этого источника и в своей компиляции рассмотренное место Скилицы опустил. Какие же были побуждения для неожиданного со стороны Керулларий шага, его нападения на латинян — административного и литературного? Мало данных для ответа на этот вопрос, но и тех немногих указаний, какие находятся в нашем распоряжении, достаточно, чтобы убедиться, что столкновение при Керулларии было аналогично со столкновением при Фотии. Точно так же вопрос о разностях между Церквами был только легальным оружием, примененным в минуту опасности, сначала — недостаточно острым, но обостренным после того, как опасность увеличилась. Точно так же в основе лежало соперничество между Римским и Константинопольским престолами за власть и за границы епархий. Разница между столкновением при Фотии и Керулларии лишь та, что в одном случае притязание Римской церкви на подчинение себе Константинопольской вызвало последнюю к самозащите и потом это притязание восполнено было вопросом о епархиях, во втором же случае территориальный вопрос выступил сначала и, вызвав со стороны Константинопольской кафедры протест, под видом нападения на опресноки, был затем осложнен вообще борьбой за власть; в первом случае византийское правительство было союзником Византийской церкви против папских притязаний, в последнем оно принесло преимущества своей Церкви в жертву политическим расчетам и папству. При Фотии дело остановилось лишь на недоразумениях, не дойдя до катастрофы, при Керулларии оно окончилось разрывом, потому что без малого два столетия, протекших от Фотия до Керулларий, не остались без влияния на всестороннем прояснении в сознании Востока и Запада противоположности между ними национальной, политической и церковной, внутреннее же отчуждение — результат противоположности — нашло себе внешнее выражение в формальном разделении Церквей.

X век и начало XI были неблагоприятным временем для папства. Принцип, воплотившийся в папстве, нашел себе соперников и конкурентов. Национальность, которая оказалась сильнее Карловой монархии, не осталась без воздействия и на ее наследницу, монархию папскую; в противовес ее идеалу, начертанному в лже-Исидоровых декреталиях, вырабатывается идеал папства национального; на Реймском соборе 991 г. выставляются здравые аргументы против лже-Исидоровых декреталий, высказывается мысль о назначении местного папы и отделении провинциальных Церквей от Римского престола. Впоследствии к французам

присоединились испанцы, желавшие иметь собственного папу для Испании. Папство благополучно одолело этого соперника, грозившего подорвать принцип в его корне. Завершением его торжества было вступление на папский престол Сильвестра II (999), того самого Герберта, который был противником папской власти и разделял мысли, высказанные на Реймском соборе его другом Арнульфом, архиепископом Орлеанским. Опаснее был для папства и несравненно более хлопот ему наделал конкурент в лице германских императоров, которые, считая себя непосредственными наследниками Карла Великого, стремились к власти не только над государством, но и над Церковью, завладели некоторыми прерогативами, присвоенными папством, и получили в свои руки право распоряжаться папским престолом. В промежутки, когда на время ослабевала сила германских императоров, это право захватывали римские магнаты, Кресцентии и другие. Под давлением этих враждебных сил папство пало материально и нравственно: папские владения, патримонии папского престола были отняты отчасти германскими императорами, отчасти римскими и соседними с Римом магнатами. Римская кафедра была доведена до состояния крайней скудости, папская казна была истощена, на папском престоле сидели личности, за немногими исключениями, ничтожные, были папы, поражавшие нравственной разнузданностью, вступавшие на престол с помощью насилия и подкупа. Церковь в своих членах соответствовала главе: клир, ко всеобщему соблазну, предан был распутству, беззаветно царила симония, все церковные места покупались за деньги. При таком состоянии, материальном и нравственном, была немыслима борьба с противниками, папство физически и морально лишено было средств для того, чтобы подняться из своего унижения.

В первой половине XI в. обнаруживается стремление к возрождению папства: центром движения делается монастырь Клюни; борцы выходят из рядов монашества, с которым папство заключает тесный союз, к разряду их деятелей принадлежат и лучшими выразителями этого реформационного направления могут служить Петр Дамиани, а еще более Гильдебранд. Партия, державшаяся этого направления, была проникнута идеей папской теократии и окончательной целью имела не только освобождение папства от влияния светской власти, но и подчинение государства Церкви. План действий был начертан умно и выполнение его отличалось последовательностью и постепенностью. Девизом поставлено было правило, что цель оправдывает средства, и Гильдебранд в этом отношении был достойным учеником папы Григория VI, который, задавшись благой целью принести пользу Церкви, не остановился для этого перед дурным средством и купил себе за деньги папское достоинство. Партия для

достижения цели решилась на первых порах пользоваться тем средством, которое, по ее убеждению, представляло собой нарушение прав божественных и человеческих, именно — властным положением светской власти относительно Церкви. Расчет заключался в том, чтобы, пользуясь приобретенным германскими императорами правом избирать пап, возводить с помощью самих же императоров на папский престол достойных лиц, которые были бы проникнуты преобразовательными планами, разделяли бы стремления партии преобразователей, а главное — служили бы для нее послушным орудием. С помощью таких пап предположено было дать папству окрепнуть физически и нравственно, т. е. возвратить папству отнятые владения, патримонии Римской кафедры, по возможности увеличить их новыми приобретениями, очистить Церковь от безнравственности, утвердив на строгих основаниях безженство клира и изгнав из нее симонию. По достижении этой первоначальной цели, имелось в виду сделать дальнейший шаг: с помощью полученных средств, духовенства, возвышенного в народном уважении и преданного папе, тех денег, какие поступят в папскую казну из светских владений папы, тех вассалов, которые будут находиться в этих владениях, увеличивая и усиливая эти средства, смотря по времени и обстоятельствам, еще новыми средствами, приступить к освобождению Церкви от влияния светской власти, вырвать из рук императоров и светских князей право избрания пап и других лиц на церковные должности. Когда и эта вторая цель будет достигнута, окончена будет эмансипация папства и вообще Церкви, тогда приступить к осуществлению третьей и последней задачи: к подчинению государства Церкви, к утверждению за папами права распоряжаться престолами царей и князей в той мере, в какой прежде последние распоряжались папской и епископскими кафедрами, пользоваться не меньшим влиянием в делах светских, чем прежде люди светские пользовались в делах церковных. Мало-помалу, благодаря благоприятно сложившимся обстоятельствам и талантливым деятелям папства, задачи были осуществлены. Осуществление их было начато со вступлением на папский престол Льва IX (1048–1054).

В лице Льва IX вступил на престол папа, как нельзя более пригодный для партии. Это был человек строгих нравов, благочестивый, преданный Церкви и готовый на жертвы ради блага Церкви; вместе с тем это был человек мягкий, податливый, которым легко было руководить, и он с первых же шагов своего нового поприща подпадает влиянию реформаторов и во все время поступает по их указаниям. Он вступает в тесный союз с монашеством, покровительствует ему (что доказывается массой данных им разным монастырям привилегий), в свою очередь пользуется поддержкой

монахов, окружает себя такими личностями, как Гильдебранд, Гумберт, Фридрих, всю жизнь посвящает реформе, направленной к возвышению Церкви в материальном и нравственном отношениях. При вступлении его на престол папская казна находилась в запустении; по словам биографа папы Зиберта,[1] в ней не было ни гроша, так что папе и его приближенным приходилось продавать одежду, чтобы выручить средства к пропитанию. Это тоже свидетельствует об отсутствии или по меньшей мере крайнем оскудении патримоний — главного источника доходов. Об этом же свидетельствует и тот факт, что Льву, по вступлении на престол, дозволено было императором Генрихом III, хорошо знавшим ресурсы папского престола, удержать ради кормления епархию Туль, которую Брюнон занимал прежде, чем превратился в Льва IX, подобно тому как дозволено было в этих же видах и предшествующим папам оставить за собой по вступлении на престол — Клименту II епархию Бамбергскую, Дамасу II — Бриксенскую. До каких размеров дошла распущенность и симония среди латинского духовенства ко времени вступления на престол Льва IX, можно судить по тому, что, по заявлению Беренгара,[2] не было города, где бы епископ получил кафедру по церковным правилам, а против решительных мер Льва IX в духе реформы приводилось возражение, что если лишать должности всех, которые незаконно ее получили, или ведут жизнь, несогласную с канонами, то все без исключения римские церкви останутся без священников и некому будет служить обедни.[3] Папа Лев IX собирал соборы и в Риме, и в других местах во время своих путешествий во Францию, Германию и Венгрию по церковным и политическим делам, вооружался на них против симонии и безнравственности духовенства, постановлял строгие правила и применял их к тем из духовных лиц, которые были виновны в этих преступлениях. Наряду с заботами об очищении Церкви от симонии и безнравственности, папа много заботился о патримониях, и недаром Гильдебранд, возведенный в сан субдиакона, был назначен им заведующим имуществами Римской церкви.[4] Самое важное в этом отношении приобретение был Беневент, передача которого папе произошла, как полагают, не без согласия Генриха III, была условлена с начала папствования Льва IX,[5] но завершена

[1] *Muratori*, III, 292.

[2] *Berengar*. De sacra coena, ed. Vischer. Berol., 1834, 63: nullae urbes hoc tempore ecclesiastica institutione episcopos accipiant.

[3] Между прочим, это возражение должен был опровергать Петр Дамиани в Liber gratissimus.

[4] *Bonithonis*, ap. Jaffé.

[5] *Gfrörer*. Papst Gregorius VII, Bd. VI, 627.

в 1051 г. Местный хронист рассказывает, что весной 1051 г. беневентинцы отправили посольство и предложили папе прийти в их город. Лев IX послал сначала кардинала-епископа Гумберта и патриарха Доминика Градского, чтобы они разузнали о положении дел. Все произошло по желанию; жители присягнули обоим епископам, как уполномоченным папы, после чего епископы возвратились в апреле в Рим, в сопровождении 20-и знатных беневентинцев, которые явились в качестве заложников от города. Затем папа отправился летом в монастырь Монтекассино, а оттуда в Беневент и въехал в город 5 июля 1051 г., пробыл в городе целый месяц и лишь 4 августа отправился в Салерно.[1] Замечательно, что именно с 1051 г. папа обнаруживает усиленную деятельность на предмет увеличения и приведения в порядок владений Римского престола. Это отмечает и его биограф,[2] об этом же свидетельствуют и другие данные: от июня 1051 г. до середины апреля 1052 г. нет ни одной папской буллы, которая была бы издана в Риме; обыкновенно Лев IX собирал ко времени Пасхи соборы, но в 1052 г. пасхальных соборов собираемо не было. Все это показывает, что папа озабочен был другими делами, отвлекавшими его от обычных занятий и препятствовавшими ему оставаться в Риме. Дела эти — финансового свойства. Заботы об устройстве финансовой части отражаются и на буллах, изданных в это время. Так, в одной булле, место издания которой не обозначено, но которая помечена 18 марта 1052 г., папа утверждает права на одно недвижимое имущество за монастырем Помпозой, но при этом выговаривает условие, чтобы монастырь платил ежегодно известный взнос в пользу Римской церкви.[3]

О каких же владениях Римского престола хлопотал папа? Прежде всего внимание его привлекали те, которые лежали по соседству к Риму и были в предшествующее время отняты разбойниками. Под разбойниками, грабившими владения св. Петра, с которыми, по словам биографа,[4] вел упорную борьбу Лев IX, можно иметь в виду не только тех, которые в данный момент делали нападения на патримонии, но и тех, которые неправильно владели этими патримониями, разбойнически захватив их в прежнее время. Естественно также было Льву IX или тем из его приближенных, которые ближе стояли к этому делу, вспомнить о патримониях в Апулии, Калабрии и Сицилии, с давних пор составлявших предмет папских забот, которые во время Седьмого Вселенского собора и при патриархе Фотии

[1] *Ann. Benev.*, 179.
[2] *Wiberti*, 295.
[3] *Jaffé*. Regesta, № 3245.
[4] *Wiberti*, 295.

не удалось возвратить Римской кафедре. Апулия и Калабрия de jure принадлежали тогда византийскому государству, но de facto власть византийских императоров была оспариваема норманнскими авантюристами. Под ударами последних, византийская власть значительно уже была поколеблена после неудач, постигших греков со времени италийского дуки Михаила Докиана (с 1041 г.); норманнские графы разделили между собой значительную часть Апулии и проникли в Калабрию, где основали Стридулу (1044), как операционный пункт дальнейших действий. Многое захваченное норманнами было возвращено трудами Маниака (Трани, Джиовенато, Монополи, Матерра) и Иоанна-Рафаила (Стира, Лече, Гарганская крепость). В 1051 г. с беневентскими владениями папы соседствовали с одной стороны греки, державшиеся во многих городах, начиная с пограничного укрепления Троги, с другой — норманны, осевшие в укрепленных пунктах, начиная с пограничного города Мельф, который первый из греческих городов сделался жертвой их хищничества. В Сицилии приобретения, сделанные Маниаком, были совершенно потеряны, греческий гарнизон должен был очистить даже Мессину, и сарацины, владевшие островом до Михаила Пафлагона, опять им овладели. Однако же греки не отказывались от надежды восстановить свою власть в Сицилии и италийский дука Аргир, назначенный на должность в 1051 г., носил титул дуки Апулии, Калабрии и Сицилии. Помимо старых традиций, доказывавших принадлежность Сицилии византийскому государству, расчеты греков на обладание островом могли поддерживаться непрекращавшимися смутами в среде сарацинских владетелей острова и существованием на нем греческих колоний, находившихся в церковной зависимости от Константинопольского патриаршего престола и после того, как была порвана политическая зависимость от византийского императора. Папская политика, руководимая людьми, неразборчивыми в средствах для достижения цели, сразу выяснила различие своих задач в Сицилии и Италии, поняв, что вопрос о патримониях должен быть решаем по отношению к Италии в союзе с Византией, а по отношению к Сицилии в союзе с врагами Византии — сарацинами; норманнами папство на первых порах пренебрегло, во-первых, потому что утверждение их в Италии находилось еще под сомнением и никак нельзя было ожидать такого счастливого для них исхода, какой оправдала последующая история, во-вторых, еще более потому, что делая свою карьеру в Италии, норманны отличались крайней неразборчивостью, пользовались не только на счет греков, но также на счет владений местных итальянских князей, не исключая и папских владений, равно как на счет церквей и монастырей. Папа Лев IX, видевший в монашестве надежнейшую опору для реформы

и покровительствовавший монастырям, должен был выступить против норманнов, которые не щадили монастырских имуществ; еще более он должен был неблаговолить к норманнам по поводу их нападений на папские владения, в частности на Беневентскую область, вновь приобретенную папским престолом. Выяснив свои задачи на счет патримоний, папство начало преследовать их по намеченному плану, в основе которого лежал союз с сарацинами и Византией. В источниках[1] читаем смутное известие, что в 1050 г. иноземные властители прислали ко Льву IX послов и обещали покорность; в том же году на соборе в Риме папа издает буллу относительно канонизации Гергарда Тульского и на ней Гумберт подписывается «siciliensis archiepiscopus».[2] Этот последний факт, присвоение Гумберту титула архиепископа Сицилийского, ставят[3] в связь с радушным приемом, встреченным Львом IX у Салернского князя и у норманнов во время второго посещения им Нижней Италии (1050); прием-де возбудил в нем надежды на приобретение для Римской кафедры Сицилии, в церковном отношении зависевшей от Константинопольского патриарха. Но правильнее, кажется, поставить его в связь с фактом сношений с иноземными властителями, происходивших в 1050 г.; под властителями могут быть подразумеваемы мелкие сицилийские эмиры, которые в своих внутренних раздорах и до 1050 г. искали помощи у христиан (греков), и после 1050 г. обращались за помощью к христианам (норманнам), и которые в 1050 г. могли начать переговоры с папой Львом IX и обещать ему ничего в глазах сарацин не значившую церковную власть над сицилийскими христианами. Но если какие-нибудь расчеты соединялись с титулом, присвоенным Гумберту, то скоро обнаружилась их эфемерность; сам по себе титул был пустой звук, не приносивший никаких выгод; для приобретения выгод необходимо было, чтобы в Сицилии, на месте сарацинских эмиратов, утвердилась власть покорных папе христиан, — между тем этот титул мог повредить Риму в его сношениях с Византией, потому что так ли, или иначе, это было вызовом Византии, присвоением без ведома византийского императора прав, принадлежавших (хотя, по мнению Рима, незаконно) Константинопольской кафедре. И вот этот титул был оставлен, Гумберт возведен в кардиналы, сделан епископом Сильвы Кандиды, и нет ни малейшего намека, чтобы титул Сицилийского архиепископа присвоен был кому-нибудь другому. В первый раз в новом своем звании Гумберт выступает во время вышеупомянутого посольства

[1] Hermann. Contr., 129.

[2] *Jaffé*. Reg., № 3209; *Mansi*. Concil. XIX, 771.

[3] *Halfmann*. Cardinal Humbert, sein Leben und seine Werke. Göttingen, 1883, 4.

его в Беневент в апреле 1051 г. Самый факт отказа от притязаний на Сицилию в форме, способной оскорбить Византию, должен уже говорить за то, что при папском дворе были возбуждены надежды на Византию и на выгоды, какие Римский престол может извлечь из сношений с ней. Надежды были небезосновательны. За месяц перед тем, как Гумберт выступил в звании кардинала-епископа Сильвы Кандиды, именно в марте 1051 г., прибыл в Бари новый сицилийский дука Аргир, от которого папа имел основание ожидать больших услуг.

Аргир Мелит принадлежал к барийской знати, он был сыном того Мела, который при Василии Болгаробойце, в союзе с норманнами, поднял оружие против Византии, потерпел неудачу, бежал ко двору германского императора и там умер в 1019 г. Когда предприятие Мела не удалось, враждебная ему партия в Бари захватила его жену Маралиду с сыном Аргиром и препроводила обоих в Константинополь, к императору.[1] Это было около 1020 г. Затем в течение двадцати лет об Аргире ничего не знаем. В том самом году, когда в Византии был составлен заговор Керуллария, своевременно раскрытый благодаря доносу неизвестных личностей из партии заговорщиков, в 1040 г., и именно в мае, Аргир оказывается в Бари и действует против барийских заговорщиков.[2] Было бы слишком смело устанавливать связь между заговором в Константинополе и в Бари, равно как между обнаружением константинопольского заговора и освобождением Аргира, содержавшегося в Византии под надзором правительства; необходимо однако же констатировать факт, что впоследствии между Керулларием и Аргиром существовали враждебные отношения. С 1040 г. Аргир играет влиятельную роль в Бари. Как велико было его влияние, видно уже из того, что в феврале 1042 г. норманны избрали его своим вождем, а в августе того же года Мономах, угрожаемый Маниаком, употребил все старания, чтобы привлечь Аргира на свою сторону, в чем и преуспел. В 1045 г. или в нач. 1046 г. Аргир был вызван в Византию для совещания о делах Италии, византийский адмирал Хаге посадил его и его свиту на корабль и отвез в столицу. Совещание продолжалось довольно долго; не менее пяти лет прошло прежде, чем был выработан, по указаниям Аргира, план действий в Италии и сам Аргир был послан привести его в исполнение. Такое замедление очень просто объясняется тем, что предложения Аргира шли вразрез с мнениями господствовавшей тогда партии, во главе которой стоял первый министр Лихуд и в рядах которой находился тогдашний патриарх Михаил Керулларий. Что Аргир расходился

[1] *Leo Ost.*, 652.

[2] *Ann. Bar.*, 54; *Lup.*, 58; *Anon. Bar.*, 324.

во мнениях с этими двумя выдающимися деятелями времени Мономаха, мы имеем довольно ясные указания: разногласие его с Лихудом обнаружилось во время осады Константинополя Львом Торником в 1047 г., когда Лихуд и Аргир подавали противоположные советы и первый взял перевес над последним (что ясно свидетельствует о силе партии Лихуда). Правда, разногласие возникло тогда по частному вопросу и касалось обороны города, но что между ними существовал антагонизм по коренным вопросам политики, доказывается тем обстоятельством, что Аргир вступает в отправление обязанностей италийского дуки лишь с того момента, как влияние Лихуда начинает падать. В должности дуки Аргир оставался все время, пока Лихуд находился в удалении от дел, а как только Лихуд опять занял пост первого министра, Аргиру была дана отставка (1058). Об антагонизме между Керулларием и Аргиром указания не менее ясны. В 1054 г. Керулларий писал Петру Антиохийскому, что по достоверным сведениям, какие он имеет, Аргир никогда не забывал ни своей веры, ни своего двуличия, всегда держался взглядов, враждебных государству, во время пребывания своего в Константинополе говорил ему, патриарху, совершенно то же, что потом изложил папа в своем письме, в особенности насчет опресноков, за приверженность к которым и был три-четыре раза отлучаем от общения в таинстве Евхаристии.[1] В данном случае для нас не имеет большой важности, поступал ли Аргир прямодушно, или кривил совестью, желал ли он добра Византии, или под личиной благожелания преследовал своекорыстные цели, важно то, что Керулларий называет его намерения враждебными византийскому государству, следовательно, Керулларий не разделял его взглядов, считая их противными государственной пользе. Еще важна для выяснения сущности взглядов Аргира та черта, что он держался обрядов Римской церкви, был единомыслен с папой и, весьма естественно, защищал интересы Римского престола. В 1051 г. Аргир был возведен в чин магистра, сделан италийским дукой и в марте прибыл в Бари, к месту своего назначения, снабженный деньгами и инструкциями.

Назначение Аргира с первого взгляда может указывать на переворот в правящих сферах, на смещение Лихуда с должности первого магистра и замену его другим. Но принимая во внимание с одной стороны свидетельство историка,[2] что решительное изменение политики Мономаха

[1] PG, 784–788; *Will.*, 175–177: οὐδέποτε τῆς οἰκείας ἐπιλελησμένος θρησκείας καὶ διπλόης· ἀλλ᾽ ἀεὶ τἀναντία κατὰ τῆς βασιλίδος καὶ τῆς Ρομανίας φρονῶν... ἐκεῖνα γὰρ (γράμματα) καὶ ἐδήλουν ἀπαραλλάκτως, ἅπερ ἐν τῇ μεγαλοπόλει ὁ Ἀργυρὸς ἐνδημῶν πρὸς τὴν ἡμετέραν πολλάκις ἔλεγε μετριότητα· μάλιστα δὲ περὶ τῶν ἀζύμων.

[2] *Attal.*, 50.

произошло в последние два года его царствования (1053–1054), с другой — что выполнение самой щекотливой части данной Аргиру инструкции, начало сношений его с папой, может быть приурочено не ранее как к 1052–1053 гг., именно ко времени, предшествовавшему столкновению папы с норманнами при Чивителле, мы можем сделать вывод, что назначение Аргира на должность дуки было только признаком ослабления влияния Лихуда, но не окончательного удаления его от управления. С 1051 г. партия Иоанна Логофета, к которой принадлежал Аргир, уже стала подрывать силу Лихуда, но окончательно она восторжествовала лишь в 1052 г.; в конце 1052 или в начале 1053 г. Лихуд был отстранен, а Иоанн Логофет занял место первого министра.

Какова же была правительственная программа новой партии, вступившей во власть? Программа была незамысловата. Точкой отправления для нее служил турецкий вопрос, которому суждено было сыграть роль в деле церковного разделения не меньшую, чем он сыграл в позднейших попытках соединения. Турки делали быстрые успехи на Востоке, отторгали один за другим города и области, принадлежавшие Византийской империи. Партия Иоанна Логофета написала на своем знамени девиз — борьбу с турками во что бы то ни стало, принесение этой борьбе в жертву всех других интересов государства; партия Лихуда соглашалась с необходимостью борьбы, но не хотела жертвовать интересами народа и честью государства. С 1053 г. опасность со стороны турок усилилась, сам турецкий султан Тогрул-бег двинулся во главе своей орды на Империю; наступил кризис, когда спасения можно было ожидать только от теории Иоанна Логофета. Теория эта восторжествовала, Лихуд сошел со сцены. Средств для борьбы с турками партия Иоанна Логофета искала внутри Империи и вне ее, как в одном, так и в другом случае она ни перед чем не задумывалась. Поиски внутри Империи были направлены к тому, чтобы добыть как можно более денег и через это получить в руки важнейший нерв, необходимый во всех предприятиях, а тем более в военных. Погоня за деньгами, не разбирая средств, отразилась нарушением имущественных прав частных лиц и Церкви, начались секвестры и до секуляризации не дошло лишь потому, что этому помешала смерть Мономаха. Поиски в иностранных государствах имели целью приобретение союзников, заключение дружественных договоров, с помощью которых можно было или увеличить военные силы, необходимые для борьбы с турками, или обезопасить окраины от внешних нападений, и таким образом получить возможность не разбрасываться по сторонам, но сосредоточиться на одном пункте — борьбе с турками в Азии. Разными щекотливостями, вроде национальной гордости, государственной чести, решено было пренебречь,

сделать всевозможные уступки, только бы цель была достигнута. Какой тон усвоен был при этом византийским правительством, лучше всего показывает переписка с египетским халифом, о характере которой сообщает Пселл, несший обязанности протоасикрита и составлявший письма от имени царя. Мономах, следуя, понятно, указаниям своих советников, требовал, чтобы письма были написаны тоном покорным, смиренным, и когда Пселл из чувства патриотизма, как он сам говорит, а может быть из политической тенденции, как можно догадываться, зная о принадлежности его к партии Лихуда, хотел сгладить приниженность, просвечивавшую в письмах, тогда Мономах начинал сам диктовать, не полагаясь на протоасикрита.[1] Здесь речь идет не о тех переговорах, которые были ведены до 1048 г. по предмету окончания построек Иерусалимского храма, но о тех,[2] в связи с которыми находилась присылка из Египта в подарок Мономаху слона, возбудившего всеобщее удивление необычайной величиной, и жирафа, и которые, судя по месту, какое занимает факт присылки слона и жирафа у историков,[3] происходили в 1052–1053 гг. Искательностью проникнуты были и сношения византийского двора с Генрихом III Германским. Византийское правительство, зная, что у Генриха III огромным влиянием пользуется Адальберт, архиепископ Гамбургский, старалось подкупить последнего лестью и тем склонить его поддержать предложение византийских послов. Послы принесли германскому императору подарки и поздравляли его со счастьем иметь такого мудрого и опытного советника, как архиепископ Адальберт.[4] Это посольство было отправлено никак не ранее 1052 или даже 1053 г., потому что ответ германского императора не мог замедлить на долгое время, между тем, когда прибыл в Константинополь Оттон, епископ Навары, с письмом к Мономаху, в котором Генрих заявлял о своей прирожденной связи с византийским императорским домом, в силу происхождения от греческой принцессы Феофано, супруги Оттона, тогда на византийском престоле сидел уже не Мономах, но Феодора (1055 г.), которая на другой год по прибытии из Германии посла (1056 г.) отпустила его обратно, присоединив к нему и собственных послов к Генриху с просьбой о мире.[5] Не излишне при этом отметить, что до самой смерти Мономаха в Константинополе не было

[1] *Psell.*, IV, 193–194.

[2] *Psell.*, V, 113–114.

[3] *Attal.*, 48–49; *Cedr.*, II, 607 (*Glyc.*, 597).

[4] *Adami*, 347: Transmissis ad nostrum caesarem muneribus, congratulati sunt archiepiscopo pro sapientia et fide ejus rebusque bene gestis ejus consilio.

[5] *Herm. Contr. Continuatio*, 265; Ann. August., 127.

получено удовлетворительного ответа на посольство к германскому императору и заправителям византийской политики естественно было искать способы, чтобы подействовать на германский двор. Византийское правительство не прочь было и норманнов превратить из врагов в союзников. Аргиру даны были деньги с тем, чтобы он нанял норманнов, действовавших в Италии против греков, на службу византийскому императору и направил их морем на Восток для борьбы с турками; если же они, несмотря на свою жадность, не сдадутся на эту приманку, то употребить деньги на снаряжение войска и иные способы борьбы с норманнами. Расчет казался Византии весьма умным, потому что сразу достигалось две цели: приобреталось наемное войско для борьбы с турками и итальянские владения Византии освобождались от опасных врагов. Но византийцы много понадеялись на простоватость норманнов и на их страсть к золоту. Как ни бесхитростны были норманны, сравнительно с лукавыми греками, но на это хватило у них соображения, чтобы понять смысл предложения и оценить выгоду его для одних лишь греков. Поэтому они хотя и с сожалением, однако же отказались от византийского золота и объявили Аргиру, что оставят Апулию лишь в том случае, если их выгонят силой.[1] Враги Аргира в Византии говорили, что полученные от императора деньги он истратил на собственные нужды и на сооружение себе замков.[2] Но это было напрасное обвинение: деньги могли сослужить свою службу в том заговоре, который скоро потом был составлен в Апулии, стоил жизни Дрогону и многим норманнам,[3] равно как могли они пойти и на снаряжение войска, с которым Аргир неудачно пытался (в 1052 или начале 1053 г.) одолеть норманнов и был разбит ими при Сипонте.[4] Искало византийское правительство союза и у римского папы. Союз с папой важен был в двух отношениях: во-первых, ввиду совместных действий против норманнов, во-вторых, для успешного заключения мира с Генрихом Германским. Норманны по причине нападения на папские владения и церковные земли были такими же врагами римского папы, как и византийского императора. Папа и император делались в этом случае естественными союзниками, никаких особенных забот для их сближения ни с той, ни с другой стороны не требовалось. Но вопрос о посредничестве папы

[1] *Guil. Apul.*, 254.

[2] PG, CXX, 784; *Will*, 175: περὶ οἰκείων διαπονούμενος κάστρων οἰκοδομὰς καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἐπιμέλειαν (...заботился о строительстве своих замков и их обустройстве).

[3] *Malat.*, 553 (*An. Vat.*, 752).

[4] *Anon. Bar.*, 330: индиктиона пятого.

для заключения союза между германским и византийским двором привходил как элемент сверхдолжный, по отношению к которому папа приглашался на услугу Византии и мог требовать себе за это награды. На этом именно пункте и встретились политические интересы Византии с церковными интересами Рима: с одной стороны — надежды на союз с Западной Европой, с другой — надежды на возвращение патримоний Римскому престолу в Апулии, Калабрии и, может быть, Сицилии. Партия Иоанна Логофета, впоследствии не задумавшаяся во внутренней политике сделать нападение на Церковь, с целью увеличения финансовых ресурсов, не стеснилась и во внешней политике пожертвовать интересами Константинопольской кафедры ради приобретения политических союзников.

С самого прибытия Аргира в Бари и вступления в отправление обязанностей италийского дуки, у папы Льва IX и его приближенных, знавших о воззрениях Аргира, политических и религиозных, могли появиться надежды на выгоды, которые легко было извлечь из этого обстоятельства для Римского престола. Но, как уже замечено, пока не сошел со сцены Лихуд, решительного шага сделано не было. Первое известие о переговорах между уполномоченным византийского правительства, Аргиром, и папой Львом поставлено у Вильгельма Апулийского и у Беневентского анналиста в такой связи, из которой нельзя вывести заключения, чтобы переговоры начаты были ранее конца 1052 г., всего же вероятнее — в 1053 г. Вильгельм Апулийский рассказывает, что апулийцы стали приносить папе Льву IX жалобы на галлов, т. е. норманнов. Прислал также посольство и Аргир, сообщая верные сведения наполовину с ложными (veris commiscens fallacia nuncia mittit), просил папу прийти в Италию, освободить ее и удалить нечестивый народ, угнетающий Апулию. В то время Дрогон (норманнский граф) и Ваймар (Салернский князь) умерли: один был убит единокровными гражданами в Салерно, другой — вероломными туземцами в Монтиларо. Народ остался без правителя. Папа пришел с большим войском в сопровождении аллеманов и тевтонов. Затем идет рассказ о том, как норманны испугались, отправили послов к папе и предлагали вступить к нему в вассальные отношения. Но папа не согласился на уступки, требовал, чтобы норманны ушли вон из Италии. Тогда произошло сражение при Чивителле, и норманны, предводительствуемые графом Гумфридом, Рихардом из Аверсы, Робертом Гвискаром и другими, разбили войско папы.[1] Беневентский анналист говорит короче, что в 5-й год своего понтификата, в 7-й — императорствования Генриха III, папа Лев IX возвратился в сентябре месяце из Германии в Италию и в месяце июне пришел в Апулию, желая говорить

[1] *Guil. Ap.*, 255–258.

с Аргиром, дукой императора Константина Мономаха (cupiens loqui cum Argiro duce imperatoris Constantini Monomachi), но норманны неожиданно напали на его воинов, умертвив из них и из наших людей 300 человек.[1] Итак, сношения Аргира с папой Львом происходили до сражения при Чивителле 18 июня 1053 г. Это крайний срок с одной стороны, труднее указать такой же срок с другой. Во всяком случае и этот последний не слишком отдален. Вильгельм говорит, что все происходило после того, как были убиты Дрогон и Ваймар. Первый убит 10 августа 1051 г.; второй 2 июня 1052 г.; следовательно, сношения начаты не ранее месяца июня 1052 г. Беневентский анналист еще более суживает срок, относя его ко времени после возвращения папы из Германии в месяце сентябре. Итак, сношения должны были происходить между сентябрем 1052 г. и июнем 1053 г., в промежутке девяти месяцев. Объединяя свидетельство Вильгельма со свидетельством Беневентского анналиста, мы должны вывести заключение, что сначала Аргир отправил к папе послов с какими-то сообщениями, затем папа был намерен лично объясниться с Аргиром, но был разбит норманнами (причем неясно, состоялось ли перед тем свидание или нет). Так как нельзя предполагать, чтобы, получив от Аргира важные сообщения, папа медлил личным с ним свиданием, которое, по его мнению, было необходимо, а на свидание он отправился в месяце июне, то и сношение между ними через третьих лиц с большей вероятностью может быть относимо к 1053 г., чем к 1052 г.

Относительно содержания переговоров Вильгельм знает только, что Аргир просил папу прибыть для освобождения Апулии от норманнов, никаких других подробностей ему неизвестно. Они неизвестны и другим западным историкам, небезынтересна однако же та частность, что посольство Аргира к папе поставлено в теснейшую связь с жалобами апулийцев на норманнов. Выясняя эту последнюю сторону дела, мы можем указать на свидетельство Малатерры о том, что вероломные апулийцы после неудачного заговора, окончившегося умерщвлением Дрогона и многих других норманнов и местью со стороны оставшихся в живых, отправили тайное посольство к папе Льву IX и приглашали его в Апулию, говоря, что страна принадлежала некогда Римскому престолу, и если папа освободит их от норманнов, то вновь получит ее под свою власть; при этом прибавляли, что норманны уже обессилены, число их невелико, и они, апулийцы, со своей стороны помогут истребить их.[2] Малатерра совершенно умалчивает о сношениях Аргира с папой, но так как сношения этого последнего

[1] *Annal. Benev.*, 179–180.

[2] *Malat.*, 553.

находились в связи со сношениями апулийцев, то можно думать, что историк объединил оба факта в одном. Если так, то обещание подчинения папскому престолу Апулии, исходившее от апулийцев, должно быть распространено и на Аргира. Но тут возникает недоумение: в устах представителя Византии обещание в той форме, как оно изложено у Малатерры, идет слишком далеко, сопровождается отречением Византии от собственных прав на Апулию, равным образом и в устах апулийцев оно слишком смело, так как для того, чтобы отдать Апулию другому государю, мало было изгнать норманнов, нужно было удалить и греков. Очевидно, сведение Малатерры неточно, в основе его может лежать факт верный, но в передаче историка искаженный. Тем не менее и это сведение на один шаг приближает нас к истине. Полное разъяснение дела, может быть, дало бы нам письмо императора Мономаха к папе Льву IX, отправленное после сражения при Чивителле, но, к сожалению, это письмо до нас не сохранилось. Приходится ограничиться ссылками на содержание этого письма, сделанными в ответном письме папы Льва IX, которое привезли с собой в Константинополь папские легаты в 1054 г. Впрочем и данных, заключающихся в этом последнем, достаточно. Одна часть этих данных имеет отношение ко времени, предшествовавшему сражению при Чивителле, другая — к последующему. Здесь отметим данные первого рода. В начале письма папа говорит, что он не знает, как возблагодарить Творца и Управителя всяческих, Святую и Нераздельную Троицу, за то благо, которое дано в лице императора, наделенного таким благочестием и возбуждающего такие надежды на восстановление святой кафолической Церкви и улучшение государства. «Ты, — говорит папа, — после таких долгих и губительных разногласий первый являешься поощрителем, носителем и желанным исполнителем (monitor, portitor et exoptatus exactor) мира и согласия... Как благочестивый и превосходный сын, не забываешь мук твоей матери, считаешь нужным не пренебрегать ею, но почитать и возвратиться в ее любвеобильные объятия». О себе папа пишет, что он старается выполнить лежащие на нем, как наместнике апостольского престола, обязанности. Поэтому видя, что невежественный и чужой народ с неслыханной и невероятной хищностью и более чем языческим нечестием восстает против церквей Божиих, умерщвляет христиан, а некоторых подвергает новым, ужасным мучениям, не щадит ни детей, ни стариков, ни женщин, не делает различия между священным и мирским, грабит, сожигает и разрушает святые церкви, — видя все это, много раз обличал, вразумлял, внушал благовременно и безвременно, но вследствие его окаменения и упорства во зле, даже каждодневного прибавления все большего зла, решился обратиться к человеческим средствам защиты. «Итак,

собрав войско, какое позволяла краткость времени и нужда, я постановил следовать совету, полученному в разговоре с сиятельным дукой и магистром Аргиром, твоим верноподданным (glorissi ducis et magistri Argyroi fidelissimi tui colloquium et consilium expetendum censui), не потому чтобы я желал погибели и смерти какого-нибудь норманна или другого человека, но чтобы с помощью человеческого страха приобрести тех, которые не страшатся Божественного суда. Между тем как мы старались спасительным убеждением сломить их упорство и они в свою очередь притворно обещали всякую покорность, вдруг они напали на нашу дружину, — впрочем, более скорбят теперь о своей победе, чем радуются». Затем папа говорит о своих надеждах на императоров Генриха и Мономаха, которые подав друг другу руки, изгонят враждебный народ, помогут поднять Церковь и государство, и заявляет, что при том печальном состоянии Церкви, в какое она приведена наемниками, долгое время занимавшими апостольскую кафедру, бремя, возложенное Провидением на его слабые плечи, делается легче от одной мысли, что по ту и по другую сторону (ex utroque latere) стоят сыны (filii) столь славные благочестием и могуществом. «Поэтому, преданнейший сын и славнейший император, — увещевает папа, — содействуй нам к восстановлению матери твоей, святой Церкви, к возвращению ее привилегий, достоинства, чести, равно как и патримоний, лежащих в пределах твоего владения (et privilegia diguitatis atque reverentiae ejus nec non patrimonia recuperanda in tuae ditionis partibus), руководствуясь тем, что написано и сделано честнейшими предшественниками, нашими или твоими. Ты по крови, по имени и по власти — великий преемник великого Константина, будь же подражателем его преданности апостольскому престолу, и что этот удивительный муж, вслед за Христом, дал, утвердил и оградил этому престолу, ты, оправдывая этимологию своего имени (Constantinus), с твердостью (constanter) помоги опять получить, удержать и охранить (adjura recuperare, retinere et defendere). Это же старается сделать в своих владениях и славнейший сын наш Генрих. Все это и нам, и вам принесет большую пользу, коль скоро по милости Божией, заступничеством блаженнейших верховных апостолов и при моем, наместника их, посредничестве и старании (me qualicunque vicario eorum mediante et obtinente), заключен будет между вами обоими неразрывный союз мира и дружбы».[1] Письмо папы подтверждает и восполняет свидетельства Вильгельма и Беневентского анналиста. Инициатива шла от Византии — Мономах первый явился поощрителем мира и согласия, это согласуется с известием о посольстве,

[1] PL, CXLIII, 777–780; *Will*, 85–88.

отправленном Аргиром к папе Льву IX. Затем предположено было свидание папы с Аргиром, и этот пункт, неясный у летописца, восполняется в том смысле, что свидание состоялось и на нем Аргиром был подан совет сразиться с норманнами. Но Мономах был не только поощрителем и носителем мира, а также восполнителем, и притом желанным, по мысли папы. Это указывает на содержание переговоров, которые от имени императора вел Аргир. В каком смысле они были желанны для папского престола, указано ясно — дело шло о возвращении папскому престолу патримоний и привилегий, в пределах итальянских владений Византии, о возвращении византийского императора по отношению к этим владениям в объятия Римской церкви, или, другими словами, в передаче папе вместе с патримониями вообще иерархической власти над Италийской фемой. Что речь идет только об итальянских владениях, на это указывает ссылка на подложную донацию Константина Великого, а также нарисованная картина совокупного действования на пользу Церкви и государства, при котором поддерживать папу с одной стороны, на севере, будет император Генрих, а с другой, на юге, император Константин Мономах. Папа убеждает Мономаха содействовать восстановлению Церкви, возвращению патримоний и привилегий, не требует, но лишь просит осуществить в будущем то, что уже осуществляет император Генрих. Такая форма обращения свидетельствует, что формального договора между папой и византийским императором еще заключено не было, наподобие договора с германским императором, заключенного в 1052 г.;[1] все дело ограничивалось пока обещаниями, которые могли послужить основанием и для извращенного известия Малатерры, которое требует поправки в том смысле, что папе обещана была власть не политическая, но церковная, и возвращение в ведение папы не всей территории, составлявшей Апулию, якобы принадлежавшей некогда Римскому престолу, но лишь патримоний. Заключение формального договора и выполнение обещаний о возвращении патримоний и восстановлении привилегий были поставлены в связь с заключением при посредстве папы союза между германским и византийским дворами, — вот почему папа ожидает пользы от нового порядка вещей лишь после того, как состоится союз. До союза между Византией и Германией при жизни Мономаха не дошло, естественно поэтому, что и обещания, данные папе, не были осуществлены, официально не были признаны. Да если бы союз и был заключен, то еще вопрос, насколько честно византийское правительство исполнило бы свои обещания относительно папы. Пример договора с эмиром Тевина, как и вообще

[1] *Gfrörer*. Gregor. VII, VI, 676–681. Об обмене Беневента на Бамберг.

история с Анием, достаточно убеждают, что принципы византийской политики при Мономахе, даже тогда, когда во главе управления стоял Лихуд, более совестливый министр, чем Иоанн Логофет, не отличались честностью.

Содержание переговоров византийского двора с папой, составляя государственную тайну, было известно руководителям византийской политики из партии Иоанна; едва ли о нем знали приверженцы противной партии, в том числе и патриарх Керулларий. Но осенью 1053 г. случилось обстоятельство, давшее возможность Керулларию проникнуть в эту тайну. После сражения при Чивителле 18 июня, закончившегося поражением папы, последний был схвачен норманнами и отведен в Беневент. Проходили месяцы, а папа оставался в Беневенте (пребывал он здесь до 12 марта 1054 г.), находясь под почтительным надзором норманнских графов. Положение вещей делалось серьезно, грозила опасность, как бы норманны не воспользовались папой для своих целей и чтобы он не послужил в их руках таким же орудием для борьбы с греками, каким обещал послужить в руках греков для борьбы с норманнами. Нужны были экстренные меры, чтобы поддержать его стойкость, и Аргир, понапрасну прождав несколько месяцев окончания беневентского заточения, обратился в Византию за инструкциями. После 1 сентября 1053 г. он отправил в Византию Транийского епископа.[1] Аргиру всего естественнее было послать в Константинополь того, кто уже ездил от него послом к папе, чтобы без нужды не посвящать лишних людей в тайну сношений с папским двором. Но если даже устранить предположение, что Транийский епископ исправлял обязанности посла Аргира к папе Льву IX, все-таки необходимо предположить, что ему, при отъезде в Константинополь, сообщено было все, касавшееся папы и сношений с ним. Епископ Транийский оказался не сдержан на язык и в бытность в Константинополе рассказал все Керулларию, сам Керулларий в 1054 г. писал Петру Антиохийскому, что синкелл, архиепископ города Трани, бывший в столице раньше папских легатов, разоблачил перед ним всю истину насчет папы и насчет Аргира.[2] Таким

[1] *Anon. Bar.*, 330, сказав под 1052 г., инд. 5, о поражении папы норманнами при Чивителле, говорит далее под 1053 г., инд. 6: Argiro direxit ipso episc. Tranense Constantinopoli messatico.

[2] PG, CXX, 788; *Will*, 178: φανερώτερον δὲ τὸ τοιοῦτον ἠλέγχθη δρᾶμα καὶ διὰ τοῦ ἀρχίεπισκόπον Τράνας καὶ συγκέλλον ἐκεῖθεν πρὸ τούτων (т. е. легатов) ὡς πρὸς ἡμᾶς ἀφιγμένον καὶ τὴν ἀλήθειαν πᾶσαν διασαφήσαντος (Эти ухищрения были явственно изобличены епископом Транийским, синкеллом, который прибыл к нам оттуда еще раньше них и раскрыл всю правду).

образом Керулларий узнал о сношениях правительства с папой, об обещаниях, данных папе, и об опасности, угрожающей Константинопольской кафедре. Опасность пока была невелика, патриарх знал, что правительство умеет давать обещания без намерения исполнить их. Но знал также, что в случае стеснительных обстоятельств оно может дойти до исполнения обещаний, до возвращения папе патримоний, восстановления его власти над Апулией, Калабрией и Сицилией. Успех в этом отношении мог разогреть старые притязания Римского престола на Болгарскую архиепископию, а поскольку, как показал опыт, вопрос о епархиях шел всегда рука об руку с вопросом о преимуществах Римской кафедры вообще, то нетрудно было ждать возобновления притязаний папы вообще на власть и на подчинение Востока. Уступка в малом могла окончиться большой потерей. Керулларий считал себя обязанным принять меры, чтобы отвратить опасность в самом начале и сделать невозможным исполнение данных папе обещаний. Официально ему ничего не было известно и официально он протестовать не мог. Он избрал другой, косвенный путь, и вот по возвращении епископа Транийского к месту служения всплывает наружу адресованное на его имя послание Льва Охридского. Послание пишет иерарх той кафедры, которой вслед за Апулией и Калабрией прежде всего могла грозить опасность от папских притязаний, архиепископ Болгарии пишет к одному из иерархов той области, Апулии, над которой опасность уже висела. Первым условием действительности меры было то, чтобы послание не было положено под спуд, а как можно скорее и как можно более распространено, — и вот оно адресуется тому же лицу, епископу Транийскому, который своими разоблачениями и вызвал его появление на свет, с которым, по всей вероятности, все было наперед условлено, в бытность его в Константинополе, и взято должное обещание; даже предположение, что Иоанн Транийский привез с собой послание из Константинополя или из Охриды, через которую он мог проезжать по дороге в Диррахий, а из Диррахия в Трани, не было бы чудовищным, потому что послание ни по объему, ни по содержанию не представляет литературной работы, которой нельзя было бы выполнить за один день. Главное содержание послания, вопрос об опресноках, — оружие довольно легкое, но при данных обстоятельствах, пока опасность была невелика, достаточное; можно было выдвинуть оружие и более тяжелое, но оно оставлено в запасе на случай более серьезной опасности. Керулларий хорошо знал (думаем — небезынтересно это было и Льву Охридскому), что спасение не в опресноках и не в квасном хлебе, но важно было показать, что правительство, отняв епархию от Константинопольской кафедры и отдав ее римскому папе, совершит смертный грех, откроет торжество латинскому обычаю

над греческим, заблуждению над истиной, ложной вере над правой, а чтобы это показать, нужно было объявить опресноки отступлением от православной веры, что в послании и сделано. Словом, послание имело важность не само по себе, а по внутренней тенденции, значение его заключалось не в том, что оно трактовало об опресноках, а в том, что в основе его скрывался протест, с одной стороны, против византийского правительства и его намерений, с другой — против папства и какого бы то ни было предпочтения Римской кафедры кафедре Константинопольской, будет ли то возвращение патримоний и епархий, в ущерб наличным правам Константинопольского патриарха, или же, что еще важнее, признание за Римским престолом преимуществ власти сравнительно с Константинопольским патриаршим престолом. Чтобы протест был действительнее, патриарх написал от себя сходное по содержанию послание к Доминику Градскому и сделал административное распоряжение насчет проживавших в Константинополе азимитов.

На Западе как нельзя лучше поняли действительный смысл послания Льва Охридского и отвечали на него по существу. Когда это послание прибыло в Трани, здесь находился кардинал-епископ Гумберт, желавший, надо полагать, получить от возвратившегося из Константинополя Иоанна Транийского сообщения относительно настроения правящих сфер в столице Греческой империи. Иоанн передал ему послание, Гумберт перевел его с греческого на латинский язык и доставил папе.[1] Папа решился посвятить досуг своего беневентского заключения опровержению послания и главные удары направил не столько на то, о чем прямо сказано было в послании, сколько на то, что читалось между строк. Он совершенно основательно взглянул на послание как на протест Керуллария против преимуществ Римской кафедры сравнительно с Константинопольской вообще и в частности прав ее на Апулию и Калабрию. В конце 1053 г.[2] папа написал ответ на обвинение Михаила Константинопольского и Льва Охридского,[3] в котором все старания направил к тому, чтобы доказать

[1] *Wiberti*, 296: fuisset Trani exhibita fratri Humberto, sanctae ecclesiae Silvae Candidae episcopo, in Latinum est translata ejus studio atque delata domno papae Leoni nono.

[2] Хронология определяется выражением: ecce mille ac *ferme* viginti a passione salvatoris nostri annos incipit. 33 + 1020 = 1053; слово *почти* указывает, что 1053 год не вполне истек.

[3] PL, CXLIII, 744–769; *Will*, 65–85. Epistola ad Michaelem Constantinopolitanum patriarcham adversus ejus et Leonis Achridani episcopi inanditas praesumptiones et nimias vanitatis.

преимущества Римской кафедры. Папа излагает общеизвестную теорию папского главенства.[1] Частный вопрос о правах на Апулию и Калабрию побудил его почти целиком воспроизвести подложную донацию Констан-

[1] Начинает папа с того, что церковь Христова основана на Петре (гл. 6), а имея такое основание, ограждена от врат ада, т. е. еретических учений (гл. 7); через Петра получил власть Римский престол (12), за которым права признаны и Константином Великим в его привилегии папе Сильвестру (13–14). Затем рассуждение идет о том, в чем заключается власть, данная Петру, каковы его права и на каких особых заслугах эти права опираются (15–18), с заключением, что заблуждение не может вкрасться в Церковь, имеющую такого защитника (19), и что латиняне, держащиеся учения Петра, безупречны (20); Римская церковь доблестно вынесла возбуждавшиеся на нее гонения и сохранила источник веры чистым (24–25), вера ее, как основанная на Петре, непоколебима (32), и другого благовестия, хотя бы оно принесено было ангелом с неба, не следует слушать (33). Права перешли от Петра к его наместнику — папе, и все пренебрегающие апостольской кафедрой восстают против Бога (35). Проводя параллель между церковью Римской и Константинопольской, папа находит, что Константинопольская церковь, в лице своих епископов, была изобретательницей ересей, которые осуждены на соборах и преодолены Римской церковью (8–11), что чистота веры греков небезупречна была с самого начала, как видно из послания апостола Павла к Коринфянам (21), о заблуждениях греков свидетельствует иконоборческий их собор (22) и слухи, которым не хочется верить, что в Константинопольской церкви евнухи получают священный сан и женщина некогда занимала епископский престол (23). Отношение, в каком стоит церковь Константинопольская к Римской, папа уподобляет отношениям между дочерью и матерью. Что Римская церковь есть мать Константинопольской, доказывается употреблением в последней, как в официальных церемониях, так и в церковной практике латинских славословий и изречений (23), дочь — церковь Константинопольская — должна быть почтительной к своей матери — церкви Римской (26–27) и питать к ней чувство благодарности за то, что Римская церковь оказала предпочтение своей дочери перед другими, предоставила ей бóльшую честь, чем церквам Антиохийской и Александрийской (28); поэтому верх неблагодарности и непочтительности к матери такие поступки, как злословие, бичевание анафемой, закрытие церквей, отнятие у аббатов и монахов монастырей на том основании, что они не держатся греческого обряда (29). Касаясь прав, ненадлежаще усвояемых себе Константинопольскими патриархами, папа объясняет неуместность приравнения к Александру, Иоанну Златоусту или Флавиану (34) и прикрытия себя именем знания, правды и славы (37); исходя из положения, что недолжное присвоение прав совершается в ущерб правам Римской кафедры, заявляет, что никакой узурпации против Римского престола не потерпит, умаления привилегий не допустит (36), советует не завидовать преимуществам, которыми пользуются преемники Петра, не усиливаться лишить их этих преимуществ (38) и не стремиться уничтожить славу Римской кафедры (39).

тина Великого, с включением того ее пункта, по которому папе Сильвестру и его преемникам передана власть над городом Римом, Италией и всеми странами Западной Европы (Romanam urbem et omnes Italiae seu Occidentalium regionum provincias, loca et civitates). Что касается ближайшего предмета, против которого ответ папы должен был бы направляться, а именно мыслей и доказательств, приведенных в послании Льва Охридского, то этим папа всего менее занимается.[1]

Письмо папы было ответом на послание Льва Охридского и на гонение константинопольских латинян Керулларием, как на протест по адресу Римского престола. Светскому византийскому правительству, против намерений которого в послании Льва и поступке Керулларий тоже заключался протест, предоставлялось самому считаться с тем, что́ заключалось в факте ему неприятного. Не может быть сомнения, что византийское правительство скоро узнало о деле. Мероприятия относительно латинян совершались на глазах, в Константинополе, скрывать послание от византийских политиков тоже не было в расчетах патриарха, и если бы даже в Константинополе оно было скрыто, то из Италии не замедлил бы донести о нем Аргир. Цель Керулларий наполовину была достигнута. Если византийское правительство не отказывалось от своих планов, то оно поняло, что провести их невозможно на почве исключительно политической, с устранением Константинопольского патриарха, что установить

[1] Он держится того принципа, что мир Церкви выше всего и что различие обрядов не препятствует спасению. Приведя изречения Св. Писания, призывающие людей к миру (§ 1), папа порицает людей, которые пренебрегают божественной заповедью и сеют вражду (2), считает такое поведение их позорным (3), указывающим на свойства, принадлежащие антихристу (4), и довольно голословно заявляет, что упрек против Римской церкви за опресноки неосторожен (5), что называть латинян азимитами не следует (20). Римская церковь знает, что спасению верующих не препятствуют различные по времени и месту обычаи, что лишь вера и любовь соделывают спасение, поэтому ни одна греческая церковь, ни один монастырь, ни в Риме, ни около Рима не потерпел ни малейшей помехи в отправлении своих обрядов (29). Константинопольскому патриарху следовало бы поступать по примеру Рима, проповедывать церковное единение, а не заботиться о разделении и рассеянии овец (30); если он проповедует разделение и вражду, то благочестивым государям и населению столицы не следовало бы слушаться его (31). Впрочем, в конце письма папа сознается, что он вышел за пределы и не ответил на те обвинения, какие возведены на Римскую церковь по поводу опресноков в послании к апулийским епископам, он обещает дать обстоятельный ответ в другом сочинении (40), а пока удовольствуется тем, что он написал, следуя побуждениям отеческой любви и братского расположения (41).

политическое единомыслие нельзя без согласия церковного. При данных обстоятельствах, когда папа был в руках норманнов, византийскому правительству, не желавшему терять того, что уже сделано, и опасавшемуся неблагоприятных для себя усложнений, нельзя было медлить ни минуты, требовалось сейчас же принять меры к тому, чтобы сгладить впечатление, произведенное на Западе посланием Льва Охридского и поведением Керуллария, равно как чтобы на будущее время предотвратить возможность таких непредвиденных помех со стороны патриарха. Решено было действовать совместно с ним и политическое соглашение с папой не отделять от соглашения церковного. В этом смысле сделано было представление Константинопольскому патриарху, и Керулларий, который не прочь был от единения с Римом, но лишь с условием, чтобы оно не шло вразрез с достоинством и правами Константинопольской кафедры, с готовностью на то согласился. Написано было от имени императора Мономаха письмо к папе, которое, как выше сказано, до нас не дошло, но о содержании которого мы знаем, что в нем император утешал папу по случаю его неудачи[1] с норманнами, старался поддержать в нем бодрость и надежду на скорое возмездие, ожидающее ослабленных уже норманнов, уверял, что все обещанное остается в силе и предлагал папе со своей стороны быть твердым в обещаниях. Написано было также письмо патриархом Керулларием, тоже до нас не дошедшее, но в общих чертах нам известное из ответа папы и из ссылок на него самого Керуллария в письме к Петру Антиохийскому. Письмо составлено было в миролюбивом духе, целью патриарха было привлечь папу на сторону Византии для совместного действия против норманнов, а в целях прочности союза политического установить единомыслие религиозное.[2] Керулларий убеждал папу быть в согласии и единении, но при этом давал понять, что согласие и мир могут быть прочны только при взаимном уважении к достоинству и правам обеих кафедр; письмо написано было от имени «Вселенского» патриарха и в нем сказано, что если бы папа воздавал честь патриарху в одной своей Церкви, то патриарх прославил бы за это его имя в Церквах всей Вселенной,[3]

[1] Sicut enim tua pietas scribere curavit ad nostram consolationem, pro ista sua praesumptione majorem in proximo expectant (normanni) sibi superventuram indignationem, post illam, quam experti sunt, suae catervae diminutionem (Как твое благочестие писало нам в утешение, что войско норманнов уже поредело и за свои помыслы они в скором времени претерпят бесчестие). См.: PL, CXLIII, 779; *Will*, 87.

[2] PG, CXX, 784; *Will*, 174.

[3] Bonum concordiae et unitatis exhortari studes... te universalem patriarcham jactas ubique et scripto et verbo... Scripsisti siquidem nobis, quoniam si una ecclesia Romana

или, другими словами, что Константинопольская кафедра не может быть приравниваема к остальным патриаршим престолам, что она имеет предпочтительное достоинство и власть сравнительно с Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским патриархами, в ее юрисдикции находится весь Восток, и даже Запад должен поучаться у Константинопольского патриарха, поскольку не напрасно носит он титул «Вселенского».[1] Оба письма к папе, императорское и патриаршее, были пересланы с каким-то вестиаритом к Аргиру и от Аргира доставлены к папе[2] в Беневент. Папе предложено было для окончательного соглашения отправить уполномоченного в Константинополь.

Предложение папой было принято, и им составлено посольство из трех лиц, занимавших выдающееся положение и пользовавшихся громадным влиянием при папском дворе, что само по себе свидетельствует уже о том значении, какое Рим придавал делу. Легатами назначены: кардинал-епископ Гумберт, Петр, архиепископ Амальфи, и Фридрих, диакон и канцлер Римской церкви. Гумберт состоял в самом высоком сане, за ним следовал Петр, потом Фридрих, этого уже достаточно для доказательства, что во главе посольства стоял Гумберт, и для объяснения порядка, в каком приведены их имена в официальной докладной записке (brevis et succincta commemoratio) и в предисловии к акту отлучения.[3] Инструкция для

---

par nos haberet nomen tuum, omnes ecclesiae in toto orbe terrarum haberent per te nomen nostrum (Ты ревностно стремишься к согласию и единению... ты повсюду — и на письме, и на словах — провозглашаешь себя Вселенским патриархом... ведь ты писал нам, что если одна Римская церковь через нас прославит твое имя, то наше имя через тебя прославят все Церкви Вселенной). См.: PL, CXLIII, 773–774, 776; *Will*, 89–91.

[1] Что такого именно взгляда держался Керулларий, видно из письма его к Петру Антиохийскому, в котором *поручает* ему расследовать дело об Александрийском и Иерусалимском патриархах — верен ли слух, что они совершают Евхаристию на опресноках, и о папских легатах говорит, что величайшая с их стороны была дерзость и безумие полагать, что не они должны учиться у Константинопольского патриарха, а патриарх у них. См.: PG, CXX, 789, 796; *Will*, 178, 184.

[2] PG, CXX, 784; *Will*, 174–175.

[3] Если в некоторых западных источниках при перечислении послов во главе ставится Фридрих (*Leo Ost.*, 686; *Panthaleo-Giesebrecht*. Kaiserzeit, II, 670) или один только он называется послом (*Lamberti*, 155; *Bonithonis*, ap. Jaffe, II, 605), то причина тому позднейшее выдающееся положения Фридриха, вступившего в 1057 г. на папский престол под именем Стефана IX. Даже выражение письма Керуллария, на которое ссылается *Гизебрехт* (II, 668): πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις καὶ ὁ

легатов была излишней. Это были люди, сами дававшие инструкции Льву IX, руководившие его политикой и его взглядами. Тем не менее при их отправлении были ясно установлены начала, с которыми они должны были сообразоваться в своих действиях. Начала эти нашли себе выражение и в ответных письмах папы Льва, из которых два было вручено легатам для передачи Константинопольскому императору и патриарху, а одно отдельно послано патриарху Антиохийскому. В письме к Константину Мономаху папа делает заверение, долженствовавшее совершенно склонить византийских политиков на сторону папы, что он не перестанет действовать против норманнов до тех пор, пока совершенно не освободит от них христиан, что он со дня на день ожидает прибытия на помощь императора Генриха и надеется, при помощи Божией, устроить союз между ним и византийским императором. Своих легатов папа рекомендовал благосклонному вниманию императора, и в частности просил не иметь никаких сомнений насчет Петра Амальфийского, потому что он, оставив Амальфи, жил почти год при особе папы.[1] О назначении послов и их полномочиях папа говорит с сознанием преимуществ Римского престола, которого они служат представителями. Упомянув о слухах, распространившихся насчет Керулларий, будто он возбудил открытое преследование на Латинскую церковь, не побоялся подвергнуть анафеме всех принимающих таинство Евхаристии на опресноках, стремится отнять древнее достоинство у патриархов Александрийского и Антиохийского и подчинить их своей власти, а равно присваивает себе многое другое, о чем

πρωτεύειν ἐν τῇ τοποτηρήσει δοκῶν καγκελλάριον τῆς ἐν Ῥώμῃ ἐκκλησίας καὶ ἀνέψιον τοῦ ρηγὸς κὴ τοῦ *παπα* ἑαυτὸν *ἀπεκάλει* (Ко всему прочему, он, как казалось, первенствовал в посольстве и называл себя канкелларием Римской церкви, родственником короля и папы) (PG, CXX, 817; *Will*, 187), ничего не говорит против, во-первых, потому что Керулларий выражается здесь неуверенно (δοκῶν), смущенный родственными связями Фридриха, а во-вторых, потому что сам же он в другом письме отводит Фридриху третье место: τῷ δέ γε τρίτῳ προσωπεῖον περιθεὶς καγκελλαρίον... *ἀξίωμα* (третью же облек личиной канкеллария) (PG, CXX, 785; *Will*, 175).

[1] *Гфрёрер* (Gregor. VII, 1, 609) объясняет подозрения против Петра тем, что Амальфи с 1043 г. находился под властью норманнов. Но историк, кажется, не отличает Амальфи, город близ Салерно и Неаполя, от Мельф, на границе Апулии, город действительно рано попавший в руки норманнов, даже не в 1043, а в 1041 г. От смешения этих городов предостерегал уже старинный переводчик Амата на французский язык (*Amat.*, 38), по поводу истории с Мельфами. О Петре Амальфийском Керулларий писал (PG, CXX, 785; *Will*, 175), что за пять лет до посольства в Рим он был удален с кафедры и все время находился в изгнании.

подробно изложат легаты, папа заявляет, что если патриарх Константинопольский окажется упорным, то мира он не получит, «надеемся, однако же, — прибавляет папа, — что по милости Божией найден он будет легатами невинным, или же будет ими исправлен, скоро уступив убеждениям, и сделается не таким, каким рисует его молва, но каким для нас желательно, чтобы он был».[1] В письме к Керулларию папа повторяет те же обвинения против патриарха, высказывает изумление по тому поводу, что патриарх выступил гонителем Латинской церкви, стал подвергать анафеме и возбуждать публичное преследование против всех принимающих таинство Евхаристии на опресноках, из-за суетного тщеславия и превозношения старается подчинить своей власти патриархов Александрийского и Антиохийского, вопреки их древним привилегиям. Приведя эти обвинения, почерпнутые из слухов, папа приводит еще одно обвинение, заимствованное из того же источника и сходное с обвинением, предъявленным некогда папством патриарху Фотию: «Говорят, что ты неофит, взошел на епископство не по церковным степеням (non gradatim)». Два обвинения извлечены, наконец, из самого письма Керуллария. Присвоение Константинопольским патриархом себе титула «Вселенский» папа называет святотатственной узурпацией; всего бы приличнее, говорит он, назваться таким именем апостолу Петру; но поскольку ему титул не был усвоен, то ни он, ни его преемники так не назывались, когда же Константинопольский патриарх Иоанн присвоил себе этот титул, он был в этом обличен Пелагием II и Григорием Великим. В выражении Керуллария, что если бы папа почтил его в одной своей Церкви, патриарх прославил бы за это его имя в Церквах всей Вселенной, Лев IX усмотрел преступное умаление достоинства Римской кафедры: «Что это за нелепость? — спрашивает папа. — Разве Римская церковь, глава и мать Церквей, не имеет членов и дочерей? Если бы не имела, то разве возможно было бы называть ее главой и матерью? Мы веруем, говорим и с твердостью исповедуем: Римская церковь не изолирована (sola) или, как ты говоришь, не одна (una), и если где-нибудь во Вселенной какой-нибудь народ надменно разногласит с ней, он уже не может назваться и считаться Церковью, — это уже сборище еретиков, сходбище схизматиков и синагога сатаны». «Мы, — продолжает папа, — не можем иметь никакого мира с упорными и непреклонными в заблуждении, да не приобщимся деяниям злых! Итак, да престанут ереси и расколы, и да не будет впредь для возлюбивших закон Господень соблазна, но мир мног, а кто хвалится именем христианина, да перестанет злословить и терзать святую римскую апостольскую Церковь.

[1] PL, CXLIII, 729–780; *Will*, 87–89.

Возлагаем однако же упование на Божественную благость, надеемся, что легаты найдут тебя невинным и исправившимся, или что по их внушениям скоро исправишься. Если это будет достигнуто, то мир наш не возвратится к нам, но на тебе почиет, как на сыне мира, и воцарится между нами братская любовь с чистым сердцем, доброй совестью и верой не ложной (*1 Тим.* 1, 5), и не будет тебе надобности нас умолять,[1] но будешь приказывать. Содействуй в этом, как ты начал — и два величайших царства соединятся в желанном мире».[2] В письме к Петру Антиохийскому, отправленном в ответ на известительное послание последнего, папа приветствует его со вступлением на кафедру, хвалит за то, что он изложил свою веру перед первым апостольским престолом Римской церкви, которая есть глава всех Церквей и на окончательное решение которой должны поступать важнейшие и труднейшие дела из всех Церквей (ad quam majores et difficiliores causae omnium ecclesiarum difiniendae referantur). Папа приглашает новоизбранного патриарха защищать, в союзе с Римским престолом, честь Антиохийской кафедры, которая получила от Римской церкви и соборов св. отцев третье место, «все же это говорим, — замечает папа, — потому что некоторые, как мы слышали, стараются умалить древнее достоинство Антиохийской церкви». Далее по поводу недоумения[3] Петра Антиохийского относительно причин, вносящих разделение во Вселенскую церковь, папа советует поосмотреться и поискать корни бед у себя. «А мое смирение, вознесенное на вершину апостольского трона для того, чтобы одобрять заслуживающее одобрения и порицать неодобрительное, охотно одобряет, похваляет и утверждает возведение твое в епископство... если только ты возведен не будучи ни неофитом, ни сановником (мирским),

---

[1] Намек на смиренный тон письма Керулларию к папе, которое написано было μετὰ πολλῆς ταπεινοφροσύνης (с великим смирением), по свидетельству самого Керулларию (PG, CXX, 784; *Will*, 174).

[2] PL, CXLIII, 774–777; *Will*, 89–92.

[3] Νύκτωρ τὲ μεθ' ἡμέραν ἔστρεφον κατὰ νοῦν, τίς ὁ λόγος τῆς ἐκκλησιαστικῆς διαστάσεως, ἵνα τὲ ὁ τοῦ μεγάλου Πέτρου διαδοχος ὁ τῆς πρεσβυτέρας ῥώμης ποιμὴν τοῦ θείου τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ σῶματος διασχίζοιτό τε καὶ διατέμνοιτο καὶ μὴ σημμετέχει τοῖς προεστῶσι τόυτων τῶν θεϊκῶν βουλευμάτων καὶ τὰς ἐκκλησιαστικας συνδιαφέροι φροντίδας, *ἀνὰ μέρος καὶ αὐτὸς ἀποστολικῶς ὑπ' ἐκείνων χειραγωγοῦμενος* (я денно и нощно размышлял, какова причина церковного раскола, из-за которого преемник великого Петра, пастырь Старшего Рима будет отлучен и отсечен от божественного тела Церквей, не будет участвовать вместе с их предстоятелями в решении Божиих дел, не разделит с ними церковные заботы, порой и сам руководимый ими по-апостольски). Из известительного послания Петра Антиохийского, рукопись Моск. Синод. библ. № 509 (найдено проф. И. Е. Троицким).

ни двоеженцем и не за деньги, либо иным каким противным священным канонам способом».[1] Из всех трех писем видно, что папские легаты отправлялись в Константинополь далеко не с теми чувствами братской любви и уважения к правам Константинопольской кафедры, которые Керулларий считал непременным условием доброго согласия. Римский престол в гордом самомнении о своих преимущественных правах, о которых и Лев IX, подобно папе Николаю, говорит языком лже-Исидоровых декреталий, с прибавлением еще лже-Константиновой донации, выступал не как равный с Константинопольским престолом по власти, но как судья, вершитель всех важнейших церковных дел и источник всякой церковной власти. Константинопольской церкви предлагался мир, но лишь под условием отречения от прав, принадлежавших Константинопольской кафедре, и признания папского главенства, под тем же условием, которое заявлялось еще при Фотии, хотя не с такой резкостью; от Керуллария требовалось, чтобы он с покорностью явился перед трибуналом трех папских легатов как подсудимый, доказал, что он не неофит, латинян за опресноки не преследовал, церквей их не закрывал, притязаний на предпочтительную власть, сравнительно с другими патриархами, равно как на титул «Вселенского», не питал, Римскую церковь считать матерью и главой всех Церквей никогда не переставал, если же Керулларий повинен в каком-нибудь из этих грехов, то чтобы смиренно выслушал наставление папских легатов, покаялся и анафематствовал тех, которые впредь в этих грехах будут повинны, — и все это требовалось от того патриарха, который имел такое возвышенное представление о своем патриаршем достоинстве, как о достоинстве выше царского, и который так был непреклонен и строг в охранении чести своей как патриарха. Нужно было слишком много самообольщения со стороны Рима, чтобы не видеть, что легатам нечего ездить в Константинополь, и что свой мир они привезут обратно.

Письмо папы к Керулларию датировано январем 7-го индиктиона. Это показывает только, что легаты были посланы не ранее января 1054 г. Но когда именно они выехали, неизвестно; известно только, что перед отплытием они побывали в Монтекассинском монастыре, где просили напутственных молитв у монахов,[2] летом прибыли в Константинополь, торжественно въехали в столицу в преднесении креста и жезлов,[3] помещены во дворце Пиги и 24 июня действовали против Никиты Стифата.[4] Достоверно не

[1] PL, CXLIII, 769–771; *Will*, 168–170.
[2] *Leo Ost.*, 686.
[3] PG, CXX, 788; *Will*, 177.
[4] PL, CXLIII, 1001.

знаем, сколько они до этого дня (24 июня) прожили в Константинополе. Понятно, путь их в Константинополь не мог продолжаться полгода, они или позже января выехали из Италии, или раньше июня прибыли в Константинополь, или то и другое вместе. Одно обстоятельство может наводить на догадку. Папа Лев IX жил в Беневенте до 12 марта 1054 г. Затем отправился в Рим, где и умер 19 апреля того же года. Если бы смерть папы застигла легатов в Италии, то судя по аналогичным примерам (из которых об одном у нас речь будет ниже), это задержало бы их, а может быть повлияло бы и на отмену посольства. Необходимо предположить, что они отплыли из Италии при жизни Льва. С другой стороны, есть прямое указание, что вся деятельность легатов в Константинополе падает на время после смерти папы.[1] Сближая одно с другим и отчисляя нужное время на проезд, можем сделать вывод, что легаты отплыли из Италии в середине апреля, прибыли в Константинополь в мае, смерть папы произошла, когда они находились в пути, но весть о ней не могла их догнать и получена ими лишь в Константинополе. Хотя отправление посольства решено было еще в январе, но время от января до апреля прошло в сборах, посещении монастырей и других делах, май и начало июня употреблены были легатами в Константинополе на составление сочинений и пр. Если бы не Лев IX, покорное орудие в чужих руках, отправил легатов, и если бы должность легатов исправляли другие лица, а не руководители папской политики, то ничего нет невероятного, что получение известия о смерти папы даже после прибытия к месту назначения могло бы повлиять на выполнение поручения, отразиться отсрочкой его или чем-нибудь подобным. Но Гумберт, Петр и Фридрих, хорошо знакомые с программой реформационной партии, руководившей церковными делами на Западе, не нуждались в новых указаниях насчет того, как поступать, и пренебрегая приличиями, принятыми в процедуре международных сношений, решились довести дело до конца, несмотря на то, что государь их сошел в могилу, а преемника ему еще не существовало (Виктор II интронизован лишь 13 апреля 1055 г.). Для Керуллария, воспитанного на византийской формалистике и этикете, трудно было понять, чтобы посол мог существовать без пославшего, уполномоченный — без лица уполномочившего, и он был убежден, или по крайней мере других хотел убедить, что легаты были не настоящими, а самозванными послами папы Льва. Составлена была целая легенда, в которой первая роль принадлежала личному врагу Керуллария, дуке Аргиру, а именно, что коварный латинянин Аргир, желая произвести соблазн и скомпрометировать

[1] В письме Петра Антиохийского. См.: PG. CXX, 796; *Will*, 190: καὶ ταῦτα τοῦ πάπα τὸν βίον καταστρέψαντος (<произошло> это, когда папа уже окончил жизнь).

патриарха, получив от вестиарита его письмо к папе, снял печать, прочитал его, составил на него ответ патриарху, как будто от имени папы, склонил на свою сторону экс-архиепископа Амальфи и еще двух, из которых один назвался архиепископом (кардинал-епископом), хотя нигде не архиерействовал, а другой канцлером, и отправил их в Константинополь. Керулларий приводил и доказательства: во-первых, сходство между содержанием письма к нему папы и речами Аргира (во время пребывания его в Константинополе), во-вторых, подделка печатей на письмах, принесенных легатами в Константинополь.[1] Происхождение этой легенды следует искать не в чем ином, как в тех исключительных условиях, при которых легатам приходилось отправлять свое посольство, в том, что их деятельность в Константинополе пала на время междупапствования.

Легаты принесли в Константинополь кроме двух писем папы к Мономаху и Керулларию еще ответное письмо папы на послание Льва к Иоанну Транийскому, содержание которого передано выше. Об этом говорит сам папа в письме к Керулларию, в котором, сделав несколько кратких заметок об опресноках, прибавляет: «Но поскольку об этом, как и о других нареканиях твоих, ты пространнейше получишь наставление через другое наше сочинение (per alia scripta nostra) от наших нунциев, которые его несут, то здесь достаточно коснуться кратко».[2] Правда, это место возбуждает недоразумение. Ответ на послание Льва Охридского не заключает опровержения других нареканий, кроме направленных против опресноков, да и об опресноках сказано не более, чем в письме к Керулларию; кроме того, в ответе на послание Льва Охридского папа дал обещание представить обстоятельное опровержение спорных пунктов, указанных в послании. Такое опровержение до нас сохранилось под заглавием: Dialogus.[3] Автор, под формой разговора между константинопольцем и римлянином, дает ответ на возражения Льва Охридского; константинополец приводит текст послания, а римлянин на каждый пункт делал опровержение. Гизебрехт[4] полагает, что этот диалог составлен папой Львом и... именно он имеется в виду в вышеприведенном месте письма к Керулларию, а Гфрёрер,[5] не опровергая принадлежности его кардиналу Гумберту, под именем которого он значится в рукописях и изданиях, полагает только, что он был изготовлен Гумбертом до отъезда легатов из

[1] PG, CXX, 785–788; *Will*, 175–177, 185.
[2] PL, CXLIII, 776; *Will*, 91.
[3] PL, CXLIII. 929–974; *Will*, 92–126.
[4] Kaiserzeit, II, 668.
[5] Kirchengeschichte. III, 317.

Италии и уже привезен ими в Константинополь. То и другое мнение противоречит документальным показаниям. В докладной записке сказано: «Написанное теми нунциями (scripta eorundem nuntiorum) против различных клевет греков и особенно против писания Михаила, епископа Константинопольского, и Льва, митрополита Охридского, и монаха Никиты, было переведено, по приказанию императора, на греческий язык и доныне хранится в том городе»,[1] а биограф папы Льва говорит: «Вышеназванный брат Гумберт издал против их бесстыдного писания ответ, под формой диалога, написанный им по-латыни во время пребывания в Константинополе в качестве апокрисиария и изданный по-гречески по приказанию благочестивого и православного императора Константина Мономаха, под именами константинопольца и римлянина, в 1054 г.».[2] Таким образом, одно показание говорит, что опровержение послания Льва Охридского написано кем-то из легатов, а другое, что оно написано именно Гумбертом, в бытность его в Константинополе, и вышло из его рук или, по крайней мере, из рук греческого переводчика, работавшего, без сомнения, под его надзором, в той форме, в какой диалог дошел до нас, т. е. в нем беседуют константинополец и римлянин. На этом свидетельстве источников можем и остановиться, понимая под сочинением, упомянутым в письме папы к Керулларию, не диалог, но ответное письмо папы на послание Льва Охридского. В крайнем случае, если необходимо устранить вышеуказанное недоразумение, можем допустить такую комбинацию, что действительно папа составил более тщательное опровержение послания Льва Охридского и вручил его легатам, но так как оно не удовлетворяло, по взгляду Гумберта, полемическим требованиям, между тем папы уже не было в живых и церемониться с его произведением Гумберт не считал нужным, то, находясь в Константинополе, он его совершенно переработал и издал под своим именем.

Диалог посвящен рассмотрению четырех пунктов разностей, указанных в послании Льва Охридского: а) о совершении Евхаристии на опресноках, б) посте в субботу, в) едении удавленины и г) непении аллилуйи во время Великого поста.[3]

---

[1] PL, CXLIII, 1001; *Will*, 151.

[2] *Wiberti*, 296.

[3] Относительно первого пункта, на котором Гумберт останавливается по преимуществу, он указывает основания для обычая Западной церкви совершать Евхаристию на опресноках в том, что на опресноках совершена Тайная вечеря Христом Спасителем. К этому главному основанию присоединяет еще соображения, что опреснок, приготовляющийся лишь из чистой муки и чистой воды, с помощью

Опровергая нападения греков с помощью Священного Писания и других средств, бывших у него в распоряжении, Гумберт, в свою очередь, выдвигает в этом сочинении обвинения против греков: что они перекрещивают переходящих к ним латинян, отказывают в крещении детям до истечения восьми дней после их рождения, отчего множество новорожденных, умирая, навеки погибает, разрешают женатым священникам переходить от общения с женами прямо к служению алтарю, не дозволяют вкушать Евхаристию роженицам и женщинам, находящимся в периоде месячного очищения, носить штаны и есть мясо вменяют монахам в больший грех, чем прелюбодействовать.

Легаты нашли себе в Константинополе нового литературного противника в лице Никиты Стифата. Он написал сочинение «Об опресноках,

---

огня, чище, чем квасный хлеб, который заключает в себе вещества нечистые и испорченные, что опреснок, слагающийся из трех элементов, муки, воды и огня, важен по своему таинственному значению, так как указывает на три лица Св. Троицы, между тем как квасный хлеб, заключающий пять элементов (кроме названных трех еще закваску и соль), такого значения не имеет. Доказательство противников, выводимое из этимологии слова ἄρτος, опровергает тем, что как в Ветхом, так и в Новом Завете слово ἄρτος употребляется и для обозначения опресноков. По второму пункту Гумберт на упрек греков против латинян за приверженность к иудейству, обнаруживающуюся в субботнем посте, отвечает, что латиняне в субботу занимаются работой и постятся в знак печали, потому что в тот день Господь умер и погребен; в этом нет иудействования, так как иудеи прекращают работу и празднуют субботу как день радостный, — делают точно то же, что и греки, на которых поэтому и должен обратиться упрек в иудействовании. По третьему пункту, о едении удавленины, Гумберт объясняет грекам, что едение удавленины воспрещено Моисеевым законом, а не Евангелием, и христиане не обязаны следовать ветхозаветным предписаниям о пище. На возражение, что апостолы соблюдали ветхозаветные законы о пище, он отвечает уподоблением, показывающим, что он смотрел на апостольский период как на переходное время от Ветхого к Новому Завету, установлениям и практике того времени придавал значение преходящее; как во время утреннего рассвета мрак борется со светом и глаз направляется то туда, то сюда, так и апостолы, пока они пребывали в иудействе, хотя и были возбуждаемы ясным светом Евангелия, однако же не вполне еще были им объяты и по некоторым вопросам были прикрываемы подзаконным мраком. Что касается, наконец, последнего пункта, непения аллилуйи во дни Четыредесятницы и пения ее лишь на Пасху, Гумберт говорит, что латиняне не только в Пасху поют аллилуйю, но и в другие дни года, за исключением девяти недель, в которые не поют, следуя обычаю предков и руководствуясь тем, что аллилуйя есть песнь радости, не приличествующая постному времени.

субботнем посте и браке священников».[1] Написал, по-видимому, после прибытия легатов в Византию; потому что делает в самом начале обращение к римлянам, всех народов мудрейшим и знаменитейшим (o omnium gentium sapientissimi et nobilissimi Romani), а в конце обращается в частности к мужам из римлян мудрейшим и у всех других народов знаменитейшим (o viri Romanorum sapientissimi et omnium aliarum gentium nobilissimi), и приветствует их во Христе Иисусе (salutamus vos in Christo Iesu Domino nostro), — тем как бы намекает на легатов Римского престола, которым он, вместо приветствия, преподносил полемический трактат. Заглавие сочинения не исчерпывает вполне его содержания. Кроме опресноков и субботнего поста, которые были затронуты в послании Льва Охридского, кроме безбрачия священников (пункт сравнительно с посланием Льва Охридского новый,[2] прибавленный Никитой Стифатом), он обратил внимание еще на один пункт — о времени совершения литургии в Четыредесятницу.[3]

---

[1] *Niceta presbyter et monachus* monasterii Studiorum, qui praenominatur Pectoratus, Romanis de azymis et sabbatorum jejuniis et nuptiis sacerdotum. См.: PG, CXX, 1011–1022; *Will*, 127–136.

[2] Хотя при Фотии затронутый, следовательно, не новый вообще.

[3] Центральным аргументом полемики Стифата служит ссылка на Шестой Вселенский собор (т. е. Трулльский), которые тем более должен быть авторитетен для римлян, что проходил под председательством папы Агафона, и который сделал неблагоприятные для римских обычаев постановления о евхаристийном хлебе, посте в субботу, преждеосвященных дарах и браке священников. Этот аргумент преобладает, другие его восполняют. В частности, относительно опресноков Стифат объединяет доказательства, о которых уже знаем из посланий Льва Охридского и Петра Антиохийского. О латинянах говорит, что, употребляя опресноки, они находятся под иудейским законом; об их опресноке — что он неодушевлен и не может быть видом истинного и живого Тела Господня, что он, как несовершенный и неполный, не указывает, подобно квасному хлебу, на находящиеся в Теле Христовом дух, воду и кровь. Как бы в ответ на диалог Гумберта, показывает неосновательность аргумента, заимствованного от элементов, составляющих опреснок, потому что апостол (*Ин.* V, 8) не сказал, что мука, вода и огонь свидетельствуют о Христе, видеть же в этом указание на Св. Троицу значит повторять ересь тех, которые говорят, что страдал Бог (троичный), а не второе только лицо Св. Троицы. Положительные доказательства против опресноков и в пользу употребления квасного хлеба указаны в том, что Христос совершил Тайную вечерю 13 ниссана, когда иудеи вкушали еще квасный хлеб, а не опресноки, и в 11-ом правиле Шестого Вселенского собора. Неуместность поста в субботу доказывается у Никиты Постановлениями апостольскими (№ 69) и правилами Трулльского собора (№ 66), неуместность совершения полной литургии во

Во время пребывания папских легатов в Константинополе написан «Ответ, или Возражение против книги Никиты Стифата».[1] Об авторе этого произведения существуют разные мнения. В самом произведении есть три места, в которых заключается указание на автора. Самое важное место то, где говорится: «Это в достаточной мере показано в предшествующем нашем повествовании (in superiori nostra narratione), в котором мы хотели опровергнуть твоих сообщников и единомышленников, Михаила Константинопольского и Льва Охридского».[2] В других двух местах говорится просто «о другом послании» (in alia nostra epistola) и «о тщательном рассуждении в другом месте» (alias copiose dissernimus). Так как диалог в опровержение Льва Охридского и Михаила Константинопольского написан Гумбертом, то из этих мест открывается, что и ответ Стифату составлен им же. Но наряду с этим есть другие данные. Выше (по поводу «Диалога») приведено место из докладной записки, в котором сочинения против Льва Охридского и Михаила Константинопольского и против монаха Никиты называются произведениями нунциев — scripta nuntiorum, а не нунция, из чего следует, что поскольку одно сочинение (против Михаила и Льва) написано кардиналом Гумбертом, то другое должно считаться написанным каким-нибудь другим легатом, или если Гумбертом, то не им одним, но в сотовариществе с Петром Амальфийским или канцлером Фридрихом. В разъяснение этого у биографа папы Льва IX, вслед за сообщением о том, что Гумберт написал «Диалог», читаем: «Также и господин Фридрих, в то время канцлер, а потом богоизбранный наместник апостольского Римского престола, ответил на некоторые возражения, которые издал против Латинской церкви константинопольский монах Никита, называемый также Пекторатом, в книге, озаглавленной: Об опресноке, субботе и браке священников».[3] Таким образом получаются два одинаково прочных основания для суждения о принадлежности сочинения Фридриху и Гумберту. Некоторые ученые (Гефлер,[4] Гизебрехт[5]) держатся взгляда, что автором

все дни Четыредесятницы — правилами соборов: Гангрского (№ 19), Лаодикийского (№ 48, 52), Шестого Вселенского (Трулльского) (№ 52), неправильность безбрачия священников — Апостольскими постановлениями, правилами (Трулльского) Шестого Вселенского собора (№ 13). В сочинении Никиты Стифата господствует приличный и почтительный тон, составляющий резкую противоположность тону опровержения, написанного против этого сочинения.

[1] PG, CXX, 1021–1038; *Will*, 136–150.

[2] PG, CXX, 1023; *Will*, 137.

[3] *Wiberti*, 296.

[4] Die deutsch. Päpste, II, 224.

[5] Kaiserzeit, II, 668.

был Фридрих, но большинство (в том числе и Вилль[1]) считают автором Гумберта. Однако же ни при том, ни при другом взгляде невозможно согласовать двух разноречивых показаний, достоверность которых стоит вне сомнения, из которых одно почерпается из содержания сочинения, другое — из докладной записки (авторитет Виберта уступает сравнительно с ними в ценности, так как он в зависимости от докладной записки). Единственный способ согласования показаний, при котором к тому же и свидетельство Виберта получает свое место, — предположить, что ответ Никите Стифату составлен совместными трудами двух легатов — кардинала Гумберта и канцлера Фридриха. Сущность возражения против книги Никиты такова: Никита извращает или неправильно понимает и применяет тексты Свящ. Писания и соборные правила и приводит не имеющие цены доказательства из апокрифов. Противники Никиты оказываются сильнее его по полемическому таланту, но далеко уступают ему в чувстве приличия, обрушиваются на несчастного монаха потоком ругательств, которые оставляют невыгодное впечатление относительно благовоспитанности сановников Римской церкви.[2]

---

[1] *Will*, 136.

[2] В частности, по вопросу об опресноках легаты указывают на искажение Никитой текста *Мк.* VIII, 15, неправильное понимание и применение *1 Ин.* I, 6; II, 7 и 11-го прав. Шестого Вселенского собора. Оставляя без внимания аргументы противника, которые имеют сходство с аргументацией Льва Охридского, рассмотренной в «Диалоге» (причем отсылают к «Диалогу»), легаты несколько останавливаются на аналогии между элементами хлеба с одной стороны, и кровью, водой и духом в Теле Христовом — с другой, и говорят, что верх нечестия утверждать, будто на кресте, когда из ребра Христова истекли кровь и вода, оставался в теле и дух, так как отсюда следует, что Христос не умер, поэтому и не воскрес, поэтому и вера наша тщетна; Христос был мертв, не был теплым, отсюда неверно также, что из ребра его истекла теплая кровь и вода. По вопросу о посте в субботу показывается подложность приведенного правила из Постановлений апостольских, ошибочность мнения, будто папа Агафон председательствовал на Шестом Вселенском соборе (а не легаты его), и неправильное усвоение этому собору не принадлежащего ему постановления о субботнем посте. По вопросу о времени совершения литургии правильность латинского обычая выводится из свидетельства *Деян.* II, 42 о каждодневном преломлении хлеба и из отсутствия определенных постановлений о часе, когда следует совершать бескровную жертву. Кстати исчисляются некоторые грехи греков: что они к жертвенному хлебу относятся крайне небрежно, роняют крупицы, вдавливают хлеб в чашу руками, оставшееся выбрасывают, если некому съесть, после вкушения Тела Христова прямо приступают к обыкновенной пище. По вопросу о браке священников легаты усматривают в своем

Прием, оказанный папским легатам в Константинополе правительством светским и церковным, был неодинаков. Правительство Мономаха было утешено письмом папы и в надежде на благополучный исход своих планов, основанных на содействии папы, избрание которого ожидалось и действия которого, как предполагалось и как без сомнения заверяли легаты, будут тождественны с действиями папы Льва IX, выказывало им знаки своей благосклонности. Но Керулларий стал в иное к ним отношение с самого того момента, как обнаружилась непримиримая противоположность точек зрения и принципов, на которых стоял он и стояли легаты. Противоположность же сделалась ясной с первой аудиенции. Патриарх принял легатов, окруженный митрополитами и епископами, в ожидании, что легаты поведут себя скромно, займут место в ряду епископов, патриарху отдадут должную честь. Но они вошли с величественной гордостью, не как низшие, даже не как равные с патриархом, но как повелители, имеющие власть над патриархом. Вместо того чтобы исполнить долг вежливости и поклониться патриарху, они надеялись видеть патриарха и весь собор у своих ног. Когда же надежда их обманула и патриарх, вместо того чтобы торопливо очистить им председательское кресло, указал легатам место в ряду епископов, которое им следовало по сану, они высокомерно вручили ему папское письмо, развернулись и, не сказав ни слова, вышли из собрания.[1] Содержание папского письма должно было раскрыть Керулларию глаза на поведение папских легатов. Он понял, что никакое соглашение невозможно, и решился не иметь с ними никакого дела. Впоследствии он объяснял свое решение тем, что не считал уместным вести переговоры с уполномоченными Римского престола о предметах

противнике приверженность к ереси николаитов, заявляют о подложности приведенного им Постановления апостольского и доказывают правильность безбрачия местами Свящ. Писания (*Мф.* XVI, 24; *Откр.* II, 6; XIV, 15), постановлением Никейского собора и посланиями пап: Иннокентия, Сириция и Льва. При этом легаты считают нужным исправить неверные представления греков о практике Римской церкви по этому предмету и говорят, что у латинян никогда не бывает так, чтобы после рукоположения муж разлучался с женой, так как даже в сан субдиакона женатые не посвящаются; в Римской церкви дозволяется иметь жену остиариям, лекторам, экзорцистам и аколитам, кроме тех из них, которые состоят в монашестве или предпочитают воздержание, — если же кто желает быть возведен в субдиаконы, то предварительно разлучается с женой с ее согласия, после чего ни он, ни она, под страхом анафемы, не могут иметь плотского общения, кроме того, жена не может выйти замуж за другого.

[1] PG, CXX, 785–788; *Will*, 177.

первой важности без участия Антиохийского и других патриархов, как требовал издревле установившийся церковный обычай,[1] но и без этого объяснения все понятно. Дальнейшее время проходило в бесплодном ожидании: легаты ждали, когда покорится патриарх, патриарх — когда смирятся легаты. Ни те, ни другой ничего не дождались. Легаты имели одно только утешение — видеть унижение бедного студийского монаха, достигнутое с помощью светской власти. 24 июня они прибыли в Студийский монастырь, куда явился также император со своими приближенными, и потребовали, чтобы Никита Стифат анафематствовал свою книгу «Об опресноках, субботе и браке священников». Поскольку император поддержал требование, то Никита не посмел отказаться, а затем книга была торжественно сожжена и все разошлись. На другой день эта трагикомедия доиграна: Никита отправился из Студийского монастыря во дворец Пиги, местожительство легатов, получил от них объяснение недоумений, о которых он писал в книге, опять анафематствовал все им написанное и был принят легатами в церковное общение. Предав огню произведение защитника греческих обрядов, легаты позаботились о том, чтобы сделать доступным для греков оправдание латинских обрядов, и переводчикам Павлу и его сыну Смарагду приказано было перевести с латинского на греческий язык «Диалог» Гумберта и ответ Стифату Гумберта и Фридриха.

Между тем время проходило, а Керулларий не обнаруживал желания уступить. Тогда легаты решились нанести ему удар как нераскаянному и упорному противнику папства. 16 июля 1054 г., в девять часов утра, когда духовенство и народ собирались в храме Св. Софии к богослужению и были уже в сборе все седмичные иподиаконы, явились в храм легаты и на глазах всех положили на св. престол следующий акт отлучения: «Гумберт, Божией милостью кардинал-епископ святой Римской церкви, Петр, архиепископ Амальфи, Фридрих, диакон и канцлер, — всем сынам кафолической Церкви. Святой Римский первый и апостольский престол, которому, как главе, принадлежит преимущественная забота о всех Церквах, ради церковного мира и пользы, удостоил нас назначить своими апокрисиариями в этот царствующий град, дабы мы, по Писанию, сошли и видели и его известили, отвечает ли самое дело, или нет, тому шуму, который непрерывно доносится до его ушей из этого города. Итак, да знают прежде всего славные императоры, клир, сенат и народ этого города, Константинополя, и вся Церковь кафолическая, что мы здесь узнали великое добро, сильно радующее нас о Господе, и величайшее зло, — горестно

[1] PG, CXX, 816; *Will*, 186.

печалящее. Ибо что касается столпов Империи и почтенных ее, мудрых граждан, то государство это — христианнейшее и православное. Но что касается Михаила, неправильно именуемого патриархом, и приспешников его безумия, то в его среде ежедневно рассеваются плевелы крайних ересей. Как симониане, они продают дар Божий; как валезиане, пришельцев своих делают евнухами и не только допускают в клир, но возводят в епископство; как ариане, перекрещивают во имя Св. Троицы крещеных, особенно латинян; как донатисты, утверждают, что за исключением Греческой церкви, церковь Христова, истинное священнодействие и крещение погибли во всем мире; как николаиты, допускают и требуют плотского брака для служителей священного алтаря; как севериане, порицают закон Моисеев; как духоборцы и богоборцы, исключили из Символа исхождение Св. Духа от Сына; как манихеи, говорят между прочим, что все квасное воодушевлено; как назореи, соблюдают плотскую чистоту иудеев до такой степени, что не допускают крещения умирающих младенцев раньше восьми дней от рождения, женщин в периоде очищения и рожениц воспрещают причащать и, если они язычницы, крестить; сами взращивая волосы на голове и бороде, не принимают в общение тех, которые постригают волосы и, по установлению Римской церкви, бреют бороду. По поводу этих заблуждений и других многих деяний Михаил пренебрег увещаниями в письме господина нашего, папы Льва. Сверх того когда мы, его нунции, хотели благоразумно прекратить причины стольких зол, он отказывался видеться и говорить с нами, отказал нам в церквах для совершения литургии, равно как и прежде запер церкви латинян и, называя их азиматами, всюду преследовал словом и делом, дойдя до того, что анафематствовал апостольский престол, в лице его сынов, и, в противность ему, доныне пишется Вселенским патриархом. Поэтому мы, не вынеся неслыханного пренебрежения и обиды для святого первого апостольского престола и всемерно стараясь поддержать кафолическую веру, властью Святой и Нераздельной Троицы и апостольского престола, легацию которого исполняем, всех православных отец седьми соборов и всей кафолической Церкви, подписываем анафему, возвещенную господином нашим, преподобнейшим папой, Михаилу и его последователям, если не исправятся, тако: Михаилу, лже-патриарху, неофиту, страха ради человеческого восприявшему одеяние монашеское и ныне опозоренному злейшими преступлениями, а с ними Льву, именующемуся Охридским епископом, и сакелларию Михаила Константину, который мирскими ногами попрал жертву латинян, и всем последователям вышеназванных их заблуждений и дерзостей, анафема маранафа с симонианами, валезианами, арианами, донатистами, николаитами, северианами, духоборцами,

манихеями, назореями и со всеми еретиками, купно со диаволом и аггелами его, если только не обратятся. Аминь, аминь, аминь». Выйдя из храма, легаты отрясли прах от ног своих, произнося слова Евангелия: виждь Боже и суди (*Мф.* X, 14), затем сделали распоряжения насчет латинских церквей в Константинополе, получили прощальную аудиенцию у императора, причем в присутствии императора и его сановников изрекли еще словесно анафему в такой форме: «Кто упорно будет противоречить вере св. Римского и апостольского престола и его жертве, да будет анафема маранафа и да не почитается кафолическим христианином, но еретиком-прозимитом, да будет, да будет, да будет». Мономах со своими приближенными выслушал легатов, одарил их подарками, вручил подарки для доставления престолу св. Петра, назначил Монтекассинскому монастырю ежегодную субсидию из царской казны в две литры золота, и 18 июля легаты оставили Константинополь.[1]

Керулларий доныне молчал. Если бы дело имело характер только церковный, то поведение послов на первой аудиенции, может быть, повело бы к враждебным действиям с его стороны. Но в деле замешаны были и политические интересы, содействовать которым он взялся. Он не находил другого средства примирить интересы политические с церковными, как молчать и заставить легатов уехать ни с чем, без излишнего раздражения. Теперь же, когда легаты позволили себе такой публичный соблазн, к унижению Греческой церкви, в лице ее патриарха, молчать было невозможно, необходимо было защитить честь и права Церкви, забыв политические расчеты. Керулларий выходит из своего бездействия: является на сцену известная легенда об Аргире, выдвигается самое тяжелое оружие в борьбу с римлянами — вопрос о Filioque, по отношению к которому остальные разности получают место лишь аксессуаров, почему в изложении историка, имеющего в виду этот последний момент, они совершенно стушевываются, поводом же к столкновению представляется разность в учении о Св. Троице.[2] С помощью знатоков латинского языка, на котором был написан акт (протоспафарий Косьма, римлянин Пирр, испанский монах Иоанн), он переведен был на греческий язык, и едва прошел день по отъезде легатов, как Керулларий обратился к императору с просьбой,

[1] PL, CXLIII, 1001–1002; *Will*, 151–154; *Leo Ost.*, 686.

[2] *Psell.*, IV, 348: στασιάζει πρὸς τὴν νεωτέραν Ρώμην ἡ πρεσβυτέρα, οὐ περὶ μικρῶν οὐδὲ παρορᾶσθαι ἀξίων, ἀλλὰ περὶ τοῦ πρώτου λόγου τῆς εὐσεβείας, καὶ τῆς περὶ τὴν ἁγίαν τριάδα θεολογίας (Старший Рим спорит с Младшим, и не о чем-то малом, чем можно и пренебречь, а о первоначалах благочестия и о догмате Святой Троицы).

чтобы они были возвращены. Правительство Мономаха поняло эту просьбу так, что патриарх готов уступить требованиям легатов. От имени императора послано было письмо, которое застигло легатов в Селимврии. Легаты, тоже введенные в заблуждение, полагая, что патриарх желает покориться, последовали приглашению императора, — возвратились назад и опять поселились во дворце Пиге. Но не для того Керулларий требовал легатов, чтобы преклониться перед ними и просить прощения, он требовал их к ответу, имея целью утишить ими произведенный соблазн и смыть оскорбление, нанесенное ими Греческой церкви. Им было послано приглашение явиться в тот же храм Св. Софии, где они позволили себе такой дерзкий поступок, отречься и анафематствовать сделанное ими, равно как анафематствовать повреждение Символа веры и извращение учения о Св. Духе. Очередь дошла теперь до легатов — быть подсудимыми. И они, подобно тому, как прежде Керулларий, сочли такую постановку дела ниже своего достоинства и отказались прибыть на собор в храм Св.Софии. Тогда патриарх обратился к императору с требованием, чтобы они были арестованы. Правительство поставлено было в положение крайне щекотливое: с одной стороны, в случае исполнения требования патриарха, грозила опасность политического разрыва с Западом, разрушения планов и надежд, основанных на союзе с папой и германским императором, с другой, в случае отказа требованию, можно было ожидать народного бунта, потому что содержание экскоммуникации сделалось уже известным, православное население столицы пришло в негодование, и Керулларий, пользовавшийся большей популярностью, чем Мономах, мог направить страсти в какую угодно сторону и поколебать самый императорский трон. Правительство в своем затруднении нашло такой исход, который не редкость в подобных случаях: отыскались козлы отпущения, которых судьба сделала почему-нибудь прикосновенными к делу и которые за это должны были нести теперь всю ответственность, а истинные виновники смуты благополучно ускользнули. Легатам было предложено правительством уезжать, и как можно скорее, и они не заставили повторять себе предложение дважды. Между тем несчастные переводчики Павел и Смарагд были ослеплены и пострижены, проживавший в Константинополе зять Аргира, имевший чин вестарха, с сыном своим вестом, брошены в тюрьму, и Мономах отправил с доверенными лицами (экономом монахом Стефаном, заведующим прошениями магистром Иоанном и ипатом философов, вестархом Михаилом Пселлом) письмо к Керулларию, в котором извещал, что все виновники прискорбного волнения в Церкви по заслугам наказаны. В тот же день, когда все это произошло, 20 июля 1054 г., составился синод в патриаршем секрете в присутствии

уполномоченных императора, обстоятельства дела рассмотрены, акт отлучения прочитан и произнесена анафема как против самого акта, так и его составителей. Синодальное определение было затем разослано восточным патриархам с приглашением их присоединиться к решению. Папские легаты благополучно прибыли в Италию, но здесь ожидало их неприятное приключение, — Трасмунд, граф Театинский, проведав, что они везут из Константинополя ценные подарки, сделал нападение, отнял у них все и отпустил с пустыми руками.[1]

Так совершился прискорбный факт церковного разделения, подготовленный столетиями. Керулларий менее других повинен в этом факте, и если уж необходимо привлекать деятелей к историческому суду, то обвинительный приговор должен лечь на заправителей политики (папской и византийской) — на Гильдебранда, Гумберта, Фридриха, Петра Амальфийского с одной стороны, Иоанна Логофета и его клевретов — с другой.

Впрочем, и после формального разделения Церквей не иссякло чувство и сознание церковного единства в лучших представителях как Восточной, так и Западной церкви. Выразителями этого примирительного направления были на Западе Доминик Градский, на Востоке — патриарх Антиохийский Петр, письмо которого к патриарху Керулларию, отправленное в конце 1054 или начале 1055 г. (после формального разделения Церквей, но раньше вступления на папский престол преемника Льва IX), всегда будет привлекать внимание как замечательнейший памятник в этом отношении. Это письмо было ответом на одно из писем Керулларя, посланных в Антиохию после истории с папскими легатами. Керулларий сообщал патриарху Антиохийскому, что, как он узнал, латиняне кроме опресноков придерживаются еще многих других заблуждений, а именно: едят удавленину, бреют бороду, соблюдают субботу, едят нечистое, монахи едят мясо и свиной жир, в первую неделю Великого поста и в неделю мясопустную едят то же, что и в сыропустную, в среду едят мясо, в пятницу сыр и яйца, а в субботу постятся весь день, в св. Символ делают прибавку «и от Сына», на Божественной литургии возглашают: «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца через Св. Духа», воспрещают брак священников, т. е. имеющим жен не дают священного сана, но требуют от кандидатов священства, чтобы те были неженатыми, позволяют двум братьям жениться на двух сестрах, на литургии во время причащения один из литургисающих, снедая опресноки, дает лобзание остальным, епископы носят на руках кольца в знак обручения, как говорят

[1] PL, CXLIII, 1002; PG, CXX, 737–748, 816–820; *Will*, 152, 155–168, 184–188; *Leo Ost.*, 686.

с их женами, Церквами, ходят на войну, оскверняя свои руки кровью убиваемых, совершая крещение, один только раз погружают во имя Отца и Сына и Св. Духа, после чего наполняют уста крещаемых солью, неправильно читают изречение апостола, вместо: «Малая закваска квасит все тесто» (*1 Кор.* V, 6; *Гал.* V, 9), говорят: «Малая закваска портит все тесто»; не почитают св. мощей, а некоторые — и св. икон, великих отцев Церкви — Григория Богослова, Василия Великого и Иоанна Златоуста — не признают святыми и учения их не принимают.[1] Петр Антиохийский отвечал Керулларию, что из перечисленных им заблуждений одни действительно важны и ни в каком случае не могут быть допущены, другие принадлежат к разряду частных мнений и легко могут быть исправлены, третьи и внимания не заслуживают, до такой степени они безразличны, четвертые, наконец, несправедливо приписаны латинянам. Действительно важное заблуждение — это прибавка к Символу веры слова «и от Сына», сделанная вопреки ясным словам евангелиста Иоанна XIV, 15–17; XV, 26; XVI, 12–15, вероятно, вследствие потери Никео-Цареградского символа во время владычества над Римом вандалов. Не лишено также значения, по мнению Петра Антиохийского, крещение во едино погружение, как принадлежность арианства, и изменение в словах: «един свят...»; однако же первое он считает еще требующим разъяснения, действительно ли придерживаются его латиняне, относительно же второго говорит, что слова «через Св. Духа» можно объяснить и в православном смысле. Несправедливым он считает обвинение латинян в непочитании св. мощей и св. икон. Остальные заблуждения находит ничтожными, или же хотя и требующими исправления, однако же не непременного. В соответствие с этими маловажными уклонениями латинян, Петр Антиохийский указывает на некоторые обычаи и особенности греков, как-то: делание на голове гарары, ношение наручников и наплечников, едение вифинянами, фракийцами и индийцами сорок, галок, горлиц и земляных ежей, едение свиной крови (в колбасах, продаваемых на константинопольском рынке), употребление поясов диаконами Студийского монастыря и пр. Патриарх высказывает такой взгляд, что если латиняне исправят повреждение в Символе, то от них можно ничего больше не требовать, из внимания к тому, что каждый народ дорожит своими обычаями и что в этом случае нужно быть снисходительными ко всем, а тем более к людям, стоящим сравнительно с нами на более низком уровне развития, не способным многого понять. Важно уже и то, что латиняне исповедуют троичного Бога и веруют в домостроительство Воплощения; затем, где

[1] PG, CXX, 789–793; *Will*, 181–183.

нет опасности для веры, нужно поддерживать мир и братское согласие. Петр советует патриарху Константинопольскому, по избрании нового папы, обратиться к нему с почтительным письмом и кротко убеждать его сделать нужные исправления, так как кротостью всего легче привести к раскаянию. «Убеждаю, умоляю, прошу, — писал Петр, — и мысленно припадаю к твоим святительским стопам, чтобы твое боговидное блаженство тщательно применялось к обстоятельствам. Нужно остерегаться, чтобы желая соединить разорванное не произвести еще большего падения. Посмотри, разве не ясно, что от продолжительного разъединения и разногласия между нашими святыми Церквами и этим великим и первым апостольским престолом умножилось всяческое зло в жизни, весь мир в беспорядке, потрясены все царства земли, всюду плач и стенание многое, по стране и в столице постоянный голод и язва, и решительно нигде никакой нет удачи нашим войскам».[1]

Сношения Византии с Римом начались вскоре после разделения и не раз возобновлялись; неизвестно только, происходили ли они по желанию Константинопольского патриарха и в какой мере стороны были расположены вести их в духе кротости, рекомендованной патриархом Антиохийским. Несомненно лишь, что они ни к чему не привели, так как ни папы не отказались от своих идеалов, ни Константинопольские патриархи не поступились своими правами;[2] кроме того ясно, что они велись не исключительно на церковной почве, но вместе и политической, не отличаясь в этом отношении по характеру от сношений, приведших к церковному разделению. Сохранилось известие, что еще папа Виктор II, преемник Льва IX, дал поручение церковного свойства послу Генриха III, Оттону Наварскому, ездившему в Константинополь в 1055 г. В чем оно заключалось, не знаем, но уже подобное совмещение в одном лице свидетельствует о связи его с поручением политическим; не лишено при этом значения, что в том же 1055 г. ездил в Константинополь и Аргир вместе с Барийским архиепископом Николаем.[3] После этого папа Стефан IX снарядил в 1058 г. посольство в Константинополь из новоизбранного Монтекассинского аббата Дезидерия, кардинала Стефана и Майнарда, бывшего потом епископом Сильвы Кандиды. Послам было вручено письмо к императору, из содержания которого мы знаем лишь, что в нем упомянуто было об избрании Дезидерия в аббаты. Послы отправились в монастырь

[1] PG, CXX, 800–812; *Will*, 193–203.

[2] Напр., о титуле «Вселенский» в применении к ним. См.: *Psell.*, IV, 207; *Attal.*, 93.

[3] *Anon. Bar.*, 330.

св. Иоанна in Veneris, чтобы отсюда пуститься в море. Пробыв здесь несколько дней в напрасном ожидании попутного ветра, они отправились в Сипонт, из Сипонта — на корабле в Бари. В Бари опять произошла задержка по случаю неблагоприятной погоды, хотя все было готово к отъезду и Аргир собирался отплыть вместе с ними. Тут произошла смерть папы и посольство расстроилось.[1] О цели этого посольства тоже сведений не имеем. Но можно догадаться, если принять во внимание, что папа Стефан IX — не иной кто, как бывший канцлер Фридрих, легат папы Льва IX в Константинополе, что он перед смертью был озабочен изгнанием норманнов из Италии и для этой цели потребовал деньги из Кассинского монастыря (аббатом которого состоял), что наконец Аргир должен был ехать вместе с послами и, когда посольство расстроилось, сам отправился в Константинополь.[2] Доныне в сношениях Константинополя с Римом не последнее место занимал вопрос о норманнах Италии. Но с тех пор как папа Николай II сблизился с ними, центр тяжести был перенесен на турок. Бароний под 1071 г.[3] приводит известие об отправлении папой Александром II к императору Михаилу Парапинаку Петра, епископа Ананьи, в качестве папского апокрисиария, прибавляя, что Петр прожил в Константинополе целый год и успел снискать благосклонность императора. О цели посольства и здесь неизвестно, но, вероятно, она была тождественна с целью, имевшейся в виду при сношениях того же Михаила Парапинака с папой Григорием VII. В 1073 г. от Михаила Парапинака было прислано с монахами Фомой и Николаем письмо к Григорию и, сверх того, монахам даны устные поручения к папе. Личность монахов не внушила папе доверия, и он в июле того же года отправил в Константинополь легатом Доминика, патриарха Венецианского. Целью посольства было, как говорит папа в письме к императору, восстановление древнего согласия между Римской церковью и ее дочерью, Константинопольской церковью, но о подробностях в письме умалчивается, т. к. легату поручено было передать их императору секретно. Соглашение между папским легатом и императором вероятно состоялось, и папа в письмах к разным лицам, которыми приглашал ополчиться на защиту христианства против неверных, говорил о своем намерении лично идти с войском на Восток для решения религиозных вопросов с греками и армянами. Борьба с Генрихом помешала папе осуществить план и, сблизив с Робертом Гвискаром, сделала врагом Византии. В угоду Гвискару, папа произнес отлучение

[1] *Leo Ost.*, 418–419 (*Muratori*).
[2] *Anon. Bar.*, 331.
[3] Ann. Eccles.

Никифору Вотаниату (1078), принял сторону лже-Михаила VII и содействовал походу Гвискара в Грецию.[1]

Помимо официальных сношений между Римом и Константинополем, не выразившихся никакими осязательными результатами, поддерживалось также до известной степени религиозное общение между народными массами Востока и Запада после церковного разделения. Правда, роль, принадлежавшая некогда Италии, пала вместе с падением в ней византийской власти. Утверждение норманнов в Апулии, Калабрии и Сицилии отдало эти страны в церковную зависимость папы; то, чего папы мечтали некогда достигнуть с греческой помощью, они достигли с помощью норманнов; прилив в эти страны греков прекратился, церковная власть над жителями Апулии, Калабрии и Сицилии, державшимися греческого обряда, перешла в руки подвластных папе латинских епископов;[2] вместе с тем была подготовлена почва падению самого обряда, хотя это падение совершилось медленно, незаметно и в XIV в. не вполне еще закончилось.[3] Однако же древние традиции, установившиеся в Италии путем многовековой власти над ней Византии, продолжали действовать так или иначе, производя тяготение если не Востока к Западу, то Запада к Востоку. Монтекассинский монастырь, равно почитаемый как на Западе, так и на Востоке, пользовавшийся у преемников Мономаха не меньшей, а даже большей благосклонностью, как показывает тот факт, что Михаил Парапинак повысил ежегодную субсидию монастырю из царской казны с двух литр золота до двадцати четырех, с присоединением еще четырех паллиумов,[4] подавал пример уважения к церковной науке и искусству Востока. Аббат Монтекассинский Дезидерий, предприняв работы по отделке и украшению храма, обратился в Константинополь, и там ему были сделаны изящные церковные врата, по образцу виденных им в Амальфи, тоже, очевидно, византийского происхождения, в Константинополе же были выполнены образа для храма, из Константинополя приезжали мастера мозаических работ и украсили храм своими изделиями. Император Роман Диоген охотно удовлетворял просьбы Дезидерия. К прибывшим из Константинополя мастерам аббат отдавал молодых монахов в научение; произведения церковной живописи, вывозимые из Константинополя,

[1] *Jaffé*, II, 31–32, 65, 69, 144–146, 150–151, 163–164, 332, 423, 435.

[2] Так, папа Александр в 1063 г. дал Византию, архиепископу Транийскому, привилегию на церкви и монастыри, как латинские, так и *греческие*, освобождающую от вмешательства светской власти. См.: Prologo, 55–57.

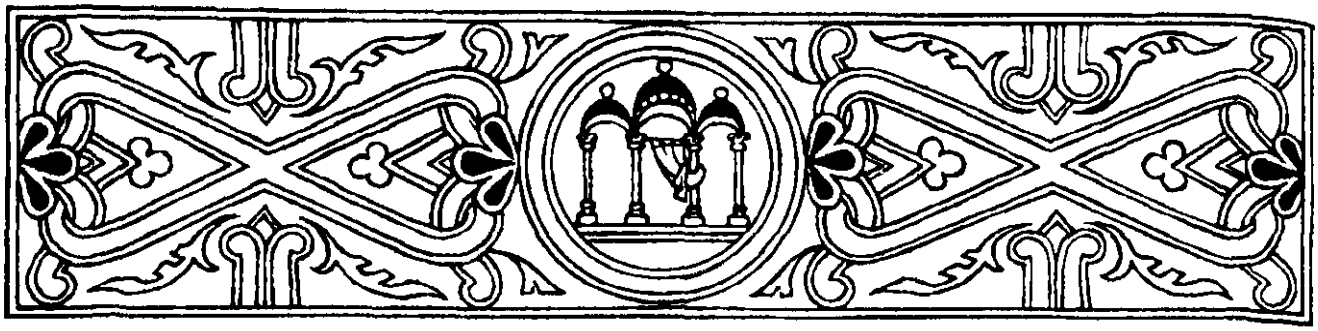
[3] *Dandolo*, 245.

[4] *Petri*, 731.

служили образцами, по которым стали выполнять этого рода работы в монастыре местные художники.[1] Св. Земля по-прежнему была средством сближения Востока с Западом. Религиозное воодушевление, выражавшееся в пилигримствах, все сильнее проникало в народные массы, увлекало к Гробу Господню сотни и тысячи людей. Массы народа с Запада проходили через Константинополь (напр., при Константине Дуке в 1064 или 1065 г. до семи тысяч человек под предводительством одного архиепископа и четырех епископов). Нет спору, соприкосновение народных масс, содействуя ближайшему взаимному ознакомлению их, могло приводить к яснейшему сознанию отличавших эти массы религиозных разностей, бытовых и других особенностей, а через это все более разъединять уже разделенных формальным церковным актом 1054 г. Но могло при этом иметь место и обратное явление, — разности, по крайней мере несущественные, могли сглаживаться, по отношению же к более существенным могла устанавливаться терпимость. Архиепископ Салернский, сопровождавший князя Гизульфа в Константинополь, из Константинополя ездивший в Иерусалим на поклонение Гробу Господню и потом через Константинополь же опять возвратившийся на родину, в Италию, возбудил в Роберте Гвискаре крайнее удивление своей длинной бородой, которую отрастил на Востоке, по примеру греческих епископов, и считал излишним брить по возвращении с Востока, точно он был не салернец, а византиец (comme s' il fust de Costentinoble).[2] Безразличное отношение, обнаруженное архиепископом Салернским по вопросу о бороде, вследствие знакомства с восточными обычаями, легко могло распространяться и на другие пункты разностей, перечисленные Керулларием и другими полемистами, значившие в деле церковного разделения столько же, или почти столько же, сколько вопрос о бритье или небритье бороды.

[1] *Amat.*, 104–105; *Leo Ost.*, 718, 722–723, 431 (***Murat.***).

[2] *Amat.*, 130–131.



Религиозный характер борьбы османских турок с греко-славянским миром (до взятия Константинополя в 1453 году)*

Редкий народ выступал на историческое поприще с такой скромностью и в короткое время делал столько успехов, как османские турки. Когда Осман назвался султаном (1299) и приказал называть государство, основанное им в Ангорской провинции, не иначе как государством османов, никто не предполагал, что это маленькое государство, состоявшее не более как из четырехсот турецких родов, разрастется в течение ста пятидесяти с небольшим лет в громадную империю, столицей которой будет Константинополь. Между тем исторические обстоятельства с необходимостью вели к этому результату. Византия не успела еще оправиться от господства латинян, да, по-видимому, и не заботилась об этом. Все недостатки, исстари, со времен Константина Великого и Юстиниана I, систематически разъедавшие государственный организм, продолжали существовать в полной силе: та же отчужденность правительства от народа и эксплуатация последнего первым, гнет фискальный, гнет административный, деморализация нравственная и обеднение материальное, разъединение национальное и религиозное... У византийских императоров не было ни денег, ни войска, ни флота, не было средств укрепить границы Вифинии и содержать здесь гарнизоны, а между тем они затевали внутренние смуты и вступали во враждебные отношения к соседям — сербам и болгарам, для чего всюду искали себе помощи, покупая ее ценой человеческих душ собственных подданных. В то же время османы представляли из себя народ, сплоченный в одно целое единством религиозных воззрений и форм, проникнутый одним стремлением и воодушевленный

---

* Впервые напечатано в журнале «Христианское Чтение». 1878. Вып. 3–4. С. 445–480.

фанатизмом. Престол в государстве османов занимали султаны даровитые, умевшие сообщить вполне целесообразную организацию войску, в котором лежала вся будущность османов, усвоившие себе не менее целесообразную политику в отношении к покоряемым странам и с замечательной последовательностью и настойчивостью державшиеся этой своей политики.

Нет ничего удивительного, что при таком неравенстве внутренних сил Византия, за счет которой османы прежде всего и главным образом делали приобретения, оказалась совершенно беспомощной. Уже при первом султане, Османе, почти незащищенная Вифиния стала делаться добычей османских турок; при следующем султане Урхане вся Вифиния подпала их власти, турки перешагнули через Геллеспонт и стали твердой ногой на европейской почве. При Мураде I владения османов в Европе быстро расширяются, простираясь на севере до Балкан и Черного моря, на юге до Мореи; турки приходят в столкновение с сербами и болгарами, которое оканчивается разгромом на Коссовом поле. Баязет I простер свою власть до Дуная, включил Болгарию в число турецких провинций, распространил свое влияние на Сербию, Валахию и подумывал о занятии Константинополя. Вероятно, он и осуществил бы свои замыслы, если бы Тимур не сломил его силы и на время не приостановил возрастание турецкого могущества. Палеологи с ужасом смотрели на успехи турок, отправлялись на Запад с просьбой о помощи, замышляли с этой целью унию Церквей, но помощь не приходила, или если приходила, то весьма ничтожная. В этой крайности, вполне сознавая свое бессилие, Палеологи искали спасения в покорности султанам, задабривали их всяческим образом, исполняли все их требования, с какими бы жертвами и унижениями они ни были сопряжены. Один, например, Палеолог приносит свои родительские чувства в жертву доброму согласию — одного сына ослепляет по требованию султана, от другого отрекается за то, что он начал враждебные действия против султана, и лишь тогда принимает его к себе, когда сам султан рекомендует это сделать. Другой Палеолог по требованию султана беспрекословно передает ему город (Филадельфию), и когда жители обнаруживают нежелание перейти под власть османов, то силой заставляет их повиноваться; укрепляет Константинополь башнями и стеной, не жалея старинных церквей, материал которых годился для этого дела, но, по первому слову султана, приказывает разрушить стену до основания. Одним словом, Палеологи раболепствовали перед султанами и поступали как покорные слуги османов, а не как византийские императоры. Когда из Азии надвинулась гроза в лице Тимура и разразилась над государством османов, Палеологи вздохнули свободно и начали держать себя с бóльшим достоинством. Они вмешивались во внутренние распри

членов султанского дома и выговорили себе возвращение некоторых владений и городов в Европе. До смерти Магомета I, пока османское государство не оправилось от ран, нанесенных ему татарами, императоры с честью выдерживали свою роль. Но с Мурада II положение дел изменилось, при нем власть османов дошла до той высоты, на которой она находилась при Баязете I, и попытки западных христиан ослабить ее в конце концов не удались. Роль, которую усвоили себе Палеологи, очевидно была неуместна. Покровительство, оказанное императором сопернику Мурада II, привело лишь к тому, что Константинополь был осажден и едва не взят; владения, возвращенные императором, опять были заняты османами, в том числе и город Салоники, который был продан византийским правительством венецианцам. Палеологи поняли, что приближается решительная развязка, опять обратили взоры на Запад и приняли унию. Но уния ничего не принесла, кроме религиозной розни и общественной неурядицы в стенах столицы, — помощи же никакой. Константинополь был осажден Магометом II в 1453 г. и взят штурмом, к общему изумлению и ужасу всего христианского мира, смотревшего на Византию как на последний оплот христианства против ислама на Востоке.

Завоевательное движение османских турок на запад в Малую Азию и Европу не было бессознательным порывом дикого варварства, выполненным без цели и системы. Оно произведено было по предположенному плану, с последовательностью и ясным пониманием своей задачи. Задача турок была не только национальная, но и религиозная; стремлением их было не только получить преобладание над народностями, населявшими Малую Азию и Восточную Европу, но также доставить исламу торжество над христианством. К тому времени, когда османы пришли в соприкосновение с населением Византийской империи, они были магометане, вполне сроднились с исламом, усвоили формы жизни сообразно с предписаниями Корана, интересы национальные нераздельно слились у них с интересами религиозными. Это по необходимости сообщило всем предприятиям османов религиозный отпечаток. Конечной целью их было распространение магометанской веры, все завоевания делались во славу единого Бога и Его пророка. Таков внутренний смысл войн и, между прочим, тайна военных успехов османов: религиозное воодушевление и фанатизм удесятерили их силы и вели к победам. Торжество ислама было излюбленной мечтой османов: с ней они прошли Малую Азию, переправились в Европу, дошли до Дуная и границ Сербии. Османские султаны дали широкое применение предписанию Корана, разрешающему оставлять христианам личные и имущественные права, в случае если они изъявят покорность и согласятся платить дань. После взятия Никеи при Урхане

вошло в обычай предоставлять личную свободу и неприкосновенность собственности тем, кто добровольно признает власть османов и будет платить дань. Такая политика немало содействовала успехам турок; султаны явились в Европу, неся в одной руке войну, в другой же — мир, и разные мелкие владетели в Южной Фракии, Македонии, Болгарии и Валахии спешили изъявить покорность, чтобы за взнос известной подати остаться в своих владениях. Султаны благосклонно встречали подобные изъявления покорности, но в османах, остававшихся верными коренным религиозным традициям и истинному духу ислама, такие сделки, вызванные политической мудростью, порождали затаенное неудовольствие, которое подчас прорывалось наружу и прежде всего выражалось в том, что они не уважали прав лиц, изъявивших покорность. Между османами были и такие ревнители веры, которые считали преступлением человечное отношение к христианам, были противниками каких бы то ни было компромиссов с ними, желали бы всех истребить мечом и пронести имя пророка до крайних пределов земли. Таков, между прочим, был полководец Мурада II Ишагбег, которого византийский историк Дука называет Федулахом. Он был недоволен тем, что султан находился в мирных отношениях с Сербией, требовал, чтобы сербы были истреблены или обращены в магометанство и чтобы той же участи были подвергнуты жители Венгрии и Италии. Этот «злой человек и непримиримый враг христиан» держал, по словам историка, такую речь перед Мурадом II:

«Отчего ты, государь, не истребляешь вконец врагов нашей веры? Бог дал тебе для этого власть, а ты пренебрегаешь ею и относишься к ним (христианам) не так, как угодно Богу, но снисходительно и великодушно. Нет! Не такова воля Божия. Меч твой должен пожирать тела нечестивых до тех пор, пока они не обратятся к учению единого Бога и великого пророка. Итак, обрати внимание, государь, на то, что крепость, которую выстроил деспот Сербии,[1] не благоприятствует нам. Вытребуй у него крепость — и нам будет открыт путь из Сербии в Венгрию. Мы отнимем у него неиссякаемые источники, которые изобилуют золотом и серебром, точно водой вечнотекущей, с помощью их покорим Венгрию, оттуда поспешим в Италию и смирим врагов нашей веры».[2]

Мурад послушался своего полководца — Сербия была наводнена османами и в ней введено было отчасти османское устройство, основанное на Коране. Желания партии строгих мусульман были удовлетворены.

---

[1] Сербский государь, Юрий Бранкович, выстроивший незадолго перед тем Семендру (Smedrovum).

[2] *Ducas*, cap. XXX, p. 208, ed. Bonn.

Так как интересы веры стояли у османов на первом плане, то отсюда произошло, что их столкновения с греками и славянами имели характер не только национальный, но также религиозный. Если османы делали вооруженные вторжения и завоевывали страны с целью не только подчинить себе иноплеменные народы, но также распространить свою веру, то и христианские народы, подвергавшиеся их нападениям, брались за оружие и вели войну с целью не только отстоять свою независимость, но и спасти христианскую веру; они знали, что турки стремятся не только к их порабощению, но и к искоренению их веры, вступали поэтому в борьбу с полным сознанием, что защищают отечество и Церковь. Во всех важнейших фазах борьбы османов с греко-славянским миром, о которых сохранились более или менее обстоятельные известия, замечается присутствие религиозного элемента. Обе враждующие стороны сообщали своему делу религиозное освящение и сражались под знаменем веры. Турки обыкновенно выступали в поход в сопровождении шейхов, улемов и дервишей, которые молились о даровании победы, воодушевляли войско, принимали участие в битвах, в критические минуты поддерживали воинственную решимость своим авторитетом и умением искусно применить к каждому данному случаю соответствующее изречение Корана или предание о Магомете; призывание имени Аллаха и Магомета было военным кликом османов. Со своей стороны и христиане приготовляли себя к бою общенародными молениями и торжественными процессиями с хоругвями и иконами, поддерживали друг в друге энергию напоминанием о том, что сражаются за истинную христианскую веру; священники и монахи присутствовали на городских стенах, благословляли войско и сами участвовали в защите городов.

Все эти религиозные особенности обнаружились во время осад Константинополя турками — первый раз при султане Мураде II и императоре Мануиле II Палеологе в 1422 г., второй — при султане Магомете II и императоре Константине XI Палеологе в 1453 г. Когда Мурад II осаждал Константинополь, то в его лагерь прибыл из Бруссы знаменитый дервиш Шейк-Букхари и привел с собой 500 других дервишей. Шейк-Букхари, славившийся предсказаниями, назначил день, когда город будет взят, и турки, настроенные дервишами, осыпали греков всевозможными оскорблениями: «Где ваш Бог, невежественные римляне? — говорили они. — Где ваш Христос? Где ваши святые, от которых ожидаете помощи? Завтра мы возьмем город и вас заберем и отведем в рабство, обесчестим на ваших глазах ваших жен и детей, ваших монахинь соединим с нашими "монахами"; по вере нашей наш пророк возвестил нам это как истину». Когда турки, по сигналу, данному Шейк-Букхари, бросились на приступ,

то отчаяние придало осажденным силы: все без различия пола и возраста, званий и состояний бросились защищать город, кто чем мог; в числе их были *священники* и *монахи*. Они воодушевляли друг друга словами: «Вперед, друзья, братья и сограждане! На бой за самих себя, за наших жен, наших детей, за свободу родных, отечества, этого великого города, а еще более — *истинной христианской веры*!» Приступ был отбит и турки удалились.[1] Когда Магомет II двинулся к Константинополю, то «согласно с древними обычаями, улемы, шейхи и потомки пророка некоторое время сопровождали победоносного султана, молясь об успехе его армий; толпа чистых душ следовала за победным воинством; легионы духовного мира служили ему авангардом; и созерцатели Акшемседдин и Акбикдаде шли возле победных полков, умоляя благодетельное существо о помощи». После сорока дней осады в лагере османов распространился слух, что итальянский флот по морю и Ян Гуниад с войском по сухому пути идут на выручку города. Это произвело общее замешательство; партия мира требовала снять осаду и отступить. Но «мусульмане, по совету улемов и шейхов, продолжали низвергать в ров смерти большое число неверных, защищавших город. Улема Ахмед-Курани, шейх Акшемседдин и визирь Загтус-паша, которые разделяли настроение султана, воспротивились миру... Они сообщили войску об обещании пророка, заключающемся в словах: "Греция будет вашей добычей", и объяснили, что необходимо употребить все усилия, чтобы оправдать следующее изречение Магомета: "Самая большая битва будет та, которая произойдет при взятии Константинополя". Таким образом, мусульмане, приготовившиеся пожертвовать своей жизнью для пользы веры, день и ночь освещали поле битвы огнем своих мечей».[2] Партия войны взяла перевес — и штурм назначен на 29 мая. Накануне этого рокового дня в Константинополе узнали, что на завтра назначен штурм. «Император повелел, чтобы священники, епископы и монахи, женщины и дети, со святыми и чтимыми иконами и божественными изображениями обошли стены города, со слезами восклицая: "Кирие елейсон!" и умоляя Бога, да не предаст нас по грехам нашим в руки врагов нечестивых и безбожных и беззаконнейших на всей земле, но да милостив будет к нам, наследию Своему». В присутствии вельмож и войска император сказал речь о том, что «необходимо предпочесть смерть жизни по четырем побуждениям: во-первых, *за веру и*

[1] *Ioannis Canani* De Constantinopoli anno 1422 oppugnata narratio, p. 466–476, ed. Bonn.

[2] *Saad-Eddin-Effendi*, traduit par Garcin de Tassy, напеч. в прил. к т. 38 сборника: *Buchon*. Collection des Chroniques nationales françaises. P. 339, 343.

благочестие; во-вторых, за отечество; в-третьих, за императора как помазанника Господня; и, в-четвертых, за родных и друзей». По окончании речи, все, как бы едиными устами, отвечали с рыданием: «Умрем за *Христову веру* и за отечество наше!» Затем император отправился в храм Софии Премудрости Божией и приобщился Святых Тайн; многие последовали его примеру и сделали то же в течение ночи.[1] На следующий день христиане оказали геройское сопротивление, но не смогли устоять против неприятеля, во сто раз сильнейшего. Константинополь пал.

Религиозный оттенок, который так рельефно выступает в борьбе Византии с турками, составляет вообще характеристическую черту борьбы христианских народов с османами. Если в других случаях эта черта проявляется с меньшей ясностью и наглядностью, чем при осадах Византии, то это совершенно понятно ввиду того, что, с одной стороны, Византия была религиозным центром Православного Востока и, следовательно, здесь столкновение религий должно было заявлять о себе с особенной силой, с другой — ни один город на Востоке не обращал на себя большего внимания историков, чем Византия; без сомнения, всюду происходили явления аналогичные с явлениями при осадах Константинополя, но они не нашли места в сочинениях современных писателей и остаются для нас неизвестными.

Там, где силы народа приходят в напряжение и направляются на такие возвышенные предметы, как защита веры, обыкновенно бывает, что сверхъестественное делается непременным спутником естественного, факт перемешивается с легендой, народ не хочет верить, что его деятельность, имеющая своим объектом высшие цели, совершается без ближайшего участия и без содействия высших сил. Являются рассказы о чудесах, знамениях и предсказаниях. Борьба христиан с мусульманами тоже вызвала подобные рассказы. Свои успехи христиане приписывали помощи свыше и были убеждены, что какая бы опасность им ни грозила со стороны мусульман, до какой бы крайности они не были доведены, в последнюю минуту всегда явится спасение с неба, произойдет чудо, Бог пошлет Своего ангела — и враги благочестия будут посрамлены. Удачную защиту Константинополя в 1422 г. византийцы считали чудом и приписывали победу Пресвятой Деве Марии, Которой город был посвящен Константином Великим; долгое время держался слух, что в разгар битвы Пресвятая Дева Мария явилась на валу среди сражающихся и Своим видом навела такой страх на неверных, что они сняли осаду и бежали.

[1] *Phrantzes*. Lib. III, cap. VII. P. 271–272, 279; Historia captae a Turca Constantinopolis, descripta a *Leonardo Chiensi*, ed Rothing., 1544 (без пагинации).

Победа над османами, одержанная в конце 1443 г. на Балканах христианским ополчением, под предводительством венгерского короля Владислава и венгерского героя Яна Гуниада, по представлению восточных христиан тоже была соединена с чудом. Византийцы клятвенно уверяли всех, что в тот момент, когда христиане одержали победу над мусульманами, у Константинопольских ворот, ведущих в Македонию, показался статный юноша, в белой одежде, верхом на лошади и, прогарцевав некоторое время в знак радости, исчез. Это явление сначала, пока не понимали его причины, возбуждало опасения, но потом открылось, что юноша был не кто иной, как небесный вестник победы, который должен был внушить византийцам, что настала и для них пора принять деятельное участие в борьбе с неверными.[1] Под впечатлением непрерывных успехов османов в борьбе с восточными христианами, у последних составилось убеждение, что Константинополь будет ими взят, но к этому убеждению присоединилось мистическое предсказание о том, каким образом турки будут изгнаны. По этому предсказанию, ведущему свое начало от неизвестных лжепророков, Константинополь подпадет под иго турок, они ворвутся в город и, умерщвляя жителей, дойдут до колонны Константина Великого (в храме Св. Софии). Но тогда сойдет с неба ангел и вручит меч какому-то человеку, простому и бедному, стоящему возле колонны, со словами: «Возьми этот меч и отомсти за народ Господень». Тотчас после того турки обратят тыл и побегут, а греки будут преследовать и поражать их, и таким образом вытеснят их из Константинополя, из западных и восточных стран и отбросят к границам Персии.[2] Это предсказание привело к тому, что когда турки проникли в город и жители поняли, что их дело окончательно проиграно, то народ густой толпой ринулся к Св. Софии, в один миг плотная масса наполнила храм, двери были заперты и все с трепетом ожидали исхода, каждую секунду рассчитывая увидеть турок и вместе с тем небесного посланника с его чудодейственным мечом. Турки скоро явились, вышибив дверь топорами, связали народ попарно, не различая пола и возраста, и угнали в плен.

Религиозный отпечаток, характеризующий борьбу османских турок с восточными христианами, лежит и на тех результатах, к которым неизбежно вела эта борьба. В борьбе перевес оставался обыкновенно на стороне турок, исключения были весьма редки. В лице турок одерживал победу не просто народ, но народ мусульманский, торжествовал ислам; поэтому и победа выражалась не в простом политическом подчинении

[1] *Schwandtner*. Scriptores rerum Hungicarum. T. I. P. 497.

[2] *Ducas*, cap. XXXIX, p. 289–290, ed. Bonn.

одной нации другой, но в подчинении христиан мусульманам, христианства исламу. Это подчинение совершалось в строгом соответствии с духом и предписаниями Корана. Коран допускает три вида отношений между мусульманами и христианами: оставление христианам жизни и некоторых прав, под условием выкупа, вноса дани, истребление христиан и обращение их в ислам. В период времени до завоевания Константинополя турками первый способ практиковался в применении к тем христианам, которые добровольно изъявляли покорность, — таковы были болгарский князь Константин, князья Драгас, Богдан[1] и некоторые другие. Таких добровольных данников было сравнительно немного. Огромное большинство состояло из христиан, которые с оружием в руках выступали на защиту своей свободы и веры, — к ним поэтому в полной силе применялись два другие способа: во всех тех местах, где христиане приходили в непосредственное соприкосновение с мусульманами, они были истребляемы или обращаемы в рабство и уводимы в плен; оставшиеся в живых были насильственно обращаемы в ислам и только некоторые из них приняли магометанство по доброй воле; святыня христиан подвергалась поруганию, их церкви превращались в мечети, некоторые были разрушены и материал употреблен турками на постройку общественных зданий; в городах и деревнях, освобожденных от христиан, лишившихся своего прежнего населения, основывались турки-мусульмане, и с тех пор там, где прежде блистали главы церквей, увенчанные крестами, высились уже минареты мечетей, украшенные полумесяцем, — не колокольный звон оглашал окрестности, но заунывные звуки муэдзинов, приглашавших правоверных чтителей Магомета к молитве.

Истребление христиан и обращение их в рабство были неизбежным следствием всех вторжений и завоеваний, производимых османами в пределах Азии и Европы, населенных христианами. В Азии первый пример такого отношения к христианам показал Осман, основатель османского государства. После взятия первого укрепленного места, принадлежавшего Византийской империи, Ангелокомы, он чрезвычайно жестоко обошелся с побежденными христианами. С тех пор приобретения османов в Малой Азии и утверждение здесь их власти неразрывно были связаны с подавлением и искоренением христиан. Спустя столетие после Османа, ко времени возрождения османского государства от татарского разгрома, при Магомете I и Мураде II, христианское население в Малой Азии почти совершенно было истреблено, а если местами и продолжало существовать, то в таком незначительном количестве, что совершенно терялось

[1] *Chalcocondylas*. Lib. I, p. 38, ed. Bonn.

в массе османского населения. Многие христиане, убегая от гнета османов, оставляли Азию и переселялись в Европу. Подавление христиан османами в Европе началось с Урхана. Первые вторжения османов, в особенности те, которые были произведены под руководством его сына, Сулеймана, сопровождались почти поголовным истреблением встречавшихся на пути христиан. Но с течением времени османы усвоили себе более гуманную и вместе с тем более выгодную систему; они предпочитали забирать христиан в плен и умерщвляли сравнительно небольшой процент. Усвоению этой системы османами содействовало само византийское правительство. Императрица Анна, управлявшая государством в малолетство своего сына Иоанна V Палеолога, в борьбе с узурпатором, Иоанном Кантакузиным, искала помощи у султана Урхана. В вознаграждение она предложила забирать в плен греков, приверженцев партии Кантакузина, продавать их на месте или уводить с собой в Азию. Эта недостойная и в высшей степени безнравственная политика, объясняемая только крайней отчужденностью византийского правительства от народа и еще тем, что Анна не была связана с греками племенными узами (она была урожденная принцесса Савойская), имела прискорбные последствия для партии Анны. Урхан отправил в Европу войско, которое сразилось с Кантакузиным, но успеха не имело. Тогда османы напали на близлежащие деревни, не заинтересованные в деле Кантакузина, заковали в цепи беззащитное население, мужчин, женщин, детей, священников и монахов, и всех без исключения пригнали в Константинополь, чтобы здесь продавать их, согласно с условием. Пленников гнали по улицам ударами бичей, и жители, из сострадания к ним, многих выкупили. Но значительное число этих несчастных, не нашедшее покупателей, было отведено в Азию.[1] Кантакузин поспешил перетянуть Урхана на свою сторону, и султан после того трижды присылал свои войска на помощь Иоанну Кантакузину. Но помощь турок была весьма сомнительна; всякий раз они забывали, зачем пришли в Европу, не заботясь о Кантакузине, рассыпались по деревням, грабили, умерщвляли беззащитных крестьян и огромные толпы их увлекали в Азию, в рабство.[2] Таким образом османы мало-помалу осознали, что гораздо прибыльнее уводить христиан в плен, чем убивать их на месте. При нападениях на греческие города они стали умерщвлять только тех, от кого ожидали сопротивления, остальных же забирали в плен. Точно так же они поступали с болгарами и сербами, начиная с Мурада I, с валахами со времени Баязета I и с албанцами со времени Мурада II.

[1] *Ducas*, cap. VIII, p. 31–33, ed. Bonn.

[2] *Cantacuzenus*. Lib. IV, cap. 4, 16, 34, p. 32, 111, 250, ed. Bonn.

Число христиан, попавших в плен к османам, было весьма значительно, например, в Аргосе было взято и отведено в Азию 30000, в Салониках 7000, в Константинополе 60000.[1] Судьба христианских пленников была самая безотрадная; отведенные в Азию, они там под гнетом рабства и мусульманского фанатизма исчезали. Историк Халкокондил не мог отыскать никаких следов тех злосчастных жителей Аргоса, которые в количестве тридцати тысяч были переправлены в Азию в 1397 году. Если принять во внимание, что Лаоник Халкокондил был современником завоевания Константинополя, то по этому можно судить, какое короткое время нужно было османам для того, чтобы стереть с лица земли целые массы христиан.

Одновременно с истреблением христиан и обращением их в рабство производилось их совращение из православной веры в ислам. Совращение это в редких случаях отличалось характером непринужденности; очень редко христиане из корыстных видов, с целью приобретения богатства и почестей, отказывались от древнеотеческого благочестия и переходили в магометанство. Обыкновенно же переход был вынужденный и совершался под угрозой смерти. Не все христиане были настолько мужественны и тверды, чтобы, будучи поставлены в необходимость избирать одно из двух — смерть или Коран, предпочитали мученический венец отречению от веры; некоторые из них делались мусульманами, забывали национальность и религию и делались ревностными поборниками османских интересов, готовыми положить за них свою душу. Производились также совращения христиан несовершеннолетних, находившихся в том нежном возрасте, от которого трудно ожидать сознательного отношения к вопросам веры. Они тоже имели характер насильственности, но здесь со стороны совращаемых не было ни выбора, ни колебаний, не было ясного представления о важности совершаемого ими шага и о том насилии, которому они подвергались; их измена вере принадлежит к разряду поступков в нравственном отношении невменяемых. Естественно, что такие лица, с малолетства воспитывавшиеся на началах Корана, выросшие среди коренных мусульман, сами потом делались ревнителями ислама, далеко превосходившими по ревности тех отступников веры, которые сознательно, в зрелом возрасте принимали магометанство. Были примеры единоличного совращения христиан в магометанство, были также примеры совращения целыми массами; в первом случае совращаемыми обыкновенно были люди взрослые, во втором — несовершеннолетние дети.

[1] *Chalcocondylas*. Lib. II, p. 99, ed. Bonn; *Joannis Anagnostae* De extremo Thessalonicensi excidio narratio, p. 510, ed. Bonn.; Historia captae a Turca Constantinopolis descripta a *Leonardo Chiensi*, ed. 1544.

Первый известный пример одноличного совращения из Православия в ислам относится ко времени Баязета I и падает на долю славянина княжеского рода: был совращен сын болгарского князя Шишмана, по имени Александр. Сведений о том, по принуждению или добровольно он перешел в магометанство, не сохранилось. Историк слишком неопределенно замечает, что султан «переманил его к своему безбожию». Но если он изменил православной вере по расчету, в ожидании выгод, то нужно сознаться, что султан не изменил его ожиданиям: в награду за отступничество ему было дано значительное наместничество в Малой Азии, в Самсуне или Амизусе. Он пережил нашествие Тимура, и после завоевания Смирны Магометом I был сделан наместником этого города. Когда в пределах его наместничества вспыхнул бунт так называемых стиларийцев или монохитонцев, Александр, по приказанию Магомета, отправился против них с войском, по неосторожности слишком далеко проник в горные ущелья, был окружен стиларийцами и убит.[1] При Баязете I была также совращена герцогиня Дельфийская Труделюда с дочерью. Муж ее пришел на полуостров из Италии, получил Аттику, Беотию и Пелопоннес; после его смерти Труделюда жила вместе с дочерью в Дельфах и владела этим городом. Нравов она была не особенно строгих, и ходил слух, что она состояла в связи с каким-то пресвитером. Вероятно, это обстоятельство и вооружило против нее местного епископа. Когда Баязет проник в Фессалию и оттуда в Элладу, утверждая свою власть в этих странах, то Дельфийский епископ отправился в лагерь османов и настроил султана против Труделюды. Между тем и Труделюда отправилась к Баязету, надеясь покорностью приобрести себе право на дальнейшее обладание городом; она захватила с собой и дочь-невесту, которая была уже помолвлена. Султан удержал мать и дочь, заставил их принять «свои обычаи», т. е. ислам, а в город назначил своего наместника.[2] Здесь, очевидно, совращение было насильственное. При Мураде II был случай насильственного совращения одного византийского чиновника, по имени Михаила Пилла. «Этот Пилл был ефесянин, по рождению римлянин (грек), по вере христианин, — происходил из знатной фамилии этого города. Будучи знаком с языками римским (греческим) и арабским, он писал бумаги в канцелярии префекта. Был человек испорченных нравов, расточительный, невоздержный и совершенный профан». Когда Мурад II осадил Константинополь, то Пилл был отправлен в неприятельский лагерь и жил там в качестве императорского толмача. В Константинополе был другой толмач,

[1] *Ducas*, cap. XXI, p. 109, 113, ed. Bonn.

[2] *Chalcocondylas*. Lib. II, p. 67–68, ed. Bonn.

по имени Коракс, находившийся в дружественных отношениях к султанам. Народ, считая его виновником осады Константинополя, схватил его, вырвал глаза, и несчастный умер от боли. Мурад решил выместить злобу на Пилле, насчет которого существовало предположение, что он возбуждал подозрения византийцев против Коракса. Пилл был подвергнут пытке и осужден на сожжение живым. Его потащили к месту казни и в виду пылающего костра спросили: согласен ли он отречься от Христа и принять веру пророка; если согласен, то будет отпущен невредим, если же нет, то будет сожжен. «Он, бывший по своему поведению турком еще до отречения, отрекся, и его с торжеством обрезали».[1] Пилл умер спустя несколько лет после перехода в магометанство. Знаменитый албанский герой и защитник национальной свободы против турок при Мураде II и Магомете II, Георгий Кастриота, прозванный турками Скандербегом, тоже был насильственно совращен в ислам. В качестве заложника он жил при султанском дворе и принужден был принять магометанство, после чего занял видное место в турецкой военно-административной иерархии.[2] Вообще христианские заложники при дворе османских султанов подвергались большой опасности со стороны веры. Особенное внимание султаны обращали на даровитых албанцев, всеми правдами и неправдами склоняли их к переходу в ислам и потом замещали ими важнейшие должности. Так, например, при осаде Константинополя Магометом II, турецкой армией, осаждавшей город с сухого пути, командовал, между прочим, Саган-паша, по происхождению албанец, отрекшийся от христианства; он был не только храбрый полководец, но также искусный инженер, и мины под городские стены пролагались под его наблюдением.[3] При осаде Константинополя Магометом II еще один христианский ренегат играл важную роль, именно Балтаоглы, по происхождению болгарин. Он заведовал осадой с моря и командовал турецким флотом. Первое столкновение его с неприятельскими судами было неудачно, турки понесли большой урон, и это до такой степени взбесило Магомета, что он в припадке гнева приказал казнить своего адмирала смертью. Заступничество янычар спасло ему жизнь. Балтаоглы

[1] *Ducas*, cap. XXVIII, p. 186–187, ed. Bonn.

[2] Scanderbeg, warhafteigentliche und kurze Beschreibung, von *Marino Barletio Stodrensi* in Latein beschrieben, durch Ponicianum verteutscht. Franckfurt am Main, 1577. P. 2.

[3] Донесение Авиньонскому кардиналу, посланное тремя лицами, из которых один, флорентийский купец Жак Тетарде, был очевидцем взятия Константинополя, напеч. у *Buchon*. Coll. des Chron. nat. fr. T. 38. P. 326.

был смещен, подвергнут телесному наказанию, имущество у него было отнято и роздано янычарам.[1]

Кроме совращения отдельных лиц в магометанство, нередки были случаи совращения христиан массами. Во время своих походов османы принуждали христианское население принимать ислам (Синанбег, полководец Мурада II, в Валахии и Сербии), и оно повиновалось, по крайней мере наружным образом. Особенное внимание обращали османы на христианских мальчиков, выдававшихся красотой и телесной крепостью. Ни один поход не оканчивался без того, чтобы не было взято в плен громадной толпы таких ребят. Они огулом обрезывались и обращались в магометанство.[2] Многие из них были приносимы султанам в подарок, получали первоначальное воспитание при дворе, и когда достигали известного возраста, в котором обнаруживались их способности, то предназначались для придворной, военной службы или для занятия государственных должностей и сообразно с этим получали дальнейшее образование. Из христианских мальчиков и молодых людей, взятых в плен и насильственно обращенных в магометанство, составлялась также турецкая пехота, носившая название янычар. Эта лучшая в мире пехота, которая решала в пользу османов почти все сражения, получила начало при султане Урхане и состояла из 1000 христианских мальчиков, отнятых у родителей и обращенных в ислам. Мурад I, опираясь на Коран, предписывающий отдавать султану $^1/_5$ часть военной добычи, издал постановление, чтобы в его войска доставлялась причитающаяся ему по закону часть молодых христианских пленников. Эти пленники обращались в ислам и делались янычарами. Таким образом число янычар постоянно увеличивалось; чем чаще предпринимались османами походы, тем большее число христиан поступало в янычары. При Мураде II их насчитывалось уже до 10000. При Мураде II существовал обычай, что пленные христиане, которые по малолетству не были годны к военной службе, посылались в Малую Азию на обучение к учителям-мусульманам, изучали здесь турецкий язык и военную дисциплину, некоторое время после того работали на корабельных верфях в Галлиполи и потом уже становились янычарами. Этот обычай с течением времени послужил основанием для выработки специального учреждения для подготовки янычар. При Магомете II корпус янычар состоял уже из 12000, и так как пленные христиане оказались недостаточным ресурсом для комплектования этого корпуса, то несколько раз

[1] *Chalcocondylas*. Lib. V. p. 271, ed. Bonn.; *Phrantzes*. Lib. III, cap. III, p. 250, ed. Bonn.

[2] *Ioannes Cananus*, p. 459, ed. Bonn.

практиковалась система насильственного взимания каждого десятого христианского мальчика. Собранные таким образом дети обращались в ислам и приготовлялись к поступлению в янычары. Система эта впоследствии получила прочную постановку и превратилась в «десятину крови», которую платило христианское население.

Победа османов, бывшая вместе с тем победой магометанства, выражалась не только в истреблении и пленении христиан, не только в насильственном совращении их в ислам, но также в глумлении над христианской святыней и замене ее мусульманской. Христианские храмы были превращаемы в мечети, раздаваемы в подарок, разрушались и материал употреблялся на постройку бань; иконы были разрываемы на части, топтались ногами и сжигались; над крестами смеялись и подвергали их той же участи; мощи святых подвергались растерзанию и части их разбрасывались повсюду. Превращение храмов в мечети вошло в обычай еще при основателе государства Османе I. В первый раз обычай этот применен при взятии греческого укрепления Мелангены, переименованной турками в Караджагиссар. В городе был введен ислам и христианская церковь превращена в мечеть. Затем этот обычай применялся постоянно. Во всех городах Малой Азии и Европы, где османы рассчитывали прочно основаться, не ограничиваясь простым грабежом, христианские храмы были превращены в мечети. Так поступал Урхан при завоевании Вифинии (с главнейшими городами Бруссой, Никомидией и Никеей), так же точно поступали его преемники при завоевании европейских провинций Византийской империи; походы вглубь Сербии и Валахии султанов и их полководцев, как-то: Синанбега при Мураде II, вели к тому же результату; где прошло войско османов, там на месте христианских храмов появлялись магометанские мечети. Впрочем, в больших городах, где была не одна, но много христианских церквей, не все церкви османы превращали в мечети, но лишь столько, сколько по их расчетам требовалось для нужд мусульман. Так они, между прочим, поступили в Салониках и Константинополе. История занятия этих городов вообще может служить наглядным примером той возмутительной бесцеремонности, которую позволяли себе османы по отношению к христианской святыне.

Город Салоники, проданный византийским правительством венецианцам, был осажден и взят Мурадом II в 1430 г. Турки ворвались в город и принялись грабить. Ценности были спрятаны жителями в церквах, монастырях, подземельях и тому подобных укромных местах. Турки обещаниями и угрозами принуждали женщин указывать, где скрыты сокровища, и отыскивали их. Иоанн Анагноста сообщает:

«Это было причиной разрушения святых храмов и монастырей. Некоторые для безопасности сложили свое богатство в святых храмах и преиму-

щественно в святилищах под священнейшими трапезами. Когда же под страхом мучений вынуждены были указать места хранения, то турки разорили их красоту, из жажды к деньгам до основания разрушили божественные престолы, на которых совершалась за весь мир таинственная, живая и спасительная жертва, и отдали их на поругание желающим. Они под каждым камнем предполагали деньги, поэтому все решительно опустошили. Необузданному истреблению подвергнуты были и святые иконы; некоторые были сожжены, дабы мы не поклонялись им, другие — о Боже милостивый! — были вынесены на середину рынка как товар и бесстыдно проданы, третьи, наконец, были сохранены теми, кто был более корыстолюбив, и потом проданы за деньги».

Не пощажены были гробницы святых; они тоже были перерыты, украшения с них сняты. Рака св. мученика Димитрия, небесного покровителя города, источавшего чудодейственное миро, была ограблена. Некоторые мощи были выброшены. «Это злодеяние было совершено над священными останками святой и мироточивой Феодоры, которые (о дерзость, руки преступные!) были вынуты наружу, распростерты на земле и разорваны на части». Христиане потом собрали эти части и опять соединили в одно целое. Когда по истечении нескольких дней грабеж был приостановлен, султан, желая привлечь в город разбежавшееся население, оставил христианам все церкви и монастыри с их доходами; но через два года изменил свое решение: христианам были отданы только четыре церкви, в том числе церковь св. Димитрия, но и эти четыре церкви обложены были податью в пользу султана. Остальные были превращены в мечети и школы, розданы в виде подарков частным лицам из мусульман; некоторые были разобраны, и материал употреблен на сооружение бань и других общественных зданий, лучшие мраморные плиты и колонны были отвезены в Адрианополь и там употреблены на сооружение великолепной бани.[1] Когда турки взяли Константинополь в 1453 г., то и здесь обращение их с христианской святыней было не менее кощунственно, чем в Салониках. «Церкви константинопольские были освобождены от идолов, которые их оскверняли; они были очищены от нечистот христианских».[2] Это очищение, о котором говорит мусульманский писатель, следующим образом описано очевидцем взятия Константинополя:

«Не было никакого уважения и пощады ни священным жертвенникам, ни святым иконам; они были истреблены, глаза святых выколоты. Мощи святых или растерзаны, или разбросаны. Святотатственные руки завла-

[1] *Ioannis Anagnosta*, p. 514, 516, 524, ed. Bonn.

[2] *Saad-Eddin-Effendi/ /Buchon*. Coll. des Chron. nat. fr. T. 38. P. 350.

дели святыми чашами Божиими, нагрузили мешки золотом и серебром от святых икон... Кресты, низверженные с вершины церквей и домов, попирались ногами... С издевательством носили по лагерю крест, в сопровождении тимпанов, во время шествия оплевывали его, поносили, позорили и, надев на верхушку шапку, которую они называют Zarchula, смеялись, говоря: вот Бог христиан».[1]

Некоторые турки проникли в монастырь Хора (ныне Кахрие-Джами), где хранилась чудотворная икона Божией Матери Одигитрии; икона вместе с украшениями была рассечена мечом на четыре части и части разделены по жребию.[2] Турки, ворвавшиеся в храм Св. Софии, бесчинствовали здесь точно так же, как и в остальных церквах: срывали украшения и ризы с икон, покрывала с престолов, лампады и паникадила разбивали и уносили, расхищали золотые и серебряные сосуды и др. ценные предметы. Некоторые занимались бесцельным и бессмысленным разрушением, думая, что этим они угождают Богу. Когда Магомет въехал в город и вошел в храм Св. Софии, то первый, попавшийся ему на глаза, был турок, ломавший мраморный пол. На вопрос султана: зачем портить пол, он отвечал, что делает это из ревности к вере. Турка вытащили вон. Затем султан приказал одному из находившихся при нем шейхов взойти на кафедру, прочитать магометанское исповедание веры и пригласить правоверных к послеполуденной молитве (дело было пополудни). Сам Магомет взошел на престол, на котором доныне приносилась бескровная жертва и под которым лежали мощи апостолов и мучеников; стоя на нем, он прочитал свою молитву. Этим актом храм Св. Софии был отнят у христиан и предназначен к превращению в мечеть. Другие лучшие христианские храмы тоже были превращены в мечети; христианам оставлен был только небольшой храм св. Апостолов. Из монастырей только два оставлены христианам, остальные были заняты дервишами, разными ремесленниками и просто османскими семействами.[3]

Появление магометанских мечетей на месте христианских храмов служило верным признаком поселения в данном месте османов. Для них-то главным образом и лишь отчасти для совращенных в магометанство христиан устраивалась мечеть, равно как вводилось османское устройство, назначались кади, имамы и другие должностные лица, учреждались школы и пр. Отличительной особенностью завоеваний османов служит то, что по

[1] Historia captae a Turca Constantinopolis, descripta a *Leonardo Chiensi*, ed. 1544. Ср.: *Phrantzes*. Lib. III, cap. VIII, p. 289, ed. Bonn.

[2] *Ducas*, cap. XXXIX, p. 288, ed. Bonn.

[3] *Ducas*, cap. XXXIX–XL, p. 292, 298–299, 318, ed. Bonn.

мере завоеваний они распространяют свои колонии и прочно оседают на завоеванной земле. Начало таких колоний в Европе почти совпадает с началом османских вторжений. При том же султане Урхане, при котором османы сделали первый набег на Европу, его сын Сулейман основал первые османские колонии на европейском берегу Дарданелл и Мраморного моря. Лучшие османские фамилии с женами, детьми и со всем имуществом были переселены из Азии в приморские города и деревни Европы; в свою очередь, знатнейшее греческое население этих городов и деревень было выселено в Азию. Этой политики, которая обязана своим происхождением Сулейману, твердо держались османские султаны. По мере того, как производились завоевания и в завоеванных городах и укрепленных местах располагались турецкие гарнизоны, — являлись османские семейства из Азии, а также из прежде основанных колоний Европы, занимали земли, опустошенные османами или добровольно покинутые христианами, и здесь, по соседству с турецкими гарнизонами и под прикрытием этих гарнизонов, предавались мирным занятиям. Иногда султаны, чтобы упростить и ускорить заселение завоеванной местности, прямо назначали известный мусульманский город или деревню, население которых должно было в полном составе перебираться на новое место жительства. Так, например, после завоевания Салоник Мурад II перевел сюда все население Иенидже (Genitzae), османского города, расположенного на запад от Салоник, на расстоянии одного дня пути.[1] Османские колонии были основаны и в некоторых городах, не бывших под властью османов, в силу договоров между султанами и соответствующими правительствами. Такова была колония в Константинополе, существовавшая здесь до завоевания этого города турками. Первое указание на ее существование встречается у историка Халкокондилы, который, говоря о бунте Андроника Палеолога против отца, Иоанна V, о том, как Андроник бежал к Баязету и просил у него помощи, замечает, что в вознаграждение он обещал Баязету «иметь в городе судью» — кади.[2] Это показывает, что во второй пол. XIV в. в Константинополе жили османы, но не имели еще ни своего кади, ни мечети. Когда после смерти Иоанна V вступил на престол Мануил II (1391–1425), то Баязет немедленно потребовал, чтобы в Константинополе разрешено было магометанам иметь своего кади, «так как неприлично, чтобы мусульмане, занимающиеся торговлей и посещающие Константинополь, обращались в своих спорах к суду гяуров (καβουρίδων), но мусульманину следует судиться у мусульманина».[3]

---

[1] *Anagnosta*, p. 524, ed. Bonn.

[2] *Chalcocondylas*. Lib. II, p. 62, ed. Bonn. Ср.: *Phrantzes*. Lib. I, cap. XIII, p. 54.

[3] *Ducas*, cap. XIII, p. 49, ed. Bonn.

Требование не было удовлетворено, и только когда Мануил уехал на Запад просить у христианских государей помощи против турок, а Византией управлял его племянник Иоанн (сын упомянутого выше Андроника), Баязет достиг своей цели. Он настоятельно потребовал от Иоанна, чтобы в Константинополь был допущен кади и выстроена мечеть, а свое требование он подкрепил военной демонстрацией против Константинополя. Иоанн поспешил исполнить желание султана. Османы после этого имели в Константинополе, в особом квартале, где они жили, мечеть и своего кади. Но когда Баязет удалился в Азию против Тимура и был взят им в плен, то константинопольская чернь напала на османскую колонию, разрушила мечеть и выгнала османов вместе с кади вон из столицы. Османы оставили город, поселились недалеко от Константинополя и свое селение назвали Киникли. Это — первое постоянное османское поселение около Константинополя.[1]

Система колонизации, шедшая рука об руку с завоеваниями, как нельзя более упрочивала эти завоевания; османские колонии врезывались в сплошное христианское население и доставляли средства держать это население в повиновении. Через посредство этих же колоний османы неизбежно завязывали мирные сношения с христианами. Является вопрос: если вооруженные столкновения оканчивались победой османов и эта победа вела к национальному и религиозному преобладанию османов над христианами, то каковы были последствия их мирных сношений? Этот вопрос может быть предрешен, если мы вспомним, какие силы приходили в соотношение. С одной стороны было варварство и ислам, живой фанатизмом, но безжизненный по духу и формам, с другой — христианство и греко-римская цивилизация, которая хотя и выродилась в византийскую, но все-таки стояла на недосягаемой высоте, сравнительно с простотой и патриархальностью турок. Столкновение таких сил, если только оно не сопровождалось грубым насилием, но происходило на мирном пути, не могло не отразиться перевесом последней над первой; цивилизация более развитая должна была взять верх над менее развитой, религия более совершенная должна была победить менее совершенную. Это мы и видим на османах: мало-помалу они подчиняются влиянию христиан, и оно обнаруживается в сфере религиозной и частной жизни. Проводниками этого влияния были отчасти названные колонии, обусловливавшие сожительство османов с христианами, но еще более браки османов с христианами и присутствие христиан на службе у османов.

Все почти османские султаны, начиная с Урхана и кончая Мурадом II, были женаты на христианских принцессах; исключение составляет один

[1] *Saad-Eddin*, в перев. Братутти. Т. I. С. 191.

Магомет I. Браки заключались по политическим расчетам; императоры византийские, князья болгарские и сербские, выдавая своих дочерей и родственниц замуж за султанов, желали таким образом купить мир для своих государств и скрепить дружбу с османами. Эта ближайшая цель не всегда достигалась, но зато достигалась другая, более отдаленная, которая, может быть, и не входила в расчеты государей. Живя при дворе султанов, христианские принцессы пользовались до некоторой степени религиозной свободой, держались своей веры и нравов, а в качестве султанских жен имели значительный авторитет и оказывали влияние не только на султанов, но и на окружавших их лиц. Первая христианская принцесса, выданная замуж за османского султана и имевшая при дворе большое влияние, была Феодора, дочь Иоанна Кантакузина, который во время свадьбы (1346 г.) был не более как претендентом на престол, но через год после этого (1347 г.) был признан византийским императором и соправителем Иоанна V Палеолога. Феодора была выдана за султана Урхана, которого Кантакузин хотел этим привлечь на свою сторону и сделать своим союзником. Перед отправлением невесты к жениху был совершен обряд, предписываемый византийским придворным церемониалом. Кантакузин с войском, женой и дочерьми, между которыми была Феодора, явились на равнину близ города Селимврии; здесь были выстроены деревянные подмостки для невесты, а вблизи их палатка для ее матери и сестер. Императрица с дочерьми провела ночь в палатке, а император (как называет сам себя Кантакузин, описывая это торжество) в лагере. На следующий день Феодора взошла на подмостки, занавешенные вытканными золотом коврами, императрица с двумя дочерьми осталась в палатке, император присутствовал верхом на лошади, остальные — стоя. По данному знаку ковры были опущены и глазам присутствующих предстала невеста, а по обеим сторонам ее горящие лампады, которые держали в руках коленопреклоненные евнухи. Этот акт сопровождался звуками музыки, по окончании которой раздалось пение хоров, восхвалявших невесту в песнях, составленных мастерами этого дела. После этого торжества император в течении нескольких дней давал пир своим приближенным и османам, а потом отправил невесту к ее жениху.

«Она, хотя и выданная за варвара, жизнь свою, однако же, проводила таким образом, что являлась достойной доброй славы своих предков. Потому что не только обычаи окружающих не причинили вреда вере, как часто и сильно ее ни старались убеждать, но она успела еще словами убеждения возвратить в лоно истины многих уклонившихся в нечестие. Оставаясь твердой в вере и часто с опасностью подвизаясь за себя и за своих, она в то же время не пренебрегала и другими доблестями, проявляла щедрость

и великодушие, раздавала имущество бедным, на собственные деньги выкупила многих, проданных варварами в рабство, и была пристанью спасения для многих злосчастных римлян, по попущению Божию обращенных варварами в рабство».[1]

Преемник Урхана Мурад I был женат на дочери болгарского князя Шишмана.[2] Дочь сербского краля Лазаря, Милева, «девушка молодая и цветущая», была отдана своим братом Стефаном, преемником Лазаря, замуж за Баязета I. Султан «любил ее более всех жен и всегда держал ее при себе, в лагере». Во время нашествия Тимура она была взята в плен, точно так же, как и ее муж. Тимур, к которому она была приведена, приказал ей, в присутствии мужа, разливать вино, и это сильно огорчило Баязета.[3] Сын Баязета, Сулейман, имел женой племянницу византийского императора Мануила II, дочь лакедемонского деспота Феодора.[4] Внук Баязета, Мурад II женился на дочери сербского господаря Юрия Бранковича (преемника Стефана), по имени Маре, или Марии. Юрий Бранкович, предлагая свою дочь султану в жены, указывал на то, что дед султана, Баязет, тоже был женат на сербской принцессе. Султан послал своего визиря, чтобы он присутствовал при церемонии обручения и привез ему невесту. Свадьба была торжественно отпразднована в Адрианополе, два брата невесты присутствовали на свадьбе и, одаренные большими подарками, были отпущены домой. «Султан любил ее (Мару) больше другой жены (дочери Спентиара), потому что она превосходила последнюю красотой и умом». После смерти Мурада II, преемник его Магомет II «хотел выдать вдову, весьма приверженную к христианству, замуж за какого-то раба»; но Юрий Бранкович потребовал, чтобы его дочь была отослана на родину. Магомет, опасаясь, что в случае отказа сербский краль войдет в соглашение с Гуниадом и произведет вторжение в османские пределы, поспешно исполнил его требование: отпустил Мару в Сербию, одарил ее подарками и на содержание ее назначил доходы с османских городов, ближайших к Сербии.[5]

Кроме жен в султанских гаремах были наложницы из христианок. После походов, совершенных как самими султанами, так и их полководцами, из среды христианских пленниц выбирались те, которые отличались особенной красотой, и отсылались в гарем. Так, например, турецкий

[1] *Cantacuzenus*. Vol. II. Lib. III, cap. 95, p. 588–589, ed. Bonn.
[2] *Chalcocondylas*. Lib. I, p. 37, ed. Bonn.
[3] *Ducas*, cap. IV, p. 17, ed. Bonn.; *Chalcocondylas*. Lib. III, p. 160, ed. Bonn.
[4] *Phrantzes*. Lib. I, cap. XIX, p. 87, ed. Bonn.
[5] *Ducas*, cap. XXX, XXXIII, p. 205–207, 231–233, ed. Bonn.

полководец Синанбег после похода в северную Албанию отобрал между взятыми им в плен женщинами более красивых девушек и отправил их в подарок Мураду II. Были случаи, что с отдаленного Запада являлись женщины-христианки и добровольно поступали в гарем, составляя через это карьеру себе и своим родственникам. По поводу жестокостей, совершенных Магометом II над греками после взятия Константинополя, упоминается об одном иностранце (французе), который поощрял султана к жестокостям и имел влияние на него, потому что его дочь находилась в султанском гареме и султан очень любил ее.[1]

Не только султаны брали себе жен и наложниц из среды христиан, но это делали и простые османы. О султане Урхане рассказывается, что после взятия Никеи он отдал замуж за своих воинов жен и дочерей тех греков, которые погибли во время осады Никеи. Османы брали их по доброй воле, получали в приданое дома, принадлежавшие их прежним мужьям и отцам, и оставались жить в городе, в качестве гарнизона.[2] Об османах, поселившихся в европейских странах, например, в Албании, тоже известно, что они брали себе жен-христианок. При помощи этих христианок новые понятия и нравы, естественно, проникали в домашнюю сферу османов.

Служба христиан у османов имела не меньшее значение, чем браки. Подобно тому как посредством брачных союзов христианское влияние проникало в семейную жизнь османов, точно так же посредством христиан, находившихся на службе у османов, это влияние распространялось в области общественных отношений. Христиане служили османам или в качестве союзников, обязанных помогать во время войн, или в качестве подданных султана, или, наконец, по доброй воле, из корыстных и других расчетов. В числе последних были греки и представители западных христианских наций. Выходцы с Запада, искавшие счастья под знаменами османов, не считали предосудительным ратовать за дело мусульман отчасти потому, что это были люди весьма подозрительной нравственности, для которых недоступны были высокие идеалы, отчасти же потому, что им приходилось сражаться против греков и славян, от которых они были слишком отдалены по религиозным и национальным симпатиям. Восточные же христиане, если добровольно поступали на службу к османам, то делали это под гнетом материальной нужды[3] и политического

[1] *Chalcocondylas*. Lib. VIII, p. 403, ed. Bonn.

[2] *Saad-Eddin*. T. I. P. 45.

[3] Таковы константинопольцы, перешедшие к Баязету под давлением голода. См.: *Chalcocondylas*. Lib. II, p. 83, ed. Bonn.

деспотизма Византии, а также вследствие сознания, что власть османов как ни тяжела, но едва ли тяжелее господства Византии и Венеции; как ни жестоки османы по отношению к побежденным, но и западные соседи не более мягки, да вдобавок не различают друзей от врагов. Убеждение это не было безосновательно; восточные христиане составили его под впечатлением таких поступков, каковы, например, поступки венецианцев, которые вывозили на кораблях в море и выбрасывали за борт почетнейших граждан Салоник, или поступки венгерских солдат, которые во время похода против турок нападали на беззащитное болгарское население, грабили, сжигали деревни и разрушали церкви. К недоверию, вызванному такими действиями, присоединялось еще раздражение, производимое унионными попытками; все в совокупности вело к тому, что греки (например, Лука Нотарий) скорее мирились с мыслью о союзе с османами, чем о соглашении с латинянами.

С раннего времени, а именно начиная с Мурада I, османские султаны заключали договоры с христианскими государями, по которым последние обязывались присылать на помощь туркам вспомогательные отряды. Такие обязательства принимали на себя сербские крали — Лазарь, Стефан, Юрий Бранкович, князь болгарский Шишман, воевода Валахии Мирче, наконец, константинопольский император Иоанн V Палеолог. Действительно, отряды греческих и славянских войск являлись по требованию султанов в их армию и принимали участие в военных экспедициях. Кроме этих отрядов, которые временно участвовали в предприятиях османов и по окончании похода возвращались домой, в турецкой армии был еще постоянный корпус, в который поступали христианские подданные султанов и назначением которого было сторожить во время походов обоз и заботиться о перевозочных средствах армии. Корпус этот назывался «воинак» и был учрежден султаном Мурадом I. Христиане, служившие в нем, были освобождены от податей. Османский флот тоже почти исключительно комплектовался христианами, и не только из провинций, подвластных туркам, но и из западно-европейских стран. Долгое время османы не имели собственного флота и в случае надобности пользовались услугами византийского императора и генуэзцев. Когда же они стали заводить собственный флот, то по неопытности должны были отдать это дело в руки христиан; из них составлялся экипаж. Первое серьезное поражение турецкий флот потерпел при Магомете I, у Галлиполи, от венецианского адмирала Лоредано: все почти турецкие офицеры, солдаты и матросы были перебиты, остальные попали в плен. О последних Лоредано писал в своем донесении венецианскому дожу Мочениго:

«Между пленниками я нашел генуэзцев, каталонцев, сицилийцев, провансальцев и критян, — все они по моему приказанию были повешены. Я нашел также между ними Георгия Календжа, бунтовщика против вашей светлости; я приказал разрубить его на куски на корме моей галеры. Я прибегнул к такой строгости для того, чтобы отбить у христиан охоту служить неверным».[1]

Несмотря, однако же, на эту строгость, османский флот и после того наполнялся главным образом христианами, особенно греками с островов Архипелага, критянами и выходцами из разных стран, изгнанными из отечества за преступления. Не только во флоте, но и в сухопутной армии османов христиане играли видную роль. Германцы и венгры были у турок литейщиками пушек и первыми учителями в искусстве владеть ими. Франкские стрелки и копьеносцы составляли авангард в войске Мурада II,[2] и когда Магомет II осадил Константинополь, то «в числе осаждающих было много христиан греческих и других наций, которые хотя были подданными турок, однако же не были принуждаемы ими к отречению от христианской веры и поклонялись по своему желанию».[3]

Мирные отношения, которые завязывались между османами и христианами вследствие родственных связей между ними, благодаря присутствию христиан на турецкой службе, по причине соседства христианских и мусульманских поселений, и при разных частных случаях не могли не сопровождаться взаимной передачей понятий и привычек, и так как османы по образованию и степени культуры стояли ниже христиан, то первые не могли не подчиниться влиянию последних. Прежняя резкость и нетерпимость османов к христианам постепенно сглаживаются. Появляются личности, которые, подобно визирю Халилю-паше (при Мураде II и Магомете II), были дружественно расположены к христианам. Это смягчение всего лучше выразилось в тех правах, которые были даны христианам после завоевания Константинополя. Османские султаны перенимают от византийских императоров некоторые политические учреждения (пиаде — пехота, названная греческим именем и устроенная по греческому образцу при Урхане), отчасти заимствуют придворный византийский этикет и церемонии; нравы их, отличавшиеся прежде строгостью и простотой, становятся более изысканными; сербская принцесса, жена Баязета,

---

[1] Донесение Лоредано, напеч. у *Laugier*. Histoire de Republique de Vénise. Paris, 1760. T. V. P. 435.

[2] *Ducas*, cap. XXVII, p. 179, ed. Bonn.

[3] Донесение Авиньонскому кардиналу, см.: *Buchon*. Coll. des Chron. nation. franç. T. 38. P. 327.

приучает своего мужа к употреблению вина, запрещенного Кораном; в домашней жизни султанов вводятся неизвестные прежде утонченность и комфорт, которые потом переходят за пределы придворной сферы и распространяются между более знатными и богатыми османами. Христианское влияние отразилось и на религиозных воззрениях османов; оно выразилось частью в обращениях османов в христианство, частью в стремлении сблизить ислам с христианством, объединить и слить обе религии.

Из времени, предшествующего завоеванию Константинополя турками, известны три случая обращения османов в христианство. Первый был в Константинополе при императорах Мануиле II и Иоанне VI. Был обращен из ислама сын Баязета Юсуф, который был послан в Константинополь своим братом Сулейманом в качестве заложника и был здесь воспитан вместе с сыном Мануила, Иоанном. Этот Юсуф «просил императора Мануила, чтобы он дозволил ему принять крещение по христианскому обряду, каждодневно объявляя ему, что он христианин и не держится догматов Магомета. Император не хотел внимать этому, чтобы не вызвать соблазнов. В то время свирепствовала болезнь (моровая язва), опустошавшая город и уносившая в могилу людей всякого возраста; ей подвергся и сын Баязета. Поэтому он обратился к императору Иоанну с такой речью: "Римский император, господин мой и отец! Вот я умираю, бросаю против воли все и отхожу на судилище, туда... Я исповедую себя христианином, а ты мне не даешь залога веры и печати Духа. Итак, знай, что если я умру без крещения, то явлюсь пред судилищем нелицеприятного Бога с обвинениями против тебя". Император, потрясенный этими словами, послал крестить его и сам был восприемником. На следующий день он умер. Император с подобающей честью похоронил его в Студийском монастыре Предтечи, в мраморном гробе, близ храма, возле дверей».[1] Другой случай записан польским историком Длугошем; он сообщает, что какой-то искатель приключений, османского происхождения, обратившийся в христианство, по имени Давид, проживал в Венгрии и Польше и употреблял большие усилия, чтобы склонить короля Казимира к походу против турок, но успеха не имел.[2] Наконец, третий случай имел место в Албании при Мураде II и албанском герое Скандербеге. Когда Георгий Кастриота, он же Скандербег, с помощью хитрости овладел Кроей, поднял всю Албанию и заставил турецкие гарнизоны разных городов сдаться на капитуляцию, то он предложил этим гарнизонам или удалиться из

[1] *Ducas*, cap. XX, p. 99, ed. Bonn.

[2] *Ioannis Dlugossi seu Longini* Historia Polonica. Lipsiae, 1711–1712. T. II. Col. 72.

пределов Албании, или остаться и жить под покровительством местных законов. Некоторые гарнизоны действительно удалились, другие же остались. Из оставшихся большинство удержало прежнюю веру (магометанскую), но некоторые приняли христианство.[1] Нет сомнения, что обращение совершилось без всякого принуждения, по доброй воле, потому что Скандербег не только не преследовал османов, оставшихся верными исламу, но еще помогал им в материальном отношении и всячески покровительствовал.

Стремление слить христианство с исламом и объединить христиан с османами замечается в одной мусульманской секте, которая выступила на сцену около 1413 г. и обязана своим происхождением Махмуду Бедреддину, ученому османскому правоведу, занимавшему важную должность войскового судьи (кади). Его апостолом, проповедником его учения, был некто Мустафа, человек простой и необразованный. Первых своих последователей он приобрел между сельским населением, жившим на горе Стиларии, примыкающей к Ионийской бухте, напротив острова Хиоса. По имени горы, приверженцев секты называли стиларийцами, а также монохитонцами, потому что они носили только одну простую монашескую одежду. Относительно догмы этих сектантов историк Дука, лично знавший членов секты, сообщает следующее:

«Он (Мустафа) внушал туркам бедность и учил иметь, кроме жен, все общее — пищу, одежду, скот, земли. Я, говорил он, пользуюсь твоим домом, как своим, а ты пользуешься моим, как своим, — кроме женщин. Привлекши к этому учению всех деревенских жителей, он старался обманным образом приобрести и дружбу христиан, потому что учил: всякий турок, который говорит, что христиане не суть почитатели Бога, сам безбожник. Поэтому все следовавшие его мудрствованию, повстречавшись с каким-нибудь христианином, с любовью его обнимали и почитали как ангела Божия. Сам же он не переставал ежедневно посылать послов на Хиос, ко властям и к предстоятелям церковного клира, проповедуя им свое мнение, что не иначе можно спастись всем, как в единении с христианской верой. В это время случилось, что один старый критский анахорет находился на острове, в монастыре, называемом Турлотас. Псевдоавва (Мустафа) послал к нему двух своих апостолов, монохитонцев, с непокрытыми бритыми головами, с необутыми ногами, одетых в один шерстяной хитон, и через них повел такую речь: "Я — твой соаскет и поклоняюсь тому же Богу, которому ты служишь, ночью я приду к тебе твердой ногой по морю". Истинный авва, обманутый тем ложным аввой,

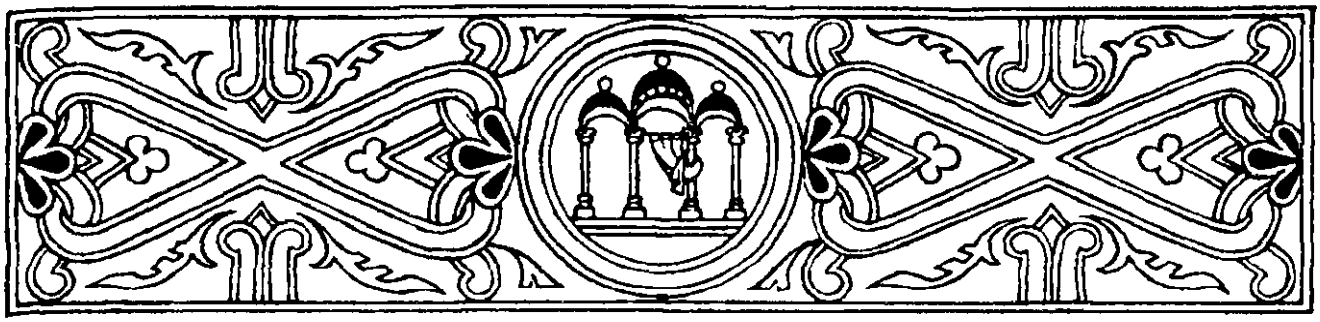
[1] Scanderbeg, von *Marino Barletio*, p. 9.

начал и сам проповедывать о нем нелепости, говоря: "Когда я был на острове Самосе, он вместе со мной вел аскетическую жизнь и через несколько дней придет беседовать со мной", — и много других глупостей».[1]

Опираясь на авторитет критского пустынника, Мустафа склонял на свою сторону христиан; между мусульманами он достигал того же с помощью дервишей, которые бродили по стране и распространяли его учение. Магомет I дважды посылал против сектантов сильное войско (более 6000), но оба раза его армия была разбиваема в теснинах и ущельях Стилария. Султан выслал третью армию, и сектанты были истреблены, а оставшиеся в живых оттеснены на самую вершину горы и здесь взяты в плен вместе со своим пророком, Мустафой. Ни пытка, ни смерть не заставили Мустафу изменить своему учению. Его пригвоздили к кресту и, посадив на верблюда, возили по улицам Ефеса. Он умер в мучениях, но ученики его утверждали, что он не умер, но продолжает жить на острове Самосе. Его последователи всюду были ревностно разыскиваемы и истребляемы. Махмуд Бедреддин бежал в Европу, но был схвачен и казнен.

Таким образом, ислам энергично отверг всякую солидарность с христианством, и оставшиеся верными Корану османы не признали возможным снизойти до христиан, уравнять их и объединить с собой. Движение, зародившееся на горе Стилярии, которое при благоприятном исходе могло повести к устройству османского государства на началах более гуманных и более сообразных с духом европейской цивилизации, чем те, на которых оно основано в настоящее время, — не принесло пользы, было подавлено в зародыше и исчезло бесследно.

[1] *Ducas*, cap. XX, p. 112–113, ed. Bonn.



Политика турецкого правительства по отношению к христианским подданным и их религии

(от завоевания Константинополя до конца XVIII в.)*

В 1453 г. Константинополь пал под ударами Магомета II, и на развалинах Византийской империи утвердилось государство османов, или оттоманов, которое с XVII в. принято называть Оттоманской *империей*. Возрастание Турецкой империи, начавшееся за полтораста лет до завоевания Константинополя, не остановилось и в 1453 г.; оно и после того продолжалось в течение ста двадцати лет. Это стодвадцатилетний период, в который выдающаяся роль и первое место принадлежат двум султанам — Магомету II и Сулейману I, был самым блестящим и замечательным временем в истории Оттоманской империи и имел решающее влияние на последующую ее судьбу. Это было время, когда владения оттоманов расширились вследствие новых приобретений в Европе, Азии и Африке (Сербия, Босния, Пелопоннес, острова Архипелага, Трапезунд, Сирия, Египет, Тунис), когда турецкие знамена победоносно развевались в Офене и под стенами Вены, влияние султанов простиралось на Молдавию, Валахию и Крым; но, что важнее, — это было время, когда государству была дана организация, которая почти без перемен сохранялась до начала XIX в. и частью сохраняется доныне, когда для восточных христиан было создано то юридическое и фактическое положение, которое держалось до первой половины настоящего столетия. С 1574 г. начинается упадок Турецкой империи; зародыши его таились в том государственном устройстве, которое составляет славу Магомета II и Сулеймана I. Как результат государственного строя, особенностей политической и социально-

---

* Впервые напечатано в журнале «Христианское Чтение». 1878. Ч. 2. С. 423–464.

общественной жизни упадок империи был явлением неизбежным. Начавшись во второй половине XVI в., он с неумолимой постепенностью совершается до нашего времени. В первые три века после его начала совершилась работа предварительная и вместе с тем самая существенная; болезнь вполне назрела и окончился процесс внутреннего разложения государственного организма. В XIX в. болезнь вышла наружу, внутреннее разложение проявилось внешним распадом, несмотря на попытки турецкого правительства исправить зло, — попытки, оказавшиеся поздними и недейственными.

Как ни странным может показаться с первого взгляда, однако же не подлежит ни малейшему сомнению тот факт, что величие Оттоманской империи, блеск ее в лучшую пору ее существования до известной степени созданы руками христиан. Было немало искателей приключений из христиан, которые поступали в войско турок и принимали участие в их походах; особенно важные услуги они оказывали туркам в тех отраслях военного и морского дела, в которых сами турки не обладали достаточной опытностью и знанием; они заведовали артиллерией, флотом, работали в арсеналах и на корабельных верфях. Несравненно большее значение для Оттоманской империи имели христианские ренегаты, т. е. христиане, принявшие ислам добровольно или по принуждению. Еще задолго до завоевания Константинополя у османов установилась система — привлекать христиан на службу государству, предварительно обратив их в ислам; существовали правильно организованные учреждения со специальной целью приготовлять для военной и гражданской службы христианских мальчиков, взятых в плен на войне или в виде подати с мирного христианского населения. Эта система тщательно поддерживалась и после занятия Константинополя, в блестящий период Оттоманской империи до 1574 г. Янычары, турецкая пехота, исключительно состояли из христиан, обращенных в мусульманство; сипаги, турецкая конница, состоявшая на жалованьи, в отличие от сипаги, конных ленников, не получавших жалованья, тоже почти исключительно пополнялись христианами, перешедшими в ислам. Все важнейшие административные должности были в руках христианских ренегатов. Должность великого визиря в рассматриваемый период ни разу не была занята природным турком, но ее занимали лица, происходившие из христианских фамилий. При Сулеймане I, при котором была окончательно выработана должность великого визиря, было три знаменитых администратора, занимавших эту должность: Ибрагим-паша, Рустем-паша и Магомет-Соколли. Все они не были османами по происхождению: первый был грек, попавшийся туркам в плен, второй — сын сербского крестьянина, отданный помещиком казне в виде уплаты за долги, третий был родом из Требинья,

в молодости готовился к поступлению в духовное звание у своего родственника, приходского священника, получил уже звание чтеца, но на 18-м году жизни был взят турками при сборе десятины с христианских детей. При других султанах было то же, что при Сулеймане; должность великого визиря была как бы привилегией христианских ренегатов и не вручалась лицам турецкого происхождения. Со второстепенными должностями было то же самое. Можно привести ряд имен, принадлежащих лицам, игравшим политическую роль при Магомете II и после него, о которых определенно известно, что они не были турецкого происхождения. Хасс-Мурад-паша, беглербег Румелии, который помог Магомету II одержать победу над владетелем Карамана в Азии, был греческий ренегат из рода Палеологов; Балабан-Бадер и Якуб, боровшиеся со Скандербегом в Албании, оба были албанские ренегаты; Сулейман, водивший войска Магомета II против венецианцев, был боснийский ренегат; после удачной экспедиции в Апулию и взятия Отранто при Магомете II наместником этого города был поставлен греческий ренегат, говоривший по-итальянски; план осады острова Родоса был составлен для Магомета II одним немецким ренегатом. При Сулеймане I во время переговоров с королем Фердинандом выступают на сцену два толмача Порты, один — немецкий ренегат, другой — польский и т. д. Вообще можно сказать, что вся администрация, войско и флот находились почти исключительно в ведении лиц, не бывших османами по происхождению, а вышедших из среды христианского населения. Только те отрасли управления, с которыми связано было попечение о духовных интересах османского народа — правосудие, религия, образование, — составляли исключительное достояние природных османов; ни один христианин, перешедший в ислам, никогда не был допущен к занятию судебной должности, к отправлению религиозных треб или обучению турецкого юношества. Таким образом, существовало самое строгое разграничение: материальные силы государства были в руках христианских ренегатов, духовная жизнь народа — в руках природных османов. Эта система была в полной силе до 1574 г., т. е. в период процветания Оттоманской империи, и мы можем констатировать знаменательный факт, что начало упадка империи сопровождается нарушением системы, совпадает с первыми попытками турок обойти ее. От XVI в. есть известия, что турки отдавали детей христианам с тем, чтобы при взимании подати христиане выдавали их за своих собственных и чтобы таким образом они могли попасть в ряды янычар и на высшие административные должности в государстве.[1] Эти и другие

[1] Донесение Лоренцо Бернардо см. у *Albèri*. Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato. Serie 3. T. II. P. 332.

подобные злоупотребления привели наконец к тому, что христиане были освобождены от обязанности платить десятину детьми; эта тягостная для их нравственного и религиозного чувства подать была отменена в 1638 г. Как бы то ни было, тем или другим способом в XVI в. много природных османов очутилось на высших государственных должностях — гражданских и военных, постепенно они стали брать численный перевес над лицами, вышедшими из христиан, а вместе с тем оканчивается период процветания Оттоманской империи, она начинает клониться к упадку. Если ставить эти явления в генетическую связь, то можно сделать весьма нелестный для турецкого самолюбия вывод относительно способности османов к самобытной политической жизни.

Систематическое покровительство ренегатам из христиан, обычай раздавать им лучшие и доходнейшие места принесли несомненную пользу империи. Но насколько он был полезен османам, настолько же был вреден христианам, в значительной мере способствуя их деморализации. Лучшие силы христиан отвлекались на службу исламу, люди даровитые и честолюбивые приносили религиозные убеждения в жертву материальным выгодам и эгоистическим расчетам, христианская молодежь становилась равнодушной к вере отцов. Мы видим примеры, когда чисто политические соображения делаются мотивом к перемене веры. Брат боснийского краля Сигизмунд и его сестра Екатерина принимают ислам только для того, чтобы обеспечить себе помощь Магомета II и при его содействии получить во владение часть Боснии. Один из восьми сыновей трапезундского императора Давида принимает ислам для того, чтобы избежать участи, которой подверглись его отец и братья, павшие от руки палача. С той же целью — спасти жизнь — принимает ислам лесбосский герцог Николай вместе со своим братом. Жители Хиоса после взятия острова османами при Сулеймане I ищут в исламе спасения для своей свободы и делаются мусульманами, не желая быть рабами мусульман. Грузинский царь Менотшер переходит в ислам, потому что видит в нем верное средство сделать для себя хорошую карьеру. Много было подобных примеров, когда посторонние побуждения, не имевшие ничего общего с внутренними религиозными убеждениями, заставляли христиан переходить в мусульманский лагерь. Это были случаи, достойные сожаления, но не заключавшие в себе никаких особенно опасных для дела христианства симптомов. Гораздо опаснее было то общее настроение, которое стало господствовать в юном христианском обществе, походило на религиозную индифферентность и бросалось в глаза путешественникам. Один писатель середины XVI в. следующим образом передает свои впечатления: «Живы еще люди, которые помнят, как был взят Константинополь

и как Греция, Албания, Валахия и Сербия, называемая ныне турками Боснией, из государств снизошли в разряд простых провинций. Эти люди остаются верными Христу. Но молодежь начинает забывать Его, и недолго ждать того времени, когда от имени христиан останется одно воспоминание. То же произойдет в Хорватии, Венгрии и Славонии, которые незадолго перед этим, благодаря новым победам, присоединены к Оттоманскому государству».[1] Мрачные предсказания Георгиевича, которому принадлежат эти слова, были вызваны видом того всеобщего равнодушия, которое он встречал среди христиан и которое заставляло опасаться, что достаточно малейшего толчка, чтобы уже не отдельные личности, но целые массы совратились в ислам. До какой степени опасения были основательны, видно из того, что их разделяло само турецкое правительство, причем, само собой понятно, внутренняя подкладка этих опасений у турецкого правительства была совершенно другая, чем у Георгиевича. Георгиевича тревожила будущая судьба христианства на Востоке, а турецкое правительство озабочено было материальным ущербом, какой терпит государство от перехода христиан в мусульманство, так как с уменьшением числа христиан должен уменьшиться харадж, платимый ими государству, и взимаемая с них подать детьми. Во второй половине XVI в. Порта обратила на этот предмет серьезное внимание и приняла меры к тому, чтобы преградить христианам возможность уклоняться от государственных повинностей под ширмой ислама, выдавая себя за перешедших из христианства в мусульманство. Один венецианский посланник в своем донесении венецианскому сенату определенно свидетельствует, что султан воспретил христианам переходить в ислам с целью освободить своих детей от взятия на службу под видом десятины.[2] Это свидетельство весьма характеристично. Оно показывает, что религиозный фанатизм, составляющий неотъемлемую принадлежность вооруженных столкновений турок с христианским миром, ограничивался полем битвы и мало заявлял о себе в правительственной сфере. Фанатизм всегда составлял у турок жизненный нерв военного дела; но коль скоро вопрос не касался войны, религиозное настроение легко уступало место политическим соображениям. С другой стороны, это свидетельство служит косвенным указанием того, что религиозное сознание в христианском обществе под влиянием турецкого господства и турецкой системы управления понизилось, твердость в вере ослабела и случаи совращения в ислам сделались

[1] Георгиевич у *Sansovine*. Historia universale dell' Turchi. Fol. 32.

[2] Тьеполо в сборнике *Albèri*. Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato. T. II. P. 136.

чаще, чем были прежде. Георгиевич имел поэтому некоторые основания с тревогой ожидать того времени, когда самое имя христиан будет истреблено в Оттоманской империи. К счастью, его ожидания не оправдались: христианство не только уцелело, но сделалось охраной национальности, народных нравов и залогом политического возрождения Востока. Решающее значение в этом деле имело то обособленное и до известной степени независимое положение, которое создано было для христиан Магометом II после завоевания Константинополя в 1453 г.

Положение, занятое христианами в Турецкой империи, с логической последовательностью вытекает из того государственного устройства, которое сообщено империи Магометом II и впоследствии развито Сулейманом I, из тех принципов, которые легли в основу этого устройства. Устройство османского государства, при всей своей своеобразности, характеризующей вообще мышление восточных народов, отличается выдержанностью в проведении основных начал. Государство, по представлению османов, есть большой дом. Фундаментом его служат: общее право (шери), государственное право (канун), обычай (аадет) и воля государя (урф). Выдающуюся часть здания составляют ворота — Порта; это название применено для обозначения правительства, вероятно, в связи с тем, что в древнее время дела решались государями у ворот их дворцов. Внутри дома есть зал, а в нем Диван, на котором восседают знатнейшие сановники, — отсюда этим словом обозначается государственный совет. Важнейшие сановники государства были разделены Магометом II на четыре класса в соответствии с четырьмя мировыми стихиями, четырьмя добродетелями, одним словом, во внимание к фаталистическому значению числа четыре, играющего в глазах восточного жителя весьма важную роль. Первые четыре сановника составляют опоры трона (эркани девлет), — сюда относятся: визирь, кадиаскер (войсковой судья), дефтердар (главный казначей), нишанджи (статс-секретарь). За этими опорами трона следуют: кьяджа-бей (делопроизводитель великого визиря), рейс-эфенди (министр иностранных дел), чауш-баши (министр внутренних дел). Корпорация улемов с муфтием или шейх-уль-исламом во главе тоже была разделена на соответствующее число классов. Несмотря, однако же, на такую образность в воззрении на государство и на такие механические, случайные подразделения, через все государственное устройство проходит одна общая мысль. Это именно — единство религиозного начала. Религия, ислам, составляет принципиальное начало всего государственного строя. Все отправления государственной жизни, управление, суд, войско, финансы, полиция, поземельные отношения основаны на исламе и сформулированы по предписаниям Корана. Государство османов имеет

характер мусульманского государства в строгом смысле этого слова. Строгое проведение через весь государственный механизм этой основной мысли привело к тому, что государственная жизнь османов приняла направление, совершенно отличное от жизни европейских народов. Тогда как европейские государства прогрессивно развивались, их учреждения все более совершенствовались, Турция застыла на одном уровне; неподвижность сделалась отличительной особенностью ее существования. Иначе и не могло быть там, где в основе политического существования лежат неизменные Божественные законы, где народная самодеятельность заключена в тесные рамки, освященные высшим авторитетом. Далее, тогда как все почти великие народы Европы образовались из слияния племен и господствующее племя не выделялось, не становилось в положение, изолированное от других племен, не делало политических учреждений своим исключительным правом, но допускало эти племена к участию в учреждениях и через то открывало путь к слиянию в одно целое элементов, отличных по вере, языку и нравам, — в Турции произошло явление обратное: изолированность сделалась необходимым условием политической жизни, слияние племен оказалось немыслимым, ислам стал непреодолимым препятствием на пути к объединению. Так как политическая жизнь Турции организована по предписаниям Корана и поставлена в теснейшую связь с религией, то отсюда произошло, что непременным условием участия в политических учреждениях сделалось исповедание ислама; только мусульманам предоставлено быть вполне правоспособными, политически полноправными гражданами; народам немусульманским преграждён доступ к политическим правам; при известных условиях, строго определенных в Коране, им дается право жизни, но только жизни отдельной от мусульман. Наконец, это проникновение оттоманского государства религиозным началом привело еще к одной особенности: сделало неизбежным слияние функций государственных с религиозными; знатоки Корана, улемы, в одно и то же время духовные лица и судьи; их глава шейх-уль-ислам занял влиятельное место в государстве и его приговоры (фетва) получили силу при решении вопросов не только религиозного, но и государственного свойства. Эти особенности османского государства — политическая изолированность и слияние Церкви с государством, функций религиозных с государственными, сделались исходным пунктом узаконений Магомета II относительно христиан, ими обусловливалось то положение, в которое были поставлены христиане после завоевания Константинополя.

При взятии Константинополя турками много христиан погибло и попало в плен, но многие уцелели от руки османов и частью скрылись в городе,

частью разбежались по окрестностям. Магомету II прежде всего предстояло решить вопрос: как поступить с христианами, оставшимися в живых. В Коране указано три способа отношения к христианам: первый способ — обращение в ислам с предоставлением прав, принадлежащих мусульманам; второй — оставление права на существование тем, которые не пожелают перейти в ислам, но и не окажут вооруженного сопротивления мусульманам, сдадутся на капитуляцию, — за право на жизнь они в качестве покоренных, рабов, должны платить дань — харадж; третий способ — истребление тех, которые окажут сопротивление мусульманам, не изъявят им покорности и не захотят принять ислам. Первый способ всего менее мог быть применен к христианам, уцелевшим от турецкого разгрома; отдельные лица еще можно было склонить к мусульманству, но масса твердо держалась веры предков. Второй способ, собственно говоря, тоже был неприменим в данном случае: Константинополь не сдался на капитуляцию, но взят штурмом, и жители Константинополя не принадлежали к разряду людей, смиренно преклонившихся перед турецким оружием и изъявивших покорность, — они оказали вооруженное сопротивление и уступили только перед силой. Следовательно, по букве закона, к ним мог быть применен третий способ — истребление. Но Магомет II ни по личным симпатиям, ни по политическим расчетам не был расположен поступать с ними так круто. Столкновения османов с христианами, продолжавшиеся в течение полутора столетий до завоевания Константинополя, не прошли бесследно. Эти столкновения имели характер не исключительно враждебный; христиане ведались с османами не только на поле битвы, но вступали с ними в мирные отношения и даже роднились путем браков. Посредством брачных союзов христианские нравы приходили в соприкосновение с нравами османов на почве домашней семейной жизни, посредством разнообразного рода отношений, которые завязывались между христианами и османами вследствие близкого соседства между их поселениями и вследствие присутствия христиан на турецкой службе, нравы тех и других соприкасались на почве общественной. Турки ближе знакомились с христианами, заимствовали у них утонченные обычаи, делались мягче и терпимее. Прежняя грубость и жестокость, с какой они относились к христианам, если и не исчезла совершенно, то до известной степени ослабела. Османы, владевшие Константинополем, не смотрели уже на христиан как на своих непримиримых врагов и не поступали с ними с той дикой беспощадностью, которая отличала их предков времен Османа или Урхана. Магомет II не уступал в этом отношении лучшим османам и решился оказать снисходительность христианам, тем более что имел к этому политические побуждения. Он задался целью придать

себе вид наследника византийских императоров, вполне утвердить свое государство на месте Византийской империи, так чтобы столица Византийской империи сделалась его резиденцией. Для достижения этой цели необходимо было относиться к бывшим подданным Византии по возможности кротко и в духе византийских императоров, затем необходимо было сделать Константинополь обитаемым и населить его, а чтобы склонить разбежавшихся жителей возвратиться в город и христиан, обитавших в других местах, переселяться в Константинополь, для этого нужно было не гнать христиан и не истреблять их, но всячески покровительствовать. До какой степени Магомет заботился о заселении Константинополя, видно из того, что впоследствии редкий поход оканчивался без того, чтобы известная часть жителей завоеванной местности или города не была переселена в Константинополь. Кроме заботы о заселении Константинополя, еще одно обстоятельство заставляло Магомета II покровительственно отнестись к христианам. Палеологи в борьбе с турецкими султанами постоянно обращали взоры на Запад и искали помощи у католических народов Западной Европы. Чтобы привлечь на свою сторону католический Запад и заручиться поддержкой папы, о могуществе которого и влиянии на народы Запада Палеологи имели несколько преувеличенное представление, они затеяли церковную унию. Но эта религиозная сделка, плод политической необходимости, вызвала сильную оппозицию в православных греках и не удалась. Константинополь не был спасен. Магомет, для успешной борьбы с которым делались унионные попытки, видел, что в Константинополе существуют две партии: одна — унионистов, которая в союзе с Западом стремится сокрушить его могущество, другая — партия православных, составляющая оппозицию унионистам и, следовательно, косвенно поддерживающая его интересы. Естественно, что он должен был покровительствовать этой последней партии. Кроме признательности за прежние услуги, хотя бы оказанные бессознательно и непроизвольно, его побуждали к такой политике расчеты на услуги этой партии в будущем. Он имел полное основание ожидать, что завоевание Константинополя не остановит в Западной Европе движения против турок, что пропаганда крестовых походов не затихнет, а напротив — получит новый толчок и силу. Магомету выгодно было иметь в среде христианского населения партию, настроенную неприязненно против католицизма, на которую при случае можно было опереться в борьбе против католического ополчения. Вот почему Магомет явился покровителем православных. И не только в этом случае Магомет поступил подобным образом по отношению к константинопольским грекам, но везде и всякий раз, когда возникала борьба между партиями, из которых одна тяготела к папе и западно-католическому

миру, Магомет спешил стать на сторону противокатолической партии и покровительствовал ей, потому что не без основания видел в приверженцах католической партии своих личных врагов. Например, когда Елена, вдова сербского краля Лазаря, отдала Сербию в лен папскому престолу в надежде найти на Западе защиту против турок, Магомет немедленно вошел в соглашение с сербскими боярами, державшимися строго православных воззрений и не одобрявшими поступка Елены, щедро их наградил и сам извлек из союза с ними всевозможные для себя выгоды; опираясь на них, занял Сербию, обратил ее в османскую провинцию, а 200 тысяч сербов взял в плен и выселил. Аналогичное явление произошло также в Боснии. Когда католическая партия, заручившись обещанием помощи со стороны папы, смело начала в Боснии агитацию против турок, Магомет выступил покровителем противной партии, имевшей в своих рядах катаров. Результат был тот же, что в Сербии. Босния обращена в османскую провинцию, и более 100 тысяч боснийцев выселено частью в Константинополь, частью в азиатскую Турцию.

Магомет решился применить к константинопольским христианам то правило, которое было назначено Кораном для христиан, изъявивших покорность, и притом дать ему такую постановку, для которой прецедент и готовый образец он имел в хартии, данной за восемь столетий до его времени халифом Омаром иерусалимским христианам. Содержание хартии, данной Омаром христианам после капитуляции Иерусалима в 637 г., сводится к следующим положениям: христианам оставляется жизнь за плату ежегодной подати — хараджа, их церкви не отнимаются и не разграбляются, и вообще христиане получают свободу в отправлении религиозных обрядов, с некоторыми лишь ограничениями — не строить новых церквей, не ставить крестов на церквах и дорогах и не употреблять колокольного звона; они отказываются от привилегий, имеющих отношение к политическим правам мусульман, а именно: от привилегии носить оружие и ездить верхом на лошадях, находящейся в связи с правом военной службы. Определения хартии Омара находятся в строгом соответствии с началами ислама, они неизменно сохранились до времен Магомета II и легли в основу его государственного устройства. Естественно поэтому предположить, что Магомет II имел ее в виду, давая права христианам своего государства. Но если даже допустить, что он действовал самостоятельно, независимо от примера предшествующего времени, то все-таки он должен был идти по следам халифа Омара в силу неизбежной логики вещей, вследствие того, что он твердо стоял на той же почве и действовал в полном согласии с теми же принципами, на которой стоял и по которым действовал халиф Омар. Их мероприятия по необходимости

должны были совпасть и быть тождественными по духу и смыслу. Действительно, сравнивая права, данные Магометом II византийским христианам, с правами, данными Омаром христианам иерусалимским, мы видим, что первые частью составляют повторение последних, частью дальнейшее развитие и точнейшее выяснение.

На третий день после взятия Константинополя Магомет II приказал объявить через глашатаев, что все, от мала до велика, оставившие свои дома и скрывшиеся в потаенных местах города могут выйти без всякого опасения, и те, которые из страха перед османским оружием бежали из города, могут возвратиться в свои жилища и жить согласно своим обычаям и предписаниям своей религии, как жили прежде. Узнав, что прежний греческий патриарх умер и его место еще не занято, Магомет II приказал, чтобы христиане-греки избрали себе патриарха тем же порядком, какой до сих пор существовал в Византийской империи. Епископы, случайно бывшие в Константинополе, высшее духовенство и знатнейшие миряне на скорую руку составили синод и избрали патриархом ученого противника унионистов Георгия Схолария, который принял имя Геннадия. Магомет остался доволен выборами на патриаршую кафедру строгого приверженца православной партии и потребовал сведений о том, какие в подобных случаях соблюдались церемонии в прежнее время и какую роль играли при этом византийские императоры. Ему сообщили, что при избрании нового патриарха императоры обыкновенно вручали новоизбранному золотой жезл, украшенный жемчугом и драгоценными камнями, и дарили ему отборную лошадь из императорской конюшни, богато убранную роскошным седлом и чепраком из белого шелка, тканного золотом. Император сидел на троне в своем дворце в соприсутствии приближенных и государственных сановников, и когда, после церковного благословения и пения положенных стихов, митрополиты Кесарийский и Гераклейский подводили к нему новоизбранного, вставал, поднимал жезл правой рукой и со словами: «Святая Троица, давшая мне власть, возводит тебя на патриаршество нового Рима», вручал его избранному. Патриарх благодарил императора, раздавалось пение «исполла эти деспота» и обряд оканчивался. Патриарх выходил из дворца в сопровождении свеченосцев, садился на приготовленную для него лошадь и отправлялся в храм Св. Софии. Магомет II, смотревший на себя как на преемника Палеологов, находил нужным исполнить этот обряд, разумеется, выбросив из него все, что было в нем несовместимого с достоинством мусульманского государя. Он пригласил Геннадия к себе во дворец, долго беседовал с ним, многое ему обещал, обнадежил насчет будущности христиан и христианской религии, при расставании вручил ему золотой жезл,

украшенный жемчугом и драгоценными камнями, и сам проводил до выхода из дворца. Здесь подведена была патриарху отборная лошадь с роскошным седлом и чепраком из белого шелка, тканного золотом, и когда он сел на нее, султан приказал своим приближенным и сановникам сопровождать патриарха, только не в храм Св. Софии, как делалось до сих пор, но в храм св. Апостолов. Христиане, привлеченные обещаниями султана, его терпимостью и уважением к древним обычаям, во множестве стали являться в Константинополь и селиться в квартале (Фанар), прилегающем к монастырю всеблаженной Девы Марии (τῆς Παμμακαρίστου), который, по просьбе патриарха, отдан был ему для жительства. Чтобы придать больше значения своим обещаниям и сообщить им силу закона, Магомет II дал Геннадию грамоту, в которой перечислены были права патриарха, подчиненных ему епископов и христиан. Этой грамотой, скрепленной подписью султана, обеспечивалась свобода и безопасность христиан; патриарх, его преемники и подвластные ему епископы освобождались от податей и налогов; положено было основание для тех прав, которые юридически оставались за христианами до XIX в.[1]

Грамота Магомета II сгорела во время бывшего в Константинополе пожара, и текст ее не сохранился, но о содержании ее можно судить по данным позднейшего времени. Положение христиан, в главных чертах определенное этой грамотой, не потерпело существенных изменений в течение трех с половиной столетий; каким оно было при Магомете II, таким же осталось и после него; сделаны дополнения и изменения в частностях и второстепенных пунктах, но общий смысл и основные пункты остались те же. По документам последующего времени, по бератам и фирманам, которые издавались султанами по поводу избрания новых патриархов и епископов, можно безошибочно судить о характере тех отношений, в какие стало к христианам мусульманское государство, о том, какое место отведено было христианам в Оттоманской империи. Сначала отношения эти обнимали христиан православного исповедания, но потом они распространились и на христиан других исповеданий; права, которые первоначально даны были Магометом II греческому патриархату, потом усвоены были армянам и другим христианским сектам (мельхитам, несторианам, монофизитам и монофелитам или маронитам). Права эти совершенно тождественны. Права, данные католикам, при некотором сходстве, носят на себе особый отпечаток и отличаются несколько другим характером.

[1] *Phranzes*. Lib. III, cap. XI. P. 304–308, ed. Bonn.; *Martini Crusii* Turco-Graecia. P. 119.

Первым признаком отношений между турецким государством и христианскими подданными, определенных законами Магомета II, служит религиозная и политическая разобщенность. Мусульманское государство по своей природе не могло допустить в свою среду граждан-немусульман; религиозное разногласие было препятствием к объединению. Христианское общество было отрезано от мусульманского государства, существование христиан поставлено вне и независимо от отправлений государственной жизни; доступ к участию в этих отправлениях для христиан был прегражден. Вследствие этого христиане были лишены существенной принадлежности полноправных граждан — политических прав; в тех случаях, когда христианам приходилось сталкиваться с мусульманами на политической почве, первые являлись людьми бесправными и не имеющими цены сравнительно с последними, — государство не допускало уравнения между ними. Отсюда, между прочим, происходило, что свидетельство, данное на суде христианином против мусульманина, не имело никакого значения, между тем как показание мусульманина против христианина принималось и имело полную силу. Отделив от себя христиан в политическом отношении, государство предоставило им организоваться в самостоятельные общины, с собственными, независимыми от государства установлениями — религиозными и гражданскими, с собственной администрацией и судом. Другим важным признаком отношений между турецким государством и христианскими подданными служит то, что мусульманские государственные начала были перенесены на христианские общины, мусульманский государственный строй некоторыми своими сторонами послужил прототипом христианских общин, организация последних логически выведена из государственной организации. Прежде всего это нужно сказать относительно принципа религиозного единства. В основе оттоманского государства лежит религия, притом религия одна, исключающая всякую другую религию. Что стоит вне ислама, то отделено от государства; не признающие Корана не причисляются к разряду полноправных граждан. То же правило применено к организации христианских общин: в основу общины положено одно христианское исповедание, другое рядом с ним не допускается. Так как основой общины послужила религия, то отсюда произошло, что национальный элемент был отодвинут на задний план, в глазах правительства он не имеет особого значения; значение, принадлежащее нации, усвоено религии, или лучше сказать, общине, основанной на религии. Порта называет своих подданных, которых она подчинила Константинопольскому патриарху, «греческой нацией» — «рум миллети». Под этим словом имеются в виду не одни греки, но все исповедующие греческую религию — греки, славяне и влахи.

«Милетти» имеет на турецком языке значение не нации в европейском смысле слова, а административной корпорации, общины, соединенной в один административный союз, связующим звеном которой служит религия, а не национальность. Точно так же словом «латинская нация» — «латин раясси» — Порта обозначает всех исповедующих католическую веру — болгар, боснийцев, хорватов и других. Тем обстоятельством, что в основу общины положена одна только религия, объясняется образование в Турецкой империи не одной, а нескольких общин, по числу исповеданий. Разные национальности могут входить в состав одной и той же общины, лишь бы они исповедовали одну религию, но разные исповедания не могут совмещаться в одной общине, хотя бы исповедующие были лица одной национальности. Отсюда произошло, что Турция не только не представляет цельного государственного организма, но даже не ограничивается дуалистическим построением, так, чтобы одну половину составляли мусульмане, а другую — христиане. Она слагается из такого числа общин, которое соответствует числу религий и религиозных исповеданий. Народы, имеющие свою особую религию, имеют в то же время свои особые административные учреждения и в гражданских делах подлежат особым законам. Кроме принципа религиозного единства, турецкое государство перенесло на христианские общины свой принцип слияния религиозных функций с государственными. В Турецкой империи одни и те же лица облечены властью гражданской и церковной. Та же особенность характеризует управление христианскими общинами. Оттоманское правительство вооружало Церковь обширными административными полномочиями и сделало ее представительницей подвластных народов: лица, стоящие во главе церковного управления, получали судебную и гражданскую власть над членами общины; в руках патриархов сосредоточены все нити управления общинами, и на них же возложена ответственность за повиновение членов общин турецкому правительству и за исправное внесение податей. Такое смешение власти не было неестественным в глазах оттоманского правительства. Если глава мусульманского государства — султан — в то же время и глава религии, то какая может быть странность и неестественность в том, что патриарху, духовному главе христианской райи, предоставлена светская администрация? Если кади, ученый ислама, для мусульман — судья, то почему же христианский епископ не может быть судьей для христиан?

Что касается устройства христианских общин, то, как сказано выше, только католики получили права, несколько отличные от остальных христианских подданных Турции, все другие христианские общины имеют одинаковое устройство. Оно первоначально было дано греческому

патриархату, а потом разным сектам. Поэтому знакомства с устройством греческой общины достаточно, чтобы иметь представление об устройстве других христианских общин, за исключением католической. Греческая община, или греческий патриархат, представляет собой церковно-гражданский союз, с собственной религией, администрацией и судом. Общине обеспечена свобода вероисповедания, беспрепятственное отправление церковных обрядов и погребение мертвых по древнему обычаю. Церковь может владеть принадлежащими ей издревле зданиями и, с согласия турецкого правительства, ремонтировать их; церковные здания и кладбища неприкосновенны. Церковно-гражданское управление общиной принадлежит патриарху, епископам и клиру; они, в особенности патриарх как представитель управления, ответственны перед Портой за повиновение православных подданных и за исполнение ими обязанностей по отношению к государству; в соответствии с этим им предоставлено право защищать своих единоверцев перед турецким правительством. Представления перед Портой в пользу православных патриарх делает и вообще все сношения с Портой ведет при посредстве великого логофета, который служит посредствующей инстанцией между Портой и патриархом по делам гражданского управления и которому принадлежит право контрасигновать синодальные постановления о назначении новых архиепископов и епископов, без чего эти постановления не имеют силы. Во главе церковно-гражданского управления общиной стоит патриарх; он ведает дела совместно с синодом, который составляется из первейших архиепископов. В церковном отношении ведению патриарха подлежат следующие дела: надзор за церквами, монастырями и их имуществами, назначение и низложение архиепископов и епископов, суд над духовенством; Порта, по требованию патриарха, обязана дать фирман вновь избранному епископу; без согласия патриарха и без участия его уполномоченных она не может арестовать митрополита и вообще лицо, облеченное высшим духовным саном. В отношении гражданского управления патриарху принадлежат: безусловная юрисдикция в брачных делах, суд во всех гражданских делах в том случае, если обе тяжущиеся стороны согласны передать дело на его решение, надзор за православными и исправительно-полицейская власть над ними, право взимать с клира и мирян подати для церковных целей. Епископы составляют низшую инстанцию и ведают церковно-гражданские дела в своих епархиях. Сам патриарх может быть судим только императорским Диваном, но жалобы на него могут быть приносимы и обвинения могут поступать не иначе, как при посредстве синода. Только в одном случае Порта может действовать самостоятельно против патриарха — в случае государственной измены с его

стороны. Патриарх свободен от податей и повинностей, за исключением специальных взносов, точно обозначенных в берате. Право избирать патриарха принадлежит синоду. Избрание происходит следующим образом. Когда патриарший престол сделается вакантным, члены синода и находящиеся в Константинополе архиепископы и епископы собираются в синодикон, т. е. патриаршую палату, находящуюся в Фанаре, и здесь, в присутствии султанского представителя, избирают по большинству голосов трех кандидатов. Результат сообщается народу, т. е. двум пентадам белого духовенства, знатнейшим лицам и выборным представителям купцов и граждан Константинополя, которые собираются и ждут решения в передней комнате синодикона. Собрание отдает преимущество одному из трех кандидатов словом «аксиос», составляется протокол избрания и подписывается всеми присутствующими. Затем синод готовит официальный доклад Порте об избрании нового патриарха. Получив его, Порта издает берат, утверждающий нового патриарха; в берате подробно перечисляются все права и обязанности патриарха, синода и вообще все привилегии Греческой церкви. На другой день после избрания новоизбранный отправляется с визитом к великому визирю и последний вручает ему берат. Патриарх может быть низложен Портой или самостоятельно, или по ходатайству синода. Первый случай возможен только вследствие государственной измены патриарха. Синоду же предоставляется хлопотать перед Портой о низложении патриарха по двум основаниям: первое, если он дурно управляет Церковью, и второе, если он погрешает против догматов Православной Церкви. По одному из этих двух пунктов или по обоим вместе синод может произвести следствие, и если патриарх окажется виновным, представить Порте официальный доклад о его низложении. Тогда Порта объявляет патриарха низложенным и синод приступает к новым выборам.

Главное отличие устройства католической общины в Турции от остальных христианских общин заключается в том положении, которое занимает папа, глава католических подданных Порты, и которое не имеет ничего общего с положением патриархов. Папа не несет никакой ответственности за католических подданных Турции, он не дает Порте гарантии в их повиновении, подобно греческому и другим патриархам: как папа, так и находящаяся под его верховным управлением Католическая церковь в Турции не находятся ни в какой связи с государством османов. Папа назначает епископов без всякого вмешательства общины и без участия Порты; католическое население Турции управляется духовенством, которое стоит в теснейшей связи и исключительной зависимости от папского престола. Хотя католики платят харадж и представляют собой

таких же подданных Порты, как и греки, однако же их община совершенно изъята из ведения и влияния турецкого правительства. Тогда как Греческая церковь, при всей своей отдельности от государства, имеет все-таки вид правительственного учреждения в Оттоманской империи, Католическая церковь и ее органы заняли в Турции место иностранной державы, к которой применены не начала внутреннего государственного права, но статьи международных договоров; тогда как греческий патриарх сделался в известном смысле государственной властью, католические архиепископы и епископы заняли положение, которое может быть сравниваемо с положением иностранных миссий. Такой порядок вещей не находит себе оправдания в Коране и определенно невыгоден для Турции. Если турецкое правительство допустило его, то сделало это, преклоняясь перед необходимостью; после того как попытки султанов утвердить свою власть на западе Европы не удались, Порта принуждена была заключить мир с христианским Западом и допустить франков, т. е. католиков, до такого существования в Турции, которое, при возможном согласии с общими началами организации христианских общин, в то же время находилось в соответствии с особенностями католической религии.

Таково было юридическое положение христиан в Турецкой империи от середины XV до конца XVIII в. Естественно, рождается вопрос: насколько оно проявлялось в действительной жизни, соответствовал ли факт букве закона, действительно ли соблюдались права христиан, их вероисповедная свобода, неприкосновенность личности и имущества, всегда ли турецкое правительство относилось с уважением к христианским общинам и не делало ли попыток нарушить их привилегии? В решении этого вопроса необходимо прежде всего отличать внутреннюю политику Порты как центрального правительства от системы, практиковавшейся в отношениях низшей турецкой администрации и османского населения к населению христианскому.

О центральном турецком правительстве нужно сказать, что оно вообще уважало раз данные христианам права и старалось сообразоваться с ними, если не по существу, то по форме. Разумеется, дело не обходилось без исключений. Внутренним мотивом, благодаря которому христиане получили права, была снисходительность и терпимость к ним турецких султанов. Но между султанами, занимавшими престол в течении трех с половиной веков после завоевания Константинополя, и между придворными, имевшими на них большое влияние, были лица, отличавшиеся противоположными качествами, питавшие фанатическую ненависть к христианам. Когда к таким лицам переходило кормило правления, настроение Порты изменялось и христианам грозила серьезная опасность; уважение

к их правам переставало быть правилом государственной мудрости султанов, и речь заходила о поголовном истреблении христиан и христианской религии. Подобная опасность наступила для константинопольских христиан в 1536 г. при Сулеймане I, который был талантливейшим полководцем, способнейшим организатором государства, но в то же время отличался мусульманской ортодоксальностью и приверженностью к исламу: ни один турецкий султан не построил столько мечетей и не обратил столько христианских церквей в мечети, сколько Сулейман. При нем строго мусульманская партия, состоявшая из улемов, подняла голову и внушила султану мысль о необходимости уничтожения или превращения в мечети всех константинопольских церквей, в том числе и патриаршей. Законность такой насильственной меры доказывалась тем, что Константинополь не добровольно подчинился Магомету II, не сдался ему на капитуляцию, но был взят силой. Султан склонялся уже на представления и готов был издать повеление о том, чтобы духовенство забирало свои книги с церковными принадлежностями и очищало церкви. К счастью, патриарх вовремя узнал об угрожавшей опасности и по совету великого визиря, не одобрявшего намерения султана, успел предотвратить ее. Он выступил с заявлением, что Константинополь не был взят силой оружия; тогда как одна часть города уступила под напором османов, другая вместе с императором Константином добровольно сдалась на капитуляцию. В подтверждение своих слов патриарх отыскал в Адрианополе двух свидетелей-османов, которым насчитывалось более ста лет от роду и утверждающим, что они были участниками занятия Константинополя и служили в войске Магомета II в качестве янычар. Они засвидетельствовали, что, действительно Константинополь с императором сдались Магомету II на капитуляцию. Свидетельство, как мы знаем, исторически не оправдывается, но не принять его было нельзя, особенно ввиду того, что первый сановник государства, великий визирь, хотел верить ему и других желал убедить в верности показания. Усилия улемов вытеснить христианство из Константинополя не удались.[1] Из последующих царствований самым трудным временем для христиан и христианской Церкви было царствование Мурада III (1574–1595) и Магомета III (1595–1603). Порта была тогда враждебно настроена против христиан, и не раз поднимался вопрос об уничтожении христиан и всех христианских церквей в государстве. В 1577 г. громадные деньги и большие усилия потребовались, чтобы спасти константинопольские церкви, в 1595 г. фанатичная султанша-мать требовала «сицилийской вечерни» (т. е. резни) для всех христиан

[1] *Martini Crusii* Turco-Graecia. P. 156–163.

оттоманского государства.[1] Эти и подобные случаи, порожденные нетерпимостью и мусульманским фанатизмом, не мотивированные никакими высшими государственными соображениями, можно считать исключениями из общего правила. Это были явления случайные, вызванные личной враждой к христианам турецких правителей и не имевшие серьезных результатов. Более интереса имеют враждебные действия турецкого правительства к христианам и вторжения в области их прав, вызванные общим течением государственной жизни Турции, ее внешней и внутренней политикой. Эти действия имеют такой вид, как будто турецкое правительство против желания, повинуясь не зависящему от его воли ходу вещей, нарушает или грозит нарушить коренные права христиан; оно уважает эти права и готово их свято хранить, только бы сами христиане не заставляли поступать иначе и только бы сохранение прав не шло вразрез с государственными выгодами. К разряду таких действий относятся: репрессалии, обусловленные столкновениями Турции с христианскими народами Европы; мероприятия, вызванные интригами и смутами христианских общин и их взаимными распрями; наконец, реакция против католицизма и католической пропаганды.

Порта не могла быть настолько близорука, чтобы не видеть, что восточные христиане, несмотря на ту долю свободы — религиозной, личной и имущественной, какая им предоставлена по закону, — недовольны мусульманским владычеством, что они, сознавая свое нравственное превосходство над турками, чувствуют неправду политической приниженности сравнительно с турками и, будучи сами бессильны, невольно покоряются победителям, но в то же время ждут лучшей участи и с надеждой обращают взоры на христианскую Европу. Не могла она также не видеть и того, что христианская Европа не остается совершенно равнодушной к Востоку, где христианству отведено такое неподобающее его достоинству место. Порта должна была сознавать неизбежность солидарности между ее подданными-христианами и христианской Европой и действительно сознавала это. Уже Магомет II видел, что между католическими подданными его государства и католическим Западом существует тесная связь. Последующая история, постоянное заступничество за турецких католиков Венеции, Франции и Австрии еще более должны были убедить в этом Порту. В скором времени она пришла и к тому неприятному для себя убеждению, что не менее тесная связь существует между Россией и многочисленными турецкими подданными греческого исповедания. Венецианцы, истые предшественники англичан по искусству обделывать дела на

[1] *Von Hammer.* Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. IV. S. 260.

Востоке и чутко понимать собственные интересы, рано подметили, какую силу имеет Россия на Востоке и как страшна эта сила в глазах султанов: «Великий князь Московский, — писал в своем донесении Джакопо Соранцо, — потому главным образом наводит страх на султана, что принадлежит к Греческой церкви, подобно народам Болгарии, Сербии, Боснии, Мореи и Греции; эти народы благоговеют перед его именем, потому что держатся того же греческого исповедания; они всегда с величайшей готовностью возьмутся за оружие, чтобы освободиться от турецкого рабства и перейти под его власть».[1] Тяготение турецких христиан к христианской Европе отразилось на отношении к ним оттоманского правительства и было причиной репрессалий. Порта была уверена, что всякое столкновение ее с Европой производит брожение в массе ее христианских подданных, что европейские державы рассчитывают на содействие этой массы, дорожат ею, что поэтому бороться с Европой можно и косвенно, действуя на христианскую массу Турции. Когда во время борьбы Сулеймана I с императором Карлом V императорский флот подошел к Морее, взял укрепленный город Корон, а войско проникло в страну, стало занимать менее важные города и брать турок в плен, великий визирь Ибрагим-паша объявил императорскому послу Иерониму из Зары, что если так дело продолжится и неприязненные действия не будут приостановлены, то иерусалимские церкви будут превращены в мечети, остальные церкви в Турецкой империи будут разрушены, священники и монахи будут изгнаны и христианским купцам запрещено будет торговать. Угроза не была приведена в исполнение, потому что скоро был заключен мир. К подобным угрозам Порта прибегала и при других случаях; при Мураде IV был проект истребления всей христианской райи, при Мустафе III — проект истребления константинопольских христиан. Эти проекты тоже не были осуществлены. Не всегда, однако же, Турция ограничивалась угрозами: известны примеры, когда она применяла к христианам репрессивные меры, не имея даже для этого разумных оснований, руководствуясь лишь простыми подозрениями. Прискорбный факт такого рода был, между прочим, вызван в начале XVII в. при Ахмеде I неблагоразумным поступком австрийского посла Чернина (из Праги). Въезжая в Константинополь, он развернул знамя, на котором на одной стороне был изображен Христос на кресте, а на другой императорский двуглавый орел. Это невиданное до тех пор зрелище сильно смутило мусульман и привело их в негодование, потому что у них хранилось предание об одном древнем пророчестве, по которому появление в стенах столицы знамени с изображением

[1] *Albèri*. Relazioni degli ambasciatori Veneti al senato. T. II. P. 206.

креста будет признаком гибели государства. Турецкое правительство придало этому особенный смысл; в поступке Чернина увидело сигнал к возмущению христианских подданных Турции против правительства, наглядное указание христианам, что пришло время водрузить на стенах Константинополя крест. В том предположении, что в домах христиан, в их церквах и монастырях спрятано оружие, сделано было на христиан нападение. Разумеется, предполагаемого оружия не нашли, тем не менее допущены были страшные насилия над христианами: в Галате францисканский генерал-викарий был схвачен и без суда и следствия брошен в воду, более же сорока христиан в течение ночи были повешены на улицах.

Подобно тому как враждебные отношения к европейским державам служили поводом к репрессалиям, недостатки внутренней жизни христианских общин в Турции давали Порте возможность вмешиваться в их дела и извлекать для себя из этого вмешательства немаловажные материальные выгоды. Интриги составляют «первородный грех» христианских общин в Турции. Почти с первых дней существования греческой общины начались искательства из-за выгодного и влиятельного места греческого патриарха, и явилось много охотников занять патриарший престол; они наперерыв друг перед другом заискивали у Порты, надеясь при ее содействии достигнуть желанной цели, и предлагали денежное вознаграждение за свое возведение в патриаршее достоинство. Это обстоятельство было как нельзя более на руку Порте и дало ей средство обложить греческих патриархов данью — первое нарушение привилегии, данной Магометом II Геннадию, за которое вина всецело падает на самих христиан. Это нарушение сделано самим же Магометом II. Геннадий и его преемник Марк не платили дани в султанскую казну. Симеон из Трапезунда, достигший престола с помощью интриги, первый внес султану 1000 дукатов, под видом подарка; это была сумма, предварительно и добровольно обещанная Симеоном Порте за возведение на престол. Его преемник, Филиппопольский архиепископ Дионисий, обещал уже заплатить и действительно заплатил при восшествии на патриарший престол 2000 дукатов. Порта стала смотреть на эту сумму как на определенную дань и требовала ее уже формально. Когда Симеон, при вторичном избрании в патриархи, послал по-старому подарок в 1000 дукатов, ему ответили, что, как видно из податных списков, предшественник его внес вдвое против этой суммы, и уменьшение впредь не может быть допущено. Симеон повиновался и заплатил две тысячи. К этой дани, которую с тех пор платил патриарх при вступлении на престол, присоединилась еще ежегодная дань. Она тоже обязана своим происхождением интригам самих христиан. Во вторичное патриаршествование Симеона явился к султанскому

двору сербский монах Рафаил и обещал, если будет возведен на патриарший престол, платить ежегодно 2000 дукатов, кроме тех двух тысяч, которые по положению будут заплачены при вступлении в должность. Симеон был низложен и на престол возведен Рафаил. После этого до конца правления Магомета II патриарх обязан был платить в султанскую казну ежегодную дань в 2000 дукатов. При преемниках Магомета сумма была увеличена, при Баязете II дошла до 3500 дукатов, а при Сулеймане I до 4100 дукатов. Эта последняя цифра сделалась, начиная с Сулеймана I, нормой патриаршей дани и обозначалась в султанских бератах.[1] Способ, которым Порта проводила излюбленных кандидатов на патриарший престол, был следующий. Министр иностранных дел, ведению которого подлежали дела патриархата, при помощи своих креатур сообщал членам синода, что он желал бы видеть на престоле нового патриарха. Тотчас начиналась интрига, одни спешили снискать милость министра, другие рассчитывали на выгоды от избрания нового лица, прежний патриарх обвинялся в дурном управлении Церковью, и в этом смысле писался доклад Порте, которая его низлагала. Производились новые выборы, и народ провозглашал «аксиос» тому, кто был наперед намечен в тайном совещании между важнейшими членами синода и знатнейшими из граждан. Происходило обыкновенно так, что избранником был тот, кого желало турецкое правительство. Все формальности бывали соблюдены, закон не нарушен и в то же время желания Порты удовлетворены. Этого можно было достигнуть только при деморализации, своекорыстии и наклонности к интригам — качествах, отличающих фанариотов — греков, обитавших в Фанаре, поставлявших кандидатов на церковные места и игравших значительную роль при выборе патриархов. Это были люди, сроднившиеся мало-помалу с турецкой властью и извлекавшие собственные выгоды из того положения, в которое эта власть поставила их по отношению к остальной массе православных. В среде фанариотов были банкиры, наживавшиеся от отдачи денег в рост султану, султанским женам и пашам; из этой среды выходили патриархи, архиепископы и епископы, которые с помощью подкупов получали места и, получив их, выжимали деньги из массы православных, подвластных их управлению. В этих людях Порта находила верных слуг; пользуясь ими она могла существенно нарушать права христианской общины, оставляя их ненарушимыми по букве. Благодаря им, их интригам, продажности и угодливости перед Портой, патриарх был обложен данью и за христианской общиной осталась одна тень свободы. Вообще внутренняя жизнь христианских общин не представляет

[1] *Crusii* Turco-Graecia. P. 121–125, 129–131, 145, 154, 164.

привлекательной картины: фон ее омрачен борьбой честолюбия, раздорами и несогласиями, каждый раз дававшими Порте возможность наложить на христиан и на их карманы свою руку. Иногда раздоры принимали размеры нежелательные для самой Порты, грозившие нарушением внутреннего мира Империи, и турецкое правительство приходило к мысли о необходимости отнять у христиан права, которыми они не умеют пользоваться. Когда, например, в 1580 г. появились два греческих патриарха, которые не уступали друг другу и не хотели примириться, султан объявил, что если согласие не восстановится, то патриаршие палаты с принадлежащей к ним церковью будут взяты и церковь будет обращена в мечеть.[1] Мысль об отнятии у христиан прав не была осуществлена, но она не осталась совершенно без приложения. Порта показала вид, что если она не принимает решительных мер и, несмотря на заведомую неспособность христиан к самоуправлению, не лишает их прав и не уничтожает христианской общины, то делает это вопреки законам благоразумия, допускает поблажку, и что во всяком случае за такую снисходительность христианская община обязана вещественной благодарностью, должна заплатить правительству выкуп. Таким образом, собственная неосторожность христиан дала Турции повод обложить их права данью. Во второй половине XVI в. греческая община за свое коренное право, религиозную свободу, должна была платить ежегодно 25 тысяч цехинов, сверх того за право погребать мертвых — 3 тысячи цехинов; право иметь церкви тоже не было пощажено, церкви с их имуществами обложены были данью, исключая церкви Константинополя, Адрианополя и Бруссы. Вражда и раздоры не только вкрались во внутреннюю жизнь христианских общин, но были обычным спутником взаимных отношений разных христианских общин, выступали наружу там, где интересы общин приходили в соприкосновение; они тоже давали туркам повод к вмешательствам и денежным поборам. Чаще всего интересы христианских общин сталкивались в Палестине, по вопросу о владении святыми местами и ключами от Гроба Господня. Здесь рядом, бок о бок друг с другом, жили францисканские монахи, греки, сирийцы, грузины, армяне, несториане, яковиты, абиссинцы; кроме того, сюда часто наведывались ливанские мароните и иезуиты. У каждой общины были свои монастыри, церкви, часовни и места, дорогие для христиан по священным воспоминаниям, связанным с ними. По поводу владения этими местами происходили споры между общинами, одна община делала вторжения в область другой, поднимались жалобы, за которыми следовало вмешательство турецкого правительства и

[1] *Charrière.* Négociations de la France dans le Levant. T. III. P. 897.

денежные взыскания. Так, например, однажды францисканские монахи ворвались в часовню грузин, расположенную вблизи Лобного места, и прочитали мессу. Грузины жаловались санджак-бегу, который заставил францисканцев очистить часовню и взыскал с них штраф в 1000 дукатов. Особенно прибыльны были для Порты пререкания между францисканцами, греками и армянами за владение Святым Гробом, за право хранить ключи от Св. Гроба. Каждая из трех сторон изъявляла притязания на это почетное право и, запасшись деньгами, искала поддержки у турецкого правительства, которое не находило ничего лучшего, как передавать ключи из рук в руки и, таким образом, иметь постоянный и неиссякаемый источник доходов.

В распрях между христианскими общинами турецкое правительство попеременно принимало сторону той или другой; все дело обусловливалось искусством интриги, размером подкупа и степенью давления иностранных посольств. Но если Порта оказывалась вне этих стимулов и действовала более или менее независимо от них, то ее отношения к христианским общинам получали ту особенность, что община католическая несла потери и пользовалась меньшим расположением и покровительством Порты, чем другие общины. Это явление объясняется тем, что устройство католической общины с духовенством независимым и неответственным перед турецким правительством стоит в противоречии с государственными интересами Турции и не может быть приятно для Порты. Порта допустила это устройство по необходимости, но никогда не была им довольна; католическая община была живым памятником ее поражения и смирения перед христианским Западом, постоянным укором в глазах мусульманского мира. Естественно, что в тех случаях, когда Порта была призвана произнести свой приговор над католической общиной и, произнося его, становилась на государственную точку зрения, ее приговор не отличался снисходительностью. Вообще католицизм не пользовался расположением Порты; увеличение числа католиков, следовательно подданных, ускользавших из-под ее контроля, было для нее явлением крайне нежелательным. Отсюда происходили вражда Порты к католической пропаганде и то противодействие, которое она оказывала распространению католичества в Турции. Католические миссионеры были в ее глазах политическими врагами, они изгонялись, и деятельность их парализовалась; вновь обращенные в католичество христиане других исповеданий подвергались гонению, и поддерживалась ортодоксия. XVII и XVIII вв. наполнены явлениями этого рода. В это время католицизм нашел ревностных поборников в иезуитах, которые перенесли свою деятельность на Восток и направили свои усилия на греков Константинопольского патриархата и на сам патриархат, а еще более на армян

Усилия их не были безуспешны: Константинопольский патриархат был временно в их руках, значительное число греков и множество армян перешло в католичество. Но и Порта не дремала, энергично поддерживала православных греков и ортодоксальных армян, преследовала новообращенных католиков и гнала иезуитов. Иезуиты пробрались в Константинополь в начале XVII в., осели в Порте, получили здесь в свое ведение церковь св. Бенедикта, основали школу, стали бесплатно обучать в ней греческое и армянское юношество и посредством женщин повели пропаганду в домах и семействах. Из Константинополя иезуитская миссия мало-помалу раскинулась на островах Архипелага и в азиатской Турции; иезуиты проникли на Хиос, в Смирну, Кипр, Алеппо и Армению. Много раз иезуиты были изгоняемы и всякий раз, так или иначе, вновь появлялись и, пользуясь покровительством французского и австрийского послов, продолжали свое дело. В течение каких-нибудь двадцати лет они настолько окрепли, что помышляли о завладении святыми местами и Константинопольским патриархатом. Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис дважды был удаляем с престола, и его место занимали греки, обращенные иезуитами в католичество. Оба раза патриарх был возвращен Портой, а иезуиты были закованы в цепи и высланы из Турции. Однако же они незаметным образом сумели опять появиться и по смерти Кирилла успели провести на его место одного своего питомца. Наученные прежним опытом, они стали действовать осторожно, но в конце XVII в., ободренные успехами, выступили решительнее. Поднялись громкие жалобы со стороны греков и Константинопольского патриарха — и Порта опять поспешила на помощь. В разных местах, особенно на Хиосе, против иезуитов и их приверженцев были приняты решительные меры: султан Мустафа II издал строгий хатти-шериф, воспрещавший, под страхом тюремного заключения и денежных пеней, совращения и переход христианских подданных Турции в католичество. Иезуиты не успокоились. Встретив такой отпор со стороны греков, они обратили все свое усердие на армян. Чтобы иметь возможно больший успех, они сообщили своей пропаганде политическую окраску и к религиозным убеждениям присоединили планы о восстановлении политической независимости армян и улучшении их материального быта. Расчеты иезуитов вполне удались: в начале XVI в. много армян обратилось в католичество и вся армянская нация подверглась брожению; образовалось две партии, из которых одна держалась древнеотеческой религии, а другая была склонна к католицизму и связывала с ним надежды на национальное возрождение армян. Началась борьба. Католическая партия была настолько сильна, что провела своего кандидата на патриарший престол. Но и здесь на помощь ортодоксальной партии пришла Порта: патриарх, поставленный

католиками, был низложен и заключен в тюрьму, многие из его приверженцев-армян, принявших католичество, тоже были брошены в тюрьму или сосланы на галеры; замешанные в деле лица подвергнуты телесному наказанию и денежным взысканиям; иезуитская коллегия в Эрзеруме была закрыта, и иезуиты, вместе со своими питомцами, принуждены были искать убежища за пределами Армении. Преследования, начатые против армян-католиков, продолжались несколько лет, им подверглось много знатных и должностных лиц из армян, один армянин был даже казнен, и султан издал хатти-шериф, угрожавший армянам-католикам страшными наказаниями. Иезуиты притихли, но не отказались совершенно от своей задачи. Их деятельность нашла поддержку в мехитаристах, армянских монахах Бенедиктинского ордена из монастыря, основанного в начале XVIII в. Мехитаром на острове Сан-Лазаро, в Венеции. Мехитаристы задались целью воссоединить армян с Католической церковью и реорганизовать Армению в политическом отношении. Религия должна была послужить рычагом для подъема армянского народа, нравственно и политически упавшего под господством турок. Цели предполагалось достичь путем развития народного образования и национальной литературы, объединения религиозных и патриотических стремлений. На этой почве слились усилия иезуитов и мехитаристов, и результаты не заставили себя ждать. Множество армян, в том числе из знатных и богатых фамилий, перешло в католичество. Порта опять встревожилась, и опять начались преследования, которые несколько раз возобновлялись в прошлом и настоящем столетиях.

Вывод из указанных фактов тот, что в Оттоманской империи в отношениях центрального правительства к христианам совмещались вещи несовместимые: соблюдение привилегий с их нарушением, религиозная терпимость с нетерпимостью, уважение к правам с пренебрежением к ним, и что примиряющим началом для этих противоположностей был произвол. Произвол стоял выше всего. Порта в каждом берате повторяла о своей решимости свято хранить закон и в то же время бесцеремонно его обходила; права христиан оставались в силе, и Порта сообразовывалась с ними, но лишь в той степени, в какой это было для нее выгодно; политический и финансовый расчет стоял выше принципа, личная симпатия или антипатия султана ставили на карту существование целой правительственной системы. Несмотря на все это, если бы положение христиан в Турции исчерпывалось отношениями их к центральному правительству, то оно могло бы быть названо блистательным. Отношения Порты как центрального правительства, при всем их непостоянстве и произвольности, не могут идти ни в какое сравнение с отношениями к христианам низшей администрации и мусульманского населения; они — воплощение закон-

ности и мягкости, сравнительно с тем своеволием и безнаказанной жестокостью, которые царили в провинциях. Христиане были совершенно беспомощны перед администрацией. Их права не существовали для мусульманских административных властей. Любой санджак-бег (губернатор) или даже субаши (городничий) нападал на христианскую Церковь, грозил виселицей епископу, брал выкуп с христиан и забирал все, что было ему угодно; найти против него суд и управу было трудно. Например, в 1587 г. вновь назначенный санджак-бег Иерусалима, по причине никому неизвестной, велел схватить и умертвить сирийского епископа, церковь сирийских христиан превратил в мечеть и грозил подобной же участью настоятелям четырех христианских монастырей, в случае если они тотчас не заплатят 10 000 дукатов. Христиане с большим трудом собрали требуемую сумму и откупились от этого разбойника.[1] Христианами была подана жалоба в Константинополь, но она не имела никаких последствий. Эта беспомощность христиан была неизбежным следствием системы управления Оттоманской империей, вытекала из тех недостатков, которые господствовали в административном строе государства.

Роковым недостатком турецкого административного управления было взяточничество и вымогательство. Турецкие чиновники получали большие доходы по закону: субаши от 1 до 3 тысяч дукатов, санджак-беги от 3 до 16 тысяч, беглербеги от 15 до 30 тысяч, законные доходы великого визиря, стоявшего во главе административной лестницы, доходили до 100 тысяч дукатов. Но администрация не довольствовалась этими законными доходами, каждый чиновник получал незаконных поборов, по крайней мере, вдвое больше той суммы, которая была определена законом. Великие визири составляли баснословные состояния продажей государственных должностей и подарками, взимавшимися ими со всех и каждого, кто имел к ним дело; до какой цифры простирались их доходы, видно из того, что Магомет Соколли, кроме законных 100 тысяч, собирал каждый год около миллиона дукатов и имел недвижимого имущества на 18 миллионов. Примеру великого визиря следовали подчиненные ему беглербеги (генерал-губернаторы), которым не уступали подвластные им санджаки, а за санджаками тянулись субаши. Все они, купив себе должность, задавались целью не только возвратить истраченные деньги, но нажить себе, как можно скорее, состояние. Естественным результатом были притеснения и вымогательства, которые всей тяжестью обрушивались на страну и ее жителей. Допускались неслыханные жестокости с целью выжать деньги, которые проходили безнаказанными, потому что

[1] *Hammer*. Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. IV. S. 190.

вся администрация была заражена одним и тем же злом; жалобы в высшей инстанции доходили до великого визиря, который сам был взяточник и по необходимости должен был терпеть взяточничество и вымогательство подчиненных чиновников. Все страдали от этого зла: как мусульмане, так и христиане; но само собой понятно, что гнет ложился на христиан более тяжелым образом, чем на мусульман, потому что в социальном отношении христиане стояли ниже мусульман. Мусульмане большей частью были или администраторы, или помещики (заимы и тимарли), владевшие землей с сидевшими на ней людьми, преимущественно христианами, и обязанные за это государству военной службой. Если санджак и субаши вымогал деньги у помещика, то последний обращал свое внимание на подвластных ему крестьян и, кроме обычных налогов, которые подданный (райя) обязан был платить своему помещику по закону Сулеймана I, взимал еще лишнее, сколько мог, и, таким образом, редко оставался внакладе. Ни религия, ни собственность, ни личность христиан не были обеспечены. Их вера и обряды были средством обогащения администрации, бравшей за религиозную свободу выкуп, следовательно, были неприкосновенны только до тех пор, пока у христиан были деньги; их имущество ничем не было гарантировано и делалось предметом разграбления, их жизнь была в руках правителей. Тяжесть их положения еще увеличивалась от обычая администрации отдавать свои доходы на откуп; откупщики не щадили христиан и извлекали из них возможно больший барыш. Кроме откупщиков и вообще сборщиков податей, которые помогали чиновникам и помещикам обирать христиан, последние много терпели от турецких солдат, особенно янычар. Солдаты не щадили христианского добра, даже в Константинополе, на глазах у высшей правительственной власти допускались насилия: сделалось заурядным явлением, что при каждой перемене на троне, когда один султан сменялся другим, в Константинополе происходил бунт янычар; они нападали на христиан и христианских купцов, грабили их дома и лавки. Если к этим вымогательствам и грабежам присоединить еще взносы, которые христиане должны были давать духовенству и которые вследствие взяточничества и продажности, вкравшихся и в христианские общины, были не незначительными, если, далее, принять во внимание, что харадж, который взимало с христиан правительство, из года в год увеличивался,[1] то нетрудно понять, отчего масса христианского населения, за исключением небольшого числа лиц, умевших хорошо устроиться в Константинополе и других

[1] Харадж государству с немусульман в 1550 г. равнялся 1 500 000 дукатов, в 1554 г. — 2 000 000 дукатов, в 1590 г. — 3 000 000 дукатов и т. д.

городах, постепенно беднела. Бедность доходила до положительной нищеты и вела к вымиранию христиан.

Несколько свидетельств, принадлежащих лицам вполне компетентным, хорошо знакомым с состоянием Оттоманской империи, лучше всяких рассуждений покажут, в каком неприглядном положении находилась масса христианского населения в Турции в XVI–XVIII вв. Джакопо Рагаццони в своем донесении венецианскому сенату от 1571 г. писал: «Это государство (Турция) населено большей частью христианами, которые терпят от турок столько притеснений, что это превосходит даже всякое вероятие. Но они в большинстве случаев до того погружены в бедность и нищету, что едва осмеливаются поднять глаза, чтобы взглянуть турку прямо в лицо. Даже в том случае, когда их земля плодородна, они заботятся лишь о том, чтобы приобресть столько, сколько нужно для уплаты хараджа и для поддержания жизни; потому что если бы они добыли что-нибудь лишнее, то турки отняли бы у них».[1] Другой писатель, путешествовавший в XVI в. по Турции и оставивший дневник, Герлах, бросает свет на тот факт, что бедствия христиан зависели от провинциальной администрации и мусульман, удаленных от столицы: «Христиане, — говорит он, — находящиеся вдали от Константинополя, — в положении крайне плачевном; потому что кади, беги, спаги, янычары, находясь в той или другой деревне, поступают с ними по произволу, и что они имеют — должны скрывать. Но те, которые живут ближе к Константинополю, находятся в положении несколько более сносном, они могут жаловаться и с помощью денег кое-чего достигнуть: каждый из них платит ежегодно свою подать, смотря по состоянию, два, три, четыре талера — и затем никто не смеет его обижать, хотя, разумеется, не обходится без того, чтобы ему не пришлось терпеть то того, то другого».[2] Преемник Рагаццони в должности венецианского посла, Маркантонио Барбаро, выясняет связь между неудовлетворительностью администрации, вызывавшей обеднение государства, и уменьшением народонаселения. «Эта страна, — писал он в своем донесении о Турции в 1573 г., — все более приходит в упадок вследствие недостаточного порядка и дурного управления, которые вообще господствуют во всем государстве; к тому же нужда и недостаток в необходимых средствах к жизни происходят здесь совсем от другой причины, чем у нас. У нас недостаток в средствах пропитания обусловливается возрастанием народонаселения и недостатком обрабатываемой земли, которая не в состоянии более удовлетворять нашим потребностям,

[1] *Albèri*. Relazioni... T. II. P. 100.

[2] *Stephan Gerlach*. Tagebuch. Francfurt-am-M., 1674. S. 52.

в Турции, наоборот, недостаток возникает вследствие все более усиливающегося обезлюдения, потому что остающееся еще немногочисленное земледельческое население обрабатывает лишь столько полей, сколько нужно для его собственных потребностей, так как оно знает, что всякий излишек будет у него отнят силой; поэтому оно лучше предпочитает оставить впусте свою столь плодородную и доходную землю».[1] Английский посол Томас Ру в своей депеше от 1622 г. тоже констатирует этот факт обезлюдения Турецкой империи, порожденного правительственной жестокостью и несправедливостью, и приводит цифры, показывающие, в какой поразительной прогрессии оно возрастало. «Я расскажу вам удивительную вещь, — писал своему правительству английский посол. — Около шестнадцати лет тому назад было предпринято исчисление населенных деревень в государстве султана, и по переписи оказалось их более пятисот пятидесяти трех тысяч; в прошлом году перед началом польской войны опять произведено было исчисление, и оно показало, что число деревень уменьшилось до семидесяти пяти тысяч. Это, нет сомнения, поразительное уменьшение народонаселения. Правда, развалившиеся дома стоят еще во многих местах; но несправедливость и жестокость правителей довели до того, что они оставлены всеми жителями, и можно целых три дня ехать по Греции и Анатолии, лучшим провинциям государства, и не найти ни одного яйца, чтобы поесть, не встретить ни одного человека, который бы поднес глоток воды».[2] Как странно после такого документального аргумента и заявления английского посла читать у его соотечественника, знаменитого историка Гиббона и у других расположенных к туркам писателей, что положение греков под турецким владычеством улучшилось! Венецианский и английский послы говорят вообще об уменьшении населения Оттоманской империи, но их слова можно прилагать и к христианам, и даже главным образом к христианам, так как христиане составляли большинство турецкого населения. Если кому такое понимание их слов покажется смелым, то для убедительности можно сослаться на любопытные статистические данные, собранные Ранке: в Албании в первой четверти XVII в. исповедовавших католическую веру было 350 тысяч человек, к 1651 г. число это уменьшилось до 50 тысяч; в промежуток времени с 1671 по 1703 г. число католиков ниспало: в архиепископии Дураццо с 14 тысяч до 8, в епископии Скутари с 20 270 душ до 12 700 и т. д.[3] Эти цифры убедительно говорят о той несчастной

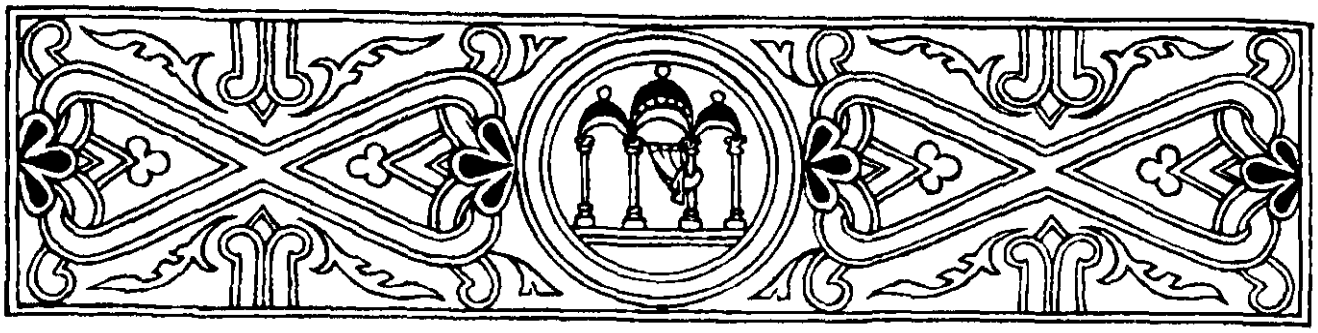
[1] *Albèri*. Relazioni... T. II. P. 313.

[2] Negocations of Sir Thomas Roe in his embassy to the Ottoman Porte. London. 1740. P. 66.

[3] Historisch-politische Zeitschrift. Bd. II. Berlin, 1834. S. 299.

постепенности, с какой вымирало и таяло в Оттоманской империи христианское население вследствие тяжести турецкого ига с его бесправием и грабежом.

На христианских державах Европы, особенно на России, лежало высокое призвание — спасти христианство на Востоке от подавления и народы от медленной смерти. Призвание было понято и принято. История дипломатических сношений европейских держав с Турцией есть, можно сказать, история непрерывного заступничества их перед Портой за угнетенных восточных христиан. Россия придала этому заступничеству реальную постановку. С того момента, как ее влияние в Турции утвердилось на прочных основаниях в конце XVIII в., наступает новая эпоха в жизни восточных христиан, и отношения к ним турецкого правительства принимают другой вид.



П. В. Безобразов

Византия в XI в.*

Н. Скабаланович. Византийское государство и Церковь в XI в. СПб., 1884.
Н. Скабаланович. Византийская наука и школы в XI в. («Христианское Чтение». 1884. Март-май).

Диссертация г-на Скабалановича, заглавие которой выписано нами выше, посвящена наименее разработанной внутренней стороне византийской истории и по своим несомненным достоинствам заслуживает полного внимания. Поэтому мы по мере сил и возможности войдем в разбор не только главных положений автора, но и многих частностей, и надеемся, что ни автор, ни читатели не сочтут за пустые придирки наши замечания, хотя бы и мелочные, но поймут, что подобные возражения вызываются только дельными сочинениями.

Введение сразу приковывает к себе внимание читателя и заставляет видеть в авторе серьезного исследователя. Оно посвящено критике источников, греческих и иностранных. Но не во всех частях заслуживает оно название критики; иногда автор ограничивается простым перечислением памятников, почти не входя в их разбор (например, в тех отделах, где говорится о словах, речах, письмах, законодательных актах). Если автор, по не зависящим от него обстоятельствам, должен был позаботиться об экономии места, то нам кажется, он поступил бы благоразумно, если бы исключил из своего введения критику латинских памятников, которые достаточно разобраны в специальных исследованиях западных ученых, а также и критику восточных источников, в которых нельзя считать себя компетентным без знания языков армянского и арабского; таким образом он мог

---

* Впервые опубликовано в «Журнале Министерства Народного Просвещения» за 1884 г. Ноябрь. С. 155–174.

бы отвести гораздо больше места византийцам, от чего его сочинение, конечно, только бы выиграло. Первый отдел введения посвящен запискам и летописям сперва греческим, потом латинским. Относительно «Записок» Михаила Пселла г-н Скабаланович полагает, что они состоят из двух частей, разделенных вступлением на престол Константина Дуки, что первая часть начата не раньше 1059 и окончена не позже 1063 г., а вторая часть написана в царствование Михаила VII, посвящена истории дома Дук, имеет вид фамильных записей и составлена по желанию Дук (С. IV).* Предположение автора, что первая часть записок начата не раньше 1059 г., основано на том, что Лихуд есть тот друг, которые просил Пселла написать эту первую часть (вернее было бы сказать: описать царствование Мономаха, так как обращение к другу помещено именно в этом месте записок), что автор писал о Мономахе «по памяти»,[1] и что в рассказе о посольстве Комнину (1057 г.) вставлено замечание, что Лихуд потом занял патриарший престол (1058 г.). Но это последнее обстоятельство доказывает только то, что описание царствования Комнина начато не раньше 1059 г.: заключение, которое не может быть распространено на 216 страниц, написанных Пселлом раньше.[2] Кроме того, г-н Скабаланович упустил из виду одно письмо Пселла, из которого видно, что в начале царствования Комнина он уже писал свои мемуары (*Psell.* Bd. V. S. 352). Из того факта, что Пселл говорит о Михаиле Парапинаке как о живом государе (*Psell.*, Bd. IV. S. 288), нельзя вывести вместе с автором, что вторая часть записок *начата* и окончена при Михаиле VII, так как указанное место относится к царствованию этого императора и не позволяет делать заключений о предыдущей части записок. Мы не можем далее признать и такой резкой разницы в характере двух частей записок, какую видит автор; вторая часть посвящена не только Дукам, но и Евдокии и Роману Диогену, и к описанию этих царствований уже никак не подходит характеристика, сделанная автором. В дальнейшем изложении г-н Скабаланович делает много веских замечаний о записках Пселла; но, как нам кажется, он недостаточно выдвинул тот факт, что эти записки затрагивают больше всего и прежде всего придворную жизнь.

---

* Здесь и далее указаны страницы оригинального издания 1884 г. (*Прим. Ред.*).

[1] καὶ ὑπόσα μοι ἱστοροῦντι κατὰ μνήμην συνήθροισται (Bd. IV. S. 136), говорит Пселл, и мог бы это сказать и при жизни Мономаха.

[2] Мы никак не можем из заявления Пселла, что он избегал подробностей, для описания которых потребовалось бы много времени, заключать вместе с автором, что он выполнил свой труд в короткое время (С. IV), тем более что когда Пселл написал эти слова (в царствование Мономаха), труд его был еще далеко не закончен.

После Пселла автор приступает к разбору Атталиота, Скилицы, Кедрина, Вриенния, Зонары, «Алексиады» и позднейших хронографов, и выводы, к которым он приходит, не подлежат ни малейшему сомнению; автор первый у нас воспользовался неоднократными намеками В. Г. Васильевского и провел резкую грань между первоисточниками и компиляторами. Он показал, какими писателями пользовались Глика, Манасси, Иоиль, Ефрем, Продолжатель Амартола; указал на то, что источниками Зонары для XI в. служили Скилица, Пселл, изредка Атталиот, и что Зонара никак не может быть поставлен на одну доску с этими писателями. Скилица, по мнению автора, руководствовался (в последней части «Хроники», обнимающей собой время от Исаака Комнина до конца царствования Вотаниата) четырьмя источниками: а) «Историей» Атталиота, б) второй частью записок Пселла, в) сочинением неизвестного автора, характер которого: анекдотичность, легендарность, внимание к явлениям церковно-религиозной жизни и враждебное отношение к Константинопольским патриархам, и г) личным опытом и сведениями, изустно полученными от знающих людей (С. XIII). Но не слишком ли смело, на основании нескольких самостоятельных строк Скилицы, враждебных патриарху, и на основании весьма немногих анекдотических мест, не встречающихся у Атталиота, говорить об отдельном письменном источнике, и притом указанным образом характеризовать его? Не может ли этот источник быть сведен к четвертому, т. е. к рассказам, дошедшим до Скилицы? Весьма полезным является сделанное автором перечисление всех изданий каждого источника[1] и таблицы, по которым видно, откуда заимствована каждая страница Скилицы и Зонары; жаль, что автор, вероятно, по недостатку места, не привел греческих текстов, по которым нагляднее было бы видно, как один писатель пользовался другим. На двух страницах, посвященных сочинению Анны Комниной, конечно, нельзя было представить сколько-нибудь обстоятельной критики такого обширного и важного сочинения, как «Алексиада». Она ждет еще своего исследователя, между тем как точка зрения на Атталиота, Скилицу и Зонару теперь уже твердо установлена г-ном Скабалановичем.

Менее удовлетворительной представляется нам критика латинских памятников, особенно Барийских летописей. Напрасно автор отвергает весьма прочный вывод, добытый Гиршем, что составитель Барийских анналов, так называемый Луп Протоспафарий, и Барийский аноним сокращали до 1043 г., каждый по своему, один общий источник — древнюю Барийскую летопись, и уверяет, что вторая часть (1040–1043 гг.) анна-

[1] В перечне изданий Зонары опущена почему-то перепечатка в «Патрологии» *Миня*. Т. 134–135.

лов вполне оригинальна (С. XXX), и что Луп и Аноним пользовались ей (С. XXXI и XXXII). Замечаемое между тремя редакциями сходство именно такого рода, что может быть объяснено только общностью источника, но никак не заимствованиями. Перечень источников Лупа, приведенный Гиршем, не «простая догадка, основанная на классификации данных хроники по городам», как говорит автор, но основан, по крайней мере, отчасти на положительных данных; так, например, пользование древней Беневентской хроникой выведено из сличения текста Лупа с текстом сохранившихся Беневентских анналов.

Кроме того, автор не дал себе ясного отчета в том, по какому летосчислению велись Барийские летописи. Он совсем умалчивает об этом, говоря о Барийских анналах и Анониме, а о Лупе пишет: «Вопрос о том, какому летосчислению следовал автор — пизанскому или греческому — вопрос нерешенный; только факт распространенности греческого счисления в Нижней Италии, официальное его значение в греко-итальянских владениях и, наконец, очевидное пристрастие автора к грекам склоняют весы на сторону того мнения, что он в своей хронике едва ли мог предпочесть греческому летосчислению какое-нибудь иное» (С. XXXII). Это рассуждение может показаться несколько странным ввиду того, что есть факты гораздо более веские (например, порядок месяцев, прибавление индикта к каждому году), которые самым положительным образом говорят в пользу византийского счета как у Лупа, так и в Барийских летописях вообще. Но, по-видимому, собственное рассуждение не убедило автора, и он в дальнейшем изложении продолжает колебаться между двумя летосчислениями. «Итальянские историки, — говорит он (С. 1, прим. 1), — следуя различной системе летосчисления, относят смерть Василия II то к 1027 (*Annal. Bar.*), то к 1026 (*Anon. Bar.*), то к 1024 г. (*Romuald*)». Но из указанных источников только у Ромуальда мартовский год, у Анонима год верный (смерть Василия II произошла 15 декабря 1025 г., чему соответствует византийский 1026 г.), а хронология Барийских анналов, как известно каждому, кто ими занимался, внушает мало доверия. В другом месте автор прямо уверяет, что Аноним следует пизанскому счету (С. 96, прим. 1).[1] Но тогда у читателя невольно появляется недоумение: когда же принимать одно летосчисление, а когда другое? Не зависит ли это от произвола автора? Почему же он для смерти Романа Диогена считает наиболее правдоподобным показание Анонима, что этот император умер в июле 1072 г. (С. 109)? Может быть и здесь следует признать пизанское летосчисление и принять 1071 г.?

[1] См. еще С. 86, прим. 3.

После Барийских летописей г-н Скабаланович приступает к анализу «Истории» Амата, следует главным образом Гиршу, который сильно поколебал авторитет этого писателя, и не принял во внимание критику Бреслау,[1] который отчасти восстановил этот авторитет тем, что множество ошибок, приписываемых Амату, отнес на долю издателя и переводчика дошедшей до нас старофранцузской переделки. Мы не будем говорить о коротеньком разборе других западных писателей: Льва Кассинского, Петра Диакона, Вильгельма Апулийского, Малатерры и т. п., а также армянских и арабских писателей, в которых мы не компетентны, — отчасти потому, что автор сравнительно мало пользовался ими, отчасти потому, что это завлекло бы нас слишком далеко.

Мы уже заметили, что в некоторых частях введения автор ограничивается перечислением памятников с самым кратким (в нескольких строках) их содержанием. К сожалению, это коснулось слов и речей Пселла и Иоанна Евхаитского, которые всего больше требуют исторической критики; следовало бы установить основную точку зрения на эти памятники, показать, может ли историк пользоваться этими риторическими произведениями, и если может, то как? Скрывается ли историческая истина под покровом трескучих фраз и гипербол?[2]

Перечисление новелл XI в. сделано автором не совсем полно; опущена почему-то одна новелла Константина Дуки, напечатанная у Цахариэ (Coll. IV, Nov. III), и хрисовул Никифора Вотаниата (Coll. IV, Nov. XIII). Важный пробел допущен автором там, где говорится о грамотах итальянских городов (С. LXX); здесь не упомянут весьма известный сборник документов Тринкеры, сборники Бельтрани и Кузы. Поэтому, может быть, автор слишком ограничивает значение этого рода документов: «Они имеют значение, — говорит он, — лишь для уяснения хронологии царствования императоров, отчасти еще представляют интерес по встречающимся в них названиям византийских должностей и чинов». Между тем в указанных изданиях много материала для выяснения византийской податной системы и истории землевладения.

Несколько надписей на свинцовых печатях, не приведенных автором, можно найти у *Schlumberger*. Sceaux byzantins («Bulletin de correspondance hellénique». 1883. Fasc. III–IV).

---

[1] *Hirsch*. Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II. Bd. III. S. 330–339.

[2] В этом отделе автор говорит и об эпиграммах Иоанна Евхаитского, но неверно, будто в новом издании де-Лагарда есть одна лишняя эпиграмма против прежних изданий (С. LVIII). № 69 εἰς τὸ λοῦμα τῶν Βλάχερνῶν была напечатана раньше, но под заглавием εἰς ῥέουσαν ὕδωρ.

В первых двух главах своего исследования, озаглавленных «Императоры от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина», г-н Скабаланович представляет на основании всех доступных источников, как византийских, так западных и восточных, весьма полную и верную картину заговоров, имевших следствием смену одного императора другим и управления Империей византийскими государями. Он не касается при этом их походов и вообще международных отношений.

Эти страницы разбираемой книги должны быть, без сомнения, поставлены гораздо выше того, что мы найдем у Лебо, Финлея или Герцберга. Г-н Скабаланович вполне оригинален; следуя верному и достойному всякого подражания историческому методу, он анализирует источники, проверяет их, всегда отдавая предпочтение очевидцам перед компиляторами, и мало заботится о том, что было сказано историками Византии до него, никогда ими не руководствуется. Критический такт автора особенно заметен в хронологических вопросах; с большим искусством устанавливает он даты, и всегда удачно. Впечатление несколько портится от указанного выше недоразумения насчет Барийских летописей, хотя оно и не повлияло на конечные выводы автора. Он не только приводит факты, но и освещает их, указывая на борьбу Востока с Западом, на стремление к первенству Азии и Европы (конечно, в пределах Византийской империи), на соперничество между военным и гражданским сословиями.

Это соперничество действительно многое объясняет; но, соглашаясь с автором, что в заговоре, который окончился низложением Михаила Стратиотика и возведением на престол Исаака Комнина, выразилась борьба за преобладание военного сословия (С. 73), мы не думаем, чтобы заговор был вызван исключительно этой борьбой. Тут, конечно, играло роль и общее недовольство Михаилом, которое разделял и патриарх, и личное оскорбление, которое этот император нанес Комнину и его сподвижнику Кекавмену; достойно внимания то обстоятельство, что в заговоре участвовало только восточное войско, между тем как западное оставалось верным императору. Отметим противоречие, в которое впал автор, говоря о воцарении Комнина. «И к другим достойным людям, — говорит он (на основании Матвея Эдесского) на с. 84, — даже из приверженцев Михаила Стратиотика, до последней минуты остававшимся верными низвергнутому императору, он (т. е. Исаак Комнин) относился с уважением, отдавал должную дань их достоинствам, самую их стойкость и верность прежнему императору относил к числу заслуг». А несколько ниже читаем: «Приближенные Стратиотика, позднее других пользовавшиеся на счет казны, впечатление от деяний которых было самое свежее, прежде всего пострадали: имущество их было отнято в казну и они лишены почестей».

В первой главе (С. 59), говоря о восстании Маниака, автор ничего не сообщает о составе его армии, о том, где было им дано сражение; главнокомандующего, сразившегося с этим бунтовщиком, он называет Стефаном Севастофором, между тем как севастофор, очевидно, не собственное имя, а скорее титул.[1]

Едва ли можно признать удачным объяснение, почему Пселл не пользовался политическим влиянием при Михаиле VII. «Правда, Михаил его любил, — говорит автор (С. 110), — глубоко уважал его ученость и желал иметь его постоянно при себе. Но так как император тяготел лишь к наукам, от управления отстранялся, то и Пселлу пришлось значительно сократиться, ограничить себя областью науки и проститься с политическим влиянием, которое доныне он в такой сильной степени обнаруживал». Неужели любовь императора проявилась в том, что он предпочел знаменитому философу недостойного Никифорицу?

В третьей главе г-н Скабаланович знакомит нас с центральным управлением: положением императорской власти, чиновной иерархией и должностями. То, что автор говорит об императорской власти вообще, об отсутствии закономерного порядка престолонаследия, об избрании императоров, основано на тщательном изучении источников и едва ли может быть подвергнуто сомнению, по крайней мере, в общих выводах. Некоторые частности, однако, сомнительны. «Нарушая законы, — говорит он про императора, — он поступал как тиран, и действия его не считались одобрительными» (С.133), и опирается при этом на несколько слов Пселла,[2] которые имеют скорее противоположный смысл. По словам Пселла, Склирена надеялась, что когда Мономах вступит на престол, он женится на ней (хотя это был бы для Мономаха третий брак, запрещенный законом), потому что воля царя окажется сильнее законов. Из этих слов можно только заключить, что императоры не имели обыкновения стесняться законами. Указывая на значение, которое имели в Византии церемонии, что, конечно, совершенно справедливо, автор приводит следующий пример: «У Торника столица была почти в руках, но он отложил въезд

[1] *Leo Diac.* P. 177: πρὸς τὴν τοῦ πατρικίου Ρωμανοῦ καὶ τῷ τοῦ σεβαστοφόρου διαπρέποντος ἀξιώματι ἑστίαν κατήγετο. Также см.: Советы и рассказы византийского боярина XI в. (Ж. М. Н. П. 1881. Июль. С. 147): ὁ μεγαλοδοξότατος σεβαστοφόρος κῦρ Νικήφορος κριτὴς Πελοποννήσου. В главе о чинах и должностях ничего не находим о севастофоре.

[2] τηνικαῦτα γὰρ ᾤετο (Склирена) καὶ τὸν γάμον αὐτοῖς ἐπιτελῆ ἔσεσθαι καὶ τἄλλα γενήσεσθαι ὁπόσα βούλοιντο, τυραννήσαντος τοῦς νόμους τοῦ βασιλείου σκοποῦ. См.: *Psell.* IV, 126.

не только потому, что щадил своих приверженцев, но, между прочим, и потому, что хотел въехать в сопровождении свеченосцев, с императорской пышностью» (Bd. IV. S. 158; C. 144). Пример крайне неудачный; если бы автор передал точнее указанное место Пселла, то и смысл получился бы совсем иной: Торник отступил от столицы и не решался на приступ, рассчитывая, может быть, на то, что столичное население отдастся добровольно в его руки, и, в сопровождении свеченосцев, с императорской пышностью введет его во дворец. Здесь дело было не в соблюдении церемонии, а в том, что бунтовщик Торникий не был уверен, что ему удастся взять город приступом, и надеялся, что его признают императором и сдадут столицу.

Весьма существенную часть этой главы представляют те несколько страниц, которые посвящены чиновной иерархии. Г-н Скабаланович отделил чины от должностей и первый представил нам византийскую табель о рангах, в которую он включил 15 чинов, начав с высшего — «кесаря» и окончив низшим — «кандидатом». При этом автор не обратил внимания на генезис чинов, которые, по его собственному признанию, имели в прежнее время иное, не титулярное значение, на генезис, без которого едва ли можно дойти до полного и надлежащего понимания чиновной иерархии; обстоятельство это, конечно, не может быть поставлено в вину автора, так как подобная задача отвлекла бы его слишком далеко за пределы намеченной им себе эпохи. При каждом чине автор сообщает список тех лиц, которые носили его в XI в., что представляет довольно обильный материал для выяснения дела. Но читатель вынес бы гораздо больше, если бы автор несколько обработал этот сырой материал, сообщил бы, какие должности занимали все эти лица, наглядно представил бы карьеру нескольких чиновников, которую теперь приходится воссоздавать с трудом, теряясь среди массы имен, встречающихся по разу. Думаем, что несколько примеров могли бы быть поучительнее множества имен, тем более что список автора не совершенно полон. Так, например, много спафариев, спафарокандидатов и протоспафариев (автор пишет «спафарь») не упомянуто г-ном Скабалановичем, потому что он не пользовался сборником Тринкеры:[1] опущены патриций Лев Хиросфакт при Романе III (*Cedr.*, II, 492), вестархи: судья Македонской фемы Хасанис (*Psell.*, V, 439) и Андроник, упоминаемый Иоанном Евхаитским (*Joh. Euch.* ed. De-Lagarde, 22), протопроедр Роман (*Attal.*, 286), протопроедр Константин (*Zachariä.* Jus Graeco-Rom. III, 327), магистр Поф (*Tafel.* Eustathii op., 358).

[1] *Trinchera.* Syllabus. См., например, P. 14, 17, 19, 23–24 и т. д. Почти на каждой странице появляется какой-нибудь чин.

Но при ближайшем рассмотрении упомянутой табели о рангах появляются и более существенные вопросы и недоумения. Все ли чины, которые попадаются у византийцев того времени, помещены у автора? К сожалению, на этот вопрос нельзя отвечать утвердительно. Автор говорит о новеллисимах, но, по-видимому, ему осталось неизвестным, что еще раньше царствования Алексея Комнина существовал чин протоновеллисима. До нас дошел хрисовул от апреля 1079 г., которым эмир Сицилийский Христодул возводился именно в этот чин протоновеллисима.[1] Далее, пропущен чин ипата, а между тем Пселл упоминает ипата Феодора (*Psell.*, V, 209), и неизвестный боярин XI в. говорит: «Роман Аргиропул не возводил франка или варяга в достоинство патриция, но делал его ипатом...» («Журнал Министерства Народного Просвещения». 1881. Август. С. 319). В разбираемой книге мы не найдем ответа и на то, что такое дисипат, о котором говорится в хрисовуле Вотаниата (*Sathas*. Bibl. Gr. I, 62), что означает название Ксифилина ἰλλούστριος в новелле Мономаха, что такое βεστιαρίτης, титул ли это или, может быть, должность[2] (*Psell.*, V, 197)?

Первые четыре чина (кесарь, севаст, новеллисим, куропалат), по мнению автора, могут быть приравнены к нашему титулу высочества (С. 152); но только чин кесаря был недоступен для простых смертных, и он один может быть уподоблен нашему высочеству; Алексей Комнин был новеллисимом и севастом тогда, когда не состоял в родстве с царствовавшим императором, а что чин куропалата давался важным чиновникам — видно из разбираемой книги. По составленной автором табели протоспафарий непосредственно следует за патрицием, а между тем из слов современника можно заключить, что разница между этими чинами большая: «Если ты возведешь в протоспафарии, — говорит он, — комедианта или зазорного человека, то воин, готовый проливать за тебя кровь, равным образом деятельный и усердный нотарий твой или же приказный — сочтут за ничто *даже пожалованный им сан патриция*» («Журнал Министерства Народного Просвещения. 1881. Август. С. 317).

Вестарх и вест занимают в табели г-на Скабалановича восьмое и девятое место вслед за магистром и выше антипата. Но некоторые обстоятельства заставляют предполагать, что эти два чина занимают какое-то

[1] σέ χριστόδουλον τὸν ἀμήραν τιμᾶ ἡ ἐκ θεοῦ βασιλεία ἡμῶν τῷ μεγαλεπιφανεστάτῳ τῶν προτονοβελισσίμων ἀξιώματι, τοῦ εἶναι σε εἰς τὸ ἐξῆς πρωτονοβελίσσιμον καὶ συντιμᾶσθαι τοῖς οὕτω τετιμένοις καὶ τῆς βασιλείας ἡμῶν ὑπερεύχεσθαι. См.: *Cusa J.* Diplomi Greci. Vol. I. Par. 1. P. 58.

[2] В той части главы, где говорится о должностях, не упомянуто также о вестиаритах.

особое положение. Автор отметил то обстоятельство, что иногда к одному и тому же лицу прилагаются два титула; так, например, Аргир называется μάγιστρος βέστης, точно так же Атталиот и др.; но автор не обратил внимания на то, что такие соединения встречаются исключительно с титулом веста и вестарха. Во всех других случаях историки называют высший титул, никогда не присоединяя к нему низшего, что не имело бы смысла. Исключение представляют как будто те случаи, когда патриций соединяется с антипатом; но из четырех лиц, которые, по указанию автора, носили титул антипата, трое называются в источниках патрициями-антипатами, и только один, Константин Далассин, просто антипатом. Мы можем предполагать, что Скилица назвал так Далассина для сокращения; что антипат и патриций-антипат одно и то же, видно из хрисовула Михаила Дуки, где Атталиот назван сперва патрицием-антипатом, потом антипатом (*Sathas*. Bibl. Gr. I, 53). Следовательно, мы вправе предположить, что в XI в. не было чина антипата, а существовал только чин патриция-антипата.

Автор сообщает нам только один случай производства из низшего чина патриция в вестархи. Этот случай приведен Скилицей и касается Романа Диогена; но в этой части Скилица находится в полной зависимости от Атталиота, который называет Диогена вестархом и в то же время τὶς τῶν εὐπατριδῶν (что Скилица передал через πατρίκιος) раньше того сражения с печенегами, после которого, по словам Скилицы, он был произведен в вестархи; Атталиот, как очевидец, заслуживает гораздо большего доверия, и производство Диогена из патрициев в вестархи (основанное, вероятно, на слухе, дошедшем до Скилицы) подлежит большому сомнению. Заметим, что можно было быть в одно и то же время патрицием и вестом или вестархом, и что к таким лицам прикладывался то тот, то другой титул. Так, например, Атталиот (P. 22) рассказывает, что Мономах почтил Торника титулом веста,[1] а Скилица называет его патрицием. Скилица, рассказывая о сражении, в котором был убит Михаил Докиан (*Cedr.*, II, 601), называет его патрицием, а Атталиот (*Attal.*, 34), говоря о том же сражении, — вестархом. Неужели это было бы возможно, если бы вестарх и вест были бы такими же чинами, как патриций? Как тогда объяснить, что Атталиот в апогее своей славы, уже в зрелом возрасте, занимая видную должность и пользуясь особым покровительством императора, имел чин низший (он был патрицием-антипатом), чем Пселл или Катакалон Кекавмен при начале своей карьеры, когда они были еще молодыми

[1] Точный смысл слов историка не позволяет переводить «был произведен в патриции, а из патрициев в весты».

и незначительными чиновниками (они носили титул веста, который, судя по некоторым оговоркам автора, если не выше, то и не ниже патриция-антипата). Изо всего нами сказанного, мы, кажется, вправе заключить, что чины веста и вестарха имеют особенное, вероятно — придворное значение, и что они не могут быть включены в общую табель, а должны занимать отдельное место, как и у нас невозможно камер-юнкера или камергера втиснуть в ряд коллежских и статских советников. Когда были введены титулы веста и вестарха, определенно сказать нельзя, но догадка автора, что эти титулы были установлены Константином Мономахом, не выдерживает критики. Скилица упоминает веста Никифора в первый год царствования Цимисхия (*Cedr.*, II, 379), Евстафий Роман в «Пере» титулуется постоянно вестом; известны и еще несколько вестов в царствование Василия II (*Cedr.*, II, 433; «Журнал Министерства Народного Просвещения». 1881. Август. С. 320).

Чины первых двенадцати степеней входили в состав сената или синклита, так что сенаторы от других чиновников отличались внешним образом, титулами, а не занимаемыми должностями. Но что такое был сенат — не совсем ясно из книги г-на Скабалановича. Он сам же говорит на с. 138, что Лев Мудрый совершенно уничтожил значение сената, а в другом месте (С. 363) называет синклит «высшим правительственным учреждением при императоре, на собраниях которого находили себе выражение административные и судебные функции». Но он ничего не говорит об этих функциях, не указывает нигде на компетенцию сената, и едва ли синклит, не имевший такой компетенции, заслуживает названия учреждения. Автор говорит в разных местах своей книги о совместных действиях сенаторов и сановников; но разве были сановники вне сенаторов? Из одного места, указанного в разбираемой книге (С. 233), где сенат противополагается народу, довольно ясно следует то заключение, которого не вывел автор, что синклит не более как собирательное имя для обозначения всей совокупности сановников, что сенатор и титулованный чиновник — синонимы.

Ругу, которая выдавалась сенаторам, автор называет пенсией (С. 161) и, кажется, считает ее присвоенной исключительно чиновникам, но ругой называется вообще жалованье, например, содержание, которое ежемесячно выдавалось солдатам.[1]

Покончив с табелью о рангах, за составление которой автор несомненно заслуживает благодарности, переходим к той части третьей главы, которая посвящена должностям. Говоря о попытках превратить государ-

[1] «Журнал Министерства Народного Просвещения». 1881. Август. С. 318.

ственные должности в наследственную собственность, автор рассказывает (С. 164), что места постоянно выхлопатывались для родственников; но ведь в этом нет и тени наследственного права, а заметно только кумовство, которое существует до сих пор. В очерке придворных должностей и секретов, или приказов, сделанном довольно полно и вообще хорошо, кое-что кажется нам недостаточно выясненным. Протовестиарий, по мнению автора, заведовал императорским гардеробом и исполнял обязанность обер-церемониймейстера; но не был ли он вместе с тем начальником секрета вестиария, о котором не упомянул автор? Что секрет вестиария это не то же, что приказ сакеллария, видно из новеллы Алексея Комнина от 1082 г.;[1] а βεστιάριον было не только местом, «в котором хранились утварь, одежды и ценные ткани» (С. 177), но и чем-то вроде императорской казны, в которую, например, уплачивались штрафы.[2] Вообще г-н Скабаланович слишком ограничил значение протовестиария, из Пселловой энкомии Лихуду видно, что сфера его деятельности была гораздо обширнее. Автор привел это место (С. 179), но толкует его иначе: он видит в нем компетенцию первого министра, каковым действительно был Лихуд. Но едва ли можно согласиться с автором, что существовала особая должность первого министра с особо присвоенной ему компетенцией; в некоторые царствования императоров, мало занимавшихся делами, выдвигались чиновники, которые имели особенное влияние на императора и, в таком смысле, могут быть названы первыми министрами. На это указывает, между прочим, отсутствие определенного названия для этой должности; писатели называют их весьма разнообразно, и все эти названия, указывая на личное влияние некоторых лиц, могут быть переданы: «первое лицо после императора», «имевший особенное влияние на императора» и т. п.

Что касается почетной стражи, присвоенной, по мнению автора, первому министру (С. 178), нам известен только один такой случай о Константине, дяде Михаила V. Такой почет мог быть ему оказан как лицу, имевшему высокий чин новеллисима, или, еще скорее, как родственнику императора. Либеллисия и ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων Скабаланович считает,

[1] *Zachariä.* Jus Graeco-Rom. III, 348.

[2] *Trinchera.* Syllabus. P. 32 (1033 г.): νομίσματα πρὸς τοὺς δουλεύοντας τῇ μονῇ ἑβδομήκοντα δύο καταβάλωμαι καὶ πρὸς τὸ βάσιλικὸν βεστιάριος ἄλλα τοσαῦτα εἶτα; P. 41 (1042 г.): καὶ πρὸς τὸ βασιλικὸν βεστιαρὶ ἕτερα νομίσματα εἴκοσι; P. 42 (1045 г.): καὶ πρὸς τὸ βασιλικὸν βεστιάριον ἕτερα τοσαῦτα. См. еще P. 27, 43, 45, 52, 59. Βεστιάριον является иногда однозначащим с βασιλικὸν ταμιεῖον. См.: *Ducangii* In Alexiadem notae. P. 503.

кажется (С. 175), чиновниками секрета протоасикрита; но либеллисий был что-то вроде секретаря или письмоводителя, которые могли быть и в других приказах и встречаются в провинции.[1] Хранитель каниклия (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου), как видно из источников, был довольно важным сановником, и едва ли его дело ограничивалось тем, что он «наблюдал за чернильницей с пурпурными чернилами и подносил ее императору» (С. 175). Нам не совсем понятно, почему автор называет министром юстиции (С. 177) лицо, стоявшее во главе приказа по гражданским делам (ὁ ἐπὶ τῶν κρίσεων); в его руках не сосредоточивалась вся судебная власть.

Четвертая глава представляет очерк областного управления; здесь важно отмеченное г-ном Скабалановичем деление областей на фему-дукат, фему-катепанат и простую фему, управляемую стратигом в собственном смысле слова. Список азиатских и европейских фем с краткой их историей и поименование всех известных в XI в. стратигов, весьма полезен для справок и будет оценен по достоинству всеми занимающимися византийской историей.

Дукаты и катепанаты, по мнению автора (С. 188), были пограничными фемами; надо, однако, заметить, что это правило допускало и исключения; так, из 11 европейских фем девять управлялись дуками и катепанами, а в Азии встречаются фемы, хотя пограничные, все же простые, например, Телух, Мелитина, Тарон. Надо, впрочем, заметить, что относительно многих фем остается сомнение, не были ли они катепанатами, особенно, когда они упоминаются в источниках всего два-три раза, потому что под стратигом имеются в виду одинаково и дуки, и катепаны, и стратиги в собственном смысле. Так, не совсем понятно, почему автор думает, что Феодосиополь был возведен в катепанат только в царствование Романа Диогена (С. 203); нам известно только, что раньше эта область управлялась стратигами, но какими, определить не можем. Элладу автор считает простой фемой, но зная, что в конце X в. эта провинция была дукатом («Советы и рассказы византийского боярина XI в.» / / Журнал Министерства Народного Просвещения. 1881. Август. С. 319), и не имея почти никаких сведений о стратигах XI в., позволительно думать, что она не была понижена в последующее время.

Какое же значение имел стратиг? Принадлежало ли ему все провинциальное управление, как гражданское, так и военное? На этот вопрос г-н Скабаланович отвечает, по нашему мнению, неправильно. «Стратиги в собственном смысле, — говорит он (С. 187), — назывались безразлично стратигами и судьями (κριτής)... Стратиг-судья сплошь и рядом предводи-

[1] Одну меновую скрепил солунский либеллисий. См.: *Zachariä*, III, XVI.

тельствовал войском... Равным образом дуки и катепаны имели в своем владении, кроме начальствования над войском, гражданское управление». Ниже (С. 184) автор отождествляет сборщика податей (πράκτωρ) с дикастом (судьей, δικαστής). Он опирается при этом на одно место Πεῖρα (*Zachariae*, I, 20), где усматривает отождествление стратига и судьи; но из указанного текста видно только, что месопотамский судья (κριτής) причислен к начальствующим в провинции лицам (ἄρχουσι τῶν ἐπαρχιῶν). Другое доказательство находим в прим. 2 на с. 187: «Свои письма к стратигам фем Пселл адресует большей частью: τῷ κριτῇ. От κριτής у него отличается δικαστής, название, применяемое к преторам[1] и лицам, заведовавшим финансовой частью в фемах». Но если мы будем читать письма Пселла без предвзятой идеи, то заметим, во-первых, что не имеем никакого права под судьей понимать стратига, а, во-вторых, что у Пселла κριτής никогда не отличается от δικαστής, напротив того, ставя в заглавии: судье такому-то, он в письме постоянно называет его дикастом.[2]

Из других источников мы также видим, что дикаст и судья — названия, которые безразлично даются одному и тому же лицу. Так, например, анонимный боярин XI в. называет Никифорицу судьей Пелопоннеса и Эллады,[4] Атталиот, а вслед за ним и Скилица — дикастом,[3] Пселл в адресе — претором, а в самом письме — судьей и дикастом,[5] из чего видно, что «претор», по крайней мере, в данном случае, равносильно «судье». Отождествление дикаста с судьей найдем еще в одной статье Πεῖρα.[6]

---

[1] Несколькими строками выше читаем, что «к областному правителю прилагается иногда название претор»; следовательно, выходит тогда, что у Пселла δικαστής то же, что стратиг, и то же, что κριτής.

[2] *Psell.* V, № 29: τῷ κριτῇ τοῦ Οψικίου τῷ Ζωμᾷ: «ἐπὶ σοί, καὶ ταῦτα φίλῳ καὶ δικαστῇ»; № 41: τῷ κριτῇ τῶν Ἀνατολικῶν: «τοιοῦτος πρὸς αὐτὸν φάνηθι δικαστής»; № 47: τῷ κριτῇ τῶν Θρακησίων τῷ Ξηρῷ: «συ ἐν δικαστοῦ δικαίου ἔργον πληρῶν»; № 60: τῷ κριτῇ τῶν Ὀπτιμάτων: «καὶ ταῦτα δικαστὴν τοῦ Οπτιμάτων τυγχάνοντα θέματος». См.: *Tafel.* Eustath. opusc. P. 358: τῷ κριτῇ Θράκης καὶ Μακεδονίας Πόθῳ: «τῆς πρὸ σοῦ δικαστῶν αἰδοῦς περὶ τὴν μονήν».

[3] «Журнал Министерства Народного Просвещения». 1881. Июль. С. 147: κῦρ Νικήφορος κριτὴς Πελοποννήσου καὶ Ἑλλάδος.

[4] *Attal.* P. 182: ὑποσχέσεσι δὶ χρημάτων δίκαστὴς Πελοποννήσου καὶ Ἑλλάδος ἀποπεμφθεὶς τὸ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν ἐκείνην διοικούμενος ἦν. Ср.: *Cedr.*, II, 706.

[5] *Psell.* V, № 103: τῷ πραίτωρι Πελοποννήσου καὶ Ἑλλάδος τῷ Νικηφορίτζῃ: «αὐτὸς σὺ κριτὴς καὶ ἐξεταστὴς κάθησοι... τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις τῶν δικαστῶν..., παρὰ δε σοι ὁ γενναῖος λόγος ἀρκεῖ».

[6] Πεῖρα, 25 (*Zach.*, I. 245): Ὅτι οὐκ ὀφείλει δικαστὴς διαξίμους ποιεῖν γυναῖκας... τοῦ γὰρ κατανάγκη ἐγκαλέσαντος, ὡς ὁ κριτὴς Πελοποννήσου...

Г-н Скабаланович не представил ни одного примера, где одно и то же лицо было бы названо сперва стратигом, потом судьей, и конечно, не мог этого сделать, потому что такого случая не встречается ни в одном источнике. Анонимный боярин, часто упоминающий о стратигах, рассказывает про одно лицо, которое было послано судьей в фему («Журнал Министерства Народного Просвещения». 1881. Июнь. С. 294). У него же находим следующее поучительное место: «Не отягощай иноплеменных областей, подчиненных тебе. Заповедай воеводам[1] соблюдать скромность и благочестие и не поступать нагло и не грозить кому-нибудь, а судьям накажи крепко, чтобы они судили со страхом Божиим и справедливостью» («Журнал Министерства Народного Просвещения». 1884. Август. С. 344). Этого места уже достаточно было бы для опровержения мнения автора о тождестве стратига и судьи. В «Стратегии», неправильно приписываемой Никифору Фоке и составленной в конце X в., находим ясное доказательство тому, что стратиг и судья фемы два разные лица, и указание на то, что стратигу принадлежал суд над войском, и то не ему одному, а в совокупности с судьей, вероятно, только в проступках против дисциплины.[2] Из этого позволительно заключить, что суд над всем остальным населением находился в руках судьи: Менее всего можно согласиться с г-ном Скабалановичем в том, чтобы судья командовал войском. По усмирении восстания на Кипре, Алексей Комнин назначил туда судью Каллипария. «Но так как остров нуждался в лице, которое защищало бы его от неприятеля, — пишет Анна Комнина, — то император поручил его защиту Евмафию Филокалесу, назначив его стратопедархом (или стратигом)».[3] Если бы судья был вместе с тем и стратигом, такое назначение было бы совершенно непонятно. Хотя из всего нами сказанного нельзя вполне уяснить себе пределы власти стратига и судьи, тем не менее, твердо устанавливается тот факт, что в феме были два начальствующие лица, стратиг и судья, и что ошибочно мнение г-на Скабалановича, будто стратиг и судья одно и то же лицо.

Из переписки Пселла видно, что финансовое управление фемы находилось в руках судьи, и что от него зависел сборщик податей (практор).

---

[1] Словом «воевода» профессор Васильевский передает греческое στρατηγός.

[2] *Nicephori Phocae* De Velit. bell. P. 240 (Боннск. изд.): δεῖ δὲ αὐτοὺς μηδὲ παρὰ τῶν θεματικῶν κριτῶν ἀτιμοῦσθαι... καὶ τοῦ ἰδίου θέματος ἐξουσίαν ὁ στρατηγὸς ἐκέκτητο κρίνων τοὺς ἐγκαλοῦντας ἐπὶ στρατιωτικοῖς πράγμασι... ἔχων συνεργὸν τόν κριτήν.

[3] *Anna Comn.*, I, 432–433: κριτὴν μὲν οὖν καὶ ἐξισωτὴν Καλλιπάριον προυβάλλετο... ἐπεὶ δε καὶ τινος ἡ νῆσος ἐδεῖτο τοῦ ταῦτην φρουρήσαντος τὸν Φιλοκάλην Εὐμάθιον τὴν ταύτης ἀναθέμενος φρουράν, στρατοπεδάρχην προεχειρίσατο. Что в данном случае стратопедарх, как часто в «Алексиаде», имеет значение стратига, видно из других мест, где тот же Евмафий назван дукой Кипра (II, 105–106).

Отношения судьи к практору верно изложены автором (С. 190), но отнесены к стратигу, а не к судье, как следовало бы. Это же произвольное отождествление заставляет нас осторожно относиться к списку стратигов, представленному в разбираемой книге; так, например, почти все те лица, которые выставлены стратигами Эллады, названы в источниках судьями.

В главе о суде автор еще раз возвращается к этому предмету и опять утверждает, что «стратиги были не только правители, но и судьи. Юрисдикция их имела приложение в сфере как уголовных, так и гражданских дел» (С. 352). Но из тех мест «Перы», на которые ссылается автор, видно только, что существовали провинциальные судьи, которые разбирали уголовные и гражданские дела, но не видно, чтобы это были стратиги.[1] Примеры выбраны неудачно. «Например, антиохийский дука привлекает антиохийцев к ответственности и присуждает к наказанию за убийство (*Cedr.*, II, 510), правитель Пелопоннеса и Эллады заключает Катананку под стражу за разбой (*Zachariae*, I, 247)». Но в первом случае Кедрин говорит о бунте в Антиохии и о том, как дука расправился с бунтовщиками: убил без суда сто человек, других отправил в Константинополь, а во втором случае в «Пере» речь идет не о стратиге, а о судье (κριτής).

В этой главе нам пришлось натолкнуться на такую ошибку, которую трудно было ожидать от автора, никогда не пренебрегающего хронологией и обыкновенно так искусно устанавливающего даты. Вопреки ясному и не подлежащему никакому сомнению указанию Скилицы, вопреки Атталиоту, двум сводам русской летописи (Лаврентьевскому и Воскресенскому) и арабским писателям, автор относит поход Руси на Византию не к 1043 г., а к 1044 г. и повторяет свою ошибку шесть раз (С. 207, 215, 227, 321, 332, 336).

После исследований В. Г. Васильевского и Ф. И. Успенского главы, посвященные в разбираемой книге (гл. 5 и 6) обществу и экономическим условиям его быта, положению крестьян, борьбе властелей с убогими, харистикарной системе, пронии, а также и финансам, т. е. главным образом классификации податей и способу их взимания, не представляют ничего существенно нового; но это хороший, проверенный по источникам свод всего того, что разбросано по разным статьям.

Не входя в подробный разбор глав о войске (7-я) и суде (8-я),[2] так как в этой сфере в XI в. не произошло существенных перемен, и нам пришлось

---

[1] *Zachariae*, I, 44, 201, 262: τῷ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν δικάζοντι; 286: πρὸς τὸν τοῦ θέματος δικαστήν.

[2] Заметим только, что автор не пользовался юридическим сочинением Атталиота, которое было в такой славе в Византии, что один юрист XIII в., составитель «Synopsis minor», включил из него множество мест в свое руководство

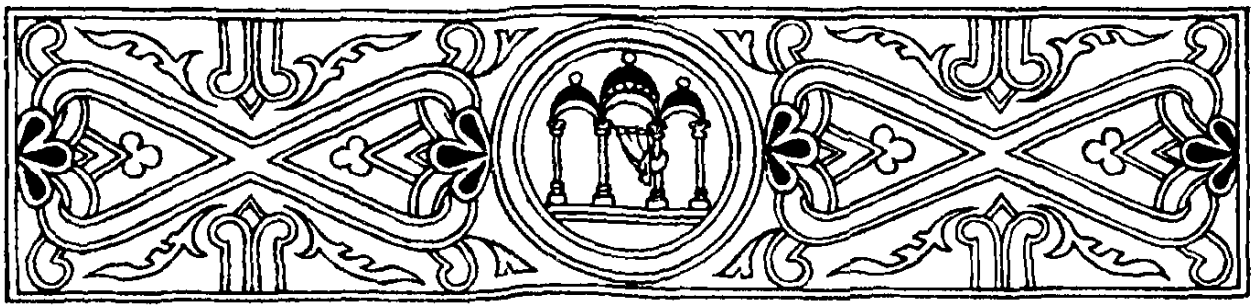
бы касаться слишком общих вопросов, остановимся несколько на двух последних главах, озаглавленных «Церковь» и «Монашество». Характеристика патриархов того времени Керуллария, Лихуда, Ксифилина составлена автором почти исключительно по надгробным речам Пселла; нам кажется, что автор в некоторых случаях отнесся слишком доверчиво к этим памятникам и, например, встречающиеся в них разговоры признает действительно имевшими место. Недоверие должны возбуждать такие черты, которые повторяются в речах всех патриархов; так, едва ли можно предполагать, чтобы все они, как говорит Пселл, желая превознести их скромность, отказывались от патриаршего сана, а если это иногда и случалось, то было, конечно, притворством.

Деятельность Иоанна Ксифилина изложена г-ном Скабалановичем весьма неполно; хотя, как видно из других мест книги, ему хорошо известны синодальные определения того времени, он не счел нужным остановиться на них и заняться теми изменениями, которые внес в брачное право этот патриарх...

Говоря о монахах, г-н Скабаланович, очевидно, не желал слишком долго останавливаться на отрицательной стороне их жизни, чему он нашел бы еще много материала, но вместе с тем он совсем не коснулся и светлой стороны их деятельности, той пользы, которую они принесли науке. В монастырях происходила деятельная переписка рукописей, монахи украшали их миниатюрами, подтверждение этому можно найти, между прочим, в недавнем сочинении проф. Н. П. Кондакова «Путешествие на Синай»...

Только тот, кто занимался когда-нибудь византийской историей и читал в подлиннике туманного Пселла, поймет, какие трудности приходилось преодолевать г-ну Скабалановичу, и оценит, как много сделано им для уяснения внутреннего положения Византийской империи.

(*Zachariae*. Jus Graeco-Rom. II, 3). Не совсем точно говорит автор (С. 322–323) о двух доместиках схол, между тем как на самом деле существовал только один доместик схол, и под этим названием имели в виду главнокомандующего восточным войском; командующего западным войском называли δούξ и δομέστικος τῆς δύσεως; поэтому автор напрасно сомневается, был ли евнух Николай западным главнокомандующим или восточным, т. к. название его δομέστικος τῶν σχολῶν допускает только второе предположение. Сказанное нами можно вывести из ссылок г-на Скабалановича, еще яснее из слов Льва Диакона (P. 7): τῶν τῆς Ἀνατολῆς στρατευμάτων κατάρχοντα (δομέστικον τῶν σχολῶν Ρωμαῖοι ἀρχὴν τὴν τοιαύτην ἐπιφημίζουσιν); P. 18: τῶν τῆς Εὐρώπης στρατιωτικῶν καταλόγων κατάρχοντα (δομέστικον δύσεως Ρωμαῖοι τὴν τοιαύτην ἀρχὴν ὀνομάζουσι).



Т. Д. Флоринский

Новый русский труд по истории Византии*

1. Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Сочинение *Н. Скабалановича*, доцента С.-Петербургской Духовной академии. СПб., 1884. С. LXXI+450.

2. Византийская наука и школы в XI в. *Н. Скабалановича* («Христианское Чтение». 1884. Март-апрель. С. 344–369; Май-июнь. С. 730–770).

3. Научная разработка византийской истории XI в. Речь, произнесенная доцентом С.-Петербургской Духовной академии *Н. А. Скабалановичем* 18 мая 1884 г. перед публичной защитой диссертации на степень доктора богословия («Христианское Чтение». 1884. Июль-август. С. 162–180).

Одним из самых отрадных явлений в области исторических изучений на Руси за последние двадцать лет нужно считать постепенное возрастание у нас живого интереса к византийским занятиям. Пренебрежительный взгляд на византийскую историю, усвоенный нами с Запада и долго державшийся в нашей ученой литературе, отжил свое время. Это и понятно. В самой западно-европейской исторической школе, по крайней мере среди лучших ее представителей, давно уже потеряли свое обаяние односторонние воззрения Лебо, Гиббона и Финлея, не видевших в Византии ничего, кроме династических переворотов, умственного мрака, всякого рода порчи и разврата. На смену им выступила новая точка зрения, обусловливаемая более внимательным и глубоким изучением столь богатой событиями тысячелетней истории Восточной империи. Западные историки, особенно представители французской и немецкой школы, с большой охотой отдаются византийским занятиям и мало-помалу начинают открывать в судьбах Византии, во внешней и внутренней истории ее, новые любопытные стороны. Теперь говорят уже не только о порче и разврате Византии, но и находят в ней много светлых черт, справедливо удивляются прочности государства,

---

* Оттиск из «Университетских Известий» Киевского Университета св. Владимира за 1884 г.

выдержавшего столько бурь и потрясений, становятся в тупик перед оригинальностью и целесообразностью его политических учреждений, поражаются богатством культурных начал, выразившимся в многочисленных памятниках византийской литературы, науки, законодательства, искусства. Превосходные труды Краузе, Гопфа, Гирша, Гертцберга, Гфрёрера, Цахариэ, Рамбо, Леграна, Байе, Фримана и др. начинают собой новую эпоху изучения Византии на Западе, обещающего благотворные результаты для всестороннего раскрытия исторической истины. Замечаемое в последнее время научно-литературное движение в Греции, видными представителями которого являются такие ученые, как Сафа, Лампрос, Папарригопуло, Каллига и другие, приобретшие себе почетную известность в Европе прекрасными изданиями многих до сих пор неизвестных памятников византийской истории и литературы и самостоятельными исследованиями в этих еще столь мало разработанных областях, дает еще новый толчок к оживлению византийских изучений.

Но если на Западе, не так легко расстающемся с вековыми традициями, произошла столь разительная перемена во взгляде на Византию и ее историю, то естественно, что у нас, русских, постепенно созрело сознание необходимости самостоятельных, глубоких, всесторонних изучений в области византизма. Тесная культурная связь России и вообще славянства с Восточной, Византийской империей слишком хорошо известна, чтобы была надобность в подробном ее выяснении. В настоящее время, после выхода в свет целого ряда новейших русских сочинений в области славянской и византийской истории, греко-славянский мир — есть уже не какая-нибудь туманная теория или фикция, а несомненный исторический факт, живое уразумение которого проливает новый свет на историю всей арийско-христианской или европейской части человечества. Без изучения Византии немыслимо правильное понимание ни славянской, ни, в частности, русской истории. Отсюда понятно, что византийские занятия у нас все более стали привлекать к себе выдающиеся ученые силы, они находят себе сочувствие во всех областях нашей исторической науки, постоянно крепнут и развиваются. Старый список наших византинистов, в котором видное место занимают имена А. Куника, Дестуниса, преосв. Порфирия, Муральта, постепенно пополняется длинным рядом новых имен. Мало-помалу создается русская школа византинистов, наиболее видными и деятельными представителями которой являются профессора В. Г. Васильевский, В. И. Ламанский и Ф. И. Успенский. Эти три имени дороги не нам одним. Ими по справедливости может гордиться родная наука; они уже пользуются почетной известностью на Западе. Если профессору Ламанскому принадлежит огромная заслуга выяснения с общей

точки зрения отношений славянства к греческому миру, то другие два ученые профессора, Васильевский и Успенский, в своих многочисленных и разнообразных сочинениях и изысканиях в области византийской истории не только обогатили науку совершенно новым материалом, не только указали новые пути и методы изучения византийских источников, но и уяснили много темных вопросов в судьбах Византии, осветили с совершенно новых точек зрения целые ее эпохи.

Затем, всякому, кто следит за нашей ученой литературой, известно, какие ценные вклады в истории Византии и ее образованности сделали целый ряд других ученых, приобретших себе почетную известность в иных специальных областях, каковы, например, И. Е. Троицкий, А. С. Павлов, А. Н. Веселовский, Н. П. Кондаков, арх. Арсений, арх. Амфилохий, Ф. А. Терновский (теперь покойный), В. С. Иконников, М. С. Дрипов и др. Наконец, молодые начинающие ученые все более входят во вкус византийских занятий. Так, в большей или меньшей степени посвящают свои силы византийским изучениям К. Я. Грот, М. И. Соколов, П. А. Сырку, Э. В. Регель,[1] Брун и др. О значительном оживлении у нас византийских изучений, между прочим, свидетельствует и тот характерный факт, что на проходившем недавно в Одессе шестом археологическом съезде в первый раз была организована особая византийская секция, которая по содержательности и разнообразию прочитанных в ней сообщений и рефератов справедливо останавливала на себе особенное внимание участвующих в съезде.

Нельзя не радоваться столь заметному возрастанию успеха византийских занятий. Как бы много ни делалось и в этой области на Западе, русская наука должна стремиться к самостоятельной разработке истории Византии и ее образованности. Этого требует столько же наша национальная честь, сколько и разные практические запросы, предъявляемые историей нашего собственного народа и славянского племени. Западноевропейские ученые, при всем их стремлении к объективности, долго еще будут становиться в тупик перед различными явлениями византийской жизни: многие из этих явлений будут им казаться непонятными, чуждыми, отрицательными или совсем не заслуживающими внимания. Известное историческое воспитание, исторические традиции забываются не так легко даже у людей высокообразованных и, безусловно, честных и правдивых. Напротив, гораздо большая возможность широких кругозоров и более верного и глубокого понимания многих событий и сторон византийской истории открывается для русского исследователя. Прекрасное

[1] Сколько нам известно, г-ном Регелем приготовлено к печати обширное сочинение о четвертом Крестовом походе.

доказательство верности этого положения представляет новое вышеобозначенное, весьма замечательное сочинение профессора Петербургской Духовной академии г-на Н. Скабалановича, своим появлением в свет подтверждающее высказанную нами мысль об успехах византийских изучений на русской почве.

Г-н Скабаланович, уже известный в науке исследованием «Об апокрисисе Христофора Филалета» (СПб., 1873), в новом своем труде поставил перед собой весьма любопытную, но вместе с тем и трудную задачу — рассмотреть положение византийского государства и Церкви в XI в., в период от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина. Любопытная сторона задачи заключается в выборе эпохи и в тех рамках исследования, какие назначил себе автор. Эпоха от Василия II Болгаробойцы до Алексея I Комнина хотя и не представляет таких громких, блестящих событий, какими отличаются непосредственно предшествовавшая ей и следовавшая за ней эпоха династий — Македонской и Комниных, тем не менее она не лишена весьма важного исторического значения. Это было время династических смут и переворотов, в которых лучше всего сказывались отрицательные, темные стороны византийской государственной и общественной жизни, но тогда же весьма резко проявились жизненность и благотворное влияние тех важных основных начал, которые составляют характерную особенность Византии во все периоды ее существования; в это время совершалось столь знаменательное по своим последствиям формальное разделение Церквей; в это время начинается наступательное движение турок против Европы, задержанное на время упорной борьбой, которую ведет с ними Византия; в это же время в Византии видим значительное умственное, научно-литературное движение, выразившееся в восстановлении Византийской академии, деятельности ее дидаскалов и учеников, в появлении многих весьма любопытных и ценных литературных памятников. Таким образом, специальное изучение данной эпохи представляет для исследователя благодарную задачу. Наш автор понял ее как таковую и придал своему сочинению самые широкие рамки. Он решился остановиться на изучении не отдельных событий или сторон византийской жизни XI в., не на внешней политической истории, по преимуществу обращавшей на себя внимание прежних византинистов, а на всестороннем воспроизведении внутреннего состояния византийского государства и Церкви в данную эпоху. В этой широте темы заключается как интерес задачи, так и первая трудность ее исполнения. Вторая трудность, представляемая задачей, осуществлению которой служит рассматриваемый труд, состоит в недостаточной, слишком слабой научной разработке эпохи, за которую взялся г-н Скабаланович.

В известных общих курсах византийской истории этой эпохе уделяется очень немного места; не богата она и специальными исследованиями; относящиеся к ней факты, заключающиеся в современных и позднейших источниках, частью только недавно изданных (например, сочинения Пселла), еще не были собраны в полноте, и тем более не подвергнуты критическому разбору в их связи и совокупности. Если справедливость требует заметить, что автор уж слишком умаляет значение некоторых общих сочинений по Византии, например, «Истории Греции» Гопфа и «Истории греко-римского права» Цахариэ, которые, несомненно, могли оказать ему помощь, и что замечательные исследования об XI в. В. Г. Васильевского[1] проложили путь к разработке исторических источников этой эпохи и уяснению некоторых ее сторон, то все-таки нельзя не признать, что г-ну Скабалановичу для решения поставленной им задачи предстояла обширная черновая работа по кропотливому, мелочному изучению первоисточников избранного им периода. Имея в виду сделанное предшественниками, он принялся за самостоятельные разыскания в области исторических памятников, имеющих отношение к XI в., и к извлечению из них фактических данных. Добытый таким способом материал был подвергнут критике, приведен в известную систему и лег в основание данного сочинения, которое по справедливости может быть рассматриваемо как продукт продолжительных, усидчивых, добросовестных, строго научных занятий его автора.

С широтой своей задачи и трудностями ее исполнения г-н Скабалановича справился с большим умением и успехом. Объемистая книга его представляет весьма ценное приобретение нашей исторической науки, как основанное на фактах воспроизведение состояния византийского государства и Церкви в XI столетии. Важное значение этого труда может быть усмотрено уже из краткого изложения его содержания.

Книга г-на Скабалановича состоит из обширного введения и десяти глав. Введение (71 страница) посвящено обозрению источников. Это одна из самых важных и любопытных частей сочинения. Здесь мы находим сжатое изложение результатов того тщательно произведенного автором анализа источников, о котором мы сейчас упомянули. Все так или иначе относящиеся к данной эпохе исторические памятники разделены на пять

[1] «Византия и печенеги», «Русско-византийские отрывки», «О жизни и трудах Симеона Метафраста», «Материалы для внутренней истории Византийского государства», «Советы и рассказы византийского боярина XI в.». Все эти, как и другие более мелкие исследования и статьи В. Г. Васильевского, помещались в «Журнале Министерства Народного Просвещения», начиная с 1872 г.

отделов: 1) история, записки, хроники и летописи, по языку и месту происхождения распадающиеся на три секции: греческие, латинские и восточные; 2) слова, речи, биографии, жития и т. п. (греческие и латинские); 3) послания и письма; 4) законодательные акты и официальные бумаги; 5) надписи на вещественных памятниках. Следуя этой классификации, автор сообщает о каждом историческом памятнике самые существенные сведения, необходимые для его критической оценки. Собственно византийские памятники, как наиболее важные, понятно, останавливают на себе особенное его внимание. Так, он довольно подробно говорит о «Записках» Михаила Пселла, лучшего свидетеля событий данной эпохи, об «Истории» Михаила Атталиота, о хрониках Иоанна Скилицы, Георгия Кедрина, Иоанна Зонары, Михаила Глики, об исторических трудах Никифора Вриенния и Анны Комниной, о словах и письмах Михаила Пселла, Иоанна Мавропода и др. Менее останавливается он на латинских памятниках; тем не менее, некоторые из них, особенно важные, нашли себе в кратких заметках автора весьма меткую характеристику; таковы, например, Барийские анналы, «Хроника» Лупа Протоспафария, «Хроника» Анонима Барийского, «История норманнов» Амата, «Хроника Кассинского монастыря» Льва, еп. Остийского, «Деяния Роберта Гвискара», Вильгельма Апулийского, «Сицилийская история» Готфрида Малатерра, «Хроника» Ромуальда Салернского и других. То же самое нужно сказать о восточных памятниках, как «История» Аристакеса Ластивертского, «Хроника» Матвея Эдесского, «Летопись» Яхъи Антиохийского, «Всеобщая история» Ал-Макина и др., в суждениях о которых сам автор не всегда мог быть вполне самостоятелен в силу свойств самих памятников. В отделе законодательных актов и официальных бумаг рассматриваются новеллы и хрисовулы императоров Константина VIII, Константина IX Мономаха, Исаака Комнина, Константина Дуки, Михаила Парапинака и Никифора Вотаниата, определения патриархов — Алексия, Михаила Керуллария, Иоанна Ксифилина, монастырские акты, постановление по делу Пселла, Πεῖρα, докладная записка легатов, булла Льва IX, акты Римского собора, грамоты и привилегии Трани, Амальфи, Неаполя, Далмации и Хорватии. В своих заметках об источниках г-н Скабаланович указывает внешние черты того или другого исторического памятника (место, время, личность автора памятника), старается определить отношение его к другим современным или однородным памятникам, доискивается происхождения находящихся в нем данных и выясняет сравнительную ценность последних. При этом даются все относящиеся к делу библиографические указания. Несмотря на свою краткость, эти критические заметки, по нашему мнению, имеют высокое значение и могут с пользой послужить всякому

исследователю, которому придется иметь дело с источниками для византийской истории XI в. Очень уместно было бы в том же введении, вслед за обозрением источников, обозрение литературы предмета, т. е. всего того, хотя и очень немногого, что сделано для данного периода предшественниками г-на Скабалановича. Но он предпочел заняться этим вопросом в своей речи, произнесенной перед защитой докторской диссертации и напечатанной особо в «Христианском Чтении», причем желаемое обозрение сделано слишком обще и неполно. Довольно указать, например, что об известных исследованиях об XI в. В. Г. Васильевского в этой речи не упоминается ни одним словом, а в самой книге встречается лишь несколько ссылок на них в примечаниях. Такое умолчание о нашем русском византинисте представляется нам тем более странным, что в той же речи г-н Скабаланович сравнительно долго останавливается на Ф. Гирше, критические работы которого относятся к источникам по византийской истории совсем другой эпохи — IX и X столетий.

Первые две главы книги (132 страницы) заняты подробной характеристикой императоров, придворных партий, интриг, волнений, династических переворотов. В этом отношении жизнь Византии за время от 1023 по 1081 гг. представляет для историка весьма обильный материал. Достаточно отметить, что в течение 55 лет на византийском престоле перебывало до 15 императоров; сверх того, захватывали власть императрицы и некоронованные узурпаторы. Редкий из государей этого времени по своей воле сходил с исторической сцены и умирал естественной смертью. Вступление на престол и кратковременное правление каждого из них сопровождалось грубыми насилиями, казнями и ссылками, интригами придворных партий, народными смутами и движениями. Обо всем этом г-н Скабаланович рассказывает очень подробно, основываясь исключительно на первоисточниках. В сравнении со своими предшественниками, не имевшими под руками многих источников, обнародованных лишь в недавнее время, он сообщает много новых частных фактов из области столичной и придворной византийской жизни данной эпохи, а старые, уже известные, дополняет новыми сведениями, приводит те и другие в более точную хронологическую и внутреннюю связь. Все это, без сомнения, очень любопытно и важно. Уместность этих двух глав в своем труде сам автор объясняет следующим образом в своей вышеозначенной публичной речи: «Что прежде всего поражает при чтении византийских историков? Поражает односторонность в выборе предмета. Рассказ вращается преимущественно около личности императора и его двора; все не имеющее отношения к этому основному сюжету, входит в содержание или случайно, или в высшей степени поверхностно, жизнь провинций и отдельных сословий точно не существует, индивидуальная

деятельность стушевывается, — все поглощено столицей и особой царствующего государя. Рядом с повествованиями, относящимися к личности государя или двора, византийские историки наполняют страницы своих хроник рассказами о придворных интригах, борьбе партий и тесно связанных с ней заговорах и восстаниях. Этот характер исторических произведений вполне отвечает общему направлению жизни. Жизнь Греческой империи, получив сильный толчок к централизации еще в III в., стала неуклонно развиваться по этому направлению и действительно дошла до того, что вся как бы сконцентрировалась в одном столичном городе вокруг личности императора, так что история справедливо называется византийской, и история Империи — византийской историей. Вследствие такого значения, достигнутого императорами, как конкретным выражением государственной идеи, произошло — с одной стороны, что они сделались всевластными, с другой, — что их личный характер, достоинства и недостатки получили слишком большое влияние на весь ход государственной жизни. Это — один момент. Но был еще другой, в котором первый момент находил себе ограничение. Таким ограничивающим моментом был византийский консерватизм, благоговение к формам жизни, выработанным стариной и освященным обычаями. Абсолютным деспотом в Византии, собственно, был не император, но этот формализм, приверженность к обычаям и раз установившимся порядкам. Преклонение перед формой было причиной как хороших, так и дурных сторон политического и общественного быта. Отсюда — необыкновенное развитие и широкое применение разных обрядов и церемоний, отсюда же грубый и дикий способ обнаружения общественного мнения путем вооруженного протеста народной массы против высшей государственной власти». «На всем протяжении византийской истории выступают две ограничивающие друг друга силы: императорская власть — с одной стороны, общественное мнение в его грубой форме — с другой. В государственном строе обе силы имели весьма важное значение, и поэтому историки так внимательно ими занимаются». Отсюда ясно, «что характеристика императоров важна не потому только, что читать ее занимательно, и что византийские интриги, заговоры, бунты, означают нечто большее, чем простые придворные дрязги». «Лишь под условием выяснения образа мыслей и личного характера императоров и степени воздействия на императоров общественного мнения возможно правильно объяснить происхождение тех или других фактов, такое, а не иное направление не только государственной и общественной, но также религиозной и интеллектуальной жизни».[1]

[1] «Христианское Чтение». 1884. Июль-август. С. 174–175.

Мы вполне соглашаемся с этими объяснениями г-на Скабалановича и разделяем вышеприведенные его взгляды. Придворные смуты и перевороты составляют столь существенную, характерную черту византийской истории данного периода, что историк, занимающийся этим периодом, не мог не остановиться на тщательном изучении этих событий. Но нам думается, что автор в этом отношении слишком увлекся стремлением к подробностям и фактической полноте, за которыми упустил из виду нечто не менее важное. Он совершенно оставил в стороне выяснение тех общих причин и начал, которые обусловливали такое печальное течение государственной жизни Империи в продолжение полстолетия. Перед читателем проходит длинный, бесконечный ряд фактов, иллюстрирующих эту постоянную смену императоров, ожесточенную борьбу партий, вооруженные восстания народа, интриги светских и духовных сановников и пр., но он тщетно ищет какого-нибудь луча света, который осветил бы всю эту массу фактов с какой-нибудь высшей, общей точки зрения и дал бы возможность оценить их внутренний смысл и значение: в результате от чтения у него остаются одни голые факты. Столь одностороннее, формальное изложение материала, составившего содержание первых двух глав, по нашему мнению, сделано автором в ущерб ясности и полноте исторической картины. Нельзя также не пожалеть, что автор не внес в эти главы хоть самой общей характеристики внешнего, политического значения Византии в данную эпоху. Внутренняя жизнь государства, как известно, часто зависит от внешних политических событий. Коснуться положения Империи и с этой точки зрения, хотя бы в немногих словах, было бы очень уместно в сочинении общего характера, каким является труд г-на Скабалановича.

С третьей главы (С. 132–181) автор приступает к основной задаче своего труда — к изображению внутреннего состояния византийского государства и Церкви за время от 1025 по 1081 гг. Он начинает с центрального управления. Здесь последовательно рассмотрены вопросы о положении и значении императорской власти, о мерах, принимаемых императорами для обеспечения прав на престол (система сотоварищества, избрание и назначение преемника престола царствующим государем), об участии народа в избрании императора. Далее на основании фактов обрисованы: придворный этикет и церемонии, культ императоров, высочайшие выходы, система чиновной иерархии, функции и значение сенаторских чинов (светских и духовных), высшие государственные должности, их аналогия с чинами, и способы замещения. Наконец, выяснены организация и функции центральных государственных учреждений — придворного ведомства и т. н. секретов.

Четвертая глава (С. 182–230) посвящена областному управлению. Автор объясняет образование фем, их организацию как округов военных, судебно-административных и податных, описывает управление их дуками, катепанами и стратигами, и перечисляет все известные для данной эпохи фемы, сообщая о каждой из них все, что можно было найти в источниках.

В пятой главе (С. 230–266) излагаются состояние византийского общества и экономические условия его быта. Эта глава, а равно и следующая — о финансах — представляют особенно высокий интерес, так как в них затрагиваются самые существенные вопросы социально-общественного и экономического строя византийского государства. Исследование некоторых из этих вопросов, например, о формах землевладения в Византии и о податной системе ее, было облегчено нашему автору известными критическими работами профессоров Васильевского[1] и Успенского,[2] тем не менее и он внес свою значительную лепту в дело более широкой постановки и разрешения этих и других связанных с ним вопросов. Отметив важное влияние славянского гения на социально-общественный быт Византии, выразившееся в широком развитии вольного крестьянства и общинного землевладения, г-н Скабаланович останавливается на происхождении чиновной аристократии и двух классов крестьян — париков и общинников, характеризует борьбу властелей с убогими и относящиеся к этой борьбе законодательные меры, объясняет происхождение, сущность и значение харистикарной и прониарной систем землевладения. Небезынтересно заключение автора о положении византийского крестьянства в XI в.: «Несмотря на все неблагоприятные для крестьянства условия, со включением пронии, основные начала, на которых покоился быт крестьянского сословия и которым определялось его юридическое положение, не претерпели изменения в XI в. Произошло дробление крестьянских общин, может быть, уменьшилось число свободных крестьян-общинников, вследствие потери участков и перехода общинников в разряд париков; но самая община и общинное землевладение не исчезли. Общинное устройство не только сохранилось в течение XI в., но перешло к последующим векам и пережило самую Византийскую империю. Положение париков во многих местах ухудшилось, но ухудшение не было

[1] См. выше.

[2] К истории крестьянского землевладения в Византии//Ж. М. Н. П., 1883. Январь-февраль; Значение византийской и южно-славянской пронии//Сборник статей по славяноведению в честь В. И. Ламанского. СПб., 1883; Следы писцовых книг в Византии//Ж. М. Н. П., 1884.

повсеместным, между крестьянами-присельниками продолжали существовать такие, которые платили только десятину, морту, и по-прежнему назывались мортитами. За париками оставалось право свободного крестьянского перехода, по крайней мере, до XIII в.» (С. 266).

В главе о финансах (С. 268–300) рассматриваются: вопрос о платежных силах, организация податной системы, разные роды податей и повинностей, способы сбора податей, экстренные источники доходов и важнейшие статьи расходов.

Седьмая глава занята всесторонним описанием военного и морского дела (С. 300–347), а восьмая посвящена суду (С. 347–360).

В девятой главе говорится о Церкви (С. 361–425). Здесь автор отмечает теснейший союз государства и Церкви как характеристическую особенность церковно-государственных отношений в Византии, сообщает сведения о синоде, о положении Константинопольского патриарха, о церковной иерархии, дает характеристики патриархов, занимавших Константинопольский престол в рассматриваемую эпоху — Алексия, Михаила Керуллария, Константина Лихуда, Иоанна Ксифилина и Косьмы, и перечисляет митрополии и архиепископии, подчиненные Константинопольскому патриарху.

Десятая глава посвящена монашеству. Здесь мы находим объяснение факта умножения монастырей в XI в. в связи с особенностями политического строя, экономическими и религиозными мотивами, сведения о новооснованных монастырях, о разных типах монастырей и монастырских уставов, отчетливую характеристику монашествующих данной эпохи, а равно влияния монашества на византийское общество и государство.

Как добавление к рассматриваемой книге или, лучше, как одиннадцатую главу в ней нужно рассматривать превосходную монографию нашего автора под заглавием «Византийская наука и школы в XI в.», напечатанную особо в академическом журнале «Христианское Чтение». В истории византийского образования XI в., как мы уже заметили, был временем сравнительного процветания науки и школ. Г-н Скабаланович в живом и интересном очерке раскрывает положение науки и просвещения в Византии в избранный им период. Он рассказывает о возобновленной Византийской академии в царствование Константина Мономаха, характеризует главных ее деятелей: Михаила Пселла, Иоанна Ксифилина, Иоанна Мавропода, Никиту, выдающихся представителей тогдашней византийской науки, описывает состояние элементарных и средних школ, общее направление образования, отношение к нему императоров и общества, наконец, отмечает темные стороны просвещения — господствовавшие в обществе суеверия и предрассудки. Некоторые общие замечания автора

по их новизне нельзя не признать весьма любопытными и важными. Так, признавая, что на византийской образованности XI в. лежал отпечаток церковности, он, однако же, считает «заблуждением утверждать, что элемент религиозный вытеснял и подавлял элемент светский, что наука богословская убивала науку светскую. Скорее, светский элемент брал перевес над духовным, во всяком случае, он стоял на первом плане, а религиозный элемент привходил стороной, сообщая при этом свою окраску содержанию науки в целом» (С. 754). Неверным признает г-н Скабалановичи и тот очень распространенный взгляд, что вообще византийская школа была рассадницей энциклопедизма. Энциклопедичность, универсальность знаний была идеалом византийской образованности, но в школах, школьной науке этот идеал не осуществлялся. Но вот особенно любопытный общий вывод автора о состоянии просвещения в Византии в XI столетии. Указав на высказанное вскользь Пселлом замечание, что Рим уступает Византии в отношении наук, г-н Скабалановичговорит следующее. «Замечание это может быть распространено и понято в смысле научного превосходства Византийской империи вообще над современной ей Западной Европой. Хотя тогдашний уровень знаний в Империи оставлял желать многого. однако же в Западной Европе он был еще ниже. Сравнительный уровень был таков, что Империя могла еще разыграть роль учительницы по отношению к Западу, и западноевропейцы того времени в поисках за наукой отправлялись обыкновенно на Восток. В XI в. некто Адам, из Парижа, для довершения образования решился отправиться в Афины и в Византию. Он искал при этом не элементарного знания, но чего-нибудь побольше, так как уже обладал достаточными познаниями для того, чтобы дать повод Спалатскому епископу обратиться к нему с предложением редактировать жития далматинских святых» (С. 351). «По свидетельству Михаила Пселла, слава о Византийской академии при Константине Мономахе распространилась не только по областям Империи, но проникла в иностранные государства и привлекла к слушанию лекций учеников из Западной Европы и земель сарацинских, багдадского и египетского халифатов» (С. 358).

Таково содержание обширного труда г-на Скабалановича. Автор ставит перед собой и самостоятельно решает такую массу частных и общих вопросов, относящихся к положению Византии в XI в.. что за ним справедливо должна быть признана заслуга глубокого и тщательного изучения этого периода; для преемников и продолжателей его, которые обратятся к более детальной и частной разработке тех или других вопросов византийской истории XI в., путь уже проложен и в значительной степени очищен от лежавших на нем преград и помех. Мы не думаем, конечно.

чтобы г-н Скабаланович в полноте исчерпал поставленную им широкую задачу. Нельзя не заметить, что не все части его труда одинаково соразмерны. Церкви, несомненно, отведено гораздо меньше места, чем государству. Вообще церковные дела, по нашему мнению, изложены коротко и неполно, что, быть может, отчасти объясняется скудостью данных, представляемых источниками. Так, например, вопросы о положении низшего духовенства, об его отношениях к властям светским и духовным, а также к народу, о религиозном состоянии тогдашнего общества и пр. не затронуты. Но и в первой части труда наш автор оставляет в стороне некоторые очень любопытные вопросы. В главе о финансах он ничего не говорит о состоянии торговли в Византии. Не находим у него сведений о внутренней жизни провинций, этнографических данных о составе населения Империи и о взаимных отношениях различных народностей, живших в пределах ее и пр. Отмечая все это, мы, однако же, отнюдь не решаемся винить г-на Скабалановича за такую неполноту и еще менее склонны указывать на нее как на недостаток самого сочинения. В рассматриваемой книге нашим автором дано так много, что требовать от него большего по отношению к содержанию было бы неосновательной притязательностью.

С бóльшим правом, нам думается, мы можем отметить другую слабую сторону труда г-на Скабалановича. Труд этот по общему своему характеру, как уже замечено, строго фактический. Автор поставил перед собой задачу выделить из всех доступных ему источников факты, относящиеся к характеристике состояния византийского государства и Церкви в XI в., и исполнил эту задачу умело и добросовестно. Но погрузившись с похвальным рвением в самостоятельные разыскания в источниках, он, к сожалению, нашел для себя возможным отнестись несколько пренебрежительно к трудам своих предшественников, причем им оставлены без должного внимания и те немногие ценные монографии, имеющие отношение к изучаемым вопросам, ближайшее ознакомление с которыми могло принести ему существенную пользу. Это игнорирование литературы предмета отозвалось до некоторой степени неблагоприятно и на решении частных вопросов, и на общей композиции труда. Так, например, очень темный и сложный вопрос о пронии мог бы получить у нашего автора более определенную постановку, если бы он познакомился с указанным выше исследованием проф. Успенского «О значении византийской и южно-славянской пронии», о котором он не упоминает даже в подстрочных примечаниях. «Материалы для внутренней истории Византийского государства» проф. Васильевского также недостаточно исчерпаны г-ном Скабалановичем. Более подробный анализ рассматриваемой книги, уже выходящий за пределы настоящей статьи, может дать еще несколько фактов более или менее

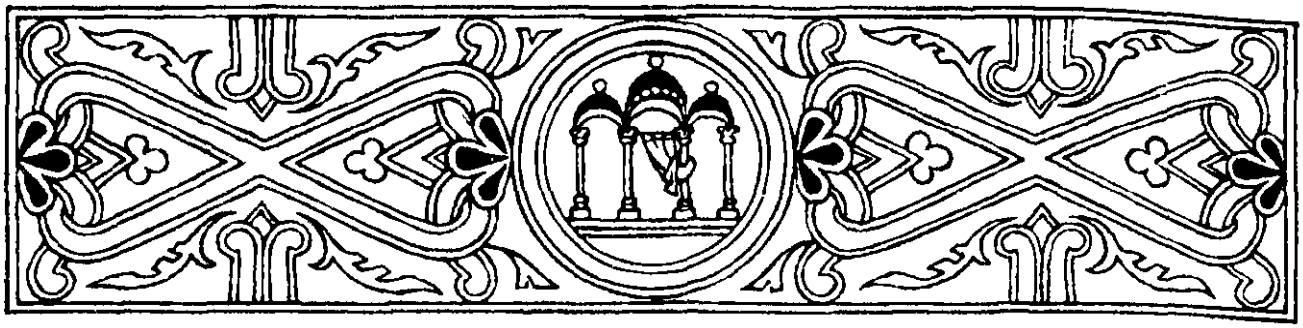
важных упущений автора в указанном отношении. Но важнее и более общая сторона дела. Замыкаясь в кругу своих источников, строго ограничивая свое исследование известными хронологическими пределами, переступая за последние с большой осторожностью и лишь в случае крайней необходимости, наш автор тем самым лишил себя средств и возможности придать своему изложению бóльшую ясность, картинность и образность. В книге г-на Скабалановича мы видим много фактов — но эти факты являются сухими, одиночными, они не поставлены в связь и аналогию с подобными же фактами других эпох византийской истории, не освещены с высших и более общих точек зрения. Очевидно, мы имеем дело с исследованием по истории Византии XI в., а не с историческим изображением этой эпохи. Иллюстрировать примерами нашу мысль нет надобности. Верность ее чувствуется читателем на каждой странице. Сознает эту слабую сторону своего труда и сам автор. Но он старается оправдаться в ней. В своей публичной речи он замечает, что писал свою книгу, «имея в виду главным образом специалистов, для которых некоторые отступления и разъяснения были бы излишними и для которых важна не фраза, но дело» (С. 180). Нельзя, конечно, отрицать важности и необходимости специальных исследований. Но сюжет, разрабатываемый автором, и рамки, в которые он его вдвинул, нам думается, представляет интерес не для одних специалистов, и, следовательно, нашему византинисту едва ли предстояла надобность заботиться заранее об ограничении круга своих читателей. К сожалению, нужно признаться, что такая заботливость проглядывает в большинстве наших ученых сочинений. Создавая свои ученые исследования, мы обыкновенно имеем в виду специалистов, забывая об остальной образованной публике, которой, однако же, не должны быть чужды интересы знания и науки. Пример Запада в этом отношении был бы для нас весьма поучителен. Там давно уже принято за правило — даже самые сухие, специальные работы излагать в форме, возможно более живой и удобопонятной. Оттого-то в Германии, Англии и особенно во Франции ученые книги весьма хорошо обращаются в публике, и научные знания успешно популяризируются. При этом строгая научность труда, конечно, не должна приноситься да и не приносится в жертву внешней отделке. Умение гармонически соединить одно с другим зависит от степени талантливости автора. Как на одну из образцовых в этом отношении работ в области византийских изучений можно, например, указать на сочинение о X в. Альфреда Рамбо «Constantin Porphyrogénète. L'empire grec au dixième siècle». Если бы г-н Скабалановичь, окончательно компануя свою работу, вспомнил не только о византинистах, но и о других читателях, то его прекрасная книга приобрела бы еще большую цену.

Частнейшее исследование нового сочинения о Византии не входит в рамки нашей статьи. В заключение мы позволим себе обратить внимание читателей на те общие выводы, к которым пришел автор при изучении истории Византии XI в. и которые сжато им изложены в его речи «Научная разработка византийской истории XI в.». Он отмечает следующие четыре начала, действующие как в XI в., так и в течение всей истории византийского государства и обусловившие столь продолжительное его существование: монархический принцип, свободное крестьянство, Православие и теснейший союз Церкви с государством. Ограничимся здесь сообщением любопытных суждений г-на Скабалановича о первых двух началах.

«Занятия византийской историей вообще и историей XI в. в частности, — говорит автор, — приводят к непоколебимому убеждению, что государственное здание может прочно и крепко стоять на двух столпах — монархии и свободном крестьянстве, что между этими двумя учреждениями существует неразрывная связь и если монархический принцип находит себе лучшую опору в крестьянстве, то и крестьянская свобода имеет своего естественного союзника и надежного покровителя в монархизме. Монархия и свободное крестьянство отличали Византию во все продолжение Средних веков, в XI же веке они выступают тем с большей рельефностью, что тогдашняя Западная Европа устроена была на совершенно других началах. XI в. был для Западной Европы веком полного расцвета феодализма, сущность которого заключалась в появлении множества мелких деспотий, развившихся за счет законно и правильно организованной правительственной власти, — в каждой феодальной территории стоял наверху деспот, в лице феодала, не признававшего другого закона, кроме собственного произвола, другого авторитета, кроме меча и копья, внизу — бесправная и жалкая народная масса, те несчастные вилланы, которые служили ничтожной игрушкой в руках господ, которых господа могли заключать в тюрьму и вешать по собственному усмотрению, отдавая отчет в своих поступках одному Богу, у которых они без церемонии могли отнимать имущества, разорять хижины, топтать посевы, которых могли, наконец, в силу обычного права подвергать всевозможным нравственным пыткам, оскорбительным для человеческого достоинства. Западно-европейский феодал с презрением смотрел на Византию, считал ее страной рабства, византийцев называл холопами, но это значило лишь, что он видел сучок в глазу брата, в своем же не замечал бревна; на греческом Востоке существовала не коллекция деспотий на западно-европейский манер, но одна Империя; громадная разница заключалась в том, что на Востоке был один монарх, а на Западе было множество деспотов;

благодаря этому, на Западе меньшинство высасывало жизненные соки из большинства, на Востоке же единая императорская власть нивелировала общество и охраняла массу народа от эксплуатации меньшинства; не было в Византийской империи загнанного, нравственно униженного и материально подавленного общественного слоя, который бы напоминал западно-европейских вилланов; все население состояло из подданных одного монарха, и быт общества составляло вольное крестьянство, группировавшееся в общине или жившее на правах присельничества и свободного перехода. Какое устройство — западно-европейское или византийское — отличается большей гуманностью, человечностью? Не нужно пристрастия, чтобы дать правильный ответ на этот вопрос; здравый смысл и нравственное чувство подскажут даже тому, кто и не подозревает, что западно-европейское устройство есть продукт германского гения, а устройство византийское в той части, которая касается крестьянства, — продукт гения славянского. На вопрос же о том, какое устройство более отвечает нормальным потребностям человеческих обществ и государств, ответ дан историей: в Византии оно держалось прочно до последней минуты существования государства, в Западной Европе оно рушилось под напором народной ненависти и вследствие несоответствия со здравыми требованиями, предъявленными жизнью» (См. с. 36–37 в книге первой нашего издания. — *Прим. Ред.*).

Вот образец более светлого и справедливого взгляда на Византию, к которому приводят самостоятельные, глубокие, строго научные занятия ее историей.



СОДЕРЖАНИЕ

Н. А. Скабаланович. Византийское государство и Церковь в XI в., от смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина 5

Глава седьмая 5
Глава восьмая 59
Глава девятая 74
Глава десятая 143
Содержание 168

Н. А. Скабаланович. Византийская наука и школы в XI в. ... 173
О нравах византийского общества в Средние века (Речь, произнесенная профессором Н. А. Скабалановичем на годичном акте С.-Петербургской Духовной академии, 17 февраля 1886 г.) 223
Н. А. Скабаланович. Разделение Церквей при патриархе Михаиле Керулларии 262
Н. А. Скабаланович. Религиозный характер борьбы османских турок с греко-славянским миром (до взятия Константинополя в 1453 г.) 324
Н. А. Скабаланович. Политика турецкого правительства по отношению к христианским подданным и их религии (от завоевания Константинополя до конца XVIII в.) 351

П. В. Безобразов. Византия в XI в. 382

Т. Д. Флоринский. Новый русский труд по истории Византии 399

Научное издание

Николай Афанасьевич Скабаланович

ВИЗАНТИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЦЕРКОВЬ В **XI в.**

От смерти Василия II Болгаробойцы
до воцарения Алексея I Комнина

Книга II

Директор издательства: *О. Л. Абышко*

Редактор: *Л. А. Абышко*

Перевод греческих и латинских цитат в тексте книги: *Д. А. **Черноглазов***

Художественное оформление: *А. Б. Левкина*

Компьютерный набор: *Е. А. Хошимова*

Оригинал-макет: *Ю. В. Никитина*

Издательство Олега Абышко,
198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 37–1–71

По вопросам реализации книги обращаться:

в Санкт-Петербурге

Центр Православной книги «КИФА»
Тел. (812) 468–2325, факс (812) 230–7801
E-mail: KIFAKNIGA@yandex ru

ИТД «Летний Сад»
Тел. (812) 232–2104; e-mail: letsad@mail.wplus.net

ООО «Университетская книга»
Тел. (812) 323–5495; e-mail: ukniga@sp.ru

в Москве

ИТД ГК «Гнозис»
Тел. (095) 247–1757; e-mail: gnosis@pochta.ru

ИТД «Летний Сад»
Тел. (095) 202–5409; e-mail: letsad@aha.ru

Для заказа книг «Издательства Олега Абышко» (СПб.)
по почте пишите по адресу:
198020, Санкт-Петербург, Старопетергофский пр., д 28, кв. 152.
Свои предложения и замечания можно отправить по e-mail:
nikita2712@pochta.ru

Подписано в печать 24.09.2004. Формат 60×88 1/16.
26 печ. л. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 3568

Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография "Наука"»,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12